

Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ



Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией
С. Н. ГОЛУБОВА, Н. К. ГУДЗИЯ,
С. А. МАКАШИНА, Ю. Г. ОКСМАНА,
Б. Г. РЕИЗОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1958

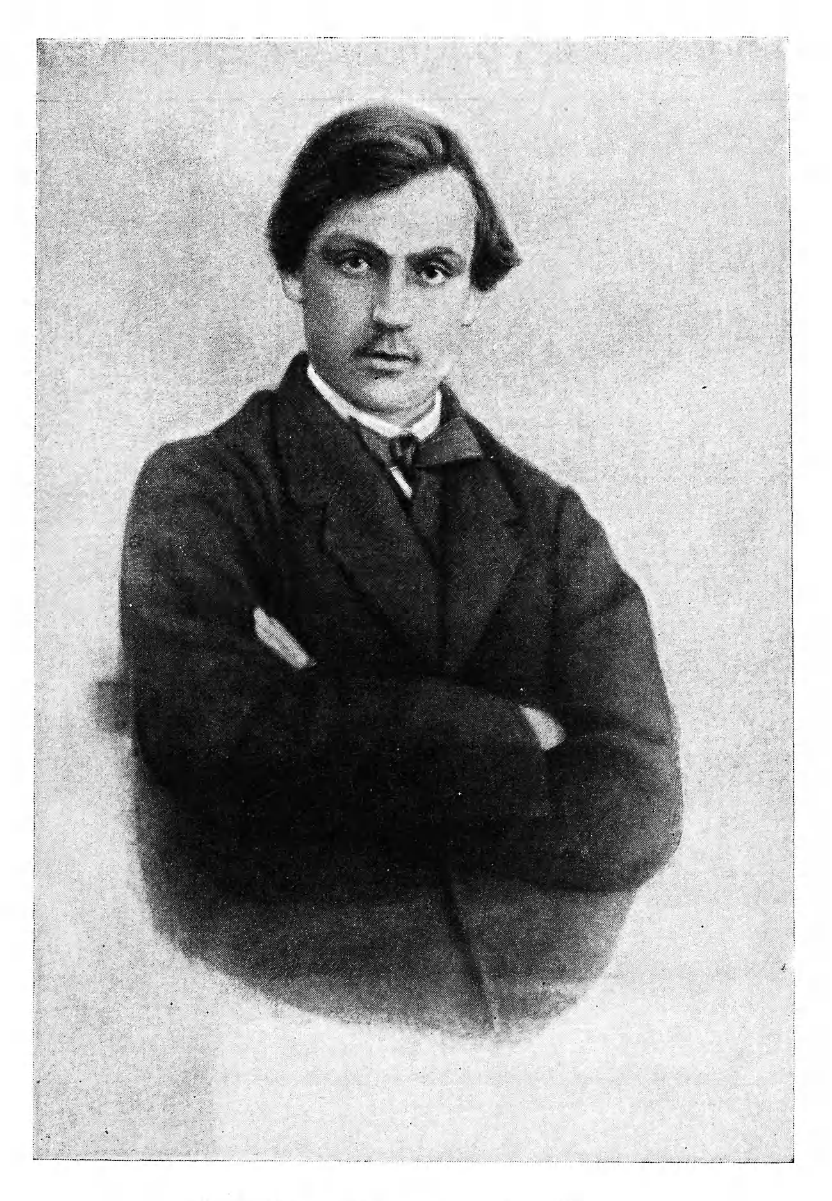
Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ



ВОСПОМИНАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1958

Вступительная статья, подготовка текста и примечания
С. А. РЕЙСЕРА



Л. Ф. Пантелеев. Фотография 1864 г.

Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВ

Книга Л. Ф. Пантелеева «Из ранних воспоминаний», два тома «Из воспоминаний прошлого» и статьи мемуарного характера, включенные в настоящее издание, — важные источники для изучения русской жизни второй половины XIX века.

Пантелеев принимал участие в революционном движении 60-х годов, был членом «Земли и воли», затем был арестован по подозрению в причастности к восстанию 1863 года в Польше, отбыл долголетнюю ссылку в Сибири, а под конец жизни поделился с читателями богатым запасом виденного и слышанного. Его воспоминания — весьма достоверный в своей фактической части документ, хотя и в 60-х годах и позднее, в XX веке, сам Пантелеев далеко не всегда мог подняться до обобщенного понимания идейного, исторического смысла общественного движения своего времени.

Характерным для эпохи 60-х годов является революционный подъем, вера в близость революционного взрыва. Значительные успехи естествознания, способствовавшие популяризации материалистической философии, студенческие волнения в России, восстание в Польше — важные звенья той же цепи. В главах о Петербургском университете, о Литературном фонде, о Шахматном клубе, о петербургских пожарах 1862 года хорошо передана атмосфера эпохи 60-х годов.

Воспоминания Пантелеева — один из немногочисленных мемуарных документов по истории «Земли и воли».

Много важного и интересного содержится и в воспоминаниях о польском восстании 1863 года, хотя некоторые поправки к отдель-

ным местам были уже внесены в нашей и зарубежной литературе [1].

Главы, посвященные Сибири, важны и интересны для историка русской культуры и живо характеризуют быт этой «окраины» царской России, каким он был почти сто лет назад.

В качестве активного участника студенческой жизни, служащего золотопромышленных фирм в Сибири, издателя, общественного деятеля и публициста Пантелееву приходилось встречаться с огромным множеством самых разных людей. Главы, посвященные отдельным лицам, — одни из самых интересных. Они обнаруживают в авторе качества незаурядного портретиста. Пантелеев в последние годы жизни был — в качестве доброго знакомого — близок к Салтыкову; его воспоминания содержат интересный материал о жизни великого сатирика. Исследователи и биографы П. А. Ровинского, П. П. Маевского, М. А. Антоновича, П. Л. Лаврова и особенно Н. Г. Чернышевского давно пользуются данными, которые сообщает Пантелеев.

Лонгин Федорович Пантелеев родился 6 октября 1840 года в Сольвычегодске. Его отец, кантонист, отслужив на военной службе двадцать с лишним лет, попал в вологодский гарнизон, но вскоре перешел в Сольвычегодск начальником инвалидной команды. Вскоре он заболел и уехал лечиться в Вологду, а командой в это время стала заведовать... его жена Анна Ивановна, энергичная и бойкая женщина из разорившейся купеческой семьи.

Когда отец умер, сыну еще не было полугода; в доме в момент смерти Федора Савельича было три копейки. Семья возвратилась в Вологду, где вынуждена была жить на нищенскую пенсию (28 рублей в год).

В книге «Из ранних воспоминаний» дана выразительная характеристика быта русской провинции середины XIX века; в особенности ярко и живо переданы впечатления о вологодских чиновниках, мещанах и обедневших и опустившихся дворянах, едва ли не единственная мечта которых — быть сытыми. Духовные интересы их ограничивались пересудами и городскими сплетнями; порою доходили слухи о каких-то полутаинственных черкесах, которые где-то воюют

[1] С. Н. Драницын, Польское восстание 1863 г. и его классовая сущность, Соцэкгиз, Л. 1937 (ср. рецензию Н. М. Дружинина в журнале «Историк-марксист», 1937, № 5—6, стр. 213—216); Юзеф Ковальский, Русская революционная демократия и январское восстание 1863 года в Польше. Пер. с польского. Изд-во иностр. лит-ры, М. 1953; J. Witkowski, Powstanie 1863 roku i rosijiski ruch rewolucyiny poczatku 1860-ch lat. Minsk, 1931 и др.

с русскими, о немцах, которые делились на «амбурских, свейских и аглицких». С большим опозданием и в чудовищно искаженном виде в провинцию доходили слухи о революции 1848 года на Западе: в Петербурге «смятение умов... колебание веры и престола... все это от вольнодумства». Из книг признавались только часослов и псалтырь; имя Ломоносова было известно очень немногим, да и те знали лишь то, что этому архангельскому крестьянину «за его ученость от царя жалованье шло».

В соседнем женском монастыре за два рубля серебром Пантелеева обучили грамоте. Жестокая нужда заставила мать отдать дочь в семью бездетных вологодских помещиков Одинцовых — там же с 1848 года стал проводить часть года и Пантелеев.

В 1850 году мальчик был принят в гимназию, где вскоре и стал «казеннокоштным»: содержать его дома мать не имела средств.

Трудовая жизнь Пантелеева началась рано. Гимназистом пятого класса он едет на вакации к соседнему помещику Пеганину обучать за полпуда муки его детей.

В середине 1858 года, после окончания гимназии, при поддержке председателя местной казенной палаты Ф. С. Политковского Пантелеев уезжает в Петербург и поступает в университет.

Молодой провинциал со всей энергией окунулся в общественную жизнь Петербурга конца 50-х — начала 60-х годов. Оживление, охватившее Россию в эпоху падения крепостного права, после крымского поражения и смерти Николая I, напряженная умственная жизнь в университете без остатка захватили его. Не прошло и трех лет, как Пантелеев занял заметное место в общественной жизни университета: мы видим его среди распорядителей студенческой кассы, в совете студенческой библиотеки, непременным участником сходок и пр. Когда в 1861 году начались студенческие волнения (они отражали общий демократический подъем в стране), Пантелеев принял в них самое активное участие. 28 сентября он был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. 7 декабря вместе с другими студентами он был освобожден и тотчас же стал членом комитета по организации лекций в здании городской думы, которые должны были заменить временно закрытый правительством университет; тогда же он вошел и в состав так называемого второго отделения Литературного фонда, имевшего целью помочь учащимся, в частности пострадавшим во время студенческих беспорядков студентам.

В начале 60-х годов в России стала оформляться подпольная революционная организация «Земля и воля». Она объединила воедино ряд существовавших уже в это время разрозненных столичных

и провинциальных кружков (Петербурга, Москвы, Казани, Саратова, Твери, Нижнего-Новгорода, Перми, Вологды, Вятки и т. д.). История этой организации, ее программно-тактические и организационные принципы еще недостаточно изучены и мало освещены в исторической литературе[1]. Однако известно, что основной целью «Земли и воли», готовившей вооруженное восстание, были освобождение России от «императорского самодержавия» и «торжество народных интересов», то есть прежде всего полная ликвидация крепостнического землевладения, созыв бессословного земского собора. Одним из лозунгов «Земли и воли» было также освобождение Польши. В 1863 году, когда истекал срок «временнообязанных состояний» по «Положению» 19 февраля 1861 года, предполагалось открытое революционное выступление «Земли и воли».

Руководство этой тайной революционной организацией осуществлялось, с одной стороны, петербургскими революционерами (по-видимому, во главе с Чернышевским), с другой — в некоторой степени восходило к Герцену и Огареву в Лондоне. В состав центра входили, как можно думать, сопоставляя различные материалы, — Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, Н. Н. Обручев, А. А. Слепцов, В. С. Курочкин, может быть, П. В. Пушторский и М. С. Гулевич, а потом вместо двух первых — Н. И. Утин и Г. Е. Благосветлов. В Лондоне в феврале 1863 года в качестве совещательного органа был создан совет общества, — состав его, кроме имен Герцена и Огарева, неизвестен[2]. Во главе двух самых значительных областных отделений «Земли и воли», московского и казанского, стояли саратовские ученики Чернышевского: М. Мосолов, И. Шатилов и И. Умнов.

Известно, что имелись такие не дошедшие до нас документы, как программа организации и инструкция, которая знакомила с основными задачами общества и указывала правила приема. Программа распространялась в рукописном виде, с печатью. Землевольцы выпустили № 1 журнала «Земля и воля», №№ 1 и 2 листовки «Свобода» и несколько прокламаций.

У Центрального комитета имелись денежные средства, употреблявшиеся для организации и работы тайных типографий, организа-

---

[1] См. «Литературное наследство» № 61, 1953, стр. 459—523; «Вопросы истории», 1954, № 3, 1955, № 5, 1957, № 9; Б. П. Козьмин. Русская секция Первого Интернационала, М. 1957, стр. 34—39 и т. д. Особо следует назвать недавно появившуюся статью М. В. Нечкиной «Земля и воля» 1860-х годов (по следственным материалам)» («История СССР», 1957, № 1, стр. 105—134).

[2] См. соображения Б. П. Козьмина в «Литературном наследстве», № 63, 1956, стр. 150—152.

ции побега революционеров, для революционеров, сосланных на каторжные работы, и т. д. В Лондоне при «Колоколе» существовала особая «открытая касса», которая принимала пожертвования для «Земли и воли». Для сбора внутри России Центральный комитет снабжал своих «агентов» особыми квитанциями.

«Земля и воля» имела своих «агентов» в военном министерстве, среди жандармерии в III Отделении, следственных и судебных органах.

«Правда, — писал в 1901 году В. И. Ленин, — на наш современный взгляд кажется странным говорить о революционной «партии» и ее натиске в начале 60-х годов. Сорокалетний исторический опыт сильно повысил нашу требовательность насчет того, что̀ можно назвать революционным движением и революционным натиском»[1]. «Земля и воля» была партией всесословной, интеллигентской по своему составу. Наряду с небольшой группой подлинных революционеров, всю жизнь боровшихся с самодержавием, в нее входила молодежь, захваченная мощным движением 60-х годов за подготовку буржуазно-демократической революции в России.

В первой половине 1862 года один из создателей «Земли и воли» — А. А. Слепцов — привлек Пантелеева к участию в «пятерке» Н. И. Утина[2].

Пантелеев, как видно из его воспоминаний, в свою очередь привлек не менее двадцати человек; кроме того, он помогал в организации подпольных типографий, писании и распространении листовок, сборе средств и т. д. Имя Пантелеева, как одного из видных участников и деятелей «Земли и воли», было известно Герцену и Огареву. В письме к последнему Н. И. Утин 9 июля (н. ст.) 1864 года называет Пантелеева «наиболее близким соучастником моим в делах». При этом имя его даже в заграничной переписке обозначалось шифром[3]. Через семь дней после ареста Пантелеева Герцен уже был об этом осведомлен: 30 декабря 1864 года он извещал об этом Огарева[4] и Н. А. Тучкову-Огареву[5].

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26. В этой статье Ленин между прочим ссылается на некоторые очень интересные факты «о революционном возбуждении 1861—1862 гг. и полицейской реакции...», сгруппированные в статье Пантелеева о петербургских пожарах.

[2] В нее входили еще М. С. Гулевич, А. А. Жук и В. В. Лобанов — все они впоследствии отошли от революционного движения.

[3] «Литературное наследство», № 62, 1955, стр. 662 и 665.

[4] «Литературное наследство», № 61, 1953, стр. 393.

[5] А. И. Герцен, Полное собр. соч. и писем, 1922, т. 17, стр. 431.

В середине марта 1862 года состоялось знакомство Пантелеева с Чернышевским. Пантелеев сообщает в воспоминаниях, что бывал у Чернышевского до его ареста несколько раз весною 1862 года в связи с организацией публичных лекций для студентов. Чернышевский обратил внимание на начинающего литератора (к этому времени Пантелеев начал печататься) [1]. Он был, вероятно, осведомлен, что Пантелеев — член «Земли и воли». Трудно предположить, что Чернышевский не знал членов «пятерки» Н. И. Утина: в момент, когда арестованного Чернышевского увозили в крепость, он просил передать Н. И. Утину, чтобы он не беспокоился; [2] это означало, по-видимому, что компрометирующих Утина материалов при обыске не взято.

11 декабря 1864 года Пантелеев был арестован «за принадлежность к С.-Петербургской революционной организации, с целью возбуждения и поддержания польского мятежа...» Дело было передано в Виленскую комиссию М. Н. Муравьева. 30 декабря 1865 года Пантелееву был объявлен приговор: «По военно-судному делу, произведенному при управлении Виленского губернского воинского начальника <...> сужденных по полевому уголовному уложению, по лишении чинов, орденов, если имеют, дворянского достоинства и всех прав состояния, сослать <...> в каторжную работу на заводах <...> на 6 лет; имущество же <...> какое <...> окажется в северо-западном и юго-западном краях и пределах Царства Польского или будет принадлежать по наследству от родителей — конфисковать в казну» [3].

По разным поводам, в течение нескольких лет, было арестовано довольно значительное число лиц, им предъявлялись обвинения в принадлежности к «преступной» организации; например, основным выводом следственной комиссии по делу Андрущенко была констатация существования тайной революционной организации «Земля и воля». Но сама организация в целом не была разгромлена; она прекратила свою деятельность в конце 1863 года [4] в условиях правительственного террора.

---

[1] Я. П. Исарлов, конечно, ошибается, называя Пантелеева сотрудником «Современника» и заставляя его встречаться у Чернышевского с умершим уже Добролюбовым (см. Г. М. Туманов, Характеристики и воспоминания, изд. 2, кн. 1, Тифлис, 1913, стр. 232).

[2] Сб. «Шестидесятые годы. М. А. Антонович, Воспоминания; Г. З. Елисеев, Воспоминания», Academia, М. — Л. 1933, стр. 130.

[3] «Голос», 1866, 5 октября, № 275.

[4] Эту дату указывает Н. И. Утин в статье «Пропаганда и организация», напечатанной в женевском журнале «Народное дело», 1868, октябрь, стр. 40.

В середине 1866 года Пантелеев в сопровождении своей жены прибыл в Енисейскую губернию. Власти, вероятно не без помощи покровительствовавших ему золотопромышленников (по связям тестя Пантелеева, В. Н. Латкина), применили к осужденному так называемое предписание от 16 апреля 1866 года, по которому приговоренные за участие в польском мятеже в каторжные работы на шесть и менее лет от каторги освобождаются и становятся ссыльнопоселенцами, и оставили его на свободе в Енисейской губернии [1].

Там Пантелеев начал служить в различных золотопромышленных компаниях, сначала у своего родственника по жене — П. Н. Латкина, потом у В. И. Базилевского. Недюжинные практические способности позволили ему быстро выдвинуться, стать сначала управляющим приисками Базилевского, а затем начать собственное дело. Оно быстро обеспечило его немалым капиталом.

В 1874 году Пантелеев был восстановлен в правах и снова поселился в Петербурге.

Своеобразие подготовки буржуазно-демократической революции в России состояло в том, что в движение 60-х годов было вовлечено все сколько-нибудь прогрессивное.

Однако в дальнейшем, в условиях наступившей реакции, только немногие, как, например, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич, сохраняли веру в революцию, хотя и признавали, что она наступит позднее их первоначальных расчетов. «Почва болотистее, чем думалось». В сложившихся условиях надо «приняться вбивать сваи» [2]. Большинство (в том числе и Пантелеев) довольно быстро утратило былую революционность: «Теперь ничего решительно нельзя делать», — передавал Утин слова Пантелеева [3].

Л. Ф. Пантелеев выражал искреннее недовольство существующим порядком; однако, ища новых путей и форм жизни, он удовлетворялся скромнейшими из скромных реформами. В этом смысле характерно славословие Пантелеева в воспоминаниях по адресу либерала Кавелина. Пантелеев без всякой иронии называет преобразования, которые в 60—70-х годах провело, ограждая себя от револю-

---

[1] Попытка применить к нему этот закон в Петербурге не удалась из-за отказа шефа жандармов П. А. Шувалова второй раз докладывать дело царю (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. 16, 1920, стр. 164).

[2] См. письмо Н. А. Серно-Соловьевича первой половины 1864 г. к Герцену и Огареву из Алексеевского равелина Петропавловской крепости («Литературное наследство», № 62, 1955, стр. 560).

[3] Письмо Н. И. Утина к Огареву от 9 июля 1864 г. (там же, стр. 660).

ции, правительство, — «великими реформами»; активный участник студенческого движения 1861 года, он всерьез уверяет читателя, что «по существу в студенческом движении ничего не было политического» и т. д. Однако Пантелеев, вероятно, был бы искренне возмущен, если бы его укорили в измене идеалам юности. Более того: он сам склонен был укорять в этой измене других. В его воспоминаниях мы не раз читаем горестные сетования о том или ином некогда видном землевольце, которого спустя столько-то лет Пантелеев встретил добродетельным мещанином и не помышлявшим о делах прошлого.

Воспоминания Пантелеева интересны для нас, в частности, тем, что автор их был в высшей степени характерной фигурой, одним из типичных представителей того движения, которое вовлекло в свои ряды многие десятки людей, затем, в соответствии с закономерностями классовой борьбы, перешедших на другие позиции. Со спадом волны революционного движения либеральная сущность этих людей выявилась в полной мере. Вспомним судьбы даже таких, совсем не рядовых деятелей, как В. А. и Н. Н. Обручевы, некогда близких к руководству революционным подпольем и окончивших свои дни верными слугами самодержавия.

Характерный и почти трагический пример — Н. И. Утин, видный деятель «Земли и воли», впоследствии член Первого Интернационала, журналист, автор революционных прокламаций, энергичный, полный сил подпольный работник, потом политический эмигрант, а в 80-х годах коммерческий делец, поверенный крупнейшего русского капиталиста [1].

Такая эволюция была характерна для целого поколения значительной части русской интеллигенции. «Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути, — писал В. И. Ленин об А. С. Суворине, — миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих в конце этого пути. Разве это не типично для *массы* «образованных» и «интеллигентных» представителей так называемого общества? <...> девять десятых, если не девяносто девять сотых — играют именно такую же самую игру в ренегатство, *начиная* радикальными студентами, *кончая* «доходными местечками» той или иной службы, той или иной аферы» [2]. Путь Панте-

---

[1] См. его письма к Герцену и Огареву в «Литературном наследстве», № 62, 1953, стр. 625—690. Подробный очерк деятельности Н. И. Утина см. в книге Б. П. Козьмина, Русская секция Первого Интернационала, М. 1957, стр. 73—85.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 250.

леева был далек от пути Суворина, но направление эволюции обоих было сходным; различие сводилось к конечному пункту, к итогу.

Субъективно Пантелеев был честен и искренен. Он расплатился за свою деятельность десятью годами подневольной жизни в Сибири и всегда считал себя истинным представителем и наследником идеалов 60-х годов. Однако член подпольной «Земли и воли» в 60-х годах, Пантелеев после 1905 года стал кадетом.

Либеральная позиция Пантелеева была очевидна; Чернышевский в 1889 году, в беседе с сыном Михаилом Николаевичем, характеризовал недавно бывшего у него Пантелеева как ограниченного человека [1].

В этой связи важно указать на отношение В. И. Ленина к идеологической позиции Пантелеева. В 1913 году в «Правде» в статье «Откровенные речи либерала» В. И. Ленин с негодованием привел сочувственно процитированные в газетной статье Пантелеева слова редактора «Русских ведомостей» В. М. Соболевского, вскрывавшие его неверие в творческие силы и возможности народа («миллионов полурабов, нищих, голодных, пьяных, невежественных») [2].

Вместе с тем Пантелеев никогда прямо и активно не поддерживал самодержавие. В 1901 году, например, он подписал коллективный протест по поводу спровоцированного полицией избиения студентов на Казанской площади в Петербурге. В ответ у него был произведен обыск. По этому поводу Пантелеев обратился к министру внутренних дел Д. С. Сипягину с письмом, в котором выражал свое возмущение действиями полиции: «вместо того, чтоб наложить печати до моего возвращения, был призван слесарь вскрыть письменный стол и все запертые шкафы. Полиция, конечно, хорошо знала, что меня нет в Петербурге, так как я выехал за границу с ее разрешения; ради чего же она вломилась в мою квартиру со свитою понятых, состоящих у нее на жаловании? Чего она искала, бомб? их теперь скорее всего надо искать в охранном отделении. План всероссийского заговора? Да ведь вся образованная Россия в одном заговоре, что Вы не на своем месте, а Победоносцев не святой! Но этого заговора не только Вы, но даже всемогущий бог не в силах искоренить.

Моя деятельность совершенно открытая, в течение 25 лет у всех на виду; она может Вам нравиться или нет, — это другое дело, Вы даже можете раздавить меня. Но я не прячусь; я дал свою подпись под двумя протестами по поводу избиений 4 марта и от нее никогда не откажусь. <...> можно не стоять на высоте своего положения

[1] См. Н. М. Чернышевская, Летопись жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского, М. 1953, стр. 598.

[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 19, стр. 111—112; ср также т. 18, стр. 342.

и, однако, понимать такие простые вещи: что издевательство над человеческим достоинством в прах роняет значение власти и сильнее всяких анархических идей разлагает общественный строй. Говорят, Вы гордитесь тем, что Вы русский дворянин. Так сдержите же ту расходившуюся орду, которая называется русской полицией и которая ежедневно и по всей России попирает ничем у нас не огражденную человеческую личность. Или честь русского дворянина только и сказывается в выпрашивании подачек из казны да хорошо оплачиваемых мест?»[1]

За это письмо Пантелеев должен был быть выслан из Петербурга на три года; так как он был в это время в Триесте, то провел этот срок за границей.

Пантелеев несомненно принимал близкое участие и в делах семьи арестованного в июле 1862 года Чернышевского. Это устанавливается следующим документом, обнаруженным нами в архиве Пантелеева: «Сердечно благодарим вас с Н<иколаем> Г<авриловиче>м, добрый друг наш, за все, что Вы сделали и делаете для нас. Привет Вам искренний от нас обоих. О. Н. Ч. Крепко жму Вашу руку. Очень сожалею, что не застала Вас»[2]. Подпись, очевидно, должна расшифровываться — «Ольга и Николай Чернышевские». Записка написана рукою Ольги Сократовны карандашом на обрывке бумаги и, конечно, относится ко времени после ареста Чернышевского. (Начало свиданий Н. Г. с женой не ранее 23 февраля 1863 г.) Пантелеев и впоследствии оказывал Чернышевскому и его семье помощь. В 1879 году он приобрел некоторое количество экземпляров «Оснований политической экономии» Милля в переводе Чернышевского (об этом О. С. Чернышевская 8 февраля 1879 года писала сыну Александру — Центральный государственный архив литературы и искусства); в 1883 году, как только Чернышевский возвратился из ссылки, Пантелеев обеспечил его литературной работой — переводами Спенсера, Карпентера, пытался переиздать его «Эстетическое отношения искусства к действительности», высылал ему свои издания и т. д.[3].

Следует также отметить, что в понимании классовой природы польского восстания Пантелеев стоял на прогрессивных позициях. Он не примыкал к той ораве русских либералов, которая, по словам Ленина, «отхлынула от Герцена за защиту Польши»[4].

---

[1] «Былое», 1906, № 4, стр. 214—215.

[2] Институт русской литературы Академии наук СССР, Архив Пантелеева, ф. 224, № 441.

[3] Н. Г. Чернышевский, Полное собр. соч., т. II, 1949, стр. 834 и сл., т. XV, 1950, стр. 618, 621, 666—668.

[4] В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13.

Восставшие боролись не только с военно-феодальной политикой царизма, но и с феодально-крепостническими отношениями в Польше. Классовую суть этого движения точно формулировал В. И. Ленин в 1914 году: «Пока народные массы России и большинство славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах *не было* самостоятельных, массовых, демократических движений, *шляхетское* освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всеевропейской»[1].

«В случае успеха восстания, — писал Пантелеев, — старого уже не вернуть; более того — восстание могло иметь шансы на успех только при широком участии крестьянской массы».

В 1877 году началась деятельность Пантелеева-издателя. Далеко не на всех книгах было обозначено его имя, и только на основании позднейших библиографий мы имеем возможность установить полный перечень осуществленных им изданий[2].

За тридцать лет, с 1877 и до 1907 года, он издал свыше двухсот пятидесяти пяти книг, общим тиражом почти 650 000 экземпляров — цифра по тем временам огромная.

В списке издававшихся Пантелеевым авторов — много имен передовых русских ученых второй половины XIX века: И. М. Сеченов, А. Н. Бекетов, И. Р. Тарханов, В. А. Манассеин, Ф. Ф. Эрисман, Н. И. Кареев, В. И. Модестов, Н. П. Вагнер, А. И. Кирпичников, В. М. Шимкевич, В. В. Водовозов, М. М. Ковалевский и целый ряд других. Особо следует отметить издание сочинений публициста «Русского слова» В. А. Зайцева и предпринятое Пантелеевым переиздание сочинений Н. А. Добролюбова.

Значительная часть изданных Пантелеевым книг — переводные. И здесь нужно привести обширный и разнообразный список, в который среди прочих входят: Апулей, Тацит, Платон, Спиноза, Паскаль, Монтескье, Рескин, Морган, Вундт, Тэн, Рикардо, Генри Джордж, Ф. Ланге, Масперо, Джевонс Стенли, Сорель, Топинар, Поль-Луи Курье, Гексли, Максвелл, Карпентер, Лесаж, Мицкевич

---

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 403.

[2] См. И. Г. Безгин, Издания Л. Ф. Пантелеева 1877—1895 гг. СПб. 1895, 36 стр.; Его же, Издания Л. Ф. Пантелеева 1895—1907 гг., СПб. 1907 (экземпляры библиотеки ИРЛИ с пометками и добавлениями Пантелеева).

и пр. — этот список в значительной мере определяет интересы и настроения издателя, который сам выбирал книги для перевода.

Издание целой библиотеки по философии, социологии, политической экономии, физике, естествознанию, истории и литературе — немалая заслуга Пантелеева. Конечно, коммерческие интересы имели значение в подборе авторов и оригинальных и переводных, но культурное значение издательства Пантелеева отрицать невозможно.

На склоне лет, обеспеченным и независимым человеком, Пантелеев ликвидировал издательство. Он собирал коллекции портретов, принимал активное участие в делах Литературного фонда, активно сотрудничал в ряде периодических изданий конца XIX — первых десятилетий XX века: составленный самим Пантелеевым список его газетных статей включает более ста названий.

Шестнадцатого декабря 1919 года, на восьмидесятом году жизни, Пантелеев скончался. Смерть его, в условиях гражданской войны и революционных событий тех лет, прошла незамеченной, и только в немногих и притом запоздалых некрологах было отмечено значение деятельности покойного.

* * *

В предисловии к первому тому воспоминаний, изданному в 1905 году, Пантелеев сообщал, что он писал свои воспоминания, полагаясь «исключительно на память <...>, все же в некоторых случаях <...> считал необходимым наводить справки».

Изучение архива Пантелеева в Пушкинском доме Академии наук СССР позволяет утверждать прямо противоположное. Мемуары Пантелеева — плод упорной и тщательной работы, исподволь и долго подготовлявшейся. Совсем не в «некоторых случаях», а в огромном количестве их Пантелеев забрасывал письмами ряд знакомых и вовсе не знакомых ему людей с мельчайшими справками о годе, месяце и дне того или иного события, проверками чужих реплик, своего впечатления или оценки того или другого лица; Пантелеев настойчиво собирал документы и многие из них использовал непосредственно в воспоминаниях.

Только для такой центральной и важной главы, как «Земля и воля», не оказалось ни достоверных свидетелей, ни документов. К тому же недоброжелательные отношения к одному из бывших руководителей «Земли и воли» — А. А. Слепцову («господину с пенсне») — отношения, которым Пантелеев не изменил и полвека спустя, предопределили ряд неточностей этой главы, впрочем и в

таком виде очень важной для историка русского революционного движения.

Не осведомленный до конца в делах центра организации, Пантелеев и в 60-х годах и сорок с лишним лет спустя считал себя членом центрального комитета «Земли и воли» (на самом деле он им никогда не был). Не будучи по условиям конспирации посвящен во многое, он сообщает по догадкам и предположениям ряд неточных фактов.

Верный требованиям революционной конспирации, А. А. Слепцов не сообщал утинской «пятерке» состав центрального комитета — любопытно, что ни одного имени членов центра Пантелеев не смог назвать и много лет спустя. Он догадывался о руководящей роли Чернышевского[1], но имена Н. Н. Обручева, В. С. Курочкина и др. в этой связи остались ему неизвестными. Когда связь этой «пятерки» с центром (она осуществлялась через Слепцова) порвалась, «пятерка» самовольно превратила себя в центральный комитет. В действительности дела центра были ей неизвестны, и фактически она осуществляла только функции петербургского городского комитета.

Воспоминания Пантелеева о «Земле и воле» вызвали ответные мемуары А. А. Слепцова, незаконченные вследствие его смерти и частично (в отрывках) напечатанные М. К. Лемке в примечаниях к полному собранию сочинений и писем Герцена[2].

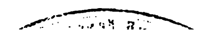
К сожалению, воспоминания Слепцова в свою очередь проникнуты явной враждебностью к Пантелееву и не могут быть признаны достаточно достоверным документом. Они писались по памяти, в глубокой старости; автор их стремился преувеличить свою роль и значение в «Земле и воле».

Извращая факты, А. А. Слепцов изображает в своих мемуарах дело так, что «ловкий Утин, с помощью Пантелеева, ища роли и влияния, каким-то путем (сейчас просто не помню) устроили так, что наш комитет не мог не признать их пятерку полномочным петербургским окружным комитетом; а так как центральный

---

[1] Этот вопрос долгое время оставался неясным, но теперь существенно прояснен недавно опубликованным письмом Герцена конца 1864 г. к неизвестному: «На одной сильной личности держалось движение, а сослали — где продолжение» («Литературное наследство», № 61, 1953, стр. 275 и поправка — № 63, 1957, стр. 150—151).

[2] В существовании этих воспоминаний долгое время некоторые авторитетные исследователи вообще сомневались, предполагая здесь едва ли не подлог М. К. Лемке. Находками В. Э. Бограда (они публикуются в № 67 «Литературного наследства»), аутентичность воспоминаний теперь доказана.



комитет держался вообще очень конспиративно, то роль афишировавшего себя окружного комитета поддавала ему жару»[1].

На самом деле центральный комитет никого не признавал и не уполномочивал. Но справедливость требует отметить, что Н. И. Утин и его группа развили довольно значительную деятельность. «Пятерка» (на самом деле она в это время уже значительно превзошла размеры пятерки в буквальном смысле слова) организовала две подпольные типографии (в Петербурге и на мызе Мариенгаузен в Витебской губернии) и выпустила несколько агитационно-пропагандистских листков и прокламаций, в том числе такие значительные, как «Свобода» (№№ 1 и 2), «Предостережение», «К образованным классам», «Льется польская кровь, льется русская кровь...» и др. Утин и его группа вошли в контакт с польскими подпольными революционными кругами и т. д.

А. А. Слепцов довольно рано, в половине 1863 года, отходит от революционной работы[2], в то время как Утин и Пантелеев ее еще продолжали. 11(23) ноября 1863 года Н. И. Утин писал Огареву о Слепцове: «У него было *желание работать*; за это желание я уважаю его; он сознал тщетность своих трудов — сознание это тяжело»[3].

В полемике Пантелеева со Слепцовым истина, как это часто бывает в таких случаях, находится посередине. Слепцов, конечно, неправ, интерпретируя всю деятельность Пантелеева в «Земле и воле» как несерьезное занятие самолюбивого и притом болтливого юноши, привлечение которого в подпольную организацию едва ли не было вынужденным, так как он якобы тенью следовал за Утиным, уже состоявшим в «Земле и воле». Неправ Слепцов, шаржированно изображая командировку Пантелеева в Москву и Вологду как попытку избавиться от назойливого юнца хоть на время и услать его

---

[1] А. И. Герцен, Полное собр. соч. и писем, т. 16, стр. 85. М. Н. Слепцова (жена А. А. Слепцова) в своих воспоминаниях ошибается, сообщая, что Петербургский областной комитет был якобы создан Слепцовым. («Штурманы грядущей бури. Из воспоминаний», «Звенья», вып. 2, М. — Л. 1933, стр. 447.) Окружной комитет, отдельно от центрального, был, между прочим, предусмотрен в планах Огарева. См. его статью <«О руководящих органах «Земли и воли» и программе работ ее окружных комитетов»> (Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. II, Госполитиздат, М. 1956, стр. 92).

[2] В Центральном государственном историческом архиве в Ленинграде, в фонде ученого комитета министерства народного просвещения (№ 733), хранится целый ряд документов, наглядно свидетельствующих о проделанной А. А. Слепцовым эволюции.

[3] «Литературное наследство», № 62, 1955, стр. 630.

подальше. Создание областных (районных) отделений общества справедливо считалось одной из важнейших задач возникавшей массовой организации; ведь и сам Слепцов совершал аналогичные поездки.

С другой стороны, неправ и Пантелеев, изображая Слепцова как фразера и едва ли не как обманщика. Связанный требованиями партийной конспирации, Слепцов не имел права раскрывать перед утинской «пятеркой» состав и деятельность центрального комитета, особенно в условиях террора, последовавшего после майских пожаров 1862 года.

Революционная организация 60-х годов продолжает ждать своего исследователя, который должен будет критически отнестись к воспоминаниям обоих мемуаристов и установить долю правоты каждого из них.

С. А. Рейсер

ИЗ РАННИХ ВОСПОМИНАНИЙ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я родился в 1840 г., в Сольвычегодске. Моя мать была из старинной купеческой семьи в Вологде — Поповых-Введенских; выучилась она читать в женском монастыре, а кое-как писать — уж самоучкой.

«Тогда (то есть в начале XIX века), — рассказывала матушка, — девушек писать не учили. «Для чего им уметь писать? — говорили старики, — разве чтоб потом любовные письма посылать».

Отец матушки вел большую торговлю с Архангельском и оставил крупное состояние; но старшие сыновья, приняв дело, скоро запутались и поспешили сбыть с рук незамужних сестер, конечно не спрашивая их согласия. Одну выдали за богатого старика, да такого старого, что не скоро нашли священника, который за двести рублей согласился повенчать его; матушка, казалось, была счастливее, она вышла за молодого, хотя и небольшого чиновника. Благодаря поддержке дяди-воспитателя, секретаря консистории, человека денежного, муж матушки скоро получил место подлесничего в Никольском уезде, — тогда только губернское начальство носило титул лесничего.

«Пока мы жили в Вологде, в доме дяди, Александр Федорович (так звали ее мужа) был как «красная девица», не знал ни вина, ни карт, не водил никаких знакомств; дальше службы да церкви по праздникам никуда и дороги не знал».

Но с переездом в Никольск Александр Федорович скоро и круто изменился: стал пить, играть в карты и наконец дошел до такого состояния, что только с большим трудом удавалось протрезвить его раз в неделю

для подписи бумаг с отходящей почтой. Матушка приискала надежного письмоводителя, которому платила ровно столько, сколько Александр Федорович получал жалованья, — кажется, пятьсот рублей ассигнациями в год. Губернское начальство, конечно, хорошо было осведомлено об его пьянстве, к тому же было немало охотников на его место; потому матушке часто приходилось ездить в Вологду. Там, уплатив кому следовало две тысячи рублей ассигнациями, она возвращалась домой спокойною, что еще на год место оставлено за Александром Федоровичем. Так тянулось лет семь. Откуда же брались средства? В округе считалось около сорока тысяч ревизских душ; все они были обложены регулярною и безнедоимочною податью: пятьдесят копеек с души исправнику, по двадцать пять копеек стряпчему и лесничему и т. д.[1]. Это могло давать Александру Федоровичу до десяти тысяч рублей в год, но он почему-то считал такой побор рискованным и им не пользовался.

«И без него жили, — говаривала матушка, — дом был как полная чаша, разве только птичьего молока недоставало».

Александр Федорович много проигрывал, ублаготворялось губернское начальство — за все расплачивались казенные леса, исчезали целые корабельные боры. Потом, кажется в год смерти Александра Федоровича возникло дело, в резолюции которого между прочим значилось: «За смертью подлесничего Архангельского, после которого никакого имущества не оказалось, взыскать столько-то с таких-то крестьян», почему-то прикосновенных.

«Раз набралась я страху, — приехал губернатор, а мой Александр Федорович как нарочно в ту пору так запил, что я со всеми детьми перебралась в баню; но все, благодаря бога, кончилось благополучно. Губернатор оказался старичок генерал (кажется, Кузьмин), любил он выпить да повеселиться; прожил в Никольске (и теперь один из самых захолустных городов, можно себе представить, чем он был в начале 30-х гг.!) две недели,—

---

[1] С подобного рода обложением мне пришлось встретиться в Сибири в 70-х гг., только в несколько измененной форме, а именно в виде очень высокого жалованья волостному писарю, напр. по два рубля с души. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

едва ведь выпроводили; каждый день обеды да вечера с танцами, все виноградное вино, что имелось в городе, до последней бутылочки было выпито, несколько раз посылали за ним в Устюг. Ну, конечно, все чиновники в свое время явились к губернатору; только Александр Федорович не показался. Вот губернатор посылает за ним своего адъютанта. Приходит к нам адъютант и видит: Александр Федорович в чем мать родила катается по полу, а по полу розлито прованское масло, варенье. На требование немедленно явиться к губернатору он ответил: «Скажи своему старому дураку, что мне и дома хорошо; видишь, что я как сыр в масле катаюсь». А вечером возьми да и явись на бал, — пробрался, как-то не заметили; сверх нижнего белья только и надел один мундир да прицепил шпагу и в этом виде прямо к губернатору: «Честь имею рапортовать вашему превосходительству, что от дождя леса горят». А губернатор, тоже сам едва на ногах стоит, только и сказал мне: «А шутник же у вас муж, Анна Ивановна... «от дождя леса горят»! ха, ха!» Кое-как удалось вывести Александра Федоровича».

Матушка вела, собственно, только канцелярское дело да улаживала отношения с губернским начальством; но вот, по ее словам, жена стряпчего, человека недалекого и слабого, так та, можно сказать, управляла всем уездом; ни одно сколько-нибудь серьезное дело не могло миновать ее рук; а рекрутский набор не только в Никольском уезде, но даже в смежных Устюжском и Тотемском прямо-таки был ее специальностью.

Прожив с Александром Федоровичем восемь лет, матушка овдовела; затем года через два вышла за моего отца. Я от него остался шести месяцев, и все, что знаю о нем, — со слов матушки. Он был из кантонистов; дед под старость ослеп; когда отцу минуло девять—десять лет, дед, живший на родине, где-то не особенно далеко от Москвы, взял в одну руку посох, а в другую сына и, явившись в Москву, сдал его начальству. Тогда дети солдат обязательно делались солдатами. Пройдя кантонистскую школу, отец попал в роту, которая была предназначена для выучки образцов в армейские полки.

«Били нас не на живот, а на смерть, били когда вздумается и чем попало: полено подвернется — поленом, скамейка — скамейкой. Изо всей роты только двенадцать

человек (в числе их и мой отец) и были выпущены в армию; остальные или заблаговременно отправились на тот свет, или были разосланы по инвалидным командам»[1].

За выслугу двадцати двух лет в нижних чинах отец был произведен в офицеры и назначен в вологодский гарнизонный батальон; здесь он и женился на матушке. Постоянные ученья да дежурства начали тяготить отца.

«Захотелось ему места поспокойнее; снесла я дюжину серебряных ложек жене батальонного командира, — ну, отец и получил место начальника инвалидной команды в Сольвычегодске».

Просто тогда было.

В Сольвычегодске стал отец болеть и с разрешения начальства неофициально приехал в Вологду и поместился в лазарете; а матушка осталась заведовать командой. Но так как здоровье отца не поправлялось, то он подал прошение об отчислении его от инвалидной команды, а в Сольвычегодск был прислан приемщик, которому матушка и сдала команду и все казенное имущество. В те времена всякая сдача обязательно сопровождалась уплатой приемщику известной суммы.

«Денег у нас не было, пришлось все распродать. Расплатилась я с приемщиком и получила от него приемочную ведомость; всех капиталов у меня осталось три копейки; вдруг приносят письмо с почты из Вологды, отдала я почтальону эти три копейки и вскрыла письмо, а в нем сообщалось: «Федор Савельевич (мой отец) такого-то числа волею божиею скончался и тогда-то похоронен».

---

[1] Мой отец, по словам матушки, отличался правдивостью до ригоризма; его рассказ о порядках, в которых он воспитывался, подтвердил впоследствии офицер Григорьев, с которым мне пришлось познакомиться в половине 60-х гг. Он тогда был смотрителем виленской тюрьмы, где находились арестованные, состоявшие под следствием особой комиссии, учрежденной Муравьевым по делам восстания 1863 г.; в начале 80-х гг. Григорьев был, кажется, некоторое время смотрителем петербургского дома предварительного заключения. Он тоже происходил из кантонистов и прошел через московский корпус (помнится, карабинерный). Хотя его воспоминания относились к значительно более позднему времени, когда моего отца уже не было в живых, тем не менее Григорьев не мог без ужаса говорить о своем корпусе. «Там забитых насмерть хватило бы на целый армейский корпус», — закончил он раз свой рассказ. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Матушка затем перебралась в Вологду, где с чем-то через год и вышел ей пенсион — сто рублей ассигнациями в год, то есть двадцать восемь рублей нынешних.

Это коротенькое вступление я считал не лишним, так как обстановка моего детства достаточно поясняет содержание нижеследующих очерков-воспоминаний. В них по большей части сохранены подлинные имена и фамилии.

Мои воспоминания о гимназии были напечатаны в «Русском богатстве» за 1901 г.; они здесь не перепечатываются, так как не подходят к форме настоящих очерков, которые в минувшем году были помещены частью в «Северном крае», частью в «Русских ведомостях».

I. СТАРЫЙ ДОМ

Я начинаю отчетливо помнить себя с пятого года; от более раннего детства есть лишь несколько несвязных воспоминаний. До моего отъезда в университет матушка переменила немало квартир, платя за них от двадцати пяти до семидесяти копеек в месяц (такие квартиры теперь стоят в Вологде от двух до четырех рублей, и то на самых окраинах); на некоторых мы оставались не более двух, трех месяцев, на других жили годами. Хотя матушка всегда старалась нанять комнату с отдельным ходом и печкой, однако нередко мы были лишены этих удобств. Поводом к переездам большею частью были столкновения с хозяйкой из-за воды, кочерги и т. п. У матушки сердце было горячее; случалось, поспорит с хозяйкой, обменяются несколькими репликами, и, смотришь, дня через два мы уже перебрались на новую квартиру.

Более ранние квартиры по их бытовой обстановке лучше сохранились в моей памяти; в позднейших начинает выступать личная жизнь и понемногу вытесняет впечатления окружающей среды; но особенно самая ранняя квартира, которую я помню, в некоторых отношениях больше других оставила след в моих воспоминаниях. Мы тогда жили в доме одного мещанина, недалеко от церкви Воскресения. Дом был двухэтажный, должно быть очень старый, совсем черным выглядел; тогда он мне казался необыкновенно большим и высоким, — вероятно, отчасти

и потому, что соседние дома были в один этаж и от времени совсем ушли в землю. Вверху жил хозяин с семьей, матушка да Екатерина Степановна, — хорошенько не помню, кто такая, кажется вдова-дьяконица, так лет за сорок. Большую часть низа занимал старик столяр, меньшую — Воронецкий с сестрами, чиновник из дворян; и еще жил — вернее сказать, за ним числилась квартира — Енюшка, молодой дворянин из мелкопоместных. Дела хозяина, человека уже немолодого, были в упадке, и он едва перебивался от мелочной лавочки. Жена его, много моложе, видная собой, «козыристая», как говорили о ней, не особенно стеснялась и свои сердечные дела вела довольно открыто; вместе с тем любила повеселиться и частенько устраивала вечёрки.

«Где тут Петру Ивановичу подняться, — говаривали соседи, — он в дом, а она из дома тащит».

Об Екатерине Степановне и Енюшке будет речь особо.

Вместе со столяром жила его замужняя дочь; муж у нее был где-то в солдатах; в ту пору к ней похаживал один торгующий мещанин.

У Воронецких никакого поместья не было, а капиталов и подавно. Брат служил в приказе общественного призрения и получал четыре рубля в месяц; доходов ему никаких не перепадало. Как ни дешева была тогда жизнь, все-таки просуществовать на одно жалованье было невозможно; старшая сестра имела покровителя, кладбищенского диакона, и, должно быть, от него получила некоторое пристрастие к водочке; младшая занималась кое-каким рукоделием. Обе сестры были в постоянном страхе, что брат может получить повышение, потому что в таком случае непременно женится. И тогда им, бедным, где приклонить голову?

«Вот Зонтиков женился, — да и как было не жениться, ведь шесть рублей стал получать; невестка-то сестру и выбросила на улицу; хорошо еще, что отец Василий в монастырь пристроил».

Несмотря на крайнюю бедность, девицы Воронецкие, однако, не забывали, что они дворянки, а брат — что он к тому же и чиновник. Припоминаю такую сцену.

К дочери столяра уже довольно поздно стучится мещанин, с которым она почему-то решила покончить; мещанин ломится в наружную дверь и не обращает вни-

мания ни на какие уговоры не только столяровой жены, но и самого хозяина дома. Тогда выходит Воронецкий.

— Ты как смеешь здесь шуметь?!

— Отпирай! — ревет мещанин.

— Да ты знаешь ли, с кем говоришь? Я чиновник!

— Вашего брата, чиновников, — отзывается мещанин, — в базарный день по грошу связка.

Младшей Воронецкой представлялся случай выйти замуж: стал на нее засматриваться приказчик из мучного лабаза; но ему было коротко заявлено, чтобы он такую глупость совсем выбросил из головы. Это решение было единогласно одобрено всем домом. Тут, кроме сословных предрассудков, сказались и более гуманные основания.

«Статочное ли дело Вере Константиновне выходить замуж за Прокудина, — говорила хозяйка, — ведь у ихней братии первое дело, как напьется пьян, принимается жену бить».

Но будь в эту пору у хозяйки взрослая дочь, она бы ни на минуту не задумалась выдать ее за Прокудина, потому что в мещанском быту битье жен не только считалось делом обыденным, но и естественным.

Все обитатели дома, занятые в будни своими делами, накануне праздника ходили ко всенощной, а в самый праздник обязательно к обедне; если кто по каким-нибудь обстоятельствам не мог попасть к поздней, тот непременно бывал у ранней. Приходя от поздней обедни, прежде всего принимались за чай, за которым оживленно обсуждались все новости, которые можно было узнать на паперти, и уж потом садились за обед, после чего весь дом заваливался спать.

Все также усердно постились, соблюдали неукоснительно даже постные дни. Матушке часто и строго выговаривали, что она иногда давала мне молока по постным дням.

«Да ведь он маленький! С него не взыщется!»—обыкновенно отвечала она.

Нужда в доме царила постоянно; поминутно занимали друг у друга то напойку чаю, то муки, чтобы домесить квашню, то даже несколько полен дров; и всегда, конечно, старались отдать, — только квасом не считались. Начнет кто-нибудь забегать без всякой нужды, да еще так, что непременно попадет к чаю, — верный

признак, что дома совсем плохо; но верхом неприличия было заходить во время еды; во всяком случае, попавший в такой момент, несмотря ни на какие уговоры, не соглашался хоть что-нибудь попробовать, ссылаясь на то, что вот сию минуту только что пообедал или поужинал, хотя бы на самом деле у него и росинки во рту не было.

В то время никаких ломбардов не существовало, да и форменных закладчиков было не особенно много — два, три на весь город. Профессия эта и тогда, однако, была не безвыгодна: один офицер местного батальона даже в отставку вышел, чтобы свободнее отдаться этому делу; а и весь-то его оборотный капитал был три тысячи рублей ассигнациями, которые он взял за женой. В самые трудные минуты обыкновенно прибегали к закладу икон, конечно если они были в серебряных окладах. Прилагались самые невероятные усилия, чтобы их выкупить, но нередко приходилось ими поступиться.

«Уж до чего дошел Иван Константинович: ведь порешил с дедовым-то благословением; вот срам-то какой!»

Но тут кроме моральной стороны была и другая: потерять иконы значило лишиться заручки на черный день.

Весь наш дом представлял из себя точно одну большую семью, где никаких секретов не было, постоянно изливали друг другу свое горе и вечно советовались, и притом большею частью в таких делах, где для советов, казалось бы, и места не оставалось. Говоря это, я, впрочем, разумею исключительно женскую половину; мужчины держались в стороне и даже между собой мало сообщались. Хозяин, как запрет лавку, сейчас же поужинает и спать; столяр, есть ли, нет ли работа, весь день за верстаком, а вечером заберется на печь и там тоненьким старческим голосом напевает разные стихиры; Воронецкий, придя со службы, пообедает и обязательно спать; а затем всегда уходил или в трактир, где с приятелями в складчину по три копейки и распивал чай, или же у кого-нибудь из товарищей играл в карты.

«Была у меня сегодня Петровна (дочь столяра). «Не знаю, говорит, что и делать, Александра Федоровна»; а я ей и говорю: «Да плюнь ты на него, какая от него корысть!» Ну, точно, попервоначалу никогда с пустыми руками не приходил: то чаю принесет, то муки или чего другого, к рождеству на платье подарил; а теперь при-

дет пьяный, да еще как куражится. Я ей такого человека приискала, что будет жить и нежиться, как барыня».

В доме всем известно, что в это самое время хозяин переживает критический момент: надо платить Гурлеву за товар, а денег нет; того и гляди, что к праздникам как раз останешься без товара.

— Ох, Анна Ивановна, ума не приложу, как нам и выбраться из беды. Петр Иванович ходил было к дяде; сами знаете, что у него капитал чуть не первый по Вологде; так что, вы думаете, сказал? «Переведи, говорит, лавку на мое имя». Сделай-ка мы это, так ведь он нас во всякую минуту из лавки-то и выпроводит. Вот хочу я вашего совета спросить: не дать ли мне обещание сходить к Семистрельной (недалеко от Вологды монастырь с чудотворной иконой)?

— Что ж, Александра Федоровна, отчего не пообещаться? Она, царица небесная, владычица пресвятая, из пучины морской спасает людей, не только что в житейских делах помогает, — поучительно поясняет матушка.

Книг в доме было всего две: у хозяина псалтирь, по которой он учился грамоте, а теперь для этой же цели служила его сыну, да у старшей Воронецкой имелась гадательная книга «Соломон». Все знали, что она у нее есть, в случае надобности прибегали к ней, и в то же время никогда о ней не говорили.

«Начни-ка ее везде таскать да всем давать смотреть, она и перестанет правду говорить».

От «Соломона» до гаданий всякого рода переход не велик. Особенным авторитетом пользовалось гаданье в зеркало; надо только дождаться святок, в другое время оно ничего не даст. Но не все на него решались: известно, это гаданье наверняка, никогда не обманывает; а вдруг как гроб увидишь? Однако на поверку оказывалось, что почти все замужние или бывшие замужем видали своих будущих мужей.

— Стою я это таково долго, стараюсь не мигнуть, потому, хоть раз мигнешь, уж ничего не увидишь; слезы так ручьем и текут. «Ну, думаю, должно быть сегодня ничего не будет». Только что это подумала, и вдруг вижу — стоит мужчина спиной, в сарпинковой рубашке; только и распознать можно, что русоволосый да коротко стрижен. И что же вы думаете? Вышла я через год за

Александра Федоровича, жила с ним восемь лет, два года вдовела, а тут опять вышла замуж за Федора Савельевича. Стал это он после свадьбы раздеваться, смотрю — у него сарпинковая рубашка; а сам-то ведь был русоволосый и коротко стригся. Вот оно зеркало-то, за одиннадцать лет вперед хватило!

— А страшно, — отзывается старшая Воронецкая, потерявшая всякую надежду когда-нибудь выйти замуж, — я ни за что не решилась бы смотреть в зеркало.

— Как не страшно, — продолжает рассказчица, — первое дело надо крест снять, а потом, зашумит ли, застучит ли, надо стоять как вкопанная.

— А вот Фуражевская так с ума сошла.

— Да ведь она увидала человека в саване; в тот же год ее жениха на Кавказе и убили, вот с той поры она и стала заговариваться.

Кроме вечно тревожной заботы о завтрашнем дне, в доме все жили в постоянном страхе перед невидимыми злыми силами. Стукнет ли где в неурочное время, распахнется ли почему-нибудь дверь, — все вздрагивают, а иные даже спешат перекреститься: непременно домовой шалит; душил ли кого кошмар во сне — опять дело нечистой силы.

«Только что собралась было помолиться, как закричит Машутка; стала я ее кормить, да так с ней и заснула. Ну, и поездил же «он» на мне, еле ведь проснулась, вся рубаха была мокрая».

Раз вечером все большие куда-то ушли, должно быть ко всенощной, а нас маленьких собрали в одну комнату и накрепко заказали никуда не выходить. Чем уж мы развлекались, не знаю, только помню, что я сидел на большом столе. Вдруг как мы все заорем, да так, что из низу прибежала столярова жена. «Что такое, что с вами?» Мы все в один голос только и твердим: «Он, он, он!» Тут скоро подошли и другие, и все согласно решили, что это домовой входил.

«Ишь нечистая сила, даже детей не оставил в покое!»

Нечистой силы боялись на каждом шагу: в баню, особенно вечером, немногие решались ходить одни; даже оставаться в темной комнате было дело рисковое, того и гляди шутку выкинет. Я замечаю за собой, что до сих пор, выходя из темной комнаты, как-то нервно затворяю за собой дверь.

II. ПО ВЕЧЕРАМ

По вечерам у всех женщин была та или другая работа, и зачастую у кого-нибудь собирались вместе; в таких случаях матушка брала меня с собою. Две темы преобладали на этих ассамблеях. Начинались они с разных смешков да взаимных подтруниваний, причем особенно доставалось старшей Воронецкой; она, впрочем, и сама легко давала повод: чуть где-нибудь стукнет, сейчас и выскочит. «Боится мила друга прокараулить», — замечали ей вслед. А затем как-то незаметно переходили к последним новостям, преимущественно из сферы домашней жизни ближайших соседей или знакомых; но этого рода разговоры совсем не удержались в моей памяти, да и были бы неинтересны для читателя. Другая тема — это рассказы о былом фамильном величии, о том, как отцы и деды не только по Вологде, но и в Архангельске гремели, какие в старину были простые и строгие нравы и что теперь таких людей уж нет.

— Бывало, у Денежкиных соберется человек двадцать девиц да молодцев; пляшут за полночь, да так на полу вповалку все и лягут спать; тогда глупости-то никому и в голову не приходили, не то что ныне; теперь за девками-то надо смотреть, да и смотреть. Да и рано же прежде выдавали замуж: матушка мне сказывала, что она еще целый год в куклы играла, а уж с первым ходила.

Тятенька, царство ему небесное, ух какой строгий был! От отца остался еще маленьким, у матери был нелюбимым сыном: она его потом благословила простой иконой да караваем черного хлеба, а младшего, Михайла Михайловича, серебряной да белым хлебом. Дедушка был первый по Вологде, только под конец разорился, отправив за море два корабля; а о них и до сего дня ни слуху ни духу. Вот тятеньке-то и пришлось начать жить в чужих людях. А какой капитал оставил, — ведь в год его смерти одной чистой прибыли было сто тысяч. Зато уж и гордый был! По зиме приедут из Архангельска браковщики, все за ними ухаживают да угощают, а он дальше передней их не пускает; только, бывало, и скажет: «Ступайте, смотрите». А чего смотреть-то, товар у него был всегда первый сорт, да и слову своему был настоящий хозяин; у него и в Архангельске товар

принимали не смотря; скажет, что в барках пятьдесят тысяч пудов, сейчас же полный расчет и получает. То же хоть бы и в Вологде, его и начальство уважало: бывало, встретит Христиана Ивановича — тогда за вице-губернатора был: «Милости просим, Христиан Иванович, запросто откушать». И тот всегда приезжал; помню его — такой худенький старичок был. А матушке-то тятенька только и скажет: «Завтра у нас Христиан Иванович будет, смотри не выйди стряпухой». — «Ах, батюшки мои светы, да чем же мы его угощать будем?» — «Глупая, разве у него дома еды нет, он ко мне приедет, а не наедаться». А теперь поди-ка, у Витушешниковых, даром что первые богачи, часто ли бывает Матафтин? — кажется, тоже вице-губернатор.

А в каком страхе да почтении всю семью держал — и не приведи бог; при нем не только сыновья или невестки, даже жена не смела сесть, пока не скажет: «Садись». Узнал он как-то, что старший сын Николай неладно живет: он в одну сторону, а невестка в другую погуливать стали. Вот он раз и велел им прийти в субботу обедать; после же обеда, как будто вместе мыться, и увел их в баню да там вожжами и поучил их, как надо жить. А из бани пришли, точно ничего и не бывало; потом уж долго спустя невестка как-то проговорилась. Другой раз прослышал он, что брат Александр, — женатый тоже был, — голубей завел; вот он его и послал на пожню — посмотреть, хорошо ли сено убрано, а вслед за ним сам приехал, да ведь как его отделал да все приговаривал: «Не дело купеческого сына голубей гонять!» Брат-то Александр долго потом все с опаской садился.

Но тоже покойничек, бывало, хоть и редко, а и сам сильно зашибал. Ну тогда первым делом всю семью соберет и велит песни петь; все стоят и песню за песней поют, иногда до рассвета. Я-то еще маленькая была; посадит меня к себе на колени, так, бывало, у него и засну. Вдруг как он заплачет, да и проговорит: «Все прахом пойдет!» Вишь, в сыновьях-то проку не видел, да и на матушку не полагался. Так ведь оно и сбылось, — продолжает рассказчица, — и трех лет не прошло после смерти Ивана Михайловича, как все и перебанкрутились; только Яков Иванович и уцелел, да и то потому, что женился на богатой уродине Окатовой, на которую раньше и смотреть не хотел.

— Ну, и у Шапошниковых капитал тоже был хороший, — отзывается хозяйка, — а в доме чего-чего не было: сколько икон в дорогих окладах, сундуки ломились от канфы да фанзы, одного бурмицкого жемчуга было более полупуда.

— Как же все это порешилось? — кто-нибудь спросит.

— Сам-то Иван Петрович был мужик крепкий, да не дал бог ему счастья в жене, слаба была до рюмочки; ничего с ней поделать не мог ни уговором, ни плетью. Умер он скоропостижно, дети были еще маленькие, приказчики все и растащили; вот Мизгиревы-то с тех пор в силу и вошли. Разве такое бы за мной дали приданое! — со вздохом заканчивала хозяйка (она была из дома Шапошниковых).

О слабости к водочке купеческих жен старого времени постоянно приходилось слышать; бабушка моя тоже этим грешила.

— Нет, уж теперь таких людей, как были прежде, не найдешь; да и торговля-то держится вся на обмане да на вывертах. В старину ни векселей, ни расписок не знали, а дедушка, бывало, просто для памяти зарубит на косяке да скажет: «Смотри, в срок не уплатишь — сотру зарубку». Приходит должнику срок платить, а денег почему-нибудь нет; вот он в ногах и валяется: «Батюшка Николай Васильевич, не стирай зарубку». А теперь что, хоть весь свой дом изруби, должник-то посмеется только.

III. ЕНЮШКА

Веселее всех в доме жилось Енюшке. Это был молодой дворянин, так лет за двадцать.

— От матушки-то, покойницы, Анны Миколаевны, царство ей небесное, — говаривал его верный слуга Пармен, — какое состояние ему досталось! С умом — как бы не жить. Деревня в семь дворов, мужики всё богатеющие, первые по нашей стороне, по пятидесяти рублей (ассигнациями) оброка со двора платили. При деревне — барский дом; чего-чего только не было в доме: одних икон сколько, всё в серебряных окладах; только одна была отбеленная (то есть посеребренная), так ту покойница в церковь завещала. Орган был, — заведешь его, он и играет, все равно что в трактире. Тоже две

пожни были, их кортомил здешний Дмитрий Иванович Кузнецов, сто рублей платил; да деньгами от Анны Миколаевны сот пять осталось, — покойница жила с расчетом. Все, голубчик, порешил, все пошло на хороводы да на платки и пряники девкам.

Кончил, это, училище, на службу-то поступать года еще не выходили; а тут через два года Анна Миколаевна и скончалась. Вот делать-то ему и нечего было; завел себе ружье да собачку, знай себе постреливает да на деревенских девок засматривается. Ну, пока Анна Миколаевна жива была, много-то разгуляться не на что было, а как схоронил ее, и пошли это вечёрки да хороводы; девки пляшут, а он знай себе на гармонике наигрывает. Вот теперь последнюю пожню продал. А добреющий! Как стал деревню продавать, мне-то вольную дал. «Ты теперь, Пармен, куда хошь можешь идти, ты — вольный!» А куда я пойду? Разве я своего барина кину. Только ведь у него и осталось — виноходец да я.

А все от его простоты, — продолжал Пармен, — весь в своего крестного, Владимира Васильевича; у того какое богатство было, ведь в Заозерье-то больше трехсот душ, и всё мужики исправные, — так, поди же ты, в плевки проиграл.

— Как в плевки? — кто-нибудь спросит.

— Очень просто. Играл, это, Владимир Васильевич в карты с Николаем Платоновичем, ну, выпивши, значит, был. «Что это сегодня игра какая скучная, совсем карты не идут, — это Владимир Васильевич-то говорит. — Давай, Николай Платонович, в плевки играть, так живее дело пойдет». — «Давай!» Это, значит, кто дальше плюнет. Ну, Владимир Васильевич двадцать тысяч и проплевал. После того от Заозерья и пришлось отступиться.

Енюшка показывался в доме каким-то метеором и всегда немного навеселе. Приедет на своем иноходчике, Пармен лошадь убирает, а Енюшка если не в трактир, то непременно на домовую ассамблею придет. Тут все ему рады; а у него в карманах пряники да бублики, всех сейчас же начнет угощать, самовар велит поставить.

И пойдет Енюшка рассказывать что-то, должно быть, очень веселое, потому что все заливаются смехом. А то возьмет гармонику и запоет «Среди долины ровныя» или «Вечерний звон». Поет он, — голосок у него такой тоненький, — а сам то краснеет, то бледнеет.

— Ты бы, Енюшка, спел что-нибудь повеселее, — бывало, молвит хозяйка.

— Что ж, Александра Федоровна, можно и повеселее, — отзывается Енюшка, — и пойдет «Как у наших, у наших у ворот».

Захаживал иногда Енюшка к матушке.

— Ох, Енюшка, Енюшка, как посмотрю я на твое житье, так-то становится горько; хороший ты человек, а себя не жалеешь.

— Э, Анна Ивановна, жизнь — копейка, голова — безделка, с голоду не умру; я уже и бумагу послал.

— Куда?

— На Кавказ, Анна Ивановна, на Кавказ; там наш брат нужен. Сейчас, это, или ты черкеса штыком, или он тебе — пулю в лоб. Я уже и сивка запродал, вчера пять рублей задатку взял.

Вскоре об Енюшке и слух всякий пропал.

Несколько лет спустя заходит к нам странник, перекрестился на иконы и сложил у порога котомку.

— Здравствуйте, матушка Анна Ивановна, чай, не узнаете?

Матушка долго и пристально всматривается.

— Да неужто это ты, Пармен?

— Я самый и есть, матушка.

Из дальнейшего разговора оказалось, что Пармен после отъезда Енюшки начал сильно тосковать; и места ему попадались хорошие, — не мог нигде долго оставаться. Стал он ходить по святым угодникам; но и тут тоска не проходила. Решил он пробраться на Кавказ.

— Может, и отыщу барина да погожусь еще ему; ведь у него, у бедного, ни роду, ни племени, каково это жить одному на чужой стороне!

И разыскал... могилу Енюшки; тот умер не от пули черкесской, а от какой-то болезни.

— И не довелось мне, сударыня, его, голубчика, повидать, и всего-то умер недели за две, как я добрался до того места. А сторона дикая: все горы да леса, а кругом народ некрещеный, черкес. Каково это было ему, бедному, умирать; на могилку-то и креста никто не поставил. — И слезы выступали на глазах старика.

— Куда же ты, Парменушка, теперь пробираешься?

— Бобыль ведь я, матушка, иду к отцу Иоанникию, может и примет в пустынь; ведь еще могу потрудиться на святого угодника.

IV. ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА

Если Енюшке до поры до времени жилось веселее других, то бремя жизни, казалось, всего легче несла Екатерина Степановна. Правда, капиталов у нее не водилось, рукодельем никаким не занималась, а жила и, по ее собственным словам, благодаря бога ни в чем нужды не знала. Как я уже сказал, она была, кажется, вдова-дьяконица; занимала Екатерина Степановна невозможно крохотную комнатку, род чуланчика теплого. Уголок свой она держала замечательно чистенько, все стены были заклеены разными картинками с конфект или чего-нибудь в этом роде. В одном углу стоял киот с иконами, а в другом, на полочке, была масса всяких безделушек, большею частью поломанных или по меньшей мере склеенных. Вместо кровати служил Екатерине Степановне большой сундук, и что в этом сундуке — никто не знал; только все были убеждены, что в нем разного добра немало. Всякий раз, как Екатерине Степановне доводилось за чем-нибудь сходить в сундук, она тихонько защелкивала свою дверь. Это еще более возбуждало интерес к содержимому сундука. Тоже и одевалась Екатерина Степановна опрятно; правда, никогда на ней нельзя было увидеть что-нибудь новое, но все было в порядке; да, впрочем, иначе при ее профессии и нельзя было. А профессия Екатерины Степановны состояла в следующем. Екатерина Степановна была живой календарь всех праздников, не только общих, но и местных, знала даже, в каком приделе какого святого и когда чествуют; а в Вологде ведь считалось до пятидесяти церквей. Затем она еще знала в известном дворянском кругу всех именинниц и именинников, дни рождения, панихиды — все почему-нибудь памятные в семье дни. Дома она появлялась только к вечеру, и в таком случае приходила в добром настроении; если же доводилось, что вернется вскоре после обедни, то непременно ко всем придирается, а уж ко мне — к первому, и только напившись чаю, не-

сколько успокаивалась. Но случалось наоборот, что и по нескольку дней не возвращалась домой.

«Уж такая добрая Фелисата Сергеевна, такая добрая, что и сказать нельзя; ведь едва отпросилась; осталась было у нее на денек — вишь, ей что-то непоздоровилось; ну, хоть у нее и три девушки, а все лишний человек не мешает, особливо ночью: девушки всё молодые, разоспятся и не услышат, как ей что понадобится. Ну, на другой день она и поправилась. Я было и стала собираться уходить. Куда ты?! «Останься да останься!» Еле ведь на пятый день отпустила».

А слушатель думал: «Наверное, Фелисата Сергеевна сказала: «Ну, матушка, пора и честь знать».

Вставала Екатерина Степановна раньше всех в доме и шла к заутрене, потом — к обедне, причем всегда выбирала такую церковь, где обязательно должна была встретить ту или другую именинницу или новорожденную. Смотря по рангу или особенной благосклонности известной особы Екатерина Степановна заказывала просфору и по окончании богослужения подносила ее вместе со своими поздравлениями и всякими пожеланиями.

Обыкновенно особа все принимала и тут же милостиво приговаривала: «Заходи к нам, Екатерина Степановна». Но иногда в один день оказывалось несколько именинниц или каких-нибудь других празднеств; тогда Екатерина Степановна, напившись чаю у наиболее важной «благодетельницы», обходила потом поздравить других и, смотря по степени их благотворительности, тоже подносила им просфоры или ограничивалась только одними поздравлениями. Просфора стоила две, три копейки, а ей благодетельницы редко давали менее десяти копеек, да еще чаем напоят, иногда оставят и пообедать; а в большие праздники что-нибудь из старья дадут.

И жилось бы Екатерине Степановне хорошо и неутрудительно, да были два обстоятельства, которые и ей давали чувствовать крест жизни.

Во-первых, у нее были конкурентки, и немало. А как-то уж само собою складывалось, что в каждом доме всегда одна которая-нибудь пользовалась особенным благоволением.

«Втерлась эта хитрюга, Иванова, к Фелисате Сергеевне; та по своей доброте ни в чем ей не отказывает: намедни муки ей послала, ребятишкам холста на рубахи

дала, а самой-то вчера платье подарила, и платье-то мало поношенное. Даже дворня вся дивуется, точно она ее приворожила. Только недолго всему этому быть. Знаю я про нее такую штучку, что близко двора не велят пущать».

А то придет Екатерина Степановна такая веселая, не только ко мне не придирается, а непременно пряник или конфетку даст. Торопливо ставит самовар и первым делом зазовет к себе матушку.

— Была я сегодня, Анна Ивановна, у обедни у Пятницы, память ведь приходится по Иване Николаевиче. Только смотрю, Петровой (конкурентки) не видно; дивно мне это показалось. Ну, конечно, была в церкви Фелисата Сергеевна, подхожу я к ней, подношу просфору, а она таково милостиво и говорит: «Спасибо, дорогая, поедем вместе, напейся у нас чайку». И посадила ведь с собой в возок. Ну, первую-то чашку изволила сама налить и послала мне в девичью; а потом туда принесли самовар, и все принялись за чай. Тут я и узнала, что в прошлый понедельник Петровой объявлено, чтобы не смела больше и близко дому показываться. Давно этого надо было ожидать.

— Да за что же?

— А зачем из дому в дом переносит; должно быть, брякнула где-нибудь про Фелисату Сергеевну, а до той и дошло.

А вот и второе: это грозное «ко двору близко не пускать» так же висело над головой Екатерины Степановны, как и всех ее сестер по профессии.

Газет тогда никаких не было; пожарами, страшными убийствами никто не интересовался, о банковских и биржевых крахах и понятия не имели; а что касается до казны-матушки да кармана обывателя, так ведь затем они и существовали, чтобы покрывать дефициты служилых людей. Однако любознательность к тому, что делается вне круга своего дома, существовала и тогда, только она направлялась, особенно у прекрасного пола, исключительно в сторону интимной жизни ближнего. Екатерина Степановна и ее сестры по профессии исполняли своего рода репортерскую службу преимущественно в дворянской среде. Не в меньшей степени проявляли любознательность и купчихи, но они сами ходили на базар, ближе стояли к прислуге и потому в репорте-

рах особенно не нуждались. Если и теперь репортерская профессия еще не пользуется у нас достаточным уважением, то в старое время Екатерину Степановну и ее сотоварок называли приживалками, — уж в этом слове чувствовалось что-то пренебрежительное; а мужская половина без стеснения называла их сплетницами, переносчицами и при всяком случае позволяла себе не только выказывать свое презрение, но и всяким образом над ними издеваться.

Благодетельницы благосклонно принимали поздравления, просфоры, но на этом не останавливались. За гривенники, чаи и куски праздничного пирога они требовали от своих клиенток самого обстоятельного отчета о том, что где делается. Теперь репортерская профессия требует большого труда, иногда даже связанного и с личным риском. Никакого труда не составляло Екатерине Степановне удовлетворять любознательность своих благодетельниц. В девичьей, распивая чай да закусывая именинным пирогом, она даже без особенного вызова с ее стороны узнавала все — от альковных тайн до содержимого денежного ящика. И вот Екатерина Степановна накроет чашку, поблагодарит благодетельницу, пройдет легким аллюром один, два квартала да там все и выложит, конечно кое-что и от себя присочинит, — самая профессия к этому естественно предрасполагала.

И вот, смотришь, в один прекрасный день раздается роковое: «Ко двору близко не пускать». Значит, дошло до Фелисаты Сергеевны, что некоторые не подлежащие огласке обстоятельства сделались общеизвестными, и притом не иначе, как по милости этой «дряни неблагодарной» Екатерины Степановны. Когда удар разразится, Екатерина Степановна несколько дней ходит совсем растерянная, не только ни к кому не придирается, но даже всех старается избегать; часто ложится в кровать, охает точно больная; неугасимая лампада теплится перед заступником Николаем чудотворцем. В первое время даже она не решается ходить в Пятницкую церковь, где обыкновенно бывает Фелисата Сергеевна; но пройдет месяц или два, она, как бы крадучись, заберется туда, потом издали начинает отвешивать почтительные поклоны Фелисате Сергеевне. Та сначала как будто их не замечает. Еще проходит некоторое время; между тем Фелисата Сергеевна не то что начинает скучать по Екатерине Степановне, а скорее ей

стала надоедать ее преемница (без таковой нельзя было обходиться, все равно что теперь без выписки другой газеты на место почему-нибудь прекратившейся). Наконец в один прекрасный день она милостиво ответит на поклон Екатерины Степановны. Это означало, что старое почти забыто. И вот в следующее воскресенье Екатерина Степановна решается подойти к Фелисате Сергеевне и поднести ей просфору и к великой своей радости выслушивает: «Заходи к нам».

Колесо жизни Екатерины Степановны входит в свою колею, и я по этому случаю получаю экстраординарный гостинец.

Екатерину Степановну никто в доме не любил, да и она особенно ни с кем не дружила. За глаза только и слышно было: «Ну, уж эта переносчица!», хотя лично за себя никто не опасался, так как в доме никаких секретов не было. И никто из посторонних не захаживал к Екатерине Степановне; хотя, кажется, у нее и были родные в городе, но, вероятно, знали, что ее дома не застать, а может быть, она с ними не в ладах была.

Но человек уже так создан, что без согревающего чувства любви жить не может; луча этого чувства не лишена была и Екатерина Степановна. Не проходило недели, чтобы она не приводила к себе Аринушку. То была старушка, нищенка, да еще «простенькая», то есть глупенькая. От всякого лакомого куска, который Екатерина Степановна приносила от своих благодетельниц, она что-нибудь отделяла для Аринушки. Приведет Аринушку, поможет ей сумку снять и торопливо примется самовар ставить. За чаем только и слышишь: «Да ты пей, Аринушка, пей, чего вздумала чашку накрывать; вот с этим-то кусочком». Тут и голос у Екатерины Степановны станет какой-то другой, ласковый такой, душевный. Уходит, наконец, Аринушка, вся раскрасневшаяся от тепла и обильного чая.

«Вот тебе, Аринушка, на свечку; да смотри же, непременно приходи в субботу к Покрову, чтобы мне тебя опять не искать по всему городу».

Случалось, что Аринушка приносила ей калачик; тогда радости Екатерины Степановны не было предела. Казалось, чего ни попроси Аринушка в эту минуту, ей

бы отказа ни в чем не было; но Аринушка была «простенькая», никогда ничего не просила.

А Екатерина Степановна, вспоминая об Аринушке, всегда приговаривала:

«Бог любит простеньких, Аринушкина-то молитва первее других до него доходит».

V. ИСПОЛИНОВ

Живем мы с матушкой у соборного звонаря; у него был двухэтажный дом в три окна; низ сдавался под постоялый двор, вверху жили хозяин с семьей да матушка, занимавшая комнату с особым входом и печкою. Наша комната была настолько невелика, что мы спали на полатях, а зимой так зачастую и на печке, — отлично спалось. Семья хозяина состояла из него самого с женою, трех дочерей и сына, учившегося в низших классах семинарии. Кроме того, годами у них было человек по семи квартирантов-семинаристов разного возраста. Им обыкновенно вся провизия доставлялась из дома, платили они не дороже одного рубля в год за квартиру, стирку белья и изготовление пищи. Как все размещались в трех небольших комнатах, я теперь и представить себе не могу. Звонарь был плох здоровьем, и место его заранее предназначалось сыну, которому, видимо, было не добраться до риторики. Тогда в семинариях было семь классов[1] с двухгодичным курсом; последние три класса назывались: риторика, философия и богословие. Стариков, естественно, озабочивала судьба дочерей, из которых старшей, Ольге Ивановне, было уже за двадцать лет; должно быть, от привычки белиться у нее преждевременно почернели зубы, что было очень заметно. Все три дочери в свободное время от хозяйственных дел усердно и до глубокой ночи плели кружева.

При нас проживал у звонаря добравшийся до философии Исполинов; он, видимо, не желал погрузиться в премудрость богословия; это бы еще не беда, а главный грех состоял в том, что Исполинов был прегорький

---

[1] Собственно, первые четыре класса назывались, как и теперь, училищем. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

пьяница; имея недурной голос, он кое-что зарабатывал в качестве певчего при разных церквах и все сейчас же пропивал. Одно время он подавал какие-то надежды жениться на Ольге Ивановне, а потом, очевидно, стал отлынивать. Старуха часто приходила к матушке и изливала свое горе на Исполинова.

— Тянет, Анна Ивановна, все тянет, а что у него на уме, и сообразить нельзя. У нас-то все готово, хоть сейчас в церковь идти.

— А как насчет денег?

— Да ведь он попервоначалу-то говорил, что как будет наше благословение.

— Ну, а теперь?

— Вишь, двести рублей серебром заломил, — меньше, говорит, не могу. А где мы их возьмем? Дом заложить или продать, — так ведь у нас еще две остаются. Ох, истомил он нас: каково сказать — целый год дело тянется.

Ольга Ивановна, видимо желавшая вкусить от радостей семейной жизни, часто бывая у нас, почти всякий раз просила матушку погадать на червонного короля. По картам ему выходила дорога, а насчет марьяжа карты как-то уклонялись от определенного ответа. Исполинов самое меньшее мог получить место диакона, а то, пожалуй, и приход где-нибудь в захолустье.

— Да ведь он любит выпить? — говаривала матушка в ответ на жалобы старухи.

— Многие ли из них не пьют-то, Анна Ивановна; а и то может быть: женится — переменится; вот Стратилатов, какой был прегорький, а вышел на место — и остепенился.

Вдруг Исполинов совсем забросил семинарию и стал пропадать из города по целым неделям. Это последнее обстоятельство крайне встревожило старуху.

«Непременно он ищет себе невесту с местом», — говорила она и, как за последнее средство, ухватилась за матушку: стала просить ее поговорить с Исполиновым, — может быть, совесть в нем и скажется. В такого рода делах от матушки никогда нельзя было услышать отказа. Ей как-то удалось затащить к себе Исполинова; она и раньше заговаривала с ним о женитьбе, но так — обиняком, теперь же решила поставить вопрос прямо.

— Что это ты, Семен Иванович, точно смеешься над стариками; водишь, водишь, а дела не решаешь, да и

девку-то пожалел бы. Чего тебе еще надо? Где твоей бесталанной головушке лучше найти? Ольга Ивановна девушка скромная, никто о ней дурного слова не скажет, работница в доме, да и из себя видная.

— А зубы-то черные? — с усмешкою отзывается Исполинов.

— Да ты разве на зубах, что ли, женишься? Ох ты угорелый! — строго выговаривает матушка.

— Никак это дело у нас состояться не может, Анна Ивановна; это точно, отчего не жениться на Ольге Ивановне, я хоть сейчас готов; только я прошу двести рублей серебром, а старики дают двести рублей ассигнациями (то есть в три с половиной раза меньше).

— Откуда им взять-то, были бы капиталы, не постояли бы за деньгами; да и к чему тебе деньги? Тебе нужна добрая жена. Что деньги, — продолжает морализировать матушка, — с деньгами только грех один: сегодня есть, а завтра нет; а жена-то ведь на всю жизнь.

— Как к чему деньги? — с живостью отзывается Исполинов, — да мне без двухсот целковых и поделать ничего нельзя. Первым делом сто рублей надо израсходовать в консистории, а потом на себя уйдет самое меньшее сто рублей.

— Ну, на себя-то тратить ты и повременить можешь.

— Как повременить, когда у меня, Анна Ивановна, кроме этого балáхона, ничего нет.

— Старик говорит, что Нордов (соборный протопоп) обещал ему и так все устроить.

— Это, Анна Ивановна, один только пустой разговор, — даром можно получить разве место причетника, да и за ним еще заставят походить; а потом и сила не в Нордове, а в секретаре и других членах.

Матушка чувствует всю неотразимость доводов Исполинова, но все-таки делает последнюю попытку.

— Пожалеешь ты, парень, потом, да уж будет поздно.

— Как хотите, Анна Ивановна, а мне без двухсот рублей обернуться никаким образом нельзя.

— Ну, а как насчет места?

— Да исходил, Анна Ивановна, чуть не весь уезд, даже побывал в Грязовецком; кажется, наклевывается священническое.

Двухсот рублей серебром у стариков не оказалось, а Исполинов действительно получил приход, женившись на дочери умершего священника. В деревне он окончательно спился и через несколько лет отдал богу душу. Ольга Ивановна же так и осталась в девицах.

VI. ЧИЖИКОВ. ЮРИСТЫ

Павел Иванович Чижиков, у которого матушка одно время нанимала квартиру, был помощником столоначальника в одной из палат. Ему было с небольшим за сорок лет, но выглядел он совсем стариком.

«Что жалованье, — говаривала его жена, — велики ли десять рублей; так ведь от одних доходов можно было бы жить; да, не будь его слабости, давно бы секретарем был, а уж столоначальником и наверное».

И правду она говорила: во всей палате не было такого знатока законов, как Павел Иванович; да только очень редко его можно было видеть трезвым. Угроз, что прогонят со службы, он не боялся, а уговоры, даже самого председателя, не особенно на него действовали. Случалось, что он по нескольку дней не выходил из дому; но вот из палаты один за другим являются гонцы.

— Александра Петровна (жена Павла Ивановича), да протрезвите, ради самого Христа, Павла Ивановича, самонужнейшее дело, председатель торопит докладом, губернатор требует дело.

— Подождут, — отзывался Павел Иванович на уговоры жены. — Дурак, а еще секретарь! Что председатель — колпак, бабник!

Тогда в Вологде было немало юристов, ходивших босиком и выкрикивавших на улицах: «А потому, по силе такой-то статьи» и т. д. Их в случае надобности обыватели зазывали к себе, старались вытрезвить (первым и вернейшим средством в таком случае считалась баня) и поручали составление прошений и разных бумаг. Из таких юристов особенно выделялся Вотский, должно быть высланный в Вологду за кляузничество. Какая бы ни была погода, его всегда можно было встретить в распахнутом халате, по большей части без шапки и в более

чем легкой обуви. Уличные мальчишки и побаивались его и любили подразнить. Вот идет Вотский, по обыкновению что-то возглашает, широко размахивая руками; он как бы не замечает задиранья мальчишек, которые толпой окружают его: кто дергает за халат, кто палку подсовывает ему под ноги. Вдруг Вотский хватает первое, что попадается под руку, и пускает в толпу; та мигом рассыпается; только более храбрые издали пускают в Вотского комками навоза, которого на улицах во всякое время сколько угодно.

Был у Вотского неизменный спутник, рыжеватая собака. Случалось, Вотский остановится перед какой-нибудь лавкой, скрестит руки и примет величественную позу.

«Шарик, церемониальным маршем! — И собака на задних лапах начинает обходить его. — Шарик, кто я? — Шарик отойдет на некоторое расстояние и затем почтительно ползет к нему. — Видите, — обращаясь к торговцам, восклицает Вотский, — тварь бессловесная и та понимает, кто я! А вы, алтынники, разве можете это чувствовать?»

Но торговцам несравненно больше доставляли удовольствия другого рода сцены. Уличные юристы, несмотря на одинаковость профессии и совершенное тожество образа жизни и вкусов, питали друг к другу открытое презрение и непримиримую ненависть.

— Что, Иван Степанович, взял со своим Перцовым, каково вас отчитали в суде, — остановившись у лавки, иронизирует Вотский, — писцы-то все как хохотали.

— Ну, проваливай, проваливай, — с сердцем отзывается из-за прилавка Иван Степанович, и сам сознающий свой промах, что положился на Перцова.

Но вот случается, что Перцов и Вотский как-нибудь встретятся в рядах; тогда все торговые, если только не базарный день, торопливо запирают выручку и высыпают на галерею. Завидя противника, Вотский останавливается и принимает вызывающее положение. Перцов много поменьше его ростом и на взгляд старше, держится с наклоном вперед, причем правая рука всегда за бортом чего-то вроде сюртука, точно всякую минуту готова достать бумагу из бокового кармана. Про Вотского ныне сказали бы: «Слишком полагается на свой талант, но как иногда способен сильно увлечь»; напротив, Перцов

имел бы репутацию: «Сух, мало трогает, но зато какой тонкий анализ, как ловко может на какой-нибудь детали срезать противника».

— Мразь подпольная, — восклицает Вотский, — долго ли ты будешь колпачить людей? Сгинь, эхидна! Зачем Ивана Степановича по всему суду на смех поднял.

— Мы на апелляцию подадим, — резко отзывается Перцов.

— На апелляцию!! — и презрительным хохотом заливается Вотский, — по силе такой-то статьи тут нельзя подавать на апелляцию.

— Нет, можно: такая-то статья гласит и примечание к ней...

— Нет такого примечания!

— Ан есть.

— Врешь, подлец!

Этого момента зрители только и дожидаются, так как Вотский от слов стремительно переходит к действию. «Молодец Перцов!», «Ай да Вотский, не спускай!» — и тому подобные поощрения слышатся из толпы. Единоборство обыкновенно продолжается недолго, так как оба противника не особенно тверды на ногах и кто-нибудь из них скоро валится на мостовую. Победитель, как благородный рыцарь, по принципу — лежачего не бьют, горделиво отходит в сторону.

— Вот так и в суде с ним расправляюсь. Примечания, примечания, а в голове-то понятия нет!

Редко в таких случаях, чтобы из числа зрителей не нашелся какой-нибудь меценат и не поднес победителю на шкалик.

Я был уже студентом, и как-то раз в Вологде мне пришлось быть с визитом у одной дамы; хотя она и была не совсем первой молодости, но все еще сохраняла репутацию крайне любвеобильного сердца. Я застал у нее председателя, того самого, о котором Чижиков был такого невысокого мнения. Мне показалось, что я помешал деловому разговору между хозяйкой и ее посетителем, и хотел было отретироваться.

— Пожалуйста, оставайтесь, — весьма любезно сказала хозяйка.

Некоторое молчание; его наконец прерывает председатель.

— Вы портрет послали Герну?

— Не только портрет, но еще и письмо. Это вам насплетничала ваша дочь: ей завидно, что Герн более обращает внимания на меня, чем на нее. Скажите пожалуйста! Не ревновать ли вздумал, старый дурак, — обращаясь к председателю, продолжает хозяйка, — тысячу раз, кому вздумается, тому и буду писать. — И затем прибавила еще несколько более чем лестных эпитетов по адресу своего собеседника.

Я опять пробую удалиться, но хозяйка останавливает меня.

— Вот, как отделаешь его хорошенько,— обращаясь ко мне, сказала хозяйка, — так на несколько месяцев он и будет точно шелковый.

Я все-таки под каким-то предлогом откланялся.

VII. ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Тетка уехала на продолжительное богомолье, и мы в течение нескольких месяцев домовничали в ее квартире, которую она нанимала у родного племянника, Ивана Николаевича. Он был неудачник: воспитывался тетками, оставшись после родителей малолетним сиротой; наследства у него никакого не было, так как отец умер банкротом. Когда Иван Николаевич стал подрастать, тетки отправили его в Петербург в мальчики; тогда, впрочем, отдавали в мальчики не только по бедности, но и ради коммерческой практики. Через несколько лет Иван Николаевич вернулся в Вологду; торговая карьера его почему-то не выгорела, но каким-то образом он выучился в Петербурге печь очень хитрые калачики — тонкие, такие рассыпчатые. Да еще вынес он из Петербурга некоторое пристрастие к водочке. Ну, конечно, в Вологде женился, кажется за женой взял небольшой домик на краю города. Калачики его имели успех, и мог бы он ими не только пропитываться, но и хорошо жить, да вот слабость к водочке мешала. Как теперь вижу Ивана Николаевича с коробком за плечами, — он сам разносил по городу свои калачики; сильно согнувшись, вроде

того как шарманщики, обходил он своих обычных покупателей, летом обыкновенно в синем суконном сюртуке, фуражке с большим козырьком, зимой — в нанковом тулупчике и старой шапке с жалкими следами меховой оторочки. Частенько случалось, что он не возвращался домой к обычному времени; тогда жена отправлялась на поиски и иногда находила его завалившимся в канаву; и, конечно, в таких случаях ни выручки, ни товара не оказывалось. Он, собственно, не столько был пьяница, сколько скоро хмелел. Вологодские пекари много раз спаивали его, чтобы вызнать секрет печенья, только этого им никогда не удавалось, — свой секрет Иван Николаевич сохранил до самой смерти.

Бывало, зазовет его матушка к себе да за чаем и начнет дружески журить.

— Ваня, Ваня, пожалей ты себя, да и семью (было трое детей).

— Несчастный я человек, тетенька.

— Да твое несчастье одно — твоя собственная слабость.

— А все оттого, что я несчастный человек; говорил я теткам: «Отдайте меня в училище», — так нет: только что в монастыре выучился грамоте да несколько писать, сейчас в Петербург и отправили. Отдали бы меня в училище, из меня бы мог человек выйти, — потому, тетенька, что у меня талант от бога.

— А зачем же ты в Петербурге у хозяина не оставался?

— Потому, тетенька, что не дело купеческого сына кули таскать, а ничего другого у хозяина не было; довольно с него, что пять лет спины не разгибал. А вот лучше скажите, тетенька, зачем меня тетка Маремьяна Ивановна обидела?

— Что ты выдумываешь, чем она тебя обидела?

— Как же не обидела? Ну, положим, после родителей никакого денежного капитала не осталось, а иконы-то куда девались? Ведь на одной матушке Одигитрии сколько было жемчуга, риза вся серебряная, а венец золоченый.

— Это ты говоришь про материнское благословение (то есть благословение его отцу от матери), а разве ты не знаешь, что родитель твой вместе с братом Александром всю невыделенную часть Маремьяны Ивановны по

ветру пустили; ведь ей следовало по выделу десять тысяч рублей, а она что получила? Отец твой перед смертью взял матушку Одигитрию в руки, да и говорит: «Сестра, возьми себе материнское благословение, прости меня, да будь вместо матери детям, призри их, сирот бедных». Маремьяна Ивановна сестру твою выдала замуж за хорошего человека да ведь тебя два раза снаряжала в Петербург, — триста рублей это стоило.

— А как же, тетенька, за Марьей Александровной такое приданое дали? Ведь банкротились-то вместе ее отец и мой.

— Марье Александровне приданое дали из ее материнского капитала.

— Ох, тетенька, кто тут разберет, из какого капитала.

В другой раз Иван Николаевич допытывается, куда девался Николай чудотворец.

— Икона была старого письма, — пояснял он, — за нее теперь староверы, пожалуй, дали бы тысячу рублей.

— Ну, уж и тысячу, — отвечает матушка, скептически покачивая головой.

— Верно, тетенька, они за старые иконы страсть какие деньги платят.

Кроме икон, была еще одна мысль, которая никогда не выходила из головы Ивана Николаевича, — это розыск наследств; матушка хорошо помнила родовую генеалогию, а потому Иван Николаевич часто советовался с нею.

— Тетенька, слышали, Никодим Петрович скончался: уехал к Макарью да там богу душу и отдал. Хороший у него был капитал, только вот детей не осталось.

— Да, у Никодима Петровича, царство ему небесное, крупный был капитал, еще от родителя перешло ему пятьдесят тысяч рублей.

— Кому же теперь все достанется?

— А племянникам, коли по завещанию не отказал в какой-нибудь монастырь или не назначил для раздачи по церквам на упоминовение души.

— То есть, с какой же это стати племянникам? Ведь капитал-то Никодима Петровича из рода Введенских, отец его пошел в силу после смерти брата бездетного,

а брат был женат на Введенской, Арине Михайловне, на ее приданое и торговать начал.

— Ну, Ваня, это было при царе Горохе.

— Нет, тетенька, купеческий капитал всегда можно разыскивать, — гореть он может, а тонуть ему не полагается.

Редкий год проходил, чтобы Иван Николаевич не волновался по поводу какого-нибудь наследства если не со стороны Введенских, то по жене; иногда он даже пытался начинать дело; конечно, из этого ничего не выходило. Раз приходит он к матушке.

— Правду о тебе, тетенька, говорят, что ты на аршин сквозь землю видишь; верно ты мне говорила: «Не начинай, Ваня, этого дела, с сильным не борись, с богатым не тянись».

— А что?

— Да зовут меня вчера в городовой суд. «Чего, говорю, вам от меня надо?» — «А вот объявить тебе «устыжение». — «Какое такое «устыжение»?» — «Слушай». И прочитали мне бумагу, что за явною неосновательностью моего прошения отказать мне. Да разве, тетенька, это решение? Дали Шапошниковы куму (секретарю), вот они и правы. Еще на прошлой неделе Перцов говорил мне: «Другая сторона тебя денежнее, только закон за тебя». А он, тетенька, законы-то знает как свои пять пальцев!

Но в особенное волнение пришел Иван Николаевич, когда умер Скулябин, которого, — справедливо или нет, не знаю, — в Вологде считали миллионером. Детей у него не было, близких родственников тоже; оставалась только жена с своими племянниками и племянницами. На сестре вдовы был женат когда-то дядя Ивана Николаевича, — вот какие были правовые отношения Ивана Николаевича к капиталам Скулябина.

— Такого богача, тетенька, как Скулябин, еще не бывало в Вологде; оно, конечно, в Москве и Петербурге Скулябиных даже и очень много, только по Вологде он был первый. Кому же теперь достанутся все его сокровища?

— А мудрено сказать... Должно быть, жене оставил, — отвечает матушка. — Ну, у нее в случае смерти все наследники налицо: Белозеровы; тоже и нашим — Ивану Александровичу и Пелагее Александровне —

будет своя доля. А впрочем, сам он нажил капитал, потому — как хотел, так и мог им распорядиться.

— А вот Перцов, тетенька, говорит, что если у купца не осталось сыновей и братовьев, то капитал идет по родословному дереву, да по коленам, да по степеням.

Матушка, конечно, законов не знала, но у нее был известный житейский опыт и достаточно здравого смысла.

— Охота тебе, Ваня, слушать пьяницу Перцова.

— Тетенька, — с живостью отвечает Иван Николаевич, — да ведь он все законы знает, ему в суде указывают на статью, а он насупротив ее десять приведет, — не знают, что ему и отвечать.

— Да уж ты, Ваня, не рассчитываешь ли на наследство после Скулябина?

— Нет, тетенька, мне самому-то и невдомек было, а вот Перцов говорит, что если за дело как следует взяться, то и нам с ребятишками может кое-что перепасть.

Изготовление калачиков на время было приостановлено, — теперь было не до них. Иван Николаевич с утра куда-то исчезал, что, однако, видимо не обеспокоивало его супругу, — та сама была в заметно приподнятом настроении. К вечеру Иван Николаевич возвращался, под хмельком, правда, но в достаточном обладании своими физическими силами. Так продолжалось, пока не была выпита последняя закладка чая и не кончился последний каравай хлеба, а квашню поставить не было муки. Понемногу жизнь вернулась в прежнюю колею.

— А хитрый народец эти Белозеровы, ишь какую механику подвели — Павел Александрович-то в душеприказчики пробрался! Перцов говорит, что теперь ничего поделать нельзя, несколько годиков надо подождать. Что же, тетенька, подождем, не мне, так ребятишкам все же что-нибудь достанется.

Иван Николаевич очень любил своих детей, но особенную нежность питал к своему сыну, лет трех, четырех.

— У меня Павлушка — голова, — с гордостью говаривал он, сидя на завалинке и гладя своего любимца по голове или утирая ему нос. — Как подрастет, непременно отдам его в училище, из него человек выйдет!

В этой утешительной надежде он, кажется, и умер.

VIII. ВИНА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА И БЕЛЯЕВ

— Ну, что, Ваня, каково рыбачил? — спрашивает раз матушка, завидя из окна возвращавшегося Ивана Николаевича с ведром в руках и удилищами на плече.

— А слава богу, тетенька; страсть сколько ныне рыбы; трех подъязков добрых поймал да четырех налимов, один будет фунта в три; хватила было щука, да сорвалась, проклятая, а должно быть, крупная была.

Иван Николаевич, имея домишко на самом берегу реки, был страстный рыболов; с этой страстью могло поспорить лишь то увлечение, с которым он по весне, во время сплава дров и леса, промышлял по части улавливания отшатившихся бревен и поленьев. На этот случай у него даже была своя лодка, и годами он таким манером набирал дров почти на целую зиму. Забавно было видеть, как иногда Иван Николаевич пригонит большущее бревно, — берег был с крутизной, лошади не было не только у него, но и поблизости, — а вытащить бревно и докатить до двора даже с помощью жены оказывалось не под силу. Возится Иван Николаевич, возится, даже совсем умается; видит, что дело надо отложить до утра — авось подвернется лошадь; и начнет укреплять бревно разными замысловатыми способами, чтобы в случае нечаянной прибыли воды не унесло его. А наутро, смотришь, и вода спала, и бревна не оказывается.

«Ишь, мошенники, наверно это Квашнины стащили; ведь лесина-то копеек тридцать стоила!» Плюнет Иван Николаевич, да и только: не пойдешь же по дворам спрашивать.

В летнюю пору спрос на калачики за отъездом господ по усадьбам сильно ослабевал; потому Иван Николаевич, не мешая своему главному заработку, мог довольно времени уделять рыболовству. И рыбы тогда годами «страсть сколько было»; но так уж обывательская жизнь складывалась, что и это непредосудительное увлечение Ивана Николаевича было отравлено значительной примесью горечи. Иван Николаевич, бывало, ловит, а все посматривает — не следит ли за ним недреманное око Михеича; а как почувствует, что клюнула добрая рыбина, то разом с радостью являлись два страха: как бы рыбина не порвала его нехитрую леску и как бы точно из земли не вырос Михеич.

— Беляев наказывал, чтобы непременно ты ему рыбы послал, завтра у него будут гости; ну, показывай-ка, что у тебя в ведре?

— А черт бы побрал твоего Беляева, да и тебя с ним! — с сердцем отзывается Иван Николаевич. — Что я за поставщик для него!

Хотя Михеич и был в данном случае, выражаясь теперешним языком, «при исполнении официальных обязанностей», но в те отдаленные времена некоторая свобода в излиянии чувств не ставилась в вину обывателю, и протоколов по этому поводу не составлялось.

— Ну, ты много-то не разговаривай, — спокойно отвечал Михеич, запустивши руки в ведро; вытащит оттуда что покрупнее, да иногда и для себя захватит какого-нибудь щуренка.—Еще барыня говорила: калачики все вышли... Чтобы принес их.

И несет Иван Николаевич калачики, как поступается крупной рыбиной, ибо знал за собой вину, и притом вину тяжкую, прародительскую: его ветхий домишко стоял не «по плану» и давно был предназначен к сломке.

«Да разве я его, тетенька, строил? Ведь дому-то, сказывают, более ста лет. Чего же тогда смотрели? — говорит Иван Николаевич, только что удостоившийся визита Михеича, который вручил ему бумагу за подписью Беляева, что возбраняются какие-то неотложные поправки, предпринятые Иваном Николаевичем.

Все это, тетенька, одни прижимки Беляева; на той неделе посылает ко мне, чтобы я испек ему большой именинный крендель; да разве я булочник? — это их дело, а не мое; а что в нашей части нет булочников, так я, тетенька, не виноват».

А вот у Матрены — вдовы-мещанки с тремя детьми — так, собственно, и вина-то была самая пустячная: чтобы кормиться, она торговала с лотка разными общедоступными яствами и квасом.

«Нечего бога гневить, — говаривала она, — никакого худа от Беляева не видала. Снесешь это ему о рождестве да на пасхе по рублевику, ну и знать его больше не знаешь; разве летом, проходя мимо, скажет: «А угости-ка меня, Матрена, кваском». — «С удовольствием, ваше благородие». Ну, нальешь ему кружечку, выпьет, да еще похвалит.

А вот этот толстопузый, — речь идет о Михеиче, — во где у меня сидит, — указывая на горло, с ожесточением продолжает Матрена.—Ведь каждый день норовит что-нибудь стащить, да еще роется—подавай ему непременно свежую печонку, а как ждет свою подлюгу Дуньку, то и пирога с рыбой. Чтоб ему, злодею, пусто было!»

А на самом деле Михеич совсем не был злодей. Красив он был, когда, в ожидании проезда начальства, с аннинской медалью на груди стоит перед своей будкой, держа в руках алебарду. Последняя очень шла к его приземистой и коренастой фигуре с изрядным брюшком, его мужественному лицу с сизоватым носом и щетинистыми усами, сливавшимися с подбритыми бакенбардами. А как он ловко проделывал этой алебардой «на караул»! Сейчас видно было старого служаку. По правде сказать, и грешно было Михеичу забыть этот артикул; ведь от него по службе почти больше ничего и не требовалось. Конечно, существовала даже печатная инструкция о правах и обязанностях Михеича, экземпляр каковой и был вручен ему при его водворении в будке; но Михеич знал только, что есть «для порядка» будка, значит должен быть и будочник; а затем знал еще, что место ему дано, чтобы было чем кормиться. Михеичу полагался паек и какие-то «третные»; мука и крупа, доходившие до него, даже в нем, не избалованном гарнизонным хлебом, нередко возбуждали вполне основательный вопрос: на что они могут быть пригодны? Что же касается до «третных», то Михеич в них регулярно расписывался, но никогда и в глаза не видал.

Не виноват же он, что в его участке торговала Матрена, и притом только она одна; водилась, правда, еще мелочная лавочка Петра Ивановича, так ведь Михеич без табаку и чаю жить не мог. А так против Матрены он решительно ничего не имел и за глаза всегда о ней говорил: «Трудится, старательная баба».

Настоящим благодетелем Михеич считал откупщика, попечения которого в нисходящей линии доходили и до него. Михеич получал ежемесячную дачу натурой, которой ему при его умеренности в спиртных напитках не только хватало для своего потребления, но и Авдотью угостить, курносую вдову-солдатку, занимавшуюся тем, что ходила по домам полы мыть. Пока Михеич был на заправской службе, мысль о прекрасном поле ему и в

голову не приходила; а теперь, как дня три не видит Авдотьи, так уж и начинает волноваться.

«И куда это ее нелегкая запропастила?» — поминутно думается ему.

По инструкции полагалось Михеичу день и ночь пребывать в неослабном бдении; но так как против этого резонно восставали законы природы, то Михеич ночью крепко спал, особенно когда удостоивался визита Авдотьи, а днем, если был свободен, то есть не имел каких-нибудь хозяйственных поручений от Беляева или его барыни, вечно что-нибудь чинил из своей амуниции; впрочем, постоянно был настороже, чтобы не прокараулить начальство, — алебарда всегда под рукой. Под вечер Михеич делал обход своего участка, тщательно осматривая все канавы и пустые заборы — не валяется ли где-нибудь упившийся обыватель. Если таковое тело оказывалось, то Михеич прежде всего подвергал самому внимательному осмотру обывательские карманы — не содержится ли в них табачного зелья или каких-нибудь трех, пяти копеек. На то и другое Михеич предъявлял свое бесспорное право, все равно как Иван Николаевич на отшатившиеся бревна и поленья. А затем оставлял обывателя просыпаться. В зимнюю пору операция обхода значительно усложнялась; карманы обывателя, конечно, подвергались обычному исследованию, но затем возникал вопрос: что делать с обывательским телом? Запустит Михеич всю свою пятерню в обывательские волосы и начнет полегоньку встряхивать; иногда от этого эксперимента обыватель быстро приходил в чувство, поднимался на ноги и, как стрела, исчезал в пространстве. Но случалось, что никакие воздействия не пробуждали обывателя. «Ишь, собачий сын, как нализался», — с сердцем проговорит Михеич, видя тщету своих усилий, и потащит за что попало обывателя к себе в будку.

Надо, впрочем, сказать, что уразумение своего положения не сразу далось Михеичу; попервоначалу он несколько буквально понял, что поставлен «для порядка», — ну, и наскочил на рожон. Раз, уже за полночь, шла компания — протодиакон, ключарь да учитель гимназии Назарьев; все были в том градусе, когда громогласное пение, хотя бы и не особенно благозвучное, является естественным выражением несколько приподнятого настроения. Ночь была темная, а Михеичу точно

нарочно почему-то не спалось. Пение в неурочный час показалось ему нарушением порядка; он вышел из будки, захвативши с собою алебарду, и стал приглашать компанию замолчать. В ответ на это алебарда была тотчас же изломана, а сам Михеич настолько избит, что замертво остался на месте... Дело получило огласку; им заинтересовался губернатор; учитель Назарьев принужден был оставить гимназию; но лично для Михеича оно кончилось двухмесячным лежанием в больнице да наставлением от Беляева, что надо соразмерять ревность к порядку с положением людей. Одно время Михеич надеялся было хоть что-нибудь получить с обидчиков; но те, уплатив приличный куртаж Беляеву, считали себя совершенно свободными от каких-нибудь обязательств по отношению к Михеичу.

— Думаю, тетенька, сходить к Николаю Михайловичу, чтобы заступился, а уж коли он не заступится, так хоть пропади моя головушка.

— Что ж, Ваня, сходи к Николаю Михайловичу; он ведь — сила, его сам губернатор уважает.

Действительно, Николай Михайлович Мясников занимал в Вологде совсем исключительное положение. Ведя сравнительно не особенно большое дело бакалейным товаром и виноградными винами, он еще с молодых лет был хорошо принят в дворянском кругу, а с годами, пользуясь репутацией умного и безупречно честного человека, стал обязательным советником во всех трудных и нередко щекотливых семейных делах. Хотя он, кажется, дальше приходского училища не пошел, но для своего времени, а главное для его среды, его можно было назвать даже человеком выдающимся по образованию; он много читал в молодости и любовь к чтению сохранил до старости. К тому же он не хуже любого палатского секретаря знал законы. И в городском обществе Николай Михайлович был авторитетным человеком. Если его и не выбирали в городские головы, так только потому, что тогда для этой должности непременно требовался крупноденежный человек; зато Николай Михайлович почти бессменно отправлял судебные должности по городскому управлению. Это, однако, не избавляло его от особенных поручений, которые зачастую возлагали

на него губернаторы, когда в городском голове не находили достаточно толкового человека.

Николай Михайлович с давних пор был близок с Введенскими, знал Ивана Николаевича, даже оказывал ему существенную поддержку в летнее время, забирая для лавки калачики. И тем не менее, выслушав теперь Ивана Николаевича, прежде всего прочел ему строгую нотацию, что не умеет жить с начальством.

— Кажется, ты не маленький, Иван Николаевич, должен бы знать, что с начальством всегда надо жить в ладах.

— Да помилуйте, Николай Михайлович, — оправдывался Иван Николаевич, — ведь я не булочник.

— Что ж что не булочник, все-таки мог бы испечь калач, Беляев тебя и не трогал бы.

Иначе и не мог отнестись Николай Михайлович. Сам он, не имея ни подрядов, ни каких особенных дел, которые ставили бы его в особо зависимое отношение к начальству, неукоснительно раз навсегда исполнял заведенный порядок: в рождество, пасху и именины посылать полицеймейстеру, частному приставу и квартальному обычное приношение натурой, и притом в таком размере, чтобы у них не было искушения делать экстраординарные экскурсии в его лавку. В одном он только был скуп — в денежных подачках в виде займов. Но и тут прибегал к политике: вечно жаловался, что по своей торговле едва сводит концы с концами; а когда ему приходилось выдавать замуж одну из своих многочисленных племянниц или женить племянника, — сам он был холостяк, — то, бывало, всем прожужжит уши оханьем, да аханьем, да разговором, что не знает, как и справиться. А на самом деле он всегда был при деньгах, хотя и не особенно крупных.

Благодаря заступничеству Николая Михайловича туча, нависшая над Иваном Николаевичем, на этот раз прошла стороной; а так как с этих пор он уже не позволял себе забывать свои обывательские обязанности, то домишко его и простоял еще с десяток лет.

Несмотря на то, что Беляев был только частным приставом, это была фигура очень видная в Вологде; его не только все знали, но и все считали «докой». Михеич

же просто благоговел перед ним, не иначе выражался о нем, как «наш сокол», и готов был идти за него в огонь и воду. Тогда Беляеву было лет под пятьдесят; начал он службу рано, на пятнадцатом году, писцом в никольском земском суде, обнаружил не по летам способности и служебное рвение, так что через год уже попал под суд за взятки. Под судом он был постоянно; только что выпутается из какого-нибудь дела, как начинается новое. Это, конечно, сильно затрудняло его служебную карьеру; лишь по коронационному манифесту 1856 г. удалось ему очиститься от всех тяготевших на нем прегрешений; тогда он покинул полицейскую службу и остаток своих дней мирно дослуживал асессором в одной из палат. Обыкновенно всякий губернатор по водворении своем в Вологде одним из первых дел ставил себе отчисление Беляева от занимаемой им должности частного пристава; но проходило немного времени — учащались воровства, случалось какое-нибудь загадочное преступление,— и тот же губернатор под давлением окружающей среды восстановлял Беляева на прежнем месте. Сейчас же воровства как-то сами собой входили в обычную норму, а загадочное преступление скоро раскрывалось. После этого до приезда нового губернатора Беляев мог быть уже совершенно спокоен, а Иван Николаевич должен был неукоснительно поставлять ему рыбу и калачики.

И трудился Беляев, то есть приобретал, не зная отдыха; но и его жизненный путь был усыпан терниями. Почти все, что он ни добывал, — все уходило на губернское правление, да на суд и палату. Рублевок Матрены, натуральных приношений Ивана Николаевича и прочей обывательской братии хватало ровно настолько, чтобы прожить, ни в чем нужды не зная и выполняя обязательное гостеприимство и хлебосольство; но Полянины, Замочкины и другие требовали настоящих карбованцев. В части Беляева были всякого рода торговые ряды и много разных заведений; но ведь тогда санитарные протоколы еще не были известны, поджоги застрахованного имущества за несуществованием самой страховки не имели места, а убийства и крупные воровства с открытием поличного — настоящий клад для Беляева — случались, конечно, не всякий день. Беляеву приходилось

напрягать все силы своего ума, чтобы утолять жажду до карбованцев Полянина и Замочкина и хоть что-нибудь откладывать себе на черный день. Как тут было уберечься от риска и опять не попасть под суд, то есть в лапы Полянина и Замочкина с братией. И он доходил в этом отношении иногда до виртуозности в расчете на обывательскую темноту и вечное сознание вины перед начальством.

Попадается ему раз Степан Парамонович, еще кум его.

— Здравствуй, Степан Парамонович! Что, кум, невесело смотришь? — так впоследствии рассказывал сам Беляев, вспоминая свои трудные годы.

— Да отчего веселому-то быть, ведь легко сказать — тысячу карбованцев потерял.

— Как потерял?

— Очень просто, как теряют, — должно быть, обронил на улице.

— Ах, кум, кум, вот так беда. Что ж, подал объявление о потере?

— Нет, а что?

— Да поискали бы, уж особенно для кума-то постарались бы; может быть, на твое счастье и нашли бы.

Идут, это, разговаривают, а тут и часть перед ними. Вот Беляев и зазвал Степана Парамоновича в часть. Там ему живо написали, как надо, по форме, объявление о потере денег; Степан Парамонович подписал его. Взял от него Беляев объявление, перечитал, да и говорит:

— Так. А зачем ты, кум любезный, не подал это объявление в узаконенный срок?

— Какой такой узаконенный срок? — смущенно спрашивает Степан Парамонович, уже чуя какую-то беду.

— По силе такой-то статьи тебе следовало сделать объявление в такой-то срок, а ты уж два срока пропустил. А знаешь, кум, чем это пахнет? — Да как стал я его из статьи в статью гонять, до каторги и довел.

— Отдай назад бумагу, — просит Степан Парамонович.

— Нет, брат! Умеете вы нашего брата подводить, да и сами тоже попадаетесь. — Ну, на двухстах карбованцах и помирились.

— Только у меня с собой денег нет; ты уж, кум, поверь на слово, — вот дойду до лавки, сейчас же и пришлю.

— Зачем приказчиков от дела отрывать; пиши в лавку, чтобы с посланным доставили двести рублей.

Дело благополучно покончено, деньги в руках Беляева, а бумага возвращена Степану Парамоновичу.

— Теперь, кум, пойдем ко мне чай пить; каким, брат, я тебя ромом угощу, так ты такого и не нюхивал.

А до рому Степан Парамонович был охотник. Вот за чаем Степан Парамонович и говорит:

— А по чести сказать, кум, подлец же ты; ну, скажи на милость, за что ты с меня сорвал двести рублей?

— Вот как вы неправильно судите. Знаешь ли ты, что мне позарез нужны четыреста рублей: послезавтра доклад по моему делу, а Замочкин на беду в карты проигрался, два раза посылал — вот ему вынь да выложь четыреста рублей. Еще пожалел тебя, как кума и хорошего человека, что согласился на двести рублей; а ты меня за это подлецом называешь.

Обыватель, однако, не входил в такие резоны и стоял на одном: только попадись в руки Беляеву — обчистит как липку.

IX. БОЛЬШОЙ НАЧЕТЧИК

Праздничный день; матушка удостоивается визита Дмитрия Ивановича, — его жена приходилась ей племянницей. Дмитрий Иванович родом был из Тотьмы, из старинной купеческой семьи, но, кажется, еще при его отце их торговые дела уже были в упадке. Начал он свою карьеру мальчиком в Сибири и там постепенно дошел до обозного приказчика; приезжал в Вологду на побывку, женился на племяннице Скулябиной и опять отправился в Сибирь. Тогда не только простые приказчики, но даже управляющие крупными делами получали до смешного маленькое жалованье, да и его не у всякого хозяина решались спрашивать; но все с годами составляли себе капиталец и по большей части заводили свое собственное дело. Так было и с Дмитрием Ивановичем; сколотил он пятнадцать тысяч рублей и отошел от хо-

зяина, да на беду увлекся золотым делом и скоро прогорел.

«Вишь, вместо золота, — говаривали о нем в Вологде, — нашел медную руду».

После этой неудачи Дмитрий Иванович окончательно перебрался в Вологду. Здесь, пользуясь поддержкой богача Скулябина, пытался начинать разные дела; так, одно время открыл было чайный магазин, первый в Вологде как специальная торговля; но из всех его начинаний кроме убытков ничего не выходило. Теперь у него никакого дела не было; так, по временам «базарил», то есть по мелочам покупал овес и лен, с тем чтобы перепродать. Но так как женин дом и большие амбары, сдававшиеся под склад хлеба, уцелели от разных катастроф, то жить, хотя и скромно, было чем. Кроме того, оставалась надежда на наследство после Скулябиной.

В обывательском кругу, несмотря на свои неудачи в торговых делах, Дмитрий Иванович пользовался значительным уважением. Он был старинного рода, а это очень и очень ценилось; к тому же в личной жизни Дмитрий Иванович был человек вполне безупречный, хороший семьянин, не пьяница, не мот. Но главное, что его выдвигало из общего уровня, так согласное мнение всех обывателей, что он—«большой начетчик»—не только о божественном говорит все равно что по книге читает, но и все знает, о чем его ни спроси. В летнюю пору, да еще в затишный день, в торговых рядах и хозяева и приказчики, чтобы скоротать время, по целым часам играют в шашки да крестят рот, лениво позевывая. Но стоит, бывало, показаться Дмитрию Ивановичу, и вокруг него сейчас же собирается оживленная компания, а затем уже и раздается его внушительный голос: «Иоанн Златоуст говорит», или: «Один ученый немец»... Интересно, что, придавая вере — точнее сказать, самобытному обывательскому пониманию ее — не только первенствующее значение, но и чересчур расширенную роль, Дмитрий Иванович в то же время с большим почтением относился к науке, хотя и трудно сказать, что он под ней понимал.

«Учись, молодец, — бывало, говаривал он мне, когда я был уже в гимназии, — произойди всю науку; великое, брат, дело — наука, человеком станешь».

«Человеком станешь» — это, несомненно, надо понимать в том смысле, что пробьешь себе житейскую карьеру.

Наука у Дмитрия Ивановича была неразрывно связана с представлением о немце.

— Да ты что все на немцев ссылку делаешь, — бывало, замечали ему в рядах, — а скажи-ка лучше, что наши русаки об этом говорят.

— Наши до этого еще не дошли, — отвечал обыкновенно Дмитрий Иванович, — по времени дойдут, до всего дойдут, только пока еще в науке немец верх берет.

Иван Николаевич, зачастую очень резко критиковавший торговую деятельность Дмитрия Ивановича, — «с такой заручкой, как Скулябин, какое бы дело мог развести!» — тем не менее, и, видимо, не без некоторой зависти, признавал бесспорное умственное превосходство Дмитрия Ивановича.

— И где это он, тетенька, всей этой премудрости набрался?

— Да ведь у него отец был умнейший человек; Дмитрий Иванович-то за заслуги отца (по открытию мощей св. Феодосия Тотемского) даже выхлопотал себе потомственное почетное гражданство.

Не менее характерна была у Дмитрия Ивановича наклонность — довольно, впрочем, распространенная у тогдашних грамотеев-обывателей — не только к своеобразному истолкованию того немногого, что они знали, но и к фактическому дополнению его из какого-то неизвестного источника, вероятнее всего — из своей собственной головы. И думаю, что это делалось по совершенно добросовестному предположению, что непременно дело так должно было быть.

Раз как-то тетка, вернувшаяся из Петербурга, куда она частенько ездила, спрашивает Дмитрия Ивановича, отчего это в Петербурге так много немцев.

«А видите, тетушка, — не задумываясь отвечал Дмитрий Иванович, — когда царь Петр отвоевал у шведов ту землю, где теперь Петербург, народу там никакого не жило, а место было удобное для заграничного торга; наши в ту пору с этим делом были незнакомы. Вот царь Петр и кликнул клич к немцам: кто, мол, на этом месте оснуется, того на пятьдесят лет освобождаю от всяких

податей, а от рекрутчины — навсегда. С тех пор немцы там и живут».

Самая наружность Дмитрия Ивановича немало импонировала на слушателя; я никогда не замечал, чтобы он не только смеялся, но даже улыбался; говорил он уверенно, тоном, не допускавшим возражений; если слушатель пытался вставить свое противоречивое слово, он резко обрывал его: «Уж вы, пожалуйста, не путайте, — в священных книгах сказано», или: «Ученые люди говорят»...

И таков был общепризнанный в обывательской среде авторитет Дмитрия Ивановича, что никому и в голову не приходило спросить: а в каких это книгах, или какие ученые? Да, впрочем, и прийти не могло, по той простой причине, что из книг обыватель знал только часослов да некоторые еще псалтирь; что же касается до ученых, то лишь немногие из обывателей слыхали, что был Ломоносов, хоть и из простых архангельских крестьян, но такой ученый, что жил в Петербурге и ему за его ученость от царя жалованье шло.

После обычных приветствий, поздравлений с праздником и взаимных вопросов о здоровье матушка вышла в сени и принялась спешно ставить самовар; я остался один с Дмитрием Ивановичем и еще плотнее уткнулся в угол; его строгий взгляд, сведенные и нахмуренные брови вместе с резким тоном разговора всегда приводили меня в большое смущение.

— А ты, молодец, каково поживаешь? — спросил меня Дмитрий Иванович, запуская в нос добрую щепотку табаку. — Что это у тебя на щеке?

Я было уже собрался ответить: «Так, поприччилось», как вошла матушка, — из сеней она слышала вопрос Дмитрия Ивановича.

— Вот второй месяц как у него этот нарывчик, все не подсыхает; я уж и луковку печеную прикладывала, да что-то не проходит.

— Надо, тетушка, помазать сметаной и дать собаке хорошенько вылизать.

— Вот еще что выдумал, дам я свое дитя собаке лизать.

— Вернейшее средство, тетушка, я это вычитал в

ученейшей книге; там прямо сказано, что у собаки семь лекарств на языке. Вот шерсть у нее, точно, нечистая, потому ее и нельзя пускать в церковь. А о кошке там же говорится, что у нее язык поганый, зато шерсть чистая, так что, если кошка не только в церковь заберется, но даже на престол сядет — это ничего... А это вам, тетушка, — и что-то торопливо передал матушке, должно быть чай или сахар.

Дмитрий Иванович иногда помогал матушке, но всегда это делал так, чтобы не знала его жена, женщина замечательно скупая.

Между тем подошел Иван Николаевич.

— Здравствуйте, сватушко, — сказал он, предварительно поздоровавшись с матушкой.

— Здравствуй, Иван Николаевич,— ответил Дмитрий Иванович, относившийся несколько свысока к Ивану Николаевичу за то, что он — «непутевый человек», а тот, в свою очередь, соблюдая все наружное почтение, не пропускал иногда случая, особенно если был несколько навеселе, так или иначе завести разговор насчет Сибири и при этом спросить, часто ли там вместо золота находят медь, на что и получал от Дмитрия Ивановича резкий ответ: «А хочешь знать, так отправляйся сам в Сибирь».

— А вот, тетенька, вчера я слышал от брянчаниновского повара, что будто холера идет; может быть, пустое болтают; вы, Дмитрий Иванович, ничего не слыхали?

— Это точно есть слух о холере, но она еще очень далеко, бог даст, и не доберется до Вологды, — ответил Дмитрий Иванович, — однако губернатор уже призывал городского голову, строго наказывал ему насчет чистоты и чтобы в случае чего все сейчас же за доктором посылали. Только, тетушка, против холеры — боже нас упаси от нее — никакие доктора ничего поделать не могут; тут вся надежда на одну царицу небесную да на молитвы афонских монахов.

— Почему же афонских монахов, разве у нас мало своих святых угодников? — с некоторою обидой заметил Иван Николаевич.

— Вся земля только и держится молитвами афонских монахов, — с особенным ударением проговорил Дмитрий Иванович. — Она, матушка, лежит на спине кита; чтобы он как-нибудь не пошевелился, афонские монахи должны

день и ночь молиться; остановись они хоть на одну секунду — кит сейчас же зашевелится, ну, земля и опрокинулась бы.

Перед возможностью такого фатального исхода Иван Николаевич призадумался и мог только выговорить:

— Дивны дела твои, господи!

— Тоже насчет холеры...— продолжал Дмитрий Иванович. — Прежде мало ли что о ней болтали, особенно бабье необразованное, но теперь доподлинно известно, что такое холера и откуда она берется. На море, тетушка, не так далеко от Афона, есть такое место, что вдруг из воды гора поднимается, а из горы вредоносное испарение исходит; в которую сторону понесет это испарение, там холера и бывает. Только эта гора долго не держится — так, может быть, с минуту, и опять опускается в пучину морскую. Вот афонские монахи и стерегут; как заприметят, что гора показалась, так сейчас же и подымают царицу небесную, — и куда бы до того времени ветер ни дул, в то же мгновение и повернет испарение в ту сторону, где неверные живут... Так вот, Иван Николаевич, что значат афонские монахи, — многозначительно заключил Дмитрий Иванович. Подумавши с минуту, однако, прибавил: — А тоже — на бога надейся, да за собой наблюдай.

— А я, тетенька, думаю, — вставил свое слово Иван Николаевич, — что кому на роду написано умереть, так что бы он ни делал, ему Горбачева (ближайшее кладбище) не миновать.

В противоположность Дмитрию Ивановичу, который без устали мог говорить о предметах, вызывающих на размышление, Иван Николаевич при его фаталистическом воззрении имел наклонность быстро переходить в решительный сенсуализм.

— Коли холера по лету подойдет, нипочем будут огурцы и ягоды, — не без удовольствия заметил он.

— Что вы, тетушка, делаете! — вдруг почти закричал Дмитрий Иванович, заметив, что матушка собирается полоскать его чашку. — Ведь весь букет, что на дне чашки, выполощете.

— Ах, прости, Дмитрий Иванович, совсем и забыла, что ты этого не любишь. А вот скажи, пожалуйста, правда ли, что чай на свином сале поджаривают? В прошлую пятницу была я у Ушаковой, так меня-то она

угощала чаем, а сама не пила, говорит: грешно — постный день.

— Да ведь она, тетушка, по секрету, старой веры придерживается. Уж я-то чайное дело знаю, самих китайцев допытывал, — ни на каком сале чай не поджаривают. Пустое болтают староверы, все это от своей закоснелости и необразования.

Хотя в самой Вологде настоящих староверов, то есть явных, кажется, и не было, но нередко встречались придерживавшиеся кой-чего из запретов древнего благочестия; у иных это бессознательно сказывалось в некотором смущении относительно табака, отвращении от мяса животных «без раздвоенных копыт», рыбы без чешуи и т. п. Иван Николаевич любил свертывать «цигарку», а нет-нет его и брало сомнение: не вырос ли табак от некоей непотребной блудницы; его даже не успокаивало уверение Дмитрия Ивановича, что табак — трава безгрешная и нюхать его даже очень полезно, так как оттягивает от головы дурные соки. Покуривает, бывало, Иван Николаевич свою «цигарку» да вдруг и проговорит: «За все на том свете придется ответ держать»: «А курил ты, Иван Николаевич, табак?» — «Грешен». — «Ну, так поди же в пекло, там для тебя черти раскурку приготовили».

Раз как-то в воскресенье, после обедни, собрались в монастыре у тетки Марьи Ивановны — она капиталисткой слыла — матушка со мной, Дмитрий Иванович и Иван Николаевич. За чаем Иван Николаевич и говорит:

— А что, сватушко, с кем это война идет?

Но здесь я позволю себе сделать небольшое отступление.

По части внутренней политики, выражаясь теперешним языком, тогдашний обыватель знал, что есть поляки, но они «Варшаву проспали», и теперь их бояться нечего; знал еще, что где-то далеко — на Кавказе — водятся черкесы, бедовый народец, но им «наши» тоже спуску не дают; об евреях, конечно, всякий твердо помнил, что они Христа распяли, но где они теперь и чем занимаются, этим никто не интересовался. Настоящую внутреннюю

политику для обывателя составляли подушные, постойные, рекрутские наборы, всякое божеское попущение и, как замыкающее звено в этой цепи, Беляев и К°. Что касается до политико-географических сведений о чужих странах, то и их совокупность тоже была не особенно велика. Обыватель знал, что есть немцы, — все доктора из немцев; потом французы, — те были в двенадцатом году в Москве; да есть еще неверные турки, то ж агаряне, — за грехи наши град Христов у них в руках; знали обыватели еще поговорку: «Пропал, как швед под Полтавой», но все ли шведы извелись в ту пору, или и теперь водятся, об этом обыватель не задумывался. Даже обыватели, имевшие дело с Архангельском, по части историко-географических сведений оказывались не особенно далеко ушедшими от своих предков, которые, как известно, всех нерусских называли немцами, различая между ними немцев амбурских, свейских, аглицких и т. д. Хотя в Вологде, не говоря уже об уездном училище и гимназии, существовали два приходские училища, где обучение, помнится, было бесплатное, однако настоящий обыватель как-то сторонился их, — там, вишь, учили по гражданской печати, — потому даже целые купеческие фамилии в силу традиции посылали своих детей к черничкам и дьячкам. Моя матушка, будучи из старинного купеческого рода Введенских, как пришло время, тоже отправила меня в женский монастырь, хотя ей и нелегко было платить за меня два рубля в год; только я учился по гражданской печати.

Правда, некоторые из обывателей ежегодно ездили по своим торговым делам к Макарью (никто тогда не говорил нижегородская ярмарка), в Москву, Петербург; но вне специальной цели поездки эти города являлись обывателю только со стороны разгула. Редкая жена, снаряжая в дорогу мужа, даже самого степенного и богобоязненного, не предавалась тяжелому раздумью, как бы он «не закрутил там». Живые примеры были у всех налицо, — немало купеческих фамилий в корень разорилось от этих поездок.

В среде низшего обывательского слоя некоторое расширение политико-географического горизонта могли бы вносить рассказы отставных солдат, — но это, должно быть, была поистине величайшая редкость, когда обыватель, «отслужив верой и правдой двадцать пять лет

богу и великому государю», возвращался на родину. Ни в раннем детстве, ни когда я был в гимназии, мне не приходилось встречать таких.

Но пора вернуться к прерванному разговору.

— Война идет с венгерцем, — отвечал Дмитрий Иванович.

— Это какой же народ, сватушко, — крещеный или бусурманский?

— Нет не бусурманский, а папской веры.

— А Христа они признают?

— Признавать-то они Христа признают, а только больше почитают своего папу, старичка такого.

— Поди ж ты какой чудной народ! Откуда же они достают этого старичка?

— А выбирают.

— Все равно, значит, как наши староверы... Ну, а богородицу чтят?

Этот вопрос, по-видимому, поставил Дмитрия Ивановича в некоторое затруднение, и он, подумавши, ответил несколько в сторону:

— Они матерь божию не богородицей, а мадонной называют.

— Ах они безбожники, — с горячностью отозвался Иван Николаевич, полагая, должно быть, что слово мадонна означает что-то уничижительное. — А у нас, Дмитрий Иванович, в России, есть народ такой веры?

— Есть — поляки, только они у нас католиками называются.

— Вот у покойничка Федора Савельевича, — заметила матушка, — был в инвалидной команде полячок Врубель, хороший такой, честный, трезвый, так он Иисуса Христа называл пан Иезус, а богородицу — матка боска.

— Что вы, тетенька, это сына божьего-то паном называл?

— Так, Ваня, должно быть, по-ихнему приходится, — успокоительно отвечала матушка.

— А почему же, Дмитрий Иванович, наш царь попускает им католицкую веру исполнять?

— Так это еще при старых царях заведено было, чтобы они при своей вере оставались; ну, а по времени все-таки их понемногу к нашей вере приписывают; вот еще недавно многих православными сделали. В старину-то

ведь все были одной веры — апостольской, православной греческой, да за грехи наши распадение потом пошло, и тут многие папе подчинились.

— А война-то из-за чего же? — полюбопытствовала матушка.

— Венгерцы, тетушка, взбунтовались против своего царя, а он сватом приходится нашему императору, — ну, и просил у него по-родственному помощи.

— Как полагаете, сватушко, у венгерцев сила значительная? — опять выступил Иван Николаевич.

— Нет, у них больше конница, все равно как наши казаки; только куда! Против наших казаков им не выстоять, — от тех сам Наполеон едва восвояси добрался.

Иван Николаевич, удовлетворив свое любопытство, должно быть вспомнил, что его давно дома ждут щи и пирог, накрыл чашку, поблагодарил тетку и распрощался.

— Вот, давно бы надо ехать в Петербург, — по уходе его сказала тетка, — да все не решаюсь, там что-то неспокойно...

— Ничего, тетушка, Марья Ивановна (из особенного почтения Дмитрий Иванович всегда величал ее по имени и отчеству), не опасайтесь, все уже покончено. Конечно, батюшке царю было большое огорчение, только он беспримерную милость явил — никого на этот раз живота не лишил, а всех просто по дальним местам разослали.

— Да что такое было-то? — спросила тетка.

Тут Дмитрий Иванович, поминутно оглядываясь, хотя в келье никого не было, стал что-то вполголоса рассказывать; я ничего не понимал: «Смятение умов... колебание веры и престола... все это от вольнодумства...»

Дмитрий Иванович дожил до глубокой старости. В половине 90-х гг. в один из моих приездов в Вологду я навестил старика. Он жил совсем один-одинехонек, жена умерла, дочери вышли замуж, а сын — тяжело было старику и вспоминать о нем — попался в нехорошем деле и угодил под уголовный суд. Старые знакомые все перемерли. Он, конечно, не узнал меня и очень обрадовался, когда я сказал ему, кого он перед собой видит. Сначала поговорили о Сибири.

— Каково же тебе жилось в Боготоле?

— Да я никогда не жил в Боготоле.

— Ну, что не дело говоришь, ведь я наверное знаю, что ты в боготольском заводе был.

Я не стал спорить, — по тону видно было, что прежний дух, не допускавший возражений, еще не угас в старике.

— А теперь откуда пожаловал?

— Да был в разных землях, сюда почти прямо из Константинополя приехал.

— А на Афоне бывал?

— Нет, не довелось.

— Как же это, братец, не побывал на Афоне? Ведь земля-то и держится только молитвами афонских старцев.

Но дух времени коснулся и Дмитрия Ивановича.

— Как, старина, время коротаешь?

— А когда в силах, в церковь хожу, по летам с работником рыбачим; почитываю, — зять газету выписывает; спасибо, и мне дает читать.

Действительно, на столе я заметил несколько нумеров одной маленькой, но весьма распространенной петербургской газеты.

— Скажи ты мне на милость, что у вас в Петербурге слышно: скоро ли англичанку угомонят? Хоть бы привел бог дожить да узнать, что спеси-то ей поубавили. Ведь везде мутит, везде нам ходу не дает!..

X. ОШИБОЧКА САШИ КОТЛОВОЙ

Мещанина Котлова все считали человеком состоятельным; у него был свой дом достаточно поместительный; дом, правда, был не новый, но выглядел совсем исправно. Во дворе имелись большие амбары, сарай с помещением для лошади, обязательный хлевник и баня в огороде. Тогда без бани и хлевника настоящего обывателя и представить себе нельзя было; коровушку держали даже многие, не имевшие своего дома, а по субботам каждый считал непременным долгом попариться в баньке. Котлов главным образом занимался закупом льна по поручению крупных экспортеров, например Скулябина, Витушешниковых, но когда подвертывались по сходной цене мука и овес, закупал то и другое уже за свой счет, а по весне перепродавал. Котлов по льняному делу часто был

в разъездах, особенно по Грязовецкому уезду, с давних пор славившемуся своим льноводством; там Котлов знал всех крестьян и нередко по весне раздавал задатки, а с конца лета и до заморозков почти все время проводил в разъездах по уезду. Ему, вероятно, было под пятьдесят лет; рослый, плотно сложенный, с густою шапкою слегка вьющихся рыжевато-русых волос, он выглядел, однако, настоящим молодцом и много моложе своих лет. Полную противоположность с ним представляла его жена, которая хотя и была моложе мужа, но отцвела раньше времени. Правда, она не выглядела старухой, но в ее осунувшемся лице и кровинки не видно было; только изредка проявлявшаяся улыбка вызывала когда-то красивые черты лица. И не труды непосильные преждевременно состарили ее, не побои пьяного мужа.

«Все-то у них в доме есть, а не сладка тоже жизнь Анфисы Павловны, — говорили о ней соседки, — тяжелый характер у Котлова».

В самом деле, вглядываясь в выражение лица Анфисы Павловны, казалось, что у нее ни в чем нет своей воли; и действительно, она жила только одною мыслью: как бы потрафить мужу. Человек он был трезвый, ни разу пальцем ее не тронул; но никогда не слыхала она от него ласкового или участливого слова. Самое трудное время для Анфисы Павловны было, когда жива была свекровь.

«Ныне, — говаривала Анфиса Павловна, — и не поверят, пожалуй, как прежде-то тяжело было жить. Выдали меня за Александра Петровича по семнадцатому году, была жива еще его матушка, царство ей небесное, Марья Петровна; ох, какая требовательная была да взыскательная! Встанешь утром раньше всех, все по дому, что надо, начнешь, затопишь печь, поставишь самовар, подоишь корову. Вот поднимается Марья Петровна, идешь к ней и первым делом поклонишься в ноги. «Что, матушка Марья Петровна, прикажете надеть?» — «А что хочешь, то, милая, и надевай; ты, слава богу, не маленькая, сама хозяйка своего добра». Знала я хорошо ее обычай, чтобы хоть раз за правду принять эти слова; вот второй раз в ноги, да и еще раз. Ну наконец она и проговорит: «А по-моему бы, лучше надеть синее платье с клеточками». Но случалось, так раскапризничается, что едва со слезами добьешься от нее ответа. Тоже, бывало, все попрекает Александра Петровича, что не умеет он

как следует жену держать, что потому я ей мало почтения оказываю. «Вот покойничек-то, отец твой, Петр Николаевич, так у него всегда плетка над кроватью висела». Александр Петрович только молчит, ведь сам хорошо видит, что уж такой характер у матери, а чтобы взять когда-нибудь мою сторону — и боже упаси! Раз застал меня в слезах, — свекрови-то дома не было. «Ты это что еще выдумала? Хныкать?» И так-то строго посмотрел, что я от страха точно окаменела. С тех пор у меня точно и слезы навсегда высохли. Кроме церкви да в самые большие праздники поздравить родителей никуда моя нога из дома не выходила; да ведь и к родителям-то первые годы одну не пущали. И так-то прожила без малого десять лет, пока не умерла Марья Петровна. Поначалу куда как тяжело было, а потом уж привыкла».

Частые поездки Котлова в Грязовец, где у него было нечто вроде постоянной квартиры, соседи не всегда приписывали исключительно деловым обстоятельствам: «Да ведь у него там сударушка, сказывают, даже и дети есть».

Знала, конечно, об этом и Анфиса Павловна, хотя не только не давала о том понять мужу, но и никому не проговаривалась.

Котлов держал себя как-то особняком, к настоящему купечеству он не пристал, а с мелкотой обывательской не водился, потому его называли гордецом, а в деловых отношениях — прижимистым. Впрочем, почет ему оказывали; он уже много лет был церковным старостой. Два раза в год у Котлова были своего рода банкеты — в приходский церковный праздник и его именины. На эти банкеты приглашались, конечно, только именитые прихожане да кое-кто из родственников. Гости являлись обыкновенно тотчас после обедни; банкеты проходили чинно; сам Котлов не пил и на угощение водкой не налегал, потому гости, напившись чая да закусив именинным пирогом, скоро и расходились. За большим столом, накрытым чистою холщовою скатертью, ставился ведерный самовар; по одну сторону стола усаживались мужчины, причем наиболее почтенным из них указывалось место под образами; другую сторону занимали женщины. Они обыкновенно сидели, точно воды набравши в рот, мужчины же по большей части степенно дебатировали темы, вращавшиеся около церковного обихода.

— Оно точно, Иван Петрович, против соборного протодиакона спасскому диакону в многолетии не выстоять, а только ектении он говорит внятнее, да и в служении виднее будет, благообразнее.

— Ну, нет, тоже и протодиакон умеет себя показать; как это он подойдет да скажет: «Владыко, благослови!» — величественно!

— Сказывают, что протодиакон без двух стаканов водки натощак и рта открыть не может, вместо голоса-то одна сипотина.

— Это уж так у басов всегда бывает, что без водки у них настоящая сила голоса ни по что не проявится.

— Вот ныне у Покрова певчих завели, а ведь и приход-то небольшой.

— Да это все иждивением Калистрата Петровича; много он для храма божьего делает, по осени колокол новый повесил — и какой гулкий же, сейчас его разберешь, хоть бы разом в десяти церквах зазвонили.

Этикет обязательно требовал, выпивши чашку (тогда стаканы не были в употреблении), сейчас же ее накрыть: хозяйка немедленно предлагала еще выкушать; некоторые проделывали эту церемонию по шести и более раз.

У Котлова было трое детей; сын, уже взрослый, не поладил с отцом и ушел в Архангельск; одна дочь была замужем, другая, девушка-невеста, оставалась дома.

«Уж сколько свах перебывало у Котловых, всё ему не женихи, а ведь девке-то двадцатый год, да из себя видная; суховата, правда, так еще придет пора — раздобреет. Норовит Котлов, должно быть, выдать ее за купца; пожалуй, ему и удастся, ведь у него мошна толстая».

Правда, ходили слухи, что в качестве церковного старосты Котлов оперирует церковными деньгами, — от такого подозрения, кажется, в то время не был свободен ни один церковный староста.

«Котлову легко дело вести, — говаривал Иван Николаевич, — не хватит скулябинских денег, он церковные в ход пускает; а только, тетенька, помяните мое слово: кто церковных денег касается, тот добром не кончит».

Под весну в доме, выходившем на противоположную от Котловых улицу, поселился молодой смазливый чиновник. Как всякий новый человек в околодке, он не

избежал довольно внимательных наблюдений со стороны обывателей.

«Должно быть, большие доходы получает, — ведь за одну квартиру и харчи платит пять рублей, а сколько у него всякой одежи! Тоже часы с серебряной цепочкой (часы тогда в обывательском кругу были большая редкость), да и щеголь же, — каждый день надевает чистую манишку».

Как только стало тепло и выставлены были зимние рамы, чиновник начал оглашать воздух звуками гитары и пением самых модных тогдашних романсов, например: «Вот на пути село большое» или «Она моя, она моя». Котловский огород, оканчивавшийся чем-то в роде сада, задами как раз сходился с огородом дома, где поселился новый жилец; в этом последнем огороде было нечто вроде беседки; не довольствуясь пением в своей квартире, чиновник нередко переселялся в беседку и там еще с большею страстностью пускал в ход свой тоненький тенорок. В конце осени он вдруг совершенно неожиданно перебрался совсем почти на противоположный конец города, и о нем скоро позабыли бы...

Но через некоторое время началось какое-то шушуканье, что, мол, у Котловых что-то неладно, — вполголоса при этом произносились имена Саши, чиновника; стали поговаривать о какой-то «ошибочке» Саши. Еще прошло, быть может, с месяц, и вдруг все узнают, что Котлова, которая даже редко из дома выходила, уехала с дочерью, кажется в Кадников, якобы проведать тетку, о которой раньше никто и не слыхал. Тут разговоры пошли громче и открытее.

— Известно, зачем уехали, ведь Саша-то последнее время ходит.

— Поди ж ты, Саша, казалось, такая смирная была.

— Девки глупы, а ныне долго ли до греха. Сам все в разъездах, мать почитай целое лето недомогала, — ну, Саша-то с утра до ночи одна по целым дням в огороде и была.

— Котлов-то темнее ночи ходит. Наказал его бог за гордость; мало ли было женихов, — вот хоть бы Первухин, ведь после Сорокина первый дом в Турундаеве (подгородное удельное село), лошадей тройку держит, да

еще каких! Так нет, метил все за купца выдать; теперь какого-то зятя найдет?

Помнится, о великом посте Котлова с Сашей вернулись, и опять начались соседские разговоры.

«Осунулась-таки девка, точно кошка ободранная».

Кто жалел Сашу, кто говорил: «Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет»; но больше всего злорадствовали насчет Котлова:

«Теперь сам будет засылать свах, да разве какой-нибудь отпетый согласится взять за себя Сашу».

Но не прошло и двух недель после возвращения Котловых, как опять новость: Саша поступила в монастырь.

«Непременно девка против своей воли ушла в монастырь; а и то надо сказать — ничего ей другого и не оставалось. Ну, положим, что какой-нибудь прощелыга позарился бы на ее приданое, так ведь что за жизнь была бы Саши: никогда не услышать доброго слова, а все только одни попреки да побои».

Саша поступила в монастырь под начало старой монахини, матери Евфросинии, у нее в келье и поселилась. Мать Евфросиния выделялась в монастыре своею строгостью и резким характером; ее побаивалась сама игуменья, которой она подчас не стеснялась прямо высказывать свое неодобрение за разные послабления, существовавшие в монастыре. Однако она и сама позволяла себе одно отступление от монастырских порядков, — держала собачку, такую же старую и седую, как и сама была. Матери Евфросинии было, должно быть, далеко за семьдесят лет; вся высохшая, сгорбившаяся, постоянно опираясь на посох, стоит она, бывало, в церкви, с лицом, неустанно обращенным к царским вратам; вот приподнимет свою трясучую голову и медленно дрожащею рукой делает крестное знамение, потом еще медленнее поклонится и в этом положении как бы застынет; только ритмическое движение губ, шепчущих молитву, показывает, что это — живое существо, а не изваяние. Богослужение кончено; все начинают подходить ко кресту; трогается со своего места и мать Евфросиния; ей почтительно дают дорогу, священник благолепно ждет ее приближения; сделав глубокий поклон и осенив себя крестным

знамением, приложится она ко кресту, облобызает руку священника и опять смиренно поклонится; сестры терпеливо ждут, когда она отойдет в сторону, чтобы приложиться еще к некоторым иконам. И все также, особенно белички, спешат скрыться с ее глаз; но это не смущает мать Евфросинию; в церкви уже раздается ее резкий голос:

— Сестра Анна, поди-ка сюда! Что это ты, сестра, по церкви бегаешь, точно на базаре; разве не знаешь, что в храме божьем надо держать себя со страхом и трепетом?

— Простите, матушка Евфросиния, — с низким поклоном отвечает провинившаяся.

— Бога проси простить, а не меня, грешную.

Редко случалось, чтобы мать Евфросиния покидала церковь, не прочитавши кому-нибудь приличную нотацию.

Тогда в монастыре общежития не было, все жили по отдельным кельям; более состоятельные занимали отдельные кельи, которые обыкновенно покупали (после смерти они опять возвращались монастырю); победнее жили в полукельях или по нескольку вместе. Кроме полных монахинь, получавших, кажется, от монастыря определенную сумму на содержание, все другие должны были сами содержать себя, по большей части от трудов рук своих. Особенно развито было в монастыре изготовление фольговых окладов на иконы. Необходимость заработка поддерживала весьма деятельные сношения обитательниц монастыря с миром; беличек и даже монахинь всегда можно было встретить в городе. Но Саша, теперь сестра Александра, обеспеченная в средствах существования, знала только одну дорогу — в церковь; уже более года она прожила в монастыре, и ни разу ее нога не переступала монастырскую ограду. Изредка навещала ее мать, но свидания всегда происходили в присутствии матери Евфросинии, и если что было на душе, то никогда не выговаривалось; дальше порога кельи сестра Александра даже не решалась провожать мать. Кроме церкви, время у нее уходило на домашнее хозяйство; затем по целым часам мать Евфросиния заставляла ее вслух читать жития святых; только когда после обеда мать Евфросиния укладывалась на часок отдохнуть, сестра Александра оставалась одна сама с собою и принималась за какое-нибудь рукоделие. Даже что делалось в стенах монастыря,

точно не существовало для нее; ни с кем она не познакомилась; в церкви ли, при другой ли какой встрече — кроме низкого поклона, никто ничего от нее не видал.

А холера Вологды не миновала, и при этом вполне оправдалось предвидение Ивана Николаевича, — огурцы и ягоды стали нипочем, чем мы с матушкой и не преминули воспользоваться; кругом нас болеют, умирают, а мы и знать ничего не хотим. В самый разгар эпидемии как-то отправились мы проведать тетку Марью Ивановну, жившую в монастыре. Тетка занимала в монастыре исключительное положение, ее считали богачкой; действительно, в ту пору у нее было тысяч пять рублей — сумма прямо огромная по тогдашним временам для обитательниц вологодского монастыря. Деньги были розданы в верные руки и приносили не менее десяти процентов, — тогда процентных бумаг еще не знали. Тетка имела свою большую келью с огородом, при ней жила послушница Лиза почти в роли прислуги; так как Марья Ивановна еще не принимала никакого обета, то одевалась она по-городскому, только материи носила черного цвета. На таком положении в монастыре была не одна тетка; некоторые барыни, поселившись в монастыре, продолжали, однако, вести светский образ жизни, к ним часто приезжали из города на партию преферанса или сами они по целым неделям проживали в городе. Случалось, что некоторые, пробыв в монастыре несколько лет, перебирались потом совсем в город.

Тетка очень обрадовалась нашему приходу, но пришла в ужас священный, узнав, что мы без зазрения совести поедаем огурцы и ягоды; сама она пила только чай, а питалась овсянкой и тому подобными яствами и чем-то постоянно окуривалась. Обыкновенно мы оставались у тетки недолго, после чая и уходили. Но теперь тетка нас задержала:

«Нет, Аннушка, останься у меня ночевать; этакое страшное время, так боязно одной жить, да и кто знает — сегодня жив, а завтра, может быть, нас и не будет».

Ночевали у тетки; она уговорила остаться еще на денек, а ночью матушке сделалось дурно, и затем у нее открылась форменная холера. Докторов тогда в Вологде было мало, кажется не более трех, потому в средних

кругах практиковали так называемые лекарские помощники; им платили от двадцати до тридцати копеек за визит. Некоторые из них пользовались большою популярностью.

«Да Иван Павлович лучше всякого доктора! Что доктора? Только микстуры умеют прописывать да денежки загребать. А Иван Павлович нашего брата знает; первым делом велит баню истопить, там хорошенько редькой вытереться да пропариться, а дома стаканчик перцовки выпить. Разве против этого какая болезнь устоит? Как рукой ее снимет!»

Один из таких эскулапов был приглашен теткой и лечил настолько успешно, что через несколько дней объявил, что матушка вне опасности; но поправлялась она крайне медленно. Однако когда и совсем стала на ноги, тетка не отпустила, и мы прожили в монастыре, пока холера совсем не прекратилась в Вологде.

Жилось мне в монастыре очень недурно; по крайней мере недели, проведенные в нем, были одними из самых светлых в моем детстве. В первое время болезни матушки тетке было не до меня, и так как я не отличался особенною шаловливостью, то и был вполне предоставлен самому себе; по целым дням я гулял по монастырю, заходил иногда к обедне и почти всякий раз к вечерне, потому что она недолго продолжалась. Мне нравилось благолепие храма, а особенно пение клирошанок. На это обратили внимание:

«Посмотрите какой удивительный мальчик, — говорили обо мне, — его никто в церковь не посылает, а он постоянно в ней бывает; в нем видна искра божия».

Меня стали ласкать и, частью, может быть, из внимания к Марье Ивановне, частью из прямого расположения ко мне, зазывали в келью, поили там чаем, угощали иногда разными лакомствами; по времени, спросивши, конечно, предварительно матушку или тетку, начали оставлять меня ночевать у себя, заботливо укладывали в мягкую постель. Ах, как это приятно, — этою роскошью я не был избалован у матушки; набожною рукой крестили меня на сон, я торопился поймать эту руку и поцеловать, а меня за это нежно целовали в лоб. Иногда вспоминали, что я давно не был в бане; тогда усаживали меня в корыто и, не жалея мыла, с головы до ног приводили в порядок.

В то же время я очутился au courant[1] всего, что делалось в монастыре, так как ввиду моих лет (мне было семь лет; по росту я, однако, выглядел много меньше) ни о чем не стеснялись при мне говорить. А время для монастыря было совсем особенное. Каждый день по нескольку послушниц или монахинь отзывались в город для отчитывания покойников; кому идти, обыкновенно назначала игуменья. Тут, естественно, возникали разные неудовольствия: одних посылали в богатые дома, других — в более бедные; иные чуть не каждую неделю отчитывали когонибудь, другим реже выпадало это счастье.

«Угодила чем-то сестра Паисия казначейше (имевшей большое влияние на игуменью), — уж пять раз назначали ее; вот на прошлой неделе зовут от Волгиных, матушка игуменья хотела было меня послать, а тут и вступилась казначейша: Волгины, мол, просили, если можно, назначить сестру Паисию; она у них еще в прошлом году отчитывала. «Ну, коли Волгины сами хотят ее, то пусть она и идет». — «А как же быть с сестрой Анной? Ведь она, кажется, только раз и была на отчитыванье». — «Сестру Анну можно послать к Петровым». — «Вот и хорошо, значит никому не будет обидно». У Волгиных-то дали два рубля да материи на ряску, а я от Петровых с двадцатью копейками вернулась, — ведь чистая беднота!»

Возвращавшиеся из города приносили разные новости, но больше всего разговоры вращались около того, с какою пышностью хоронили какого-нибудь богача, сколько было приглашено духовенства, что было заплачено за парчу на покров, по каким церквам и сколько заказано сорокоустов и панихид, куда и какие назначены вклады на вечное поминовение и какое множество народа провожало покойника.

Несмотря на холерное время и общую, всех угнетавшую мысль, будешь ли завтра сам жив, страсть провожать выдающиеся похороны нисколько не ослабевала у обывателей. Иван Николаевич был такой охотник до этого зрелища, что жена его даже жаловалась, что он и вполовину не продает своих калачиков.

«Нельзя, Любовь Александровна, не проводить Степана Антоныча, хороший был человек», — оправдывался

[1] В курсе (*франц.*).

Иван Николаевич, а сам в то же время подумывал о кутье и блинах, на которые рассчитывал попасть.

Холера не коснулась святой обители; кроме моей матушки, кажется, никто в ней не болел. Но в это самое время в обители случилось обстоятельство, до такой степени тягостное, так мало гармонировавшее с обычным ходом этой жизни, что от матушки игуменьи до ко всему равнодушной Марьи Петровны, исполнявшей кучерские обязанности и носившей по этому случаю полумужской костюм, все в монастыре чувствовали, что у них точно камень на душе. И что особенно всех угнетало, так это — то, что никто не видел средства для выхода и не знал, чем все может кончиться. И все это произошло по милости сестры Александры, известной читателю Саши Котловой.

Уже более года прожила сестра Александра в монастыре, и, как началась ее жизнь с первого дня, так и продолжалась. Но вот по весне прислали в монастырь из города кого-то отчитывать; назначена была сестра Екатерина, дальняя родственница матери Евфросинии; сестра Екатерина, вернувшись из города, принесла какие-то гостинцы матери Евфросинии и при этом рассказала, что ей довелось отчитывать молодого чиновника, который случайно утонул, катаясь в лодке, назвала и фамилию его, — это был тот самый чиновник, что жил по соседству от Котловых.

«Помяни, господи, душу усопшего раба твоего», — проговорила сестра Александра, и только...

Теперь, то есть в конце лета, сестра Александра находилась в особой келье под постоянным присмотром двух послушниц, обязанных день и ночь смотреть за нею, — она уже раз пыталась повеситься и едва была вовремя спасена. Надсмотрщицы менялись каждую неделю, и, конечно, те, на которых падало это послушание, только и думали, как бы поскорее кончилась эта тяжелая и ответственная для них неделя. К тому же время было хорошего заработка, а тут стереги сумасшедшую.

— Да ведь и страх-то какой, поминутно ей мерещится нечистая сила. «Вот он, вот он из-за дверей знак подает». — «Да что ты, сестра, никого тут нет, перекрестись, сотвори молитву святую, отжени от себя наваждение диавола». Ну, послушается иногда, сотворит молитву, да так потом тяжело вздохнет. А по ночам не спит, все прислу-

шивается. Вдруг как вскочит. «Нет моченьки терпеть, зовет «он» меня!» — «Да кто он-то?» Молчит. «Смотрите — не усмотрите, стерегите — не устережете, а уж буду с ним», — только, бывало, и скажет.

— И что с ней сделалось, — говаривала порой сердобольная сестра Лиза. — Ведь какая была тихая, послушливая, до храма божьего усердная. В церкви всегда первее других, а уйдет последняя; бывало, почти всю службу на коленях простоит, ведь ни разу в сторону не оглянется. Уж на что мать Евфросиния строга и требовательна, никогда от нее ни одной жалобы не слышно было на сестру Александру. Что бы мать Евфросиния ни говорила ей, как бы ни ворчала, другого ответа от нее не знала: «Простите, матушка Евфросиния», да еще и в ноги поклонится.

— А непременно это дьявольское наваждение, вселилась в нее нечистая сила; враг-то ведь силен, шатает горами, не только умами человеческими. Мать Евфросиния сказывает, что попервоначалу стала сестра Александра какая-то невнимательная: та ей что-нибудь говорит, а она точно не слышит; потом то молиться в неурочное время примется, то упадет ей в ноги и просит прощенья.

— А напугала же она мать Евфросинию в ту ночь — как в чем была, так и выбежала из кельи.

— И крепко же завладела ею нечистая сила. Как возложили на нее святые покровы да стали отчитывать, и забилась же она, бедненькая, долго не могла успокоиться. Как будто ей и полегчало, да не надолго, дня через три она и пыталась повеситься.

Оправдались слова сестры Александры: «Смотрите — не усмотрите». Как-то раз одна из приставленных для присмотра за ней была зачем-то позвана к игуменье; другая — так она потом оправдывалась — только на одну минуту отлучилась, и то недалеко, за угольями для самовара. Из предосторожности она защелкнула келью. А когда вернулась, то нашла сестру Александру уже без признаков жизни: она повесилась на тоненькой опояске.

Стоял серый октябрьский день, слегка покрапывал дождь. С сокращенным ритуалом было опущено в землю тело сестры Александры; проводить ее в вечную обитель

из всех обитательниц монастыря по доброй воле пришла только сестра Лиза, которая не могла пропустить ни одних похорон, случавшихся в монастыре. И всегда она заливалась горькими слезами, точно теряла самого близкого человека.

XI. ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ ТОСКА

Последние лучи летнего солнца догорают на западе; Иван Николаевич крестится и встает из-за вечерней трапезы, по обыкновению приговаривая: «Бог напитал, никто не видал». Хотя в те времена реки кишели рыбою, а в лесах проходу не было от дичи, однако обывательская еда не отличалась ни особенным разнообразием, ни обилием. Был бы в доме хлеб да соль и еще непременно квас, а что в придачу к ним поставит на стол хозяйка — этим обыватель особенно не интересовался; на еду он смотрел как на самое последнее дело в домашнем обиходе; к тому же брюхо не стекло, рассуждал обыватель, не видно, чем набито. В течение недели даже в достаточных домах щи и каша с маслом или молоком составляли неизменное меню; но по воскресеньям без пирога, хотя бы из первача, притом обязательно с какою-нибудь начинкой, вроде гречневой каши или картофеля, никто не находил возможным обойтись. В особенно же исключительных случаях, например, в большие праздники или именины, пеклись пироги с сладкою начинкой. Уже с самого утра запах этого пирога приводил в особенное настроение всех младших членов семьи. Пирог в ожидании обеда степенно покоился на противне, прикрытый чистым холстом; но стоило матери хотя на минуту отлучиться из кухни, как вокруг него сейчас же собиралась молодая компания; вот кто-нибудь боязно приподнимет холст, и начинается внимательный осмотр: нет ли у пирога какого-нибудь случайного приростка, который можно было бы, не нарушая целости пирога, теперь же отделить, не высунулась ли где-нибудь ягодка как бы нарочно, чтобы ее отколупнуть? Строгий окрик матери, зачастую сопровождаемый подзатыльником, считавшимся самым естественным средством вразумления, заставлял компанию моментально рассеяться; но мысль о пироге крепко сидела в головах малышей и до самого обеда давала неисчер-

паемую тему для тонких соображений: кому какая часть достанется — вкусная ли серединка, или суховатый краешек.

Однако воспоминание о сладком пироге, соблазнительный запах которого я точно сейчас слышу, отвлекло меня в сторону; я и забыл, что Иван Николаевич, как и вся его семья, собирается на покой. Но прежде чем улечься, Иван Николаевич внимательно осмотрит, заперт ли сарайчик, на месте ли коровушка; а потом и сам накрепко запрется. Тогда особенно побаивались беглых солдат и крепостных: им обыкновенно приписывались все воровства и другие недобрые дела. Что есть Михеич, обязанный день и ночь заботиться о спокойствии и безопасности обывателей, об этом никто и не вспоминал; а всяк паче всего полагался на крепкие затворы, замки да на верного сторожа — собаку, — их держали почти все, даже съемщики крохотных квартирок. «Все же, — думал обыватель, — залает в недобрый час». Да и умные же тогда были собаки: это чтобы взбеситься да перекусать целую уйму людей — и ни-ни! И как ценил обыватель добрую собаку!

«Себе куска пожалею, — говаривал Иван Николаевич, — а Соловейке никогда! И преумный же он, тетенька, — только не говорит, а все понимает. Намеднись говорю ему: «Соловейко, каково тебе живется?» Замахал это хвостом, запрыгал — хочет, значит, показать, что ему и жить лучше нельзя. «А каково, говорю, Ивану Николаевичу?» Тут Соловейко голову опустил да хвост поджал, потом подполз ко мне и начал руку лизать — по-своему утешать меня стал».

Хорошая пора лето, и обывателю куда легче живется. В иную пору года уклад обывательской жизни был до крайности несложен: шесть дней в неделю трудись, в воскресенье ступай к обедне. Придя от нее и пообедавши, обыватель заваливался спать, так как девать времени было решительно некуда; соснет часика три, за чай примется; только что самовар убран со стола, как хозяйка уже принимается ужин ставить; а затем все опять торопятся улечься спать. То ли дело летом: тепло — нет заботы о дровах, светло — не надо тратиться на свечи или прибегать к довольно еще распространенной лучине; всегда свое молочко есть, потому что по заведенному порядку умные коровушки телятся больше о великом посте;

курочки яйца несут; в огороде по времени всякая овощь поспевает; годами ягоды и грибы бывают нипочем. Ну и заработки летом по большей части прибыльные. А главное, сидит, бывало, обыватель на завалинке или у ворот своего дома, и не хочется ему встать, ни за что приняться (у обывателя во всякую минуту было дело), сидит себе и точно млеет от кругом его царящей жизни. Все-то в природе ликует, поют птички, порхают неугомонные воробьи, облако за облаком проходит по небу, откуда-то набегает волна на реке и куда-то уходит. А солнышко-то, красное солнышко, целый день и греет и светит на всех равно, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни знатных, ни самого простого обывателя. Только одна и докука летом, что вот от мух часто приходится отмахиваться.

Но это повышенное биение пульса природы действовало не на всех одинаково. У некоторых из тайников души вдруг поднималось что-то такое, чего в другое время обыватель и сам не сознавал за собой, — так оно где-то глубоко было запрятано, заслонено обыденными интересами и вечной заботой о завтрашнем дне. Жизнь вообще казалась так премудро, гармонично устроенной. Мужик работает землю, по осени сходственно продает, потому что тут как раз подходит время платить подати и оброки; Котлов покупает, и если заработает копеек по десяти на пуд, то и доволен; а когда на этот же пуд Скулябин получит по полтине, не только все считают это в порядке вещей, но даже испытывают какое-то особенное удовольствие, точно эта полтина очутилась в их собственном кармане. Или вот Иван Николаевич: всю жизнь он изготовлял вкусные калачики, и как же бывал рад, если, снимая их с противня или нанизывая в вязанки, не поломает ни одного из них, потому что поломанных уже нельзя продать господам; придется самому съесть, а это не порядок. Конечно, в ходе жизни встречались, и довольно часто, явления, как бы нарушавшие предустановленную гармонию: Иван Николаевич хотя и не считал за большое удовольствие поставлять Беляеву калачики, однако смотрел на эту поставку как на дело естественное, потому что всякий промысел должен был «тянуть» начальству; но он искренно возмущался требованием доставлять еще и рыбу, так как на то существовал рыбный ряд. Никакой принципиальной связи между калачиками и рыбой не представлялось его уму.

Одним из живых воплощений предустановленной гармонии был Беляев и, конечно, в качестве такового должен был быть закален от всякого внутреннего червя; однако и у него он порой сказывался и, что интересно, с годами все чаще и чаще стал давать о себе знать. Когда Беляев поступил на службу, то считал не только за страх, но и за совесть, расписываясь первого числа в получении жалованья, никогда его и в глаза не видать. Вот он уже более двадцати лет на службе, все так же только расписывается в получении жалованья, а в натуре его не осязает; неизбежная улыбка по-прежнему не покидает Беляева при этой операции; но иногда вдруг что-то найдет на него, и он мысленно посылает ко всем чертям полицеймейстера и еще кого-то.

— Что ты, Люба, как-то невесело смотришь? — говорит раз матушка зашедшей к нам жене Ивана Николаевича.

— Ах, тетенька, опять с Иваном Николаевичем неладно.

— Давно ли?

— Вот уж вторая неделя.

— Что же с ним?

— Да затосковал; ходит, точно сонная муха; уж вы сами знаете, тетенька, какой он горячий на работе, а тут точно из-под неволи месит тесто, и как-то ни до чего ему; посадит в печь калачики, да и забудет о них, — только не догляди, так все и сгорят. И ведь ничего не пьет, — продолжает Любовь Александровна, — я уж ему говорю: «Ты бы, Иван Николаевич, хоть немножко выпил». — «Ах, отстань, Любовь Александровна; тут душенька болит, а она с водкой; противно мне на нее и смотреть-то, не только что пить».

— Может, в лавку за муку много задолжали?

— Я то же подумала, нарочно заходила к Гурлеву: много ли мол за нами? Всего подсчитали с чем-то пять рублей, а ведь случалось, что рублей по двадцати пяти должали. Уж я его самого пытала: «Да ты скажи, Иван Николаевич, что тебя мучает». — «Ничего, так, вот подкатила сюда тоска», — показывает на сердце. И все молчит; а то вдруг проговорит: «Кому на сребре и злате суждено пить-есть, а кому предназначена собачья жизнь; тут

хоть тресни, а ничего не поделаешь. А разве это правильно, по-божески?» Ходила я к Петровне, — многим ведь она помогает. «Принеси, говорит, квасу». Вот она какой-то заговор на квасе и сделала. «Теперь поверь, милая, всякую тоску как рукой снимет». Пьет это Иван Николаевич квас, а лучше ничего нет. Тоже говорила я ему: «Дни стоят красные, работы у нас теперь мало; ты бы, Иван Николаевич, сходил к матушке Семистрельной, помолился бы царице небесной да отслужил там молебен».

— Молиться, Любовь Александровна, везде можно. Вот, стань на дворе, и коли будешь молиться от чистого сердца, то и дойдет твоя молитва до бога; а если будешь думать о другом, то хоть в самом святом месте лбом пол проломи, ничего из этого не выйдет.

Вдруг Любовь Александровна взялась за край косынки, начала ею утирать глаза и, всхлипывая, вполголоса проговорила:

— Боюсь я, тетенька, как бы он над собой чего не сделал: вот сват Николай Степанович затосковал, затосковал, да потом и нашли его в бане повесившись.

— Как тебе не грех это и думать, Люба; ты, голубушка, не убивайся, — успокаивает матушка Любовь Александровну. — Ведь это с ним не в первый раз; и так пройдет.

И действительно, потоскует, бывало, Иван Николаевич недели две, самое большее — три, и опять начнет свою обыденную жизнь.

Не так легко справился с тоской Петр Семенович. Торговал он у Каменного моста, преимущественно крестьянским товаром. Торговля была хотя не крупная, но вел он ее аккуратно, никому сам не был должен и в свою очередь в долг давал с разбором. Потому что, начни-ка направо-налево в долг давать, разом тебя растянут: разве мужик бога боится?

Петру Семеновичу еще не было и сорока лет; жену бог дал ему добрую, заботливую хозяйку в доме, дети уж подрастали. Сам он был человек степенный, водку употреблял крайне умеренно, соблюдал все посты, по праздникам всегда бывал в церкви, подавал нищим копеечку. Только одним он несколько и выдавался из обы-

вательской среды, — был не особенно разговорчив; что спросят — ответит, а сам без надобности разговора не заводил, за что и прозвали его в рядах «молчальником». Но вот с некоторого времени в рядах стали замечать, что порой у Петра Семеновича язык как бы заплетается.

— Э, да наш молчальник-то, кажись, попивать начал, — скоро сообразили рядские, — вот чудно-то, с чего бы? Разве по торговле какая неустойка подошла.

А затем с небольшим в год Петр Семенович порешил весь товар, — сначала все по трактирам, а под конец из кабака не выходил. Все жалели его жену.

— Да с чего это с ним случилось, Марья Петровна?

— И ума не приложу, — утирая слезы, обыкновенно отвечала Марья Петровна. — Прежде, бывало, в неделю-то и рюмки не выпьет; сами знаете, на именинах ли, в праздник ли какой еле ведь его уговорят честь оказать, выпить хоть рюмку.

— Разве какое огорчение ему подошло?

— Ничего такого не знаю, а только с некоторого времени стала я замечать, что Петр Семенович к торговому делу как-то начал охладевать. Бывало, десятый час, а он еще дома. «Ты что же, Петр Семенович, про лавку-то и забыл сегодня?» — «Ну ее, день-то велик». А то по целым дням сидит дома. «Ступай, сама торгуй, коли хочешь, а мне на аршин-то и взглянуть противно». Потом вдруг стал по трактирам ходить, там у него приятели завелись, а тут и до кабака дорогу узнал.

— Что же Иван Петрович-то (богатый дядя Петра Семеновича), неужели не пытался образумить его?

— Сколько раз призывал его к себе; и стыдил-то, и говорил: «Креста на тебе нет, бога ты не боишься», а Петр Семенович только молчит. Ну, Иван Петрович и махнул рукой.

И молебны служила Марья Петровна, вынимала заздравные части за раба божия Петра, давала разные обеты, перебывала у всех знахарок, по целым часам искала встречи с петропавловским дьяконом.

Каких лет был петропавловский дьякон, право не знаю; помню только, что он не выглядывал стариком. Он давно оставил место и жил, как птица небесная, где день, где ночь, всюду встречаемый как желанный гость, больше того — как видимое произволение небес. Это была натура кроткая, участливая к обывательскому горю. К тому

же он никогда ничего не просил не только для себя лично, но и под каким-нибудь другим благовидным предлогом; если ему давали деньги, он или ставил свечи, заказывал просфоры, или раздавал нищим. Что ему было надо? На ночь где-нибудь голову приклонить. Помню его: среднего роста, в круглой мягкой шляпе, из-под которой выступали не особенно длинные русые волосы, в суконном сильно порыжевшем подряснике, с посохом в руках; вот идет он по улице: все ему приветливо кланяются, многие подходят под благословение. «Бог благословит», — отвечал он обыкновенно, и в его мягком голосе, добрых голубых глазах обыватель читал отражение своего душевного настроения. Но он весь превращался в нежность, когда подводили к нему детей, крестил их, ласково гладил по голове и рылся в своих карманах — нет ли там случайно гроша, чтобы дать на пряник. Его сфера была преимущественно обывательская, и притом наименее зажиточная; тут его всякий знал, как и он всех; все ему открывали свои горести и печали, свои упования и радости. Он не юродствовал, не ходил в рубищах, не произносил грозных речей о грехах мира сего, не творил чудес, не исцелял больных. Его слава держалась на том, что он — *прозорливец*[1]. Тогда немного нужно было, чтобы пролить бальзам утешения на страждущую душу обывателя или поднять его упавший дух. Случались у матушки тяжелые недели, что никакого заработка; тогда хлеб да горячая вода с солью нередко заменяли наше обычное меню. Но вот матушка приходит с рынка в заметно приподнятом настроении: она встретила в рядах петропавловского дьякона.

«И сам ведь меня остановил, дал вот эту просвирку, да и говорит: «Трудишься, вдовица? Трудись, бог любит труд и сторицею воздаст за него».

И вспоминаются эти слова матушке, когда почему-нибудь через несколько дней дела ее поправятся.

Возвращается как-то Иван Николаевич — и на полтину не расторговался своими калачиками! Уж с огорчения думал завернуть в «Малоярославец» (общедоступ-

[1] Эту славу он сохранил до конца дней своих. Когда его хоронили, кажется в 70-х гг., Вологда никогда не видала такого стечения народа: тысячи провожали «прозорливца» до места вечного упокоения. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

ный трактир), а тут как раз переходит ему дорогу отец дьякон. «Отцу дьякону мое почтение», — спешит проговорить Иван Николаевич. А тот ему в ответ: «Везде благодать божия, везде его попечение о трудящихся и обремененных». «Хорошо сказано», — подумал Иван Николаевич и направился прямо домой.

«И что ж вы думаете, тетенька, ведь в этот самый вечер чуть не целое ведро рыбы наловил. Прозорливец, одно слово: непременно, как попадется, на свечку ему подам; угодный богу человек».

— Уж вы, отец дьякон, — при каждой встрече с ним говорит Марья Петровна, — помолитесь за раба божия Петра, чтобы наставил его господь на правый путь; да вот вам и на свечку, не побрезгуйте принять от меня грешной.

— Молюсь, — отвечал отец дьякон, — молюсь в храме божием, молюсь на распутии, но мера взыскания господня еще не исполнилась.

Что значили эти слова? Ждать ли чего еще худшего? И Марье Петровне иногда живо представлялось, как зовут ее в часть и там, указывая на замерзшего Петра Семеновича, спрашивают: «Это твой муж?» А может быть, господь ведь многомилостив, наказует за какие-нибудь грехи и тяжко наказует, а потом милосердие свое и проявит. Святой человек, отец дьякон, верно это хотел сказать.

А Петр Семенович опускался все глубже и глубже; он уже не стеснялся ходить по рядам и собирать копеечки. Все знали: что ему ни дай, все пропьет, и тем не менее подавали, как и другим. Дальше он стал появляться у церквей и вместе с нищими протягивал руку за подаянием. От обыкновенных пьяниц Петр Семенович отличался лишь тем, что ничего не тащил из домашнего имущества, не приставал к жене с требованием денег на выпивку и вообще дома держал себя тихо и как-то застенчиво; но как только замечал слезы жены или она начинала уговоры — сейчас же за шапку и вон из дому. Так, может быть, продолжалось года полтора, как в один прекрасный день, к неописанной радости Марьи Петровны, Петр Семенович перестал пить; только уж очень скучным выглядел.

«Ну, это пройдет, — думала Марья Петровна, — вот, бог даст, за дело примется». Но надеждам Марьи Петровны на этот раз не суждено было исполниться. Петр Семенович не только не принимался за дело, а стал пропадать из дому по целым дням, даже и ночевать не приходил. «Что бы это значило?» — думала вновь ошеломленная Марья Петровна и, естественно, остановилась на подозрении, что Петр Семенович завел себе сударушку. Эта мысль совершенно убила ее. Еще от пьянства человек может остановиться, а уж если начнет путаться с бабами, то хорошего конца не жди: тут и последнее, что осталось в доме, и то прахом пойдет.

Прошла раз неделя, а Петра Семеновича все нет, за неделей миновала другая, а там уже и счет им потеряла Марья Петровна. В городе он никому не попадался; послушник Глушицкого монастыря кому-то говорил, что как будто видел Петра Семеновича в большой монастырский праздник; кто-то из рядских, кажись, Петра Семеновича заприметил в Рыбинске в артели, что кули таскала. А затем даже и такие слухи прекратились о Петре Семеновиче. Иван Петрович иногда высказывал догадку: не ушел ли Петр Семенович к староверам в какой-нибудь дальний скит.

«Ну, коли наш «молчальник» туда махнул, то это все равно что в камский мох провалился: оттуда люди уж не возвращаются домой».

Прошло более двух лет; Марья Петровна выплакала все слезы и уже не знала, молиться ли ей о здравии, или за упокой раба божия Петра. Но вот раз она встретила отца дьякона.

«Взглянул на меня таково ласково, да и проговорил: «Угодна богу сердца сокрушенного молитва, и в раны его влагает он свой перст животворящий». А потом вынул из платочка просвирку и дает мне. «Заздравная часть вынута из нее за раба божия Петра».

И сделалось мне, — продолжает Марья Петровна, — как-то легко. Значит, жив еще мой Петр Семенович, если прозорливец за здравие его молится. Было это вскоре после Ильина дня; не выходят у меня из головы слова отца дьякона; и просвирку его берегу, поставила к образам. Вот в успеньев день встала я рано, тороплюсь до начала поздней обедни все управить. Только что успела пирог вынуть из печи, как в соборе и ударили к обедне.

Стала я одеваться; вдруг слышу, кто-то вошел в кухню... Оглянулась я, да уж и сама не знаю, как у меня ноги не подкосились: вижу, Петр Семенович крестится на икону».

Подошел, помнится, день рождения тетки Марьи Ивановны; несмотря на то, что жила в монастыре, она его справляла довольно широко, родных и знакомых набиралось человек двадцать; после обычного чая предлагался обильный обед и даже с достаточным количеством архангельского тенерифа. Между прочими гостями был и Иван Петрович; а так как дело происходило вскоре после возвращения Петра Семеновича, то естественно, что приключения его и стали темой продолжительного разговора. «Сами знаете, — объяснял Иван Петрович, — что из него слово вытянуть труднее, чем из глубокого колодца достать ведро воды. Ведь как я ни пытал его, ничего толком не добился, — с огорчением прибавил Иван Петрович, по природе добряк, но притом страшно любопытный. — Приходит это ко мне, ну, первым делом, конечно, в ноги. «Простите, дяденька».— «Бог тебя простит, коли ты дурь свою из головы выбросил; да с чего это с тобой было?» — «Так, тоска напала». — «Да с чего тоска-то подошла? Может быть, с бабенкой какой связался?» — «Что вы, дяденька, и в помышлении ничего такого не было». «Тоска да тоска» — вот весь и разговор его. «А зачем ты из Вологды скрылся?» — «Стыдно мне было людей, да и тоска — даже на водку не мог смотреть. Вот и надумал я: пойду посмотреть, как люди в других местах живут». И где только он, Марья Ивановна, не побывал! С казаками какую-то соль возил, на Кавказ пробрался, там с коробком ходил, да черкесу на аркан и попался. Убег, однако, с каким-то солдатиком, — тоже в плену был. «А как же, говорю, надумал ты домой вернуться?» — «В ауле, — это у черкесов так деревни зовутся, — сильно затосковал я по семье, не выходила она у меня из головы ни на одну минуту. Вот как сговорились мы бежать, и дал я обещание: коли господь поможет, сходить поклониться Феодосию Тотемскому да потом домой вернуться».

При поддержке дяди Петр Семенович опять открыл торговлю, благо Марья Петровна удержала лавку. Но передряги, пережитые им, не прошли ему даром. Его здоровье сильно пошатнулось, и лет через пять его не стало.

XII. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА В ДЕРЕВНЮ

Мне шел восьмой год. У матушки не имелось никаких средств: как я уже говорил, она получала пенсию, в размере двадцать восемь рублей в год, да немного зарабатывала рукодельем. От первого мужа у нее остались три дочери: одна умерла в детстве, другую удалось пристроить в петербургский сиротский институт, третью взяло одно бездетное дворянское семейство и воспитывало ее как свою дочь. То были старики Николай Иванович и Екатерина Петровна Одинцовы, коренные вологжане. Эти добрые люди приняли участие и во мне. Я уже целый год за два рубля учился грамоте в женском монастыре и, бог знает, когда бы ее одолел, если бы Одинцовы не предложили матушке посылать меня каждый день к ним. Сестра и отчасти Николай Иванович стали подготовлять меня к гимназии; я оставался у них с утра до вечера. К ученью я не обнаруживал большой охоты, да, кажется, и особенных способностей не находили у меня. Но главное, что тяготило меня, — это воспитательная система; у матушки я рос в полной простоте, а тут настойчиво принялись вырабатывать из меня вполне благовоспитанного дворянского мальчика: строго наблюдали, как я сижу, как держу ложку или вилку; говорить должен был с осмотрительностью как по содержанию, так и по форме, поминутно подвергаясь строгой цензуре. Не удивительно, что я с нетерпением ожидал шести часов вечера, когда обыкновенно отпускали меня домой. Но вот подошла весна 1848 г. Раз в праздничный день приехала к нам сестра и сообщила, что старики готовы взять меня к себе на лето в деревню. Матушка выразила свое полное удовольствие и согласие; но на меня эта новость подействовала самым угнетающим образом. Я давно знал, что Одинцовы уедут на лето в деревню, и уже заранее наслаждался мыслью, что у меня все лето будет свободно как от ученья, так и от воспитательной дрессировки.

Едва сестра уехала, я сейчас же ударился в слезы; матушка стала меня успокаивать и рисовать самые радужные картины.

«У Одинцовых, — говорила она, — большой сад, сколько там яблоков, малины и вишен! А в лесу-то на каждом шагу грибы растут и всякие лесные ягоды — земляника, черника, брусника, — только наклонись и бери.

Птичек сколько в деревне: утром проснешься, а у тебя под окном то пеночка поет, то малиновка; по праздникам девушки хороводы водят; ты с ними в огарыши будешь играть, как весело-то!»

И многое рассказывала матушка о прелестях деревни, так что я, не имевший о ней ни малейшего понятия, скоро успокоился и даже с нетерпением стал ждать дня отъезда.

Деревня Одинцовых находилась с небольшим в тридцати верстах от города, и на моих глазах происходили все сборы. Задолго до отъезда был приведен в порядок тарантас. Надо прежде всего пояснить, что хотя Николай Иванович и пользовался полным внешним почетом, но на самом деле всем домом и хозяйством ведала Екатерина Петровна. Тарантас был старый и на своем веку немало совершил всяких путешествий; а потому и после того как был отремонтирован, Екатерина Петровна не раз призывала кучера Ивана и подвергала его строгому расспросу — исправлено ли то или другое, видимо вспоминая разные грехи за тарантасом. Затем начались собственно сборы. В деревне имелась полная обстановка, так что из города бралось только серебро, да самое небольшое количество платья. И тем не менее поминутно слышался голос Екатерины Петровны, — уложено ли то-то, не забыли ли взять вот это. Дня за два до отъезда начались постоянные призывы кучера, и с ним велись конференции насчет лошадей.

— В корню пойдет Голубанко, — почтительно докладывал Иван, — правой пристяжной Надежко, а на левой Соколко.

— Соколко не хромает?

— Нет.

— Да хорошо ли перековали?

— Всех кругом перековали заново.

— А как вдруг Соколко в дороге захромает. (Соколко имел к этому особое расположение.)

— Да с чего ему захромать, ведь подседы у него прошли, а если грех с ним и случится, то разве после дороги.

— Выбежит ли он?

— Как не выбежать, сударыня, три недели стоял на отдыхе.

— Не лучше ли будет кобылу запрячь?

— Воля вашей милости, только Рыжуха шибко стара.

— По какой дороге ехать?

— Как прикажете; по маленькой хоть и короче, только в лесу еще должно быть шибко топко.

— А по большой — горы.

— Голубанко хорошо спускает, — успокоительно заверяет Иван.

Чем ближе подходит время отъезда, тем чаще призывается Иван, и опять слышишь: «Голубанко хорошо спускает, у Соколка подседы прошли».

Явились из усадьбы подводы для перевозки прислуги и разных запасов, покупаемых в городе; вслед за тем был назначен день отъезда. Стали появляться разные лица с прощальными визитами; накануне были заказаны подорожники, а в день отъезда все поехали в церковь, где и был отслужен молебен.

В числе приехавших была сестра Екатерины Петровны, и с ней была собачка, обратившая мое особенное внимание; таких я еще никогда не видал, — черная с длинной шерстью, широкими мохнатыми ушами, рыжеватой подшейкой. Она с звонким лаем обежала комнаты, ко всем кидалась на грудь, а главное, ни на минуту не оставалась спокойною — то вскочит на окно, то вьюном кружит вокруг обеденного стола. Все ей были рады, и даже строгая Екатерина Петровна, не любившая вообще собак, стала ласкать ее и дала маленький кусочек сахару. То был кинг-чарль, и сестра Екатерины Петровны очень тщеславилась, что ни у кого в Вологде не было такой собачки. Между тем приехала еще какая-то дама; едва она завидела собачку, как подхватила ее на руки.

— Ах, мое сокровище, — восклицала она, целуя собачку, — Марья Петровна, когда же вы ее мне уступите; ведь я жить без нее не могу.

— Никогда.

— Ну, не хотите продать, так давайте меняться; я вам на выбор предлагаю одну из своих горничных, — обе умеют шить, хорошо работают гладью и очень расторопные, да ведь и молодые...

— И за обеих не отдам, — решительно ответила Марья Петровна.

— Ах вы жестокая.

Ранний обед. Чем ближе минута отъезда, тем чаще сестра получает от Екатерины Петровны замечания за

нераспорядительность, прислуга награждается нелестными прозвищами, а Иван Ефимович (старый лакей) удостоивается аттестации старого дурака. Наконец все готово, и надо усаживаться в тарантас. Все собрались в одной комнате и сели; так в молчанье прошло, может быть, с минуту, потом разом все поднялись, помолились и стали спускаться. У самого тарантаса вновь возникает вопрос: по какой дороге ехать. Явившийся с подводами «выборный» Леонтий (почему он носил такой титул, не понимаю, так как назначался помещиком и был, собственно, помощником старосты) подвергается повторному расспросу и еще раз свидетельствует, что по малой дороге в лесу топко. Скрепя сердце Екатерина Петровна отдает приказ ехать большой дорогой.

Я провожу последние минуты с матушкой; она старается скрыть свои слезы и что-то объясняет мне, как я себя должен вести в деревне. Я горячо любил матушку, но в эту минуту не чувствовал особенной горечи разлуки, так как весь был занят мыслью, что вот сейчас я в этом огромном тарантасе поеду в какой-то для меня неведомый край.

Екатерина Петровна первая уселась в тарантас, и хотя в нем все было размещено по ее приказанию и всё были вещи, не впервые укладываемые, она, однако, осталась недовольна, и началась переукладка. Наконец все уселись, сестра поместилась между стариками; я в последний раз поцеловался с матушкой и взобрался на указанное мне место, спиной к кучеру.

Старому повару с женой (они оставались в городе) в сотый раз наказывается осторожнее обращаться с огнем.

«Будьте спокойны, матушка барыня», — отвечают старики, низко кланяясь и подходя к ручке Екатерины Петровны, — честь, которой удостоивались немногие из дворни. Вот Иван Ефимович взобрался на козлы, — его обязанность в дороге отворять отвода, — и мы двинулись; я еще раз взглянул на матушку, она улыбалась, но в то же время утирала слезы платком, — ведь в первый раз она расставалась со мной! Слезы душили и меня, но я старался их сдержать, боясь Екатерины Петровны.

— Иван, — вдруг раздался ее голос, — взят ли топор?

— Взят.

— А веревки?

— И веревки взяты.

Эти вещи всегда брались на случай поломки тарантаса или какого-нибудь неожиданного случая в дороге.

Надо же мне сказать хоть несколько слов о стариках Одинцовых. Николаю Ивановичу было за шестьдесят лет, а Екатерине Петровне немного менее; для своего времени они получили очень хорошее образование. Николай Иванович учился в петербургском иезуитском пансионе[1], откуда вышел в военную службу, в 1813 и 1814 гг. побывал с действующей армией за границей, а в 1815 г. вышел в отставку. Он знал французский и немецкий языки и безукоризненно писал по-русски. Образование Николая Ивановича носило, однако, несколько странный характер; например: французская литература для него заканчивалась на классиках века Людовика XIV; о литературе XVIII, а тем более XIX века он уже не имел ни малейшего понятия. Несмотря на очень хорошее знание немецкого языка, немецкой литературы он не подозревал и существования. Из русских писателей знал только Ломоносова, Державина и Карамзина.

Екатерина Петровна получила домашнее образование, прекрасно говорила и писала по-французски и хорошо играла на фортепиано. Русскую грамоту знала очень нетвердо, потому предпочитала переписываться по-французски; и библия у нее была тоже французская. Пушкина в доме Одинцовых слыхали (читала его только сестра); любимым русским поэтом Екатерины Петровны был Жуковский; впрочем, и из него она знала только баллады. От времени девичества у нее сохранялась тетрадь, в которой были списаны баллады Жуковского; иногда Екатерина Петровна вынимала эту тетрадь и что-нибудь прочитывала.

«Хоть и глупости, — говорила она, — а очень мило».

Одинцовы были люди глубоко религиозные, только посты не особенно твердо выполняли; по общественным

---

[1] Из своих товарищей он часто вспоминал о князе П. Вяземском, который, по его словам, был большой проказник и особенно отличался тем, что умел отлично вышучивать и проводить почтенных отцов иезуитов. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

понятиям они прямо принадлежали к екатерининскому времени, да еще с примесью предрассудков, занесенных к нам французскими эмигрантами. Крепостное право не только не возбуждало в них никаких сомнений, но прямо считалось божественным учреждением. По-видимому, совершенно искренно Екатерина Петровна весьма сомневалась, есть ли у крепостных душа; в сердцах она часто говорила: «Разве есть у них душа? у них голик» (обтрепанный веник).

Как помещики они не отличались ни жестокостью, ни излишним вымогательством (впрочем, из четырех деревень, им принадлежащих, одна сплошь занималась нищенством); барщина, напр., у них отправлялась по три дня в неделю, между тем как у некоторых соседей нередко по четыре дня. Только Екатерина Петровна была большая ворчунья, и от нее всем доставалось, начиная с Николая Ивановича и моей сестры, которую, однако, Екатерина Петровна любила, как редкая родная мать. Но особенно доставалось от Екатерины Петровны дворовым женщинам; естественно поэтому, что последние не только боялись, но и не любили ее.

В житейском смысле все считали Екатерину Петровну женщиной очень умной и с большим тактом; напротив Николай Иванович, по-видимому, с давних пор имел прочно установившуюся репутацию, что он «очень недалек». За ним оставалось полеводство, и хотя он им занимался более тридцати лет и даже пробовал производить какие-то опыты (одно время выписывал сельскохозяйственную газету), но тем только давал пищу для острословия соседей да повод старостам обманывать его на каждом шагу. Он вел точный журнал всем работам, посевам и урожаю. И вот какой с ним был случай. В журнале значилось, что на известном участке посеяна рожь, а уродился овес. Удивлению его не было пределов, и он на первых порах всем рассказывал, что у него рожь переродилась в овес.

Материальное положение Одинцовых было очень тяжело. Вследствие проигрыша одного процесса у них оставалось несколько менее ста душ — все барщинных; притом имение не только было заложено в опекунском совете, но и обременено еще частными долгами, за которые платилось не менее двенадцати процентов. Поддержкой являлась служба; Николай Иванович занимал должность

провиантского комиссионера для Вологодской губернии с жалованьем около шестисот рублей; место считалось очень доходным, но благодарностей от подрядчиков он не получал — и за такую добродетель, конечно, не удержался бы на месте, если бы не протекция Позена, всемогущего при тогдашнем военном министре Чернышеве. Чтобы как-нибудь сводить концы с концами, Екатерине Петровне приходилось наблюдать во всех расходах самую крайнюю экономию; за исключением чая, сахара, небольшого количества крупчатки (обыкновенно подавалось пшеничное печенье), кое-чего из столовых припасов да еще материй для платья, ничего не покупалось; точно так же всякую работу старались сделать из своих материалов и домашними средствами. Приемов никаких не было. Одинцовы считали себя настоящими местными аристократами (Екатерина Петровна была урожденная Мельгунова) и на большинство тогдашних местных дворян смотрели несколько свысока, как на выскочек; старик раза два в год делал визит губернскому предводителю Межакову, а Екатерина Петровна — какой-то уважаемой старушке Ф. С. Дьяконовой; на том сношения с посторонними людьми почти и кончались; родных было мало. И все же таков был тогдашний помещичий строй, что вот какая дворня существовала для двух стариков и жившей при них моей сестре: повар с женою в городе (квартира была наемная, — это было исключение, так как почти все местные помещики имели свои дома в городе[1]), повар в деревне, он же и садовник, его жена смотрела за птицей и огородом, при поваре состоял поваренок, затем два лакея, кучер, две горничные, ключница, коровница для домовых коров, прачка, в помощь которой брались еще другие женщины из ткацкой, стряпка для дворни, кормившейся в общей застольной. Застал я еще почти не у дел старушку Ольгу Ивановну, отставную ключницу; она пользовалась особенным уважением со стороны Екатерины Петровны и в деревне, каждое утро, из собственных рук барыни получала две чашки чаю. Всю эту прямо, так сказать, непроизводительную дворню с детьми надо было прокормить, одеть и обуть. Затем были еще бобыли

---

[1] Теперь в Вологде домов, принадлежащих помещикам, осталось очень мало, а на Дворянской улице, кажется, ни одного. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

и бобылки — кто пас овец, кто стерег птицу; и наконец немалое число женщин было занято в ткацкой; тут был хоть какой-нибудь возврат, так как полотнами (и очень хорошего качества) в натуре уплачивалась часть процентов в опекунский совет. Менее трех лошадей никогда не было, они, конечно, в работу не употреблялись; их главное дело было как в деревне, так и в городе возить по праздникам в церковь; причем в городе всегда запрягалась пара: «Это чиновники и купцы ездят в одиночку»,— так большею частью тогда рассуждали [1].

Медленно громыхал тарантас по невозможным даже и теперь вологодским мостовым. Я сижу на каком-то возвышении и прежде всего испытываю горделивое чувство, — мне еще никогда не приходилось ехать в тарантасе. По временам попадаются уличные мальчики, бросают свою игру и внимательно следят за тарантасом, но к крайнему огорчению видят, что на задок прицепиться никак нельзя, так как там крепко прикован большой ящик. Ужасно хотелось, чтобы повстречался кто-нибудь из приятелей и, конечно, с большой завистью посмотрел бы, как я «еду с настоящими господами в деревню». К сожалению, тарантас двигался по направлению, прямо противоположному от района, в котором находилась квартира матушки. Да и как не позавидовать, — у Одинцовых большой сад, и в нем растут яблоки, малина, а в лесу сколько хочешь всяких ягод и грибов. Не знаю, долго ли бы продолжалось такое повышенное настроение, как вдруг Екатерина Петровна резко обратилась ко мне: «Ах, батюшка, ты мне совсем отдавил колени».

Сестра сейчас же поправила меня и строго сказала, чтоб я сидел смирно и не вертелся.

Понемногу проехали город, и начался городской выгон, за пределы которого еще никогда не пересту-

---

[1] У Николая Ивановича была племянница-вдова, жившая ради экономии круглый год в деревне; при ней были две падчерицы с гувернанткой и никого более. Имение по вологодскому масштабу было большое, но до невозможности обремененное долгами. Я раз вместе с Одинцовым провел в нем часть осени; после тихого Мурманова Погорелово производило впечатление большого села, — только при одном доме было до двадцати человек разной прислуги. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

пала моя нога. Хотя я не раз видал стадо коров, когда оно возвращается по домам, все же теперь был изумлен бесчисленным множеством коров, и притом каких тут только не было! Мне захотелось разглядеть «бурену» хозяина, у которого матушка нанимала квартиру, я стал очень напряженно присматриваться к стаду, как Екатерина Петровна с сердцем сказала сестре:

— Катерина Александровна (это величание всегда означало повышенную степень неудовольствия Екатерины Петровны), да смотри же за своим братцем, он опять надавил мне ноги.

Сестра мгновенно поправила меня и, наклонившись, прошептала: «Если ты не будешь сидеть смирно, то тебя высадят на дороге».

Я совсем съежился от этой угрозы.

— Катя, ему, кажется, неудобно сидеть, надо поправить, — уже совсем мягко проговорила Екатерина Петровна.

Тарантас был остановлен; оказалось, что я сидел на скате какого-то узла, и не удивительно, что постоянно сползал. Когда было произведено надлежащее исправление, я уже долго не подавал повода ни к каким замечаниям.

День был хороший, весеннее солнце все заливало своими лучами, и все понемногу пришли в доброе расположение духа.

Екатерина Петровна начала что-то рассказывать, должно быть очень веселое, потому что не только Николай Иванович громко засмеялся, но даже всегда сдержанная сестра и та приятно улыбалась. Это приподняло и мое сильно упавшее настроение от страха, что высадят на дороге; к тому же стали мелькать усадьбы, окруженные садами, деревни, поля.

— Ах, какая большая трава, отчего же ее не косят? — сказал я.

— Это не трава, а рожь: из нее делают хлеб, — объяснила Екатерина Петровна.

Это была совсем новая вещь для меня; я знал только, что хлеб делают из муки, — матушка каждую неделю пекла хлеб.

— Мука белая, — сказал я, — а тут зеленая трава.

— Когда она еще вырастет, то побелеет, у нее будет колос, а в колосьях зерна, из них и делают муку.

Не успел я еще хорошенько обдумать это объяснение, как завидел на лугу большую стаю ворон.

— Ах, сколько ворон, — оживленно воскликнул я, — вот если бы теперь пустить камнем в них, то непременно можно было бы которую-нибудь зашибить.

— Нехорошо камнем пускать в ворон, — заметила Екатерина Петровна, — это делают только злые и невоспитанные мальчики.

— Ворон ведь не едят, они ничьи.

— Все равно, ворона тварь божья, и не следует ее обижать.

— Это Мурманово (так называлось имение, куда ехали)? — сказал я, завидев в стороне усадьбу.

— До Мурманова еще более двадцати пяти верст.

Я знал, что есть версты, но никакого реального понятия о них не имел.

— А скоро мы приедем в Мурманово?

— Мы проехали только пять верст, — отвечала сестра.

Мне же казалось, что мы ехали необыкновенно долго и что давно пора пить послеобеденный чай.

— А когда же мы станем чай пить?

— Приедем в Мурманово, там и будет чай.

— Ты, однако, уж очень много болтаешь, — наклонившись ко мне, тихо проговорила сестра.

Что же мне оставалось делать? Стал смотреть на дорогу, там поминутно попадались прохожие и проезжие. Вот едет мужичок, совсем похожий на дядю Ивана, что иногда привозит дрова матушке; и лошадь бурая. Но такая досада, не успел хорошенько вглядеться и крикнуть ему «Дядя Иван!», как тарантас уехал вперед. Мне сделалось очень грустно; дядя Иван был такой хороший дядя, всегда продавал матушке дешево дрова; воз у него был большой, дрова сухие, и часто подолгу ждал деньги. Бывало, придет, перекрестится на образ и скажет:

— Здравствуйте, матушка Анна Ивановна, как поживаете, не разбогатела ли деньгами, пятиалтынничек-то получить бы.

— Нет, Иванушка, еще не справилась, уж подожди, голубчик.

— Что ж, матушка, подождем. Ишь какой сынок-то у тебя растет, вот будет большой — заботушку-то с тебя и снимет.

А я на эти слова отзывался:

— Я буду офицером и за матушкой в карете приеду!

Дядя Иван еще недавно был у нас и звал меня летом к себе в деревню и непременно хотел приехать за мной на своем бурке. Хорошо у них летом в деревне; там есть речка, и в ней пропасть раков, можно просто руками ловить, а если боишься, что рак клещами схватит, так сеткой с наживой.

«Где лучше, — подумал я, — у дяди Ивана или в Мурманове? В Мурманове есть кабриолет (что это за штука, я и представить себе не мог), его запрягут, сестра сядет, возьмет меня с собой, и мы поедем кататься».

Так говорила матушка.

Зато у дяди Ивана пекут рогульки такие вкусные (он часто привозил мне этот гостинец), их я у Одинцовых никогда не едал.

Не знаю, долго ли бы продолжались мои сравнительные соображения о двух неизвестных, если бы внезапно для меня не остановился тарантас. Я подумал, что мы уже приехали, но оказалось, что ввиду небольшого спуска стали тормозить тарантас, операция никогда мною не виданная, а потому и очень меня заинтересовавшая.

Екатерина Петровна, видимо, была в большом беспокойстве: почему-то Иван Ефимович получил приказ сойти с козел и следовать пешком.

Так как я сидел спиной к кучеру, то мне очень хотелось посмотреть, как Голубанко «спускает», но едва я стал поворачиваться, как сестра остановила меня; это было досадно. Минуты через две спуск был совершен, и мы опять поехали прежним порядком. Меня эта процедура немало удивила; по-моему, надо было ехать под гору вскачь, как то делают в городе извозчики, когда спускаются с Соборной горы. Как весело тогда смотреть на них!

Едем и едем; по времени показалась близ дороги особняком стоящая церковь; опять остановились — предстоял большой спуск, и надо было тормозить (ныне по всем этим горам я езжу, и ни о каком торможеньи никогда и речи не бывает).

Тут Екатерина Петровна решительно объявила, что она пойдет пешком, и вышла из тарантаса; за ней последовала сестра, велено было и мне выходить, чему я был очень рад, — сиденье в тарантасе уже стало мне надоедать. Но Николай Иванович положительно отказался

расстаться с тарантасом; ему, видимо, было очень удобно, вся спина его утопала в большой подушке.

«Ванюшка, — крикнул он, — подай трубку!»

Иван Ефимович достал из чехла трубку, потом из бисерного кисета набил табаку. Я приготовился наблюдать очень интересную и хорошо известную мне операцию высекания огня над трутом [1], но вместо того Иван Ефимович вынул из кармана какое-то круглое стекло и начал водить им над трубкой; на табаке замелькало светлое пятно, показался табачный дымок, и Иван Ефимович передал трубку Николаю Ивановичу, который сейчас же с наслаждением и начал попыхивать. Изумлению моему не было пределов; я кинулся было к сестре, чтоб обратиться к ней за разъяснением, но как раз в эту самую минуту начался спуск и отвлек мое внимание, тем более что представилось удивительное зрелище. Голубанко почти совсем присел на задние ноги, а хомут у него сполз под самую морду.

Я хотел было сказать Ивану, что разве он не видит, что Голубанко упал, но в присутствии Николая Ивановича не решился заговорить с ним, так как раз навсегда мне было строго запрещено входить в какие-нибудь разговоры с прислугой (запрещение это, конечно, выполнялось только на виду стариков да отчасти сестры). Я шел рядом с тарантасом и не мог оторвать глаз от Голубанка, все время удивляясь равнодушию Ивана, пока наконец спуск не кончился. Тормоз был снят, и я думал, что все сейчас же сядут; но предстоял подъем, Екатерина Петровна, а за ней и сестра продолжали идти пешком; я против этого тоже ничего не имел.

Вдруг на дороге показалось несколько овец; завидя тарантас, они поднялись, постояли некоторое время, да как кинутся в сторону, да через канаву!

Это было ужасно весело, я сам было побежал за ними, но строгий окрик сестры вернул меня. Между тем появились коровы; их я не в шутку побаивался, а потому невольно схватился за юбку сестры. Одна черная корова с большими рогами наклонилась и так-таки прямо и пошла на Екатерину Петровну.

---

[1] Спички еще очень мало были распространены в Вологде, а вскоре по всей России были запрещены (после пожаров в 1849 г.), вновь были разрешены, помнится, в 1861 г. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

«Ай, она забодает Екатерину Петровну», — чуть не сквозь слезы говорю я сестре; но Екатерина Петровна подняла какую-то хворостину и так строго замахала на корову, что та сразу отбежала в сторону, пресмешно при этом поднявши хвост. Тут нам попался пастух. В более раннем детстве, напуганный разными рассказами, я подчас искренно завидовал всякой бессловесной твари, потому что ей нечего бояться ада и всех ужасов, которые там ожидают грешников; теперь я стал завидовать всем, у кого нет обязательных уроков, кто не подвергается ежеминутным замечаниям и разным наставлениям. Пастух был немного побольше меня, но насколько счастливее! Целый день он на свободе и может сколько захочет кататься по траве; это так приятно! Но вот гора кончилась; прежде чем усесться, достали подорожники, потому что проехали половину дороги, и все стали закусывать. Мне был дан очень вкусный, сдобный пшеничный калач; я с удовольствием стал его уписывать, как вдруг сюрприз: в калаче оказалось запеченное яйцо; таких калачей я никогда не видывал. Удовольствие было несколько отравлено тем, что меня заставили непременно есть яйцо с какой-то черной солью, а я соли вообще не любил.

«Катя, что ж ты не дашь ему лепешечку?»

Я ожидал знакомую вещь: матушка по праздникам нередко пекла маленькие лепешки, помазанные сверху сметаной; но сестра дала мне какую-то конфетку, необыкновенно вкусную, и при этом шепнула: «Поблагодари маменьку». Я по обыкновению исподлобья пролепетал: «Благодарю покорно». Впоследствии я не раз был свидетелем, как приготовлялись эти лепешечки из разных ягод, не годившихся для варенья; их запасали на целый год, и они тогда в помещичьих домах заменяли конфекты.

Ехали, должно быть, очень медленно; сестра достала книгу и начала вслух читать; я, конечно, ничего не понимал, только с тех пор запомнил слово «вабанк», которое в повести часто упоминалось и значение которого осталось для меня навсегда темным. Свежий воздух, закуска, масса новых впечатлений — все это стало располагать меня ко сну, и я, должно быть, поминутно начал клевать.

«Лонгину спать хочется, — сказала Екатерина Петровна, — приладь ему, Катя, подушку». И я заснул; лишь по временам, просыпаясь от толчков, видел, что

уже стало темнеть, что мы едем лесом, и опять засыпал. Никакие сновидения тогда меня не тревожили. Но вот сестра меня будит, я с трудом открываю глаза, тарантас стоял у крыльца какого-то дома, — мы приехали.

Спросонков меня ничто в доме особенно не поразило, кроме странного запаха да белых цветочков, расставленных в кувшинчиках на окнах; как я потом узнал, то были наши северные ландыши; их очень любила Екатерина Петровна, к приезду которой заботливая рука Ольги Петровны и расставляла их везде. Наскоро напились чаю; затем сестра свела меня в особую комнату, для меня назначенную. Там какая-то старушка раздела меня и уложила в кровать под пологом, назначение которого для меня еще было совершенно неизвестно. До сих пор мне никогда не приходилось спать в особой комнате; это ли обстоятельство, или просто сон разгулялся, только я не мог заснуть. Я выполз из-под полога и стал смотреть в окно; ночь была светлая. Прямо перед моим окном была конюшня, под навесом стояли лошади, на которых мы приехали. Они время от времени переменяли ноги; Надежко даже часто сильно ударял ими в деревянный пол. Меня очень удивляло, что Иван совсем забыл о лошадях; ведь им есть хочется и спать давно пора; сам-то он теперь небось чай пьет (я слышал, как Екатерина Петровна говорила — послать чаю Ивану), а о лошадях и не думает. По двору бегала собака, спущенная на веревке, и по временам почему-то начинала лаять. «Злая, должно быть», — подумал я. Более интересного на дворе я ничего не заметил. Что касается завтрашнего дня, я никак не мог его себе представить, — мне было только известно, что грибы и ягоды еще не поспели; потому опять вернулся к наблюдению за лошадьми. Я долго ждал Ивана, но он все не появлялся; наконец я улегся на свою кровать и на этот раз скоро заснул.

На другой день сестра меня разбудила, позвала какую-то Матренушку, сказала ей, чтоб дала мне умыться и одела меня; обе эти операции у матушки я проделывал сам и теперь не понимал, зачем тут Матренушка; но потом так вошел во вкус, что без сторонней помощи считал даже унизительным совершать свой туалет. Сестра сказала еще, чтобы я во всем слушался Матренушки. На первый раз Матренушка в очках показалась мне очень сердитой старухой (на самом деле ей, вероятно, было

лет за тридцать), в действительности же это было добрейшее существо, никогда не жаловалась на меня сестре, хотя я скоро совсем вышел из повиновения; особенно ей было трудно справляться, когда она водила меня в баню; а главное, она никогда не давала мне почувствовать, что я бедный мальчик, из милости воспитываемый. С этой стороны от многих из дворни мне потом пришлось немало вытерпеть. Когда я был совсем готов, опять пришла сестра, и под ее наблюдением я молился; тут в первый раз в комплекс моих молитв была введена молитва за Екатерину Петровну и Николая Ивановича.

После молитвы сестра повела меня в сад. До сего времени я видал только сад в женском монастыре перед кельей игуменьи, там была рябина, черемуха да несколько яблоней, а из цветов росли бархатцы и сапожки. То, что я увидел теперь, повергло меня в немое очарование. Перед самым балконом был большой куст сирени, от него в некотором расстоянии по обе стороны еще несколько меньших кустов, потом масса яблоней, вишен, и все это в полном цвету; подчищенные дорожки, клумбы с цветами, липовые аллеи, тополи, правильно рассаженные кусты смородины и крыжовника, грядки с малиной, и чего только не было в саду! А кругом него шел превысокий вал, много выше меня, а за валом канава, ух какая глубокая! Сестра мне все объясняла, а по времени подвела меня к горке. Когда я на нее с трудом взобрался, восторгу моему не было предела, и еще бы: Катя (сестра) стала такая маленькая, а я-то высоко-высоко стою над ней!

В заключение сестра показала мне небольшой кедр и сказала, что он немного старше меня, а когда вырастет, то на нем будут шишки, а в них орехи.

— А скоро он вырастет?—спросил я, заранее предвкушая удовольствие грызть орехи, которые очень любил.

— Я думаю, не ранее, как ты сам будешь большой.

Это было первое разочарование, но вслед за ним предстояло несравненно большее. Стали возвращаться из сада, и тут сестра объявила мне строгим тоном, что я никогда не должен срывать ни одного цветка, ни касаться яблонь, вишен и ягод. Выслушав эти слова, я печально опустил голову, яркий солнечный день точно затемнился. То ли сестра заметила перемену в моем настроении, то ли считала нужным позолотить горькую пилюлю, только она прибавила:

«Вот когда все поспеет и станут собирать, то и тебе маменька (так она звала Екатерину Петровну) будет давать; но ты должен себя хорошо вести».

Выйдя из сада, сестра повела меня по всей усадьбе; построек было много. Вот людская, там ткацкая, тут кухня и т. д.; но я на все смотрел без особенного интереса, так как еще весь был под впечатлением только что выслушанного запрета. Зашли в конюшню, где я сразу узнал вчерашних лошадей, и как-то вдруг на душе стало полегче; но главное, что заставило меня позабыть о только что обрушившемся ударе, так это молодой жеребенок, который, завидев сестру, сейчас же подбежал к ней, а потом ко мне. Сестра крикнула какую-то девушку, и та принесла хлеба. Едва жеребенок почуял хлеб, как стремительно бросился к сестре и только что не сбил ее с ног. Сестра дала мне хлеба, чтоб я покормил жеребенка; я однако не решался, но жеребенок не долго думал и выхватил у меня кусок. Я закричал с испуга; но сестра показала мне, как надо держать хлеб, и второй раз сошло у меня благополучно, хотя я все-таки испытывал сильный внутренний трепет, сейчас же, впрочем, сменившийся громкой радостью, когда жеребенок дал себя погладить по шее, а потом и по голове. Между тем в стойлах послышалось ржанье; меня немало удивило, что сестра очень смело заходила в стойла, гладила лошадей и давала им хлеба. Никакие уговоры сестры на меня не подействовали — я в стойла не пошел, и основательно — там стояли такие большие лошади!

«А ты, Соколко, что — лежишь, — сказала сестра, — ну-ка, встань, — и стала его толкать ногой. Соколко долго не хотел вставать, несколько раз как-то странно вытягивал задние ноги и наконец кое-как поднялся. — Ах, бедный, ты опять захромал».

Мне показалось очень странно, почему сестра знает, что Соколко захромал, — ведь она не кучер и Соколко не бежит. Я не утерпел и спросил сестру. «А видишь, как он держит заднюю ногу». Кажется, не успел я хорошенько рассмотреть ноги Соколка, как откуда ни возьмись явился козел — с такими большими рогами и предлинной бородой; я с криком ужаса выбежал из конюшни. «Полно, Лоничка, чего ты испугался: видишь, какой он смирный, — говорила сестра, гладя козла по морде, — поди сюда, не бойся». Я не двигался, так как

хорошо помнил, что раз в Девичьем монастыре козел шел прямо на меня с опущенными рогами, и мне тогда объяснили, что он хотел забодать меня. «Да поди же сюда», — строго сказала сестра. Я наконец повиновался. «Ну, погладь его». Видя, что я стою не шевелясь, сестра взяла мою руку и стала ею гладить козла по морде и затем понемногу оставила мою руку; я не только продолжал гладить козла, но, видя, что он смирно жует хлеб, даже расхрабрился взять его за бороду, а потом за рога. «Ну за рога-то его не трогай, он тебя, пожалуй, напугает». — «А можно на него сесть верхом?» — «Нет, на козлах верхом не ездят».

Вскоре конюшня стала моим любимым местопребыванием в скучный послеобеденный час, который мне давался для отдыха. Играть было не с кем; потому, когда меня отпускали на двор, я почти всегда и прежде всего направлялся в конюшню; особенно подружился с козлом. Мне казалось, что он понимает меня, — ведь и ему, должно быть, невесело, вечно одному, да еще взаперти.

Из конюшни зашли в каретник; там стоял уже вымытый тарантас и еще какой-то экипаж, доселе мною не виданный.

— А это что?

— Это кабриолет.

— Кабриолет! — радостно воскликнул я, — а когда ты, Катя, поедешь на нем кататься?

— Он поломан, его еще надо поправить.

В конюшне я позабыл о тяжелом запрете, постигшем меня в заключение прогулки в саду; но теперь меня ждал новый тягчайший удар.

Возвращаясь домой, сестра сказала мне: «Ни в сад, ни на двор ты никогда не должен выходить без позволения, надо всегда спроситься».

«Прощай, грибы, не видать ягод в лесу! да и кабриолет сломан», — со слезами в горле подумал я.

XIII. НА ЛЕТНИХ КОНДИЦИЯХ

Я перешел из четвертого класса в пятый. У меня было два знакомых гимназиста, из приходящих, первых классов; знакомство завязалось потому, что их семья

жила в том же доме, где квартировала матушка. Так как я шел в гимназии хорошо, то родители моих знакомых, видимо, дорожили моим знакомством и часто звали к себе обедать. Только что кончились экзамены, как отец моих приятелей пришел к матушке и стал просить ее отпустить меня к нему на лето, подавая неясные обещания, что за занятия с детьми я не останусь без благодарности. Матушка охотно согласилась, а я был даже и очень рад. До сих пор лето я обыкновенно проводил у Одинцовых; там было довольно таки скучно; к тому же меня допекали занятиями иностранными языками; по обыкновению в течение года в гимназии я опять все забывал.

Поездка предстояла за шестьдесят верст, в Пошехонский уезд, и дорога шла через Поземовский лес, — уж одно это было очень интересно. Поземовский лес в нашей стороне имел такую же громкую репутацию, как по всей России страшные Брянские и Муромские леса. В те времена разговоры о разбойниках, грабивших по дорогам, были очень популярны не только в народной массе, но даже и среди более образованных классов. Было ли то отголоском времен давно минувших, или отражением реальной действительности, не берусь судить. Иногда толки о разбойниках занимали чуть не все общество и принимали чисто фантастические размеры. Так, помнится, в 1855 г. Вологда была взволнована слухами об угрожавшем ей нашествии какого-то разбойника Рамзая с двумястами молодцов. Не было того дома, где бы не говорили о Рамзае, — откуда он взялся и кто такой был, конечно никто не знал, но ждали его ежеминутно, на ночь запирались накрепко. И было чего бояться. «У Рамзая двести человек — сорви-голова, все с ружьями, хорошо еще, что, говорят, пушек нет. Его по пятам преследовал целый батальон, полагали, что он идет на Ярославль, а он взял да и свернул в сторону и теперь прямо идет на Вологду; где его по снегам догнать солдатам, когда он на лыжах; а в Вологде как раз солдат-то и нет». Этот, например, разговор я сам слышал, как вели два гувернера в пансионе. Конечно, были и скептики, которые, посмеиваясь, говорили, что, вероятно, где-нибудь большой колокол льют, но их голоса тонули в массе перепуганного населения. Когда, бывало, вечерами в пансионе надоест распевать «То ли дело жизнь

студента» или «Вечерний звон, вечерний звон», то разговоры о разбойниках были одними из излюбленных, причем Поземовский лес зачастую был ареною их подвигов. Там, на половине дороги, находился постоялый двор, и сколько купцов лишились тут не только капитала, но и самой жизни!

«Вот, братцы, раз Бурлев поехал в Пошехонье на ярмарку, постоялого двора не миновать. Известное дело, едет купец на ярмарку, значит при нем должны быть деньги; к тому же все знали, что Бурлев любит порядочно выпить. Только и Бурлев был не дурак; ехал он с приказчиком, и у обоих было по двуствольному пистолету. Приехал Бурлев на постоялый двор, не раздеваясь спрашивает самовар, а сам достает закуску и бутылку с водкой; только, может быть, на его счастье, пробка выскочила и в бутылке оказалось сухо. Бурлев спросил было водки у хозяина. «Извините, ваше степенство, как на грех — вся вышла, вот завтра будет, нарочно послал работника в город привезти ведерко». Ну, делать нечего; напились чаю и завалились спать. Только Бурлев не спит, хоть для видимости и похрапывает, а сам все прислушивается. Окно во двор было неплотно притворено, вот он и слышит, как хозяин говорит работнику: «Как станут, братец, подниматься, ты и беги на смольную, скажи Ивану, что, мол, купец едет, да и с деньгами». А в лесу-то была избенка, и там жил старик, будто смолу гонит, а у него всё беглые проживали. Старичонко был заодно с хозяином постоялого двора; тоже не всякого проезжего грабили, а с разбором, на кого укажет хозяин. Работник ушел спать на другую половину, хозяин тоже лег и скоро захрапел. Бурлев дал ему хорошенько разоспаться, да и толкнул приказчика; потихоньку встали и разом кинулись на хозяина. «Пошевелись только, — говорит Бурлев, — как собаку пристрелю», а был, братцы мои, Бурлев мужичина здоровеннейший. Ну, живо скрутили хозяина, потом пошли на другую половину и то же проделали с работником. «Теперь надо одним духом собираться, ступай запрягать лошадей». А сам приподнял подполицу — посмотреть, не запрятан ли там кто-нибудь. Как осветит подполицу, а там видимо-невидимо всяких шуб, места́ чаю, тюки товаров, иконы в дорогих окладах, — чего только там не было. Вдруг смотрит: в одном углу прижалась старушонка.

— Ты тут чего, старая ведьма, делаешь? — закричал Бурлев.

Та вся трясется да в ноги ему.

— Отец родной, спаси ты меня, который год уж сижу в этой тьме кромешной.

— Ну, вылезай; как ты сюда попала к этим разбойникам?

— Шла я, батюшка, с богомолья, пристала, попросилась переночевать; да вот третий год меня и не пущают, заставляют работать, а как чуть что-нибудь задумают, так первым делом запирают в подполицу.

Тут старуха опять в ноги.

— Спаситель ты мой, возьми ты меня, довези до города!

Лошади были готовы, и Бурлев уехал, захватив и старуху.

В городе Бурлев объявил все начальству; налетел становой; однако содержатель двора выкрутился, только становой с тех пор шибко разбогател».

Таких рассказов, да еще с более драматической обстановкой, циркулировала масса.

Наш переезд совершился самым обыкновенным образом. Из города выехали рано утром, чтобы к ночи быть в Картузине. В тарантас поместилась сожительница Пеганина с старшими детьми и я, на подводе ехали малыши с нянькой и прислуга. По времени въехали в лес, который тянулся без перерыва на несколько десятков верст; дорога в лесу большею частью шла мостовинною гатью, а потому приходилось ехать шагом. Долго ехали, пока не добрались до постоялого двора, где остановились, чтобы покормить лошадей и самим напиться чаю.

Содержатель двора, плотный приземистый мужик, встретил семью Пеганина, как старых знакомых; но все, однако, особенно дети, не выходили из двора ни на шаг, а при тарантасе и подводе по очереди оставался или кучер, или работник, что ехал на подводе. За чаем не было и следа того оживления, которое обыкновенно бывает при остановках в дороге; все сидели молча или в случае надобности говорили вполголоса; у всех, видимо, была одна мысль: как бы отсюда поскорее выбраться. Сколько припоминаю, самый рискованный переезд предстоял еще впереди. Несмотря на половину

июня, только и речи было, что надо поторапливаться, чтобы засветло доехать до Картузина, потому остановка продолжалась ровно столько, чтобы закусить и напиться чаю. Когда двинулись далее, была ли то игра настроенного воображения, или на самом деле так, только лес казался все выше, гуще и мрачнее; разговоры совсем прекратились, все внимательно всматривались в чащу леса. Так продолжалось часа два, пока лес не кончился и мы не выехали в обыкновенные жилые места.

А теперь, как мне говорили, от Поземовского леса не осталось местами и пеньков.

Помещик, у которого я поселился, был человек лет под пятьдесят, с виду плотный, с короткой толстой шеей, лицом несколько оплывшим, серыми в узких орбитах глазами. В молодости он служил в уланах; за какую-то историю должен был выйти в отставку и только благодаря заступничеству великого князя Михаила Павловича отделался так дешево. Имение у него было небольшое, около восьмидесяти душ, все барщинных. По его словам, он принял его в самом расстроенном состоянии, крестьяне были «пьяница на пьянице», «нищий на нищем»; в редком дворе имелась корова и не во всяком лошадь; но, когда я жил у Пеганина, менее двух коров ни у кого не было, у многих по паре лошадей, и притом хороших лошадей. Барское хозяйство было образцовое по урожайности. Запашка велась непропорционально большая, так как Пеганин нисколько не стеснялся законом о трехдневной барщине. У него была большая семья, но, кажется, долгов на имении не имелось. Как его личное благосостояние, так и зажиточность крестьян — все это держалось на беспощадной жестокости Пеганина. Если, например, он находил, что в таком-то дворе должно быть две лошади, то крестьянин обязывался к известному сроку обзавестись второй лошадью. Не заведена лошадь — розги и новый срок и т. д., пока воля барина не была приведена в исполнение.

«Теперь барин не то, что прежде, — рассказывал мне один старик дворовый, — ух, какой был крутой смолоду». И однако редкий день проходил, чтобы он не побил когонибудь, все подходили к нему со страхом, а издали завидя, старались как-нибудь миновать встречи с ним. Он имел незаконную семью; его сожительница, из крепостных, несмотря на то, что внешним образом была постав-

лена в положение жены, в присутствии его всегда имела вид точно сейчас провинившейся.

Пеганин прилагал все усилия, чтобы вывести детей в люди, и еще при жизни, сделкою с своими родными, постарался обеспечить их материальное будущее. За обедом, в добром расположении духа, Пеганин, бывало, шутит, — а он был человек не без остроумия, — но все сидят, как-то боязно поглядывая, только отвечают, а от себя редко кто слово вымолвит. Но вот Пеганин, бывало, поведет как-то бровями, толстые складки на лбу покраснеют, и все затихнут, стараясь даже ложкой не задевать тарелки; в такие минуты я, человек сторонний, которому нечего было опасаться, готов был провалиться сквозь пол.

Но пребывание в Картузине оставило у меня еще и другие воспоминания, также шедшие вразрез со всем, что я знал и слышал. Была тогда Крымская кампания; Пеганин получал газеты. Я ловил где только можно всякие известия о ходе севастопольской осады, и мне, да, думается, и всем тогда в Вологде, и в голову не приходила мысль, что Севастополь когда-нибудь может быть взят. Раз сидели мы с Пеганиным на балконе; пришла почта; он быстро просмотрел газеты и сообщил мне, что отбит штурм (июльский). Я, конечно, выразил величайшую радость.

— А все же Севастополь будет взят, — заметил Пеганин.

— Как взят? — воскликнул я в крайнем удивлении.

— Очень просто, всякая осажденная крепость, по правилам военного искусства, должна быть взята, если ее не освободит армия; а русская армия не может освободить Севастополь, потому рано или поздно он и будет взят.

— А если бы жив был Николай Павлович, неужели Севастополь тоже был бы взят?

— И при Николае Павловиче Севастополь не устоял бы, — заметил Пеганин.

Не помню лета, так скучно проведенного, как в Картузине. Окончив занятия с детьми, я решительно не знал, что с собой делать; книг у Пеганина не было, а у меня уже был развит интерес к чтению. Развлечений никаких тоже не было — ни катанья в лодке, ни верхом. Оставалось только по грибы ходить (к счастию, лето в этом

отношении было урожайное) да утешать себя мыслью, что кое-что заработаю. А всякая копейка была очень кстати, — у матушки были долги по лавкам, требовавшие настоятельной уплаты.

Как ни медленно тянулось лето, все же кончилось; вся семья тронулась в обратный путь; на этот раз с нами ехал сам Пеганин, и как-то о страхах переезда не было и разговора. Однако Пеганин захватил с собой ружье.

Пеганин отблагодарил матушку — преподнес ей двадцать фунтов пшеничной муки; на том мой гонорар и закончился.

XIV. СБОРЫ И ОТЪЕЗД В УНИВЕРСИТЕТ

Пока я был в первых классах гимназии, у меня была только одна мечта — как бы поскорее добраться до пятого класса и выйти в юнкера. С раннего детства я слыхал от матушки категорический завет отца, чтобы я «не носил пера за ухом», а непременно шел по его дороге, то есть по военной. Матушка умела хорошо рассказывать и, уж бог знает на основании каких источников, очень часто, особенно в длинные зимние вечера, рисовала мне увлекательные картины кадетской жизни. Не столько, вероятно, в исполнение завета отца, а скорее чтобы облегчить мне карьеру, она в свое время подала куда следует прошение о принятии меня в какой-то сиротский корпус. Долго не было никакого ответа; только с чем-то через год затребовали какие-то бумаги; и опять никакого ответа; казалось, что из этих хлопот ничего не выйдет. Вот тогда-то, при деятельном содействии стариков Одинцовых, я и был занесен в кандидаты на счет дворянства в пансион при гимназии. Когда это состоялось, пришла опять бумага из Петербурга, из которой видно было, что я мог быть принят в корпус, только требовался еще какой-то документ. Но раз я был пристроен, матушке, несмотря на все соблазны военной карьеры, не захотелось расставаться со мной; а что касается до моей будущности, то имелось в виду, что я примерно из пятого класса могу поступить в юнкера; вот почему впоследствии, перейдя в четвертый класс, я и заявил, что не желаю учиться латинскому языку, который тогда был

необязателен (см. «Русское богатство», 1901 г., № 6, «Воспоминания о гимназии 50-х годов»). Но в пятом классе оказалось неожиданное препятствие — стипендиаты не могли по собственному желанию покидать гимназии, так как со стипендиею связывалось обязательство сколько-то лет отслужить в губернии, если получавший ее не шел в высшие учебные заведения. Это препятствие не только расстраивало все мои планы, но и прямо шло вразрез с моим настроением. Была Крымская кампания; все, даже дети, пылали воинственным жаром, а я особенно. Еще в четвертом классе я перечитал почти всего Михайловского-Данилевского, усердно изучал какой-то курс артиллерии капитана Силича и ходил с ним к собору, где валялась старая чугунная пушка без ушков, по преданию казненная Иваном Грозным. Правда, был еще выход, но у меня по молодости лет не хватило на него ни смелости, ни догадливости. В один прекрасный день, помнится, четверо из пансионеров, отпущенных домой на воскресенье, скрылись; ни у родных, ни у знакомых их не оказалось. Однако через несколько дней беглецы были разысканы в нескольких десятках верст от Вологды; оказалось, что они бежали, чтобы поступить в армию. В числе их был и стипендиат С. Посудили-порядили начальство и родители и отпустили молодых людей согласно их желанию. Между тем скоро и война кончилась. Пятый и шестой классы я проходил, совсем не задавая себе вопроса, куда направлюсь по окончании гимназии. Но вот явился новый директор, А. В. Латышев, он обратил на меня внимание и стал поощрять во мне мысль об университете; по времени и некоторые из товарищей юристов тоже стали подумывать об университете. Но где достать средства не только для прохождения курса, но даже чтобы отправиться в Петербург? Была у меня тетка, жившая в монастыре и считавшаяся богатой (это богатство, как потом оказалось, не превышало пяти тысяч рублей серебром). Едва она заслышала о моих планах, как начала горячо протестовать. Хотя ни у меня, ни у матушки и в помышлении не было просить помощи у тетки, она, однако, видимо опасалась, как бы я не сел ей на шею; потому стала настойчиво доказывать, что мне всего лучше поступить на службу в Вологде.

«Не хуже его Николенька (один из ее племянников), а служит в канцелярии губернатора и получает десять

рублей в месяц; и Лонгин может года через два, три получить место помощника столоначальника, а будет стараться да угождать начальству, то и до столоначальника доберется» (венец желаний всякого тогдашнего канцеляриста!).

А. В. Латышеву удалось заинтересовать во мне губернского предводителя дворянства, и было положительно обещано, что я получу стипендию от дворянства по триста рублей в год. Но в 1858 г., когда я кончил курс, Вологду посетил император Александр II; на прием его дворянство истратило все наличные средства, и моя стипендия не состоялась. А. В. Латышев нашел, однако, возможность из каких-то гимназических сумм выдать мне и еще одному бедняку товарищу по сто рублей и, кроме того, обещал письма в Петербург. Но явилась и другая неожиданная поддержка.

В седьмом классе я был в дружеских отношениях с одним приходящим гимназистом, на два курса моложе меня; его отец, председатель одной из палат, незадолго перед тем был переведен из Петербурга. Мой приятель много рассказывал о Петербурге, но его рассказы главным образом вращались около театра, Невского проспекта, Пассажа.

Первые четыре класса он прошел в Петербурге, — помнится, во второй гимназии. Здесь он попал в такой кружок гимназистов, что на четырнадцатом году уже все изведал. По времени кружок почувствовал пресыщение от кутежей, карт и сомнительных красавиц; тогда кому-то пришла остроумная мысль заняться воровством в магазинах, не ради корысти, а для приятного препровождения времени; и так компания изловчилась в этом своеобразном спорте, что нагнала страх на магазинщиков; в невинных гимназистах и не подозревал никто своих врагов; полиция же просто была сбита с толку, так как украденные вещи нигде не появлялись, — они все бросались в Неву.

Его отец выписывал почти все тогдашние толстые журналы, но, кажется, мало читал; по крайней мере я очень скоро получал их через сына. Из беллетристики я тогда особенно увлекался Щедриным (печатались «Губернские очерки»), из поэтов — Беранже; большую часть

переводов Курочкина и Ленского я знал наизусть. Но меня не менее сильно заинтересовали политическая литература и экономические статьи; мои фритредерские идеи, которые я упрямо исповедую до сего дня, идут еще от седьмого класса гимназии.

Я часто бывал у моего приятеля; мать его очень полюбила меня, а к одной из сестер я скоро воспылал нежной страстью и пользовался взаимностью. Отца никогда не видал, он в семье держал себя очень своеобразно. По утрам все были обязаны поздороваться с ним, и на том кончались его отношения к семье; если обедал дома, то разговаривал только с самой младшей дочерью, девочкой лет восьми; из детей она одна могла во всякое время являться в его кабинет и оставаться там сколько угодно; с ней только одной он гулял. Так относился он последовательно ко всем детям, пока не подрастал им соперник; а затем как будто их не существовало. Вечером дома никогда не оставался, так как везде и всегда был желанным гостем и душой общества.

Ф. С. <Политковский>, так звали отца моего приятеля, в половине лета 1858 г. должен был ехать в Петербург.

В один прекрасный день его жена, совсем сюрпризом, говорит мне:

— Как вы знаете, Федор Семенович едет в Петербург, и он согласен взять вас с собой и довезти до Петербурга, даже сказал, что вы можете и остановиться у него, пока он будет в Петербурге.

Я взял руку доброй женщины и горячо поцеловал ее; конечно, я ей был обязан этим. Я спросил, не надо ли мне представиться Ф. С. и поблагодарить его.

— Нет, Федор Семенович ничего этого не любит; он сказал, что едет такого-то числа, и если вы согласны принять его предложение, то чтоб явились в таком-то часу.

Потом еще сын добавил:

— Когда поедешь с отцом, пожалуйста, ни о чем его не спрашивай; а при остановках пить чай и закусывать делай это как можно скорее, отец терпеть не может никаких задержек.

Когда тетка узнала о моем окончательном решении отправиться в Петербург, то сделала еще последнюю попытку удержать меня.

«Как он один поедет в Петербург, — говорила она матушке, — город большой, а Лонгин и ступить в нем не знает как; еще на кого натолкнется. Вот у Пронюшки (тоже ее племянник, за несколько лет перед тем уехавший в Педагогический институт) подушку украли, белье растащили, шесть рублей денег он потерял; а и всего-то на квартире простоял одну неделю».

Это увещание, конечно, ни на меня, ни на матушку не подействовало.

К назначенному сроку я явился к Ф. С. и сейчас же был приглашен к общему обеду. Ф. С. и тут себе не изменил, даже с женой не обмолвился ни одним словом; не умолкая, щебетала только его любимица Аня. Обед прошел на парах, и сейчас же был подан тарантас. Я распростился с матушкой, семьей Ф. С., уселся на свободное место внутри тарантаса, и мы тронулись.

Тогда уже многие ездили из Вологды в Петербург почтовым трактом только до Валдая, а затем пересаживались на Николаевскую железную дорогу. Мы не ехали, а мчались; удивительно, что загнали только двух лошадей. Мой патрон, как только выехал за город, сейчас же захрапел и всю дорогу спал, а когда просыпался, то издавал лишь один звук: «Пошел!»

Должно быть, непривычно быстрая езда сначала ошеломила меня, и я никак не мог остановиться ни на одной мысли. Только что вспомню матушку и ее последние слова: «Прощай, дорогой мой», как почему-то является Одинцов, сердящийся, что я у него подцепил туру; не успею вернуть ему ее, передо мною стоит *она,* в последний раз, при родителях, церемонно пожимающая мне руку, а у самой вот сейчас прыснут слезы; ни с того, ни с сего вспоминается какой-нибудь эпизод из пансионской жизни, — точно калейдоскоп какой-то. Но вот понемногу подошла ночь, и я заснул тем крепким сном, каким спится лишь в юности. На другой день, как только проснулся, первое чувство, охватившее меня, было чувство одиночества; я сразу понял, что с прошлой жизнью уже все покончено; все лица, которые мне были дороги и близки, стали точно другими. Матушка, конечно, никогда не перестанет меня так же горячо любить, как любила до сих пор; но ведь ее нет подле меня, и когда-то я увижу ее доброе, все в глубоких морщинах лицо? А та,

которая после матушки занимала первое место в моем сердце, а может быть, даже и совсем первое, вынесет ли неопределенные годы разлуки? В неизменности моих собственных чувств к ней я ни на одно мгновение не сомневался ни прежде, ни всего менее теперь. Но сохранит ли она меня в своем сердце? Ради чего? На этот вопрос я и сам не находил, что ответить. До сих пор я крепко держался за свое чувство к ней, страшился, что она может разлюбить меня, но реальный исход если иногда и представлялся мне, то в каком-то совсем неопределенном пространстве и времени. И прежде всего потому, что своего собственного будущего не только прежде, но и теперь я никак не мог себе представить. Самый Петербург во всех отношениях являлся чем-то без начала и конца; даже что такое университет, я никак не в силах был вообразить. Я знал фамилии многих профессоров, даже читал их статьи, некоторые из них произвели на меня сильное впечатление. Почему-то из всех возможных карьер мне всего обольстительнее представлялась карьера профессора, но ведь это ужасно трудно, потому что профессор, профессор это... человек совсем особенного рода.

Через два дня, поздним вечером, подъехали мы к какой-то станции Николаевской железной дороги и должны были некоторое время ожидать поезда. Я многое знал для моего возраста, но реальный мир ограничивался для меня Вологдой. Радостно приветствуя начавшуюся тогда у нас постройку железных дорог, я, однако, о них не имел ни малейшего представления, а потому теперь и почувствовал себя точно в совершенно незнакомом лесу. Ф. С. спросил:

— Вы никогда не видали железной дороги?

— Никогда.

— Вот это рельсы, под ними шпалы, там стоят вагоны, их повезет паровоз, — и на том закончил свои объяснения.

Наконец поезд был подан, мы уселись в вагон. Вот раздался резкий свисток, многие начали креститься, — поезд тронулся; на минуту все разговоры смолкли; и тем резче поразили мой слух непонятное пыхтенье паровоза и стук колес о рельсы. Было совершенно темно. Ф. С. сейчас же захрапел. Я еще некоторое время с любопытством осматривался среди совсем новой для меня

обстановки, но, видя, что все спят, последовал общему примеру.

Разбудил меня Ф. С.

— Пойдемте в буфет чай пить.

Какая это была станция, не знаю, но только после Вологды она поразила меня своей грандиозностью и роскошной обстановкой; а главное, сколько тут было народу!

«Да у Спаса (так называется всеградская церковь в Вологде) столько не бывает в большой праздник», — подумал я.

— Вы что пьете, чай или кофе? — прервал мои наблюдения резкий голос Ф. С.

— Все равно.

— Подать две порции кофе.

В кофе я ничего не понимал, но к нему подали какие-то совсем невиданные булочки, а главное — такие вкусные! Я все-таки продолжал свои наблюдения; было много военных, даже один генерал; на него, к моему удивлению, никто не обращал особенного внимания. А у нас в Вологде, когда едет Кобелев (генерал), так все из ворот выбегут, чтоб посмотреть на него. Офицеры тоже остановили на себе мое внимание, они держались совсем не так важно, как те, которые иногда приезжали в Вологду. (Офицеры гарнизонного батальона, напротив, всегда имели очень жалкий вид, и с ними даже уличные мальчишки не особенно стеснялись.) От офицеров перешел к дамам; боже мой, какие тут оказались красавицы! Но не успел я на них достаточно насмотреться, как мелькнула синяя фуражка и такой же воротник на сюртуке. «Студент! вот счастливец», — подумал я. Студент весело болтал с какой-то барышней и старушкой в дорожном чепце. Как старушка похожа на мою матушку; что-то она теперь делает? вероятно, давно истопила печку и за чаем не раз залилась слезами.

— Ну, теперь пойдемте, — сказал Ф. С.

Замелькали какие-то столбы, и только путем большого напряжения мысли я заподозрил, что это, должно быть, телеграф. По-видимому, близился Петербург, и Ф. С. неожиданно для меня завел со мной такую речь:

— Вот теперь перед вами открывается новая жизнь, все ваше будущее зависит от вас самих; будете работать — пробьете себе дорогу. Сколько молодых людей,

которые чуть не пешком пришли в Петербург, потом сделали прекрасную карьеру, достигли высших государственных должностей, — и все только благодаря тому, что работали и работали. А кстати, у вас есть родные в Петербурге?

— Нет.

— Знакомые?

— Тоже нет.

— Где же вы думаете остановиться?

Этот вопрос совсем огорошил меня и из мечтательно-сентиментального настроения разом перенес в мир реальной действительности.

— Да где-нибудь, в гостинице, — ответил я, поняв, что расчет на Ф. С. нужно отнести к области несбывшихся надежд. — Впрочем, у меня есть один родственник в Петербурге — Иван Александрович Введенский.

— А где он живет?

— Не знаю.

— Кто же он такой?

— Он каждый год приплывает из Вологды в Петербург с хлебом и овсом.

— Так он, вероятно, живет где-нибудь на Калашниковской пристани, вы туда и поезжайте.

Между тем поезд остановился.

— Ну, вот мы и в Петербурге. Когда устроитесь, заходите, я остановлюсь в гостинице «Москва». Прощайте, — с этими словами подал мне руку и поспешно вышел из вагона, что я объясняю тем, что у меня в руке осталась небольшая сумма.

Все стали выходить, вместе с другими вышел и я. Опять поразила меня необъятная масса людей на платформе; все куда-то спешат; иные почему-то обнимаются. Меня толкают со всех сторон, задевают вещами и подчас довольно чувствительно. Не зная, куда направиться, двигаюсь за толпой, которая скоро и вынесла меня на внутренний двор станции, где стояли извозчики. Крик, гам, ругань извозчиков совершенно оглушили меня; со страхом я видел, как они набрасывались на пассажиров, выхватывали у них вещи, чуть не в драку вступали между собой.

Не успел я оглядеться, как несколько человек подскочило ко мне; я всеми силами держу свой небольшой узелок и подушку. Злоключения Пронюшки у меня были в памяти.

— Со мной, барин, со мной!

— А знаешь, где живет Иван Александрович Введенский? — обратился я к тому, у которого тут же стояла лошадь.

— Знаю, барин, знаю, пожалуйте.

Я поспешил сесть на «гитару», но решительно недоумевал, как мы выберемся из этого ада.

Однако выбрались — должно быть, на Знаменскую площадь. Прежде всего меня поразило, что дома всё каменные и идут всплошную; потом — масса людей, двигающаяся во всех направлениях, и притом все спешат, точно на пожар. А экипажей-то, экипажей сколько!

— Куда, барин, прикажете ехать? — оборачивается ко мне извозчик.

— К Ивану Александровичу Введенскому, я же тебе сказал.

— А где он живет?

— Да ведь ты говорил, что знаешь, где он живет.

— Нет, что-то такого не слыхал.

— Поезжай на Калашниковскую пристань.

Куда-то повернули; я возвращаюсь к своим уличным наблюдениям. Народу стало попадаться менее, и я сейчас же сделал остроумное заключение, что, вероятно, в церкви большой праздник, потому на площади и было так много народу и экипажей.

— А кто же такой будет Иван Александрович?.. — по времени спросил меня извозчик.

— Он хлебом торгует, у него свои барки, он из Вологды с ними приплыл.

— Так, я думаю, нам надо ехать на биржу, — сказал, подумавши, извозчик, — там его скорее найдем; право, так.

— Ну, поезжай на биржу.

Повернули назад и опять очутились на Знаменской площади. То же движение, я продолжаю свои наблюдения, и меня особенно поражает крайнее разнообразие толпы. Каких людей только не едет, не идет. Что это? да это И. А. идет, он, он!

— Иван Александрович!! — закричал я во всю мочь. Он повернулся, я кинулся к нему.

— Да как ты, Лонгин, меня заметил...

Оказалось, что он жил на Гороховой, в доме Ларионова, куда я и направился.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

КНИГА ПЕРВАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне самому никогда не приходила мысль писать какие-нибудь мемуары; но мои случайные экскурсии в область прошлого вызвали со стороны друзей и даже посторонних лиц неоднократные настояния, чтобы я продолжал их. Уступая этому давлению и располагая досугом, я взялся за перо; но и тут предпочел форму отдельных очерков. Однако в них я нередко выходил из пределов поставленной темы: вспоминалось какое-нибудь обстоятельство, и я отклонялся в сторону, так как не видел впереди подходящего места, куда бы мог его вставить. Хотя я писал исключительно на память (у меня под рукой имелись: автобиография Костомарова, статья В. И. Модестова о В. Г. Васильевском да П. И. Вейнберга о литературных спектаклях), все же в некоторых случаях, если чувствовал неуверенность в своей памяти относительно хронологии или имен, считал необходмым наводить справки. Приношу искреннюю благодарность всем лицам, не отказавшим мне в своем любезном содействии.

Флоренция, 27 февраля 1903 г.

К этим строкам считаю нужным добавить. Настоящая книжка составилась из воспоминаний, которые печатались в «Русских ведомостях» (1902—1903 гг.), сборнике «На славном посту» и «Нашей жизни». Перепечатываются с малыми изменениями лишь для устранения некоторых повторений, да восстановляются те пропуски, которые были неизбежны два года тому назад. Очерк «Земля и

воля» был написан за границей, еще в 1903 г., и только несколько дополнен по моем возвращении в Петербург.

К сожалению, до меня не дошли никакие указания на ошибки, весьма возможные, когда пишешь, руководясь только своей памятью.

I. ПРИЕЗД В ПЕТЕРБУРГ
1858 г.

Случайно я забрался в Петербург, кажется, за месяц ранее, чем надо было; сначала остановился у одного родственника (Ивана Александр. Введенского), но дня через два разыскал земляка-студента и по его рекомендации перебрался в дом Лерхе (против военного министерства), к старушке немке Екат. Андр. Гроссе. Это было добрейшее существо; у нее имелись две свободные комнаты, и порой она держала до четырех студентов. Даже по тому времени Гроссе брала очень дешево — помнится, не дороже восьми рублей за квартиру с хорошим содержанием; а кто хотел иметь еще большую чашку кофе со сливками, тот должен был приплачивать тридцать копеек в месяц; на другой год, когда мы поселились у нее целой компанией, то сами прибавили ей по рублю за содержание, а за кофе давали по пятидесяти копеек.

Устроившись у Гроссе, сейчас же пустился на поиски моего приятеля по гимназии, студента Педагогического института Н. В. Воронцова,—годом старше меня по гимназии. Это был поразительно талантливый юноша; в гимназии Воронцов много читал и особенно увлекался Белинским, хотя, должно быть, и не знал его по имени; помню, старые «Отечественные записки» вечно были в его руках; а он, точно стихи декламируя, с увлечением цитирует Белинского: «Поэзия есть жизнь, жизнь по преимуществу, это — так сказать трипль-экстракт, квинтэссенция жизни». Его любимым поэтом был Лермонтов, а я стоял за Пушкина; отсюда у нас часто возникали споры, но они не омрачали нашей дружбы. Начальство гимназии, и не без некоторого основания, заподозревало его в вольтерианстве (и ума не приложу, откуда он им мог тогда заразиться!); директор Власов

все допекал его темами: «Смерть грешника и праведника» или «верующего и безбожника», «Почему нельзя жить без веры»; Воронцов писал блистательные сочинения, но оставался при своем свободомыслии. Как сын небогатого чиновника, он поступил в Педагогический институт и там шел по физико-математическому отделению.

К моему большому удовольствию Воронцов оказался в городе на уроках, и я застал его дома. «Ах, Лонгин Федорович, — он еще в гимназии усвоил себе привычку всем говорить «вы», — очень рад вас видеть. Давно ли приехали? Знаете, день такой хороший, а я сегодня совершенно свободен; чем сидеть здесь, пойдемте лучше прогуляемся, кстати я могу вам Петербург показать». Воронцов жил на Шпалерной; в оживленном разговоре двигались мы по набережной в направлении к Васильевскому острову; наконец очутились у начала 1-й линии. «Вот кондитерская Кинши, — сказал Воронцов, — она преимущественно посещается студентами, конечно теперь мы там никого не найдем, так как все студенты в разъезде; но все-таки зайдем». Не говоря уже о том, что кондитерская поразила меня своим великолепием, я почувствовал, что точно в храм вхожу, — ведь тут студенты бывают! Даже биллиард показался мне предметом, достойным особенного почтения. Тем временем Воронцов спросил кофе, сладких пирожков, — все это я нашел необыкновенно вкусным. Разговор, конечно, сейчас же зашел об университете.

— Вы несравненно счастливее меня, — сказал Воронцов, — вы поступаете в университет.

— А разве институт хуже?

— И сравнивать нельзя; конечно, предметы почти одни и те же, но на самом деле институт — та же гимназия, только с повышенными курсами. В университете совсем иной дух: там — жизнь, студенты занимаются, чем хотят, они не школьники, а работают самостоятельно. Да и профессора в университете по большей части другие, во главе его стоит Плетнев, друг Пушкина, Гоголя, у нас же директором Иван Давыдов, всеми презираемый; в университете инспектор Фитцтум почти незаметен, а в институте Смирнов следит за каждым нашим шагом. На нашем отделении первая

величина Остроградский, академик, старая знаменитость, читает красно, но уже слишком любит рассказывать анекдоты. Мне несколько раз удалось послушать в университете Буняковского, Чебышева, — какое это наслаждение! Тут только я понял, какая огромная разница между настоящим современным ученым и выдохшимся балагуром. И подумайте, еще какое самомнение, — о здешних математиках он никогда и словом не обмолвится, а московских презрительно трактует землемерами, а не геометрами, как вообще принято называть выдающихся математиков.

Я еще в гимназии слыхал об Остроградском как о великом математике, и теперь суровый отзыв о нем Воронцова просто поразил меня; а когда он еще весьма нелестно отозвался о Тихомандритском (я по его тригонометрии учился в гимназии!) и Будаеве, то я совершенно был сбит. До этого разговора с понятием о профессоре у меня соединялось представление как о чем-то стоящем вне всякой критики; профессор для меня был то же, что сама наука. Увы, прошло каких-нибудь месяца два, и от этой веры осталось почти одно воспоминание.

— А по истории русской литературы хороший профессор в институте?

— Совершенное ничтожество, Лебедев; одна потеря времени ходить на его лекции.

Слушая Воронцова, мне и в голову не приходило, что он, пробывший в институте всего только один год, далеко еще не мог выработать свое собственное мнение, а в большинстве, конечно, повторял слова старших студентов; потому я проникся истинным удивлением, — как скоро он шагнул на такую высоту знания, что его уже не удовлетворяли профессора. Но что пришлось услышать далее, то просто повергло меня в изумление: передо мной был не просто Воронцов, а литератор, да еще поэт! Оказалось, что он пописывал стихи и печатал их в «Весельчаке», тогда единственном сатирическом издании; он даже показал мне печатные вырезки своих стихотворений (одно из них — «Встанешь рано, Маша спит» — получило даже широкую популярность и распевалось публикой, посещавшей Излера, да, кажется, и теперь не совсем забыто).

— Это, конечно, пустяки, — скромно сказал Воронцов, — но за них платят деньги, а они ой-ой как иногда нужны бывают, ведь уроки не всегда подвертываются (при этих последних словах меня точно ножом кольнуло — у меня вся надежда была на уроки).

«Ну, нет, это не пустяки, — думалось мне, — на первом курсе, а уж стихи пишет и печатает, даже деньги за них получает», — я тогда почему-то думал, что за стихи ничего не платят.

Но Воронцов продолжал:

— Для меня несравненно более цены имеет отзыв Некрасова, а он считается королем наших теперешних поэтов. (По гимназии имя Некрасова как поэта мне едва было известно.)

И с этими словами Воронцов вынул из конверта листок, где его рукой были написаны стихи, а на полях пометка карандашом: «Прекрасная мысль, хорош стих, но цензура не пропустит», — и чья-то подпись.

— Я снес эти стихи в «Современник» и получил их обратно с этой пометкой Некрасова.

Так как имя Некрасова не особенно много говорило мне, то весь этот эпизод не произвел на меня того впечатления, на которое, может быть, рассчитывал Воронцов.

Но пора и распрощаться с Воронцовым, который, помнится, через год умер.

Раз в начале учебного года собрали нас, гимназистов, в актовой зале, и там директор объявил, что два воспитанника вологодской гимназии, Н. В. Шошин и Н. Ф. Остолопов, державшие в этом году приемный экзамен, поступили первыми в Петербургский университет; и при этом сказал подобающее поучение, что мы должны всегда иметь их в виду, как пример, достойный подражания. С Шошиным мне пришлось встретиться тотчас по приезде в Петербург; к крайнему моему удивлению он только напевал разные романсы, вроде «Ты для меня душа и сила», а о чем его ни спроси современном — никакого понятия не имеет; журналы знал только по имени. Раз, увидав у меня в руках «Записки охотника», сказал: «Ах, Ивана Сергеевича Тургенева!» Но оказалось, что он их не читал и не

поинтересовался прочитать, хотя я ему и предлагал книгу. Он, конечно, знал, что приступлено к крестьянской реформе, но, будучи сам сыном крестьянина, никакого живого интереса к ней не обнаруживал, и предполагают ли освободить крестьян с землею или дать им только личную свободу, нисколько над этим не задумывался. А между тем Шошин посещал вечера И. Е. Андреевского; но оттуда вынес только, что Неволин был великий ученый, что настоящая наука свила себе гнездо в Петербургском университете, в Москве же скорее литераторы, чем настоящие профессора; так же он трактовал и Кавелина, о котором снисходительно выражался: «Константин Дмитриевич пописывает в журналах».

Скоро показалась и другая знаменитость — Остолопов, сотоварищ Шошина. О нем еще в гимназии шла слава, как о молодом человеке, подающем большие надежды, с философским складом ума; самая наружность Остолопова много говорила в его пользу: всегда такой серьезный, но без отталкивающей сухости, вдумчиво отвечающий даже на обыкновенные вопросы. С нетерпением я ждал встречи с ним, так как чувствовал потребность на первое время в чьем-нибудь руководительстве; между гимназией и университетом мне представлялась такая пропасть, которую без посторонней поддержки нет никакой возможности перешагнуть. Но, увы, — двух-трех встреч было достаточно, чтобы ореол, окружавший Остолопова, рассеялся без всякого следа; оказалось, что и он, кроме исправного посещения лекций, ничего более не знал; все профессора, по его мнению, были люди большой учености; ни в какие книжки не заглядывал; иногда еще можно было видеть в его руках какой-нибудь роман, который он обыкновенно и читал чуть не целые полгода; зато по вечерам, если бывал дома, частенько с любовью перелистывал записки. Он тоже посещал вечера И. Е. Андреевского.

Прошло немного времени, и съехались мои товарищи; из сравнительно небольшого выпуска в тринадцать человек восемь из нас явились в Петербург и шесть поступили в университет. А ранее из Вологды отправлялись в университет один, много два, так что мы нашли в университете только пятерых земляков. Шумною толпою ворвались товарищи в мою тихую квартиру у Гроссе;

они устроились на Острове, на «настоящей студенческой квартире», да еще недалеко от университета; обедать ходили в кухмистерскую, где тоже всё студенты обедали. И хотя, побывав на их квартире, я и нашел, что она похуже, чем у Гроссе, но не устоял перед искушением жить вместе с теми, с которыми еще в гимназии сидел на одной скамейке. И так как оказалось, что и для меня есть место, то, дождавшись конца месяца, я перебрался к ним. Здесь нас посетил Шошин; как старый студент он принял на себя руководительство нами... И месяца два все вечера проходили у нас за бутылкой хереса, картами или в посещении целой толпой разных «зал» в Загибенином переулке.

II. ЭКЗАМЕН

В 1858 г. гимназистов принимали в Петербургский университет без экзамена, но я в гимназии не учился латинскому языку и должен был подвергнуться испытанию из него. Мои познания в нем были более чем недостаточны, но у меня имелась заручка — рекомендательное письмо от директора гимназии Алексея Васильевича Латышева к его товарищу по Педагогическому институту, проф. Н. М. Благовещенскому. В Петербурге я скоро узнал, что гроза на приемных экзаменах из латинского языка — лектор Лапшин — в отпуску, что всех будет экзаменовать Благовещенский, а он — экзаменатор не строгий. Не откладывая дела в долгий ящик, в один прекрасный день отправляюсь к Благовещенскому; на мое счастье, он был в городе, и я застал его дома. Велик был мой трепет, когда я переступал порог его квартиры, — ведь мне в первый раз приходилось увидеть профессора, да еще того, от которого зависела вся моя будущность. Лакей провел меня в кабинет и сказал, что профессор сейчас выйдет. Я стал рассматривать кабинет: всё книги, книги, все стены в книгах, везде книги. «Боже, какой ученый!» — подумал я, в простоте душевной полагавший тогда, что раз у кого есть какая-нибудь книга, то он уже всю ее читал. На письменном столе я заметил разбросанные рукописные листы. «Это — он сочиняет (по гимназической терминологии) какую-нибудь книгу...» Но

вот показался сам Благовещенский; извиняясь, что принимает меня в халате (эти слова были для меня совсем непонятны, так как по Вологде я судил, что все дома ходят в халате), он подал мне руку и любезно предложил сесть.

— Что вам угодно? — спросил Благовещенский.

Я отвечал, что имею к нему письмо от А. В. Латышева, которое тут же и передал.

— Ах, от Алексея Васильевича!.. Ну, как он поживает? — проговорил Благовещенский, распечатывая письмо, и, не дожидаясь ответа, принялся за чтение его, а я стал рассматривать наружность Благовещенского. Хотя в ту пору ему, вероятно, не было еще и сорока лет, но он уже обнаруживал заметную наклонность к тучности, которая под старость изменила его почти до неузнаваемости. Мое внимание остановилось на весьма почтенной лысине, которая украшала чело профессора. «Это от усиленных ученых занятий», — решил я, припоминая слова одного из учителей гимназии, законоучителя Прокошева, сильно зашибавшего, что он рано облысел потому, что слишком много занимался в молодости. Окончив чтение письма, Благовещенский деликатно осведомился о размере моих познаний в латинском языке. Я не скрыл от него правды.

— Не в моих правилах, — сказал Благовещенский, — препятствовать молодым людям в их стремлении к высшему образованию. У вас, впрочем, остается еще почти целый месяц до экзамена; я позволю себе рекомендовать вам кое-что повторить из пройденного вами. Есть у вас здесь родные или знакомые?

— Никого.

Так как Латышев еще просил Благовещенского насчет уроков, то Николай Михайлович прибавил:

— Если представится случай, охотно буду рекомендовать вас на уроки. Имеете вы теперь что читать?

— Нет.

— Я могу поделиться с вами моей скромной библиотекой. Что бы вы хотели прочитать?

Я затруднился ответом.

— Читали вы «Записки охотника»?

Я даже не слыхал о них.

— Это Ивана Сергеича Тургенева (при словах «И. С.» я сейчас же остроумно сообразил, что Благове-

щенский, должно быть, лично с ним знаком, — незнакомых в Вологде называли только по фамилии), он у нас теперь самый выдающийся талант.

Порывшись в библиотеке, Благовещенский подал мне «Записки охотника».

— Только, пожалуйста, возвратите их; новое издание цензура не позволяет, а старое не существует в продаже.

Эти слова были для меня совершенной новостью; я знал, что есть цензура и притом очень строгая, но никак не предполагал, что она может не дозволять книги, ранее ею же пропущенные.

Придя домой, я сейчас же принялся за «Записки охотника» и за чтением их, к тому же несколько успокоенный приемом Благовещенского, совсем забыл о латинском языке. Имя Тургенева мне было мало знакомо, в гимназии я читал какую-то повесть его, но она не произвела на меня впечатления, да еще читал критическую статью в «Отечественных записках», где его за что-то порядочно разносили. Ни от кого в Вологде не слыхал о нем как о выдающемся таланте; да и вообще о литературе после Гоголя и Лермонтова имел крайне смутное понятие. «Записки охотника» мне очень понравились, но так как я особенно интересовался, почему цензура не дозволяет их более, то, может быть, по этому самому слона-то и не приметил. А между тем я, как и вся молодежь того времени, был горячим приверженцем эмансипации и еще в гимназии читал все статьи, касавшиеся крепостного вопроса, а речи, произнесенные на знаменитом московском обеде, были перечитаны мною не один раз. Через несколько дней, возвращая Благовещенскому «Записки охотника», я спросил его, почему цензура не дозволяет нового издания. «Да видите ли, в них ведь затронут крепостной вопрос; в свое время Тургенев даже поплатился за это высылкой».

Эти слова были второю новостью, которую я узнал от Благовещенского; мне ранее никогда и в голову не приходило, что с писателями могут быть какие-нибудь неприятные истории.

Несмотря на любезный прием Благовещенского, я все же крайне волновался предстоящим экзаменом; я уже сказал выше, что из латинского языка знал менее чем мало; к тому же так велико было мое нерасположение

к нему, что даже совет Благовещенского «кое-что повторить» не мог побудить меня хотя в это последнее время налечь на него. Потому при мысли об экзамене мне не только делалось страшно, но и совестно было оказаться перед Благовещенским круглым невеждою. Хотя еще в Вологде я решил поступить на юридическое отделение, но, приехав в Петербург, по совету опытных людей подал прошение на камеральное отделение; туда, по общим отзывам, принимали якобы до крайности легко. «Ведь все баричи идут на камеральное отделение, — вот почему и не экзаменуют строго», — говорили старые студенты.

Наконец настал этот страшный день. Иду в университет. Там масса молодежи; несколько настоящих студентов погуливают по коридорам как у себя дома, не обращая, конечно, на нас никакого внимания. Не таково, разумеется, было настроение тех, которые явились сдавать экзамен; одни мрачными группами или в одиночку ходили по коридору, другие уже забрались в аудитории, назначенные для экзаменов, и там еще усердно перелистывали грамматику Белюстина или физику Ленца. Но вот появился Благовещенский, и начался экзамен. Я внимательно слежу за экзаменующимися, — все, видимо, знают куда больше моего. Наконец дошла очередь до меня. Порядок был такой: пока один отвечает, двое готовятся, сидя за особым столом. Кажется, что-то из Юлия Цезаря задал мне Благовещенский приготовить к устному переводу. Прочитав указанное место, я решительно ничего не понял и с замиранием сердца. ждал момента, когда придется выходить. Правда, рядом со мной сидел молодой человек[1] и, видимо, очень бойко переводил с русского на латинский язык, почти не заглядывая в лексикон. Спросить его нет никакой возможности, мы сидим слишком на глазах у Благовещенского. Вдруг последний встал и зачем-то вышел из аудитории. Я сейчас же воспользовался этим, самим небом посланным, случаем и обратился к соседу; тот без малейшего затруднения перевел мне пять-шесть строк. И вот через несколько минут я стою перед Благовещенским; он как

---

[1] То был Н. Утин. Хотя я потом с ним и раскланивался в университете, но близко сошелся только осенью 1861 г. во время студенческой истории. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

раз удовольствовался тем, что успел мне перевести сосед, спросил что-то из грамматики, я, кажется, ответил невпопад; на том Благовещенский и закончил экзамен, поставивши тройку, то есть приемный балл. Из моих товарищей по гимназии двое, знавшие не более моего, тоже благодаря Благовещенскому поступили в университет.

Спустя некоторое время я получил из университета вид на жительство; после того, так недели через две, подал прошение о перечислении меня на юридическое отделение; по тогдашним правилам, никаких препятствий к тому не могло быть, и вот я стал юристом. Но когда через два года юридический факультет разделили на юридическое и административное отделения (камеральное было закрыто), то я перешел на административное; на нем главными предметами были государственное право, русское и европейских держав, политическая экономия, финансы, статистика — всё предметы, более меня интересовавшие, чем римское право и особенная часть гражданского и уголовного права.

III. ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

Как студент-юрист первого курса, я должен был слушать, кроме богословия, русскую историю, энциклопедию законоведения, внешнюю историю русского законодательства и русское государственное право. Я несколько ниже буду говорить о профессорах, которых застал на юридическом факультете, потому здесь ограничусь немногим. Кажется, первая лекция, которую пришлось выслушать, была лекция проф. Калмыкова по энциклопедии законоведения. Кто из бывших в университете не помнит, с каким настроением он входил в первый раз в аудиторию, кто с напряженным вниманием не следил за профессором, стараясь не проронить ни одного его слова! А тут на кафедре не столько профессор, сколько величественный жрец, со строгим видом, довольно округленной наружности. Он изрекает о первоисточнике всего сущего, об идее права, исходящей от него, — что-то вообще очень возвышенное и глубокомысленное. Да иначе и быть не может: мне все говорили, что Калмыков — человек ог-

ромной учености, а главное, очень строг на экзаменах. Но вот жрец сходит с кафедры, медленно направляется к доске и величественно берет мел. «Поставим точку, пун-ктум! — восклицает он. — Из этой точки, пунк-тум, как центра, опишем радиусом окружность, пе-ри-ферию! она во всех своих точках будет отстоять в равном расстоянии от центра; продолжим радиус и опишем новую пе-ри-ферию и еще и еще несколько периферий...» А затем оказывалось, что в центре пребывает первоисточник, из него по радиусу исходит вечная идея права, а разные периферии будут представлять ее выражения в виде государственного, гражданского и других прав.

Курс Калмыкова после небольшого вступления распадался на две части: первая представляла из себя историю философии права, вторая — сжатое изложение существа государственного, гражданского и уголовного права. Конечно, очень интересною могла быть первая часть; но Калмыков принадлежал к тем русским ученым (а таковые и теперь не вывелись), для которых Германия и наука были синонимами; потому после Аристотеля и Платона мы почти сразу очутились среди немцев; тут Калмыков с особенною любовью остановился на Пуфендорфе, Томазии, Вольфе и т. п.; прочим же немцам, начиная с Канта до Гегеля включительно с ближайшими его последователями, было уделено уже несравненно меньше внимания. Читал он постоянно в повышенно-напыщенном тоне, но по времени аудитория к нему привыкла, и не проходило десяти минут, как погружалась в сонливое настроение. Не помню, чтобы хоть одна лекция по энциклопедии права вызвала у нас не только спор, но даже простой разговор.

Тот же Калмыков читал «внешнюю историю русского законодательства». Начиналась она с договоров Олега и Игоря и последовательно доводилась до издания «Свода законов». Калмыков знакомил с критикой этих памятников, коротко передавал их содержание, на этом дело и оканчивалось. Но и здесь, как настоящий ученый, Калмыков не изменял себе, — мы почти целый семестр слушали договоры да «Русскую правду». Через месяц я стал уже манкировать лекциями Калмыкова и затем появлялся на них случайно.

Красно читал И. Е. Андреевский русское государственное право, сопровождая чуть не каждую фразу

жестом из пальцев в виде распускающегося бутона. Говорили, что государственное право — не его предмет, что настоящая специальность И. Е. — полицейское право. Его курс государственного права представлял из себя несколько витиеватый пересказ своими словами первого тома «Свода законов»; историческая часть была крайне слаба. А так как я в гимназии был юристом и на зубок знал все министерства и их департаменты, то мне почти нечего было слушать у И. Е., потому я скоро и перестал являться на его лекции.

Я любил русскую историю, но ее читал Касторский; целые полгода блуждал он с полянами, кривичами и другими племенами по обширной территории древней России и все же порядком никуда их не приурочил. Не прошло и месяца, как в его аудитории можно было встретить только исключительно прилежных. Богословие читал протоиерей Полисадов; он только что в этот год заместил протоиерея Янышева. Так как богословие было обязательным предметом для студентов первого курса всех факультетов, да еще нового профессора желали послушать и старые студенты, то сначала пр. Полисадов читал в актовой зале, потом мы перебрались в большую аудиторию; но число слушателей так быстро таяло, что раз Полисадов, заметя в аудитории лишь несколько человек, не удержался и сказал: «Что так мало народу? Посмотрим, как эти гении будут на экзамене отвечать». Довольно много времени Полисадов уделил взаимному отношению философии и религии; он говорил, что истинная философия не может быть враждебна религии, но когда перешел к историческому обозрению философии, то оказывалось, что хотя все важнейшие философы, до Гегеля включительно, старались укрепить религию, однако их системы в конце концов всегда приводили к противуположному результату и потому, что они пытались строить их на основаниях, не зависимых от откровения.

Разумеется, на первых же порах я обошел лекции всех профессоров юридического факультета и прежде всего побывал у Кавелина, так как его «Взгляд на юридический быт древней России» я еще в гимназии читал и, конечно, не особенно много понял. Его лекции и Спасовича выгодно выделялись; но ведь через год их все равно обязательно придется слушать, — значит, теперь

ходить постоянно не было резона, да и подготовки к ним не имелось. И. Е. Андреевский очень заинтересовал меня первыми лекциями полицейского права. Речь шла о том, что такое полицейское право; начиналось, конечно, с Аристотеля, как он определял слово «полиция», а затем пошла уничтожающая критика определений разных ученых, разумеется немецких, — а их И. Е. привел не один десяток. Я был поражен такой ученостью, ибо в простоте своей думал, что И. Е. всех их изучал. Потом оказалось, что источником этой учености была известная тогда книга Роберта Моля [1].

Побывал у профессоров историко-филологического факультета; натолкнулся на специальные лекции у Благовещенского и Штейнмана и, конечно, больше к ним не заглядывал. Думал найти что-нибудь интересное у Никитенко; но его старческое шамканье «о прекрасном» ничего нового не дало против того, что я знал по гимназии. Историков по всеобщей истории, кажется, тогда никого не было.

И вот через какие-нибудь месяца два я почти совсем забросил университет; подписался в библиотеке Крашенинникова и много читал, хотя преимущественно журналы. Так как в гимназии из поэтов мы знали только Пушкина и Лермонтова, а из остальных лишь отрывки по хрестоматии Галахова, то я одно время, при моей слабости к поэзии, сильно увлекся более молодыми поэтами и перечитал их по нескольку раз, включительно до Щербины. Некрасов тогда не произвел на меня особенно сильного впечатления, а вот антологическими пьесами Майкова я очень увлекался.

Я и сам сознавал, что время проходит довольно бессодержательно, что, собственно, ничего не делаю; решил,

---

[1] Полицейское право читалось на третьем курсе; я, несмотря на личное знакомство с И. Е., никогда не бывал у него на лекциях. Пришлось, однако, сдавать экзамен; достал записки необъятного объема; читаю — ничего в голове не остается. Пошел искать конспект и напал на целую компанию, совместно готовящуюся к экзамену по одному конспекту в одиннадцать полулистов. Но в нем было все существенное, все фактическое содержание курса. Все, кто готовились по этому конспекту, отлично сдали экзамен; менее счастливы были те, которые добросовестно читали настоящие записки, — они тонули в море ненужного разглагольствования. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

что с нового года примусь за работу. И действительно, засел за энциклопедию Неволина, где история философии права была изложена несравненно полнее, чем нам читал Калмыков.

IV. УРОКИ

Я еще в гимназии начал давать уроки и репетировать. Началась эта практика в третьем классе; одна помещица, так из средних, пригласила меня репетировать с ее сыном, воспитывавшимся в пансионе, за двадцать копеек в месяц. Я пророрепетировал целые полгода, но получил только двадцать копеек. И теперь еще ощущаю острую горечь недополученного рубля, — ведь сколько хороших вещей я мог тогда купить на него! По мере того как я поднимался, возрастало и мое вознаграждение; в седьмом классе давал уроки у директора гимназии А. В. Латышева, и тот платил, по тогдашнему времени, просто с королевскою щедростью — шесть рублей в месяц.

Не знаю, решился ли бы я ехать в университет, если бы существовала обязательная плата за слушание лекций; но тогда университетам было предоставлено неограниченное право освобождать от платы (пятьдесят рублей в год). Забравшись в Петербург в первой половине июля, я привез с собой рублей сто; надо было одеться, затем то, другое, и к ноябрю у меня в кассе стала показываться пустота. От Благовещенского насчет уроков не было ни слуху ни духу. Но добрейший А. В. Латышев позаботился обо мне, просил еще учителя Ларинской гимназии Ф. И. Дозе, родом, как и я, из Вологды. Он имел мой адрес, и я затруднялся идти к нему; но раз, случайно встретив, спросил насчет уроков. «Помню, — ответил Дозе, — все ничего не подвертывается; правда, есть одни уроки, да я не решаюсь предложить их вам, уж очень неважные, — за два урока в неделю пять рублей в месяц, только юноша сам бы к вам приходил». В объяснение нерешительности Дозе я должен сказать, что тогда гонор не позволял студенту брать менее одного рубля за час, и это еще считалось очень плохой платой. А тех времен рубль по меньшей мере отвечает двум нынешним. Я, однако, сообразил, что пять рублей обеспечивают чай, сахар и т. п., а что касается до гонора, то ведь не я

буду ходить на уроки, но ко мне на квартиру станет являться ученик; потому и взял урок. Мой ученик оказался бывшим малолетним певчим придворной капеллы, племянником письмоводителя ее. По некотором времени получаю записку от Дозе — зовет побывать у него. «Представляются еще уроки, — сказал он, — хотя тоже небогатые. У нас в гимназии есть сын видного чиновника Пушилова, идет так плохо, что отцу поставили условие, чтобы он взял непременно репетитора, иначе сына уволят из гимназии. Но отец все ищет учителя подешевле; вы, однако, не уступайте».

Направляюсь к Пушилову. Чтобы выдержать предстоящий торг, напустил на себя необычно самоуверенный тон. Пушилов принял меня в халате, но с Владимиром на шее; с этим крестом он никогда не расставался; кто-то из домашних шутя говорил, что он и спит с ним.

— За три урока в неделю сколько желаете получать?

У меня не хватило храбрости назначить два рубля за час, как советовал Дозе; я заявил:

— Пятнадцать рублей в месяц.

— Это очень много. Возьмите десять рублей.

Торговались долго; принимая в соображение, что урок в двух шагах от меня, я спустил до двенадцати рублей, на что в конце концов согласился Пушилов.

В ближайшее воскресенье я уже знал, с кем имею дело. Вскоре по приезде в Петербург я стал бывать у Габерзанг, его жена была вологжанка. Сам Габерзанг, Алексей Иванович, правовед по образованию, состоял чиновником за обер-прокурорским столом. Человек он был независимого характера, не заискивал перед всесильным Топильским [1], а потому и был в некотором роде не у дел. Ему было поручено наблюдение за составлением и печатанием — кажется, три раза в год — списка чинов гражданского ведомства первых четырех классов; эта работа перед тем составляла главное занятие целого инспекторского департамента гражданского ведомства. Скоро я был принят у Габерзанг как близкий родной и по праздникам обязательно обедал у них. Здесь я познакомился с Пребстингом, впоследствии се-

---

[1] Всесильный директор департамента при Панине. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

натором, и Эссеном, который во время министерства Палена был одно время его товарищем. Все, кто знал тогда Пребстинга, высоко уважали его за недоступность каким-нибудь влияниям и резко-правдивый характер; его можно назвать Катоном раболепных времен. Понятно, что Топильский не терпел его и не давал ему никакого хода. Эссен считался в сенате выдающимся цивилистом. Он скоро женился на сестре Ек. Ал. Габерзанг и одно время даже жил вместе с ними. Бывая в этом доме, я постоянно слышал разговоры о совершенно невозможном состоянии у нас правосудия, полной непригодности действующего судопроизводства и настоятельной необходимости в коренной реформе. Я, зачитывавшийся всякими статьями о всевозможных реформах, все-таки не мог себе представить, откуда найдутся в России люди для новых судов. И как теперь слышу слова Эссена: «Люди найдутся; и чем шире будет проведена реформа, тем скорее найдутся, тем лучше она будет функционировать». Сохранил ли он те же взгляды, когда был товарищем министра юстиции, — этого я не знаю.

Так вот от этих самых людей я и узнал, что Пушилов занимал влиятельную должность в одном из департаментов сената, был обер-прокурором, выслужился из самых маленьких чиновников, пользовался поддержкой Топильского и доверием Панина, репутацию имел весьма сомнительную, владел каменным домом на Васильевском острове, на Малом проспекте, при большой семье хорошо жил, хотя и без блеска. Карьера его закончилась несколько неожиданно. В конце 1859 г. или самом начале 1860 он был назначен Паниным на следствие по делу киевско-харьковских студентов (Бекман и К⁰); это назначение произвело в обществе крайне тягостное впечатление, но Пушилову не пришлось даже выехать из Петербурга. Сенатор Хрущев, бывший товарищем министра при Киселеве, написал Панину письмо и распространил его в публике, а в этом письме заявлял, что Пушилов — взяточник, что он сам давал ему взятку. К чести Панина, он взял обратно свое назначение, а Пушилов вынужден был оставить службу.

Скоро на уроках у Пушилова обрисовалось такое положение: мой ученик страдал органическим недостатком — хотя на самое короткое время удерживать внима-

ние на одном предмете; так, в течение нескольких месяцев он не мог проследить объяснение теоремы: сумма смежных углов равна двум прямым, и теорема навсегда осталась для него за семью печатями. Но у молодого человека — ему шел уже шестнадцатый год — были другие способности: он еще восьми лет играл на скрипке, и притом с успехом, в публичном концерте. Однако отец непременно хотел сделать из него чиновника, хотя сам играл на скрипке, и все дети, дочери и сыновья, тоже на чем-нибудь играли. Постоянно устраивались импровизированные концерты, на которые меня, после урока, весьма любезно приглашали оставаться. Вот концерт кончился. «Как вы находите сегодняшнюю игру Кости?» Ну, что я тогда понимал в музыке, когда даже и теперь не нахожу никакой прелести в балалайках! Тем не менее для поддержания своего престижа решил держать себя знатоком. Верным указателем было лицо отца; видя его сияющим, я обыкновенно отвечал: «Сегодня он, по-моему, играл безукоризненно». — «И я то же скажу, постарался, вот и вышло хорошо; ведь подумайте, он десяти лет играл не только не хуже, а, пожалуй, лучше, чем теперь. А все оттого, что мало старается, не хочет...» В действительности же сын, видимо, любил скрипку и предпочитал ее всяким теоремам.

Занятия шли плохо; я несколько раз о том говорил отцу, приглашал посидеть на уроках; от него всегда был один ответ: «Все потому, что не хочет стараться». Я наконец стал советовать взять сына из гимназии и все сосредоточить на скрипке. «Нет, этого никак нельзя, он должен кончить гимназию».

Сначала было скучно, но потом все наладилось к удовольствию моего ученика и меня самого. Бывало, не пройдет и получаса урока, как мой ученик отложит перо в сторону.

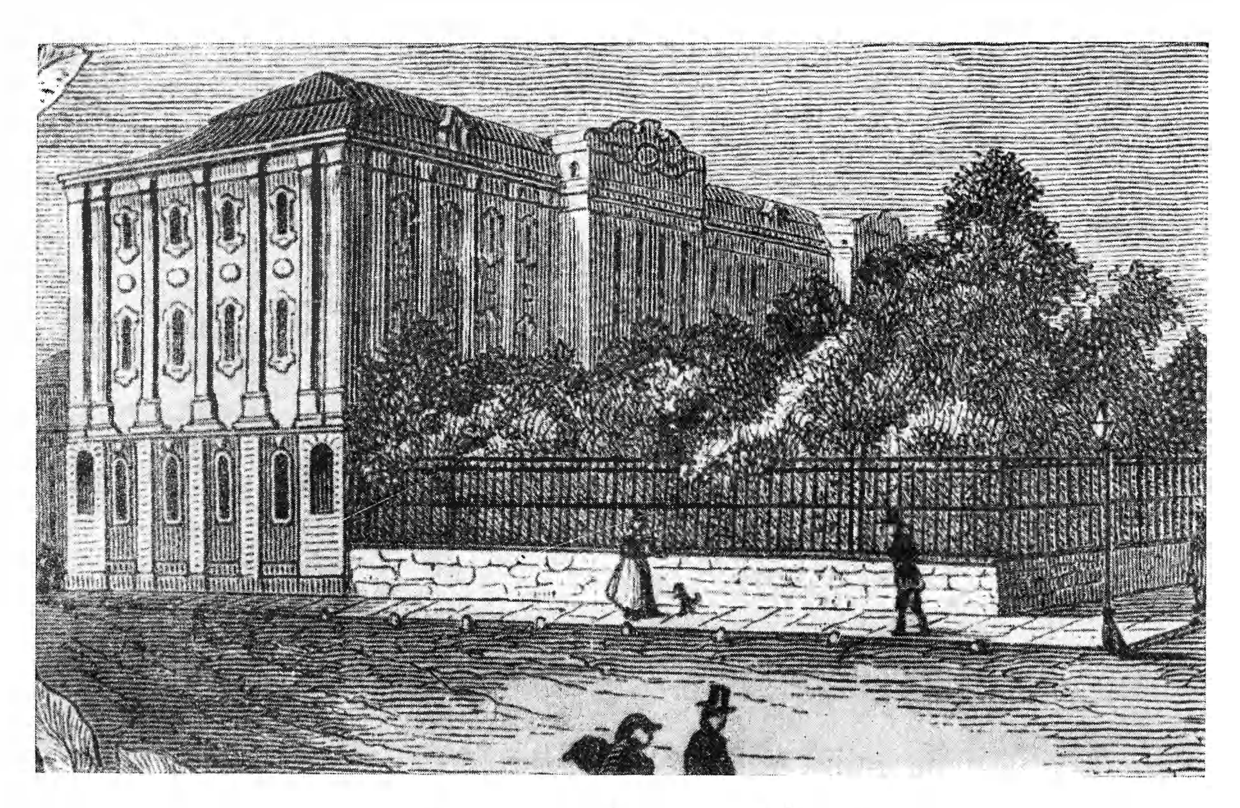
— А что, Лонгин Федорович, не хотите ли послушать музыки?

— Можно, — отвечаю я.

— Папаша, а не сыграть ли нам сегодня квартет; кстати бы и Лонгин Федорович послушал.

— Квартет?.. — отзывается чуть не с радостью отец. — Эй, Маша, Ваня!

Торопливо сам настраивает скрипку, и минут через пять под звуки музыки я погружаюсь в какие-нибудь



С.-Петербургский университет. Гравюра.

мечты. К весне уроки кончились и более не возобновлялись. Все-таки Пушилову пришлось взять сына из гимназии и так или иначе направить по дороге, на которую указывали природные дарования юноши. Я совсем потерял из виду эту семью, так как потом никогда у них не бывал. В 90-х г. довелось быть на каком-то благотворительном концерте; вдруг вижу на афише имя моего бывшего ученика. Из него выработался незаурядный солист и хороший техник. Он играл в оркестре нашей оперы. «Он — в миниатюре Саразате», — тут же отозвался о нем один из моих знакомых, хорошо понимающий музыку.

Первые уроки с племянником письмоводителя капеллы послужили для меня настоящим золотым кладом; тогда инспектором капеллы был Ник. Ив. Ореус; перед тем он командовал ротой в 1-м батальоне Преображенского полка, из любви к духовному пению оставил полк и перешел в инспекторы капеллы. Он принял участие в двух мальчиках, спавших с голоса, и решил дать им возможность поступить в гимназию. И вот были устроены совместные уроки; кроме того, Ореус вскоре предложил мне преподавать в училище, которое существовало в капелле для малолетних певчих, так что я вскоре очутился наверху финансового благополучия.

Покойный Ореус, тогда еще холостой, был человек добрый и очень мягкого характера; образование он получил в школе гвардейских подпрапорщиков (Николаевское кавалерийское училище). В нем одновременно, как во многих тогда, уживались самые противоположные черты: нерасчетливая трата последних средств (отец его, сенатор, еще при жизни выделил ему очень хорошее состояние), любовь к духовному пению и крайнее увлечение «Современником». А так как я в ту пору был большим поклонником «Русского вестника», то у нас выходили постоянные и горячие споры; особенно летом 1859 г., когда я жил у него на даче. В то же время, хорошо зная иностранные языки, Ореус зачитывался Шлоссером, Боклем, Гервинусом, даже Дункером; неизвестно для чего начинал переводить Гервинуса. Хотя осенью 1859 г. Ореус оставил капеллу и вернулся в Преображенский полк, но наши отношения не оборвались; я даже в летнее время пользовался его квартирой в полку. В 1861 г. 14 октября одна рота Преображен-

ского полка была двинута против студентов; при этом произошло тягостное столкновение. Ореус выражал крайнее сожаление, что не ему пришлось командовать, так как он принял бы все меры, чтобы избежать столкновения. Его приятель, офицер того же полка В. Ф. Панютин, после истории взял меня на поруки и даже предложил свою квартиру в полку; но когда полковой командир узнал о последнем, то запротестовал.

«Неудобно, — сказал он, — может показаться апробацией студенческой истории».

Приятельские отношения с Ореусом продолжались до катастрофы, постигшей в 1862 г. «Современник» и Чернышевского. Это обстоятельство как раз совпало с полным истощением всех личных средств Ореуса. Тут мы поменялись ролями; я отстаивал идеи «Современника», а Ореус перешел на такую точку: «Всем в мире управляет сила, — говорил он, — сила на стороне правительства, и я следую за ней, так как не хочу, чтобы она раздавила меня». После этого мы встречались только случайно, в последний раз — в Петербурге в начале декабря 1864 г., в театре, за несколько дней до моего ареста. Он знал от своего приятеля Мезенцева, что надо мной висит туча, готовая разразиться каждую минуту, но даже и не намекнул на это, хотя тут же другой офицер Преображенского полка, покойный Гурьев, которого я иногда встречал у Ореуса, и делал мне какие-то неясные намеки. Чуть ли не этот самый Гурьев проделал одну шутку, по поводу которой много смеялись в Петербурге. Был старый генерал Челищев, — я тоже у Ореуса встречал его, — добродушный, но несколько времен «Очакова и покоренья Крыма». Прогуливается он раз в театре, а у него из заднего кармана предательски выглядывает не то «Колокол», не то какая-то прокламация.

Два слова о тогдашней капелле. Во главе ее стоял старый генерал Алексей Федорович Львов («гимн» — его музыка); он был так глух, что надо было или сильно кричать, или говорить ему в трубу; но когда он дирижировал хором с аккомпанементом оркестра, то малейшее ослабление или усиление в каких-нибудь инструментах или голосах — и он сейчас же замечал. Старшим регентом был Малышев; вот как он попал в капеллу. Был он солдатом — кажется, музыкантом — во время совместных маневров русских и прусских войск сочинил на этот

случай стихи и положил их на музыку;[1] об этом было доложено императору Николаю Павловичу, который и назначил Малышева в капеллу, где тот, постепенно подвигаясь, достиг до звания старшего регента, то есть ближайшего руководителя певческим делом. Львов говорил Малышеву «ты», и можно себе представить, в каком трепете держал себя перед ним Малышев. Впрочем, и без Львова он всегда имел очень озабоченный вид и руки по швам. Совсем иной человек был его помощник А. И. Рожнов, кажется из чиновников попавший в капеллу. Хотя о нем тоже говорили, что он далеко не на своем месте (скоро он заменил Малышева), однако со Львовым держал себя с бо́льшим достоинством; приятный был человек в обществе, кое-что почитывал[2] и, как большая часть персонала капеллы, при тогдашних нищенских окладах занимался разными посторонними делами.

Был еще учитель пения Рыбасов; его главное дело было рекрутирование капеллы; для этого он почти каждый год разъезжал по провинции и осматривал архиерейские хоры; взрослые, конечно, шли по доброй воле,

---

[1] Вот эти стихи:

Русский царь собрал дружины
И велел своим орлам
Плыть по морю на чужбину,
В гости к добрым пруссакам.
Нас лелеет царь державный,
Слава белому царю,
Слава Руси православной
И родному королю!

На эти стихи ходила довольно нескромная пародия. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Раз прихожу в капеллу, вижу: Рожнов возится с группой малолетних певчих; подхожу — и ушам не верю: вместо божественного поют что-то очень веселое. Умер Мартынов, и прошел слух, что Бурдин заявил притязание на весь репертуар покойного. Кто-то по этому случаю и смастерил юмористическое стихотворение, из которого и привожу, что уцелело в памяти:

Хотя Мартынов и угас,
Его мы вовсе не жалеем,
Степанов, Яблочкин у нас
И Леонидов с Алексеем,
И Пронский, и Максимов М.,
И красота актерам всем,
Теодор Бурдин,
Он у нас один —

а малолетних просто увозили, не всегда при этом спрашивая согласие родителей. Эти малолетние певчие и составляли больное место капеллы. Года через три они обыкновенно спадали с голоса, и тогда их даже не возвращали на родину, а, снабдив аттестатом уездного училища (на самом деле они ничего не знали), прямо выводили на петербургскую улицу. Попытка Ореуса хоть что-нибудь сделать для обеспечения их будущности разбилась о безучастное отношение Львова, и Ореус под этим предлогом вышел из капеллы.

В 1860 г. я даже жил в самой капелле у Ф. К. Никольского, занимаясь с его сыном. Что это был за удивительный голос! Ни до него, ни после русская опера не имела такого тенора: обширный — он свободно брал do diez — грудной, мягкий, поразительно легко вибрирующий — вот какой был голос у Никольского. Одна беда — он слишком поздно поступил на сцену: ему, помнится, было уже тридцать три года. А потом — страсть к деньгам (он даже летом не давал себе отдыха), и он скоро спал с голоса, несмотря на строго воздержную жизнь. Недоставало ему и вкуса [1].

Как это ни странно, а с капеллой связано у меня воспоминание о первой манифестации, свидетелем которой я был, и притом манифестации несомненно политического характера. В великом посту в капелле обыкно-

---

«Kennst du das Land wo die Citronen blühn!» <Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут (*перев. Л. Мея*)> (*нем.*).

Вот песня моя унылая:
Бурдин, Бурдин, Бурдин.

И конец:

Вот весь наличный персонал,
Чтоб украшать Александринку,
Высокобезобразный зал,
Где вместо пьес играют в трынку.
Но ведь порою от тоски
Играют люди и в носки,
А у нас один... и т. д.

Рожнов положил эти слова на музыку, и долго в капелле малолетние распевали их в свое удовольствие. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] В мое время ходили рассказы об Иванове, придворном певчем, посланном в Италию для усовершенствования; он не вернулся в Россию; говорили, что это был удивительный певец, второй Рубини. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

венно давалось несколько симфонических концертов, которые очень ценились знатоками; попасть на них было очень трудно, зала капеллы была маленькая, а билеты считались наследственными в кругу высшей петербургской публики; концерты даже носили название «концертов придворного концертного общества». Ими дирижировал старик Маурер. Я, конечно, на них всегда бывал, имея свободный вход как учитель; но, разумеется, приходилось стоять. В 1861 г., вскоре после 19 февраля, состоялся первый концерт; известно было, что приедет государь. Перед самым началом концерта Львов собирает учителей, гувернеров и тому подобных и держит такую речь:

— Господа, как только государь войдет в ложу, кричите: «Боже, царя храни!»

Мы выразили живейшую готовность.

— Я вам подам знак, — сказал Львов.

Мы все довольно большой кучей стали сзади рядов, недалеко от входа, и ждем условленного знака. Вот наконец Львов подал его, и мы дружно крикнули: «Боже, царя храни!» (тогда еще не было навыка кричать просто: «Гимн!». Крикнули несколько раз, но в публике никто даже и не шевелится. Львов делает второй знак, мы опять кричим: «Боже, царя храни!» Никто не встает, только некоторые поворачиваются и презрительно оглядывают нас. Тогда Львов бросает эстраду, обходит кругом и является к нам. Став впереди нас и сделав из своих рук род рупора, просто рявкнул: «Боже, царя храни!» Мы, конечно, поддержали его; вместе с тем он дал знак оркестру начинать исполнение гимна. Необыкновенно медленно стала подниматься публика, когда уже оркестр играл гимн. Едва гимн был исполнен один раз, как все поспешили сесть; на обычное повторение даже у Львова не хватило храбрости [1].

Мне вообще во время студенчества везло по части уроков; только осенью 1862 г. я оставался без заработка. Совершенно случайно, благодаря урокам, я получил пристрастие к изысканным сигарам. Угощали меня

---

[1] На одном из обедов в 90-х гг. в память 19 февраля покойный Н. Ф. Крузе рассказывал: «Мне этот день (то есть день объявления освобождения) пришлось провести в Лондоне; весь город был иллюминован, везде горели транспаранты со словами: «Сегодня 20 миллионов рабов получили свободу». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

ими Ореус, Н. И. Погребов, — я у него около полутора года давал уроки и потом остался в хороших отношениях до самой его смерти. Но вот раз я получил ежедневные уроки в одном семействе с двумя детьми. Когда заметили, что я курю, то каждый день передо мной оказывалось блюдечко отличных гаванских сигар; я, конечно, выкуривал только одну, но дети запихивали мне в карманы все остальные; я было попытался отказываться, но они объяснили мне, что у них в доме так много сигар, что просто не знают, куда девать. Так тянулся целый год. Потом я узнал, что глава семьи Илимов служил в министерстве финансов и притом специально по акцизу с табаку.

Последние мои уроки я давал уже по пяти рублей за час. Кажется, в 1862 г. состоялось по министерству иностранных дел распоряжение, в силу которого для получения классных должностей по этому ведомству надо было сдать экзамен из международного права, государственного права европейских держав, политической экономии и т. д. Целая вереница баричей, мнивших себя будущими дипломатами, потянулась из-за границы в Петербург, чтобы готовиться и затем подвергнуться экзамену. Одному из таких юношей, кн. Голицыну, мне пришлось давать уроки и даже обставить его учителями по всем предметам. Говорили, что у него было семьдесят тысяч рублей годового дохода; опекуном был известный богач и развратник Сабуров. Мне-то еще, хотя и не без долгого торга, дали пять рублей за час, но остальным понизили до трех и даже двух рублей. Моему ученику было около восемнадцати лет, но он уже успел пройти весь курс парижской жизни; кроме французского языка, он решительно ничего не знал и притом не обнаруживал ни малейшей охоты что-нибудь узнать. Все учителя были в отчаянии. Но вот подошло лето. Юноша поехал в свои поместья, сопровождаемый одним из гувернеров-учителей [1], мною рекомендованных. Едва молодой человек появился в провинции, как стал, конечно, предметом общего внимания; его не стеснялись усаживать в карты и обыгрывали на очень крупные куши даже лица, которым по их официальному положению это всего менее было к лицу. Каждый день пошли

[1] Медведевым; был потом присяжным поверенным. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

вакханалии, карты, так что мой приятель гувернер от ужаса сбежал. Юноша кончил тем, что ни к каким занятиям не вернулся и в самое короткое время все спустил, а сам богу душу отдал.

Уроки не только принесли мне материальную обеспеченность за время моего студенчества; они значительно повлияли на расширение моего кругозора. Бывая в самых разнообразных слоях, я рано приучился наблюдать жизнь в разнообразии ее проявлений, имел возможность вникать в характер людей, предо мной иногда раскрывались весьма затаенные пружины человеческих отношений. Короче сказать, расставаясь с университетом и вступая в жизнь, я не испытал головокружительного падения с неба на землю.

V. СХОДКИ

Прошло месяца два со времени моего поступления в университет; ничего особенного не случилось. Но раз прихожу в университет и при всей моей неопытности замечаю какое-то необычное настроение в разных группах студентов. Вдруг целой толпой студенты направились в большую аудиторию, пользуясь тем, что она была свободна. На кафедру взобралось несколько студентов, и между ними мой знакомый Модзалевский; я понял, что происходит сходка. Когда аудитория несколько поуспокоилась, Модзалевский, крайне возбужденный, начал держать речь. Дело было такое. На острове где-то случился пожар; кроме пожарных, была обычная цепь, на этот раз морского гвардейского экипажа; на пожар случайно пришла компания студентов; они вспомнили, что в доме живет их товарищ, и притом знали, что его в то время, кажется, и в городе не было; тогда они решились проникнуть в дом, чтобы спасти его имущество. Тут произошло столкновение с цепью, и некоторым студентам пришлось испытать на себе удары холодного оружия. Как теперь слышу Модзалевского: «Студент Анц получил два удара в бок и один в грудь, студент Максимов тоже куда-то и столько-то». Модзалевский, Боголюбов и другие ораторы доказывали, что нападение на студентов ничем не было вызвано с их стороны, что студенты только желали спасти имущество отсутствовавшего то-

варища, что такое обращение со студентами нельзя оставить без протеста, что все студенты должны просить начальство, чтобы оно вступилось за пострадавших и потребовало наказания виновных. Конечно, никаких возражений эти речи не вызвали, напротив того, сходка — на ней особенно много было первокурсников — выразила полное сочувствие ораторам; но в конце концов все разошлись, не постановив какого-нибудь определенного решения. На другой день опять сходка по тому же предмету, те же речи и тот же безрезультатный конец. Но вот, может быть на третий день, на кафедре появляется Ю. Богушевич [1], студент четвертого курса восточного факультета. Имя его было несколько известно между студентами, так как в первом выпуске «Студенческого сборника» была его статья о персидской поэме «Гюлистан» Саади (см. сочин. Добролюбова, очень сурово отнесшегося к ней). Богушевич прочел заранее заготовленную речь; в ней он доказывал, что студенты, как люди взрослые и совершеннолетние, как полноправные граждане, а не мальчишки, первые должны подавать пример уважения к законам, что на пожаре они нарушили ясное требование закона: никто из посторонних людей через цепь не пропускается; потому, если они при этом и пострадали, так по своей собственной вине. Следовательно, всякие сходки по этому делу надо прекратить, а студентам нужно вообще вести себя осмотрительнее. Речь Богушевича была встречена более чем несочувственно, и все дело сразу получило другой оборот: о пострадавших на пожаре не только перестали говорить, но и совсем забыли, а принялись за Богушевича. Раздались крики: «Вон, вон, кто говорит такие речи, тот недостоин звания студента». Богушевич с трудом защищался, говоря, что он совсем не думал наносить оскорбления студентам. После долгого шума сходка разошлась, но с решением завтра вновь собраться для суждения о Богушевиче. На другой день явилось уже менее студентов; на третий день опять сходка все о том же Богушевиче при еще меньшем числе студентов. Наконец все успокоилось. Не скажу, чтобы это первое ознакомление со сходками произвело на меня выгодное впечатление, да, вероятно,

---

[1] В конце своей карьеры был редактором «Сельского вестника». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

и на большинство вновь вступивших. Целая неделя сходок не дала никакого положительного результата. Когда приходилось говорить об этом со старыми студентами, например Модзалевским и другими ораторами, от них получался один ответ: «Нет между студентами единодушия, нет горячего сочувствия к общим интересам. Ах, если б теперь был здесь Михаил Иванович Сухомлинов (он тогда находился в заграничной командировке), при нем все бы студенты были заодно, он умел поддерживать дух товарищества и единения».

Но кроме недостатка духа единения эти сходки показывали и другой весьма существенный недостаток: новость корпоративной жизни студентов и потому совершенную неумелость в самой постановке дела. Никому, например, и в голову не приходило, что на многолюдной сходке, даже без выбранного председателя, нельзя производить суд и расправу. Через какие-нибудь года два последующей практики в студентах выработались более ясные понятия, и в деле Бутчика были применены все необходимые гарантии, чтобы оно получило правильный ход и дало удовлетворительный результат. А пока в течение этих двух лет, насколько могу припомнить, было четыре случая, где сходки имели характер несколько судебный; о двух я буду говорить немного ниже, теперь же считаю уместным рассказать случай, который остался не без последствий на дальнейший ход чисто студенческих дел. Давно ходили слухи, что в студенческой кассе далеко не все обстоит благополучно; что там по приятельству выдаются ссуды, и притом в крупных суммах, лицам далеко не нуждающимся. Вдруг сделалось достоверно известным, что Я. Утин получил двести рублей в ссуду; Утиных в это время было трое: Яков, Николай и Евгений. Отец их, откупщик, считался богачом, и его дом на Английской набережной [1], тогда затмевавший все другие, был известен всякому студенту. Выдача Я. Утину двухсот рублей вызвала между студентами крайнее возбуждение, начались сходки. Заведующие кассой объясняли дело так: Я. Утин вместе с студентом Лазаревским издал сборник важнейших юридических памятников древней России — книгу, полезную студентам; для окончательной расплаты с типографией ему понадоби-

[1] Ныне, кажется, Паскевича. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

лось двести рублей, которые он не хотел брать у отца, потому и занял в кассе и рассчитывает возвратить из тех карманных денег, которые ежемесячно получал. И в самом деле Утин вскоре внес двести рублей. Но недовольство на прежних заправил кассы было настолько велико, что на ближайших выборах почти весь состав кассы был обновлен; вошел тогда и я в качестве депутата. Новому составу пришлось констатировать почти полное отсутствие сколько-нибудь правильного счетоводства и ряд выдач, которых нельзя было оправдать ни по их размеру, ни по лицам, которым они были сделаны. Всем этим студентам было послано приглашение вернуть полученные деньги; это обращение почти осталось без ответа; тогда после некоторой отсрочки был вывешен в университете список этих лиц с показанием числящегося за ними долга. В числе их был Всев. Крестовский; он тогда уже печатал стихи и был довольно деятельным сотрудником «Русского слова» (изд. Кушелева-Безбородко), тем не менее долга своего никогда не уплатил.

В новом составе кассы были между прочим Ю. С. Булах и Заварницкий; ими были выработаны формы счетоводства, и вообще при новых распорядителях дело было упорядочено. Все шло благополучно, как вдруг раскрылась растрата студентом-кассиром Бутчиком с чем-то тысячи рублей, но об этом речь будет в своем месте.

VI. СТУДЕНЧЕСКАЯ (РУССКАЯ) КОРПОРАЦИЯ

В корпоративном отношении положение студенчества за мое время отличалось поразительной неопределенностью, и нельзя об этом не пожалеть. Будь иначе, внутренняя жизнь наших университетов, быть может, в значительной степени избежала бы тех острых кризисов, которые так часто нарушали ее нормальный ход. С разрешения начальства издавался «Студенческий сборник»[1],

[1] Его вышло два выпуска, третий в листах, почти оконченный, оставался в типографии, когда университет был закрыт; однако, должно быть, несколько экземпляров его попало на рынок; у меня он имеется (я был одним из редакторов) благодаря деликатной любезности одного библиофила. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

для ведения которого от каждого факультета избирались редакторы; вскоре при «Сборнике» была открыта касса для пособия нуждающимся студентам; для заведования ею в помощь редакторам избирались депутаты, тоже по два от каждого факультета. Каждый год как по «Сборнику», так и кассе давался отчет на общей сходке. Все это народилось за время попечительства кн. Щербатова (в 1858 г. весной он преждевременно оставил свой пост; причина — пропуск им в «Современнике» проекта Кавелина об освобождении крестьян с землею) и так оставалось при И. Д. Делянове. Для выборов необходимы были сходки, но на этом, собственно, и кончалось начальственное признание; всякого рода другие сходки просто терпелись, но, конечно, студенты видели в них свое неотъемлемое право. На самых сходках не было выработано никаких распорядков относительно правильного функционирования студенческой корпорации; имелось лишь несколько постановлений, регулировавших деятельность кассы. Редакторы и депутаты вели специально возложенные на них дела, но не являлись представителями студенчества во всех его делах, и в разных случаях к ним не обращались ни с предложением принять на себя инициативу, ни возлагали на них исполнения тех или других решений сходок, не касавшихся «Сборника» или кассы. Всякий студент и по какому угодно поводу мог собрать сходку; многие даже видели в этом коренное условие студенческой жизни, своего рода палладиум вольности. Как-то еще прошло, что не было случаев совсем противуположных решений. И так продолжалось до весны 1861 г. Среди самого студенчества постоянно высказывались жалобы на случайность сходок и их нередкую бестолковость; в то же время на выборы являлось слишком мало студентов, даже на юридическом факультете иногда проходили в депутаты и редакторы какими-нибудь двумя десятками голосов [1]. Когда же возникал какой-нибудь инцидент, то на первую сходку обыкновенно являлось довольно много, а на последующую, случалось, и никто

[1] Был, однако, исключительный случай; открылось депутатство на юридическом факультете; прошел слух, что Е. Утин хочет добиваться его, что он не совсем обычными способами подбирает себе партию, что было, впрочем, не верно. Это всех возмутило, и мало кому известный студент Пушторский, мною рекомендованный, прошел более чем сотней голосов. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

не приходил. Постепенно распространялось недоверие к общим сходкам, но и только, — никакая реформационная мысль не ставилась и не обсуждалась на сходках. Наконец она пришла извне. После истории с студентом Штакеншнейдером в марте 1861 г. профессора убедили И. Д. Делянова в необходимости внести порядок в корпоративную жизнь студентов, дать им своего рода регулирующий статут. Вероятно с разрешения министра им была организована комиссия из профессоров (председатель — Кавелин, а из членов припоминаю Стасюлевича, Спасовича, Б. Утина). Этой комиссии было вменено в обязанность пригласить соответственное число депутатов, специально для того выбранных, и сообща с ними выработать полный устав корпорации (из студентов были в комиссии Неклюдов, Чубинский — правая, Н. Утин, Е. Михаэлис, Оханов — левая). Несмотря на то, что некоторые из депутатов от студентов остались в меньшинстве, комиссия выработала полный проект: между прочим устраивался постоянный студенческий суд под председательством выборного профессора. Насколько помнится, существенное разногласие между большинством и меньшинством сказалось по вопросу, кто входит в состав студенческого общества; меньшинство включало в него вольнослушателей и всех когда-либо бывших студентов. Но летом 1861 г. должен был оставить министерство Евграф Петрович Ковалевский; на его место вступил гр. Путятин; при нем Ив. Дав. перешел в директора департамента, попечителем же стал генерал Филипсон, а проект комиссии был сдан в архив.

VII. ДЕЛО КАССИРА БУТЧИКА

С давнего времени по зимам давались в университете концерты; начались они под флагом музыкальных упражнений студентов (тогда до великого поста, кажется, частные концерты не разрешались), но при мне в оркестре участвовал только один студент Дягилев[1].

[1] Кроме этих концертов, давался еще один в великом посту с участием итальянцев, всегда охотно отзывавшихся на приглашение студентов. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Инициатором концертов был инспектор студентов Александр Иванович Фитцтум фон Экштедт, в свое время вернейший исполнитель незабвенного попечителя Мусина-Пушкина. Фитцтум был большой любитель музыки. Оркестр состоял под управлением Шуберта, весьма изящно, по тогдашним обычаям с лицом, обращенным к публике, помахивавшего своей дирижерской палочкой. При доступной цене эти концерты, хотя и не особенно высокого достоинства, весьма усердно посещались публикой и давали хороший сбор. Чистый доход с концертов (их, помнится, бывало по десяти) инспектор по своему усмотрению расходовал на нуждающихся студентов. Это возбуждало неудовольствие между студентами, и на 1860/61 г. кассе удалось забрать концерты в свое заведование. Был приглашен тот же Шуберт на обычных условиях — три тысячи рублей за все концерты. В рождество Шуберт просил уплатить ему тысячу пятьсот рублей; собрался комитет (то есть редакторы и депутаты), но не в достаточном составе, чтобы его постановления имели законную силу; однако решили вынуть из казначейского ящика (деньги студенческой кассы хранились в правлении университета у казначея) тысячу пятьсот рублей и передали кассиру кассы студенту Бутчику для уплаты Шуберту. Прошло некоторое время, встречает Шуберт кого-то из распорядителей кассы и жалуется, что все еще не получил следуемых ему денег. До этого времени Бутчик не подавал ни малейшего повода к каким-нибудь неудовольствиям, вел свое дело вполне исправно. Кинулись к Бутчику, его не находят дома, и только после нескольких дней удалось его разыскать. Он заявил, что деньги потерял, с чем-то тысячу рублей. Но были уже некоторые данные, что он их не потерял, а проиграл в клубе. Собрана была сходка, и ей было доложено об этом необыкновенном казусе. На сходке постановили: избрать судную комиссию, просить В. Д. Спасовича принять председательство в этом деле, а самое дело вести путем публичного разбирательства. Прокурорские обязанности взял на себя студент естественного факультета Е. Михаэлис, адвокатами вызвались быть студенты-юристы Неелов и Френкель. В назначенный день состоялось разбирательство: председательствовал на сходке В. Д. Спасович; под предлогом болезни Бутчик не явился на разбор дела. После того как закончилось судебное следствие

и держал обвинительную речь Михаэлис, Неелов сказал очень недурную речь; юридическая часть ее была умело построена на том, что нет достаточных оснований не верить Бутчику в его утверждении, что он потерял деньги; что свидетельские показания скорее говорят в его пользу, чем против него. Покончив с этой стороной, Неелов, не впадая в излишний сентиментализм, сумел затронуть чувствительные струны суда и аудитории, напомнив им, что от их приговора зависит вся будущность человека, только еще вступающего в жизнь. После речи Неелова защита Френкеля прошла совершенно незамеченной. Через день В. Д. созвал новую сходку для выслушания решения и его санкции; он при этом произнес большую и обстоятельную речь, напоминающую теперешние председательские резюме. Прочитан был приговор судей (М. Прахова, Н. Неклюдова, Н. Утина, Городецкого, Чубинского); этим приговором Бутчик был признан виновным в растрате, приговорен к удалению из университета и взысканию растраченной суммы; что касается до распорядителей кассы, то на них была возложена нравственная обязанность в случае несостоятельности Бутчика пополнить произведенную им растрату. Сходка утвердила решение суда. Приговор был сообщен попечителю, который без возражений и привел его в исполнение [1].

Это первое публичное судебное разбирательство возбудило в обществе живейший интерес; везде студентов расспрашивали об этом деле, и мы не без гордости посвящали публику во все тонкости новой процедуры. Иначе взглянули на этот первый опыт гласного суда в некоторых официальных сферах и не скрывали своего негодования при виде этой дерзости студентов; но, вероятно, Ив. Дав. <Делянову> удалось все

[1] Подлинный приговор по делу Бутчика случайно хранится в архиве Литературного фонда (теперь у меня). Г-н Френкель в своих воспоминаниях, напечатанных в газете «Кавказ» в 1894 г., совершенно напрасно возлагает на Неклюдова адвокатские обязанности и распространяется о сильном впечатлении, которое произвела его защита. С Бутчика ничего не удалось взыскать; растраченная им сумма, около тысячи рублей, в 90-х гг. была внесена одним из бывших распорядителей кассы в «Общество вспоможения студентам Петербургского университета». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

дело представить в самом простом и благонамеренном виде, — иначе он не утвердил бы так легко приговор суда.

После этого дела завелся обычай избирать на сходках председателя: всему учит опыт.

VIII. СТУДЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Частных библиотек в мое время в Петербурге было мало: две-три; но и в лучшей из них, Крашенинникова (бывшей Смирдина), трудно было получать студентам (записывавшимся обыкновенно по дешевому разряду) новые книги и журналы. Что касается до университетской библиотеки, то из нее можно было пользоваться только старыми книгами; новые или почему-нибудь особенно необходимые были по большей части на руках у профессоров. Студентам Грибоедову и покойному П. А. Гайдебурову пришла мысль устроить на коммерческом основании библиотеку для студентов. Спрашивали ли они у кого-нибудь на это разрешения, не знаю, но, вероятно, таковое было дано от университетского начальства, так как библиотека помещалась в университете. Хотя библиотека была частным предприятием Гайдебурова и Грибоедова, но им так часто доставалось от своих подписчиков-студентов за недостаток книг и разные непорядки, что в один прекрасный день они отступились от библиотеки и передали ее в руки подписчиков. Надо было выработать регламент; для этого подписчики выбрали комиссию; долго потрудившись, комиссия составила идеальную конституцию. Хотя библиотека и называлась студенческой, но так как пользование книгами было платное, то распоряжались ею только подписчики. По недоверию к общим сходкам, общему собранию подписчиков было предоставлено лишь право выбора в совет библиотеки. Этот совет, имевший все распорядительные права, выбирал правление библиотеки; постановлено было, при каком числе присутствовавших в совете или правлении их решения получали законную силу; в помощь правлению выбирались очередные дежурные. И вот выборы произведены, и машина пошла в ход, но на

первых же шагах сильно захромала. Помню, первое заседание совета — не явилось необходимое число членов, на второе явилось еще менее; то же было и в правлении. И как при Гайдебурове и Грибоедове все дело лежало на двух добровольцах, студентах Лобанове и Яковлеве, так и затем продолжалось.

Должно быть, весной 1861 г. меня посетил Н. Х. Бунге; он, кажется, был тогда ректором в Киеве; направил его ко мне Кавелин. Так как Кавелин заранее предупредил меня о предстоящем посещении Бунге и по какому делу, то я и приготовил, что надо было. Н. Хр. пожелал ознакомиться с организацией студенческой кассы и библиотеки, имея в виду или устроить то и другое в Киеве, или существующему придать более устойчивую организацию. Я дал ему все необходимые сведения, которые его интересовали, и даже вручил копию с устава библиотеки. Но он меня очень смутил вопросом (я состоял членом совета библиотеки): «А как же функционирует библиотека?» Скрепя сердце я ответил, что устав почти целиком остался на бумаге. «Это наше общее зло», — с улыбкой заметил Н. Хр.

Много ли читали студенты в мое время и что читали? Трудно ответить на первый вопрос, так как надо знать, читали ли ранее студенты и много ли читают теперь. Следует принять во внимание два обстоятельства: слабое распространение между студентами знания иностранных языков; я припоминаю в эту минуту более десятка товарищей-земляков; ни один из них не знал ни французского, ни немецкого языка и не усвоил их во время университета. Затем на русском языке оригинальных научных книг было бесконечно мало по сравнению с теперешним временем; переводное издательство только начиналось (Тиблен в Петербурге и Глазунов в Москве, кажется, выступили не ранее 1859 г.); потому не удивительно, что студенты главным образом читали журналы, в которых тогда появлялось много статей специального характера (например, по судебной реформе), вызванных разными реформами. Могу констатировать особенный успех тогда книг исторического содержания как между студентами, так и в публике.

Из журналов особенно был в ходу «Современник»; его влияние было скорее широко, чем глубоко; этим

я хочу сказать, что многие быстро усвоивали его идеи [1], а потом преспокойно устраивались чиновниками, и очень исправными, в департаментах. Но ведь то же можно сказать и об англоманстве, представителем которого был «Русский вестник»: бо́льшая часть тогдашних новоиспеченных англоманов, и притом людей уже не молодых, пошумевши несколько до половины 60-х гг., вместе со своим лидером выбросили затем за борт свою англоманию без всякого остатка. Все идеи, которые были пущены в обращение в первые годы эпохи реформ, посеяли лишь семена, прорастание которых уже зависело от дальнейшего хода нашей жизни.

Говоря о библиотеке, не могу не вспомнить двух типичных студентов — Яковлева и Лобанова. Яковлев беззаветно отдался библиотеке и тратил на нее много времени, едва успевая посещать лекции, которые он считал нужным слушать; заботился о поддержании в ней порядка, а в особенности о пополнении ее. В 1862 г. весной он попался с прокламацией в одной из казарм и угодил под военно-полевой суд; был приговорен к смертной казни. Медленно тогда совершалась военно-судебная процедура, и несколько месяцев Яковлев оставался под этим приговором; по высочайшей конфирмации он был сослан в каторжные работы на шесть лет. На каторге (в возобновленном «Современнике» были напечатаны его письма с завода) Яковлев и умер, чуть ли не от тифа. Это был очень даровитый и в высшей степени симпатичный юноша.

Судьба, постигшая Яковлева, только на волос миновала меня самого и Н. Утина. Кажется, тоже весной 1862 г. Н. В. Шелгунов принес при мне Утину целую

---

[1] Напр., еще в начале 1862 г. Евгений Утин был последователем Молинари (весьма посредственного экономиста школы Сея) и врагом общинного владения, а к весне стал таким горячим социалистом, что даже для кандидатской диссертации выбрал тему: «О пролетариате в древние, средние и новые времена» и никак не соглашался удовольствоваться каким-нибудь одним периодом. Был присяжным поверенным, умер в 1894 г. Несмотря на свое еврейское происхождение, под конец своей жизни стал явно обнаруживать антисемитизм. В 1872 г. имел дуэль с Жоховым; последний был убит наповал, хотя Утин не умел стрелять, а пистолеты были гладкоствольные, заряженные малокалиберными пулями. И сам Утин от своего выстрела упал в обморок. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

пачку какой-то прокламации [1], только что вышедшей, и просил, между прочим, занести несколько экземпляров Гербелю (известному переводчику). Пошли мы с Утиным, а конногвардейские казармы, где жил тогда Гербель, — в двух шагах. «Ты меня подожди на дворе (казармы), я только на минуточку зайду к Гербелю». Хожу я по двору, что-то Утин долго не возвращается. «Заболтался», — подумал я. Наконец показывается Утин, чуть не бежит. «Надо уходить скорее; представь себе, Гербеля не застал дома, а денщик едва меня не задержал. «Кто вы, да зачем?» Ведь едва вырвался». Через день Гербель пришел к Утину, извинялся и объяснил, в чем дело. Перед тем случилась какая-то покража в одной из офицерских квартир, и было отдано распоряжение внимательно следить за всеми сторонними приходящими и даже задерживать их. Будь денщик более исполнителен, угодили бы мы тогда в каторгу.

Совсем не походил на Яковлева его сотрудник по библиотеке Лобанов. У него была страсть раздавать билеты, разводить публику по лекциям и концертам в пользу студентов, дежурить в разных случаях. И все это он проделывал необыкновенно серьезно. Помню такой случай. Он был арестован по студенческой истории в числе самых первых (и, думается, именно за то, что его везде можно было видеть); мне пришлось сидеть с ним несколько дней в одном каземате. Лобанов имел какие-то надежды, что его скоро выпустят, так как его отец был знаком с тогдашним обер-полицеймейстером Паткулем или с кем-то из полиции. И вот в один прекрасный день приносят в каземат его платье и говорят: «Оденьтесь». — «Я так и знал, что меня скоро выпустят», — сказал Лобанов. Но вместо того его препроводили в III Отделение. Нас всех выпустили, а Лобанов все оставался в III Отделении. Наконец, видя, должно быть, непричастность его к политике, его тоже освободили [2]. И что же? В тот самый день Лобанов уже дежурил вечером у входа на какое-то чтение в пользу студентов и разводил публику по местам.

Когда сочинялся устав библиотеки, была у некоторых

---

[1] Должно быть, «К офицерам». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Впрочем, за ним числилось обвинение в добывании «Колокола». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

мысль устроить при библиотеке нечто вроде студенческого клуба, то есть чтобы библиотека была открыта и по вечерам; тогда студенты могли бы приходить туда и беседовать. Вероятно, тогдашнее начальство в этом не отказало бы. Однако на первых порах этим разговором дело и кончилось. Днем в библиотеке можно было видеть лишь студентов, приходивших взять или вернуть книги. Правда, имелся стол с газетами, но тогда чтение газет не было в большом ходу, а для всяких собеседований могла лучше служить любая аудитория, чем довольно тесное помещение библиотеки.

Здесь уместно сказать о лондонских изданиях. Они, конечно, доходили до студентов, но доставать их было не легко; лишь на третьем курсе, сблизившись с Яковлевым, я стал довольно часто иметь «Колокол»; труднее было добывать «Полярную звезду» и другие издания, выходившие за границей; так, только после долгих поисков я заполучил «Записки Екатерины II». Надо заметить, что лондонские издания, кроме тех, что случайно провозились туристами, могли проникать к студентам из двух источников: или, так сказать, от старших, то есть по большей части людей с официальным положением («Колокол» особенно распространен был в кругу правительственных лиц), вообще людей осторожных, или через некоторых книгопродавцев-букинистов, видевших в продаже их хоть и рискованное, но выгодное дело. Из таких книгопродавцев, кажется, шире всех вел дело И. А. Исаков, торговавший под Думой. Но цены брали не малые, значит для большинства студентов не по карману.

Мое знакомство с Герценом началось еще в Вологде, когда я был в седьмом классе гимназии. В Вологду за что-то был выслан студент-медик Меркушев (или Меркулов); один из моих товарищей, К. Попов, свел с ним знакомство и по некотором времени получил в рукописи «Права русского народа». Попов поделился со мной новинкой. «Это написал Искандер [1], он живет в Лондоне»,— вот все, что Попов мог пояснить при этом. «Права русского народа» так понравились мне, что я их заучил наизусть; а остроумный автор стал для меня какой-то мифической личностью. В университете первое, что попа-

[1] Однако в полном заграничном Собр. соч. Герцена такой статьи нет. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

лось мне в руки, — это «Лондонский сход в 1854 г.», небольшая брошюрка, в которой были собраны речи разных видных представителей европейской революционной партии; в числе ораторов был и Герцен. Я перечитал ее несколько раз, все было понятно; только речь Саффи (один из римских триумвиров 1849 г.) поставила меня в большое затруднение; там все время говорилось, что мещанство погубило Италию; о мещанах же я имел понятие как о низшем городском классе и никак не мог понять, почему мещане сыграли такую печальную роль в судьбах Италии. И никто из приятелей не мог разъяснить, что тут под словом «мещане» надо понимать bourgeoisie[1], и какой смысл соединяется с этим словом. Это, однако, не помешало мне сейчас же усесться за переписку брошюры и даже усадить за ту же работу товарищей, с которыми жил, хотя брошюрка и не особенно заинтересовала их.

Но вот в один прекрасный день (это было уж на втором курсе) настоящей бомбой влетела к нам «Сила и материя» Бюхнера в литографированном переводе. Все перечитали ее с большим увлечением, и у всех... разом порвались остатки традиционных верований, только Н. Ф. Остолопов (впоследствии член екатеринославского окружного суда) пытался слабо возражать. Передовые социально-политические идеи, несмотря на блестящий успех «Современника», даже между молодежью имели сравнительно ограниченный круг последователей, многие впоследствии легко с ними расставались; они и в наши дни все еще должны быть на боевой позиции; но идеи Бюхнера, Фейербаха сразу завоевали сознание русского человека, и никакие усилия позднейшей реакции не в силах были вернуть общество к наивным верованиям прошлого...

IX. ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ СТУДЕНТОВ

Русское студенчество всегда чутко относилось к ходу нашей общественной жизни; мое время принято называть «эпохой великих реформ». Какая же из этих реформ

---

[1] Буржуазия (*франц.*).

больше всего интересовала студентов? Как и всех тогда — крестьянская реформа. Теперь трудно себе представить, до какой степени интерес к этой реформе поглощал все внимание тогдашнего общества. Вот раз я, еще не снявший гимназического мундира, заявляюсь в Петербурге к одному бывшему учителю вологодской гимназии, но служившему в Петербурге по военному ведомству, А. А. Мешкову; просидел у него целый вечер, и все время разговор шел о крестьянской реформе, то есть он говорил, а я, конечно, слушал. От известного рескрипта 20 ноября 1857 г. до 19 февраля 1861 г. всего три года и три месяца; но этот сравнительно не длинный срок большинству общества казался чем-то бесконечно долгим; к нетерпению видеть реформу скорее законченной присоединялся вечный страх за ее судьбу, боязнь, чтобы силы, враждебные ей, не взяли верх. Без разговора о крестьянской реформе не обходилось никакое собрание, и так тянулось до тех пор, пока она не стала фактом, да и еще некоторое время, пожалуй — до 1863 г. Ловили всякие новости, слухи о ходе и разных перипетиях, переживаемых реформой, и если за кем-нибудь предполагалось, что он может что-нибудь знать, то его прежде всего засыпали вопросами: что нового в этом деле? Также и студенты: соберутся человека четыре-пять, и если в этот момент какое-нибудь чисто университетское дело не займет компанию, то разговор непременно сведется на крестьянскую реформу. Ужас бесправного положения двадцати миллионов людей был у всех перед глазами, и был тем сильнее, что русское общество перед тем его почти не замечало. Конечно, все люди либеральных взглядов, даже последователи школы laissez faire, laissez passer, считали необходимым, чтобы реформа дала и экономическую обеспеченность освобожденным крестьянам; но возвращение личности ее человеческих прав — вот что прежде всего привлекло к крестьянской реформе такой интерес со стороны общества, равного которому оно ни ранее, ни позднее не проявляло ни к одному делу. Я, может быть, выскажу слишком смелое утверждение: если бы крестьянам дали тогда только личную свободу, многие ли бы сказали: такой реформы не надо, это — зло, а не реформа? Напротив, общий голос был бы, что это все же благо,

хотя и очень неполное. Надо еще перенестись в ту эпоху; русское общество, до того времени знавшее только такой порядок жизни, где ни о какой самодеятельности и речи не могло быть, в одном слове «свобода» видело уже тот чарующий и целительный бальзам, перед которым не могла устоять никакая болезнь. И тогда было немало людей, которые хорошо сознавали крупные недочеты в совершившейся реформе, но в то же время искренно думали, что сама дальнейшая жизнь сделает необходимые поправки и в конце концов реформа принесет только положительные результаты.

Не говоря уже о тех студентах, которые по своему семейному положению были о многом осведомлены, огромная масса молодежи благодаря урокам и другим отношениям была в курсе выдающихся общественных новостей; многое также проникало в студенческую среду благодаря тем студентам, которые бывали на утренних журфиксах Кавелина. Конечно, студенчество было на стороне самой широкой развязки крестьянского дела; были даже и такие, правда немногие, которые признавали справедливым только даровой надел, но зато я не встречал студента с крепостническими взглядами или несочувственно относившегося к наделу крестьян землею; а между тем я вращался в самой разнообразной среде, от детей князей до пришедших чуть не пешком в Петербург.

Я сейчас упомянул имя Кавелина; он не только был горячим приверженцем реформы в самом широком смысле, но, по общим отзывам, и очень хорошим, заботливым помещиком. Поэтому крайне характерен способ, как он ликвидировал свои отношения к крестьянам. Летом 1861 г. он уехал в деревню (Самарской губ.) и, вернувшись, с восторгом рассказывал в нашем студенческом кружке, как он устроил свое дело; мало того, он находил, что его способ может быть очень полезным примером и для других; потому и написал об этом статью, которую предполагал напечатать в коршевских «Московских ведомостях». А развязка его отношений с крестьянами состояла в том, что, хотя сделка состоялась по добровольному соглашению, но, собственно, он выпустил крестьян на даровой надел, прибавивши к нему сколько-то из солончаков. Покойный А. А. Рихтер

(директор департамента окладных сборов при Бунге) не мог без негодования говорить об этом деле; он был как раз мировым посредником в том участке, где находилось имение Кавелина. Несомненно, Кавелин и не думал обобрать своих крестьян; в этой сделке его увлекали две вещи: первое, что она добровольная с обеих сторон; второе, что обе стороны сразу становились в свободные отношения. Написанная по этому случаю статья, однако, не появилась; когда я спросил у Кавелина — почему, то он отвечал, что некоторые друзья ему отсоветовали печатать [1].

Помню, как-то в один из утренних журфиксов заехал к нему Н. В. Калачов и сообщил последнюю новость, что где-то не прошло предположение о наделе крестьян лесом.

«Это очень печально, — ответил Кавелин; но, подумавши, может быть, с минуту, с живостью продолжал: — Но только бы развязаться с этим вечным кошмаром (то есть крепостным правом), этим бревном, которое лежит по дороге и не дает никуда ходу; а там жизнь все перемелет, будет мука».

Но возвращаюсь к студентам. По сравнению с крепостной реформой все другие оставались как-то в тени, и за ними уже не следили с таким лихорадочным напряжением, их просто ждали как нечто неминуемое. Даже коренная реформа судопроизводства и отмена телесного наказания, особенно близкие для студентов-юристов, не возбуждали ни споров, ни нетерпения, о них не приходилось слышать: «Когда же, наконец, это настанет?» О проекте земских учреждений не только между студентами не было разговоров (даже в кружке Кавелина его сообщение о предположенной реформе не вызвало особенного внимания), но и в обществе он не возбудил большого интереса, частью потому, что оно не отдавало себе ясного отчета в важности местного управления, частью потому, что общественная мысль тогда питалась желаниями и надеждами, шедшими далее, чем то, что могли непосредственно дать земские учреждения.

---

[1] Мне недавно говорили, что Кавелин впоследствии продал крестьянам всю землю, оставшуюся за ним. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

X. ПОЛЬСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

За мое время в Петербургском университете было от четырехсот до пятисот студентов поляков, то есть около трети общего числа. Для уроженцев Царства Польского существовало на юридическом факультете несколько специальных кафедр, которые были заняты профессорами поляками; они читали на польском языке. Из профессоров поляков особенным уважением пользовался Чайковский, — кажется, не столько за научные достоинства, впрочем несомненные, сколько за свой горячий патриотизм, который он доводил до того, что, пробывши около двадцати лет профессором Петербургского университета, со своими русскими коллегами он говорил только по-французски [1]. В то же время Чайковский был человек либеральных взглядов и поэтического темперамента. С ним, однако, был такой случай. В Польше началось движение в пользу равноправности евреев; одна варшавская группа, зная либеральные взгляды Чайковского по этому вопросу, предложила ему поездку за границу для изучения еврейского вопроса и снабдила его необходимыми средствами. Каково же было удивление лиц, пославших Чайковского за границу, когда он по возвращении оттуда представил доклад, прямо противоположный тому, что ожидали. Чайковский исходил из того соображения, что как бы ни была сама по себе справедлива идея равноправности евреев, но опасно применять ее к Царству Польскому: имея уже весьма значительный процент ев-

---

[1] В. Д. Спасович был так любезен, что не отказался в рукописи прочитать этот очерк и сделал два замечания — по поводу Чайковского. Первое — он не выучился русскому языку по беспечности и не говорил по-французски, а второе — никогда не ездил за границу. Но я сам слышал на экзамене, где Чайковский был ассистентом, как он говорил по-французски, а что он со своими русскими коллегами объяснялся по-французски — это говорил Кавелин и даже пояснил почему. Что касается до поездки Чайковского за границу по еврейскому вопросу, то это передавал мне Хорошевский. Помню, раз, придя ко мне, он рассказывал: «Только что был у Чайковского, он вернулся из-за границы» и т. д. Что Чайковский знал по-французски, подтвердил и мой старый товарищ — поляк О. П. Гротовский (есть его письмо). (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

реев в составе своего населения, оно, по провозглашении полной равноправности, было бы совершенно наводнено еврейскою иммиграцией из тех стран Европы, где евреи еще не были уравнены в правах. Как известно, почти полная равноправность евреев была провозглашена в Царстве Польском за время управления маркиза Велепольского.

В польской корпорации руководящую роль играли «корониажи» (то есть родом из Царства Польского) не столько благодаря своему численному преобладанию, сколько в силу исторической традиции — фактического верховенства «короны» в общественных делах. Студенты поляки, особенно корониажи, держали себя, когда я вступил в университет, совсем особняком от русских, никакого сближения не было; самое большее, что допускалось, — при встречах на лекциях вежливый поклон. Студенты поляки не принимали никакого активного участия ни на сходках по каким-нибудь обстоятельствам (они бывали иногда на них только в качестве зрителей), ни в выборах в депутаты и редакторы и никогда не обращались за пособиями в русскую кассу. Русские относились к полякам без всякой враждебности, но тоже не искали сближения; они как бы признавали за поляками естественное право на обособленность. У студентов поляков была превосходная библиотека в несколько тысяч томов; конечно, она была негласная. Всякий студент поляк имел право быть членом корпорации, представителем которой являлся выборный комитет, заведовавший библиотекой; вся сила и власть была в руках этого комитета. Общие собрания могли только молча вотировать предложения, шедшие от комитета; всякий отдельный член не иначе мог внести свое предложение в общее собрание, как через комитет. Никто, состоя членом корпорации, не имел права обращаться в русскую кассу, так как при библиотеке существовала особая польская касса; также никто не мог принять на себя звание депутата или редактора под страхом исключения из корпорации.

Еще в начале 1860 г. на одном из полустуденческих журфиксов у покойного Д. Ф. Щеглова (тогда учителя гимназии, — о нем в своем месте будет речь) я случайно разговорился со студентом поляком Владиславом Юлиановичем Хорошевским; при первых же словах он крайне

заинтересовал меня. Я знал, что поляки представляют себе Польшу не иначе, как в границах до «разбора»; к великому моему удивлению Хорошевский выразил некоторые сомнения относительно безусловных прав будущей Польши на Литву и Юго-Западный край. В дальнейшем разговоре я заметил в нем отличное знакомство с русской литературой и живейший интерес к тогдашнему ходу нашей общественной жизни. С польско-русскими отношениями я уже начинал ознакомливаться, и, независимо от текущих европейских событий (итальянское объединительное движение с Гарибальди во главе, внутренние племенные отношения в Австрии и т. д.), они сильно меня занимали. Интересно, что первый толчок в этом направлении дали несколько случайных разговоров летом 1859 г. с поляками, которых, живя на уроках в Павловске, я часто встречал на музыке. От них я узнал о тех ненормальных условиях, в которых применялась конституция 1815 г., о том, что вскоре после 1831 г. был издан «Органический статут» (1832 г.), оставлявший некоторую долю самоуправления в чисто провинциальных делах, но что этот статут не только никогда не был применен, но даже и ссылаться на него значило рисковать быть высланным; что и теперь по существу в управлении Польши ничего не изменилось, так как живое воплощение системы времен Паскевича — Муханов (директор комиссии внутренних дел и народного просвещения), остается на своем посту; что Муханов (он потом был некоторое время товарищем министра народного просвещения при Евгр. П. Ковалевском) — самая непопулярная личность из всего состава администрации в Польше, что в действительности он всем управляет, а не руина Горчаков. И многое другое я узнал от моих случайных собеседников, что было для меня, еще не вполне вышедшего из-под идей Устрялова, совершенно неожиданною новостью. Спустя некоторое время я стал посещать утренние журфиксы Кавелина. Хотя до начала варшавских демонстраций на этих собраниях польский вопрос и не подвергался обсуждению, однако были случаи, когда Кавелин высказывал свои горячие симпатии к полякам и признавал совершенно ненормальным их тогдашнее положение. К тому же я тогда был большим поклонником «Русского вестника» (начал читать его еще в

гимназии), а в нем, несмотря на цензуру, иногда заметно проскальзывала струйка полонофильства [1].

Хорошевский во всех отношениях был выдающийся студент; высокий ростом, заметно старше большинства студентов, всегда с портфелем под мышкой, в сильно поношенном вицмундире, он в университете сразу бросался в глаза [2]. Хорошевский, как оказалось, не только пользовался большим значением в польской корпорации, но имел и многочисленные знакомства между русскими студентами; кроме того, он посещал русские литературные кружки, бывал у Чернышевского, Добролюбова, скоро очень близко сошелся с Костомаровым, его можно было встречать в редакции «Основы». Родился он, помнится, в Курске, прошел весь курс минской католической семинарии и затем поступил в петербургскую католическую духовную академию. Здесь он, кажется, пробыл три года; но знание, которое давала академия, стало не удовлетворять его, к тому же по времени у него сказался полный внутренний разрыв с католицизмом. Бедняк, — его старший брат, небольшой чиновник в департаменте уделов, едва имел средства содержать старушку мать, — он не задумался оставить академию и перешел в университет. Академическое начальство, видя в нем личность выдающихся способностей, прилагало все усилия удержать его в академии и даже соглашалось на крайнюю уступку: он мог во всякое время уходить в университет и слушать там какие ему угодно лекции. Но Хорошевский настоял на своем.

---

[1] Вот что мне рассказывала покойная Е. Г. Бекетова, которая, равно как и ее муж А. Н., когда жили в Москве, были в самых дружеских отношениях с Катковым: «Кажется, на 1858 г. (или на 1859 г. — точно она не помнила), мы встречали Новый год у Катковых: на этой встрече, конечно, была вся редакция; после разных тостов вдруг Катков вскочил на стул и провозгласил тост: «За расчленение России!» Кроме Вызинского, в составе редакции был еще поляк Пеховский. Катков был большим поклонником Мицкевича; еще в 40-х гг. он обратил внимание Ф. Берга, тогда студента, на «Пана Тадеуша» (см. предисловие Ф. Берга к его переводу «Пана Тадеуша»). До 1863 г. Катков был в хороших личных отношениях с Огрызко и Спасовичем. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Он даже попал в карикатуру; то ли в «Искре», то ли в «Сыне отечества» были изображены два студента — один очень тучный (Филиппов), с подписью: «Науки юношей питают»; другой — сухой, старообразный (Хорошевский) — «Отраду старцам подают». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

В польской корпорации он скоро занял влиятельное положение и был одно время членом комитета библиотеки; но и здесь его пытливый и впечатлительный ум пришел в столкновение с господствующими взглядами и установившимися отношениями. Католик только по имени, он, оставаясь искренним поляком, быстро усвоил все идеи, начинавшие тогда волновать русскую молодежь, — философские имели корень в Фейербахе, политические и экономические шли от французских социалистов. Его бесстрашная логика не останавливалась ни перед какими выводами; но сравнительная зрелость лет и суровая школа, которую он прошел, сделали из него в столкновениях с реальною жизнью, как говорится, человека совета и разума. Он не шел очертя голову напролом, а всегда подыскивал способ действий, соразмерный силе и средствам. Но раз он усвоивал какую-нибудь идею, он не успокаивался только на абстрактном отношении к ней. Так, придя к убеждению, что обоюдный интерес требует возможно большего сближения русских и поляков, он сейчас же принялся проводить свои идеи в корпорации. В то время, как его товарищи поляки читали «Колокол» и Герцена только потому, что там встречался интересный обличительный материал, Хорошевский, несомненно под сильным влиянием Герцена, проникся идеями славянской федерации на принципе равноправности. Сначала он повел единичную пропаганду, а затем в виде пробного хода выступил в комитете с предложением выписывать «Колокол». Предложение было отклонено по следующему мотиву: «Колокол» проводит социалистические идеи и идею славянской федерации, а то и другое вредно для польского дела. Но Хорошевский был не из тех характеров, которые отступают перед сопротивлением. Спустя известное время он внес новое предложение: что корпорации необходимо войти в некоторые отношения с русским студенчеством. И это было отвергнуто большинством всех голосов против двух — Хорошевского и его верного адепта Баратынского. Однако, несмотря на такую разительную неудачу, Хорошевский при всяком подходящем случае выступал со своей идеей, хотя до поры до времени и терпел поражение.

Несмотря на эту обособленность, значение Хорошевского в корпорации нимало не пошатнулось. Когда весной 1861 г., то есть вскоре после первых манифестаций

в Варшаве, решено было послать туда депутации от всех польских студенческих корпораций, в числе делегатов от петербургской корпорации был и Хорошевский. В Варшаве тогда уже ясно определились два течения: одно, поддерживая агитацию, имело целью добиваться постепенных уступок, другое — вело движение прямо к революционному взрыву. Одним из видных представителей первого направления был Юргенс; с ним познакомился Хорошевский и был совершенно им увлечен. Юргенс, — как потом говорил мне Хорошевский, — был арестован еще до восстания и умер в варшавской цитадели.

Самый ход жизни явился на поддержку идеям, с пропагандой которых выступал в корпорации Хорошевский. Оставляя в стороне Варшаву, укажу на два случая, одновременно имевшие место в Петербурге: панихида в католическом соборе по пяти убитым в Варшаве при подавлении манифестации 13 февраля 1861 г. и похороны Шевченка. О предстоящей панихиде было своевременно известно в университете, и на нее явилась масса русских студентов, а также некоторые из русских профессоров, напр. Костомаров, Борис Утин и другие; само собой понятно, что студенты поляки были в полном сборе, равно как и профессора поляки. Было также много публики, конечно главным образом польской, так что обширный собор был переполнен. Прошло с лишком сорок лет, но у меня и теперь как перед глазами тот момент панихиды, когда для нас, русских, совершенно неожиданно раздалось пение польского гимна и все поляки в одно мгновение пали на колени. И надо было видеть возбужденное выражение их лиц! Одни, точно изваяния, стояли со взором, обращенным к алтарю, у других ручьем лились слезы.

Вслед за панихидой состоялись похороны Шевченка (28 февраля). Имя его и теперь не особенно популярно между поляками, а при жизни они видели в нем лишь певца братоубийственной розни и ненависти; но в этот момент все было забыто, и польская корпорация в полном составе проводила Шевченка на кладбище. Там Хорошевский от имени поляков сказал на польском языке очень умное и теплое слово; оно потом было напечатано в «Основе».

Но вот в университете прошел слух, что по поводу панихиды начинается следствие, что предполагают при-

влечь к ответственности только студентов поляков, а присутствие русских решено игнорировать. Тогда русские студенты постановили: представить в следственную комиссию подписные листы в доказательство, что и они были на панихиде. Началось собирание подписей. Помню, мой земляк Первов просит дать ему подписаться. «Да ведь вы же не были». — «Все равно, пусть будет более подписей». И думаю, что таких было немало. Вероятно, осведомленный о том, что происходит в университете, приезжает попечитель И. Д. Делянов и как раз наталкивается на студента А. А. Штакеншнейдера, у которого в руках был один из подписных листов.

— Покажите, что у вас за бумага, — сказал попечитель.

— Нет, не покажу, — ответил Штакеншнейдер.

— Я вам говорю как попечитель, покажите.

— Нет.

— Вы или покажете, или должны будете оставить университет.

— Нет, не покажу.

Попечитель тотчас же уехал. Как только сделалось известным, чего домогался попечитель, сейчас же собралась сходка; на ней, тоже и ранее, самую главную роль играли покойные Н. А. Неклюдов и Чубинский (впоследствии известный своими статистическими исследованиями); первый сказал крайне страстную речь; второй с малороссийским юмором что называется по косточкам разобрал Ивана Давыдовича. Неизвестно, чем бы вся эта история кончилась, если бы не вмешались профессора. Долго И. Д. стоял на своем — или он оставит попечительство, или Штакеншнейдер должен покинуть университет; но наконец сдался: отказался от требования об удалении Штакеншнейдера и согласился остаться попечителем [1].

Я тогда по обязанности одного из редакторов «Студенческого сборника», третьего выпуска, заведовал его печатанием, и поэтому мне пришлось познакомиться с Иосафатом Петровичем Огрызко, в типографии которого печатался этот выпуск. Помнится, в то время он занимал

---

[1] Штакеншнейдер жив и по сей день, его имя иногда встречается в качестве сотрудника по юридическим вопросам в ультрареакционных органах. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

еще незначительное место столоначальника по золотому делу в горном департаменте, однако имел большие связи в русском обществе и даже в высших его слоях; в литературных кругах (он был одним из самых близких друзей Кавелина [1]) его имя стало известно как редактора польской газеты «Slovo»; этой газеты, выходившей в 1859 г. в Петербурге, появилось только пятнадцать нумеров; за помещение письма Иоахима Лелевеля [2], чисто исторического содержания, она была запрещена, а Огрызко даже посажен в крепость, но вскоре выпущен. Вот что, уже в Сибири, рассказывал мне Огрызко. Тогда цензура была в ведении министерства народного просвещения; письмо было пропущено И. Д. Деляновым, в качестве попечителя, непосредственного начальника цензуры в Петербурге. «Когда меня посадили в крепость, Иван Давыдович рыцарски благородно держал себя; он ездил к Долгорукову (шефу жандармов) и везде заявлял, что письмо пропущено им, что потому только он один и должен понести ответственность за него».

Хотя впоследствии судьба и свела меня с Огрызко в одном деле (то есть нас вместе судили), но все мои отношения к нему ограничились сношениями по печатанию «Сборника», никаких других никогда не было.

---

[1] Дружеские чувства к Огрызко К. Д. сохранил до конца своей жизни. Когда Огрызко был в ссылке, Кавелин обратился с письмом к императрице Марии Александровне, прося о смягчении участи Огрызко. Последствием этого письма был перевод Огрызко то ли в Верхоленск, то ли разрешение проживать в Иркутске. А вот что мне писал Огрызко (из Иркутска) о своих отношениях к Кавелину; из письма 16 апреля 1886 г.: «Я до сих пор не могу забыть потери самого дорогого мне человека, К. Д. Кавелина. Поверите ли, что, получив телеграмму, я плакал, как ребенок. Живя здесь, я не переставал верить, что, может быть, придет время, увижусь (с ним). С мыслью этою я никогда не расставался, и вдруг все мечты мои рассеялись. Телеграмму о его смерти я получил на другой день по получении брошюры его («Задачи этики»), которую он послал мне в начале апреля. Со дня ссылки я терял многих друзей, но смерть Кавелина больше всех опечалила меня. Я потерял обыкновенную мою энергию, состарился и до сих пор не могу как бы опомниться. Напишите мне, что знаете о его болезни и смерти. Этим истинно обяжете меня»; в письме 16 января 1887 г.: «В последние годы, во все время бытности его (Кавелина) в Петербурге (до поездки его за границу и по возвращении оттуда), не было недели, в которой мы не провели бы двух, трех вечеров вместе и большею частью вдвоем». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] В польской эмиграции Лелевель считался главой демократической партии. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Вскоре после истории со студентом Штакеншнейдером я был у Огрызко; естественно, что разговор зашел о ней; он резко порицал поведение студентов в этом деле и заключил свои слова так: «Конечно, Иван Давыдович в данном случае поступил опрометчиво, это я ему прямо и высказал; но все же студенты должны дорожить таким попечителем, как Иван Давыдович».

Вскоре для известных целей из имени Огрызко сделали страшилище, его злоумышленные козни находили везде и во всем. И когда в 1883 г. всем полякам, сосланным в Сибирь по 1863 г., было дозволено вернуться на родину, ему пришлось умереть в Сибири.

В 1883 г. Огрызко жил в Иркутске. Тогдашний губернатор генерал Шелашников, основываясь на коронационном милостивом манифесте, выдал ему свидетельство о возвращении прав прежнего состояния и паспорт на свободное проживание по всей империи. Получив все это, Огрызко подал прошение о выдаче ему свидетельства на занятие золотым промыслом, — у него были прииски на чужое имя, и он хотел формально закрепить их за собой. Золотопромышленное свидетельство подписывается генерал-губернатором; когда заготовленное свидетельство было представлено на подпись генерал-губернатора Анучина, тот не только отказался подписать его, но еще распорядился об отобрании у Огрызко паспорта, основываясь на том, что милостивый манифест не может быть применен к Огрызко. Последний жаловался в сенат, но безуспешно. Ему, однако, было разрешено выехать в Уфимскую губернию, но этим разрешением он не воспользовался по очень простому соображению: в Иркутске на него уже никто не обращал никакого внимания, а в Уфимской губернии он опять попадал в положение фактически поднадзорного, да еще с очень громким именем.

В последний раз я видел Огрызко в 1884 г. в Иркутске, возвращаясь из случайной поездки на Олекму. Он тогда уже был плох здоровьем и очень ослабел зрением. Трудно забыть наше прощание. Я выехал из Иркутска под ночь, со мной сел в тарантас Огрызко и провожал до перевоза через Ангару. Ночь была лунная; бледное, впалое лицо Огрызко поражало своим грустным выражением. Вот мы остановились у перевоза; слабым, прерывистым голосом говорил он: «Еще раз прошу вас, повидайте моих

Великорусъ

3

Выслушавъ отчеты своихъ членовъ о мнѣніяхъ, высказываемыхъ публикою, Комитетъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ по второму изъ вопросовъ, предложенныхъ въ первомъ нумерѣ Великорусса.

О династіи.

Мнѣнія о томъ, способна ли нынѣшняя династія отказаться отъ произвольной власти добросовѣстно и твердо, очень раздѣлены. Многіе изъ конституціонистовъ думаютъ, что нынѣшній государь самъ расположенъ къ конституціонному порядку и исполнитъ вѣрно соблюдать его правила. Они основываются на неопредѣленныхъ, но многочисленныхъ анекдотахъ о произнесенныхъ, будто бы имъ разныхъ словахъ въ этомъ смыслѣ; основываются также на его личномъ характерѣ, который называютъ они добрымъ, мягкимъ, наклоннымъ къ спокойному пользованію почетностію и матеріальными выгодами своего положенія.—Другіе находятъ, что анекдоты о мнимыхъ конституціонныхъ намѣреніяхъ нынѣшняго государя неосновательны. Не отвергая добрыхъ качествъ его характера эти лица убѣждены, что быть приверженцемъ конституціоннаго правленія онъ не можетъ; что это было бы противно и воспитанію, полученному имъ въ духѣ безусловнаго самодержавія и пріобрѣтенной имъ привычкѣ пользоваться неограниченною властью и всѣмъ фамильнымъ его преданіямъ и всѣмъ свойствамъ придворной среды, изъ которой онъ не хочетъ и не можетъ выйти; что это ихъ убѣжденіе подтверждается всѣми дѣйствіями его царствованія, которыя часто были слѣдствіемъ хорошихъ намѣреній, но всѣ были проникнуты боязнію политической свободы и безусловнымъ ея отрицаніемъ (почему и остались совершенно безплодны).

Въ примѣръ эти лица указываютъ на положеніе литературы, попрежнему подчиненной произволу, на враждебность государя къ университетамъ, на стѣсненіе воскресныхъ школъ, на веденіе крестьянскаго дѣла бюрократическимъ порядкомъ, съ устраненіемъ литературы отъ участія въ этомъ вопросѣ, на одобреніе кровопролитій, совершенныхъ посланными его въ Казанской и другихъ губерніяхъ, на его несогласіе хотябы только ослабить стѣсненія, которымъ подвергнута Польша, на его симпатіи къ Франциску неаполитанскому. Изъ этихъ и всѣхъ другихъ дѣйствій его царствованія видно, что онъ считаетъ политическую свободу вещью вредною, никогда не откажется отъ самовластія добровольно и, если будетъ принужденъ отказаться, будетъ думать о его возстановленіи. Такъ думаютъ всѣ лица, съ должнымъ вниманіемъ разсматривавшія дѣйствія нынѣшняго государя по отношенію къ конституціи. Но будучи согласны въ томъ, что царствующе-

Прокламация «Великорусс», № 3. 1861 г.

Великоруссъ

3

Выслушавъ отчеты своихъ членовъ о мнѣніяхъ, высказываемыхъ публикою, Комитетъ пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ по второму изъ вопросовъ, предложенныхъ въ первомъ нумерѣ Великорусса.

О династіи.

Мнѣнія о томъ, способна ли нынѣшняя династія отказаться отъ произвольной власти добросовѣстно и твердо, очень раздѣлены. Многіе изъ конституціонистовъ думаютъ, что нынѣшній государь самъ расположенъ къ конституціонному порядку и способенъ вѣрно соблюдать его правила. Они основываются на неопредѣленныхъ, но многочисленныхъ анекдотахъ о произнесенныхъ, будто бы имъ разныхъ словахъ въ этомъ смыслѣ; основываются также на его личномъ характерѣ, который называютъ они добрымъ, мягкимъ, наклоннымъ къ спокойному пользованію почетностію и матеріальными выгодами своего положенія.—Другіе находятъ, что анекдоты о мнимыхъ конституціонныхъ намѣреніяхъ нынѣшняго государя неосновательны. Не отвергая добрыхъ качествъ его характера эти лица убѣждены, что быть приверженцемъ конституціоннаго правленія онъ не можетъ: что это было бы противно и воспитанію, полученному имъ въ духѣ безусловнаго самодержавія и пріобрѣтенной имъ привычкѣ пользоваться не ограниченною властью и всѣмъ фамильнымъ его преданіямъ и всѣмъ свойствамъ придворной среды, изъ которой онъ не хочетъ и не можетъ выйти; что это ихъ убѣжденіе подтверждается всѣми дѣйствіями его царствованія, которыя часто были слѣдствіемъ хорошихъ намѣреній, но всѣ были проникнуты боязнію политической свободы и безусловнымъ ея отрицаніемъ (почему и остались совершенно безплодны).

Въ примѣръ эти лица указываютъ на положеніе литературы, по-прежнему подчиненной произволу, на враждебность государя къ университетамъ, на стѣсненіе воскресныхъ школъ, на веденіе крестьянскаго дѣла бюрократическимъ порядкомъ, съ устраненіемъ литературы отъ участія въ этомъ вопросѣ, на одобреніе кровопролитій, совершенныхъ посланными его въ Казанской и другихъ губерніяхъ, на его несогласіе хотябы только ослабить стѣсненія, которымъ подвергнута Польша, на его симпатіи къ Францику неаполитанскому. Изъ этихъ и всѣхъ другихъ дѣйствій его царствованія видно, что онъ считаетъ политическую свободу вещью вредною, никогда не откажется отъ самовластія добровольно и, если будетъ принужденъ отказаться, будетъ думать о его возстановленіи. Такъ думаютъ всѣ лица, съ должнымъ вниманіемъ разсматривавшія дѣйствія нынѣшняго государя по отношенію къ конституціи. Но будучи согласны въ томъ, что царствующе-

Прокламация «Великорусс», № 3. 1861 г.

друзей, пусть поддержат мою просьбу в сенате; мне бы только взглянуть на родину, обнять старых друзей, а затем я опять вернусь в Сибирь. А не выпустят меня из Сибири добром, я убегу», — закончил И. П.[1].

Последние слова объясняются тем, что его золотопромышленное дело, правда небольшое, шло неудачно, были долги, и он считал делом чести вернуться в Сибирь, чтобы при первом благоприятном случае по возможности со всеми рассчитаться[2].

По приезде в Петербург мне вскоре довелось быть у И. Д. Делянова; я рассказал ему, с какою теплотой вспоминал о нем Огрызко по поводу истории с «Slovo».

— Ну, как он, бедный, поживает? Вот уж никогда не мог себе представить, что он такую роль играл! Можно было предполагать, что он давал деньги, помогал связями, советами; но мне Муравьев говорил: «Спасович больше его виноват, но остался цел, потому что не попалось ни одной буквы, писанной его рукой. Не то Огрызко, — все его рукой писано, все распоряжения, инструкции и т. п.».

---

[1] После того Огрызко писал мне, 16 апреля 1886 г.: «Удастся ли мне вырваться отсюда, чтобы хоть повидаться с дорогими моему сердцу? Тяжело здесь жить». 27 января 1887 г.: «Чувствую упадок сил физических и едва ли дождусь того времени, когда мне разрешат выехать отсюда. В 1884 г. последовало особое высочайшее повеление (по докладу Оржевского), чтобы, несмотря на применение ко мне сенатом манифеста 1883 г. и совершенное помилование, — оставить меня под гласным надзором полиции и разрешить поселиться только в Уфимской губернии, а если не пожелаю, то оставить в Иркутской губернии впредь до особого распоряжения. Распоряжение это, вероятно, последует после моей смерти, так как срок не назначен, а здоровье мое видимо с каждым днем становится хуже и хуже. По последним правилам высылаемым сюда под гласный надзор самый длинный срок назначается пять лет, после чего они делаются совершенно свободными; мне же и этого не предоставлено, да и самый надзор, при моих занятиях, стеснителен; но нечего делать, буду ждать. Больно одно, что самые близкие мне люди, которых бы хотелось хоть раз еще в жизни увидеть и обнять, один за другим умирают... Если удастся прожить еще пять, шесть лет, то, пожалуй, незачем будет и возвращаться».

Это письмо было последнее, полученное мной от Огрызко, — он вскоре умер. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] В затруднительных денежных положениях ему, кажется, не раз оказывали некоторую поддержку прежние петербургские друзья, но более всего М. А. Коссовский, хотя и ссыльный, но благодаря адвокатской практике в Иркутске составивший хороший капитал. К Огрызко М. А. питал исключительное чувство уважения. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

— Иван Давыдович, — отвечал я, — уж двадцать лет прошло; теперь нет надобности замалчивать; ведь я вместе с Огрызко стоял на объявлении конфирмации [1], и ничего подобного не читалось.

Приговор об Огрызко ближайшим образом был основан на показаниях поляка-офицера Владислава Коссовского и его собственных признаниях; никаких письменных документов, компрометирующих Огрызко, в деле не имелось. Теперь трудно сказать, что в признаниях Огрызко была правда, что он просто принял на себя, так как свои показания он дал после того, как ему было заявлено в следственной комиссии, что дальнейшее с его стороны запирательство поведет к аресту массы людей, список которых и был предъявлен ему.

Но возвращаюсь к прерванному рассказу.

Надо сказать, что весть о варшавских жертвах произвела ошеломляющее впечатление не на одну только молодежь; в самых разнообразных кругах она вызвала глубокую печаль. Вероятно, под влиянием такого общественного настроения дело о панихиде было оставлено без всяких последствий. Вскоре управляющий III Отделением генерал Тимашев (впоследствии министр внутренних дел) покинул свой пост. Ходил слух, что он на одном обеде громко выразил свое неудовольствие на слабость русских властей в Варшаве, недостаточно прибегающих к агрессивным мерам. На обеде присутствовал английский посол, который на другой день и заявился к Горчакову. «Генерал Тимашев, — будто сказал посол, — занимает очень важный пост; мнения его

---

[1] Дня через два после объявления конфирмации назначена была отправка партии; этапный путь из Вильно шел через Петербург. Собрали нас всех на тюремном дворе (помнится, 31 декабря 1865 г.). Вдруг приехал виленский гражданский губернатор Панютин (он впоследствии был при Тотлебене в Одессе). «Где Огрызко? — спросил Панютин и, когда ему указали на Огрызко, быстро направился к нему. — Это что! — закричал Панютин, заметивши у Огрызко собственные теплые перчатки на руках, и сам стал срывать их... — Отделить его, посадить в отдельную камеру, никого к нему не допускать, давать ему еду из общего котла!» Огрызко сейчас же отвели, а нас отправили обычным порядком. Что касается Огрызко, то он был особо препровожден прямо в Москву, а оттуда без всяких остановок в Тобольск. В Вильно, по-видимому, опасались, что Огрызко, попав в Петербург, при посредстве своих друзей, с Гротом во главе, мог добиться пересмотра своего дела. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

насчет польских дел разделяет ли русское правительство?» Так ли было в действительности, не знаю, но неожиданная отставка Тимашева не могла не подать повода к разным толкам. По другой версии, его уход связывался с какой-то запоздалой интригой против 19 февраля.

Студенты поляки были тронуты решением русских студентов заявить, что и они присутствовали на панихиде. В корпорации опять был поднят вопрос о более тесном сближении с русскими, и на этот раз предложение уже имело за себя внушительное число голосов; но комитет был по-прежнему против официального сближения, однако сделал уступку: допускал, что никому не могут быть поставлены в упрек его личные тесные связи с русским студенчеством и участие в его делах. Но это решение так было дурно принято в корпорации, что заправилы комитета, видя, что им не остановить движения, прибегли к остроумному решению: закрыть корпорацию, как нечто официально существующее, и предоставить всем и каждому поступать как ему угодно.

Помнится, в марте 1861 г. по инициативе русских студентов и при деятельном участии Хорошевского состоялось собрание делегатов из русских и польских студентов. Оно происходило в квартире Н. А. Неклюдова в Соловьевском переулке. Открылось оно чтением стихов, сочиненных на этот случай Н. Утиным (ему же принадлежит послание к М. И. Михайлову, написанное в крепости). Потом Утин же произнес длинную и горячую речь насчет братства и необходимости ввиду исторического момента предать забвению все счеты прошлого... Не помню, кто еще из русских говорил; из поляков выделился молодой Болеслав Маркевич (впоследствии высланный в Казань и давно умерший), блестящий оратор и, несмотря на свою молодость, в то время самый влиятельный в корпорации, если не считать Оскара Авейды [1].

[1] Этот Оскар Авейда еще на студенческой скамье был уже в курсе польского движения и очень скоро стал одним из самых деятельных и влиятельных заправил партии, которая вела дело к восстанию. Случайно арестованный, кажется под именем Шмидта (его, однако, выдала, как говорил мне Гогель, член особой следственной комиссии в Вильно, перемена цвета волос, — сидя под арестом, из брюнета он стал шатеном), в Вильно, уже во время Муравьева, он дал столь обширные показания, что был переведен в Варшаву. (Разговор зашел потому, что я сидел в том самом

Поляки говорили вообще сдержаннее; не отклоняя протягиваемой руки, они, однако, во всех своих речах подчеркивали, что у них на первом плане стоит свое собственное дело — борьба за освобождение Польши. На это Утин отвечал (а из русских он больше всех говорил), что русская молодежь в этом отношении вполне на стороне поляков. Тут я нашел, что пришла минута свести беседу на более реальную почву, и предложил полякам высказаться насчет Литвы и Юго-Западного края, так как, — говорил я, — от той или другой постановки этого вопроса зависит отношение русского общества к польскому делу. Не знаю, что ответили бы поляки, но Н. Утин стал горячо возражать против моего запроса. «Здесь не место, — воскликнул он, — поднимать разговор о том, что до сих пор разделяло поляков и русских; мы собрались, чтобы установить сближение во имя общих целей; у русской и польской молодежи, проникнутой демократическими идеями, не может быть разногласия в конечных стремлениях», и т. п. Утин увлек за собой остальных русских, и мой запрос, никем не поддержанный, был молчаливо снят с очереди.

На другой день я видел Хорошевского. Он понимал всю важность поднятого мною вопроса, так как признавал, что замалчивание спорных пунктов русско-польских отношений не может принести пользы ни той, ни другой стороне; он даже не высказал мне ни малейшего упрека за несвоевременность моих слов, а только сказал: «Настроение наших было очень хорошее до момента, когда вы выступили, ваши слова раскрыли зияющую пропасть». Весьма возможно, что послание, которое чрез несколько дней адресовал нам Болеслав Маркевич, было написано под впечатлением моих слов; в этом послании, очень горячо редактированном, Маркевич, признавая всю цену сочувствия русской молодежи, веря ее искренности, допуская даже общность целей, тем не менее высказал глубоко пессимистическую, но скоро фактами оправдавшуюся мысль: «Придет момент, — говорил он, — когда, может быть, против всех доводов логики, сила чувств,

---

номере, который ранее занимал Авейда.) Там его дальнейшие разоблачения дали такой богатый материал, что послужили к выяснению многих обстоятельств польского движения с самого его начала. Он же дал отдаленное указание на Огрызко, так как сам прямых отношений с ним не имел. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

сложившихся благодаря прошлому, бросит нас с оружием в руках против вас, так как нам нет возможности забыть, что вы принадлежите к народу, который нанес полякам самые тяжелые раны».

Настал осенний семестр 1861 г., и разыгралась студенческая история. Считаю долгом совести снять с поляков взведенное на них обвинение, что они играли в этом деле роль ловких провокаторов, а русские студенты представляли из себя не более как панургово стадо[1]. На собраниях руководящего кружка бывал польский делегат (помнится, Пржевуский), но он не делал никаких предложений, не вмешивался в прения, и все, что мы от него слышали, — что студенты поляки не откажут нам в своей поддержке. Они действительно бывали на сходках, участвовали в шествии к попечителю (генералу Филипсону); многие из них, в том числе и Хорошевский, были арестованы. Хорошевский в студенческой истории держал себя совершенно как русский студент; он даже вместе со мной редактировал адрес к министру (Путятину) и был 27 сентября в числе депутатов, отправленных к нему.

Ни с кем даже из русских студентов я не был так близок, как с Хорошевским; мы очень часто видались. Всякий разговор с ним был для меня живой и поучительной лекцией, так как по сравнению со мной он обладал огромным и продуманным историческим знанием, притом почерпнутым из первых рук. У нас постепенно сказалось не только единство взглядов, но и одинаковость понимания того, как их надо проводить в жизни; весной 1862 г. мы даже решили основать особое общество; но он скоро получил заграничную командировку, а я, оставшись один, примкнул к «Земле и воле». У нас и в частной жизни не было секретов; а его брат Антон и старушка мать относились ко мне, как к своему родному; когда ему понадобились деньги на поездку в Варшаву

[1] Привычка ко всему припутывать поляков иногда приводит к забавным промахам. В. И. Модестов («Воспоминания о В. Г. Васильевском»), указывая на разные обстоятельства, которые ему и его товарищам мешали на четвертом курсе спокойно и усидчиво заниматься, в числе их приводит и польское движение. Но сам же В. И. свидетельствует, что он кончил курс весной 1860 г., осенью того же года уехал учительствовать в Петрозаводск. Между тем польское движение для русского общества свалилось как снег на голову в феврале 1861 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

(о ней было сказано выше), он обратился ко мне. И как забыть хоть бы такой случай. После «думской истории» члены студенческого комитета имели основание опасаться ареста; собрались на заседание, чтобы наметить лиц, которые в таком случае могли бы принять на себя дальнейшее руководительство студенческими делами. На заседании был Хорошевский, хотя он и не состоял членом комитета (он и Неклюдов очень часто приглашались на заседания комитета, потому оба и фигурируют на фотографической группе вместе с членами комитета). Кончилось заседание, и стали расходиться. «Постойте, Лонгин Федорович, — сказал Хорошевский, — дайте мне адрес вашей матушки: ведь я знаю, что вы посылаете ей деньги, так в случае чего я позабочусь о ней».

Пробыв год за границей, Хорошевский летом 1863 г. неожиданно вернулся в Петербург и, явившись к Головнину, просил освободить его от заграничной командировки.

— Почему? — спросил Головнин.

— Я послан для приготовления к кафедре русской истории [1], а при изменившихся условиях, как поляк и католик, разве я могу получить эту кафедру?

— Вы правы, — сказал Головнин, — так поезжайте готовиться по славянским наречиям.

Скрепя сердце он принял новое назначение, — славянские языки не особенно его интересовали.

В этот приезд Хорошевский говорил мне, что одно время совсем решил пойти в повстанцы, но сами же поляки удержали его: «Какой ты солдат?! Ты можешь еще пригодиться родине на более соответствующем поприще».

Окончательно Хорошевский вернулся в Петербург весной 1864 г. Прежде чем готовиться к магистерскому экзамену, надо было чем-нибудь жить; он просил у Ивана Давыдовича место учителя в Петербурге.

— Нет, к сожалению.

— В провинции.

— Тоже нет.

Хорошевский, понимая, что значит этот отказ, сказал:

— Так не можете ли дать хоть место учителя уездного училища.

---

[1] Дельная кандидатская диссертация Хорошевского была, помнится, об Иосифе Волоцком. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

— Представьте себе, нет ни одной вакансии во всем округе.

Только по непосредственному распоряжению Головнина он получил место сверхштатного учителя русского языка в Ларинской гимназии.

Я тогда жил на Васильевском острове, и Хорошевский постоянно бывал у меня. Он был совершенно убит печальным исходом восстания; несомненно, он сознавал, что восстание было затеяно опрометчиво, что в самом ведении его было сделано много ошибок, но ни одного слова упрека я не слышал от него по адресу людей, которых можно считать ответственными за катастрофу. Не раз я видел слезы на его глазах, когда заходила речь о жертвах. Что еще поддерживало его — так мечта быть чем-нибудь полезным своему родному народу; он уже тогда только и думал, как бы получить кафедру в варшавской Главной школе.

Другою темою разговоров были рассказы Хорошевского из его тогдашней педагогической практики (кроме гимназии, он должен был еще давать частные уроки). С необыкновенною радостью и любовью говорил он о всяком проявлении способностей или интереса к знанию у своих учеников. Чтобы отвлечь его от удручающих воспоминаний, я нередко сам наводил разговор в эту сторону. Как он тогда оживлялся, начинал объяснять, как готовится к урокам, подбирает для них материал, наиболее способный возбуждать самостоятельную работу мысли учеников; вооружался против бездушной дисциплины (а она была еще далеко не так сурова, как спустя какие-нибудь пять-шесть лет). «Из ученика, — говорил он, — все можно сделать, действуя только на его лучшие инстинкты, и ничего не добьешься путем формы и приказа».

Будучи за границей, Хорошевский побывал во всех главных центрах западного славянства. Его суждения о тамошних общественных отношениях, партиях, выдающихся деятелях были так верны и метки, что когда через двадцать лет я сам стал бывать в этих краях, то, восстановляя в памяти рассказы Хорошевского, нашел в них неоцененного руководителя.

В декабре 1864 г. я был арестован и вернулся в Россию только в 1875 г.; за этот промежуток времени у меня оборвались всякие сношения со старыми друзьями и то-

варищами. Понятно, что, попавши в Петербург, я чуть не первый вопрос задал: «Где и что Хорошевский?» И тут мне пришлось услышать то, что отозвалось такою болью, что всю остроту ее чувствую и по сей день. Хотя Хорошевский и бывал в Петербурге, но мы более не встречались, и я знаю только внешние факты его жизни. В 1865 г. он женился на чешке, с которою познакомился еще в Праге; в том же году получил место профессора в Главной школе в Варшаве; затем стал директором одной из варшавских гимназий; но здесь оказался plus royaliste que le roi[1] и был переведен в Новочеркасск с миссией подтянуть одну из тамошних гимназий. Однако в исполнении этой миссии он пошел дальше, чем находило нужным само высшее начальство, и подал в отставку. Потом дослуживал до пенсии в должности директора волчанской учительской семинарии. Умер в конце 1900 г. Еще в Польше он и его жена одновременно приняли православие; его же отношения к своим бывшим единоверцам и единоплеменникам характеризует рассказ, который я слышал от покойного В. Г. Васильевского, рано отрезвившегося от всякого полонофильства: «Недавно здесь (то есть в Петербурге) был Хорошевский; странно было его слушать, когда он говорил о поляках: «Они, поляки».

О Хорошевском есть вдумчиво написанный некролог В. И. Модестова «Несчастный человек» («С.-Петербургские ведомости», конец 1900 г.). Судьба и в последнюю минуту отметила своим крестом этого человека. Он умер и схоронен во Флоренции, равно вдали как от своих кровных единоплеменников, так и от тех, к которым пытался пристать.

XI. ПРОФЕССОРСКАЯ КОРПОРАЦИЯ

Как уже сказано ранее, я поступил в Петербургский университет в 1858 г. Нельзя сказать, чтобы новые веяния заметно отразились на университете; на всех факультетах царили профессора старого закала. Так, на юридическом факультете деканом был Калмыков — человек,

[1] Больший монархист, чем король (*франц.*).

быть может, большой учености, но совершенно окаменелый; а между тем он читал для начинающих самый важный предмет — энциклопедию законоведения, в которую входила история философии права. За ним шел Шнейдер, сорок лет занимавший кафедру римского права только потому, что некем было его заместить; Кранихфельд, излагавший финансовое право по системе «Свода законов»; Ивановский — по государственному праву европейских держав (в 1849 г. этот предмет был упразднен и возобновлен, кажется, в 1856 г.) и международному; о нем говорили, что в 40-х гг. это был блестящий лектор и выдающийся знаток английского государственного права, но в мое время Ивановский, давно переставший работать, читал по старым запискам; потому, несмотря на большой интерес к государственному праву европейских стран, слушателей у него было очень мало. Профессор политической экономии и статистики Горлов, сменивший безвременно умерших В. Милютина и Журавского, излагал вяло и шаблонно, в факультетских делах тянулся за Калмыковым. Затем были еще два адъюнкта. М. М. Михайлов (местные законы, межевое и торговое право) был совершенная бездарность, навязанная университету еще во времена попечительства Мусина-Пушкина; несмотря на то, что он был доктором права, ему даже старики не давали ходу. Впоследствии он перешел в магистратуру и на всю Россию прославился следующим эпизодом, кажется имевшим место в Харькове. Как-то раз он председательствовал по уголовному делу и, выслушав последнее слово подсудимого, обратился к прокурору: «Господин прокурор, что вы на это имеете возразить?» Вторым адъюнктом был Иван Ефимович Андреевский, в то же время секретарь факультета; он занимал кафедры полицейского права и русского государственного.

Новое направление представляли Кавелин и В. Д. Спасович; последний как адъюнкт не имел голоса. Кавелин был назначен в 1857 г., во время попечительства Щербатова; старики косо смотрели на него, как на москвича, и одно время он совсем перестал посещать факультетские заседания.

В составе профессоров историко-филологического факультета мы видим Устрялова, Касторского, Фишера, Срезневского, М. С. Куторгу; индиферентный Штейнман

(греческая словесность) влияния не имел. Единственно живою личностью на этом факультете был Николай Михайлович Благовещенский (маркиз де Благовещенский, как его называли за изысканные манеры), хороший лектор и в курсе своего предмета [1] — латинской словесности. Был еще Никитенко, дотягивавший последние дни своего профессорства. О нем припоминаю следующие слова Кавелина: «Александр Васильевич для нас не существует с тех пор, как, не имея возможности прямым путем помешать кандидатуре Иринарха Введенского (в свое время известного переводчика Диккенса), — это было, кажется, в первой половине 50-х гг., — выдвинул против него полицейский аргумент». Сам же А. В. в своих воспоминаниях свою оппозицию кандидатуре Введенского объясняет якобы круглым невежеством последнего, что совсем не согласуется с тою доброю памятью, которую оставил после себя Введенский, слишком рано умерший. Если не ошибаюсь, ему был предпочтен М. И. Сухомлинов.

Весьма любопытен был тогдашний состав естественного отделения. Анатомию, физиологию, историю развития и систематику животного царства, а также геологию и палеонтологию — все это читал один Степан Семенович

---

[1] Был у Н. М. по Педагогическому институту, где он тоже читал римскую словесность, любимый ученик Михайловский, очень талантливый юноша, к сожалению рано умерший. Михайловский был в приятельских отношениях с Добролюбовым. Вышли публичные лекции Н. М. о Горации. Добролюбов дал их Михайловскому для рецензии, причем обратил его внимание, что в рецензии прежде всего надо разоблачить политическое флюгерство Горация. Михайловский в этом духе и написал рецензию. Н. М. питал к Горацию особенную нежность, всякое нападение на него считал чуть ли не личным оскорблением; он узнал, кто был автором рецензии, появившейся в «Современнике». И вот на одной лекции, говоря о Горации, он выразил сожаление, что и в нашу литературу начинают проникать пристрастные суждения о Горации. «Но, милостивые государи, — с пафосом пояснил Н. М., — такие вещи можно писать только за деньги». Понятно, что после такого отзыва Михайловский не счел возможным продолжать бывать у Н. М. Однако ему надо было держать экзамен на магистра и с чем-то через год пришлось заявиться к Благовещенскому. Ничего, встретились как хорошие старые знакомые, только по некотором времени Н. М. и говорит: «А знаете, вы меня очень обидели своей рецензией о Горации». — «Да и вы, Николай Михайлович, не остались в долгу, сказав, что такие статьи пишут только за деньги». — «Я этого не говорил». — «Так я никогда не писал рецензии о Горации», — ответил Михайловский. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Куторга; не удивительно, что о нем говорили: хороший лектор, но скорее был бы на своем месте в качестве учителя гимназии. Кафедру ботаники занимал выдающийся специалист Ценковский, но он по слабости здоровья скоро оставил Петербургский университет. Минералогию преподавал старый горный генерал Гофман, да был еще скромный труженик адъюнкт Пузыревский, кажется читал кристаллографию. Кафедру химии занимал А. А. Воскресенский; было предание, что он в молодости подавал большие надежды, но в 50-х гг. читал по учебнику Реньо в переделке Егорова.

Зато блестяще было обставлено математическое отделение; там были Буняковский, Чебышев, Сомов, Э. Ленц — всё имена, которые сами за себя говорят. Но физико-математики, равно как и профессоры восточного факультета (на камеральном отделении, тогда еще существовавшем, было только два своих собственных профессора: Скобликов — сельское хозяйство и технология, и Крассовский — гражданская архитектура), стояли как-то в стороне от кормила правления университета; тон всему задавали юристы и профессоры историко-филологического факультета. Представители этих факультетов любили себя противопоставлять московским профессорам. Не только Грановский, Кудрявцев не считались людьми науки, а просто дилетантами, но и к Соловьеву и Буслаеву относились с нескрываемым пренебрежением. С благоговением произносилось имя бывшего профессора Петербургского университета Неволина, умершего в начале 50-х гг., не только бывшим его товарищем Калмыковым, но и молодым И. Е. Андреевским; от того и другого при всяком удобном случае слышались слова: «Школа Неволина». «Право, — говаривал Ив. Еф., — в нескольких страницах Неволина больше истинной науки, чем в многотомных трудах некоторых московских профессоров». Однако единственным плодом этой школы налицо был сам Ив. Еф., подаривший в 50-х гг. русской науке знаменательные исследования: «О новгородских скрах» и «О договоре Новгорода с немецкими городами и Готландом в 1270 г.», СПб. 1855.

Как тень Неволина витала на юридическом факультете, так имя Михаила Семеновича Куторги озаряло особенным блеском историко-филологический факультет. При мне М. С. Куторга читал очень недолго, по-

мнится в один из семестров 1859/60 г.; он был постоянно в заграничных командировках. Те его немногие лекции, которые мне довелось выслушать, показывали в нем привычного лектора и мастера своего дела; к тому же он несомненно был человек огромной учености, хотя и замкнувшийся преимущественно в истории Афин. По общим отзывам, Куторге крайне вредило его невероятное самохвальство; вот, например, как он, вернувшись из-за границы, рассказывал о своем визите Гроту, известному историку Греции. «Визитной карточки у меня с собой не случилось, лакей едва согласился доложить обо мне и бог знает как передал мою фамилию; только Грот, видимо, принял меня неохотно и очень нелюбезно. «Я занят, — сказал он, — мне, право, не до путешественников; откуда вы?» — «Из Петербурга... Хотел засвидетельствовать свое глубочайшее почтение первому историку Греции», — отвечал я. «Чего вы, русские, ездите за границу, когда у вас есть Куторга?» — «Это я и есть Куторга». — «Вы Куторга? Вы Куторга? — и тут кинулся меня обнимать. — Не вам ко мне являться на поклон, а мне следует вам поклониться; вы — настоящий историк, а я только ваш ученик».

Этот случай мне передавал покойный В. Г. Васильевский; а сам я был свидетелем следующего. Встретился я раз с Куторгой на вечере у Костомарова. М. С. только что вернулся из-за границы, причем он побывал в Египте. «Очень, очень доволен поездкой, — говорил М. С. в ответ на обращенные к нему вопросы. — Во всех отношениях доволен; а главное, мне удалось разрешить один важный и спорный вопрос, занимающий теперешних историков, — как двигалась цивилизация в Египте, сверху книзу или снизу вверх по Нилу». — «Как же вам удалось решить этот вопрос?» — спросил кто-то. «Да очень просто; плыл я по Нилу; по обоим берегам памятники: смотрю на них, и совершенно очевидно, что цивилизация постепенно направлялась вниз по течению».

Но, кроме указанной черты, кажется, были и другие в характере Мих. Сем., делавшие его не особенно симпатичным даже его старым товарищам профессорам; по крайней мере университет расстался с ним без малейшего огорчения, когда он отслужил, кажется, свои тридцать лет. При гр. Д. А. Толстом он был назначен в Московский университет.

Куторга оставил университету трех учеников: М. М. Стасюлевича, Бауэра и Астафьева; все трое были профессорами в Петербурге и все под влиянием своего учителя дебютировали в науке по одному шаблону: Михаил Матвеевич — афинской гегемонией, Бауэр — спартанской, и Астафьев — македонской; потом на степень доктора М. М. представил Ликурга афинского, pro venia legendi[1] — защиту Кимонова мира; на том, к счастью, со школой Куторги и покончил.

А вот Устрялов и Касторский за все время своего профессорства решительно никого не дали по русской истории, так что, когда Устрялов выбыл из университета, вакантную кафедру пришлось заместить Костомаровым, который был воспитанником Харьковского университета. Конкурентов у него не было.

Я уже сказал выше, что одно время Кавелин перестал бывать в заседаниях факультета. «Там, — говорил он, — китайская стена, ее ничем не пробьешь, и мне делать нечего». Для характеристики приведу два случая[2]. Вернулся из-за границы Б. Утин и пожелал себя посвятить профессуре, на что по своим научным трудам имел полное право. Так как все специальные кафедры были заняты, то Утин хотел открыть курс по сравнительной истории законодательств. Но такой кафедры не существовало. Кавелин внес в факультет предложение ходатайствовать перед министром об учреждении ее, но факультет решительно отклонил это предложение. «Настоящий ученый (а только таковой и может занимать университетскую кафедру), — говорил Калмыков, — должен читать по первоначальным источникам; чтобы пользоваться ими, занимая кафедру сравнительной истории законодательств, нужно знать все языки, а это невозможно, потому и кафедра немыслима». Однако кафедра была введена министерским распоряжением. Теперь надо было ее заместить. Не видя нигде кандидата, факультет соглашался допустить Утина, но в звании адъюнкта; Утин же, отказываясь от вознаграждения, ставил условием, чтобы его приняли в звании исправляющего должность экстраординарного профессора (он был только магистр, кажется, Дерптского университета), то есть с

---

[1] Для получения права чтения (*лат.*).

[2] Рассказано со слов Кавелина. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

правом голоса. Калмыков с К° и слышать об этом не хотели. «Еще никогда не бывало, чтобы человек, нигде не читавший, сразу становился экстраординарным профессором», — возражал Калмыков. И опять дело было решено министерским распоряжением. Тогда министром был Евграф Петрович Ковалевский.

Почти в то же время Кавелин возбудил в факультете вопрос о заблаговременной подготовке молодых сил для занятия в будущем кафедр. Факультет нашел, что этим делом нет никакой надобности торопиться. «Во всякий момент, — горделиво ответил Калмыков, — факультет может с избытком иметь достойных кандидатов для отправки за границу». Когда затем последовало свыше предложение факультету командировать двух молодых людей за границу, выбор его остановился на Дубровине и Константинове. Тот и другой, вернувшись потом из двухгодичной командировки, оказались совсем непригодными для профессорской деятельности. Дубровина я хорошо знал; он студентом буквально, кроме лекций, ни во что не заглядывал.

А. Н. Пыпину, хотя и зарекомендовавшему себя несколькими капитальными работами, тоже не без труда удалось стать профессором. Кафедры европейских литератур не существовало, и большинство факультета не очень благосклонно относилось к А. Н., зная его сотрудничество в «Современнике».

И, однако, не прошло и трех лет, как физиономия профессорской коллегии Петербургского университета изменилась до неузнаваемости. В этом случае роль Кавелина была огромная. Прежде всего — ему удалось пробить брешь в юридическом факультете, сначала введением Утина, а потом он сумел подчинить своему влиянию Горлова. Затем умирает Калмыков, выбывает Шнейдер, в деканы проводится Горлов, в параллель с которым открыл курс молодой Балтазар Калиновский, друг В. Д. Спасовича; секретарем, кажется, стал В. Д. Таким образом юридический факультет совсем попал в руки Кавелина.

Читать на филологическом факультете вернулись из-за границы Стасюлевич, Сухомлинов, вошел Пыпин, кафедру русской истории занял Н. И. Костомаров, а выбыли: Устрялов, Никитенко, Касторский (нашел приют в цензурном комитете); весной 1861 г. последовало

назначение по кафедре новой истории Платона Васильевича Павлова. Те, кто его знал в конце 70-х и 80-х гг., конечно, и представить себе не могут, что это был когда-то выдающийся профессор, человек инициативы; он, если не ошибаюсь, первый дал толчок к открытию воскресных школ; движение это охватило тогда всю Россию. Павлов должен был вместе с Пироговым покинуть Киев; переселившись в Петербург, он сначала читал в Училище правоведения, а через год получил кафедру в университете. Невольное пребывание в Ветлуге в связи с рядом нервных горячек совершенно сломило его [1].

На физико-математическом факультете появился Николай Ник. Соколов, не только истинно замечательный специалист-химик, но и человек весьма широкого образования и светлого ума (он потом был первым ректором Одесского университета); на свободную кафедру ботаники, за уходом Ценковского, поступил А. Н. Бекетов; вместо умершего Скобликова стал читать молодой симпатичный Александр Васильевич Советов, не особенно давно умерший; показался на горизонте многообещавший Д. И. Менделеев.

Даже восточный факультет не остался без движения; туда вступил Каэтан Коссович, пользовавшийся в свое время репутацией выдающегося ориенталиста.

Этот наплыв молодых сил подействовал освежающим образом даже на многих из старых или индиферентно относившихся к судьбам университета профессоров, что и сказалось осенью 1861 г., когда огромное большинство профессорской коллегии под руководительством Кавелина стало в решительную оппозицию путятинским мероприятиям и много способствовало тому, что почтенный адмирал, несмотря на поддержку влиятельного гр. С. Строганова, должен был оставить министерство.

Несколько слов о профессорах, лекции которых не только усиленно посещались студентами, но и привлекали большое число сторонних слушателей.

Н. И. Костомаров в течение 1860—1861 гг. читал

---

[1] Интересно, что когда от прежнего Павлова сохранилось только одно имя, когда он совсем отстал от науки, И. Д. Делянов в 1878 г. назначил его профессором в тот самый Киевский университет, с которым были связаны лучшие годы его деятельности, сделавшие имя Павлова известным всей России. Какая горькая ирония судьбы! Умер в 1895 г. в Киеве. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

историю Новгорода и Пскова; этот курс он потом издал под именем «Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада», т. 2. СПб. 1863. Мы, прослушавшие этот курс в виде лекций, почти не узнали его, когда он вышел в печатном виде. До Ник. Ив., конечно, доходили отзывы научных староверов, что он не настоящий ученый, а фельетонист. И вот в печатном издании своего курса он постарался придать ему возможно более сухой вид. Нечто вроде этого вышло у него и с «Богданом Хмельницким» в последнем издании, появившемся в конце 70-х гг.

Н. И. обыкновенно читал стоя, заложивши правую руку за борт жилета. Обладая феноменальной памятью, — а он еще жаловался, что в Петропавловской крепости потерял половину ее, — Н. И. хотя и имел перед собой листочки, но заглядывал в них крайне редко, цитируя наизусть не только выдержки из памятников, но даже томы и страницы изданий памятников. Голос у него был, если можно так выразиться, бабий, притом несколько надтреснутый; но замечательное уменье располагать материал, подкреплять и окрашивать свою мысль характерными местами летописи или документов, неподражаемое искусство передавать слова современников их тоном придавали изложению особенную живость и интерес; вы слышали то властную речь боярина, то бесхитростные слова человека из народа, — все это до такой степени очаровывало слушателей, что на лекциях Ник. Ив. буквально можно было слышать, как муха летит; часовая лекция проходила как десять минут, и все с крайним сожалением выслушивали звонок; едва замолкало последнее слово Ник. Ив., как раздавался взрыв рукоплесканий и провожал его до выхода из аудитории.

Но это было далеко не все. Стоит только вспомнить, что Н. И. явился на смену Устрялову и Касторскому, которого под именем Креозотова так мастерски воспроизвел Писарев в своих университетских воспоминаниях. Но даже по сравнению с Соловьевым историческое понимание Костомаровым нашего прошлого представляло крупный шаг вперед. Русская история, выстроенная Соловьевым, говорила нам о росте государства, его постепенном строительстве; историк не игнорировал народные массы, но видел в них лишь страдательный материал для выполнения известной исторической задачи: ко всему,

что стояло на дороге, он относился безучастно, а иногда даже со страстною нетерпимостью; стоит, напр., вспомнить его «Историю отношений Новгорода к великим князьям» или более позднее «Падение Польши» [1]. Впервые в трудах и на лекциях Костомарова, а вслед за ним в статьях Щапова послышался голос живого народа. И этот народ выступил не в одной роли лишь подчиненного материала, но как фактор, пытавшийся самостоятельно направлять исторический процесс, по меньшей мере выражавший свое отношение к тем или другим его сторонам.

Не охлаждение молодежи было причиною того, что в 1863 г. Н. И. Костомаров не вернулся в университет, с чем он не мог примириться до конца своих дней. Прискорбная думская история в марте 1862 г. была случайным и временным недоразумением; все было скоро забыто с обеих сторон. Ведь встречались же потом за одним столом Н. И. и Евгений Утин, — а он-то и нанес Н. И. в Думе наиболее тяжкое оскорбление, вызвавшее запальчивые слова Н. И. о Репетиловых, которые завтра превратятся в Расплюевых.

Настоящих причин того, что так рано закончилась профессорская карьера Ник. Ив., надо искать на Страстном бульваре — в той агитации, которая была поднята оттуда против Костомарова как представителя «сепаратизма». Костомаров горячо любил свой родной народ, болел за его прошлое, не удовлетворялся его настоящим; но он совсем не был сепаратистом в том смысле, который в известных кругах соединяют с этим словом.

«Вот проведут железные дороги, подымется образование народных масс, улучшится материальное положе-

---

[1] Ник. Ив. хотя и признавал все значение Соловьева, но жаловался, что его совсем нельзя читать, а можно только справляться с ним. «И чем дальше ведет он свою историю, — продолжал Ник. Ив., — тем более заполняет ее сырым материалом, очень ценным, но совсем необработанным. Сколько раз я принимался за него, даже за те томы, которые особенно интересны для меня, и не мог осилить. Я убежден, что его целиком никто не прочел». — «А Бестужев-Рюмин, — заметил я, — ведь он печатает такую пространную статью об истории Соловьева». — «Да он мне признался, что не мог одолеть всей истории. Право же, говорю вам, что Карамзина с бо́льшим удовольствием можно и теперь перечитать, чем справиться с Соловьевым». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

ние их, — говаривал не раз Ник. Ив., — и еще большой вопрос, устоят ли те особенности, которые отличают теперь малороссов от великоруссов».

И этот взгляд он высказывал в таких кругах, где не только можно было, но и следовало говорить вполне без обиняков.

Заведовал я раз устройством литературного вечера в университете в пользу студенческой кассы; приглашаю читать Костомарова. Он, как всегда, не колеблясь соглашается.

— А что же вы предполагаете прочитать?

Подумавши, Ник. Ив. отвечал:

— Воспоминания о молоканах; что вы скажете?

— Отлично, у нас ведь о них ничего не знают. (Костомаров, когда был выслан в Саратов, имел возможность близко ознакомиться с молоканами.)

— Только не знаю, разыщу ли материалы, имеющиеся у меня; вы зайдите дня через три.

Захожу.

— Нашел, — с живостью отозвался Н. И., даже не дождавшись моего вопроса, — и все эти дни не мог оторваться от них, даже к лекции не успел порядком подготовиться. Знаете, что я вам скажу: я всегда считал малорусское племя выше великоруссов, талантливее, и имел известные основания. Но теперь я совершенно изменил свой взгляд. Никогда малоруссы не подымались до такой высоты нравственно-общественных идеалов, как великоруссы; у них ничего подобного молоканам не бывало. Добрые они были казаки, да панов не любили, а духовная сторона у них осталась без всякого движения.

Чтение о молоканах, однако, не было разрешено; вместо того Костомаров прочел художественный рассказ «Два маляра» [1].

---

[1] Раз как-то я попросил у Ник. Ив. дать мне прочитать его магистерскую диссертацию об унии. «Нет ее у меня; самому до крайности нужна». — «А разве в Публичной библиотеке нет?» — «И в Публичной библиотеке нет; и везде я ее искал и всех просил об этом; должно быть, все до последнего экземпляра было уничтожено».

Интересно знать, не имеется ли она у кого-нибудь из наших библиофилов; не сохранилась ли она в синодских делах? По-видимому, она сохранилась. (Сообщение Генр. Мих. Малышенко.) (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Как лектор В. Д. Спасович был очень и очень неинтересен, всегда читал по запискам и притом с тою интонацией, которую сохранил и до сего дня и которая всем знающим Владимира Даниловича хорошо известна. Но этого мало, — уставится зачастую В. Д. в какое-нибудь слово, да и повторяет его — напр.: «и так, и так, и так», точно не знает, что должно далее следовать. Но аудитория всегда была полна и внимательна: все недостатки внешних приемов выкупались богатым научным содержанием и гуманно-прогрессивными взглядами лектора. К слову сказать, В. Д. никогда не был радикалом ни в научных воззрениях, ни в отношении текущей политики. В 1863 г. он был назначен профессором уголовного права в Казань. «Московские ведомости» открыли по этому случаю столь решительный поход против В. Д., совершенно несправедливо обвиняя его в научном и политическом радикализме, что назначение было взято обратно. Вот причина, почему в непродолжительном времени В. Д., видя, что профессура для него навсегда закрыта, записался в присяжные поверенные. Позднее, уже совсем из противуположного лагеря, иногда слышались упреки В. Д. в измене прежним идеалам, но и они так же мало основательны, как обвинения, пущенные «Московскими ведомостями».

В 1859 г., вернувшись из-за границы, открыл свои курсы по средневековой истории М. М. Стасюлевич. Я помню, как он начал свою первую лекцию: «Отец историографии Геродот говорит, что народы делятся на путешествующих — к таковым он относит греков, и непутешествующих — варваров». И затем лекция была посвящена развитию той мысли, что уразумение своей собственной истории немыслимо без понимания истории других народов; в заключение М. М., указав на те основные элементы, взаимное сочетание которых характеризует период средних веков, наметил программу своего ближайшего курса. Кажется, в тот же год М. М. прочел краткое обозрение внутренней истории евреев как введение к появлению христианства, причем с особенным вниманием остановился на Филоне и умственном движении начала александрийского периода. Эти лекции, основанные на последних данных европейской науки, были выслушаны аудиторией с напряженным вниманием и интересом, и с каждой лекцией все более и более увели-

чивалось число слушателей; но вместе с тем они обратили на себя внимание и вне университетских сфер, так что, помнится, М. М. пришлось иметь объяснение с митрополитом. Не мне, случайному слушателю, говорить о высоком научном значении курсов М. М.; оно было признано даже официальным историком университета Григорьевым (впоследствии начальник Главного управления по делам печати), когда М. М. был уже в стороне не только от университета, но и вообще от министерства народного просвещения: он при вступлении в министерство гр. Толстого должен был оставить ученый комитет. Скажу только, что с внешней стороны М. М. читал безукоризненно; замечалась лишь некоторая сухость, вернее сказать — бесстрастность изложения. Когда много лет спустя мне случайно пришлось перечитать один из курсов Гизо, почему-то вспомнился М. М. «Вот, должно быть, и Гизо читал таким же тоном», — подумал я.

Константин Дмитриевич Кавелин читал гражданское право и судопроизводство. Догму он излагал довольно поверхностно, за что его и винить нельзя. Стоило ли, в самом деле, тратить много времени на действовавшее судопроизводство, когда коренная реформа его уже была поставлена на очередь? Что касается до гражданского права, то ведь тогда никто не верил, что наш X том не только благополучно просуществует десятки лет, но даже перейдет в двадцатое столетие.

Слаба у К. Д. была и историческая часть. Он хотя и не признавал себя гегельянцем, а, совсем напротив, склонялся к Канту, особенно Локку, но гегелевская троица властно засела в его голове и своеобразно облегчала ему историю при изложении институтов гражданского права. Оказывалось, что всякий институт обязательно проходил у нас три периода развития: родовой, общинный и государственный. Напр., наследственный институт: в родовом быте наследует род, общинном — семья, государственном — начинающая обособляться личность.

Кавелин страдал одним органическим недостатком: у него была слабая фактическая память; он сам в этом откровенно признавался и рассказывал, что, когда сдавал у Крылова кандидатский экзамен, то едва совсем не срезался, имея в руках билет о «владении по римскому праву», хотя, кажется, только за год до экзамена он получил золотую медаль за сочинение на эту самую

тему. Вот почему экзамен у него был очень легок; сам не особенно твердый по части фактов, Кавелин снисходительно относился с этой стороны и к студентам. Но обыкновенно, выслушав ответ на билет, он задавал два или три вопроса общего характера, из ответов на которые, однако, можно было убедиться, понимает ли что-нибудь отвечающий, заглядывал ли он во что-нибудь, кроме лекций. На этих вопросах многие и проваливались; тогда даже хороший ответ на билет не спасал от неудовлетворительной отметки. Это и создало Кавелину незаслуженную репутацию грозного экзаменатора.

Читал Конст. Дм. хорошо, хотя он и не был блестящим лектором, его речь не лилась свободным потоком, лекции скорее походили на беседу. С именем Кавелина прежде всего соединялись его безупречное прошлое, целый ряд ценных для своего времени научных статей, крупная общественная роль; он был не только автор известного проекта об освобождении крестьян с землею, но благодаря его редкой отзывчивости в нем, как в фокусе, отражались все преобразовательные стремления того времени. Наконец, его недавняя отставка от преподавания наследнику Николаю Александровичу также имела не малую долю влияния на увеличение его популярности.

Если в своих лекциях К. Д. не поражал слушателей ни тонким анализом догмы (он усиленно рекомендовал нам в этом отношении курс своего предшественника, незабвенного Мейера), ни богатством исторического материала, зато он всегда умел сопоставить правовые догмы, выработанные прошлым, с требованиями современной жизни, а основной фон его идей далеко уходил от катехизиса тогдашнего ходячего либерализма; ведь сам К. Д. в известном письме к Герцену говорит, что он мыслит и чувствует по Герцену. Вот почему Кавелин скорее примыкал к «Современнику», чем к «Русскому вестнику», даже в наиболее либеральные годы последнего. Позволяю себе привести здесь один факт, кажется до сих пор остававшийся под спудом, характеризующий отношения Кавелина к «Современнику». Его старые литературные друзья, вроде, напр., А. Д. Галахова, были глубоко возмущены тоном «Современника», в частности же всего более «Свистком»; кто-то даже подсчитал, что в «Переписке Петербурга с Москвой» задето

чуть ли не до ста человек. Они решили под флагом Кавелина выступить с печатным протестом; но К. Д. не только уклонился от предлагаемой ему чести, но и их отговорил от этой затеи. В нашем студенческом кружке К. Д. нисколько не скрывал, что признает «Свисток» очень полезным явлением. «Это, — говорил он, — большая хищная птица и делает хорошее дело, очищает наше болото от разной застарелой нечисти».

Напомню еще, что К. Д., близко зная Добролюбова и склад его убеждений, тем не менее не затруднился доверить ему своего сына, которому Добролюбов давал уроки по литературе и, кажется, истории. Конечно, не гонорар (о нем, вероятно, и речи не было) привлекал Добролюбова, а необыкновенная даровитость мальчика. Он умер от скарлатины в начале зимы 1861 г. Смерть сына страшно потрясла К. Д. (впоследствии ему пришлось пережить и свою единственную дочь) — одно время даже сильно опасались за него самого — и вызвала к нему всеобщее сочувствие [1]. Вскоре после смерти сына К. Д. мне по какому-то делу довелось быть у И. Д. Делянова, тогдашнего попечителя.

— Вы куда направляетесь? — спросил меня И. Д., когда я уходил от него.

— Мне нужно на Остров, — ответил я, — побывать у Костомарова.

— Так поедемте вместе, я тоже на Остров, хочу навестить Константина Дмитриевича, — сказал И. Д.

Уселись на извозчика и едем.

— Какая потеря, какой удар для Константина Дмитриевича, — заговорил И. Д., — отец редкий умница и огромный талант, а сын куда бы дальше пошел; да и как был обставлен, ведь ему сам Добролюбов давал уроки!

И долго рассказывал И. Д. о необыкновенном мальчике, которого, вероятно, знал, а может быть, многое слышал о нем. Наконец близится Николаевский мост, значит скоро расставаться. «А все провидение, — закончил И. Д., — все в его руках! И можете себе представить, есть же такие ослепленные умы, которые не верят в провидение!»

К. Д. поступил в Петербургский университет во

---

[1] Между прочим, была отправлена депутация от студентов. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

время попечительства князя Щербатова, с которым всегда оставался в самых лучших отношениях, но в 1858 г. на место Щербатова был назначен И. Д. Делянов. При нем влияние Кавелина, мало заметное вначале, постепенно все возрастая, достигло своего апогея в 1861 г., когда по его настоянию вместе с другими профессорами И. Д. назначил под председательством Кавелина комиссию (Стасюлевич, Спасович, Утин, кажется Пыпин) для выработки устава студенческой корпорации. В комиссию, согласно предложению попечителя, были приглашены с правом голоса депутаты от студентов.

Пользуясь влиянием на попечителя, Кавелин прилагал все усилия к обновлению не только юридического факультета, но и историко-филологического; не без его поддержки получил кафедру и Пыпин на условиях, им заявленных.

Не менее велико было влияние К. Д. и на студентов, конечно главным образом на юристов, которые, однако, тогда составляли чуть ли не половину университета. Он старался сблизиться со своими слушателями; всякий сколько-нибудь выдающийся студент мог рассчитывать быть принятым у Кавелина на его воскресных утренних журфиксах, специально существовавших для студентов [1]. Всегда высказывая свое мнение без малейшего колебания, без опасливой оглядки — понравится оно или нет,— он в то же время умел внимательно выслушивать всякое возражение, никогда не старался подавить юного оппонента своим авторитетом. На журфиксах обсуждались научные вопросы, новости литературы, но преимущественно явления нашей тогдашней внутренней жизни. На первом плане, конечно, стояло освобождение крестьян. Будучи отлично осведомлен о ходе реформы, К. Д. знакомил нас с мельчайшими деталями ее и теми перипетиями, которые она испытывала. Как теперь помню, какое на всех удручающее впечатление произвело назначение Панина; с нетерпением мы ждали воскресенья, но К. Д. сейчас же нас успокоил: «Ему (то есть Панину)

[1] Эти журфиксы начались с того, что у Кавелина собирались студенты третьего и четвертого курса, которые по его приглашению взяли на себя труд выборки статей гражданского права, разбросанных по всем томам свода законов, кроме X т. При мне (я начал бывать у Кавелина еще на втором курсе) об этой работе разговоров не было — из нее ничего не вышло. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

поставлены два условия: не менять направления дела и не касаться личного состава редакционных комиссий». А затем К. Д. вскоре сообщил о неудачной попытке Панина разыгрывать роль не председателя, а начальника комиссий. Впервые от К. Д. мы узнали о начатых Н. А. Милютиным приготовлениях к выработке земских учреждений, и тут же К. Д. выяснил нам все значение готовящегося преобразования не только с хозяйственной, но и общественной стороны — как воспитательной школы. При своих обширных связях К. Д. был au courant всего, что тогда имело общественное значение, и всем охотно делился с своими собеседниками. Была только одна грань, которую К. Д. никогда не переходил: даже я, как студент, пользовавшийся его особым расположением (уезжая на лето в деревню, он мне поручил ведение юридической хроники в «Веке», одним из редакторов которого состоял), никогда не видал у него «Колокола», который он несомненно получал, но очень часто рассказывал интересные вещи из него.

К. Д. был убежденный оптимист (лишь в последние годы его жизни стала у него пробиваться пессимистическая нота, что особенно было заметно в личных беседах с ним), хотя и не обманывался насчет громадных трудностей, которые еще стояли на пути нашего развития; но обыкновенно он любил приговаривать: «Все перемелется, мука будет». Свой оптимизм, точнее сказать — свою веру в будущее К. Д. старался передать и своим слушателям. И в этом нет ничего удивительного, ведь тогда самый крайний скептик не мог себе представить, что через сорок лет вновь придется доказывать и защищать самые элементарные условия общественного развития.

Была еще одна черта, резко сказывавшаяся у К. Д. и несомненно оставившая крупный след на той молодежи, которая была близка к нему. Ценя всякую общественную заслугу, отдавая в этом отношении полную дань справедливости даже своим принципиальным противникам, например славянофилам, К. Д. тем не менее никогда не упускал из вида этический характер личности; и тут ничто не могло подкупить его, — был ли то Погодин, в котором он ценил его ненависть к крепостному праву, или Некрасов, таланту которого поклонялся.

Я уже сказал, что К. Д. был лидером профессорской

коллегии в оппозиции путятинским мероприятиям[1]. Как тогда, так и много времени спустя в известных кругах против К. Д. и других профессоров было выдвинуто тяжкое обвинение, что они были виновниками студенческих волнений, не только косвенно, но и прямо подстрекая студентов. Нет ничего более неверного, как подобное обвинение; говорю это категорически, так как принимал слишком близкое участие в студенческой истории 1861 г. и в то же время был близок к Кавелину. Совсем напротив: К. Д., может быть, излишне полагался на благоприятный исход борьбы университета с Путятиным и прилагал все средства убеждения, чтобы удержать студентов от каких-нибудь демонстраций. Так же держали себя и другие профессора как в этом деле, так и в других, позднейших: рискуя своей популярностью, они высказывали свое мнение определенно, без всяких двусмысленностей.

Вот случай, резко характеризующий Кавелина. Кажется, зимой 1860 г. было арестовано несколько студентов Харьковского и частью Киевского университетов. Этот арест вызвал большие толки; говорили о тайном обществе, об участии в нем профессоров, даже прямо называли имя Каченовского, даровитого и популярного харьковского профессора[2], «Не верю в участие профес-

---

[1] В оппозиции Путятину оказался не только университет, но и И. Д. Делянов. Путятин, вступив в министерство, счел нужным перевести И. Д. из попечителей в директоры департамента; но после октябрьского погрома университета И. Д. подал в отставку и при этом писал Путятину: «У меня нет той энергии молота, которая не разбирая бьет по наковальне или по живому человеку». И. Д. вновь занял место попечителя, когда министром стал Головнин. Но уже в 1863 г. он не стеснялся даже передо мной, исключенным студентом, очень резко выражаться насчет неудержимой реформаторской работы Головнина; его, видимо, смущала поспешность, с которой велись пересмотр уставов университетов и средних учебных заведений. В это время И. Д. еще не обнаруживал клерикальных наклонностей и дал своему помощнику А. В. Латышеву в комиссии по начальному образованию указание отстаивать начальную школу от покушений на нее духовенства. (Это говорил мне Латышев.) (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Тогда были арестованы Бекман, Ефименко, Португалов, Зеленский, Завадский. Был просто замкнутый кружок, задававшийся просветительными целями; их, однако, разослали по разным городам; никакого участия профессоров не было и следа, но Я. Н. Бекман был любимцем П. В. Павлова. В этом смысле есть моя заметка в «Былом», кажется в ответ Лемке. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

соров, — говорил Кавелин, — не могу себе представить такого профессора, который бы в наше время решился толкать молодежь на политическую агитацию; это было бы ничем не оправдываемое преступление против России. У нас так мало интеллигентных сил, надо беречь молодое поколение; четырнадцатое декабря, каковы бы ни были побуждения и личный характер его участников, на тридцать лет задержало общественное развитие России; после гибели декабристов образовалась пустота, которая еще и теперь не заполнена».

Надо еще сказать, что если роль Кавелина осенью 1861 г. вызвала в известных кругах подозрительное и недоброжелательное отношение, то в это же самое время его общественное значение достигло своего апогея. Лучшим доказательством служит то, что, едва было решено назначение Головнина, как он сейчас же сделал визит Кавелину, с которым раньше не имел никаких прямых отношений.

XII. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Первое время моего пребывания в университете я вращался преимущественно в среде товарищей-земляков да имел два-три знакомых семейства; лишь в половине второго года стал посещать утренние журфиксы Кавелина, о которых только что говорил. Почти в то же время я свел близкое знакомство с кружком бывших воспитанников Педагогического института, переведенных в университет;[1] кружок, помнится, состоял исключительно из студентов историко-филологического факультета, большею частью дотягивавших последний год школьного учения; но так как многие из кружка по окончании курса остались в Петербурге, то он просуществовал до лета 1862 г. В Педагогическом институте ходила поговорка «пьян, как филолог», и надо правду сказать, некоторые члены кружка, и даже очень

[1] По закрытии в 1859 г. Педагогического института не кончившие его воспитанники были переведены в Петербургский университет. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

дельные[1], по милости этой слабости весьма преждевременно покончили земное поприще.

Кружок имел на меня крупное влияние, следы которого остались и до сего дня. Я вошел в него горячим поклонником идей «Русского вестника»; между тем характерными чертами кружка являлись: крайнее презрение к схоластической науке, не имеющей никакого прямого отношения к жизни, и философско-политический радикализм. Хотя в науке я был очень слаб, но в первом пункте придерживался тех же взглядов; зато в другом крепко стоял на своем; мне иногда приходилось одному выдерживать целый вечер спор с меняющимися по очереди оппонентами. Лишь понемногу я стал сдаваться влево; на это отчасти имело влияние и знакомство с Кавелиным.

На стороне кружка было огромное преимущество: почти все члены его имели уже очень солидную научную подготовку; они много читали — и притом в подлиннике — писателей, которых только что начинали переводить у нас, — Бокль, например, был известен в кружке ранее, чем Тиблен стал выпускать его, — читали и таких, как Фейербах, который никогда не появлялся в настоящем русском издании. Здесь я в первый раз узнал о тюбингенской школе, о Бауэре, Максе Штирнере. Члены кружка были знакомы и с французскими социалистами; одни особенно увлекались Луи Бланом, другие благоговели перед Прудоном. Когда Кавелин посвятил две-три лекции изложению и критике (весьма благоприятной) взглядов социалистов на собственность, его лекции не удовлетворили моих приятелей: они не нашли в них ничего нового для себя, и притом, по их мнению, взгляды Кавелина были недостаточно радикальны. Понятно, что из тогдашних журналов «Современник» пользовался в этом кружке особенными симпатиями; преимущественно увлекались политико-экономическими идеями; в то же время резкое отношение «Современника» к разным доморощенным авторитетам как раз совпадало со взглядами кружка. Даже «Полемические красоты» Чернышевского, вызвавшие против него чуть не крестовый поход, очень сочувственно были встречены в кружке. Конечно, в

---

[1] Смирнов, Фортунатов; последний спился окончательно на пиве в Праге. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

кружке были две-три личности, стоявшие несколько в стороне от этого направления, но они совершенно стушевывались. В период усиленного брожения (со второй половины 1861 г. по лето 1862 г.) симпатии некоторых, и притом самых видных, членов кружка недвусмысленно сказались на стороне движения; они даже находили некоторые проявления этого движения слишком умеренными, например прокламации «Великорусс»; зато чуть не в восторг были приведены «Молодой Россией» и усердно распространяли ее [1], хотя из всех прокламаций она была наименее обдуманная. Ни об одном из тогдашних профессоров историко-филологического факультета, если исключить Костомарова, в этом кружке не отзывались добрым словом; правда и то, что большинство из них было ниже снисходительной критики. Даже Костомаровым не особенно удовлетворялись — в его лекциях не видели ясно проведенной тенденции; к Стасюлевичу относились несколько свысока; Пыпина игнорировали. С особенным озлоблением в кружке вспоминали о Педагогическом институте. Теперь, например, В. И. Модестов говорит: «Мало было в России высших учебных заведений, столь существенно полезных, каков был Главный педагогический институт». Но в те далекие времена такого значения за ним не признавали; напротив, указывали на то, что за все свое, помнится, сорокалетнее существование он только и дал Мейера (юрист) да Добролюбова (Благовещенского, бывшего воспитанника Педагогического института, снисходительно замалчивали). Его последнего директора И. И. Давыдова в кружке не иначе называли, как Ванькой, и не находили достаточно слов, чтобы выразить презрение к Смирнову, который был правой рукой Давыдова.

Могу указать здесь на умерших участников этого кружка: В. Г. Васильевский, Д. Ф. Щеглов, Долгомостьев (оба были уже учителями гимназий) — последний пописывал в «Эпохе» Ф. М. Достоевского (его перу принадлежит «Сказание о дураковой плеши» в разгаре полемики с возрожденным «Современником»). А. Г. Новоселов — умер директором одной из московских гимна-

---

[1] Напр., В. И. Модестов, который даже разбрасывал ее по лестницам домов, где жили знакомые, — напр. у П. Н. Латкина, на что последний жаловался мне потом. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

зий (его имя я встретил в 80-х гг. под адресом или иконой, поднесенной варшавскому попечителю Апухтину) — Смирнов, Сергей Фортунатов (оба рано умерли), Гаврилов (был, кажется, директором гимназии при Филологическом институте); в этом же кружке я познакомился с Хорошевским.

Д. Ф. Щеглов, тогда молившийся на Прудона, доводил свой радикализм до того, что оплакивал «падение» Добролюбова (они были товарищами по институту). «Вот где у меня Добролюбов, — ударяя себя в сердце, говаривал Щеглов, — плачу о нем, он стал барином, завел себя лакея». Щеглов вообще не мог выносить никакой популярной личности; он свысока третировал Кавелина, о котором не имел, впрочем, ни малейшего понятия, и с первого же времени стал относиться враждебно к Костомарову; а как только появилась статья Н. И. о происхождении Руси, то сейчас же заявил, что он его в грязь втопчет. Действительно, Щеглов и вступил с Костомаровым в запальчивую полемику по этому вопросу. Кажется, в 1861—1862 гг. он принимал довольно деятельное участие в «Библиотеке для чтения» (редакции А. Ф. Писемского) и под именем «Охочекомонный» прославился своими дикими статьями. Впоследствии Щеглов был директором гимназии, но его раньше времени принуждены были убрать... В половине 80-х гг. Щеглов раз заявился ко мне с предложением издать второй том его «Истории социальных учений».

— Она пойдет, — говорил он, — так как будет рекомендована; ведь я получил субсидию; кроме того, ее будут покупать и революционеры, — преимущественно ими и был раскуплен первый том...

— Так вам всего лучше самим ее издать, раз что вы получили субсидию.

— А мне не хочется ее тратить.

В 1862 г. Головнин, желая поднять научный уровень наших университетов и имея в виду предстоящее открытие двух новых университетов — в Одессе и Вильно (в 1862 г. я лично слышал от И. Д. Делянова, что состоялось решение правительства об открытии университета в Вильно), отправил, кажется, сто молодых людей за границу. Не полагаясь на одни университеты, он обратился даже к редакциям крупных журналов, предоставив каждой из них указать двух молодых людей, до-

стойных заграничной командировки. Командированным назначалось тысяча пятьсот рублей в год, что по тогдашнему курсу составляло около пяти тысяч пятисот франков; срок командировки был двухлетний. Кажется, пять человек из кружка (Васильевский, Модестов, Новоселов, Фортунатов и Люперсольский?) были отправлены за границу. Напечатанные в «Журнале министерства народного просвещения» [1] первые отчеты В. И. Модестова и А. Г. Новоселова, в которых они весьма нелестно отзывались о лекциях некоторых немецких светил в области классической филологии, вызвали бурю негодования со стороны Каткова, уже тогда открывшего энергическую кампанию против Головнина. Одно время можно было думать, что В. И. Модестов и А. Г. Новоселов будут отозваны; однако Головнин этого не сделал [2].

К осени 1864 г. все посланные вернулись из-за границы. Там у бывших членов кружка не только остыл политический пыл (да и время в России было очень глухое), но изменились существенно и другие взгляды. Помню, как-то сошлись у меня Васильевский и Хорошевский; возник о чем-то спор, и Хорошевский поставил вопрос:

— Как вы думаете, Василий Григорьевич, сама ли по себе существует наука, или она прежде всего должна служить обществу?

— А я думаю, — ответил В. Г., — что наука должна существовать сама по себе.

Вернувшись окончательно в Петербург в половине 80-х гг., я по некотором времени стал встречаться с В. Г. на вечерах у Л. Н. Майкова [3], и наши старые отношения

---

[1] Редактором был Рехневский. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Вот что, должно быть в начале 1862 г., рассказывал Кавелин: «Видел Каткова, он приезжал сюда, чтобы выхлопотать у Головнина субсидию». — «Да ведь «Русский вестник» хорошо расходится». — «Так, но у них уж очень большие расходы. Головнин, однако, отказал, так как ранее обещал субсидию Краевскому, который будет издавать свою газету («Голос»)». У меня даже сохранилась в памяти цифра — пятнадцать тысяч рублей было назначено Краевскому. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[3] Л. Н., как-то разговорившись со мной об Академии, выразился: «Самым слабым местом в теперешней Академии то, что секретарем ее Дубровин, человек не только без всякого научного образования, но даже просто малограмотный. А ведь секретарь-то у нас пожизненно». Дубровин был протеже Д. А. Толстого.

Раз на своем четверговом журфиксе Л. Н. рассказывал, как Пушкин, будучи лицеистом, в потемках увлек в свои объятия старую

возобновились, мы бывали друг у друга. Иногда вспоминали прошлое; хотя его взгляды существенно изменились, но он относился к своим юношеским увлечениям без малейшего озлобления. Прошлое отлично сохранялось в его памяти до самых незначительных мелочей; ничего он не замалчивал, не старался представить в другом виде или по крайней мере значительно смягчить. Поворотным пунктом в своих общественных взглядах он считал встречу за границей с Кавелиным и рассказ К. Д. о разговоре с Зибелем по поводу польских дел. Как известно, Зибель принадлежал к оппозиции и вместе с ней решительно нападал на Бисмарка за его поддержку России в подавлении восстания. Зибель говорил Кавелину: «Может ли быть глупее политика, чем та, которую проводит Бисмарк; наш прямой интерес заключается в том, чтобы познанские поляки оказывали самую деятельную поддержку восстанию, и чем дольше, тем лучше; они бы тогда совсем разорились, и мы, немцы, за бесценок скупили бы их поместья». На современную жизнь В. Г. смотрел глазами пессимиста, особенно когда речь заходила о нашем просвещении. Будучи убежденным классиком, он с грустью говорил, что классическая система вследствие ложной постановки ее у нас решительно ничего не дала. Из всех своих учеников он всегда с особенной теплотой говорил об И. М. Гревсе.

В. Г. Васильевский до конца сохранил привычки студенческого sans façon [1]. Вспоминаю один забавный случай на журфиксе у Л. Н. Майкова. Раз входит какой-то незнакомый мне господин; то оказался Самоквасов, специалист по доисторической археологии, приехавший из Москвы. Может быть, минут пять—десять с ним занялся Майков, а затем гость был предоставлен самому себе. Сидел Самоквасов подле меня; вот по времени я и спрашиваю его: «Вы, кажется, долго жили в Польше; что, представляет она большой интерес для доисторической

фрейлину Волконскую, полагая, что имеет дело с молоденькой горничной. Едва он кончил свой рассказ, как присутствовавший Барсуков, красный как рак, вскочил со стула и выпалил: «Вот какой негодяй! Во всю жизнь ничего подобного не было с Погодиным!» Общий хохот был ответом на эти слова.

Л. Н., видимо, был под сильным влиянием А. П.; после смерти А. Н. он стал проявлять заметную отзывчивость в либеральном направлении. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] Без церемоний (*франц.*).

археологии?» — «Нет», — и затем он оживленно и красно стал развивать мне последовательность каких-то археологических периодов, которые, однако, все миновали Польшу. Я внимательно слушал. Против меня сидел Васильевский и, казалось, совсем не интересовался словами Самоквасова; вдруг В. Г. выпалил: «Ах, какие ереси вы рассказываете; впрочем, мы с вами довольно об этом спорили и на словах, и печатно; а теперь я это замечаю для того, чтобы Лонгин Федорович не всему поверил, что вы говорите...» Все разговоры моментально стихли, Самоквасов, конечно, вскипел, начался спор. «Иордан говорит, что они (какой-то славянский народ) ушли за Карпаты». — «Ничего подобного Иордан не говорит, у него стоит: «ушли за горы», а какие — кто их знает», — отвечает В. Г., и т. д. в этом роде [1].

Как-то раз я обратился к нему с просьбой указать какую-нибудь историю Византии для перевода на русский язык. «Да нет подходящих, — отвечал В. Г. — И что интересного в истории Византии? Вон Федор Иванович (проф. Успенский) еще находит в ней какую-то жизнь и развитие, а по-моему, эта история — не что иное, как медленное гниение большого трупа. Нам, кабинетным крысам, есть над чем в ней копаться, а другим — не знаю, что может быть в ней интересного».

И это говорил человек, которого В. И. Модестов называет основателем школы византинистов в России. Позволительно спросить, для кого же она существует?

XIII. ДИСПУТЫ

Ученые диспуты являются немаловажным событием во внутренней жизни наших университетов; при мне, однако, в Петербургском университете не было выдающихся диспутов по их научному или общественному значению; все же три из них сохранились в моей памяти благодаря некоторым побочным обстоятельствам. Зимою

---

[1] Назначение Самоквасова директором Московского архива было встречено в ближайшем кружке Л. Н. Майкова неодобрительно. «На этом месте должен был быть Ключевский», — говорил Л. Н. А Васильевский в свое время был крайне огорчен, что вместо Чупрова в академики был выбран Янжул. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

1860 г. Бальтазар Калиновский[1] защищал диссертацию на магистра о развитии идеи свободной торговли, — точного заглавия не помню. Официальные оппоненты, И. Я. Горлов и, кажется, И. Е. Андреевский, сделали несколько замечаний второстепенного значения, так как по существу они ничего не имели против фритредерских идей диспутанта и горячей защиты им принципа laissez faire — laissez passer. Председательствовавшему на диспуте Калмыкову оставалось только выполнить формальную обязанность: обратиться к публике с вопросом, не желает ли кто сделать возражений, и затем, выждав с полминуты, объявить, что диспутант признан достойным степени магистра, как вдруг, к общему удивлению, встает офицер в драгунской форме и просит слова. То был, как оказалось, приятель Калиновского — Сигизмунд Сераковский[2], пользовавшийся огромным влиянием в польских кругах и имевший большие связи в русском обществе, а со многими из русских он даже был в самых близких, дружеских отношениях, например с Кавелиным, Чернышевским (последний в «Прологе пролога» вывел Сераковского под именем Соколовского). Сераковский потом принял участие в восстании 1863 г., хотя и не верил в его успех. Раненый, он был взят в плен и повешен Муравьевым. Но возвращаюсь к диспуту. Сераковский, ничего не имея против идеи свободной торговли, с жаром напал на принцип laissez faire — laissez passer. Уже одна горячность речи Сераковского, с ежеминутным биением в грудь, немало смутила чиновно-степенного Калмыкова, но когда Сераковский сказал: «Вот теперь вырабатываются проекты освобождения крестьян с наделом

---

[1] В 1862 г. осенью он, будучи уже профессором, возвращался из-за границы, где, между прочим, побывал и в Лондоне; вез с собой на память портрет Герцена с автографом; портрет был отобран в таможне, а Калиновскому пришлось переселиться в Астрахань; затем, кажется, побывал даже в Зап. Сибири. Портрет был лишь косвенной уликой чего-то еще другого. Вернувшись в Петербург, был присяжным поверенным; умер в больнице душевнобольных. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] В 1848 г., будучи студентом, он из Волыни пытался пробраться в Галицию, чтобы там примкнуть к революционному движению, но был схвачен и доставлен в Петербург. Здесь Сераковский обратил на себя особенное внимание крайне откровенным заявлением образа своих мыслей и был сослан в солдаты в один из оренбургских батальонов, там дослужился до офицера, затем прошел курс Академии генерального штаба. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

землею, и я знаю, что вы этому сочувствуете; между тем этот надел является прямым нарушением вашего основного принципа», — тут Калмыков пришел в ужас священный от такой нескромности и поторопился закрыть диспут.

Вскоре Калмыков заболел; Кавелин, забывая их очень обостренные отношения по факультету, навестил больного; тот этим был тронут и, между прочим, сказал, что его так расстроил диспут Калиновского, что он с тех пор никак не может поправиться. «Этот ужасный офицер, — повторял Калмыков, — что он себе позволил!» Недолго спустя Калмыков и умер.

Помнится, в том же году В. И. Ламанский защищал диссертацию «О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании» (СПб. 1859; рецензия — в «Современнике», 1860, № 4). Официальным оппонентом был Касторский, который двух слов не мог сказать без уморительных гримас, кривляний и шутовства. С внешней стороны, а именно своим объемом, диссертация В. И. Ламанского резко отличалась от обычных в те времена диссертаций, вообще довольно жиденьких, — она представляла очень изрядный том. «Один греческий мудрец, — так начал Касторский, помахивая диссертацией, — сказал: «Большая книга — большое зло», — и сейчас же при этих словах сделал неописуемую гримасу. Аудитория, и ранее при виде Касторского несерьезно настроенная, разразилась громким смехом, смешанным с легким шиканьем. Но далее Касторский, — и, кажется, не без некоторого основания — начал уличать Влад. Иван. в чересчур свободном пользовании источниками, благодаря чему у него и оказались славяне там, где для них не было надлежащего места. Однако аудитория все замечания Касторского принимала несочувственно не потому только, что они шли от него, но и потому еще, что некоторая слабость к славянам тогда была довольно распространена между студентами. Напротив, всякий ответ В. И. Ламанского покрывался рукоплесканиями, а когда диспут был закончен, то ему была сделана шумная овация.

Третий диспут происходил весной 1864 г., когда я, собственно, уже не был студентом. Покойный Брикнер защищал свою диссертацию «О медных деньгах в России 1656—1663 гг. и денежных знаках в Швеции

в 1716—1719 гг.». Аудиторию несколько сочувственно настраивала в пользу диспутанта его предшествующая история. По окончании курса в петербургской Peterschule ему хотелось поступить в университет, но папаша, служивший в какой-то коммерческой конторе, и слышать о том не хотел, а заставил сына также поступить в контору. Однако через несколько лет папаша умер; тогда Брикнер, имея небольшие сбережения, отправился за границу; там в нескольких немецких университетах слушал исторические курсы и, кажется, в Иене получил степень доктора; затем вернулся в Петербург с намерением посвятить себя научной карьере. Для этого надо было прежде всего сдать экзамен на магистра, но у Брикнера не имелось кандидатского диплома, держать же экзамен на кандидата он не мог ни по историко-филологическому факультету, так как не занимался чисто филологическими науками, ни по юридическому, целые отделы которого ему были совершенно неизвестны. Но в нем приняли участие Кавелин и другие влиятельные профессора; благодаря их предстательству Брикнеру дано было разрешение прямо держать на магистра.

Председательствовал на диспуте И. И. Срезневский. Специалиста по русской истории в то время в университете не имелось, так как не только Касторский, но и Костомаров уже не состояли в числе профессоров. Официальные оппоненты, Бауэр и еще кто-то, после нескольких замечаний почтили работу Брикнера лестным отзывом. После них выступил Срезневский в качестве неофициального оппонента. «Прежде чем приступить к замечаниям по существу вашего труда, — обратился Срезневский к диспутанту, — позвольте предложить вам условиться в некоторых общих положениях, чтобы потом нам было легче вести нашу беседу». Брикнер весьма любезно выражает свое полное согласие. «Что такое научное исследование?» — спрашивает Срезневский, и сообща с Брикнером решают, что это такая научная работа, которая основывается на самостоятельном изучении первоначальных источников. «Каким условиям обязательно должно отвечать научное исследование? В нем должно быть строго проведено внутреннее единство предмета, самый же предмет исследования подвергнут всестороннему изучению». И затем еще установили несколько поло-

жений. Публика, не знакомая с работой Брикнера, весьма недоумевала, к чему ведется речь; но Срезневский скоро вывел ее из этого положения: в какие-нибудь пять минут он затем доказал, что работа Брикнера не отвечает ни одному из положений, сообща принятых: нет никакой связи между историей медных денег при Алексее Михайловиче и в Швеции в начале XVIII в.; что все источники Брикнера — статейка Строева да какая-то немецкая книга. Все это Брикнер, крошечная фигурка которого едва виднелась из-за кафедры, почтительно выслушал и не нашел что возразить. После этого уничтожающего разноса Срезневскому же пришлось выполнить щекотливую для него обязанность — провозгласить Брикнера достойным степени магистра; он, конечно, это и сделал, но при этом особенно подчеркнул, что факультет *большинством голосов* признал Брикнера достойным степени магистра.

По-видимому, диспуты в Петербургском университете никогда не достигали того значения, как это бывало в Москве в 40-х гг. Сколько я ни расспрашивал старых студентов более близкого времени и даже 40-х гг., никто не вспоминал о каком-нибудь выдающемся диспуте. Только Ник. Ив. Погребов, кончивший университет, кажется, в начале 40-х гг., рассказывал мне, что в его время сохранялась в университете память о замечательном и совершенно исключительном диспуте Устрялова, происходившем в средине 30-х гг. Н. Г. Устрялов защищал свою диссертацию о месте, которое занимает история Литвы в общей истории России. Официальная часть диспута прошла обычным порядком, то есть все дело сводилось к незначительным и мелочным замечаниям, а в общем диссертация была признана крупным вкладом в русскую науку. Наконец декан обращается к публике с обязательным вопросом, не желает ли кто возражать диспутанту. Поднимается какой-то старичок и просит слова. В течение почти часовой речи он, ссылаясь на авторитетные источники, доказал не только полное невежество Устрялова, но и констатировал самое непозволительное извращение исторических фактов. Оппонентом оказался Онацевич, бывший профессор Виленского университета, в то время библиотекарь Императорской Публичной библиотеки. Серьезность, спокойствие и изысканная вежливость оппонента отнимали всякий повод

остановить его, а между тем провал Устрялова был провалом патриотически-официальной теории. Можно себе представить, в каком трепете находился весь ученый синклит!

XIV. ЖЕНЩИНЫ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Раз в осенний семестр 1860 г. сидим мы, студенты-юристы второго курса, в IX аудитории и поджидаем профессора Кавелина; аудитория, как всегда на его лекциях, полным-полнехонька: Константин Дмитриевич был тогда в зените своей популярности. По времени входит Кавелин; но к крайнему нашему удивлению вслед за ним показалась фигура ректора П. А. Плетнева, ведшего под руку молодую миловидную барышню. Петр Александрович любезно усадил барышню в кресло, уселся сам, а Кавелин, как ни в чем не бывало, прочел свою лекцию. Не думаю, однако, что на этот раз все прослушали лекцию с тем вниманием, как это обыкновенно бывало. То же повторилось и на следующей лекции; затем Кавелин сам несколько раз вводил барышню, а потом она стала появляться в аудиторию одна, принося с собой тетрадь для записывания лекций, и в ожидании профессора усаживалась за одним из общих столов. Барышня имела резко выраженный итальянский тип, небольшого роста, всегда одета в черное шерстяное, простого фасона платье; волосы у нее были несколько подстрижены и собраны в сетку. То была Наталья Иеронимовна Корсини, дочь небезызвестного тогда в Петербурге архитектора Иеронима Дементьевича Корсини. Ее мать, в то время уже не живая, в 40-х и в начале 50-х гг. принимала некоторое участие в литературе и была знакома с Плетневым. Помнится, в изданной переписке Я. Грота с Плетневым имя матери Натальи Иеронимовны не раз упоминается.

Барышня, видимо, не желала ограничиваться слушанием лекций одного Кавелина, а стала весьма исправно посещать и других профессоров юридического факультета, как то В. Д. Спасовича, потом Б. И. Утина (впоследствии перешедшего в магистратуру и давно умершего); слушала ли она еще кого-нибудь из профессоров

юристов — не помню. Кажется, у нее хватало мужества и терпения и на это.

Н. И. Корсини (впоследствии замужем за Н. Утиным, ныне вдова) недолго оставалась единственною слушательницею; вскоре рядом с ней мы увидали Антониду Петровну Блюммер (вдова Кравцова), затем Марью Арсеньевну Богданову (вдова Быкова). М. А. Богданова предпочтительно слушала лекции по естественному факультету. Потом встречаем в аудиториях Екат. Иер. Корсини (ныне Висковатова), Надежду Прокопьевну Суслову, Марью Александровну Бокову (ныне Сеченова). Во втором семестре стало все более и более являться женщин; в числе их была и М. М. Коркунова, впоследствии г-жа Манассеина, известная своими писаниями по всем отраслям. Под конец второго семестра 1860/61 г. сделалось совсем обычным явлением, что на лекциях некоторых профессоров дам бывало чуть ли не столько же, сколько студентов. Впрочем, тогда довольно трудно было отличить настоящих студентов; форма, хотя и была отменена только весной 1861 г., но как-то сама собой стала выходить из практики у студентов. И этого должен был не замечать тот самый инспектор Фитцтум, который еще несколько лет тому назад всю свою душу полагал в улавливании студентов, в чем-нибудь нарушивших форму. В то же время университет как-то сам собой открылся для всех желающих; даже не надо было записываться в вольнослушатели, а просто — приходи и слушай. В аудиториях постоянно можно было видеть воспитанников римско-католической духовной академии, чиновников, офицеров, особенно из высших военно-учебных заведений; помню даже одного жандармского офицера, довольно регулярно посещавшего лекции М. М. Стасюлевича и, кажется, Костомарова, что, по-видимому, нисколько не стесняло лекторов и нимало не смущало остальных слушателей. В аудиториях нередко появлялись известные литераторы, учителя, профессора других учебных заведений, люди почтенные по своему возрасту и официальному положению; так, одно время гр. Ф. П. Толстой, тогдашний вице-президент Академии художеств, вместе с своим семейством посещал лекции Ник. Ив. Костомарова. Вероятно, под впечатлением такого разнообразного состава своих слушателей Костомаров и высту-

пил в конце 1861 г. с проектом преобразования наших университетов на манер Collège de France[1].

Как же отнеслась профессорская коллегия к появлению женщины в университете? О Кавелине и говорить нечего — он был убежденным защитником равноправности женщины. При всем его глубоком уважении к Прудону, он, бывало, говаривал: «Трудно понять, что такой глубокоумный человек, как Петр Осипович (так он шутя называл Прудона), высказывает такие отсталые идеи, когда касается женского вопроса; только тем и можно объяснить, что он происходит из крестьянской среды, где женщина понимается как рабочее орудие».

Несомненно большинство профессоров не особенно сочувственно смотрело на стремление женщины к высшему образованию; оно совсем не догадывалось, что это — начало очень серьезного движения, а видело в этом стремлении простую моду. Настоящая наука, типичным представителем которой был Калмыков, казалась старикам несовместимою с присутствием женщины в университете. Тем не менее никто не заявил открытого протеста против посещения их лекций женщинами. Кажется, Ст. Сем. Куторга довольно косо смотрел на присутствие женщин в его аудитории; говорили, что он частенько усиленно подчеркивал некоторые подробности, щекотливые для женщин; но дальше этого и он не пошел.

Не многие из женщин, посещавших университет, специализировались в слушании лекций, как Н. И. Корсини, М. А. Богданова, Н. П. Суслова (все три потом принадлежали к «Земле и воле»); большинство ограничивалось лекциями наиболее выдающихся тогда профессоров, а именно Кавелина, Спасовича, Стасюлевича, Костомарова.

Какие же отношения установились у студентов к их новым товарищам — слушательницам? Надо прежде всего сказать, что состав студентов за мое время был довольно-таки пестрый. Были еще студенты совсем старого доброго времени, и притом двух типов. Одни, беря себе в образец немецких буршей, на первом плане ставили выпивку и посещение разных «зал» в Загибенином пере-

[1] Этот проект не встретил сочувствия как у студентов, так и у большинства профессоров; М. М. Стасюлевич с точки зрения чисто научных интересов весьма основательно возражал Ник. Ив-чу. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

улке, где студенты даже пользовались своеобразной привилегией — уменьшенной платой за вход. Эти студенты мало интересовались тем, что происходило в университете, и как-то мельком в нем показывались. Другие, напротив, весьма усердно посещали все обязательные лекции, записывали их и уже больше знать ничего не хотели, ни в какие журналы или книги, кроме разве романов, не заглядывали (газеты тогда вообще мало читались студентами). Точно так же их никогда нельзя было встретить на лекциях других профессоров. Впрочем, я думаю, что такие студенты никогда не переводились. За этой группой студентов старого времени шла довольно значительная масса, если можно так выразиться, студентов первого пробуждения новой жизни в университете; ее типичным представителем можно назвать покойного <Л. Н.> Модзалевского. Из профессоров представителем этого момента является недавно умерший академик Мих. Ив. Сухомлинов; в 1858 г. он был за границей. Его поклонники-студенты возлагали большие надежды на возвращение Сухомлинова. М. Ив., по их словам, вдохнет новую жизнь в несколько застоявшуюся студенческую среду, он их объединит. Но вот, помнится, в 1859/60 г. вернулся М. Ив., открыл свой курс по истории русской литературы и... более чем не удовлетворил своих слушателей; что же касается до попыток его сблизиться со студентами и вернуть прежнее руководительство — все это, конечно, свидетельствовало о самых лучших побуждениях с его стороны, но вместе с тем говорило и о большой наивности М. Ив. За два года пребывания его за границей студенчество несколько ушло вперед. Как на лекциях М. Ив. оно не приходило в умиление от того, что уже у Кирилла Туровского явно проступают следы народности в словах «зори румяны персты», так и в его возгласах: «Ах студенты, ах молодое поколение!» не находило никакой руководящей идеи. У Писарева М. Ив. фигурирует под именем Телицына, и, насколько я припоминаю отзывы товарищей, постоянно слушавших М. Ив. и имевших с ним более или менее близкие отношения, Писарев не особенно погрешил в своей характеристике. Когда в октябре 1861 г., после временного прекращения лекций, университет был вновь открыт, студенты, даже взявшие «матрикулы», отказались посещать лекции. Мих. Ив., все еще веря в свой авторитет у студентов, просил дозволения собрать сходку,

чтобы уговорить их возобновить слушание лекций. По счастью для него, попечитель Филипсон отказал в разрешении. Затем, как известно, после эпизода 14 октября университет был окончательно закрыт. В начале 1862 г., уже при министре Головнине, студенческий комитет организовал чтение университетских курсов в залах Думы и Петершуле; М. Ив. не был приглашен. Когда он об этом узнал, то пришел в крайнее волнение и через студента Хорошевского просил передать комитету, что он застрелится, если не будет приглашен. Комитет, однако, остался при прежнем решении, что М. И-чу и сообщил тот же Хорошевский.

— Но скажите, пожалуйста, что могут иметь против меня студенты? — спросил М. Ив.

— Да, кажется, они находят, что в ваших лекциях больше красноречия, чем содержания, — дипломатично отвечал Хорошевский.

— Представьте себе, в этом самом упрекают и французских профессоров, — возразил М. Ив. и на этом успокоился.

Огромное большинство студентов отнеслось к появлению женщин в университете как к явлению совершенно естественному и, кажется, ничем не подало слушательницам повода хотя бы к малейшему неудовольствию. Тогда у студентов уже начала сказываться большая щепетильность в охране доброго имени студента. Так, припоминаю два случая. Раз — это было в один из семестров 1859/60 г. — профессор богословия Полисадов, не окончив лекции, вышел из аудитории (первого курса), потому что небольшая группа студентов вела себя недостаточно сдержанно, особенно Горчаков, сын министра иностранных дел; было даже подозрение, что компания играла в карты. Студенты пришли в волнение, на сходках высказывались требования об исключении из университета главного виновника. «Посещение лекций необязательно, значит — раз пришел на лекцию, должен сохранять полное уважение к профессору и своим товарищам». Только извинение Горчакова перед проф. Полисадовым и аудиторией покончило это дело. Другой случай. Была какая-то выставка в Петербурге, на ней экспонировались между прочим сыры; посетители могли их пробовать. Раз распорядители заметили, что два студента, Спасский и Пережинцов (оба давно умершие), чересчур усердно пробовали

сыры. Об этом дошли слухи до университета; собралась сходка; Спасскому и Переженцову пришлось оправдываться и в конце-концов выслушать резкое порицание.

И вот при таких-то нравах за два года посещения женщинами университета не было ни одного случая, который стал бы предметом товарищеского обсуждения и тем более суда.

Как отразилось появление женщин в университете на нравах студентов? Без малейшего преувеличения могу сказать, что самым благоприятным образом. Как читатель уже знает, я поступил в университет в 1858 г. Несмотря на новые веяния, нравы студентов оставляли желать многого. Тогда студентов постоянно можно было видеть прогуливающимися в известные часы по Невскому проспекту, а он в те времена далеко не походил на нынешний; тут «наш брат студент» не только не задумывался заглянуть под всякую шляпку, но и вступал в самые непринужденные разговоры и отношения с прекрасными девицами; на Васильевском острове всякого наименования «залы» усердно посещались молодежью; попойки (водка и пиво были не в ходу, им студенты предпочитали херес и мадеру) были в большом ходу. Еще незадолго перед тем начальство на все это смотрело весьма снисходительно; преследовалось лишь всякое нарушение формы да малейшее проявление «вольного духа». Однако все неприглядные стороны студенческих нравов стали быстро сглаживаться, и в 1861 г. многое уже казалось чем-то давно минувшим. И тут, конечно, не без крупного влияния оказалось общение с интеллигентной женской молодежью.

Раз в начале 1862 г. выходил я с Н. Г. Чернышевским с небольшого студенческого собрания, на котором были две-три барышни. «А какие милые эти барышни, — сказал Н. Г., в первый раз их видевший, — большая разница против прежнего; в мое время в студенческой компании можно было встречать только публичных женщин».

Присутствие женщин в аудиториях не повлияло ли на лекторов в том смысле, что, видя в числе своих слушателей довольно большой процент лиц, быть может недостаточно подготовленных к слушанию университетских курсов, они в силу этого должны были несколько понизить научный характер своих лекций? Не думаю; по крайней мере те профессора, лекции которых наиболее

посещались женщинами, читали совершенно так же, как и ранее; смело ссылаюсь на М. М. Стасюлевича и В. Д. Спасовича, в полной уверенности, что они подтвердят мои слова.

Сколько мне известно, женщины посещали только Петербургский университет. Кавелин рассказывал, что в совете Московского университета обсуждался вопрос о допущении женщин в аудитории и большинством всех голосов против двух был решен в отрицательном смысле. «Все же нашлось два умных профессора, — заметил Кавелин, — интересно бы знать, кто это такие». Через некоторое время К. Д. получил письмо от Б. Н. Чичерина. «Вы желали знать, — писал он, — кто были те умные профессора, что подали в совете голос за допущение женщин в университет, могу удовлетворить вашему любопытству: это — Анке (медик) и Мюльгаузен (финансы)». И тот и другой были далеко не молодые профессора.

В университете, открывшемся в 1863 г., уже не оказалось места для женщин; в учебный 1862/63 г. некоторые из них начали слушать курсы в Военно-медицинской академии с намерением держать потом экзамен на ученую степень; это были Н. П. Суслова, М. А. Богданова и М. А. Бокова, но и здесь через год двери были закрыты; только покойной Кашеваровой (по мужу Рудневой) дозволено было окончить курс в уважение особенного ходатайства оренбургского генерал-губернатора.

М. А. Богданова (Быкова) более двадцати пяти лет при самых трудных условиях работала на педагогическом поприще и у всех знавших ее навсегда оставила неизгладимо признательное воспоминание. Спустя некоторое время Н. П. Суслова, потом М. А. Бокова поступили в Цюрихский университет, где и получили докторскую степень, в которой по colloquium'у [1] были утверждены в России. Вслед за ними двинулась целая волна русских женщин в швейцарские университеты, что даже вызвало особое правительственное распоряжение, направленное против посещения Цюрихского университета. Это движение русских женщин за границу отчасти способствовало разрешению медицинских курсов для женщин при Медицинской академии, закрытых в конце 80-х гг. Последующее время принесло разные специальные курсы для жен-

[1] Поверочное испытание *(лат.)*.

щин, сначала сейчас упомянутые медицинские курсы, потом Высшие женские курсы (одно время совершенно неправильно называвшиеся Бестужевскими; К. Н. Бестужев был только первым официальным председателем, — другого бы гр. Толстой не утвердил, — главным же двигателем и душою всего дела был А. Н. Бекетов), педагогические курсы ведомства императрицы Марии Феодоровны и, наконец, в недавнее время Женский медицинский институт. Как переходная мера в ответ на все более и более возрастающую у женщин потребность в высшем образовании все эти учреждения имеют свое оправдание и даже могут продолжать свое существование. Но опыт Петербургского университета в 60-х гг., а также современная практика на Западе достаточно убедительно говорят, что все высшие учебные заведения должны быть одинаково открыты как для мужчин, так и для женщин.

XV. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ, СПЕКТАКЛИ ЛИТЕРАТОРОВ И ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

Теперь литературные чтения, отчасти и публичные лекции — просто один из самых обычных способов сбора денег для разных благотворительных целей, преимущественно в пользу учащейся молодежи и разных просветительных целей. Но, понятно, вначале они имели более широкое общественное значение. На них публика не только знакомилась с ее любимыми писателями, да еще читающими свои собственные произведения, но и приобретала вкус и наклонность к более утонченным наслаждениям. Не надо забывать, что перед тем даже в интеллигентных кругах карты, еда с выпивкой и самые заурядные сплетни были довольно обычными явлениями.

Кажется, в тот год, когда я приехал в Петербург, то есть в 1858 г., товарищество «Общественная польза»[1], незадолго перед тем открывшее свою деятельность, впервые организовало целый ряд публичных лекций (в единственной тогда зале Пассажа) по естественным и прикладным наукам; в числе лекторов были проф. Ходнев,

[1] Учредители: Водов, Похитонов и Струговщиков. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Ценковский и др. Но литературные чтения начались только с открытия Литературного фонда (1859 г.). Они тоже сначала происходили в зале Пассажа; попасть на первые чтения было очень трудно, так как зала Пассажа была невелика, а желающих послушать было видимо-невидимо; и я только благодаря протекции Кавелина, который состоял членом комитета Фонда, доставал себе билеты.

На первых чтениях участвовали все корифеи тогдашней литературы: Тургенев, Гончаров, Писемский, Достоевский, Островский, Некрасов, Шевченко, Майков, Полонский. Эти чтения были интересны для публики не только тем, что она могла видеть своих любимцев, но и потому, что бóльшая часть тогдашних литераторов были отличные чтецы, чем далеко не может похвастаться настоящее время, несмотря на существование разных декламационных школ и кружков выразительного чтения. Тут дело не в оскудении талантов, а самая простая причина. Теперь что̀ читают в частных кружках? Изредка вещь еще не напечатанную, но которая имеет появиться, чаще же всего то, что по каким-нибудь причинам не может доходить до публики. Тут о каких-нибудь требованиях от чтеца и речи быть не может. В 40-х гг. (как то, между прочим, свидетельствует Достоевский) соберется, бывало, несколько человек, и если не усядутся за карты, то и примутся за чтение какого-нибудь классического произведения. Бедность тогдашней общественной жизни достаточно объясняет это расположение перечитывать в кружках вещи, уже давно каждому известные, но все же способные доставлять большое художественное наслаждение. Отсюда в чтецах вырабатывалось не столько желание произвести сильный эффект, сколько стремление точнее и проще передать всю внутреннюю красоту и правду.

Это и было видно в чтецах, выступивших на первых литературных вечерах. Честь открыть первое чтение выпала на И. С. Тургенева; в течение нескольких минут не умолкали рукоплескания; Тургенев, хотя и с заметной проседью, но еще во всей красе сорокалетнего возраста, только успевал раскланиваться; наконец установилась тишина. На этот прием Тургенев ответил так: «Как ни глубоко тронут я знаками выказанного мне сочувствия, но не могу всецело принять его на свой счет, а скорее вижу в нем выражения сочувствия к нашей литературе».

Новые рукоплескания, и только когда Тургенев дал понять, что хочет приступить к чтению, мало-помалу публика затихла.

Голос у И. С. был негромкий, не особенно приятный, но такова была простота и вдумчивость его чтения, что Хорь и Калиныч [1] стояли перед слушателями как живые; в каждом слове чувствовались все переливы их души, оттенялась контрастность двух типов. Нечего и говорить, что когда Тургенев кончил, то рукоплесканиям и вызовам не было конца; почти вся публика встала, дамы махали платками, мужчины не жалели своих рук.

Первоклассный чтец был Островский; никогда на меня «Свои люди — сочтемся» не производили такого впечатления, как в чтении Островского. Он прочел всю драму, сделав лишь очень незначительные купюры; всем слушателям драма была известна, но таково было мастерство чтения, что все прослушали ее, не только не испытав утомления, но с поразительным увлечением. Я точно сию минуту слышу Островского: «Олимпиада Самсоновна, позвольте ручку поцеловать». — «Вы дурак необразованный».

Своего рода был великий мастер-чтец Писемский. Раз он читал совершенно незначительную вещь — из «Гаванских чиновников» давно забытого Генслера. Не только все разговоры Писемский передавал так, что слушатель совсем забывал чтеца, а, казалось, слышал самих обитателей Гавани, но даже когда он рисовал картину, например корову, стоящую перед лужей и задумавшуюся, что ей делать, или кофейницу, неустанно работающую, — иллюзия доводилась до необычайного совершенства.

И. А. Гончаров на одном из вечеров познакомил публику с главой из будущего «Обрыва» — Софья Нико-

---

[1] На первом литературном вечере, 10 января 1860 г., И. С. читал «Гамлета и Дон-Кихота». Хотя эта статья и была напечатана в «Современнике», однако она лишь завершила тот разлад, который еще ранее начинал сказываться между Тургеневым и левым крылом «Современника»; последнее заподозрело, что И. С. именно его имел в виду, говоря о Гамлетах. Кстати, считаю не лишним исправить ошибку М. А. Антоновича (в его воспоминаниях о Добролюбове). Тургенев в разговоре с Чернышевским выразился: «Вы змея, а Добролюбов — очковая». М. А. Антонович передает их как раз наоборот. «Хорь и Калиныч» были прочитаны И. С. 16 марта 1860 г. в университетской зале на вечере в пользу кассы студентов университета. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

лаевна Беловодова (этот отрывок был озаглавлен «Эпизоды из жизни Райского»). Тогда Гончаров был в зените своей славы; за год перед тем вышел «Обломов», и все нетерпеливо ждали нового произведения. Он также читал хорошо, но у него была своя манера: читал как опытный докладчик, обдуманно, выразительно, но без внутреннего увлечения.

На чтениях часто выступал Некрасов;[1] читал он тихим, замогильным голосом; к некоторым стихам его это очень шло, например «Еду ли ночью...», но где требовалось больше энергии, например «Стой, ямщик», тут он не мог производить сильного впечатления. Как-то Кавелин рассказывал, что когда Некрасов в первый раз прочитал в их кружке только что написанное им «Еду ли ночью...», то все так были потрясены, что со слезами на глазах кинулись обнимать поэта. Манера Некрасова, уместная в его собственном чтении и притом, однако, не всегда производившая соответственное впечатление, тем не менее нашла подражателей; некоторые — я разумею чтецов в частных кружках — без различия, что читали, читали à-la Некрасов; тогда вообще замечалась несколько наивная подражательность; напр., многие говорили à-la Чернышевский, с постоянными «ну-с», «да-с», однообразной интонацией, как зачастую говорил Чернышевский, когда, вероятно, думал о чем-нибудь совершенно стороннем. Не скажу, чтобы Некрасова очень восторженно встречали; все высоко чтили его талант, молодежь многое знала из него наизусть, но против него как человека царило широко распространенное предубеждение. Одни говорили, что играть на его вечерах — это значит быть наверняка обыгранным;[2] другие не могли ему простить, что Белинский, для которого, собственно, и был основан «Современник», оказался в нем простым сотрудником, которым, видимо, скоро стали даже тяготиться. Затем ему ставили

---

[1] На первом чтении в пользу Лит. фонда (10 января 1860 г.) Некрасов читал «Филантроп» и «Еду ли ночью...» (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] О карточных операциях Некрасова в свое время ходило много толков; что в них правда — один бог знает, но у меня есть документальное доказательство, что Некрасов даже в 70-х гг. посещал такие притоны, как знаменитого Дубецкого, где все выдавало, а Некрасов был настолько житейски-опытный человек, что отлично понимал, где бывал, — самая квартира помещалась по одной лестнице с клубом. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

на счет «огаревское дело», до сих пор совсем не разъясненное; даже фактическая его сторона рассказывается до крайности разноречиво;[1] а партийно-литературные счеты, которые при этом сводятся, запутывают его до невозможности. Кавелин, который был в курсе этого дела, не стеснялся даже в кружке молодежи прямо говорить, что Некрасов в отношениях к Огареву сыграл очень некрасивую роль. Но никогда в те времена я не слыхал о трех тысячах рублей, якобы данных Тургеневым Некрасову для передачи Герцену, как это много позднее рассказывал Н. Успенский. Неправдоподобность этого рассказа сама собой ясна; каким образом Тургенев мог пересылать через Некрасова деньги Герцену, когда последний, несмотря даже на посредничество Ив. С., отказался видеться с Некрасовым в 1857 г.

Вне чтений я только раз видел Некрасова; это было осенью 1862 или 1863 г., хорошенько не помню. Я был у Г. З. Елисеева. Вдруг входит Некрасов; он только что вернулся из-за границы, выглядел бодро, да и сам говорил, что чувствует себя отлично. Не помню, о чем у них шел разговор, который они вели, расхаживая по комнате; но вот что сохранилось у меня в памяти. Г. З. держал себя с ним без всякой приниженности; но он, несмотря на свою довольно плотную фигуру, как-то сразу умалился; напротив, Некрасов, державший себя просто, всяким жестом, всяким словом говорил как человек «власть имущий»: казалось, что он даже вперед знал, что ему ответит Г. З., тогда как последний точно путался, точно постоянно думал: «Так ли я его понял». При оценке характера Некрасова надо всегда иметь в виду, что это был человек огромного житейского ума, ни на одну минуту не терявший из виду расчета, понимая это слово в более широком смысле, чем принято. Характерный рассказ я слышал от Н. А. Белоголового. Богдановский лечил Некрасова; когда признана была необходимость операции, Некрасову самому пришла мысль пригласить Бильрота; но он знал, что Бильрот приедет, сделает операцию и уедет, а он останется на попечении Богдановского. И вот, чтобы как-нибудь не охладить Богдановского, он через других устроил так, что Богдановский сам предложил

---

[1] В этом отношении интересно сопоставить рассказ А. Я. Панаевой (в ее «Воспоминаниях») и статью г. Гутьяра в № 1 «Русской старины» за 1903 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

вызвать Бильрота. Бильрот приехал, операция произведена, все ждут, когда Некрасов придет в чувство. Вот наконец Некрасов открывает глаза и первое, что сделал, — берет руку Богдановского и говорит: «Я этим вам обязан». Я не знаю, существовала ли до Некрасова система журнальных авансов, но во всяком случае он практиковал ее так широко, как никто; в этом многие видят что-то рыцарское. Не может быть сомнения, что Некрасов отличался редкою способностью угадывать таланты и дарования; а система авансов, хотя при ней и возможны потери, в некотором смысле прикрепощает сотрудников.

А вот Шевченко был встречен так задушевно, что, растроганный до глубины души и чувствуя, как изменяют ему силы, он ушел с эстрады; и только когда несколько успокоился, он вернулся и приступил к чтению. Этот случай мне недавно напомнил Н. Ф. Анненский. Прочел он, помнится, из «Гайдамаков» и «Думы мои, думы».

Достоевский читал в первый раз из «Мертвого дома»; ему тоже была сделана самая трогательная овация. Литературная слава его была еще в зародыше, но в нем чтили недавнего страдальца. К слову — о «Записках из мертвого дома». Там в числе сотоварищей Достоевского по каторге упоминается А — в. Это — Аристов, как мне довелось узнать в Сибири, личность в некотором роде историческая. Кажется, провинциальный купеческий сынок, промотавшийся, от которого отказались семья и родные, явился он в Петербург искать счастья. Пожить ему хотелось, а настоящего дела никакого не любил, вот и надумал он заняться политикой; заявился в III Отделение. Было это вскоре после дела Петрашевского, которое, как известно, велось министерством внутренних дел, так что III Отделение было в некотором конфузе.

— Я могу вам, — сказал Аристов, — раскрыть дело, перед которым дело Петрашевского сущие пустяки.

— Сделайте одолжение.

— Только нужно еще последить некоторое время.

— Пожалуйста.

— А для этого необходимы деньги.

— И это можно

Постепенно Аристов перебрал не одну тысячу рублей. На вопросы: «А как же дело?» — он многозначительно отвечал: «Еще немного надо подождать, чтобы

все корни и нити уловить». А той порой на легко получаемые деньги завел у себя открытый дом, почти каждый день обеды, карты и т. п. Наконец терпение Дубельта стало истощаться (о деле в свое время было доложено государю Николаю Павловичу), и от Аристова настойчиво потребовали, чтобы он наконец сообщил все, что знает. Прижатый таким образом, Аристов продиктовал огромный список людей, фамилии которых почему-нибудь случайно знал. Все оговоренные были разом арестованы, но с первых же допросов обнаружилось что-то совсем несообразное, и через несколько дней все были выпущены; Аристов же за ложный донос угодил в каторгу и как раз был в омской военной тюрьме, когда там находился Достоевский, оттуда как-то выбрался на поселение и был одно время в конторе Олекминских приисков Базилевского. Так как его биография никому не была известна, то понемногу вошел в доверие главноуправляющего (И. И. Маркелова, от которого я и слышал весь этот эпизод); тот даже сделал его чем-то вроде личного секретаря и раз взял с собой в Иркутск. На беду Аристова иркутским губернатором был Беликов, один из оговоренных им; едва тот узнал, что Аристов в Иркутске, как немедленно распорядился выслать его в самое глухое место Якутской области. Так как в дальнейших воспоминаниях мне не придется упоминать о Достоевском, то нахожу здесь нелишним сказать, что в 1864 г. я печатал (в типографии Н. Тиблена и К°) его «Эпоху». Приходилось часто видеться; редкая встреча обходилась без разговора о текущих общественных делах. Один из таких разговоров резко сохранился и остался в моей памяти. Тогда под влиянием патриотического возбуждения, вызванного 1863 г., нередко можно было слышать рассуждения о необходимости перенесения столицы в Москву. Достоевский был горячим партизаном этой мысли. Раз как-то я спросил его: «Да что же Россия выиграла бы от подобного перенесения правительственного центра?» — «А то, — с живостью отвечал Фед. Мих., — что сегодня в Москве столица, завтра это будет город с двумя миллионами населения, и тогда долго ли бы удержался теперешний порядок вещей?»

Продолжаю о чтениях. Из поэтов также часто выступали Майков и Полонский. Якова Петровича встречали с добродушною снисходительностью; чтец он был не ахти

какой; кто не знал его лично, тот мог даже заподозрить Я. П. в не совсем умелом декламаторстве. Напротив, Майков читал умно, даже с увлечением, но в нем чувствовалась какая-то искусственность. Его сначала принимали очень сочувственно; однако он скоро набил публике оскомину, слишком часто выступая с чтением «По ниве прохожу я» и т. п.

За чтениями в пользу Литературного фонда последовали чтения в пользу студенческой кассы, — они обыкновенно происходили в университете (тогда университетская зала была широко открыта, я раз даже устроил в ней концерт в пользу Никольского); а когда в 1860 г. открылась зала в доме Руадзе (ныне Кононова), то Пассаж был покинут навсегда; впрочем, успех литературных чтений был таков, что литературно-музыкальное утро в память Шевченка происходило в зале Дворянского собрания. С залой Руадзе невольно вспоминается тот вечер, кажется 2 марта 1862 г., который имел такие фатальные последствия для Пл. В. Павлова. Распорядителем вечера был Н. Л. Тиблен, в числе чтецов — Чернышевский, Павлов, В. Курочкин. Теперь не может быть спора, что чтение Чернышевского — воспоминание о Добролюбове — было неудачно. Это был его первый, да и единственный выход перед публикой; он был, видимо, ажитирован, хотя и старался показать противное. Экспромтом говорить он, видно, был не мастер, а между тем к чтению не подготовился.

Дошла очередь до Павлова. Я уже говорил выше, каким ореолом было окружено его имя, и публика приготовилась с напряженным вниманием слушать его. Он, по-видимому, заметил, что в задних рядах плохо слышали лекторов, а голос у него был слабый; он взял несколькими нотами выше обыкновенного; отсюда все чтение получило заметно выкрикивающий характер, и в то же время сильно подчеркивались слова, сами по себе не заключавшие ничего страшного. Читал он по поводу тысячелетия России; [1] основная мысль чтения была такая: как в древней, так и в новой России были известные общественные группы, пользовавшиеся теми или другими

---

[1] В академическом календаре (а других тогда не дозволялось) на 1862 г. есть его обстоятельная статья на ту же тему. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

правами, только масса населения всегда стояла вне правового порядка, и положение ее постепенно настолько ухудшилось, что можно было ожидать страшного народного взрыва. К счастью, правительство это поняло и приступило к реформе. До публики, известным образом настроенной, часто слова лектора доходили совсем в переиначенном виде; напр., Павлов сказал: «Ко времени вступления на престол ныне благополучно царствующего государя (перед тем говорил о Крымской войне) чаша народных страданий преисполнилась», — а многим послышалось *во время* и т. д. ...Вот он кончил; начались вызовы. Павлов долго не выходил, наконец показался и дал знак, что хочет говорить; мгновенно воцарилась тишина. Что было у него на уме, трудно сказать; только он произнес: «Имеющий уши слышать да слышит». После этих слов в зале произошло нечто трудно описуемое, вероятно потом оказалось немало поломанных стульев. Многие тут же громко говорили, что Павлову не сдобровать.

На этом же вечере В. Курочкин читал «Господин Искариотов, патриот из патриотов»; казалось, что потолок обрушится от рукоплесканий и криков, всякий раз сопровождавших слова: «Тише, тише, господа: господин Искариотов, патриот из патриотов, приближается сюда».

Вечер закончился исполнением в шестнадцатый раз Камаринской.

Вечер был в четверг; в воскресенье я и Н. Утин в качестве представителей студенческого комитета сочли нужным навестить Павлова. Застали его в самом спокойном настроении; он прямо сказал, что не может себе представить, чтобы ему могли угрожать какие-нибудь неприятности, так как в его чтении решительно ничего не было противоправительственного. Уйдя от Павлова, я целый день не был дома и вернулся к себе уже к самой ночи. Каково же было мое удивление, когда нашел у себя на столе записку Н. Утина: «Павлов арестован и высылается в Ветлугу, завтра назначено заседание комитета (студенческого), приходи непременно».

Те, кто ближе знал Павлова, и тогда считали его не совсем нормальным человеком. Тяжелые ли горячки (последняя осенью 1861 г.), которые он перенес не раз, или трудное положение профессора в Киевском универси-

тете — не только за время Бибикова[1], но и позднее — сделали из него человека крайне подозрительного; он, например, пресерьезно уверял, что за ним везде следят иезуиты. Общественное credo его было: la revolution par l'école[2] (это выражение он любил повторять), но не в том смысле, что школа приведет к внешней революции, а что распространение знания неминуемо трансформирует наше полуазиатское общество.

Когда Павлова выслали в Ветлугу, студентами была собрана в его пользу небольшая сумма, около трехсот рублей; узнав об этом, он написал, что просит эти деньги переслать «известному страдальцу Б.». Мы поняли, что деньги надо отправить Бакунину, незадолго перед тем бежавшему из Сибири; но хорошо, что не успели этого сделать. Когда до Павлова дошло, кого мы поняли под Б., он крайне взволновался, так как имел в виду бывшего своего ученика и любимца, студента Киевского университета Я. Ник. Бекмана, высланного в Вологду, которому деньги и были мною переданы.

Высылка Павлова находится в связи с так называемой «думской историей», то есть крушением публичных курсов; этому будет посвящен особый очерк.

Попутно с литературными вечерами совершенно уместно вспомнить о первых любительских спектаклях в пользу Литературного фонда[3]. Инициаторами их были А. Ф. Писемский и П. И. Вейнберг; последний был известен в публике под именем «Гейне из Тамбова», — под

---

[1] Как-то Павлов рассказывал нам: «Раз Бибиков собирает нас, профессоров, и студентов (Бибиков был генерал-губернатором и вместе с тем попечителем округа) в университетскую залу и держит такую речь: «Вы, профессора, можете собираться друг у друга, но только для карт; а вы, студенты, запомните: я буду снисходительно смотреть на ваши кутежи и т. п., но солдатская фуражка грозит каждому, кто будет замечен в вольнодумстве». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Революция через просвещение (*франц.*).

[3] Об этих спектаклях есть воспоминания П. И. Вейнберга, помещенные в «Ежегоднике императорских театров», сезон 1893/94 г. Приношу уважаемому Петру Исаевичу сердечную признательность за сообщение этой статьи, благодаря которой я мог здесь точно восстановить имена главных литераторов, принимавших участие в спектаклях, и роли, которые они выполняли. Мои личные воспоминания не сходятся с рассказом П. И. лишь относительно судьбы студента Ловягина, на похороны которого было выдано Лит. фондом 50 рублей, да кажется, впоследствии и матери оказывалась некоторая поддержка. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

этим псевдонимом писал в «Искре». Первый спектакль происходил 14 апреля 1860 г.; был поставлен «Ревизор». Если бы зала Руадзе была вдвое больше, то и тогда она, вероятно, не вместила бы всех желающих быть на спектакле. И еще бы! Согласно афише, в «Ревизоре» должны были выступить почти все тогда наиболее любимые или известные литераторы: Писемский — городничий, П. И. Вейнберг — Хлестаков, Ф. М. Достоевский—почтмейстер, Тургенев, Майков, Дружинин, Григорович, В. Курочкин, Островский и даже степеннейший А. А. Краевский—купцы. Но сначала скажу о двух посторонних исполнителях. Незадолго перед тем покойному П. А. Гайдебурову, тогда студенту второго курса, пришла мысль устроить спектакль в пользу студентов, причем исполнителями должны были явиться студенты. Несмотря на то, что ему помогал своими советами Самойлов, спектакль прошел плоховато; но выделился в роли Осипа студент Ловягин, никогда ранее не игравший. Только и разговоров было: вот так самородок открылся! Не удивительно, что Ловягин был приглашен на ту же роль в спектакле 14 апреля. Об его игре в этот вечер П. И. Вейнберг говорит: «Смело могу сказать, до гениальности был хорош Ловягин... ему под стать мог быть разве только Садовский». Судьба Ловягина была печальная: он простудился на этом вечере, схватил горячку, и в несколько дней его не стало. Роль Тяпкина-Ляпкина исполнял офицер Преображенского полка Всеволод Федорович Панютин, большой любитель театра, устраивавший у себя в роте солдатские спектакли и сам часто игравший на любительских спектаклях. Он был неподражаемо хорош в роли Скалозуба. Панютин и Тяпкина-Ляпкина провел бесподобно.

Надо, однако, правду сказать, огромное большинство публики не очень-то следило за художественным выполнением пьесы или за какими-нибудь недостатками в постановке ее. Ни мастерская игра Писемского, ни П. Ис. в роли Хлестакова, ни Достоевский — Шпекин, ни Ловягин — в Осипе не могли настолько увлечь публику, чтобы она была в состоянии забыть, что прежде всего собралась повидать своих излюбленных литераторов в совершенно новом положении; и настоящие театралы, а в числе их был и вел. кн. Константин Николаевич, довольно открыто высказывали свое неудовольствие, что

такое настроение публики мешает им вполне отдаться художественному наслаждению. Кульминационным пунктом спектакля стала сцена купцов (но вместо Островского в Абдулине вышел Кони), когда появились Тургенев, Григорович, Майков, Панаев, Некрасов, Дружинин. Что тут происходило в течение нескольких минут — и рассказать трудно; пусть читатель вообразит себе: Тургенев в длиннополом кафтане с головой сахара в руках! Веселый смех, рукоплескания продолжались так долго, что Хлестаков, по его словам, даже присел отдохнуть.

Во второй спектакль шла «Женитьба»; хотя в нем из литераторов участвовали, кажется, только Писемский — Подколесин, Вейнберг — Кочкарев, Ознобишин — Жевакин, он тоже привлек публику, главным образом тем, что еще была поставлена «Провинциалка» Тургенева и в ней выступила В. В. Самойлова, любимица петербургской публики, в полном блеске таланта и античной красоты, в половине 50-х гг. оставившая сцену. При появлении ее публика была так растрогана, что многие расплакались. Лично у меня о В. В. Самойловой (я только, помнится, на этом вечере и видел ее как актрису) сохранилось воспоминание как о чем-то до такой степени во всех отношениях изящном на сцене, чего более мне уже не приходилось видеть.

XVI. ПУБЛИЧНЫЕ ЛЕКЦИИ

Публичные лекции, начавшись с естественно-научных в Пассаже, скоро приняли более общий характер. Так, в пользу студентов читали в университете в 1859/60 г. проф. Никитенко, Стасюлевич, Благовещенский. В начале зимы 1861 г. Н. Ив. <Костомаров> прочел целый ряд крайне интересных лекций — «Гадячская Рада». Я был распорядителем, и по моему настоянию цены были значительно повышены против обычных. И тем не менее актовая зала была достаточно полна. Стояли морозы, в зале было в пору хоть в шубах сидеть, и тем не менее все, помнится, пять лекций одинаково усердно посещались публикой. Точно слышу Костомарова, цитирующего речь Беньевского, обращенную к казакам: «И бедному казаку и горилки нельзя будет выпить!» В том же 1861 г.

также в университете читали Брикнер (только что появившийся из-за границы) и Северцев. Лекции первого (обзор новой истории от падения Константинополя до Парижского мира) успеха не имели. С Северцевым вышло иначе; имя его было очень известно среди специалистов по его труду «Птицы Воронежской губернии»; за этот труд Северцева называли русским Одюбоном[1] и ждали от него много в будущем; в широкой публике он стал известен по своим приключениям в Средней Азии (рассказ о них незадолго перед тем был напечатан в «Русском слове»); там он попал в плен кокандцам и натерпелся всяких мучений в клоповнике. В то же время ходило неисчислимое множество рассказов об его легендарной рассеянности и забывчивости. Лекции Северцева были посвящены только что опубликованной Дарвином его теории происхождения видов. На первую лекцию собралось много публики, преимущественно из научных кругов, а также студентов-естественников. Распорядители знали, с кем имеют дело, а потому более чем за два часа отправились за Северцевым, дома, однако, его не нашли; кое-как удалось разыскать; так что лекция началась часом позднее назначенного. С первых слов Северцева видно было, что у него только материал подобран, а самая лекция совсем не подготовлена. Читает час, читает два, — ряды слушателей заметно поредели. Но вот Северцев начинает ежеминутно смотреть на часы, а лекция все не кончается; затем совсем в тон лекции произносит: «А теперь мы на часы посмотрим», — и все продолжает читать. Было уже около $11^1/_2$ часов, когда он остановился почти совсем в пустой зале. Последняя лекция даже не состоялась, — Северцев куда-то уехал.

Но, думаю, что все лекции вместе взятые не дали столько студенческой кассе, как диспут Погодина с Костомаровым. Кажется, в первой книжке «Современника» за 1860 г. Костомаров напечатал статью о происхождении Руси и выводил ее из Литвы; Погодин, защитник норманской теории, воспламенился и печатно вызвал Костомарова на публичный диспут. Он состоялся 19 марта в университетской зале; касса студентов не преминула им воспользоваться, и, несмотря на крайне высо-

---

[1] Известный исследователь американских птиц. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

кие цены, зала была донельзя переполнена. Конечно, ничего нового не сказали на нем ни Погодин, ни Костомаров. Несмотря на юмористическую форму, этот диспут весьма живо и верно был передан в «Свистке» (перепечатывается в сочинениях Добролюбова). Имя Погодина ничего не говорило молодежи. Встречен он был холодно, но проводили старика тепло благодаря его находчивости. В 1859 г. некто Перозио выступил с рядом обвинительных статей против «Общества русского пароходства и торговли», во главе которого стоял не особенно давно умерший Н. А. Новосельский (когда-то городской голова Одессы). Стороны решили прибегнуть к публичному третейскому разбирательству; в числе судей, кажется, со стороны Перозио были Чернышевский и Н. Серно-Соловьевич; супер-арбитром был избран Е. И. Ламанский. Диспут (он имел место в Пассаже) не дошел до конца вследствие шумливого вмешательства публики, состоявшей главным образом из акционеров, и Е. И. нашел нужным закрыть его, произнеся при этом: «Мы еще не созрели до публичных прений». Эти слова наделали в свое время много шума и вызвали бесчисленные протестации. Погодин же в заключительном слове сказал между прочим: «Каковы бы ни были научные результаты сегодняшнего диспута, он во всяком случае доказал, что мы созрели до публичных прений». Раздался гром рукоплесканий, и старика вместе с Костомаровым вынесли из залы на руках. Студенческая касса, помнится, заработала в этом диспуте свыше двух тысяч рублей.

В 1860 г. была восстановлена кафедра философии (закрытая вместе с государственным правом европейских держав в 1849 г.). Конкурентами на занятие ее явились в Петербурге двое: Булич, известный тогда профессор истории литературы в Казани, и П. Л. Лавров, артиллерийский полковник, профессор высшей математики и механики в Артиллерийской академии. Конечно, факультет остановил свой выбор на Буличе; но министерство, считавшее почему-то Булича опасным либералом, не утвердило его, под тем предлогом, что он не специалист по философии. Разобиженный Булич приехал и в пику министерству прочел в пользу Литературного фонда несколько лекций о Беконе Веруламском; но эти лекции только подтвердили основательность министерского неутверждения. В осенний семестр 1861 г. в Казанском универси-

тете тоже разыгралась студенческая история, и тут министерство могло убедиться, что Булич далеко не такой страшный либерал, каким оно его считало.

По примеру Булича не захотел остаться в долгу, но на этот раз перед университетом, П. Л. Лавров и тоже прочел в Пассаже, в пользу опять же Литературного фонда, три лекции о «современном значении философии». До этих лекций в большой публике Лавров был известен по очень темно (может быть, по цензурным соображениям) написанным статьям в «Библиотеке для чтения» (ред. Дружинина) о «гегелизме» [1] да его «Механической теорией мира» в «Отечественных записках» 1859 г. Эта последняя весьма основательно доказывала, что основа материалистической философии Бюхнера и К^0, такая же чистая метафизика, как и та, против которой они выступали. Отсюда возникли несколько натянутые отношения к «Современнику». На лекции Лаврова собралась публика двух сортов: одни, уже знавшие Лаврова и весьма его ценившие, другие, и притом большинство, — послушать офицера, который будет читать о философии. Лекции Лаврова имели вполне заслуженный успех. Горячим поклонником Лаврова был Кавелин; насколько мог, он старался ранее провести его в университет, при его же поддержке Лавров вошел в комитет Литературного фонда. В 1889 г. в Астрахани Чернышевский рассказывал мне: «Как вы, может быть, помните, в «Современнике» несколько прохаживались насчет Петра Лавровича; в обществе, хотя и редко, мы встречались, но, конечно, держались друг от друга в стороне (это я и сам раз заметил на вечере у Тиблена); но вот как-то довелось мне выходить с ним вместе из заседания комитета Фонда; извозчик сразу не подвернулся; идем мы с ним в одном направлении, разговорились; да и проходили мы по улицам Петербурга до рассвета, все друг друга до квартиры провожали, а разговор никак не кончается; наконец зашли ко мне и еще часа два проговорили. Да, — подумавши, прибавил Чернышевский, — глубочайшее уважение имею к Петру Лавровичу».

Не мое дело судить о значении Лаврова в истории развития русской мысли; скажу только, что он уже

---

[1] «Очерки вопросов практической философии», 1. Личность, Спб. 1860. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

в 60-х гг. производил необыкновенное впечатление: положительные науки, философия, история, науки общественные — везде он был как у себя дома. И, кажется, не будет большою смелостью сказать, что за XIX век русское общество не имело более научно-всеобъемлющего ума.

XVII. «ОСНОВА»

С января 1861 г. начал выходить в Петербурге новый журнал «Основа» под редакцией Вас. Мих. Белозерского, при весьма деятельном участии Костомарова и Кулиша. Он печатался на двух языках: беллетристика, кажется, сплошь на малороссийском, тоже отчасти и отдел корреспонденций; научный отдел велся на великорусском. Благодаря студенту Кон. Ал. Гену, родному брату жены редактора, и доныне, славу богу, здравствующей Надежды Александровны, я стал бывать на недельных журфиксах редакции; посещал я эти вечера регулярно и с большим интересом, так как это было мое первое проникновение в чисто литературные круги.

В гостиной на диване за столом обыкновенно усаживались Шевченко, Костомаров и ни на шаг от них не отходивший Кулиш. Хотя я и был знаком с Ник. Иван., но все же не решался помещаться около такого многозначительного трио; к тому же на вечерах бывало немало выдающихся нотаблей малороссов, напр. Афанасьев-Чужбинский, А. Стороженко (автор малороссийских повестей), Трутовский (художник) и другие. Помню, заметив одного довольно плотного господина, я спросил, кто это. «Муж Марко Вовчка», — получил я в ответ таким тоном, что больше сказать о нем нечего[1]. Самой Марко Вовчка, в то время крайне популярной, я ни разу не встречал. Меня особенно приковывал к себе Шевченко; ранее я видал его изредка в университете на лекциях Костомарова и на литературных чтениях, но только на вечерах «Основы» имел случай пристальнее вглядеться в его лицо. Я тогда очень мало обращал внимания на физиономии, но лицо Шевченко положительно увлекло меня. На близком расстоянии он выглядел очень

[1] Он, впрочем, был замешан в деле Кирилло-Мефодиевского общества. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

схожим, как изображен на литографском портрете Мюнстера, лицо, порядочно отекшее, носило явные следы многого пережитого Шевченко, в том числе и той слабости, которая в последние годы преждевременно ускорила его жизненный конец. Притом крупные черты лица его не производили особенно располагающего впечатления. Но стоило отойти на несколько шагов, и Шевченко становился совершенно неузнаваем: он тогда делался похожим на известный портрет-офорт его собственной работы. И все это делали его удивительные, бархатные, такие глубокие-глубокие темно-карие глаза; все лицо так ими скрашивалось, что Шевченко точно преображался, становился моложе, тихая вдумчивость и мягкость сердечная светились на его лице. Шевченко мало принимал участия в спорах, но когда он начинал говорить, точно какие-то искорки пробегали в его глазах. Несколько лет тому назад у меня с кем-то вышел спор, — какого цвета были глаза у Шевченка; ссылаясь на портрет Репина, мой собеседник утверждал, что они были серые. Не полагаясь на свою память, я обратился к уважаемой Н. А. Белозерской, которая хорошо знала Тараса Григорьевича; она подтвердила мое воспоминание и при этом прибавила, что когда Шевченко был сильно возбужден или в гневе, то из его глаз точно искры сыпались.

До 1860 г. Шевченко знали, конечно, малороссы, его имя было известно в русских литературных кружках, в широкой же публике он был почти неизвестен. Но вот в 1860 г. в журнальчике «Чтение для народа» (так, кажется, назывался) он поместил свою коротенькую автобиографию; конечно, в ней ни слова не было об его ссылке, а только простой рассказ о детстве, времени, когда он был крепостным, и как наконец выбрался на человеческую дорогу, отвечавшую его дарованиям. Статья оканчивалась указанием, что его родные все еще находятся в крепостной зависимости. «Да, милостивый государь (статья была в форме письма редактору), они всё еще крепостные». Отрывки из этой автобиографии были процитированы почти во всех журналах и газетах и разнесли имя Шевченко по всей России. Это имело последствием то, что помещик согласился отпустить на волю родных Шевченка, уже не помню — даром или за выкуп.

Шевченко умер и похоронен; осенью 1861 г. мы, сту-

денты, сидим в Петропавловской крепости. Вот раз доставляют из города новый нумер «Основы», кажется ноябрьский. Там оказалось много малороссийских стихотворений за подписью «Казак Кузьменко», — имя до тех пор совершенно неизвестное. Внизу под ними стояло примечание от редакции приблизительно такого содержания: Только что мы потеряли нашего незабвенного Тараса, как добрая мать Украина народила нового поэта, казака Кузьменка, который по своему таланту может вполне заменить Тараса. Естественно, что это примечание возбудило разговоры и интерес — кто такой Кузьменко. Спустя некоторое время тайна раскрылась: то был... Кулиш, да сам же он и примечание сочинил. Кулиш вообще много писал в «Основе» как под своим собственным именем, так и под разными псевдонимами [1]. Для чего это делалось, не знаю. С Кулишом мне раз пришлось столкнуться, и этот случай отбил у меня охоту продолжать знакомство с ним. Я был одним из распорядителей литературного вечера в пользу студентов. Ген посоветовал мне пригласить Кулиша: «Он так читает, что малороссы просто плачут, и ради Кулиша их толпа придет на вечер». Являюсь к Кулишу; он был, видимо, польщен приглашением принять участие в вечере и без колебания согласился.

— Вы, может быть, прочтете что-нибудь малороссийское, — сказал я.

— Нет, — отвечал Кулиш и затем, бог знает почему, завел невыносимо скучную и кисло-сладкую рацею насчет Малороссии. Речь Кулиша сводилась к тому, что сами они, литературные представители Малороссии, еще не знают, что такое их родной край и какую судьбу готовит ему будущее. Я торопился временем, а между тем должен был выслушивать излияния Кулиша. Наконец я как-то улучил минуту и спросил:

— Так что же вы намерены прочесть?

— Мою еще не напечатанную повесть «Тайна».

— Она не будет слишком велика?

— О нет, мое чтение займет минут двадцать, разве

---

[1] Николай М., Иродчук, Ломусь, Хуторянин, Панько Казюка, Необачный, Забоцень, Хоречко, Ив. Горза, Павло Ратай, Панько Небреха, Казак Белебень, Т. Вешняк, Гургурдядько, Опанас Прач. Д. Федоренко, Данило Юс (из «Вика», 2-е издание, т. I). (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

немного более; вы, пожалуйста, пришлите мне программу вечера ранее, чем она будет отпечатана.

Когда я потом явился с проектом программы, Кулиш, в противность моим представлениям, что неудобно ставить рядом два прозаические чтения, настоял, чтобы его очередь была сейчас же за Костомаровым. Настал день вечера, участвовали, между прочим, Некрасов, Майков[1], Полонский. Костомаров прочел поразительно блестящий рассказ «Два маляра», и долго не умолкавшие громкие рукоплескания были наградой тогда любимому лектору[2]. Когда все успокоилось, выступил Кулиш, да и читал себе под нос более часу, и все-таки не окончил всей повести. Первые ряды должны были терпеливо выносить эту скуку, но средние и задние все разбрелись по

---

[1] По поводу этого вечера мне пришлось несколько раз бывать у А. Н. Майкова; при этом, конечно, не обошлось без разговоров о текущих событиях, а именно о первых демонстрациях в Варшаве. А. Н. очень горячо нападал на нашу тогдашнюю систему управления Польшей, особенно за то, что правительство оттолкнуло от себя маркиза Велепольского (он, как известно, потом вернулся к власти в 1862 г. при назначении наместником вел. кн. Константина Николаевича). У меня отчетливо сохранилось в памяти, как А. Н. доказывал, что с польским вопросом непременно надо покончить в смысле широкого удовлетворения национальных требований поляков, так как без этого мы не можем выполнить своей исторической миссии — стать во главе объединенного славянства. Этот самый А. Н. Майков выражал полнейшее удовольствие по поводу слов Николая II, вызванных тверским адресом 1894 г. Кажется, около этого времени состоялось назначение Сухозанета, военного министра, наместником в Варшаву. Это назначение всех поразило своей неожиданностью. Кавелин рассказывал: «Д. А. Милютин, кажется в 1860 г. назначенный товарищем военного министра, подал прошение о шестимесячном заграничном отпуске, что почти равнозначаще подаче прошения об отставке. Он был вызван к государю, и результатом было: назначение Сухозанета в Варшаву, а Д. А. Милютина — военным министром». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Николай Ив. всегда охотно соглашался участвовать в литературных вечерах, вот только относительно выбора дня обязательно предстоял долгий торг с ним. «Вечер предполагается в воскресенье». — «Не могу, я еду в балет». — «Так можно перенести на среду». — «Тоже не свободен: дают «Фрейшюца», и т. д. Раз как-то завел я с ним разговор о «Жизни за царя». «Не люблю ее, казенная опера, всего только раз и видел, еще в сороковых годах». Я стал защищать «Жизнь за царя». Спустя некоторое время вижусь с Н. И. «А знаете, после нашего разговора о «Жизни за царя» я решился посмотреть ее — да теперь ни одного представления не пропускаю; когда ее смотрю, то так целиком и переношусь в Московскую Русь семнадцатого века. Удивительная опера!» (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

университетскому коридору. На меня все напали: «Охота вам была откопать эту «Тайну». Я оправдывался, ссылаясь на рекомендацию Гена, но от этого никому не было легче[1].

На сторонних, то есть не на малороссов, бывавших на вечерах «Основы», недоумевающее впечатление производило присутствие на них некоей девы Маруси. Она была настоящее, в буквальном смысле, дитя народа, одета, конечно, в народный костюм. Я не скажу даже, чтобы она была очень красива, и не уверен, знала ли она до приезда в Петербург грамоту. Помнится, один художник вывез ее с привольного юга в туманный Петербург, где она, по-видимому, должна была служить живым воплощением далекой Украины. За ней ухаживали, оказывали всякое внимание, и, кажется, это наивное дитя природы скоро и бог знает что о себе вообразило. Наконец она стала в тягость и была отправлена на родину; что с ней затем сталось, не знаю. Я упоминаю об этом незначительном эпизоде отнюдь не с обличительной мыслью, а просто время было довольно наивное, и многое, что не только теперь, но даже какие-нибудь года два спустя казалось смешным и не особенно умным, тогда делалось совершенно искренно.

На вечерах «Основы» я встречался с Ф. И. Дозе[2], имя которого упоминается в очерке «Уроки». Это был человек лет около тридцати, блестящий преподаватель русской словесности (Ларинской гимназии) и в то же время хорошо знакомый с иностранными литературами; отличный пианист, симпатичного характера, он был любим всеми, кто его знал. У него было знакомство между студентами, не имевшее, впрочем, никакого тенденциозного характера. Дозе держал себя между молодежью просто, как старый студент, да и по натуре своей, к тому же холостяк, он был таковым. Во время студенческой истории 1861 г. его связи со студентами навлекли на него подозрения, сделан был обыск; при этом, на беду Дозе, найдены были некоторые герценовские издания. Его выслали в Кострому; педагогическая карьера навсегда закрылась для Дозе, несмотря на все хлопоты А. В. Ла-

[1] «Тайна», кажется, потом была напечатана в «Русском вестнике». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] О Ф. И. Дозе есть статейка Н. А. Белозерской в «Русской старине». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

тышева, переведенного из Вологды в Петербург и по некотором времени ставшего помощником попечителя. Человек совсем не житейски-практического характера, он, однако, чтобы существовать, должен был принять службу по губернской администрации и заведовал типографией губернского правления. Кажется, в начале 80-х гг. Дозе покончил с собой самоубийством; после его смерти оказалась растрата типографских сумм в несколько тыс. рубл.

Не помню хорошенько, на вечерах ли «Основы» или у Костомарова я встречал А. Котляревского. С ним был неприятный казус; держась в стороне от всякой активной политики, он готовился к магистерскому экзамену, как вдруг в 1862 г. его арестовали, припутав к делу Кельсиева [1]. Сидит он в III Отделении и, естественно, высказывает неудовольствие, что его оторвали от научных занятий. Председателем следственной комиссии был генерал Дренякин, человек случайно выдвинувшийся, но вообще не особенно далекий [2]. Вот раз на какую-то горячую речь Котляревского он и говорит: «Ах, господин Котляревский, я хорошо понимаю, что вы недовольны. Сколько лет вы учились? Семь лет в гимназии, потом в университете, и теперь еще учитесь — и все еще ничего не достигли. А тут перед вами Дренякин, в чинах, крестах, хорошее жалованье получает. А что такое Дренякин? Что он знает? Вот иногда вздумается позвать к себе приятеля, просто чаю напиться вечером, так ведь сколько бумаги изведешь, чтобы написать две-три строки. Ну, конечно, видите вы такого Дренякина, вам и завидно, и недовольны вы; а право не позавидовали бы, если бы знали, что Дренякину пришлось вынести на своем веку, — ведь в молодости тысячу душ прокутил».

Редактор «Основы» В. М. Белозерский (он был в 1849 г. по делу Кирилло-Мефодиевского общества выслан в Петрозаводск) в журнале не играл достаточно авторитетной роли; тон ему больше задавал Кулиш.

---

[1] Кельсиев, уже будучи эмигрантом, секретно приезжал в Россию и был в Москве, — это, должно быть, происходило осенью 1861 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Командированный для наблюдения за первым применением «Положения 19 февраля», он по своей ограниченности учинил ненужную пальбу. В 1864 г. Муравьев его и Потапова выпросил себе в помощники; но Дренякин скоро попал у него в немилость за недостаток энергии и строгости; в таком же положении, как известно, очутился и Потапов. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)



Группа арестованных студентов С.-Петербургского университета. Фотография 1861 г.

Секретарем редакции был А. Ф. Кистяковский, служивший в сенате и готовившийся к магистерскому экзамену; он тогда поражал своей сонливой флегмой, и, вероятно, никому не приходило в голову, что из него со временем выработается талантливый профессор и криминалист. «Основа» просуществовала недолго, финансовое положение ее было не блестяще, и в 1862 г. до окончания года она закрылась. Неуспех журнала (несмотря на сравнительно умеренную цену, «Основа» не расходилась и в 2000 экз.) отчасти, может быть, зависел и от того, что во главе его стоял В. М. Белозерский. Ни ученых, ни литературных выдающихся заслуг за ним никаких не имелось; сколько помню, раньше, чем стать руководителем журнала, он редактировал какой-то сборник документов, относящихся до южнорусской истории[1] и, кажется, ничего более. В журнале особенного публицистического таланта он не проявил, а рядом с ним стояли Кулиш, с именем в литературе, человек крайне самолюбивый и стремящийся играть первую роль; Костомаров, тогда в зените своей популярности, хотя таких притязаний и не заявлял, но, как человек крайне впечатлительный, вспыхивал иногда как порох, и с ним приходилось ладить, как с малым ребенком. В. М. и старался быть дипломатом, но и в этой роли больших способностей не проявил. Дипломатия его сводилась главным образом к тому, что, с кем бы он ни говорил и о чем бы ни говорил, любезная улыбка не сходила с его лица. Никогда мне не приходилось видеть, чтобы он резко спорил, — не в смысле тона, а определенно поставленного вопроса и ясно высказанного мнения; даже с нашим братом, молодежью, он так же себя держал, — а ведь с молодежью-то и надо говорить без всяких экивоков. Конечно, были два вопроса, и притом первостепенной важности, где Вас. Мих. нельзя было отделываться улыбкой и его дипломатической манерой вести беседу, это — крепостной вопрос и борьба против польских притязаний на Юго-Западный край. В первом — «Основа» стояла на стороне самого широкого решения дела, во втором — в полемике с Падалицей, Грабовским и другими польскими публицистами Костомаров давал исторически обоснованный и горячий

[1] «Южнорусские летописи», т. I, Киев, 1856. (Со слов Н. А. Белозерской). (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

отпор. Кульминационным пунктом этой борьбы является открытый переход на сторону идей «Основы» двух молодых людей, которых поляки считали своими, — В. Антоновича (теперешний профессор Киевского университета) и Рыльского [1] (при этом оба перешли в православие). Но та же полемика против польских притязаний ставила иногда «Основу» и в щекотливое положение: приходилось давать место на своих страницах таким лицам, как, например, Юзефович (помнится, бывший помощник попечителя Киевского учебного округа за время Бибикова). Но если прежнее поколение поляков представляло себе Польшу не иначе как «от моря и до моря», то и пределы Малороссии в свою очередь так расширялись, что им не было точно определенных границ ни с запада, ни с востока, не говоря уже о севере. Отсюда и вышло то, что в крестьянском вопросе «Основе» пришлось столкнуться с влиятельным классом не только в Юго-Западном крае, где он почти исключительно состоял из поляков, но и там, где никакого полонизма и следа не было. А время, когда выходила «Основа», было самым острым в развитии крестьянского дела, — время первого применения «Положений» 19 февраля. Положение «Основы» стало особенно затруднительным, когда на нее ополчился кн. Васильчиков, тогдашний киевский генерал-губернатор, не благоволивший вообще к малороссам (Шевченко в свою последнюю поездку на родину был даже арестован) и бывший под значительным влиянием южнорусских магнатов; а с другой стороны: сначала выступил Соловьев с полемикой против Костомарова о значении казачества (Соловьев видел в нем лишь антигосударственный элемент), а по времени раздался голос и Каткова. Впервые он выступил против украйнофилов, сколько помню, по следующему обстоятельству. Н. И. Костомаров напечатал воззвание о сборе денег на издание книг для народа на малороссийском языке. Оно имело успех, и деньги начали поступать. В горячей статье восстал Катков; статья заканчивалась словами: «Бросьте эти деньги, Н. И., они жгутся в руках». Оппозиция Каткова не осталась без

[1] Рыльский был вызван в конце 1862 г. «Землей и волей» (за ним ездил И. Г. Жуков) в Петербург. Имелось в виду установить более определенную связь «Земли и воли» с малороссийским движением. Это, кажется, было после переговоров с Падлевским. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

практических последствий, сохранивших свою силу и до сего дня.

С самим В. Мих. произошел неприятный казус, — у него был сделан обыск, и хотя ничего не было найдено компрометирующего, однако ему было заявлено, что он должен оставить место, — В. М. служил в канцелярии Государственного совета. Это, если не ошибаюсь, случилось в 1863 г. Куда было деваться? В виде компенсации ему через Гильфердинга было предложено место профессора в варшавской Главной школе (кажется, славянских языков); никакой подготовки он для этого не имел, но скрепя сердце принял предложение и стал готовиться к отъезду. Раз я возвращаюсь домой и нахожу записку В. М.: «Был у вас, очень жалею, что не застал дома, хотел проститься; еду в Польшу, на службу в учредительный комитет, но мои занятия будут чисто кабинетные». В последних словах как бы сказывалась некоторая попытка оправдать себя за принятое место. Тогда далеко не все благословляли отправлявшихся на службу в Царство Польское и Западный край. В Польше В. М. одно время был правителем дел учредительного комитета, а затем дослуживал до пенсии в звании члена судебной палаты в Варшаве. Играл в карты и по всей Варшаве прославился своими долгами. В начале 90-х гг. он вернулся в Петербург, но уже не показывался в тех кругах, с которыми мог бы возобновить отношения как один из деятелей 60-х гг., а занимался проведением разных спекулятивных предприятий, впрочем без всякого успеха. Он умер 20 февраля 1899 г. Все время семья его оставалась в Петербурге, и всех детей воспитала и поставила на ноги Надежда Александровна исключительно своим трудом.

Как известно, из малороссов не один В. М. уехал в Царство Польское; туда же направился и Кулиш; он, однако, там оставался не особенно долго; после того одно время он стал горячим полонофилом, даже переселился было в Галицию; впрочем, не остался там навсегда, вернулся в Россию и тоже не особенно давно умер на своем хуторе Мартыновке. Громека, ставший потом губернатором в Царстве Польском, тоже был малоросс, но настоящие малороссы почему-то чуждались его даже и в то время, когда он блистал своим либерализмом и грозил Чернышевскому, что в награду за его

статью о Поэрио он пошлет ему свой старый жандармский мундир [1].

А. Ф. Кистяковского, по отъзде его в Киев, я лишь раз видел, — это было в начале 80-х гг.; только что был введен новый университетский устав. В Киев частным путем, через В. И. Модестова, дано было знать, что над некоторыми профессорами готова разразиться гроза по подозрению в украйнофильстве. Незадолго перед тем в разных университетах было уже уволено несколько профессоров. Вот по этому случаю и приехал Кистяковский в Петербург. Он был у министра И. Д. Делянова, который имел то редкое качество, что всем и всякому был доступен и охотно пускался в собеседование. Я как раз видел А. Ф. после свидания с министром. «А знаете, А. Ф., ведь о вас очень и очень нехорошие сведения, — по обыкновению несколько покачивая головой, сказал Иван Давыдович, — уж, право, не знаю, как и быть с вами». Однако, выслушав Кистяковского, отпустил его с миром, прибавив на прощание: «Только будьте, А. Ф., осторожнее, да и товарищам вашим то же передайте». Тогда, помнится, был уволен Мищенко, но потом назначен в Казань.

У Ив. Дав. была черта — решительные меры он всегда принимал под чьим-нибудь давлением; но раз замечал, что давление несколько ослабевало, то он и не доводил дела до конца.

XVIII. СТУДЕНЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

О студенческой истории 1861 г. в разное время было довольно писано; [2] потому я здесь главным образом ограничусь лишь тем, о чем, кажется, никогда не было говорено. Волнения тогда охватили все университеты, кроме Дерптского; но в то время как во всех других университетах они продолжались только по нескольку

---

[1] Эта угроза была им высказана через Кавелина. В «Полемических красотах» Чернышевского есть шутливый намек на это обстоятельство. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Между прочим: В. Д. Спасович, «Пятидесятилетие С.-Петербургского университета»; И. Е. Андреевский — «Русская старина», май 1882 г. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

дней (например, в Москве все кончилось так называемой «битвой под Дрезденом», то есть сходкой перед домом генерал-губернатора и препровождением студентов в Тверскую часть), в Петербурге история затянулась на целый месяц и в конце концов привела к закрытию университета. Правила о воспрещении сходок, закрытии кассы и студенческой библиотеки, обязательной плате за слушание лекций были распубликованы еще в конце лета, тотчас по вступлении в министерство гр. Путятина, который был выдвинут гр. Строгановым и даже в мелочах следовал его указаниям [1]. Едва университет был открыт, как сейчас же сформировался негласный студенческий комитет, который и решил вести самую энергическую борьбу против новых правил. Несмотря на то, что члены его один за другим подвергались аресту, он, однако, постоянно обновляясь, просуществовал целый месяц и достиг в результате крайней намеченной цели — закрытия университета. Не раз высказывалось прямое утверждение, что студенческое движение в Петербурге было муссировано со стороны, а не шло непосредственно от самих студентов. Прежде всего винили профессоров, но это чистейшая выдумка, которою мог разве утешаться гр. Путятин. Руководящий студенческий кружок даже был очень мало осведомлен о борьбе, которую вел совет университета с министром. Многие из профессоров, например Кавелин, Б. Утин [2], Стасюлевич, Спасович, даже поплатились частью своей популярности за то, что старались удержать студентов от всякого активного сопротивления. Далее указывалось на поляков, но об этом уже говорилось в своем месте. Наконец, притягивалась к от-

---

[1] 27 сентября была отправлена к министру депутация от студентов с адресом; я был в числе депутатов. Министра не застали дома и решили ждать; сидели в приемной более двух часов. Наконец приехал министр, но отказался принять депутацию; только после долгих переговоров согласился выслушать одного кого-нибудь из депутатов; к нему отправился студент Леонард. Той порой дежурный чиновник добродушно рассказал нам: «К министру приезжал граф Строганов и просил передать ему, что явится депутация от студентов, так он бы ее не принимал». — «Так граф Строганов сказал?» — переспросил Путятин. «Так точно». — «Ну, так скажите им (то есть депутатам), что я не могу их принять». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Н. Утин даже рассорился со своим братом, проф. Б. Утиным, и при своей обычной несдержанности в выражениях называл его дураком. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

вету та группа, которая как бы олицетворялась в «Современнике». Чернышевского как раз не было в Петербурге [1], когда разыгралась студенческая история, он находился в Саратове; Добролюбов, вернувшийся из-за границы, умирал, да и связей между студентами не имел. В руководящем кружке был студент Е. П. Михаэлис, находившийся в близких отношениях к Н. В. Шелгунову (брат жены Шелгунова); этот студент действительно поддерживал в комитете все более резкие предложения; но ведь один Михаэлис, если даже допустить, что им руководил Шелгунов, не мог всех увлечь, притом же он был в числе первых арестован. В разгар истории Г. З. Елисеев с другим, очень выдающимся, сотрудником «Современника» (М. А. Антоновичем) явились к студенту М. П. Покровскому (тоже члену кружка и притом наиболее возбужденному, о нем еще будет речь) и поставили ему такой вопрос: «Есть у вас триста человек на все готовых?» — «Да», — ответил слишком самоуверенно Покровский. Но когда они развили ему один крайне фантастический проект [2] (на него есть намек у Н. Н. Страхова в материалах для биографии Ф. М. Достоевского. На мой вопрос, откуда он это знает, Страхов ответил: «Да мне говорил о нем М. П. Покровский»), то разговор кончился ничем. Как-то раз я и Н. Утин рассказали Чернышевскому этот эпизод. «Не удивляюсь, — отвечал Николай Гаврилович, — ведь Григорий Захарович, несмотря на свои седые волосы, самый юный в редакции «Современника». Н. А. Серно-Соловьевич тогда мало был известен среди университетской молодежи. В комитете за наиболее активное сопротивление были Неклюдов, Н. Утин — оба, как я положительно знаю, в то время не имели связей в литературных кругах, — вышеупомянутый Михаэлис, Покровский, большой приятель Страхова, — трудно себе представить, чтобы последний мог инспирировать Покровского; был еще К. Ген, родственник В. М. Белозерского, но Ген только молча на все соглашался; что касается лично меня, незадолго перед тем на вечерах «Основы» начавшего знакомиться с литераторами,

[1] Он уехал из Петербурга 17 августа, а вернулся к 26 сентября, то есть когда история уже разыгралась. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Захватить в Царском Селе наследника (Н. А.) и за освобождение его предъявить царю (находился в Ливадии) требование конституции. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

то я в комитете решительно восставал против проекта торжественного сожжения матрикул, до чего, впрочем, дело и не дошло. Но важно вот что. Путятинские мероприятия вызвали неудовольствие не в одной только университетской сфере или либеральных литературных кругах; все общество было ими взволновано; в них увидели явный поворот к недавнему прошлому, к ограничению числа студентов, и притом даже не по конкурсному экзамену, а на основании имущественного положения. Это настроение общества не было секретом для студентов; напротив того, они везде слышали одни слова: «Неужели вы, студенты, не постоите за себя?» Когда часть студентов, и притом довольно значительная, взяла матрикулы, они, однако, после событий 14 октября [1] не ходили на лекции, и пустой университет пришлось закрыть. Этим пассивным сопротивлением они желали оправдать себя не только перед товарищами, сидевшими под арестом, но и перед обществом; матрикулистов везде встречали сухо, а нередко им приходилось выслушивать и прямые упреки. Когда студентов освободили, то их чуть не на руках носили. Я давал уроки у Н. И. Погребова (тогда городской голова), меня никем не замещали в течение почти двух с половиною месяцев в ожидании моего освобождения. Живя перед арестом в Большой Конюшенной, я часто заходил в кондитерскую-булочную Вебера; когда 6 декабря вернулся на старую квартиру, где даже прислуга чуть не со слезами радости на глазах встретила меня, то вскоре как-то зашел к Веберу; едва меня увидели, как все выбежали, чтобы повидать, пожать мне руку; расспросам не было конца. Какой-то Евреинов разыскивал меня и наводил справки, не получал ли я стипендию имени, кажется, его брата, чтобы оказать мне материальную поддержку. И кто из потерпевших тогда студентов, нередко совершенно неожиданно для себя, не был предметом самого сердечного внимания.

Но никогда не надо забывать, что общественное сочувствие есть столь деликатно-тонкая нить, что она по-

---

[1] Тогда (то есть после ареста перед университетом около двухсот студентов, причем некоторые были избиты (довольно тяжело ранен студент Лебедев); в действии была рота Преображенского полка под командой Толстого), подали в отставку: Кавелин, Спасович, Стасюлевич, Б. Утин и Пыпин. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

рой рвется от простой неосмотрительности и даже случайности. Это и нам пришлось испытать после так называемой «думской истории» с Н. И. Костомаровым.

XIX. ВЕЧЕРА ШТАКЕНШНЕЙДЕРА, ТИБЛЕНА И ДР.

С декабря 1861 г., то есть когда студентов выпустили из крепости, круг вечеров, на которых я стал бывать, значительно расширился. Настроение общества было крайне приподнятое; куда ни придешь, везде шум, говор, оживленные споры, а главное — всеобщее ожидание чего-то очень крупного, и даже в ближайшем будущем. Что касается нас, бывших студентов, то мы везде не только встречали радушный прием, но и, видимо, были желанными гостями. Нечего греха таить, все это мы принимали как законную дань за наше поведение в осенней истории 1861 г. Но так как молодости будущее всегда представляется в несколько ускоренном темпе движения, то мы отнюдь не считали нашу песенку спетой и не только сами были уверены, а и другим давали понять, что осенняя история — лишь начало той общественной роли, к выполнению которой «мы» призваны; да и общий хор вторил нам, что мы — именно то «молодое поколение», которому суждено наконец «хорошие слова» превратить в живую действительность. Известные стихи М. И. Михайлова, адресованные им из крепости к студентам, не были выражением только его личных чувств, а отражали широко распространенное настроение.

Я стал бывать на вечерах Штакеншнейдера. Старик был известный в свое время архитектор в Петербурге (между прочим, его постройки дворцы великих князей Михаила Николаевича и Сергея Александровича); жил он широко, у него был свой дом на Миллионной. В мое время душой вечеров являлась старшая дочь, Елена, — личность в высшей степени симпатичная, с широким литературным образованием, с тонким художественным чутьем. На этих вечерах собиралось самое разнообразное общество — между прочим, художники, много литераторов довольно различных направлений. Тут я имел возможность ближе присмотреться к Помяловскому,

конечно в те разы, когда ему удавалось удержаться от посещения буфета. Говорю — удавалось, потому что роковая страсть не всегда владела им; даже в последние годы выпадали иногда целые недели, что он преодолевал ее. И тогда что это был за удивительный человек! В нем особенно поражала одна черта, не часто в те времена встречавшаяся в представителях молодого поколения: у Помяловского и следа не было заметно книжного развития. Казалось, что он вырос среди известных идей, что жизненные идеалы того времени составляли реальную действительность, окружавшую его с раннего детства. Где других мучило сомнение или запутанная сложность явлений, там для Помяловского все было просто и ясно как божий день. И вместе с тем его мысль не отзывалась тою поверхностностью, для которой все вопросы давно решены, остается только повторять готовые формулы. В обществе, о чем бы ни шел разговор, это был блестящий собеседник; его речь была жива, остроумна, но всегда сдержанна; его разливистый смех не только не резал уха, но всех заражал веселостью. Самая наружность Помяловского невольно привлекала к нему; его густые русые волосы от природы закидывались назад над лбом и делали лицо его открытым, смелым, но не вызывающим, а голубовато-серые глаза отражали детски-бесхитростное и любящее сердце. Не только все чтили в нем крупный талант, но кто хоть раз встречался с ним в светлые минуты, тот не мог не поддаться обаянию его привлекательной личности. И сколько людей принимало в нем самое сердечное участие и старалось удержать от слабости, губившей его. Особенно им был увлечен Я. П. Полонский; в 1862 г. он даже перевез его к себе на квартиру (незадолго перед тем Я. П. овдовел) и прибегал к разным так называемым симпатическим средствам лечения. Из них, конечно, самым сильным была та беззаветно чистая привязанность, которую Я. П. питал к Помяловскому. Последний плакал иногда, как ребенок, делал над собой невероятные усилия, останавливался на одну-две недели и затем вдруг пропадал, и Я. П., бывало, немалых трудов стоило разыскать его в какой-нибудь трущобе, и можно себе представить, в каком ужасном виде.

Одно время Помяловский работал в воскресной школе и обнаружил такой педагогический талант, что его уче-

ники в самое короткое время усваивали то, что у других преподавателей, и притом далеко не рядовых, доставалось им лишь после многих месяцев.

Портрет Помяловского в издании Мюнстера очень хорош. К слову сказать, эта почти забытая серия по большей части дает очень схожие портреты.

На вечерах у Штакеншнейдера я познакомился с Я. П. Полонским; он с первого же раза стал держать себя как старый товарищ. Одно время я нередко бывал у него, даже сделал в его квартире своего рода склад, когда что-нибудь находил неудобным держать у себя. Раз как-то Я. П. и говорит:

— А послушайте, Пантелеев, что мне достанется, если найдут у меня?

— Если сразу скажете, что получили от меня, то не особенно много, а упретесь, то вам с вашей музой придется перебраться в Сибирь.

— Черт побери, я не хочу ни того, ни другого!..

— Так я унесу обратно.

— Нет, я не к тому говорю, а надо, значит, спрятать, чтобы кто-нибудь не увидал.

Я. П. и тогда все любили, хотя и называли «большое дитя»; его странности, рассеянность и житейская непрактичность постоянно давали повод ко множеству анекдотов. Расскажу один из них, идущий от Федора Ильича Байкова. Но прежде два слова о самом Байкове, имя которого знают у нас очень немногие, а между тем это был выдающийся талант; люди понимающие ценят Байкова за его кавказские виды и тамошний жанр выше прославленного Горшельта. Старая Академия не нашла Байкова достойным заграничной командировки. Он кончил Академию около 1840 г. и тогда же уехал на Кавказ; кажется, в середине 60-х гг. вернулся в Петербург и решил на свои средства привести в исполнение свою постоянную мечту — поехать в Италию. Но средств у Байкова хватило доехать только до Дрездена; перебиваясь кое-как от продажи своих картин, добрался он до Вены и, наконец, на третий год по выезде из России был уже близко от Италии, в Триесте. В этом городе, совершенно далеком от всяких художественных интересов, Байков и прожил почти двадцать лет, до самой своей смерти в 1891 г., как поселился в «Hôtel de Lorm», так в нем и умер. Даже в Венеции ему не довелось

побывать. Раз ему предложили даровой билет туда. «Не могу, — отвечал Байков, — пока здесь не разделаюсь с кое-какими должишками». Как я уже сказал, картины его продавались, но при этом львиная доля доставалась посредникам; к тому же он часто раздаривал свои картины, а потому вечно был не при деньгах. В его характере, вообще очень своеобразном, была черта, что он не выносил замечаний людей, ничего не понимающих в искусстве, какое бы высокое положение они ни занимали. Раз заказал ему наместник граф Воронцов какую-то картину, где сам должен был фигурировать. Картина готова, но Воронцов потребовал, чтобы был перерисован конь, на котором он сидел, — вместо белого ему понадобился вороной. Байков смолчал и взял картину обратно; простояла она у него несколько месяцев, а он и не подумал исполнить желание Воронцова. Но вот является посланный от Воронцова с настоятельным требованием, чтобы картина была немедленно закончена. Байков отвечал: «Хорошо». Вскоре приходит к нему Як. Петр.

— Ты мне друг? — спрашивает его Байков.

— Конечно, — отвечал Я. П., — разве можно в этом сомневаться.

— Так обещай мне сделать, что я тебя попрошу.

Не зная, чего от него хочет Байков, Я. П. начал было упираться.

— В таком случае выходит, что ты мне не друг.

Кончилось тем, что Я. П. дал слово.

— Так вот что: возьми ружье и выстрели в эту картину, я ее видеть не могу, а у самого руки не поднимаются.

Я. П. стал было отговаривать, но Байков стоял на своем и ссылался на слово, данное Я. П. Тогда Я. П. берет ружье и очень удачно выстреливает в картину.

— Теперь вот еще что: пойди к Воронцову и скажи, что все это вышло случайно: ты взял ружье, а оно само у тебя выстрелило.

Пошел Я. П. к Воронцову; тот, выслушав без вины виноватого Я. П., сказал:

— Много вы здесь глупостей наделали, но эта превосходит всё; пора бы вам, Яков Петрович, убираться с Кавказа.

Этот случай мне лично подтвердил Я. П. в 90-х гг. Несмотря на эту историю, Я. П. до конца сохранил очень

дружеские отношения к Байкову и даже навещал его в Триесте [1].

Вскоре после моего возвращения в Петербург, в 1877 г., я случайно встретил на Невском Я. П.; он очень обрадовался, увидавши меня, взял мой адрес, приехал ко мне и просидел целый вечер. Вот в одну из пятниц и я заявился к нему; в числе гостей встретил двух старых товарищей, М. П. Покровского и А. А. Штакеншнейдера (юрист). Покровский — дельный студент естественного факультета, в студенческой истории 1861 г. играл чуть не самую выдающуюся роль; ему долго удавалось избегнуть ареста, и он продолжал руководить студентами, когда почти все члены негласного комитета были уже арестованы; его авторитет был настолько велик, что предположенная было сходка у Казанского собора не состоялась только потому, что он передумал насчет ее уместности. Он был выслан; в ссылке пыл его настолько остыл, что, будучи еще студентом в хороших отношениях со Страховым, вернувшись в Петербург, совершенно подпал под его влияние. Мы встретились не то что сухо, а как бы люди, у которых в прошлом было мало общего. Но это не существенно; а вот Штакеншнейдер пристал ко мне с такими неделикатно-инквизиторскими расспросами, что, зная его как завсегдатая вечеров Я. П., я решил более не посещать их. Потом скоро уехал на Амур; после нескольких лет, опять вернувшись в Петербург, изредка встречался с Я. П. (в последний раз на первом общем собрании Союза писателей [2]), и, видимо, эти встречи были ему приятны; впрочем, мы говорили только о временах давно минувших.

Кажется, на вечерах у Штакеншнейдера я встречал Писемского; он тогда редактировал «Библиотеку для чтения», и молодежь сторонилась от него. В «Библиотеке» Писемский обесславился как своими фельетонами за подписью «Никита Безрылов», так и многим другим, что появлялось в журнале, где боевую роль играл Д. Ф. Щеглов (псевдоним «Охочекомонный»). Впрочем, его отношения к журналу характеризует следующий

---

[1] У меня есть четыре картины Байкова. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] На первом общем собрании он был выбран в суд чести, но вскоре наступившая болезнь помешала ему принять участие в трудах суда чести. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

случай. Раз он встречает на Невском М. И. Семевского.

— Михаил Иванович, дайте что-нибудь в «Библиотеку».

— Странно мне это слышать, Алексей Феофилактович, — отвечал Семевский, — когда меня чуть не в каждом нумере «Библиотеки» ругают.

— Не может быть!

— Вы, редактор, разве этого не знаете?

— Стану я за тысячу двести рублей (получаемых от издателя Печаткина) читать всю «Библиотеку»!..

Писемский, как известно, в выражениях не любил стесняться; Кавелин рассказывал: когда обсуждался, кажется, проект Литературного фонда, возник вопрос, принимать ли в члены дам. «Разве легкого поведения, — отозвался Писемский, — добродетель-то нам с Майковым и дома опостылела». Оба тогда жили в доме Куканова на Садовой.

Бывал я также на вечерах Н. Л. Тиблена, тогда очень популярного издателя. Знакомство с ним меня самого толкнуло на издательскую дорогу. Тиблен был сын тоже в свое время небезызвестного архитектора [1], обытальянившегося француза, а мать у него была настоящая француженка. Он получил образование в Артиллерийском училище и принял участие в самом конце Севастопольской кампании; вел жизнь, по его собственным словам, очень рассеянную. Вернувшись в Петербург, он, однако, скоро оставил военную службу и поступил в департамент общих дел министерства внутренних дел, был там столоначальником и несомненно сделал бы административную карьеру, но предпочел другую дорогу. Личных средств у него не было; лишь женившись [2], получил за

[1] Был в числе других придворных архитекторов, которые перед пожаром Зимнего дворца слышали запах гари, но не могли определить, откуда он идет. После пожара потерял свое место при дворцовом управлении. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] На Евгении Карловне Задлер (ее отец — доктор — был первый приглашен к Пушкину); она была почти невестой Винекена, племянника Штиглица, но Тиблен отбил, — это уже было признаком нового направления жизни. Отец Евгении Карловны был женат на дочери известного в свое время Рауха, он был лейб-медиком, но лишился этого звания, так как заявил Николаю Павловичу, что его любимая дочь Александра Николаевна (что была за кассельским принцем) не может быть вылечена. «Слышать этого не хочу, ты мне отвечаешь за нее». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

женой тридцать тысяч рублей. В то же время родные по жене были люди состоятельные. Тиблен пригласил их в компанию, открыл по тогдашним временам большую типографию (три скоропечатные машины) и начал издательское дело; потом он выделился из типографии, а сам остался при одних изданиях. Тиблен был человек без основательной научной подготовки, но очень способный, и видно было, что одно время он много и с толком читал [1], к тому же в совершенстве знал французский, немецкий и английский языки. Он способен был много работать; зачастую ночи напролет просиживал за корректурами, так как, не полагаясь даже на патентованных переводчиков, он сам все выверял по подписным корректурам, и случалось, что живого места не оставалось от первоначального перевода. Издательское дело шло у него хорошо; тогда завод в три тысячи экземпляров не считался большим, и через какой-нибудь год, много два, часто требовалось новое издание. Но... «женщины — вот что его сгубило», и Тиблен, несмотря на всю свою изворотливость, кончил плохо: во второй половине 60-х гг. бежал за границу, оставив неоплатные долги.

У Тиблена тоже собиралось крайне разнообразное общество, но преимущественно профессора и литераторы. также много университетской молодежи. На этих вечерах я встречал Чернышевского, Костомарова, Лаврова, Страхова, Н. Н. Соколова (химика), А. Н. Бекетова, Бибикова (переводчика экономистов), А. Н. Энгельгардта, Соколова (впоследствии автор «Отщепенцев»), М. М. Достоевского (редактор-издатель журнала «Время»), Думшина (переводчика), Кулиша и др. Если на вечерах у Штакеншнейдера еще сказывался тон старого общества — иные приходили даже во фраке, — то у Тиблена уже царили начинавшие тогда проявляться простота и непринужденность. Общих разговоров обыкновенно не было, а все разбивались на небольшие группы. Тут громче всех сказывались голоса Энгельгардта и Биби-

---

[1] Интересно, что первый толчок в этом направлении дал ему министр внутренних дел Ланской. Раз Тиблен, еще в самом начале службы по министерству внутренних дел, был дежурным; заходит в дежурную Ланской и застает Тиблена за чтением французского романа. Ланской разговорился с ним и посоветовал ему читать что-нибудь посерьезнее, на первых порах рекомендовал «Русский вестник». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

кова, отчаянных говорунов и спорщиков; Костомарова чаще всего забирали в плен дамы. Мое внимание особенно привлекала личность Н. Н. Соколова; обыкновенно говорил он мало, всегда спокойно и замечательно умно — шел ли разговор о людях, или отвлеченных предметах, а главное — никогда не затруднялся высказывать свое мнение, хотя бы оно и не совпадало с ходячими тогда взглядами. В его манере вести беседу было что-то аристократически-сдержанное и в то же время как бы говорившее: я знаю, что вы мне скажете, и знаю, что мой ответ вас не удовлетворит; жаль, что вы не проштудировали хорошенько логику Милля. Эту книгу он имел пристрастие всем рекомендовать.

Всегда с улыбкой и по-джентльменски вел спор П. Л. Лавров (я тоже встречал его у Штакеншнейдера); такого же высокого роста (и тоже полковник), Соколов («Отщепенцы») был ему прямою противоположностью: он уже и тогда обнаруживал наклонность не только к крайнему радикализму, но и к той откровенности в выражениях, дальше которой у нас в печати, кажется, никто не пошел.

Раз как-то Тиблен сказал мне: «Приходите к нам, когда вздумаете, обедать, всегда найдется прибор». Я этим приглашением и воспользовался, так как редко случалось, чтобы у Тиблена не бывало за обедом кого-нибудь из профессоров или литераторов. Одно время часто встречал Н. Н. Страхова (он переводил для Тиблена Куно Фишера), и так как мне не предстоит говорить о нем особо, то я и сделаю это теперь. Когда я впервые стал встречать Н. Н., то многие с сожалением говорили, что он совсем напрасно забросил свою настоящую дорогу — естественные науки (он, кажется, тогда преподавал в гимназии естественную историю), так как его диссертация «О костях запястья» давала основание надеяться, что из него мог выработаться незаурядный ученый. В начале 60-х гг. Н. Н. считался большим знатоком философии, особенно немецкой, и одним из самых убежденных гегельянцев. Его дружеские связи с наиболее выдающимися студентами, особенно с М. П. Покровским, сделали его имя довольно популярным среди молодежи; последняя пирушка в честь высылаемых студентов была устроена в квартире Н. Н. Я иногда захаживал к нему. Помню, как-то раз застал

его за чтением Тургенева. «Вот я перечитываю Тургенева, — сказал Н. Н., — и, право же, в одной его страничке больше истинной поэзии, чем в целом романе Жорж Занд». Когда вышли «Отцы и дети», Н. Н. посвятил Тургеневу восторженную статью; но прошло каких-нибудь пять-шесть лет, и в романах того же Тургенева Н. Н. уже видел только бледные и маложизненные акварели. Это произошло после того, как Тургенев напечатал в «Вестнике Европы» свое знаменитое объяснение по поводу «Отцов и детей»; но покойный Л. Н. Майков говорил мне, что было еще какое-то личное обстоятельство, которого он не мог припомнить, повлиявшее на такую разительную перемену во взглядах Страхова. Впоследствии он имел простодушие перепечатывать свои статьи о Тургеневе в одном томике, и тут контраст его суждений выступал с комическою резкостью. Я как-то напомнил Н. Н. о вышеупомянутом сравнении Тургенева с Жорж Занд. «Ах, какие ереси я тогда способен был говорить», — отвечал, по обыкновению улыбаясь, Н. Н.

В конце 70-х гг. я обратился к нему с предложением взять на себя перевод «Истории материализма» Ланге. «С величайшим удовольствием, — отвечал Н. Н., — хотя я теперь и не занимаюсь переводной работой, но переводить или по крайней мере редактировать Ланге возьмусь; это одно из самых капитальных сочинений, и для нашей публики крайне полезно иметь его». Ланге, на которого точили зубы все издатели, но никто не решался взяться за него, с именем Н. Н. Страхова благополучно вышел в свет; впрочем, при этом надо добром помянуть и цензора Ведрова.

В последние годы Н. Н. стал увлеченным поклонником Л. Н. Толстого и даже часто проводил у него лето; большой портрет Л. Н. украшал его кабинет. «Вот на ком успокаиваю свой дух, — говорил раз мне Н. Н., показывая на портрет Л. Н., — а этот господин (Вольтер) и сам не знаю почему висит у меня на стене». Это увлечение Л. Н. последнего периода, конечно, не могло остаться незамеченным в рядах той партии, которая считала Страхова своим знаменоносцем, и раз он попал в весьма каверзное положение. Получил он горячо написанное письмо (анонимное, как говорил Н. Н.), в котором высказывалось решительное недоумение, как он, Н. Н., которого до сих пор считали таким убежденным

защитником православия и всех исконных начал русской жизни, может не только прославлять Толстого, но даже спокойно говорить о нем. Н. Н. печатно защищался, и нельзя сказать, чтобы особенно удачно. Я шутя уверял его, что письмо сочинено каким-нибудь злокозненным нигилистом (Н. Н. по старой памяти с этим словом не расставался), чтоб только поставить его в безвыходное положение[1].

Не особенно задолго до смерти Страхов с видимым удовольствием обратил мое внимание на то, что в последние годы его сочинения довольно ходко идут и приходится некоторые книги перепечатывать. «Но знаете ли, кто покупает вас, — отвечал я, — люди, которым перевалило за пятьдесят лет и которым приятно видеть, что вот и Н. Н. то самое говорит, что и они думают; на выступающие поколения вы никогда не имели никакого влияния, и вот почему: вы сами же не раз мне говорили, да и печатно это заявляли, что употребили все силы вашего ума на борьбу с нигилизмом; но вы боролись только с нигилизмом левых, к нигилизму же правых относились если не любовно, то более чем снисходительно. Тайна успеха Толстого, на которого вы теперь молитесь, — продолжал я, — в том и заключается, что его критическое отношение захватывает жизнь во всю ее ширь». Н. Н. спросил меня, что я разумею под нигилизмом правых. Я ему объяснил. Он затем переменил разговор.

Говорят, что после смерти Н. Н. у него нашли начало своего рода исповедания веры; оно состояло всего из нескольких строк приблизительно следующего содержания: «Меня часто упрекали, что я ни разу не высказывал с достаточною ясностью свое положительное миросозерцание; я это теперь и делаю...» Но продолжения не оказалось. Покойный В. С. Соловьев серьезно уверял, что если вчитаться хорошенько в Страхова, то окажется, что он был чистейший материалист. Для характеристики Н. Н. у меня

---

[1] Увлечение Львом Николаевичем не мешало Н. Н. быть в то же время большим почитателем И. А. Вышнеградского и ждать от него для России каких-то особенных благ. А когда я заметил Н. Н., что Вышнеградский — хищник, стоивший очень дорого казне (история юго-западных железных дорог), то Н. Н. был очень возмущен не против Вышнеградского, а моими словами. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

сохраняется интересная переписка с ним по поводу одной петиции (в половине 90-х гг.) о положении печати. Сначала он не колеблясь заявил мне, что подпишет ее, а потом уклонился...

В заключение этого очерка не могу не вспомнить еще о вечерах у двух студенток того времени: Н. И. Корсини и А. П. Блюммер [1]. У первой собирался более тесный кружок, связанный очень близкими дружескими отношениями и даже сердечными привязанностями; у второй, кроме молодежи, иногда показывались Костомаров, А. Н. Пыпин, Воронов, Помяловский. И тут и там за обычным чайным столом возникали оживленные споры: всякий без опасливой оглядки высказывал свою мысль. Но не помню случая, чтобы чья-нибудь горячность или несдержанность вызвала хоть какое-нибудь недоразумение. И в то время и впоследствии приходилось бывать во многих кругах; но почему же теперь, спустя сорок лет, воспоминание о вечерах Корсини и Блюммер наполняет сердце какою-то особенною теплотой? Да потому, что человек даже на закате лет может еще обольщать себя разными надеждами, но только не надеждой на возврат молодости и той веры, которой она живет.

XX. ДУМСКАЯ ИСТОРИЯ

Когда осенью 1861 г. сидели мы в крепости, два студента, С. И. Ламанский и П. А. Гайдебуров, вместе с проф. И. Е. Андреевским во главе, — он был депутатом от университета в следственной комиссии [2] по студенческой истории, — производили денежные сборы на нужды

---

[1] Начались в 1861 г. и продолжались у Блюммер до ареста ее весной 1862 г., а у Корсини — до весны 1863 г., когда она уехала за границу. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Председателем ее был Волянский, выведенный в люди С. Голицыным, заявившим себя таким реакционером в 1849 г.; но говорили, что Голицын был почему-то в дурных отношениях с Путятиным или с его вдохновителем гр. Строгановым, и якобы употребил все свое влияние на Волянского, чтобы выгородить студентов. И действительно, студенты не могли пожаловаться на комиссию. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

сидевших под арестом. 6 декабря все студенты были выпущены (около 300 человек, в Петропаловской крепости и Кронштадте). Сейчас же к И. Е. Андреевскому примкнуло несколько студентов, игравших более или менее выдающуюся роль во время студенческой истории, и образовался своего рода комитет; в состав его входили: Н. Утин, В. Гогоберидзе, А. Герд, П. Фан-дер-Флит, Е. Печаткин, С. Ламанский, П. Гайдебуров, П. Спасский, Моравский и я. По ходатайству генерал-губернатора Суворова правительством было отпущено в его распоряжение пять тысяч рублей на пособия нуждающимся студентам. Эти деньги Суворов не иначе расходовал — даже когда к нему прямо обращались, — как по соглашению с комитетом. Раз даже вышел оригинальный случай: в присланном им списке оказалась фамилия Варшавчика, вольнослушателя, но, собственно, бывшего агентом III Отделения. Понятно, что комитет отказал в своей рекомендации, а Суворов, узнав, кто был Варшавчик, даже пришел в сильнейшее негодование от его дерзости обратиться к нему за пособием. Пока не были израсходованы пять тысяч рублей суворовских и те суммы, которые находились на руках И. Е. Андреевского к 6 декабря, комитет всегда собирался под его председательством, а потом И. Е. уже устранился. Деньги в комитет шли со всех сторон, но все же их не хватало, так как с закрытием университета все получавшие стипендии лишились их; другие растеряли уроки, многим нужны были средства на отъезд домой. Пришла мысль устроить публичные лекции; постепенно эта мысль расширялась, и решено было в форме публичных лекций возродить чтение почти всех университетских курсов (кроме восточного факультета). Что идея этих курсов вышла из среды комитета, это видно из того, что хотя прошения подавались профессорами от своего имени, но только теми, которые были приглашены комитетом. При этом дело не обошлось без попытки посчитаться с некоторыми профессорами, роль которых во время студенческой истории почему-нибудь не оправдала надежд, на них возлагавшихся. Я уже говорил несколько выше (стр. 217) о неудаче М. И. Сухомлинова; зуб был на Кавелина. Его поведение в совете было безупречно; он был руководителем, и притом весьма умелым, профессорской оппозиции Путятину; но в некоторой части студентов он возбудил

неудовольствие тем, что старался удержать студентов от каких-нибудь демонстраций. Не совсем также были довольны и Костомаровым, по следующему поводу: во главе министерства — реакционер Путятин, университет в разгроме, студенты сидят в крепостях, а Костомаров выступил с проектом университетской реформы, с вольным университетом, в котором не было ни профессорской корпорации, ни студентов, а читались курсы на манер Collège de Françe. С точки зрения чисто научных интересов ему очень веско возражал М. М. Стасюлевич (в «С.-Петербургских ведомостях» осенью 1861 г. были напечатаны как статья Костомарова, так и возражения на нее). Также, помнится, возражал Костомарову и Спасович.

Чтобы по возможности открыть полные курсы, в комитете пропускались даже такие отсталые личности, как проф. Ивановский (международное право); но когда очередь дошла до Кавелина, то, несмотря на все усилия мои и В. Гогоберидзе, он получил одним голосом меньше [1]. Тогда те, кто стоял за Кавелина, решили подавать голос против Костомарова, чтобы провалом его довести дело до нелепости; никакие уговоры не побудили нас отказаться от этой тактики, и Костомаров также был забаллотирован. Кончилось тем, что произвели новую баллотировку, и на этот раз как Кавелин, так и Костомаров были выбраны.

В комитете также было решено обратиться к некоторым лицам, не принадлежавшим к числу профессоров Петербургского университета; были намечены: К. П. Победоносцев (он тогда состоял в комиссии по преобразованию судопроизводства и преподавал наследнику Николаю Александровичу) — для судопроизводства, Чернышевский — финансы, Лавров — философия, Берви (тогда магистрант, служивший в сенате), А. В. Лохвицкий — государственное право европейских держав, профессор Артиллерийской академии Гадолин — физика, И. М. Сеченов (в то время профессор Медико-хирургической академии) — физиология. Все выразили свое согласие. Но вот в один прекрасный день К. П. Победоносцев дал

[1] За были: В. Гогоберидзе, П. А. Гайдебуров, С. И. Ламанский и я. Против — Н. Утин, П. Л. Спасский, П. Ф. Моравский, Е. П. Печаткин и Анат. Макаров. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

знать комитету, что ввиду многочисленных занятий он не имеет свободного времени для чтения лекций. Так как комитет весьма желал иметь его в составе лекторов, то отрядил к нему депутацию: Неклюдова и меня.

— Я очень занят, — ответил К. П.

— Но ведь ваши занятия все те же, что раньше были.

— Это правда, но вот что я вам скажу: я не хочу читать в одной компании с Чернышевским; это шарлатан, гаер; если он не будет читать, то извольте — я готов.

Неклюдов пытался было отстаивать Чернышевского, но К. П. стоял на своем. Комитет, выслушавши наш отчет о свидании с К. П., конечно скорее предпочел отказаться от удовольствия иметь его в числе лекторов, чем нанести уже приглашенному Чернышевскому ничем не оправдываемое оскорбление. Однако Чернышевскому не довелось читать: он не получил разрешения; по той же причине не состоялись лекции Лаврова, а Берви был арестован. Лекции читались днем, в залах Думы и Петершуле (директором ее был проф. Штейнман); всего было двадцать лекторов, читавших тридцать шесть лекций в неделю; были как абонементные, так и разовые билеты. Лекции усердно посещались не только студентами, но и публикой, а Костомаров собирал не менее пятисот слушателей. Все шло хорошо до истории с проф. П. В. Павловым по поводу вечера в зале Руадзе. Павлов также читал (в зале Петершуле) что-то вроде курса философии истории. По своей простоте его лекции скорее походили на беседы в небольшом частном кружке; в них сказывалось сильное влияние Бокля; самостоятельных взглядов он никаких не высказал.

Как только стало известным, что Павлов высылается в Ветлугу (у него даже не спрашивали никаких объяснений, не потребовали текста чтения), сейчас же собрался студенческий комитет; все были в крайнем возбуждении; да и не одни студенты — все общество было взволновано. В комитете почти единодушно было решено в виде протеста закрыть все лекции; но для этого нужно было иметь согласие профессоров; потому остановились на таком порядке: созвать всех лекторов, отрядить в это собрание нескольких депутатов от комитета с поручением поставить вопрос: в виду участи, постигшей Павлова, считают ли они возможным продолжение лекций?

Делегаты, конечно, не должны были говорить, что комитет уже пришел к решению закрыть лекции, но они обязаны были заявить, что не ручаются за сохранение порядка (и это была правда) ввиду крайне возбужденного настроения не только молодежи, но и публики. Профессора собрались в квартире В. Д. Спасовича; все они одинаково были возмущены высылкой Павлова. Прежде всего выбрали председателя собрания; выбор пал на И. Е. Андреевского, и этим они погубили свое дело, что будет видно далее. Как только делегаты поставили вопрос, могут ли продолжаться лекции, то Стасюлевич, Б. Утин, Спасович самым решительным образом высказались против закрытия лекций; они, конечно, находили меру, принятую против Павлова, ничем не оправдываемой, но не видели никакой связи между судьбой, постигшей Павлова, и лекциями. М. М. Стасюлевич, напр., сказал: «Вы идете по улице, вдруг на вас падает кирпич, значит ли это, что не следует ходить по улицам?» Забавно было видеть, как сцепились два брата, Б. Утин и Н. Утин, который был в числе делегатов: оба они были раздражительны и наговорили друг другу разных любезностей. В середине заседания приехал Костомаров; узнав, в чем дело, он тоже высказался против закрытия лекций: «Для меня, — сказал он, — читать лекции — это величайшее наслаждение». Он, однако, не остался до конца заседания, и все решения были приняты без него. Тем не менее огромное большинство профессоров (делегаты в баллотировке, помнится, не участвовали) высказалось за закрытие лекций, причем предварительно было постановлено, что решение будет обязательно для меньшинства. Затем был обсуждаем вопрос: объявление о закрытии лекций (оно собранием возлагалось на студенческий комитет, и даже назначили день — ближайшая лекция Костомарова) должно ли быть мотивировано участью, постигшей Павлова? И опять значительным большинством решено в утвердительном смысле [1]. Все

[1] В числе очень горячо высказывавшихся за закрытие лекций, как протеста, был Д. И. Менделеев, а И. М. Сеченов даже подымал вопрос о расширении протеста: «Мы ведь не в одной Думе читаем». Но поддержки он не встретил. Зато на собрании у Советова Д. И. не только выразил согласие на возобновление лекций, но и живейшую радость, что отменили прежнее решение. Напротив, Сеченов даже не пошел на собрание у Советова, зная, зачем оно созывается. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

это произошло в значительной степени от роли, которую на этом собрании сыграл И. Е. Андреевский. Ранее он никогда не заявлял резкого образа мыслей, а тем паче какого-нибудь фрондерства; но на этом собрании сделал все, что было в силах председателя, чтобы решение вышло такое, какого, видимо, хотел студенческий комитет. Профессора потом громко говорили, что И. Е. их предал. Мы вышли торжествующие и даже несколько удивленные легко одержанной победой; но мы никак не могли понять, каким образом И. Е. оказался всецело на нашей стороне?

Кажется, через день, во всяком случае накануне лекции Костомарова, комитет собрался; надо было сообразить некоторые практические обстоятельства, которые вызывались закрытием лекций, — например, расчет с публикой за недослушанные лекции и т. п.; но было еще и другое дело: это — адрес от публики к министру народного просвещения о возврате Павлова; он был заготовлен (редактировал Н. Утин, кажется, вместе с Хорошевским), прошел в комитете; предположено было предложить его для подписи на лекции Костомарова и, кроме того, пустить отдельные листы по городу.

Было уже за одиннадцать часов вечера, как входит Гогоберидзе. «Я шел в комитет, — сказал он, — но случайно встретил Советова; он мне сказал, что у него будет собрание профессоров, и усиленно просил меня присутствовать на нем, чтобы потом передать комитету, что будет решено. Я согласился, и знаете ли, профессора отказались от принятого решения и постановили, что будут продолжать чтение лекций, и обязались завтра, до начала костомаровской лекции, или лично явиться в Думу, или послать на имя комитета письменное уведомление от каждого, что лекции его будут продолжаться». Сообщение Гогоберидзе произвело невыразимую сенсацию. Н. Утин, не разобрав дела, накинулся на Гогоберидзе: «Да как же вы могли на это согласиться? Вы не имели никакого права». — «Да я ни на что не соглашался, а только сидел и слушал».

Естественно возникал вопрос: что же теперь делать? П. А. Гайдебуров, и ранее не обнаруживавший никакого сочувствия к закрытию лекций, первый заговорил, что нужно все бросить, но другие не хотели помириться с мыслью отказаться от демонстрации. Слабая сторона

собрания у Советова была та, что на нем не присутствовали некоторые лекторы, убежденно стоявшие за закрытие лекций. «Не обращать никакого внимания на решение профессоров, они — трусы», — слышалось в комитете. Но даже Н. Утин, не находивший достаточно резких слов, чтобы клеймить измену профессоров, понимал, что сделать этого никак нельзя. Однако, когда достаточно поговорили и поставили на баллотировку, признавать ли новое решение профессоров, то большинством одного голоса было принято, что оно не обязательно (не скрою, что в большинстве был и мой голос, в чем я недолго спустя и стал раскаиваться); а что же затем делать? Ни до чего практического не договорились; сам Н. Утин, видимо, был смущен результатом баллотировки и поминутно повторял: «Однако как же теперь быть?» Проспорив до утра, ничего не порешили и, напившись у Утина чаю, прямо отправились в Думу. Там — сюрприз: не находим никого из профессоров, ни посланных от них с записками. Ничего не можем понять; может быть, профессора опять передумали? Вот уже приближается лекция Костомарова; наконец-то заявились Советов и А. В. Лохвицкий и сообщают о состоявшемся накануне решении профессоров; присылаются также две-три записки. В объяснениях с Советовым и Лохвицким мы ссылались на то, что собрание накануне было неполное, что присутствовавшие на нем профессора обязались или лично, или каждый отдельно поставить комитет в известность, что их лекции будут продолжаться; а так как профессора раз уже перерешили, то, может быть, вновь изменили свое мнение. Словом, фонды партии протеста поднялись благодаря этой совсем непонятной беспечности или колебательности профессоров. Комитет сейчас же собрался в одном из кабинетов Думы, и хотя был не в полном составе, но в достаточном; решено было сделать объявление о закрытии лекций на основании решения, состоявшегося у Спасовича, но при этом оговорить, что такие-то и такие-то профессора отказались от этого решения и прислали заявления, что будут продолжать чтение лекций.

Было 8 марта, большая думская зала была переполнена не только студентами, но и огромной массой публики, так как в нее уже успели проникнуть слухи о какой-то предстоящей демонстрации. Вот Костомаров кончил свою лекцию; раздались обычные аплодисменты.

Затем на кафедру сейчас же вошел студент Е. П. Печаткин и сделал заявление о закрытии лекций с тою мотивировкой, какая была установлена на собрании у Спасовича, и с оговоркой о профессорах, которые будут продолжать лекции. Костомаров, который не успел далеко отойти от кафедры, сейчас же вернулся и сказал: «Я буду продолжать чтение лекций», — и при этом прибавил несколько слов, что наука должна идти своей дорогой, не впутываясь в разные житейские обстоятельства. Разом раздались и рукоплескания и шиканье; но тут под самым носом Костомарова Е. Утин выпалил: «Подлец! второй Чичерин [1], Станислава на шею!» Влияние, которым пользовался Н. Утин, видимо, не давало покоя Е. Утину, и он тогда из кожи лез, чтобы заявить свой крайний радикализм; его даже шутя прозвали Робеспьером. Выходка Е. Утина могла взорвать и не такого впечатлительного человека, каким был Костомаров; к сожалению, он потерял всякое самообладание и, вновь вернувшись на кафедру, сказал, между прочим: «...Я не понимаю тех гладиаторов, которые своими страданиями хотят доставлять удовольствие публике (кого он имел в виду, трудно сказать, но эти слова были понятны как намек на Павлова). Я вижу перед собой Репетиловых, из которых через несколько лет выйдут Расплюевы». Рукоплесканий уже не раздалось, а, казалось, вся зала шикала и свистала. По программе мне следовало сделать заявление о расчете с публикой; я это и сделал, но, кажется, меня никто не слышал, да и слышать не хотел. Несмотря на то, что Костомаров тотчас же уехал, публика не расходилась; немногие пытались защищать его, но подавляющее большинство возбужденно говорило, что если Костомаров попробует читать, то его до этого не допустят, забросают солеными огурцами и мочеными яблоками. А той порой циркулировал адрес, и было собрано несколько сот подписей. Наконец появился Н. И. Погребов (городской голова) и попросил публику разойтись, что и было тотчас же всеми исполнено.

---

[1] Б. Н. Чичерин публиковал тогда, кажется в «Московских ведомостях» (1861, №№ 247, 250 и 260) ряд статей по университетскому вопросу, реакционных. Но еще ранее того его письмо к Герцену сделало имя Б. Н. крайне непопулярным среди молодежи; защищал его Кавелин, видя в нем крупную научную величину, хотя и не разделял большинства его взглядов. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Когда стал известен в широких кругах этот совсем неожиданный и вместе с тем фатальный эпизод, он вызвал во многих сильнейшее неодобрение поведения студентов (участие публики как-то игнорировалось); между самими студентами проявился раскол; большинство профессоров было возмущено и решило непременно продолжать чтение лекций, о чем и появилась публикация. Но в то же время возросло в высшей степени раздражение, даже озлобление и в другой стороне, то есть противной Костомарову; нам, членам комитета, приходилось иногда выслушивать такие заявления, что становилось жутко, и в то же время сто раз рассказывать всю историю и объяснять в разных студенческих кружках, что мы, то есть комитет, в эпизоде с Костомаровым ни при чем.

О 8 марта есть рассказ самого Костомарова в его «Автобиографии» («Русская мысль», №№ 5 и 6, 1885 г.), но в нем встречаются неточности, между прочим относительно роли, которую играл в финале этого дела Чернышевский. Н. И. совсем пропускает собрание у Спасовича; говоря о собрании у Советова (я думаю, что он смешал его с собранием у Спасовича), утверждает, что Стасюлевич, Б. Утин, Кавелин и молодежь были за закрытие лекций, что только Б. Утин наконец перешел на его сторону. Кавелин тогда был уже за границей, а Стасюлевич и Б. Утин, как сказано выше, были против закрытия лекций; никакой молодежи у Советова не было [1].

Несмотря на публикацию (не от всех, однако, профессоров), чтение лекций не возобновилось, кажется по совместному соглашению профессоров и Головнина; один Костомаров непременно хотел читать. Чернышевский был осведомлен о настроении молодежи и, вероятно желая спасти ее от неминуемо прискорбных последствий,

[1] Вообще в «Автобиографии» немало ошибок или, может быть, список, опечаток; говорится, что Костомаров стал профессором Петербургского университета в 1858 г., а это произошло осенью 1859 г.; «зима 1862 г., время польского восстания», но оно вспыхнуло в 1863 г.; «Гайдебуров, Гогоберидзе — одни из самых ярых моих врагов»; Гайдебуров все время был решительно на стороне Костомарова, а Гогоберидзе занимал среднее положение; назначение Путятина переносится на осень 1861 г., на самом деле оно имело место летом, и т. д. Я только указываю на обстоятельства 1861/62 г., так как предшествующая и последующая жизнь Костомарова мне неизвестны. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

вмешался в дело. Он поехал уговаривать Костомарова отказаться от чтения лекций; тот ни за что не хотел этого сделать. В «Автобиографии» Н. Ив. рассказывает, что Чернышевский держал к нему такую речь: «Поезжайте к Головнину и просите, чтобы вам запретили читать». — «Не могу, я сам хлопотал о разрешении». — «Ну, так я поеду; дайте мне которое-нибудь из писем, где вам угрожают скандалом». Я дал письмо... Чернышевский съездил к Суворову и Головнину и устроил дело так, что мне запретили читать лекции». Не помню, говорил ли Чернышевский о Суворове, но вот что сохранилось в моей памяти из его рассказа: «Я уехал от Костомарова, который наотрез отказался прекратить лекции, и отправился к Головнину; тот меня сейчас же принял. Я объяснил ему, что ввиду настроения молодежи и публики необходимо закрыть лекции Костомарова; Головнин выслушал меня до конца и затем сказал: «Из ваших слов я вижу, как медленно министерские курьеры доставляют по своему назначению мои распоряжения: я еще вчера отдал приказ о закрытии лекций Костомарова». На Чернышевского, видимо, произвело неприятное впечатление, что Головнин с первых же слов не предупредил его о принятой им накануне мере. «А затем, когда я вернулся домой, — продолжал Чернышевский, — то нашел письмо от Н. Ив.; вот оно». В письме Костомаров писал приблизительно следующее: «После вашего ухода, припоминая все, что вы говорили, хотя то и были для меня очень тяжелые слова, я все-таки слышал в них голос старой дружбы; [1] а потому взялся за перо и начал было писать заявление Головнину, что отказываюсь от чтения лекций, как вдруг курьер принес мне министерское распоряжение о закрытии моих лекций...» [2]. Об этом письме Н. И. не упоминает в «Автобиографии». Чернышевский, кажется, ничего не говорил, что Костомаров дал ему ругательное письмо, где угрожали, что насильно вынесут с кафедры, а только прибавил: «Костомаров так

---

[1] Начало дружеских отношений Костомарова с Чернышевским относится ко времени ссылки Костомарова в Саратов, где Чернышевский был одно время учителем в гимназии. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Это письмо я лично читал в подлиннике. Оно потом найдено в деле Чернышевского и опубликовано Лемке. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

упрямо стоял на своем и так был раздражен, что мы даже не распрощались, когда я уходил».

Едва стало известно, что лекции Костомарова не состоятся, как волнение между молодежью постепенно стихло. Большинство жалело Костомарова; стала даже возможной своего рода демонстрация в его пользу, — ему был поднесен адрес от молодежи; впрочем, под ним подписалось не более сотни, в том числе и В. Гогоберидзе.

Первое время после 8 марта душевное состояние Костомарова было ужасно; его, конечно, возбуждал всякий намек на это событие, но еще более выводило из себя выражение сочувствия со стороны людей, которых он не уважал, и доходившие до него из известных сфер толки: «Да Николай Иванович совсем не такой человек, каким мы его себе воображали». Лица, которые в то время особенно часто посещали его, напр. В. М. Белозерский, Хорошевский (последний проводил у него целые вечера и, чтобы развлечь Н. И., читал что-нибудь из классиков), передавали, что Н. И. поминутно говорил: «За меня вся сволочь, а против — все порядочные люди и настоящая молодежь». Понемногу все стало забываться, и на обычных журфиксах Костомарова начали осенью появляться многие из тех, которые 8 марта были против него. Сближению помогла и реакция, наступившая после майских пожаров, закрытие журналов, аресты. Под тяжелым впечатлением от поворота в реакционную сторону Костомаров публиковал тогда своего «Кремуция Корда»; написан он был давно, чуть ли не в Петропавловской крепости. Летом 1862 г. я был в Вологде, там стали затруднять мой возврат в Петербург; я дал знать в Петербург, и дело кончилось благополучно. По приезде в Петербург я узнал, что в числе лиц, хлопотавших за меня, был и Костомаров, потому пошел поблагодарить его, и наши отношения возобновились. Через год одно личное обстоятельство развело нас навсегда; и тут главную роль играло то, что Н. И. иногда совершенно не владел собой.

На студенческий комитет ближайшим образом относилась ответственность за 8 марта; а так как он не был выборный, то большинство комитета, несмотря на живую оппозицию П. А. Гайдебурова, решило собрать сходку, чтобы дать по этому делу своего рода отчет и вместе

с тем предложить устроить выборный комитет. В новый комитет с одной стороны не попал П. А. Гайдебуров, а с другой — Е. Утин, который считал себя главным героем 8 марта, а между тем получил до смешного малое число голосов. Новый комитет вышел более однотонный в смысле расширения деятельности, до того времени исключительно направленной на чисто студенческие дела.

8 марта вызвало не только разнообразные толки в обществе, но и горячие нападки на студентов в печати. Последняя публицистическая статья Чернышевского «Научились ли?» была посвящена энергической и остроумной защите студентов. У него даже было нечто вроде третейского разбирательства с Эвальдом, открывшим поход против студентов статьей «Учиться или не учиться?» При этом прении со стороны Эвальда был В. Д. Скарятин; он после, кажется в конце 70-х гг., в «Московских ведомостях» в своих воспоминаниях наговорил замечательные глупости о Чернышевском, который якобы убеждал его стать на стороне революции. Чернышевский без смеха никогда не мог говорить о Скарятине.

Я считал необходимым с возможной подробностью рассказать о «думской истории», так как о ней только и известно, что был какой-то скандал, что студенты освистали и ошикали Костомарова, который после этого навсегда оставил кафедру. Почему Костомаров не вернулся к университетской деятельности, об этом в своем месте я уже говорил. Чтя в нем крупную научную величину, ему дали платное место в археографической комиссии; но возврат к кафедре для него навсегда был закрыт, настали другие веяния.

Заканчивая о Костомарове, не могу оставить без оговорки те строки, которые уделяет его лекциям В. И. Модестов в своих воспоминаниях о В. Г. Васильевском («Журнал министерства народного просвещения», № 1 1902 г.). Он говорит: «Приходили на лекции Костомарова главным образом для того, чтобы тут встретиться со знакомыми, обменяться общественными новостями, политическими слухами», и далее: «Хотя никакой ясной политической тенденции в лекциях Костомарова даже и тогда, когда он читал о северных «народоправствах», не было, они как-то сами собой получили общественно-политический характер». Эти слова явно в противоречии между

собою: с одной стороны, собирались, чтобы обменяться новостями, с другой — лекции получили общественно-политическое значение. Но сам же В. И. Модестов замечает: «Лекции посещались не потому, что мы особенно (надо бы прибавить — ранее) интересовались русскою историей, а потому, что после Устрялова и Касторского они казались протестом против казенной истории... Костомаров читал историю русского народа, а не государства». В том-то и великая заслуга Костомарова, что он первый пробудил не только в студентах, но и в обществе живейший интерес к русской истории. Не говоря об Устрялове, тогда даже Соловьевым никто не интересовался и не читал его (на толкучке сочинения Соловьева продавались по пониженной цене; да и теперь, хотя его история выдержала повторные издания, кто ее читает? Просто ставят на полках, и только разве некоторые для справок заглядывают в нее). Я уже говорил, что многие в оно время не считали Костомарова настоящим ученым; отголосок этих мнений слышится и в теперешних словах В. И. Модестова.

XXI. ШАХМАТНЫЙ КЛУБ

Зимой, то есть в начале 1862 г. открылся в Петербурге шахматный клуб, и весной я часто в нем бывал, хотя и не состоял членом, но это было удобное место для некоторых свиданий. Кто был его официальным инициатором, не знаю, но несомненно, что под флагом шахмат была сделана попытка устроить литературный клуб. Он имел очень хорошее помещение, помнится, в доме Елисеева у Полицейского моста. Чтобы поддержать новое детище, Чернышевский в известные дни весьма усердно посещал его и всегда имел перед собою столик с шахматами; к нему подсаживались два-три человека, и обыкновенно Чернышевский рассказывал какие-нибудь невинные анекдоты. Но вот приходит Н. А. Серно-Соловьевич, только что перед тем открывший книжный магазин и начавший издательство. В то же время он со всею страстью отдался «Земле и воле», одним из основателей которой и был. Серно-Соловьевич за столик не усаживался, а, обойдя все комнаты, находил нужное лицо и погружался с ним в уединенный разговор. Литературный

мир тогда был невелик, к тому же распадался на обособленные кружки, мало сходившиеся, потому в шахматном клубе вечно царила пустота; только в буфете иногда раздавались возбужденные голоса В. Курочкина, Кроля, Помяловского, Воронова и тому подобной братии. Клуб был на волосок от естественной смерти, как вдруг после пожаров удостоился чести быть закрытым. Закрытие его было мотивировано так: «В нем происходили и из него исходили неосновательные суждения».

XXII. II ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ ЛИТЕРАТУРНОМ ФОНДЕ

По пути считаю нелишним сказать о II отделении для пособия учащейся молодежи, состоявшем при Литературном фонде. Одновременно с устройством публичных лекций в студенческом комитете явилась мысль о какой-нибудь организации, которая, с одной стороны, при закрытии университета поддержала бы расплывавшееся студенчество, а с другой — придала бы благотворительной деятельности более широкий и гласный характер. Остановились на соображении устроить Общество вспоможения учащейся молодежи. Так как тогда нельзя было и думать, что разрешат независимое общество, то кому-то пришло на ум попытаться провести его под флагом Литературного фонда. Позондировали почву; председатель комитета Фонда кн. Щербатов отнесся весьма сочувственно, также и другие члены, например Кавелин. Составили проект; по нему связь с Фондом была чисто титулярной; отделение должно было иметь особых членов (пять рублей взнос), свой комитет и свое бюро. Головнин сначала отнесся сочувственно, но потом стал предъявлять требование некоторых существенных изменений, — так он был против отдельного бюро.

— Да зачем вам нужен особый председатель?

— Мы хотим иметь председателем Егора Петровича Ковалевского, а он в этом году не состоит членом комитета Фонда.

Дело, видимо, затормозилось, и казалось, что ничего не выйдет. Но вот после 8 марта оставался на руках адрес к министру народного просвещения. Раз собра-

лись, чтобы решить — двигать ли его (то есть подать министру), или оставить, так как подписей не набралось и тысячи, а горячее время уже прошло. Спорим; вдруг входит Чернышевский, который никогда не бывал на наших собраниях, и никто из нас, кроме Утина, лично его тогда не знал. Дело происходило на квартире Утина.

«А я к вам на минутку, Николай Исакович; извините, господа, вы, кажется, заняты, и я, может быть, помешал вам». Однако присел и умело осведомился о причине нашего собрания. «Вы, господа, революционеры, прямо скажу, ужасные вы революционеры. А знаете ли, Сергей Иванович, — неожиданно обратившись к студенту Ламанскому, продолжал Чернышевский, — кто первый революционер в России? Да ведь это ваш братец Евгений Иванович; посмотрите, каждый день печатает какую-нибудь прокламацию, то четырехпроцентные непрерывно доходные, то пятипроцентные банковые билеты, то металлики.— А затем Чернышевский стал нас отговаривать от подачи адреса. — Его даже не примет министр. Если вы откажетесь от адреса, то могу вам наверное сказать, что будет разрешено второе отделение». Перед авторитетом Чернышевского скоро умолкли даже самые горячие протестанты. И действительно, через короткое время отделение было разрешено. Круг деятельности его по уставу распространялся на всю Россию и на всякого рода учащуюся молодежь, причем она сама могла входить в качестве членов в состав общества. Из членов комитета помню: председатель — Е. П. Ковалевский [1], члены: Н. А. Серно-Соловьевич, М. С. Гулевич, Н. Утин, Е. П. Печаткин, Н. И. Корсини, М. А. Богданова; тоже и я был членом комитета.

По поводу выборов в это отделение припоминаю следующий случай. В среде учредителей было решено выбрать в комитет Чернышевского. Когда он узнал об этом, то высказался так:

---

[1] Ег. Петр. по образованию был филолог Харьковского университета, потом ставший горным инженером, а затем дипломатом; одно время занимал пост директора департамента азиатских дел в министерстве иностранных дел; в описываемое время состоял сенатором; был первым председателем комитета Литературного фонда, где имеется хороший (то есть очень похожий), масляными красками, портрет Е. П. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)



Группа студентов С.-Петербургского университета. Фотография начала 60-х гг.
Сидят (слева направо): С. И. Ламанский, А. Н. Макаров, А. Я. Герд, П. Л. Спасский, Л. Ф. Пантелеев В. Ю. Хорошевский, Н. А. Неклюдов. Стоят (слева направо): П. А. Гайдебуров, В. Л. Гогоберидзе, Н. И. Утин, Е. П. Печаткин, П. Ф. Моравский.

— Я прошу вас этого не делать; пользы от меня никакой не может быть, я даже не имею времени, чтобы исправно посещать заседания комитета Фонда. Между тем выбор меня в ваш комитет может привлечь ненужное внимание начальства к отделению.

— Но, Николай Гаврилович, — отвечали ему, — есть люди, которые этим резонам не придадут никакого значения и будут баллотировать за вас; потому, если мы не будем подавать за вас свои голоса, то выйдет скандал — вы будете забаллотированы.

— Никакого скандала не будет; если вы понимаете справедливость того, что я говорю, то без всяких колебаний кладите мне черняки; еще раз прошу вас не выбирать меня.

Так большинство и сделало, Чернышевский, кажется, получил с десяток голосов из сотни собравшихся учредителей.

Отделение просуществовало очень недолго; оно было закрыто после майских пожаров. Когда Е. П. Ковалевский получил бумагу о закрытии отделения, он собрал комитет и держал такую речь:

— Не думал я, господа, что на старости лет окажусь во главе тайного общества.

— Что вы, что вы, Егор Петрович, да разве тайное общество устроилось бы с гласным комитетом и таким же списком членов, — это только пустой предлог.

— И я тоже думаю, — добродушно отвечал Егор Петрович.

Расходясь, комитет, по предложению Серно-Соловьевича, сделал постановление о выражении Е. П. глубочайшей признательности за его всегда отзывчивое и сердечное отношение к нуждам учащейся молодежи.

XXIII. ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЖАРЫ

С 1861 г. всегда соединяется представление о «19 феврале»; но в течение этого года произошел ряд событий, хотя и не столь всеобъемлющего характера, как освобождение крестьян, но тем не менее имевших значительное влияние на последующий ход нашей жизни; по мень-

шей же мере — ярко характеризующих свое время. Но прежде чем коснуться внутреннего хода нашей жизни, я должен заметить, что общее положение тогдашних европейских дел электризирующим образом действовало на пробудившееся сознание русского общества, еще не пережившего тяжелых разочарований в своих упованиях, не изведавшего всей силы элементов, враждебных обновлению нашей жизни. Упомяну только о главнейших. Имя Гарибальди было не только окружено ореолом неувядаемой славы, но и являлось символом грядущего освобождения всех угнетенных народов. Все были в ожидании его похода на Рим, освобождения Венеции и обещанной им помощи революционному движению в Венгрии, которое должно было разразиться с часу на час. Люди немолодые, вдумчивые, и те, поддаваясь общему увлечению, пророчествовали, что через какие-нибудь полгода от Австрии, может быть, останется только одно историческое воспоминание. Начавшаяся парламентская борьба в Пруссии и постоянно возраставшая сила оппозиции хотя и в меньшей степени привлекали общее внимание, но давали наглядный пример легального сопротивления, которое, как казалось всем, должно было привести или к поражению короны, или к революционному взрыву. Во Франции, несмотря на весь блеск, окружавший империю после крымской и итальянской войн, стало проявляться заметное пробуждение политической жизни, и не лишенный чуткости Наполеон III начинал первые шаги перехода к более либеральному режиму. Этому направлению европейской политической жизни прежде всего подпала наша западная окраина.

Под весну 1861 г. произошли первые демонстрации в Варшаве и напомнили о существовании польского вопроса, которого большинство русского общества и не подозревало. Вскоре польское движение приняло такое развитие (в течение одного года сменилось четыре наместника), что возможность революционного взрыва стала весьма вероятной и могла угрожать внешними осложнениями, весьма неудобными при тогдашнем изолированном международном положении России. Ведь еще в 1858 г., при свидании с нашим государем в Бадене, Наполеон заводил речь о Польше, указывая на то, что наша система управления Польшей является

помехой для установления более тесных отношений между Россией и Францией. Под боком Петербурга возрастающее неудовольствие в Финляндии вынудило увольнение генерал-губернатора Берга (впоследствии наместника Царства Польского) и назначение на его место Роккасовского, замененного потом Адлербергом, созвание «выборной комиссии» (24 апреля 1861 г.) — прелюдии к созванию сейма, не собиравшегося с 1809 г.

С другой стороны, чисто внутренние дела были далеко не успокоительны. Финансовые затруднения, наследие крымской кампании, казались непреодолимыми, и дефицит стал нормальным явлением; торговый класс жаловался на плохие дела, промышленность была недовольна новым таможенным тарифом, курс падал, государственный кредит был поколеблен, и правительство с трудом заключало займы, которые обходились ему не дешевле 6%. Как во всякое переходное время, неуверенность и недовольство господствовали во всех классах. Применение «Положений 19 февраля» постоянно сопровождалось «недоразумениями», причем очень часто пускалась в дело военная сила и не обходилось без пролития крови. Одни со страхом, другие с злорадством ждали — что-то будет, когда кончатся первые года переходного состояния бывших крепостных. Далее, в конце лета 1861 г. появилась первая прокламация, — Михайлова к «Молодому поколению», потом вскоре «Великорусс» и другие. Распространению лондонских изданий, несмотря на то, что «Колокол» можно было встретить в самых захолустных местах, правительство не придавало особенного значения; иначе оно взглянуло на прокламации: Михайлов и Обручев поплатились каторгой, что произвело на общество удручающее впечатление. Осенью, опять же 1861 г., произошли истории во всех университетах; из них, как известно, особенно выделилась петербургская. Место студентов в Петропавловской крепости скоро заняли тверские мировые посредники. Они письменно заявили губернскому присутствию по крестьянским делам о невозможности применения «Положений» 19 февраля и о том, что они впредь намерены в своих действиях руководствоваться воззрениями и убеждениями, не согласными с «Положениями» 19 февраля, так как всякий другой образ действий считают враж-

дебным обществу[1]. Губернское присутствие взглянуло весьма благодушно на это заявление; оно увидело в нем лишь повод письменно напомнить подписавшим заявление, что для всякого состоящего на службе нравственно и юридически обязательно руководствоваться существующими законами. Только прокурор усматривал в заявлении нарушение служебных обязанностей, а потому полагал, что дело следует направить в сенат. Арест и препровождение в крепость тринадцати лиц были мерами экстраординарными, а не по постановлению сената, которому, однако, пришлось потом разбирать это дело[2]. Коротко сказать, к началу 1862 г. общественная атмосфера была до крайности напряжена; малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону. Эту роль и сыграли майские пожары 1862 г. в Петербурге.

Пожары в старое время благодаря обилию деревянных построек, отсутствию водопроводов были нередки в Петербурге и притом очень сильные. В начале 60-х гг. всем еще памятен был пожар, незадолго перед тем уничтоживший большую часть Измайловского полка. Но пожары мая 1862 г. должны были сильно поразить не только народное воображение, но даже и часть мыслящего общества. Начались они с 16 мая, но особенно выделились 22 и 23 числа, когда выгорели Большая и Малая Охты и огромное количество домов в Ямской — весь четыреугольник между Кобыльской улицей и Лиговской, от церкви Иоанна Предтечи до Глазова моста. 23 числа было пять пожаров. Уже подымались тревожные толки

---

[1] Так была изложена сущность заявления в «Северной почте», что и считаю нужным оговорить; других материалов в моем распоряжении не было. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] В. В. Берви, магистрант С.-Петербургского университета, состоявший на службе в сенате, то ли разослал иностранным дипломатическим агентам, находившимся в Петербурге, изложение этой истории, то ли губернским предводителям дворянства. Это повело за собой арест г. Берви и высылку его в Астрахань.

Вот имена тринадцати лиц, подписавших заявление:

Член губернского присутствия по крестьянским делам Бакунин, председатели съездов мировых посредников, уездные предводители дворянства Бакунин и Балкашин, мировые посредники: Кудрявцев, Полторацкий, Глазенап, Харламов, Лазарев, Кислинский, Неведомский, Лихачев и кандидаты: Широбоков и Демьянов. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

о причине пожаров, на что указывает заметка «Русского инвалида» (25 мая): «Итого в одни сутки — пять пожаров! Понятно, что в народе ходят толки о пожарах; насколько они справедливы, может быть откроют следствия; но, во всяком случае, этот ряд пожаров, начавшихся с 16 мая, хоть на кого наведет страх».

Правда, дни стояли сухие и жаркие, и от пожаров пострадали главным образом местности, где преобладали деревянные постройки, во дворах которых, застроенных всевозможными клетушками, оказывалась масса горючего материала. Прошло четыре дня передышки, как вдруг запылал Апраксин двор, и выгорело все пространство между Чернышевым и Апраксиным переулками, а по другую сторону Фонтанки — между Чернышевым и Щербаковым и значительная часть Троицкого переулка. Трудно вообразить себе весь ужас этого дня, всю массу обездоленного люда.

В крупных пожарах у нас народ всегда склонен видеть злодейский умысел. На этот раз народный голос главным образом завинял в поджогах студентов [1]. Народные толки нашли себе отражение в печати. Вот что писалось в «Северной пчеле» (№ 143 от 30 мая), которую тогда редактировал в умеренно-либеральном направлении П. Усов. «В народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов триста человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с неимоверной быстротой. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых можно счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной

---

[1] Говорю — главным образом, потому что по старой традиции завиняли поляков. Но и на этом дело не остановилось; в народе сильно циркулировали характерные для того времени толки, что жгут господа, недовольные тем, что крестьянам дана воля. Наконец ходила целая масса невозможных фантастических рассказов, напр. о генерале, у которого спина была намазана каким-то горючим составом; стоило ему только потереться спиной о стену, стена и загоралась; хотя ни один пожар не начинался с заборов, но в народе было сильно распространено убеждение, что поджигатели мажут заборы каким-то воспламеняющимся составом — отсюда панический страх перед всяким пятном на заборах. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

молве, происходят поджоги». В № 122 «Нашего времени» (издавал в Москве Н. Ф. Павлов) читаем: «Не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие заранее обдуманного плана»; в «Современной летописи» (№ 23) в письме из Петербурга г. Белюстина встречаем: «Но на кого указывает народ, как на главную причину своего бедствия? Горько и тяжело, а нельзя скрыть — на учащуюся молодежь».

Подобного рода заметки, перепечатываемые в других газетах, только подливали масла в огонь. Правда, эти бессмысленные обвинения встречали отпор даже нередко со стороны людей, которых ни тогда, ни после нельзя было заподозрить в склонности к разрушительным идеям. Как бы в ответ г. Белюстину Д. И. Иловайский (№ 25 «Современной летописи») в письме от 16 июня говорит: «В поджоги с определенными революционными целями — мы не верим», и затем настаивает, чтобы «подробные результаты этих исследований (то есть все следственное дело о пожарах) сделались известными публике со всеми именами, прикосновенными к делу». По всему тону письма можно заключить, что подобное желание было внушено Д. И. Иловайскому желанием снять с учащейся молодежи наброшенную на нее тень. Даже в «Северной пчеле», первой из петербургских газет, воспроизведшей на своих страницах народные толки о студентах-поджигателях, через три дня после того (№ 146 от 2 июня) военный инженер, поручик И. Татаринов писал: «Причину пожаров видят в поджогах. Допустим, что оно и так; но каким образом тяжкое обвинение поджога взваливать на голову бывших студентов? Это более чем странно!.. Распространение таких убеждений может самым ужасным образом обрушиться на неповинные головы бедных молодых людей... Одна журнальная заметка (это прямо по адресу «Северной пчелы») возбудила в нас эти мысли... одно из двух: или ничего не говорить, или говорить все, если есть факты... нашей журналистике следует употребить все усилия, чтобы уничтожить нелепые толки и подозрения».

Жертвою возбуждения народной массы после 28 мая сделался В. А. Обручев, бывший офицер Измайловского полка, сотрудник «Современника», любимец Чернышев-

ского;[1] 31 мая на Мытной площади происходила церемония объявления ему приговора (четыре года каторжных работ) за распространение «Великорусса». Толпа, окружавшая эшафот, выражала зверские желания, чтобы Обручеву отрубили голову, или наказали кнутом, или по крайней мере повесили на позорном столбе вниз головою за то, что смел идти против царя. Хотя толпа и не имела ясного понятия о причинах осуждения Обручева, но поджигателем его не считала. Возмутительнее всего был дикий взрыв хохота, который пробежал по толпе, когда на Обручева надели арестантскую одежду и шапку, спустившуюся ниже глаз.

Надо признаться, что тогдашние толки о поджигателях, вышедших из интеллигентной среды, имели за себя одно, хотя и косвенное, но довольно веское обстоятельство. В половине мая в Петербурге и Москве появилась прокламация от имени Центрального революционного комитета, она называлась «Молодая Россия». По внешнему виду «Молодая Россия» выгодно отличалась от предшествовавших прокламаций; это был довольно большой пол-лист, очень хорошо отпечатанный. Что касается до ее содержания, то Герцен мягко отозвался, что она представляла смесь Бабефа и Шиллера (в прокламации было посвящено несколько строк и Герцену: он объявлялся человеком уже отсталым, хотя и признавались его заслуги в прошлом). «Молодая Россия» объявляла кровавую войну не только существующему строю, но и всем его основам; от современного общества не должно было остаться камня на камне. Понятно, что не только разрешались, но прямо рекомендовались все средства, и в числе их убийства, грабежи, пожары и т. п. Помнится, приблизительно триста тысяч жизней предлагалось принести в виде жертвы, чтобы расчистить поле для закладки нового общества. В действительности никакого Центрального революционного комитета не было и никакой связи с петербургскими пожарами «Молодая Россия» не имела. В начале 1862 г. в Петербурге было поло-

[1] В. А. несомненно был близок к «Великоруссу», но даже, несмотря на добрые отношения, за несколько лет до своей смерти отказался что-нибудь сообщить. «В свое время я дал слово сохранять тайну». — «Но ведь все давно перемерли». — «Это ничего не значит, мое слово должно оставаться в силе». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

жено в кружке Н. Серно-Соловьевича начало тайному обществу «Земли и воли». Но оно и не подозревало, что готовится «Молодая Россия». Последняя была отпечатана в одном имении в Рязанской губернии и вышла из очень небольшого московского кружка студентов Аргиропуло (вскоре умершего) и Зайчневского; о ней мне еще придется говорить ниже. Среди петербургской молодежи «Молодая Россия» не встретила большого сочувствия; правда, ее распространяли, но просто потому, что тогда, как, вероятно, и теперь, молодежь считала обязательным распространять всякую прокламацию. К счастью, за нее никто не пострадал; а после петербургских пожаров тайна ее происхождения тщательно сохранялась. Не будь пожаров, «Молодая Россия» была бы скорее забыта, чем михайловская «К молодому поколению» и «Великорусс», с которыми была связана судьба Михайлова и Обручева. Она была просто «порывом увлечения горячих голов», как ее довольно верно охарактеризовал публицист «Северной пчелы» (№ 151, 1 июня). Но после 28 мая в ней увидели явное доказательство, что петербургские пожары — дело организованной группы и имеют политический характер. «В высших классах, — говорится в «Северной пчеле» (№ 157), — почти единогласно пожары связывают с последней прокламацией». Но такой взгляд шел гораздо шире; даже Кавелин, которого никак нельзя заподозрить во враждебном отношении к молодежи, в известном письме к Герцену прямо говорит, что петербургские пожары — дело политической группы. Не удивительно, что при таком взгляде на пожары в обществе сказался поворот к реакции; половина людей, еще вчера либеральных, сегодня стали крайними реакционерами, каждый удивлялся, почему не запрещают того или другого, хотя в репрессивных мерах скорее сказался избыток, чем недостаток. Вслед за 28 мая в Петербурге было объявлено нечто вроде военного положения. Учрежденному под председательством генерал-адъютанта Зиновьева комитету между прочим было поставлено в обязанность «изыскание и принятие чрезвычайных, наиболее действительных мер к охранению безопасности столицы»; город был разделен на три участка с военными губернаторами во главе, определено «всех, кои могли бы быть взяты с поджигательными снарядами и веществами или по подозрению в поджигательстве, равно подстрекателей

к беспорядкам, судить военным судом, в двадцать четыре часа» (от 30 мая). Вскоре военно-полевой суд был введен по всей России по делам о поджогах. Затем последовал целый ряд репрессивных мер. На восемь месяцев были закрыты «Современник» и «Русское слово», совсем прекращен «День» Аксакова и были объявлены (18 июля) суровые временные правила о печати, впрочем, высочайше утвержденные еще 12 мая;[1] несколькими днями ранее 28 мая были распубликованы весьма подробные правила, утвержденные 14 мая, о надзоре за типографиями, литографиями и т. п. заведениями. В мотивах к ним сказано: «С некоторого времени начали распространяться у нас возмутительные сочинения, выходящие не только из заграничных русских типографий, но и неизвестно где печатаемые. Хотя эти явления, не представляющие по своей исключительности ничего общего с направлением умов благомыслящей части публики, имеют в глазах правительства значение единственно как нарушение полицейского порядка, тем не менее нельзя не убедиться, что причина их лежит в неполноте суще-

[1] Так как эти «временные правила» и до сих пор благополучно сохраняют свою силу (писано в самые первые годы XX в., еще до революции 1905 г.), то считаю не лишним полностью привести их: «Впредь до пересмотра всех постановлений по делам книгопечатания: I. Во всех вообще произведениях печати не допускать нарушения должного уважения к учению и обрядам христианских исповеданий, охранять неприкосновенность верховной власти и ее атрибутов, уважение к особам царствующего дома, неколебимость основных законов, народную нравственность, честь и домашнюю жизнь каждого. II. Не допускать в печати сочинений и статей, излагающих вредные учения социализма и коммунизма, клонящихся к ниспровержению существующего порядка и к водворению анархии. III. При рассмотрении сочинений и статей о несовершенстве существующих у нас постановлений дозволять к печати только специальные ученые рассуждения, написанные тоном, приличным предмету, и притом касающиеся таких постановлений, недостатки которых обнаружились уже на опыте. IV. В рассуждениях о недостатках и злоупотреблениях администрации не допускать печатания имен лиц и собственного названия мест и учреждений. V. Рассуждения, указанные в двух предыдущих пунктах, дозволять только в книгах, заключающих не менее 10 печатных листов, и в тех периодических изданиях, на которые подписная цена, с пересылкою, не менее 7 р. в год. VI. Министру внутренних дел и министру народного просвещения предоставляется, по взаимному соглашению, в случае вредного направления какого-либо периодического издания, причислять оное к разряду тех, коим не дозволяется печатать рассуждения, показанные в пп. III и IV, и прекращать каждое периодическое издание на срок не долее 8 месяцев. VII. Не допускать в печати статей: а) в которых воз-

ствующих по части книгопечатания постановлений»[1]. Соображая даты двух последних мероприятий, оказывается, что они были решены еще до пожаров; возможно, что появление «Молодой России» было толчком к ним; но вероятнее, что они были предрешены еще ранее. Идем далее. Последовали многочисленные аресты политического характера, в том числе Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича, Писарева, Рымаренко и других, закрыты воскресные школы и народные читальни, вменено в обязанность министру народного просвещения разрешать чтение публичных лекций в Петербурге не иначе, как по соглашению с министром внутренних дел, главным начальником III Отделения и с.-петербургским генерал-губернатором (10 июня). И рядом с этим пострадали, как нередко в таких случаях бывает, вещи самые невинные. Так, были закрыты II отделение при Литературном фонде и шахматный клуб.

Большое счастье, что тогда в Петербурге был генерал-губернатором Александр Аркадьевич Суворов. Это не был человек широких политических взглядов, нельзя также сказать, что он был тонкий и дальновидный политик; но Суворов был человек добрый, гуманный и замечательно доверчиво относившийся к молодежи; а к студентам он питал просто отеческую нежность. Только

буждается неприязнь и ненависть одного сословия к другому, и б) в которых заключаются насмешки над целыми сословиями или должностями государственной службы. VIII. Не дозволять распубликования по одним слухам предполагаемых будто бы правительством мер, пока они не будут объявлены законным образом. IX. Статьи за подписью правительственных лиц дозволять к печатанию не иначе, как по положительному удостоверению в действительной присылке их от этих лиц. X. В отношении к статьям и известиям политическим наблюдать общее правило об охранении чести и домашней жизни царствующих иностранных государей и сынов их семейств от оскорблений печатным словом и о соблюдении приличия при изложении действий иностранных правительств. XI. Редакция каждого периодического издания, представляя в цензуру какую-либо статью, обязана знать, кто именно автор оной, для сообщения по востребованию судебных мест и министерств внутренних дел и народного просвещения. XII. Независимо изложенных здесь правил, цензора обязаны руководствоваться особыми наставлениями при цензоровании статей, касающихся военной части, судебной, финансовой и предметов ведомства министерства внутренних дел». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[1] Эти правила, однако, не помешали появлению прокламаций. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

благодаря его заступничеству студенческие манифестации не были истолкованы в смысле покушения на нечто более серьезное; дело о трехстах студентах, сидевших в Петропавловской крепости и Кронштадте, было окончено к началу декабря, но освободить студентов предполагали после 14 декабря; Суворов убедил государя освободить всех 6 декабря. Все эти студенты могли оставаться в Петербурге не иначе, как за поручительством родителей или близких родственников; Суворов, не справляясь о степенях родства, принимал в качестве поручителя всякого, кого только ему приводили. Но возвращаюсь к делу о пожарах. Была назначена следственная комиссия, которой пришлось иметь дело с массой арестованных по подозрению в поджогах, в том числе немало из молодежи.

Следственная комиссия, однако, не остановилась на этом непосредственном материале; она распубликовала следующее воззвание: «Долг каждого обывателя доводить до сведения правительства обо всем, что касается как общего блага, так и вреда. На этом основании комиссия, независимо от официальных мер, обращается к обывателям столицы с приглашением содействовать ей со своей стороны в исполнении возложенного на нее поручения, прося всех и каждого сообщать обо всем, что в настоящем случае может быть полезным, — одним словом, помогать ей всем, чем кто может послужить ей на общую пользу». Можно себе представить, какой град добровольческих указаний посыпался в комиссию после этого воззвания.

Против некоторых арестованных из среды молодежи, напр. покойного хирурга Мультановского (в то время студента-медика), были на первый взгляд подавляющие улики. В известных кругах требовали решений в 24 часа (чему и были примеры в других местах, напр. в Одессе). В московской газете «Наше время» сообщалось (№ 122) из Петербурга: «В публике иногда слышны суждения от так наз. образованных людей, что надо пытать... в комиссии о поджогах один из членов говорил о необходимости пытки, прочие члены не соглашались и возражали, что государь этого никогда не дозволит». Одно очень близкое лицо к государю[1] настаивало

[1] Его брат — Ник. Ник. (со слов Алекс. Алекс. Козловой, дочери Суворова). (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

у Суворова, чтоб он для успокоения населения скорее повесил человек двадцать. Суворов устоял против этих давлений; и хотя следственная комиссия была составлена из самых обыкновенных чиновников, однако по некотором времени все обвинения против заподозренных в поджогах с политической целью рассыпались в прах, и арестованные были освобождены. «Journal de St.-Petersbourg» даже поместил статью, из которой можно было заключить, что не только политических, но и никаких поджогов не было. Был только сослан в Иркутскую губернию Викторов, учитель Лугского уездного училища, за имение запрещенных сочинений и три поджога Лугского училища, «впрочем, в нетрезвом виде», как сказано в конфирмации. Военно-полевым судом Викторов был приговорен к смертной казни.

Не могу здесь не привести случай, о котором мне недавно напомнило одно лицо, весьма близко стоявшее к А. А. Суворову. Вскоре после 26 мая некто Милицын (или Мелицын)[1], служивший, кажется, на Варшавской ж. д., проезжал через так называемый Таракановский мост. Когда извозчик был уже на середине моста, произошел взрыв на мосту. Милицын быстро вскочил с дрожек и бросился бежать; но его догнали, схватили и препроводили в полицию. На мосту был найден опорожненный от взрыва патрон. Милицына судили и приговорили к смертной казни, главным образом на том основании, что он не дал никакого объяснения, где он провел три часа. Суворову предстояло конфирмовать приговор; но прежде чем исполнить эту тяжелую обязанность, он решил повидать преступника и поехал в Петропавловскую крепость, взявши с собой состоявшего при нем аудитора Цитовича. В крепости Милицын произвел сильное впечатление на Суворова простым изложением своего ужасного положения, рассказом о старухе матери, которую он содержал, о своем отчаянии при мысли, что ему придется умереть при проклятиях народа за мнимо совершенное преступление. Несмотря на все убеждения Суворова объяснить ему даже не как генерал-губернатору, а просто как Суворову — где и как он провел три часа, относительно

---

[1] За точность фамилии, однако, не ручаюсь, но так называла А. А. Козлова, дочь А. А. Суворова, по мужу Козлова (убитого вместо Трепова). (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

которых отказался дать показание на суде, Милицын стоял на одном: «Этого я вам сказать не могу; я знаю, что должен умереть, но умру со спокойной совестью». Суворов вернулся домой сильно потрясенный этим свиданием, хотя отказ Милицына объяснить, где он провел роковые три часа, все-таки приводил его в крайнее недоумение. Цитович, однако, заявил, что, по его мнению, Милицын невиновен. Суворов доверял Цитовичу, а между тем надо было в тот же вечер конфирмовать приговор, а утром привести его в исполнение. При мысли, что может пострадать невинный, Суворов сейчас же вместе с Цитовичем принялся за пересмотр дела и пришел к убеждению, что улики против Милицына были недостаточны. Он немедленно по телеграфу испросил у государя позволение приехать в Царское Село[1] и после доклада получил согласие государя на передачу дела главному военному прокурору (кажется, тогда он именовался главным военным аудитором) Философову. Последний дал заключение, что улики против Милицына слишком недостаточны. Из осторожности дело побывало еще в морском аудиториате, откуда вернулось, как говорили, с дополнением, что следовало бы подвергнуть законной ответственности членов военного суда за слишком легкое отношение к человеческой жизни. Милицын был освобожден.

Спустя некоторое время, год или два, Милицын явился к Суворову: «Теперь я могу вам сказать, где провел три часа, N умер... и я женюсь».

За честь любимой женщины Милицын готов был отправиться на виселицу.

Сколько мне помнится, следственное дело о петербургских пожарах не было публиковано; в последующее время (особенно после симбирского пожара) в известном лагере завиняли следственную комиссию, что она или не хотела или не сумела добраться до настоящих корней; потому я считаю нелишним упомянуть здесь об одном из выдающихся членов этой комиссии. То был Ростислав Захарович Столбовский (он умер в 1867 г. в должности

[1] Суворов объяснил государю, что, во-первых, улики против Милицына недостаточны, а во-вторых, он, Суворов, следуя примеру своего деда, не может конфирмовать смертного приговора. Известно, что А. А. Козлова тоже хлопотала о сохранении жизни убийце ее мужа. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

председателя с.-петербургской управы благочиния), тесть и единомышленник В. Д. Скарятина, который, таким образом, был отлично осведомлен о ходе пожарного следствия [1]. Столбовский, как он сам того не скрывал, много способствовал провалу следствия в смысле политической окраски пожаров. Между тем Столбовский далеко не был каким-нибудь благодушным идеалистом или мечтателем; совсем напротив, это был человек поседелый в полицейской службе. Вот какой случай из своей служебной практики он тогда мне рассказывал. Одно время Столбовский был полицеймейстером в Красноярске. Когда мне пришлось во второй половине 60-х гг. жить в Красноярске, то я часто слыхал от красноярцев: «Был у нас полицеймейстер Столбовский, при нем не было ни грабежей, ни воровства — он шутить не любил». «Раз, — говорил мне Столбовский,— заезжаю я к знакомым и узнаю, что у них пропали каминные часы; я даже знал эти часы. Ни на кого из прислуги подозрения не заявили. Еду от них и думаю — кто бы мог украсть часы? В это время попадается на улице бродяга (в те времена без особенного повода бродяг в Сибири не забирали); вдруг почему-то мне пришло на ум — не он ли? Приказал его забрать. Спрашиваю в полиции: «Ты украл часы?» — «Никак нет». — «Ну-ка разложите его». Дали ему пятьдесят розог. «Ты украл часы?»— «Никак нет, ваше высокоблагородие». — «Разложите его». Дали еще пятьдесят горячих. Опять спрашиваю: «Ты украл часы?» — «Никак нет». — «Ну-ка, еще разложите»; а у самого мелькнуло на уме — неужто я ошибся? Как вдруг бродяга поднялся. «Виноват, ваше высокоблагородие»,—и затем указал, как и куда спровадил часы, которые и были тотчас же разысканы. Знаете, — заключил свой рассказ Столбовский, — от долгой практики вырабатывается своего рода полицейское провидение».

[1] О Скарятине см. мою заметку в «Минувших годах» (1908, № 12). Скарятин, выехавши из Сибири, отправился вместе с женой за границу; там жена (Ольга Ростиславовна) разошлась с ним и вступила в гражданский брак с эмигрантом Л. Мечниковым (Леон Бранди). От брака с Скарятиным дочь Essential Кончевская (по первому мужу) потом вышла замуж за эмигранта Шишко. В 90-х гг. Скарятин перебрался к Кончевской и, таким образом, опять очутился под одной кровлей со своей первой женой. Оставаясь прежним Скарятиным, он, однако, крайне привязался к Шишко, так что за обедом и чаем их всегда вместе садили. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Этот случай он припомнил, когда передавал мне, как удалось ему в комиссии вывести на свежую воду главных лжесвидетелей, которые, кажется, были простым орудием полицейских агентов.

Не могу, заканчивая о петербургских пожарах, не привести одну заметку, которая тогда обошла все газеты. «Известно, — говорилось в ней, — что в духов день бывает гулянье в Летнем саду; по обыкновению, и в этот год собрались туда гуляющие, как вдруг одновременно с началом пожара раздались крики: «Горим! горим!» — и вслед за тем поднялась суматоха, начался в полном смысле грабеж, начали срывать бурнусы, вырывать часы и пр., пока не подоспела полиция (если успела)». Очевидцы этого эпизода рассказывали, что действительность далеко превосходила то, что можно вообразить, прочитав приведенное описание. Срывали брошки, вырывали серьги из ушей, прямо хватали за карманы и опоражнивали их. Была ли следственной комиссией установлена какая-нибудь связь между пожаром Апраксиного двора и эпизодом в Летнем саду — это осталось неизвестным.

Когда исход следствия о пожарах стал известен, в значительной части общества сказалась реакция в противоположном направлении, — точно стало стыдно за позорное обвинение, взведенное на молодежь; все стали открещиваться, произошло нечто вроде известной сцены из «Ревизора». К чести Скарятина, который тогда выступил в роли публициста-охранителя, он еще 6 июня писал: «Мы не хотим верить всем этим подозрениям, пока формальное следствие не обнаружит факта... Одни думают, что бессмысленные агитаторы хотят создать пролетариат... пропаганда хочет ожесточить народ... мы этому не верим», а 17 августа оповестил, что солидарность петербургских пожаров с политикой — не доказана; и, кажется, никогда впоследствии не позволял себе каких-нибудь двусмысленных выходок по поводу петербургских пожаров. Но «Молодую Россию» он не забывал, и пока «Весть» существовала, в ней нередко можно было встретить ссылки на нее для доказательства того, какие ужасы могут ожидать Россию от распространения социально-демократических идей. Хотя Скарятин начиная с 1862 г. не раз печатно заявлял, что не верит в силу революционной

партии в России, но «Молодая Россия» служила ему крупным полемическим козырем в борьбе с «Современником» и пережившими его эпигонами.

Тягостное обвинение, взведенное на учащуюся молодежь, рассеялось, но на светлом небе 60-х гг. осталось дымчатое облако — слово «реакция» было произнесено; и никакие уверения Скарятина, что толки о ней не имеют ни малейшего основания, не достигали своей цели...

XXIV. «ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ»

Хотя прошло более сорока лет, как «Земля и воля» прекратила свое существование, но о ней даже в зарубежной литературе нет сколько-нибудь обстоятельных сведений; в очерке Е. А. Серебрякова «Общество «Земля и воля» (Лондон, 1902 г.) говорится об обществе, действовавшем с конца 1876 г. по конец 1879 г., и ни одним словом не упоминается, что под этим же названием была организация в начале 60-х гг. Между тем эта последняя просуществовала около двух лет и после тайных организаций конца царствования Александра I представляет первую несколько заметную попытку объединения уже имевшихся налицо некоторых оппозиционных элементов. Из последующего изложения станет понятным этот недостаток сведений о «Земле и воле». Имея некоторое касательство к обществу «Земля и воля», я считаю своим нравственным долгом пополнить недостаток сведений о нем; но заранее оговариваюсь, что могу это сделать лишь в некоторой степени: многое осталось для меня неизвестным, а из того, что знал, немалая доля улетучилась из памяти. Затем перехожу к делу.

Я был знаком с К. Д. Кавелиным и, как только студентов выпустили из крепости (6 декабря 1861 г.), заявился к нему. Хотя Кавелин и был против каких-нибудь демонстраций со стороны студентов, но он хорошо понимал, что молодость имеет свой темперамент и свой житейский кодекс. Кавелин встретил меня крайне сердечно; после разговора о том, каково нам жилось в крепости, он спросил меня:

— Что вы теперь предполагаете делать? (Как студент четвертого курса, я был исключен из университета.)

— Да думаю пока делать то же, что и ранее; правда, университет закрыт, но можно работать у себя на дому и на всякий случай готовиться к экзамену.

— Душевно вам этого желаю; но как трудно, как трудно войти в прежнюю колею жизни. Боюсь, чтобы на многих это сидение в крепости не оставило крупного следа; иных уж теперь нельзя узнать; вот, например, Евг. Петр. Михаэлис[1] выглядит конспиратором, того и гляди погибнет ни за что, а какая талантливая, многообещающая личность[2].

Кажется, недели две мы провожали наших высылаемых товарищей;[3] все вечера проводили в пирушках по этому случаю да в посещении разных салонов, гостеприимно открывшихся для нас. Везде между студентами шел один разговор: надо непременно, несмотря на закрытие университета, поддержать связь между студентами. С этою целью было даже устроено примирение с матрикулистами[4]. Но как поддержать связь между студентами? Единственное средство, чтобы побольше организовалось кружков — эти кружки должны регулярно собираться и через посредство своих представителей быть в постоянном общении между собою. Посещая разные кружки, нетрудно было заметить, что в каждом из них было ядро, которое не удовлетворялось одними разговорами о прошлой истории да обсуждением разных чисто студенческих дел; тянуло в какую-то другую, неведомую сторону; но ничего определенного не высказывалось, только нередко говорилось о необходимости быть осторожным. По этому последнему поводу я как-то, смеясь, сказал: «Да, право же, господа, эти разговоры об осторожности оскомину набили, а между тем не знаешь — что осторожно, что не-

[1] Брат Л. П. Шелгуновой; умер в Сибири в 1913 г., 2 декабря; справка Э. Пекарского. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] «Крепость укрощает только легкий, напускной либерализм, — люди с твердым характером выходят из нее уже опытными заговорщиками». («Автобиография» И. А. Худякова.) (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[3] Тогда были высланы студенты К. А. Ген, М. П. Покровский, Е. П. Михаэлис, Френкель, Новоселицкий (один из весьма немногих тогда студентов евреев) и вольнослушатель Филитер Орлов. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[4] То есть теми студентами, которые подчинились новым правилам и взяли матрикулы. От их имени главным оратором был Полозов, или Порозов; не знаю, жив ли, но еще недавно состоял присяжным поверенным в Рязани. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

осторожно; лучше прямо начать с того, что сочинить руководство к конспираторству и всем, вместо матрикулы, иметь его в кармане». По времени стали провертываться разговоры, что хорошо бы завести Акулину (под этим словом почему-то стали разуметь тайную организацию); но собственно студенческая среда так на этих разговорах и остановилась. Между тем текущие события, как то ссылка на каторгу М. И. Михайлова, затем В. А. Обручева, дело тверских мировых посредников, арест В. В. Берви, высылка П. В. Павлова, — с каждым днем все сильнее и сильнее возбуждали молодежь; не без впечатления также проходили и вести из Польши [1].

Помнится, на пасхе 1862 г. заходит ко мне Николай Утин. До крепости я с ним почти не был знаком, там несколько сблизились, но, кажется, на него произвел впечатление разговор, который я имел с ним после одного довольно бурного заседания студенческого комитета [2].

Я спокойно, но откровенно высказал ему, что его диктаторские замашки и резкая манера относиться к мнениям товарищей, когда они в чем-нибудь не сходились с ним, каждый день плодят ему если не явных врагов, то людей, которые могут покинуть его при первом остром случае, что человек, желающий играть руководящую роль, должен не только соображать свой каждый шаг, но и взвешивать всякое слово. Он стал после этого нередко советоваться со мной перед более серьезными заседаниями студенческого комитета; оказал мне самую деятельную поддержку в комитете относительно созвания большой сходки и избрания нового комитета взамен прежнего, случайно сформировавшегося. В «думской истории» я, насколько хватало сил, везде защищал комитет, на который взваливали всю ответственность за нее; и хотя лично находил, что Костомаров стал жертвою разных случайностей, тем не менее отказался подписать адрес ему от молодежи. Это нас еще более сблизило. Утин после «думской истории» не раз заводил разговор на тему, что время требует более строгой организации, чем та, которую представляют из себя студенческие кружки, что пора выйти из рамок чисто студенческих интересов. Я не

---

[1] Студенты поляки по закрытии университета большею частию разъехались по домам и там стали одними из самых горячих пропагандистов восстания. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] О нем см. «Думская история». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

возражал ни против того, ни против другого, но указывал, что почин должен выйти из кругов с известным общественным положением.

Так вот, заехавши ко мне, Утин и говорит: «Приходи ко мне завтра вечером; будут два господина с очень серьезным разговором, кроме тебя я никого не звал». Я догадался, о чем предстоит собеседование, и коротко ответил: «Хорошо, приду». На другой день в назначенный час являюсь. В кабинете наглухо спущены все драпировки; Утин, видимо, в приподнятом нервном настроении; я сам испытывал ощущение вроде того, как бы вступал в некое заповедное святилище. Через короткое время раздался звонок, и вошли двое мне незнакомых. Сейчас же Алексею (лакей Утина [1]) был отдан приказ никого более не принимать и подавать чай. Нас взаимно представили; один <А. А. Слепцов> был высокий, несколько плотный блондин; ему не было и тридцати лет, но смотрел он старше; я буду называть его — господин с пенсне; другой — моложе, небольшого роста, со впалой грудью и поразительно добрыми глазами, — хотя и был в штатском платье, оказался студентом Медико-хирургической академии — Рымаренко. После непродолжительного стороннего разговора уселись за стол, на котором уже стоял чай [2].

— Можно приступать к делу? — спросил господин с пенсне тоном человека, не привыкшего понапрасну терять время.

— Пожалуйста.

Нарисовав картину тогдашнего положения наших внутренних дел, указав на всеобщее недовольство, господин с пенсне обратил наше внимание на то, что никаких настоящих реформ нельзя ждать от правительства. «Вся история, — сказал он (и тут было приведено немало

---

[1] Сначала Утин был вполне убежден в полной преданности Алексея, но потом некоторые обстоятельства стали наводить его на сомнения; тем не менее отпустить Алексея не решался, боясь еще худших последствий. И так тянулось до самого бегства Утина. Была принята одна предосторожность — мы перестали собираться на квартире Утина. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Прошло без малого пятьдесят лет, но при воспоминании об этом вечере я и теперь испытываю какое-то особенное настроение, хорошо припоминаю даже мелочи: например, как мы сидели, — Слепцов и Рымаренко на диване, слева Утин, а я визави в креслах; овальный стол, на нем пара стеариновых свечей и малиновое варенье к чаю... (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

примеров, всем известных), — учит, что действительные реформы всегда исходили из народа, а не преподносились ему. Но народ не организован; единичные же усилия, каким бы героизмом они ни отличались, ничего не могут дать. Поэтому нужна организация. Что должно стоять на ее знамени? — «Земля», то есть возвращение народу того, что ему по праву принадлежит, и «Воля», то есть созвание земского собора, который должен перестроить всю нашу государственную жизнь на новых, народно-демократических и федеративных началах». Затем господин с пенсне заявил, что начало такой организации уже положено. «Вся Россия, — продолжал он, — в революционном отношении, в силу естественных и исторических условий, распадается на районы: северный, — там есть еще места, где в народе до сих пор сохранилась память о вечевом строе; волжский, где Стенька Разин и Пугачев навсегда заложили семена ненависти к существующему строю; уральский с его горнозаводским населением; среднепромышленный, казачий. Что касается до Литвы и Малороссии, то здесь должны действовать свои собственные организации; с ними великорусская организация, конечно, обязательно входит в самые тесные отношения, но как равная с равными». Далее мы были посвящены в некоторые детали организации; помнится, все дело сводилось на целую иерархию пятерок. В Петербурге имеется центральный комитет (оратор и его сотоварищ были не более как скромные агенты центрального комитета, даже сами не знали которой степени, — так строго выдерживается в организации тайна!); в каждом районе свой комитет, но, понятно, главное руководительство принадлежит центральному комитету. Вся эта речь длилась, может быть, с час; говорил господин с пенсне складно, с дипломатической выдержкой, как бы взвешивая каждое слово, местами, правда, несколько темновато, когда, например, шла речь об отношениях центрального комитета к областным; но мы понимали, что он и не обязан был выкладывать перед нами все карты. В заключение нам был предложен вопрос: желаем ли мы вступить в организацию?

Мы не колеблясь выразили свое согласие. Не помню, что говорил Утин, но я сказал приблизительно следующее: «Понятно, что всякая организация должна выдерживать принцип строжайшей тайны, и для удовлетворения личного любопытства я не счел бы себя вправе предъявлять

какие-нибудь нескромные вопросы; но так как придется привлекать к участию в организации, то весьма существенно знать, находится ли «Земля и воля» в самом зародышевом состоянии, или уже она опирается на какие-нибудь силы? Ведь этот вопрос может предъявить всякий, кому будет предложено вступить в общество». — «Земля и воля», — отвечал господин с пенсне (Рымаренко пока все время молчал, — он только в конце беседы дал несколько практических указаний насчет формирования конспиративных кружков), — находится еще в первом, подготовительном периоде развития; впрочем, во всех крупных центрах уже началась группировка. Независимо от этого, организация может рассчитывать на поддержку одного полка и одной батареи».

Последние слова были сказаны так просто и скромно, что, признаюсь, произвели на меня ошеломляющее впечатление; несмотря на то, что прошло с лишком сорок лет, я их точно сейчас слышу. Даже и без того, что говорил господин с пенсне, я сам догадывался, что «Земля и воля» вряд ли существует более полугода [1] и уже успела заручиться полком и батареей!

Впрочем, дело возможное, — я сам имел некоторые знакомства между военными, и настроение их было благоприятное...

В конце беседы господин с пенсне вошел в некоторые конспиративные детали и между прочим сообщил рецепт химических чернил для переписки. «Его дал Маццини». Если ссылкой на знаменитого заговорщика он хотел в финале усугубить эффект, то сильно ошибся. «Да это всякий аптекарь может посоветовать»,— подумал я, то же и Утин.

Но вот мы с Утиным остались вдвоем.

— Ну, что ты скажешь? — спросил он меня.

— Да теперь уж поздно говорить; мы заявили, что присоединяемся к «Земле и воле».

— Я не о том говорю. Вот это, друг мой, люди! А тонкая штука господин с пенсне, ни одного лишнего слова не проронил.

— А несомненно он во многое посвящен, это ведь чувствуется, — отвечал я.

---

[1] Так я мог думать тогда, исходя из предположения, что лица, выпустившие «Великорусс», могли положить начало и «Земле и воле»; но я отнюдь не утверждаю этого теперь, так как у меня на то нет никаких данных. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

— Я думаю, — продолжал Утин,— что если он не член центрального комитета, то во всяком случае очень близко стоит к нему. Интересно бы знать, кто в комитете? как ты полагаешь, Николай Гаврилович член комитета?

— Не думаю, он слишком кабинетный человек; кстати, ты давно знаешь господина с пенсне?

— Нет, всего второй раз вижу, если не считать случайной встречи в магазине Серно-Соловьевича; там нас Николай Серно-Соловьевич познакомил; при этом господин с пенсне спросил меня, когда бы мог побеседовать со мной; я назначил ему время, и он был у меня; говорил несколько неопределенно; а затем мы условились насчет сегодняшнего вечера. Николай Серно-Соловьевич очень его хвалил и даже сказал: «Это человек вполне надежный, и за что возьмется, то уж можно быть уверенным, что на полдороге не бросит».

— Как ты полагаешь, пыль он нам пустил в глаза, или это и правда, что на стороне «Земли и воли» есть уже один полк и батарея (я еще в гимназии перечитал много разных военных историй, студентом имел знакомства между военными и потому считал себя чуть не специалистом в военном деле)?

— А что ж в этом удивительного, сегодня полки, а завтра будут и целые корпуса, — отвечал Утин, не имевший ни малейшего понятия о военном мире. — Вот насчет Маццини... — но тут мы оба расхохотались.

Так как у нас с Утиным было много общих знакомых между молодежью, то мы условились насчет размежевания. Утин непременно хотел оставить за собой очень многочисленный кружок Судакевича и Островского, я не стал спорить. «А вот Женичку (брата, покойного присяжного поверенного) я тебе уступаю, мне неудобно иметь с ним дело». Затем мы дали друг другу слово, что будем взаимно предупреждать о всяком члене, нами афильированном. Это, конечно, явно нарушало основное правило организации, что пятерки иерархически связываются через посредство одного, но мы сейчас же сообразили, что, провались, например, Утин, так все, через него связанное, неминуемо отрывается; значит, кроме него, еще кто-нибудь должен знать о всех им приобщенных к организации. В объяснениях господина с пенсне и Рымаренко этот пункт остался как-то невыясненным.

В речи господина с пенсне я обращаю особенное внимание читателя на слова «общее недовольство». Оно несомненно было широко распространено. Не входя в объяснение причин этого явления, считаю, однако, необходимым остановиться на тех заключениях, которые выводила из него передовая интеллигенция. При тогдашней политической незрелости казалось, что раз есть такой базис, как «общее недовольство», то стоит только людям решительным сплотиться между собою, и перед их дружным напором старый порядок неминуемо рухнет, ибо все колеблющееся и пассивно относящееся к общественным делам не только не окажет какого-нибудь сопротивления, но и само будет увлечено. И в виде неотразимого аргумента прибавлялось к этому: «Бывают исторические моменты, когда искра энтузиазма горсти людей, как электрический ток, с невероятной быстротой охватывает народные массы и выводит их на новую дорогу; горе тому поколению, которое не поймет исторического момента, им переживаемого; этим самым оно отсрочит решение основного вопроса, может быть, на целое столетие». Что касается до самой организации сил, то это дело, именно в силу своей неизведанности, не представлялось чем-нибудь особенно трудным. Кто из людей убежденных, — а ведь нет такого глухого угла, где бы их не было, — откажется стать за правое дело, кто не выполнит своего долга перед народом?..

Ну, мы с Утиным и принялись за дело; я даже несколько поторопился, так как подходило лето и надо было своевременно афильировать некоторых уезжавших. Однако действовал с разборчивостью и на первых порах ввел в общество не более шести-семи человек, в том числе одного военного инженера, Преснухина (помнится, Ник. Вас.); впрочем, двое из приобщенных мною скоро получили заграничную командировку (из «Педагогического кружка»).

А все-таки нас с Утиным очень занимало, что за человек господин с пенсне; о Рымаренко успели проведать, что он пользуется между студентами-медиками большою популярностью и много между ними работает. По временам нападало сомнение — не миф ли эта «Земля и воля». Решили позондировать Чернышевского. Мы, конечно, ничего ему не сказали, что уже вступили в общество, а вели речь разными обиняками, — например, говорили о необхо-

димости развивать кружки между молодежью, притом с общественным направлением. Чернышевский, хотя и одобрял нас, был, однако, непроницаем; впрочем, к нашему удовольствию, о господине с пенсне отозвался с очень выгодной стороны да рассказал нам басню Эзопа о медведе, который порвал дружбу с человеком за то, что тот в одном случае дул на огонь, чтоб он хорошенько разгорался, а в другом — чтоб погасить его [1].

Но вот в один прекрасный день совершенно неожиданно приходит ко мне господин с пенсне.

— Не можете ли вы рекомендовать кого-нибудь для поездки в Уральский казачий край? Там надо установить отдел нашей организации.

Как раз у меня была для этого совершенно подходящая личность, Гр. Ник. Потанин (сибиряк).

— Могу, — отвечал я не без некоторого чувства удовольствия и назвал фамилию, дополнив ее надлежащей характеристикой.

— Ничего лучше быть не может, — сказал господин с пенсне, — а теперь вот еще что: очень важно весь север и частью северо-восток связать в одно целое и установить местный комитет; не возьмете ли вы это на себя?

— Но я же никого там не знаю, только в Вологде есть у меня кое-какие знакомства.

— И отлично, в Вологде же находится Бекман, вот, значит, Вологда и обеспечена; оттуда проезжайте

---

[1] Незадолго перед тем (18 марта 1862 г.) покончил самоубийством молодой человек Пиотровский, один из второстепенных сотрудников «Современника». Самоубийство Пиотровского произвело очень сильное впечатление на Чернышевского; Пиотровский запутался в денежных делах, а Некрасов отказал в авансе, так как Пиотровский был уже в большом заборе по конторе «Современника». Утин рассказывал мне, что будто бы Ник. Гав. раз выразился так: «Если Пиотровский не дорожил своей жизнью, то мог бы сделать из нее более разумное употребление, чем пустить себе пулю». Мы эти слова истолковывали в том смысле, что Пиотровский лучше сделал бы, если б отдался политической агитации, чем покончить с собой. Кстати, насколько можно доверяться с фактической стороны воспоминаниям А. Я. Головачевой-Панаевой, прекрасно свидетельствует ее рассказ о самоубийстве Пиотровского. Она пространно повествует, как в день самоубийства Пиотровского Чернышевский пришел к ней во время обеда, как Добролюбов, бывший за обедом, заметил особенную бледность Чернышевского и т. д. Между тем Добролюбов умер 17 ноября 1861 г., а самоубийство Пиотровского случилось в марте 1862 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

в Петрозаводск; там войдите в сношения с Рыбниковым;[1] через него вам будет открыт весь Олонецкий край да, наверное, и Новгородский. Проезжая через Москву, непременно познакомьтесь с кружком Аргиропуло и Зайчневского; надо их во что бы то ни стало ввести в наше общество; это один из самых энергических кружков и с большими связями. От них, конечно, можете получить указания на Владимир, Кострому и другие города.

— Тоже не знаю ни Аргиропуло, ни Зайчневского.

— Вы получите к ним письма. Постранствуйте по большим волжским торговым селам; вы и в этом случае можете рассчитывать на кружок Аргиропуло и Зайчневского, но, главное, приобщите их к нашему делу.

Не скрою, это предложение вскружило мне голову; имея полное основание рассчитывать на заграничную командировку, я только что приступил было к кандидатскому экзамену; но разве из-за чисто личного интереса можно отказываться от общественного дела, да еще такого важного? Мне нет и двадцати двух лет, что же меня ожидает в будущем? что я никого не знаю во всем обширном крае, который мне предстоит сорганизовать, — так ведь в Москве я получу некоторые указания; это правду говорит господин с пенсне — укажут на Ивана, а тот в свою очередь на Петра и т. д. Волка бояться — в лес не ходить. И я дал свое согласие.

Характерно, что ни я, ни Утин, которому тотчас сообщил о сделанном мне предложении, не вынесли из него прежде всего совершенно прямого и ясного заключения насчет поразительной слабости «Земли и воли», если она для такого серьезного поручения вынуждена была обратиться к человеку, собственно говоря еще не сошедшему со школьной скамейки и ничем себя не зарекомендовавшему. Напротив, мы его истолковали в том смысле, что для «настоящего дела» действительных работников только и может поставлять молодежь. И такое истолкование было совершенно в духе времени. Несколько лет печать, а вслед за ней и общество на разные лады при всяком

[1] Рыбников — известный собиратель былин; был выслан из Москвы в Петрозаводск, кажется в 1859 г., там состоял на государственной службе. К его кружку принадлежали Козлов (впоследствии профессор философии), М. Я. Свириденко, Орфано (сотрудник «Московских ведомостей» катковского времени). (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

случае твердили, что все надежды следует возлагать лишь на «молодое поколение», а потому не удивительно, что молодое поколение поняло их в буквальном смысле. То несущественно, что я просил некоторое время обдумать сделанное мне предложение; на самом деле, как только оно было мне заявлено, в моем уме уже был решен утвердительный ответ. «Иначе и поступить нельзя, — думал я, — отказ набросит на меня неблаговидную тень».

После визита господина с пенсне и моего утвердительного ответа, заходя иногда в книжный магазин Н. Серно-Соловьевича или встречая Николая Александровича в шахматном клубе, я заметил, что он стал очень внимателен ко мне; почти всякий раз уводил меня в отдельный кабинет и там подолгу беседовал о разных злобах дня, преимущественно же на тему, что надо прилагать все усилия, чтобы как-нибудь молодежь не рассеялась, и постоянно поддерживать в ней единение и сознание гражданского долга, лежащего на ней перед народом. А в один прекрасный день вручил мне, должно быть, двести рублей, со словами: «Это на вашу поездку», и пожелал всякого успеха [1].

Должно быть, Рымаренко дал мне письмо в Москву. Меня огорчала одна неудача. Чтобы облегчить себе выполнение одного пункта намеченной мне программы, а именно — постранствовать по волжским селам, я сам надумал попытаться получить из министерства народного просвещения нечто вроде открытого листа, якобы для собирания этнографического материала; мысль моя была одобрена господином с пенсне. Заявляюсь к тогдашнему попечителю Ив. Д. Делянову; тот сочувственно отнесся к моей просьбе и сказал: «Подайте докладную записку, я доложу министру». Я так и сделал. Но по некотором времени Ив. Дав. ответил мне, что не было примеров в выдаче таких открытых листов, а потому министр

---

[1] Это была моя последняя встреча с Н. А. Серно-Соловьевичем. Сосланный в Сибирь на поселение, он по дороге близко сошелся со многими выдающимися польскими деятелями 1863 г. и принял, как мне говорили некоторые поляки, самое горячее участие в проектах восстания поляков в Сибири (идея сама по себе не новая, она уже обсуждалась между ссыльными после 1831 г.), подавая им надежду на поддержку местного населения. Хотя он и умер в 1866 г., но, кажется, на его счастье не дожил до печальной развязки кругобайкальской истории летом того же 1866 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

(Головнин) и не находит возможным удовлетворить мою просьбу.

«Вам лучше бы обратиться в Географическое общество, — прибавил Ив. Дав., — это в его круге деятельности».

Этим советом я не мог воспользоваться, так как было поздно, да к тому же решительно никого не знал в Географическом обществе.

Утин не раз говорил: «Как я тебе завидую; если б не семья (ему действительно, не навлекая на себя крайних подозрений, трудно было выбраться из Петербурга), непременно отправился бы с тобой». Думаю, что он говорил искренно.

Однако для выезда из Петербурга мне надо было преодолеть одно немаловажное препятствие. По конфирмации студенческого дела я жил в Петербурге на поручительстве В. Ф. Панютина (офицера Преображенского полка) и состоял под гласным полицейским надзором. Что такое значит — быть под надзором полиции, я, как и другие, не имел о том ни малейшего понятия; догадывался, однако, что это обязывает меня сообщать полиции, если куда вздумаю поехать, а может быть, и еще что-нибудь. Чтоб выйти из неизвестности, направился к Суворову, который лично меня знал.

— Что вам нужно, Пантелеев?

— Да вот, ваша светлость, хочу поехать в Вологду.

— И прекрасно делаете; там вы несколько успокоитесь от всех здешних треволнений. У меня в Вологде приятель губернатор, Хоминский; он поляк, был губернатором в Ковно; ну, там демонстрации и т. п.; просился, чтоб перевели его в более спокойную губернию; вот он теперь в Вологде и недавно писал мне, что более спокойного места еще не видал; даже нашел помещика, который не слыхал, что Наполеон в двенадцатом году был в России. Хотите, я вам дам письмо к Хоминскому?

— Очень буду обязан.

И тут же Суворов отдал распоряжение правителю канцелярии Четыркину приготовить письмо. Когда через несколько дней Четыркин вручил мне письмо, то сказал: «Такое, батюшка, письмо, что даже отец о сыне так не написал бы».

Несмотря на это письмо, я при отъезде позвал дворника и сказал ему, чтобы он передал приставу, что я еду

в Вологду. И затем полагал, что все формальности с моей стороны выполнены. И вот я в дороге.

В Москве я решительно никого не знал; там в университете были два-три земляка, но с ними не стоило и разговор начинать. Тем с большим интересом я ждал встречи с кружком Аргиропуло и Зайчневского. Тот и другой, однако, сидели под арестом, помещались в какой-то части, а может быть и в разных — хорошо не помню, но доступ к ним был совершенно свободен. Оба они пребывали в ожидании конфирмации по их делу; Зайчневский был приговорен в каторжные работы за речь, кажется, на какой-то панихиде и, как прибавляли, за попытку возмутить крестьян в имении своего отца; Аргиропуло судился за печатание запрещенных сочинений. Но была между ними и другая разница: в то время как Зайчневский кипел избытком сил, Аргиропуло находился в последнем градусе какой-то болезни, и дни его, видимо, были сочтены; он, действительно, вскоре и умер в Мясницкой больнице. Едва я предъявил свои рекомендации, как Зайчневский сейчас же запустил руки в шаровары (он был в красной рубахе).

— Вот вам новинка, — сказал он, вручая мне довольно большой полулист, отлично отпечатанный (в Рязанской губ., в имении Коробьина, довольно давно умершего), с заголовком «От русского центрального революционного комитета».

Я бегло прочитал.

— Ну, что скажете?

— Очень сильная вещь, — ответил я дипломатически. Прокламация мне не понравилась, но я считал необходимым скрыть свое личное мнение, чтобы не помешать успеху дальнейших разговоров.

— Вот наша программа, — сказал Зайчневский, — и если «Земля и воля» согласна с нею, то мы готовы идти вместе.—Это было сказано таким тоном, как бы за словом «мы» стояла по меньшей мере очень большая группа. — Наш посланный, — продолжал Зайчневский, — теперь уже в Петербурге, он должен прямо явиться к Чернышевскому; конечно, повидает кого-нибудь из ваших, имеет адрес Утина.

Эти последние слова были мне на руку, и я ухватился за них.

— Значит, мне нет надобности, — отвечал я, — рас-

пространяться ни о принципах «Земли и воли», ни о том способе действий, который она считает необходимым в период подготовления сил и их организации: ваш посланный, конечно, обо всем этом достаточно осведомится в Петербурге; потому перейдем к некоторым чисто практическим обстоятельствам; имеете вы связи в провинции?

— Провинция, батюшка, не Петербург и даже не Москва: только в провинции и можно найти людей дела.

Однако ни в это свидание, ни в последующие мне решительно не удалось получить какие-нибудь указания, которые могли иметь цену для меня. Видимо было, что кружок Аргиропуло и Зайчневского не выходил из пределов Москвы, да и тут был не особенно велик, может быть человек пять-шесть, судя по тем посетителям, которые, как видно, были посвящены в тайну происхождения «Молодой России».

Разговоры с Зайчневским становились утомительны; он тогда был в периоде крайней экзальтации и поминутно повторял все одно и то же: «Прошло время слов, настала пора настоящего дела». Перечитав не раз «Молодую Россию», я окончательно убедился, что это горячечный бред, да еще могущий по своему впечатлению на общество повести к очень дурным последствиям, потому все данные мне экземпляры уничтожил. Но вот из Петербурга пришли известия о пожарах, а затем посыпался ряд известий одно другого мрачнее: аресты среди молодежи, закрытие журналов, воскресных школ, разные репрессивные меры. Вернулся <Саблин>, посланный кружком Зайчневского; он, очевидно, был смущен приемом, который встретил в Петербурге;[1] но Зайчневский не только не пал духом, а,

[1] Чернышевский отказался принять доставленные ему для распространения экземпляры и вообще сухо встретил посланного (<Саблина>). Но потом его точно раздумье взяло, что он оттолкнул от себя людей, может быть чересчур экзальтированных, но во всяком случае энергических и преданных революционному делу: он решил выпустить особого рода прокламацию — «К нашим лучшим друзьям»; скорый арест помешал ему выполнить это намерение. (Об этом мне говорил Утин, когда я вернулся в Петербург.) До какой степени, однако, в обществе существовало убеждение в причастности Чернышевского даже к крайним революционным проявлениям, всего лучше свидетельствует визит, который ему сделал Ф. М. Достоевский после апраксинского пожара. Ф. М. убеждал Чернышевского употребить все свое влияние, чтобы остановить революционный поток. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

напротив, пришел в какое-то восторженное состояние; он был убежден, что петербургские пожары несомненно дело какой-нибудь политической группы, и с явной неохотой выслушивал меня, когда я старался его в том разуверить. Надо сказать, Зайчневский совсем не был человек невежественный; несомненно он много читал, особенно хорошо знал французскую социалистическую литературу; у него была своя крепкая логика, дар слова и тот огонь, который может увлечь толпу. Но он страдал одним, тогда широко распространенным недугом мысли: исход тех или других великих событий зависел не от соотношения сил борющихся общественных элементов, а от случайностей. Если бы Луи Блан был менее доверчив или Ледрю-Роллен не растерялся бы при таких-то обстоятельствах — история всего земного шара была бы совсем другая. С этим отпечатком мысли Зайчневский, кажется, и умер; я случайно виделся с ним на другой день после неудачной демонстрации 6 декабря 1876 г. на Казанской площади. «Этот день, — сказал мне Зайчневский, — мог бы стать одним из самых славных дней в истории русской революции, если бы... не какая-то путаница в распоряжениях инициаторов демонстрации» [1]. В 1869 г. он вернулся из Сибири, в 1890 г. был вновь административно туда выслан и жил в Иркутске; там одно время вел иностранный отдел в «Восточном обозрении»; опять вернулся в Россию и умер в 1895 г. (или 1896 г.?) в Смоленске. О «Молодой России», однако, неохотно вспоминал даже в кругу лиц, близких к этому делу, хотя до конца жизни оставался в своем роде якобинцем.

---

[1] За «Молодую Россию» никто не пострадал, по крайней мере из кружка лиц, выпустивших ее; и так как тайна ее происхождения была хорошо сохранена, то это дало возможность весьма основательно пустить фабулу, что она вышла из провокаторского источника; я сам направо и налево распространял это, пока, наконец, совсем не забыли о «Молодой России». Мне иногда приходится встречать одного из бывших членов тесного кружка Аргиропуло и Зайчневского (П. В. Лебединского — недавно умер, доктор в Кинешме), даже считать его в числе своих друзей. Он, конечно, давным-давно отрезвился от крайних увлечений молодежи; но везде этот человек, — а судьба порядочно-таки бросала его с одного конца России на другой, — вызывал во всех знавших его чувство самого глубокого уважения. И действительно, трудно себе представить личность, более деликатно-гуманную и самоотверженно работающую в сфере его нелегкой специальности. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Я прожил в Москве довольно долго, но результат для «Земли и воли» был равен нулю; никуда и никаких указаний не получил. Что касается до кружка Аргиропуло и Зайчневского, то за весьма вероятной смертью первого и предстоящей высылкой второго он, по моим соображениям, должен был прекратить свое существование. Я решил поехать в Вологду; как ни мало там было шансов на успех, все же рассчитывал найти хоть какую-нибудь зацепку.

От Москвы до Данилова я пропутешествовал в разных дилижансах; далее приходилось ехать на почтовых; однако без подорожной в Данилове лошадей не отпустили; обращаюсь к городничему о выдаче подорожной.

«Ваш паспорт». Я предъявляю разные документы, удостоверяющие мою личность, как то: метрическое свидетельство, выписку из дворянской книги, гимназический аттестат. «Нет, все это не годится, нужен паспорт», — стоял на своем старик городничий из военных. Никакие уговоры на него не действовали; тогда, в виде крайнего аргумента, я показал ему письмо Суворова.

«Вот видите, что я везу». Посмотрел городничий запечатанный конверт (а на нем значилось: «От его свет. кн. Суворова») и сейчас же приказал выдать подорожную. Узнавши, что я бывший студент, стал расспрашивать о студенческой истории: «Так это вы с тросточками-то бунтовать выходили!—и закатился гомерическим хохотом,— да я бы вас из пожарной кишки окатил, вот и все. А теперь пойдемте ко мне, жена давно за самоваром ждет; лошадей же велим подать прямо ко мне».

Наконец я в Вологде. Там, конечно, представился губернатору и передал ему письмо Суворова. Прочитав письмо, Хоминский обратился ко мне: «Чем могу быть вам полезен? Не желаете ли поступить на службу?» Я поблагодарил и ответил, что нет. «Не имеете ли здесь какое дело, в котором может быть необходимо содействие администрации?» — «Нет, я просто приехал провести часть лета и отдохнуть».

В один прекрасный день Хоминский уже собрался было отдать мне визит, как пришла петербургская почта и принесла на его имя бумагу от с.-петербургского оберполицеймейстера (Анненкова); в ней сообщалось, что та-

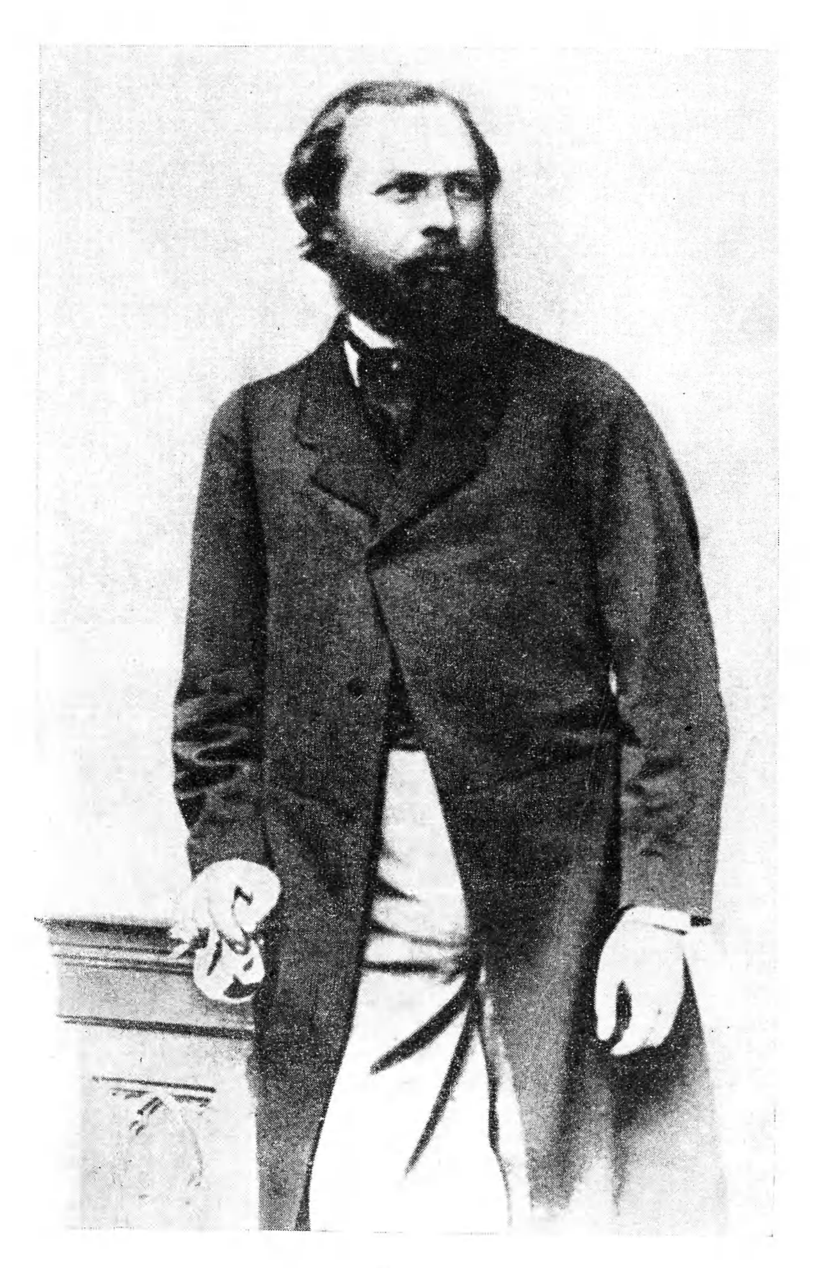
кой-то Пантелеев, тайно скрывшийся из Петербурга, по некоторым сведениям направился в Вологду; что если он там окажется, то на основании высочайше утвержденной конфирмации по студенческому делу следует означенного Пантелеева или выслать в дальние уезды, или отдать в Вологде на поручительство. Хоминский не знал, как и поступить со мной, и частным образом дал мне знать о своем затруднении. Я представил поручителя и остался в Вологде.

В Вологде был у меня приятель в среде педагогического персонала;[1] ранее я знал его как хорошего учителя и доброго малого, но теперь имел о нем аттестацию и с другой стороны; именно, один из приобщенных мною к «Земле и воле» (член «Педагогического кружка») указал на него, как на человека, которому можно довериться. Вижусь с ним; он сам с первых же слов обнаружил большой интерес к последним проявлениям движения в Петербурге и спросил меня, не привез ли я чего-нибудь новенького, то есть прокламаций. Я имел с собой десятка два брошюрки Огарева «Что нужно русскому народу»; по своей умеренности и практической постановке общественных вопросов она была очень пригодна для провинции. Расспросил его о Бекмане; отзыв был самый восторженный: умница, человек большого такта и общий любимец в Вологде, но, конечно, спит и видит, как бы поскорее выбраться из Вологды; да и сильно плох здоровьем. Уж не раз губернаторы ходатайствовали о переводе его в более теплый климат, но всякий раз представление разбивалось о противодействие жандармского полковника Зарина.

Не прошло и двух дней, как я уже познакомился с Бекманом. Он оказался прямой противоположностью Зайчневскому; при живом темпераменте человек, однако, весьма уравновешенный; видно было, что он не только много читал, но и очень вдумчиво относился к прочитанному. Притом он отличался способностью отлично понимать людей и прежде всего со стороны пригодности их на что-нибудь; а так как притом он отличался тонким юмором, то его характеристики не только действительно

---

[1] И. Я. Соболев, учитель истории; был потом в Тотьме и Череповце директором учительской семинарии. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)



А. А. Слепцов. Фотография 70-х гг. (?)

выдающихся людей, напр. Н. Х. Бунге или Виталия Шульгина, но даже вологодских деятелей выходили очень метки и остроумны. Меня особенно поразило в Бекмане уменье всякий вопрос ставить в ясно определенные рамки и, ни на минуту не уклоняясь от существа предмета, приходить к последовательно вытекавшему заключению. Видно было, что долгая кружковая практика не прошла для него даром, и в то же время становилась понятной та первенствующая роль, которую он играл на юге в среде университетской молодежи. Жизнь в Вологде, где он действительно пользовался всеобщим уважением и любовью, крайне тяготила его. «Уходят года, уходят силы, живешь здесь точно в пустом пространстве», — говорил он. Я решил вести с ним разговор в самом скромном тоне.

— В Петербурге положено начало организации «Земли и воли», только начало, да и оно должно было сильно пострадать от последних арестов; может ли организация рассчитывать на какое-нибудь содействие с вашей стороны?

— Да ведь надо же когда-нибудь начинать, — спокойно ответил Бекман, — только в Вологде плохая почва, может быть человека два найдется, которых стоит привлечь. Правда, здесь чуть не на руках носят поляков (их было много административно высланных, главным образом из Царства Польского); особенно увлекается ими прекрасный пол, но ведь это ничего не значит. Как и везде в провинции, в Вологде наповал ругают правительство, этим, однако, не надо обманываться. Вот Петр Петрович Брянчанинов чуть не красный, потому что вместо губернаторства ему предложили выйти в отставку; Иван Николаевич Эндоуров тоже недоволен: думал, что ему по случаю девятнадцатого февраля дадут генерала, но его протектор Ростовцев умер ранее, и он остался ни при чем. И у всякого есть какой-нибудь чисто личный мотив. Если вам придется встретить Александра Михайловича Касаткина, прислушайтесь — чистый якобинец, когда заговорит о правительстве: у него, видите ли, отняли крестьян, да еще заставили землю им дать; и хотя он отвел им болота, но кричит, что его ограбили. Но так как им (то есть дворянам) удалось сместить двух губернаторов, то теперь как-то меньше говорят о земском соборе. Впро-

чем, есть здесь два князя (Гагарин и Волконский[1]), вот это настоящие революционеры, — от огромного состояния у них остается ровно настолько, чтобы, умирая, было на что похорониться с подобающим церемониалом. Что можно будет сделать — постараюсь, — заключил Бекман, — жаль, что в Вологде нет более Марьи Егоровны (?) Пейкер;[2] при ее содействии можно было произвести некоторый сбор денег.

— А нет ли у вас хороших и надежных знакомых в таких-то и таких краях?

— Положительно никого.

Хотя я не имел никакого основания сомневаться в отзывах Бекмана, все же решил прожить некоторое время в Вологде и лично присмотреться. Я свел немало знакомств, даже бывал в клубе, перезнакомился с поляками. Из последних двое выдавались — Вацлав Пршебыльский, учитель гимназии, незадолго перед тем переведенный против его желания из Вильно, и Антон (?) Корженевский, литератор из Варшавы. Последний держал себя очень гордо, почти ни с кем из местного общества не познакомился. Из его слов выходило, что в Варшаве партия, ведшая дело к революционному взрыву, господствует над положением вещей.

— На нашем знамени написано: «Польша в границах до разбора», а на это добровольно русское правительство никогда не согласится.

— Но ведь с этой программой вы будете иметь против себя не только Россию, но и Австрию с Пруссией, на какие же силы вы рассчитываете?

— Народное восстание, поддержка всей революционной партии в Европе с Гарибальди и Кошутом, да и Франция будет за нас.

— Вы говорите о народном восстании, чем же вы думаете поднять народ?

— За «ойчизну» встанет всё, от мала до велика.

И это говорил не юноша, а человек, которому было

---

[1] Гагарин, кажется, в самом конце 40-х гг. был выслан в Вологду за какой-то крупный скандал и оставался в ней добровольно. Волконский унаследовал богатые четыре имения Горчакова и все прожил в Вологде. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Ее муж был в Вологде перед тем вице-губернатором, потом *деятелем* в Царстве Польском за время Милютина; утонул при каком-то случае. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

порядочно за тридцать лет и о котором шла молва, что он один из видных вожаков партии действия. Интересно, что Корженевский был, помнится, родом из Юго-Западного края, где настроение народных масс оказалось всего менее благоприятным для польского дела. Теперь, спустя сорок лет, трудно даже и представить себе то возбужденное до ослепления состояние, в котором находилось польское общество в начале 60-х гг.

В. Пршебыльский ни в какие подобные разговоры не пускался; отличный учитель (естественной истории), он бывал в обществе, и его везде любезно принимали как человека образованного и весьма остроумного. Осенью того же года ему удалось как-то выбраться из Вологды,— он был у меня в Петербурге; затем он принял самое деятельное участие в восстании, был одно время начальником г. Варшавы, кажется даже революционным министром внутренних дел и при общем крушении как-то уцелел, бежал за границу, где и умер.

Встречался и с второстепенными поляками, даже с местными чиновниками из поляков; у всех патриотическое настроение (особенно у женщин) стояло на крайне высокой точке и тем сильнее оттеняло совершенно мертвенный застой местного общества. Правда, среди него выделялся ярким либерализмом советник Вл. Веселовский, но я был вовремя предупрежден Бекманом, что его словам никакой цены придавать нельзя. Помня совет господина с пенсне, я усердно ходил по городским базарам, не раз ездил в Прилуки (большое село с базаром); но то ли моя совершенная неопытность в роли наблюдателя, или уж мне просто не везло, только везде я слышал самые будничные разговоры, не дававшие ничего, чтоб вынести хоть какое-нибудь представление о настроении народа. В конце концов я решил вернуться в Петербург, да и надо было этим поторопиться, так как из верного источника получил предостережение, что ко мне начинает усиленно присматриваться жандармский полковник Зарин [1].

---

[1] Это был очень тучный человек, но Тимашев верно выразился, что Зарин гораздо тоньше, чем кажется с виду. На первых порах Зарин всех очаровал в Вологде своим либерализмом; ну и пожал плоды, так что скоро был переведен на довольно видный пост в Петербург. Впрочем, приемы Зарина не отличались особенной утонченностью; вот хоть бы случай со мной. Я в Вологде по приезде ре-

О поездке в Петрозаводск ни одну минуту и не думал; еще в Петербурге Матвей Яковлевич Свириденко [1], старый приятель Рыбникова, дал о нем такую аттестацию, которая мало подавала надежд, что его можно привлечь на сторону «Земли и воли»; теперь же, после петербургских событий, особенно арестов Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича, нечего было об этом и думать. Сунуться на Волгу, не имея никаких рекомендаций, было совершенно невозможно; к тому же в Вологде я попал в положение полуподнадзорного, так что лишь с трудом оттуда выбрался. В то же время у меня, по неопытности, не было при себе настоящего вида и я нигде не мог получить подорожной; ни господин с пенсне, ни Н. Серно-Соловьевич о практической стороне поездки и словом не обмолвились.

Проезжая через Москву, я уже не нашел Зайчневского, Аргиропуло был переведен в Мясницкую больницу, где он и умер в декабре того же года; [2] никого из кружка не видал, он перестал существовать [3].

шительно не хотел связывать себя какими-нибудь занятиями, но по времени принял крайне выгодные уроки у А. А. Левашева, грязовецкого уездного предводителя дворянства, подготовлять его сына к переэкзаменовке. Я два раза в неделю ездил в подгородную усадьбу Левашева. И вот по времени узнаю, что Зарин у вице-губернатора Лаврова, за отсутствием Хоминского, управлявшего в то время губернией, вел обо мне такой разговор: «Удивительно, как ныне высокопоставленные лица легко дают свои рекомендации; например, Пантелеев имел от кн. Суворова письмо к губернатору, а между тем что же делает здесь этот Пантелеев? он у Левашева возмутил крестьян против него, восстановил сына против отца, на бульваре заводит предосудительные разговоры с гарнизонными офицерами и старается поколебать в них чувство долга». Когда я передал Левашеву эти сплетни, тот был до крайности ими возмущен, сам поехал к Лаврову и заявил, что ничего подобного и тени не было. Что касается до офицеров, то я ни с одним из них и двух слов не сказал. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] Управлял магазином Кожанчикова; с университетским образованием, из кружка Рыбникова, Козлова и др.; большой приятель Н. И. Костомарова и для своего времени очень интересная личность; умер в конце 1864 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] По вскрытии оказалось воспаление мозговых оболочек и мозга. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[3] По приезде в Петербург узнаю, что Суворов за что-то сердится на меня; иду к Суворову. Прежде всего встречаю Четыркина. «Ну, батюшка, отблагодарили же вы князя за письмо». — «Да уверяю вас, что это, должно быть, сплетни жандармского полковника Зарина». Но вот и сам Суворов. «А, Пантелеев, вы и в Вологде не

Вернувшись в Петербург, конечно первым делом вижусь с Утиным; от него узнал, что арестован и Рымаренко, а господин с пенсне куда-то уехал, и нет о нем никаких слухов.

— С кем же ты сносишься?

— Ни с кем; знаешь ли, что я думаю: никакого теперь комитета нет.

— Да ведь не один же Николай Серно-Соловьевич составлял комитет; кто с ним мог быть близок?

По некотором соображении остановились на А. Н. Энгельгардте. Дальше, с Чернышевским был близок

усидели спокойно». Тогда я рассказал ему, какие глупости распространял обо мне Зарин, а также об объяснении, которое имел Левашев с вице-губернатором Лавровым. «Это так было?» — «Совершенно так». — «Ну, хорошо; я и скажу Долгорукому, что сам наводил справки в Вологде и что все сообщенное о вас Зариным чистая выдумка».

Уезжая из Вологды, я спросил Бекмана, не даст ли он мне разрешения попросить Суворова, чтобы тот похлопотал о переводе его на юг; Бекман разрешил мне это. Теперь, пользуясь добрым настроением Суворова, я обратился к нему с ходатайством о Бекмане и выставил его как жертву бессердечия Зарина. «Подайте мне докладную записку», — ответил Суворов. Через день я вручил Суворову записку о Бекмане. Но вот прошла какая-нибудь неделя или немного более, и я узнаю, что Бекман и все его бывшие товарищи, разосланные по разным городам (Завадский, Зеленский, Португалов), арестованы и привезены в Петербург. Их почему-то заподозрили в прикосновении к новому, черниговскому делу, кажется Лободы. «Ну, — подумал я, — теперь Суворов не на шутку рассердится на меня; вероятно, подумает, что я заранее знал, что Бекману может угрожать арест, и вмешательством Суворова хотел несколько парировать эту беду». Иду к Суворову; и опять прежде всего наталкиваюсь на Четыркина. «Ну, батюшка, удружили вы князю, он о вашем Бекмане лично говорил с Долгоруким и Валуевым; те отвечали, что пусть войдет с письменным ходатайством. Уж были готовы бумаги и подписаны князем, оставалось только отправить их; но в эту самую минуту получается список арестантов Петропавловской крепости, и там вижу, что в числе их ваш Бекман. Долгорукий даже выговаривал князю, что он берется ходатайствовать за лиц, которые даже и в ссылке не оставляют своих дел». Но вот выходит в приемную сам Суворов и, заметив меня, самым добродушным тоном сказал: «Ну, теперь я ничего не могу сделать в пользу вашего Бекмана: он опять арестован и сидит в Петропавловской крепости». Я горячо стал объяснять, что арест Бекмана произошел несомненно по недоразумению. И действительно, месяца через два-три Бекман и его товарищи были освобождены, никаких за ними новых прегрешений не оказалось. Бекмана перевели в Самару; но арест окончательно подорвал его здоровье, и он вскоре умер. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

<П. И. Боков>—господин à-la Вирхов (так буду его называть, потому что он одевался в бархатный пиджак); знал он и Н. Серно-Соловьевича, должно быть, или принимал участие, или по крайней мере мог быть хорошо осведомлен. Решили, что я повидаю Энгельгардта, а Утин переговорит с господином à-la Вирхов.

Я вернулся в Петербург, когда впечатление от пожаров стало уже проходить; к тому же следствие не дало никаких указаний на политический характер пожаров, арестованных по этому поводу студентов одного за другим освободили. По мере того как общество успокаивалось, в нем стала обнаруживаться реакция в противоположном направлении, и громко высказывалось неудовольствие на разные репрессивные меры, принятые в конце мая и последующее время. Утину и мне думалось, что «Земле и воле» следовало воспользоваться этим поворотом в общественном настроении и заявить о своем существовании. Однако поиски комитета оказались совершенно безуспешными; А. Н. Энгельгардт категорически заявил мне, что никакого центра не знал, да, вероятно, его и не было, что вообще он не верит в русскую революцию и т. п. Все это было высказано раздражительным тоном, в котором проглядывало даже озлобление. Господин à-la Вирхов, хотя тоже о комитете ничего не сказал, выразился, однако, в смысле необходимости продолжать агитацию. Другие лица, например Г. З. Елисеев, то ли сами ничего не знали, то ли маскировались в полное неведение. Тогда мы с Утиным решили: есть ли комитет, нет ли (это должен был разъяснить нам господин с пенсне, когда вернется, — мы знали, что он не арестован) — сформировать свой конспиративный кружок. На такое решение главным образом повлияло настроение молодежи, которую реакция, особенно аресты (кроме Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича и Писарева, были еще арестованы бывшие студенты университета: Баллод, Даненберг, Яковлев, студенты Медико-хирургической академии Хохряков, Беневоленский и др.) не только не устрашали, а толкали вперед. Но кого привлечь в наш кружок? После долгого обсуждения наш выбор остановился на Гулевиче, Жуке и П. И. Бокове. Имя последнего было окружено ореолом: «близкий человек к Чернышевскому», «друг Добролюбова»; он не только имеет солидные связи, но его профессия открывает ему двери во все сферы. Переговорили

с каждым в отдельности; в согласии Жука и Гулевича мы заранее почти не сомневались; но были очень обрадованы, что господин à-la Вирхов дал такой же ответ.

Вот и собрались. Сущность обмена мыслей сводилась к тому, что нужно продолжать дело, начатое «Землей и волей», привлекать новых членов, собирать деньги, а главное — в данный момент необходимо заявить, что, несмотря на аресты и разные репрессивные меры, «Земля и воля» существует. Это последнее можно было сделать только одним способом — выпустить прокламацию. Сочинить ее нетрудно, а как отпечатать? Был конец лета, за недорогую цену наняли дачу, там поселили одно рекомендованное мною молодое супружество[1], из кружка Судакевича и Островского взяты были рабочие силы, а шрифты и все прочее любезно доставил молодой и популярный издатель О. И. Бакст, имевший свою типографию. О чем же следовало говорить в прокламации? По моему настоянию она должна была явиться обращением к образованным классам; в ней надо было указать, как позорно поддалось панике наше образованное общество, что последствием этого была лишь дикая реакция, что собственные интересы образованных классов громко говорят за то, что они должны выступить на дорогу энергичной борьбы с правительством; не послушают они этого последнего предостережения — им грозит гнев народный, и т. д. Утин живо сочинил, всяк, конечно, предложил кое-какие поправки; а по некотором времени прокламация была чистенько отпечатана на почтовой бумаге и по возможности распространена. Она, однако, не произвела сколько-нибудь заметного эффекта;[2] молодежь находила ее бледною; многие прямо заявляли, что обращаться к обществу — это значит напрасно терять время, что говорить следует только с народом. Легко это было советовать, а как делать — на этот счет определенной мысли тогда еще никем не высказывалось.

Несмотря на то, что прокламация «К образованным классам» прошла незамеченною, мы, то есть кружок, были очень довольны: дело делается совсем не так хитро, как

[1] Ю. С. Лыткина (вологжанина по гимназии); кончил университет по восточному факультету, был учителем географии. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Н. Ф. Павлов в своем «Наше время» довольно язвительно высмеял эту прокламацию. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

это могло казаться. И мы стали подумывать о выпуске своего рода периодического издания как органа «Земли и воли». Утин принялся за редактирование первого номера, который должен был явиться своего рода profession de foi [1], как вдруг точно снег на голову заявился господин с пенсне. Он, по его словам, много объехал, везде настроение очень бодрое, везде организуются, особенно хорошо идут дела на Волге. Это было приятно слышать. «А что же комитет?» Тут господин с пенсне дал до крайности неясные и уклончивые объяснения, из которых мы определенно заключили, что никакого теперь комитета нет; а что касается до прошлого, то если комитет и существовал, то, вероятно, состоял из Н. Серно-Соловьевича, Рымаренко, господина с пенсне. Но господин с пенсне часто любил говорить о Чернышевском, ссылался в известных случаях на его авторитет; это дало нам повод думать, что, может быть, Чернышевский играл роль верховного руководителя. Это нас очень анкуражировало.

Узнав, что мы сгруппировались в своего рода центральный кружок и даже выпустили прокламацию, господин с пенсне очень нас похвалил и заявил, что с особенной охотой готов работать с нами; таинственно намекал на свои связи и часто говорил об одном большом военном кружке в Петербурге. Понятно, мы были рады, что господин с пенсне входит в наш кружок. Вскоре, как бы для поддержания своих сообщений, он каждому из нас вручил нечто вроде чековой книжки.

«Необходимо, — говорил он, — для устранения всяких сомнений выдавать квитанции в получаемых деньгах в пользу «Земли и воли»; вот здесь надо вписывать получаемую сумму и отрывать, как квитанцию; а тут (у корешка) лицо, вносящее деньги, может своей рукой проставить, сколько им внесено». В первую минуту эти книжки очень заинтересовали нас; они были хорошо отпечатаны, на какой-то особенной бумаге, с бордюром, и на них имелась печать: «Земля и воля». Однако в ход пустить их не удалось: все отказывались от получения квитанций. Не знаю, как другие, а я имел наивность несколько месяцев хранить свою книжку; наконец уничтожил ее, как вещь совершенно бесполезную, а в то же время крайне опасную.

---

[1] Символ веры, программа *(франц.)*.

В первое время господин с пенсне некоторыми приемами обнаружил притязание на главное руководительство делом; с его языка иногда свертывались выражения: вы сделайте то-то, а вы вот это, я распоряжусь, я вас созову. Однако мы скоро дали ему ясно понять, что никакого начальства над собой не признаем, а все между собой держимся на равной, товарищеской ноге.

Теперь я скажу несколько слов о главных членах нашего кружка. Н. Утин имел широкие связи между бывшими студентами, особенно опирался на очень большой кружок, во главе которого стояли Судакевич и Островский; этот кружок был известен под именем «Петербургской коммуны». Вне этой среды, хотя у Утина и были знакомства, главным образом в литературном мире, он, однако, не имел никакого влияния; связей в среднем классе у него совсем не было. Утин отличался даром слова, только часто переходил в излишний пафос; тем не менее на этом главным образом и держалось его влияние среди молодежи. При случае мог сочинить стихи; так, послание к Михайлову от студентов, сидевших в Петропавловской крепости, вышло из-под пера Утина. До осени 1861 г. это был очень занимающийся студент (историко-филологического факультета) и на третьем курсе получил золотую медаль за работу об Аполлонии Тианском [1]. Потом, конечно, всякая наука до такой степени была отложена в сторону, что он ни в 1862 г., ни даже в 1863 г. и не подумал сдать кандидатский экзамен, что ему не стоило бы большого труда. Тогда направление Утина было чисто политическое; от предшествующего времени он не вынес никакого ознакомления с социально-экономическими вопросами; а теперь, отдавшись агитации, едва успевал пробегать журналы. Ни дальновидностью суждения, ни особенною способностью легко разбираться в путанице текущих явлений он не отличался. Правда, ему было всего двадцать один год, но как-то не чувствовалось, что в нем есть

---

[1] Конкурентом у него был Писарев. В своих воспоминаниях о Петербургском университете Писарев весьма зло рассказывает, как ему хотели присудить золотую медаль за бойкость изложения. В факультете у некоторых профессоров явилось совершенно неосновательное подозрение, что Утин не сам писал представленную им работу, а поводом к тому было то, что сестра Утина, Любовь Исаковна, была замужем за М. М. Стасюлевичем. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

серьезные задатки настоящего общественного деятеля. Многим, вероятно, и тогда не раз приходило на мысль — надолго ли хватит этого возбуждения и не является ли в нем преобладающим элементом скорее желание играть роль, чем искреннее чувство человека, всецело отдавшегося известной идее. Хотя и сын очень богатого человека [1], он, однако, располагал довольно умеренными средствами — кажется, получал сто двадцать пять рублей в месяц на свои карманные расходы [2].

Александр Антонович Жук до крепости почти никому не был известен; хотя и поляк (если не ошибаюсь, из внутренних губерний), он к польской корпорации никаких отношений не имел и держал себя как настоящий русский. В студенческой истории сколько-нибудь заметной роли не играл; но он обратил на себя внимание в крепости своим умом, выдержанностью и очень строгим нравственным критерием, который он ярко выдвигал при суждении о людях в их общественной деятельности.

Мих. Сем. Гулевич объявился совершенно неожиданно; он был сначала студентом Харьковского университета, имел некоторое касательство к кружку Бекмана, но уцелел; затем перешел в Петербургский университет. В студенческой истории тоже не принадлежал к видным деятелям; он всплыл перед выборами во II отделение при Литературном фонде; кто-то указал на него, что он имеет большие связи между студентами-малороссами и очень влиятелен. Это был человек живой, находчивый, остроумный; но так как старое студенчество сильно поредело с осени 1862 г., то на самом деле связей у него не было.

Господин à-la Вирхов по своим профессиональным занятиям, естественно, не мог работать в тесном смысле этого слова; он едва находил время бывать на собраниях кружка (который я уже буду далее называть комитетом, — так он сам стал себя величать). Но мы на это не были в претензии; наши расчеты были на его связи, которые по меньшей мере должны были дать нам некоторые материальные средства. Главное же — «близкий человек

---

[1] Выкрест из евреев, состояние составил на откупах; потом все прожил. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Кульчицкий (стр. 339) выражается об Утине: «Был склонен к интригам». Насколько я знал Утина по петербургскому времени, слова Кульчицкого не могут быть прилагаемы к Утину. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

к Чернышевскому», «друг Добролюбова» (никому и в голову не приходило проверить, насколько все это так), мы просто за честь ставили себе иметь его среди нас. К тому же он всегда выражался такими отборными фразами истинного демократа, правда несколько ходячими, но мы их истолковывали в том смысле, что он не способен ни на какие компромиссы. При случае он умел подчеркнуть свое действительно демократическое происхождение.

Выпустили первый номер под заголовком: «Свобода»; средактирован он был несравненно удачнее, чем «К образованным классам», и был замечен. Н. Тиблен, напр., прочитав его (собственно, небольшой листок), сейчас же запустил руку в карман и вручил мне двести рублей; Ник. Ник. Страхов капиталами не обладал и явного оказательства сочувствия не заявил, но выразился приблизительно так: «Это совсем не похоже на «Молодую Россию», — видно, что прокламация выпущена людьми, которые понимают, как надо говорить с обществом». Молодежь выражала нетерпеливое желание — скоро ли будет продолжение. Вообще этот номер несколько поднял фонды «Земли и воли»; сужу по себе, приобщение к обществу пошло живее; я лично вскоре имел более или менее прямые отношения человекам к двадцати; из них более половины были военные (в числе их Гейнс, впоследствии Фрей) или только что вышедшие в отставку.

Однако после временного оживления дело пошло все-таки не бойко, можно даже сказать, что почти и совсем остановилось. Господин с пенсне все продолжал твердить о своих связях, каких-то организующихся кружках, но на деле этого не было заметно; денег через него почти не поступало, а как только заходил разговор о выпуске новой прокламации или командировке куда-нибудь — он не указывал никаких средств. Господин à-la Вирхов услаждал нас рассказами вроде следующих: «Видел вчера Григория Захаровича (Елисеева), разговор у нас был по душе: «Не могут долго идти так дела, — говорил Григорий Захарович, — и кто это понимает, тому надо быть наготове». Или: «Был у Николая Алексеевича (Некрасова), сильно хандрит; говорит, что без Николая Гавриловича не знает, как и быть, даже писать ничего не может. Сообщил между прочим, что в правительственных кругах большая тревога и что надо ждать еще усиления реакции». К сло-

ву сказать, кроме личного взноса, никаких других денег от господина à-la Вирхов не поступало.

А. А. Жук решительно никого не привлек к делу, если не считать мало внушавшего доверие Гомзена (бывшего студента), сильно зашибавшего[1].

М. С. Гулевич на заседаниях только острил да выдумывал разные пустяки, «чтобы испортить пищеварение начальству», как он любил выражаться; впрочем, у одной барышни (М. А. Эйнвальд), классной дамы, устроил небольшой склад. Должно, однако, сказать, что Жук и Гулевич, когда в том была надобность, отправлялись в нашу типографию и там работали.

Прежде всего, неясно была поставлена ближайшая цель: расширять ли организацию вербовкой членов, собиранием денежных средств, и только — до поры до времени, или рядом с этим проявлять и еще какую-нибудь деятельность. Будучи в центре, мы, конечно, отлично знали, что «Земля и воля» находится в самой первичной стадии развития, что ей слишком рано думать о каких-нибудь активных проявлениях; но, с другой стороны, нам постоянно приходилось выслушивать неудовольствия, что комитет, видимо, ничего не делает. А как только заходила речь о деятельности, то ничего другого, кроме выпуска прокламаций, не представлялось, хотя вера в их действительное значение и тогда была невелика. Конечно, не раз подымались разговоры о необходимости прямой пропаганды в народе, но это представлялось возможным лишь в некотором будущем, и даже довольно неопределенном; из наличного состава «Земли и воли» решительно не на ком было остановиться для деятельности в этом направлении. Говоря это, я, конечно, имею в виду петербургских членов, так как о провинциальных комитет не имел никакого понятия — знал только фамилии некоторых из них в Москве, Н.-Новгороде, Саратове. К этому еще надо прибавить: если и теперь, спустя сорок

---

[1] Кажется, Полина Карловна Пащенко, жившая тогда с Н. С. Аленниковым, большая приятельница Жука, была несколько осведомлена насчет «Земли и воли»; но сам Аленников, хотя и называл себя учеником Грановского и большим поклонником Герцена, не считался в нашем кружке человеком подходящим. Н. С. Аленников был одно время директором «Кавказа и Меркурия», присяжным поверенным, директором Владикавказской ж. д.; помнится, в 90-х гг. покончил самоубийством. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

лет, народная масса есть своего рода загадочный сфинкс, то в те времена она представляла из себя настоящую terra incognita [1].

Вот как-то раз собрались, помню даже — на квартире Гулевича, кажется в Ковенском переулке. По обыкновению, господин с пенсне заводит речь, что получены очень хорошие известия с такого-то места.

«Это мы от вас давно слышим, — прервал неожиданно господин à-la Вирхов, — а на деле ничего не видим; вы нам только пыль в глаза пускаете (на эту тему у нас нередко бывали сепаратные разговоры, — по меньшей мере, что он скрывает от нас свои связи); без вас мы начали было работать, даже выпустили прокламацию, а теперь, убаюкиваемые вашими рассказами, сидим на одном месте. Я прямо заявляю, что не верю вам и не могу оставаться с вами в одном деле и выхожу из комитета».

Господин с пенсне горячо возражал, заверял в своей преданности общему делу; если его считают помехой, то он готов выйти из комитета и сейчас же передать кому-нибудь из товарищей те связи, которые имеет. Утин и я, боясь распадения комитета, старались успокоить страсти; но господин à-la Вирхов еще раз решительно заявил, что выходит из комитета; он, конечно, не отказывается, чем может, быть полезным обществу. Вслед за ним такую же декларацию сделал и Жук; его лишь из вежливости просили взять ее обратно, но не настаивали. Господин с пенсне не повторил своих слов о готовности выйти из комитета, и мы таким образом остались вчетвером.

Хотя мы, то есть Утин, Гулевич и я, не особенно верили в рассказы господина с пенсне, однако скоро сообразили, что господин à-la Вирхов просто разыграл комедию, чтобы под благовидным предлогом уйти из комитета. Мы в его выходе беды большой не видели: пользы от него не было никакой; он привлек всего лишь одну барышню [2], нам всем хорошо известную и которую каждый из нас без малейшего труда мог приобщить к делу. И господин с пенсне и господин à-la Вирхов. оба были одинаково порядочные фразеры, но была

---

[1] Неизвестная страна (*лат.*).

[2] Н. П. Суслову, да еще доктора Покровского, впоследствии профессора в Киеве; впрочем, все участие Покровского выразилось в скромном денежном взносе да раз что-то принял на хранение в академию. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

между ними и существенная разница. По образованию их нельзя было и сравнивать; господин à-la Вирхов вне его специальности, о которой не мое дело судить, был человек совершенно невежественный и ограниченный, как попугай, повторявший некоторые ходячие взгляды. Как сейчас его вижу: раз он стал мне объяснять, что революция дело очень легкое. «Припомните, — говорил он, — как началась революция в Вене в 1848 г., — из общества раздачи бедным супа (это он вычитал в одной из статей Чернышевского). Стоит только начать, а там и пойдет и пойдет...» Было бы явною несправедливостью то же сказать о господине с пенсне; прекрасное знание иностранных языков делало для него доступною научную европейскую литературу; судя по некоторым его литературным опытам того времени, он мог стать заметным деятелем. Но самое существенное отличие состояло в том, что господин à-la Вирхов, — это вполне подтверждается всем его поведением, как ближайшим, так и последующим, — выражаясь деликатно, уж очень был не храброго характера. Он, например, впоследствии посылал из Москвы деньги сыновьям Н. Г., но делал это от имени своего лакея (то есть сдавались деньги на почту от имени лакея).

Он скоро сообразил, что лучше вовремя подобру-поздорову убраться, да еще с высоко поднятым челом. Иначе себя держал господин с пенсне: желание играть роль ставило его иногда в рискованное положение, и он не только не уклонялся, но даже без всякой надобности шел иногда на прямую опасность; так, напр., отправлялся в нашу типографию и там работал. Впрочем, кроме господина à-la Вирхов, мы все это делали, так сказать для анкуражирования настоящих работников из кружка Судакевича и других.

Итак, мы остались к комитете вчетвером; по правде сказать, до поры до времени в этом составе и можно было бы замкнуться; но Утин выставил такое соображение: кружок Судакевича крайне волнуется[1], там открыто говорят, что «Земля и воля» ничего не делает;

[1] В этом кружке на его недельных вечерах можно было встретить массу офицеров. Припоминаю один вечер в зиму 1863 г.; особенно приподнятым настроением выделялся поляк, офицер-артиллерист, кажется Оленский. Но, может быть, не прошло и двух недель, как было получено достоверное сведение, что он взят в плен и повешен. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

надо кого-нибудь из них ввести в комитет. Я нашел, что это резон (я иногда бывал на вечерах «Петербургской коммуны» и вынес то же впечатление), другие не возражали, и наш выбор остановился на Судакевиче. Не зная в чем дело, приходит он в назначенный день, помнится, на квартиру Гулевича. Когда ему в подобающей форме объяснили, что отныне он член комитета «Земли и воли», изумлению его не было пределов. «Ловко же вы вели дело: мне никогда и в голову не приходило, что вы-то и составляете комитет; я думал, что комитет находится на недосягаемой высоте». Тем не менее Судакевич не только не протестовал, но выразил живейшую готовность работать с нами.

По времени выпустили № 2 «Земли и воли», уж не помню какого содержания. Но вот, должно быть в конце ноября, господин с пенсне экстренно собирает нас и сообщает, что из Варшавы приехал Падлевский [1], делегат от центрального польского комитета, и просит, чтобы «Земля и воля» назначила кого-нибудь для переговоров с ним. Дело это возложили на Утина и господина с пенсне. Было два свидания; на первом из них Падлевский заявил: восстание в Польше, если только правительство не отменит набора, неминуемо вспыхнет (по времени выходило, месяца через два); могут ли поляки рассчитывать на какую-нибудь помощь со стороны русской революционной партии? Ему объяснили, что будет доведено до сведения комитета «Земли и воли», и он получит ответ. Собрался наш комитет. Мы все сочувственно относились к польскому движению, предвидели вероятность революционного взрыва, и тем не менее категорическое заявление Падлевского, что восстание вспыхнет в самом непродолжительном времени, произвело на нас ошеломляющее и удручающее впечатление: нам казалось, что поляки идут на верную гибель. Но это уже их дело. Какую же помощь можем оказать им? — Никакой; у нас нет ни малейших средств сделать в их пользу хотя бы самую незначительную диверсию. Надо быть честным, нельзя подавать какие-нибудь призрачные надежды людям, идущим на смерть. Так говорило большинство в ко-

---

[1] Падлевский (Сигизмунд) был офицер, но в это время вел уже нелегальный образ жизни; он был взят в плен в самом начале восстания и казнен. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

митете, и такой ответ решено было дать, объяснивши, что «Земля и воля» находится еще в периоде подготовительного собирания сил и их организации.

«Могут, конечно, независимо от «Земли и воли» вспыхнуть в тех или других местах крестьянские волнения (их почему-то особенно ожидали в 1864 г.); разве они отвлекут часть сил правительства». Одновременно с этим ответом, который нам самим показал всю нашу слабость, нашим делегатам поручено было прямо поставить вопрос о том, как смотрит Центральный польский комитет на будущее Литвы и Юго-Западного края; наконец, употребить все доводы в пользу отсрочки восстания.

На втором свидании Падлевский еще раз заявил, что никто не в силах остановить неминуемость взрыва.

— А если восстание будет подавлено?—спросил Утин.

— Все равно, — ответил Падлевский, — потерять ли двадцать тысяч поляков на полях битв, или в виде рекрут, заброшенных в дальние батальоны [1].

Других последствий от неудачного исхода восстания, как видно, он себе не представлял, да, вероятно, и вся партия действия. По вопросу о Литве и Юго-Западном крае Падлевский заявил, что по освобождении этих провинций их населению будет предоставлено право путем плебисцита самому решить: желает ли оно слиться с Польшей, или каким другим способом устроить свою судьбу.

Падлевский и сам вынес ясное впечатление о слабости «Земли и воли». В вышедшей лет десять тому назад «Истории двух лет» Пржиборовского передается отчет Падлевского Центральному комитету о поездке в Петербург; там многое спутано (и не удивительно); напр., называются в числе членов «Земли и воли» люди, которые были арестованы еще летом 1862 г., говорится об обещании комитета «Земли и воли» оказать диверсию в виде восстания крестьян, чего, как я уже сказал выше, в действительности не было [2].

---

[1] Рекрутский набор, предназначенный в Царстве Польском в начале 1863 г., имел в виду очистить край от заранее намеченных людей, как политически неблагонадежных. Самая операция была произведена ночью, то есть забирали кого надо. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Впрочем, считаю не лишним оговориться. Господин с пенсне не особенно охотно принял решение комитета, что он не может обещать никакой помощи полякам. Вещь возможная, что в сепаратных разговорах с Падлевским он говорил в несколько ином тоне.

Падлевский устроил в Петербурге отдел польской революционной организации и убедил стать во главе его Огрызко, а для сношений с «Землей и волей» назначил Владислава Коссовского, артиллерийского офицера, которого впоследствии заменил чиновник министерства государственных имуществ Опоцкий, а последнего д-р Ф. М. Рымович. С нашей стороны сначала посредником был Утин, но скоро он просил меня заступить его, так как сношения с Коссовским могли привлечь на него излишнее внимание. Но у Утина был приятель поляк, бывший студент Подосский. Так как наша типография на Петербургской стороне почему-то одно время без крайнего риска не могла более работать, то при посредстве Подосского она была перенесена в Люцинский уезд, в имение Мариенгауз; но там была скоро открыта, и двое из наших, Степанов (из кружка Судакевича) и бывший офицер Илья Григ. Жуков, поплатились каторгой. Если не ошибаюсь, это были первые жертвы «Земли и воли», понятно, что арест Степанова и Жукова произвел сильное впечатление; особенно мне было больно за Жукова, с которым я находился в близких отношениях и который мною был предложен в товарищи Степанову [1].

Приезд Падлевского весьма приподнял настроение господина с пенсне. В одно из ближайших заседаний комитета он держал такую речь: «Господа, мы слишком заняты текущим, между тем давно пора подумать и о будущем; события идут таким ускоренным шагом,

---

Покойный А. М. Унковский рассказывал мне: в 1862 г. (должно быть, в свою летнюю поездку) господин с пенсне при свидании с князем Трубецким наговорил ему таких несообразностей о силах «Земли и воли», что тот сначала всему поверил; потом, когда на деле все оказалось мифом, не только пришел в сильнейшее негодование на обман, но и круто повернул в противоположную сторону. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] Около того же времени, не помню зачем, через мое посредство был командирован в Варшаву отставной офицер Вячеслав Эмерикович Валицкий (потом доктор медицины; еще жив), ему был дан адрес Шварца (Ленуара), одного из самых видных членов партии действия в Варшаве. Одна чистая случайность спасла В. Валицкого: он заявился к Шварцу, когда в его квартире был произведен обыск и сам он только что арестован. Какая-то догадливая женщина предупредила Валицкого, когда тот расспрашивал о квартире Шварца. Многие из русских, сосланных в Сибирь, знали, конечно, Шварца; по общим отзывам — это была выдающаяся личность, особенно по широте идей. Он умер не особенно давно в Галиции. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

что нам следует заблаговременно наметить членов будущего временного правительства. — Взрыв хохота был ответом на эти слова, что, однако, нисколько не смутило господина с пенсне, он продолжал: — По крайней мере следует подумать, кто бы мог стать военным министром; по-моему, всего лучше подходит Н. Н. Обручев (впоследствии начальник главного штаба; недавно умер)». В виде шутки министерство иностранных дел предложили господину с пенсне, Утин согласился быть министром внутренних дел, Гулевич взял на себя печать, а я финансы. Однако господин с пенсне, пожалуй, всерьез принял титул министра иностранных дел, так как вскоре заявил, что находит нужным поехать за границу, дабы установить более деятельные связи с Герценом и другими эмигрантами (которых, к слову сказать, тогда не набиралось и с десяток), также организовать правильную доставку заграничной русской печати. Хотя настоящая работа, как нам казалось, была в России, однако мы не удерживали господина с пенсне: он далеко не оправдал наших ожиданий... Из всех своих связей, о которых так много и часто говорил, он указал на А. Д. Путяту, преподавателя в одном из корпусов, да на Ю. Мосолова, молодого человека в Москве, около которого сгруппировался небольшой кружок [1]. С Путятой мне пришлось иметь дело и вскоре оборвать с ним всякие отношения; он сам признавал, что у него на руках было около двухсот рублей, кем-то переданных для «Земли и воли»; однако этих денег мы никогда не могли получить. По-видимому, никого около него не группировалось.

С отъездом за границу господина с пенсне о нем пропал всякий слух, и что он там делал, не имею ни малейшего понятия. Кажется, на него есть намек у Герцена, где он говорит, что некоторые лица, явившиеся из России, от имени «Земли и воли», требовали от него полного подчинения. Это весьма похоже на господина с пенсне. Сам же он объясняет людям, недостаточно осведомленным, что поездка его за границу имела целью устранить последствия рокового недоразумения — нападения поляков ночью на некоторые части войск, офицеры

[1] С А. А. Слепцовым был в близких отношениях П. А. Ровинский, и он-то всего более, зная провинциальные кружки, способствовал разоблачению фантазий А. А. Слепцова. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

которых якобы готовы были примкнуть к восстанию. Но дело в том, что господин с пенсне выехал из Петербурга еще до начала восстания (это я отчетливо помню); оно застало его в переезде через Польшу.

А польское восстание действительно вспыхнуло. Первые известия о нем произвели в обществе смешанное впечатление жалости и смущения — чем все это кончится? Но по мере того как начала разгораться дипломатическая кампания, в обществе стал обнаруживаться поворот в определенном направлении, выразителем которого и стал Катков. Напрасно думают, что тогдашнее патриотическое настроение было создано Катковым; оно непосредственно коренилось в чувствах и понимании самого общества, Катков же был только талантливым истолкователем того и другого.

По случаю польского восстания «Земля и воля» выпустила прокламацию, которая, как припоминаю, начиналась словами: «Льется польская кровь, льется русская кровь, для кого же и для чего она льется?» Вскоре Коссовский обратился к нам с просьбою достать военно-топографическую карту Западного края; через посредство одного офицера Академии генерального штаба[1] она была добыта и передана Коссовскому. Несколько офицеров, в числе их известный А. Потебня, отдаленно принадлежавший к «Земле и воле», но без прямого влияния комитета, перешли на сторону поляков, — вот, собственно, и все, что получили поляки со стороны «Земли и воли», если не считать случайной помощи в устройстве побега некоторых поляков (напр. Лясковского, начальника партии, дольше других державшегося в Западном крае, — бежал через Петербург, — Домбровского и др.)

Раз Коссовский пришел к Утину и сообщил, что Петербург почти без войска — едва хватает на караулы, «Земле и воле» надо этим воспользоваться. Но не было никаких сил, чтобы произвести хоть сколько-нибудь заметную демонстрацию, да ввиду надвигавшихся туч с Запада она и не встретила бы никакого сочувствия со стороны общества. Другой раз он заявился с предложением: такого-то числа будут отправлены из Петербурга по железной дороге шесть миллионов рублей при

[1] Иасон Смирнов; был впоследствии директором кадетского корпуса; в отставке генерал-лейтенант. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

самой обыкновенной обстановке; нужно напасть на поезд. Оказывались охотники на эту экспедицию из членов «Земли и воли» кавказского происхождения; но комитет нашел, что число их невелико, а все предприятие слишком фантастично. Еще летом приезжал из Вильно Малаховский и хотя говорил, что восстание все более и более разгорается, тем не менее умолял о какой-нибудь диверсии; но не успел я передать ему отрицательный ответ, как он должен был бежать из Петербурга. Должно быть, в конце зимы 1862/63 г., то есть в начале восстания, был в Петербурге Кеневич; переговоры с ним шли через посредство Ровинского. Кеневич настаивал на необходимости поднять крестьян. «Более или менее широко распространенного восстания, — отвечал Ровинский, — произвести нельзя; можно поднять какую-нибудь волость, но ведь это значит прямо повести людей на убой». Так что попытка распространить на Волге ложный манифест и тем поднять крестьянское восстание была устроена поляками совершенно самостоятельно, не только без малейшего участия комитета «Земли и воли», но даже и в секрете от него. Когда казанское дело огласилось, я, по поручению комитета, заявил Коссовскому протест, что о таком важном предприятии, к тому же внутри России, русский комитет не был даже запрошен. Коссовский отвечал: «Поляки ведут войну и считают себя вправе предпринимать самостоятельно те или другие действия везде, где это найдут полезным для своего дела».

Кажется, именно это дело навлекло на Утина усиленные подозрения в его прикосновенности к нему, и он получил предупреждение, что ему угрожает арест. Все мы решили, что Утин должен бежать, но каким путем? Западная граница при тогдашних обстоятельствах представлялась крайне рискованною; о Финляндии в те времена не имели никакого понятия; по совету Гулевича остановились на кружном пути — через Черное море. Так как сам Утин, кроме Петербурга, ничего не знал, то его взялся проводить Ровинский, человек бывалый[1]. После немалых приключений Утину удалось сесть на корабль, должно быть в Таганроге; деньги на побег, три

[1] Последнее снаряжение Утина производилось в квартире Александра Ивановича Лескова (таможенного чиновника), в доме, где и тогда находились Туляковские бани. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

тысячи рублей, были выданы комитетом, но потом отец уплатил их, через сына, Якова Исаковича. Когда мы получили наконец письмо от Утина из-за границы, у нас точно гора свалилась с плеч.

Как исключенный из университета, Утин жил в Петербурге на поручительстве отца. Едва полиции стало известно, что Николай Утин бежал, сейчас же принялись за отца: одно время положительно хотели засадить его в крепость, только Суворову удалось заменить эту меру домашним арестом. Бенардаки и другие откупщики заявили Суворову, что арест Утина неминуемо поведет к его банкротству, а это отразится и на их делах. Вообще видно было, что побегу Николая придавалось особенное значение [1].

Есть довольно веские основания полагать, что казанское дело раскрылось таким образом. Некто Глассон, студент Казанского университета, по-видимому случайно узнавший о польском замысле (хотя есть небезосновательная версия и в противоположном смысле), на пасхе 1863 г. приехал в Петербург, там тотчас же заявился к Суворову и сделал ему донос о замысле поляков. Чуть ли не Мезенцев (племянник Суворова, впоследствии шеф жандармов) был командирован на первоначальное следствие (главное следствие велось Тимашевым); летом 1864 г. в Казани по этому делу были расстреляны Кеневич и несколько офицеров поляков, как то: Иваницкий, Мрочек и др. [2].

Осенью в 1864 г. в Западном крае под чужим именем был арестован поляк офицер Черняк; он оказался прикосновенным к казанскому делу. Из Вильно Черняка препроводили в Казань, и там уже в 1865 г. он был расстрелян. Кажется, товарищи, зная, что Черняк в банде,

---

[1] Следствие, произведенное в Петербурге по делу о побеге Утина, ничего не раскрыло; в конце 1864 г. оно было передано для переследования в Вильно, но результат получился тот же самый. Одновременно и с таким же успехом в Вильно переследовалось также дело о побеге офицера поляка Юндзила, находившегося под арестом в Петербурге и бежавшего из военного госпиталя. Юндзил пробрался за границу, кажется через Финляндию. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева*).

[2] Поляки старались привлечь к этому делу русскую молодежь, ссылаясь на то, что оно идет от «Земли и воли»; но лица, к которым они обращались, хотя до известной степени сами принадлежали к «Земле и воле», ответили, однако, отказом: они легко сообразили, что в деле такой исключительной важности должны были иметь сообщение о нем непосредственно от комитета; к тому же и по существу предприятие не вызвало в них сочувствия. В конфирмации по этому делу упоминается офицер Михайлов, осужденный за недонесение, и

значит все равно человек погибший, многое свалили на него и тем усугубили его участь.

Отец Утина, человек без всякого образования, сделавший карьеру в откупном деле[1], конечно был совершенно далек от идей, которыми увлекались Николай и Евгений; тем не менее, когда узнал, что Николай бежал, то призвал к себе одного из сыновей и сказал: «Меня могут арестовать, совсем разорить, но, что бы мне ни угрожало — ни под каким видом Николай не должен возвращаться». Так как в тогдашних законах не было определено, в чем заключается ответственность пору-

---

студент Орлов; в чем состояло участие последнего, мне неизвестно. Небезынтересные указания о казанском деле я получил от недавно умершего в Лозанне эмигранта Сем. Як. Жеманова (он бежал из казанской тюрьмы в 1864 г.). Но случайно я лично натолкнулся на некоторые нити этого дела, о чем при случае и расскажу особо. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] Он давал немалый материал для «Искры», где его обыкновенно выводили под именем «Ицко Гусина»; однако он всем своим детям дал отличное образование. Так как его появление на петербургском горизонте произошло несколько скоропалительно, то молва приписывала его обогащение выпуску фальшивых бумажек, — так вообще в те времена объяснялось всякое быстрое составление капитала. Так же говорили и о Гинцбурге (отец нынешнего). Впрочем, люди, знакомые с откупными делами, объясняли происхождение богатства Утина проще: обобрал Мясникова, когда управлял его откупом. Но после Утин в том же завинял Н. Д. Лохвицкого, управлявшего откупом Утина (кажется, в Перми). А главным фундаментом фортуны Д. Е. Бенардаки тоже было прямое мошенничество. Он в начале 40-х гг., живя в Петербурге, занимался ведением тяжебных дел. У Голубкова по крайне богатому золотопромышленному делу (Плотоновскому прииску Енисейской северной системы) шел процесс с Рязановыми. Голубков взял себе в ходатаи Бенардаки на условии получения четверти пая (дело было разделено на десять паев; из них пять принадлежали Кузнецову) в случае выигрыша. Голубков, бездетный человек, больной, во всем полагался на своего секретаря; Бенардаки подкупил секретаря, и тот в беловом условии проставил два с четвертью пая, но с получением <1 слово нрзб.> через три года, рассчитывали, что Голубков дольше не проживет и, значит, никакой скандальной огласки не будет. Голубков подписал, не перечитывая, условие. Дело в последней инстанции решилось в пользу Голубкова. Три года прошло, Голубков жив; на монетном дворе наконец отчислили в пользу Бенардаки золота на два с четвертью пая. Попытка Голубкова начать дело против Бенардаки кончилась ничем. Кроме многих других, это мне рассказывал и мой тесть В. Н. Латкин, который знал всех действующих и одно время был даже уполномоченным Голубкова и К°.

На капитал, пожертвованный Голубковым, Географическое общество предприняло издание «Землеведения» Риттера. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

чителя, то через некоторое время домашний арест и был снят с Утина. Кажется, с тех пор при поручительстве был введен денежный залог.

Лето 1863 г. прошло без всякой сколько-нибудь заметной деятельности «Земли и воли» в Петербурге; а что делалось в провинции, мы почти не знали. Господин с пенсне действительно в 1862 г. был в Нижнем, Казани, Саратове, заводил там кое с кем из молодежи [1] разговоры о «Земле и воле», но прочных и деятельных связей с тамошними кружками не установилось. В Петербурге после майских экзаменов старая студенческая среда совсем разредела; [2] московский кружок, во главе которого стоял Ю. М. Мосолов, был заарестован; осенью дела польского восстания круто пошли на убыль, дипломатическое вмешательство свелось к нулю [3], реакционное настроение все более и более крепло. Осенью приехал в Петербург П. Ап. Ровинский. Я с ним откровенно заговорил о положении дел «Земли и воли» и поставил прямо вопрос:

— Вы знаете провинцию, человек вы житейски опытный (ему было уже за тридцать лет), скажите по совести — что делать? С одной стороны, из-за границы нет никаких сведений, а с другой — в здешних членах начинает замечаться апатия, новых членов не прибывает, а убыль, например в Москве, не знаешь, кем заместить.

---

[1] Например, А. Х. Христофоровым (старик, живет близ Кларана), припоминаю также Кипиченко, кажется, был учитель. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Хотя в 1862/63 г. университет считался закрытым, но Головнин разрешил производить выпускные экзамены (весной и осенью). Не спрашивали, с какого факультета и курса, а всякий бывший студент и вольнослушатель мог держать выпускной экзамен. Таким образом было выпущено необыкновенно большое число юристов (в числе их и Н. А. Неклюдов, — он сначала был на физико-математическом факультете, — прошедший самое большее что два курса юридического факультета), так что в открытый в 1863 г. университет перешло очень мало старых студентов, что, по-видимому, и входило в соображения Головнина. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[3] Многие этот исход приписывают патриотическому возбуждению, которое якобы смутило западные державы; нерешительная политика Австрии (у нее тогда на шее были два внутренних вопроса — венецианский и венгерский, и один германский — принимавшее тревожные размеры движение по поводу Шлезвиг-Гольштейна) и неуверенность в деятельной поддержке Англии — вот что расстроило планы Наполеона III. Дальновидный Бисмарк это хорошо предусмотрел, потому с первого дня восстания он решительно и стал на сторону русского правительства. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

— Я думаю, — отвечал Ровинский, — надо всем заявить, что организация закрывается до более благоприятного времени; бесцельно и опасно продолжать тень дела.

Я с ним согласился. Собрался наш комитет (он был несколько пополнен после бегства Утина; кроме того, на совещании, помнится, был А. А. Жук, — он опять вошел в комитет после бегства Утина). Ровинский говорил так убедительно, представил такую живую картину печального положения дел «Земли и воли» в провинции, что решение о закрытии «Земли и воли» было принято без больших возражений, хотя и с оговоркою, что при первых благоприятных обстоятельствах комитет опять примется за старое дело; на этом особенно настаивал Судакевич. Так как Ровинский не оставался в Петербурге, то его просили побывать в некоторых провинциальных пунктах и там везде передать о закрытии «Земли и воли».

Если на возникновение «Земли и воли» имели существенное влияние некоторые отрицательные явления нашей общественной жизни начала 60-х гг., то, с другой стороны, одна особенность того же времени, потом уже не повторявшаяся, ускорила окончательное исчезновение «Земли и воли». Тогда во многих ведомствах, в силу совершавшихся реформ, был предъявлен огромный спрос на молодые силы; при этом не только не браковали людей с либеральными взглядами, но даже охотно брали людей, более или менее явно скомпрометированных, — «нигилистов», как тогда говорили. И так поступали не из какого-нибудь тайного попустительства, а по соображению, что это прежде всего люди способные и в то же время несомненно честные. Исключенные из университета П. П. Фан-дер-Флит и А. Я. Герд, как только сдали кандидатский экзамен, сейчас же устроились: первый был оставлен при университете, а второй получил место классного воспитателя в военной гимназии. Судакевич (тоже исключенный), едва поступил на службу, как у него был сделан обыск; но директор департамента не обратил на это никакого внимания и скоро утвердил его в классной должности. Пантелеев был принят на службу в министерство внутренних дел [1], причем директор депар-

---

[1] По департаменту общих дел. Впрочем, я только числился, жалованья не получал и никогда на службе не бывал. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

тамента (Мартынов) не только знал, что Пантелеев исключен из университета, но что у него незадолго перед тем был обыск. Таких примеров можно было бы привести немало. А затем открылись сферы чисто общественной деятельности, появились судебная и земская реформы; исключенный из университета Н. А. Неклюдов мало того что был выбран мировым судьею в Петербурге, но и утвержден.

Примерно год спустя после закрытия «Земли и воли» совсем неожиданно приходят ко мне несколько земляков студентов, всё, помнится, первокурсников, заявляют о своей готовности послужить общественному делу, предлагают свои услуги для устройства типографии и распространения прокламаций. Говорил главным образом В. Бунаков (брат известного педагога Н. Ф.), уж теперь не помню, почему-то не внушавший мне доверия ни с какой стороны. Я отвечал, что не имею никакого касательства к подобным делам и ничем полезен им быть не могу, указал также на неблагоприятное время. А потом вызвал к себе двоих, которые мне казались наиболее серьезными, и предостерег их вообще очертя голову бросаться в рискованное дело, а в частности по отношению к видимо легкомысленному В. Бунакову. «Да мы и сами не очень-то доверяем ему и уж, право, не знаем, как это он нас всех забрал и привел к вам».

С небольшим через два года после закрытия «Земли и воли» раздался выстрел 4 апреля. Из лиц, близких к Каракозову, никто не принадлежал к «Земле и воле»; в официальном изложении каракозовского дела нигде даже и не упоминается о «Земле и воле». По каракозовскому делу судился и был сослан на поселение в отдаленные места Сибири И. А. Худяков, исключенный из Московского университета по леонтьевской истории. Не помню, кто меня с ним познакомил (кажется, Княгининский), только он бывал у меня в 1862/63 г. Тогда трудно было сказать, что это за человек; с одной стороны, его симпатии были направлены к области народного эпоса, и несомненно из него мог выработаться незаурядный специалист; он даже пытался издавать журнал, специально посвященный народной поэзии, но не получил разрешения. А с другой стороны, его начинали интересовать текущие общественные дела и как будто сказывалось желание занять несколько активное

положение. Несмотря на это, я не решился завести с ним прямой разговор; также и Утин, к которому он захаживал, удержался от искушения привлечь его к «Земле и воле». Затем он уехал из Петербурга, очутился в Швейцарии. И вдруг, к великому моему удивлению (я тогда был уже в Сибири), всплыл в каракозовском деле. Он оговорил Г. З. Елисеева и притом очень сильно; Г. З., конечно, отрицал показания Худякова и в конце концов был выпущен. Что побудило Худякова сделать оговор на Елисеева и при каких обстоятельствах это произошло — осталось, кажется, невыясненным [1].

Что сталось потом с наиболее видными деятелями «Земли и воли»? Утин, живя в Женеве, одно время играл довольно видную роль в рядах европейской социалистической партии, редактировал в Женеве социалистическую газету, был членом Интернационала и особенно близко сошелся с Марксом; ему принадлежал доклад на Гаагском конгрессе, где был исключен из Интернационала Бакунин. Был с ним в Швейцарии один неприятный случай: кажется, не по разуму усердные приверженцы Бакунина сильно избили его; дело происходило в Цюрихе. В начале 70-х гг. Утин бросил политическую деятельность, занялся металлургическим делом и стал поверенным Полякова, Лохвицкого по заграничным заказам для железных дорог. Между тем вспыхнула война 1877 г.; Поляков строил железную дорогу в тылу русской армии; нуждаясь в личных услугах Утина, он выхлопотал ему разрешение вернуться в Россию. Затем одно время Утин управлял на Урале Сергиеуфалийскими железными заводами Гинзбурга и К°; умер в половине 80-х гг. С чем-то за год до его смерти мне довелось с ним

[1] В «Автобиографии» Худякова (изданной за границей в 1882 г.) об этом обстоятельстве нет ни одного слова. По этой «Автобиографии», правда с 1865 г., то есть со времени возвращения Худякова из-за границы, имеющей скорее характер черновых, незаконченных набросков, трудно определить его действительное участие в деле Каракозова. Он отрицал, что ему было известно о замысле Каракозова, отрицал показание последнего, что дал ему деньги на покупку револьвера; между тем в одном месте он говорит: «Если б не ненависть к комиссии (следственной), то, кажется, я сознался бы во всем, что могло вести одного меня на виселицу»; а несколько ранее читаем (по поводу оговора Каракозова на Кобылина и Худякова): «...и, конечно, не раскаяние побудило его делать — и притом ложные — оговоры». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

видеться. Хотя я знал, что он совсем забросил политику и с прошлым совершенно порвал, все же был рад с ним видеться. Он даже физически изменился до неузнаваемости: вместо прежнего тончавого красивого юноши передо мной был обрюзглый, распухший человек, смотревший старше своих лет (ему всего было около сорока двух лет); он даже потерял чистый русский акцент, стал цокать. Встретились мы как будто старые друзья, говорили на «ты», но наша почти часовая беседа шла: он говорил об Урале, а я о другом промышленном деле. Ни звука о чем-нибудь другом, и распрощались мы, не связавши себя ни одним словом насчет будущей встречи.

Рымаренко умер, кажется, вскоре по окончании его дела, если только не во время его производства. Раз мне пришлось встретиться с сенатором Геддой; он говорил о Рымаренко как о молодом человеке, возбудившем живейшую симпатию в его судьях, в числе которых был и сам Гедда.

В половине 80-х гг. заходит ко мне господин с пенсне. «Я решил бросить службу (он занимал недурное место в одном министерстве[1]); вы не можете и представить себе, до какой степени это лишенная всякого смысла деятельность. Да я и Петербург покидаю: тут нет места живому делу, настоящая работа — в деревне, и я в ней поселяюсь. Но я требую, чтобы, кроме пенсии, мне дали при отставке чин действительного статского советника и станиславовскую ленту, — только с ними и можно служить в деревне либеральному знамени».

А через недолгое время встречаю его ближайшего начальника (А. А. Рихтера) и притом школьного товарища.

— Что ж, дадите господину с пенсне генерала и станиславовскую ленту?

— Все дадим, лишь бы только ушел, ведь он прежде всего плохой работник.

Действительная причина, впрочем, была другая. В одной реакционной газете («Гражданин»), начинались в это время вылазки против ведомства (Бунге), где служил господин с пенсне, и делались прямые указания, что в нем свили гнездо неблагонамеренные элементы, прежние женевцы.

---

[1] Был начальником отделения в департаменте окладных сборов, когда директором состоял А. А. Рихтер. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

И вот господин с пенсне все получил (несмотря на то, что не выслужил никаких сроков) и... остался в Петербурге, да еще сохранил в другом ведомстве службу по вольному найму (в отделе ученого комитета по начальному образованию), и нельзя сказать, чтобы там занимался очень либеральным делом.

А. А. Жук выработался в железнодорожного дельца и умер директором, помнится, Владикавказской жел. дор. Крупные железнодорожные заправилы очень ценили его как делового человека, а главное — как большого мастера по составлению разных записок, ходатайств. Жука я, по возвращении из Сибири, лишь мельком встречал; разговоры при этом велись по большей части совершенно обыденные. Только в одном случае встреча была при обстановке несколько особенной. Раз, должно быть, в самом конце 1878 г., заходит ко мне покойный Вл. Вик. Чуйко и говорит: «Не придете ли ко мне вечером в такой-то день, соберется несколько человек, вы их всех более или менее знаете; предполагается обсуждение некоторых текущих общественных дел». Я поблагодарил за приглашение и в назначенный день явился. Действительно, встретил все знакомых и по большей части людей моего возраста, несколько моложе был Вл. Ив. Жуковский и Жакляр;[1] было также несколько дам.

Собеседование (в квартире Чуйко) открыл Жуковский; говорить, как известно, он был большой мастер. Начал он так: «Идет борьба между правительством и молодыми силами, борьба не со вчерашнего дня; собственно, общество до сих пор остается по отношению к этой борьбе в качестве простого зрителя. Мы (то есть присутствовавшие и люди, подобные им), понятно, не можем быть на стороне правительства, но в то же время не можем разделять и всех увлечений молодежи, равно как и ее приемов действий. Наша задача — это действовать на общество, постараться вывести его из инертного положения. Угодно ли будет собранию приступить к обсуждению программы, с которой мы можем и должны

---

[1] Коммунар; после подавления Коммуны был арестован, но ему удалось бежать; в Швейцарии получил степень доктора медицины и женился на А. В. Корвин-Круковской, сестре С. В. Ковалевской. Жил в Петербурге и давал уроки французского языка и литературы в женских институтах; переселившись во Францию, писал корреспонденции в «Новостях» под именем «Жика», сошел с ума и умер. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

выступить?» Все отвечали согласием. Тогда Владимир Иванович в длинной и, как это за ним водилось, весьма остроумно сказанной речи развил программу, в основу которой полагалось отрицание семьи, собственности и государства. Собственно, то, что говорил Владимир Иванович, совсем не было программой, а критикой этих основных начал современного общества. Кончил Владимир Иванович вопросом: «Разделяет ли собрание высказанные мною идеи?» За весьма немногими молчавшими, большинство открыто выразило свое сочувствие, Ал. А. Жук даже прибавил от себя несколько слов в подкрепление того, что говорил Вл. Ив. Когда все успокоились, я попросил слова. «Вы говорите, — сказал я, обращаясь к Вл. Ив., — что наша программа должна иметь в виду так называемое общество, что задача, стоящая перед нами, — вывести это общество из его инертного состояния; между тем вы предлагаете нечто скорее похожее на воззвание к той передовой молодежи, за которой, однако, следовать не находите возможным. Я решительно не понимаю, каким образом мы можем оказать хоть самое малое влияние на общество, когда прежде всего зарекомендуем себя людьми, не признающими семьи, собственности и государства». Мои слова нашли отклик в некоторых присутствовавших, и в результате возникших прений сам Вл. Ив. стал объяснять, что отрицание семьи, собственности и государства должно составлять, так сказать, нашу «внутреннюю программу», но, конечно, не ту, с которой мы гласно выступим. И с этим все опять согласились. Только одна дама, кажется жена помещика из восточных губерний, пальцы которой горели от разных диамантов и сапфиров, не хотела поступиться и, обращаясь ко мне, так-таки буквально и выпалила: «Но, помилуйте, нельзя же без социализма!» Я скоро уехал из Петербурга и не знаю, как долго продолжались эти собрания.

Несколько лет спустя заявилась в Петербург, конечно под чужим именем, известная Янковская, для которой отрицание семьи, собственности и государства не было только «тайным учением», а составляло предмет открытой деятельности; она имела адрес Вл. Ив. и пыталась войти с ним в сношения. По этому случаю он говорил мне: «Ну, скажите на милость, что может быть общего между мной и Янковской? Решительно не понимаю,

для чего я ей нужен и почему это вздумалось направить ее ко мне».

Мих. Сем. Гулевич из-за пустяка эмигрировал; за границей временами сильно бедствовал, жил, давая уроки; [1] в начале 70-х гг. в припадке нервного расстройства выбросился из окна. Говорят, что за время эмигрантской жизни его личный характер сильно изменился [2].

Судакевич умер (должно быть, в первой половине 90-х гг.) помощником статс-секретаря Государственного совета (перед тем был вице-директором в министерстве государственных имуществ). Кажется, в конце 1862 г. с ним был такой казус. Жил он в компании нескольких товарищей и барышень, «маленькой коммуной», как тогда говорили. Вдруг ночью налетели с обыском; всё, конечно, пересмотрели, — ничего не оказалось; оставался недосмотренным один комод; выдвинули ящик, другой — белье. «А что в нижнем?» — «Грязное белье». Ну, и не стали смотреть. А в ящике был шрифт, да к тому же в наборе, — то есть неминуемая каторга.

Судакевич уже в конце 60-х гг. даже старых товарищей круто обрывал, если они почему-нибудь касались начала этих годов. «Это все давно прошло, и нет никакой надобности вспоминать об этом», — замечал он.

Господин à-la Вирхов в конце 60-х гг. покинул Петербург, переселился в Москву. Там благодаря, с одной стороны, легенде «близкий человек к Чернышевскому», «друг Добролюбова» [3], а с другой — «все дамы поворачиваются, когда он входит в театр», — его специальность пошла так блистательно, что он скоро зажил большим барином, завел своего рода палаццо, очаро-

---

[1] Между прочим, у генерала Филипсона, бывшего попечителя во время студенческой истории 1861 г. Филипсон очень полюбил Гулевича и даже предлагал выхлопотать ему возвращение в Россию. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] За ним за границу последовала Мария Ардальоновна Эйнвальд (классная дама Павловского института), на которой он и женился. По смерти М. С. вдова вернулась в Россию и была где-то на юге начальницей женской гимназии. С русской эмиграцией она разошлась из-за того, что похоронила М. С. с церковным обрядом (ради дочери, как она объясняла мне). *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[3] К этой легенде по времени, задним числом, прибавилась еще другая, уж совсем неправдоподобная: что Чернышевский именно его вывел в Лопухове. Умер в Москве 25 декабря 1914 г., в возрасте восьмидесяти лет. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

вательную виллу на берегах Черного моря. Ни к какому общественному делу касательства не имел и не имеет, потому что «близкий человек к Чернышевскому», «друг Добролюбова» — разве может спуститься с высоты их принципов, обязательно идти на разные компромиссы; около него всегда ютится кружок людей, по большей части мало кому известных; они с благоговением слушают, как он твердит все те же фразы, что и сорок лет тому назад, без перемены хотя бы одного слова, и удивляются, как он остался верен лучшим идеалам 60-х гг. [1].

Сколько могу припомнить, в разных случаях из «Земли и воли» попалось около десяти — двенадцати человек; из них только Андрущенко (землемер в Черниговской губ.) оказался излишне откровенным при допросах; но, к счастью, по «Земле и воле» имел отношения с людьми, из которых не могли много выжать. У одного из арестованных по оговору Андрущенко нашли письмо офи-

---

[1] В некрологе «Речи» (28 декабря 1914 г.) сказано, что П. И. Боков изведал тюрьму и ссылку. По делу В. А. Обручева он был недолго под арестом (в III Отделении), но в ссылке никогда не был, не был даже под гласным надзором. Сомневаюсь, чтобы П. И. был ассистентом Боткина. Но Боткин очень помог ему: когда вследствие романа с Измайловой П. И. вынужден был покинуть Петербург и переселиться в Москву, Боткин дал ему письмо к брату, и это сразу открыло П. И. практику в купеческой среде.

Семейная жизнь М. А. (урожденной Обручевой) и П. И. потерпела крушение от очень обыденной причины — увлечений П. И. своими прекрасными пациентками. Так говорила мне сама М. А. Ее близкие отношения к И. М. Сеченову, который помог ей своими средствами на поездку за границу для довершения медицинского образования, относятся к значительно более позднему времени, чем фабула «Что делать?», и окончательно сложились, должно быть, не ранее 1875 г., когда И. М. профессорствовал в Одессе. *В начале* 1875 г. я еще нашел М. А. в Петербурге, одиноко жившею. Затем они переезжают в Одессу. Внешние связи между старыми супругами, однако, не порвались. В Москве Сеченов часто бывал у Боковых, — М. А. была в очень хороших отношениях с новой женой П. И. Софьей Петровной (по первому мужу Измайловой), а И. М. бывал у Боковых по воскресеньям, потому что любил вечер этого дня отдавать картам. У Боковых всегда находил для себя партию. А так он (то есть И. М.) считал Бокова пустым шалопаем. Мать М. А. была полька и вышла замуж за ее отца, когда тот стоял с полком в Польше или Западном крае. По этому обстоятельству Боков рассказывал мне (в 60-х гг.): «Вы не можете себе представить, какой чудный человек отец М. А. Ведь он насильственно женился на ее матери (Э. Ф.), все равно как бы взял ее вроде добычи на войне». Я имел счастье знать Э. Ф.— два раза в конце 70-х гг. гостил у нее в родовом гнезде (имение Клипенина на Висле; оно потом перешло к М. А., которая после многих

цера из провинции (А. Н. Столпакова); письмо заканчивалось рядом шифрованных строк в виде дробей. Шифр оказался настолько хитер, что даже специалисты министерства иностранных дел по чтению шифров отказались разобрать его. Он был несколько сложен для письма и чтения, но действительно без ключа не представлял никакой возможности к прочтению, а, собственно, был очень прост: условливались в странице какой-нибудь книги; из этой страницы произвольно выбирались строки и буквы, числитель означал строки, а знаменатель буквы в ней.

Благодаря связям А. Н. Столпаков был только исключен из службы (впрочем, и то надо сказать, что его ни в чем не удалось завинить); он мною был привлечен к «Земле и воле», я просто гордился и был им увлечен, как семнадцатилетняя барышня (да он и красив был). Умница, никогда ни одной фразы; широко начитанный, он, еще сходя со школьной скамейки, обнаружил независимый характер: окончив первым, имел право выбрать любой гвардейский полк (в средствах не нуждался), а между тем добровольно пошел в армию. Во время студенческой истории 1861 г. его письма к генералу Сутгофу почему-то вскрывались, а в них он выражал живейшее сочувствие студентам и резко порицал действия правительства. Вдруг его отца, командира дивизии, отчисляют от должности. Является отец в Петербург и просит объяснений. «Да вы в своих письмах к генералу Сутгофу заявили слишком антиправительственный образ мыслей». Письма сына были приняты за письма отца, которому, конечно, и дали вновь дивизию. Через посредство одного офицера Академии генерального штаба я сблизился с сыном, — он тогда тоже был в Академии; вскоре он с большой охотой вступил в «Землю и волю» и весьма аккуратно вносил назначенный им ежемесячный взнос. Весной 1863 г. он вернулся в полк, стоявший в средней России, и взял от меня адрес ближайшего кружка, а затем в конце лета и был арестован. После исключения из службы был одно время в Ясной Поляне; но потом как-

---

лет хозяйничанья продала его, кажется, Римским-Корсаковым). Это была прекраснейшая старушка, всегда очень тепло вспоминавшая своего покойного мужа (А. А.). М. А. говорила мне, что все рассказы П. И. о насильственном браке — чистая выдумка. С. П. Измайлова была не чета М. А., она настолько забрала П. И. в руки, что уж он никогда не высвободился из-под ее власти. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)



П. И. Боков. Фотография 70-х гг. (?)

то повернул в другую сторону и уже в начале 70-х гг. был председателем правления одного земельного банка; а много позднее, при одном случайном министре (Кривошеине), даже занял пост директора департамента. Тут он всех поразил своей крайней набожностью: первым делом отслужил молебен в департаменте, а затем, являясь на службу, всегда клал три земных поклона. Это, однако, не спасло его, и при перемене министра ему пришлось оставить департамент, для ведения которого у него не было никакой специальной подготовки. Впрочем, он и теперь имеет хорошо оплачиваемую синекуру (члена совета министерства путей сообщения) и в известных реакционных кружках считается чуть не оракулом; а недавно его имя облетело всю Россию: будучи гласным одного земского собрания, он требовал упразднения в Тверской губернии земской медицины и земских школ.

Вспоминается Моравский. Как сейчас вижу его: худенький, со впалой грудью, он всех нас забавлял в крепости некоторыми акробатическими фигурами, за что и прозвали его «колесо». Вот он поет в студенческой опере[1] «и умрем мы, если надо, за его свободу» (то есть свободу народа) — и с последним словом наносит себе энергический удар в грудь. В 1862—1863 гг. он был одним из самых деятельных и горячих членов «Земли и воли», а также усердным печатником в нашей типографии. Потом я совсем потерял его из виду; но в половине 70-х гг. слышал, что он мирно пребывает в провинции в качестве члена окружного суда[2].

Совершенную противоположность ему представлял Пушторский, человек рассудочный, в личной жизни крайне аккуратный; до студенческой истории был под сильным влиянием Кавелина, но посидел в крепости (Кронштадте) — и в 1862 г. не колеблясь примкнул к «Земле и воле» и никогда не уклонялся от возлагаемых на него поручений. В одном остром эпизоде обнаружил большой характер и благородство. После разных помех (главным образом двух арестов) сдал, однако, экзамен,

[1] «Из жизни студентов»; она была сложена в крепости и там же давалась; содержание взято из истории 1861 г., а музыка — из тогдашних опер. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] По выходе моих «Воспоминаний» получил от него письмо из Одессы, где он оказался членом судебной палаты. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

уехал в провинцию и все время служил — да, кажется, и теперь служит, — одно время по земству, а затем на коронных местах. Видя его, зная даже, что он и поднесь исповедует либеральные идеи, все-таки никому и в голову не придет, что он, хотя и короткое время, был видным членом «Земли и воли».

Я иногда встречаю лицо, через посредство которого была добыта топографическая карта Западного края (И. Д. Смирнов, бывший директор кадетского корпуса в Москве). Он сделал хорошую карьеру и еще недавно занимал не только ответственный пост, но и такой, на который назначают с особенной осторожностью в смысле благонадежности. Со мной он всегда высказывает крайне либеральные взгляды; одна беда, он не приведи бог как говорлив и скучен, чего в прежнее время за ним как-то не замечалось.

Говорят, что время тайных обществ давно прошло. Оставляя в стороне этот вопрос, нельзя не заметить, что «Земле и воле», как тайной организации, обязательно предстоял который-нибудь один из двух исходов: или быть раскрытой в период сформирования, или распасться. Счастливо избежав первого, она умерла собственною смертью. И надо еще удивляться, что «Земля и воля» просуществовала без малого два года, так как в самом ее составе лежал зародыш неминуемой и быстрой смерти. Возникнув по инициативе кружка Н. А. Серно-Соловьевича, она скоро очутилась главным образом на плечах одних студентов, да и то лишь тех, которые побывали в крепости или были исключены из университета (как немалая часть провинциальных членов). Когда поиски комитета оказались безуспешными и мы с Н. Утиным решили сформировать свой конспиративный кружок, то, несмотря на всю нашу молодость, на значительную долю самомнения, развившуюся между петербургскими студентами после осенней истории 1861 г. [1], мы хорошо понимали, что надо искать опоры вне студенческой среды;

[1] Впрочем, и тогда уже сказалась характерная русская черта — нелюбовь к театральной позировке. Когда Чернышевский, вскоре после студенческой истории 1861 г., осторожно передал Утину и мне запрос покойного художника Якоби: не согласятся ли студенты послужить ему для картины «Смерть Робеспьера» (она, кажется, по-

вот почему мы так обрадовались, когда господин à-la Вирхов согласился войти в наш кружок; потому же держались за господина с пенсне, хотя и подозревали, что он не только фантазирует, но подчас и сознательно пускает пыль в глаза. Мы часто перебирали разных лиц, которых следовало бы привлечь к более выдающейся, руководящей деятельности; все это по большей части были люди из литературного кружка или вращавшиеся в нем. Никто из них не сказал нам прямо: вы занимаетесь пустяками, да еще за них посылаете людей на каторгу; и никто в то же время не оказал сколько-нибудь существенной поддержки, хотя бы просто практическим советом. Не могу не вспомнить Михалевского [1] — он чуть ли не был товарищем Чернышевского по университету; во всяком случае находился с ним в дружеских отношениях. По темпераменту это был человек, чуждый всяких увлечений, в нем даже слишком резко выступала холодная рассудочность; все у него было подведено под систему и на все имелась готовая формула. Он был с осени 1862 г. членом «Земли и воли», и мне как раз пришлось иметь с ним дело. Михалевский всегда высказывался в поощрительном смысле, но сам не только не проявлял ни малейшей деятельности, но даже ни разу не подал какого-нибудь совета, не предостерег от того или другого неверного

том называлась «Умеренные и террористы»), то мы не колеблясь отвечали, что в кругу наших товарищей мы затрудняемся на кого-нибудь указать, кто бы пожелал фигурировать в картине Якоби. «Я так и думал», — сказал Н. Г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] Михалевский был одно время учителем в Аракчеевском кадетском корпусе, где во второй половине 50-х гг. сформировался замечательный кружок преподавателей (Гагель и др.). Должно быть, в 1862 г. он оставил корпус и переселился в Петербург. Этот кружок так повлиял на молодого законоучителя из католиков А. А. Лемпорта, что тот бросил ксендзовство и католицизм, для видимости принял протестантизм, жил в Петербурге в компании нигилистов. Беспечный к внешним условиям жизни, едва-едва собрался кончить курс в Лесном институте (был вместе с Ермоловым), женился на русской (Никитиной), овдовел, был учителем в Казани и там вновь женился на русской, очень религиозной девушке. И сам стал православным, очень ревностным. Собственно, это натура чисто религиозного склада, он всегда и все принимал на веру, при всех переворотах оставаясь все одним и тем же трогательно добрым и сердечным. Года два назад он был у меня. «Скажите, — говорил он, — во что верить, чему молиться; не говоря уже о детях, вы только подумайте, что сталось с моей старухой: под влиянием теперешних ужасов она иногда говорит как террористка». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

шага. Он умер несколько лет тому назад, дослужившись при Т. И. Филиппове до поста генерал-контролера.

Многие, конечно, не только могли догадываться, но и отлично знали, чем мы занимаемся. Один из наиболее передовых и популярных публицистов того времени, Ю. Г. Жуковский (он впоследствии стоял во главе Государственного банка), был даже настолько посвящен, что раз я получил от него текст прокламации, редактированный в комитете и через Утина доставленный ему на просмотр. Он теперь не у дел, все же занимает хорошо оплачиваемое место. Я иногда сталкиваюсь с ним за границей. При встрече со мной он хотя и раскланивается, но торопливо проходит. Так и кажется, что мое имя напоминает ему что-то давно забытое, даже совсем схороненное; а жена его (урожденная, кажется, Ценина, бывшая одно время в очень близких отношениях к В. А. Слепцову, беллетристу) прямо-таки от всего отпирается.

Другой, не менее его известный тогда литератор, М. А. Антонович, по нашему желанию, переданному тоже через Утина, сочинил для нас какую-то прокламацию, но мы нашли ее слишком многоречивой, смахивающей на акафист, и забраковали. <А.> Вас. Захарьин (по прозванию «Кулик»), по некоторым указаниям принимавший непосредственное участие, кажется, в «Великоруссе» или другой какой-то прокламации, в описываемое время и виду не показывал, чем он еще недавно занимался; с ним был хорошо знаком Жук, и все, что мы через него знали о Захарьине, ограничивалось тем, что он нам сочувствует [1]. Впоследствии Захарьин совершенно стушевался.

Если не считать молодежи, ни от кого нам не приходилось выслушать даже и намека: а нельзя ли, мол, так или иначе приобщиться к вашему делу. Только П. Л. Лав-

---

[1] Близость Захарьина с Чернышевским дает мне основание думать, что Ник. Гавр. был, может быть, не совсем чужд делу «Великорусса». К тому же манера говорить с публикой, стиль «Великорусса» очень напоминают Н. Г., чего, напротив, совсем нельзя сказать о знаменитом письме, якобы им адресованном А. Н. Плещееву и доставленном в III Отделение Вс. Костомаровым. В 90-х гг. покойный А. А. Рихтер говорил мне, что, по его сведениям, одним из главных членов кружка, выпустившего «Великорусс», был давно умерший Лугинин. Кажется, он выведен Чернышевским в «Прологе пролога» под именем Нивельзина. Сам Рихтер, несмотря на свою близость с Н. Серно-Соловьевичем, вряд ли мог играть какую-нибудь актив-

ров раз крайне удивил меня; это было, как припоминаю, в начале осени 1862 г. «Странно, — говорил он, — еще недавно казалось, что в обществе начинало что-то выделяться в виде как бы организованной группы с активными задатками, и вдруг все стушевалось, не видно никаких проявлений». Я молчал (сколько припоминаю, в это самое время приготовлялся № 1 «Земли и воли»), а Петр Лаврович продолжал: «Был день, который мог быть чреват последствиями, но он пропущен; я разумею несостоявшуюся сходку (студенческую) у Казанского собора (в октябре 1861 г.); я тогда долго оставался вблизи Казанского собора; все было переполнено публикой, особенно много было офицеров; и видно было, что собрались не ради праздного любопытства».

Я передал этот разговор в ближайшем заседании комитета. И мы долго обсуждали, как понять слова Пет. Лав.; наконец решили, что в них ничего другого нельзя видеть, кроме интересного суждения, высказанного без всякой задней практической мысли. Особенно резко выступил против Пет. Лав. господин à-la Вирхов. «Чего можно ждать от метафизика, — говорил он, — нам надо держаться подальше от таких людей». С Лавровым чаще меня видался Утин, но и у него, помнится, разговоры не переходили известной грани.

Еще в самом начале моего очерка я заметил, что аресты и высылки действовали на молодежь крайне возбуждающим образом; нельзя того же сказать об обществе. Правда, имя М. И. Михайлова, первого высланного в Сибирь на каторгу, облетело всю Россию и везде вызвало живейшее сочувствие к его участи (этому, конечно, немало способствовала и его литературная деятельность, особенно статьи по женскому вопросу, первые у нас по

ную роль в конспирациях с осени 1861 г. по конец 1862 г., так как в это время был мировым посредником в Самарской губернии; вернулся он в Петербург, должно быть, в самом конце 1862 г. и некоторое время управлял книжным магазином Н. Серно-Соловьевича, где конторщицей была Анна Н. Энгельгардт, а в библиотеке, что состояла при магазине, одно время, еще при Н. А. Серно-Соловьевиче, занималась г-жа Толмачева из Вятки. Из-за нее в начале 1861 г. М. И. Михайлов публиковал свой горячий протест: «Безобразный поступок газеты «Век», направленный главным образом против Камня-Виногорова (П. И. Вейнберг). А. А. Рихтер несомненно был в курсе «Земли и воли»: я сам передавал ему прокламации, как человеку из наших. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

времени [1]); в Петербурге, вне литературных кругов, очень многие лично знали Н. А. Серно-Соловьевича и, несмотря на горячность его темперамента, любили и высоко уважали его за благородство характера и прогрессивный образ мыслей; если сказать, что арест Чернышевского на всех произвел сильное впечатление, то это значит выразиться слишком слабо; с напряженным вниманием прислушивались к малейшим известиям о ходе его процесса и крайне скептически встретили приговор сената. Но чем больше разрастался список жертв, тем меньше стал он возбуждать интереса в широкой публике; например, о Писареве, Шелгунове никогда не приходилось слышать в обществе какие-нибудь разговоры. Это в свое время предвидел Ник. Гавр., которого глубоко поразил арест одного из сотрудников «Современника», В. Обручева. Н. Г., видимо, очень любил его и часто вспоминал о нем, между тем как о Михайлове, по крайней мере с нами, никогда сам не заводил разговора. Дело В. Обручева, возникшее очень скоро после ареста Михайлова (хотя совершенно самостоятельно), даже в Петербурге, вне литературных кругов, прошло почти незаметно. «Да, — говорил раз Ник. Гав., кажется, метя на это обстоятельство, — весь мир знает, что Виндишгрец расстрелял в Вене Роберта Блюма, а что он перестрелял еще не один десяток людей, из которых многие были повыше Р. Блюма, так их имена даже не во всякой истории того времени встретишь».

Знал ли Чернышевский о том, что предпринял Михайлов за границей (то есть что отпечатал там прокламацию «К молодому поколению» [2]), в этом я не осведомлен; но что по приезде в Петербург Михайлов тотчас же во все посвятил Чернышевского, на это у меня есть дан-

---

[1] Как известно, Прудон в его «De la Justice...» <«О справедливости...» — *франц.*> (1858 г.) высказал относительно женщин крайне ретроградные взгляды. В 1859 г. Михайлов был в Париже и жил в «Hôtel Molière», где у хозяев отеля собирался кружок горячих приверженцев равноправности женщин. Под влиянием происходивших разговоров у Михайлова и явилась мысль написать статью о женском вопросе. Хотя Чернышевский и поместил ее в «Современнике», но особенного значения не придавал, потому что не считал «женский вопрос» первым. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Текст «К молодому поколению» написан Н. В. Шелгуновым; Михайлов же отпечатал ее (600 экз.) в Лондоне и провез в Россию, заклеенною в дно чемодана. Эта операция была произведена в Париже в «Hôtel Molière» Н. В. Шелгуновым. Но все ли шестьсот экз.? Я этого не утверждаю; впрочем, прокламация была довольно заметно

ные. Например, раз в присутствии Михайлова приходит к Чернышевскому один из сотрудников «Современника» [1], притом пользовавшийся доверием Ник. Гавр. Пришедший, между прочим, высказал мысль, что следует печатать за границей и затем ввозить в Россию. Когда Михайлов ушел, Чернышевский и сказал: «Да ведь вы попали не в бровь, а прямо в глаз: Михайлов именно это и сделал».

При свидании с Чернышевским в Астрахани весной 1889 г., между прочим, зашел у нас разговор о делах, давно минувших; вернее сказать, я лишь слушал, только иногда наводя тему.

К слову я рассказал ему о выходе в отставку господина с пенсне. «Да, — несколько подумавши, заметил Чернышевский. — Александр Серно-Соловьевич раз говорил мне: «Что брат Николай и К° делают глупости, я этому не удивляюсь, но как вы, Николай Гаврилович, им этого прямо в глаза не выскажете—вот чего я не могу понять».

Какую роль играл А. Серно-Соловьевич за время 1861—1862 гг., я не знаю; помню только, что его иногда противупоставляли чересчур экспансивному брату Николаю; мне также неизвестно, что побудило его летом 1862 г. бежать за границу, где он в 1869 г. покончил с собой самоубийством от невыносимых физических и душевных страданий.

Не могу не напомнить, что, согласно циркулировавшему в свое время рассказу, Ник. Гавр. первый подал пример своеобразного протеста — добровольной голодовки в тюрьме. Ему долго отказывали в разрешении свидания с женой; наконец в один прекрасный день объявили, что тогда-то он будет иметь свидание. Наступил назначенный термин, но почему-то свидание было отменено. Затем в течение нескольких дней начальство заметило, что вся пища, доставляемая Н. Г., остается нетронутой.

И вот ему говорят: «Сегодня вы будете иметь свидание», — и вместе с тем подают обед. «После свидания, а теперь можете убрать», — отвечал Н. Г., указывая на обед. Свидание на этот раз состоялось, и Н. Г. прекратил голодовку.

распространена не только между студентами (несомненно через посредство Е. П. Михаэлиса), но и в публике, даже имелись экземпляры в совсем глухой тогда Вологде. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[1] М. А. Антонович; он сам это мне и пересказывал. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

За время моего касательства к «Земле и воле» у нее никаких прямых связей с Герценом не было[1], но следует заметить, что еще несколько ранее отношение передовой интеллигенции к Герцену стало довольно неопределенным. Так, уже в 1861 г. в кружке, группировавшемся около «Современника», раздавались жалобы на Герцена, что он замкнулся в своем «Колоколе», не выходит из чисто обличительного направления и не хочет выступить на более активный путь, что от него едва можно было добиться отпечатания отдельной брошюрой «Что нужно русскому народу». Последнее, как припоминаю, рассказывал мне в те времена А. Н. Пыпин. Правда, Герцен приветствовал студенческое движение очень сочувственной статьей («Исполин просыпается»), резко заявил свои симпатии к полякам, но всего этого было уже мало, чтобы сохранить прежнюю влиятельную роль. В деле Чернышевского есть фраза из чьего-то письма, у него найденного: «Чернышевский просит передать Герцену, чтобы он не подстрекал молодежь»,—фраза совсем непонятная, так как нельзя привести сколько-нибудь достоверные факты, свидетельствующие, что Герцен не прочь был толкнуть молодежь на агитационную работу. На молодежь, конечно, могли влиять общие идеи Герцена; но ведь после крушения всех надежд, связанных с 1848 г., у Герцена, при всем благоговейном отношении к сраженным борцам, довольно ясно стало сказываться скептическое отношение к старым приемам действий.

Вот почему Герцен не одобрил прокламацию «К молодому поколению» и в предприятии Михайлова никакого участия не принимал.

Как смотрели на нас люди с либеральными взглядами, но совершенно далекие от каких-нибудь активных проявлений оппозиции? Трудно ответить на этот вопрос, так как приходится основываться исключительно на воспоминаниях, относящихся к личным знакомствам, не особенно, конечно, обширным. Припоминаю, напр., П. Н. Латкина, золотопромышленника из средних, он жил в Петербурге. П. Ник. был человек с университет-

---

[1] Говоря это, я, конечно, имею в виду петербургский комитет; у русских офицеров, находившихся в Польше, завязались некоторые сношения с Герценом; принадлежность этих офицеров к петербургской «Земле и воле» была, однако, чисто номинальная. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

ским образованием, в 1848 г. бывал на вечерах Петрашевского; в начале 60-х гг. у него по четвергам собиралось много передовой молодежи. Дашь ему, бывало, прокламацию; прочитает он ее, погладит свою бороду несколько раз, да и проговорит: «Ох, молодой народ, молодой народ, не миновать вам сибирки». Или: «Как-то вы станете петь, как потолкаетесь да потретесь в жизни».

Если не такие точно, то одинаковые им по смыслу слова приходилось частенько выслушивать; враждебно к нам не относились, а скорее, несмотря на нашу молодость, с интересом [1] и благожелательно. Раз к Пребстингу (тогда был за обер-прокурорским столом, умер сенатором) обратился будущий мой тесть с очень серьезным вопросом обо мне; Пребстинг дал самый лучший отзыв, хотя и прибавил: «Только у него всегда все карманы набиты прокламациями». Тот же тесть, В. Н. Латкин, по поводу одного некрасивого дела, в котором попались молодые горные инженеры (Белоха и Отт), приставленные на Монетном дворе к переделке золота, выразился так: «Не только погубили свою карьеру, но не могут иметь и того нравственного удовлетворения, что пострадали за идею, за честные намерения». В разгар моей конспира-

---

[1] Стоило мне летом 1862 г. случайно встретиться в Вологде с Н. М. Орловым (сын декабриста, тогда числился полковником по армии), как он пригласил меня бывать у него в Петербурге, где он тогда постоянно жил. Я изредка и бывал у него, даже обедал; Н. М. Орлов охотно сообщал мне разные новости из высших правительственных сфер, от него я получил проект земских учреждений. А надо сказать, Н. М. Орлов если и был либерал, то до крайности умеренного оттенка, он скорее примыкал к фракции Платонова (царскосельского предводителя дворянства). В 1863 г. было открыто петербургское губернское дворянское собрание; в числе предметов, подлежавших обсуждению, был и проект земских учреждений. Но на предшествующем собрании Платонов заявил, что в будущем собрании он внесет предложение о созвании земского собора. Хотя состав петербургского дворянского собрания и не мог внушать правительству больших опасений, несмотря на то, что губернским предводителем был кн. Щербатов (бывший попечитель С.-Петербургского округа), все же оно нашло нужным принять меры к устранению, без большого шума, предложения Платонова: было указано на несвоевременность его ввиду политических обстоятельств (разгар дипломатической кампании в пользу поляков), а затем дворянству напомнили, что за ним состоит долг в несколько сот тысяч (еще от времени постройки дома собрания). И состоялся компромисс — правительство поставило крест долгу, а Платонова уговорили не вносить своего заявления. Это мне также рассказывал Орлов. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

тивной деятельности давал я уроки у одной вдовы, генеральши (Ермоловой); она была умная женщина, начитанная и охотно пускалась в обсуждение текущих общественных событий; конечно, исходя из разных отправных точек, мы редко соглашались в заключениях. Раз в каком-то споре она и говорит: «Я не красная, но, по совести, ничего не могу иметь против красных, ведь они работают для нас, расчищают нам дорогу, умеренным либералам». Вероятно, так думала не одна Мария Григорьевна, трое сыновей которой сделали очень видную карьеру; А. С. (бывший министр) ее сын.

Если М. Г. питала несколько преувеличенные надежды, то это не удивительно, — в известных кругах, с которыми она соприкасалась по своему положению, проявлялись, наоборот, даже чрезмерные страхи за будущее. Характерный рассказ в этом отношении можно встретить у В. И. Модестова («Воспоминания о В. Г. Васильевском», «Журнал министерства народного просвещения», 1902 г., № 1) о разговоре с академиком Билярским. А вот не менее интересный случай, документально мне известный. Арестованный в начале лета 1862 г. студент Баллод не знал, что его товарищ Н. И. Жуковский (несколько лет тому назад умерший эмигрант) бежал за границу; между тем по разным обстоятельствам для Баллода было крайне важно это знать. Раз вызывают его в следственную комиссию; там оказался только один член — Жданов (впоследствии сенатор). «Вы, пожалуй, меня не узнаете, — начал Жданов, — ранее вы всегда меня видели при ленте и орденах, — поговорим запросто о вашем деле, оно очень серьезно, но я постараюсь помочь вам». И с этими словами Жданов вынул из кармана номер «Колокола», где сам Жуковский сообщал о своем побеге за границу. «Но вы меня не забудьте, — сказал Жданов,—когда ваша партия восторжествует; ведь я уже стар и опасен для вас быть не могу».

Мне часто приходилось встречать некоторых из бывших членов «Земли и воли», которым выпала судьба отбыть более или менее продолжительные сроки в Сибири. Конечно, это были уже не те горячие юноши, какими я знал их в начале 60-х гг.; но никто из них не открещивался от своих прошлых увлечений, не говорил, как Судакевич, что все это давно прошло и незачем вспоминать; все они, наоборот, свидетельствовали, что духовно счи-

тают себя связанными с 60-ми гг. А некоторым их увлечения обошлись очень и очень дорого. Вспоминается, например, Болеслав Петрович Шестакович; ему было около двадцати двух лет, когда он попал в Сибирь; сначала благодаря его деловитости ему жилось недурно; но потом по милости одной дрянной местной интриги был переведен в Нарым, крайне захолустный город на севере Западной Сибири; и там с семьей, без всяких средств (тогда не назначали политическим ссыльным никакого пособия от казны), прожил несколько тяжелых лет. С Сибирью он сжился настолько, что и теперь в ней остается. Замечательные деловые способности, такт и нравственная безупречность везде его выдвигали и внушали к нему уважение. То же самое должен сказать о Стахевиче;[1] впрочем, если бы вздумал делать исключения, то затруднился бы в выборе.

Да и не все уцелевшие, окунувшись в реальную жизнь, утопили в ней без остатка свои юношеские мечты. Кто с полным уважением, у многих доходящим до благоговения, не вспоминает А. Я. Герда не только как выдающегося педагога, но и как человека нравственно стойкого, всегда и во всех старавшегося поддержать веру в идеал?

Или недавно опущенный в землю Н. Ф. Бунаков (он мною в Вологде летом 1862 г. был приобщен к «Земле и воле»), с лишком сорокалетняя культурно-просветительная деятельность которого у всех еще в живой и близкой памяти.

И таких людей, в свое время принадлежавших к «Земле и воле», я мог бы указать немало; будущий историк нашей общественности добросовестно признает за некоторыми из них несомненные заслуги.

В заключение не могу не коснуться вопроса — в какой степени русские женщины принимали участие в «Земле и воле»? Они и в то далекое время не относились безучастно к ходу нашей общественной жизни; в моей памяти сохранилось до десятка фамилий лично знакомых мне женщин (конечно, из числа живших в Петербурге), ко-

---

[1] Я не знаю в точности, принадлежал ли Стахевич к «Земле и воле», так как он был арестован очень рано; конфирмован 30 декабря 1863 г. на шесть лет в каторжные работы за «злоумышленное распространение возмутительного воззвания». Теперь он живет в России. См. мой некролог о Стахевиче («Наш век», весной 1918 г.). *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

торые стояли близко к «Земле и воле», по меньшей мере так или иначе соприкасались с тогдашним политическим движением. Не берусь утверждать, что покойная М. М. Манасеина непосредственно принадлежала к «Земле и воле», но она была в очень близких отношениях с многими из политически настроенной молодежи, даже из кружка Зайчневского и Аргиропуло; да ведь и замужем она была (в первом браке) за высланным студентом Понятовским; скоро овдовев, она вышла замуж за В. А. Манасеина, студенческие годы которого прошли тоже не совсем благополучно.

Некоторые из знакомых мне женщин поплатились арестом; одна была выслана в Сибирь, другая — в провинцию, третья в течение чуть ли не тридцати лет никак не могла найти себе покойного пристанища и возможности без помех трудиться на том поприще, которое для нее было всем, — на поприще педагогическом.

Бабушками стали мои приятельницы от времени 60-х гг. [1], но как тепло становится при всякой встрече со многими из них. За сорок лет (легко сказать!) наша общественная жизнь шла тяжелым и тернистым путем; к тому же многим из моих приятельниц пришлось вынести еще крайне горестные личные удары и утраты, но их поддержала вера в идеалы молодости. Серебристые волосы покрывают их головы, а сердце все так же сочувственно отзывается на новые запросы жизни, на неустанные стремления выступающих поколений внести в нашу жизнь побольше света правды и света истины.

Вследствие показания Владислава Коссовского 11 декабря 1864 г. я был арестован и препровожден в Вильно; но об этом когда-нибудь до другого раза.

---

[1] Когда писал эти строки, имел в виду еще здравствовавших Н. А. Белозерскую (†), М. А. Быкову, (†), А. М. Герд (†), М. А. Сеченову, А. П. Кравцову, Н. И. Корсини (Утину). *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

КНИГА ВТОРАЯ

В № 2 «Былого» за 1907 г., где печаталось продолжение моих «Дела давно минувших дней», я по поводу пожаров в Западном крае (см. стр. 389—390 настоящей книжки) заметил в примечании: «У меня имеется обстоятельный рассказ лица, которое завинялось как главарь всего дела, и, кроме того, подобраны кой-какие и другие материалы. Все это, может быть, когда-нибудь и использую». С согласия глубокоуважаемого Степана Викентьевича Будревича прилагаю здесь в переводе его воспоминания за весьма малыми и притом не существенными сокращениями. Из остальных материалов, имеющихся у меня, в виде предисловия к рассказу С. В. Будревича помещаю корреспонденции из «Московских ведомостей»; как сам читатель увидит, главнейшая из них была заимствована «Московскими ведомостями» из «Русского инвалида» и, значит, имела в свое время официозное значение [1].

По поводу первой книжки моих воспоминаний в печати было указано весьма мало фактических погрешностей; так, г. Сильчевский исправляет: В. М. Белозерский умер в 1899 г. (а не 1896), Зайчневский вернулся из Сибири в 1869 г., Рыбников был сослан в Петрозаводск в 1859 г. (а не 1857 г.). Несравненно более ценное письменное указание я получил от Г. М. Малышенко, и по поводу его считаю себя нравственно обязанным объясниться. На стр. 236—237, в главе «Основа», у меня гово-

[1] Считаю не лишним указать в ней на тенденциозный перевод: agnìsko revolìucyìne значит не революционное пламя, а революционный очаг или центр. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

рится: «Шевченко умер и похоронен; осенью 1861 г. мы, студенты, сидим в Петропавловской крепости. Вот раз доставляют из города новый нумер «Основы», кажется ноябрьский. Там оказалось много малороссийских стихотворений за подписью «Казак Кузьменко» — имя до тех пор совершенно неизвестное. Внизу под ними стояло примечание от редакции приблизительно такого содержания: только что мы потеряли нашего незабвенного Тараса, как добрая мать Украина народила нового поэта, казака Кузьменко, который по своему таланту может вполне заменить Тараса. Естественно, что это примечание возбудило разговоры и интерес — кто такой Кузьменко. Спустя некоторое время тайна раскрылась: то был... Кулиш, да сам же он и примечание сочинил». Между тем в соответственных книжках «Основы» не оказалось ни стихотворений Кузьменки, ни тем паче примечания Кулиша. Как могла произойти такая грубая ошибка с моей стороны? Я писал свои воспоминания за границей, почти исключительно на память; но главу об «Основе» счел нужным послать на предварительный просмотр Н. А. Белозерской. От нее получил такой отзыв: «Все изображено живо и верно, а что показалось мне неточным, исправила, — поправок не много». Приведенное выше место осталось без малейшей перемены. Перепечатывая свои воспоминания отдельной книжкой, я и не подумал справиться с «Основой», до такой степени рассказанное о Кулише твердо сидело в моей голове; я даже помнил, что псевдоним Кузьменки был в свое время раскрыт мне М. С. Гулевичем и подтвержден К. А. Ген, братом Н. А. Белозерской. И всякий раз, если почему-нибудь произносилась фамилия Кулиша, я прежде всего вспоминал об истории Кузьменки. На деле же оказывается, что моя память что-то спутала, так как Н. А. Белозерская, когда я рассказал ей о моей ошибке, заметила: «А все-таки что-то в этом роде было».

Так или иначе я приношу искреннюю благодарность Г. М. Малышенко, что он дал мне возможность гласно исправить мой грех.

Женщины начали посещать С.-Петербургский университет в 1860 г. а не в 1859 г., как ошибочно поправил меня покойный П. А. Висковатов, со слов Н. И. Корсини.

I. ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ[1]

В ноябре 1864 г. был арестован в Петербурге Огрызко. Этот арест, обративший на себя всеобщее внимание, не произвел на меня, в личном смысле, ни малейшего впечатления. Я с Огрызко познакомился в 1860—1861 гг., когда в качестве одного из редакторов третьего выпуска «Студенческого сборника» наблюдал за его печатанием в типографии Огрызко; никаких других отношений у меня с Огрызко не было. В последующее время при случайных встречах мы только раскланивались или обменивались двумя-тремя словами.

В начале декабря того же 1864 г. я был в опере. Там встретил моего знакомого офицера Преображенского полка Н. И. Ореуса;[2] я с ним давно не видался и потому рад был поговорить; но меня несколько удивило, что при всей вежливости он держался как-то странно, только отвечал на мои вопросы и точно торопился отделаться от меня. Зато другой офицер того же полка, Гурьев, с которым я лишь случайно сталкивался у Ореуса, и то более двух лет тому назад, не только был весьма любезен, но даже увел к себе в ложу. Там по некотором времени и говорит: «А знаете, о вас в известной сфере (то есть в III Отделении) что-то сильно поговаривают, и притом в крайне для вас невыгодном смысле, примите это к сведению». Я ответил, что это, вероятно, отзвуки по студенческой истории осени 1861 г. Лишь впоследствии я узнал, что Мезенцев, который когда-то был товарищем Ореуса по Преображенскому полку, советовал ему прекратить со мной всякие отношения, как с человеком крайне скомпрометированным.

На этом, однако, разговоры в опере не кончились; еще встретил одного поляка, доктора Ф. Рымовича, с которым у меня были некоторые конспиративные от-

---

[1] Моя книжка «Из воспоминаний прошлого» (1905 г.) оканчивается словами: «11 декабря я был арестован и препровожден в Вильно». Настоящий рассказ является прямым продолжением главы «Земля и воля»; в ней говорится о моем участии в этом обществе и сношениях с поляками; повторять здесь что-нибудь из напечатанного я считаю излишним. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] О нем упоминаю в «Воспоминаниях прошлого», стр. 145—148 *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

ношения. «В Киеве арестован Владислав Коссовский», — сказал он мне.

Я и к этому сообщению отнесся совершенно спокойно, так как не мог себе и представить, чтобы член С.-Петербургского польского революционного комитета способен был обнаружить при допросах какую-нибудь нескромность.

«Но знаете, — продолжал Рымович, — на него (то есть В. Коссовского) можно положиться, как на каменную стену».

В это время я был уже женат и имел в краткосрочной аренде типографию Тиблена и К°, даже вел переговоры о покупке ее (со мной входили компанионами Н. А. Неклюдов и В. О. Ковалевский) и весь был занят этим делом. 10 декабря из военного министерства заявился в контору типографии какой-то чиновник с крайне спешным заказом.

Я сделал смету, а он обещал быть у меня на другой день с ответом. 11 декабря рано утром будит меня прислуга: «Вас спрашивает какой-то военный». Я подумал, что это вчерашний господин, быстро оделся и вышел в залу. Но там увидел совсем другое: военного в общекавалерийской форме (тогда ее нередко носили жандармские офицеры) и еще целую свиту вместе с полицейским приставом. Я догадался, в чем дело. Офицер (помнится, капитан Окунев) заявил, что имеет распоряжение произвести у меня обыск; письменного документа, конечно, никакого не предъявил. Приступили к делу. Ни в кабинете, ни в зале решительно ничего не оказалось; пожелали пройти в другие комнаты, и прежде всего в спальную; капитан Окунев был настолько деликатен, что разрешил мне самому разбудить жену (она еще спала). Не легко мне было это сделать, особенно принимая во внимание, что жена была в самых последних неделях беременности. Я постоял некоторое время у кровати, наконец, принялся тихонько будить жену.

— Надо вставать, мой друг.

— Ах, оставь меня, мне спать хочется.

— Нельзя, там с обыском пришли.

Жена сначала ничего не поняла, пришлось еще раз повторить роковую весть.

Осмотрели спальную и все остальное помещение и опять ничего не нашли, кроме самых обыкновенных типо-

графских корректур, хотя потом Окунев и рассказывал одному моему знакомому, что у меня забрали массу польских прокламаций.

Когда процедура обыска была закончена, Окунев заявил:

— А теперь я попрошу вас последовать за мной.

— Куда?

— Сами скоро узнаете.

Допуская вероятность, по бывшему со мною случаю в 1863 г., что меня, может быть, вызывают в качестве свидетеля по какому-нибудь делу, я несколько франтовато оделся, но через какие-нибудь полчаса очутился в III Отделении. Там, однако, не посадили меня в номер, а оставили не то в прихожей, не то в дежурной. Было около девяти часов утра; от нечего делать стал перелистывать лежавшую тут исходящую книгу. В ней оказалась копия с телеграммы следующего содержания: «Назначить к арестованному двух жандармов». — «Должно быть, арестовали какую-нибудь очень важную личность, что для охраны его требуют двух жандармов», — подумал я. Между тем время шло, и мне стало надоедать оставаться в неизвестности; был, должно быть, четверг, а в субботу предстоял расчет рабочих по типографии. Увидев какого-то проходившего офицера, я обратился к нему: «Я желал бы видеть полковника Мезенцева (он тогда исправлял обязанности управляющего III Отделением); у меня в субботу расчет рабочих, и мне крайне необходимо знать — буду ли я отпущен по разборке моих бумаг или задержан; в прошлом году в типографии были беспорядки, потому что, вызванный в комиссию в качестве свидетеля, я не имел возможности своевременно произвести расчет рабочих». Через некоторое время офицер возвратился и объявил мне: «Вы сегодня же препровождаетесь в Вильно, вам разрешается кого-нибудь вызвать по вашим делам».

Если бы мне в эту минуту сказали: «Вы высылаетесь в Камчатку», — я был бы менее удивлен, чем когда услышал, что меня отправляют в Вильно. По какому поводу? Конечно, в ту же минуту написал записку Александру Антоновичу Жуку [1], — он жил в том же доме,

---

[1] О нем не раз упоминается в моих «Из воспоминаний прошлого», в главе «Земля и воля». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

где и я, и управлял книжным магазином Н. Тиблена (Васильевский остров, 8-я линия, в бывшем доме Задлера). При свидании с Жуком я просил его ничего не говорить жене, что меня препровождают в Вильно (там тогда был еще М. Н. Муравьев), но, конечно, сообщить об этом моему тестю В. Н. Латкину.

После свидания с Жуком меня спросили, не желаю ли я пообедать, причем объяснили, что обед будет доставлен из ресторана, и если я пью вино, то какое желаю иметь. Я, конечно, не отказался и за довольно хорошим и обильным обедом выпил целую бутылку красного вина. А затем тронулись в путь, и только тут я сообразил, для какого арестованного понадобилось два жандарма. Ехали в общем вагоне.

На другой день уже под вечер были в Вильно, о котором я не имел ни малейшего понятия. Прежде всего, как оказалось, меня доставили в комендантское управление. Там вышел очень плотный старик, генерал Вяткин [1].

— Как ваша фамилия?

— Пантелеев.

— Вы поляк?

— Нет.

— Католик?

— Нет.

— Так зачем же вас сюда привезли?

— И сам не знаю.

— Вот вчера тоже привезли из Новгородской губернии одного русского, так он говорит, что даже никогда ни одного польского слова не слыхал.

Болтливость Вяткина мне пошла в пользу: я сейчас же догадался, что это мой товарищ П. В. Пушторский, арестованный в 1863 г. по оговору Андрущенко; осенью в 1864 г. Пушторский был выпущен на поруки и жил у себя в имении, в Белозерском уезде.

— В «Доминиканы», — закончил Вяткин, обращаясь к сопровождавшим меня жандармам.

И вот меня опять куда-то повезли; слово «Доминиканы» решительно для меня ничего не говорило. Переезд

---

[1] Его увековечил Федотов; см. рисунок № 74 в издании Ф. И. Булгакова: «П. А. Федотов и его произведения». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

по узким улицам в «Доминиканы» показался мне бесконечно длинным; наконец остановились у какой-то калитки, проделана была процедура впуска, и я очутился во дворе, а затем и в квартире смотрителя, видимо весьма небольшой; та комната, где производилась передача меня с рук на руки, одновременно была и приемной и жилой. Пока смотритель что-то писал, я присматривался к нему. Он был военный, с виду лет под сорок, а на погонах имелась только одна звездочка (то есть прапорщик). «Значит, из бурбонов, — подумал я (и не ошибся), — ничего хорошего ждать нельзя». Однако он оказался человеком сдержанным и вежливым. В разговоре с ним выяснилось, что платье и белье останутся при мне, что на свои деньги могу выписывать что мне понадобится, даже обзавестись самоваром; могу также курить. «Вот очень хорошие сигары, — сказал смотритель, предлагая мне сигару, — три рубля за сотню». Я достал свой портсигар и, вынув сигару, в свою очередь предложил ее смотрителю со словами: «Тридцать рублей сотня» (у меня тогда была слабость лакомиться иногда тонкими гаванскими сигарами). Как я и рассчитывал, мои слова произвели эффект: смотритель стал еще внимательнее и, передавая служителю составленный мною реестр покупок, строго проговорил: «Сейчас отправляйся, да живо возвращайся». В конце концов уже тюремному жандарму он отдал приказ: «В такой-то номер» (9 или 10, не помню). Через небольшой двор провели меня в какое-то здание, там поднялись во второй этаж, где-то в коридоре остановились, звякнул ключ в замке, и я очутился в назначенном мне помещении. Зажженный фитиль в плошке осветил его, дверь захлопнулась, и я принялся осматривать мое жилье. Прежде всего меня поразил крайний холод, так что я, не раздеваясь, остался в шинели; далее — невозможная теснота, видимо замазанное глиной окно; вообще номер производил впечатление какой-то грязной конуры.

Вскоре, однако, принесли мои покупки, и я принялся за чай, не без любопытства рассматривая самовар, сделанный из жести. По времени зашел смотритель (всегда в сопровождении жандарма), спросил, все ли я получил; в то же время служитель (из солдат) внес кружку воды, ломоть хлеба и поставил парашку. Я попросил затопить

печь, что и было сделано, но с шинелью все-таки не пришлось расстаться: и после топки в номере было слишком холодно. В дороге мои мысли были в каком-то разброде, чаще всего, конечно, вспоминалась жена; но постоянный стук вагонных колес (ехали в третьем классе), неумолкаемый говор в вагоне не давали сосредоточиться чувству, ни остановиться на какой-нибудь мысли. Теперь, оставшись один в номере, при полной тюремной тишине, я весь ушел мыслью как в свое собственное положение, так и живо себе представлял ужасное состояние, в котором должна находиться жена... Но молодость и плохо проведенная ночь в вагоне взяли свое — кончилось тем, что я все-таки заснул.

Поднялся, однако, рано; было еще темно, и много прошло времени до утреннего визита смотрителя с обязательною свитою. Моим первым делом было заявить недовольство на номер, полагая, что размещение зависело от смотрителя.

— Уж вы с этим обратитесь в комиссию.

— В таком случае, прошу вас передать комиссии о моей претензии.

— Хорошо.

Часа через два зазвенел замок в дверях моего номера, и ко мне вошел какой-то артиллерийский поручик (как потом оказалось — Гогель).

— Ваша фамилия?

— Пантелеев. — Не зная, кто он такой, я все-таки заявил, что номер вреден для моего здоровья, так как я страдаю ревматизмом.

— Здесь все такие номера.

— Я желал бы иметь книги.

— Здесь читать не разрешается, — и с этими словами исчез.

Помнится, я провел в этом номере дня три, никуда меня не вызывали, и никого, кроме смотрителя, не видал. Время тянулось бесконечно долго, чему особенно способствовал полумрак, царивший в номере. Между тем у меня стал сказываться ревматизм в плече, и я просил смотрителя прислать доктора. Он и явился; то был военный доктор Фавелин, впоследствии небезызвестный в Петербурге, где он продолжал службу по военному ведомству и имел довольно большую практику. Фавелин, будучи

старшим доктором какого-то казачьего полка, стоявшего в Вильно, в то же время был личным доктором Муравьева. Как потом оказалось, человек он был хороший, но имел очень мало возможности сделать что-нибудь в пользу заключенных. Фавелин выслушал меня, — я просил о перемене номера, — и молча удалился. Единственным развлечением за эти дни были по временам доходившие до меня звуки церковного органа и костельного пения: мой номер выходил на маленький дворик, замыкавшийся костелом. Но вот как-то под вечер входит смотритель и заявляет, что меня переводят в другой номер. «Вы им будете довольны, господин Пантелеев». Этот номер, этажом выше, и в самом деле показался мне просто роскошным по сравнению с прежним: он был выше, просторнее, его окно, хотя тоже замазанное, выходило на большой двор, а за ним виднелся какой-то сад. Благодаря форточке можно было делать некоторые наблюдения. Впоследствии, обжившись в нем, я нашел, что и он достаточно грязен.

Пора сказать, что «Доминиканы» был упраздненный в 40-х гг. католический монастырь (в свое время один из богатейших в Вильно), превращенный затем в тюрьму для политических. Муравьев по приезде в Вильно, независимо от высочайше утвержденной следственной комиссии, имевшей председателем генерала Цылова, сформировал Особую следственную комиссию, в ведении которой и были «Доминиканы»; в эту комиссию Муравьев передавал дела, почему-нибудь его особенно интересовавшие. Местные жители хорошо знали, что попасть в «Доминиканы» по меньшей мере означало, что благополучно оттуда не выберешься; кроме того, большая часть казненных в Вильно вышла из «Доминикан»; их обыкновенно незадолго до казни сажали в известные номера, тоже ни для кого из местных жителей не составлявшие тайны. Мой первый номер как раз был один из таких. К счастью для меня, все это мне было совершенно неизвестно.

За мое время комиссия состояла из жандармского полковника Лосева, жандармского майора Шпейера, жандармского капитана Семенова, двух артиллерийских поручиков — Югана и Н. В. Гогеля, при аудиторе Федорове. Члены комиссии, как говорил мне после смотритель, получали по пяти тысяч рублей жалованья —

цифра по тем временам прямо-таки огромная. Как передавали мне, Лосев выдвинулся при производстве следствия в Минске по делу революционной организации. Во главе ее с титулом «воеводы» стоял местный помещик Лапицкий, человек недалекий, но тщеславный. И вот Лосев, заметив в Лапицком последнюю черту, стал величать его «ваше превосходительство». Это так польстило Лапицкому, что он все выложил, даже и то, что его прямо не касалось. Впрочем, такая сообщительность не спасла его от ссылки в Сибирь. После Лосева Гогель и Юган были самыми влиятельными членами комиссии. Чуть ли не на другой день по переводе в новое помещение меня вызвали в комиссию.

Комиссия помещалась в тех же «Доминиканах», в нижнем этаже, занимая кроме прихожей, помнится, три небольшие комнаты. Меня принял сам Лосев. То был плотный мужчина, лет около пятидесяти, с седыми редкими волосами, одутловатым лицом, серыми неприятными глазами. «Вот вам письмо, потрудитесь сейчас же написать ответ, — проговорил Лосев сухим, почти недовольным тоном. — Можете писать у себя в номере». Мне были даны бумага и чернила.

Письмо было от жены; она коротко сообщала, что совсем здорова, и просила о ней не тревожиться. Я в свою очередь написал, что вполне здоров и нахожусь в очень хорошей обстановке. Легко понять, как обрадовало меня письмо жены, но вместе с тем и немало удивило: с одной стороны, суровость режима заключения, а с другой — ранее всяких допросов не только передают письма, но даже требуют ответа на них. Я лишь впоследствии узнал закулисную сторону моих сношений с внешним миром и некоторых последующих смягчений режима. Оказалось, что вскоре по моем аресте приезжал в Вильно мой тесть; ему, однако, не разрешили свидания со мной, но он имел письма к Потапову (от кн. Суворова и еще кого-то), а последний в это время был уже в открытой ссоре с Муравьевым [1], который, сам выпросивши себе в помощники Потапова, обманулся в своих расчетах на него; Потапов же имел сильные связи в Петербурге,

---

[1] Личных сношений между ними не существовало, сносились бумагами или через посредство состоящих при них лиц. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

и с ним приходилось считаться. Потапов, видимо, не доверяя комиссии, сказал тестю, чтобы все письма и посылки для меня направлялись в его адрес; затем от Потапова являлся в комиссию посланный и его именем требовал моего ответа или расписки в получении книг.

Может быть, на другой день заявился в мой номер Юган. Сначала сторонний разговор, а затем, как бы невзначай, Юган стал предлагать мне разные вопросы:

— Не знаете ли Брауна?

— Нет, в первый раз слышу. (Под псевдонимом «Браун» одно время разумелся Бакунин; кажется, когда он направлялся с польской экспедицией в Балтийское море; и кроме того, это был условный термин, что передаваемые бумаги идут от польского комитета.)

— А какие отношения у вас были с Владиславом Коссовским?

— Это кто?

— Офицер поляк, живший в Петербурге.

— Никаких, я совсем не знаю такого господина.

— Не получали ли вы чего-нибудь через его посредство и не передавали ли ему?

— Ничего подобного быть не могло, раз что я никогда не знал Коссовского.

— А Гейденрейха?

— Тоже в первый раз слышу. (И это была совершенная правда.)

Около таких неопределенных вопросов разговор длился более часу; затем Юган ушел. Но не далее как через день опять посетил меня, вновь повторил прежние вопросы, прибавив еще несколько фамилий поляков, совсем мне не известных.

— В каких отношениях вы были с Пушторским?

— Это мой товарищ по гимназии и университету, — и тут я очень обстоятельно распространился о нем как весьма дельном и занимающемся студенте.

— Вы знали Николая Утина?

— Я с ним познакомился в университете, сидели вместе в Петропавловской крепости.

— Вы были членом «Земли и воли» и Утин тоже?

— Никакой «Земли и воли» не знаю и ничего о ней не слыхал.

— А с Огрызко были знакомы?

— Да, — и подробно рассказал, по какому случаю.

— А не можете ли объяснить, почему и как бежал Николай Утин?

— Положительно ничего не знаю.

Оставив дальнейшие расспросы, Юган, как говорится, повел беседу по душе о предметах, которые по его предположению должны были воздействовать на мое психическое состояние. Он убеждал меня дать чистосердечное показание, потому что только оно одно может смягчить мою участь. «Допустим даже, — говорил он тоном человека, как бы входящего в мое положение, — что вам сохранят жизнь; подумайте одно: вас ожидает вечная каторга. Если вы сами себя не жалеете, так вспомните, что у вас есть жена; ведь с вашей стороны было бы бесчеловечно потребовать, чтобы она вас сопровождала; у вас могут быть дети, — какое имя вы им передадите? Да вы и теперь не имеете права ставить вашу жену в рискованное положение; здесь в делах нет лицеприятия; в этом самом номере сидела графиня Моль, да еще вскоре после родов. Зато сколько людей, которым угрожала смертная казнь, как, например, моему собрату по оружию Влодеку, остались живы благодаря чистосердечному поведению при следствии».

В этом тоне разговор, может быть, продолжался часа два и порядочно измучил меня. Наконец Юган ушел, оставив мне бумагу и карандаш. «Когда напишете, принесите в комиссию».

Лицемерие Югана было для меня несомненно; но в противность его расчету из его же слов я вынес своего рода успокоение: несомненно, у комиссии нет ничего такого, что могло бы мне угрожать более чем каторгой. Двусмысленные намеки насчет жены мне казались слишком дикими, чтобы их можно было истолковать в смысле прямой опасности, угрожающей ей. Соображая расспросы Югана, я вывел такое заключение: комиссия несомненно что-то знает, но как будто не от Коссовского, всего менее от Пушторского, которому не были известны мои сношения с Коссовским; вернее всего от третьего лица, кое-что знающего понаслышке. Поэтому я твердо решил держаться системы отрицания, так как иначе опасался запутать Коссовского.

На другой день через смотрителя довел до сведения комиссии, что желаю передать мое показание, и по неко-

тором времени был вызван в нее; но в комиссии, должно быть, кого-нибудь допрашивали, потому меня предварительно ввели в небольшую комнату, которая находилась влево от прихожей. Здесь я заметил верхний женский костюм и шиншилловую муфту. «Совершенно такая же муфта у жены», — подумал я. Скоро, однако, меня позвали в присутствие комиссии, где я и передал Югану мой черновик.

— Что же вы написали? — спросил Юган.

— Что отвечал вам в номере.

Юган пожал плечами.

— Можете уходить.

Чуть ли не в тот же день, так уже к ночи, из соседнего номера стали доходить до меня стоны, которые то усиливались, то ослабевали. Стоны продолжались довольно долго; часовой на коридоре по временам подымал железную занавесочку, прикрывавшую маленькое оконце в дверях каждого номера; значит, заглядывал в номер, но и только. Я вспомнил шиншилловую муфту, и подозрение, что рядом со мной помещена моя жена, и притом больная, явилось само собой. Я теперь не могу и представить себе мое тогдашнее душевное состояние; помню только, что я ходил по номеру, поминутно останавливался и прислушивался к стонам. Наконец на коридоре раздались чьи-то шаги, звякнули ключи, какой-то разговор в соседнем номере, и затем все стихло. Всю эту ночь я не мог заснуть, мне все чудились стоны, но, когда начинал внимательно прислушиваться — ни один подозрительный звук не нарушал ночной тишины. Уже много времени спустя я узнал, что в этот день была арестована m-me Клечковская (она имела в Вильно пансион для девиц, закрытый Муравьевым) и посажена в соседний со мной номер, перед тем свободный и для экономии неотапливаемый. Когда номер был вытоплен, в нем сделалось угарно, и Клечковская почувствовала себя дурно; но смотрителя не было дома, без него же никто не мог распорядиться, а потому она долго оставалась без всякой помощи.

Еще раз посетил меня Юган; новых вопросов не ставил, но, не жалея времени, красноречиво взывал к чистосердечному признанию, причем опять завел разговор о моем семейном положении. Я наконец прервал его. «Прошу вас оставить мои семейные дела, я и без вас их

знаю». Но это нисколько не подействовало на Югана, он продолжал свои душу выматывающие речи, как будто совсем и не слышал моих слов. Ушел он, конечно, с тем же, с чем и пришел.

Не лишним считаю пояснить, что в это время у комиссии единственно сколько-нибудь серьезным делом было то, по которому меня притянули, так называемое «петербургское дело»; в центре его стоял Огрызко; всего в деле, сколько припоминаю, фигурировало девять человек, частью совсем незнакомых, частью весьма мало связанных между собою, так как были набраны с разных мест. Потому и не удивительно, что члены комиссии могли с избытком тратить время на мало идущие к делу увещательные разговоры: ведь чем дольше тянулось наше дело, тем на большее время отсрочивалось неминуемое закрытие комиссии, а с тем вместе и потеря экстраординарных окладов.

Кроме меня, Огрызко, Вл. Коссовского (на него сделал указание офицер Миладовский; сначала Миладовский был приговорен к смертной казни; вследствие новых показаний смертную казнь заменили каторгой; еще новые показания — и Миладовский отделался поселением [1]), к петербургскому делу были привлечены: офицеры Инженерной академии Ант. Рудомина, Ст. Каз. Глинка-Янчевский (теперешний сотрудник А. С. Суворина), лесничий Бендаржевский (из Вятки), д-р Малевский (из Люблина), Михаил Коссовский (чиновник с.-петербургского губернского правления) и инженерный офицер Васьковский. В Риге на вечере в общественном клубе Васьковский обронил бумажник и отрекся от него; а в бумажнике оказались какие-то заметки, компрометировавшие Малевского и Бендаржевского; последний по сбору денег зацепил Мих. Коссовского. Рудомина и Янчевский были арестованы еще весной 1863 г. в Петербурге при общем обыске у офицеров поляков. Тогда у Рудомина было найдено черновое письмо к матери, в котором он выражал твердое намерение уйти в банду; это

---

[1] Он, кажется, умер до высылки в Сибирь. Вспоминаю, что Вс. Костомаров, Андрущенко, кажется, Ничипоренко, так скомпрометировавшие себя в первых политических процессах начала 60-х гг., тоже умерли или во время производства дел, или весьма скоро после окончания их. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

он писал в самом начале восстания, но остался в академии и держал экзамен. За Глинкой-Янчевским была одна вина (и то по его собственному признанию, данному еще в Петербурге), что он знал о намерении Рудомина уйти в банду, но уже после того, как тот раздумал. Рудомина и Янчевский просидели в Петербурге до осени 1864 г., а затем были пересланы в Вильно. Арест Огрызко последовал вследствие показания В. Коссовского; ранее на него, по-видимому, имелись лишь темные изветы Оскара Авейды (члена центрального комитета). Все петербургское дело было затеяно Муравьевым, чтоб доказать, что петербургские власти, главным образом, конечно, кн. Суворов, не видят, что у них делается под носом.

К этому же делу по особому высочайшему повелению было присоединено расследование о побеге из Петербурга Н. Утина и Юндзила, офицера поляка (из военно-сухопутного госпиталя).

Проходит некоторое время, как вдруг меня вечером вызывают в комиссию; там застаю Югана и Гогеля.

— Вот ваше переписанное показание, — сказал Юган, — прочтите его.

Я внимательно перечитал, — слово в слово мое черновое показание.

— Остается только подписать, — сказал я, окончив чтение.

— Не делайте этого,— с чувством заговорил Юган,— не губите себя, пожалейте близких вам, — и т. п.

Говорил он долго на эту тему. Чтобы выяснить, имеет ли комиссия прямые показания на меня В. Коссовского, я сказал, что пусть дадут мне очную ставку с ним.

— Здесь этого не делается, а если и бывает очная ставка, то в очень редких случаях и не иначе, как всякий раз с особого разрешения генерал-губернатора.

— Но почему вы знаете, может быть очная ставка выяснит дело совсем с неожиданной для вас стороны, — продолжал я, в расчете, что некоторая двусмысленность этих слов склонит комиссию допустить очную ставку.

— Нет, об очной ставке не стоит и говорить, это дело немыслимое.

В подобного рода разговорах прошел добрый час. Наконец Юган сказал:

— Ну, если вы решились погубить себя, то подписывайте.

Я взял перо и проставил свою фамилию. Затем встал с вопросом:

— Могу я уходить?

— Да разве вам не надоело сидеть одному в номере?

Я опустился на стул. Пьем чай, курим и ведем сторонний разговор, чуть ли не о виленских древностях. Вдруг растворилась входная дверь, и я увидал, как два жандарма вводят Коссовского, несколько поддерживая его, и затем усадили его против меня. Сбоку от меня, в голове стола, сидел Юган, а несколько в стороне Гогель.

Внешний вид Коссовского произвел на меня удручающее впечатление. Я знал его блестящим гвардейским офицером (конной артиллерии); высокий, стройный, красивый, он импонировал своим уверенным тоном; мне он часто вспоминался, когда по случаю заявленного через меня протеста комитета «Земли и воли», что поляки предприняли казанское дело (распространение на Волге фальшивого манифеста) без предварительного сношения с «Землей и волей», он с апломбом отвечал: «Пошлите ноту». Теперь передо мной был человек в отрепанном мундире, осунувшийся, с каким-то приниженным выражением лица. Он с минуту помолчал, затем точно замогильным голосом начал:

— Послушайте, Пантелеев, что я вам скажу. Наше дело проиграно, весь край на военном положении, царит полная диктатура, и комиссия имеет так много данных, что нет возможности скрывать истину.

Я передаю только сущность слов В. Коссовского, — говорил он, может быть, минут с пять. Это дало мне возможность обдумать свой ответ. Оказывалось, что неоднократный отказ в очной ставке был просто ловушкой; теперешняя же очная ставка несомненно была рассчитана на то, чтоб своей неожиданностью захватить меня врасплох. Я сообразил, что лучше признать то, о чем, судя по допросам, комиссия уж осведомлена от Коссовского, иначе дальнейшее запирательство может повести к новым разоблачениям с его стороны; он, видимо, совсем не в том душевном настроении, чтоб можно было заставить его взять обратно свои показания на меня. В то же время я решил упорно отвергать все, что вновь

прибавил бы Коссовский. В данный момент меня немало смущало одно чисто внешнее обстоятельство: я чувствовал, что в меня впились глаза Югана и Гогеля, а у меня иногда бывает непроизвольное подергиванье век. К моему удовольствию, в этот острый момент они ничем не выдали меня. И я сказал:

— Хорошо, Коссовский, я вас знаю.

— Говорите дальше, господин Коссовский, — обратился к нему Юган.

Тогда Коссовский, несколько заминаясь, сказал, что имел сношения с Н. Утиным; раз Утин заявил ему о неудобстве продолжать лично эти сношения и свел его с Пантелеевым, несколько раз он передавал Пантелееву запечатанные пакеты и, может быть, получал от него.

На этих словах я оборвал Коссовского:

— Это верно, но больше ничего между нами не происходило.

— А насчет печатания прокламаций? что они печатались в каком-то парке? — поставил вопрос Юган.

— Ничего подобного не знаю, — отозвался я, упреждая Коссовского.

— Впрочем, помнится, об этом разговор был как о городском слухе.

— Может быть, и был разговор о городском слухе, мало ли о каких слухах говорится, но только, где печатались прокламации, мне решительно неизвестно.

Коссовский затем заявил, что ничего более сообщить не имеет; и он был отпущен, причем я заметил, что как встал, так и вышел он без всякой помощи жандармов.

— Ну, что вы теперь скажете, господин Пантелеев? — обратился ко мне Юган в несколько приподнятом тоне.

— Да я уже все сказал; согласитесь сами, ведь если б я знал еще что-нибудь, то мне теперь нет никакого интереса скрывать; признавши показания Коссовского, я тем самым подписал себе приговор.

Этот ответ, однако, отнюдь не покончил настояний Югана, он еще долго продолжал свои уговоры, чтоб я дал обстоятельное показание, но так как я стоял на своем, то кончилось тем, что мне была дана бумага и я был отведен в свой номер.

Показания Коссовского были для меня большой не-

ожиданностью; оказалось, что «каменная стена» под теми или другими давлениями не выдержала; но я был доволен и тем, что он в своих разоблачениях не пошел далее, например, умолчал о переговорах насчет нападения на многомиллионный транспорт денег, что через меня получил военно-топографическую карту Западного края, а также изрядное количество прокламации «Земли и воли», выпущенной по поводу польского восстания, что, уезжая в Киев, свел с Опоцким (сильно скомпрометированный, бежал за границу). Только впоследствии выяснилось для меня, что Коссовский лишь зацепил меня и Огрызко, но, кажется, никого более. Он как бы говорил комиссии: я даю вам два ключа: один к польской организации, другой к русской; ваше дело суметь воспользоваться ими. Но он удержался от слишком подобных показаний, так как они и его самого могли сильно компрометировать.

На другой день принялся за писание нового показания. Прежде всего надо было как-нибудь объяснить, почему Утин познакомил меня с В. Коссовским. Тут я развел длинную канитель, как Утин несколько раз старался привлечь меня к политической деятельности, как я оспаривал его, доказывая неуместность всякой революционной оппозиции после освобождения правительством крестьян, но что в конце концов, чисто в силу товарищеских отношений, согласился на посредничество в передаче запечатанных конвертов от Коссовского к Утину и наоборот. Что касается до бегства Утина за границу, то полагаю, что оно произошло в силу сердечных отношений, так как он не раз говорил, что не может выносить разлуки с Н. И. Корсини (она была за границей) и если не получит паспорта, то так или иначе уедет. Никакого участия в «Земле и воле» я не принимал.

Когда я дал знать в комиссию, что мое показание готово, то пришел ко мне Юган. Прочитав мой черновик, он сказал: «Здесь не видно и следа, что вы сознаете свое положение и хоть чем-нибудь стараетесь помочь комиссии в ее желании смягчить участь, ожидающую вас». И опять предлинный разговор. Юган также и Гогель за все три года своей практики в следственном искусстве не пошли дальше прямых угроз или воззваний к чистосердечному признанию. На прощанье он сказал: «Я буду просить комиссию, чтоб она позволила вам пере-



Печать общества „Земля и воля“. 1862 г.

менить показание, а вы пока подумайте». На другой день он действительно заявился. «По моей просьбе и из сострадания к вашей жене комиссия согласна вернуть вам это показание». Я ответил, что ничего не могу изменить в нем или что-нибудь прибавить. На этот раз Юган просто довел меня до белого каления, — придя вскоре после полудня, он оставался до полных сумерек, совершенно не обращая внимания на мои слова, что дальнейший разговор положительно бесполезен. По времени меня вызвали в комиссию, где и дали прочитать мое показание, уже переписанное; в заголовке его стояло: такой-то, такого-то числа, уличаемый в глаза Коссовским, сознался в противозаконных с ним сношениях и показал и т. д. Еще раз Юган и присоединившийся к нему Гогель старались уговорить меня взять это показание обратно и заменить его более чистосердечным, говорили, что комиссия даже не решится представить его главному начальнику (то есть Муравьеву); все-таки в конце концов дали мне подписать.

Между тем время от времени я получал письма от жены; раз, воспользовавшись правом ответа, написал предлинное деловое письмо, которое то заканчивал, то делал какую-нибудь прибавку. Последнюю прибавку начал словами: «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя». Потом А. А. Жук говорил мне, что эти слова в приятельском кругу были истолкованы как указание, что мое дело плохо и мои часы сочтены.

Но вот пришла мне телеграмма от тестя, что жена благополучно родила дочь, а вскоре и от жены получил несколько строк, что она чувствует себя хорошо. Понятно, как то и другое приподняло мое настроение.

В жизни заключенных и мелочи иногда оставляют навсегда неизгладимое доброе воспоминание, — подошли праздники, и чья-то сочувственная душа из города прислала мне в крещенский сочельник обычные у поляков кутью, пиво, вареное со сливками, и еще что-то.

Понемногу стал смягчаться режим; так, может быть недель через шесть мне принесли книги, присланные из Петербурга, разрешили, по настоянию Фавелина, вино и даже стали водить на прогулку, но не более как на четверть часа; и наконец верх милостей — убрали парашку. С некоторого времени письма и посылки нередко стал

приносить в номер капитан Семенов и охотно оставался поболтать. Я иногда предлагал ему сигару и стакан вина. Как-то раз Семенов, закуривая сигару («Flor patria», отличные были сигары) и отведав вина, с чувством проговорил: «Тонкая, вылежавшаяся сигара, да и вино хорошее, должно быть старое. Знаете — старая сигара, старое вино, вот только женщина должна быть молодая»,— и при этом, как настоящий ценитель, со смаком прищелкнул языком. Тот же Семенов в один из своих визитов, когда я еще не имел книг, заметил у меня жестянку с пеплом от сигар.

— Это вы, вероятно, собираете для чищения зубов.

— Нет, мне хочется знать, сколько надо выкурить сигар, чтоб доверху заполнить жестянку.

— Скажите пожалуйста, ведь, кажется, у человека все отнято, чтоб как-нибудь мог разнообразить и коротать время, — нет, найдет-таки способ, который и в голову никому не придет.

С самых первых дней я обратил внимание, что плохо засыпаю; мне, конечно, мешали, при отсутствии чтения, постоянные думы о деле, разговоры с Юганом, мысли о жене (что касается до матери, я поддерживал с ней переписку как будто из Петербурга). Я решил, что спать непременно надо, а чтоб на ночь ничем себя не возбуждать, принял такую систему: после, примерно, девяти часов усаживался в своей кровати и начинал насвистывать разные арии и продолжал это делать до полного одурения. И благодаря этому скоро и недурно засыпал. А когда дали мне книги, то на ночь, тоже в кровати, читал «Дон-Кихота» и, разумеется, поминутно нарушал ночную тишину самым откровенным смехом. Много времени спустя, когда были дозволены общие прогулки (уже в другом месте заключения, в «Босачках»), кто-то из моих новых знакомых рассказывал мне: «А вот я сидел в «Доминиканах», так в соседней со мной камере одно время находился сумасшедший, сначала под ночь он все свистал, а потом стал хохотать, и долго это тянулось; не знаю, что с ним потом сталось, должно быть свезли в сумасшедший дом». — «Да он жив и здоров, это ваш покорный слуга».

Но из виленской политической тюрьмы не так-то легко было перебраться в сумасшедший дом, даже при всех не-

сомненных правах на то. Как-то раз заходит ко мне Фавелин. После обычного вопроса о здоровье и говорит:

— А что, господин Пантелеев, не желаете ли вы сидеть вдвоем?

— И даже очень.

— Тут есть один господин, он что-то хандрит, ему бы с вами было хорошо, вы бы сумели подбодрить его. Если вы согласны, то я буду просить комиссию, чтоб к вам поместили моего протеже.

— Хорошо.

Через день, уже вечером, когда я пил чай, растворились двери моего номера; сначала, по обыкновению, вошел смотритель, за ним какой-то офицер, а жандарм и прислуга несли чемодан и еще какие-то вещи.

«Вот вам, господин Пантелеев, и товарищ, все же вдвоем будет веселее. Вы, господин Васьковский, ничего не опасайтесь, господин Пантелеев такой же заключенный, как и вы». И с этими словами смотритель откланялся. Я остался один на один с Васьковским; по форме видел, что он инженерный офицер. Не снимая пальто, Васьковский, едва кивнувший мне при входе, начал прохаживаться из угла в угол. Я предложил ему стакан чаю. «Благодарю...» Стакан налит, а Васьковский все продолжает ходить. Но вот он остановился против меня и один за другим поставил вопросы: какой сегодня день, число, месяц, год. Я ответил, а Васьковский снова принялся ходить, но скоро опять вернулся ко мне.

— Как честный человек, скажите ради бога, чего от меня хотят.

— Право, не знаю, я вас в первый раз вижу и ни от кого даже вашей фамилии не слыхал, да я и о себе-то очень мало знаю.

— Нет, умоляю вас, скажите; ведь я показал им все, что знал, чего же они хотят от меня? — И опять принялся ходить, а затем, как был в пальто, так и лег в кровать.

Я понял, какого товарища получил, и всю ночь был настороже, опасаясь, что вдруг Васьковский в припадке подозрительности кинется на меня. Едва дождался утра и потребовал, чтоб меня пустили в комиссию. Там меня любезно принял Лосев. Я заявил ему, что прошу поскорее убрать от меня Васьковского, так как он несомненно

душевнобольной, и притом же в сильной степени. «А мы думали, господин Пантелеев, что вы по христианскому состраданию примете участие в Васьковском». — «Уж если говорить о христианском сострадании, то Васьковского надо освободить и передать на попечение его родным». В заключение разговора Лосев обещал убрать от меня Васьковского; но это сделано было только на следующий день, а еще через день или через два принуждены были посадить его в смирительную рубашку. Как я потом узнал, мать Васьковского долго умоляла комиссию отдать ей сына, но об этом и слышать не хотели. Он умер, кажется, в сумасшедшем доме.

Арестованный, как я уже сказал, еще в ноябре Огрызко долго держался, главным образом отвергая показания В. Коссовского; но (должно быть, в январе) ему пригрозили, — это он сам потом мне рассказывал (то же, еще ранее, говорил и смотритель), — что дальнейшее запирательство поведет к аресту с чем-то двадцати человек, и при этом предъявили ему список; тогда, не желая, чтоб из-за него могли пострадать невинные, он наконец сдался. Комиссия занялась Огрызко, а я был совершенно оставлен в покое. Но раз как-то зашел Гогель с пустячным вопросом (Юган был в отпуску) и, по обыкновению, проболтал довольно долго. При этом произошел такой разговор:

— Нельзя ли иметь какую-нибудь газету?

— Ну, нет; я вот нахожу, что и это дозволено вам слишком рано, — отвечал Гогель, указывая на лежавшую передо мной книгу.

— Почему?

— Да ведь для вас было бы большим лишением, своего рода пыткой, оставаться без чтения.

— И у вас язык поворачивается говорить такие вещи.

— Что прикажете делать, за время моего пребывания в следственной комиссии я пришел к убеждению, что в политических процессах нельзя обойтись без пытки. И если бы в моих руках был тот, кого в двадцать четыре часа расстреляли в Симбирске (по пожарному делу), я бы такой глупости не сделал; я бы его медленным огнем жег, из-за ногтей кровь подавалась бы, а заставил бы раскрыть всю истину.

Я слушал Гогеля, и каждое его слово точно гвоздем прибивалось к моему лбу. У меня тогда же зародилось мстительное чувство, и я дал себе слово: если судьба когда-нибудь вернет меня в общественную среду и выпадет счастливый случай встретиться с Гогелем, то я публично поставлю ему вопрос: «А что, Николай Валерианович, вы все по-прежнему твердо стоите на том, что в политических процессах нельзя обойтись без пытки?» Но Гогель умер еще в конце 60-х гг.; и, не скрою, всякий раз, когда вспоминается почему-нибудь его фамилия, я ощущаю горесть невыполненного мщения. М. Н. Муравьев ценил этого молодого человека и в 1866 г. в качестве сотрудника привлек его к следствию по каракозовскому делу.

Впрочем, не раз бывало, что Гогель и Юган старались блеснуть передо мной своим радикализмом. Как-то я спросил Гогеля: «Что нового?» — «А вот в Киев на место Анненкова назначен Безак; ну, знаете, это демократ, он покончит с политикой ухаживания за вельможными аристократами и панами, он их приберет к рукам». Юган при случае тоже красноречиво распространялся на тему, что они в Западном крае ведут борьбу с аристократией и клерикализмом, что вся задача Муравьева — поднять материально и духовно до сих пор забитого крестьянина. На мое замечание, что малого можно достигнуть одними чисто внешними репрессивными мерами, что надо широко действовать на развитие народного образования, что, например, необходимо открыть в Вильно университет, Юган с живостью возразил: «Что вы говорите, да знаете ли, пусть в университете все кафедры будут замещены жандармскими штаб-офицерами, он все-таки превратится в польский университет».

Считая, что следствие по моему делу уже закончено, я раз был неприятно поражен вызовом в комиссию. Там, едва я вошел, кидается меня обнимать В. Ф. Панютин. То был офицер Преображенского полка, с которым я еще в 1859 г. познакомился у Ореуса. Панютин был страстный театрал (и сам превосходно играл на любительских спектаклях); политическими вопросами мало интересовался, но был решительный либерал, когда заходила речь о начальстве; вообще выглядел добродушным малым. Он не только сам предложил мне свое поручительство (после студенческой истории 1861 г.), но даже предоставил было в мое распоряжение свою квартиру в полку, и только

протест полкового командира кн. Барятинского помешал мне поселиться в ней; иногда захаживал ко мне. При свидании присутствовал Гогель, и потому, понятно, о моем деле не было произнесено ни одного слова. Панютин отнесся ко мне крайне сердечно, передал поклон от Ореуса и не раз спрашивал — не нуждаюсь ли я в чем-нибудь. Так как он сказал, что едет в Петербург, то я просил его выслать мне несколько книг. Он обещал это сделать в самое короткое время. Я знал, что брат Панютина состоял в это время губернатором в Вильно, но не имел никакого понятия, какую он там роль играл. Я сейчас же частным путем дал знать в Петербург тестю, чтоб он повидал Панютина, — может быть, при его посредстве и добьется свидания со мной (я знал, что тесть два раза безуспешно приезжал в Вильно). Тесть и был у Панютина, но... вот что потом мне рассказывал: «К кому вы меня направили? С первых же слов Панютин стал хвалиться своими подвигами в Западном крае, как он перевешал более двух десятков повстанцев (Панютин одно время был военным начальником в Лиде). Разумеется, что я с ним и словом не обмолвился, ради чего пришел к нему». О своих же обещаниях мне Панютин, видимо, и не вспомнил в Петербурге, так как никаких книг от него я не получил.

В половине 80-х гг., проезжая через Варшаву, я видел Панютина; он был уже генерал. Опять распростертые объятия, живейшая радость, что видит меня полноправным гражданином. Повез показывать Варшаву; ссылаясь на какие-то домашние обстоятельства, которые не позволяли ему оказать мне гостеприимство у себя дома, увлек меня в русский клуб и угостил обедом с шампанским. Но я заметил, что ему по временам и самому было неловко — такие там за общим столом шли неправдоподобные политические разговоры, просто даже глупые...

Хотя письма и посылки стали доставлять прямо в номер, а все-таки иногда вызывали в комиссию под предлогом вручения письма, и в таком случае я имел удовольствие видеть Лосева. Раз, передавая письмо, он предложил мне присесть и слезливым голосом заговорил, как их сердце исстрадалось, имея дело с поляками, а тут еще русский, православный, — «ведь ваша фамилия Пантелеев!» Он читал мое последнее показание и должен прямо сказать, что это бессодержательный набор слов, ничего более. Я прямо-таки гублю себя, есть еще средство

поправить: он надеется убедить своих товарищей разрешить мне дать новое показание. К моему удовольствию, этот разговор прошел без всяких последствий; меня оставили в покое. Но спустя некоторое время тот же Лосев разыграл совсем другую сцену. Приняв от него письмо, я поклонился и, еще не поворачиваясь, сделал, может быть, шага два по направлению к выходу. «Как вы смеете уходить, когда вам не дали на то позволения, — неистово закричал Лосев. — Что вы о себе думаете? может быть, рассчитываете на петербургские протекции, на князя Суворова? так знайте же, что она может вам только во вред пойти. Вы совсем непозволительно себя ведете, упорствуете, мы вас сумеем взять в тиски. Жандарм, отведи его в камеру».

Может быть, на другой день заходит ко мне Фавелин.

— Как поживаете, господин Пантелеев? — спросил он, несколько подозрительно улыбаясь.

— Ничего, вот только полковник Лосев обещал, что возьмет меня в тиски, так нахожусь в некотором ожидании.

— Ну, этим, я думаю, вас не очень испугаешь; да и вообще пугаться не надо, — причем на последних словах сделал заметное ударение. «Что он хотел сказать?» — невольно подумал я. По уходе Фавелина под каким-то предлогом зашел смотритель; с некоторых пор ему иногда удавалось отделываться от жандармов. Потому ли, что я ему приплачивал некоторую сумму за улучшение стола, или почему другому, только он стал относиться ко мне весьма благожелательно, кое-что сообщал; так, я от него узнал, что Огрызко наконец дал признание, что был в Вильно мой тесть, предлагал передать в Петербург, если что-нибудь имею для сообщения туда. Я слушал, но сам пока был довольно сдержан. Так вот теперь смотритель и говорит: «Комиссия в большом переполохе: московское дворянство послало адрес с требованием конституции, боятся, как бы вся здешняя политика не переменилась. Лосев рвет и мечет на всех...»

Как известно, страх комиссии оказался совершенно напрасным; но и со мной ничего не случилось особенного, даже последовавший вскоре визит Потапова обошелся без всяких дурных последствий. Муравьев, в полном сознании прочности своего положения, уехал на пасху в Петербург, увозя с собой целый ряд проектов.

Но Потапов был, вероятно, осведомлен насчет того, что дни Муравьева уже сочтены; оставшись временным заместителем Муравьева, сейчас же позволил себе своего рода либерализм — посетил места заключения. Обход его был чистой формальностью; спрашивал фамилию и, почти не дожидаясь ответа на последующий вопрос: «Не имеете ли каких претензий?» — быстро уходил.

Только с Огрызко и мною он вступил в несколько продолжительную беседу. Мне он сказал: «Я читал ваше показание, оно совершенно неудовлетворительно, вы должны заменить его другим и показать всю правду. Я не требую от вас чего-нибудь противного так называемым правилам чести, вы можете не обозначить фамилий, я их и без вас проставлю; да ведь и вашу биографию я очень хорошо знаю [1]. Помните, что только чистосердечное сознание может смягчить вашу участь. Вам и теперь оказывается большое снисхождение, и вы должны показать, что это чувствуете, чтобы не лишиться его».

Был Потапов и у Пушторского. После вопроса — не имеет ли заявить каких претензий, — Потапов уже хотел было уходить, но заговорил Пушторский. «Вот четыре месяца сижу и не знаю за что, никаких настоящих допросов мне не было». Потапов остановился, хотел что-то сказать, но произнес только: «Вас, впрочем, скоро...» — и с этими словами исчез. Нетрудно себе представить, какое впечатление могли произвести на Пушторского эти оборванные слова.

Мною введенный еще в 1862 г. в общество «Земля и воля», одно время даже член комитета, Пет. Вас. Пушторский в конце лета 1863 г. был арестован по оговору предателя Андрущенко (землемер из Черниговской губ.). Андрущенко сделал на Пушторского, по тогдашним временам, очень тяжкие показания, угрожавшие Пушторскому многими и многими годами каторги, а именно: Андрущенко настойчиво утверждал, что, командированный в Петербург местной организацией, частью по русским делам, частью по польским, он получил в Москве адрес Пушторского, был у него два раза и через него имел ответ как с той, так и другой стороны. Пушторский

[1] Моему тестю Потапов говорил: «Я знаю всю биографию вашего зятя, начиная с похорон Мартынова, когда он произнес речь». А в действительности ничего подобного не было. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

не признался в знакомстве с Андрущенко и даже на очных ставках категорически и умело отвергал все его показания, хотя у Андрущенко оказалась поразительная память и наблюдательность; он, например, заметил, что один край дверной занавески в комнате Пушторского был засален, что и подтвердилось при осмотре ее на месте. Других улик, кроме показаний Андрущенко, против Пушторского не было; поэтому, когда дело поступило в сенат (к счастью, не в то отделение, которое специально было приспособлено для суждения политических дел, с Карниолином-Пинским во главе, обер-прокурором Чемадуровым и обер-секретарем Кузнецовым), то, несмотря на указание III Отделения, что Пушторский является весьма важной личностью, он был впредь до окончания дела отпущен на поруки. При моем посредничестве поручительство взял на себя П. Л. Лавров. Это было осенью 1864 г.; Пушторский тотчас же уехал к себе в деревню, но в декабре того же года был арестован и препровожден в Вильно. Я иногда видел его из форточки, и всякий раз меня поражала какая-то задумчивая размеренность его походки.

Дня через два после визита Потапова смотритель сообщил мне, что Пушторского отправляют обратно в Петербург. Ранее я посылал ему через смотрителя поклоны и кой-какие лакомства, а теперь просил смотрителя передать через Пушторского некоторые поручения в Петербург. На другой день смотритель возбужденно говорил мне: «Хорош ваш Пушторский, он накинулся на меня, наговорил грубостей, да еще при жандармах». Я недоумевал, так как знал Пушторского за человека очень сдержанного. Его доставили в Петербург, где и пустили на свободу; самое же дело [1] кончилось оправданием его. Через год, когда я был в Петербурге по дороге в Сибирь, товарищи вологжане рассказывали мне, что Пушторский по возвращении из Вильно несомненно был не в нормальном состоянии, иногда просто чепуху говорил. Посиди он в Вильно еще некоторое время, и бог знает, чем бы это кончилось.

---

[1] В нем участвовали: Ю. М. Мосолов, П. В. Лебединский, Шатилов, А. Н. Столпаков и, кроме Андрущенко, несколько лиц из Черниговской губ. Об этом деле см. интересные сведения во 2-м приложении к материалам для истории революционного движения 60-х гг. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

В Сибири я получил от него несколько писем, из которых узнал, что он женат и служит по земству. Но вот привел мне бог выбраться из Сибири и даже в 1877 г. поселиться в Петербурге. Раз раздается звонок, и входит Пушторский. Встретились мы, разумеется, крайне сердечно, не только как товарищи по гимназии и университету, но и как пережившие кое-что. Целые вечера проходили в воспоминаниях прошлого, тогда еще не особенно далекого. Я, однако, не считал удобным заговорить о болезненном состоянии, которое у него сказалось за время виленского сиденья. Но он сам завел речь, что, когда вернулся в деревню, то у него одно время нервы так были расстроены, что доходило до галлюцинаций. Тогда я и говорю: «Да, в проезд через Петербург в 1866 г. я слышал от товарищей, что у тебя нервы были далеко не в порядке». — «Нет, — с необычной живостью возразил Пушторский, — как в Вильне, так и в Петербурге я был здоров, а случилось это в деревне. Но ты представь себе, что со мною делали в Вильно: нарочно ставят мне позеленелые подсвечники, — это чтобы я попробовал отравиться. А я говорю — нет, я не отравлюсь. Или отопрут номер, да долго так и оставляют [1], — опять же чтобы я попробовал бежать, — а я думаю себе: нет, я не убегу. Тоже когда отвозили в Петербург, всю дорогу в вагоне появлялись какие-то подозрительные личности, потихоньку говорили, но так, что я мог слышать, что у них есть паспорта, что они могут устроить побег. Или, например, жандармы постоянно на станциях оставляли меня одного, так что я раз даже сделал скандал, потребовал жандармского офицера и настоял у него, чтобы жандармы ни на минуту не отлучались от меня».

С крайним изумлением я слушал эти слова. Передо мной был отец семейства, уважаемый и тактичный местный деятель, человек практический, составивший себе довольно крупное состояние, вообще уравновешенный и... в то же время несомненно сохранивший часть галлюцинаций, которым подвергся с лишком двенадцать лет тому назад.

---

[1] Обыкновенно при всяком обходе впереди шел жандарм и заблаговременно отпирал номера; по утрам, когда номера приводились в порядок, могло пройти минут пять и даже более, прежде чем входил смотритель и служители. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Пушторский умер в апреле 1906 г. Он иногда приезжал в Петербург, и мы всегда виделись; по своим взглядам он остался верен заветам 60-х гг., причем особенный интерес проявлял к крестьянскому вопросу.

Кроме меня и Пушторского, в «Доминиканах» из русских сидел еще, одно время с нами, привезенный из Москвы студент Владимиров — должно быть, по недоразумению, так как его скоро выслали обратно.

Как я уже сказал, Муравьев, отправляясь в Петербург, повез с собой целый ряд проектов, применение которых требовало по крайней мере несколько лет, — до такой степени он был уверен в прочности своего положения; но вскоре по приезде в Петербург совсем неожиданно для себя получил отставку, о чем смотритель и не преминул тотчас же мне сообщить.

Легенда о Муравьеве как дальновидном государственном человеке и решительном борце за русское дело создалась в позднейшее время, когда в Западном крае вплотную осело русское чиновничество. Оно хорошо понимало, что, только постоянно напоминая о необходимости неуклонно следовать заветам великого человека, может быть спокойно за свое положение; а потому из памяти Муравьева и сделало своего рода национальный культ. В свое же время Муравьев имел за себя лишь Каткова да очень небольшую группу почитателей в Москве и Петербурге. Даже те круги, которые в 1863 г. признавали необходимость быстрой и крутой репрессии в Западном крае, после подавления вооруженного восстания считали роль Муравьева законченной; организаторских способностей никто за ним не признавал (да он их ничем и не обнаружил в бытность министром государственных имуществ). Все громче и громче раздавались голоса, что в крае царит полная анархия благодаря ничем не ограниченному произволу и чиновничеству, набранному из отбросов по всей империи. Что Муравьева пора убрать — на этом сходились люди, во всем другом не ладившие между собой, как, например, Валуев, Суворов и даже Долгоруков, тогдашний шеф жандармов. Представлявшие либеральную группу в министерстве: Д. А. Милютин, Рейтерн, Головнин, Татаринов, понятно, никакой поддержки Муравьеву не оказывали. Рейтерн, например, желая затормозить высылку целыми селениями так называемой «застенковой шляхты» (выслано

свыше пяти тысяч человек, причем были сожжены со всем имуществом деревни, в которых они жили), поставил условием, что казна не обязывается принимать на свой счет издержки по возврату, если таковой впоследствии будет решен. Эта своеобразная оппозиция, конечно, не остановила Муравьева, но очень печально отразилась на несчастных; до самых позднейших времен к ним не применяли никаких милостивых манифестов, а между тем это были люди, менее всего в чем-нибудь лично повинные. Император Александр II несомненно ждал только первого благоприятного случая, чтобы отделаться от Муравьева. Этот случай и представился — поездка в Ниццу к умиравшему наследнику Николаю Александровичу. Рассказывали, что, представляясь государю, Муравьев заговорил о разных проектах, привезенных им. «Я еду за границу, за меня остается брат Константин, к нему и следует обратиться по этим делам». При тех неприязненных отношениях, которые установились между великим князем и Муравьевым, последний понял, что ему остается только одно — подать в отставку. Отставка была принята без малейшей попытки отговорить Муравьева взять ее обратно. Назначение ему преемника было отложено до возвращения государя из Ниццы; временно управлять краем остался Потапов [1]. Разговор его со мной прошел без всяких последствий, то есть меня не вызывали в комиссию для дачи каких-нибудь дополнительных показаний; намек же его на возможность ухудшения моего режима был на ветер брошенными словами; совсем напротив, был сделан еще один шаг на пути смягчений. В один прекрасный день совершенно неожиданно ввели ко мне нового сожителя. То был Людвиг Родзевич, из местных виленских жителей, незадолго перед тем арестованный по какому-то самому ничтожному поводу. Родзевичу было лет под сорок, с ранней юности он служил в администрации имений Витгенштейна, обширные владения которого (унаследованные от Радзивиллов) были разбросаны по всему Западному краю. Родзевич, хотя и получил только гимназическое образование, видимо много читал, особенно хорошо знал историю Литвы,

---

[1] Он получил назначение в Землю Войска Донского, откуда уже после Баранова был переведен на генерал-губернаторство Западного края. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

но главное благодаря разъездам по делам Витгенштейна отлично был ознакомлен с краем, особенно с экономическим положением крестьян, не только в настоящем, но и в более отдаленном прошлом. Его тесть Ямонт был выслан в Сибирь, брат жены тоже; многих из деятелей 1863 г. Родзевич лично и хорошо знал. Он сразу отнесся ко мне вполне доверчиво, так как ему было известно, за что я арестован. Потому, забросив чтение, я без зазрения совести эксплуатировал его, заставляя по целым часам рассказывать; и только одно меня огорчало: Родзевич, горячий католик, каждый день по целым часам молился и тем сокращал драгоценное время для интересовавших меня разговоров. Родзевич хотя и признавал, что при введении «Положения» 19 февраля кое-где были допущены неправильности во вред крестьянам, тем не менее очень резко отзывался о деятельности поверочных комиссий, находившихся в полной зависимости от Муравьева. Чтобы поощрить Родзевича, я воздерживался от каких-нибудь споров. Не разделяя основного взгляда Родзевича, я, однако, из богатого фактического материала, которым он располагал, вынес впечатление, что действия поверочных комиссий ярко отражали на себе тот произвол, который неограниченно царил в крае; в одном месте широко благодетельствовали крестьян и разоряли помещиков, без всякой надобности разрушая цельность хозяйственных единиц, в другом ограничивались самым незначительным изменением прежних условий. Все зависело от личностей; не понравился почему-нибудь помещик или его управляющий, и тогда горе помещику; всякая же жалоба в высшую инстанцию навлекала на жалобщика еще более тяжелые последствия. Если в этом отношении нисколько не стеснялись с кн. Витгенштейном (напр., в его имении Глубоком), то можно себе представить, что проделывали с мелкотой [1].

[1] Имения Витгенштейна были обременены значительными долгами, унаследованными еще от Радзивиллов (дочь Доминика Радзивилла, единственная наследница, вышла замуж за сына фельдмаршала Витгенштейна; в 60-х гг. владельцем являлся ее сын, долгое время бывший военным агентом в Париже), потому, ввиду уменьшения доходов, вследствие понижения платежей, произведенного поверочными комиссиями, Витгенштейну, имевшему крупные придворные связи, был оказан на облегченных условиях многомиллионный кредит из государственного казначейства. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Родзевич чем только мог старался оказать мне внимание; получая из дому обед, он распорядился, чтобы все приносилось в количестве, достаточном на двоих, и так настойчиво просил меня разделять его трапезу, что я не мог отказать ему в этом; с своей стороны жена Родзевича, видимо, прилагала все усилия, чтоб поддержать славу литовской кухни. Все было действительно очень вкусно, но меня поражало крайнее изобилие масла, что раз я и позволил себе высказать Родзевичу. «А это нарочно для вас делается: ведь у нас общее мнение, что русские любят, чтобы всякое кушанье непременно плавало в масле».

Зачем-то одно время нас перевели в другой номер, выходивший на маленький замкнутый двор, но скоро вернули в прежний, чему я был очень рад. Весна стояла отличная, постоянные солнечные дни, и я подолгу производил наблюдения из форточки; вдаль открывались виды на зеленеющие сады, а вниз — присматривался к прогуливающимся. Кроме Пушторского, заметил еще одного студента Петербургского университета — Неймарка; но от Родзевича узнал, что он сидит под фамилией Мирского; с некоторого времени иногда видал Огрызко, который после нескольких месяцев сурового режима, видимо, с жадностью впитывал в себя свежий воздух. Все прочие прогуливавшиеся были совсем мне неизвестны. Немало развлекали меня воробьи и голуби, которые, несомненно прикормленные еще моими предшественниками, смело садились на внешний выступ подоконника и из-за добычи нередко вступали между собою в довольно крупные столкновения. Я заметил между воробьями очень сообразительных; держась в стороне, они не участвовали в общей схватке; зато когда отлетала компания, получали столько, что я не мог достаточно надивиться, сколь много может съесть такая маленькая птичка, как воробей.

Должно быть, в конце мая заходит ко мне Гогель; Родзевич был на свидании.

— Что-то давно вас не видно было, — сказал я, в душе только радуясь такому благополучию.

— Был в отпуску, а теперь страшно занят пожарным делом.

Об этом деле я кое-что знал уже от смотрителя и Родзевича; знал, что в «Доминиканах» очень много но-

вых жильцов, которых завиняют в поджогах с политической целью [1].

— Если б от меня зависело, — заметил я, — никогда не назначил бы вас следователем по пожарному делу.

— Почему?

— Очень просто почему: вы так втянулись в политические розыски, что, когда даже встречаете на улице корову, то, вероятно, первое, что вам приходит на ум, — не с политическим ли умыслом она прогуливается.

— Что прикажете делать, — с живостью возразил Гогель, — при всем желании не видеть в пожарах политической подкладки — все говорит в этом смысле: захвачена целая организация, статуты, инструкции, агентуры, — и т. п. Поговоривши на эту тему, Гогель как бы невзначай сообщил мне: — Сегодня вам разрешено свидание с женой и тестем; вы, конечно, не позволите себе ни одного намека о вашем деле, — и с этими словами удалился.

Понятно, какою радостью наполнила меня эта новость, притом совсем неожиданная. Вскоре и на самом деле вызвали меня в комиссию, так, должно быть, часа в четыре дня. Там я нашел жену, тестя и все того же Гогеля. Поздоровались, уселись за стол и... не знали о чем говорить. Присутствие Гогеля совершенно сковывало язык, а у каждого из нас так много было на душе, что хотелось высказать. Не знаю, сам ли Гогель почувствовал всю неестественность своей роли, или тестю удалось как-то отвлечь его, только по времени они сначала стали прохаживаться, а потом в довольно оживленном разговоре остановились несколько поодаль у окна. Этим я и жена воспользовались, чтобы вполголоса обменяться самыми необходимыми сообщениями относительно моего дела. Но вот до меня доносятся слова Гогеля; он с тестем вел разговор о пожарах и, к моему крайнему изумлению, повторял все то, что говорил мне, да еще с более потрясающими подробностями.

Свидание продолжалось, может быть, с полчаса; тесть затем уехал в Петербург, а жена осталась в Вильно; ей разрешены были постоянные свидания в

---

[1] Весной 1865 г. в Западном крае во многих местах произошли пожары, особенно сильно пострадал город Слоним. Некоторые обстоятельства наводили на мысль о поджогах; расследование было возложено на Лосева и К°. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

определенные дни; при них уже не присутствовали члены комиссии; на первое время их заменяли жандармы, а под конец и они только показывались. Вернувшись в номер, я передал Родзевичу разговоры Гогеля насчет пожаров; Родзевич только пожимал плечами да повторял одно и то же: «Ах, поверьте, что все это неправда; в числе арестованных есть отъявленные негодяи, а вилейский исправник (в Вилейском уезде были произведены главные аресты) пользуется самой дурной репутацией».

Что Гогель без оглядки мог говорить мне, сидящему в четырех стенах, всякий вздор, это я прекрасно понимал; но, признаюсь, меня несколько смущал его разговор с тестем, я никак не представлял себе, чтобы наглость могла переходить всякие границы даже простого благоразумия.

Через несколько дней после свидания меня вместе со всеми прочими заключенными в «Доминиканах» перевели в недавно упраздненный женский монастырь «Босачек»[1]. Сначала нас с Родзевичем поместили в маленькой камере, а затем мы сидели в большой палате, где имели товарищами Рудомина, Янчевского, Бендаржевского, виленского книгопродавца Завадского и, помнится, шляхтичей из Лепельского уезда: старика Чеховича и более молодого Щуку. При «Босачках» был довольно большой сад, еще не вырубленный, как в «Доминиканах»; на прогулках с первых же дней нас свели с другими заключенными, из которых припоминаю с либеральным направлением ксендза Миньота (он сидел с 1863 г., улик против него никаких не было, а выпустить его не хотелось), д-ра Малевского; тут же я познакомился с Мих. Ад. Коссовским. Но с добрым Родзевичем скоро пришлось распроститься: его административно выслали, кажется в Рязанскую губ., потом разрешили перебраться в Варшаву, где он давно и умер.

1 мая 1865 г. состоялась официально отставка Муравьева; еще задолго до того стали уверенно называть его преемником К. П. Кауфмана, занимавшего должность правителя канцелярии военного министерства; теперь эти слухи перешли в совершившийся факт. Так как Кауфман не принадлежал к родовитой аристократии, то все поняли, что своим назначением он обязан Д. А. Милютину

---

[1] То есть босоногих кармелиток. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

(впрочем, после некоторые говорили, что Д. А. просто хотел отделаться от него), и в этом видели некоторое указание, что муравьевскому режиму пришел конец. Все в крае ждали с нетерпением приезда Кауфмана, а мы, сидящие, и тем паче. Рудомина и Янчевский, особенно последний, несколько знали Кауфмана (брат его, М. П., был начальником Инженерной академии) и давали о нем очень выгодную аттестацию. Кауфман не торопился приездом, а когда наконец прибыл в Вильно, то позицией, которую занял в пожарном деле, сразу определил направление своей политики.

По мере того как разгоралось пожарное следствие, становилось очевидным, что следствие по нашему делу закончено. В. Коссовского на прогулку в нашей компании не выводили, но с ним одно время сидел Мих. Адам. Коссовский (они были, кажется, двоюродные братья). Весьма вероятно, что под влиянием Мих. Адам. В. Коссовский дал знать Огрызко и мне, что он готов на суде отказаться от всех показаний, сделанных им на нас в следственной комиссии; объяснить суду, что они были вынуждены у него, когда он был в болезненном состоянии, которое, он уверен, не может не засвидетельствовать Фавелин. Не знаю, как рассуждал Огрызко, получив это совсем неожиданное предложение (Огрызко все время сидел и гулял один); но я остановился на следующих соображениях: если мы все трое откажемся от своих показаний, то суд будет поставлен в крайне затруднительное положение. В самом деле, для какого-нибудь обвинительного приговора должен же иметься хотя бы малейший материал. Благодаря Родзевичу и другим товарищам я уже был осведомлен о процедуре виленского военно-полевого суда: она исключала всякую возможность сговориться подсудимым; далее, все мы трое были абсолютно разъединены (постукивание не было практикуемо, по крайней мере за мое время, ни в «Доминиканах», ни в «Босачках»; но в одной части «Босачек» из противоположных номеров некоторые через форточки переговаривались знаками на манер глухонемых[1]); а начальству, конечно, и в голову не могло прийти, что наши сношения производились через лицо, специально

---

[1] Даже завязался роман, закончившийся бракосочетанием в тюрьме. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

в его глазах благонадежное[1]. А тут еще новый начальник края; каков бы он ни был, все же не может принимать очень близко к сердцу дела, возникшие до него.

Но, продолжал рассуждать я, положим, что суд и последующие инстанции вынесут нам обвинительный приговор; тогда мы будем в состоянии, не без некоторых шансов на успех, начать агитацию в Петербурге о пересмотре нашего дела (Огрызко особенно рассчитывал на К. К. Грота), опираясь на вопиющее нарушение всяческих законов. Пока я обдумывал свое окончательное решение, Огрызко дал мне знать, что он принимает предложение В. Коссовского, тогда и я решил сделать то же самое: я даже находил неудобным оставлять Огрызко одного.

Но вот, наконец, в половине июня приехал в Вильно Кауфман, и напряженное состояние, созданное его ожиданием, стало понемногу разряжаться. Его речи на общем приеме, в которой он заявлял о своем твердом намерении неуклонно продолжать политику своего предшественника, особенного значения не придавали; все понимали, что иначе он и не мог говорить, если бы даже и думал совсем другое. Скоро Кауфман предпринял небольшой объезд; тут, конечно, внимательно присматривались к его каждому шагу. Общее впечатление на местных жителей получилось совсем неутешительное. Из многих случаев припоминаю два: в одной школе собственноручно изорвал попавшуюся ему польскую книгу (об этом было даже оглашено в местной официальной газете); где-то вместо почтовых экипаж и лошади были затребованы от местного помещика (помнится, Комара); тот доставил все самое лучшее; в результате штраф на помещика — зачем лошади оказались в так называемой краковской упряжи (она даже не польского происхождения, а только с давнего времени была заимствована из Италии).

---

[1] Кстати, ближайшее наблюдение за нами имели два жандарма, Мисиченко и Черепушкин; они были вежливы; первый — крайне антипатичная фигура, второй выглядел добродушнее, но не думаю, чтоб кто-нибудь попробовал довериться ему; оба весьма охотно принимали разные подачки, напр. за продление свидания. Прислуга — солдаты — простые люди, но запуганные до последней степени; они с крайним страхом, поминутно оглядываясь, позволяли себе иногда отвечать на самые обыкновенные вопросы. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

В один прекрасный день Кауфман посетил «Босачки», куда заявился с большой свитой. Визит состоял в том, что спрашивал наши фамилии и ничего более. Впрочем, в нашей камере он сделал замечание Рудомине: «Разве у вас нет сюртука?» Рудомина был в летнем военном пальто, которое носил под арестом вместо халата. Никаких перемен в режиме не последовало, и, кажется, никто не был освобожден.

На мое решение и Огрызко, всей нашей компанией горячо одобренное, но, как оказалось впоследствии, недостаточно взвешенное, главным образом повлияло не столько желание так или иначе выкрутиться, сколько до крайности обостренное чувство к следственной комиссии. Прошло с лишком сорок лет, но во мне и теперь при малейшем воспоминании о Лосеве и К° поднимается что-то возбуждающее все нервы; а тогда, ежеминутно зависевшие от этой комиссии (зависимость эта кончилась только с объявления конфирмации, вернее сказать с момента отправки нас из Вильно), мы жили одною мыслью: чем бы отомстить этим людям, в которых, независимо от их собственных личностей, для нас воплощался весь ненавистный муравьевский режим.

Вызова в суд не пришлось долго ждать. Он заседал в тех же «Босачках». Когда нас ввели, то представилась следующая картина: стол, покрытый черным сукном, и на нем вместо зерцала лежали две скрещенные сабли. Вокруг стола сидело несколько офицеров с штаб-офицером во главе, — это и были наши судьи; несколько поодаль стоял аудитор. Мы едва могли пожать друг другу руки (то есть Огрызко и В. Коссовскому), да В. Коссовскому как-то удалось шепнуть, что он откажется от своих показаний. Стоя мы выслушали определение об отдаче под суд и сейчас же были разведены по своим камерам. Затем каждого в отдельности вызывали в суд; там председатель показывал нам показания, данные в следственной комиссии, и неизменно всем предлагал один и тот же вопрос: «Это ваша подпись? не имеете ли чего прибавить?» Рядом лежал лист бумаги, на котором вопрошаемый и писал: «Показания принадлежат мне, прибавить к ним ничего не имею». «Можете уходить». После этого приходилось ждать иногда несколько месяцев вызова для выслушания конфирмации.

Надо пояснить, что в Виленском округе для суждения по политическим делам применялись не общие военные законы, а так называемые высочайше утвержденные категории (их, кажется, было шесть). Вторая категория, практикуемая в большинстве случаев, гласила: «Все взятые с оружием в руках или без оного, по положению своему могшие иметь вредное влияние, взамен смертной казни каторжные работы»; при этом были перечислены: военные на действительной службе или отставные, тоже чиновники, помещики, духовные лица, все лица, получившие высшее образование, все доктора, учителя.

Когда меня вызвали в суд и предложили обычные вопросы, то, как бы прочитывая свою подпись и слегка просматривая свои показания, я успел заметить и пробежать на лежавшем листе, что В. Коссовский действительно взял обратно свои показания, что то же самое сделал и Огрызко. Тогда и я без оглядки последовал за ними. Мотив у всех был один: дал показания, чтоб только отделаться от комиссии и ее постоянных угроз смертной казнью.

Остальные по нашему делу подтвердили свои показания; только, помнится, М. А. Коссовский заявил какую-то жалобу на комиссию. У него во время производства дела вышло курьезное столкновение с Гогелем; по-видимому, Гогель отбил у М. А. предмет его нежной страсти, живший в Петербурге, куда Гогель ездил одно время в отпуск; при какой-то встрече они крепко поговорили, так что М. А — ча в виде наказания даже посадили на несколько дней в одиночку.

Теперь нас, конечно, крайне занимало, какое решение постановил суд; но при всех усилиях (в городе был такой человек, которому нередко удавалось добывать интересующие сведения) ничего не могли узнать. Нам оставалось только ждать и ждать да делать всякие догадки, причем, по нашему мнению, среднего решения не могло быть, — или каторга, или оправдание Огрызко и меня. Мы уже знали, что смертная казнь была прекращена по секретному высочайшему повелению; даже Муравьев в декабре 1864 г. или в самом начале 1865 г. конфирмовал виленский комитет (А. Оскерко, Гедройц, Еленский и друг.) только в каторжные работы.

Одно время не менее приезда Кауфмана и нашего собственного дела волновало нас в «Босачках» пожарное

дело[1]. Все привлеченные к нему находились в «Босачках»[2], причем их содержали крайне строго; все сидели поодиночке, прогулок не дозволялось. По известиям из города мы знали всех сидевших, знали, что главными обвинителями являются один весьма сомнительный юноша и какая-то баба. Но вот попадает к нам номер «Московских ведомостей»; в нем была большая статья по поводу пожаров в Западном крае, причем в конце статьи было определенно сказано, что все сведения заимствованы из официальных источников (статья несомненно принадлежала перу Н. В. Гогеля; я в ней встретил те самые фразы, которые сам от него слышал еще в «Доминиканах»). В ней сообщалось, что из среды польской эмиграции выделилась партия, решившая выжечь весь Западный край: не смогли, мол, поляки удержать его за собой, так пускай же никому не достается. Вместе с нею заодно действует русская революционная партия, основавшая в Тульче, где тогда жил Кельсиев, свою поджигательную агентуру[3]. В статье упоминалась фамилия шляхтича Ходзко, которому приписывалась такая роль, что смертный приговор можно было уже считать заранее произнесенным над ним. Затем до нас дошло сведение, — как потом оказалось неверное, — что на такой-то день назначен военно-полевой суд; все мы с замиранием сердца ждали этого дня. Прошло два-три томительно-мучительных дня. Вдруг узнаем, что в суде произошла какая-то заминка,— одно это уже подняло наше настроение; еще некоторое время, и как снег на голову к нашей компании на прогулках присоединяется несколько человек из числа сидевших по пожарному делу; узнали также, что Ходзко разрешены прогулки, вообще ослаблен режим в отношении его. Из числа наших новых товарищей остались у меня в памяти двое: старик Свидзинский и один простой шляхтич, даже неграмотный. Свидзинский до восстания служил по су-

---

[1] Я здесь говорю о пожарном деле только то, что сохранилось в моей памяти или что узнал о финале его по приезде в Сибирь. Подробнее о пожарном деле в приложении. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Теперь на месте «Босачек» базарная площадь. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[3] Кельсиев, года через два вернувшийся в Россию, в своих печатных воспоминаниях не без юмора разоблачил легенду о тульчинской поджигательной агенции. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

дебному ведомству; был он, кажется, паралитик, так как, помнится, его выносили на прогулку. Его обвиняла одна баба, что он подговорил ее где-то поджечь лён. Шляхтич был захвачен в каком-то местечке, где в базарный день случился пожар. Сначала он сидел при полиции, разумеется вместе со всяким сбродом; но там кормовые выдавали деньгами на руки; как человек очень расчетливый, он сделал маленькую экономию; а потому, осмотревшись в «Босачках», где кормили в натуре, сильно затосковал по полицейской кутузке. Забавная была фигура; он на всякий вопрос прежде всего обязательно отвечал словом «разумеется» и этим наделал немало хлопот комиссии. Ставят ему вопрос: «Ты поджигал в местечке?» — «Разумеется». — «Ну, рассказывай». — «Приехал я на базар, едва успел продать два куля овса, как вдруг закричали: «Пожар!» — все кинулись бежать, я тоже хотел уехать, тут меня и арестовали». — «Так ты не поджигал?» — «Разумеется». — «Как же ты сначала сказал, что поджигал?» — «Разумеется», и т. д. И этого человека продержали под арестом несколько месяцев!

Пожарное дело тянулось более года и закончилось, когда я уже был по дороге в Сибирь; закончилось только благодаря энергичному вмешательству генерала Манюкина, который временно оставался за Кауфмана, уезжавшего в Петербург. Манюкин прославился своею суровостью; в начале восстания он разбил банду и при этом сжег местечко Семятичи, — об этом подвиге его знала вся Европа; но в пожарном деле, где совсем запутался Кауфман, показал себя иным человеком. При нем военный суд оправдал наиболее обвиняемых, но Кауфман по телеграфу распорядился, — не конфирмовать до его возвращения, а когда вернулся, то отправил в ссылку Ходзко и других (с обязательной при этом продажей имущества), как неблагонадежных в политическом отношении. Так он старался поддержать престиж власти, вернее сказать — гг. Лосева и К°.

Как однообразно ни тянулись дни, но неожиданный вызов меня в комиссию да еще какую-то новую, не скажу, чтоб пришелся мне по душе. «Что такое опять подымается?» — размышлял я, в сопровождении двух конвойных совершая путешествие чуть не по всему городу, кажется в цитадель, где помещалась комиссия. Там меня не заставили долго ждать и сейчас же позвали в

присутствие, где, впрочем, находился всего один член, конечно, военный. Подавая мне довольно толстую тетрадь, он сказал: «Вот вам вопросы из омской следственной комиссии, не угодно ли прочитать. Имейте в виду, что вопросы делаются по высочайшему повелению». У меня на душе отлегло, и я с большим интересом принялся за чтение. Еще до вызова в комиссию я уже знал, что в Сибири были произведены многочисленные аресты, в том числе Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева; из них с первым я находился в очень дружеских отношениях; познакомил нас Кавелин. Перечитав все от начала до конца, я несколько разочаровался. Меня спрашивали о массе лиц, даже по фамилиям совершенно незнакомых, о их замыслах и т. п. Был один курьезный вопрос: «Не получали ли вы «Томских губернских ведомостей», где печатались статьи в сепаратическом духе с целью возбудить умы к отделению Сибири от России?» [1] — «Да ведь вместо того, чтоб за несколько тысяч верст посылать такой запрос, проще было справиться на месте — состоял ли я в числе подписчиков». — «А вы, может быть, отдельными номерами получали их по почте», — возразил дальновидный офицер. Кончилось тем, что на все пункты отвечал отрицательно, признавши только, что в Петербурге по университету был знаком с Гр. Н. и Н. М. Более меня о сибирском деле не спрашивали.

Мало-помалу подошла осень; прогулки в обнаженном саду стали терять свою прелесть, все давно друг с другом перезнакомились и обо всем сколько-нибудь интересном уже переговорили; постоянное чтение набивало оскомину; не то хандривое, не то притупленное настроение завладевало всеми. И притом это постоянное, обязательное общество! Я думаю, у всякого из нас бывали минуты, когда ему страстно хотелось остаться одному. Моя личная жизнь еще скрашивалась свиданиями с женой — она все время оставалась в Вильно; приезжала ко мне из Петербурга моя покойная сестра Сонечка, тоже умершая двоюродная сестра жены и вместе с тем мой близкий друг, Нина Мих. Латкина, впоследствии по мужу — Герд;

---

[1] С сибирского дела 1864 г. и начинается на страницах известной части печати временами то замолкавший, то опять горячо поддерживаемый разговор о сибирском сепаратизме. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

но ведь у многих не было в Вильно или поблизости родных, а свиданья разрешались только с родственниками. Однако в некоторых камерах находились прямо-таки артисты, сумевшие внести известную долю разнообразия не только в свою личную жизнь, но даже и других живо заинтересовать своими талантами. Многие, например, занимались лепкой из хлеба; особенно у иных хорошо удавались цветы; но по большей части (и тут невольно сказывалось внутреннее настроение) вылепливались надгробные памятники, распятие, божия матерь, — у меня и теперь сохраняется божия матерь, подарок одного из заключенных. Но эта работа требовала весьма продолжительной подготовки хлеба, его надо было неустанно мять в течение не менее десяти дней; без этого сделанные вещи, как только начинали высыхать, сейчас же трескались. Многие, конечно, не прочь были испробовать свои способности в лепке, только у редких хватало терпения на скучную подготовку материала.

На свой ли страх, или с разрешения комиссии, смотритель иногда по вечерам позволял нашей камере ходить в гости в один из соседних номеров, где собралась довольно подвижная компания. Из среды ее особенно выделялся уже немолодой шляхтич Миклашевский. Это был, как говорится, человек на все руки — певец, музыкант, первый мазурист и положительно артист по части лепки из хлеба. Он сделал из хлеба флейту и весьма недурно играл на ней; ему аккомпанировал другой артист на стаканах (чтоб подобрать гамму, они наполнялись в известном размере водой). Под эту музыку хором распевались то революционно-патриотические песни, то старопольские бытовые, а иногда и с комическим оттенком; в последних обыкновенно выступал Бендаржевский, утрируя какой-то чувствительный романс, должно быть начала XIX в., из которого в памяти остались слова:

Не с Филиды пршиклад брать,
Кохаёнц не тршеба спать [1].

И редкий вечер, чтоб не устраивалась мазурка. Кто видал мазурку в роскошной постановке второго акта «Жизни за царя» или на наших балах, тот и представить

[1] Не с Филиды брать пример, || Когда любишь, сон не обязателен (искаж. *польск.:* Nie z Filidy przyklad brąc, kochajaç nie trzeba spać).

себе не может, до какой степени это вполне национальный танец. Надо видеть ее в условиях более чем обыденных, как мне доводилось видеть в тюрьме или в убогой приисковой обстановке, чтоб почувствовать, как в ней сказывается вся живость польского темперамента, способность увлекаться до самозабвения, уменье согласовать канву, установленную веками, с импровизацией бесчисленных фигур и положений. Меня особенно поражала мазурка в тюрьме: с одной стороны, над головой каждого танцора висела каторга или по меньшей мере ссылка в Сибирь, а с другой — жизнерадостность, неистощимое остроумие в проделывании самых рискованных фигур и не менее ловкий выход из неожиданных положений.

В нашем номере временами большое оживление вносил Ст. Каз. Янчевский. Еще в петербургском ордонансгаузе под влиянием сидевшего там А. Н. Столпакова он, до того времени ничем не интересовавшийся, кроме своей инженерной специальности, стал почитывать русские журналы и кое-что из тогдашней нашей переводной литературы и в результате сделался решительным исповедником позитивных и радикальных идей. В Вильно, когда мы сидели вместе, он тоже читал только русские книги, которых у меня накопилось немало. По природе своей Ст. Каз. — пропагандист; так, например, он мне, профану, по целым часам развивал идеи французского инженера Монталамбера, пламенным последователем которого он был. Всеми своими новыми мыслями и впечатлениями он прежде всего делился с Рудоминой (давно умерший), к которому питал просто трогательную привязанность. Тот терпеливо выслушивал Ст. Каз., кое-что принимал, но вообще проявлял способность оставаться несколько нейтральным среди противоположных течений. Зато с Завадским, виленским книгопродавцем, ревностным католиком, у Ст. Каз. выходили самые ожесточенные споры. Помню, раз все уже улеглись спать; с кроватей Ст. Каз. и Завадский перебрасываются еще коротенькими репликами. «Да ведь ныне есть даже и такие дураки, — говорит Завадский, — которые утверждают, что человек якобы происходит от обезьяны». Ст. Каз. вскакивает: «Имею честь рекомендоваться, я именно и есть такой дурак, который думает, что человек происходит от обезьяны». Как сейчас вижу пораженную фигуру Завадского; видимо было, что он никак не представлял себе, что есть

в натуре люди, допускающие происхождение человека от обезьяны. «Нет, этого быть не может», — отвечал он после некоторого молчания. «А я вам говорю, что это так», — отрезал Ст. Каз. Окончательно сраженный, Завадский поспешил завернуться в одеяло и, вероятно, сугубо принялся отчитывать про себя разные молитвы.

Медленно тянулись дни. Характер управления Кауфмана между тем вполне определился. «Муравьева не стало, зато весь муравейник расползся», — как-то раз метко выразился о нем Фавелин. Кауфман был человек несомненно крайне ограниченный; приехал он в край, повидимому, с двумя руководящими идеями. Первая — польский элемент только присмирел, а потому его нужно держать в ежовых рукавицах; вторая — следует неустанно продолжать русификацию; это дело, должно быть, представлялось ему не более трудным, чем введение в каком-нибудь полку обмундирования нового образца. В этом тоне Кауфману от всего сердца ответили как временная военная организация, желавшая протянуть свое существование до бесконечности, так и гражданская, затертая с начала восстания и теперь старавшаяся вернуть свое прежнее значение. И вот политические аресты стали продолжаться, а некоторые конфирмации Кауфмана, даже по сравнению с муравьевскими, поражали своей суровостью, преследования малейшего проявления так называемого полонизма нисколько не ослабели. Вот какие вести чуть не ежедневно проникали к нам в тюрьму. Венцом кауфмановской политики явился указ 10 декабря 1865 г. (в этом деле он нашел деятельную поддержку в братьях Милютиных) об обязательной продаже недвижимых имуществ всех лиц, хотя бы только административно высланных из края, и запрещение лицам польского происхождения приобретать имения в Западном крае[1]. Все это подавало мало надежд на сколько-нибудь благоприятный исход нашего дела.

Но вот в начале двадцатых чисел декабря мы получили из города сообщение, что наше дело конфирмовано, и притом для большинства оканчивалось простой высылкой, даже без лишения прав. Хотелось этому верить, но

[1] Неспособность Кауфмана очень скоро обнаружилась, и менее чем через два года он был отозван, оставив все дела в крайне запутанном положении. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

ни у кого не оказалось смелости поверить. Еще прошло несколько дней, и новое известие, прямо противоположное: все в каторгу. Этому мы поверили, хотя и казалось совсем непонятным, что ни для кого не сделано исключения, даже для Янчевского.

В тот же день зашел смотритель; он имел какой-то смущенный вид. Мы все его обступили.

— Павел Григорьевич, ведь наше дело кончилось?

— Не знаю.

— Да не секретничайте, мы все знаем.

— Ну, господа, если вы все знаете, так и я вам скажу: действительно ваше дело кончилось.

— Всех в каторгу?

— И это правда. Но, господа, меня удивляет, почему вы все имеете такой вид, как будто и не бог весть какую радостную весть узнали.

— Да как же нам не радоваться: ведь и то уже хорошо, что наконец выберемся отсюда.

И это было верно. Узнав теперь от смотрителя, что наше дело кончено, мы прежде всего почувствовали, что у нас точно гора с плеч свалилась; суровый исход совсем пока отодвинулся на второй план, даже Янчевский не казался ошеломленным перспективой каторги. В этом приподнятом настроении самую главную роль играло то, что через каких-нибудь дня два мы будем вне зависимости от комиссии и распрощаемся с Вильно. Когда несколько поуспокоились, конечно живо принялись обсуждать: каким образом суд и Кауфман выпутались из отказа В. Коссовского, Огрызко и моего; делали разные догадки, но никак не попадали в настоящую точку, — она никому и в голову не приходила. Так как с приговором в каторгу неминуемо связывалась конфискация, то смотритель тут же спросил нас, кому заблаговременно передать наши деньги; также посоветовал все, что у нас было ценного, напр. часы, хорошее платье, теперь же передать ему, а он потом вернет нам. Все это нами и было сделано без промедления, а смотритель свято выполнил свое обещание.

Должно быть, 29 декабря нас всех, кроме В. Коссовского, собрали с нашими остальными пожитками и всей партией препроводили в ордонанс-гауз. Там опять не оказалось В. Коссовского. По некотором времени явилось какое-то начальство, и при военном карауле аудитор

прочитал нам конфирмацию. Чтение продолжалось долее часу; и тут только объяснилась причина отсутствия В. Коссовского. Согласно официальному изложению, В. Коссовский, спустя некоторое время после того, как отказался от своих показаний, сам просил суд о разрешении явиться и дал приблизительно следующее показание: желая смягчить участь Огрызко и Пантелеева, я, такого-то числа, заявил на суде, что все показанное мною относительно их в следственной комиссии неверно; но теперь я беру назад это показание и подтверждаю все то, что говорил на следствии. Теперь мы поняли, зачем после общего вызова в суд Гогель несколько раз посещал В. Коссовского; несомненно, его уговорили взять обратно свой отказ, но для большего эффекта в официальном изложении предоставили В. Коссовскому честь самостоятельного выступления. Решение суда гласило: Огрызко и В. Коссовскому смертная казнь, а всем остальным, на основании 2-й категории, каторжные работы разных сроков; аудиториат кое-кому смягчил, то же сделал и Кауфман; так, смертная казнь Огрызко была заменена двадцатью годами каторги, В. Коссовскому — ссылкою на поселение; вместо каторги Рудомина ссылался в Западную Сибирь, Янчевский — тем же чином сапером на Амур (в Петербурге получил назначение в Туркестан), М. А. Коссовский — на поселение, другим, кажется, то же; только мне во всех инстанциях остались без изменения шесть лет каторги, назначенной судом. Огрызко и мне еще поставили в вину клевету на следственную комиссию. Под суд я был отдан за посредничество в сношениях польских и русских революционеров и по подозрению в принадлежности к «Земле и воле»; в конфирмации говорилось уже о моей принадлежности к ней, хотя в деле не было ни малейшего факта, это подтверждающего. Всем нам, за исключением, помнится, одного В. Коссовского, была объявлена конфискация имущества.

По окончании чтения, согласно обряду, нас постригли, но шпаг не ломали, а затем одели в казенное обмундирование.

Когда начальство удалилось и происходил обряд стрижки, ко мне подошел офицер, бывший в наряде.

— Я Точнев, — сказал он, — ваш товарищ по гимназии.

— Теперь и я вас узнаю; во время чтения конфирмации мне казалось, что вижу как будто знакомого, но не мог сообразить, кто такой.

Точнев был моложе меня по гимназии, должно быть, двумя годами.

— Я давно слышал, — продолжал он, — что здесь сидит под арестом Пантелеев, но при этом прибавляли: полковник; ну, я и думал, что кто-нибудь другой, а не вы.

Точнев очень участливо отнесся ко мне и на прощание сказал, что непременно побывает у меня в тюрьме. Слово свое он и сдержал, даже принес какие-то гостинцы.

Казенное одеяние, все, начиная от шапки и кончая нижним бельем, было невероятное: одним оно было слишком велико, другим, наоборот, мало, притом из отвратительного материала; особенно невероятны были полушубки: коротки, узки и разлезались; а ведь в них не только большая часть уголовных, но и многие из политических должны были совершить зимнее путешествие по Сибири.

Как бы там ни было, удобно или нет, пришлось пройтись в казенном одеянии порядочную дистанцию из ордонанс-гауза до тюрьмы; все же, что было при нас, подверглось конфискации, вернее сказать — на наших же глазах было расхищено. Политические в виленской тюрьме содержались в особом отделении. Про уголовное отделение шли рассказы, что там царил невероятный беспорядок и воровство практиковалось просто ради шутки или чтобы посмеяться над начальством. Так, незадолго до нас было два забавных случая: украдено пальто у прокурора, и он должен был заплатить выкуп, чтобы получить его обратно; пропала лошадь у водовоза; в ворота тюрьмы она не могла быть выведена, потому искали по всем дворам и укромным уголкам. Нигде не оказалось. Наконец водовоз согласился заплатить десять рублей; тогда арестанты повели его на чердак и говорят: «Вот, бери свою лошадь». Но так как водовоз не в состоянии был вывести с чердака лошадь, то за добавочную трехрублевку арестанты вынесли ему ее.

В тюрьме свидания давались свободно; принесены были вещи, уцелевшие от конфискации; одна незнакомая полька прислала мне своего рукоделия теплые перчатки и какую-то религиозную картинку. Жена уехала вперед, чтоб предупредить о моем приезде в Петербург; кроме

того, она имела некоторые поручения от Огрызко. Последний был в крайне возбужденном состоянии: после пятнадцати месяцев он в первый раз видел людей, с которыми мог говорить по душе. Естественно, что разговор вращался около фатального исхода дела. Огрызко еще не терял надежды на помощь со стороны К. К. Грота. Увы! он не предвидел, как много еще неожиданных ударов придется вынести ему. Заявился к нам Янчевский и рассказал следующее. На другой день после конфирмации он должен был по правилам военной службы представиться Кауфману, как начальнику военного округа. На общем представлении Кауфман прошел мимо него, не сказав ни одного слова; но когда Янчевский уходил, то его задержал адъютант. Затем, когда все представлявшиеся удалились, Янчевский был позван в кабинет Кауфмана, который, поздоровавшись с ним, как с своим знакомым (накануне ареста С. Каз. танцевал с Кауфманом мазурку у его брата), сказал: «Я бы вернул вас в Академию, но ведь вы почти три года провели под арестом и тут легко могли попасть под влияние какого-нибудь фанатика вроде...» Припоминаю еще, заходил к Рудомине молодой человек, кн. Радзивилл, не из богатых. Он, как говорили мне, старался имитировать своего знаменитого родственника времен давнопрошедших, «пане коханьку», — того, о котором Мицкевич сказал, что когда он бежал за границу, то взял с собою на дорогу только один червонец, но этот червонец был величиною с колесо.

— Я никого не боюсь, — говорил молодой Радзивилл, — я всем говорю, что я поляк и католик.

— Ну, и сошлет тебя куда-нибудь за это Кауфман.

— А что мне Кауфман; я везде буду Радзивилл, а Радзивиллы были всему миру известны, когда еще никаких Кауфманов не водилось на свете; вот еще, стану я бояться какого-нибудь Кауфмана.

В тюрьме мы пробыли два дня; на третьи сутки, 31 декабря, назначили в отправку и в определенное время всех вывели на двор; при этом опять пришлось одеться в живописный казенный костюм. К моменту отправки явился гражданский губернатор Панютин. В моих «Воспоминаниях из прошлого»[1] рассказана дикая сцена,

---

[1] Стр. 178. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

которую он разыграл в отношении Огрызко. Последнего отделили от нас и отправили с жандармами прямо на Москву, а отсюда без остановок в Тобольск. Только тут благодаря губернатору А. И. Деспоту-Зеновичу он несколько отдохнул; ему предстояло еще тысячи четыре верст.

Под ночь партию перевели на вокзал, а затем до крайности тесно разместили в вагонах. Едва раздался последний звонок, как поляки разом запели прощальные песни с родиной; из одной припоминаю слова:

А за тем краем,
Як бы за раем,
Тёнгле вздыхам
И плачем!
Еще раз, еще раз,
Еще раз зобачим!

Кое-как разместились. Несмотря на трагический момент, все, однако, были в бодром настроении и даже весело шутили, что в каких своеобразных условиях встречаем Новый год. В отделении, где мне пришлось устроиться, оказалась целая компания ксендзов весьма разнообразных видов и даже православный священник (впрочем, из бывших униатов) Мороз. Был, например, ксендз, о котором меня заранее предупредили, что он очень ученый человек. Мы провели многие часы в разговорах; он, видимо, много читал по естественным наукам, был также осведомлен в сравнительном языкознании; но над всем этим яркою нитью проходила одна идея: несмотря на кажущиеся успехи знания нашего времени, теперешний человек в понимании природы несравненно ниже первобытного; для последнего были раскрыты тайны природы, которые мы тщетно стараемся постигнуть. Точно так же и первобытные языки богаче и выразительнее нынешних, в пример чего приводил литовский как один из древнейших. В противоположность ему другой весь жил в мире грешной плоти. Едва осмотрелись, как он из весьма богатого запаса всякой провизии достал бутылку старки, ветчину, индейку и т. д. и стал весьма любезно угощать своих ближайших соседей. Он был большой ценитель литовской кухни и не раз с грустной улыбкой замечал, что в Сибири ничего подобного уже не найдешь, а главное — нельзя будет иметь так хорошо сваренного кофе, как его умеют приготовлять на Литве. Третий был такой страстный любитель до карт,

что, зная его слабость, с ним нарочно проделали забавную шутку: он уже улегся спать и даже слегка похрапывал; вдруг кто-то произнес: «В соседнем вагоне недостает партнера, кто желает?» Наш ксендз моментально вскочил и, даже не надевая сапогов, поспешил занять свободное место.

Я должен сказать, что как в Вильно, так и в дороге, где мне не раз доводилось сталкиваться с ксендзами, никогда они не заводили со мной каких-нибудь щекотливых разговоров на религиозные темы и никогда не касались православия. Некоторым исключением являлся священник Мороз (он шел в каторгу); тот не раз подымал речь о больших ересях в православии, но принужден был скоро прекращать эту тему, так как во мне не находил к ней интереса.

Ни конвойный офицер, тоже и команда, не проявляли к нам какого-нибудь недоброжелательного отношения; всегда обращались к нам с словами «господа», сами вступали в разговор, принимали наши угощения и оказывали всякие услуги. Вот только из вагонов нас не выпускали, должно быть, в этом пункте регламент был очень строг. Ехали с нами один или два чиновника из числа явившихся по вызову Муравьева, — их этапным порядком возвращали домой. Я разговорился с одним из них. «Возвращаюсь потому, что подходящего места не получил; ехать на свой счет не хотел, прогонов не дали».

Об обратном путешествии по этапу вызванных чиновников я слыхал еще от Гогеля. На мой вопрос: «Каковы явились в крае русские чиновники?» — он отвечал: «Первый призыв дал, можно сказать, головку, по большей части всё люди с высшим образованием, второй — смешанный, а из третьего очень многих пришлось обратно отправить по этапу».

Ехали медленно, две ночи и день, так что только утром 2 января были в Петербурге. Здесь опять пришлось одеться в форменную костюмировку и продефилировать в ней с Варшавского вокзала в Демидов переулок, где тогда находилась пересыльная тюрьма. Меня на вокзале, конечно, встретили жена и ее родители; тоже и некоторых других из нашей партии. Никаких препятствий к встрече и разговорам от полиции не было. Какая-то сострадательная женщина близ церкви Вознесе-

ния сунула мне медную монетку. В пересыльной помещение для политических было просторно и после грязной виленской тюрьмы показалось просто роскошным, а главное — было тепло, тогда как в виленской тюрьме за два дня порядочно иззябли; несомненно, там, помимо всяких непорядков, царило и самое неприкрытое воровство. И кормили в Петербурге весьма прилично. Добрым гением пересылаемых была m-me Эттинген. Она являлась энергической ходатайницей за тех, кого надо было задержать в Петербурге, а между тем у них не было ни связей, ни знакомых. Кроме того, она имела разрешение от Суворова посещать пересыльную и другие места, где находились пересылаемые политические, как то: больницы Литовского замка, исправительного заведения, и очень часто снабжала нуждавшихся необходимыми вещами для дальнейшей дороги. Мне не пришлось видеть этой замечательной личности — она была в это время за границей. Но все поляки, с которыми мне пришлось видеться в свой проезд через Петербург, с глубоким уважением произносили ее имя. Пусть же эти немногие строки напомнят совсем другому поколению о женщине, душевная доброта которой нашла для себя такое благородное приложение.

На другой день рано утром приехал в пересыльную кн. Суворов и застал нас, его совсем не ожидавших, большею частью в коридоре; увидев меня, князь за руку поздоровался и увел с собою в свободную камеру.

«Я не мог задержать вас в Петербурге, — сказал Суворов, — Муравьев добыл прямое высочайшее разрешение, чтобы вас выслали в Вильно; теперь расскажите, что с вами там было». Я коротко передал ему мою виленскую эпопею; при имени Югана Суворов заметил: «Это, кажется, латыш; я, помнится, ничего дурного ему не сделал». Спросил еще об Огрызко. «Выкрал у меня его Михаил Николаевич». А затем, возвращаясь к моему делу, сказал, что сделает обо мне доклад государю. «Знаете, — подмигивая, прибавил Суворов, — можно будет воспользоваться тем обстоятельством...» На прощанье заявил: «Я вас задержу в Петербурге, вы будете переведены в лучшее помещение».

Теперь я должен рассказать об одном загадочном случае, на который намекал Суворов. Осенью 1862 г. я через кого-то познакомился с Княгининским. То был из семинаристов бывший вольнослушатель Казанского университета, исключенный за участие в какой-то истории. Жил он в Петербурге настоящей богемой, не имея своего угла. Княгининский обнаруживал выдающиеся сведения в физике, главным образом по отделу электричества и приложению его к техническим процессам. В то же время он заявлял готовность служить своими познаниями для воспроизведения нелегальной литературы. Я приобщил его к «Земле и воле», и так как он абсолютно не имел никаких определенных средств, то по временам из кассы «Земли и воли» выдавал ему маленькую субсидию, кроме того, старался познакомить его с людьми, которые могли бы заинтересоваться утилизацией его специальных знаний; так, ввел на четверги к золотопромышленнику П. Н. Латкину, познакомил с Тибленом, которому он и объяснил свой проект наборной машины с применением электричества. Но пока ничего не выходило. Помнится, на третий день пасхи 1863 г. заявляется ко мне какой-то совершенно незнакомый молодой человек и говорит, что у них на квартире заболел тифом Княгининский и что хозяйка требует, чтоб его убрали куда знают.

— Так его надо свезти в больницу; если для этого нужны деньги, то я вам их дам.

— Да ведь в больницу без паспорта не примут, а у Княгининского его нет.

— В таком случае я сейчас же поеду к Суворову и постараюсь устроить это дело.

Сказано — сделано, облекаюсь в фрак и отправляюсь к Суворову.

— Что, сегодня князь принимает? — спрашиваю швейцара.

— Принимает [1].

---

[1] У Суворова, конечно, были определенные приемные дни; но он принимал почти всегда, когда находился в генерал-губернаторском доме; вся разница была в том, что в приемные дни у него собиралась масса публики, а в неприемные, при некотором знакомстве, легче было переговорить с ним. В экстренных случаях он был доступен даже на своей частной квартире. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Поднимаюсь наверх; в обширной приемной никого из публики, но зато видимо-невидимо полицейских всех рангов. Долго ждать не пришлось; князь вышел из кабинета, и началось христовское целованье; мало-помалу Суворов дошел до меня и также совершает обряд троекратного целованья, а затем направляется к следующим поздравителям.

— Ваша светлость, у меня к вам есть дело.

— Какие сегодня дела, теперь праздник.

— Никак нельзя, пожалуйста выслушайте; дело идет о жизни или смерти человека, — продолжал я, не отставая от Суворова, в это время успевшего уже перехристоваться с несколькими чинами.

Князь наконец остановился, с минуту подумал и, обратясь к особо стоявшей группе числившихся при нем, позвал полковника Сабанеева.

— Полковник, выслушайте Пантелеева и сделайте что можно.

Сабанеев (впоследствии плац-майор С.-Петербургской крепости и изобретатель сабанеевского фотографического затвора) сейчас же увел меня в отдельную комнату; он пользовался репутацией одного из лучших людей в составе огромной свиты Суворова. Я откровенно рассказал ему, в чем дело; он отвечал, что сейчас же будет сделано необходимое распоряжение.

— Но, пожалуйста, чтоб полиция как-нибудь не придралась к квартирной хозяйке, что у нее оказался беспаспортный.

— И за это можете быть спокойны.

Как сказал Сабанеев, так все и было сделано. Княгининский благополучно перенес тиф и в свое время выписался из больницы. Обзавелся ли он после этой истории паспортом — не знаю [1].

Прошло, может быть, не более двух недель; раз встречаюсь с Н. Утиным. «Я сегодня был у Егора Петровича (Ковалевского); он говорил мне, что виделся недавно с Суворовым и тот очень хвалил ему тебя; что у тебя такое с ним было?» — «Да ничего, кроме известной

[1] Кажется, в начале 70-х гг. Княгининскому удалось кого-то заинтересовать в своей машине с применением электричества к набору; но уж почему она не пошла в ход — не знаю. Умер Княгининский, если не ошибаюсь, в конце 70-х гг. в больнице в страшной бедности. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

тебе истории с Княгининским; после того я не видал Суворова».

Вскоре Утину пришлось бежать. Самое последнее снаряжение его, как то: стрижка, бритье, совершались в квартире таможенного чиновника Лескова, проживавшего в доме туляковских бань. Как только бегство Утина стало для полиции несомненным фактом, сейчас же потянули к ответу всех близких к нему, но меня не тронули, несмотря на то, что самые последние дни мы проводили большею частью вместе и что еще за год Суворов как-то говорил мне: «Ваше близкое знакомство с Утиным не доведет вас до добра».

Между тем настало лето. Раз, идя по Невскому, встречаю М. С. Гулевича[1].

— Есть одно обстоятельство, касающееся вас, — сказал он.

— Что такое, может быть арест угрожает?

— Нет, вы заходите ко мне в четыре часа, я тогда сообщу вам, в чем дело, — и с этими словами мы распрощались.

Признаюсь, с большим нетерпением я ожидал четырех часов и минута в минуту заявился к Гулевичу, который, помнится, жил в каком-то деревянном доме в Ковенском переулке. Тогда почти все пространство между Знаменской и Лиговкой было застроено деревянными домами. Гулевич рассказал мне следующее: «Вчера я был на журфиксе у Костомарова; между прочим Николай Иванович сказал: «Я на днях видел Суворова; он так хвалил Пантелеева, так хвалил, что даже становится странным и подозрительным». На эти слова бывший тут же Гайдебуров (П. А.) и отозвись: «Я очень доволен, что уже довольно давно разошелся с Пантелеевым». На этом разговор о вас и кончился».

К пояснению слов Гайдебурова надо сказать, что он не без основания считал меня виновником, что не попал в реформированный студенческий комитет (см. стр. 268—269 моих «Воспоминаний»). Но дело было не в Гайдебурове и в его личных счетах со мной. Предстояло выяснить смысл и основу слов Костомарова и каким путем этого достигнуть. Собрался наш комитет; я заявил, что

---

[1] Член комитета «Земли и воли». См. мои «Воспоминания из прошлого». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

до поры до времени устраняюсь от этого дела и прошу взять его на себя комитету. Это и было принято.

Решено было отправить депутацию к Костомарову. Но разговор с Костомаровым ничего не дал, он только повторил, что крайне похвальные слова Суворова произвели на него странное впечатление. Тогда депутация направилась к Е. П. Ковалевскому; он, видимо, был смущен, говорил о неосторожности Суворова, болтовне Костомарова, но ни одного слова не произнес, которое послужило бы к разъяснению двусмысленного казуса. На депутатов свидание с Ковалевским произвело впечатление, что он, очевидно, старался отделаться от них. Тогда наконец я сам принялся за распутывание таинственной нити. Первые шаги через В. М. Белозерского чего-нибудь добиться от Костомарова не дали никакого результата; тогда я сам к нему отправился в Публичную библиотеку, где он всякий день работал. Я нашел его одного в отделении; подойдя к столу, за которым он сидел, я сказал: «Николай Иванович, ваши слова о разговоре с Суворовым ставят меня в невозможное положение; я желал бы получить от вас разъяснение...» — но тут меня оборвал Костомаров. Он с запальчивостью заговорил: «Какое право вы имеете требовать объяснений! — и, возвысив еще более голос, закричал: — Я прошу вас сейчас же уйти, иначе позову служителей, чтоб вас вывели».

Мне, конечно, ничего не оставалось, как уйти. Невероятный прием Костомарова меня более чем удивил, — я тогда еще не знал, что временами он совсем не владел собою.

Предпринимаю визит к Ковалевскому. Едва я поставил его в известность, зачем пришел, как добродушный старик воскликнул: «Ах этот болтушка Суворов, хорош и Костомаров, что позволяет себе так отзываться о вас. Вы поступили как благородный человек, а теперь какая неприятная история выходит». Я настаиваю, чтоб Е. П. сказал мне, в чем же дело, а он только продолжает повторять одно: «Вы поступили как благородный человек». — «Но позвольте, Егор Петрович, могу же я знать, что такое сделал». Но старик только разводит руками да приговаривает: «Ах этот болтушка Суворов». И все, чего я мог добиться от него, было следующее: «Положим, у нас существует вполне основательный взгляд, что

всякое соприкосновение с полицией пачкает человека; но я вас спрашиваю: если вы идете ночью и видите, что начинается пожар, неужели вы не кинетесь в полицию и не сообщите ей о начинающейся беде?» На том разговор с Ковалевским и кончился. Что мне оставалось делать? Пошел к Суворову. Он принял меня в кабинете. Едва я начал ему свой рассказ, как Суворов прервал меня:

— Ах он старая ж... этот Костомаров, да как он смеет так говорить! Я сам первый враг III Отделения; и в этом деле, кроме меня и государя, никого не было. Я говорил государю: «Вот ваше величество на меня нападали, что я защищаю студентов, а вот какие между ними благородные люди»; и государь был очень доволен вами. Вы поступили как благородный человек, а Костомаров смеет говорить о вас!

— Но в чем же дело, ваша светлость?

— Да, как же, помните, на пасхе вы привели ко мне этого молодого человека, я еще слушать вас не хотел, но вы настояли на своем. Как его фамилия? блондин такой, он в тот же день получил деньги на дорогу и уехал.

— Но, ваша светлость, я в пасху был у вас по делу бывшего вольнослушателя Казанского университета Княгининского, чтоб получить разрешение на помещение его в больницу; но никакого студента к вам не приводил.

Тут Суворов провел рукой по голове.

— А, так значит я спутал; я думал, что это вы его ко мне привели; как его фамилия? Хорошо, я вызову Костомарова и скажу ему, что он не так понял мои слова, что из них не следует делать какие-нибудь оскорбительные для вас заключения.

Спустя несколько дней В. М. Белозерский читал мне письмо Костомарова к нему, что его вызывал к себе Суворов и т. д. Из разговора с Суворовым с очевидностью выходило, что вскоре после меня у него был какой-то казанский студент и сделал очень важное сообщение. По обстоятельствам можно было догадываться, что сообщение касалось подложного манифеста, который поляки пытались распространить по Волге. Побег Утина III Отделение несомненно ставило в связь с этим, потому оно и придало ему такое значение, хотя Утин узнал, как и все мы в Петербурге, о польском предприятии лишь post factum.

Как-то довелось разговориться в Лозанне с покойным эмигрантом С. Я. Жемановым о казанском деле, причем я передал ему о таинственном студенте, заявившемся из Казани к Суворову. «Да это непременно Глассон, ведь он одно время пропал было, но скоро опять заявился. Ваш рассказ проливает совсем новый свет на начало нашего дела и окончательно устанавливает личность Глассона; одни называли его сознательным предателем, другие — действовавшим по легкомыслию. Я теперь не колеблюсь ни на минуту, что у Суворова был Глассон» [1].

Должно быть, в тот же день, как был Суворов в пересыльной, меня и Рудомину перевезли в больницу долгового отделения, которая помещалась в исправительном заведении близ бывшего завода Берда. В этой больнице Суворов устроил своего рода привилегированное помещение для больных пересылаемых политических; говорю — привилегированное, потому что по правилам они должны были находиться в больнице Литовского замка. Когда я заявился в больницу, то в палате, отведенной для политических, нашел человек шесть-семь; из них трое были действительно больные, а остальные, как и я грешный, были задержаны по тем или другим соображениям, но только не по болезни.

Режим в исправительном заведении был весьма свободный; можно было иметь ежедневные свидания с утра и до вечера; причем не надо было испрашивать какого-нибудь разрешения; точно так же и проносилось к нам все без всякого осмотра, хотя в теории он и существовал. Понятно, что ко мне разом нахлынули все товарищи и знакомые; редкий день проходил без чьего-нибудь визита, и притом очень часто со всевозможными угощениями и яствами; обед же мне доставлялся из дома тестя. Из товарищей я мог заметить отсутствие лишь одного, и притом довольно близкого, Н. А. Неклюдова, который, как оказалось, купил типографию Тиблена копейка в копейку на выработанных мной условиях.

Вскоре тесть сообщил мне о своем свидании с Суворовым. «Я сделал доклад государю, — рассказывал

---

[1] О казанском деле интересующийся читатель может иметь подробности во 2-м приложении к материалам для истории революционного движения в России в 60-х гг., стр. 178—196. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Суворов, — я говорил государю: «Вот какие дела могут твориться в Вильно — Михаил Николаевич арестовал Пантелеева, а Кауфман сослал его в каторгу, это тот самый Пантелеев, которым вы были так довольны». И государь согласился с моим представлением, что дело Пантелеева надо подвергнуть здесь пересмотру». Так как я был сужден военным судом, то пересмотр дела поручен главному аудиториату (во главе его тогда стоял Философов). Еще прошло некоторое время, и тесть принес пикантную новость. Он был знаком с Кранцем[1] (по золотым делам в Сибири). «Главный аудиториат пошлет запрос в Третье Отделение по вашему делу; Кранц говорит, что необходимо, чтобы вы подали в Третье Отделение записку; напишите хоть что-нибудь, иначе им не на что будет опереться в своем отзыве». Я написал коротенькую записку, в основу которой положил свое заявление в виленском суде. В Петербурге мое дело шло довольно быстро; III Отделение дало отзыв в мою пользу, то же, кажется, и министерство внутренних дел (в момент ареста я числился канцелярским чиновником по департаменту общих дел[2]). Но аудиториат нашел нужным еще запросить Кауфмана. И тут дело стало; проходили месяцы, и, наконец, когда ответ пришел, то обстоятельства уже изменились, но об этом будет в своем месте.

Поляки, сидевшие со мною, и посещавшие их соотечественники были крайне довольны оборотом моего дела в Петербурге. По их словам, это был чуть ли не первый случай, что государь приказал пересмотреть решение, состоявшееся в Вильно; приводили в пример какого-то сосланного Муравьевым Даманского, лично известного государю и представившего очевидные доказательства своей неприкосновенности к восстанию. Государь якобы ответил: «Теперь ничего нельзя сделать, надо выждать время; а дать ему денег на дорогу». Друзья Огрызко нетерпеливо ожидали исхода моего дела и строили на нем планы будущей кампании в пользу пересмотра его дела.

Жизнь в исправительном заведении шла вообще недурно; кроме постоянных посетителей, ежедневных про-

---

[1] Управляющий III Отделения. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Из Вильно в свое время было сообщено в министерство внутренних дел о конфискации моего имущества; но в министерстве и пальцем не пошевелили для розыска моего имущества. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

гулок во дворе, можно было и в город заглянуть под предлогом побывать в бане; в таком случае давался страж-проводник — надзиратель; сравнительно за скромный гонорар вместо бани делались визиты по знакомым. Я, однако, не позволял себе злоупотреблять слабостью надзирателя до гонораров и всего только раз заглянул в дом тестя да к Апол. Фил. Головачеву. («Неопалимая купина», — как, помнится, прозвал его М. Е. Салтыков; А. Ф. был секретарем редакции «Современника».) Часто навещал меня В. О. Ковалевский, он приносил обыкновенно литературные и общественные новости. Раз он имел такой разговор со мной: «По поручению ваших друзей передаю вам следующее предложение. Если захотите бежать — и деньги и все способы к вашим услугам; подумайте». В следующий визит Ковалевского я дал ему ответ — отрицательный, по следующим соображениям. Побег был бы с моей стороны нарушением доверия, — в свое время Суворов, обещая тестю задержать меня в Петербурге, при этом заметил: «Надеюсь, что не убежит»; [1] а во-вторых, одна мысль сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем, более наводила на меня страху, чем перспектива каторги. С каторги, если не умру, — а умереть везде можно, — рассуждал я, все-таки когда-нибудь можно вернуться, а из эмиграции нет возврата.

Вообще В. О. Ковалевский, несмотря на то, что я с ним познакомился не особенно задолго до моего ареста, выказал большое участие ко мне; деньги, собранные им, с некоторым дополнительным сбором через А. А. Жука с избытком покрыли весь мой дорого стоивший переезд от Петербурга до Красноярска.

Навестил меня В. Д. Спасович. Зная, что для него закрыт возврат к университетской кафедре, я спросил его, что он намеревается предпринять с собой.

«Да вступаю в присяжные поверенные». Я, конечно, ничего ему не сказал, но был несколько удивлен таким решением. Дело в том, что мне по университету было известно, что В. Д. совсем не владел даром слова; бывали с ним случаи, что он забывал взять с собой лекции и тогда мгновенно покидал кафедру. А между тем с первых же шагов на адвокатском поприще он

---

[1] Напоминаю читателю, что осенью 1864 г. бежал из петербургского госпиталя Юндзилл. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

выдвинулся как одно из светил нашей адвокатуры; даже во второй половине 70-х гг., всякий раз, как выступал В. Д., места для публики были переполнены. Но интересно то, что все речи, произнесенные В. Д., производившие на публику впечатление живой импровизации как по форме, так и по содержанию, всегда были заранее написаны от начала до конца; даже коротенькие реплики он предварительно набрасывал карандашом.

По разу посетили нас Суворов, совсем неожиданно, и принц П. Г. Ольденбургский, — о визите последнего мы знали еще накануне не только по усиленной чистке, но и прямо были предупреждены начальством. У Суворова всегда находилось слово со всяким о чем-нибудь поговорить, даже иногда вспомнить общих знакомых. Принц, войдя в нашу палату, остановился в позе, очень напоминающей ту, в которой он изображен на памятнике, что стоит против Мариинской больницы. Хотя он не в первый раз посещал наше отделение и, значит, видал уже страшных мятежников, а все-таки, казалось, не без внутреннего трепета глядел на них. Постояв, робко спросил фамилии и повернул назад.

Пора сказать несколько слов о моих сожителях по исправительному заведению. Здоровые время от времени выбывали, но сейчас же заменялись новыми.

Как в Вильно, так и в Петербурге мне не пришлось встретиться с особенно выдающимися деятелями восстания; зато передо мною прошла пестрая вереница рядовых людей, несколько различавшихся между собою по образованию и общественному положению. Тем интереснее было для меня наблюдать разницу между тогдашним русским обществом и польским. От простого шляхтича (каким, например, был Чехович из Лепельского уезда Витебской губ.), своими руками обрабатывавшего землю, до сравнительно крупного помещика или человека интеллигентной профессии — всех их объединяла одна идея, хотя и различно понимаемая; эта идея в основе своей имела горячую любовь к родному краю и своей народности, в чем бы она ни проявлялась. Далее, даже у людей самого скромного образования замечалось довольно основательное знание своей прошлой истории, своей литературы, многие наизусть цитировали целиком лучшие страницы из Мицкевича, Красинского, Словацкого, Сырокомли и др. Со мной большинство держало

себя откровенно; одни вообще осуждали восстание, другие признавали крупные ошибки в ведении его, нередко сказывались взаимные счеты партий, но ни от кого не приходилось слышать жалоб на свою судьбу в том смысле, что вот, мол, имел необдуманность впутаться в этот омут. Людей, чем-нибудь запятнавших себя, или замалчивали, или подвергали жестокому остракизму; особенно сказывалась эта суровость у более простых людей.

И что еще особенно бросалось в глаза — это вера в свое будущее; никакие репрессии не колебали ее, всяк в своей душе носил, как догмат: «Еще Польска не згинела!»

Но возвращаюсь к началу темы. Едва я вошел в палату, как мне отрекомендовался д-р Горнич и сейчас же стал излагать свое довольно запутанное profession de foi, в котором только одно и можно было понять, что корень зла всему попы и чиновничество. Речь Горнича лилась неудержимым потоком; я начинал терять терпение, но едва обнаруживал намерение отложить окончание разговора до другого раза, как Горнич трогательно говорил: «Нет, уж вы дослушайте; завтра, вероятно, меня не будет в живых». Не знаю, как долго продолжалось бы это испытание, если б кто-то не отвел меня в коридор и там объяснил, что д-р далеко не в своем уме.

Моим ближайшим соседом оказался молодой человек, чуть ли не гимназист старшего класса; у него пуля застряла в ноге. Трижды ему делали разрез; в первый раз на месте пулю не нашли и, нисколько не стесняясь, отправили в Сибирь. В Петербурге ему удалось задержаться; здесь дважды делали разрез, а до пули все-таки не добрались. Предстояло еще вскрытие раны; он понимал необходимость этой операции, но говорил, что блеск железа всякий раз вызывает у него холодную дрожь. На его счастье, в один прекрасный день пуля сама вышла.

Далее, молодой граф из Царства Польского Д — т. По словам его земляков, все его графство заключалось в полуразрушенной башне; но он имел родственников со связями и благодаря им был задержан в Петербурге. Граф Д. получил блестящее образование в Лувенском университете, то есть отлично ездил верхом, фехтовал, во всех танцах был первый кавалер. Он был так здоров, что ему мог позавидовать самый здоровый человек, но

все еще ежедневно упражнял себя разными гимнастическими приемами. Он так рассказывал свою историю. После разбития партии Бончи он благополучно перебрался за границу. Но вот, кажется в 1865 г., вышла правительственная декларация, что эмигранты могут вернуться, но должны предоставить себя в распоряжение местного начальства (своеобразная амнистия).

«Мои родные посоветовали мне вернуться, так как следствие будет pro forma [1], что ничего дурного ожидать нельзя. Ну, я и вернулся; в Варшаве представился генералу Трепову; тот отдал приказ препроводить меня в Александровскую цитадель; там по некотором времени вызывает меня генерал Тухолка (председатель главной следственной комиссии). «Расскажите, что вы делали». Я отвечал, что жил у себя в имении; в один прекрасный день явился туда вооруженный отряд, арестовал меня и доставил в партию Бончи. Там меня все время держали под караулом, но партия была разбита, я этим воспользовался и перебрался за границу. «Так, а теперь расскажите, как вы с отрядом ограбили казначейство в Цехотине и торговали там казенной солью?» — «Бонча послал туда отряд и меня под караулом». — «Вы под караулом и расписку писали, что забрали столько-то денег и продали соли столько-то пудов?» — «Да, под караулом». — «А как вы объясните, что Бонча накануне стычки объявил партии, что в случае, если он будет убит (а он и был убит), то вы принимаете команду?» — «Да, это так говорил Бонча, не знаю почему». — И больше меня ни о чем не спрашивали». А затем суд приговорил графа Д. к смертной казни; наместник, однако, заменил ее простой ссылкой в Сибирь. Но граф на это не был согласен, — он поехал бы и в Сибирь, если б туда была железная дорога.

«Помилуйте, — говорил граф, — ехать несколько тысяч верст — как это по-русски? — en traîneau; [2] ну, если б еще была железная дорога, а то ужасно — en traîneau».

Благодаря влиятельным родным граф отделался, кажется, высылкой в Рязанскую губернию и сейчас же был выпущен на свободу. Он зашел к нам проститься; совсем сияющий, повторял:

---

[1] Для вида *(лат.)*.
[2] В санях *(франц.)*.

«Рязань — это другое дело, туда есть железная дорога».

Был ксендз из Галиции, могучая фигура, высокого роста. Но он был весь изрублен и показывал коллекцию маленьких костей из своего черепа. Взятый в плен почти мертвым, он был сдан в госпиталь. С признательностью он вспоминал какого-то военного доктора Воскресенского, который спас его от неминуемой смерти и не позволил начать допроса, пока он хоть несколько не оправился. Отправленный в каторжные работы, он был задержан в Петербурге. Лица, принимавшие в нем участие, через австрийского посла старались выхлопотать несчастному возврат в Галицию. Он с трудом двигался, всегда держась около стены; всякое сколько-нибудь резкое движение вызывало мучительную боль; на прогулку он не выходил, но в конце длинного коридора была небольшая кухня; в нее-то наш ксендз и совершал ежедневно крайне осторожное путешествие: он был большой любитель кофе, сам его приготовлял, а главное искусно кипятил сливки, медленным процессом превращая целую кружку сливок в одну густую массу как бы пенок.

После ухода в отставку Суворова новое начальство не стало дожидаться исхода возбужденной переписки и отправило ксендза в Сибирь. В 1866 г. осенью я встретил его в красноярской больнице. Что он выстрадал, не говоря о железной дороге и пароходах, на колесном переезде от Перми до Тобольска, а затем от Томска до Красноярска — трудно и представить. Как только установился зимний путь, его двинули далее, но он умер на дороге к Иркутску, где его ожидало разрешение на выезд в Галицию.

Своеобразное оживление по временам вносил в нашу все же несколько монотонную жизнь д-р Горнич. Как все душевнобольные, он вел крайне неправильный образ жизни: по целым часам ходил в соседней проходной комнате, без устали напевая: «Ах, Иезус, Мария», причем обязательно ударял лбом в дверь, а плечом задевал в одном и том же месте стену. Как на двери, так и на стене образовались пятна; они приводили в отчаяние полковника Венка (начальника исправительного заведения), прежде всего заботившегося о чистоте (эти заботы спустя несколько лет не спасли его от скамьи подсудимых за крупное хищение); а смотритель почтительно

докладывал, что все от д-ра г. Горнича. Пятна затирались, а на другой день Горнич возобновлял их.

Горнич возымел ко мне особенное расположение; бывало, по целым часам рассказывал о своих студенческих годах, о последующем житье-бытье в Пинском крае; рассказывал он мастерски, так что этот своеобразный Пинский край, как картина, стоял передо мной. Я не охотник, но заслушивался Горнича, когда он, страстный охотник, входил в подробности своих подвигов с ружьем и собакой.

Но все свои длинные разговоры Горнич обязательно заканчивал: «И вот за то, что осмотрел нескольких раненых, исполнил христианский долг, — ссылают в Сибирь, в Сибирь!» — с неподдельным ужасом повторял он.

«А знаете, — раз говорил он, — ведь и в Сибири, пожалуй, можно жить; там, говорят, есть Минусинский уезд. Подобрать бы небольшую компанию, например вы, я, еще кто-нибудь, ну, разумеется, пару добрых дубельтовок и собаку, — отлично можно жить. Так ведь нет же: как только чиновенство узнает, что нам хорошо, — непременно переведет на другое место». Увы, эти слова оказывались словами прозорливца, потому что и в самом деле ссыльные в Сибири не раз без всякой надобности перебрасывались с места на место.

Был также помещик из Минской губернии — Коркозевич; кровать его была рядом с кроватью Горнича. Коркозевич любил подчас распространиться о сельском хозяйстве, о том, какое это большое дело быть помещиком. Раз Горнич слушал его, слушал да в виде реплики и вставил: «Чтоб быть провизором, надо кое-чему учиться и иметь диплом; чтоб быть доктором, надо много и много учиться, тоже инженером, механиком; а помещиком — всякий может быть помещиком!» Коркозевич обиделся, слово за словом, и паны схватились за что попало, так что мы едва успели развести их. Коркозевич тоже был задержан Суворовым как больной — у него легкие были далеко не в порядке. Но ему не пришлось далеко ехать; каким-то образом схватил тиф и умер на наших глазах. О нем ходила молва как о человеке с крупными денежными средствами; потому, как только он испустил последний вздох, все мы сейчас подвергли ревизии его чемодан, чтобы спасти деньги от конфискации и передать их сыну, учившемуся в Петербурге. Осторожно стали вынимать вещь за вещью; вот из какой-то рубашки выпала се-

рия; мы удвоили нашу внимательность. С половины чемодана кончилось белье, пошла рваная бумага, аккуратно разложенная. Вынимаем листок за листком (а чемодан был большой) и так дошли до самого дна, — ничего не оказалось. Вдруг раздается голос Горнича: «Вот так помещик, в каторгу ехал, а какой запас рваной бумаги вез».

Благодаря неустанным хлопотам близкой родственницы Горнича подвергали освидетельствованию в губернском правлении; но всегда, как только Горнич видел пред собою начальство, он держал себя вполне здравомысленно, на все вопросы отвечал толково, но непременно заканчивал: «И за то, что осмотрел нескольких раненых, исполнил христианский долг, — ссылают в Сибирь!» Сестре, а также и показаниям больничного начальства губернские власти, видимо, не доверяли, и Горничу не миновать бы Сибири, если бы не одна счастливая случайность. Раз мой тесть был у чиновника министерства внутренних дел, притом лично ему знакомого, в ведении которого находились дела о пересыльных (помнится, Берестова). Застал он у него сестру Горнича; когда та ушла, тесть и говорит:

— Какая несчастная женщина, сколько ей горя с больным братом.

— Да разве он на самом деле больной, а не притворяется?

— Несомненно душевнобольной, — отвечал тесть, который, часто посещая меня, видел Горнича во всех видах. Этот разговор и повел к тому, что вместо Сибири Горнич был только выслан в одну из поволжских губерний, где мало-помалу и поправился.

К полякам также много приходило посетителей, как из петербургских единоплеменников, так и приезжих. Время для поляков было самое удручающее: 10 декабря 1866 г. состоялось роковое запрещение приобретать им поземельные владения в Западном и Юго-Западном краях, а также обязательная продажа в двухлетний срок всех имений, владельцы которых были высланы из края, хотя бы только во внутренние губернии России. В первый момент последняя мера казалась решительно неосуществимою, притом в такое короткое время. Откуда найдутся русские покупщики? Что они будут давать по мере истечения двухлетнего срока? По какой цене пойдут имения, которые будут пущены в продажу с публичных

торгов? Вот о чем главным образом шли разговоры между сидевшими и их посетителями.

Проходили дни за днями, несмотря на посетителей и городские новости, все же не без монотонности. Вдруг раздался выстрел 4 апреля; еще в тот же день до нас дошел неопределенный слух о нем. Поляки были смущены: несомненно, у всякого на душе была мысль, что выстрел произведен кем-нибудь из их соплеменников. На другой день мы имели дело уже с фактом, официально подтвержденным. Но кто такой стрелял? Тут в течение нескольких дней приходили самые неправдоподобные известия, порой прямо фантастические. Помню, влетела одна дама, К — я, и с торжеством заявила: «Теперь положительно известно, кто стрелял... потому и суда никакого не будет, все дело закончится по-домашнему...»

Но вот состоялось назначение Муравьева, и все мы разом почувствовали, что наше пребывание в Петербурге стало крайне непрочным, даже несколько рискованным; с Муравьевым появились на сцене и его виленские сотрудники. Раз приехал ко мне тесть и рассказал следующее: «Сегодня утром я был у Суворова. Едва меня ввели к нему в кабинет, как он сказал: «Читайте» — и подал немецкую газету. Я отвечал, что по-немецки не понимаю. «Это «Крестовая газета», я вам переведу», — и стал читать корреспонденцию из Петербурга; в ней сообщалось о назначении Трепова оберполицеймейстером и прибавлялось при этом, что оберполицеймейстером он пробудет недолго, так как генерал-губернаторство в Петербурге закрывается, а вместо того учреждается градоначальство, и Трепов будет градоначальником.

«Представьте себе, — продолжал Суворов, — обо всем этом я узнаю из иностранных газет. После четвертого апреля я просил у государя отставки, но он отвечал: «Долгорукий ушел, и ты хочешь сделать то же, с кем же я останусь?» И не хотел более слушать о моей отставке. А теперь все обделано за моей спиной. Я уже сегодня послал государю прошение об отставке».

Отставка Суворова была принята; но он получил очень лестный рескрипт с назначением генерал-инспектором всей пехоты (что означало весьма недурную синекуру, — в высшем кругу фамилия Суворовых не считалась богатой, — со всем содержанием А. Ар. его годичный доход определялся в восемьдесят тысяч рублей в год).

Тем не менее Суворов поехал в Царское Село не в генерал-адъютантском мундире, а в общеармейском, — это была с его стороны своего рода демонстрация; а затем отправился в свое родовое новгородское имение, где жил в ссылке его знаменитый дед. Еще до своей отставки Суворов говорил тестю: «За благополучный проезд вашего зятя до Томска я ручаюсь, а дальше все может быть: в Красноярске губернатором страшный Замятин» [1].

Пришел наконец ответ из Вильно; ответ был благоприятный: Кауфман предоставлял мою участь на милость государя. Говорю — благоприятный, потому что из Вильно или совсем не отвечали на запросы из Петербурга, или давали отрицательный ответ. Но ответ Кауфмана пришел после 4 апреля и даже когда Суворов был уже не у дел. Под чьим влиянием — не знаю, но только пересмотр моего дела в главном аудиториате был оставлен без дальнейшего движения. Надо сказать, что мы в исправительном заведении зависели не только от одного Суворова, а ближайшим образом, как пересыльные, от петербургского губернатора Перовского (отца С. Л. Перовской) и еще в каком-то отношении от принца П. Г. Ольденбургского, которому либерализм Суворова, видимо, был не по душе. Конечно, Перовский был подчинен Суворову, но зачастую старался проявить свою самостоятельность, и в том числе на нас. Так, некоторых из нас, в том числе и меня, вызывали в губернское правление, там свидетельствовали, объявляли здоровыми и назначали к отправке куда следовало. При Суворове в таком случае сейчас же кто-нибудь из близких мчался к нему, и Суворов отдавал приказ: до его дальнейшего распоряжения не трогать нас. Но когда Суворова не стало, то нам уже не было возможности задерживаться; да многие из нас, и я тоже, сами стали подумывать об отъезде, опасаясь, как бы виленские деятели не притянули нас к чему-нибудь. Но вот 16 апреля, когда всего

[1] В 1875 г. по возвращении из Сибири я был у Суворова. В первую минуту он не узнал меня, даже мою фамилию забыл. Но какая-то мелочь напомнила ему меня; старик кинулся обнимать меня, затем пустился в воспоминания прошлого и даже кое-что напомнил мне, что я уже забыл. «А ведь с вами тогда поступили неблагодарно», — заметил Суворов, должно быть опять путая Глассона с Княгининским. На прощанье старик с грустью сказал мне: «Не много утешительного вы найдете в теперешнем направлении нашей жизни, всем завладела реакция». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

менее того ожидали, появился высочайший указ о некоторых облегчениях всем сужденным военно-полевыми судами до 1 января 1866 г. за политические преступления в военных округах — варшавском, виленском и киевском; в указе было, между прочим, сказано: «Сужденным до шести лет в каторгу взамен ее поселение». Я буквально подходил под эту статью, и меня следовало еще из Петербурга отправить на поселение. Так Валуев и обещал тестю сделать; но потом увернулся: это, мол, должны сделать в Тобольске. Меня, помнится, во второй половине мая назначили к отправке и перевели в пересыльную тюрьму, где я и пробыл несколько дней, пока шла переписка о снаряжении ко мне двух жандармов, так как я заявил желание ехать на свой счет, и вместе с тем выправлялось необходимое разрешение моей жене последовать за мной в Сибирь. Может быть, на второй день в мою камеру ввели студента-медика Степут, или Степуш, не помню хорошо. Он был доставлен в пересыльную из Шлиссельбурга, где по решению сената отсидел несколько месяцев за печатание недозволенных фотографий. Вместо того чтобы выпустить на свободу, его административно высылали в Вологодскую губернию. Я очень обрадовался такому счастливому случаю, так как мог через него кое-что передать в Вологду насчет своей матушки, которая все оставалась в полной неизвестности относительно радикального оборота в моей жизни. Разумеется, стал расспрашивать насчет Шлиссельбурга.

И вот что говорил Степуш: в Шлиссельбурге двоякое заключение — в замке, казематное, и — в крепости. Последнее означало, что нельзя было выходить за пределы крепости, но внутри предоставлялась почти полная свобода.

В замке, насколько удалось узнать Степушу, было человека четыре-пять, ничем не выдававшихся, совершенно неизвестных лиц, — какой-то поп или дьякон, солдат и т. п.; в крепости же оказался Лукасинский.

Еще студентом от товарищей поляков я слыхал о Лукасинском и о том, как Константин Павлович, уходя из Варшавы, захватил с собой Лукасинского; что с тех пор судьба его совершенно неизвестна. По словам Степуша, Лукасинский говорил на смеси русско-польско-французской, писал мемуары и не терял надежды получить сво-

боду. До 1861 г. он был в казематном заключении. В 90-х гг. в проезд через Львов я дал г. Белзе, хранителю при музее Оссолинских, коротенькое сведение о Лукасинском, и он тогда же поместил его в каком-то галицком издании.

При мне отправлялась партия уголовных арестантов; я с особенным интересом присматривался к этой пестрой толпе, с которой в недалеком будущем предстояло, может быть, прожить несколько лет в близком общении; полной уверенности, что я в Тобольске отделаюсь от каторги, у меня не было. Мое внимание привлекла одна группа из нескольких мужчин и женщин, державшихся особняком. Все они были однообразно одеты, но прекрасно; у мужчин были суконные сюртуки, жилеты, брюки, вправленные в большие сапоги; у женщин были кофточки, шерстяные юбки; на головах у мужчин картузы, у женщин — косынки; у всех были вместительные холщовые чемоданы. Мужчины, видимо, были крупные преступники, так как на ногах у них имелись кандалы.

Я спросил надзирателя, кто эти арестанты, и получил в ответ: урожденцы княжества Финляндии. 1865 г. надолго останется в памяти финляндцев, как год страшного неурожая; да и перед тем был, кажется, голодный год (теперь благодаря поразительному улучшению сельскохозяйственной культуры губительные неурожаи уже не постигают Финляндию), тогда финляндский сенат вынужден был ввести в тюрьмах суррогаты хлеба, мотивируя эту меру тем, что, когда честные граждане вынуждены питаться хлебом со всякими примесями, нельзя ставить арестантов по сравнению с ними в привилегированное положение. И вот в такой-то страшный год снаряжение финляндских арестантов так выгодно отличалось от русских, что даже и сравнить нельзя. Потом, в бытность в Сибири, я узнал, что финляндский сенат выхлопотал себе право ссылать тяжких преступников в Сибирь, но при этом получил разрешение образовать из них отдельную колонию (в Минусинском округе). Для этой колонии он содержал на свой счет пастора и школу.

Наконец все формальности по моей отправке были закончены и я под присмотром двух жандармов, которые должны были доставить меня в Тобольск, был препровожден на Николаевский вокзал; в то время как меня

проводили по вокзалу, бросились ко мне проститься и пожать руку несколько товарищей; в числе их припоминаю уже покойных А. Я. Герда, П. П. Фан-дер-Флита.

Их, однако, не допустили до вагона; там могли быть только родственники.

Поезд тронулся, и понемногу скрылись черты дорогих лиц. Присутствие тестя отчасти смягчало для жены горечь первых минут разлуки с дочерью и матерью. Мы ехали в третьем классе; посидев с нами некоторое время, тесть ушел в свой вагон, чтобы несколько отдохнуть: он за последние дни порядочно измучился в сборах нас в дорогу; жена пока занялась разговором с случайной спутницей С — ой, молодой дамой, ехавшей в Сибирь к своему жениху С —ну, из политических ссыльных. По времени я достал из саквояжа первую попавшуюся книгу; то были «Легенды русского народа», изданные Афанасьевым; бòльшую часть их я знал чуть не наизусть.

— Не хотите ли, — обратился я к жандармам, — я буду читать вслух?

— Может, что мудреное?

— Нет, вы все поймете.

— Почитайте.

И я принялся довольно громко читать легенду «Солдат и смерть». Моим чтением, видимо, заинтересовались не только жандармы, но и ближайшие соседи. Все с напряженным вниманием следили за похождениями хитроумного солдата, нередко прерывая мое чтение замечаниями: «Ай да молодчина, вот так штукарь!» Кончилась легенда. «А вы еще что-нибудь почитайте», — послышались многие голоса. Почти до самых сумерек продолжалось мое чтение.

При остановках жандармы не стесняли меня выходить в вокзал; конечно, при этом один из них всегда оставался у дверей, а другой выстраивался сзади меня. Время было сильного сыска и наблюдений; жандармские офицеры (не железнодорожные) сновали на всех сколько-нибудь значительных станциях. Однако, должно быть, никто из них не сделал моим проводникам какого-нибудь замечания, что они в отношении меня допускают излишние послабления, хотя все они требовали к себе жандармов, вели с ними какое-то собеседование и иногда даже что-то записывали. Так мы благополучно проехали Ни-

колаевскую и Нижегородскую дороги, но жандармы были в постоянном страхе и поминутно говорили: «Ах, поскорее бы добраться до парохода; пронес бы бог без беды железную дорогу».

В Нижнем нас встретила холодная и дождливая погода. Не помню, на какой пароход сели; капитан парохода, если не изменяет память — Протопопов, отвел нам каюту первого класса, хотя наш проезд был оплачен только по третьему классу; жандармы оставались на палубе. До Козьмодемьянска ехал с нами тесть; перед тем как ему распрощаться с нами, неожиданно всплыло крайне неприятное обстоятельство: жандармы заявили ему, что вместе с ним должна вернуться и жена. «Да ведь она едет с мужем в Сибирь». — «Нет, у нас есть распоряжение только о муже, о жене нам начальство ничего не говорило; вот, смотрите, и в бумаге о ней не значится». Долго шли у нас пререкания с жандармами; наконец тестю удалось как-то уломать их; думаю, что дело не обошлось без бакшиша.

На пароходе жандармы признались, что Зыбин (начальник петербургского жандармского дивизиона), который заприметил меня еще в лето 1862 г., когда я был в Вологде, дал им обо мне такую устрашающую аттестацию: «Смотрите день и ночь в оба, а то он у вас на глазах пропадет». Этот же самый Зыбин в Петербурге перед отправкой говорил тестю: «Можете быть совершенно спокойны за проезд вашего зятя: я назначил самых лучших жандармов, и им даны инструкции ни в чем его не затруднять».

В Козьмодемьянске мы расстались с тестем, человеком выдающимся для своего времени, хотя и получившим только домашнее образование в глухом Усть-Сысольске; расстались навсегда, так как, несмотря на свои пятьдесят пять лет и, по-видимому, могучий организм, он умер в следующем году.

На другой день начали подходить к Казани; между тем погода установилась отличная, мы с женой большею частью проводили время в рубке. В Казани, конечно, заявились новые пассажиры и в числе их... местный жандармский генерал Слезкин, столь прославившийся потом в Москве. Его провожали семья и адъютант; вся компания разместилась в рубке, из которой мы заблаговременно удалились. Мои жандармы пришли в неописуемый

трепет и ни на шаг не отходили от меня; кроме того, они объявили мне, что, когда я буду находиться в каюте, они поочередно станут дежурить у ее дверей. Я отвечал, что мне лично все равно, но для публики это будет неприятно. «В таком случае оставайтесь на палубе».

Но вот в рубке началась какая-то суматоха; вскоре оттуда вышел адъютант и стал спрашивать, чья карта Сибири была разложена в рубке; ему указали на меня. Тогда он подошел ко мне и в вежливых выражениях стал извиняться, что карту случайно залили кофе. Я сказал, что это ничего не значит; но воспользовался этим случаем и просил адъютанта доложить генералу насчет требования жандармов. Через минуту адъютант вернулся и объявил жандармам, что я могу, когда захочу, оставаться в каюте, а они по-прежнему пусть будут на палубе.

Скоро пароход отошел; генерал остался один. Мы с женой были на палубе; по времени генерал вышел из рубки и стал прогуливаться. Спустя недолго заметил меня и пригласил в рубку. Там, предложив мне сесть, спросил, кто я, откуда и по какому делу отправляюсь в Сибирь. В коротких словах я удовлетворил его любопытство; в ответ он держал такую речь: «Вы молоды, перед вами еще большое будущее, от вас самих вполне оно зависит. Помните одно: где бы вы ни были, как бы далеко от вас ни находилось высшее начальство, оно всегда будет знать не только что вы делаете, но даже и что думаете. Еще раз говорю — не забывайте этого никогда».

Кажется, в тот же день под вечер Слезкин оставил пароход, чему, конечно, были рады не одни только мои жандармы; по крайней мере капитан, с которым иногда удавалось переброситься двумя-тремя словами, не скрывал своего удовольствия.

Как по железной дороге, так и на пароходе можно было заметить любопытные взгляды, направлявшиеся в мою сторону; но лишь немногие набирались храбрости предложить иногда вопрос: «Далеко едете?»

Кончилась Волга, прошли Каму до Перми, откуда начинался колесный путь в Тобольск (около девятисот верст). Тесть дал письмо к кому-то из своих знакомых в Перми, прося оказать содействие к устройству нашего переезда. Тот приехал на почтовую станцию, куда мы

тотчас же перебрались с парохода. Первый разговор, конечно, пошел о приобретении тарантаса.

— У меня есть тарантас, он мне теперь не нужен.

— Что будет стоить?

— Ничего, вы сдайте его в Тюмени такому-то, — причем назвал фамилию какого-то поляка, служившего по делам Поклевского, — и скажите ему, чтобы он вернул тарантас с каким-нибудь надежным проезжим.

В Тюмени такая же история; поляк в свою очередь дал нам тарантас до Тобольска. Меня это тогда немало удивляло: отдавать тарантас на проезд в несколько сот верст в надежде, что он вернется с кем-нибудь из проезжих (и от Томска до Красноярска мы ехали таким же манером). Но потом, обжившись в Сибири, я узнал, что такая операция была делом самым обыкновенным для расстояний даже несравненно больших, и сам в свою очередь без страха давал свой тарантас даром напрокат.

Весь путь до Тобольска проехали без особенных приключений, если не считать того, что раз жандармы едва-едва согласились остановиться на ночевку, кажется в Кунгуре, чтобы дать жене хоть сколько-нибудь отдохнуть: ее сильно расколотила непривычная езда в тарантасе, да еще довольно тряском. Вообще от этой части пути почти не осталось никаких воспоминаний; даже проезд через Урал, должно быть, не произвел особенного впечатления. Помню только, что около Кунгура ехали с некоторой оглядкой, так как с давних пор это место считалось классическим по грабежам. Но, имея двух вооруженных телохранителей, мы, конечно, ничего не боялись.

Потом в Тобольске узнали, что ссыльные поляки в Кунгуре пытались пробраться на свидание с нами, но их не допустили жандармы. В дороге один из жандармов обыкновенно сидел на козлах, а другой в тарантасе, но при этом свешивал свои ноги на облучок. Когда я ему говорил, что ведь так должны ноги затекать, что тарантас достаточно просторен, то он флегматично отвечал: «Ничего, мы люди привычные».

На станциях наш проезд не возбуждал ни малейшего внимания или особенного любопытства, — видно было, что к таким путешественникам, как мы, уже привыкли; скорее можно было заметить желание заполучить лишнее за самовары, молоко и т. п. Оно и понятно, так

как проезд с жандармами всегда возбуждал ошибочную мысль об относительном богатстве путешественника; на самом же деле бо̀льшая часть направлявшихся в Сибирь с жандармами ехала на собранные деньги.

Наконец мы в Тобольске. Как только очутились в городе, жена сейчас же взяла извозчика и поехала в гостиницу, а жандармы со мной прямо заявились к губернатору. Алек. Ив. Деспот-Зенович, приняв от них запечатанный конверт, спросил мою фамилию и велел жандармам отправиться к полицеймейстеру; он, видимо, не узнал меня, да и немудрено: мы всего мельком два раза встречались у тестя.

Доставили меня к полицеймейстеру; тот, хмурясь, точно чем недовольный, обратился ко мне с вопросом:

— Не имеете ли каких претензий к жандармам?

— Нет, не имею.

— Все ли деньги при вас?

— При мне.

Затем у полицеймейстера вышло какое-то столкновение с жандармами: те ссылались на генерала Трепова, на что и получили в ответ: «А мне какое дело до вашего Трепова; это для вас он все, а я его и знать не знаю».

В заключение меня препроводили в острог. На прощанье жандармы попросили от меня записку, что никакого утеснения от них не было (это, конечно, для тестя, чтоб получить добавочный бакшиш); я написал несколько строк и дал еще красненькую, чем они были весьма довольны и несколько раз пожелали мне всякого благополучия и даже скорейшего возвращения в Россию.

В то время Тобольск был еще центральным пунктом, в котором стекались почти все ссыльные, направляемые в Сибирь; тут была так называемая тобольская экспедиция о ссыльных, которая производила распределение всех ссыльных по разным частям Сибири; здесь на каждого составлялся «статейный список», основной документ, определявший всю дальнейшую судьбу ссыльного. Впоследствии все это было перенесено в Тюмень. Не удивительно, что тобольский острог представлял из себя для того времени грандиозное сооружение; ведь в распутицу там скапливались тысячи арестантов. Он находился на горе, между тем как бо̀льшая часть города

размещалась на низменности, часто затопляемой, но зато близкой к реке (Тоболу).

В тобольском остроге политических содержали в особом отделении, которое почему-то называлось «дворянским». Там я встретил целую компанию поляков, выжидавших летней отправки; некоторые из них, осужденные в каторжные работы, были признаны в Тобольске не способными к ним и на основании какой-то статьи устава о ссыльных высиживали в остроге определенные сроки, а затем уже назначались на поселение. Была еще совсем особая группа поляков из Царства Польского, в самом начале восстания высланных солдатами в сибирские батальоны и отказавшихся от присяги. Они судились военным судом, и им неминуемо предстояла каторга. Их не столько смущала эта перспектива, сколько истомила необычайная медленность, с которой тянулось дело; прошло около трех лет, а оно все еще продолжало странствовать по разным инстанциям.

Опять же и в Тобольске мне не пришлось встретиться с кем-нибудь из видных деятелей восстания; те из них, которые уцелели от смертной казни, уже давно были на каторге. Только благодаря численности в Тобольске резче бросалась в глаза пестрота как в отношении принадлежности к разным общественным классам, так и по уровню образования. Да еще можно было заметить явное распадение на умеренных и красных; последние, в то же время и антиклерикалы, почти всегда были из Царства Польского. Наружно обе стороны поддерживали приличные [1], вернее сказать — дипломатические отношения, но держались особняком. Умеренные в разговорах со мной замалчивали это распадение, но красные, совсем наоборот, при всяком случае подчеркивали, причем нисколько не щадили некоторых лиц, например Венцлововича, помещика из Могилевской губернии, указывая на него как на типичного пана-крепостника, и другого — с Волыни (фамилии не помню, его сопровождала молодая дочь); последнего не иначе называли, как «волынское быдло». Вообще я заметил, что даже у мягких литвинов поляки с Волыни были на весьма невысоком счету, и присловье «волынское быдло» широко применялось к ним.

---

[1] Не так, говорят, бывало на каторге, где иногда обострение доходило до настоящих побоищ. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Венцловович был горбун, притом с недоразвитыми или калечеными ногами, так что ходил на костылях; он получил хорошее французское образование, отличался живым и острым умом, что и делало его весьма интересным собеседником, так что, хотя за ним и водился всем известный грешок — он был профессиональный игрок в карты (эту практику он не покидал даже и в остроге, то есть не стеснялся обыгрывать людей по большей части с последними деньгами), кроме заведомых красных, все относились к нему хорошо, даже Новицкий, о котором речь будет ниже. В то время как другие в разговорах со мной лишь вскользь, и то крайне редко, касались аграрной политики русского правительства в Западном крае и Царстве Польском, возмущаясь главным образом конфискациями и обязательной продажей, Венцловович, наоборот, не упускал случая, чтобы направить всю свою критику в эту сторону. Даже «Положения» 1861 г. он находил чересчур радикальными, — например обязательный надел; но особенно порицал отмену полицейской власти помещиков. О новейших же мероприятиях говорил с нескрываемым раздражением; он утверждал, что они создали в крае такую анархию, из которой нет выхода, и что через несколько лет она перебросится на всю остальную Россию. И тем характернее, что этот человек был сужден как начальник революционной организации одного из уездов Могилевской губернии, за что и был сослан в каторжные работы (вместо них отсидел сколько-то времени в тобольском остроге). Раз он дал мне прочитать свою оправдательную записку, куда-то поданную. Она была написана умно и ловко; но, возвращая ее, я не скрыл от Венцлововича, что совершенно понимаю, почему она осталась без всяких последствий. Он не стал спорить по существу, только, улыбаясь, заметил: «Но согласитесь сами, все же они недостаточно обратили внимания на самый главный аргумент в мою пользу, что я — калека и, значит, не мог принимать участия в восстании». Насколько припоминаю, главными обвинителями против Венцлововича была его прислуга.

Было бы более чем наивно думать, что Венцловович и люди его взглядов (мне иногда приходилось встречаться с такими; припоминаю в эту минуту, например, Р — ча из Царства Польского) приняли участие в движении лишь из одного враждебного отношения к крестьянской рефор-

ме; ведь они понимали, что в случае успеха восстания — старого уже не вернуть; более: восстание могло иметь шансы на успех только при широком участии крестьянской массы; а победоносная масса, руководимая так называемыми красными, могла предъявить требования даже более радикальные, чем те, которые провела потом русская власть. Потому участие в восстании людей типа Венцловича ясно говорит, что национальное чувство было в 1863 г. главным двигателем и доминировало над узкосословными интересами.

Франц Иванович Новицкий, холостяк лет около шестидесяти, был небольшой помещик из Минской губернии (то ли Борисовского, то ли Игуменского уезда), по профессии доктор. По общим отзывам, он на родине пользовался исключительным уважением за свою доброту и честность (с этой стороны он был известен и Деспоту-Зеновичу, который и сделал все возможное, чтобы изменить его участь), а потому и был всеобщим опекуном малолетних и посредником нередко в весьма щекотливых семейных делах. Новицкий еще в 1830 г., будучи студентом Виленского университета, принимал некоторое участие в тогдашнем восстании (это не было обнаружено, а потому и сошло ему благополучно); по 1863 г. он был сослан в каторжные работы, но, как и Венцлович, отделался высидкою в Тобольске, — за время ареста он подвергся параличу, от которого впоследствии почти совсем оправился. В тобольской тюрьме не только белые, но и красные относились к нему со всевозможным вниманием и почтением; он, несомненно, и здесь являлся умиротворителем и посредником в разных конфликтах, которые так неожиданно возникают в тюрьмах из-за самых пустых поводов.

С Фр. Ив. я скоро сошелся; он выказывал ко мне более чем обыкновенное доброе отношение; не только в Сибири (он жил в Красноярске [1], и я часто

---

[1] В Красноярске Новицкий пользовался общим уважением среди местного населения и имел недурную практику; даже сама администрация ввиду недостатка врачей нередко поручала ему исполнение официальных обязанностей. В Красноярске он пробыл до начала 70-х гг.; затем ему было позволено переехать в Екатеринослав. Но величайшей для него радостью было последующее разрешение — переехать в Вильно, где он проживал в доме бискупа Цивинского; умер в глубокой старости в начале 90-х гг. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

останавливался у него, когда по делам приезжал из Енисейска) мы были, несмотря на разницу возрастов, в самых сердечных отношениях, но даже когда вернулись в Россию, не теряли совсем друг друга из виду. Потому я имел возможность хорошо узнать Фран. Ив. Добрый поляк и католик, но без тени фанатизма и национальной исключительности, в политическом отношении он был таких умеренных взглядов, пожалуй даже архаических, что я по Фр. Ив. живо представлял себе французского легитимиста, — не из тех рисующихся с трибуны, имена которых знает весь большой свет, а из глухой провинции мелкого помещика, сохранившего в своем сердце верность графу Шамбору. Но как только заходила речь о родном крае, во всяком слове Фран. Ив. сказывалась такая горячая любовь к нему, что становилось совершенно понятным, как волна движения захватила и этого в сущности мирнейшего человека.

Жена имела письмо к Деспоту-Зеновичу и Ямонтам (дочь их, как я уже говорил выше, была замужем за Родзевичем). Ямонты сейчас же переселили жену к себе, а Деспот-Зенович принял ее самым сочувственным образом, но сообщил ей неожиданную новость: в бумаге, при которой меня доставили, ничего не было сказано, какой я ссыльный— политический или гражданский. «Но,— прибавил Александр Иванович, — я сейчас же пошлю по телеграфу запрос Кауфману и, как только получу подтверждение, что ваш муж политический, переведу его на поселение».

Это обстоятельство повело за собой совсем непредвиденную задержку в Тобольске. Ответ Кауфмана не мог получиться скоро: тогда еще не было телеграфа до Тобольска; потому телеграмма пошла почтой до Тюмени, откуда уже начинался телеграф. А затем пароходы с арестантскими партиями отправлялись только в две недели раз, так что я прожил в Тобольске около трех недель. Перевозка арестантов пароходами была делом Деспота-Зеновича; он цифрами доказал петербургским властям, что это будет выгоднее для казны; для арестантов же чуть ли не полугодичное пешее странствование заменялось двух-трехнедельным [1]. Ответ Кауфмана был,

[1] Если не ошибаюсь, вообще благодаря Деспоту-Зеновичу была введена конная перевозка ссыльных, по крайней мере в Западной Сибири. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

конечно, тот, что я осужден по политическому делу, и развязал руки Деспоту-Зеновичу; он дал приказание экспедиции перечислить меня на основании указа 16 апреля с каторги на поселение; предварительно же через жену спросил меня, в какую губернию желаю я быть назначен — в Енисейскую или Иркутскую (с каторги переводились на поселение только в Восточную Сибирь). Предстояло решить трудную дилемму. Енисейская губерния сама по себе была предпочтительнее: там брат жены, хотя и решивший перебраться на житье в Петербург, имел довольно крупное золотопромышленное дело, а тесть от старого времени, когда жил в Сибири, сохранил со многими золотопромышленниками очень хорошие отношения; таким образом я мог рассчитывать получить занятие. Но имя Пав. Ник. Замятина[1] наводило страх; им пугал уже Суворов; к тому же Замятин был в крайне дурных отношениях с М. К. Сидоровым, женатым на родной сестре моей жены, и хотя он не знал моего тестя, но по некоторым делам и к нему обнаруживал враждебность. Однако я рискнул и ответил Деспоту-Зеновичу, что выбираю Енисейскую губернию. Алек. Ив. сказал еще жене, что нам нет надобности ехать до Томска на свой счет, что он по контракту имеет право на известное число мест на пароходе (пересылаемые везлись на баржах) и что он нас поместит на него, — и в этом смысле отдал распоряжение экспедиции ссыльных. Экспедиция, чтоб оформить дело, составляя мой статейный список, отметила меня «дряхлым», хотя в графе лет стояло только двадцать пять; кроме того, уже без всякой надобности обратила меня и жену в «католиков», каковыми мы и оставались до выезда из Сибири.

Наконец настал нетерпеливо ожидаемый день отправки, пришел из Тюмени пароход с баржей для арестантов; это было в самых первых числах июля. Нас всех препроводили на пристань; тут партию уже ждал чиновник, распоряжавшийся отправкой; по списку он отделил тех, кто были назначены на пароход, в том числе и меня с женою, и предложил капитану разместить нас. Но капитан заявил, что у него есть пассажиры из

---

[1] Благодаря своему брату, министру юстиции, из московских полицеймейстеров получил енисейское губернаторство и тотчас же его лишился, как только брат вышел в отставку. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Тюмени, что он не может принять на пароход указанных ему лиц. Чиновник стоял на том, что он только исполняет распоряжение губернатора, а капитан опять возражал, что у него нет свободных мест. После довольно долгого пререкания чиновник уехал, чтоб доложить губернатору.

Два слова об Алек. Ив. Деспоте-Зеновиче. Поляк и католик (происходил из старинной польской фамилии Западного края), по родственным отношениям он воспитывался в Москве в доме Тучковых; окончив блестяще университет, Деспот-Зенович по совету Грановского собирался держать экзамен на магистра, но совершенно неожиданно в 1848 г. был арестован в Вильно и скоропалительно, в чем был, отправлен в Пермь, а оттуда за письмо к шефу жандармов Орлову, в котором доказывал необходимость либеральных реформ, был выслан в Восточную Сибирь. Здесь его принял на службу Муравьев и нередко возлагал на него весьма важные поручения по урегулированию политических и торговых отношений с Китаем. Постепенно при Муравьеве Деспот-Зенович достиг должности градоначальника Кяхты, а в конце 1862 г., будучи только тридцати четырех лет, получил назначение тобольским губернатором, причем Александр II из трех кандидатов, представленных Валуевым, лично выбрал Деспота-Зеновича. Как в Кяхте, так равно и в Тобольске Алек. Ив. оставил по себе глубоко признательную память во всех слоях населения благодаря своей честности, просвещенной деятельности и неутомимой борьбе со всяким произволом и беззаконием. Спустя с лишком двадцать лет после того, как он оставил Тобольскую губернию, мне приходилось слышать от тамошних крестьян: «Такого губернатора, как Деспот-Зенович, еще никогда у нас не бывало» [1]. Само провидение послало его в Тобольск, через который за время губернаторства Ал. Ив. прошли десятки тысяч ссыльных поляков [2]. Доносы сыпались на него градом не от одной только жандармерии, но и разных местных эксплуататоров, хищничество которых он старался обуздать; но Алек.

---

[1] Его преемником был Чебыкин, из петербургских полицейских, во всех отношениях прямая противоположность Деспоту-Зеновичу. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] В Львове, в музее Оссолинских, я видел фотографическую карточку Ал. И. с польской надписью: «Протектор выгнанцов». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Ив. умело их парировал и оставался на своем месте, пока не был назначен в 1866 г. генерал-губернатором Хрущов. Он перебрался в Петербург, где вскоре и был назначен членом совета министерства внутренних дел. Служебное поприще его было кончено; свой досуг он делил между книгами (ничто новое и выдающееся не оставалось им непрочитанным) и постоянными хлопотами за кого-нибудь из пострадавших, без различия исповедания и национальности. И хотя он никогда не скрывал своего либерального образа мыслей, всегда подчеркивал, что он поляк и католик, — на самом же деле был рационалист и чужд всякой исключительности, но его ум и прямота внушали к нему такое уважение, что редкое его ходатайство оставалось безуспешным. Он умер в 1895 г., на шестьдесят седьмом году [1].

Мои личные наблюдения в Тобольске, конечно, не простирались далее стен острога; я уже говорил в своем месте, какое отвратительное обмундирование получали арестанты в Вильно, как бо̀льшая часть политических бросала его при первой возможности.

В Тобольске все его брали, так как все строилось из хорошего, прочного материала: например, так называемые «бродяжки» изготовлялись из верблюжьего сукна, и их потом, по прибытии на место, переделывали на пальто; если не было личной надобности в казенной одежде, то передавали ее более бедным. И кормили в остроге хорошо. При этом следует иметь в виду, что тобольская администрация располагала только теми средствами, которые отпускала казна, так как местный попечительный комитет почти не имел никаких поступлений со стороны, — Тобольск был бедный город.

Алекс. Ив. входил в положение каждого ссыльного, к нему обращавшегося, и делал все, чтоб облегчить его положение, если только была хоть малейшая формальная прицепка. Тем из политических, которые оставались

---

[1] Раз Ал. Ив. в Петербурге рассказывал мне: «Когда привезли в Тобольск Чернышевского, местный архиерей обратился ко мне за разрешением свидания с Чернышевским. «Я много слышал, — говорил архиерей, — что Чернышевский ужасный безбожник, и хочу попытаться обратить его на путь веры». Не без труда мне удалось отговорить его от этой странной фантазии: как председатель тюремного комитета, он даже не нуждался в моем разрешении». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

в Тобольской губернии, он старался приискать занятие и нисколько не стеснял их в деловых разъездах; многих даже определял на службу по найму в канцелярии. Надо еще прибавить к характеристике Деспота-Зеновича, что он отличался вспыльчивым характером и если был чем-нибудь расстроен или раздражен, то не стеснялся даже с начальниками независимых от него управлений; потому, когда он кого-нибудь вызывал к себе, то вызываемый предварительно справлялся: в каком расположении духа генерал.

Возвращаюсь к прерванному рассказу. Вот, видим, мчится Деспот-Зенович; едва он успел соскочить с долгуши (сибирский городской экипаж), как накинулся на капитана.

— Как вы смеете задерживать отправку партии? разве вы не знаете, что я по контракту имею право на десять мест на пароходе? Я задержу выдачу вам денег за рейс, я привлеку вас к законной ответственности!

— Я знаю, ваше превосходительство, что вы имеете право на десять мест на пароходе, у меня это число и есть в запасе, но здесь гораздо больше назначенных на пароход (без малого два десятка).

— Как больше? считайте.

Капитан обрадовался и принялся считать: «Раз, два, три...», — но Деспот-Зенович не дал ему продолжать: «Шесть, семь... десять!» — сразу закончил он, указывая на последнего.

— Слушаю, ваше превосходительство, будет доставлен другой пароход.

Не довольствуясь одержанной победой, Алекс. Ив., уже усевшись в экипаж, крикнул:

— Пантелеев.

Я подошел.

— На вас возлагаю ответственность, чтоб во всей точности было исполнено мое распоряжение, — и с этими словами укатил. Я был повергнут в полное недоумение и обратился к товарищам с вопросом, как понимать слова Деспота-Зеновича. «Так, вспылил; а то, пожалуй, приказал вам быть как бы старостой над теми, кто назначен на пароход».

Часа через два-три был подан другой пароход — «Сибиряк». Все мы хорошо знали, что по меньшей мере на двухнедельном пути до Томска будет довольно трудно

провиантироваться, и потому заблаговременно забрали в Тобольске изрядное количество всяких непортящихся запасов.

Вот что я потом писал, между прочим, тестю о нашем плавании: [1]

«Пароход «Сибиряк» в 120 сил считается одним из лучших на всей Обской системе; через 15 дней он доставил нас в Томск [2]. Все время тянул он за собой две баржи: одну с товарами, другую с арестантами, которых было человек до 500, в том числе более 100 политических, но случается, что количество арестантов доходило до 900 человек.

Помещены мы были на пароходе так удобно, как это только на нем возможно. Каюты наши были 1-го класса, но они не могут быть сравнены по удобству даже с второклассными волжских пароходов. Стекла в окнах перебиты, двери плотно не затворяются, грошовые обои растрескались, вдобавок замечательная нечистота. И не удивительно: в течение нашего двухнедельного странствования прислуга парохода ни разу даже не подумала вымести в каютах, мы уже сами заботились об этом. Имейте при этом в виду, что пароход оснащен нынешней весной. Начальство его отличалось самыми добродушными свойствами. Капитан, уже седьмой год состоящий в этом ранге, или спал, или пил чай, или, наконец, от нечего делать в шашки играл. Машинист, русский, все время посвящал стуколке и хорошо зарабатывал; ни до чего другого он уже не касался. Когда я раз указал ему на страшную нечистоту, в которой содержалась машина, он отвечал, что ведь здесь не Россия, а Сибирь и что его главная забота состоит лишь в том, чтоб скорее делать рейс, а там, зимой, успеем все перечистить. Была каюта с надписью «помощник капитана», но самого его в наличности не имелось. О двух лоцманах капитан говорил, что им хоть глаза завяжи, они и тут промаху не дадут. Справедливее сказать, что пароход мог бы ничуть не хуже идти, если б их и совсем не было.

---

[1] Это письмо — единственный письменный материал, которым я пользовался при составлении моих воспоминаний; все остальное рассказываю на память. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Ныне этот рейс совершается вдвое скорее. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

В буфете, как говорилось, все можно было получить, а на самом деле там ничего не было. Весь жизненный запас парохода заключался в муке и солонине. Правда, почти через каждые три-четыре дня при остановках парохода закупался скот, но сохранять мясо негде было — ледника не имелось. Мясо развешивалось на палубе, а так как погода стояла весьма жаркая, то и портилось оно необыкновенно скоро, — на третий день остатки, и в большом количестве, выбрасывались в воду. Когда раз сказали капитану, что ведь нет никакой хитрости завести на пароходе ледник (мы в каждой деревне находили лед) и что этим можно избежать убытков, не говоря уже об удобствах для пассажиров, то он пренаивно ответил: «А что же, ведь это и в самом деле правда — надо подумать». Но мы с голоду не умерли; выбраны были фуражиры, на обязанности которых было забирать в каждой деревне все что попадалось, — обязанность эта, как я на себе испытал, весьма не легкая в здешних местах. Когда удавалось добыть теленка (и притом весьма невзрачного), то был решительный праздник. Надо отдать полную справедливость г-же Эсьман, жене одного политического (да перейдет ее имя в отдаленнейшее потомство), — из ничего она умела накормить нас.

К нашему благополучию, общество было весьма приятное; к тому же погода стояла отличная, так что я все путешествие спал на палубе. От тучи мошек хорошей защитой служила мне сетка (вез ее из Петербурга, по совету тестя); глядя на меня, и другие понаделали себе такие же сетки, благо у кого-то нашелся кусок кисеи.

Время шло довольно незаметно, чему помогали карты (я с Новицким особенно увлекался пикетом), отчасти шашки. По вечерам иногда устраивались концерты; скрипка, флейта отлично исполняли свое дело. Был между нами один чудак, воображавший себя не только красавцем, но и замечательным певцом; подзадорить его запеть одну любимую им малороссийскую песенку с припевом «гоя, гоя, гоп!» было для всех источником самого неподдельного веселья и смеха.

Кроме нашей компании, на пароходе находилось несколько и других пассажиров; между прочим, ехала приисковая партия, снаряженная владельцем парохода Тюфиным. Меня, еще не знакомого с сибирскими порядками, немало удивляло, что во главе ее стоял бывший содержа-

тель постоялого двора в Тюмени, то есть человек без всякой технической подготовки. Как все приискатели, он был уверен, что найдет сокровища, и, должно быть в надежде на них, с утра до ночи играл в стуколку. Вообще эта игра имела необыкновенный ход в Сибири; даже девочки, лет пятнадцати, считали ее самым приятным времяпрепровождением. В Томске ставка доходила до пяти рублей.

От Тобольска до Томска, водой, считают 2500 верст, а впрочем, никто не мерил. Ничего нельзя себе представить более унылого, как берега в нижнем течении Иртыша и той части Оби, которую пришлось нам проплыть. Они низменны и поросли тальником; настоящих лесов не видно, — удалены от берегов на весьма далекое расстояние. Хотя мы ехали в июле, но разлив был еще весьма значителен, зачастую, кроме воды, ничего не видно было; пейзаж по временам разнообразился лишь островами тальника. Если иногда и показывался берег, то опять тот же тальник и ничего другого. Мест сколько-нибудь возвышенных очень мало, потому и деревни встречаются редко, да и те в большие разливы затопляются. Когда мы проезжали, жалобы на разлив слышались везде, потому лов рыбы еще не начинался, скота некуда было выгнать. Хлебопашества здесь нет, да и быть не может; по причине же разливов и скотоводство слабо развито. Скот был до такой степени заморен, что мясо не имело никакого вкуса; раз даже гражданские арестанты отказались принять только что убитую скотину. Весь край находился в руках немногих капиталистов. С одним из них пришлось познакомиться в Сургуте (до 300 жителей); он принял нас очень радушно, поставил хорошую закуску, чай с московскими сухарями и сайкой (они тогда были в большом ходу по всей Сибири, как теперь бисквитное печенье). Его называли полным властелином всего Сургутского края, сырье которого — меха, кожи, мамонтовую кость — он отвозил на Нижегородскую ярмарку. Я пожелал купить себе что-нибудь на память, и он предложил мне за два рубля небольшой мамонтовый клык; потом оказалось, что клык и гроша не стоил, так как весь прогнил. Во время нашего проезда у него гостил молодой сын, чиновник из Березова. «Что Сургут, — говорил он, — гиблое место; совсем другое дело Березов, — там прекрасное общество, жизнь идет очень ве-

село, каждый день бывает стуколка по два рубля ставка».

От Сургута до Нарыма, кажется, более 700 верст, на всем этом расстоянии настоящих деревень только одна; зато в этой стороне много кочует остяков. На них мы возлагали большие надежды в продовольственном отношении, — как только, бывало, показывалась лодочка с остяком, все на пароходе приходило в движение: начинали подавать ему знаки, чтоб спешил причалить к пароходу, — так всем хотелось полакомиться свежею рыбою; но лов почти не начинался, и в большинстве случаев остяк не обращал внимания на наши призывы. Видали издали их летние становища; раз удалось в одной русской деревне встретить остяцкую семью, но, завидя нас, она разбежалась куда кто мог. Потом оказалось, что они нас приняли за чиновников. По поводу остяков у нас были постоянные столкновения с капитаном, он не шутя сердился, говоря, что мы совсем избалуем их; что где мы даем за десяток средней величины стерлядей 50 копеек, совершенно достаточно фунта махорки (10 копеек) или небольшой краюхи хлеба.

Выше Нарыма (в нем считали тогда до 1000 жителей) характер страны мало-помалу меняется; берега делаются более возвышенными, нередко встречаются леса, хотя настоящих поблизости берегов все-таки не случилось видеть. Чаще и чаще попадаются большие и хорошо выстроенные деревни, хлеб уже сеется и изрядно родится, лес и рыбные промыслы служат хорошим подспорьем».

Конечно, партию сопровождал офицер конвойной команды, которая находилась на барже; был ли кто-нибудь из них на пароходе, — не помню; вероятно, был какой-нибудь унтер; сохранилось только в памяти, что при всех остановках мы свободно сходили на берег и иногда делали несколько верст, чтоб добраться до жилого поселения, как, напр., в Нарыме; конвойные при этом не столько сопровождали нас, сколько занимались разными коммерческими оборотами.

«Наконец кончилось утомительное по однообразию плавание по Оби; мы вошли в Томь, ширина которой в обыкновенное время не свыше 400 сажен. Томь имеет высокие берега, вода в ней зеленоватая и особенно красива в солнечный день. Мы все словно ожили, когда пароход вошел в эту реку, — отчасти и потому, что близился ко-

нец нашего водного странствования: до Томска оставалось не больше 60 верст. Но командир парохода не разделял нашу радость; вода стала так быстро спадать, что явилось опасение за возможность пароходу, особенно баржам, подойти к самому Томску. К счастью этого не случилось, и мы были уже верстах в семи от Томска. Если тут и наткнулись на какую-то мель, что нас задержало часов на пять, то это решительно ничего не значило, так как ни один пароход не проходил благополучно в этом месте».

Едва пароход стал подходить к пристани, как среди довольно многочисленной публики, толпившейся на берегу, я заметил Рудомина (он недолго оставался в Петербурге и еще зимним путем отправился в Западную Сибирь, где и был водворен в Томске); а как только установилось сообщение с берегом, Рудомина с двумя польскими дамами пришел на пароход; дамы предложили жене поселиться у них и увезли ее к себе.

Высадка с парохода не заняла много времени; не то было с баржей, где, как я уже говорил, находилось около пятисот человек. Затем началась приемка. Какой-то гарнизонный или этапный офицер, уже немолодой, спрашивал наши фамилии, причем ко всем полякам адресовался с вопросом: «С конд, пан?» [1] и очень обрадовался, получив от кого-то в ответ: «Из Люблина». — «Я там был, очень приятный город». Вообще офицер старался быть сколь возможно любезнее, особенно по отношению к дамам, что при его замухрышной фигуре производило довольно комический эффект. Кроме Рудомина мне еще представился Леон Самарин. Он в мое время был студентом С.-Петербургского университета; почему-то осенью 1861 г. его имя было окружено некоторой атмосферой недоверия; затем совершенно неожиданно узнаем в начале 1863 г., что он арестован в Вильно и осужден в солдаты, причем ему в вину, помнится, было поставлено намерение уйти в банду. Теперь он оказался солдатом в томском гарнизонном баталионе.

Наконец мы тронулись в путь; от места остановки парохода до острога было несколько верст, но погода стояла отличная, и пройтись было только одно удовольствие. Рудомина сопровождал меня. Первая новость, и

[1] Откуда? *(польск.)*

притом крайне важная, которую он сообщил, была о так называемом кругобайкальском восстании. На всех эта новость произвела удручающее впечатление, так как прямым последствием этого дела надо было ожидать ухудшения режима ссыльных в Сибири.

Далее Рудомина объяснил мне, что им уже приняты надлежащие меры, чтоб поместить меня в остроге возможно удобнее. И в самом деле, когда пришли к острогу, смотритель сейчас же отделил меня и еще несколько человек; всех остальных направил в настоящий арестантский корпус, а для нас оказалось особое помещение.

Свою сравнительно небольшую квартиру смотритель разбил на маленькие клетушки и превратил их в номера, которые и сдавал кем-нибудь рекомендованным ему пересылаемым политическим за умеренное вознаграждение, даже не таксированное, а кто что даст при отъезде [1]. Когда я устроился, Рудомина сейчас же предложил мне пойти с ним в город к Булгак, у которых остановилась жена.

— Как, разве это можно? (Даже в Тобольске не допускались такие вольности; только изредка, и то с особого разрешения Деспота-Зеновича, позволялось сходить на базар для покупок.)

— Можно, я уже переговорил с смотрителем.

— Да ведь меня не пропустит караульный (квартира смотрителя была у самой калитки); нет, я хочу лично услышать от смотрителя.

Рудомина разыскал смотрителя, и тот сказал, что я могу идти в город. После того я уже не спрашивал смотрителя и ходил когда вздумается — обыкновенно с утра, а возвращался к вечеру; караульный же всех из квартиры смотрителя пропускал беспрепятственно. По времени, наконец, у меня зашевелилась совесть; раз и говорю смотрителю:

— Пожалуйста, скажите откровенно, нисколько не стесняясь, не затрудняют ли вас мои отлучки в город, я не желаю злоупотреблять вашей любезностью.

— Ходите, — лаконически ответил смотритель. Он вообще был крайне скуп на разговор. Точно так же и все прочие, жившие у смотрителя, уходили в город безвозбранно.

Партию отправили дня через два; но нас составилась

[1] В пользу смотрителя оставались еще и кормовые, так как все жившие у него кормились за свой счет. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

компания ехать до Красноярска на свой счет; подали об этом заявление и были задержаны, пожалуй даже забыты, потому что только после неоднократных хождений в полицию и настоятельных просьб с нашей стороны дней через десять добились отправки.

Я каждый день видался с Рудомина; он был человек со средствами и недурно устроился в Томске. Красивый собой, хорошо воспитанный, Рудомина везде был принят, был даже в моде, приглашали на вечер «с Рудоминой». Потому, прожив в Томске несколько месяцев, он оказался в курсе не только дел местной ссыльной колонии, но и вообще городских отношений. В Томске было много ссыльных поляков, и между ними немалое число нелегальных, то есть бежавших с каторги или с мест причисления.

Архаическая местная администрация, несмотря на некоторую острастку после дела «сибирских сепаратистов», вероятно многое знала, но не принимала никаких особенных мер. А что касается до местного жандармского начальника Тица, то вот как он себя держал. Он нанимал дом, при котором был большой сад, — нанимал ради сада. Но в другом доме того же хозяина поселились Булгак; у них с утра до ночи было становище и легальных и нелегальных поляков. Тогда Тиц перестал выходить в сад, чтобы как-нибудь не столкнуться и не вызвать истории.

Посещал Булгаков ежедневно и я, так как именно у них пользовалась радушным гостеприимством моя жена. Булгаки (из Могилевской губернии) были люди уже немолодые, старик во второй раз попал в Сибирь и даже в Томск; в первый раз он был сослан в 40-х гг. Как Булгаки, так и живший с ними доктор (Добровольский?), равно и жена последнего, были люди не только образованные, но и передовых идей; так, дамы были горячими поклонницами Жорж Занд и исповедницами идей женского равноправия, тогда совсем непопулярных между польскими женщинами.

Доктор имел хорошую практику и, кроме того, занимался в острожной больнице. Раз при мне он вернулся домой, видимо чем-то расстроенный; успокоившись несколько, рассказал следующее: ему в этот день пришлось оказывать медицинскую помощь одному арестанту, только что наказанному за побег с каторги.

Несчастный был, помнится, литвин; он чуть ли не десять раз бегал, попадался в Западной Сибири и, наказанный, вновь высылался на каторгу.

— Не могу, — говорил он, — усидеть; как только подходит весна, так и тянет на родину.

— Что же, ты и еще раз побежишь? — спросил доктор.

— Да вот поправиться, дойти до каторги да дожить бы до весны, а там, кто знает — усижу ли.

Бывал еще я у некоего Иванова, средней руки обывателя, он состоял чьим-то доверенным по делам. В свое время Рудомина, характеризуя местное общество, говорил мне, что в Томске единственный разговор — о картах.

Раз Иванов устроил для меня обед, на который, кроме обязательного Рудомина, пригласил двух-трех приятелей, несомненно из местных либералов; один из них даже высидел в тюрьме несколько месяцев за непочтительное отношение к губернским властям. И прежде всего разговор начался о том, кто и где вчера играл, а затем перешел на горячий протест против произвола губернатора, запретившего в клубе какую-то игру; все соглашались, что так дело оставить нельзя, а надо обжаловать министру внутренних дел. За обедом зашла речь о Б — и, недавнем жильце Иванова, только что перед моим приездом вернувшемся в Россию. Иванов восторженно говорил о Б — и.

— Ученейший человек, все писал, все писал и мне все написанное читал.

— О чем же он писал?

— Да все о государстве.

— Это правда, — заговорила жена Иванова, — Б — и очень хорошие люди, добрые, простые, можно сказать редкие люди, только уж очень неосторожны: у них маленькая дочка, лет пяти-шести, так ведь она при всех громко говорит: «Ни ц<аря>, ни б<ога> не надо».

— Ты ничего не понимаешь, — с жаром прервал ее довольно тучный супруг, весь притом раскрасневшийся от плотного обеда. — Ты думаешь, что они такие же люди, как и мы? нет, они пропагандисты; что бы они ни делали, прежде всего пропагандируют; мы вот просто едим, а они, когда и едят, то и тут пропагандируют.

Супруге оставалось только замолчать от такой энергической отповеди.

После обеда сын Иванова, только что покинувший пятый класс гимназии, увел меня в сад и там после разговора о деле Г. Н. Потанина и К° держал такую речь:

— Конечно, после этой истории здесь некоторая заминка в политике; но мы все-таки дела не бросаем. У нас в Томске две партии — умеренная и радикальная; первая — это Леон Самарин, а радикальная — я.

— Что же вы делаете?

— Да пока присматриваемся.

Когда мы возвращались с Рудоминой, он заметил мне: «Вот вы сегодня видели, кажется, всех томских либералов».

За время моего пребывания в Томске я исходил город вдоль и поперек. Несмотря на то, что и тогда Томск был очень оживленным и даже главным торговым городом Сибири, с внешней стороны он выглядел весьма неказисто, а на многих улицах навоз был в таком же изобилии, как на скотном дворе. Для туриста самой главной достопримечательностью являлись развалины собора, начатого постройкой в 40-х гг., — обрушился купол. Такие же развалины вскоре пришлось увидеть в Красноярске, тоже по причине крушения купола. Планы были высланы из Петербурга, но, как объясняли мне, местные строители употребляли кирпич более тяжелый.

Из частных построек выделялись: дом разорившегося золотопромышленника Горохова, — в нем находилось общественное собрание, и И. Д. Асташева, золотопромышленника, миллионера, как о нем говорили. Асташев в начале 40-х гг. был незначительным чиновником в Томске. О начале его карьеры мне рассказывали: два золотопромышленника Енисейской губернии, владея пополам одним богатым прииском, возгорели желанием вытеснить друг друга из дела; начался процесс, который и тянулся без всякого результата, пока одна сторона не взяла себе в поверенные Асташева на условии: в случае выигрыша дела он получит двадцать пять паев. С этого момента процесс стал принимать явно неблагоприятное направление для другой стороны. Тогда и она пригласила Асташева, тоже предложив ему двадцать пять паев. Кончилось тем, что Асташев помирил стороны, получивши с каждой по двадцать пять паев, а по времени стал и единственным владельцем. Постепенно в руки Асташева перешли очень богатые прииски совсем

запутавшегося Горохова, а также и другие дела, так что он стал одним из самых крупных золотопромышленников. У Асташева была своя система, благодаря которой его дело резко выделялось от других: поразительно нищенские оклады жалованья служащим и крайне низкая рабочая плата; зато царило повальное воровство; в этом отношении за асташевскими служащими установилась столь прочная репутация, что они лишь с трудом находили службу в других компаниях, если почему-нибудь оставляли асташевское дело. Все это не мешало И. Д. стать камергером и в мое время пользоваться всяким почетом и уважением.

Только по дороге от Томска в Красноярск началось мое некоторое знакомство с Сибирью. Наша компания ехала в трех экипажах; хотя мы в Томске заплатили прогоны за почтовых, но везли нас на обывательских. Отсюда вечная ругань содержателей обывательских подвод с нашими конвоирами (казаками, как они назывались) и всякие задержки; кроме того, мы и сами ежедневно останавливались на ночлег, для чего приискивали какую-нибудь более удобную крестьянскую избу. Наши конвоиры ничего из себя грозного не являли, а были обязательнейшей прислугой.

Дорога от Томска до Красноярска несколько гористая, встречаются частые и хорошие леса; деревни меня, видевшего только Вологодский край, поражали своей величиной — в двести, триста и более дворов. Много очень хорошо выстроенных домов, но часто встречались полуразвалившиеся избы, с заколоченными окнами. На вопрос о последних всегда получался один ответ: «Ходят на прииски, хозяйство совсем забросили». Бросалась в глаза и зажиточность сибиряка по сравнению с нашим северным крестьянством; большие стада сытого и крупного рогатого скота приводили в немалое удивление моих спутников поляков (они все были из Западного края); крепкие лошади лихо мчали нас. И рядом с этим везде резали глаз в большом числе не то нищие, не то бесприютные старики поселенцы. Но что особенно поражало, и притом в горячую летнюю пору, это обилие пьяных; даже в будничные дни они целыми толпами двигались по деревням, а непечатная брань просто заполняла воздух. Без нее, казалось, сибиряк не мог выговорить двух слов; старик Новицкий просто диву давался да головой

покачивал; помню, раз говорил он: «Въезжая в сибирскую деревню, надо плотно затыкать уши».

Не мог не заметить я основной особенности хозяйственного распорядка сибирской деревни: ее прежде всего окружает выгон, диаметр которого, смотря по размеру деревни, превышал иногда десяток верст. Только за выгоном начинались поля, деленные земли, и еще дальше так называемые заимки. Такой хозяйственный склад, конечно, исключал возможность удобрения и вел к большой потере времени; но за все вознаграждал простор еще мало тронутых земель и плодородие почвы. Выгон в Сибири называется «поскотиной»; как при въезде в него, так и выезде всегда были затворенные отвода; тут же в шалаше находился, за ничтожную плату по найму от деревни, какой-нибудь старик, который днем и ночью отворял отвод для проезжающих. К слову о поскотине.

Одно время судьба свела меня на приисках с товарищем по университету О. П. Гротовским, кончившим курс на юридическом факультете. «Что вы на первых порах делали в Сибири, когда жили в деревне?» — «Стерег поскотину».

О. П. Гротовский хотя происходил из небогатой, но все же с некоторым достатком семьи; его отец был нотариусом в Раве (Царство Польское). Поляки в Сибири первым делом ставили себе не получать денег из дому, а добывать средства к существованию на месте, не отказываясь ни от какого заработка (от казны ничего не шло). Вспоминается типичная фигура Мышковского (с множеством разных титулов) из Царства Польского. Раз на приисках на официальный вопрос жандармского офицера Купенко — что он делал на родине, Мышковский отвечал: «Странный вопрос, — был сын помещика» (и очень богатого).

Так вот этот сын помещика, водворенный в деревню (Усть-Тунгузку или Казачинское — не помню), выучился свечи лить, сапоги тачать, колеса делать и т. п. и группировал около себя всех прибывавших туда ссыльных. Я довольно близко знал в Енисейском крае, может быть, с сотню поляков и не помню ни одного, кто бы хоть что-нибудь получал из дому; напротив, всякий при первой возможности старался откладывать на дорогу на случай разрешения выезда.

Возвращаюсь к дороге. Другая особенность сибирского тракта — это беглые, загорелые, как вороново крыло, «горбачи», так их называли. Они попадались не только в одиночку, но нередко и небольшими группами как по дороге, так и проходящими днем через деревни. Я как-то при одной остановке разговорился о них с крестьянином.

— А много же у вас идет беглых.

— Да много; прежде, бывало, деревню обходили стороной или по ночам, а ныне даже и днем идут без всякой опаски, потому что от начальства есть приказ, чтоб их на мостах и переправах не задерживать.

— Почему такой приказ?

— А разно говорят: одни сказывают, что сюда поляков шлют, а на их место будут селить беглых; другие говорят, что в России хотят ссыльными чугунку строить.

На самом деле особенная снисходительность начальства за это время объясняется сильным неурожаем, который уже не первый год господствовал в Иркутской губернии и Забайкалье; потому там, на каторге, смотрели совсем сквозь пальцы на побеги, так как благодаря им администрация избавлялась от забот прокормления лишних ртов.

— А что, не пошаливают они у вас?

— Нет, подходят и просят хлеба, ну им и дают.

Но всякому путешествию бывает конец; в один довольно серенький день, проехав деревню Заледеево, в семь верст длиною, но, как и все подгородные деревни в Сибири, довольно-таки бедную, мы вскоре завидели Красноярск. Миновав его окраину, Теребиловку (потому что и днем там не совсем безопасно было показываться), сначала направились в полицейское управление; там никакого начальства не оказалось; повезли нас на квартиру полицеймейстера Борщова, — его дома не было. Наши конвоиры не знали, что и делать. Между тем наши экипажи заметил проходивший поляк из ссыльных, д-р Демартре, и подошел к нам. Узнав мою фамилию, он сказал, что обо мне есть уже распоряжение губернатора оставить меня в Красноярске. По его совету, поехали в какой-то дом, где должен был находиться в гостях полицеймейстер. Там его и нашли. Борщов отдал приказ отвезти нас в пересыльную. Между тем жена отправилась к доверенному Сидорова С. И. Розингу, так как брат ее уже уехал в Петербург; это узнали от Демартре. Вскоре Ро-

зинг приехал в пересыльную, предъявил какую-то записку, и я был выпущен. Действительно, по просьбе золотопромышленника Ал. Кир. Шепетковского, добрейшего человека, и за его поручительством мне было разрешено проживать в Красноярске, с причислением в Минусинский уезд, сначала в Шушинскую волость, а потом в Дубенскую.

С этого времени началась моя восьмилетняя жизнь в Енисейской губернии, рассказ о которой отлагаю до другого времени. Здесь же скажу только, что «страшный» Замятин, вообще крайне недалекий и достаточно-таки взбалмошный [1], по отношению ко мне во многих случаях, и притом довольно щекотливых, держал себя с большим тактом. Не прошло, может быть, и трех недель, как я устроился в Красноярске, а Замятин получил из Иркутска телеграфный запрос: почему Пантелеев оставлен в Енисейской губернии? Он ответил, что на основании распоряжения тобольской экспедиции о ссыльных. После того вскоре пришла из Иркутска бумага о высылке меня туда. Замятин по моей просьбе отложил ее исполнение до ожидаемого проезда генерал-губернатора Корсакова. Тот

---

[1] Вот характерный случай его взбалмошности. В 1863 г. проезжала через Красноярск научная экспедиция, снаряженная восточносибирским отделом Географического общества для исследования Туруханского края; она состояла из А. П. Щапова и горного инженера Ин. Ал. Лопатина. С разрешения Замятина экспедиция взяла с собой сосланного поляка Феликса Пав. Мерло, который заведовал хозяйственной частью и производил метеорологические наблюдения. Экспедиция тронулась из Енисейска в половине мая 1866 г., на барже, буксируемой пароходом. Щапов остался в окрестностях Туруханска для изучения инородцев, его сопровождала жена. В Дудинке (около пятисот верст ниже Туруханска) присоединился к экспедиции Ф. Б. Шмидт, командированный Академией наук для осмотра и принятия мер к сохранению мамонта, якобы найденного нераками в тундре. В конце июня экспедиция достигла Бреховских островов, что в лимане Енисея; эти острова — обычная летняя стоянка судов енисейских рыбопромышленников. Здесь экспедиция разбилась: г. Мерло повернул немного на юг и в начале августа устроил в селении Толстом Носу метеорологическую станцию. По времени все члены экспедиции, далеко не закончив своих обследований (мамонта не оказалось), в ту же навигацию направились обратно, а г. Мерло согласился остаться на два года; средствами он был снабжен на один год. Но Шмидт и И. А. Лопатин надеялись добыть необходимую прибавку или от Академии наук, или от восточносибирского отдела Географического общества. Ни то, ни другое не удалось; зато казаки Сотниковы (настоящие хозяева края) согласились снабдить г. Мерло средствами на второй год. И действительно, Сотни-

сказал, что если меня не требуют в Иркутск по какому-нибудь делу, то можно оставить в Красноярске впредь до дальнейшего распоряжения из Петербурга. Оказалось, что в Петербурге был возбужден вопрос о неправильном применении ко мне указа 16 апреля. Месяца через два тесть телеграфировал, что все кончилось благополучно, а потом писал, что в конце концов III Отделение решило: хотя и сделана якобы в отношении меня ошибка, тем не менее оставить на поселении.

Но Валуев, может быть не без давления Шувалова, притянул Деспота-Зеновича к ответу в сенате, как о том мне потом говорил сам Деспот-Зенович. Однако сенат нашел, что он поступил совершенно правильно, применив ко мне указ 16 апреля.

Может быть, через месяц, как я поселился в Красноярске, раз вечером прислуга говорит, что меня кто-то спрашивает. Я выхожу в полутемную залу и там наталкиваюсь на В. Коссовского. Вид его привел меня в пол-

---

ковы в июле 1867 г. все приготовили для продолжительной поездки г. Мерло в тундру, но вышло иначе. Вдруг явился нарочный от туруханского заседателя с предписанием от губернатора отправить г. Мерло с первым пароходом в Енисейск, а оттуда в Еловскую волость, место причисления г. Мерло. В сентябре г. Мерло прибыл в Енисейск и там нашел губернатора; естественно, г. Мерло отправился к нему для разъяснения такого неожиданного оборота дела. И вот что ему сказал губернатор: «Ну, извините, я не понял; восточносибирский отдел обратился ко мне как своему сочлену и губернатору с просьбой оказать содействие к вашему обратному выезду; я и дал распоряжение, не зная о ваших намерениях» (со слов г. Мерло).

Так объяснял Замятин, который, однако, в свое время от вернувшихся членов экспедиции знал, ради чего г. Мерло был оставлен ими в Туруханском крае, и ничего против этого не возразил. Но я в Красноярске слышал о перепуге губернатора, что г. Мерло находится вне полицейского надзора, бумага Сибирского отдела именно навела его на это. Да и распоряжение отправить г. Мерло в Еловскую волость в известной степени подтверждает мое указание.

Г-н Мерло передал Замятину дневник метеорологических наблюдений и отчетность для отсылки куда следует; а Замятин любезно согласился дозволить ему проживание в Енисейске.

Надо еще прибавить, что в то время в устья Енисея не приходили суда из Европы.

Наблюдения Мерло, хотя и незаконченные, были в свое время напечатаны в «Известиях» нашей Академии наук. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

ное замешательство. «Что вам угодно?» — «Я бы хотел объясниться». Делать нечего, предложил ему присесть. Путаясь, он стал объяснять, что мой арест произошел не по его вине, что комиссия имела относительно меня какие-то сторонние сведения, что он только подтвердил их. «Прекрасно, — помнится, отвечал я, несколько придя в себя, — вы поступили, как находили за лучшее, и, значит, нам не о чем более продолжать разговор». У меня не хватило духу напомнить ему его поведение в суде. Вероятно, этот визит был вызван теми крайними неудобствами, которые В. Коссовскому приходилось выносить в пути от своих земляков, так что его постоянно приходилось помещать в отдельную камеру.

II. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

М. Е. Салтыкова я лишь мельком видал в 1863—1864 гг., но от этого времени у меня не сохранилось никаких личных воспоминаний. Вернувшись из Сибири в половине 70-х гг., я застал М. Е. уже первенствующим редактором «Отечественных записок» и по временам встречал его у В. И. Лихачева, по воскресеньям вечером, где он обыкновенно играл в карты, причем А. М. Унковскому, его всегдашнему партнеру, доставалось от М. Е. за все: и не так сдал — вся игра у противников, и неверно сходил, и зачем садится за карты, если в них ступить не умеет. Обыкновенно с последним ходом М. Е. моментально успокаивался. Нельзя было не удивляться поразительному благодушию и терпению Унковского, так как нередко М. Е. приходил просто в ярость. Раз, однако же, и А. М. не выдержал, встал из-за стола и более к игре в этот вечер не возвращался.

Когда в числе партнеров случались люди, сравнительно мало близкие с М. Е., притом с известным положением, он был совершенно сдержан, и игра обходилась без малейших инцидентов.

Хотя в 1879 г. М. Е. и напечатал в «Отечественных записках» два моих рассказа из приисковой жизни, однако настоящее знакомство началось лишь с 1884 г., когда я окончательно поселился в Петербурге, и продолжалось до

его смерти. За это время мы имеем ценные воспоминания Н. А. Белоголового. Но так как относительно выдающихся общественных деятелей даже мелочи их жизни не лишены значения и интереса, то я позволяю себе поделиться с публикой кой-чем из того, что уцелело в моей памяти о М. Е. Извиняюсь за отрывочность изложения, так как почти все нижеследующие строки взяты прямо из моей памятной книжки.

По словам М. Е., кроме стихов и двух повестей, о которых говорит Н. А. Белоголовый, по выходе из лицея он еще писал рецензии в «Отечественных записках» и «Современнике» [1].

«Рецензиями я зарабатывал до пятидесяти рублей в месяц, в то время это были деньги, да мать высылала мне тысячу рублей в год; жить можно было хорошо. Была у меня тогда страстишка пофрантить, но, впрочем, скоро прошла».

«В Вятке, — говорил М. Е., — я ничего не писал, вел самую пустую жизнь, даже сильно пьянствовал. Получая, кроме жалованья по должности советника губернского правления, еще пятьсот рублей за составление городских инвентарей, я имел для этого дела двух помощников, но ни одного инвентаря не составил. Но Вятка имела на меня и благодетельное влияние: она меня сблизила с действительной жизнью и дала много материалов для «Губернских очерков», а ранее я писал вздор».

«Губернские очерки» М. Е. написал в 1856 г. в Петербурге, проживая в Волковских номерах (Б. Конюшенная), в которых с давних пор привыкли останавливаться сибиряки и приезжие из северо-восточных губерний, смежных с Сибирью. Окончив «Губернские очерки», М. Е. прежде всего дал их прочитать А. В. Дружинину. Отзыв Дружинина был самый благоприятный: «Вот вы стали на настоящую дорогу: это совсем не похоже на то, что писали прежде». Через Дружинина «Губернские очерки» были переданы Тургеневу. Последний высказал мнение,

---

[1] За время своего редакторства М. Е. нередко писал рецензии в «Отечественных записках». По словам Г. З. Елисеева, когда по обстоятельствам нужно было написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию, М. Е. брался за это, и все подобные статьи, — а их наберется в «Отечественных записках» немало,— были в своем роде шедевры. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

прямо противоположное: «Это совсем не литература, а черт знает что такое!»

Вследствие такого отношения Тургенева к «Губернским очеркам» Некрасов отказался принять их в «Современник», хотя отчасти тут играли роль и цензурные соображения. В Петербурге провести их почти не представлялось возможности. Выручил судьбу «Губернских очерков» В. П. Безобразов, товарищ по лицею М. Е., с которым он был в то время в очень близких отношениях, даже жили вместе. В. П. Безобразов высоко ценил «Губернские очерки» и, участвуя в «Русском вестнике», переслал их М. Н. Каткову. Последний сразу понял выдающееся значение «Губернских очерков» и с радостию согласился напечатать их в «Русском вестнике». Но без цензора Крузе первое крупное произведение М. Е. не скоро увидало бы свет, хотя с треть все-таки было выкинуто. М. Е. не раз говорил мне, что корректуры без пропусков должны были сохраниться, но где — припомнить не мог. Может быть, они и по сей день живы?

К слову о корректурах. М. Е. говорил (в 1886 г.), что сохранились первоначальные корректуры «Истории одного города», которая в печати вышла с большими сокращениями. Где эти корректуры?

Необыкновенный успех «Губернских очерков» подал мысль выпустить их отдельным изданием, как только окончено было печатание в «Русском вестнике». Это дело взял на себя М. Н. Катков. Отдельное издание разошлось очень быстро и дало М. Е. около двух тысяч рублей.

«Этим я обязан Каткову; и вообще за это время могу только добром помянуть Каткова».

Их потом ближайшим образом развела разница во взглядах на способ освобождения крестьян; известно, что надел крестьян землею не пользовался сочувствием Каткова.

После выхода «Губернских очерков» М. Е. приехал в Петербург; здесь к нему одним из первых приехал с визитом Некрасов и выражал крайнее сожаление, что, положившись на отзыв Тургенева, не дал места «Губернским очеркам» в «Современнике», и предложил ему сотрудничество.

Благодаря Каткову М. Е. написал «Смерть Пазухина». Раз как-то М. Е. был в очень хорошем расположении

духа (что в последние годы его жизни случалось не часто), говорил о драме и при этом высказал следующее:

— Я знаю две драмы, удивительные как по глубине внутреннего содержания, так и по художественному достоинству. Это — «Ревизор» и «Свои люди — сочтемся»; конечно, последняя без приделанного для цензуры конца. Обе как бетховенские симфонии: ни одного слова нельзя ни убавить, ни прибавить.

Совсем позабыв, что еще гимназистом читал «Смерть Пазухина», я спросил М. Е.:

— А вы не пробовали писать для сцены?

Тут доброе настроение М. Е. мигом изчезло.

— Написал одну гадость, — раздраженно отвечал он, — совестно вспомнить. Это тогда все Катков натвердил мне: «У вас настоящий талант для сцены»; вот я послушался его и написал черт знает что такое — «Смерть Пазухина». Я ее теперь больше и не перепечатываю.

Как известно, спустя некоторое время после смерти М. Е. «Смерть Пазухина» была поставлена на сцене, имела успех, и рецензенты выражали удивление, что такая прекрасная пьеса более тридцати лет должна была дожидаться постановки на сцену. Здесь кстати сказать, что к своим произведениям М. Е. относился более чем строго. Вот что он писал мне 30 марта 1887 г. Перечислив сочинения, которые могут подлежать отчуждению и войти в состав полного собрания (и что потом действительно вошло в посмертное издание), он заканчивает так: «Хотя, кроме этих сочинений, и имеется еще достаточно разбросанных в разных изданиях, но они отчуждению не подлежат, и я *положительно воспрещаю*[1] их когда-либо перепечатывать», — и затем просил меня после его смерти это письмо предъявить опеке над его семьей.

Почти те же самые слова находятся и в сохранившемся у меня проекте условия; помнится, с фирмой Салаевых.

После выхода в отставку, в 1861 г., М. Е. не мог уже вернуться на службу по министерству внутренних дел, потому, нуждаясь в службе, он принял место председателя казенной палаты в Пензе. Тут он не поладил с губернатором Александровым, человеком очень богатым, пользовавшимся особенной поддержкой министра Валуева; поэтому М. Е. был переведен в Тулу, но и здесь не долго

[1] Эти слова в подлиннике подчеркнуты. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

удержался вследствие крайне обострившихся отношений с губернатором Шидловским. Впоследствии, при министре Тимашеве, Шидловский был назначен начальником Главного управления по делам печати; как раз в это время М. Е. был одним из редакторов «Отечественных записок» и, конечно, мог ожидать всяких неприятностей. Однако при личном свидании Шидловский прямо заявил М. Е., что прежние отношения не могут иметь никакого значения.

«И действительно, — прибавил М. Е., — Шидловский ничем не выразил какой-нибудь особенной неприязни ко мне или «Отечественным запискам».

Шидловского скоро сменил Лонгинов. При нем цензурный комитет задержал «Дневник провинциала в Петербурге»: председателю Петрову показалось, что М. Е. вывел личность вел. кн. Константина Николаевича, о чем у него и помышления не было.

«А Лонгинова в то время в Петербурге не было; решил дождаться его возвращения. Вы знаете, что такое был Лонгинов; но все же у него был вкус, своего рода уважение к литературе. Только что он приехал, отправляюсь я к нему. «Знаю, зачем пришли, — сказал Лонгинов, — не беспокойтесь. Мы с Тимашевым едва животики не надорвали, читая ваш дневник. Комитету бог знает что пригрезилось, ему уже послано распоряжение выпустить книгу».

Лучшим произведением Достоевского М. Е. считал «Идиота».

«Это — гениально задуманная вещь; в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и бог знает как скомканного».

«На литературном вечере в конце 1870 г. или начале 1871 г., устроенном здешними французами в пользу своих раненых, я был, — рассказывал М. Е., — чтобы заявить свое сочувствие французам [1]. Там встретился с Тургеневым, с которым был не в особенно дружественных отно-

---

[1] Г. З. Елисеев рассказывал: «В начале лета 1873 г. М. Е. уезжал куда-то на короткое время из Петербурга. Вернувшись, в самый день приезда, еще не прочитав газет, пришел он в редакцию. Там застал разговор о Франции, о Тьере. Я сказал, что сегодняшняя телеграмма сообщает об избрании на его место Мак-Магона. При этих словах М. Е. вскочил со стула, точно ужаленный. «Как, Мак-Магон, эта протухлая крыса... — и далее непечатно, — будет распоряжаться судьбами Франции? Это ужасно!» (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

шениях и даже иногда проходился на его счет. Завидя меня, Тургенев сам подошел ко мне и при этом дал мне оттиск своей статьи о моей «Истории одного города» (кажется, статья была напечатана в английском «Атенеуме»). Тургенев сравнивал меня с Свифтом. Я недавно перечитал Свифта; хотя при издании и была статья В. Скотта, все же трудно понимать без комментариев, потому он на меня и не произвел особенно сильного впечатления.

У нас, — продолжал М. Е., — установилось такое понятие о романе, что он без любовной завязки быть не может; собственно, это идет со времени Бальзака; ранее любовная завязка не составляла необходимого условия романа, например «Дон-Кихот». Я считаю мои «Современная идиллия», «Головлевы», «Дневник провинциала» и другие настоящими романами; в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни».

Возобновленные в 1871 г. отношения с Тургеневым еще более скрепились в 1875 г., когда М. Е. был за границей. Между ними происходила даже оживленная переписка. Между прочим, к Тургеневу была адресована часть писем из юмористической серии, носившей название: «Переписка Н<иколая> П<авлови>ча с Поль-де-Коком». Будет ли когда-нибудь она разыскана и собрана? У М. Е. не осталось черновиков; по его словам, он писал нескольким лицам — Тургеневу, Еракову, Унковскому и, может быть, еще кому-нибудь, — припомнить он не мог. Судя по тем немногим письмам, содержание которых он мне рассказал, это была очень остроумная вещь. Письма к Еракову, по словам М. Е., погибли в пожаре.

У Тургенева в Буживале раз М. Е. встретился с гр. Соллогубом, заранее просившим у Тургенева разрешения прочитать ему свою новую пьесу. Началось чтение; в пьесе было выставлено в самом ужасном виде молодое поколение; представители его являлись людьми, лишенными всяких нравственных принципов, ворами, мошенниками. М. Е. некоторое время слушал, хотя видно было, что пьеса Соллогуба глубоко возмущала его; наконец он не выдержал и разразился страшной бранью по адресу Соллогуба. Возбуждение М. Е. дошло до высшей степени, и с ним сделался обморок. Все это так подействовало на Соллогуба, что он тут же бросил свою пьесу в камин.

Закрытие в 1884 г. «Отечественных записок», сопровождавшееся правительственным сообщением, как громом поразило М. Е.; в первое время он даже опасался дальнейших личных неприятностей. Незадолго перед тем я обратил внимание М. Е. на корреспонденцию в «Daily News», в которой М. Е. выставлялся как глава республиканской партии в России, очень хитро ведущий свои дела; при этом подробно рассказывалась фантастическая сцена обыска у него (легенда об этом обыске разнеслась по всей России, хотя никакого обыска у М. Е. в действительности никогда не было). М. Е. послал в «Daily News» опровержение, справедливо указывая в нем, что никогда не стоял во главе какой-нибудь политической партии, и всего менее республиканской, о которой в России никто и никогда не слыхал. Но ликвидация дела скоро отвлекла его внимание, и сначала казалось, что к самому факту прекращения журнала он был несколько равнодушен. Но когда все кончилось, он стал чувствовать своего рода одиночество, сиротство.

«Вы не можете себе представить, — говорил он, — какое для меня лишение, что я не могу ежемесячно говорить с публикой, и притом — о чем хочу. Друзей у меня никогда не было (говоря так, М. Е. по меньшей мере забывал в эту минуту о своих отношениях к А. М. Унковскому, которого в душе считал самым близким к себе человеком [1]); я жил только общением с публикой. А теперь какое одиночество! В «Вестнике Европы» меня печатают («Пестрые письма» — в это время), но ведь я там чужой, все мои отношения ограничиваются тем, что по временам ко мне заезжает Стасюлевич».

По закрытии «Отечественных записок» М. Е. писал в «Вестнике Европы» и «Русских ведомостях». Покойному П. А. Гайдебурову очень хотелось что-нибудь получить от М. Е. для книжек «Недели». Долго его покушения были тщетны; наконец, в одну добрую минуту, М. Е. дал

---

[1] Никто так близко не знал М. Е., как Унковский, к которому М. Е. нередко обращался в самые трудные минуты, когда его душевное состояние почему-нибудь доходило до крайнего напряжения; потому не лишено значения замечание Унковского, которое мне раз пришлось слышать от него. «Я знаю, — говорил А. М., — с лишком двадцать лет М. Е. и до сих пор не могу уяснить себе его характер, — так много в нем противоречивого». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

ему «Оброшенного» — небольшую вещицу, но такую характерную и драгоценную по автобиографическому значению. М. Е., однако, скоро раскаялся в своей уступчивости.

«Не место «Оброшенному» в книжках «Недели»: кто его там будет читать; черт знает какую глупость сделал».

Дня через три П. А. Гайдебуров приезжает к М. Е. в необычное время, вечером. Сцена происходила при мне.

— Ваш рассказ уже сверстан, только я думаю... — Тут П. А. несколько замялся.

— Что ж вы думаете, цензура не пропустит? — с живостью прервал М. Е.

— Нет, в цензурном отношении он не представляет никаких затруднений. По-моему, следовало бы кое-где сделать некоторые редакционные поправки.

— Какого же рода?

— Встречаются, как мне кажется, не совсем удачные выражения, например... — и тут Гайдебуров указал на некоторые слова, которые, по его мнению, лучше было бы заменить другими, и даже указал какими.

Я ожидал взрыва со стороны М. Е.; к удивлению, тот сдержался и только сухо отвечал:

— Не вижу никакой надобности изменять.

— Я вам завтра пошлю корректуру и отмечу места, на которые сейчас указывал, — закончил П. А. и с этими словами откланялся.

Я то же хотел сделать, но М. Е. меня удержал:

— Нет, вы только подумайте: Гайдебуров вздумал меня исправлять! Я возьму назад «Оброшенного».

М. Е. так и сделал; никакие просьбы Гайдебурова не переменили его решения. Впоследствии он дал ему совсем незначительную вещь — «Полковницкую дочь», да еще сказку «Неумытный трезор». Содержание последней показалось П. А. не совсем понятным, но, наученный опытом, он уже никаких разговоров с М. Е. не заводил по этому поводу.

К началу осени 1885 г. М. Е. вернулся из-за границы и тотчас же начал себя чувствовать хуже. В конце октября разыгралась одна громкая история с лицом, находившимся в близких отношениях к М. Е., а именно с В. И. Лихачевым; эта история так взволновала М. Е., что, в связи с легкой простудой, едва не свела его в могилу; на этот раз С. П. Боткин буквально вырвал его из когтей смерти. Но никакое искусство не могло совсем поставить

его на ноги; надо еще удивляться тому, что С. П. Боткин поддерживал его в течение с лишком трех лет.

История, о которой я только что упомянул, навсегда сделала невозможными какие-нибудь личные отношения между В. И. Лихачевым и А. М. Унковским, ранее находившимися в добром знакомстве. Это создало бы Мих. Ев. крайне щекотливое положение: тот и другой были его душеприказчиками. С Унковским его связывали давние дружеские отношения, и, несомненно, он искренно уважал его; что касается до Лихачева, то вот что он говорил: «Я не могу не ценить, что почти двадцать лет видел с его стороны одно только внимание и всякие услуги». Другими словами, Мих. Ев. не находил возможным которого-нибудь исключить из числа душеприказчиков и прибег к такому нейтрализирующему решению: прибавил третьего душеприказчика в лице С. П. Боткина.

В болезненный период жизни М. Е., начиная с 1885 г., можно было замечать в нем три резко отличных состояния. Иногда по нескольку недель он находился в каком-то дремотном состоянии, лишь изредка прерываемом минутными вспышками раздражительности. Бывали, наоборот, целые месяцы крайней раздражительности и возбужденности. Тогда он, конечно, ничего не писал, даже высказывал мысль, что, вероятно, никогда больше ничего и не напишет. Вот что, например, он писал мне 12 августа 1887 г.: «Я давно не писал к вам по той уважительной причине, что рука едва двигается. Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу, но к концу мучительному... Во всяком случае, литературная карьера моя кончилась, во все лето я не написал ни строки. И память потерял, вообще впадаю в идиотизм. Как горько переживать самого себя — вы представить себе не можете».

Помню одну сцену. Приехал С. П. Боткин; уже самый приезд его несколько оживил М. Е., а сердечность С. П. и уменье поднять настроение больного вызвали у М. Е. вопрос:

— Так вы думаете, что я еще могу поправиться?

— Не только думаю, но даже в этом положительно уверен.

— И в состоянии буду писать?

— Конечно. Вот вы еще к пасхе (разговор происходил в середине великого поста) подарите нам хорошенькую сказочку, а может быть, и не одну.

М. Е. ничего не сказал, только слезы выступили у него на глазах. Эту минуту несколько напоминает портрет М. Е., писанный Н. А. Ярошенко, — портрет, к слову сказать, далеко не из удачных.

Совсем неожиданно для стороннего наблюдателя приходило время некоторого оздоровления. Еще вчера видели М. Е. в самом тяжелом состоянии, а сегодня он говорит:

— А знаете, мне гораздо лучше; я уж с утра начал работать — и посмотрите, сколько написал.

Случалось нередко, что М. Е. жаловался, что простая слабость руки или пальцев не позволяет ему работать.

— У меня весь сюжет обдуман, только бы писать, а не могу перо держать.

— Так вы попробовали бы диктовать стенографу.

— Никак этого не могу: у меня вместе с чернилами, стекающими с пера, складывается и фраза.

Судя по крайней производительности в светлые промежутки, надо заключать, что даже в периоды крайней слабости или, наоборот, большой раздражительности творческая мысль его не переставала работать, складывались образы, и все это ждало только благоприятной минуты, чтобы вылиться из-под его пера.

Когда М. Е. чувствовал себя лучше, его литературная производительность была просто изумительна; а главное, его талант не только не показывал никакого упадка — напротив того, в борьбе с недугом, невольной сосредоточенностью точно почерпал новые силы. Лучшим доказательством могут служить его «Сказки» и «Пошехонская старина». Но я думаю, что самую лучшую вещь он унес с собой в могилу, — это «Забытые слова»; они были совсем готовы, то есть обдуманы, оставалось только написать. Он несколько раз говорил о задуманной им теме и сам придавал ей особенное значение.

По поводу «Пошехонской старины» припоминаю два разговора.

— Читали вы «Слуг» Гончарова? (Только что тогда появились в «Ниве».)

— Да.

— Что же о них думаете?

— Да как-то незначительно для Гончарова.

— Вот я ему покажу настоящих слуг прошлого времени.

В это время М. Е. писал «Пошехонскую старину».

В другой раз М. Е. говорил:

— Ах, поскорее бы кончить, не дают мне покоя (персонажи «Пошехонской старины»), всё стоят передо мной, двигаются; только тогда и отстают, когда кто-нибудь совсем сходит со сцены.

Не все сказки, задуманные М. Е., он записал; случалось, что болезненное состояние усиливалось и обрывало тему, которую он начинал обдумывать; становилось лучше — он брался за что-нибудь новое.

— У меня почти готовы три сказки; давно собираюсь по поводу одной из них переговорить с вами. В ней я переношу сцену действия в Сибирь, и мне хотелось бы знать, какое впечатление производит то время, когда круглый день стоит ночь, а потом наоборот.

Я не мог удовлетворить любопытству М. Е., так как севернее 63° не жил в Сибири.

— Но почему вас это интересует?

— Дело в том, что в одной сказке я вывожу личность, которая живет в большом городе, принимает сознательное и деятельное участие в ходе общественной жизни, сама на него влияет, — и вдруг, по мановению волшебства, оказывается среди сибирских пустынь. Первое время она живет продолжением тех интересов, которые только что вчера ее волновали, чувствует себя как бы в среде борющихся страстей; но постепенно образы начинают отодвигаться вдаль, какой-то туман спускается, вот едва выступают очертания прошлого, наконец все исчезает, воцаряется мертвое молчание. Лишь изредка в непроглядную ночь слышится звон колокольчика проезжей тройки и до него долетают слова: «Ты все еще не исправился?»

Но эта сказка никогда не была закончена; о ней потом М. Е. даже позабыл.

Раз, вернувшись из деревни, я поехал на дачу к М. Е., в Новую Кирку. Застал его совершенно одного, вся семья уехала на некоторое время в Гельсингфорс. М. Е. обедал и пришел в крайнее беспокойство, что меня нечем угощать.

— Да зачем же вы меня не предупредили, ведь голодны останетесь.

Едва успокоил его, сказав, что уже пообедал в городе. День стоял дождливый; М. Е. был в дурном настроении. Покончив с обедом, он извинился, что должен лечь в постель.

— Но вы, пожалуйста, подождите, я только чуточку отдохну.

Он лег в постель, положивши голову на затылок. Можно себе представить, что представляло в таком положении его исхудалое лицо; сначала приступ кашля, потом пошли хрипы со стоном, иногда дыхание как бы совсем останавливалось. Мне сделалось страшно, — казалось, настали последние минуты. Так через полчаса М. Е. встал и сел за письменный стол. Между тем неожиданно выглянуло солнце.

— А ведь я за это время много писал.

— Знаю, я все читал, что появилось в «Вестнике Европы» и «Русских ведомостях».

— Но у меня еще кое-что есть в портфеле; написал, между прочим, три сказки. — И затем одну за другой рассказал их, почти буквально, начав с «Христовой ночи».

— Ну, как вы их находите? — спросил М. Е.

— Извините, М. Е., последних двух я совсем не слышал, так я потрясен «Христовой ночью». — И я отнюдь не преувеличивал впечатления, произведенного этой сказкой. Прошу читателя, хоть несколько знакомого с портретами М. Е. последнего времени, представить себе его изможденную физиономию, но всю возбужденную, голос, — то тихий, радостно-сокрушенный, когда М. Е. передавал слова трудящихся и обремененных, строгий, когда Христос обращается к богатеям, и как громом поражавший в словах: «Будь проклят, предатель!» Ни одно чтение не производило на меня такого сильного впечатления, и вся сцена настолько осталась в памяти, что и теперь я, как живого, вижу М. Е., слышу его голос.

М. Е. потом подарил мне на память черновой оригинал «Христовой ночи». Он любил писать на хорошей бумаге, перегибая пополам; но лепил строчку на строчке, делая поправки и варьянты на полях. Вся «Христова ночь», занимающая в отдельном издании сказок, помнится, двенадцать страниц, уписана на половине полулиста.

Тяжело было видеть, как физически страдал М. Е.; в письмах его постоянно встречаются строки вроде следующих: «...голова так слаба, что решительно ничего не могу делать. Вечный шум, точно прибой волн. Боюсь сойти с ума» (29 мая 1887 г.); «...я чувствую себя ужасно.

Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться» (5 июня 1886 г.).

Но еще тяжелее было слушать, когда он высказывал свои душевные боли. Постепенно он стал приходить к убеждению, что его болезнь хроническая, а не временный недуг.

«Вы только подумайте, что мне, может быть, придется прожить несколько лет, ничего не читая, не работая, не позволяя себе думать о чем-нибудь серьезном. Бывают минуты, что я боюсь сойти с ума, да верно этим и кончу.

Мое положение ужасно: ни читать, ни писать не могу, целый день думаю о пустяках; по временам находит такое странное физическое состояние, что я должен употреблять все усилия, чтобы подавить его».

«До сих пор, — говорил в другой раз М. Е., — я не знал, что такое тоска, бывало скучно, и только. А теперь я ношу в себе эту тоску, как нечто постоянное, она не покидает меня ни на минуту и угнетает мое душевное состояние окончательно. И вместе с тем малейшие пустяки, не стоящие никакого внимания, раздражают меня (пример — прислуга, собирающаяся выйти замуж, да еще не ранее, как через полгода). И этот шум, вечный звон в ушах! вот целую неделю гудит в ушах «вдоль по улице метелица метет»; тут наверно сойдешь с ума».

Чем сильнее развивалось болезненное состояние М. Е., тем резче стали проявляться у него разные фантазии и небывалые до той поры черты в характере: он стал жаловаться, что все его забыли, а это была очевидная несправедливость. Никогда не оказывалось ему большего внимания, как именно в это время; малейшее его желание всякий считал для себя священным долгом.

Жалобы на докторов все усиливались. Общее наблюдение за М. Е. имел С. П. Боткин и посещал его, когда это находил нужным; затем раз в неделю бывал Н. И. Соколов, а в остальные дни Васильев (все трое уже не в живых).

«Не хочет Боткин приняться за меня серьезно, — роптал М. Е., — вот недавно исследовал он Унковского, так даже молоточком по коленам стукал, а меня никогда. Н. И. теперь больше калашниковскими купцами занимается, а Васильев... так этот иногда отменяет какое-нибудь лекарство и ничего взамен его не дает».

Вследствие привычки видеться почти каждый день с Васильевым М. Е. и в глаза не стеснялся говорить ему то же; и, конечно, для Васильева визиты к нему были истинным мучением. Но чуть, бывало, тот же Васильев немного запоздает против обычного часа, и М. Е. приходит уже в крайнее беспокойство.

— Что же это Васильева до сих пор нет?

— Да, вероятно, где-нибудь задержался, ведь доктора не всегда хозяева своего времени.

— А может быть, надоело ему возиться со мной. Что теперь я буду делать, — продолжать ли принимать ландыш, или оставить?

Во время болезни с Мих. Ев. был такой замысловатый случай. Не знаю, самостоятельно или под чьим давлением, только он решил пригласить отца Иоанна Кронштадтского. Тот и заявился в один прекрасный день. Ничего не зная, в то же самое время приехал Сер. Пет. Боткин и, конечно, встретился с о. Иоанном в кабинете Мих. Ев. Последний, видимо, сильно сконфузился, но Сер. Пет. с обычным тактом все дело повернул в самую лучшую сторону. Кажется, и раньше зная о. Иоанна, он не только не показал какого-нибудь удивления от неожиданной встречи, но самым любезным тоном сказал: «Вот и прекрасно, отец Иоанн лечит душу, а я тело; теперь ваше выздоровление, Михаил Евграфович, пойдет еще вернее».

Чем больше одновременно прописывали М. Е. разных средств, тем ему бывало приятнее. И вообще, в противоположность иным больным, М. Е. никогда не надоедало говорить о своей болезни со всяким входящим посетителем. Иногда придешь к нему и не знаешь, как начать разговор. Сидит он, опершись головой о спинку кресла, и не то дремлет, не то в полнейшем упадке сил; но стоит спросить: «Как вы себя сегодня чувствуете?» — «Ах, мне сегодня ужасно», — но сейчас же оживится и весьма обстоятельно расскажет все, что с ним было за ближайшее время, до самых интимных подробностей. Но вот кто-нибудь входит — и сейчас же повторяется та же история; еще новый посетитель — и опять все рассказывается до мелочей.

— Вам надо меньше думать о вашей болезни, — как-то раз при мне заметил М. Е. покойный Вл. Ив. Иванов, видя его возбужденное состояние. М. Е. с минуту подумал и потом спокойным тоном ответил:

— Что ж, о принце Рудольфе прикажете мне думать? (Это было вскоре после загадочной смерти принца Рудольфа.)

Вдруг мысли М. Е. приняли практическое направление. Еле двигаясь по комнате, он стал мечтать о покупке дома; чуть услышит, что продается подходящий дом, сейчас же просит собрать все необходимые сведения. Сначала это принимали всерьез, но потом, не показывая вида, поняли, что это игра больного воображения и ничего более.

Только что перестал М. Е. говорить о доме, как воспылал другой страстью — купить имение.

— Небольшое, не дороже пятидесяти — шестидесяти тысяч, но чтобы была река, и сад, и лес настоящий; а дом незатейливый, но хорошо выстроенный; это ничего, что деревянный. В деревянном доме, когда он хорошо поставлен, как это прежде делали, отлично жить.

— Но что же вы будете делать с имением?

— Как только куплю имение, сейчас же перееду туда на постоянное жительство; а семью оставлю в Петербурге; впрочем, Константина (сына) отправлю в Москву к Поливанову.

Стал М. Е. вырезывать объявления из газет, началось собирание справок, на этот раз единственно для утешения старика. В самое последнее время М. Е., прежде не отличавшийся большою расчетливостью, стал до крайности сдержан в расходах лично на себя; начал жаловаться, что ему нечем жить, что приходится тратить из капитала. Это дало Унковскому повод пошутить:

— Михаил Евграфович верно говорит, что ему приходится жить из капитала, потому что, как только получит сторублевку, сейчас же покупает облигацию.

Кончились разговоры о покупке дома и имения, — М. Е. тотчас же принялся за проект продажи в полную собственность всех своих сочинений, как изданных, так и тех, что мог еще написать. Переговоры с разными лицами ни к чему не привели; когда даже все существенные пункты бывали порешены, вдруг всплывал какой-нибудь второстепенный, и дело обрывалось. Но вот был какой характерный случай. Все уже было покончено с И. М. Сибиряковым за пятьдесят тысяч рублей; по условию, Сибиряков не имел права выпустить полного собрания сочинений ранее двух лет со дня подписания условия.

Оставалось только подписать условие; в это время приходит Г. З. Елисеев; М. Е. дает ему прочитать проект.

— Этого мало, — сказал Елисеев, — что Сибиряков не имеет права выпустить полное собрание ранее известного срока; надо его обязать, чтобы он непременно издал ваши сочинения в известный срок.

— Почему? — живо спросил М. Е.

— Сибиряков человек богатый, заплатить пятьдесят тысяч рублей ему ничего не значит. А вдруг ему придет фантазия изъять вас из публики, или в этом смысле на него со стороны подействуют.

— Как, меня изъять из публики?

И М. Е. пришел в величайшее волнение; сейчас же полетели письма к посредникам, чтобы передали Сибирякову о необходимости дополнить условие еще пунктом, которым возлагалось на Сибирякова обязательство в известный срок выпустить полное собрание. К общему удивлению, Сибиряков не принял этого пункта, найдя неудобным связывать себя таким обязательством. Что касается до М. Е., то одна мысль, что он может быть изъят из обращения, навела на него такой ужас, что он круто оборвал переговоры с Сибиряковым.

Переговоры с наследниками фирмы Салаевых расстроились из-за каких-то пустяков.

В начале марта 1889 г. я собрался в дальнюю поездку; прощаясь со мной, М. Е. сказал свою обычную фразу, когда кто-нибудь уезжал:

«Вы меня уж больше не застанете в живых».

На этот раз его слова, к несчастью, оправдались. Конечно, долго он прожить не мог, но весьма вероятно, что свою смерть он сам ускорил. И вот каким образом.

Раз, в начале 1889 г., М. Е. говорит:

— Что вы скажете, если б я сам принялся за издание полного собрания своих сочинений?

— Отличная была бы вещь; средства у вас есть, все вам охотно помогут, то есть примут на себя хлопоты. Но вот беда — вы себя в гроб уложите, так начнете волноваться этим делом.

— Это правда, — ответил М. Е.

Однако подобное соображение не остановило М. Е. и, пользуясь крайне обязательным содействием М. М. Стасюлевича, помнится, в феврале М. Е. приступил к изданию за свой собственный счет. Все хлопоты и заботы взял

на себя М. М. Стасюлевич; М. Е. не понадобилось даже затрачивать своих денег — все расходы покрывались из издания.

Прихожу к М. Е. дня через два, как все было вырешено с М. М. Стасюлевичем, и нахожу М. Е. в крайне возбужденном состоянии.

— Что с вами, Михаил Евграфович?

— Сдал объявление о предстоящем выходе полного собрания; обещали напечатать его послезавтра. Не сделают они этого не только послезавтра, а, пожалуй, и через неделю, — едва выговорил М. Е., задыхаясь от волнения.

— Да ведь публикация послана из магазина Стасюлевича, откуда вы имеете и уведомление о том, когда она выйдет. Поверьте, что магазин не послал бы вам такого извещения, если б не был уверен.

— Что из того, что публикация появится послезавтра; переврут все — и тогда мне не будет покоя ни днем, ни ночью от массы запросов, разъяснений и тому подобного.

— Почему же вы думаете, что публикация будет неверно напечатана?

— Да уж это так всегда бывает, — ответил М. Е. самым убежденным тоном.

Затем я скоро уехал, но потом слышал, что М. Е. чем дальше, тем больше волновался начатым делом. А ему всего важнее был абсолютный покой: он один только и мог его несколько протянуть.

В этих мечтательных, болезненно тревожных проявлениях практического характера, начиная от покупки дома до издания полного собрания, собственно сказывалось, хотя и не выговаривалось громко, заботливое желание сколь возможно обеспечить материальное положение семьи, особенно детей, которых он горячо любил.

В последнее время М. Е., и не со мной одним, часто заводил такой разговор:

«Я хочу завещать в пользу Литературного фонда шесть тысяч рублей[1]. Но как это сделать? Поехать

[1] М. Е. был членом-учредителем Лит. фонда, трижды (на трехлетие) избирался членом комитета, в последний раз — 2 февраля 1880 г., и всегда, как я помню, очень к сердцу принимал его интересы. Так, например, осенью 1881 г. он просил меня привлечь в члены Фонда покойного Ф. И. Базилевского. «Что ему, богачу, стоит дать сто рублей?» (то есть пожизненный взнос). Бази-

к нотариусу не могу, позвать его к себе на квартиру... покоя мне не дадут... Как только настанет тепло и буду в состоянии выехать, первое, что я сделаю, — поеду к Иванову (нотариусу)».

Но не довелось М. Е. дожить до тепла.

III. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

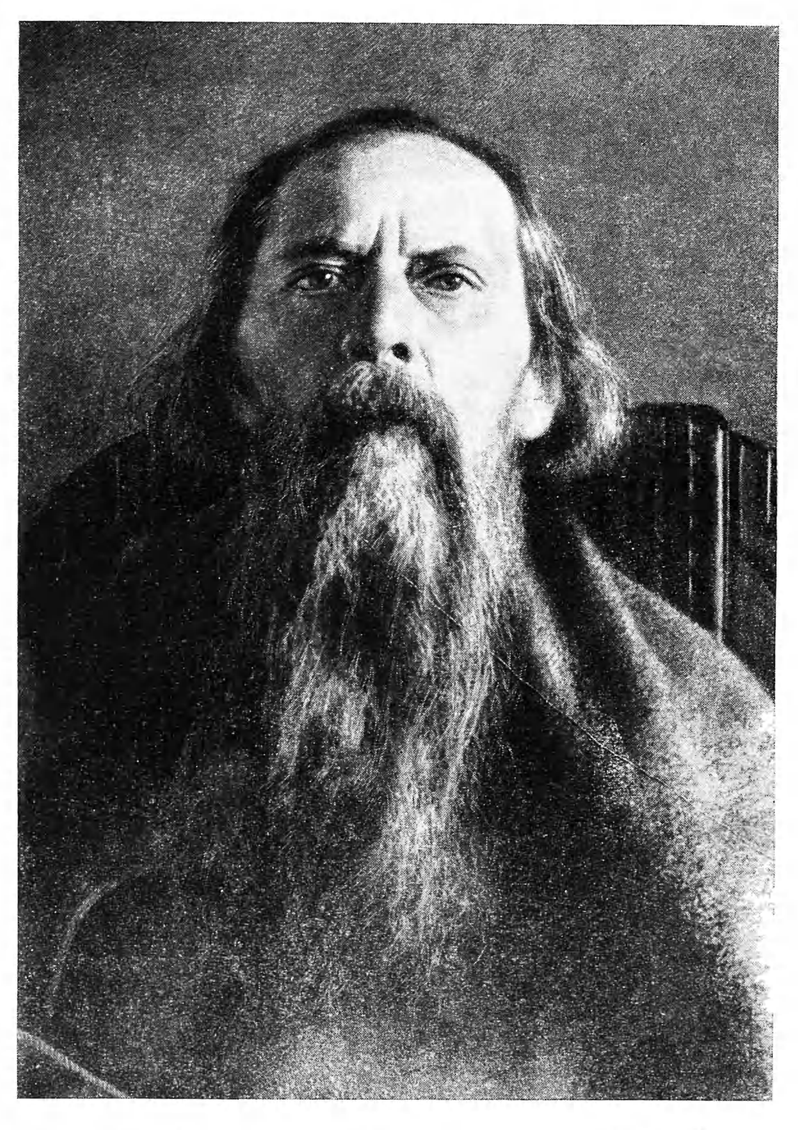
Мое знакомство с Чернышевским до его ареста было крайне незначительно; бывал я у него весной 1862 г., может быть, четыре-пять раз да изредка встречал в обществе или в Шахматном клубе в какие-то назначенные дни. Ник. Гавр. жил тогда в первом этаже д. Есаулова (№ 4), что в начале Большой Московской; он всегда принимал в своем кабинете. То была небольшая комната во двор, крайне просто меблированная, заваленная книгами, корректурами и т. п.; втроем в ней не без труда можно было разместиться. По тогдашнему обычаю, Н. Г. всегда был в халате. В этой-то комнатке по целым дням, а нередко и за полночь, диктовал он свои статьи Алексею Осип. Студенскому, кажется бывшему семинаристу из Саратова [1], фанатически преданному Н. Г. Мои визиты к Н. Г. были большею частью вызваны так называемой «думской историей» и устройством II отделения при Литера-

---

левский вручил мне тысячу рублей для передачи в Фонд. Между тем в изданном комитетом Фонда в 1885 г. по случаю двадцатипятилетия Фонда списке членов я случайно натолкнулся при фамилии М. Е. на совсем непонятную отметку: «1881 г. декабря 7 сложил с себя звание члена общества». Из живых сочленов М. Е. по комитету ни Ф. Ф. Воропанов, ни Н. С. Таганцев не только не могли припомнить обстоятельств выхода из общества М. Е., но и самый факт не сохранился в их памяти.

Так как М. Е. не значился членом комитета за время с 2 февраля 1881 г. по 2 февраля 1882 г., то надо думать, что еще до 2 февраля 1881 г. он отказался от звания члена комитета и уже потом, 7 декабря 1881 г., — и члена общества. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[1] Личность крайне оригинальная, о нем в одном шутливом стихотворении того времени говорилось: «Студенский ярый нигилист». Алек. Осип. был замечательный корректор; издал даже какое-то руководство для корректоров; потом — «Всполохи разума», свидетельствовавшие о не совсем нормальном душевном состоянии. Умер в больнице душевнобольных. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)



М. Е. Салтыков-Щедрин. Фотография Л. Ф. Пантелеева, 1889 г.

турном фонде[1]. Несмотря на крайнюю простоту в обращении Н. Г., многие, вероятно, испытывали своего рода жуткость в беседе с ним. Метко раз выразился мой тогдашний приятель В. Ю. Хорошевский: «Когда ты говоришь с Николаем Гавриловичем, чувствуешь, что он не только знает, что у тебя во лбу, но и что скрывается под затылком». В обществе, когда мне доводилось видеть Н. Г., он вел самый обыкновенный разговор о каких-нибудь текущих пустяках или рассказывал незатейливые анекдоты; но совсем другим Н. Г. являлся мне в своем кабинете. Тут речь его всегда была серьезна, осмотрительна, чужда двусмысленности и вместе с тем далека от какого-нибудь подстрекательства. Напротив, он пользовался каждым подходящим случаем, чтобы подчеркнуть, с какими трудностями приходится бороться всякому начинающемуся освободительному движению, как сильны враждебные силы, как они изощряются в борьбе. Припоминаю его замечание: «Посмотрите, как они даже в мелочах сделались предусмотрительны: чтобы при выдаче матрикул не допустить скопления студентов, придумали производить эту операцию по участкам». Внимательно следя за движениями среди молодежи, хорошо осведомленный[2], всей душой ей сочувствуя, Н. Г. был, однако, далек от преувеличенной оценки молодого поколения; и даже в его горячей защите молодежи («Научились ли») совсем не видно и тени того сентиментализма, который тогда широко сказывался в некоторых кругах в суждениях о молодежи. Характерной чертой Н. Г. было то, что редкий молодой человек, сталкивавшийся с ним, не испытывал на себе его ободряющего совета и поощрения[3]. Летом 1861 г. я поместил в малораспространенном «Светоче» статейку, вызванную брошюрой Погодина «Красное яичко русскому народу». Спустя с лишком полгода Н. Г. и говорит:

---

[1] О касательстве Н. Г. Чернышевского к тому и другому смотри мои «Из воспоминаний прошлого», стр. 266—268 и 272—273. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Мое личное знакомство с Н. Г. относится к половине марта 1862 г. Меня раз крайне поразило, как, должно быть в апреле, он обратился ко мне с вопросом: по каким соображениям я возражал в сентябре 1861 г. в студ. комитете против некоторых слишком резких предложений. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[3] Об этом свидетельствует, не помню где, и покойный В. П. Острогорский. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

— Лонгин Федорович, ведь вы пописываете, что же ничего не приносите?

Я сконфузился и ответил, что не чувствую себя достаточно подготовленным к литературной работе.

— Ничего, пишите и приносите.

Редкий раз, чтобы так или иначе не заводил Н. Г. разговор о Добролюбове (Н. Г. в то время выпускал полное собрание сочинений Добролюбова и собирал материалы для его биографии). Как самое ценное в нем он выдвигал характер, не способный идти на какие-нибудь компромиссы. «И этого человека не стало в то время, когда он был бы всего нужнее», — говорил Н. Г. Раз он показал мне то ли дагерротип, то ли раскрашенную фотографию хорошенькой итальянки и при этом сообщил, что Добролюбов, будучи в Италии, влюбился в одну девушку; она отвечала ему взаимностью; родители были согласны на брак, но ставили условием, чтоб Добролюбов остался в Италии. Но на это не мог согласиться Добролюбов и затем вернулся в Россию. Ничего похожего насчет того, что родители итальянки потребовали освидетельствования Добролюбова доктором (как об этом я читал в чьих-то воспоминаниях) и отказали Добролюбову ввиду неблагоприятного отзыва доктора, Н. Г. не говорил.

Не считая здесь уместным повторять то, что мною уже сообщено о Чернышевском в книжке «Из воспоминаний прошлого», ограничусь лишь общим замечанием, что в то время у меня не было никаких веских данных относительно участия Н. Г. в нелегальных проявлениях тогдашнего общественного движения; имелись только некоторые намеки, догадки и ничего более.

В настоящее время, после опубликования г. Лемке материалов по делу Чернышевского, всякий сам может составить себе то или другое заключение о степени участия Н. Г. в нелегальной оппозиции. Лично у меня давно уже сложилось в этом отношении определенное заключение, подтверждением которого послужил неизданный отрывок из воспоминаний Н. В. Шелгунова, переданный мне Н. К. Михайловским. Шелгунов буквально говорит: «В эту зиму (1861 г.) я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу»... Я переписал прокламацию измененным почерком, и так

как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал Костомарову (Всеволоду). Впрочем, Костомаров знал, что писал я». Шелгунов в своих воспоминаниях не отличается безукоризненной точностью: «К народу» — это, вероятно, и есть «К барским крестьянам».

Я уже раз заметил (см. «Из воспоминаний прошлого», стр. 342), что Н. Г. после ареста Михайлова как бы замалчивал его, точно безучастно относился к постигшей его судьбе. Впоследствии от одного поляка, бывшего одновременно на заводе с Чернышевским, я слышал, что взаимные отношения Н. Г. и Михайлова на каторге поражали не то холодностью, не то какой-то натянутостью. Несомненно, это была политика, усвоенная Н. Г.: и на каторге показывать вид, что с Михайловым у него никогда не было никаких близких, а тем более интимных отношений, как это он утверждал на следствии и в сенате, отвергая показания Костомарова, обличавшие Н. Г., что через Михайлова начались переговоры о печатании прокламаций.

Тот же только что упомянутый поляк рассказывал мне, что во время франко-прусской войны Чернышевский изумлял своими предсказаниями о ходе военных действий, точно он был посвящен в тайны германского генерального штаба.

«И ведь все предсказания его оправдывались, сражения именно происходили там, где он им назначал быть».

Весной 1889 г. я сделал туристическую поездку в Закаспийский край, тогда еще мало известный. Вперед ехал через Кавказ, а возвратный путь взял на Астрахань, в которой и прожил три дня, проведя их исключительно в обществе Чернышевского.

Я тогда же конспективно записал наши беседы, — не всё, а то, что мне казалось наиболее существенным и характерным; но за разными обстоятельствами только теперь удалось использовать мои записи. Многое, конечно, с тех пор улетучилось из памяти, не решаюсь также придать некоторую распространенность мыслям, высказанным Н. Г.; передаю мои заметки почти буквально, как они были записаны.

В каком-то книжном магазине получив адрес Н. Г., я отправился к нему. Остановившись у дверей квартиры Н. Г., я прочел: Н. Г. принимает от такого-то часу до такого. Я пришел значительно ранее. «Попробую позвонить, может быть и примет меня, как приезжего». Сказано — сделано. Дверь отворилась.

— Дома Николай Гаврилович?

— Пожалуйте, — ответила прислуга.

Я вошел в зал, и в тот же момент из соседней комнаты направо показался Н. Г.

— Ах, здравствуй, брат, — сказал Н. Г., завидя меня, но сейчас же поправился: — Что я говорю, — Пантелеев, а то показалось, что Сережа (С. Н. Пыпин, умерший несколько лет тому назад).

— Извините, Николай Гаврилович, что я нарушил распорядок вашего времени.

— Ничего, ничего, — отвечал Н. Г., — это Ольга Сократовна нашла нужным назначить часы, а мне все равно. Однако вы сильно постарели.

— Не удивительно, Николай Гаврилович, ведь двадцать семь лет прошло.

— А все же узнать можно. Как жаль, что Ольга Сократовна уехала в Саратов, она была бы рада вас видеть.

Н. Г. никогда не выглядел богатырем, всегда держался несколько сутуловато, имел впалую грудь. И все-таки, сравнительно, он меньше изменился, чем я ожидал. На голове не было заметно седых волос, они явно проступали лишь в бороде; голос остался почти прежний. Зато на лбу и лице оказывалось немало морщин и впадин. В общем физически он производил впечатление растения, которое довольно долго простояло под колпаком: совсем оно не засохло, а так, несколько позавяло. Циркулирующие портреты Н. Г., как от раннего времени, так и позднейшие, почти всегда весьма плохие копии, особенно невозможны так называемые увеличения. Но даже оригинальный кабинет-портрет, сделанный в Астрахани, крайне неудовлетворителен, так как сильно заретушеван.

Что составляло новость — это заметная нервность; прежде Н. Г. говорил без особенного оживления, при этом в фигуре не замечалось движения; теперь он не только говорил скорее прежнего, без учащенных «ну-с»,

«да-с», но и поминутно приходил в движение всем корпусом, часто вставал и прохаживался по комнате. Он также больше прежнего курил, причем и тут сказывалась повышенная нервность: он то с живостью затягивался, то ломал папироску, стряхивая пепел, то забывал о ней, и она гасла.

За все три дня, а тем более в первый визит, у меня не хватило духу о чем-нибудь расспрашивать Н. Г., кроме самых обыденных вещей. Я знал, что за время пребывания Н. Г. в Астрахани многие нарочно туда приезжали, чтобы повидать его, и, конечно, нередко вызывали на разговоры о жизни в Сибири, особенно в Вилюйске, и легко себе представлял, что воспоминание об этом времени могло бередить тяжелые раны. Потом я узнал, что на бо̀льшую часть подобных вопросов он стереотипно отвечал, что жил очень хорошо и ни в чем не нуждался. Я держался системы: пусть Н. Г. говорит о чем ему вздумается, я же лишь осторожно иногда подводил тему. С первого же дня я заметил, что Н. Г. говорит без остановки, часто делает бо̀льшие отступления в сторону, но всегда возвращается к начатой теме. Однако он легко давал себя перебивать и спокойно выслушивал возражения или какую-нибудь вставку [1]. Слушая Н. Г., казалось, что за шесть лет, истекших со времени выезда из Вилюйска, он как бы все еще недостаточно вознаградил себя за двенадцатилетнее одиночество.

В первый визит я, может быть, пробыл у Н. Г. с час. После взаимного обмена о здоровье и т. п. разговор шел частью об Астрахани, частью о моей поездке в Закаспийский край. Когда я стал собираться уходить, Н. Г. с живостью сказал:

— Да вы куда же? разве у вас есть какое дело в Астрахани?

— Нет, дела у меня никакого, но ведь вы человек занятой.

— Ах нет, у меня время свободное; да вы долго ли остаетесь в Астрахани?

— Дня три.

---

[1] Совершенную противоположность представлял в 70-х гг. П. В. Павлов. Он мог прийти в десять часов утра и уйти в два часа ночи, за все время не подымаясь со стула и ни на минуту не умолкая. Перебить его или заставить выслушать почти не было никакой возможности. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

— Так мы вот как сделаем: мне надо приготовить посылку и сходить на почту; вы не придете ли ко мне после обеда?

— С удовольствием.

Пришел часа в четыре и просидел до десяти. Все время прошло в разговоре о тогдашних общественных делах и частью о текущей литературе.

Общий взгляд на современную литературу Н. Г. высказал такой:

— А право, Лонгин Федорович, в наше время писали не хуже, чем теперь, беллетристика была даже положительно лучше. Теперь кто беллетристы? Хорошо пишет Владимир Галактионович (это, однако, было сказано тоном несколько снисходительно-благодушным); по-моему, из современных беллетристов самый крупный Максим Белинский. — Известно, что Н. Г. ставил Г. Успенского много ниже Н. Успенского. Рационалист до мозга костей, Н. Г. не мог, конечно, сочувственно относиться к Л. Н. Толстому последнего периода. Но он шел далее и утверждал, что в увлечении общества Толстым играет не малую долю то, что он — граф. На эту тему долго говорил Н. Г., но я не буду приводить в подробностях его суждений. Об этом есть рассказ такого мастера, как В. Г. Короленко.

— Да и писали прежде понятнее для публики, — говорил Н. Г. — Вот В. И. Модестов, он, конечно, ученейший человек, а не приведи бог как перевел Спинозу, многие ли в состоянии прочесть? Надо было своими словами рассказать, да так, чтоб всякий мог понять.

— Не те времена, Николай Гаврилович, теперь требуют классических авторов не в пересказе, а в настоящем переводе. И знаете ли, Николай Гаврилович, ведь издание Спинозы все разошлось, несмотря даже на пятирублевую цену.

— Все-таки надо писать так, чтоб все могли понимать. Ведь великие идеи, как и высшая красота, сами по себе крайне просты и всякому доступны, если понятно выражены. Приведу в пример хотя бы самого себя. Никакого музыкального слуха у меня нет, и никогда я ни на какую музыку не ходил, но раз Ольга Сократовна увезла меня в концерт. Поют, играют, а я, помнится, корректуру читаю. Вдруг заиграли что-то совсем особенное. «Да это, должно быть, Бетховен», — подумал я; спра-

вился с афишей — и в самом деле не ошибся. Что же вы думаете, ведь весь номер прослушал. Тоже раз такой случай был со мной. Никаких снимков с разных Венер я не видал, но из книг знал, что лучшею считается Венера Милосская. Вот как-то мне и показывают рисунки с нескольких Венер; спрашивают, которая мне больше нравится. «А вот эта»... оказалось, что я указал на Венеру Милосскую.

Во второй половине 80-х гг., как известно, стал сказываться в нашем обществе несколько повышенный интерес к философии и даже чисто метафизической. В возникшем по этому поводу разговоре я позволил себе выразиться:

— Я никогда философией не занимался и совершенный в ней профан; мне, однако, думается, что во Франции немецкая философия потому не имела широкого успеха, что чисто метафизическое направление философской мысли французы пережили еще в семнадцатом веке; после энциклопедистов восемнадцатого века немецкая метафизика не могла завладеть французами.

— Вы совершенно правильно рассуждаете. То же самое применимо и к Дарвину; после Ламарка что для французов Дарвин? И как можно понять, что весь жизненный строй должен держаться на борьбе? Надо вот еще что иметь в виду, — продолжал Н. Г. — Юм, например, писал в Англии и высказывал свои мысли так, чтобы его могли понять; а Кант те же самые идеи излагал под прусской цензурой, потому и старался, чтобы его совсем не легко было разгадать.

В суждениях Н. Г. о тогдашних делах, пожалуй, можно было усмотреть если не примиренность, то крайне благодушную незлобивость; иногда даже у него провертывались фразы вроде того, что нынешние времена и сравнивать нельзя с 60-ми гг. — не в пример лучше. В виде общего принципа Н. Г. высказал: все наши злоключения происходят от того, что мы народ бедный.

«А бедный человек, Лонгин Федорович, лишь об одном думает: как бы ему совсем не пропасть, дожить хоть до завтрашнего дня. Потому у него и нет никаких сколько-нибудь широких потребностей.

Только с развитием народного богатства могут сказаться настойчивые желания лучших общественных отношений».

Этот тон, отсутствие каких-нибудь жалоб многих посещавших Н. Г. приводил к несколько скорому и наивному заключению, что Чернышевский стал совсем не тот, чем был прежде. Так буквально говорила мне, например, М. М. Манассеина, видевшая Н. Г., кажется, года через два, как он поселился в Астрахани. При этом надо иметь в виду, что еще до ссылки даже люди, хорошо знавшие Н. Г., пользовавшиеся его доверием, не всегда могли отличить, когда он шутил, когда говорил серьезно.

Иногда, может быть, это был с его стороны своеобразный прием, чтобы легче было определить действительное отношение собеседника к предмету разговора.

Эта манера была небезызвестна и мне. Потому, слушая теперь Н. Г., я был, как говорится, настороже и ждал случая, когда он выскажет свое настоящее внутреннее настроение. Этот случай и представился, как скоро сам увидит и читатель. В частности относительно крестьянского вопроса Н. Г. высказал тогда: никакого действительного улучшения реформа 19 февраля и не могла дать крестьянам, раз что они должны были выплачивать за землю.

Известно, что в свое время Н. Г. предпочтительнее находил выкуп помещичьих земель, отходивших крестьянам, полностью за счет государства.

Когда в этот раз я уходил от Н. Г., он сказал:

— А я к вам завтра утром понаведаюсь; что, в десять часов можно?

— Конечно.

На другой день, поджидая Н. Г., я нарочно отворил дверь моего номера, который находился в конце довольно длинного коридора; зная крайнюю близорукость Н. Г., я прислушивался и выглядывал в коридор, чтоб встретить его и проводить в мою комнату. И вот вижу, показался Н. Г. Он шел такой твердой и уверенной походкой, что я невольно подумал: «Да право же, он совсем молодец». Побыл у меня Н. Г. с час и взял обещание, что я приду к нему после обеда, примерно в четыре часа.

Помнится, в это свидание я коснулся несостоявшегося в половине 80-х гг. нового издания его «Эстетических отношений искусства к действительности». Через

А. Н. Пыпина я снесся с Н. Г., и он выслал экземпляр старого издания, кое-где исправленный и с новым предисловием. Хотя книга по своему объему и могла печататься без предварительной цензуры, но, в силу особого распоряжения, все, как старое, так и вновь написанное Чернышевским, должно было направляться в цензуру, даже, кажется, специальную. С книгой пришел ко мне М. Н. Чернышевский. Увидев новое предисловие, я хотел было прочесть его, чтобы сообразить, нет ли в нем чего-нибудь по тогдашним временам неудобного в цензурном отношении; но М. Н. успокоил меня, что, конечно, Н. Г. очень хорошо знает порядки нашей цензуры, а потому и находил возможным, не теряя времени, представить книгу в цензуру. Я не счел себя вправе настаивать, хотя в начале предисловия и заметил одно щекотливое место, где Н. Г. говорил, что основные идеи книги не принадлежат ему, а идут от Фейербаха. И вот, как я потом узнал, именно благодаря предисловию и главным образом ссылке на Фейербаха книга не была разрешена к переизданию.

«А я думал, — сказал Н. Г., выслушав мой рассказ, — что все это так старо, что уже не может обратить на себя внимания цензуры, да и Фейербаха-то в живых нет».

Когда я в четыре часа явился к Н. Г., он сейчас же распорядился, чтоб подали чай; сам достал видимо только что купленные банку варенья, пирожное, фрукты и затем поставил передо мной ящик с сигарами. Заметив, что я собираюсь закурить папиросу, Н. Г. огорченным тоном сказал:

— Что же вы не берете сигару, ведь это вами же присланный подарок; сигары, право, отличные.

— Да я перед тем, как идти к вам, уже выкурил сигару, а много их не курю.

— Не надо было дома курить.

И на этот раз просидел у Н. Г. до глубокого вечера. Вскоре по приходе Н. Г. и говорит:

— А я вот слышал, что вы, Лонгин Федорович, очень часто в последние годы бывали у Михаила Евграфовича[1] (я вообще заметил большую осведомленность у Н. Г. даже в мелочах о тогдашней жизни). Что же, вы

[1] М. Е. незадолго перед тем умер. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

это делали по христианскому состраданию или уж по особенному уважению к нему?

По тону, как были сказаны эти слова, я понял, что старая история не забыта Н. Г., как она не была забыта и Салтыковым. Перед моим отъездом в Закаспийскую область я спросил у М. Е., не пожелает ли он под своим портретом (мой снимок) подписать свою фамилию и от его имени передать Чернышевскому. На эти слова М. Е. ничего не ответил. А старая история состояла в следующем. В 1861 г. Салтыков был вице-губернатором в Твери; там он в один прекрасный день получил прокламацию («Великорусс») и в исполнение циркулярного распоряжения представил ее по начальству, да на беду в том самом конверте, в каком она пришла с почты. Этот конверт, как говорили тогда, и послужил первой уликой против В. А. Обручева. Разумеется, как только это обстоятельство стало известным в литературных кругах, особенно в кружке «Современника», — поднялась буря негодования против М. Е. Когда последний узнал, что произошло в Петербурге, то сейчас же приехал туда, но был крайне сурово принят Н. Г. и близкими к нему; посредничество А. А. Головачева и А. И. Европеуса нисколько не смягчило Н. Г. Чтобы несколько реабилитировать себя, М. Е. вышел тогда в отставку [1]. В № 2 «Былого» за 1906 г. напечатано письмо М. Е. к Чернышевскому, помеченное 14 апреля 1862 г., — значит, после истории из-за Обручева. В письме этом М. Е. выражает надежду, что Чернышевский не откажет в своем сотрудничестве в журнале, который он предполагал издавать в соредакторстве с Унковским и Головачевым. Письмо начинается словами: «Милостивый государь» и оканчивается: «с истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою». Хотя в письме и говорится: «глубоко ценя и уважая вашу частную и общественную деятельность», вышеприведенные заголовок и послесловие ясно показывают чистую официальность письма.

На вопрос Н. Г. я отвечал:

— Да, часто бывал. Михаилу Евграфовичу, как боль-

---

[1] Этим же эпизодом, надо думать, объясняется и тот резкий тон, который проявлялся в радикальном «Русском слове» по отношению к М. Е. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

ному, видимо было приятно всякое внимание, а затем его литературная деятельность, особенно последнего времени, не могла не возбуждать к нему глубочайшей симпатии и уважения.

— Что это вздумалось Михаилу Евграфовичу поднимать такую старину, написать «Пошехонскую старину», да еще растянуть ее на десятки листов? Не понимаю, кому это может быть теперь интересно.

— Лет десять тому назад, — отвечал я, — Михаилу Евграфовичу, вероятно, и в голову не приходило, что он сделается летописцем «Пошехонской старины». Но времена значительно изменились: что считалось навсегда похороненным, да еще с печатью заклеймения, то вдруг стало предметом реабилитации, даже идеализации. Ответом на это течение и явилась «Пошехонская старина».

— Да, пожалуй, я этого не имел в виду; но все же страшно растянуто.

Этот разговор о Салтыкове вызвал другой, еще более интересный, — о Некрасове. От прежнего времени у меня резко осталось в памяти следующее замечание Н. Г. Раз был я у него с Н. Утиным (пописывал стихи); оба мы выразили наш восторг, кажется по поводу только что появившегося стихотворения Некрасова «Дешевая покупка».

— Да, стихи недурны, — сказал Н. Г., — он мог бы еще лучше писать, если бы был умнее.

Я тогда знал наизусть почти всего Некрасова, и отзыв Н. Г. неприятно поразил меня своей односторонностью. Ныне, продолжая разговор о Салтыкове, я заметил:

— Михаил Евграфович раз говорил: «Пока Некрасов был здоров, он заходил ко мне чуть не каждый день. Некоторыми сторонами характера Некрасов, конечно, не мог возбуждать больших симпатий; притом он был человек мало образованный (как тогда, так и теперь, я передаю слова М. Е. значительно смягченными, — известно, что порой он выражался слишком резко), но до такой степени был умный человек, что с ним каждый день приятно было иметь разговор».

— Да, конечно, Некрасов не был ученый человек, но ведь и образование Михаила Евграфовича все идет из французских газет. А что касается до характера Некра-

сова... — И тут Н. Г. очень долго и с оживлением стал объяснять, какой во всех отношениях благороднейший человек был Некрасов. Привел даже следующий случай: — В день объявления воли я пришел к нему утром и застал его в кровати. Он был в крайне подавленном настроении; кругом на кровати лежали разные части «Положения» о крестьянах. «Да разве это настоящая воля! — говорил Некрасов. — Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами».

Так что мне пришлось даже успокаивать его. У Некрасова была только одна слабость: он любил в карты играть, но и в картах он был благороднейший человек. Правда, после смерти Ивана Ивановича (Панаева) ему следовало жениться на Авдотье Яковлевне, так ведь и то надо сказать: престранная (буквально Н. Г. сказал: невозможная) она была женщина.

В свое время в кругу лиц, близких к Литературному фонду, питалась уверенность, основанная на каких-то довольно ясных намеках самого Некрасова, что от него будет завещан Фонду более или менее значительный капитал. Однако в духовном завещании Некрасова ни Фонду, ни на какое-нибудь общественное дело ничего не оказалось. По этому поводу Чернышевский сказал:

«У меня, конечно, после смерти ничего не останется; но если б что-нибудь и было, то никогда не завещал бы, да и вам, Лонгин Федорович, этого делать не советую, — ни Фонду, ни на школы; потому что ваш Фонд выдает пособия шпионам, в ваших школах учат <богу> молиться, <царю> повиноваться».

Последние слова были произнесены с особенным ударением, Н. Г. даже встал и несколько раз прошелся по комнате, как бы желая успокоиться.

Я думаю, в этих словах сказался настоящий Чернышевский, каким он был в тайниках своей души.

В pendant к только что приведенным словам Н. Г. припоминаю разговор о том, что между английскими землевладельцами начинает пробиваться идея передачи земли народу: «Тут, Лонгин Федорович, дело очень простое: с одной стороны, земля не дает более полутора процентов, а получить рассчитывают не менее двух с половиной процентов; с другой, и это самое главное, чувствуют кулак за спиной», — с подчеркиванием последних слов заключил Н. Г.

Как-то вспомнили об Огрызко, который тогда еще был жив (умер в 1890 г., в Иркутске).

«Глубочайшее уважение имею к Иосафату Петровичу», — несколько раз повторил Н. Г.

От Огрызко был легок переход к печальному исходу польского восстания 1863 г.

«Иначе и быть не могло», — говорил Н. Г. И тут он мне прочел маленькую лекцию о военном деле.

«У поляков, — продолжал Н. Г., — была конница, а что она могла поделать против пехоты? да и конница наскоро сформированная. А теперь военное дело совсем иное, чем в старину. Мне пришлось на заводе разговориться с одним поляком-кавалеристом, еще николаевским служакой; вот что он сказал: «Я службу знал и был на виду у начальства; так, видите ли, при нынешних условиях я еще, пожалуй, могу справиться с эскадроном, а с полком — нет». И затем Н. Г. долго говорил о влиянии нового вооружения на тактику и способы ведения войны.

«Мое убеждение, Лонгин Федорович, — заключил Н. Г., — по поводу польского вопроса, что русский народ решительно ничего не потеряет, если отпадет не только Царство Польское, но даже и Западный край».

В этот же раз сам Н. Г. дал мне возможность разъяснить одно обстоятельство, несколько тяготившее меня. Вскоре по приезде Н. Г. в Астрахань я передал А. Н. Пыпину некоторую сумму денег для пересылки Н. Г.

— Но надо работу, — сказал Алек. Никол.

— Это я знаю и непременно что-нибудь придумаю. В ту минуту у меня не было на руках никакой переводной работы; иду к покойному Алек. Яков. Герду и прошу что-нибудь рекомендовать для издания.

— Да вот недавно получил хорошую книжку Карпентера «Энергия в природе».

Я взял книжку, и через А. Н. Пыпина она была доставлена Чернышевскому. Не прошло, может быть, и месяца, как был получен перевод, а я в обмен дал Александру Ник. Спенсера «Основные начала». При переводе книжки Карпентера оказалось большое предисловие от переводчика (много более печатного листа); я с жадностью принялся читать его; но когда кончил, то вынес крайне грустное впечатление, что это предисловие никак нельзя напечатать. Дело в том, что Карпентер в самом

конце ни с того ни с сего, как это иногда бывает у англичан, заговорил о провидении и роли его в природе. Вот на эти-то слова и обрушился Н. Г. Это прежде всего было нецензурно, а затем по манере говорить с публикой сразу выдавало, что предисловие написано Н. Г.; но я понимал, что для Н. Г. не увидать в печати своих первых строк, написанных по возвращении из Сибири, могло быть очень тяжело.

Я обратился за советом к А. Н. Пыпину и М. А. Антоновичу; оба согласно нашли, что предисловие невозможно пустить в цензуру. К счастью, М. А. Антонович нашел очень удачный выход: стоило только отбросить последние две страницы оригинала, не имевшие никакой связи с содержанием книги, и предисловие переводчика устранялось само собой. Но, как я и угадал, это обстоятельство осталось в памяти у Н. Г.

Имея в виду близость окончания перевода истории Вебера, он сам завел речь, что, может быть, обратится ко мне за переводной работой.

«Только, Лонгин Федорович, надо иметь некоторое доверие к моей пригодности. Конечно, со стороны формы я писал плохо, я не Добролюбов, который и в этом отношении был мастер; но, право же, еще могу работать...»

Я понял намек и поспешил разъяснить историю с предисловием (это должен был сделать в свое время А. Н. Пыпин, но, по-видимому, не имел случая). В подтверждение привел и то, что другой (и превосходный) перевод Н. Г. «Основных начал» Спенсера уже шестой год лежит у меня без движения по невозможности выпустить без больших и существенных сокращений [1].

«А я думал, что, может быть, нашли мое предисловие совсем глупым».

Мысль, что его считают только тенью прежнего Чернышевского, несомненно лежала на душе Н. Г.

Вскоре по приезде Н. Г. в Астрахань его посетил А. Н. Пыпин. По возвращении я спросил А. Н., как он нашел Н. Г. При этом А. Н. сообщил мне, что он еще до своей поездки писал Н. Г. и спрашивал его, как он себя чувствует. Ответ был следующий: «Очень хорошо, на

[1] Он вышел много позднее в полном виде. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

любой станции по дороге я мог приняться за работу по самому серьезному научному вопросу».

Перед уходом я спросил, не имеет ли Н. Г. какого-нибудь поручения к Ал. Ник.

«Нет, ничего, кланяйтесь. Конечно, Лонгин Федорович, после Ольги Сократовны я всех больше люблю Сашеньку (то есть А. Н.), но должен прямо сказать, они там занимаются глупостями».

Эти слова, конечно, надо понимать в том смысле, что А. Н. слишком много, по мнению Н. Г., занимался вещами, мало имевшими отношения к живым интересам современности. Если не ошибаюсь, в это время появилась публикация о предстоящем выходе «Живой старины», в которой А. Н. должен был принять близкое участие.

— Так вы завтра уезжаете, когда?

— Вечером.

— Что же, заглянете еще?

— Непременно.

На другой день я пробыл у Н. Г. недолго.

При расставанье Н. Г. сказал, что он не прощается, так как придет на пароход.

Пароход отходил довольно поздно; я перебрался на него засветло и, прогуливаясь по палубе, поджидал Н. Г. По времени он показался и, несмотря на свою близорукость, так браво прошелся по трапу, что можно было позавидовать. Среди обычных разговоров на прощание Н. Г. сам завел речь о ходатайстве губернатора Вяземского насчет перевода Н. Г. в Саратов.

— Для меня решительно все равно, что Саратов, что Астрахань, но Ольге Сократовне, конечно, было бы приятнее жить в Саратове. Мне лично хотелось бы перебраться в университетский город, чтобы под рукою была большая библиотека, другого мне ничего не надо.

Тепло распрощались мы, не раз проговорив друг другу «до свидания». И когда, идя за ним по трапу, я видел, как, несмотря на сгустившуюся темноту, Н. Г. твердой поступью прошел до берега и наконец, после последнего «до свидания», совсем скрылся, — я ни на минуту не сомневался в полной возможности этого «до свидания». А между тем через несколько месяцев его не стало, он скончался в ночь с 16 на 17 октября 1889 г., в Саратове.

В сентябрьской книжке «Былого» за 1906 г. помещена статья Н. Я. Николадзе «Освобождение Чернышевского». По этому случаю считаю не лишним обратить внимание читателя на «Из воспоминаний Н. К. Михайловского о Вере Фигнер» в № 2 «Воля» от 19 февраля 1906 г. Там Н. К. сообщает о своей прикосновенности к переговорам, которые велись через посредство Н. Я. Николадзе и в конце концов привели к переводу Чернышевского из Вилюйска в Астрахань.

IV. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ИРКУТСКЕ НА ПУТИ В АСТРАХАНЬ

В начале лета 1884 г. мне пришлось совершить поездку в Восточную Сибирь. На обском пароходе в первом классе оказалось всего только двое пассажиров — я и жандармский генерал Ходкевич, начальник сибирского жандармского округа. По времени разговорились. То был уже старик, не без образования, и даже несколько начитанный в русской литературе, но преимущественно 40-х гг. Узнав, что я имел касательство к золотопромышленному делу в Сибири, Ходкевич довольно осторожно подошел к теме о так называемых «экстраординарных» (негласных) расходах золотопромышленников и даже специально полюбопытствовал узнать: сколько получал от иркутских золотопромышленников тамошний жандармский полковник Келер. По этому последнему пункту я отвечал полным незнанием, так как никакого касательства к иркутским делам не имел. Видимо было, что Ходкевич очень интересовался Келером и не раз косвенными расспросами старался получить от меня какое-нибудь указание; но я добросовестно стоял на одном, что об иркутских делах не имею ни малейшего понятия. В свою очередь и я полюбопытствовал:

— Когда провозили через Омск (Ходкевич имел свою резиденцию в Омске) Чернышевского, вам, вероятно, пришлось его видеть?

— Да, жандармы с ним прямо направились ко мне. Должен вам сказать, что это очень странная личность. Представьте себе, он просил меня передать полковнику Келеру и его семейству поклон и благодарность за вни-

мание и заботы о нем, когда его провозили через Иркутск. И больше ничего.

— Долго он оставался в Омске?

— Нет, сейчас же проследовал далее (то есть после того, как сделал без остановки, от Иркутска до Омска, помнится, около двух тысяч четырехсот верст).

Опять Келер; в данном случае я дело объяснял тем, что Ходкевич, как человек старого закала, мог находить просьбу Чернышевского несовместимой с его, Ходкевича, начальственным положением и мог удивляться, как Чернышевский этого не соображал.

Прошло, помнится, с год, и мне довелось встретиться с Келером в Петербурге на даче у М. К. Сидорова, в свое время небезызвестного сибирского деятеля. Оказалось, что Келер был уже отчислен от должности и главным виновником в этом считал Ходкевича. Я рассказал Келеру, как удивлен был Ходкевич поручением Чернышевского; отсюда у нас завязался разговор о проезде Чернышевского через Иркутск, и вот буквально, что мне по этому поводу сообщил Келер.

Летом 1883 г. было получено в Иркутске высочайшее повеление о разрешении Чернышевскому переселиться в Астрахань. По распоряжению тогдашнего генерал-губернатора Д. Г. Анучина Келером были немедленно командированы в Вилюйск два жандармские унтер-офицера, которые должны были доставить Чернышевского в Иркутск, а затем сопровождать его до Астрахани.

Одновременно было сообщено якутскому губернатору о снаряжении лодки, на которой должен был следовать Чернышевский.

По каким-то совершенно непонятным соображениям сибирская администрация не сочла возможным объявить Чернышевскому в Вилюйске высочайшую милость; ему было только сказано, что по распоряжению генерал-губернатора он должен следовать в Иркутск. Весь путь по Вилюю и Лене до ст. Жигаловой Чернышевскому пришлось сделать в лодке, путь длинный и медленный, так как по Лене лодку тянули бечевой. Только в первых числах октября Чернышевский прибыл в Иркутск.

Мне довелось плавать по Лене, и я легко себе представляю, как исстрадался Н. Г., глядя на своих почтарей, тянувших лямкой его лодку; очень часто почтарям

приходится брести чуть не по колено в воде, и проделывать это, даже когда уже начинаются забереги. К тому же Н. Г. хорошо знал, что почтари не вольнонаемные люди, а отбывают обязательную повинность, лежащую на приленском населении: взамен податей «гонять почту» и возить за прогоны проезжающих.

В Иркутске было заранее решено, что Чернышевский остановится в жандармском управлении на одни сутки, частью для отдыха, частью чтобы снабдить его всем необходимым для дальнейшей дороги.

Рано утром, так около трех часов, Келеру дали знать, что прибыл Чернышевский. С опущенной головой, облокотясь на стол, Н. Г. сидел так, что оказался спиной к Келеру, когда тот вошел в канцелярию. Одет он был подорожному, в каком-то сером пиджаке, в пимах, шуба лежала на полу. На вид ему казалось лет шестьдесят (в действительности было пятьдесят пять лет); в густых, несколько отливающих рыжеватостью волосах едва замечалась седина. Видимо было, что он очень устал (колесного пути от Жигаловой до Иркутска с чем-то триста верст).

Исполнив прежде всего форму, то есть поздоровавшись с жандармами, Келер обратился к Н. Г.

— Здравствуйте, Николай Гаврилович!

Чернышевский, приподняв голову, слегка кивнул и принял прежнее положение.

— Поздравляю вас, Николай Гаврилович, с монаршею милостью.

Слова эти произвели на Чернышевского магическое впечатление; он быстро встал, подошел к Келеру и, протянув обе руки, сказал:

— Полковник, не ослышался ли я: вы, кажется, поздравили меня с монаршей милостью; ради бога, скажите, какая эта милость.

— Вам назначен для постоянного жительства один из городов Европейской России.

Радости Н. Г. не было границ; по словам его, он теперь мог увидать свою жену и детей; он заплакал. Затем, — рассказывал Келер, — мы пошли наверх в приготовленную Николаю Гавриловичу комнату и так как он отказался от отдыха, то занялись чаем.

— А могу я узнать, какой город назначен мне? — спросил Чернышевский.

— Я, собственно, не имею права сказать, но на честное слово, что это останется между нами, сообщаю вам — Астрахань.

За чаем речь шла, конечно, о дороге; Келер спросил Н. Г., не показался ли ему путь из Вилюйска тяжелым и трудным, на что Н. Г. ответил, что, напротив, он ехал очень хорошо и всем доволен. После сопровождавшие его жандармы говорили Келеру, что Чернышевский во время пути по Лене несколько раз принимался плясать и петь. Вероятно, от осеннего холода, да еще на воде, Н. Г. старался согреться разными физическими упражнениями, что и подало повод жандармам думать, что он принимался плясать.

Время за чаем проходило быстро; около десяти часов Келер оставил Чернышевского, так как должен был отправиться к генерал-губернатору с докладом. Но прежде чем уйти, Келер спросил Н. Г., не имеет ли он какой-нибудь просьбы к ген.-губернатору, что по пути можно доложить. Чернышевский попросил о выдаче ему на руки двадцати пяти рублей и снабжении проходным тарантасом. На вопрос Келера, зачем ему нужно то и другое, Н. Г. отвечал: деньги — чтобы давать ямщикам на чай; скорее будут везти; проходной тарантас необходим, чтобы не перекладываться на каждой станции, не выходить без надобности, это избавило бы его от любопытных глаз.

Келер доложил ген.-губернатору о просьбе Чернышевского и, ввиду ее основательности, просил удовлетворить, но вместо двадцати пяти рублей ходатайствовал о ста рублях. Как на приобретение тарантаса, так и выдачу ста рублей ген.-губернатор изъявил согласие.

Вернувшись домой, Келер направился к Чернышевскому; войдя к нему в комнату, он увидал следующую картину: Н. Г. лежал на кровати на голых досках, положив под голову мешок с дорожными вещами; все же постельные принадлежности были сброшены на пол. Чернышевский не спал; заметив, что Келер собирается позвать прислугу, чтобы привести комнату в порядок, просил никого не беспокоить и сам быстро все как следует уложил на кровать. Затем уселись за стол, и тут Келер сообщил Н. Г., что ген.-губернатор удовлетворил все его желания, чем Н. Г., видимо, был крайне доволен. До завтрака оставалось довольно времени; Келер

свел разговор на начало литературной деятельности Чернышевского.

— При посредстве профессора А. В. Никитенко, — говорил Н. Г., — познакомился я с А. А. Краевским и И. И. Панаевым. Краевский дал мне несколько книг для рецензий; последствия одной из рецензий были фатальные: автор книжки, почтовый чиновник, так близко принял к сердцу неблагоприятный отзыв, что застрелился.

Келер спросил Н. Г., не чувствовал ли он угрызения совести, что из-за его статьи человек лишил себя жизни.

— Конечно, я жалел его, но иначе написать не мог; к тому же это был мой первый критический опыт [1].

Рассказывая о вечерах у Краевского, которые он часто посещал (когда сотрудничал в «Отечественных записках»), Н. Г. припомнил, как раз И. С. Тургенев, подойдя к нему и указывая на Мея, человека, по словам Н. Г., крайне раздражительного, сказал:

«Вот человек, которому точно целый мешок блох высыпали на голову».

Когда разговор перешел на участие Чернышевского в «Современнике», то он особенно остановился на одной из своих статей, а именно: рецензии на известную книгу Кинглека о Крымской кампании. В течение, может быть, двух часов Н. Г. рассказывал содержание этой книги, и притом с такими подробностями, что можно было подумать, что он сам был участником осады Севастополя, так хорошо знал он расположение бастионов, батарей, частей войск и т. д.

Из сотрудников «Современника» с большим уважением Н. Г. отозвался о Лакиере (автор «Русской гераль-

---

[1] В вышедшем в 1906 г. первом томе полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского первыми его рецензиями в «Отечественных записках» за 1853 г. оказываются на книги: А. Гильфердинга — «О сродстве славянского языка с санскритским», и д-ра Нейкирха — «Dichterkanon». Последняя, появившаяся в Киеве, была написана на немецком языке. Хотя рецензия на нее и заканчивается словами: «Люди, достойные всякого уважения, часто пишут плохие книги. Нам хорошо известно, что г. Нейкирх основательный и добросовестный ученый, а между тем книга у него вышла плохая. Как это могло случиться? Как могло случиться, не знаем; а что действительно так, читатели могут видеть из нашего разбора», — но рассказ Н. Г. о фатальных последствиях одной из его первых рецензий к книге Нейкирха относиться не может: Нейкирх умер в 1870 г. Потому остается думать, что, должно быть, в полном собрании сочинений Н. Г. есть пропуск. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

дики» и «Путешествия по Северной Америке»), также о Ф. Ф. Корфе (оказался дядей Келера), роман которого «Как люди богатеют» был напечатан в «Современнике» за 1847 г. Но с крайним раздражением говорил Н. Г. о цензоре Фрейганге, также родственнике Келера. Последний стал на защиту Фрейганга, указывая на то, что цензурные рамки 40—50-х гг. были совсем другие, что Фрейганг был человек образованный, пользовался доверием начальства и даже в своем роде был оригинал. Сестра Келера написала роман «Брак, каких мало» (был помещен в «Пантеоне» Кони). Раз Фрейганг спросил ее, как называется роман; и когда та назвала, то сказал: «Благодарите бога, что не мне пришлось его цензировать; а то я бы вот что сделал, — взял бы чернильницу и сразу опрокинул ее на заглавие. Зачем «Брак, каких мало»? а почему не «каких много»?» Этот рассказ вызвал у Н. Г. веселый смех.

Понемногу Келер свел разговор к более близким временам; тут Н. Г. обнаружил явные симпатии к «Голосу» и «Вестнику Европы», а из новейших беллетристов с большой похвалой отзывался о Максиме Белинском.

Обедал Н. Г. со всей семьей Келера, и за едой он ни на минуту не умолкал; а после обеда занялся детьми и рассказал им несколько сказок из «Тысячи и одной ночи». Рассказывая Н. Г. прекрасно и совершенно очаровал своих маленьких слушателей. Затем Н. Г. попросил бумаги и каждому из детей сделал: кому складную лошадку, кому лодочку и т. п.

Между тем время шло, было уже около десяти часов вечера, тарантас стоял на дворе и был запряжен, а Чернышевский все продолжал рассказывать. Он так освоился с семьей Келера, с таким увлечением говорил о предстоящей радости свидания с женой и детьми, что незаметно еще прошли два часа. Однако надо было отправляться; скрепя сердце Келер заявил о том Н. Г. Вся семья Келера вышла проводить его до тарантаса и сердечно пожелала ему счастливого пути. Н. Г. не раз с чувством проговорил: «Очень вам благодарен, всего вам хорошего». Наконец тарантас тронулся; ночь была светлая, лунная, морозная.

Н. Г. не ехал, а мчался; по осенней дороге он на пятые сутки был уже в Красноярске, — тысяча верст от Иркутска.

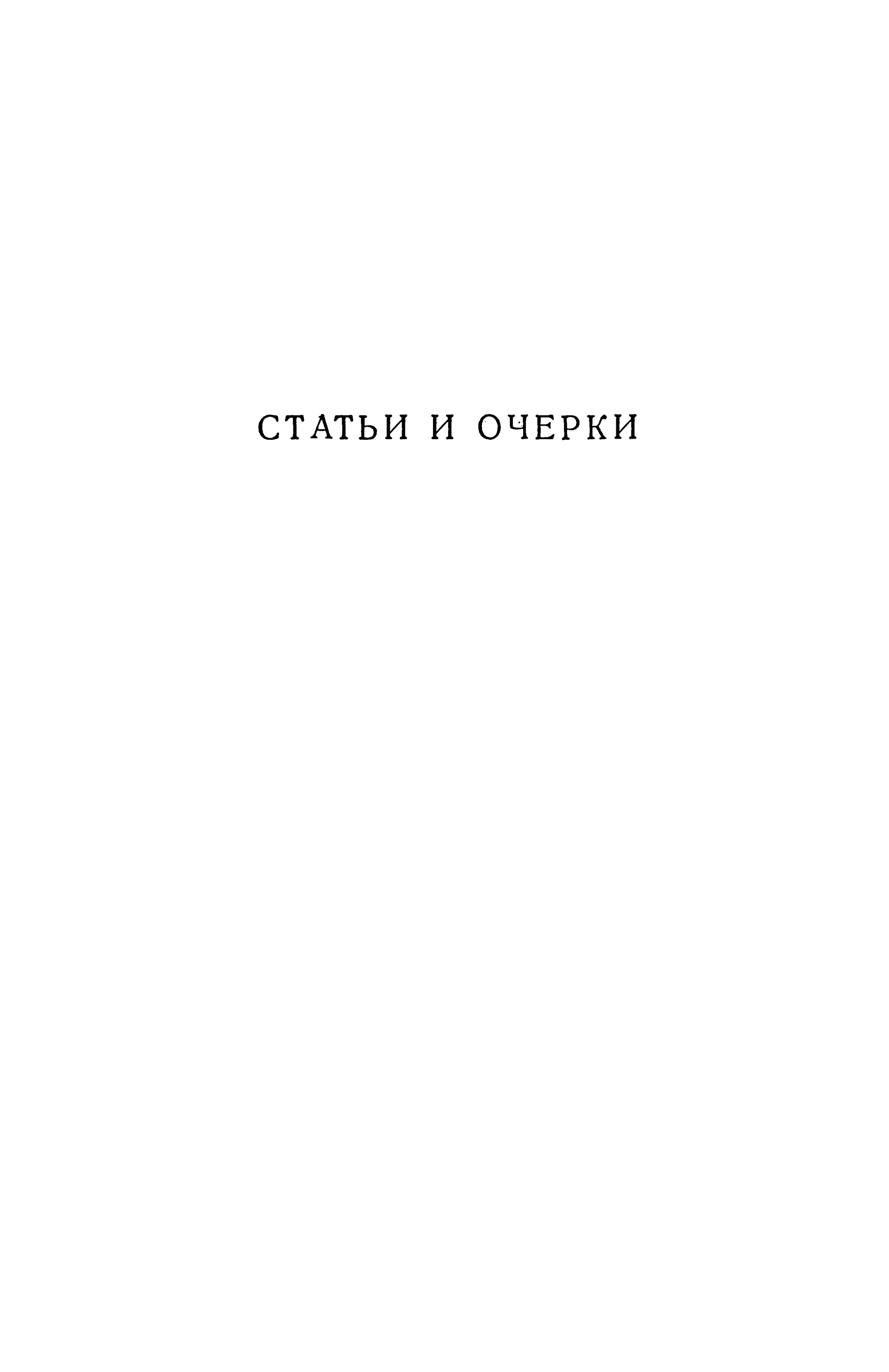
В 1889 г., при свидании с Н. Г. в Астрахани, я сказал ему, что мне случайно пришлось встретиться с Келером.

«Как Келер, так и все его семейство очень хорошо отнеслись ко мне, всегда буду помнить, как они были добры и внимательны ко мне. Если вам придется видеть Келера, пожалуйста передайте ему мой поклон».

Это дало мне повод рассказать Чернышевскому о разговоре с Ходкевичем.

«Совершенно верно, что я просил Ходкевича передать поклон Келеру; вот досадно, пожалуй еще повредил Келеру».

Насколько мне известно, причины неблаговоления Ходкевича к Келеру не имели ни малейшего отношения к какой-нибудь политике, а тем паче к приему, оказанному им Чернышевскому.



СТАТЬИ И ОЧЕРКИ

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 6 октября 1840 г.; значит, всего жития моего исполнилось семьдесят пять лет. От родителя, начальника сольвычегодской инвалидной команды, остался с чем-то шести месяцев; мать переселилась в Вологду, где и получала пенсию — 28 рублей 59 копеек в год. В Вологде, придя в соответственный возраст, обучался грамоте «по гражданской печати» в женском монастыре, но после годичного курса заметных успехов не проявил. За мое обучение беличке Екатерине было заплачено 2 рубля серебром, или целых 7 рублей на ассигнации, как тогда еще большею частью считали, — деньги не малые.

Затем я поступил под наблюдение бездетных стариков-помещиков Ник. Ив. и Ек. Пет. Одинцовых; у них вместо дочери была моя сестра (по матери), уже взрослая барышня. Сестра, отчасти и Одинцов, повели меня по дальнейшей стезе премудрости, посвятили в начала грамматики и первых четырех правил арифметики. И тут я тоже не обнаружил больших способностей; все же по экзамену был принят в 1850 г. в вологодскую гимназию, а в следующем году поступил на бесплатную вакансию в гимназический пансион.

В гимназии шел вообще недурно, причем наибольший интерес обнаруживал к истории. Окончив гимназию, в том же году поступил на юридический факультет Петербургского университета. Из обязательных лекций исправно посещал только Кавелина да Спасовича, на остальных, начиная со второго курса, лишь изредка показывался. Зато не пропускал почти ни одной

лекции Костомарова, хотя он и был для меня уже сторонним лектором. Все время студенчества жил уроками.

Осенью 1861 г., будучи на четвертом курсе, получил на два с половиной месяца казенную квартиру не только с отоплением, освещением, прислугой, но даже с полным содержанием (сначала с чем-то по 2 копейки в день, а потом по 25 копеек) — в Петропавловской крепости. Но зато навсегда был освобожден от посещения университетских курсов. Последнее, однако, не помешало мне в 1863 г. сдать экзамен на кандидата; но степень эта не была признана за мной по причине непредставления диссертации. Тут помешало несколько неожиданное приглашение меня М. Н. Муравьевым в Вильно, тоже на готовую квартиру, со всем прочим. Пробывши там с 12 декабря 1864 г. по 31 декабря 1865 г., был уволен с отличием — шестилетней каторгой. Но человек предполагает, а бог располагает, до каторги я, однако, не дошел, так как в Тобольске, в силу общего указа, был переведен на поселение.

В Сибири оставался до конца 1874 г., все время состоя на службе у енисейских золотопромышленников, сначала у Н. В. Латкина, а потом у Вик. Ив. Базилевского, к которому и до сего дня сохраняю самую сердечную признательность.

Получив увольнение от Сибири, перебрался в Россию, а в конце 1876 г. мог даже устроиться в Петербурге. Но привычка к таежной жизни скоро сказалась, и через какие-нибудь два года я принял предложение отправиться в Амурскую область на управление приисками Ниманской золотопромышленной компании, расположенными в районе вечной мерзлоты. На этом деле я провел четыре года; затем, в 1884 г., сделал еще ревизионную поездку в Олекминско-Витимскую тайгу. При этом главною целью было обследование Надеждинского прииска, того самого, который несколько лет тому назад так печально прославился массовым расстрелом рабочих. Недавно читал в газетах, что ротмистр Трощенко убит на войне; упокой, господи, душу его.

Поездкой на Надеждинский прииск и закончились мои отношения к золотопромышленным делам, если не считать случайного опекунства после смерти одного золотопромышленника.

Как ни тяжела была во всех отношениях золотопромышленная служба, все же должен добром помянуть ее, — она дала мне ту скромную ренту, благодаря которой я стал материально независимым человеком.

В 1901 г. бывший тогда министр внутренних дел Сипягин проявил большую заботливость насчет моего здоровья, ввиду его настояний я на три года перебрался за границу. Там, под благословенным небом Италии, пользуясь совершенным отдыхом и поощряемый моим покойным другом, В. М. Соболевским, я стал несколько чаще пописывать; но, хотя моя первая статейка появилась в печати еще летом 1861 г., все же о своей литературной деятельности умолчу, так как профессиональным литератором себя не считаю. Я просто обыватель, время от времени пописывающий.

С 1877 г., в течение тридцати лет, занимался издательством и выпустил научных и учебных книг приблизительно на один миллион рублей по номинальной стоимости. Затем с этим делом покончил в 1907 г., а года два тому назад даже передал в собственность Литературного фонда остатки моего издательского инвентаря.

2 февраля 1916 г., если до него приведет бог дожить, мне предстоит очередное выбытие из состава комитета Литературного фонда, то есть выхожу в чистую отставку, так как в последние годы, кроме участия в комитете Литературного фонда, ни в каких других общественных делах уже не состоял.

<АВТОБИОГРАФИЯ>

О моем детстве и условиях, в которых рос, я рассказал в «Ранних воспоминаниях». Повторять не стоит; скажу только, что первая целиком прочитанная и не раз *перечитанная* мною книга была география Ободовского. Заинтересовала она меня потому, что во всей гимназии не было последнего издания, а я таким владел (в первом классе), и ее часто брал у меня для справок учитель географии; во втором классе какими-то судьбами прочитал историю Карамзина и получил любовь к историческим книгам. Романов в гимназии читал очень мало, и то исторического содержания.

Я был студентом, перешедшим с третьего курса на четвертый; к этому времени относится первая написанная мною вещь и вместе с тем напечатанная — «Новый наставник русского народа», в лист среднего размера, по поводу брошюры Погодина «Красное яичко для крестьян».

Написав ее и никому предварительно не прочитавши, снес в «Светоч»; там сдал фактическому редактору А. П. Милюкову.

«Придите через две недели за ответом».

Пришел.

«Будет напечатана в ближайшей книжке, по выходе которой можете получить гонорар».

И, к великому моему удовольствию, статейка действительно появилась в августовской книжке «Светоча» за 1861 г. Гонорар я получил без малейшей задержки в размере двадцати пяти рублей и бесплатно, помнится, двадцать оттисков.

Статья вышла без малейших сокращений или исправлений, в том самом виде, как была сдана. Без опечаток дело не обошлось: под статьей вместо Л. Пантелеев оказался А. Пантелеев (хотя в оглавлении было верно) да в тексте проскочили две опечатки, искажавшие смысл.

Я сначала предполагал сдать статью в «Век», где за отъездом на лето Неволина, по его приглашению, за пятнадцать рублей в месяц, составлял по «Сенатским ведомостям» отдел правительственных узаконений; но П. И. Вейнберг заранее отклонил, сказав, что против брошюры Погодина нельзя писать, так как она имеет официозное происхождение.

Печатных отзывов по поводу моей статьи, кажется, не было, но в некоторых литературных кружках она была замечена. Чернышевский, с которым я познакомился с лишком через полгода, раз сказал мне: «Ведь вы пописываете, Лонгин Федорович, что же ничего не приносите?»

На статье, несомненно, отразилось влияние «Современника», но у меня не хватило храбрости направиться с ней в этот журнал.

По разным обстоятельствам лишь через пятнадцать лет после выхода моей первой статьи я мог вновь появиться в печати, в «Тифлисском вестнике» за 1876 г., под псевдонимом «Актолик» или без подписи.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГИМНАЗИИ 50-х гг.

При возбужденном интересе, который в настоящее время обнаруживает русское общество не только к современному, но и прошлому положению нашей средней школы, может быть не лишне напомнить о том коротком периоде, который отделял уваровскую классическую школу от гимназий по уставу 1863 г. Это тем более мне кажется уместно, что, если верить газетным известиям, мы как будто накануне реставрации давно забытого опыта, по крайней мере в некоторых частях его.

Помнится, гр. Уваров оставил министерство в 1849 г.; его место занял кн. Ширинский-Шихматов, перед тем самый заурядный директор департамента министерства народного просвещения. Сейчас же по уходе гр. Уварова в уставе гимназий были произведены крутые перемены. Прежде всего греческий язык был совсем упразднен; если не ошибаюсь, для всего Петербургского округа была сохранена лишь в Петербурге одна гимназия с двумя древними языками. Преподавание латинского языка начиналось с четвертого класса, количество уроков для него было определено: в четвертом классе — четыре, а в остальных, то есть пятом, шестом и седьмом по три урока в неделю. Но этого мало — латинский язык не был для всех обязательным предметом: кто, перейдя в четвертый класс, заявлял о нежелании учиться латинскому языку, тот, начиная с пятого класса, в течение трех лет слушал законоведение (по три урока в неделю); для будущих законоведов свободные в четвертом классе четыре урока даром не пропадали, они поровну делились на усиленные занятия математикой и русским языком.

Вместо же греческого языка для обоих отделений было введено со второго класса естествоведение: во втором и третьем классе проходилась зоология, в четвертом и пятом — ботаника, в шестом — минералогия.

Эта реформа была вызвана не столько сознанием непригодности для России классической школы, сколько подозрением, что изучение древних языков, открывая возможность ознакомления с классическим миром, способствует распространению разрушительных идей. А через двадцать лет эти же языки были признаны лучшим оплотом против тех же вредоносных начал!

Не удивительно, что реформа гимназии, произведенная кн. Ширинским-Шихматовым, одновременно с ограничением доступа в университеты (кроме медицинских факультетов, для всех прочих вместе взятых был определен комплект в триста человек), не встретила сочувствия в лучшей части тогдашнего общества и недолго удержалась. С наступлением новых веяний после Крымской кампании в Петербургском округе, попечителем которого вскоре стал кн. Щербатов, вместо знаменитого Мусина-Пушкина, преподавание законоведения с осени 1857 г. было остановлено; по крайней мере так было в нашей вологодской гимназии. Даже сомневаюсь, закончилось ли оно для тех, кто его ранее начал, потому что в седьмом классе, где оно должно было еще проходиться (я как раз в это время был в седьмом классе), часы его были распределены для добавочных занятий по другим предметам. Так как некоторые из шедших по законоведению в учебный 1857/58 г. заявили о желании отправиться в университеты, то по их просьбе учитель законоведения занимался с ними латинским языком.

Учившиеся законоведению и оканчивавшие с аттестатом получали при поступлении на службу чин четырнадцатого класса; латинисты же при переходе в университет не освобождались от экзамена; от желавших поступить на историко-филологический факультет требовался даже экзамен из греческого языка; но, разумеется, это последнее существовало только на бумаге.

Видимо, наскоро были изготовлены учебники: для законоведения — профессором полицейского права С.-Петербургского университета Рождественским, для естественных наук по зоологии — Ю. Симашко, по ботанике — профессором Шиховским и по минералогии — профессо-

ром Гофманом. Что же такое был учебник Рождественского? Это был том около четырехсот страниц и представлял из себя сжатое изложение действовавших законов. Ни общефилософских, ни историко-юридических понятий в нем не было и следа. Уже не помню, чем нас занимал учитель законоведения на первом уроке каждого года, но все последующие уроки состояли в том, что он нас спрашивал. Задавалось известное количество страниц, и мы выучивали их наизусть; делали это довольно добросовестно, так как при незначительном числе учеников почти все и всякий раз спрашивались. Наш учитель законоведения был человек молодой, кандидат университета, знал европейские языки и, кажется, вообще был человек довольно развитой; но связан ли он был безусловным требованием буквально держаться учебника или сам находил излишним делать какие-нибудь общеюридические и исторические дополнения к нему, — только за два года, что преподавал нам (то есть нашему выпуску) законоведение, он, помнится, сделал от себя одно пояснение, когда речь шла о правах ремесленников: что в Петербурге есть портные, которые работают платье из своего материала (таких в Вологде тогда еще не водилось). Так как законоведение начиналось с пятого класса, то само собой установилось, что мы на уроках его держали себя как взрослые; в свою очередь и учитель, которому не приходилось иметь дело с нами в низших классах, обращался с нами на «вы» и не прибегал к тем дисциплинарным мерам, которые тогда были в большом ходу, а в случае надобности ограничивался лишь простым замечанием, и этого было совершенно достаточно.

Насколько успевали латинисты, не могу судить, так как я шел по законоведению. Помню, что между юристами и латинистами нередко возникали споры, что труднее: латинский язык или законоведение. Мы, законоведы, хотя в душе и сознавали, что латинский язык потруднее, то есть приходилось более готовиться к урокам, однако явно в этом не признавались.

«Что ваши supinum'ы да gerundium'ы [1], а вот запомни-ка — за что прописывается каторга, по скольку лет, сколько плетей, сколько розог кому назначается. Нет, тоже и законоведение не шутка, все вдолбеж надо брать».

---

[1] Формы глагола — супинумы, герундиумы *(лат.)*.



Н. Г. Чернышевский. Фотография 80-х гг.

Как же распределялись ученики по отделениям? то есть что руководило ими при выборе латинского языка или законоведения. Конечно, главное решение зависело от воли родителей. Дети дворян, в большинстве предназначавшиеся для военной службы, дети мелких чиновников заявляли свое предпочтение законоведению; дети же педагогического персонала или дети, родители которых были с высшим образованием, а также дети из духовного звания шли преимущественно по латинскому отделению. Наш выпуск состоял из тринадцати человек; из них только четверо кончили с латинским языком; но благодаря отмене ограничения в приеме в университеты и новому духу, проникшему даже в глухую Вологду, из нашего выпуска восемь человек отправились продолжать свое образование, а ранее это делали один, двое, даже и из более многочисленных выпусков.

На счастье нелатинистов тогда в С.-Петербургском университете профессором латинской словесности был Н. М. Благовещенский; он сравнительно строже экзаменовал лишь подававших прошения на историко-филологический факультет; на прочие же факультеты пропускал без затруднения. Была, впрочем, и гроза — лектор латинского языка Лапшин, тот резал на все факультеты без малейшего снисхождения. В крайнем случае оставалось одно прибежище — ректор П. А. Плетнев, который разрешал переэкзаменовки для провалившихся у Лапшина; и в таком случае экзаменатором назначался Н. М. Благовещенский. В наше время, если и вспоминают о Благовещенском, то скорее как о ректоре Варшавского университета. Я, обязанный ему поступлением в университет, считаю долгом напомнить, что благодаря Благовещенскому не одна сотня молодых людей получила возможность поступить в университет за время от 1855 до 1861 г.

Но я отвлекся от нашей гимназии. Очень хорошо помню первый урок естествоведения; я был тогда во втором классе. После рождества, в час, назначенный по расписанию, входит директор (А. С. Власов, незадолго перед тем прибывший из Петербурга) и с ним какой-то молодой человек в форменном платье учителя. Представив нам молодого человека в качестве учителя естественной истории, директор продолжал:

— Чтоб не пропадало время даром, я еще с начала года распорядился открыть преподавание естественной истории и поручил это бывшему учителю греческого языка (А. Г. Попову, — он, собственно, был преподавателем в семинарии, но учил греческому языку и в гимназии).

Действительно, в наш класс, а вероятно и в другие, приходил бывший учитель греческого языка, приносил с собой какую-то толстую книгу (кажется, «Фауну» Симашко), что-то по ней читал, не обращая внимания на страшный шум, царивший в классе, никогда ничего не задавал, а потому и не спрашивал. Красивые картинки зверей нас очень интересовали, но А. Г. даже и близко не подпускал к книге. «Книга дорогая, — говорил он, — а вы, безобразники, ее, пожалуй, еще запачкаете».

— Не угодно ли вам кого-нибудь спросить, — сказал директор.

Новый учитель, никого не зная, видимо затруднялся; тогда директор сам стал спрашивать.

— Что знаешь? — обратился он к первому ученику (мы сидели по успехам).

Первый ученик встает и, то краснея, то бледнея, проговаривает:

— Есть полип.

— Полип? — с удивлением переспрашивают директор и учитель, — что же такое полип?

— Если его резать на кусочки, то все будет полип и будет жив.

Больше ничего не знал не только первый ученик, но и целый ряд следовавших за ним; отличился только один из великовозрастных.

— Есть у человека шкелет.

— Ах, какое варварское слово, — заметил учитель.

— Шкилет, — поправился наш товарищ; дальше и он ничего не знал.

Учебники, должно быть, еще не были готовы; потому за это полугодие учитель давал нам свои записки. Они начинались так: «Естественная история есть наука, занимающаяся изучением природы; природою называется все, что создано богом. Природа разделяется на три царства» и т. д.

Молодой учитель, видимо, любил свой предмет и старался заинтересовать им и нас. К несчастью, он

слишком хорошо знал пристрастия своих бывших профессоров, Шиховского и Гофмана, то есть чем они более всего интересовались на экзаменах. Еще зоология нас несколько привлекала, и то пока проходили млекопитающих и птиц; но когда наступила очередь ботаники и минералогии, то даже самые прилежные и те едва тянулись. И в самом деле, что могло нас расшевелить, когда в ботанике на первом плане стояла систематика с перечислением тычинок, пестиков и лепестков и т. п., а в минералогии надо было вызубривать определения цвета минералов иногда в три строчки, вроде: голубовато, розовато, синевато, гиацинтово, кармазино, кошениле и т. д. Ни о способах добывания, ни о применении в жизни и помину не было. Учитель выбивался из сил, поощрял нас заводить гербарии, собирать насекомых, минералы, пробовал даже устраивать экскурсии, но приохотить к предмету ему нас не удалось. Невероятная сушь учебников и слишком точное следование им из страха, что мы можем провалиться на экзамене у Шиховского и Гофмана, сделали для нас естествоведение самым скучным предметом.

В половине 70-х гг. мне пришлось встретить того же учителя, для выслуги пенсиона оставленного при гимназии в качестве преподавателя латинского языка в младших классах.

— Где составленные вами коллекции? — спросил я.

— Ничего этого более нет, — с грустью отвечал он, — часть была отдана в женскую гимназию, остальное, вероятно, выброшено.

Почти одновременно с естественными науками была введена маршировка, а потом и гимнастика, но то и другое, помнится, для одних только пансионеров. При тогдашнем воинственном настроении даже маршировка, хотя в ней на первом плане было вытягивание носка и учебный шаг в три приема, менее нас тяготила, чем естественная история, о которой мы постоянно говорили: «Ну, на что она нам?» Для гимнастики решительно не было никаких приспособлений, и уж в чем она состояла, даже и представить себе не могу.

Обучал нас унтер-офицер из местного гарнизонного батальона. К слову сказать, перед гимназией был плац, на котором с весны производилось ученье солдат, и нам

из окон открывалось назидательное зрелище ежеминутного и нещадного битья солдат.

Маршировка была уничтожена в 1855 г.

В начале 50-х гг. в пансионе был введен скоромный стол во все дни, кроме первой, четвертой, седьмой недели великого поста да серед и пятниц того же поста. Содержание у нас было такое: в 8 часов утра тарелка молока (вероятно, снятого) с черным хлебом; в $11^{1}/_{2}$ часов тарелка супу; в $2^{1}/_{2}$ часа обед из трех блюд (суп или щи, кусок вареной говядины под соусом, каша или пирожное); в 8 часов вечером сначала давали стакан сбитню с булкой из первача, потом сбитень был заменен чаем. В общем можно сказать, что кормили нас еще довольно сносно, но аппетит у нас был волчий, и кто не имел средств утром или в полдень покупать булки, а вечером пить свой чай, тот за обедом главным образом набивался кашей, в которой отказа не было.

К тому же времени относится сильно огорчившее всех школьников, да, вероятно, и весь педагогический персонал, сокращение праздников. Опале подверглись почти все двунадесятые праздники; на рождество, не считая кануна, полагалось только три дня; кажется, была урезана и пасха. И это было сделано в министерство кн. Ширинского-Шихматова с товарищем А. С. Норовым! Однако все праздники были возвращены вскоре по вступлении на престол Александра II; и совершенно понятно, что мы, школьники, были в восторге от нового императора; к тому же была введена другая форма, которая нам более нравилась, да, пожалуй, была и удобнее, — вместо мундиров с фалдами, как у фрака, — однобортные сюртуки.

Тогда экзамены кончались в половине июня, а с 7 августа уже начинались классы; так что все каникулы продолжались с небольшим семь недель и быстро проходили. Зато не было в обычае что-нибудь задавать на лето.

В мое время в нашей гимназии (только из семи классов; даже приготовительного не существовало) было средним числом около двухсот воспитанников, в том числе до шестидесяти пансионеров. Из последних, кажется, более половины воспитывались на счет дворянства, приказа общественного призрения и др. Своекоштные пансионеры платили по сто рублей в год. За восемь лет,

которые я провел в гимназии (в первом классе я был два года), помнится, умерло трое: один приходящий, еще в первом классе, через какой-нибудь месяц по вступлении в гимназию, и два пансионера: один во время вакации от холеры, другой, болезненный, вечно в лазарете, умер весной в третьем классе. Ни по случаю сильных морозов (они в Вологде доходят до 30° R), ни по случаю каких-нибудь эпидемий уроки в гимназии не останавливались. Тогда как-то сходили благополучно вещи, теперь способные произвести большой переполох. Со мной был такой случай. При переходе из пятого в шестой класс во время экзаменов я схватил настоящую оспу; первые дни лежал в лазарете в сильном жару и едва даже мог проглатывать питье. Но понемногу жар спал, мне позволили встать с кровати, и тогда я просиживал по целым часам у открытого окна, выходившего на пансионский двор. Лазарет был в нижнем этаже; когда пансионеров пускали на двор, то товарищи подходили к окну, болтали со мной, иногда угощали разными лакомствами. Скоро экзамены кончились, и всех распустили по домам; из-за меня оставался незакрытым лазарет. Между тем оспенные прыщи стали у меня подсыхать; тогда смотритель лазарета, к моему великому удовольствию, заявил мне следующее: «Ну, ты теперь можешь идти домой, только не умывай лица и рук, пока все коросты с них не спадут; и в баню не ходи, и не купайся, пока со всего тела также не сойдут коросты». Я тотчас же домой; а отсюда через какую-нибудь неделю поселился в качестве репетитора у одного помещика, у которого было пять человек маленьких детей. И все сошло, ни с кем ничего не случилось.

Пансионеры на праздники и по воскресеньям отпускались к родителям или знакомым. Для зимы у нас имелись шинели из тонкого сероватого сукна, до поясницы подбитые коленкором — и только. Потом, при перемене формы в новое царствование, были введены пальто из черного сукна, подбивкой служило верблюжье сукно, но тоже лишь на спине. Пансионеров зимой гулять не водили, не пускали также на двор играть; последнее дозволялось только весной, когда наступало тепло. А помещение пансиона состояло всего из одной залы, она была столовой, рекреационной и комнатой для приготовительных занятий. Длина залы была такова, что обеден-

ный стол, сервированный с обеих сторон на шестьдесят человек, как раз занимал все пространство. Наши спальни помещались в нижнем этаже, вросшем в болотистую почву; вышина их была около трех с половиной аршин. Прибавьте к этому совершенно открытые ночные приборы, вроде корыт, и можно себе представить, какой воздух был в наших спальнях. Приходя в них спать, мы, однако, никогда не замечали дурного запаха; поэтому легко можно судить, чем мы дышали в нашем верхнем зале. Но если почему-нибудь случалось входить в спальню прямо с улицы, даже днем, то тут и нас разило. У меня и теперь, когда попадается под нос белье, плохо прополосканное да еще мытое грубым серым мылом, встает воспоминание о нашей пансионской спальне. Больных действительных (по себе знаю, что мнимобольных было не мало) было не много, и физически мы не выглядели плохо[1]. Я думаю, что тут известную, и притом не малую, роль играло то обстоятельство, что мы легко справлялись с приготовлением уроков. Так, в пансионе на приготовление уроков полагалось вечером время от пяти до восьми часов, с небольшой переменой в десять минут, да утром не более $1^1/_4$ часа. И в это время всякий мало-мальски способный и заботливый без труда успевал приготовить все уроки. В восемь часов утра был завтрак, а после него перемена до начала классов. Весной в этот промежуток пускали играть на двор, причем лапта была главнейшим развлечением.

Классные уроки начинались в девять часов, и в каждом классе было только по четыре урока, считая в том числе чистописание и рисование в низших классах. Всякий урок продолжался один час десять минут, так как между первым и вторым, третьим и четвертым уроками были перемены в десять минут, а между вторым и третьим — в тридцать минут. Плата за ученье была пять рублей в год, что по нынешней стоимости денег составит несколько более десяти рублей, но от нее легко освобождали при недостаточности средств. Была, конечно, форма и у приходящих, но к ней не особенно придирались; обязательно требовались форменная фуражка и сюртук.

[1] Из тринадцати человек нашего выпуска несомненно в живых осталось еще девять человек, все мы в возрасте между шестьюдесятью — шестьюдесятью двумя годами. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Никаких ранцев и различных теперешних ученических аксессуаров тогда и в помине не было; даже не справлялись, имеются ли у ученика необходимые учебники. В действительности у многих из приходящих их и не хватало, а потому ходили друг к другу готовить уроки. Я из-за недостатка учебников лишний год пробыл в гимназии. Поступив сначала приходящим, перешел во второй класс; нужны были новые учебники, а у матушки средств не хватало. Вот она и решила оставить меня еще на год в том же классе; между тем прошло месяца три, открылась вакансия, и я поступил в пансионеры.

Было две библиотеки, одна пансионская, всего с десятком книг: «Робинзон Крузе», «Путешествие Дюмон-Дюрвиля», «Часы благоговения» и еще что-то в этом роде. В гимназической библиотеке был запечатанный шкаф, в котором красовались «Отечественные записки» за время Белинского. Новых книг в библиотеке было очень мало; чтение не поощрялось, и получение книг из гимназической библиотеки (и то с четвертого класса) было нелегко. Только с появлением в 1857 г. нового директора А. В. Латышева чтение даже стало прямо рекомендоваться, особенно в старших классах; но в первое время охотников до него было немного. Учебными пособиями наша гимназия была обставлена крайне плохо; например, по географии имелась карта Европы до такой степени истрепанная, что на ней ничего нельзя было разобрать; для остальных частей света были немые карты, и ничего больше. По физике было несколько приборов, но они стояли в шкафах и самое большее, что раз в году показывался какой-нибудь незамысловатый опыт, не всегда удававшийся, как например, с Атвудовой машиной.

Седьмой класс (как я уже сказал, последний) представлял тогда несколько двойственный характер. Совсем новым предметом являлась «космография», то есть основные понятия из физической и математической географии; на нее было назначено два часа; учебник Талызина был недурным для своего времени. Без курса логарифмов и тригонометрии, которые проходили в шестом классе, математическая география была бы немыслима. Заканчивалась физика по очень хорошему учебнику Э. Ленца; затем повторялся весь курс математики, ранее пройденный. По математике были у нас дельные учителя, и гимназия того времени вполне подготовляла к университету.

Еще в седьмом классе проходилась русская история по среднему курсу Устрялова; самый краткий курс русской истории того же Устрялова мы выучивали в третьем классе, затем повторялась всеобщая история (проходились: древняя в четвертом, средняя в пятом и новая в шестом классе). Учебниками по всеобщей истории служили курсы Смарагдова, даже для своего времени мало пригодные. Историей никто с охотой не занимался, и это единственно по вине учителя. То был человек, знавший свой предмет, при объяснении уроков он не довольствовался пересказом того, что было в учебнике, а старался выяснить внутренний смысл событий; но он был крайне мелочный человек, его не любили товарищи учителя, еще более гимназисты, и нелюбовь к учителю переносили на самый предмет. Я лично ему очень обязан; он приохотил меня к чтению научных исторических книг, снабжал ими, и под его руководством я ознакомился в четвертом классе с трудами М. С. Куторги по греческой истории, а в пятом перечитал «Судьбы Италии» Кудрявцева. Уже при мне Смарагдов был заменен еще более негодными руководствами Зуева. Тогда всякие перемены в учебниках исходили только из округа. Некоторые учебники издавались министерством, например учебники по математике Буссе, грамматика Востокова, и были очень дешевы.

И теперешних гимназистов нередко обвиняют в безграмотности; лучше ли мы знали русскую грамматику? Не думаю, сужу по себе, так как постоянно чувствую, что пишу механически, без логического понимания форм языка, а потому, несомненно, и делаю ошибки. Лучше ли мы умели выражать свои мысли, сказывалась ли в них известная зрелость суждения? Тоже весьма сомневаюсь. Русская грамматика преподавалась в первых трех классах; сначала при мне для грамматики и географии был один младший учитель. Он окончил курс только в гимназии и раньше был учителем уездного училища. То был старик, с виду очень суровый, на деле же добряк, пуще всего боявшийся, как бы мы не провалились на экзамене. Он отлично знал, что гимназисты, если дать им писать билеты для экзамена, обязательно переметят их, и тем не менее всегда поручал нам изготовление билетов. Но в течение года единицы и нули сыпались беспощадно, а в углу и на коленях мы искупали свои грехи

в букве «ѣ» или в неуменье показать на истрепанной карте, где течет Везер. Общая география преподавалась первые три года, а в четвертом классе проходилась география России. У нас, школьников, одной из любимых тем для разговора было — кто из учителей ученее другого и как далеко идет их ученость. О некоторых, например об учителе математики Назарьеве, ходили поражавшие нас легенды, что он в уме извлекал кубические корни и знал интегральное исчисление (о котором мы только и соображали, что это хитрейшая штука). Об учителе географии мы тоже были очень высокого мнения; бывало, о какой реке его ни спросишь, куда она впадает, или в каком государстве находится такой-то город — непременно знает; никогда его не удавалось поймать. Это нас просто в изумление приводило. Конечно, Н. П. Титов отлично знал Ободовского и даже старый курс Арсеньева, но вряд ли что-нибудь более. Помню, раз он объяснял нам, что англичане занимаются торговлей и поэтому у них много кораблей. Кому-то вздумалось спросить его: «А у кого лучше флот — у русских или у англичан?» — «Я думаю, — серьезно ответил Н. П. — у нас лучше, потому что в Петербурге есть морской корпус, откуда выходят наши морские офицеры, а у англичан этого нет».

Вскоре для преподавания русского языка в младших классах появился особый учитель, почему-то не кончивший курса Медицинской академии. Из него, кажется, потом выработался незаурядный преподаватель, им даже были составлены какие-то учебники по русскому языку; но в первое время он сам ему еще учился, а потому больше всего упражнял нас в диктовке. С четвертого класса мы поступили в распоряжение старшего учителя, недавно умершего в преклонном возрасте, Н. П. Левитского. Он с честью, под конец своей педагогической деятельности, занимал должность директора училищ. Н. П. Левитский пользовался большим уважением, и мы, находясь в третьем классе, с нетерпением, соединенным, однако, со страхом, ждали перехода в четвертый класс. И действительно, нам потом нередко приходилось терпеть как от его капризов в личных отношениях, так и увлечений в деле преподавания.

Первый урок в четвертом классе по русскому языку. Мы с замиранием сердца ждем учителя. Наконец, изрядно опоздавши, входит он, окидывает нас быстрым

взглядом и горделиво усаживается на кафедре. Что-то читал, кажется из Пушкина. Но вот раздается звонок.

«К следующему разу напишите мне план слова, сказанного митрополитом Филаретом при освящении храма в Троице-Сергиевой лавре (имелось в хрестоматии Галахова)». — И затем удалился.

Мы были повергнуты в изумление. Что такое он задал? Что такое план? Кинулись, конечно, к старшим; те, изрядно поломавшись, разъяснили, в чем дело. Но об этом будет сказано ниже.

Помнится, один урок в четвертом классе посвящался церковно-славянскому языку; но это была совершенно напрасная трата времени, никто им не занимался, да и учитель, видимо, смотрел на преподавание, как на выполнение обязательной формальности. Затем иногда бывали уроки, походившие на историю русского языка; далее, кажется, начатки психологии. У меня еще и теперь в памяти сохранились отрывки из записок учителя: «Разумом мы постигаем бога и вечные идеи, исходящие из него, умом — явления внешнего мира, рассудком — обыкновенные житейские отношения». Более всего, однако, учитель посвящал времени объяснительному чтению из Пушкина, Гоголя — это нам было очень по душе. В пятом классе проходилась так называемая теория прозы; учебника не было, и учитель давал записки; также, должно быть, знакомил нас с началами логики; по крайней мере мое познание о «рогатом силлогизме» идет с этих пор. Этот год был самый скучный. В шестом классе проходилась теория поэзии с краткими сведениями об иностранных литературах, в седьмом — история русской литературы. Довольно часто, особенно в четвертом и пятом классах, мы писали сочинения на заданные темы. Существовал печатный список тем, присланный из округа; большая часть их была совсем неприменима для провинции, так как посвящалась Петербургу, его окрестностям и достопримечательностям; остальная или описательная — восход солнца, гроза и т. п., или нравственного характера — смерть язычника и христианина, необходимость послушания родителям, благость провидения и т. д. Я, помнится, целые полгода писал «Как надо смотреть на порочного человека», а потом — «Может ли существовать в наше время истинная дружба».

В манере преподавания нашего учителя была странная смесь схоластики с живым отношением к делу; может быть, это являлось неминуемым последствием обязательных программ. Так, в четвертом классе он упражнял нас в составлении планов из разных отрывков, находившихся в хрестоматии Галахова. Например, был отрывок из Гоголя, озаглавленный: «Украинская ночь» (он начинался словами: «Знаете ли вы, что такое украинская ночь?»). И вот для этого отрывка надо было составить разграфленный план. Прежде всего — какая главная мысль? В первой графе пишешь — украинская ночь прекрасна. Во второй графе — почему? по небу, по звездам, по воздуху, по земле и впечатлениям. В следующих графах перед небом проставляешь — небо такое-то и т. д. Но, может быть, всего более вредили делу увлечения учителя. Пришла ему раз добрая мысль задать нам написать какое-нибудь письмо. Первый опыт у некоторых оказался довольно удачен; но так как учитель целые полгода заставлял нас писать письма, то можно себе представить, какая бессмыслица вышла из этого; писали мы к папеньке, маменьке, брату, сестре, милому товарищу, — к кому мы могли более писать, а главное, о чем, будучи в возрасте четырнадцати лет (дело происходило в четвертом классе)? Когда мы были в шестом классе, в «Журнале министерства народного просвещения» печатались отрывки из диссертации О. Ф. Миллера «О нравственной стихии поэзии»; как известно, покойный О. Ф. признавал только одну поэзию — индийскую. Это открытие так, должно быть, поразило нашего учителя, что мы лишь в конце года расстались с «Налем и Дамаянти»; затем два-три урока было посвящено объяснительному чтению отрывков из «Антигоны» Софокла и «Макбета»; на том наше ознакомление с иностранными литературами и закончилось. В седьмом классе опять своя история; будучи горячим поклонником Пушкина и Гоголя, которых мастерски читал, Н. П. Левитский так налег по Шевыреву на древнерусскую литературу, что мы к рождеству едва добрались до «Слова о полку Игореве». Потом наступил черед Ломоносова и Державина (мы должны были своими словами рассказывать их оды!), так что весь период с Карамзина занял не более двух уроков.

Немецкий и французский языки были для всех обязательны, но преподавались так неудовлетворительно,

что некоторые забывали в гимназии то, чему раньше дома выучивались. Француз, плохо говоривший по-русски, еще в младших классах несколько занимался с нами, то есть заставлял выучивать спряжение глаголов и разные отрывки; в старших же почти ничего не давал; целые уроки проходили в том, что болтали (конечно, по-русски) разный вздор да взаимно (то есть учитель и ученики) рассказывали анекдоты. Немцев при мне перебывало трое, всех их одинаково называли «колбасниками». Они лучше по-русски знали, но особенной пользы от этого не оказывалось. На первом плане у них стояло выучивание наизусть немецких стихов, а понимаем ли мы их — этим наши учителя особенно не интересовались. Один из них до такой степени любил драться, что даже в те времена за это вылетел из гимназии; но потом по крайности опять был взят.

Обучали нас, конечно, разным изящным искусствам: в первых трех классах рисованию, а пансионеров всех классов танцам, и подчас таким хитрым, что, должно быть, кроме нашего пансиона, их нигде не танцевали. Раз во время танцкласса входит инспектор (а он был мастер в танцах), долго всматривался, наконец спрашивает танцмейстера:

— Что это они у вас выделывают?

— Мазурку-с, — почтительно ответил учитель.

— Вот никогда не видал такой мазурки.

Был гимназический хор, но только духовный — для церкви, имевшейся при пансионе.

Я был при двух законоучителях; у них была одна общая черта — излишняя благосклонность к детям богатых и влиятельных родителей; в остальном же совсем не походили друг на друга. Первый из них, отец Петр, даже для тех времен был поразительно слаб в своем предмете; он всегда спрашивал, имея перед собой учебник, не расставался с ним даже на экзаменах, пряча в рукав своей рясы. Самые неправдоподобные опечатки в учебниках не возбуждали в нем ни малейшего сомнения, и если на них указывали, то он в крайнем возбуждении отвечал:

«Как, ты смеешь не верить тому, что напечатано в книге? Да вот я на тебя инспектору пожалуюсь, так он тебе такую опечатку пропишет, что до старости не забудешь!»

Шум в классе на его уроках всегда был невероятный; а спрашивал он с места. Стоило только говорить без запинки, почти что хочешь, и ставился хороший балл. Но если почему-нибудь отец Петр решался поставить неудовлетворительную отметку, то жертва его суровости просто не допускала этого сделать, хватала его за руку, и в большинстве случаев вместо балла в журнале получался большой клякс. До чего он был прост, можно судить хоть по следующему случаю.

Раз в четвертом классе одному ученику почему-то вздумалось его спросить: «Лютеране христиане ли?» — «Лютеране христиане ли?! ах ты такой-сякой, князья, графы и те в каторгу пошли, а тебя за такие вопросы мало что в Камчатку сослать!» Сменил его при Власове тоже немолодой священник, магистр богословия, славившийся в Вологде как проповедник. В младших классах он говорил обыкновенно «душеньки мои», а в старших — «дорогие мои»; но его не любили, всем чувствовалось что-то неискреннее. В старших классах любил поговорить о разделении церквей, о патриархе константинопольском Фотии, о Марке Эфесском, ересях в лютеранстве, пагубе вольтерианства. Но, как и многие учителя того времени, больше всего опасался, как бы мы не срезались на экзамене. Потому любезно поручал нам приготовление билетов и раз на вопрос товарища — как приготовить билеты — многозначительно ответил: «Уж это вы сами лучше знаете, как надо сделать». Он, однако, не долго оставался в гимназии, слишком часто манкировал уроками по причине одной слабости. Любознательность тоже не особенно поощрял; раз я его спросил: что такое теология?

«Не знаете? — ответил он своим певуче-слащавым тоном, — лучше, если и не будете знать».

Певчие, в крайнем случае, всегда могли рассчитывать на некоторое снисхождение на экзаменах, особенно по закону божию. Но хоровому пению не обучали; сами же мы очень любили попевать, и в зимние вечера наш пансионский зал частенько оглашался излюбленными: «Под вечер осенью ненастной» и особенно «То ли дело жизнь студента». Но когда дошло до нас «Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон», то, кажется, во все время войны не сходило с нашего репертуара.

Слабую сторону тогдашнего преподавания (я, разумеется, имею в виду нашу гимназию, — однако она считалась чуть ли не лучшей в округе, конечно из провинциальных) составляли две вещи. Учителя, хотя далеко не все, объясняли задаваемые уроки, но не особенно при этом интересовались — усваивали ли мы объясняемое; переспрос очень часто вызывал замечание: «А ты слушай внимательнее, тогда и будешь понимать». В результате получалось то, что мы с нетерпением ожидали момента, когда учитель начнет объяснять урок, не потому, что хотели его усвоить, а потому, что это значило — больше сегодня никого спрашивать не будет. Редким исключением был молодой учитель А. А. Мешков, который менее тратил времени на спрашивание, чем на объяснение будущего урока, и всегда старался убедиться, поняли ли мы, что он объяснял. Второе: ни учитель, ни начальство никогда не входили в соображение, почему кто-либо плохо идет, а иногда и целый класс, за исключением двух-трех. Малоуспешность прямо относилась к лени и отчасти к недостатку способностей. Против того и другого практиковался целый арсенал исправительных мер. Ставление в угол, на колени, оставление без обеда и отпуска (для пансионеров) на праздники и, наконец, розги. Все это стало выводиться лишь при А. В. Латышеве. В первое время при мне розги были в большом ходу; еженедельно, особенно пансионеры, возбуждались ими к прилежанию. Те же меры применялись и за шалости или проступки. Увольнение за малоуспешность редко практиковалось, только пансионерам-стипендиатам не дозволялось оставаться более двух лет в одном классе. При мне, кажется, было только два случая исключения за поведение. Раз один приходящий попался директору Власову в пансионе на страстной неделе с картами. Несмотря на суровые взыскания, картежная игра была сильно развита в старших классах, и притом на деньги. Играли преимущественно в три листика и ландскнехт. И не удивительно: тогда дети у себя дома только и видели карты да слышали разговоры о них. О другом случае исключения скажу несколько ниже.

За мое время очень многие не оканчивали курса, даже вполне удовлетворительно занимавшиеся. Успешное прохождение первых трех классов давало права, равные окончанию курса в уездном училище; дети мелких

чиновников иногда этим и довольствовались и размещались по разным канцеляриям. Дети же дворян нередко покидали гимназию после четвертого класса, когда по возрасту уже могли рассчитывать на поступление в юнкера; из моих товарищей пятеро пошли в военную службу, не окончив курса. Я сам только потому не попал в юнкера, что, как стипендиат, не имел права уволиться.

Насколько мы (нормально оканчивавшие гимназию в семнадцать лет) вообще по своему развитию были подготовлены к слушанию университетских курсов? Я поступил на юридический факультет, и первые две недели лекции по энциклопедии законоведения мне не особенно давались. Причиною этого было обилие терминов, которые лектор не считал нужным предварительно пояснить, да превыспренний тон, которым отличался проф. Калмыков. Он, говорят, когда был директором гимназии (одно время многие профессора были в то же время и директорами гимназий), вместо того чтобы сказать служителю: «Позвони перемену», выражался так: «Страж, возвести юношам, что настал час отдохновения». От моих товарищей, которые разбрелись почти по всем факультетам, жалоб на трудность понимания лекций в первое время ни от кого не слыхал.

Вполне присоединяюсь к недавно высказанному замечанию Н. Н. Бекетова, что в прежнее время, расставаясь с гимназией, сохраняли о ней только доброе воспоминание и потом дружески встречались со своими бывшими наставниками; так же и те к нам относились. Едва я приехал в Петербург, как пошел к А. С. Власову, тогда директору коломенской гимназии. В Вологде Власов держал себя как-то свысока; но теперь он встретил меня весьма радушно, оставил у себя обедать и просил бывать по праздникам. Приехал на вакации в Вологду, точно в свою семью попал, так встретила меня старая гимназия. Конечно, не всех учителей мы любили; иные обращались с нами грубо (кроме директора А. В. Латышева да учителя законоведения, почти все говорили нам «ты»), часто на самом деле были несправедливы по отношению к нам, но все это как-то скоро забывалось. Может быть потому, что не было систематического подсматривания, слежения за каждым шагом (тогда, напр., и в помине не было, чтобы надзиратели визитировали приходящих, живущих не у родных), мы не видели ежеми-

нутного и явного вторжения в наш внутренний мир. Я уже сказал, что в первые годы моего учения чтение не поощрялось, но почему? по несколько узкому соображению, что оно отвлекает от приготовления уроков. Но были, однако, два лица (я при них был только в первом классе), которые возбуждали всеобщую ненависть, — это инспектор Ф. Н. Фортунатов и гувернер И. И. Дозе, из немцев, которые в систему возвели шпионство; их никто и никогда добром не вспомнил, хотя инспектор был человек большой учености. С ним произошла какая-то темная история. Раз, когда он сидел у себя в кабинете (а дом был одноэтажный и низенький), через окно полетели кирпичи, но благополучно его миновали. За эту историю несколько человек из приходящих было исключено.

У меня, в частности, от гимназического времени осталось одно недоброе воспоминание — это о нашем пансионе. Я рос в крайней нужде; отца не было, состояния никакого не имелось, матушка получала пенсию в размере двадцати восьми рублей в год да кое-что зарабатывала от рукоделия, и мы должны были ютиться в самых бедных квартирах. Моими сверстниками были дети мелких мещан, звонарей, совсем спившихся чиновников. Перед моими глазами происходили сцены весьма незастенчивые, до уха моего долетали разговоры не совсем скромные; я знал, что зачем-то кладбищенский дьякон ходит по ночам к нашей соседке, а другая соседка часто бывала у какого-то барина, приносила от него гостинцы и даже мне их давала. Но никто не пытался разъяснить мне смысл этих отношений, вовлечь меня в какой-нибудь соблазн. В возрасте около двенадцати лет я поступил в пансион. С первого же дня меня поразили какие-то разговоры, намеки, странные прозвища; а через какую-нибудь неделю я уже знал о вещах, о которых лучше было бы никогда не знать. Но независимо от этого, все недостатки в характерах нигде так резко не сказываются как в обязательных сожительствах, и в детском возрасте, столь восприимчивом, легко переходят от одного к другому.

Скучно тянулись в пансионе зимние вечера, никаких общих или кружковых чтений и в помине не было. Игры сколько-нибудь оживленные не разрешались, да и негде было играть при тесноте нашей залы. Самые игры по

большей части отличались грубостью — завяжут глаза, и вот отгадывай, кто тебя ударил ниже поясницы толстым жгутом или всей пятерней. Но что удивительнее, именно в этого рода играх нередко принимали участие гувернеры.

Время коротал ось преимущественно в разговорах; но — боже мой — какие это иногда бывали разговоры! Одни рассказывали о своих летних похождениях с крепостными девушками, другие о доходах их родителей-чиновников. Как теперь помню, один товарищ, Д. Н. Раков, повествовал, что его отец замечательно умный человек, и в доказательство демонстрировал копию с его послужного списка. «Вот видите, как много должностей переменил он; а почему? А потому что был умница; возьмет где-нибудь здорово, поделится с кем нужно и сейчас же переведется на другое место». — «В участке твоего отца беднота живет, только одна и пожива, что разве от мертвого тела; а вот в нашем стану так всё торговые села, дом у нас полная чаша, — ничего покупного; к одним только праздникам торговцы столько нанесут, что в кладовой места не хватает. Да и советник говорил отцу, когда тот отправлялся на место: «В этом стану двести рублей в месяц так же верны и святы, как казенное жалованье».

Первые годы моего пребывания в пансионе напоминают мне еще о возмутительных отношениях старших воспитанников к младшим. Старшие не только отнимали у младших лучшие порции, домашние гостинцы, били их — так, от нечего делать, но и позволяли себе всякого рода нравственные издевательства. На все это гувернеры смотрели не только сквозь пальцы, но даже прямо заявляли такой принцип: если сорок девять маленьких жалуются на одного старшего, то их всех надо наказать. Это неограниченное самоуправство старших стало постепенно ослабевать при Власове и совершенно вывелось при Латышеве.

Пансионы в начале 60-х гг. почти повсеместно были закрыты. Тут играло роль не одно только предубеждение против них, а и то, что дворянство стало прекращать отпуск денег на стипендиатов; своекоштных же было не так много, чтобы можно было содержать пансионы. Теперь под именем интернатов пансионы всюду возрождаются; надо желать, чтоб они по возможности всего менее походили на прежние пансионы.

Весной 1858 г. стало известно, что в Вологде будет государь. Принялись за чистку гимназии, а воспитанников стали обучать, как следует отвечать на приветствие государя. Явился из местного гарнизона унтер-офицер; отходил несколько к дверям, потом, повертываясь на носках, кричал: «Здорово, ребята!» — «Здравия желаем, ваше величество!» — дружно отвечали мы. Эта муштра продолжалась недели две. Наконец приехал государь, посетил гимназию; мы, приходящие, как и пансионеры, были собраны в пансионской зале. Вошел государь. «Здравствуйте, господа», — сказал он обыкновенным голосом, обращаясь к нам. Далеко не все, и притом в разноголосицу, пролепетали: «Здравия желаем, ваше величество!» (Не от страха, а ждали: «Здорово, ребята!») — «Почему не все в одной форме?» — спросил государь. Директор (А. В. Латышев), не страдая находчивостью, смутился и сказал: «Одни бедные, другие богатые». А на самом деле: приходящие и пансионеры. Окончившие, тринадцать человек, были поставлены особой группой. Директор позволил себе обратить внимание государя, что из числа их девять отправляются для получения высшего образования. Государь на это ничего не сказал, а прошел далее. На том наше представление государю и окончилось.

Здесь я мог бы и закончить свои беглые воспоминания о гимназии 50-х гг., но я позволю себе сказать несколько слов по поводу толков о необходимости введения законоведения в курс гимназии. Не думаю, чтобы это принесло пользу нашему юношеству. В смысле подготовки в университет, специально по юридическому факультету, гимназический курс законоведения ничего не даст, в университете все равно лекции будут начинаться, как говорится, с аза. В смысле содействия общему развитию сжатое изложение главнейших отделов действующего законодательства, — а ведь на деле непременно так и будет, — что может дать? Как практическое знание, пригодное для жизни, — решительно ничего.

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

К истории возникновения Литературного фонда (По архивным материалам)

В № 11 «Библиотеки для чтения» за 1857 г. А. В. Дружинин напечатал статью, в которой познакомил публику с английским Фондом для поддержки нуждающихся литераторов и вместе с тем горячо рекомендовал устройство подобного общества в России. Что Дружинину всецело принадлежит почин в этом прекрасном деле, мы имеем свидетельства лиц, принимавших самое деятельное участие в первоначальной организации Литературного фонда. Вот слова К. Д. Кавелина: «Вопрос об основании в России Литературного фонда был возбужден А. В. Дружининым». В № 13 «С.-Петербургских ведомостей» за 1860 г. И. С. Тургенев по поводу фельетона «Северной пчелы», в котором ему приписывалась инициатива в устройстве Литературного фонда, категорически заявил, что вся честь в этом деле принадлежит А. В. Дружинину, а он, Тургенев, по просьбе Дружинина лишь составил отчет об обычном ежегодном обеде Литературного фонда в Лондоне.

Идея А. В. Дружинина встретила живейшее сочувствие в литературных кругах, «между которыми, — по словам Кавелина, — в то время вследствие нового царствования и возбужденных им надежд существовало замечательное и небывалое единодушие». После обмена мыслей между главнейшими представителями петербургской печати, составление устава Общества было

возложено на А. В. Никитенко. «В то время, — говорит Кавелин, — он еще считался почтенным человеком и пользовался общим уважением». Но Никитенко, как свидетельствует тот же Кавелин, «мямлил, ленился, не умел совладать с уставом». Тогда его наброски были переданы Андр. Парф. Заблоцкому-Десятовскому и Кавелину, которые в одно утро и составили устав, взяв за образец устав Императорского Географического общества[1]. Выработанный ими проект устава был одобрен кружком литераторов, ближайшим образом интересовавшихся делом устройства Литературного фонда, и 16 февраля 1859 г. устав при прошении за подписями П. В. Анненкова, С. С. Дудышкина, Н. Г. Чернышевского, А. П. Заблоцкого-Десятовского, Егора П. Ковалевского, Алексея Дм. Галахова, А. В. Никитенко, К. Д. Кавелина, А. А. Краевского и И. С. Тургенева был представлен министру народного просвещения Евграфу П. Ковалевскому. Прошение состояло в следующем:

«Нижеподписавшиеся, представляя при сем на благоусмотрение ваше проект устава Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым и их семействам, составленный по примеру устава подобного общества, существующего для пособия вдовам и сиротам медиков, покорнейше просят ваше высокопревосходительство оказать высокое покровительство означенному учреждению, исходатайствовав оному высочайшее утверждение».

Ссылка на мало кому тогда известное Общество для пособия вдовам и сиротам медиков была сделана, конечно, для того, чтобы показать, что в проекте писателей нет чего-нибудь совсем нового, не существующего в России.

Так как в числе подписавшихся под прошением был Егор П. Ковалевский, родной брат министра народного просвещения, то, конечно, последний был своевременно и хорошо осведомлен; потому уже 18 февраля он вошел в сношение с министром внутренних дел. «Некоторые из литераторов и ученых, — писал Ковалевский министру внутренних дел (Ланскому), — представив мне проект устава Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, просят об исходатайствовании оному вы-

---

[1] Заметки К. Д. Кавелина о Литературном фонде. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

сочайшего утверждения... Препровождая при сем вашему высокопревосходительству означенный проект, я обращаюсь к вам, м. г., с покорнейшей просьбой почтить меня уведомлением, должно ли предполагаемое общество, как благотворительное, состоять в ведении министерства внутренних дел, или же, по положению лиц, вспомоществование коим оно имеет целью, должно подчиняться ведомству министерства народного просвещения, и в последнем случае не изволите ли встретить препятствия к исходатайствованию высочайшего утверждения помянутому проекту, в котором, со своей стороны, я не нахожу ничего противного существующим положениям».

7 марта Ланской, возвращая проект устава, отвечал, что, «по его мнению, Общество должно состоять в ведомстве министерства народного просвещения» и что он «не встречает с своей стороны никакого препятствия к представлению этого проекта на высочайшее утверждение». Кроме подписи Ланского стоит еще: директор Н. Милютин.

Так как в проекте устава имелся § 16, в котором говорилось, что «общество и иногородные его члены, адресующие к нему свои письма, пользуются правом пересылки по почте письменной корреспонденции без платежа весовых денег», то министр народного просвещения вошел по поводу этого параграфа в сношение с главноначальствующим над почтовым департаментом действительным тайным советником Прянишниковым (известным собирателем картин русской школы), от которого 28 марта и последовал ответ, что он признает «совершенно невозможным изъявить согласие», так как высочайшим повелением ему «вменено в обязанность обратить особое внимание на ограничение даже и казенной корреспонденции, бесплатно пересылаемой по почте».

По получении отзывов Ланского и Прянишникова дело об уставе из департамента министерства народного просвещения поступило на заключение Главного правления училищ, в котором оно и слушалось 5 мая. При этом почему-то директором департамента министерства народного просвещения Ребиндером была доложена справка по делу, никакого отношения к ходатайству литераторов не имевшему. В августе 1856 г. надворный советник Малиновский прошением на высочайшее

имя ходатайствовал о высочайшем соизволении «на составление путем добровольной подписки капитала, проценты с которого должны были выдаваться в виде награды за практически полезные открытия, приспособления и ученые труды по всем отраслям человеческих познаний». По поводу прошения Малиновского комиссия прошений вошла в сношение с Главным правлением училищ. Последнее в свое время ответило, что проект Малиновского «заслуживает одобрения», но вместе с тем выразило сомнения в успехе предприятия, потому и не находило возможным дозволить открыть подписку. Это заключение Главного правления училищ 29 марта 1858 г. удостоилось высочайшего утверждения.

Однако эта справка не имела никаких неблагоприятных последствий для исхода дела об уставе в Главном правлении училищ. Признавая полезным учреждение Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым на основаниях, в проекте устава заключающихся, за исключением § 16, Главное правление училищ полагало «на приведение сего в исполнение испросить высочайшее соизволение». Под журналом, кроме министра, подписались члены: Иаков Ростовцев, Конст. Сербиновича, Пав. Гаевский, Петр Плетнев (ректор Петербургского университета), Ив. Делянов (попечитель Петербургского округа), Николай Ребиндер, кн. Ник. Цертелев и правитель дел Кисловский.

Но прежде чем быть представленным на высочайшее утверждение, устав должен был еще побывать в комитете министров, через который тогда проходило разрешение всяких обществ. За отъездом из Петербурга Ковалевского дело об уставе Литературного фонда поступило в комитет министров от имени товарища министра Муханова, незадолго перед тем переведенного на этот пост из Варшавы (он заменил кн. П. А. Вяземского). Комитет министров (управляющий делами — статс-секретарь Акинфий Петр. Суковкин) прежде всего затребовал список учредителей общества (собственно подписавших прошение), а затем обратил внимание и по существу дела. Комитет министров полагал возможным «разрешить учреждение в С.-Петербурге Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым и утвердить составленный для него проект устава с тем, чтобы в уставе сем были сделаны следую-

щие дополнения: 1) что означенное общество должно состоять в ведении министерства народного просвещения и 2) что, независимо от определяемой в §§ 28, 29 и 42 устава годовой отчетности для собраний общества, комитет оного обязан представлять министерству подробный отчет о действиях своих за истекший год с поименованием притом всех без исключения лиц, получивших от общества пособия, и с объявлением послуживших к назначению оных уважений». На «положение» комитета министров последовало высочайшее соизволение, о чем и было сообщено министру народного просвещения.

21 июля управляющий министерством народного просвещения вновь представил в комитет министров проект устава с теми дополнениями, которые были затребованы комитетом министров (статьи 2-я и 45-я действующего устава Общества), прося о поднесении оного на высочайшее утверждение. В то же время Муханову пришлось спешно исправлять свой промах: он, должно быть, полагал, что высочайшим соизволением на журнал комитета министров от 9 июня окончательно разрешена судьба устава, а потому, вставив в него §§ 2 и 45, 4 июля препроводил министру юстиции (В. Н. Панину) для надлежащего распубликования через правительствующий сенат; но потом в министерстве народного просвещения спохватились и 23 июля просили департамент министерства юстиции вернуть обратно как устав, так и отношение, при котором он был послан.

Наконец 13 августа Суковкин сообщил Муханову, что «проект устава удостоен рассмотрения и утверждения его величеством в Ропше 7 августа 1859 года».

Таким образом, менее чем через полгода от подачи прошения устав Литературного фонда получил законную силу. Если принять во внимание, что дело о нем побывало в четырех ведомствах, а также обычную у нас медлительность в направлении дел о разрешении обществ, особенно в прежнее время, то нельзя не признать, что ходатайство литераторов, видимо, везде было не только сочувственно встречено, но и все старались, сколько возможно, способствовать его скорейшему осуществлению.

ПАМЯТИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО[1]

Посвящается моему другу М. А. С<ечено>вой

Мое литературное знакомство с Чернышевским относится еще ко времени, когда я был в вологодской гимназии и в «Современнике» печатался ряд его статей «Очерки гоголевского периода русской литературы», помнится, без подписи автора. Сомневаюсь, удалось ли мне прочитать все статьи, так как доставать журналы было не легко. Насколько гимназист мог быть в те времена горячим поклонником Гоголя — я таковым был; вероятно, благодаря этому и принялся за чтение статей Чернышевского. Но они скоро и сами по себе заинтересовали меня, так как давали для того времени необыкновенно ценные сведения по истории нашей новейшей литературы. Конечно, за исключением чисто исторического материала, многое в них для меня было совершенно непонятно; но там в самом начале говорилось о Николае Полевом, Сенковском, Надеждине, Вяземском. Первый был мне особенно симпатичен, как самоучка, как выходец из народа. За это я ему даже прощал его отрицательное отношение к Гоголю. По счастливой случайности мне удалось перечитать чуть ли не за целый год «Московский телеграф», тот самый год, когда в нем велась особенно резкая полемика с Надеждиным (Надоумко). О втором слыхал от моего приятеля Ев. Вас. Кичина, смотрителя вологодского уездного училища, как об

---

[1] Некоторый фактический материал о Чернышевском можно найти в моих «Воспоминаниях из прошлого» — в 1-й кн., главным образом в главе «Земля и воля», и во 2-й кн. «Из воспоминаний о Н. Г. Чернышевском» и «Н. Г. Чернышевский в Иркутске по дороге в Астрахань». (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

остроумнейшем русском писателе и по настоянию Кичина что-то прочел в старых номерах «Библиотеки для чтения». От того же Кичина узнал, что Надеждин — умнейший и ученейший человек, по его словам, — одно время проживал в Усть-Сысольске: по «распоряжению высшего начальства», как дипломатически выражался Кичин. Небезызвестно мне было и имя Вяземского по рассказам моего патрона, старика Н. И. Одинцова, который вместе с Вяземским воспитывался в Петербургском иезуитском пансионе. В гимназии же я прочитал, уже за подписью Чернышевского, «Русский человек на rendez-vous» («Атеней», № 3, 1858). И тут основную мысль Чернышевского я воспринял в слишком узком смысле, то есть в отношениях русского интеллигента к женщине.

Поступив в университет, я на первом курсе вращался почти исключительно в кружке товарищей земляков. Старшие по курсам почитывали главным образом беллетристику; от них имени Чернышевского не доводилось слышать. Но, должно быть, в самом начале 1859 г. я познакомился с бывшим штабс-капитаном Преображенского полка Ник. Ив. Ореусом; он в то время был инспектором придворной певческой капеллы, где я, по его приглашению, давал уроки малолетним певчим по общеобразовательным предметам; летом даже жил у него на даче. Ореус, хорошо зная иностранные языки, много читал, например Шлоссера, Гервинуса, пробовал даже переводить их и был горячим поклонником «Современника», особенно увлекался Добролюбовым и Чернышевским. У нас выходили частые споры, так как я оставался еще под влиянием «Русского вестника», к которому пристрастился в гимназии. Благодаря Ореусу[1] я, однако,

---

[1] Ореус был типичным представителем своего рода многочисленных из широкой публики поклонников «Современника». Мое более близкое знакомство с ним продолжалось до осени 1862 г. Он скоро оставил капеллу и вернулся в Преображенский полк. В своих личных делах Ореус, тогда еще холостяк, был крайне нерасчетлив, и к 1862 г. у него почти ничего не осталось из довольно солидного капитала, который был выделен ему отцом (сенатором). После майских пожаров 1862 г., осенью того же года, Ореус говорил мне: «Дело, очевидно, идет к революции, правительство возьмет верх, потому что на его стороне сила. Я не хочу, чтобы эта сила раздавила меня, а потому и примыкаю к ней». Ореус умер на Кавказе в чине генерала, кажется вскоре после турецкой войны. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

стал с большим интересом следить за «Современником» и в частности за Чернышевским (к Добролюбову тяготение сказалось у меня ранее). Я уже стал понемногу сдаваться к тому времени, как на втором курсе вошел в кружок бывших воспитанников Педагогического института, переведенных в университет по закрытии института. То был очень серьезный кружок (большею частью историки-филологи); к нему принадлежали впоследствии известные профессора: В. И. Модестов, В. Г. Васильевский, много обещавшие и рано умершие Смирнов и Е. Фортунатов, уже учительствовавший Д. Ф. Щеглов — товарищ по курсу Добролюбова — и другие. Об этом кружке есть особая глава в моих «Воспоминаниях из прошлого» (I ч.). Чтобы не повторяться здесь, скажу только, что отличительною чертою этого кружка был радикализм как в философском, так и политическом отношении. В кружке «Современник» пользовался преимущественными и горячими симпатиями отчасти и потому, что большинство его было из семинаристов; притом некоторые хорошо помнили Добролюбова по институту.

В те порядочно-таки наивные времена всякая новая мысль, кем-нибудь пущенная в обращение, огромным большинством читающей публики принималась как собственное измышление высказавшего ее. Не так было в кружке; многим из входивших в него были в подлиннике известны Фейербах, Бруно Бауэр, Макс Штирнер и французские писатели от Сен-Симона до Прудона включительно. Потому в кружке ни философские идеи, проводимые Чернышевским, ни его политико-экономические воззрения не производили впечатления чего-то свалившегося с неба. «Это написано по Луи Блану, тут в основу положены идеи Фейербаха» — такие замечания нередко можно было слышать в кружке по поводу той или другой статьи, появившейся в «Современнике», и в частности Чернышевского. Зато полемика «Современника», особенно развенчивание им разных домашних авторитетов, преимущественно профессоров, принимались в кружке с увлечением. «Полемические красоты», как известно, вызвали в свое время не только величайшее негодование в лагере, враждебном «Современнику», но и в нейтральных кругах далеко не встретили одобрения. Я недавно перечитал «Полемические красоты» и решительно не мог понять, чем они так провинились; подивился лишь од-

ному, что Чернышевский мог удостоить Громеку чести полемизировать с ним: ведь он хорошо знал, что Громека был человек совершенно необразованный.

Из членов кружка, как припоминаю, несколько неодобрительно высказался относительно «Полемических красот» А. Г. Новоселов (впоследствии директор одной из московских гимназий); зато Модестов, Васильевский были просто в восторге от них.

Сначала как депутат кассы, а потом как один из редакторов «Студенческого сборника» (невышедшего 3-го выпуска), я имел большое знакомство между студентами всех курсов и факультетов. И вот факт, не лишенный некоторого интереса. Если не считать членов «Педагогического кружка» (я познакомился с ними, когда они были уже на третьем и четвертом курсе), при всем напряжении памяти решительно не могу припомнить ни одного товарища по университету, поступившего ранее 1858 г., который был бы большим поклонником «Современника»[1]. Почитывали его, конечно, очень многие, но исключительных симпатий к нему не обнаруживали. В то же время не пользовался особенным расположением петербургских студентов и «Русский вестник», лучшая его пора прошла, — то были 1856—1858 гг. Дружининская «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки» настолько интересовали, насколько в них время от времени появлялись выдающиеся беллетристические произведения (например, «Тысяча душ» Писемского в «Отечественных записках») или исторические труды Н. И. Костомарова (в тех же «Отечественных записках» — «Богдан Хмельницкий», «Стенька Разин»).

---

[1] В виде исключения, пожалуй, могу назвать Юр. Ст. Лыткина из зырян Вологодской губернии. Он был на восточном факультете и кончил курс весной 1859 г. В тот год, что мы были вместе в университете и даже жили на одной квартире, никакая политика Лыткина совсем не интересовала. По окончании университета он был командирован на два года в Астраханскую губернию для дальнейшего изучения калмыцкого языка. Оттуда вернулся в самый разгар студенческой истории 1861 г., совершенно охладевший к своей прежней специальности; зато сильно увлекся тогдашним движением, стал горячим поклонником Чернышевского. Через некоторое время вступил в общество «Земля и воля», у него на квартире была даже устроена тайная типография. Должно быть, в начале 70-х гг. Лыткин совсем отошел от прогрессивных кругов; все время преподавал географию в петербургских гимназиях и корпусах. Умер в начале этого столетия. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Нисколько не впадая в преувеличение, беру смелость утверждать, что в петербургских студентах, вступивших в университет ранее 1858 г., сколько-нибудь яркой окраски совсем не было; дальше неопределенного либерализма в будущем, при столкновении с живой действительностью ни к чему особенно не обязывавшего, они не шли. Не то приходится сказать в отношении более поздних генераций. Но здесь, для пояснения, необходимо принять во внимание внешний ход жизни не только русской, но и европейской.

Я поступил в университет в 1858 г. В то время чтение газет вообще было мало распространено, а между студентами и подавно. Я, например, часто посещал излюбленную студентами кондитерскую Кинши (угол 1 линии и Большого проспекта), и чтобы студенты читали газеты — этого не припоминаю. А розничной продажи газет тогда еще не существовало. Правда, после недавнего парижского конгресса в политическом мире, казалось, царило полное затишье. Но вот подошел 1859 г., и для русского общества, в огромном большинстве ничего не подозревавшего, как снег на голову свалился итальянский вопрос, а затем и война франко-итальянская со всеми ее дальнейшими последствиями. Тут все разом заговорило о Кавуре, о котором ранее хоть что-нибудь слыхали, и совсем неведомом доселе Гарибальди... Последний быстро завоевал себе популярность во всех концах необъятной России. Итальянское движение нашло себе в русском обществе самое широкое сочувствие, не столько, может быть, по прямой цели, к которой оно стремилось, сколько потому, что Австрия со времен крымской кампании возбуждала к себе самую глубокую антипатию [1]. Это отразилось и на студентах; особенно чуткими между ними оказались более молодые генерации.

В «Современнике» с № 2 за 1859 г. открылся новый отдел — политическое обозрение. Скоро для всех стало известным, что его ведет Чернышевский. Ежемесячно он давал своеобразную, живую и крайне содержательную политическую летопись, в которой итальянскому движению отводилось особенное внимание: с него даже ле-

---

[1] Даже цензура допускала полнейшую свободу по отношению к Австрии, чем печать и воспользовалась для критики наших собственных порядков под видом австрийских. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

топись и началась. Если ранее студенты, да и публика тоже, после беллетристики, — а надо признать, что она в «Современнике» более подходила к тогдашнему настроению общества,— прежде всего принимались в «Современнике» за статьи Добролюбова, то теперь политические обозрения Чернышевского стали привлекать не меньший интерес. Сравнительно с ними другие статьи Чернышевского, хотя и читались, не возбуждали, однако, таких оживленных разговоров, за исключением, конечно, чисто полемических. Социалистические идеи многих увлекали из молодежи; но ведь возможное торжество их в жизни представлялось в таком отдаленном будущем, которое и представить себе было трудно. При своем появлении «Примечания к Миллю» далеко не вызвали того повышенного внимания, предметом которого они стали у последующих поколений,—при более углубленном отношении к социалистическим идеям. «Антропологический принцип в философии» больше возбудил разговоров в лагере противников Чернышевского, чем в среде молодежи. На последнюю несравненно более оказали влияния Бюхнер, Фейербах, Молешот, выпущенные на русском языке в Москве кружком Аргиропуло и Зайчневского в литографированных изданиях. Особенно сделалась популярною между молодежью[1] «Сила и материя» Бюхнера, в противовес которой П. Л. Лавров и выступил в «Отечественных записках» с своей статьей «Механическая теория мира». В широкой публике, которая была занята более близкими к жизни вопросами, «Антропологический принцип» при своем появлении не мог привлечь к себе большого интереса и, вероятно, прошел бы совершенно незаметным, если бы не полемика, вызванная им. А возникла она через год после появления «Антропологического принципа», — многим ли

---

[1] Должен сделать необходимое пояснение. Говоря о молодежи, я везде имею в виду почти исключительно университетскую молодежь. Тогда совсем не были сколько-нибудь заметны воспитанники других высших учебных заведений, кроме Медико-хирургической академии, — закрытых. Лишь студенты медики стали появляться с 1861 г. в университетских кружках. Но где несомненно «Современник» пользовался большой распространенностью — так это среди военной молодежи. Ее можно было встречать в университете, на литературных вечерах, публичных лекциях. Я лично в 1861—1862 гг. вошел в тесные отношения с довольно большим кругом из военной молодежи. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

была охота (я разумею — из публики) перечитывать старые номера.

Несколько позднее, примерно три года спустя, осенью 1863 г., появились в «Медицинском вестнике» «Рефлексы головного мозга» (они в 1866 г. вышли отдельной книжкой [1]); толчком к работе, произведенной Иваном Михайловичем Сеченовым в Париже, послужили опыты физиолога Эд. Вебера. Надо признать, что «Рефлексы» совершенно затмили Бюхнера, Молешота и др., а уж тем более «Антропологический принцип». Не одна молодежь, но и люди более зрелых поколений прочли «Рефлексы» с самым серьезным вниманием; номер «Медицинского вестника» переходил из рук в руки, его тщательно разыскивали и платили большие деньги. Имя И. М. Сеченова, доселе известное лишь в тесном кругу ученых, сразу пронеслось по всей России. Когда через три года я очутился в Сибири и прожил в ней с лишком восемь лет, мне даже и там пришлось встретить людей, не только с большою вдумчивостью прочитавших «Рефлексы», но и усвоивших те идеи, к которым они логически приводили, — например, Ив. Алекс. Малахов, енисейский вице-губернатор. Не обходилось и без комических проявлений, указывавших, однако, на широкую популярность «Рефлексов»; так, в Енисейске одна купчиха любила повторять: «Наш ученый профессор Сеченов говорит, что души нет, а есть рефлексы».

Коротко замечу: «Рефлексы» долго продолжали привлекать к себе внимание; даже во второй половине 70-х гг., когда я опять очутился в Петербурге, на них при случае ссылались, ставили вопрос: насколько дальнейшее развитие физиологии закрепило положения «Рефлексов». Между тем «Антропологический принцип», видимо, был совершенно забыт.

Вскоре 1861 г. принес «Положения» 19 февраля. Ранее, насколько позволяли цензурные рамки, Чернышевский проводил мысль о бесплатном наделе крестьян землею. Потому не удивительно, что среди общих ликований и печатных дифирамбов «Современник» хранил полное молчание; и ближайшие события оправдали его сдержанность. Если для людей проницательных «Положе-

---

[1] Потом переиздание их было воспрещено. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

ния» сами по себе страдали весьма существенными недостатками, то с первых же дней начавшаяся практика применения их быстро поколебала в широких кругах общества веру в благополучный исход всего дела. Одними овладел страх, другими — обманутое разочарование. Все чего-то стали ждать, когда минуют первые года переходного состояния.

В то же время итальянское движение нашло себе отклик в нашей Польше, где глухое брожение, собственно никогда не прекращавшееся, выразилось в начале 1861 г. открытыми манифестациями с кровавыми столкновениями. И сразу настроение русских передовых кругов и молодежи изменилось. Из неопределенно свободолюбивого, с некоторым увлечением социалистическими идеями, оно приняло резко политический характер. Вместо прежних оживленных разговоров о тех или других готовящихся реформах стали раздаваться совсем другие речи: довольно хороших слов, пора перейти к делу. А под делом понималась подготовка общества к революционным выступлениям. Эта перемена была подмечена кружком, группировавшимся около Чернышевского (Михайлов, Шелгунов, братья Серно-Соловьевичи, В. А. Обручев и др.). И вот начинают появляться прокламации, делается попытка к тайной организации...

Но особенно ярко сказалось новое настроение в студенческих волнениях осени 1861 г., преимущественно Петербургского университета, где «история» затянулась на целый месяц, вызвала закрытие университета, но вместе с тем повела и к увольнению министра народного просвещения Путятина. По существу в студенческом движении ничего не было политического; еще менее можно было говорить, что оно было подготовлено каким-нибудь революционно настроенным внеакадемическим кружком. Но открытое выступление студентов и готовность их, каких бы это жертв ни стоило, постоять за то, что они считали своими правами, стали возможными лишь благодаря широко распространившемуся в интеллигентных кругах оппозиционному направлению. Появись путятинские правила в 1860 г., они, вероятно, прошли бы без открытого сопротивления со стороны студентов, волнение замкнулось бы в тесных стенах университета.

Вот в этот-то переходный момент влияние «Совре-

менника» среди молодого поколения и достигло своего апогея. Опять же, насколько позволяли цензурные условия, «Современник» уже несколько лет и прямо и косвенно вел неустанную проповедь, что только в самодеятельности общества может быть настоящий выход из устарелых форм и отношений нашей жизни.

Но если в настроении молодежи произошел крутой перелом в отношении к тогдашней русской действительности, то одновременно сказалась перемена и в сторону тех, кого она до сих пор считала своими духовными руководителями. Если ранее молодежь довольствовалась чисто теоретическою проповедью передовых представителей общественной мысли, то теперь она стала обращаться к ним с вопросом: скажите, что же нам делать; давайте нам практические указания (тогда слово «директивы» еще не было в употреблении), мы готовы идти, куда нам укажете.

Чернышевский давно предвидел возможность такого поворота. В то же время он совершенно отчетливо понимал, что наше общество, пресыщенное в своем эгоизме, решительно неспособно к какому-нибудь активному выступлению, что одна свободолюбиво настроенная молодежь не есть еще тот архимедов рычаг, которым можно поставить нашу жизнь на новые пути; что должны пройти многие и многие годы, смениться не одно поколение, пока крепостнические навыки и холопские чувства уступят место другим идеалам и повелительному чувству долга — всем пожертвовать для их осуществления. Не мелочное тщеславие — сохранить свою популярность — толкало его на другую дорогу, а глубоко коренившееся в его сознании убеждение, что полное соответствие между словом и делом есть первое условие всякого проповедничества. Новейшие исследователи — критики немало приложили труда для выяснения генезиса идей Чернышевского, старались связать их с ходом передовой европейской мысли; но ими недостаточно обращено внимания на одно весьма существенное обстоятельство. Можно усвоить себе те или другие идеи, даже самостоятельно дойти до них — и в то же время на всю жизнь остаться тем, что принято называть кабинетным человеком, то есть человеком, далеким от какого-нибудь стремления к непосредственному проведению их в жизни. Не то мы видим у Чернышевского, и не в одних исклю-

чительных условиях русской действительности коренится трагическая развязка его жизни.

Из его «Дневника» мы теперь знаем, что еще до своего выступления в «Современнике» Чернышевский уже допускал вероятность потерпеть за свои убеждения. Никогда не надо упускать из виду, что Чернышевский длинным рядом предков происходил из той общественной среды, которая, как носительница идеи царства божия, во все времена, даже в века самого глубокого упадка нравов, выдвигала героев нравственного долга, в своем самопожертвовании доходивших до мученического конца. Об этих подвижниках Чернышевский слышал с самого раннего детства, в семинарии его учили, что главная цель земного существования — спасение, что «претерпевый до конца, той спасен будет», что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. С годами умственный горизонт Чернышевского расширился, его идеи получили другое направление, но религиозное отношение к ним осталось прежнее. Даже в своей личной жизни он как был аскетом в ранней молодости, так и остался им до конца дней своих.

Тот рассудочный рационализм, который бросался в глаза некоторым вдумчивым наблюдателям, видевшим Чернышевского по возвращении из ссылки, совсем не был одной упрощенной абстракцией, которая так легко справляется с живой действительностью, ко всему прилагая готовые формулы. У кого личная жизнь так прозрачно чиста, как кристалл, тому естественно думать, что стоит только понять ту или другую идею, чтобы ее можно было воплотить в жизни. Не даром же Чернышевский был таким почитателем Спинозы, жизнь которого была в полной гармонии с его учением.

В какой степени и надолго ли остался бы Чернышевский властителем дум молодого поколения? Об этом трудно судить; есть лишь намек, что уже некоторая часть молодого поколения как бы пресытилась «Современником» и пыталась занять самостоятельное положение, пойти своей дорогой. Я разумею молодую группу, которая, имея Писарева во главе, с 1861 г. получила преобладающее положение в «Русском слове». Писарев, как известно, диаметрально разошелся с «Современником» в оценке «Отцов и детей». Резкая полемика,

возникшая между «Русским словом» и «Современником», хотя и началась, когда Чернышевский был уже под арестом, но, строго говоря, не может быть объяснена переменой направления «Современника», которое оставалось тем же, что было и при Чернышевском. Но, конечно, «Современник» значительно побледнел, потерявши в течение двух лет Добролюбова и Чернышевского.

До ареста Чернышевского читали, он возбуждал умы, в нем, наконец, стали видеть лидера передового движения; но не особенно задумывались не только над генезисом его идей, но даже и над самой сущностью их. Не так стало после лета 1864 г. По инерции некоторое время продолжали еще искать у него ответа на мучительные вопросы: что делать, а главное — как делать? Но ведь даже его знаменитый роман давал в этом отношении слишком общий ответ; а жизнь шла вперед и все усложнялась. Оставаясь верными теоретическим обоснованиям Чернышевского, вновь выступающие поколения — для них «Примечания к Миллю» надолго стали предметом самого серьезного изучения — должны были самостоятельно искать путей для их приложения. В этом смысле самым крупным и характерным выражением явилось «хождение в народ». Но здесь я должен остановиться, чтоб не выйти из круга моих личных воспоминаний и наблюдений.

Раз И. М. Сеченов говорил мне (в Москве):

«У меня недавно был Борис Чичерин, мы с ним товарищи по университету, но знакомства никогда не вели. Он завез мне свой последний труд (помнится, «Философия и религия») и долго оставался у меня. Разговор, между прочим, коснулся и наших теперешних внутренних дел. Чичерин крайне резко критиковал направление правительственной политики, но в то же время более чем скептически относился и к возможным результатам общественного движения; при этом он высказал: «Было время, когда Россия стояла на здоровом и много обещавшем пути: это были первые годы царствования Александра II. Но потом началось революционное брожение, и все спуталось, и так идет до сего дня. Всему виновник Чернышевский: это он привил революционный яд к нашей жизни».

Если Чичерин — человек бесспорно огромного и разностороннего знания, притом человек совершенно неза-

висимого положения — мог приписывать Чернышевскому столь исключительную роль в историческом ходе нашей внутренней жизни, то удивительно ли, что вилюйский изгнанник в кругах, совсем далеких от какой-нибудь умственной культуры, возбуждал такое преувеличенное чувство ужаса и страха.

Добролюбов умер на двадцать шестом году и оставил литературное наследие значительно меньшее, далеко не столь разнообразное, как Чернышевский, — за немногими исключениями, в области литературно-критической. Однако при жизни круг его читателей был много шире, чем у Чернышевского. Это потому, что, оставляя даже в стороне блестящий талант Добролюбова, русская жизнь, — а ее постоянно имел своей темой Добролюбов, — все же более интересовала, нежели проповедь тех или других философских и политических идей. В Чернышевском постепенно приучились видеть несравненного полемиста и популяризатора идей передовых европейских кругов. Добролюбов импонировал как литературный деятель, проводивший самостоятельное понимание русской жизни, что вместе с исключительным талантом и поставило его в течение четырех лет, по словам Чернышевского, «во главе русской литературы». Интерес к Добролюбову не остыл после его смерти, он сохранился и до наших дней, с его взглядами вынуждено считаться даже и теперешнее поколение. Этого нельзя сказать о Чернышевском, не впадая в большое преувеличение. Правда, его серьезно изучают, но лишь исследователи исторического развития русской мысли, в более широких кругах он уже не имеет притягательной силы. И все-таки неувядаемый ореол окружает его имя, тогда как имя Добролюбова пробуждает только воспоминание о рано угасшем, богато одаренном писателе-критике, справедливо занявшем выдающееся место между нашими классиками. Так, те самые темные силы, которые рассчитывали навеки похоронить даже самое имя Чернышевского, подняли его на недосягаемую высоту, с которой он и будет светить еще длинному ряду поколений. Он будет жить в русских сердцах, пока не погаснет в них стремление к истине, чего бы это ни стоило, к живому согласованию мысли и дела.

К МАТЕРИАЛАМ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

В числе статей за 1917 г. Р. В. Иванова-Разумника, недавно перепечатанных в виде сборника «Год революции», имеется «Крестный путь. Н. Г. Чернышевский как революционер». Основная мысль статьи отчетливо формулирована в словах: Чернышевский — «подлинный революционер по духу, по чувству, по мысли, по устремлению». А несколько выше говорится: «Эти факты (то есть участие Чернышевского в прокламациях)... разве в них дело?»

Нет, и в них есть дело, и притом не столько ради полного воспроизведения облика Чернышевского, сколько в установлении непосредственного воздействия Чернышевского на практику революционных выступлений. При чтении статьи г. Иванова-Разумника мне както сам собой вспомнился один эпизод осени 1861 г., до сих пор оставшийся неоглашенным.

Университетская история 1861 г. в Петербурге разыгралась в половине сентября и затянулась на целый месяц. К началу октября первоначальный руководящий студенческий кружок уже был большею частью заарестован; но еще оставался на свободе один из самых влиятельных его членов — студент-естественник четвертого курса Мих. Петр. Покровский; он совсем не показывался у себя дома и днем почти не выходил, тем не менее все время отдавал агитации между студентами. Вот почему полиция и прилагала все меры к его заарестованию; немало вечерами было забрано на улицах предполагаемых Покровских; говорили, что

В. А. Обручев именно таким образом был арестован на улице.

Покровский, дельный студент, выделялся горячим темпераментом, к тому же владел даром слова и, естественно, пользовался между студентами огромным влиянием. В руководящем кружке (или, как тогда уже говорили, «комитете») Покровский принадлежал к той группе, которая вместе с Евг. Петр. Михаэлисом и Н. Утиным стояла за самый крайний исход, то есть в конце концов шла на то, что пусть лучше будет закрыт университет, чем восторжествуют путятинские правила. Однако, несмотря на свой темперамент, Покровский все же был не лишен чувства ответственности, и, например, удержал студентов от предполагавшейся сходки (в начале октября) у Казанского собора, предвидя, что она неминуемо поведет к тяжким жертвам, а каких-нибудь положительных результатов не даст.

В один прекрасный день заявляются к Покровскому двое из сотрудников «Современника»: Григ. Захар. Елисеев, которому тогда было около сорока лет, другой <М. А. Антонович> — совсем молодой, но уже сильно выдвинувшийся. И вот какой вопрос они поставили Покровскому:

— Имеете вы триста студентов, на все готовых?

— Да, — не колеблясь отвечал Покровский, полагая, что дело идет о какой-нибудь манифестации студентов.

— Если так, то вот что мы вам предлагаем: надо отправиться в Царское Село, напасть на дворец и захватить наследника (Николая Александровича); затем немедленно телеграфировать царю в Ливадию: или он должен тотчас же дать конституцию, или пожертвовать наследником...

Покровский отвечал отказом; уж теперь не помню: потому ли, что все предприятие показалось ему слишком фантастическим, или не рассчитывал для выполнения его найти триста охотников между студентами. Вернее всего — и то и другое.

Скоро, однако, Покровский был арестован и по конфирмации студенческого дела отправлен на некоторое время в ссылку, кажется в Архангельскую губернию. Из ссылки он вернулся, как говорится, сильно поправевшим и уже стоял совершенно далеко от каких-нибудь оппозиционных выступлений, даже не поддерживал отноше-

ний со старыми товарищами по университетской истории.

У Ник. Ник. Страхова в «Материалах для биографии Достоевского» (в главе о студенческой истории 1861 г.), есть намек на предложение, сделанное Покровскому. Я как-то спросил Ник. Ник., откуда он это знает? Страхов прямо отвечал: «Да мне рассказывал сам Михаил Петрович». Они были большими приятелями, когда Покровский был еще студентом, и оставались такими до самой смерти Покровского, умершего много раньше Страхова.

Раз я и Н. Утин были у Чернышевского и рассказали ему этот эпизод. Ник. Гавр. и виду не подал, что это обстоятельство ему известно, а спокойно ответил:

— Не удивляюсь. Ведь, несмотря на свои годы, Григорий Захарович по настроению самый юный в редакции «Современника».

Я тогда лично не знал Григ. Захар., но через какие-нибудь полгода довелось познакомиться с ним, и некоторое знакомство продолжалось до самой его смерти. Думаю, что характеристика, сделанная Чернышевским, была скорее дипломатическим отводом, чем отвечала действительности. Но не в этом дело, а сам собою представляется вопрос: знал ли в свое время Ник. Гавр. о переговорах с Покровским, и если знал, то как к ним относился?

Что Чернышевский был весьма детально осведомлен о закулисной стороне студенческой истории, об этом я по себе сужу. Уже в апреле 1862 г. он как-то спросил меня, почему я в одном из заседаний студенческого комитета (еще в сентябре 1861 г.) восставал против некоторых радикальных предложений, например публичного сожжения матрикул.

В начале студенческой истории Чернышевский был в Саратове и вернулся в Петербург 26 сентября; свидание же Елисеева с Покровским должно было происходить несколько позднее. Я был арестован в ночь с 27 на 28 сентября, а переговоры с Покровским происходили после моего ареста; арест Покровского состоялся в первой половине октября.

Я готов допустить, что Елисеев — правда, только в силу своего возраста — мог считать себя вправе принимать самостоятельные решения в общественных делах, не справляясь предварительно с мнением Чернышев-

ского, но относительно его сотоварища это совершенно немыслимо. По другому, несравненно менее ответственному делу — что надо печатать за границей прокламации и ввозить их в Россию — этот сотоварищ Елисеева, как то он сам мне рассказывал, прежде всего нашел нужным поведать свои соображения Чернышевскому. Как же он решился бы вступить в переговоры с Покровским, не заручившись заранее одобрением Ник. Гав.?

Итак, есть известные основания полагать, что Чернышевский знал о переговорах с Покровским, и более чем сомнительно, чтоб Елисеев и его сотоварищ предприняли их в противность мнению Чернышевского.

Что Чернышевский был осужден исключительно за литературную деятельность — таково было общее мнение до самой смерти Н. Г. Но революционно настроенная молодежь, даже не имея сколько-нибудь определенных оснований и руководясь лишь каким-то инстинктом, никогда не хотела видеть в нем только кабинетного мыслителя. Для нее Чернышевский вместе с тем был и первым борцом, ставшим на тот крестный путь, по которому она сама неуклонно двигалась.

К БИОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ О М. А. АНТОНОВИЧЕ

В декабре минувшего года скончался в Петербурге в возрасте 84 лет Максим Алексеевич Антонович, в начале 60-х гг. один из видных сотрудников «Современника», печатно выдвигаемый Чернышевским на первый план; а после ареста и ссылки Чернышевского М. А. стал одним из руководителей журнала (вместе с Г. З. Елисеевым, Ю. Г. Жуковским и А. Н. Пыпиным) до самого закрытия этого журнала в 1866 г. Затем последовал перерыв в журнальной деятельности М. А., которым он воспользовался, чтобы пройти полный курс горного института. В первой половине 70-х гг. он вместе с Жуковским был фактическим редактором журнала «Знание», а когда этот журнал (официальный редактор Коропчевский, антрополог) <был закрыт>, то одно время сотрудничал в «Слове», издававшемся на средства Сибирякова, но вскоре разошелся с редакцией и с тех пор совсем отошел от журналистики. Лишь изредка появлялось его имя под отрывочными, случайными воспоминаниями; например, помнится, в «Журнале для всех» о Добролюбове. В 1896 г. он выпустил объемистый научный труд о Дарвине, которого он был убежденным последователем и почитателем. Но время увлечения Дарвином миновало, и почтенная работа М. А. прошла мало замеченной, да и самое имя М. А. ничего не говорило для новых поколений.

М. А. Антонович немало переводил; для меня он перевел «Этику» Спинозы, хотя на книге стоит только имя редактора перевода — В. И. Модестова.

С 1879 г. в течение четырех лет, когда я был на Амуре, М. А. вел мое издательское дело.

Я еще в первой книге моих «Воспоминаний из прошлого», вышедшей в 1905 г., в главе о студенческой истории в Петербурге осенью 1861 г. несколько коснулся террористического замысла, возникшего в среде сотрудников «Современника», и даже прямо назвал одного из инициаторов — Г. З. Елисеева. Затем в заметке в «Нашем веке» (28 апреля 1918 г.) целиком раскрыл сущность дела: захват в Царском Селе наследника (Николая) и требование по телеграфу от царя, находившегося тогда в Ливадии, немедленного обнародования конституции, иначе он должен проститься с сыном. Я не назвал только сотоварища Г. З. Елисеева, — то был М. А. Антонович; это они вдвоем являлись к студенту М. П. Покровскому, одному из самых энергичных руководителей, и предлагали с тремястами студентами учинить захват наследника.

Точно так же теперь могу пояснить, что Антоновичу была заказана, должно быть в конце 1862 г., тогдашней «Землей и волей» прокламация, забракованная комитетом, и что он предлагал Чернышевскому начать печатание за границей прокламаций, как раз в тот момент, что М. И. Михайлов начал эту операцию и даже присутствовал, когда ничего не ведавший об этом Антонович развивал Чернышевскому свою идею.

После каракозовской истории М. А. отошел от какого-нибудь непосредственного соприкосновения с революционным движением. Одно время он служил в Государственном банке, поступив еще при управляющем Цимсене и его товарище Ю. Г. Жуковском, а потом был инспектором ссудо-сберегательных касс, затем вышел в отставку.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО
П. Л. ЛАВРОВ

В 1855 г. вышла в Германии «Kraft und Stoff»[1] Людвига Бюхнера и стала, по словам Ибервега Гейнце, «основной книгой нынешнего (то есть второй половины XIX века) немецкого материализма». Она не прошла незаметною и вне Германии, появилась в переводах на других языках и везде вызвала оживленную критику. Добралась «Сила и материя» и до России, тоже была переведена, но, по нашим тогдашним условиям, издание ее могло быть только подпольным. Она и была выпущена в Москве, в литографированном виде, кружком Аргиропуло и Зайчневского.

Должно быть, в конце 1859 г., не помню, каким путем «Сила и материя» попала в мои руки. Я тогда жил в компании студентов вологжан (на Вознесенском проспекте в доме Веймарна, у старушки Е. К. Гроссе). Вот как в моих «Воспоминаниях из прошлого» (I книга, 58 стр.) я коротко характеризую впечатление от «Силы и материи»: «В один прекрасный день настоящей бомбой влетела к нам «Сила и материя». Все перечитали ее с большим увлечением, и у всех... разом порвались остатки традиционных верований, только Z (Н. Ф. Остолопов, студент-юрист 4 курса, впоследствии неподвижный член, то есть не пошел дальше белозерского окружного суда) пытался слабо возражать». Впрочем, по некотором времени, при расширении моего знакомства с другими студенческими кружками, я скоро заметил, что среди

[1] «Сила и материя» (*нем.*).

более развитых и вдумчивых студентов Бюхнер далеко не пользовался таким авторитетом, как Фейербах.

В тогдашней нашей печати о книге Бюхнера (равно и одновременно появившейся книге Молешота «Der Kreislauf des Lebens»[1]) и вызванном ею философском движении в Германии прямо говорить у нас в печати нельзя было; но, насколько мне помнится, первый, кто затронул вопрос по существу, был П. Л. Лавров; в «Отечественных записках», 1859 г., № 4, стр. 451—492, появилась его довольно обширная статья «Механическая теория мира». Я еще в гимназии усвоил привычку по возможности прочитывать все журналы, хотя и отдавал особенное предпочтение которому-нибудь одному из них — сначала «Русскому вестнику», а с 1860 г. — «Современнику».

Но студентам не легко было доставать журналы в библиотеках для чтения; их тогда было в Петербурге очень немного, к тому же слабо обставленных, — «Летучая библиотека» Сенковского, затем Крашенинникова. Последняя была богата книгами XVIII и XIX вв.; начало ей было положено Сопиковым и Плавильщиковым, и потому имела она выдающееся значение лишь для специальных работ по старой русской литературе. Были ли еще библиотеки — не могу сказать. Иногда приходилось целыми полугодиями ждать той или иной книжки журнала. Потому мне, должно быть, не довелось прочитать статью Лаврова ранее 1860 г. Кажется, мое внимание на нее обратил товарищ по факультету и курсу Н. Спасский. Несмотря на все мое увлечение Бюхнером, и притом именно в чисто материалистическом направлении, — на некоторых из моих товарищей «Сила и материя» отразилась главным образом в усилении религиозного скептицизма, — статья П. Л. Лаврова крайне заинтересовала меня, и я не раз перечитал ее. Она показала мне слабую сторону материализма, что «сила» и «материя» такие же метафизические абстракции, как и те, которые ниспровергали новое учение. Это впечатление не поколебало и то обстоятельство, что, к моему большому удивлению, автором статьи оказывался военный офицер, хотя и профессор, но все же не заправский

---

[1] «Круговорот жизни» (*нем.*).

специалист по предмету философии, этой науки всех наук, как я тогда несколько наивно думал[1].

Вскоре, однако, мне пришлось получить о Лаврове более обстоятельные сведения, именно, на утренних журфиксах для студентов у К. Д. Кавелина. Оказалось, что Константин Дмитриевич не только лично знал Лаврова, но и был большим почитателем его.

Между тем была восстановлена в университетах кафедра философии, закрытая в 1849 г. вместе с кафедрой государственного права европейских держав. Вследствие, не помню теперь, каких-то неприятностей казанский профессор Булич (по истории русской литературы) пожелал перебраться в Петербург и поставил свою кандидатуру на открывшуюся кафедру философии. Ввиду недостатка специалистов — не возвращаться же было к престарелому Фишеру, читавшему философию до 1849 и в 1860 г., занимавшему кафедру психологии и логики да педагогии, — он прошел как в факультете, так и в совете университета. Но министерство не утвердило Булича, ссылаясь на то, что он не специалист; действительный же мотив отказа был другой: министерство почему-то видело в Буличе слишком яркого либерала и не желало переселения его в Петербург. Булич, обиженный отказом министерства, приехал в Петербург и публичными лекциями в зале Пассажа о Беконе Веруламском хотел показать, что министерство поступило несправедливо по отношению к нему. Но его лекции не имели успеха и скорее подтвердили, что министерство было право в своем отказе. Одновременно ли с Буличем была поставлена кандидатура Лаврова, или после неутверждения Булича — не берусь сказать, только она не прошла в университете, несмотря на энергичную поддержку со стороны Кавелина. Следуя примеру Булича, не пожелал остаться

[1] После того как эти строки были написаны, благодаря любезности издательства «Колос» я получил 2-й выпуск I серии «Собрания сочинений П. Л. Лаврова» и вновь перечитал статью «Механическая теория мира». Не будь в ней прямого указания, что беседа ведется во второй половине 50-х гг., можно было бы подумать, что статья точно вчера написана, — так она возбуждает внимание мысли широкой постановкой вопроса и исчерпывающей полнотой. Даже после соответственных глав в классическом труде А. Ланге — «История материализма» — статья Лаврова нисколько не теряет своего интереса, но, наоборот, выигрывает, являясь их самостоятельной и продуманной предшественницей. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

в долгу перед университетом и Петр Лаврович, он тоже в зале Пассажа прочел в пользу Литературного фонда три лекции «О современном значении философии» (были напечатаны в «Отечественных записках», № 1 за 1861 г. и затем изданы отдельной брошюрой в том же году).

Лекции Лаврова имели большой успех, хотя довольно значительная часть публики заявилась не столько из интереса к философии, сколько послушать — как это полковник будет трактовать о предмете, ничего общего не имеющем с его прямой специальностью.

Но вот в недолгом времени мне довелось и лично познакомиться с Петром Лавровичем. После осенней студенческой истории 1861 г. я с ним стал встречаться на вечерах Н. Л. Тиблена и Штакеншнейдер. Не говоря уже о том, что колоссальная, притом хорошо сложенная фигура Петра Лавровича резко выделялась даже среди большого общества, самая манера его вести разговор или спор: спокойно, с вниманием к словам противника, с постоянной улыбкой, переходившей иногда в сдержанно добродушный смех, — все это показывало в нем как бы прирожденного джентльмена, сохранившего все лучшие стороны прежнего воспитания среди уже шумно надвигавшегося нигилистического sans façon [1]. Затем, в начале 1862 г., в студенческом комитете — я был членом его — возникло предположение открыть публичные университетские курсы. В числе лекторов был единогласно намечен по философии Петр Лаврович. Он охотно согласился, бывал на совещаниях комитета, и по его рекомендации пригласили тоже профессора артиллерии академии, полковника Гадалина для курса по физике. Но трое из приглашенных — Чернышевский, Лавров и Берви — остались за флагом: первые двое не были утверждены, а Берви арестован за его циркулярное письмо по громкому тогда делу тверских мировых посредников. Причиной неутверждения Петра Лавровича было чем-то проявленное им сочувствие студенческому движению; по той же причине А. Н. Энгельгардт даже просидел некоторое время под арестом на гауптвахте и, кажется, был уволен от преподавания химии в Артиллерийской академии.

Некоторые выступления Петра Лавровича вызвали в «Современнике» решительный отпор в лице тогда

---

[1] Без церемоний (*франц.*).

совсем еще юного Максима Алексеевича Антоновича;[1] его критику Петр Лаврович не оставил без ответа. Но с 1862 г. всякая полемика против Лаврова в «Современнике» прекратилась. Очень может быть, что здесь сказалось влияние следующего случая, о котором рассказывал мне Н. Г. Чернышевский при свидании со мною в Астрахани весной 1889 г. «Как вы, Лонгин Федорович, вероятно, помните, в «Современнике» нередко прохаживались насчет Петра Лавровича; потому, когда мне доводилось встречаться с ним где-нибудь в обществе, мы избегали друг друга. Но вот раз пришлось одновременно выходить с ним из заседания комитета Литературного фонда (значит, это было уже после 2 февраля 1862 г., когда Петр Лаврович вступил в состав комитета как представитель группы сотрудников «Отечественных записок»). Извозчиков тотчас не встретилось, а идти нам было в одном направлении (должно быть, из квартиры председателя комитета Егора Петровича Ковалевского, который жил тогда на Мойке, недалеко от Синего моста). Делать нечего; понемногу разговорились; так дошли до моей квартиры (д. Есаулова, близ Владимирской церкви), а наш разговор не кончился; тогда я стал провожать Лаврова, да таким манером и провожали друг друга от одной квартиры до другой до самого утра, Петр Лаврович даже зашел ко мне, и мы за ранним чаем проговорили еще часа два. Да, глубочайшее уважение имею к Петру Лавровичу», — такими словами закончил Чернышевский свое коротенькое воспоминание о Лаврове.

Но мало того, что в «Современнике» прекратились всякие полемические выступления и выходки против Лаврова, — сам Мак. Ал. Антонович по изданию «Энциклопедического словаря» стал сотрудником Лаврова; припоминаю его статью об евангелиях[2].

Как-то, при одном из свиданий с Петром Лавровичем в Париже, я передал ему рассказ Чернышевского. Петр Лаврович добродушно улыбнулся и заметил: «Это точно, мы всю ночь проговорили, и тут многое разъяснилось, чего в печати не удавалось достигнуть». Из рассказа

---

[1] Скончался 12 ноября 1918 г., на 84 году. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] См. т. I, отд. II, СПб. 1863. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Чернышевского видно, насколько далек от точности М. А. Антонович в своих воспоминаниях [1], когда говорит, что Лавров часто бывал у Чернышевского на дому и даже считался в числе его «близких знакомых», — такие отношения вряд ли могли установиться самое большее за какие-нибудь два-три месяца, тем более что как Чернышевский, так и Лавров были люди крайне занятые, дорожившие временем.

К слову — в числе компрометирующих бумаг у Лаврова якобы были найдены письма Утина. Это, вероятно, Николая, который летом 1863 г. вынужден был бежать за границу. Но в его письмах решительно не могло быть чего-нибудь способного бросить хоть малейшую тень на Лаврова; вероятно, это были не столько письма, сколько записочки по делам публичных лекций для студентов, о которых я только что выше говорил, или, может быть, по «Энциклопедическому словарю», где Утин собирался сотрудничать.

Я сказал, что Петр Лаврович 2 февраля 1862 г. вступил в состав членов комитета Литературного фонда и пробыл в нем два года; затем он был избран в члены ревизионной комиссии. И вот какой случай имел место, должно быть в 1864 г. Ф. М. Достоевский, будучи членом комитета, получил из комитета заимообразно тысячу рублей [2]. В качестве члена ревизионной комиссии Петр Лаврович, признавая все права и заслуги Достоевского, тем не менее находил выдачу ссуды ему неправильной, так как, по его мнению, члены комитета не могут назначать себе никаких денежных пособий, и внес свой протест в общее собрание. Хотя общее собрание и не нашло неправильности со стороны комитета, но с этих пор установился такой обычай — не назначать пособий членам комитета, а в случае надобности нуждающийся член комитета предварительно слагает с себя звание члена комитета и уже затем входит с ходатайством о назначении ему пособия. Такая практика сохранилась в комитете до самого последнего времени, и мне известно несколько случаев, где она применялась.

---

[1] См. «Голос минувшего», 1915 г., № 9. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Это была вторая ссуда Достоевскому, — первую, выданную в 1862 г. в размере тысячи пятисот рублей, он уплатил в 1863 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Но Петр Лаврович не примкнул к демагогическому предложению Владимира Дмитриевича Скарятина (редактор-издатель «Вести») — ввести прямые выборы членов комитета (вместо избрания из двойного числа кандидатов, согласно устава, предлагаемых комитетом). Принятие предложения Скарятина широко растворило бы двери в комитет для людей, хотя и состоящих членами Фонда, но, собственно, имеющих очень далекое отношение к науке и литературе, и в ущерб настоящему назначению Фонда могло повести к разным нежелательным последствиям.

После ареста Чернышевского, Н. А. Серно-Соловьевича, Рымаренко и других «Земля и воля», начало которой надо относить если не к самому концу 1861 г., то к началу 1862 г., на время совершенно замерла; но примерно в августе того же года сформировался новый комитет из более молодых элементов; в состав этого комитета вошел и я. Не помню, по какому случаю вскоре мне довелось быть у Петра Лавровича; он жил тогда на Фурштадтской, кажется в своем собственном доме; его обстановка, по сравнению с тем, что мне доводилось видать у других литераторов и профессоров, резко поражала своею роскошью и наглядно свидетельствовала, что Лавровы располагали очень хорошими материальными средствами. Петр Лаврович сам завел такой разговор: «Одно время казалось, что те проявления революционного настроения, которые у нас стали сказываться с конца прошлого года, получили как бы планомерно-организованный характер. А теперь — под влиянием ли общественной реакции, арестов ли — только настало полное затишье, не видно и следа прежнего возбуждения» [1].

Мне эти слова показались крайне загадочными. Испытывает ли меня Лавров, — может быть, до него какимнибудь путем дошел слух о вновь народившемся комитете, — не забрасывает ли он удочки, чтобы войти с ним в те или другие отношения? Я, однако, воздержался от самых далеких намеков на существование

[1] Этот разговор мог быть в самом начале осени 1862 г., до появления первой прокламации с печатью «Земли и воли», которая печаталась на даче в Лесном, снятой комитетом для Юрия Степановича Лыткина — специально для печатания прокламаций. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

новой ячейки-комитета; но в ближайшем заседании комитета буква в букву передал слова Лаврова и даже внес предложение о привлечении его к нашей организации. На меня, однако, решительно напал Петр Иванович Боков. «Не надо нам кабинетных людей, да еще метафизиков (Петр Иванович дальше «Современника» света не видел, к тому же, вероятно, не знал, что между Чернышевским и Лавровым установились новые отношения), от них никакой пользы для нашего дела быть не может. Мы теперь дружно работаем, а люди вроде Лаврова внесут только разлад, да еще будут претендовать на руководящую роль». Бокова поддержал Н. Утин — очень вероятно, из опасения, что умалится его личная роль в комитете. Эта неудача была мне крайне неприятна, так как я всегда заявлял о необходимости привлечения в «Землю и волю» более зрелых людей, с широкими общественными связями. Но мне всегда отвечали, что таких людей не видно на горизонте.

Между тем из недавно проскользнувшего где-то сообщения, со слов Н. С. Русанова, видно, что Лавров, по его собственным словам, был приобщен к «Земле и воле» Александр. Ник. Энгельгардтом еще в то время, когда в ней работал Н. А. Серно-Соловьевич. Впрочем, Энгельгардт, видимо, скоро разочаровался в революционно-конспиративной деятельности. Когда в августе 1862 г. я и Утин (мы вступили в «Землю и волю» еще весной, то есть до петербургских пожаров и последовавших за ними арестов) делали поиски остатков комитета, то Энгельгардт, у которого я был по этому поводу, с раздражением отвечал, что ничего о «Земле и воле» не знает, вообще не верит в русскую революцию и всякие разговоры о ней считает праздной болтовней.

В то свидание с Петром Лавровичем, о котором я только что говорил, он поделился со мной еще одним ценным сообщением.

«Был день, — говорил Петр Лаврович, — который мог стать днем революционного подъема Петербурга, — это шестого, а может быть десятого октября (хорошо не помню) 1861 г. (на этот день была назначена студенческая сходка у Казанского собора, но М. П. Покровский, главный вожак еще уцелевших от арестов студентов, отменил ее из опасения неминуемого кровавого столкновения). Я тогда провел несколько часов на Невском

проспекте, — он представлял из себя совершенно необычный вид. Все кафе (а они тогда были на Невском, но потом совсем перевелись, возродились лишь в XX в.), все рестораны были переполнены совсем особенной публикой, видимо собравшейся в ожидании сходки; на панелях группами ходили офицеры, масса кадет; и для меня несомненно, что все они пришли, чтобы примкнуть к студентам, если бы дело дошло до схватки с полицией или войсками; по крайне<й мере> все, что доходило до моих ушей, относилось к сходке. К сожалению, этот день пропущен, и когда он повторится — трудно даже и гадать».

Что Невский проспект в этот день имел совсем особенный вид — это мне (уже сидевшему в Петропавловской крепости) не раз доводилось слышать от некоторых студентов, несмотря на отмену сходки все же пробравшихся к Казанскому собору; но их рассказам я не придавал особенного значения, считая естественно преувеличенными.

Осенью 1863 г. я принял на себя управление типографией Н. Тиблен и К°. Ник. Львович Тиблен не только был знаком с Петром Лавровичем, но и был его учеником, когда проходил курс артиллерийского училища, в котором Петр Лаврович начал свою преподавательскую деятельность, став впоследствии профессором Артиллерийской академии. Тиблен очень хорошо отзывался о Лаврове как преподавателе; по его словам, Лавров не только основательно знал свой предмет, но и весьма добросовестно относился к своим обязанностям, был даже чересчур педантичен. «У нас (то есть в военно-учебных заведениях) существовала шестидесятибалльная система, и, можете себе представить, Лаврушка (так в училище звали Петра Лавровича) ухитрялся проставлять такие отметки: тридцать шесть с половиной или с минусом». Но Тиблен сейчас же покончил со всякой математикой, как только был выпущен в офицеры. Потому несравненно более значения имел для меня отзыв его приятеля, до ослепления влюбленного в жену Тиблена, Евгению Карловну, Михаила Павловича Федорова, в то время состоявшего лаборантом-химиком в Артиллерийской академии. Впоследствии Федоров дослужился до генеральских чинов и выступал в качестве эксперта на суде по делу 1 марта, покушению на Александра III

в 1887 г. и, кажется, в других процессах. Федоров был из вятских (или пермских) семинаристов, чуть ли не пешком пробрался в Петроград для получения высшего образования и здесь сначала прошел артиллерийское училище, а потом академию. Федоров с величайшим уважением отзывался о Лаврове как специалисте-профессоре и вместе с тем человеке с обширными и весьма солидными знаниями во многих других научных областях.

Припоминаю теперь, как известный тогда химик и человек широкообразованный, Николай Николаевич Соколов, большой поклонник «Логики» Милля, узнав, что Петр Лаврович принимается за перевод этой книги, выразился за обедом у Тиблена: «Я очень рад, что за перевод берется Петр Лаврович: можно быть уверенным, что перевод будет образцовый, — ведь он сам такой знаток в этой области». «Логика» Милля и вышла в 1865 г. в переводе Фед. Фед. Резенера *под редакцией* Петра Лавровича (изд. М. О. Вольфа).

Многие, однако, жаловались на тяжеловесность изложения Петра Лавровича, а в некоторых статьях — особенно ранних — и темноту. Так, например, указывали на целые страницы в статье о гегелизме, появившейся в «Библиотеке для чтения» (Дружинина) и говорили: «Не угодно ли добраться — что он тут говорит?»

Оставаясь по-прежнему профессором, Петр Лаврович со второй половины 1862 г. развил обширную научно-литературную деятельность. Редактировал «Энциклопедический словарь» (изд. А. А. Краевским), «Заграничный вестник» (изд. М. О. Вольфом) и в приложениях к «Морскому сборнику» 1865 и 1866 гг. напечатал «Очерк истории физико-математических наук»; к крайнему сожалению, этот капитальный труд остался далеко не законченным.

Осенью 1864 г. я получил из Петропавловской крепости письмо от моего товарища, Петра Васильевича Пушторского, сидевшего в Алексеевском равелине по политическому делу (оговорил Андрущенко; см. дело Ю. М. Мосолова и К°). Сенат постановил — до окончания суда освободить Пушторского на поручительство; он и просил меня о приискании поручителя. Я обратился к Петру Лавровичу, и тот, ни одну минуту не колеблясь, дал поручительство, которое и было принято без возражения сенатом.

Это была моя последняя встреча с Петром Лавровичем в России, так как вскоре, 11 декабря т. г., я был арестован и препровожден в Вильно.

Что могло побудить Лаврова, уже не юношу, а человека в зрелом возрасте, эмигрировать? Невыносимые условия ссылки? Неукротимый революционный темперамент? Обманчивая вера в близость русской революции? Отношения к Чаплицкой (бежавшей из Вологды)?

Всякая ссылка, даже и административная, конечно не радость; все же Вологодская губерния была не тогдашняя Сибирь, совершенно отрезанная от культурных центров. Но условия вологодской жизни отнюдь нельзя назвать прямо-таки невыносимыми. Человек высокой умственной культуры, с поразительно развитыми трудовыми навыками, Лавров и в ссылке работал не покладая рук; и его статьи не оставались в портфеле, как то, например, нередко бывало со Щаповым, Берви, а печатались, видимо, без большого промедления.

В то же время Петр Лаврович, по свойствам своей натуры, совсем не был в самом себе замкнутым человеком. Как ни бедна была тогдашняя общественная жизнь в довольно-таки глухом Вологодском крае, Петр Лаврович всем живо интересовался, включительно до устройства любительских спектаклей в Тотьме [1].

Неукротимый революционный темперамент? Ни до бегства, ни за границей такого темперамента у Петра Лавровича не сказалось; он был, строго говоря, революционером-теоретиком. Хотя в качестве такового он и мог сознавать за собой нравственную обязанность не уклоняться от чисто житейски-практической революционной работы, но она отнюдь не была до такой степени всепоглощающей страстью его природы, чтобы он не мог без нее существовать. Скорее можно сказать наоборот, — всякое отклонение в сторону революционной активности нарушало нормальную работу его мысли.

Как мне представляется, главным образом уверенность в близком торжестве русской революции — вот что

---

[1] Со слов Алексан. Павл. Левитского, моего товарища по гимназии, бывшего в ту пору учителем уездного училища в Тотьме. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

всего скорее могло повлиять на Петра Лавровича, когда он решил бежать. Эту веру, помимо логических выводов из хода общей истории, могли лишь подкреплять те революционные проявления, которые стали сказываться у нас со второй половины 1861 г. и темп которых все возрастал даже после 1 марта, — стоит вспомнить хотя бы нечаевское дело; оно разыгралось, собственно, в 1869 г., убийство Иванова произошло 12 ноября 1869 г., хотя суд и происходил в 1871 г.[1].

Но основного источника этой веры в близость русской революции надо искать в настроении той среды, в которой Петр Лаврович вырос и долго вращался, — военной среды. Он хорошо помнил ее николаевской, то есть ни о чем не рассуждавшей, а слепо служившей, не за страх, а за совесть, власти предержащей. Но вот после севастопольского разгрома эта самая опора существующего строя стала неузнаваемой, особенно в более молодом поколении, и прежде всего в специальных частях — артиллерийской и инженерной. Уж если я, еще не покончивший отношений с университетом, — значит, велики ли могли быть мои связи с военным миром?[2] — в конце 1862 г. успел привлечь к «Земле и воле» с десяток офицеров или только что вышедших в отставку (сколько теперь припоминается по фамилиям), то ведь перед Лавровым проходили не десятки, а целые сотни революционно настроенного офицерства[3].

---

[1] К слову — о нечаевском деле. Прокуратура выдвинула обвинение в заговоре, на том же настаивал и председательствовавший Любимов (см. 1-ю кн. моих «Воспоминаний из прошлого», стр. 28—30), в закрытом совещании судей он даже говорил, что такова воля государя императора; но сословные судьи — два предводителя дворянства, Трубецкой и Платонов, а также городской голова Петербурга Н. И. Погребов — и некоторые члены суда отвергли это обвинение, а признали лишь противозаконное сообщество. Так, даже после недавнего 1 марта в самой умеренной среде сказывалось оппозиционное настроение. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[2] Благодаря моим отношениям к Н. И. Ореусу я знал многих офицеров в Преображенском полку, но о привлечении кого-нибудь из них к «Земле и воле» у меня и мысли не было. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

[3] Я здесь совсем не имею в виду так называемых «бурбонов», то есть выслужившихся из нижних чинов или одинаковых с ними по умственному и нравственному развитию. Ежеминутно угрожаемые увольнением в отставку на нищенскую пенсию, они не иначе как с пеной у рта говорили о тогдашнем правительстве. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Единственно, что отсюда он мог делать вывод: если в главной силе, на которой до сих пор держалась власть, такое разложение, то на кого же она может опереться в случае революционного взрыва? Приведенные выше слова Петра Лавровича о пропущенном октябрьском моменте, думается, только подтверждают мою догадку.

Романтическое увлечение Чаплицкой, — а романтическая жилка была не чужда Петру Лавровичу, говорили, что его женитьба была настоящим романом («через форточку выкрал свою будущую жену»), — конечно, могло играть известную роль, но, как мне представляется, далеко не решающую, — она могла быть лишь ближайшим толчком к побегу, не более. Ведь по словам его дочери, Негрескул, Петр Лаврович перед отправлением в ссылку говорил ей, что долее трех лет в ней не останется: если ранее не освободят, то бежит за границу. А ведь тогда никакой Чаплицкой на горизонте еще не было.

Лавров мог в первое время за границей говорить, что он не теряет надежды, что правительство позволит ему вернуться. Вероятно, у него были на это какие-нибудь сторонние соображения, например желание предварительно ориентироваться в делах и составе русской эмиграции[1]. Не был же он настолько наивен, чтобы действительно думать, что за побег правительство по собственной инициативе вернет его, да еще в Петербург. Нет, для возврата в Россию он должен был бы проделать несколько унизительную процедуру подачи прошения и тогда, вернувшись, получил бы назначение не в Петербург, даже не в Кадников, а, вернее всего, куда-нибудь подальше. Мне известен такой случай в этом роде. После разгрома Франции в 1870—1871 гг. поляк Поклевский-Козелло, видный эмигрант, в мотивированном заявлении выразил желание вернуться в Россию. В этом ему, разумеется, не было отказано; од-

[1] Надежда Прокопьевна Суслова-Эрисман, впоследствии Голубева (жива ли она?), рассказывала мне, что она видела Лаврова в Лондоне, должно быть вскоре после Коммуны. «Трудно было поверить, что я вижу того самого Петра Лавровича, которого знала в Петербурге всегда сдержанного, казалось, далекого от радикализма, а теперь так ярко революционно настроенного. Между прочим, он напал на меня — зачем я в шелковом платье. Я собиралась делать визиты, и на мне действительно было шелковое платье, но самое дешевенькое». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

нако он был отдан под суд и в результате назначен солдатом в Семиреченскую область, — то было еще милостивое решение, несмотря на три предшествовавшие частичные амнистии для поляков, замешанных по восстанию 1863 г. В 80-х гг. Поклевский-Козелло работал по возобновлению Султанбентской плотины в Мерве, где я с ним и познакомился в 1889 г.

Если бы не вера в близость русской революции, то при мысли о побеге перед Лавровым неминуемо должна была выступать дилемма: или пережить еще два-три года высылки, может быть даже несколько и более, или, как логическое последствие побега, — переход в положение навсегда (по меньшей мере на неопределенное длительное время) отрезанного ломтя от России. И в таком случае участь Герцена за последние годы должна была явиться некоторым предостережением для Петра Лавровича.

Так без особенной пользы для революционного дела погибла для России огромная умственная сила. Хотя Лавров за границей и работал до последнего дня своей жизни, хотя его научные труды и печатались в России, но без возможности непосредственного влияния на широкие общественные круги: Лавров за границей и Лавров в России — две величины, совершенно несоизмеримые.

На всех, кто знал Петра Лавровича еще в России, он, помимо его прямой специальности, производил импонирующее впечатление по изумительной многосторонности и солидности своих знаний. И мне остается только повторить здесь то, что я высказал еще в 1905 г. «Не мое дело судить о значении Лаврова в истории развития русской мысли... но, кажется, не будет большой смелостью сказать, что за XIX век русское общество не имело более научно-всеобъемлющего ума, как Петр Лаврович». (См. мои «Воспоминания прошлого», кн. I.)

Помнится, в мои первые приезды в Париж там не было Петра Лавровича. Чуть ли моя первая встреча с ним не произошла на всемирной выставке 1889 г. Гуляю я как-то по ней и замечаю за отдельным столиком почтенного старика с русской газетой в руках и стаканом кофе, — что-то знакомая фигура; обошел

несколько раз: как будто Лавров. И наконец решил подойти. И действительно, на мой все же несколько неуверенный вопрос получил в ответ:

— Да, Лавров, а вы?

— Не узнаете?

Петр Лаврович стал присматриваться.

— Как будто Пантелеев?

И вот с этих пор, помнится, всякий мой приезд в Париж не обходился без свидания с Петром Лавровичем, причем частенько обедали вместе, разумеется в котором-нибудь из общедоступных ресторанов Дюваля. Петр Лаврович неизменно жил в Латинском квартале, rue Saint Jacques, что-то очень большой номер.

Я еще в бытность в Сибири (то есть до конца 1874 г.) знал, что Петр Лаврович эмигрировал, и в наших газетах между строк вычитал, что он якобы принимал деятельное участие в которой-то из осад, выдержанных Парижем, что меня немало удивило, так как Петр Лаврович только носил военный мундир, а к практике военного дела никакого отношения не имел. Я спросил Петра Лавровича.

— Первую осаду я действительно пережил в Париже, но когда была немцами снята блокада, я выехал, так что за время Коммуны меня не было во Франции. Никакого участия в обороне Парижа я не принимал.

— А как же вы, да еще иностранец-эмигрант, пропитывались?

— Как и все — в определенные часы отправлялся в продовольственный участок и там получал установленный рацион.

— Какое ваше общее впечатление от обороны Парижа?

— Поразительная смесь героизма, безропотного перенесения всякого рода лишений и бедствий — с торгашеством, с стремлением зашибить деньгу. Например, овощи в Париже страшно вздорожали; между тем целая полоса огородов окружает город, но она в большей части пустовала, то есть не была занята ни немцами, ни французами. И вот по ночам составлялись целые партии для поисков в огородах (тем же занимались и пикеты, далеко выдвинутые). Их нередко прожекто-

рами накрывали немцы, начинали стрельбу, и многие из смельчаков уже не возвращались. Но это ничуть не отбивало охоты у других на подобные экспедиции, так как в случае удачи зарабатывались очень хорошие деньги.

Я знал, что по настоянию русского правительства Петр Лаврович был изгнан из Франции.

— Что, разве декрет о вашем изгнании отменен?

— Нет, на бумаге он остается в силе, но на запрос моих парижских друзей министерство ответило (уж не помню, какое), что оно будет смотреть сквозь пальцы на мое пребывание в Париже. С тех пор переменилось несколько министерств — и ни одно не потревожило меня.

И так было до самого конца его дней.

Совершенно то же самое говорил мне в 1900 г. другой русский эмигрант, но совсем из противоположного лагеря, — отец Мартынов, иезуит, известный славист. «Какое ваше положение во Франции?» — «Как вы, конечно, знаете, мы изгнаны из Франции; но через несколько месяцев многие из нас, в том числе и я, вернулись в Париж и не только поселились на прежних квартирах, — в момент объявления декрета у домов, принадлежащих ордену, оказались другие собственники, — но и продолжаем заниматься тем же, что и прежде».

Из министерств Петр Лаврович особенно сожалел, что слишком недолго (только пять месяцев) удержалось у власти министерство Гобле.

— При нем повеяло новым духом в приемах управления, — заметил Петр Лаврович.

— Чем вы объясняете известный застой в направлении внутренней политики?

— Да очевидно, что даже при всеобщем избирательстве и полной свободе выборов значительное большинство французов не очень-то радикально настроено.

От Николая Андреевича Белоголового и моих покойных приятелей, стариков эмигрантов Семена Яковлевича Жеманова и Александра Христофоровича Христофорова, я знал, что положение Лаврова в эмиграции несколько особенное. Если не тотчас, то спустя некоторое время по прибытии за границу Петр Лаврович стал

принимать довольно активное участие в делах эмиграции; образовались даже две группы — лавристов и бакунистов, главным очагом которых была Швейцария. Петр Лаврович проживал тогда в Лондоне, редактировал в 1875—1876 гг. «Вперед». Но после одного революционного съезда вынужден был отказаться от редакторства, а журнал закрылся.

Постепенно Петр Лаврович все более и более становился чисто кабинетным работником. Он, конечно, о многом был хорошо осведомлен; все увеличивавшаяся численно русская эмиграция относилась к нему с должным уважением, по временам к нему обращались за советом, за теми или другими научными справками, он читал у себя на квартире желающим пополнить свое образование курсы по разным отраслям знаний — и только. К тому же Париж не был активным центром русской эмиграции — таким по-прежнему оставалась Швейцария.

Зная все это, я при свиданиях с Петром Лавровичем все же воздерживался от каких-нибудь расспросов о делах эмиграции. Но припоминаю, что раз в прямой связи с разговором о наших внутренних делах я высказал Петру Лавровичу свое недоумение и сожаление, что сами по себе пустые университетские истории со стороны искусственно разжигаются, и в результате получаются десятки и даже более выброшенных недоучек, ни к какой серьезной работе не подготовленных.

«Что делать, — отвечал Петр Лаврович, — революционная партия так численно слаба, что для увеличения своих рядов она должна пользоваться всяким подходящим случаем, который ей представляется».

Но, высказываясь таким образом, Петр Лаврович отнюдь не был исповедником — по крайней мере в разговорах со мной — принципа: чем хуже, тем лучше. Напротив, крайне интересуясь ходом нашей внутренней жизни, Петр Лаврович всегда выражал сожаление о тех или других реакционных правительственных мероприятиях и — рядом с этим — слабом развитии у нас тех элементов, которые обыкновенно принято называть либеральными кругами. Вот что он раз говорил, — если не слово в слово, то за точную передачу смысла при-

нимаю на себя полную ответственность: «Какая это особенная, не похожая на Запад, страна Россия: только одни крайности — или слепое и рабское повиновение, или революционаризм...»

В половине 80-х гг. Василий Алексеевич Бильбасов приглашал меня взять пай в большой русской газете, которая имела выходить за границей. Я полюбопытствовал спросить: «А кто будет редактором?» — «Лев Тихомиров, а Лавров участвовать. Тихомиров отошел от террористов, он стал конституционалистом».

Газета, однако, не состоялась, кажется потому, что Бильбасов не нашел достаточного числа пайщиков. К слову, Петр Лаврович в течение многих лет по приглашению Василия Михайловича Соболевского был корреспондентом «Русских ведомостей» — из Лондона, хотя и жил в Париже. Так своеобразны были условия тогдашней русской печати.

Я знал, что Петр Лаврович был в очень близких отношениях с Л. Тихомировым, что его глубоко потрясло падение Тихомирова, и как-то спросил Петра Лавровича: «Что могло побудить Тихомирова на такой совсем неожиданный шаг, как возврат в Россию?» — «Прежде всего решительное расхождение с большинством эмиграции по основным вопросам, но думается, что ближайшей причиной было крайне бедственное материальное положение, ведь он с семьей прямо-таки изголодались».

Всегда и с большим интересом Петр Лаврович расспрашивал меня о ходе моего издательского дела и в самых сердечных выражениях благодарил, когда я поднес ему свое 1-е издание «Этики» Спинозы (роскошное); выразил также большое удовольствие, что мне удалось провести «Историю материализма» А. Ланге (я и это издание вручил П. Л.). «Давно бы следовало быть ей на русском языке». В свою очередь и я крайне признателен Петру Лавровичу: по его настоятельной рекомендации приступил к изданию обширного труда А. Сореля «Европа и французская революция» и выпустил все восемь томов. И если мое издание затянулось с лишком на пятнадцать лет, то это не по моей вине, — так оно медленно выходило на французском языке. Свой посмертный труд — «Важнейшие моменты в истории мысли» — Петр Лаврович передал мне

для издания, но он еще далеко не был закончен, как П. Л. стал сильно недомогать; потому Мак. Мак. Ковалевский, питавший к Петру Лавровичу сыновний пиетет, вернул выданный мною аванс и взял на себя издание[1].

---

[1] В статье П. Витязева «Ссылка П. Л. Лаврова в Вологодской губернии», помещенной в «Известиях Вологодского общества изучения Северного края», вып. II, 1915 г., говорится, что губернатор Хоминский до назначения в Вологду занимал какой-то видный пост в Польше, но затем впал в немилость и был переведен губернатором в Вологду. Это, кажется, не совсем так. Станислав Фадеевич Хоминский был лично известен Александру II, так как преподавал ему какой-то предмет, когда тот был наследником. Ставши царем, он после своей поездки в 1856 г. в Варшаву («Я принсшу вам забвение прошедшего... point de rêveries <никаких мечтаний>») и по Западному краю назначил Хоминского, из местных средних помещиков, губернатором в Ковно. Но подошел 1861 г., начались польские демонстрации не только в Царстве Польском, но и во всем Западном крае. Положение Хоминского, поляка и католика, в то же время русского губернатора, стало крайне затруднительно. И вот что мне говорил кн. Алек. Арк. Суворов, давая письмо к Хоминскому, когда в 1862 г. я уезжал на лето в Вологду: «Это мой хороший знакомый, он был губернатором в Ковно, а там пошли демонстрации да пение разных гимнов; его собственная семья попадалась в них. Вот он и просил, чтобы его перевели в какую-нибудь чисто русскую губернию; его и назначили в Вологду (на место Пфелера, очень недолго бывшего в Вологде, — не поладил с дворянами на почве крестьянского вопроса, как и его предшественник Стоинский). Недавно оттуда он мне писал: «Такой спокойный край, что встретил помещика, который ничего не слыхал, что в 1812 г. французы были в Москве».

Хоминский пробыл в Вологде без малого двадцать лет; хотя в министерстве внутренних дел его недолюбливали, но он пользовался поддержкой Александра II. Оставался бы и долее в Вологде, может быть до нового царствования, но вот какой вышел случай. Хоминский имел привычку время от времени брать более продолжительный отпуск, чем на двадцать восемь дней, якобы по болезни, для чего и представлял медицинское свидетельство. Вот в последний раз инспектор врачебной управы Горталов и дал ему такое свидетельство, что, как говорится, переборщил, — каких только болезней не оказалось у Хоминского! Этим свидетельством в министерстве и воспользовались. «Да его, ваше величество, из человеколюбия надо освободить от служебных обязанностей». На это царь и согласился. Так Хоминский вместо отпуска получил чистую отставку. Впрочем, незадолго до отставки министерство, считая Хоминского слабым губернатором, приставило к нему в качестве вице-губернатора Коньяра, впоследствии архангельского губернатора. На этом самостоятельном посту Коньяр своим отношением к политическим ссыльным вполне оправдал надежды министерства. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

К БИОГРАФИИ П. А. РОВИНСКОГО

Оставаясь одним из весьма немногих очевидцев начала 60-х гг., считаю не лишним поделиться с читателями теми обстоятельствами, которые, как мне кажется, имеют некоторое значение для биографии скончавшегося на днях Павла Аполлоновича Ровинского.

Моя первая встреча с П. А. относится к концу 1862 г. или самое позднее к началу 1863 г. Тогда П. А. жил в Петербурге без определенного положения; но известно было, что он находился в близких отношениях с кружком «Современника», был в дружеских отношениях с Чернышевским, А. Н. Пыпиным. П. А. был уже женат, кажется, имел детей. И тем не менее, когда вышли «Положения» 19 февраля, он отдал даром своим бывшим крестьянам всю землю, себе же оставил лишь соответственное по своей семье количество душевых наделов. Раз я спросил его:

— А что вы собираетесь делать на своих наделах?

— Да начинаю разводить табак.

Не могу точно сказать, когда П. А. вступил в тогдашнее тайное общество «Земля и воля», но осенью 1862 г. он был уже выдающимся членом и, если можно так выразиться, главным представителем всех кружков этой организации, имевшихся на Волге. В начале 1863 г. ему были поручены переговоры с польским делегатом Кеневичем (расстрелян в Казани 6 июля 1864 г.), который настаивал на необходимости со стороны «Земли и воли» какой-нибудь активной демонстрации на Волге, с целью отвлечения от Польши хоть некоторой части военных сил. На основании доклада Ровинского и через него же

комитет «Земли и воли» дал Кеневичу отрицательный ответ.

В том же 1863 г. в конце весны комитету «Земли и воли» надо было во что бы то ни стало устроить побег за границу Николая Утина. Так как западная граница тогда находилась под особенным наблюдением, то по совету П. А. решено было отправить Утина на юг России и там из какого-нибудь порта препроводить за границу. Эту операцию взял на себя П. А. и благополучно выполнил ее.

Осенью 1863 г. П. А. приехал в Петербург. На основании его сообщений о плохом положении дел «Земли и воли» в провинции — да и в Петербурге они были не лучше — комитет решил на время закрыть организацию, и на П. А. было возложено поручение довести об этом до сведения провинциальных кружков, главным образом в поволжских городах.

Ходил тогда П. А. в русском костюме и в нашем кружке был известен под прозванием Шишкина — по милости большой шишки у правого глаза. Впоследствии она у него прошла. В моих «Воспоминаниях» (кн. I) П. А. встречается под инициалами Р — ий (стр. 324, 328).

Этнографическая поездка П. А. в Сибирь (1870 г.) не была предпринята с одной только научной целью. Под покровом последней П. А. должен был собрать сведения о Чернышевском, находившемся тогда еще в Забайкалье на каторге, если окажется возможным, добраться до него и подготовить способы к его освобождению. В этом отношении П. А. ничего не удалось сделать.

Первая поездка П. А. в славянские земли состоялась в 1860 г., но кончилась неудачно. На одном народном празднике или митинге в Моравии он был арестован и выслан из Австрии. По словам П. А., повод к вмешательству полиции подал его спутник Ник. Петр. Лыжин (автор диссертации о Столбовском мире), который под влиянием чешского пива, излишне выпитого, позволил себе какую-то демонстративную выходку. Очень может быть, что этот эпизод и был причиною отказа нашего министерства внутренних дел к выдаче П. А. заграничного паспорта, когда в 1864 г. Казанский университет решил командировать П. А. на два года в славянские земли.

По моем возвращении из Сибири я встречался с П. А., был у него в колонии малолетних преступников. Там П. А., вообще крайне нетребовательный, вел самый упрощенный образ жизни, ничем не отличавшийся от жизни колонистов. К слову, г. Арепьев ошибочно утверждает, что П. А. пять лет был директором колонии. А. Я. Герд, место которого занял П. А., оставил колонию в декабре 1874 г., а П. А. покинул ее в первой половине 1878 г., значит, он пробыл с небольшим три года. Кроме несогласия с советом колонии, на выход того и другого из колонии имело еще влияние и крайнее переутомление.

В 1904 г. я нашел П. А. в Цетинье. Нельзя себе представить, до какой степени он сроднился с Черногорией за двадцать пять лет. Знал он ее, как никто, и его все знали; и было у П. А. бесчисленное множество крестников во всех углах Черногории. Но насколько он любил народ, настолько же ему претили порядки, которые все более и более укоренялись в Черногории по мере развития автократизма и его неразлучного спутника бюрократизма. Вот что он говорил мне: «Все пока держится международным престижем князя; но когда его не станет, можно заранее предвидеть, что глухое неудовольствие народных масс прорвется; и к чему это приведет — трудно сказать».

ИЗ ПРОШЛОГО ПОЛЬСКОЙ ССЫЛКИ В СИБИРИ

Память о кругобайкальской истории[1], то есть восстании сосланных поляков летом 1866 г., до сих пор сохраняется не только в Сибири, но и среди поляков. Обыкновенно причинами вспышки считают непредусмотрительность и нераспорядительность местных властей, а также скопление в одном месте значительной массы наиболее темного и воспламеняющегося люда. Все это так, но полное отрицание какого-нибудь предварительного умысла, как то настойчиво заявляли все подсудимые при разбирательстве дела, не может быть принято без некоторых ограничений, в чем, позволяю себе думать, читатель и сам убедится из последующего изложения.

Но прежде чем приступить к передаче имеющегося у меня материала, считаю не лишним коснуться некоторых тогдашних сибирских условий, которые в известной степени могли способствовать как нарождению у ссыльных идеи восстания, так и обманчивых надежд на вероятный успех его.

---

[1] О кругобайкальской истории на русском языке мне известен лишь небольшой очерк Н. Берга, в «Историческом вестнике» за 1883 г., т. XI.

Хотя свой рассказ Берг начинает издалека — с убийства в Варшаве 8 ноября 1862 г. Фелькнера, начальника тайной полиции, один из участников которого, Влад. Котковский, принимал деятельное участие в кругобайкальской истории и был в числе пяти расстрелянных за нее, однако о каких-нибудь приготовлениях к восстанию в Сибири у него ничего нет. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Польская ссылка[1] николаевского времени оставила по себе добрую память в Сибири; в огромном большинстве она представляла высококультурный элемент[2]. Потому, когда началась ссылка по делу 1863 г., первые партии везде встречали не только доброжелательное отношение со стороны местного общества, но и посильное содействие к облегчению участи. Так, золотопромышленники охотно принимали к себе на службу ссыльных поляков; люди сколько-нибудь с общественным положением брали на поруки тех, кто желал остаться в городе; ссыльные, не только проживавшие в городах, но и пересылаемые, были желанными гостями в лучших домах. Случалось даже, что, узнав о приближении партии, в которой находились почему-нибудь выдающиеся личности, целые компании из местных жителей отправлялись навстречу ей, как то, например, было в Красноярске с партией, в которой шел гр. Кайроли. Патриотического подъема по поводу 1863 г. в Сибири не замечалось; с одной стороны, в ней не было помещичьего класса, пользующегося всяким случаем, чтобы засвидетельствовать перед властью свою преданность; с другой — самый вопрос не возбуждал большого внимания, совершенно не затрагивая каких-нибудь интересов края.

Среди местного общества чиновничество, конечно, являлось выдающимся элементом; но и оно, прежде всего поглощенное заботой о приумножении материальных благ, не обнаруживало ни особенной отчужденности от ссыльных, ни ревностного усердия к выполнению всевозможных полицейских правил и сыпавшихся из Петербурга предписаний и циркуляров. В Тобольске губернатором был А. И. Деспот-Зенович, поляк, хотя и получивший воспитание в русском семействе Тучковых. Пользуясь большим доверием генерал-губернатора Дюгамеля, он делал все возможное, не выходя из пределов закона, чтобы облегчать участь ссыльных; ему удалось подобрать и полицейский персонал из людей порядочных и нестяжательных.

[1] Польская ссылка в Сибирь началась со времен Екатерины II; она даже оставила след в фамилиях крестьян, между которыми встречаются Конфедератовы, Лисовские, Чарнецкие и т. п., православные и совсем забывшие, откуда происходили их предки. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] От стариков сибиряков мне в 70-х гг. не раз приходилось слышать: «Что теперешние поляки (то есть ссыльные после 1863 г.), вот прежде были так люди!» *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

Ссыльные поляки ценили Деспота-Зеновича и с своей стороны не позволяли себе в Тобольской губернии ничего, что могло бы компрометировать губернатора, на которого доносы сыпались со всех сторон. Что касается Томской губернии, где было очень много сосланных на житье, то есть официально мало замешанных в деле восстания, то, может быть, именно в силу этого местная администрация не обнаруживала большой суровости, а жандармский полковник Тиц даже пользовался между ссыльными репутацией человека весьма гуманного. К этому надо еще прибавить беспорядок, доходивший до полной анархии в томской экспедиции о ссыльных, и слабость тамошнего чиновничества до косвенных доходов.

Я проезжал через Томск летом 1866 г., вскоре после того как разыгралась кругобайкальская история, и не мог надивиться на простоту тюремных порядков. За весьма малое вознаграждение смотритель острога меня и целую компанию поместил у себя на квартире (она, видимо, была приспособлена для подобной цели), откуда, никого не спрашивая, мы могли на целый день уходить в город, чем, конечно, и пользовались. Люди, хорошо осведомленные, говорили мне, что в то время в Томске проживало много политических ссыльных, самовольно отлучавшихся с места причисления или под чужим именем.

Енисейской губернией управлял Пав. Ник. Замятин, нося звание губернатора. До того он был полицеймейстером в Москве; местом губернатора был обязан своему брату, тогдашнему министру юстиции. Пав. Ник. был человек поразительно ограниченный, нередко взбалмошный, но в душе не злой. Он был притчей во языцех по всей губернии благодаря своим вечным промахам и недостатку такта[1], а его многолетняя война с золотопромышленником М. К. Сидоровым, который с большим остроумием расставлял ему ловушки, делала его просто всеобщим посмешищем[2]. Едва после 4 апреля получено было в

[1] Был как-то Замятин в Енисейске; именитый купец А. С. Баландин давал в честь губернатора обед. После обеда Замятин и Баландин пошли гулять по набережной. Гуляют, взявшись под руку, а сзади их все время следует оркестр из двух скрипиц да треугольника и неистово наигрывает. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Раз Замятин призывает исправляющего должность полицеймейстера Ф. С. Батаревича: «Как вы могли допустить, чтобы Сидоров поставил пушки у своего дома? немедленно отобрать». Едет полицеймейстер к Сидорову и объявляет ему приказ губернатора.

Красноярске известие, что отец Комиссарова находится на поселении в Ачинском округе (за обыкновенное уголовное преступление), как Замятин сам отправился разыскивать его, затем повез его в своем экипаже в Красноярск и там, показывая народу, кричал: «Отец спасителя!» Сначала старик Комиссаров, и на месте причисления не пользовавшийся доброй репутацией, порядочно струхнул, когда узнал, что за ним приехал сам губернатор; однако, сообразив в чем дело и видя ухаживания за ним Замятина, скоро набрался такой храбрости, что стал прикрикивать на него и даже распекать; так что тот был наконец рад, когда «отец спасителя», получивший прощение, выбрался в Россию.

Тоже вот случай. При губернском совете был служитель Фомич, из отставных николаевских солдат. На обязанности Фомича было почтительно пребывать у дверей совета, где обыкновенно днем бывал Замятин. Раз Замятин приходит и видит, что стоит другой служитель.

— А где Фомич?

— Болен, ваше превосходительство.

— Доложить мне, как ему.

Проходит несколько дней, и Замятину докладывают, что Фомич умер.

— Жаль, верный был слуга царю; доложить мне, когда будет вынос: я хочу отдать последний долг заслуженному ветерану.

Наконец экзекутор сообщает Замятину, что завтра будет вынос Фомича.

— В какой церкви?

— В католической.

— Как в католической?

— Фомич, ваше превосходительство, был католик.

— Католик! И вы решились поставить на такой важный пост поляка, католика! — с ужасом проговорил Замятин и, конечно, не пошел на вынос.

Как человек, весь ушедший в мелочи, Замятин додумался только до одной меры общего характера: по его

«Повинуюсь, — отвечал Сидоров, — но не иначе сдам пушки, как лицу в чине генерала, никому другому». Тогда Замятин отправился сам забирать пушки, которые оказались... бумажными, что было не безызвестно полицеймейстеру, но о чем он коварно умолчал при докладе Замятину. Это мне рассказывал сам Батаревич. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

распоряжению все французы, сосланные по польскому восстанию (из них припоминаю Прадона, Рушоссе, Пажеса), как опасные враги женской добродетели (так буквально говорилось в приказе) были высланы из Красноярска. Приказ, конечно, получил огласку и вызвал в местном обществе разные толки, а среди дам даже взрыв негодования; последовали запросы из Иркутска, и приказ через месяц фактически был отменен.

Жандармский полковник Ник. Игн. Борк (католик) был человек не молодой, совершенно обжившийся в Красноярске; он не был настолько уклончив от политики, как Тиц в Томске, но и не проявлял большой инициативы. С местным обществом Борк был в хороших отношениях; в известные дни у него собирался чуть не весь город, можно было видеть даже политических. Тогда с должностью жандармского штаб-офицера соединялись еще обязанности коменданта приисков, и Борк каждое лето делал объезд приисков. Вообще он, кажется, больше интересовался приисковыми делами, чем внутренней политикой.

Полицеймейстер Борщов, бывший адъютант Борка, имел ближайшее отношение к проживавшим в городе политическим ссыльным (а их было не мало), и, кроме того, в его заведовании находились острог и пересыльная тюрьма. Но Борщов прежде всего любил хорошо выпить и принадлежал к компании (золотопромышленники Безносиков и Шипилин, начальник телеграфной станции Вальтер, бухгалтер банка Корнштейн, прокурор Мунк), которая даже в Красноярске несколько выделялась усердным служением Бахусу, разумеется с неизбежными картами. Притом Борщов был человек добрый и нередко входил в положение ссыльных, по меньшей мере не был инициатором каких-нибудь ограничений.

Прокурор Мунк ни во что не вмешивался; после его смерти рассказывали, что в его кабинете была найдена масса писем с денежными вложениями для передачи политическим ссыльным, причем никаких денег не оказалось.

Советник Айгустов, заведовавший экспедицией о ссыльных, был с университетским образованием, но до конца дней своих сохранил привычки казанского студента прошлых времен, другими словами — сильно зашибал.

Совершенным особняком стоял Ив. Александ. Малахов, прямая противоположность Замятину. Человек об-

разованный (Казанской духовной академии), постоянно интересовавшийся всеми научными и литературными новостями, дельный, безукоризненно честный, он знал только свое губернское правление да вел постоянную войну с Замятиным. Наконец не выдержал и, несмотря на все уговоры Корсакова, перешел в Иркутск на должность помощника интенданта. К политическим ссыльным относился очень хорошо.

Видное место среди тогдашнего красноярского чиновничества занимали представители двух новых ведомств: акцизного и контрольного. Все они были в своем роде либералы, особенно выделялся управляющий контрольной палатой В. И. Мерцалов (ныне сенатор), с особенным наслаждением преследовавший Замятина и подчиненную ему братию всякими начетами.

Однако тон всему в городе задавали золотопромышленники и представители разных золотопромышленных компаний (купечество было совсем незаметно); из них только уполномоченный компании Голубкова, старик Н. П. Токарев, сторонился от политических и никого из них не принимал к себе на службу; все же прочие поступали как раз наоборот, причем, конечно, немалую долю играл и прямой личный интерес. Даже сама администрация старалась извлечь пользу из ссыльных: охотно оставляла по городам ремесленников и не только смотрела сквозь пальцы, что ссыльные доктора занимались медицинской практикой, что запрещалось разными распоряжениями высшего начальства, но нередко назначала их к исправлению должностей — сплошь и рядом пустовавших — официальных врачей.

Восстание было окончательно подавлено в начале 1864 г.; но революционная волна не сразу успокаивается. В двух местах огонь еще продолжал тлеть. В Галиции, где скопилось много эмигрантов, в некоторых кругах горячо обсуждался вопрос о новом восстании, которое на этот раз должно было захватить и самую Галицию[1]. И такое же неулегшееся возбуждение сказывалось на

---

[1] Энергическая реакция против этих замыслов выразилась в образовании партии «станчиков», и до сих пор всемогущей в Галиции. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

противоположном конце — в Сибири. Рядом с подавленными страшным крушением всех надежд или, совершенно наоборот, до крайности экзальтированными, в ушах которых еще раздавался звон оружия, двигалась огромная масса темных простолюдинов, вырванных из своей веками сложившейся обстановки. Для этих людей разлука с родиной, даже с околицей, в которой они жили, была почти равносильна потере всякой ценности жизни. Стоило подать надежду на возврат, и эту массу без большого труда можно было поднять на самое несбыточное дело.

В половине лета 1885 г. меня посетил в Петербурге возвращавшийся на родину из сибирской ссылки поляк К. Хотя я с ним и не встречался в Сибири, но он имел рекомендательное письмо от М. А. Коссовского, с которым меня связывали близкие отношения еще со времен моего пребывания в виленских тюрьмах в 1865 г. Разговорились; оказалось, что К. не только был хорошо осведомлен со многими обстоятельствами, которые имели тесное соотношение с кругобайкальской историей, но и сам принимал в них непосредственное участие. Почти вся фактическая сторона дальнейшего рассказа основана на сообщениях К.

В течение 1863—1864 гг. в Сибири — на поселении, каторге и в острогах — скопился не один десяток тысяч ссыльных поляков; однако вся эта масса ссыльных была в своем роде армия без главных начальников; только с конца 1864 г. стали появляться более выдающиеся деятели восстания, благодаря той или иной счастливой случайности сохранившие жизнь. Так в январе 1865 г. в тобольской тюрьме оказались Ляндовский [1], Шленкер [2] и др. Ляндовский и Шленкер не имели никакого желания оставаться в Сибири. Бегство из острога или с этапа не представляло непреодолимых трудностей, но должно было скоро обнаружиться и неминуемо вызвать усиленные розыски. Потому избран был другой способ, обычно прак-

---

[1] Для Ляндовского, в случае его поимки, были, конечно, готовы виселицы во всех городах Польши; но его матери каким-то чудом удалось вымолить у государя сохранение жизни сыну. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

[2] Шленкер, один из деятельнейших руководителей восстания, происходил из богатой буржуазной семьи; вероятно, благодаря этому и отделался только каторгой. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

тиковавшийся между уголовными: в Таре они переменились фамилиями (при помощи денег это сделать было нетрудно) и благодаря такой незамысловатой операции оказались сосланными на житье в Томскую губернию. Задержаться в Томске уже не представляло никакого труда.

Хотя, как я уже сказал, сибирское население и не обнаруживало никакой враждебности к полякам, однако в те времена побег из Сибири далеко не был так легок, как в наши дни: без пособников из местных уроженцев, — а таковых все же тогда не оказывалось, — он представлял большие трудности, особенно если принять во внимание, что железнодорожное сообщение начиналось только с Нижнего-Новгорода. Побег, однако, не состоялся по совершенно сторонним обстоятельствам. Берг не упускал из виду Ляндовского; имея сведения о выезде его из Тобольска, он телеграммой запросил томского губернатора: проследовал ли далее Ляндовский? а Ляндовского и след простыл. Поднялась тревога. Некоторая неосторожность Шленкера навела частного пристава Имшенецкого на след, что Ляндовский и Шленкер под чужими фамилиями в Томске. Дом, где находился Ляндовский, был окружен таким числом полицейских, что о сопротивлении не могло быть и речи. Ляндовского и Шленкера[1] заковали и отправили далее.

В том же году, под осень, следовали на каторгу Н. А. Серно-Соловьевич, Владимиров и Ветошников; в красноярском остроге Серно-Соловьевич сблизился с Ляндовским. От разговоров о побеге перешли к вопросу о возможности вооруженного восстания ссыльных. В успехе его Серно-Соловьевич не сомневался: он по дороге имел возможность вступить в сношение с местными жителями и, по-видимому, вынес впечатление, что восстание найдет поддержку и может повести не только к освобождению ссыльных, но и вызовет революционное движение сначала в Сибири, а затем и в России.

После совещаний в самом тесном кружке решено было приступить к организации. Для начала обстоятельства складывались довольно благоприятно. В Иркутской гу-

---

[1] Шленкер помещался в арестантских ротах, смотрителем которых в то время был Наумов. Доктор Лясоцкий пишет мне, что Наумов был гуманнейший человек. Не Николай Иванович ли это? — известный писатель. Он тогда, кажется, служил в Западной Сибири. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

бернии и Забайкалье был неурожай, почему и последовало оттуда распоряжение не спешить отправкой партий. Надо также принять во внимание, что в те времена в главных сибирских острогах (тобольском, томском, красноярском, иркутском) периодически два раза в год, весной и осенью, по причине бездорожья происходило чрезмерное скопление арестантов; так, осенью 1865 г. в Красноярске было около 800 следовавших на каторгу, в том числе до 200 бывших жандармов-вешателей, вполне преданных Ляндовскому, готовых идти за ним в огонь и воду[1]. Ляндовский, прибывший в Красноярск в половине лета, оставался там около трех месяцев; пропаганда в остроге встретила сочувственный отклик, тогда решено было повести ее вне острога. Предварительно выработали организацию, и есть указание, что Серно-Соловьевич стал кассиром организации. На первый раз операционными пунктами были намечены Мариинск, Красноярск, Канск, Сухой Бузим (большое село, несколько в стороне от тракта из Красноярска в Енисейск).

В Сухом Бузиме жил бывший начальник порта Липинский (под фамилией Станишевского), человек умный, до крайности сердечный и в то же время выдержанный. Решено было непременно привлечь его, и для переговоров с ним должны были отправиться Шленкер и Дионисий Рогалевич. Первый, несмотря на то, что шел в каторгу, пользовался большой свободой, часто бывал в городе, был принят в обществе, появлялся на вечерах и в таких случаях иногда даже оставался ночевать в гостях. В ином положении оказывался Рогалевич, он состоял старостой партии политических. Староста выбирался партией и только утверждался тюремным начальством. Хотя, как староста, Рогалевич нередко отлучался из острога, случалось даже, что оставался в городе на ночь, но более или менее продолжительное отсутствие его не могло быть не замечено. Чтобы обойти это затруднение, под предлогом болезни он стал просить об освобождении его на

---

[1] Мне раз пришлось встретиться с одним из сподвижников Ляндовского Рейхликом (ремесленник, родом из Познани), прославившимся несколькими весьма удачно выполненными убийствами, в том числе Жуковского. На вопрос: не тревожат ли порой его совесть воспоминания о жертвах, он, не задумываясь, отвечал: «Нисколько, моя совесть была бы неспокойна, если бы я не выполнил данные мне приказания; за самое же существо этих приказаний отвечают перед богом те, кто их давал». *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

время от обязанностей старосты; просьба Рогалевича была уважена. Сначала партия наметила в старосты Ляндовского, но тот отказался; тогда остановились на Ратынском, который и был утвержден начальством. Ратынский шел в каторгу, но по дороге переменился фамилией; в качестве поселенца Енисейской губернии даже поступил на службу к золотопромышленнику Н. В. Латкину, был уже на приисках южной системы. Однако подмена была обнаружена, Ратынского арестовали и водворили в острог.

К большому удовольствию Ляндовского и К°, переговоры с Липинским привели к желанному результату. Липинский вполне одобрил идею восстания и обещал все свое содействие, но, как человек осмотрительный, ничем себя не выдал.

Между тем отсутствие Рогалевича было замечено, и его стали искать по городу. Ратынский объяснял Борщову, что Рогалевич недавно получил деньги из дому и, по всей вероятности, крепко закутил. Так как полиция знала, что Рогалевич нередко посещал ссыльную Жебровскую, то стали у нее делать частые обыски. Та, не зная, в чем дело, но предполагая, что отсутствие Рогалевича означает побег его, и желая дать ему выиграть время, всякий раз уверяла полицию, что Рогалевич вот только что ушел от нее. Рогалевич наконец вернулся; узнав, в чем дело, он, по совету своих товарищей, решил за лучшее самому явиться к Борщову. Тот не поверил объяснениям Рогалевича, что он кутил, отправил его в острог и велел посадить в секретный номер. Сейчас же дали знать м-м Лосовской (жене губернского архитектора, поляка), которая была в дружеских отношениях со многими влиятельными домами в Красноярске, в том числе и с семейством Борка. По ее ходатайству уже на другой день утром Рогалевич был освобожден из одиночного заключения, а затем и вступил в исправление обязанностей старосты.

Однако история отлучки Рогалевича получила огласку, делом заинтересовался полковник Борк; и в один прекрасный день Борщов поставил Рогалевичу на выбор: или отдачу под следствие за самовольную отлучку (в результате чего могла быть прибавка нескольких лет каторги), или немедленную отправку далее. Само собою разумеется, что Рогалевич выбрал последнее; в ближайшую субботу

(партии отправлялись по субботам) он и был отправлен, притом в кандалах, из чего надо заключать, что Рогалевича заподозрили в неудавшейся попытке бежать. Руководящий кружок (в него входили: Ляндовский, Серно-Соловьевич, Шленкер, Рогалевич, Ратынский, Веретьевский, Михайловский, Пшесецкий, Гломбецкий) решил не разделяться и двинуться одновременно с Рогалевичем. В пояснение этого надо сказать: начальство назначало лишь число людей, а из кого формировалась партия, это уже главным образом зависело от старосты, в данном случае — от руководящего кружка; смотря по обстоятельствам, задерживались те, кто были нужны, и отправлялись, на которых не рассчитывали, или наоборот.

Вся компания тронулась в путь в половине ноября; в Красноярске для руководства дела на месте остались Ратынский и Сулимский, а доктор Полячек — в Красноярском округе. При остановке партии в селе Рыбинском вошли в сношение с жившим там Левандовским. То был отставной полковник, значит человек уже не молодой, но крайне увлекающийся. Он принимал деятельное участие в восстании; взятый в плен, сохранил жизнь только благодаря заступничеству одного русского генерала, которому спас жизнь в венгерской кампании. Левандовский, как и надо было ожидать, всей душой примкнул к замыслу. Чтобы еще более привязать Левандовского, кружок назначил его главным начальником всех военных сил будущего восстания.

По дороге, в Канском округе, был еще привлечен к делу некто Новаковский, проживавший под фамилией Варынского.

В конце ноября партия прибыла в Канск (около двухсот тридцати верст от Красноярска) и имела особенный интерес задержаться тут сколь возможно долее, так как здесь успеху агитации могли способствовать некоторые проекты местной администрации, задавшейся мыслью — как в интересах края наилучшим образом использовать польскую ссылку. В Иркутске (генерал-губернатор М. С. Корсаков) решили сконцентрировать главную массу ссыльных Енисейской губернии в малолюдных деревнях Канского и Минусинского округов и там образовать из них земледельческие колонии; при этом предполагалось наделить ссыльных землей и оказать им некоторое денежное пособие на первоначальное обза-

ведение; проектировались также разные поощрения, чтобы ссыльные вступали в брак с сибирячками. Местные жители обращали внимание администрации на неосуществимость и даже опасность ее затеи: между ссыльными Енисейской губернии было очень мало привычных к земледельческому труду. Какие же колонии могли образоваться из разночинцев и интеллигенции? К тому же сконцентрирование в немногих пунктах людей, лишенных заработка, соответствующего их силам и способностям, могло довести их до отчаяния и толкнуть на какой-нибудь рискованный выход из своего отчаянного положения. Но в Иркутске ничего не хотели слушать и начали проводить на деле свои хитроумные соображения. Принялись перетасовывать ссыльных; но, конечно, никаких колоний не образовалось; иркутская администрация даже не располагала сколько-нибудь достаточными денежными средствами. К тому же скоро стали выходить милостивые указы, благодаря которым многие из предназначенных для поселения в колониях получили право переехать на жительство в Россию или даже вернуться на родину. Но, как человек ограниченный и упрямый, Корсаков до конца дней своего генерал-губернаторствования не покидал своей идеи, и остававшиеся ссыльные не имели уверенности, что их куда-нибудь не переведут.

Использовать польскую ссылку не прочь были и некоторые частные лица. Так, небезызвестный в свое время деятель, М. К. Сидоров, имевший графитные заявки в Туруханском крае (по р. Курейке, впадающей несколько ниже Туруханска), усиленно рекомендовал в Петербурге этот край для поселения поляков и, разумеется, не стеснялся рекламировать его с самой выгодной стороны, даже показывал огурцы и редьку, якобы выращенные в Туруханске. К чести тогдашней петербургской администрации, она не выразила большого сочувствия проектам Сидорова, а сибирское начальство, имевшее свои виды, стало в решительную оппозицию Сидорову. В Туруханский край лишь в весьма редких случаях временно высылали ссыльных за какие-нибудь действительные или мнимые провинности на месте причисления. Так, при мне были высланы туда из Канского округа доктор Макаревич, Поплавский и Ястржембский, которых администрация, кажется, заподозрила в агитации, не соответствовавшей ее колонизационным проектам.

В Канске Ляндовский, Шленкер, Серно-Соловьевич с разрешения смотрителя острога поселились в городе, на квартире у доктора Зеленского, из политических ссыльных. Зеленский был человек добрый, пользовался доверием, но недалекий. К тому же он верил в духов и был убежден, что находится в сношении с ними. Ляндовский этим воспользовался, и при посредстве шутовской комедии духи через дымовую трубу высказались в пользу восстания; этого было вполне достаточно, чтобы Зеленский не колеблясь примкнул к заговору. В награду ему был обещан пост главного доктора будущей повстанской армии.

Рогалевич тоже поселился в городе, но отдельно от других. Смотритель острога без большого затруднения предоставлял такие льготы; кроме некоторого гонорара за разрешение, в его пользу поступало еще довольствие, шедшее на арестантов. Надо было задержаться в Канске сколь возможно долее; Рогалевичу удалось уничтожить статейный список на него, а без него нельзя двинуть далее пересыльного. Чтобы отвести подозрение, Рогалевич даже телеграммой в Красноярск на имя экспедиции хлопотал о скорейшей высылке нового документа; но, конечно, хорошо знал, что в Красноярске особенно торопиться не будут. В видах согласования действий и дальнейшего развития дела был вызван из Красноярска Сулимский, он приехал в Канск под фамилией Ябковского. Сулимский, из военных инженеров, был человек образованный, с характером, пользовался общим доверием, был старостою политических, живших в Красноярске. На совещаниях в Канске с участием Сулимского, по-видимому, целью восстания для более широких кругов ставилась массовая эмиграция в китайские пределы. Простая масса о Китае знала только одно, что он недалеко. В видах расширения организации решено было, что Шленкер пойдет в Ачинск и Мариинск, а Михайловский, бывший эмигрант, — в Иркутск, чтобы там заблаговременно подготовить почву.

Шленкер немедленно отправился по назначению, но едва доехал до деревни Замятиной (в восемнадцати верстах от Красноярска, по дороге к Ачинску) и остановился у доктора Полячека[1], как был арестован и посажен в

[1] Полячек поплатился за это долгой тюрьмой. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

красноярский острог. Вот что произошло. Сулимский, вернувшись из Канска, обо всем замысле со всеми подробностями сделал заявление Борщову. Но есть и другая версия; по ней Сулимский якобы коротко сказал Борщову: «Если вы тотчас же не поторопитесь арестовать Шленкера и не вышлете по назначению таких-то и таких — быть большой беде».

При аресте Шленкера у него ничего не было найдено, кроме шифра.

«Что вас задержало? — спросил Борщов, когда к нему доставили Шленкера. — Я вас поджидаю уже три дня». Указывая на шифр, который оказался у Шленкера, Борщов якобы заметил: «Я имею такой же точно».

Над Шленкером было наряжено следствие; его судили просто за побег, о замысле восстания в деле ничего не было. В результате ему прибавили несколько лет каторги.

Когда я жил в Красноярске, мне приходилось слышать два совершенно противоположных суждения о Сулимском. Одни не колеблясь называли его предателем (такого же мнения о нем был и К.), другие — человеком, решившимся на тяжелую нравственную жертву. Сулимский якобы ни одну минуту не верил даже в малейший успех задуманного дела и вошел в него, чтобы в нужную минуту сорвать его. Зная, каким влиянием пользовались Ляндовский, Шленкер и некоторые другие, он не видел иного способа, как выдать главарей, чтобы спасти от неминуемого и страшного бедствия десятки тысяч сосланных.

Из участников никто серьезно не пострадал, Ляндовского привезли из Рыбинского в Канск, продержали там некоторое время в остроге, оттуда перевели в Иркутск, а затем водворили на житье в Киренский округ. Однако через два года ему позволили перебраться в Иркутск. Остальных совсем не тронули. Сведения ли, полученные от Сулимского, были недостаточны, опасались ли местные власти себя компрометировать — только дело о заговоре совсем не было поднято. Ходили даже толки, что вся история была раздута Борщовым, чтобы двинуть свою карьеру. Начальство лишь распорядилось немедленно высылкой в Иркутск Ляндовского, Серно-Соловьевича, Рогалевича, Пшесецкого и др. Серно-Соловьевич вскоре умер в Иркутске от тифа; его ближайшие новые приятели употребили все усилия, чтобы добыть из лазарета его

шубу, в которой были зашиты какие-то документы, которые, — попадись они в руки властей, — наделали бы беды. В Иркутске всех разделили, причем Ляндовского без остановки отправили в Акатуй; Рогалевичу, несмотря на противодействие полицеймейстера Думанского, удалось остаться в самом Иркутске. В Канске вся компания прожила около двух с половиной месяцев.

Хотя голод достиг крайней напряженности, а распутица еще не совсем прошла, однако, ввиду большого скопления пересыльных в иркутском остроге, во второй половине апреля (1866 г.) был назначен день отправки первой партии. В этот самый день прибыл в острог губернатор Шелашников и объявил о высочайшем указе 16 апреля 1866 г., которым были дарованы разные смягчения участи ссыльных; например, все, осужденные до 1 января 1866 г. в каторгу не свыше шести лет, переходили на поселение. Правда, ссыльные жили мечтой о полной амнистии (они приравнивали себя к военнопленным и как таковые, по их взгляду, по окончании войны должны были возвратиться на родину), все-таки этот указ, совершенно неожиданный после 4 апреля, на первых порах сильно парализовал агитацию, которая не прерывалась, несмотря на донос Сулимского. Указ 16 апреля несколько открывал дверь в будущее, до того времени не представлявшее никакого просвета. Руководящий кружок решил приостановить агитацию, пока не изгладится благоприятное впечатление, а взамен того не вырисуются некоторые невыгодные последствия. Огромная масса каторжников, которых переводили на поселение, были люди совершенно без всяких средств; между тем они лишались казенного содержания, — другими словами, при отсутствии заработков и страшной дороговизне хлеба попадали прямо-таки в безвыходное положение. Для тех же, кто был на поселении, перевод в звание крестьян не представлял никакой реальной разницы. Притом вследствие канцелярской волокиты всякие облегчения (кроме освобождения с каторги: тут торопились прекращением казенного содержания) затягивались на очень долгое время; особенно медленно шли дела тех, кто получал право на выезд из Сибири [1].

[1] Впоследствии догадались: прямо назначены были губернии, куда можно было перебираться из Сибири без предварительного сношения с Петербургом. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

В самой кругобайкальской истории никто из участников красноярско-канского замысла не принимал участия, так как все находились вдали от театра действий. Но довольно правдоподобно, что за эту историю поплатился ничем в ней не повинный Огрызко. В начале 1866 г. он был доставлен в Акатуй с двадцатилетним сроком каторги; но осенью того же года его увезли в Вилюйск, где имелся специально выстроенный острог. Первым обитателем его был д-р Дворжачек, — сошел там с ума; его сменил Огрызко, а на место последнего, переведенного в Якутск, в 1871 г. водворен Чернышевский.

Несколько слов о судьбе некоторых участников красноярско-канского замысла. Шленкер по освобождении с каторги жил в Иркутске, имел даже там магазин, а потом вернулся на родину. Ляндовский покончил с каторгой в 1874 г.; по ходатайству матери в начале 1875 г. ему было позволено приехать для свидания с ней в Нижний-Новгород, но с дороги он бежал за границу; одно время жил в Алжире и имел хорошую практику в качестве доктора. Как Шленкер, так и Ляндовский давно померли.

Всех тяжелее была судьба Рогалевича. При первом известии о кругобайкальской истории он был вывезен на поселение в Балаганский округ; там 14 ноября 1866 г. арестован и посажен в острог. Сидя в общем заключении, Рогалевич заболел и через исправника Измайлова стал просить, чтобы его перевели в иркутскую больницу. Вскоре после этого заявления приехал из Иркутска чиновник для производства следствия, Вьелегорской. Оказалось, что был поднят канский эпизод. По отъезде Вьелегорского Рогалевич был освобожден и отправлен на место причисления, но 8 мая 1867 г. его вывезли в Киренский округ и водворили на Нижней Тунгузке, в глухой деревне Иербоготай. Там он пробыл восемь лет, причем к нему не применялись последующие высочайшие милостивые указы. Лишь по ходатайству исправника Поротова в 1878 г. к нему частично был применен указ 1874 г., но без права выезда в Россию. В начале 80-х гг. ему позволили переехать на жительство в Иркутск, и только в 1885 г., то есть уже после коронационного манифеста, по ходатайству матери он получил разрешение вернуться на родину.

П. П. МАЕВСКИЙ

Только на днях я получил из Сибири печальное известие, что 28 июня текущего года в Енисейске покончил с собой выстрелом из револьвера бывший политический ссыльный Павел Петрович Маевский — шестидесяти семи лет, проживший в Енисейском округе почти сорок лет.

В конце 1866 г., находясь в Красноярске, я прочел в газетах официальное изложение дела о каракозовцах и судебное решение по нему. В числе лиц, приговоренных к ссылке в Сибирь, кроме И. А. Худякова совершенно мне неизвестных, упоминался студент Московского университета Павел Петрович Маевский. Из дела было видно, что, собственно, к каракозовской истории он не имел никакого касательства, а обвинялся в укрывательстве и пособничестве к бегству поляков (Домбровского и др.), замешанных в польском восстании. Обвиняемый чуть ли не по пятнадцати пунктам, Маевский, однако, ни в чем не сознался, что и вызвало у меня тогда невольное восклицание: «И той бе иноплеменник!» Года через четыре мне пришлось познакомиться с этим иноплеменником и даже близко сойтись с ним. Сначала Маевский, как и другие каракозовцы, высланные в Енисейский округ (Малинин, Федосеев, Маркс), был поселен в глухой деревушке отдаленной Кежемской волости. Не имея никаких средств, первое время Маевский кормился рыболовством, потом занимался по письменной части у волостного писаря и, кажется, в 1869 г. получил разрешение перебраться в Енисейск. Там он поступил на службу в контору по золотопромышленным делам В. И. Базилевского, у которого нашли себе прибежище масса

ссыльных поляков и многие из русских политических, частью на приисках, частью в городской конторе. В конце 1870 г. и я поступил на службу в Енисейск к В. И. Базилевскому и, до самого выезда из Сибири, в течение четырех лет оставался на его делах; вот за это время я и имел возможность близко узнать Маевского, мы даже довольно долго вместе жили. Павел Петрович резко выделялся среди енисейских поляков как по своему уму, характеру, так и оригинальности в привычках. По окончании курса в виленском дворянском институте (закрытом Муравьевым) он сначала поступил, по настоянию отца, на медицинский факультет Московского университета, а потом перешел на математический; принимал живое участие в делах корпорации студентов поляков (согласно условиям того времени, она, конечно, была негласная), но в то же время имел знакомство и в среде русской молодежи. Когда вспыхнуло восстание 1863 г., Маевский остался в Москве, принимал деятельное участие в кружке, на который было возложено исполнение разных поручений, исходивших от революционной организации, главным образом по укрывательству бежавших повстанцев и оказанию им помощи для переезда за границу. Тогда, в 1864 г., особенно наделало шуму удачное бегство из Москвы Домбровского — капитана, арестованного еще до восстания и приговоренного, по настоянию Берга, в каторжные работы. Домбровский был членом первого центрального революционного комитета, сформировавшегося в Варшаве в 1862 г. Когда пересыльная партия, в которой находился Домбровский, прибыла в Москву, последний решил бежать, но этим не удовольствовался, а потребовал, чтобы была выкрадена из Ардатова его жена, сосланная туда тоже по польскому движению. Желание Домбровского было благополучно выполнено. Как известно, впоследствии Домбровский принял выдающееся участие в Парижской коммуне и погиб в последней решительной битве с версальцами.

Одновременно с Маевским жил в Енисейске другой поляк, сужденный в группе по каракозовскому делу, московский учитель (кажется, Межевого корпуса), Максимилиан Осипович Маркс, давно уже умерший и тоже в Енисейске. В деле каракозовцев есть указание на замысел отравить М. Н. Каткова, для чего якобы через посредство Маркса был добыт яд от провизора Лангауза.

Я как-то спросил Маевского: «Что это за эпизод?» — «Да это все выдумал Маркс (то же потом слышал и от других каракозовцев, с которыми приходилось встречаться), никакого замысла отравить Каткова не было». Арестованный Маркс скоро впал в состояние галлюцинаций; поводом к его аресту было показание Шаганова, что яд был получен через Маркса. Последний это признал. «Для чего вы доставали яд?» — спрашивают Маркса. «Чтоб отравить государя императора». И тут Маркс сгородил такую невероятность, что комиссия не приняла его признания, хотя оно и было крайне эффектно. Настаивают, чтоб он показал правду. Тогда Маркс заявил, что яд был предназначен, чтоб отравить Каткова. Этим комиссия удовлетворилась; на самом же деле Маркс и понятия не имел, для чего был нужен яд.

По поводу яда в официальном изложении дела говорится: «Для освобождения Чернышевского хотели отправить в Сибирь Страндена, который предположил в случае открытия его замысла на месте отравиться, а потому ему необходимо было достать яд». Так ли это было на самом деле, я не осведомлен.

Но возвращаюсь к П. П. Маевскому. Всегда невозмутимо спокойный, редко высказывавшийся, он отличался замечательною ясностью суждения и позитивным направлением мысли, столь редким у поляков того времени; у Павла Петровича не было и тени романтизма, еще менее мистицизма. В исполнении своих служебных обязанностей он был добросовестен и точен до педантизма, и это вместе с отсутствием какого-нибудь искательства помешало ему сделать карьеру, тем более что в Сибири, по крайней мере в те времена, требовали не столько утонченности в работе, сколько быстроты. В 1874 г., покидая Енисейск, я уговаривал его последовать моему примеру, на что он имел право; но на родине у него не было никого близких, а одно личное обстоятельство удерживало его в Енисейске. Последние двадцать два года своей жизни он занимал очень скромную должность доверенного корреспондента в Енисейске золотопромышленного товарищества «Зауралье». Одно время он сильно мечтал о выезде из Енисейска, думал поселиться где-нибудь в деревне (в Сибири же) и заняться сельским хозяйством; но это так и осталось одной мечтой. Сознавая близость своего конца, он сильно

сожалел об этом: ему страстно хотелось еще пожить и увидеть результаты начавшегося освободительного движения в России; но в один из невыносимо жестоких приступов сердечной жабы он покончил с собой, — то не было проявлением слабости характера, он знал, что дни его уже сочтены. До самой кончины он сохранился таким, каким прибыл в Сибирь, старость духовно не овладела им, он остался верен заветам своей юности и это нравственно поддерживало его за сорок лет жизни в Сибири.

ИЗ СИБИРСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Я прибыл в Красноярск в августе 1866 г., а в конце марта 1867 г. был уже на северных приисках К° Латкина. Занимая второстепенные должности, я не имел по приисковым делам непосредственных сношений с начальством. Знал, что оно «со счета экстраординарных расходов» получало всякого рода установленные с давних пор воспособления (хабары, как говорили сибиряки) и натурой и деньгами, что в сумме эти расходы доходили до пяти рублей с одного летнего рабочего, то есть если у золотопромышленника летом было сто рабочих, то ему «экстраординарные расходы» обходились около пятисот рублей. Для дел средней доходности это составляло от восьми до десяти процентов от чистой прибыли.

Осенью 1870 г. я переехал в Енисейск, где по делам золотопромышленника В. И. Базилевского занял должность городского резидента, то есть заведующего городским складом. В первое время по переселении в Енисейск моя роль была не особенно заметная; из начальства мне приходилось иметь дела только с местным квартальным, которого я и ублаготворял то возом сена, то двумя-тремя кулями овса. Но когда были замечены мои близкие отношения к хозяину, отношения, переходившие даже в дружеские, то и высшее начальство стало обращаться ко мне за посредничеством в деликатных делах. То исправник, соблазнясь на какого-нибудь компанейского бурку, просит уступить его:

«Он так подходит к моему коню, вышла бы отличная пара; если вы скажете Виктору Ивановичу, он, конечно, не станет возражать».

Смотришь, за исправником на такую же тему заводит речь его помощник, а стряпчий уже прямо заявляет:

«Все чиновники отзываются мне, что они вами довольны, вы всех наградили конями; не обидьте же меня, дайте и мне какого-нибудь сивку».

А секретарь, проигравшись, коротко пишет: «Праздник на дворе, денег ни копейки».

...Раз, в конце сентября, захожу я в канцелярию полицейского управления, — нужна была какая-то справка. Получив ее от помощника секретаря, я уже собирался было уходить, как исправник, подойдя ко мне, любезно сказал:

— Имеете вы немного свободного времени? Надо бы переговорить с вами.

— Могу-с, — отвечал я и последовал за исправником в присутствие.

Секретарь, поняв некоторый жест исправника, выходит. Исправник усадил меня за стол, на котором стояло зерцало с известными указами Петра. Открылось в своем роде заседание под председательством исправника, по правую руку был помощник, а по левую я.

— Мы вот с Филадельфом Сильверстовичем хотели с вами откровенно переговорить. По чистой совести надо сказать, что просто нет возможности оставаться на службе... Что ни день, то новый циркуляр; старый черт [1] просто из ума выжил. Лишает всяких средств, а в то же время требует, чтобы дело не стояло. Вот секретарь с первого числа распустил половину канцелярии (то есть наемных писцов); ведь отпускаемых из казны средств и на остальных не хватит.

Я все это слушал и недоумевал — что сей сон значит; тогда я был еще внове.

— Я вам скажу, — поправляя очки, в свою очередь с некоторым пафосом повел речь помощник, — есть, конечно, злоупотребления — люди везде люди; но теперь не прежние времена, когда на службе наживались;

---

[1] Генерал-губернатор Синельников, пытавшийся прекратить всякие не установленные законом поборы с крестьян под видом жалованья волостному писарю, каковое доходило до двух рублей с души и почти целиком шло в карманы полицейской администрации. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Зыбины, Сорокины, Вахрушевы [1] отошли в вечность; ныне дай бог лишь прокормиться, а как детей поднять и воспитать (а их у Фил. Силыча была целая уйма) — это мудреная задача. И вот, ничего не разбирая, какой-нибудь из ума выживший солдафон набрасывается, все крутит, мутит... и бог знает, когда наступит конец этой анархии.

«Чего же они от меня хотят?» — раздумывал я.

— Скажите, пожалуйста, Лонгин Федорович, — опять выступил сам исправник, — вы так близки с Виктором Ивановичем, что, конечно, хорошо знаете его виды... как вы полагаете... можно ли рассчитывать на какое-нибудь содействие с его стороны? Вы поймете, надеюсь, что, если бы не такое тяжелое время... мы, конечно, всегда чем только могли старались услужить Виктору Ивановичу... Он сам знает, что мы на многое смотрели сквозь пальцы.

Слабая сторона дел В. И. по отношению к начальству состояла в том, что у него на службе, и притом на довольно видных местах, находилось много людей, вполне зависимых от усмотрения начальства; я сам был из числа таких и, разумеется, очень хорошо понял намек исправника, который затем продолжал:

— Так что вы нам можете сказать относительно видов Виктора Ивановича? Можно ли чего-нибудь ожидать?

— Сколько мне известно, — отвечал я, — вы вполне можете надеяться, что Виктор Иванович и в нынешнем году не изменит давно установившимся обычаям; и если он этого не сделал до сей поры, то, вероятно, лишь потому, что в настоящую минуту слишком занят приисковыми делами. Я, конечно, не имел с ним разговора по предмету, о котором вы меня спрашиваете, но думаю, что мой теперешний ответ оправдается на этих же днях.

— Очень вам благодарны, — сказал исправник и с чувством пожал мне руку; то же не замедлил сделать и Ф. С.

Вечером того же дня, после разговора с В. И., я отвез исправнику и помощнику по запечатанному конверту с надлежащим содержимым.

Исправник Павел Иванович был маленький, худенький человечек, что называется — еле душа в теле. Он был

---

[1] Известные исправники 50—60-х гг. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

из военных и только благодаря заботливости денщика остался жив при печальном возвращении одного из амурских батальонов [1], значительная часть которого погибла от голода и изнурения. Воспоминание ли об этом ужасном эпизоде, природа ли его была такая, или что другое, только он никогда не улыбался, всегда был ровен и крайне политичен. С подчиненными ладил, управляемые не плакались; и только когда оставил место, то преемник его нашел, что подгородные волости до такой степени ощипаны, что надо было дать им по крайней мере три-четыре года, чтобы у них завелось кое-какое оперение.

А между тем, несмотря на видимую холодность, это был человек с сердцем, способный принять участие в ближнем. Как-то заезжает он ко мне; визиты же начальства на меня всегда действовали угнетающим образом, так как за ними неминуемо следовало пожертвование тем или другим со счета «экстраординарных расходов».

— Я к вам по делу, — сказал исправник после первых обычных фраз. — Вы, конечно, слышали, что Ти—в растратил четыреста рублей и не в состоянии их пополнить. Собственно, его и жалеть не стоит: из хорошей фамилии, образованный, был на дороге, и наконец дойти до того, что из милости держат енисейским квартальным, — можете судить, что за человек. Но жаль, знаете, его жену; очень хорошая женщина, и притом урожденная фон Фитингоф. Теперь вообразите себе положение женщины, у которой муж должен быть засажен в острог. Долго думали мы с Филадельфом Сильвестровичем, как помочь беде; наконец решились обратиться к вам и еще к кой кому из золотопромышленников... пожалуйста, ради бедной женщины, не откажите в помощи спасти мужа. Если позволите, он завтра сам к вам явится. Я надеюсь на вас, Лонгин Федорович.

И действительно, на другой день явился Ти—в. Это был отъявленный нахал; всем было известно, что он держал пару лошадей, устраивал пикники, играл в карты, пьянствовал в клубе. Между тем, не краснея, стал уверять меня, что растраченные деньги пошли на хлеб и мясо.

---

[1] В 1856 г. батальон майора Облеухова. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

«Я, — говорил он, — не рассчитываю, собственно, на енисейцев, они не в состоянии понять, что человек очень легко может выскочить из рамок жизни, но полагаю, что люди образованные вникнут в мое положение и помогут мне из него выпутаться. Да, я растратил четыреста рублей, но моя совесть спокойна, — они пошли на хлеб, мясо и соль; все знают, как ничтожно казенное содержание».

Но я остался несколько глух и заявил, что К° Викт. Иван. не может ассигновать более двадцати пяти рублей.

Тогда исправник обратился непосредственно к И. И. Маркелову, заместителю Базилевского, и достиг того, что было дано триста рублей.

Не то конец сентября, не то начало октября; у В. И. обед для начальства. Кроме местного исправника, его помощника и всеобщего любимца, пристава Вилькенского, приглашено все ревизорство, горный исправник, тоже с помощником, а также жандармский полковник, приехавший из Красноярска [1].

Вот гости собрались. Хозяин, обыкновенно теряющийся в таком многочисленном и притом ему совершенно чуждом обществе, о чем-то ведет уединенную беседу с отводчиком Макаровым.

Вся остальная братия направилась к закуске. Сосредоточение около одного пункта, как всегда это бывает, много способствовало оживлению разговора, до того времени отрывочного и разбросанного по разным углам. Горный исправник подвижнее всех и бойчее по словесной части. Он напрягает все усилия, чтобы удержать в своих руках направление разговора, особенно старается попасть в тон полковника и в то же время высказать свое бескорыстие и ревность к службе.

«Вы не можете себе представить, в каком порядке совершился ныне проход рабочих по Ново-Нифантьевской

---

[1] До 60-х гг. губернские жандармские штаб-офицеры считались комендантами приисков; по новому уставу были освобождены от этих обязанностей, но продолжали посещать прииска и Енисейск во время расчета, где золотопромышленники оказывали им всякое гостеприимство и внимание... (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

дороге[1]. Сам я поехал вперед, а Андрея Ивановича (помощника) просил замыкать шествие. С зимовщиками я ведь не церемонюсь, так как благодарностей от них не беру. «Можете, говорю им, торговать щами, пирогами, вообще съестным, но о продаже водки не смейте и помышлять». На Лендахе даже нарочно с полсуток оставался наблюдать — как себя ведет новый зимовщик. И могу смело сказать, что никогда не было так мало пьяных, как в нынешнем году, даже удивительно как мало».

При выезде с приисков в город я действительно встретил исправника на Лендахе.

— Что поделываете? — спросил я исправника.

— Да растрясло сильно; видите, какая дорога; думаю немного отдохнуть.

«Ох, — подумал я, — неспроста он тут расположился», — и по некотором времени, обратясь к знакомому зимовщику, спросил:

— Что у вас тут делает начальство?

— Да известно что — ждет своего хлеба. Только что он приехал, я первым делом и подаю ему пятьдесят рублей. «Это, говорит, что такое, разве не знаешь, сколько следует?!»—«Извините, ваше высокоблагородие, по новости еще не разжился капиталами, поверьте совести — больше нет». — «Ну, я подожду до вечера, авось к той поре выручишь».

— А сколько же надо дать ему?

— Должно быть, придется приложить еще две четвертные.

Между тем беседа около закуски оживлялась.

— Как жаль, — заметил полковник, — что рабочих обязательно не сопровождает доктор или по крайней мере фельдшер, ведь, конечно, бывают случаи, когда нужна медицинская помощь.

— Я за этим сам наблюдаю, — поспешил отозваться исправник. — Нынче и был такой случай, блистательно доказавший целебное действие накладывания клеенки... озон.

Надо заметить, что исправник всю медицину сводил к наложению клеенки и вдыханию озона, о котором он

---

[1] Главная дорога с северных приисков в Енисейск. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

только и знал, что есть какой-то озон. И затем всякий раз, когда говорил о котором-нибудь из них, не мог не упомянуть и о другом, хотя бы без всякой надобности и связи.

— Приехал я на Черную (зимовье), — продолжал исправник, — зимовщик докладывает, что умирает рабочий; иду к больному. Спрашиваю: «Что с тобой?» Едва мог понять, что всего колет и не может вздохнуть. Сейчас же наложил ему клеенку, — она у меня всегда при себе, — велел напоить чаем, даже влил ему несколько капель рому. И что же вы думаете? Не успел я уехать, как ему стало лучше, главное — вспотел. Я распорядился, чтоб зимовщик, как только рабочему станет настолько лучше, что он может пуститься в дорогу, немедленно отправил бы его с почтой в город и прямо ко мне.

Наконец был подан обед, за который гости и поспешили усесться. Повар Константин, взятый В. И. из Петербурга, в этот день был трезв; к енисейскому начальству он относился без всяких церемоний, но ради жандармского полковника постарался не только поддержать достоинство компании Базилевского, но и выказать все свое искусство; потому обед в гастрономическом отношении вполне удался. Вначале разговор вращался в съедобно-питейном направлении — кто восхищался пирожками, кто смаковал вино. Исправник не умолкал, он плакался на таежное сухоядение.

— Иной раз и рад бы всей душой угостить, да ведь ничего в тайге нет, даже дичи трудно достать, тунгузы совершенно ничего не носят.

— А что у вас случилось на Даниловском прииске? — совсем неожиданно спросил полковник.

— Рабочий убил служащего, — равнодушно ответил исправник. — Андрей Иванович, — обратился он к помощнику, — расскажите, как это дело было: вам оно лучше известно.

На помощнике исправника лежали обязанности судебного следователя.

— Очень просто: рабочий, Иван Иванов, один работал в орте (штольня); подходит сзади служащий; Иванов обернулся да со всего размаха и хвать кайлой по лбу служащего, — у того, конечно, и дух вон.

— Что же за причина? Он был зол на служащего?

— Никакой причины. На допросе Иванов показал: злобы на служащего не имел, а все равно: кто бы в эту минуту ни подвернулся — всякого убил бы. «Почему же?» — спрашиваю его. «Так, не владел собой».

— Однако это удивительно, — заметил полковник. — И часто у вас бывают такие случаи?

— Не очень, а провертываются. Вот тоже нынешним летом был случай на Дюбкоше. Забегает рабочий в кухню напиться квасу; кашевар спал. Рабочий, не долго думая, за топор да с одного удара и отправил кашевара на тот свет. Спрашиваю: «Зачем ты это сделал?» — «Кашевар, говорит, спал, а шея у него была открытая, такая толстая, жирная, так и лоснится. А тут же на столе топор лежал, ну я не вытерпел...»

— Что им жизнь человеческая, — вмешался исправник. — Остановился я раз ночевать на Ново-Мариинском прииске; раздевает меня лакей управляющего. «Ты, говорю, из поселенцев?» — «Так точно». — «За что сослан?» — «Помещика убил». — «Ладно; да ты эдак, пожалуй, и Евгения Васильевича (управляющего) убьешь».— «По поступкам глядя-с», — спокойно ответил лакей. И что же вы думаете, в ту же зиму он убил; положим, не Евгения Васильевича, а смольщика на яме.

— Однако какие мрачные истории творятся у вас в тайге, — несколько вдумчиво сказал исправник.

— Зато, полковник, здесь не оберешься веселеньких пейзажей, — вмешался Вилькенский, — изволили слышать о последнем пожаре?

— Да, мельком; вы, кажется, должны хорошо знать эту историю, потому что были в ней видным действующим лицом.

— Пришлось, по воле начальства, иметь дело со святыми мужами. У меня, полковник, занимается в канцелярии один грамотный поселенец — говорит, что прежде практиковался по водевильной части, — так он всю эту историю изложил в элегическом стиле, местами довольно остроумно, а главное — совершенно так, как было дело; не прикажете ли, я вам доставлю это описание, может быть заглянете на сон грядущий...

— Сделайте одолжение, интересно будет прочитать.

Между тем обед подошел к концу. Часть гостей немедля распрощалась с хозяином; остались лишь полковник да горный исправник. Последний заметил, что Вик. Ив.

прощаясь с ревизорством, что-то совал им в руки, и легко сообразил, что то были запечатанные конверты со вложением, и заранее смаковал нечто подобное же и на свой пай.

Хозяин с гостями направился в кабинет, где был подан послеобеденный чай. Временное молчание, вскоре, впрочем, прерванное исправником:

— А вы, полковник, кажется, Жукова курите?

— Да, привык к нему, но с каждым днем все труднее доставать старый жуковский табак, а нынешний куда хуже прежнего.

— Я вам могу послужить: недавно разыскал в одном приисковом амбаре с полпуда жуковского еще от пятидесятых годов, — просто роскошь, а не табак.

— Очень буду вам благодарен. В Красноярске такого уже не достать.

Возникает между полковником и хозяином разговор о Красноярске. Полковник заметил, что по местоположению Красноярск нельзя и сравнивать с Енисейском.

— Нет прекраснее города Константинополя, — вдруг выпалил исправник.

— А вы там были? — несколько удивленно спрашивает полковник.

— Нет, к сожалению, не привелось.

— Так почему же вы так думаете?

— Помилуйте, Босфор... великолепие турецкого султана... какие у него янтарные чубуки... — со вздохом закончил исправник.

— А что ни говорите, — сказал полковник, — быть Константинополю русским городом; вот опять построим флот на Черном море, и смотрите пожалуй еще на нашем веку русские войска прогуляются в Царьград.

— Вы не изволили быть в Севастополе? — спросил исправник.

— Как же, с сорок девятого года я там несколько лет простоял с полком.

— Какое прекрасное общество там было в сороковых годах.

— Вы, значит, тоже были в Севастополе?

— Нет, но я знаком с ним по стихотворению одного моего приятеля из моряков. Прикажете, полковник, сказать?

— Хорошо.

— «А вы, бубновые валеты...»

И затем исправник продекламировал десятка два строк, в которых приятель — моряк — довольно бесцеремонно отзывался о пехотинцах.

— Однако позвольте, — прервал его полковник, — это скорее пасквиль, чем верное изображение общества офицеров того времени; помилуйте, в нашей дивизии...

— Это, вероятно, касается до другой дивизии, — поспешил поправиться исправник.

— Ну, может быть, в других частях и было что-нибудь похожее, — несколько успокоившись, проговорил полковник, — только в нашей дивизии, можно сказать, было отборное общество.

Наконец и чай кончен. Разговор как-то уже не вяжется. Казалось, что полковник и исправник стараются пересидеть друг друга; наконец полковник прощается и уходит. Тогда берется за фуражку и исправник. Его левую щеку начинает усиленно подергивать, что с ним всегда бывает в минуты напряженного ожидания; в то же время он с ожесточением закусывает свои усы.

— Вы всё на старой квартире остановились? — спрашивает В. И.

— Да, по-прежнему, у Михалькова.

— Так я у вас буду завтра в двенадцать часов.

Исправник улыбается, но как-то неестественно; он долго не выпускает руки В. И., причем тому кажется, что точно лихорадка бьет исправника, так трясется его рука. Наконец исправник направился к прихожей; но, увидев, что полковник уже ушел, остановился и делает шаг назад.

— Виктор Иванович... — голос исправника слегка дрожит, — у меня к вам небольшая просьба, или, лучше сказать, очень большая.

— Что прикажете?

— У вас на прииске остается рояль; сами вы теперь едете в Петербург, не позволите ли им попользоваться? Моя жена очень любит музыку, а у вас такой прекрасный рояль — помнится, Эрара. Я бы его очень бережно перевез, будьте спокойны в этом отношении. А главное, пора детей учить. У нас и гувернантка с музыкой нанята.

— Хорошо, можете взять.

— Очень, очень вам благодарен. — Исправник старается придать своему лицу самый умиленный вид, но

всякий опытный наблюдатель заметил бы, что какое-то тайное страдание подавляет его.

В тот же день ночью будят исправника, только что улегшегося в кровать по возвращении из клуба.

— Что такое? — спрашивает он крайне недовольным тоном.

— Мертвого привезли, ваше высокоблагородие, — докладывает ему казак.

— Что ты вздор городишь, пьян, что ли? Какого мертвого привезли?

— А того, что на Черной больной был; так он умер, его и привезли.

— Как могли мертвого отправить... Ах мошенники!

— Да конюх говорит, что он в дороге умер.

— Что ж мне с ним делать, с мертвым? Я здесь не начальство, пусть в полицию везут.

Рабочий умер еще на зимовье, но зимовщик, не желая подвергаться лишнему наезду начальства, спровадил мертвое тело в город, наказав конюху объяснить, что больной умер в дороге.

Но в полиции не приняли мертвеца, там решительно объявили уряднику, посланному исправником:

— У нас и своих мертвых тел достаточно, на кой черт везут из тайги, когда там есть свое начальство?

Немало возни причинил мертвец исправнику. Наконец городская полиция сжалилась и за две бутылки шампанского, поставленные в клубе исправником, приняла мертвеца под свое покровительство.

В то самое время, как мертвец потревожил сон исправника, полковник, покончив чтение почты, полученной из Красноярска, улегся в постель, закурив трубку, и, вспомнив о конверте, полученном от Вилькенского, решился позабавить себя чтением произведения местного литератора из поселенцев. То были довольно нескладные вирши, в которых излагалось, как один из обитателей монастыря, упившись до чертиков, учинил поджог, полагая, что тем он выкурит нечистую силу, не дававшую ему покоя. Не найдя ничего интересного в «веселеньком пейзаже», полковник, не дочитав его до конца, повернулся на другой бок и крепко заснул.

На другой день, часов в девять утра, я пью чай. Вдруг входит неожиданный гость — исправник.

— Однако вы, полковник (горный исправник, собственно, подполковник, но, маслом каши не испортишь, с удовольствием выслушивает, когда его титулуют полковником) [1], довольно рано встаете, если в девять часов уже принимаетесь за визиты.

— Да, я привык рано вставать.

— Не прикажете ли чаю?

— Хорошо, стаканчик могу.

— Может быть, и с каплями (то есть с ромом)?

— Можно и с каплями.

Некоторое молчание. Я чувствую, что предстоит выдержать какую-то атаку, но какую именно — сообразить не могу.

— У меня к вам есть просьба, добрейший Лонгин Федорович, очень щекотливая просьба; мне, надеюсь, не откажете.

— Охотно готов служить, если только ваша просьба в пределах для меня возможного.

— Совершенно для вас возможна. Видите ли, надо собираться домой, в тайгу...

— Ах, вы, вероятно, желаете иметь лошадей до первого зимовья. К сожалению, все лошади, кроме выездных, отправлены на кормежку.

— Нет, лошадей мне обещал дать Востротин, а беда в том, что ехать-то не с чем, не на что закупить даже самых необходимых припасов.

— Что так?

— Да, поверите ли, просто ниоткуда и ничего. Вот помощник только и купил, что шарфик для жены.

— Чем же я могу быть вам полезен?

— Скажите, пожалуйста... вы так близки с Виктором Ивановичем, что, конечно, должны знать... только откровенно скажите... будет от него что-нибудь... ведь вся надежда лишь на него одного...

— Без сомнения будет, это только вопрос времени.

— Но если б я вас попросил... вам это ничего не стоит, никакого труда... спросить у Виктора Ивановича.

— Мне спросить нетрудно, но это совершенно излишнее; могу вас заверить, что без обычного воспособления не останетесь.

---

[1] В иерархическом отношении должность горного исправника приравнивалась к заседательской. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

— Но вы поймите наше положение... так, знаете, тревожно; ради успокоения, если можно, спросите у Виктора Ивановича. Извините, пожалуйста, что утруждаю вас этим делом.

— Ничего, это для меня как с гуся вода.

— Хе... хе... хе... как с гуся вода, — повторил исправник.

— Я сейчас схожу к Виктору Ивановичу, вы меня подождите.

В. И. жил на одном дворе.

— Виктор Иванович, — несколько в приподнятом тоне начал я, войдя к нему,— его высокоблагородие горный исправник оказал мне честь спросить у вас: будет ли ему от вас в нынешнем году обычная подача? Исправник ждет в моей квартире.

— Ах осел, — с сердцем отозвался вообще очень сдержанный и деликатный В. И., — ведь я же сказал ему вчера, что заеду к нему в двенадцать часов сегодня. Пожалуйста, отдайте ему этот пакет, и пусть он меня не ждет. Эдакое нахальное животное.

В пакете было полторы тысячи рублей. Когда я вернулся к себе, то застал там еще двух подрядчиков. Передать пакет при них было неудобно. Чтобы помучить исправника, пакет был спрятан в кармане. Но исправник не вытерпел и вызвал меня в другую комнату; там, на беду, в эту минуту оказался бухгалтер с бумагами; в передней находился лакей. Не смущаясь, исправник повлек меня в сени и там, наконец, получил желаемый конверт. На радости он чуть было не кинулся лобызать меня, но я поспешил вернуться к ожидавшим меня подрядчикам.

— Должно быть, его благородие добрый куш заполучил, — сказал один из подрядчиков, — вишь, какой он стал веселый, как вернулся с вами из сеней.

— А падки же они на чужие деньги, — отозвался другой.

Прошел год. В. И., не дождавшись окончания расчетов, уехал в Петербург, поручив мне произвести все платежи, в том числе, разумеется, и экстраординарные.

Опять обычный съезд всего начальства в Енисейск, обеды и раздача запечатанных конвертов, только горному исправнику я ничего не дал; по отношению к нему у меня выработался особенный план.



Л. Ф. Пантелеев. Фотография 1874 г.

На обороте надпись: «Это я почти накануне отъезда из Сибири (в декабре 74 г.), измучившийся от разных дел и хлопот по снаряжению в дорогу».

Разумеется, исправник пришел в крайнее смущение; при всяком удобном случае искал встречи со мной, ловил меня на улице, наконец не выдержал.

Раз рано утром сквозь сон я слышу, что кто-то меня спрашивает. Прислуга отвечает, что я еще сплю.

— Ничего, я подожду.

— Кто там? — спросил я, полагая, что явился кто-нибудь из доверенных, может быть за получением необходимого распоряжения.

— Это я-с, — отозвался исправник.

— Ах, извините, пожалуйста, уж позвольте сначала совершить туалет, тогда я к вам и выйду.

— Сделайте одолжение, не стесняйтесь, я подожду, имею совершенно свободное время.

По некотором времени был подан самовар, и я с исправником уселись пить чай.

— А прескверная настала погода, — начинаю я беседу.

— Да, время такое, — рассеянно отвечает исправник, видимо думающий совсем о другом.

— Вот и извольте теперь гнать лошадей на кормежку; сколько их перекалечится по дороге.

Исправник ничего не отвечает на эти хозяйственные соображения. Зато лицо его говорит о крайне мучительном душевном настроении. Мне даже жаль его становится.

— А я все собирался, да как-то в хлопотах не имел времени сообщить вам, что Виктор Иванович дарит вам в полную собственность рояль, который у вас находится.

Собственно, Виктор Иванович об этом никогда и не думал, но при отъезде я спросил его:

— Вы мне позволите распорядиться вашим приисковым роялем?

— Да ведь он находится у горного исправника.

— Знаю, но у меня есть одно соображение, ради которого мне необходимо знать, разрешаете ли вы мне поступить с роялем, как я найду за лучшее.

— Хорошо, — ответил В. И. после короткого раздумья, — но все же интересно знать, что же вы с ним хотите сделать?

— Я отдам его исправнику в полную собственность взамен обычного платежа. А то ведь от него обратно рояль не добудешь.

— Что ж, я согласен. — В. И. без труда сообразил, что благодаря этой операции у него останется в кармане тысяча рублей.

Но возвратимся к исправнику. Его лицо сияло. Он даже привскочил на стуле.

— Что вы говорите! Вот не ожидал! Какая любезность! Какой благородный человек Виктор Иванович, как жена будет рада — такой прекрасный инструмент.

Между тем было выпито по стакану чаю и налито по другому. После недолгого восхищения роялем исправник впал опять в подавленную задумчивость, хотя теперь лицо его и не имело того глубоко страдальческого вида, как сначала.

Но вот левая щека начинает приходить в усиленное движение, усы с ожесточением закусываются, в горле появляется перхота; наконец, хотя и с большим усилием, жуя слова, исправник проговаривает:

— А что, Лонгин Федорович... как в нынешнем году... по примеру прежних... будет что-нибудь?

Я давно был приготовлен к этому вопросу, но все же, когда он был прямо поставлен, почувствовал себя в положении попавшегося школьника.

— Право, не помню что-то, — заминаясь, отвечаю ему, — есть список, кому что назначено.

— Так уж вы, пожалуйста, справьтесь.

Я встал совсем не за тем, чтобы навести справку, а просто хотелось улизнуть от исправника, но тот последовал за мной к письменному столу. Не зная, что делать, я стал перебирать разные бумаги; тут подвернулся мне листок, в две колонки исписанный какими-то цифрами; стал его рассматривать. Исправник тоже впился глазами в таинственные цифры.

— Ах, — как бы вслух думая, проговорил я, — конторская справка по рабочей плате.

Делать у письменного стола было нечего, вернулись к чаю.

Исправник стал бледен как полотно, щеку не дергало, усов не закусывал; скрестивши руки на груди, он имел вид человека, только что выслушавшего тяжкий приговор.

Мне наконец надоело, и я решился покончить комедию.

— Я полагаю, что рояль вам поднесен в расчете, что вы затем уже сочтете себя вполне удовлетворенным за прошлый год.

— Что вы говорите! — как бы очнувшись, воскликнул исправник. — Старый рояль, больше трехсот рублей не стоит; и что я с ним буду делать?

— Ну, положим, рояль не старый, и цена ему не триста рублей; вы сами пять минут тому назад говорили — прекрасный инструмент, и к тому же хорошо знаете, что без доставки стоил тысячу рублей; он вам до скончания веков прослужит.

— Но что же я с ним буду делать? Я через год думаю выходить в отставку.

Этим выходом исправник постоянно старался разжалобить золотопромышленников в расчете — в последний, мол, раз даете.

— Тогда вы можете его в лотерею разыграть, — что обыкновенно и делало отъезжавшее начальство с ненужными вещами.

В эту минуту входит доверенный по кормежке лошадей.

— Все готово, можно трогаться.

— Извините, пожалуйста, мне нужно отправиться осмотреть лошадей перед выходом.

Исправник взял фуражку и молча распрощался.

Часа через два приходит ко мне Пфейфер, управляющий собственно горно-технической частью приисков В. И.

— У меня сидит исправник, спрашивает, кто с ним будет рассчитываться за прошлый год. Я посылал его к вам.

— Ну что же?

— Просит меня переговорить с вами.

— Так вы ему скажите, что ведь он уже был у меня и, надеюсь, помнит наш разговор.

По некотором времени заявляется конторщик Шафковский, с которым я находился в крайне дружеских отношениях.

— У меня сидит исправник.

— Это давно ли у вас завелось знакомство со столь высокопоставленными особами? — смеясь, проговорил я.

— Можете себе представить, до такой степени пристал, что и отвязаться не знаю как. Добивается все од-

ного: за что вы на него сердиты? Уж я ему старался объяснить, что не имею никакого права входить в ваши распоряжения; так нет... «Вы, говорит, Владислав Карлович, близкий человек с Лонгин Федоровичем и можете с ним говорить откровенно». И вот, просто насильно послал меня к вам; научите, что мне ответить ему.

Я остался непреклонен и решил до конца выдержать с исправником. Когда последний увидел, что нечего больше надеяться, то решился апеллировать к общественному мнению. Всякому встречному он держал такую речь:

— Слышали, что со мной Базилевские сделали? Мне следовало получить тысячу пятьсот рублей, а они вместо того мне поднесли старое фортепьяно.

Или:

— А каков Пантелеев, должен был заплатить мне тысячу пятьсот рублей, а он старый инструмент отвалил. Быть не может, чтобы так распорядился Виктор Иванович: он благороднейший человек; это все временщик.

В один прекрасный день Павел Иванович заявил о своем намерении покинуть Енисейск. Добрые граждане и предупредительные золотопромышленники, по заведенному обычаю, поспешили раскупить весь старый скарб уходящего начальника и затем многочисленным обществом проводили его до первой станции. Правда, Павел Иванович на первых порах уезжал только в продолжительный отпуск; он мог, конечно, и не получить в Иркутске того назначения, на которое рассчитывал; но все же было более чем сомнительно, что он вернется назад. А потому искренность проводов я отнюдь не считаю себя в праве заподозревать.

И действительно, вскоре на енисейском горизонте показалась мрачная фигура нового градоправителя. То был порядочно распившийся господин, с лицом румяно-багровым, толстой, короткой шеей. О нем ходил рассказ, как однажды его верховный начальник, покойный генерал-губернатор Синельников, подводит его к зеркалу и говорит:

— Ну, посмотри ты на себя, разве с такой образиной можно быть исправником?

Смотрел новый исправник исподлобья, имел привычку говорить обиняками; всяк чувствовал себя с ним как-то неловко и старался избегать встреч.

Я вдвойне чувствовал себя в щекотливом положении: известно было, что К. вообще относился не особенно благосклонно к людям, которые находились под особенным попечением начальства, а во-вторых, что именно за эту неблагосклонность, благодаря связям Базилевского, он с небольшим года за два перед тем даже потерял место енисейского горного исправника.

Однако же приходилось ладить.

Сначала потянулись возы с разным добром, так сказать на обзаведение. То исправник нуждается в дровах, то в сене.

— Я слышал, — говорил К., — что вы ныне дешево овес закупили.

— Да, недорого; вообще с осени цены стояли невысокие.

— А я вот приехал зимой, и теперь достать меньше шести гривен нельзя. По своей цене можете отпустить кулей десятка два?

Посылаю и овес, о платеже за который К., конечно, не заикнулся.

За натурой вскоре пришлось ублаготворять и презренным металлом. Словом, все, что в отношении начальства надлежит делать доброму гражданину, все неукоснительно и необлыжно я выполнял.

Но при всем том, несмотря даже на взаимные обеды и угощения, я предчувствовал, что рано или поздно дело добром не кончится. Оно так и вышло. Подошло лето.

— Что это я никогда не вижу, чтобы вы катались в коляске; ведь она, кажется, осталась вам от Виктора Ивановича?

— Да не стоит, когда есть дрожки.

— Значит, и пара дышловых у вас без дела, только корм даром едят. Продайте-ка их мне, да и с коляской.

— Подумаю, — отвечал я.

И действительно, пользуясь отъездом К. в округ, поспешил продать вороных барышнику, рассуждая, что лучше взять хоть что-нибудь, чем отдать даром.

По возвращении К. пришлось мне обратиться к нему за билетом для поездки на прииска, где рассчитывал провести все лето, о чем и заявил исправнику.

— Поезжайте, а билет я вам вышлю на прииск.

Полагаясь на его слова, я на другой же день пустился в дорогу.

Прошло, может быть, два-три дня по моем приезде на прииска, как был получен и билет «сроком на семь дней». Пришлось, даже не разложивши чемодан, быстро поворотить в город. К счастью, там в это время был проездом губернатор Лохвицкий; благодаря содействию городского головы П. Е. Фунтусова, обратившись непосредственно к нему, я добыл себе вид на более продолжительное время, что для меня было делом первой необходимости.

Вскоре встречаюсь с знакомым золотопромышленником А. С. Баландиным.

— Вы как здесь? Что скоро вернулись?

Я объяснил обстоятельства своего приезда.

— Вот то-то вы, молодежь, вечно лезете со спичкой в нос начальству. Кабы его высокоблагородие катался теперь на вороных, не пришлось бы вам лишний раз проехаться по Ново-Нифантьевской дороге (убийственной!), да еще благодарите бога, что губернатор случился,

СТРАНИЧКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В 1872 г. я жил в Енисейске. Стоял конец сентября, по обыкновению была дождливая погода и улицы Енисейска представляли из себя сплошную невылазную грязь. Раз вечером я заехал по какому-то делу к помощнику исправника Феоф. Сил. Батаревичу. Переговорив о чем было надо, я уже взялся за фуражку, как Батаревич обратился ко мне с вопросом:

— Скажите, пожалуйста, сколько есть литераторов Крестовских?

— Двое: один Всеволод Крестовский, известный автор «Петербургских трущоб», я его еще в университете знал; и другой — псевдоним Хвощинской, по мужу Зайончковской, которую тоже видал.

— Нет, есть еще третий.

— Третьего нет.

— А я вам говорю, что есть, и он в эту минуту находится у нас под арестом.

И затем Батаревич рассказал следующее:

— Сидим мы вчера с исправником (Шатиловым) у него на балконе; посредине улицы идет пьяный рабочий, барахтается в грязи и ругательски ругает полицию, что она не наблюдает за исправным состоянием улиц. Ну, мы приказали казаку забрать его и отвести в полицию к Вилькенскому (частный пристав). На другой день при разборке забранных в полицию дошла очередь и до нашего приятеля.

«Ты кто?» — спрашивает Вилькенский. — «Литератор Крестовский». — «Ну, что глупости говоришь!» (Вилькенский почитывал, и фамилия Крестовского ему была

известна.) — «Так точно, литератор Крестовский». — «А коли ты литератор, то напиши что-нибудь». Тот берет перо и написал вот это самое стихотворение.

И с этими словами Батаревич передал мне клочок бумаги. Я прочел, — то было небольшое стихотворение, вполне грамотное, с правильным размером, а главное — с настроением, очень подходившим к тому, что должен был переживать в данный момент автор его.

— Конечно, Вилькенский сейчас же доложил нам, какого интересного субъекта направили мы к нему. Исправник и я сняли с него допрос, и вот что он нам показал: «Я — доктор Петров; при Николае Павловиче за стихотворение «Европа против нас» (в дни моей юности, кажется без достаточных оснований, это стихотворение приписывали И. С. Аксакову) был разжалован в солдаты; при Александре Николаевиче получил помилование. Однако вскоре за стихотворение «Наши мандарины» был сослан в Астрахань; оттуда бежал, скитался, пока не был арестован в Земле Войска Донского; там назвался Якубовским (или Якубовичем — хорошо не помню) и, как бродяга, был выслан в Сибирь и поселен в Ачинском округе. В этом году был фельдшером у Ячменева, на Даниловском прииске (по речке Севагликону, северной системы енисейского круга)».

— Где же он теперь?

— Мы распорядились перевести его из полиции в острог.

Конечно, о таком исключительном случае исправник без промедления послал донесение губернатору, а местный жандармский офицер (В. В. Яшин) — губернскому жандармскому штаб-офицеру А. С. Банину.

По наведенным енисейской полицией справкам, Якубовский (или, может быть, под какой другой фамилией — этого уж не знаю) действительно был в минувшую операцию фельдшером на прииске Ячменева, исполнял свои обязанности очень хорошо, все, особенно рабочие, им были довольны, только порой обнаруживал слабость до водочки.

Я тогда находился на службе крупной золотопромышленной компании В. И. Базилевского и в качестве ее представителя пользовался всяким любезным вниманием со стороны местного полицейского начальства; а потому,

спустя некоторое время, без большого труда получил разрешение на свидание с новоявленным Крестовским. Так как смотритель острога тоже хорошо знал меня — я устроил в городе подписку и еженедельно лично доставлял в тюрьму некоторое количество мяса для улучшения содержания арестантов, — то свидание состоялось в квартире смотрителя, который сейчас же ушел, оставив нас вдвоем.

Передо мной оказался небольшой человечек, может быть, лет пятидесяти; как я ни старался поставить его в равные отношения, псевдо-Крестовский поминутно вскакивал и принимал почтительную позу. Он подтвердил, что он Крестовский.

— Значит, вы написали «Петербургские трущобы»?

— Да, я.

Тогда я свернул в другую сторону, то есть на Хвощинскую.

— А «Баритона»?

— Я-с.

— И «Первая борьба» тоже ваша?

— Да-с.

Дальше на эту тему не стоило продолжать разговор. Что он упорно стоял на том, что он Крестовский, — это меня нисколько не удивило. За шесть лет пребывания в Сибири я уже достаточно привык ко всяким Федорам без прозвания, Францам Тенцнер — он же Тарас из французов, которых, бывало, хоть сто раз переспрашивай, всё стояли на своем. Раз что Якубовский назвался в полиции Крестовским, ему уже не приходилось отступать от этого.

— После того как вы бежали из Астрахани, много вам пришлось постранствовать, пока не были забраны?

— Да-с, много лет и в разных местах.

По временам он сам заводил малопонятные речи вроде следующих:

— Идет движение... идет... не тот народ стал... многого ждет... большие могут быть перемены... старое рушится...

Я только слушал, не предлагая ему никаких разъяснительных вопросов. Его загадочные слова о каком-то движении наводили мою мысль на вопрос: кто передо мной — агент ли III Отделения, пущенный с осведомительною целью, или божий человек, снаряженный от ка-

кого-нибудь революционного кружка? Вопрос так и остался для меня невыясненным.

Сколько припоминаю, на этом свидании мое личное знакомство с псевдо-Крестовским и кончилось. Я, однако, продолжал посылать ему кое-что из провизии, платья и даже изредка понемногу денег. Он в свою очередь бомбардировал меня стихами, уж не знаю — своими или чужими. Одно из них — «В темнице были и посетили» — помнится, где-то впоследствии встретил в печатном виде.

Спустя некоторое время зашел ко мне смотритель острога и сказал:

— Лонгин Федорович, пищевые предметы, если хотите, посылайте; но знайте, что деньги сейчас же пропиваются, также и одежда.

Через несколько месяцев на донесение губернатора был получен из III Отделения ответ приблизительно следующего содержания: человек этот нам известен, можете поступить с ним на основании местных законоположений и правил. Так по крайней мере передавал мне Батаревич.

Отлучка псевдо-Крестовского на прииск Ячменева произошла с нарушением каких-то правил о передвижении ссыльно-поселенцев; потому он подлежал полицейскому взысканию, то есть телесному наказанию, кажется в размере двадцати ударов розгами. Но были предприняты ходатайства, и ему вменили в наказание сиденье в остроге. В то же время, как говорил мне Батаревич, ему было обеспечено и занятие по переписке в полицейском управлении. Но в день его освобождения он пропал, и всякий след его был потерян.

Прошло несколько лет. Я вернулся в Россию и даже получил разрешение поселиться в Петербурге.

В течение двух лет искуса мне нередко приходилось бывать в III Отделении за получением то разрешения на кратковременное пребывание в Петербурге, то за отсрочкой. Всякий раз в таких случаях я имел дело с Алекс. Ив. Горянским, начальником той экспедиции, в ведении которой я состоял. Горянский пописывал стихи и даже что-то приносил Некрасову, предупредивши последнего о месте своего служения. Со мной Горянский всегда был крайне

вежлив и никогда не отказывал в моих просьбах. Раз даже по моему ходатайству помог одному сосланному выбраться из Нарыма.

Как-то зимой 1878 г. я встретил Горянского в вагоне невской конки, свободное место оказалось только подле Горянского; он узнал меня; мы поздоровались и разговорились. Почему-то мне вспомнился псевдо-Крестовский, и я набрался храбрости обратиться к Горянскому за разъяснением. Коротко рассказав мою встречу с псевдо-Крестовским, я спросил, кто это и что в его рассказе правда? Сначала Горянский отозвался полным неведением, но потом какая-то подробность напомнила ему, и он с живостью отвечал:

— Теперь узнаю. Совсем не за стихотворение он был отдан в солдаты, а вот его история. Он был студентом Медико-хирургической академии и произвел покушение на жизнь тетки, с целью ограбления. При следствии обнаружил большую начитанность, отличное знание иностранных языков, находчивость в ответах. Вдруг он заявил, что имеет государственный секрет, но может объявить его только государю императору. А время, знаете, было серьезное, уже надвигалась восточная война. Об его заявлении было доложено государю; последовало высочайшее повеление представить его. Когда Петров оказался перед государем, то пал ему в ноги и признался, что никакого секрета не имеет, а прибегнул к такой лжи, чтоб вымолить у государя милость: под солдатским сукном смыть позор тяготеющего над ним преступления. Эта милость и была ему дарована государем.

Тут Горянский остановился, но после некоторой паузы, как бы в заключение, проговорил:

— По нескольку лет проходит, что о нем ни слуху ни духу, и вдруг пришлет *удивительное обозрение!*

Мне было неудобно спросить Горянского, какого рода были обозрения, доставляемые псевдо-Крестовским, к тому же Горянский вскоре встал, распрощался и вышел.

Только что рассказанный случай вспомнился мне на днях, когда я прочитывал воспоминания А. Ф. Кони о Достоевском («На жизненном пути», 2-й том). А. Ф., коснувшись «Преступления и наказания», указывает на

несправедливость обвинения, одно время довольно широко распространенного, что Достоевский тенденциозно поспешил воспользоваться делом студента Данилова, зарезавшего в Москве ростовщика и его служанку. Убийство Данилова произошло 12 января 1866 г., роман же был написан ранее, и начало его появилось в январской книжке «Русского вестника», сильно, впрочем, запоздавшей выходом. Но остается истолкование, что роман Достоевского оказался печальным предсказанием того нового зла, которое проявилось в процессах Данилова и позднее — Ландсберга (см., например, очерк жизни и деятельности Достоевского — К. Случевского). Однако рассказ Горянского показывает, что преступления в этом роде случались и ранее, а отнюдь не были порождением того перелома в нашей жизни, который сказался со второй половины 50-х гг.

ВОЗВРАТ ИЗ СИБИРИ

Весной 1891 г. в оазисе Дискры (алжирская Сахара) мне довелось познакомиться с одним англичанином, по профессии доктором. Как-то раз он завел разговор о нашумевшей тогда книге Кеннана. Заметив мою некоторую осведомленность в отношении Сибири, англичанин спросил меня:

— А вы по какому случаю были в Сибири?

Я коротко ответил ему.

— Но как же вам удалось оттуда выбраться?

— Благодаря вашему принцу Альфреду Эдинбургскому.

— Что вы сказали?

Я должен был войти в некоторые подробности.

— Я думаю, — отвечал мой собеседник, — что это единственное доброе дело, связанное с именем нашего доброго принца Альфреда.

А дело заключалось в следующем.

В январе 1874 г. по случаю бракосочетания вел. кн. Марии Александровны с принцем Альфредом Эдинбургским были дарованы значительные смягчения сосланным в Сибирь. Та категория, к которой я принадлежал, получила возвращение прав прежнего состояния, но без права вступления на государственную и общественную службу, и разрешение выехать в Россию, однако с полицейским надзором, а в те времена он был без определения срока. На этот раз центральная администрация сделала одно крайне существенное дополнение; ранее

окончательное разрешение на переезды давалось из Петербурга, где и назначалась та или другая губерния. Это вело к длинной переписке, с большой потерей времени; теперь прямо были назначены губернии, из которых возвращавшийся и делал выбор.

Я не мог тотчас же воспользоваться предоставленным мне правом. Хотя и не формально, но я управлял довольно большим золотопромышленным делом В. И. Базилевского, в Енисейском округе; кроме того, благодаря тому же Базилевскому, у меня было и свое собственное дело, — я разрабатывал на золотники два прииска в северной части Енисейского округа — Отрадный и Ольгинский, на которых мною было поставлено сто восемьдесят рабочих. Значит, надо было дождаться конца операции, то есть 10 сентября, затем произвести всякие расчеты; короче сказать, при всем старании я мог выбраться только зимним путем.

Я рассчитывал выехать по первопутку — и дорога хорошая и нет еще сильных морозов. Но явилась совершенно неожиданная задержка: мой бухгалтер и большой приятель Пав. Пет. Маевский (он судился в группе каракозовцев, но к 4 апреля никакого отношения не имел; умер в Сибири 28 июня 1905 г.) [1] за лето влюбился и, как я его ни умолял, настолько затянул составление отчетов, что я мог выехать из Енисейска лишь около начала декабря. К тому же и начало зимы оказалось совсем необычное. В первой половине октября в Енисейске разом ударили морозы до 20° R, но долго не удержались, затем пошла своеобразная метеорологическая игра: утром —20°, в тот же день вечером дождь, — ничего подобного даже старожилы не припоминали. И, разумеется, вместо первопутка — полная бездорожица.

За сто рублей я купил совсем новый казанский возок. Моим спутником был Адольф Степ. Коризно, сослуживец по делам Базилевского, а в истекшее лето он заведовал моими личными приисковыми работами. Коризно был из Ковенской губернии, сослан по 1863 г. и теперь тоже возвращался, причем выбрал Курляндскую губернию, как ближайшую к родине. Человек очень практический, он озаботился всем необходимым на дол-

---

[1] См. мною написанный некролог в газете «Наша жизнь», 26 октября 1905 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

гую дорогу, в числе запасов был целый куль мороженых пельменей.

Перебравшись в Красноярск, я остановился у моего друга, доктора Пет. Вас. Лебединского, сосланного на поселение в 1866 г. по делу Андрущенки, Мосолова, А. Н. Столпакова и др. Он еще ранее указа 1874 г., по представлению местной администрации, получил полное возвращение прав и даже, ввиду недостатка врачей, был назначен городовым врачом в Красноярске.

В начале 1874 г., вскоре после указа о смягчениях, я по делам был в Красноярске, и там при мне вырешилось крайне важное обстоятельство. В указе было сказано, что даруются смягчения сужденным по государственным преступлениям. Местная администрация истолковала так, что указ совсем не относится к тем сосланным, которые в документах названы политическими, к каковым причислялись сосланные по польскому восстанию. И я в статейном списке был обозначен политическим. С титулом государственного преступника в Енисейской губернии были два-три сужденных по каракозовскому делу да Котырло, — других не припоминаю. Котырло был моим товарищем по университету, по какому-то делу сослан в каторгу; по отбытии срока перебрался в Красноярск, где заведовал мелочной лавочкой Ин. Данилова.

Надо заметить, что в Петербурге довольно безразлично употребляли термины — политический и государственный преступник. Спасителем в Енисейской губернии явился жандармский штаб-офицер А. С. Банин. Он телеграфировал в III Отделение, и оттуда получился ответ, что милость государя одинаково простирается как на государственных, так и политических.

В Красноярске мне предстояло выправить необходимые документы на выезд. К моему благополучию, за отсутствием губернатора и даже вице-губернатора губернией управлял старший советник Гавр. Касп. Эрн (родной брат Мар. Касп. Рейхель), мой знакомый по Петербургу; с ним я еще более сблизился в Сибири. Придя к Эрну с прошением о выдаче мне нового вида, я самым серьезным тоном заявил ему: «Вместе с тем прошу вас принять меня в лоно православной церкви». — «Да вы же православный». — «Нет, посмотрите в мой статейный список, составленный в тобольской экспедиции

о ссыльных, и вы увидите, что не только я католик, но и жена моя (ее Эрн знал с детства) католичка». А затем объяснил ему, что для меня покрыто мраком неизвестности, почему тобольская экспедиция перечислила нас в католики. Но, чтобы не вышло из-за переписки задержки на неопределенное время, просил исправление сделать домашним образом, без наведения разных справок. Эрн не колеблясь исполнил мою просьбу.

И все же не удалось скоро выбраться из Красноярска — ударили такие морозы, что благоразумнее было переждать их. С 20° R, прибавляясь день за днем чуть не по градусу, морозы дошли до 43°, да на этой точке и простояли без малого неделю, а потом лишь понемногу стали спадать.

Как раз в дни самых сильных морозов остановился в Красноярске рассказчик народных сцен Пав. Ис. Вейнберг и дал один или два вечера. В деревянном театре стужа была ужасная, вся немногочисленная публика сидела в шубах и дохах, а бедный артист должен был в одном фраке потешать ее.

Губернии, предоставленные для возвращающихся, были северные, северо-восточные и три остзейские. Первые меня нисколько не соблазняли, даже моя родная — Вологодская; притом было весьма сомнительно, чтобы разрешили остаться в губернском городе; а попасть в какой-нибудь Пудож или Яренск после сравнительно деятельной жизни в Енисейске явилось бы в своем роде новым наказанием. Потому я остановил свой выбор на Лифляндской губернии, причем руководился еще и тем соображением, что там никакая полиция не заподозрит меня в покушении на антиправительственную пропаганду.

Пока я жил в Енисейске, кроме того, что можно было вычитать в газетах, ничего не знал, что творится во внутренней жизни России. Только незадолго до выезда местный жандармский офицер В. В. Яшин раз таинственно вытащил из обшлага печатный листок и дал мне прочитать его. То оказался циркуляр по жандармскому ведомству; содержание его давало понять, что идет какая-то противоправительственная пропаганда, весьма озабочивавшая III Отделение. В Красноярске перед отъездом жандармский полковник Александр Серг. Банин,

с которым я был знаком по делам Базилевского, несколько раз говорил мне: «Только будьте, Лонгин Федорович, как можно осторожнее в дороге, да и где придется жить, но особенно в дороге». По тону, каким говорил Банин, я догадывался, что это был не просто доброжелательный совет о необходимой осмотрительности всякому, возвращающемуся из ссылки; тем более, что Банин загадочно прибавлял: «Такое время, такое время». Он очень одобрил мой выбор Лифляндской губернии и даже дал рекомендательное письмо к тамошнему жандармскому генералу Адрианову, которым мне, впрочем, не пришлось воспользоваться.

Не лишним считаю сказать несколько слов об енисейских жандармских офицерах. Я застал (в 1866 г.) в Красноярске штаб-офицером полковника Ник. Игн. Борка; он уже много лет занимал этот пост и совершенно сжился с местным обществом. К политическим относился с большим тактом; тут, без сомнения, имело влияние и то, что он был католик. Сколько припоминаю, по его инициативе никаких ограничений ссыльные не видели. Его семья была в самых лучших отношениях с родными моей жены, которые лишь перед самым нашим приездом в Сибирь перебрались в Петербург. Отсюда установилось и наше знакомство с Борками, и мы всегда приглашались на разные семейные праздники, которые с широким гостеприимством справлялись Борками.

По времени и в самом Енисейске завелся жандармский офицер, то был капитан Вик. Вас. Яшин, человек весьма недалекий, но добродушный. Он еще менее возбуждал какие-нибудь дела по своему усмотрению. Пробовал было заняться преследованием тайной продажи золота, но из этого ничего не вышло. Дела у Яшина решительно никакого не было, и он все вечера, а подвертывался случай, то и днем, отдавал картам «по маленькой». Когда Базилевский совсем переселился в Петербург и я занял видную роль в управлении его приисками, Яшин чуть не каждый день заглядывал ко мне, нередко обедал, а после обеда запросто укладывался спать. Раз как-то и говорит: «У меня есть унтер-офицер, у него очень хороший почерк; человек он семейный, и пятнадцать рублей казенных не хватает. Не можете ли дать ему какой-нибудь переписки?» — «Подумаю», — отвечал я.

Посоветовался с своей конторой, которая почти целиком состояла из политических. Переписки никакой не оказалось. Все приняли с удовольствием мое предложение — посадить унтера в самую контору и дать ему вести какой-нибудь счет. Пусть будет у нас недреманное око и свидетель, что в конторе занимаются только счетоводством и все разговоры вращаются лишь в этой области. Унтер был крайне доволен постоянным заработком и оказался хорошим работником.

Съездил Яшин в Петербург в отпуск, и так его очаровал этот город, что, вернувшись в Енисейск, только у него и разговору было — как бы перебраться на службу в Петербург.

— Вот хорошие места в следственной комиссии по политическим делам, — пять тысяч рублей жалованья и у начальства на виду. Как вы думаете, Лонгин Федорович, трудно быть членом такой комиссии?

— Да ведь обыкновенно в комиссии всем заправляет председатель.

— А вдруг, положим, по случаю болезни председателя мне придется заступить его?

— Так есть аудитор или какой другой делопроизводитель.

— Правда, — успокоенный, отвечал Яшин.

На место Борка, умершего, помнится, в 1868 г., был назначен полковник А. С. Банин; он, кажется, до поступления в жандармский корпус был то ли городничим, то ли исправником в Шуе. Это был совсем не чета Яшину — человек с большим честолюбием и жаждою деятельности. Но Банин скоро сообразил, что, несмотря на присутствие в губернии большого числа ссыльных поляков и нескольких русских, в области «специальной политики» дела никакого не было. О побегах тогда никто не думал, а о какой-нибудь пропаганде среди местного населения и тем паче. Зато в области чисто гражданского управления материал был неисчерпаемый. Полицейская власть через посредство волостных писарей собирала в свою пользу точно установленные ежемесячные дани; в свою очередь волостные писаря смотрели на волостную кассу, как на свою собственную; далее, полное отсутствие имущественной и личной безопасности, хаос во всех канцеляриях — вот общая картина губернии. И Банин, имея в своем распоряжении с дюжину ничем не занятых жандармов, для

приятного препровождения времени принялся за раскрытие краж, разных преступлений; сначала в самом Красноярске, а так как успех сопровождал его, то расширил свою практику и на уезды. Генерал-губернатором был старик Синельников, недолюбливавший губернатора Лохвицкого, Банин же ему понравился.

И вот у последнего явилось страстное желание занять место Лохвицкого, человека неглупого, лично честного, но апатичного. Специально по отношению к политическим ссыльным он во всем положился на советника Бекетова, воплощенной канцелярской зацепе и крючке. Тогда Банин, напротив, стал заступником и делал в их пользу все, что только можно было. Раз даже устроил лотерею в пользу одной бедной вдовы, получившей разрешение на выезд.

Как представителю дела Базилевского, мне приходилось принимать Банина в Енисейске, и он взял с меня слово, что, когда буду в Красноярске, то дам ему случай отплатить за мое гостеприимство. Я и бывал у Банина; он не только угощал меня обедами, но часто задерживал на целые вечера. Знал он всю подноготную губернии и охотно делился своими сведениями; сообщительность свою довел даже до того, что раз прочитал мне свои характеристики (из ежегодного отчета в III Отделение) не только всей высшей администрации губернии, начиная с архиерея, но и почему-нибудь выдающихся частных лиц, — надо признать, характеристики весьма меткие и близкие к действительности. Не знаю, получал ли Банин что-нибудь от золотопромышленников со счета «экстраординарных расходов»; через мои руки ничего ему не прошло. Был только такой случай: от Базилевского остался очень хороший рояль, Банин пожелал купить его. «А что вы можете дать?» — «Пятьсот рублей, больше средства не позволяют». Рояль стоил вдвое дороже, но в Енисейске некому было продать его. И я охотно уступил рояль Банину, который разом уплатил все пятьсот рублей, даже, во избежание каких-нибудь кривотолков, переслав деньги с Яшиным.

Банин и у нового генерал-губернатора, барона Фридерикса, был в фаворе; особенно он выдвинулся в нашумевшем деле золотопромышленника и винокуренного заводчика Григория Щеголева. Вот что мне рассказывал Банин.

Кажется, летом 1874 г. был найден убитым поселенец Воскресенский, жена которого жила с Г. Щеголевым. Воскресенский несколько эксплуатировал пылкие чувства Щеголева и временами получал от него небольшие подачки; за шестьсот рублей он даже совсем соглашался отказаться от прав на свою супругу. Эта сумма показалась Щеголеву чрезмерною; потому были испробованы более дешевые средства. Раз жена послала гостинец Воскресенскому — новую рубаху, но когда он попробовал носить ее, то вся кожа покрылась какими-то пузырями. Другой случай: полиция как бы случайно, на шум, зашла к Воскресенскому, у которого были два-три приятеля; при этом сделала у него обыск и нашла фальшивую рублевку. Воскресенский был посажен в тюрьму, и ему угрожала по меньшей мере ссылка в Якутскую губернию. Однако по настоянию Банина это дело было прекращено.

Наконец, в один прекрасный день на Каче (часть города) найдено было тело убитого Воскресенского. Тогда Банин пустил в ход своих жандармов, и вскоре был открыт убийца. То оказался кучер домохозяина, если не ошибаюсь, Растошинского (из ссыльных гражданских), у которого лицевой дом нанимал Щеголев. У Щеголевых имелся свой собственный каменный дом, но еще была жива старуха мать, а потому Г. Щеголев для своих оргий нанимал небольшой дом-особняк. Кучер скоро повинился и указал на хозяина, подговорившего его, тот — на Щеголева, поручившего ему это дело. Курьезная деталь: производивший следствие раз поставил Растошинскому вопрос: «Вы, кажется, пытались отравить Воскресенского кротоновым маслом?» — «Нет, я делал пробу на своей жене, так, кроме поноса, ничего не было».

Были арестованы Щеголев и жена Воскресенского. Это дело долго тянулось по старым судам и кончилось лишь в сенате, — Щеголев был оставлен в сильном подозрении. Он вместе со своей возлюбленной переселился в Ниццу, где давно и умер.

По этому делу Банин, если б захотел, мог получить хороший куш. Но с ним скоро стряслась совсем неожиданная беда. Он зарвался на архиерее и его любимце, квази-монахе Зосиме, устраивавшем под Красноярском монастырь. Архиерей имел связи в Петербурге, и в 1877 г. Банин был отчислен, причем Потапов категорически за-

явил, что, пока он состоит шефом жандармов, Банин не может получить места. Я тогда видел Банина в Петербурге в весьма затруднительном материальном положении. Однако Мезенцев, скоро сменивший Потапова, тотчас же назначил Банина в Полтаву. Там Банин в борьбе с крамолой проявил себя вовсю, за что и был переведен на такой выдающийся пост, как в Крым; но там он скоро умер. В Полтаве с ним на одном дворе жил В. В. Лисевич. Ему удалось как-то проникнуть в домашние секреты Банина, и тут оказалось, что в серьезных делах он не доверял даже своим помощникам, а приобщил в качестве интимного секретаря свою любимицу дочь.

Наконец, все мои сборы были кончены, морозы приотошли, и мы с А. Ст. могли тронуться в путь. Я расставался с Сибирью без малейшей тени сожаления. Правда, с местным обществом я был в хороших личных отношениях, но исключительно деловых. В Енисейске в этом отношении я особенно ценил и уважал подрядчика Ст. Лук. Щукина, с которым можно было на какую угодно сумму заключить сделку просто «на слово», причем он всегда назначал цену без торгу. За мое время не только в Енисейске, но и в Красноярске не было и следа того, что называется местной интеллигенцией; таковая в Енисейском крае стала сказываться лишь в половине 80-х гг.

Скоро добрались до Томска (пятьсот пятьдесят верст). Еще в Красноярске я слышал, что в Томске, никогда не отличавшемся особенной безопасностью, по причине большого скопления ссыльных за воровство и разные мошенничества в последнее время совсем не стало жилья, что при посредстве подкопа только что ограбили отделение Государственного банка (это был вообще первый случай). И в Енисейске, тоже в Красноярске, дела по части воровства и даже убийства стояли недурно, но этого рода операции производились крайне примитивно.

Вот хотя бы дело Почекутова — самое громкое за время моего пребывания в Енисейске. То был подросток, сын крестьянина из села Назимова (сто восемьдесят верст ниже Енисейска). Тамошние крестьяне занимались перевозкой от подрядчика на прииски; ежегодно эта операция сводилась к следующему результату: примерно в апреле подрядчик объявлял возчику расчет, что за ним осталось столько-то долгу. Тут же возчик подписы-

вал новое условие на следующий год; старый долг переводился и выдавался задаток, без которого нельзя было прожить лето, обсеяться овсом и заготовить сено. Что касается до цены, то в условии говорилось, что она будет объявлена осенью. При таких ненормальных условиях не удивительно, что огромное большинство возчиков оказывались совершенно несостоятельными и теряли даже тот небольшой кредит, который наладился у подрядчиков. В число таких попал и отец Почекутова. В начале лета 1873 г. он послал сына в Енисейск попытаться получить задаток под перевозку прямо из какой-нибудь золотопромышленной конторы. Но это была совершенно напрасная надежда, — конторы избегали прямых отношений с возчиками-крестьянами. Побегал молодой Почекутов по Енисейску и везде получил отказ. Случайно встречает знакомого поселенца.

— Ты зачем здесь?

— Да искал перевозки: деньги нужны позарез и нигде не мог достать.

— Да вот у Волгина (мещанина; у него, по старому знакомству отца, остановился молодой Почекутов) денег много.

— Не даст.

— Говоришь: не даст, и так можно взять.

Этих немногих слов было достаточно для Почекутова; придя ночевать к Волгину, он сождал, пока Волгин с женой улеглись спать, потом, зная их домашнюю обстановку, достал топор, одним ударом прикончил спящего Волгина, а другим его жену. Затем кинулся в баню, где спал караульный, и его спровадил на тот свет.

На другой день соседи обратили внимание, что никто из Волгиных не показывается, ни даже караульный; дали знать в полицию. Когда явилась полиция, то нашла троих убитых, а вещи разбросанными. Были ли украдены деньги и сколько — это, конечно, осталось неизвестным. Тогда должность исправника исправлял помощник — Ф. С. Батаревич. Он приложил все старания, чтоб раскрытием убийства Волгиных закрепить за собой исправничество. Однако прошло, кажется, не менее двух недель, как напали на след: в одной из ближайших деревень сильно пьянствовал какой-то молодой парень; его забрали. То был Почекутов; он скоро сознался, рассказав несложную историю своего преступления. Через несколько месяцев

Почекутов был осужден на каторгу, бежал чуть ли не с первого же этапа и тотчас же задушил старика перевозчика на Кети, чтоб ограбить его на несколько десятков копеек.

Но возвращаюсь к Томску. Ограбление тамошнего отделения Государственного банка показывало хорошо обдуманный план и притом умело выполненный. Дело, как мне рассказывали в Томске, замыслил сидевший в остроге уголовный ссыльный Дорошенко и указал, откуда надо начать подкоп и как затем довольно длинной штольней добраться до кладовой. Предприятие было благополучно доведено до конца, и сундук с текущей кассой и другими ценностями поплатился своим содержимым. Тут начался второй акт истории. Конечно, была поднята на ноги не только вся местная полиция, но и соседних губерний. Однако прошло немало времени, нахватано много народу, и только благодаря указанию того же Дорошенко, обманутого при дележе, администрация добралась до настоящих виновников.

После Томска морозы опять стали крепнуть, потому в Омске решили остановиться для небольшого отдыха. Никого я тут не знал; были рождественские праздники. От нечего делать пошел в клуб на маскарад; конечно, ни одна маска мною не заинтересовалась, но как-то удалось разговориться с одним местным казачьим офицером. Я его спросил о только что покинувшем свой пост генерал-губернаторе Хрущове. «За восемь лет своего пребывания здесь он решительно ничего не сделал для края, управление его было чистейшим застоем. Все его внимание было обращено на этикет; если, например, он являлся в какое-нибудь собрание, то при входе его в зал все присутствующие должны были встречать, выстроившись полукругом, иначе он тут же высказывал свое неудовольствие за недостаток внимания к его особе, а иногда даже тотчас уезжал».

Уже от Томска большую часть дороги до Тюмени ехали на «дружках», то есть на вольных: брали они дешевле почтовых, а везли много скорее. Обыкновенно «дружок» прямо привозил к своему приятелю, и тот без всякого торга вез далее по общепринятой цене. О быстроте езды на «дружках» могу сказать, что мне впоследствии удавалось делать по двести восемьдесят верст в сутки, но купцы, направлявшиеся на ярмарку в Ирбит

или возвращавшиеся оттуда, доводили скорость проезда до трехсот восьмидесяти верст.

Ехать в возке было, конечно, теплее, чем в открытой кибитке, но скучнее, и от долгой езды ощущалось иногда что-то вроде морской болезни. Потому мы нередко останавливались на ночлег, а в некоторых городах, например Екатеринбурге, Перми, Казани, делали даже настоящие дневки. При переезде по Западной Сибири и через Урал просто поражало невероятное количество дичи, — буквально на протяжении целых верст деревья были усеяны рябчиками, тетеревами. Так ли теперь?

Конечно, в Екатеринбурге мы, все отъезжающие из Сибири, отдали дань — накупили разных каменных изделий себе на память и на подарки. Уже Екатеринбург (тоже, говорили, и Барнаул), по сравнению с другими сибирскими городами, выгодно выделялся своей каменной постройкой, но, признаюсь, подкупающее впечатление произвела казанская гостиница своей сравнительной чистотой, комфортом и кухней. В этом отношении тогдашняя Сибирь была ниже самых скромных требований.

От Казани до Нижнего дорога шла по Волге, она была страшно избита, да и везли много тише, чем в Сибири. Зато начиная с Перми стала сказываться бо̀льшая мягкость нравов: при остановках на станциях не видно было галдеющей толпы пьяных, реже была слышна трехэтажная непечатная брань и совсем пропало страшное сибирское «чтоб тебя язвило».

Наконец Нижний. Нетерпение ехать далее с первым же отходящим поездом было так велико, что я продал свой возок первому вошедшему, предложившему за него двадцать пять рублей; а стоило подождать немного, и можно было получить не менее пятидесяти рублей.

Вот мы едем по железной дороге; нашему удовольствию не было границ, до такой степени прискучила долгая езда на лошадях с постоянными перепряжками. Притом же — общество; мы, конечно, не говорили, что возвращаемся из ссылки, но не скрывали, что едем из Сибири. Тогда Сибирь была еще в некотором роде неведомой страной; все нас расспрашивали, особенно когда узнавали, что мы с приисков; всех интересовало, как добывается золото. Ад. Ст. был человек не особенно разговорчивый, потому вся тяжесть объяснений и падала на меня; но это меня нисколько не затрудняло, — я, что на-

зывается, соловьем заливался, так что по временам чуть не весь вагон толпился около нас. И только ночь покончила с неумолкаемыми расспросами.

На утро были в Москве. Я ее мало знал, а Коризно и совсем не видал. Решили остановиться на два дня. Тогда было еще довольно просто: в меблированных комнатах, где мы остановились, паспортов у нас не спросили; а в них ведь было прописано, что мы должны, нигде не останавливаясь, следовать в места назначения.

В Москве у меня никого знакомых не было или, вернее сказать, не знал — есть ли в ней кто-нибудь. В молодости я был большой любитель итальянской оперы, и как же обрадовался, когда увидел на афише, что идет «Трубадур» в бенефис певицы Змеросски. Удовольствию моему не было границ, когда я очутился в Большом театре, тем более что у Змеросски был хотя не особенно большой, но приятный голос и хорошая школа. Меня только одно раздражало — нравы тогдашней московской публики. Она постоянно требовала от бенефициантки и других главных исполнителей не только повторения, но иногда и в третий раз, так что представление закончилось не ранее 1 часа. Ту же Змеросски мне довелось в начале 1882 г. слышать в театре Сан-Карло в Неаполе и тоже в «Трубадуре». Голосовые средства певицы даже окрепли, но какая разница в отношении публики! Певицу ничего не заставляли петь на bis и, сравнительно, награждали лишь умеренными рукоплесканиями.

Из Москвы мне следовало прямым путем направиться в Ригу, но я не мог удержаться от искушения заглянуть в Петербург. Поехал я туда уже один, так как Коризно двинулся на Митаву. Более мы с ним не встречались, хотя в течение нескольких лет и поддерживали редкую переписку, что для общих наших знакомых было совершенной загадкой, так как А. С. был величайший неохотник до пера и чернил. Он скоро освободился из Курляндской губернии. Тогда, как общее правило, уроженцам Западного края не дозволялось возвращаться в него, и они по снятии полицейского надзора обыкновенно переселялись в Царство Польское. Туда же перебрался и А. С., купив по времени небольшое имение под Люблином, где и умер с десяток лет тому назад, если не более.

Должно быть, я попал на пассажирский поезд; очарование от проезда по Нижегородской дороге скоро

прошло, и я стал роптать, что Николаевская дорога слишком медленно ходит. Так быстро человек становится требовательным.

Стараясь быть по наружности совершенно спокойным, внутренно я ужасно волновался, и все от одного вопроса: удастся ли мне хоть на сутки задержаться в Петербурге? Все расчеты были на связи Базилевского. В этом настроении я даже мало вступал в разговоры с своими ближайшими соседями. Лишь под ночь разговорился с одним стариком в длиннополом сюртуке; это был фабрикант бумажных покрывал, — помнится, Прохоров. Он много расспрашивал меня о Сибири; и сам не знаю, как я проговорился, что возвращаюсь из ссылки. Старик проявил трогательное участие.

«Да как же это бог помог вам выбраться, как он вас сохранил? Чай, горя-то натерпелись».

Это были первые сочувственные слова, которые мне пришлось выслушать по возвращении в Россию, и я как сейчас вижу доброго старика.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ СИБИРИ[1]

На утро Петербург; вот и хорошо знакомая Знаменская площадь. Я решил никого не затруднять просьбой о временном прибежище и сказал извозчику, чтобы вез меня в какие-нибудь меблированные комнаты в центре города; он и доставил на Караванную. Тут тотчас не спросили паспорт; я переоделся, напился чаю и прямо отправился в III Отделение. Там узнал, что Потапов принимает, и просил доложить обо мне. По некотором времени был позван в кабинет Потапова. Я его и раньше видал как в Петербурге, так и Вильно, да и он, вероятно, помнил меня. То был крошечный генерал, еще не старый, поминутно поправлявший на своем носу пенсне. Я коротко объяснил:

— Только что прибыл из Сибири, следуя в Ригу в распоряжение местного начальства; прошу позволения остановиться в Петербурге хоть на самое короткое время, чтобы сдать отчет моему доверителю Базилевскому.

— Вы не по адресу обратились, — сухо проговорил Потапов, — вам следует явиться к градоначальнику. — И с этими словами дал понять, что аудиенция кончилась.

Я направился к выходу, но не успел еще затворить за собою дверь, как Потапов сказал:

— Господин Пантелеев, вернитесь. Вы сейчас же, прямо отсюда, отправляйтесь к генералу Трепову,

---

[1] Предшествующая глава «Возврат из Сибири» (дорога из Енисейска до Петербурга) была напечатана в «Сибирских записках», 1917 г., № 1. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

объясните, что я вас прислал, и заявите ему вашу просьбу. Если не застанете генерала Трепова, обратитесь в его канцелярию и там оставьте письменное заявление. Мне доложат о вашем ходатайстве.

Из этих слов я вынес впечатление, что Потапов, по-видимому, не против моей остановки в Петербурге.

Трепова я не застал, оставил заявление в канцелярии, а затем направился к В. И. Базилевскому, который уже знал о моем выезде из Сибири. К моему большому удовольствию я нашел Базилевского дома; он сейчас же поехал к Трепову, с которым был знаком. Трепов, желая показать свою самостоятельность, не сносясь с III Отделением разрешил мне остановку на три дня, потом еще прибавил два дня; затем объявил, что дальнейшие отсрочки уже зависят от Потапова. Но благодаря счастливой случайности мне удалось задержаться в Петербурге около трех месяцев и даже совсем отделаться от Лифляндской губернии.

В Петербурге жила моя сестра (по матери) Сонечка Архангельская; по окончании Мариинского института она несколько лет была гувернанткой, а затем предпочла существовать уроками. Она жила в небольших меблированных комнатах в бывшем доме Семянникова (ныне Кушелева) на Невском, сейчас за Аничкиным мостом. Вместе с ней ютилась в этих меблированных комнатах целая интеллигентная компания: мой товарищ по гимназии и университету, ныне покойный, Н. И. Гуляев, Н. А. Богданова, Е. В. Балабанова, А. И. Бруннер, тоже умерший. Все они были в дружеских отношениях. Бруннер, человек уже немолодой, состоял классным надзирателем в училище правоведения; его сослуживцами были Гартман (впоследствии инспектор Александровского лицея), Шульц — родной брат управляющего III Отделением. В известные дни они собирались для карточного времяпрепровождения «по маленькой»; нередко в их компании принимал участие и сам Э. Ф., давая себе отдых от многотрудных обязанностей по III Отделению. Вот Бруннер и повел в мою пользу усиленную пропаганду, частью через своего товарища Шульца, частью действуя прямо на Э. Ф. Он не уставал им твердить, что если в молодости я и заблуждался, то теперь стал совсем другим человеком, чисто деловым, что даже заработал в Сибири недурной капитал (последнее было совершенно верно, бла-

годаря операции 1874 г. я вывез из Енисейска около тридцати тысяч рублей). Все эти разговоры настолько повлияли на Э. Ф. Шульца, что III Отделение сначала разрешило мне двухнедельную отсрочку, потом позволило съездить в Вологду повидать другую сестру, а когда я вернулся из Вологды, разрешило сопровождать <?> дочь, которая находилась у М. А. Быковой в Галичском уезде. Там, в имении матери, у М. А. была домашняя школа, не имевшая, однако, правительственного разрешения, потому что педагогическая деятельность М. А. не дозволялась. После нескольких лет спокойного существования на школу был сделан наезд, и М. А. должна была выселиться с малышами в Петербург, откуда она в скором времени и перебралась в Финляндию. Однако и тут ей не удалось удержаться; года через два-три школа была закрыта. Тогда М. А. уехала в Сочу; тамошние жители крайне обрадовались ее намерению открыть школу, даже пошло от родителей форменное ходатайство о разрешении школы. В ответ на это из Петербурга последовало распоряжение — отдать Быкову на столько-то лет под полицейский надзор. М. А. в Соче и умерла, помнится, в 1907 г. Наконец мне была дана неопределенная отсрочка, так как возникло совершенно новое обстоятельство. Я вернулся из Сибири с сильнейшими головными болями и ревматизмами. Наслушавшись от Бруннера о моих недугах, Э. Ф. Шульц сам подал идею, что мне следовало бы просить о поездке на лето за границу. Это как нельзя более отвечало моим затаенным желаниям: ведь моя жена была в Цюрихе, где оставалась в университете даже после известного правительственного распоряжения, что русские студентки должны покинуть этот университет. Я прилагал все уговоры, чтобы она не торопилась свиданием, а оставалась в Цюрихе, где она проходила уже седьмой семестр.

Я подал прошение и был через Бруннера осведомлен, что Потапов дал согласие на составление всеподданнейшего доклада. Раз даже прямо Шульц заявил мне: «Вы можете считать, что паспорт у вас в кармане». Но хотя центр тяжести дела лежал в III Отделении, все-таки необходимо было предварительное согласие министра внутренних дел, и Шульц рекомендовал мне принять меры, чтоб министерство внутренних дел не затянуло ответом. Директором департамента полиции был

П. П. Коссаговский, большой приятель Ознобишина (поэта), родственника Базилевского. Ознобишин повидал Коссаговского и так настроил его, что тот в первый день пасхи потребовал от начальника секретного отделения Мавроди какую-то справку и заставил его поехать в департамент. Потом Мавроди лично выражал мне крайнее неудовольствие, что я подымаю на ноги высокопоставленных лиц и заставляю работать в праздники. На самом же деле Коссаговский весьма недолюбливал Мавроди, не упускал случая принизить его и всеми способами старался отделаться от него, чего вскоре и достиг.

Но вот на пасхе же вызывает меня Э. Ф. Шульц: «Доклад по вашему делу был готов, получен благоприятный отзыв из министерства внутренних дел, но генерал Потапов сегодня заявил, что он не находит возможным утруждать государя вашим делом. Попробуйте лично попросить его».

Я направился к Потапову и вот что выслушал от него: «Вы больны, для этого нет надобности ехать за границу, у нас есть много лечебных мест, выбирайте любое, можете ехать в Крым, на Кавказ».

Я вернулся к Шульцу и, передав ему о неудачном исходе свидания с Потаповым, просил о разрешении поехать в Крым, а потом на Кавказ. Это разрешение я получил немедленно.

Что же такое случилось, что Потапов взял обратно свое согласие?

Ляндовский, глава революционной жандармерии, устроитель покушения на Берга и т. п., только чудом спасшийся от виселицы, по указу, благодаря которому я выбрался из Сибири, был освобожден от каторги, но выехать из Сибири не имел права. Его мать, вымолившая ему жизнь при проезде Александра II через Берлин, ссылаясь на свое крайне болезненное состояние, не позволяющее ей поехать в Сибирь повидать сына, выхлопотала через III Отделение разрешение сыну приехать в Нижний-Новгород только для свидания с ней.

Но Ляндовский вместо Нижнего, благодаря заранее подготовленным средствам, благополучно пробрался за границу. Это как раз случилось в тот самый момент, когда Потапову надо было делать доклад обо мне государю, который был очень недоволен побегом Ляндовского.

Когда мне было дано три дня на остановку в Петербурге, я кинулся разыскивать моих старых товарищей и друзей. Но, должен пояснить, что, живя в Сибири, я ни с кем переписки не вел. В первые годы я временами получал неизвестно от кого некоторые новые интересные книги, что свидетельствовало, что меня еще не совсем забыли. Затем, когда моя жена по состоянию своего здоровья вынуждена была в начале 1869 г. вернуться в Петербург (на что понадобилось особенное разрешение), из ее писем видно было, что к ней относились с большим вниманием и старались доставить возможность какого-нибудь заработка, иногда она передавала мне поклоны.

Первым делом на минуточку заглянул к сестре, а затем направился в книжный магазин Черкесова, помещавшийся там, где ранее был известный магазин Д. Е. Кожанчикова. Там получил некоторые адреса и поехал к В. О. Ковалевскому, которого застал дома. Мое появление в Петербурге не было совершенной неожиданностью, так как слух о моем намерении выехать из Сибири уже дошел до моих старых друзей. И все же, когда я заявлялся к кому-нибудь в первый раз, то производил впечатление точно выходца с того света. Отчасти это объясняется тем, что я был чуть ли не первым показавшимся в Петербурге из числа сосланных в Сибирь в первую половину 60-х гг. Что меня все встречали с крайней сердечностью, — это, конечно, глубоко трогало меня. Я особенно должен признать необыкновенно задушевный прием В. О. Ковалевского и его жены Софьи Васильевны. Ковалевского я несколько знал до ареста, но у нас отношения были главным образом деловые. Однако, когда меня провозили из Вильно для пересылки в Сибирь, В. О. часто навещал меня и раз даже привез довольно крупный куш — помнится, около пятисот рублей, собранных им в кругу близких. С. В. я видел первый раз; она вышла замуж за В. О., когда я был в Сибири;[1] Ковалевские лишь незадолго до моего приезда в Петербург вернулись из-за границы, где В. О. штудировал главным образом геологию, а С. В. — математику. Положение Ковалевских

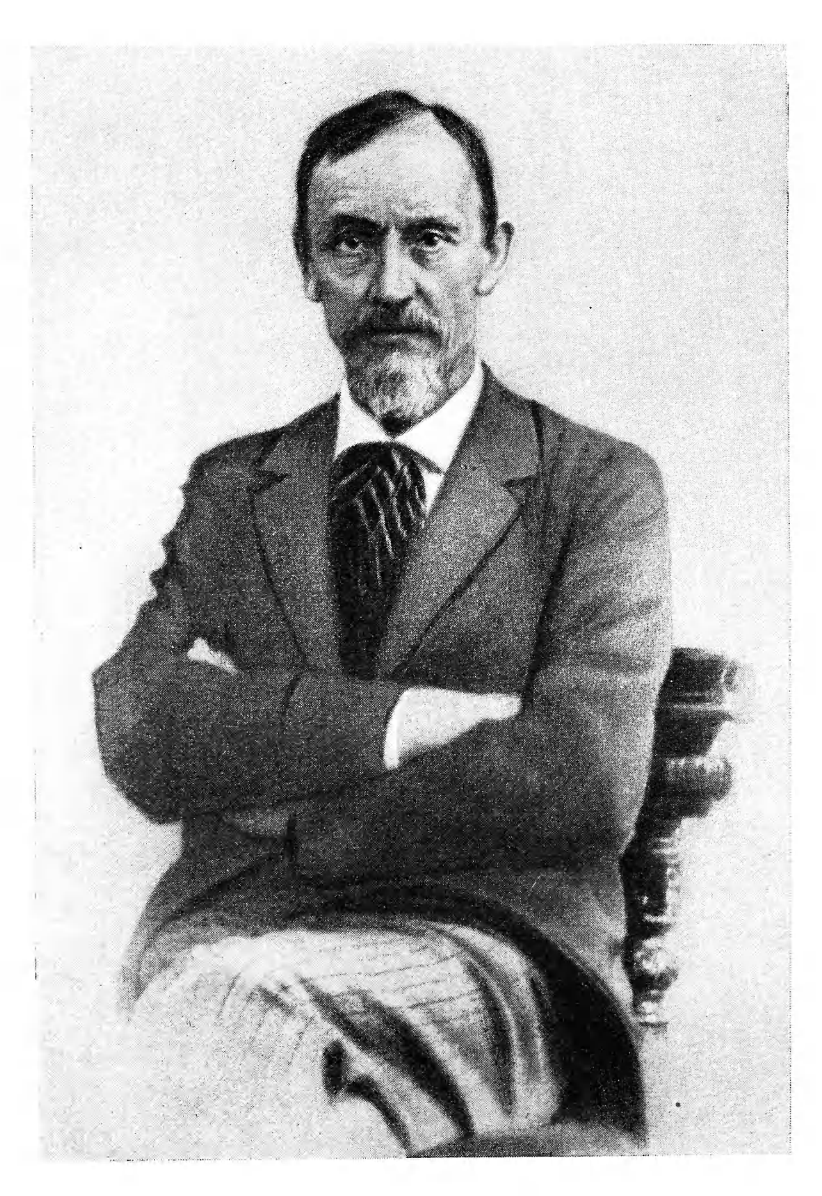
---

[1] О С. В. есть моя заметка в «Солнце России», № 313 (1916 г.) и в «Биржевых ведомостях» и «Речи» от 29 января 1916 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

было тогда довольно неопределенное. В. О. продолжал свое издательское дело, которое после блестящего успеха еще в конце 60-х гг. у него материально запуталось, несмотря на успешную распродажу изданий. Главное издание — «Жизнь животных» Брема — было не закончено; В. О. частью по безденежью, частью по неряшливости сильно затянул его. Иногда по неделям задерживали выход какого-нибудь выпуска только потому, что В. О. забывал подписать к печати обложку.

Ковалевские настолько сердечно отнеслись ко мне, что просили меня бывать у них так часто, как только я могу. От них я узнал, что Марья Александровна Бокова, ныне вдова Сеченова (П. И. Боков еще ранее моего возвращения переселился в Москву) в Петербурге. Я застал ее дома; она занимала небольшую квартиру-особняк. При виде меня М. А. пришла в необычайное волнение и прежде всего захотела угостить меня чем-нибудь. Как я ни уверял ее, что сыт, ничего не хочу, что могу ей уделить очень немного времени, она все-таки ушла в кухню и собственноручно приготовила бифштекс, а на закуску нашлось несколько розмаринов. От нее узнал, что ее брат, В. А. Обручев, уже вернулся в Россию и, кажется, в это время находился в Одессе. К слову о В. А. В Одессе он нашел старого приятеля, занимавшего видное место в Обществе Черноморского пароходства и торговли; он принял его к себе на службу. Когда об этом узнал директор-распорядитель адмирал Чихачев (недавно умерший член Государственного совета), то решительно запротестовал, но приятелю все-таки удалось отстоять В. А. По времени Обручеву пришлось по делам иметь непосредственные отношения с Чихачевым, и тот скоро оценил редкую работоспособность В. А., знание дела и джентльменскую корректность. Так что скоро В. А. приобрел полное доверие Чихачева, впоследствии сделавшего очень многое для окончательной реабилитации В. А. Он даже принял его на службу по морскому министерству, когда стал столоначальником штаба, а потом и морским министром, так что В. А. дослужился до чина генерал-майора. М. А., как известно, получила медицинскую степень в Цюрихе, специализировалась на глазных болезнях, и перед нею также стоял вопрос о приложении своих познаний.

Счастливее всех была Н. П. Суслова, которая по col-



Л. Ф. Пантелеев. Фотография 1904 г.

loquium'у[1] не только получила все права, но и умела приобрести обширную практику, став любимицей своих пациенток.

Сравнительно я мало знал Н. П. за время моего студенчества, потом изредка встречал у Боковых. Теперь я к ней попал в воскресение, прямо на обед, когда у нее собирался небольшой круг близких знакомых. Тут я познакомился с ее мужем Ф. Ф. Эрисманом, который произвел на меня впечатление точно тоже приглашенного гостя. Хотя он очень хорошо овладел русским языком, но, лишь недавно поселившись в Петербурге, во многом проявлял человека из другой страны, из совершенно иного общества.

Задал большой банкет в честь меня один из старых товарищей, П—н. Он был присяжным поверенным: благодаря своему купеческому происхождению имел хорошую практику в торгово-промышленных кругах и жил на довольно широкую ногу. За обедом было человек двадцать, считая тут и детей. Вот эти дети и навели меня на некоторые размышления, которые ранее как-то не приходили на ум. Еще до моей ссылки на примере Н. Л. Тиблена мне пришлось столкнуться с расстройством первоначального брака и новой комбинацией на принципе гражданских отношений. Но насколько широко это явление развернулось за время моего пребывания в Сибири! Мой товарищ разошелся с своей первой женой и сожительствовал с особой, которая в свою очередь покинула своего прежнего мужа[2]. За обедом, однако, присутствовала и прежняя жена моего товарища вместе со своим новым мужем, из чего можно было заключать, что расхождение и новые комбинации состоялись без острых воспоминаний с обеих сторон.

Это, конечно, было утешительно видеть; но, прислушиваясь к говору детей, а между ними были и подростки лет десяти, я не мог уяснить себе — кто из них и от какой

[1] Поверочному испытанию (*лат.*).

[2] Первым фактическим мужем был А. С. Голицын, товарищ В. О. Ковалевского по училищу правоведения, ему одно время принадлежала библиотека Черкесова, впоследствии перешедшая к О. Н. Поповой. А первой фактической женой З—ва — сестра одного тогдашнего молодого литератора. Этот брак относится если не к осени 1863, то к началу 1864 г. З—ва сейчас же уехала за границу и там по времени вышла замуж за русского эмигранта Я. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

комбинации происходит. Только слышалось по временам — «папа», «мама». Конечно, судя по летам, я мог догадаться, кто из детей происходил от старых семейных отношений, кто от последующих.

Мне эти дети потом часто вспоминались. Какая будет их судьба? Тем более что и новые семейные комбинации их родителей по недолгом времени оказались неустойчивыми, их сменили другие.

Через какой-нибудь год судьба забросила меня в Тифлис. Там вскоре один из моих приятелей по университету, В. Г. Гогоберидзе и говорит мне:

— Знаете, здесь Елена Николаевна Х—ва. Когда она узнала, что вы в Тифлисе, то очень обрадовалась: «Да ведь это мой знакомый, я очень надеюсь, что он побывает у меня».

Е. Н. Х—ву, жену профессора Медико-хирургической академии, я очень мало знал, может быть мельком видел раза два, но она разыграла более чем крупную роль в разрухе семейной жизни Тиблена, что происходило на моих глазах, потому я несколько сторонился Е. Н. в Петербурге. Но скоро ее обстоятельства резко изменились: Тиблен бежал от долгов за границу, с первым мужем отношения были, конечно, совсем порваны, и она, далеко уже немолодая, да еще с маленькой дочерью (от Тиблена), вынуждена была принять место гувернантки в доме ген. Шульмана в Тифлисе. И я решил побывать у нее. Действительно она была очень обрадована моим визитом. О прошлом я избегал и тени какого-нибудь намека, разговор все время шел о Сибири да Тифлисе. Но вот через комнату, где мы сидели, прошла молодая парочка: барышня — дочь Шульмана, и молодой человек — К—в, как пояснила Е. Н. А затем рассказала следующее:

— Молодые люди питают друг к другу самые нежные чувства. Родители Шульмана ничего не имеют против брака, но представьте себе, какое имеется препятствие. Когда К—в был еще студентом в Петербурге, он вступил в фиктивный брак, чтобы дать одной молодой особе свободно располагать собой. Теперь Шульманы согласны на брак, но только при условии, чтобы это был настоящий, законный брак. Значит, К—ву надо предварительно развестись с своей фиктивной женой; по этому делу он недавно и ездил в Петербург. Там разыскал квартиру своей супруги, но дома ее не застал. Расспросив обстоятельно,

в какие часы можно непременно застать барыню, он хотел было уже уходить, как прислуга спросила: «А как сказать о вас барыне?» К—в назвал свою фамилию. «Ах, батюшка барин, пожалуйста, войдите, посмотрите деток», — проговорила обрадованная прислуга.

К—ву, хоть и с большим трудом, удалось получить развод и жениться на Шульман. Я их впоследствии не раз встречал в семейной обстановке, но, признаюсь, всегда не без улыбки вспоминал наивное приглашение прислуги: «Ах, батюшка барин, деток-то посмотрите».

Но вот через двадцать с чем-то лет вся эта история неожиданно повернулась передо мной своей теневой стороной. Случайно столкнулся с одной барышней, — мы с ней одновременно выходили из нашей квартиры, она была по делу у моей жены. Я спросил ее фамилию.

— К—ва.

— Вы с Кавказа?

— Нет, я здесь живу у бабушки.

Затем мы разошлись в разные стороны. Но вскоре она догнала меня.

— Вы знаете К—х? — обратилась она ко мне.

— Да, несколько знаю.

— Скажите, пожалуйста, что это за люди? Мое положение такое странное...

Я понял смысл этого вопроса и что могло тяготить девушку, но, конечно, удержался от пояснения, что К—в только фиктивный отец ее, и ответил:

— Кажется, как сам К—в, так и его жена — люди вполне порядочные и пользуются в обществе общим уважением.

— Все же я решительно ничего не понимаю. Отец от меня отказывается; одно время бабушка отправила меня в Америку к матери. Но мать за другим замужем, мой приезд, видимо, стеснил ее, и она поспешила вернуть меня в Россию.

— Что же вы поделываете?

— Теперь у меня нет никакого занятия; предлагают место во Владивостоке, да еще открывается возможность устроиться на юге России; не знаю, которое из предложений принять.

Мы расстались, но в тот же день я отправился к Е. А. Р—ой, от которой являлась к жене К—ва, передал Е. А. разговор со мной К—вой и сказал:

— Как видите, я умолчал о самом главном; вы женщина, знаете К—ву, и вам легче снять с ее души лишний камень, — объясните ей, что она не должна считать К—ва своим отцом и потому не может иметь к нему каких-нибудь претензий.

— Я вам скажу хуже того: ее именем бабушка предъявляла даже иск к К—ву.

От покойной Ал. Ев. Кутузовой я узнал потом, что мать К—ва была единственной дочерью помещика новгородской губернии Палицына.

Не пожил я в Петербурге и недели, как оказался в курсе того, что тогда было предметом постоянных разговоров в либерально-оппозиционных кругах. Это так называемое «хождение в народ» и масса арестованных по этому делу. Назывались фамилии, все мне, конечно, неизвестные, но многим из моих знакомых так или иначе близкие, особенно С. В. Ковалевской. Для одних хождение в народ представлялось великим подвигом, который взяла на себя молодая русская интеллигенция, другим — чем-то наивным, почти детским; но все одинаково глубоко возмущались бесчисленными арестами, продолжительностью предварительного заключения. Все эти разговоры падали на подготовленную почву, у меня и без того было страстное желание повидать людей нового поколения, поговорить с ними. С одним из представителей его, покойным Г. А. Мачтетом, я встретился у В. Ф. Суфщинского, но он сильно разочаровал меня. Только что вернувшийся из-за границы Мачтет был преисполнен восторженного преклонения перед нарождавшейся тогда социал-демократией.

— Вся Франция, вся Германия, Швейцария, Италия, Испания находятся под владычеством социал-демократии.

— Сделайте небольшое исключение для Испании, — заметил я, — ведь в газетах можете прочесть описание вступления Альфонса XII в Мадрид.

Но вскоре представился случай более благоприятный, хотя по стечению обстоятельств и не давший в достаточной мере того, что я искал. Как я уже выше говорил, мне позволено было съездить в Вологду для свидания с другой сестрой. По дороге в Вологду я познакомился с молодым человеком, бывшим воспитанником верещагин-

ской молочной школы, М—вым, исполнявшим обязанности разъездного инструктора по маслоделию и сыроварению. В Вологде мы с ним встречались, даже жили в одной гостинице. Из разговоров с ним я скоро вынес впечатление, что за его официальной миссией несомненно скрывается кое-что и другое, по меньшей мере известная осведомленность и связи с кругами, близкими к тогдашнему движению. И в результате при отъезде из Вологды я получил от него письмо к одной даме в Петербурге. То была гражданская жена присяжного поверенного Богаевского; жили они на Литейном в прекрасно обставленной квартире. Madame (не помню ни имени, ни настоящей фамилии) встретила меня весьма любезно, но в то же время и как-то растерянно. Вскоре объяснилось в чем дело: только что была арестована Ободовская, мне, разумеется, совсем неведомая, с которою Madame, по-видимому, была в близких отношениях. Но вот пришла студентка-медичка О. А. М—ва, сестра инструктора; она не только подтвердила арест Ободовской, но и сообщила разные подробности. Арест Ободовской вызвал большой переполох, ждали дальнейших арестов и обысков. Хозяйка сказала, что она уже произвела у себя ревизию и кое-что куда-то переслала на хранение. Я понимал, что мой визит был совсем не вовремя. Но что мне было делать? Сейчас же встать и откланяться — это значило бы показать себя большим трусом, да и не особенно было полезно, если за квартирой уже установлено наблюдение; оставаться, — не говоря уже о том, что, может быть, стесняю хозяйку, — при ожидаемом каждую минуту появлении полиции было не малым риском для меня: ведь конечно не поверили бы, что мною руководило простое любопытство. В довершение всего в гостиную заявился сам Богаевский в весьма дурном настроении; хотя и не прямо, но все же достаточно понятно он высказал, что все это он давно предвидел и знал, что добром не кончится. Я не спеша допил стакан чаю и, не удерживаемый хозяйкой, откланялся. Но благодаря этому неудачному визиту у меня завязалось знакомство с О. А. М—вой. Она, несмотря на свою молодость, была довольно близка к тогдашнему движению. О. А. частенько заходила ко мне. Я убеждал ее поберечь себя, сначала закончить свои курсы (ей, кажется, оставалось не более трех семестров до окончания их) и затем уже располагать собой, как ей

будут подсказывать ее убеждения и нравственный долг. «Но что бы с вами ни случилось, — говорил я, — законченное образование, да еще медицинское, никогда не будет лишним, а наоборот».

Ее тогда особенно озабочивала участь младшего брата, по ее словам замечательно даровитого, но ему из пятого класса гимназии было предложено добровольно уйти, — юноша слишком заявил свою неблагонадежность. Открывалась возможность быть принятым в другое учебное заведение, но он не желал этим воспользоваться, — он находил, что школьная мудрость, базирующаяся на древних языках, в жизни совсем не нужна. А под жизнью юноша понимал революционную деятельность. О. А. просила меня о позволении привести ко мне брата. И раз вечером пришла с ним.

Я вернулся в Петербург, когда плоды толстовского классицизма уже вполне обозначились. Не было той семьи, с которой сводил меня случай, где бы не раздавались горькие жалобы на мертвящую систему; говорили о массе исключенных или добровольно покинувших гимназию. От Бруннера я слышал, что даже Потапов обращал внимание государя на усиление революционного брожения в связи с слишком последовательным проведением классической системы. В то же время такой убежденный классик, каким был В. И. Модестов, не иначе говорил о толстовской системе как о совершенном извращении классицизма[1].

И вот я вижу перед собой живое порождение этой системы. На мой вопрос, не думает ли он все-таки где-нибудь закончить среднюю школу, ответ был таков: «Теперешняя гимназия решительно не дает никакого знания, продолжение ее курса было бы чистой потерей времени. Между тем жизнь требует, чтоб все молодые силы отдавали себя на служение обществу».

Я с этим согласился, но затем повел такую речь:

— Для того, чтобы перекинуть мостик через какой-нибудь ручеек, пожалуй даже не обязательно знать четыре правила арифметики, а вот чтобы построить мост,

---

[1] За доклад в этом смысле в Педагогическом обществе В. И. был вскоре уволен от профессорства в С.-Петербургской духовной академии, куда он перебрался из Киева, а самое общество было закрыто. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

например, через Неву, там и университетского курса недостаточно. Между тем строительство общественной жизни, да еще, как вы говорите, на началах всеобщей справедливости, куда более трудное дело, чем сооружение мостов. Грандиозные сооружения возводились даже в такие времена, когда над всеми людьми царила простая, грубая сила, не задававшаяся никакими идеалами справедливости и свободы. Как же вы думаете посвятить себя общественному служению с таким скромным запасом знаний, какой вынесли из четырех классов гимназии? Рядовой пешкой в каком-нибудь движении вы еще можете быть; и это роль, конечно, почтенная, но только тогда, если человек добровольно берет ее на себя; довольствоваться же ею лишь потому, что ни на что другое не пригоден, — простите, в ваши годы надо иметь немного побольше самолюбия.

Эти простые слова, кажется, произвели на юношу впечатление. Подумав, он отвечал:

— Да я не прочь пойти в высшее учебное заведение.

— Если так, то волей-неволей вам необходимо докончить, хотя и очень скучное, среднее образование.

Как я впоследствии узнал от О. А., молодой человек все-таки докончил среднее образование, но о дальнейшей судьбе его ничего не знаю.

Во всей семье М — вых в 80-х гг. произошел крупный поворот: ранее они получали от дяди-миллионера двадцать пять рублей в месяц на свое образование и ничего более, а по смерти дяди, не оставившего завещания, им достались его миллионы. О. А. благополучно кончила свое медицинское образование и одно время служила по земству.

В один прекрасный день заехал ко мне Ф. М. Рымович. После отъезда В. Г. Коссовского из Петербурга (в начале 1863 г.) и бегства Опоцкого[1] Рымович имел со мной отношения, как представитель польской организации в Петербурге. Рымович был доктором по Николаевской ж. д., а потом в Экспедиции заготовления государственных бумаг. Заехал ко мне Рымович не один, а с Григорьевым, бывшим смотрителем тех тюрем, в которых я содержался в Вильно; теперь Григорьев состоял

[1] См. мои воспоминания, кн. I. (*Прим. Л. Ф Пантелеева.*)

по петербургской полиции, занимая какое-то место по хозяйственной части. Григорьев взял с меня слово, что я непременно приеду к нему обедать. Я охотно обещал это. В назначенный день и заявился к нему. Он познакомил меня с своей женой, а приглашенных гостей я ранее знал, — то были Рымович и д-р Фавелин, который в 1863—1865 гг. состоял старшим врачом при Атаманском казачьем полку в Вильно, в то же время был личным доктором Муравьева и им был назначен доктором при политических тюрьмах. Григорьев угостил на славу, даже не пожалел шампанского. Само собой понятно, что весь обед прошел или в расспросах о моем житье-бытье в Сибири, или в воспоминаниях о Вильно. Как Григорьев, так и Фавелин особенно интересовались судьбой Огрызко. Я мог им сообщить только, что Огрызко вскоре после восстания поляков на кругобайкальской дороге (летом 1866 г.) был переведен в Вилюйск, а оттуда через несколько лет в Якутск, да прибавил еще: раз майор Кубе, состоявший при иркутском генерал-губернаторе по делам политических ссыльных, был в Енисейске, и я с ним встретился в доме золотопромышленника И. А. Григорова. На мой вопрос, не приходилось ли ему видеть Огрызко и каково ему живется в Вилюйске, Кубе, бог знает, ради чего, отвечал явной нелепостью: «Да он живет в обстановке, нисколько не худше, чем та, в которой мы теперь с вами находимся». А надо сказать, что дом Григорова по обстановке был самый шикарный в Енисейске.

В первый раз мне пришлось видеть Григорьева не при исполнении официальных обязанностей. Из рассказов Григорьева сохранился в памяти лишь один. «Не раз, — говорил он, — мне приходилось присутствовать при исполнении смертных приговоров как в Варшаве, так и Вильно; но никто не проявил такого равнодушия к жизни, как Ржонца, он даже сам оттолкнул скамейку из-под ног». Ржонца, покушавшийся 13 августа 1862 г. на Велепольского, если не изменяет память, был из варшавских ремесленников.

Я до сих пор не могу отдать себе ясного отчета, что за личность был Григорьев. Он был из кантонистов (Московского карабинерного полка), кажется из евреев. Видный собой, исполнительный по службе, Григорьев был унтер-офицером в Преображенском полку, откуда посту-

пил в распоряжение Потапова, которому одно время было поручено сформировать варшавскую полицию из более надежных элементов. По времени произведенный в офицеры, Григорьев тем же Потаповым был назначен в Вильно смотрителем доминиканской тюрьмы, в которой содержались политические, находившейся в ведении особой следственной комиссии, учрежденной Муравьевым для дел, почему-нибудь особенно интересовавших его. С первой нашей встречи, 12 декабря 1864 г., когда меня доставили в доминиканскую тюрьму, Григорьев отнесся ко мне самым предупредительным образом, и в течение всего года, что я был в виленских тюрьмах (сначала в «Доминиканах», а потом в «Босачках», куда был переведен и Григорьев), он относительно меня не только делал все, что было в его власти, но подчас заходил и слишком далеко: сообщал мне об обстоятельствах, о которых должен был хранить безусловное молчание; мало того — осведомлял меня о показаниях Огрызко и наоборот. Я ни разу не позволил себе и намека, что чем-нибудь в будущем отплачу ему.

И только когда все кончилось, мой тесть по моей просьбе дал ему, кажется, не более ста рублей. За несколько дней до объявления конфирмации (с конфискацией имущества) Григорьев, по собственной инициативе, все более ценное, что при нас было, передал лицам, на которых мы указали, так что в пользу казны остались лишь вещи, ничего не стоящие. Если Григорьев мог проделать такую операцию, то еще легче ему было самому завладеть нашими вещами. А между тем приобретательская жилка у него была развита: имелся в Петербурге свой собственный каменный дом, хотя и небольшой, и, кажется, когда он одно время заведовал домом предварительного заключения, у него вышли какие-то недоразумения по хозяйственной части.

Студентом я давал уроки в доме городского головы Н. И. Погребова, был очень хорошо принят и продолжал бывать, когда уроки давно уже кончились. Здесь меня встретили, как родного или самого близкого друга дома. Сначала, естественно, Н. И. расспрашивал меня о моем деле, потом о Сибири, а затем и меня познакомил с разными переменами. «За время, когда вас здесь не было, введено новое городовое положение; бесспорно его и сравнивать нельзя с прежним, но вот где слабая сторона.

Над городовым положением всегда висит как дамоклов меч высочайшее повеление; уже раз министерство им воспользовалось. Вы, может быть, знаете, что в Думе не прошло представление градоначальника об ежегодном отпуске из городских средств миллиона пятисот тысяч рублей на содержание полиции. Тогда эта сумма была отнесена на город по высочайшему повелению. Пока такие вещи возможны, можно ли серьезно говорить о городском самоуправлении (вскоре такая же история повторилась с постройкой Литейного моста). Вот тоже народились частные банки (при мне только что появился С.-Петербургский частный коммерческий банк), а деньги стали дороже. В прежнее время солидный торговый вексель легко было учесть из пяти процентов, теперь об этом и думать нечего. Банки пока породили необузданную спекуляцию. Помните моего племянника Федора Петровича Погребова? (Он ранее был пайщиком одной бумагопрядильни в Петербурге.) Тоже пустился в банкирское дело и разные учредительства. Не особенно давно приезжает ко мне: «Я к вам, дяденька, приехал посоветоваться». — «А что?» — «Да дела стали заминаться». — «Каков же твой баланс?» — «В пассиве один миллион рублей». — «А в активе?» — «Почти ничего». И таких Федор Петровичей теперь не сосчитаешь».

Повидал Егора Карловича Задлера, брата Евгении Карловны, жены Тиблена (сам Тиблен еще за несколько лет до моего возвращения бежал за границу от долгов, наделанных главным образом по вине романических приключений). Собственно, типография Тиблена и К^0 принадлежала Задлерам. Тиблен был женат на дочери д-ра К. Задлера, заведовавшего Конюшенным госпиталем. К. Задлер был первый из докторов, приглашенных к Пушкину, когда его, раненого, привезли на свою квартиру. Незадолго до моего ареста Егор Карлович на слово запродал мне типографию в кредит[1] на весьма льготных условиях. Тогда он был комиссионером Главного общества железной дороги по заказам за границей; за время моего пребывания в Сибири необыкновенно быстро развернулся в учредителя разных компаний и даже концессионера по достройке Киево-Брестской ж. д., но также

[1] После моего ареста ее купил Н. А. Неклюдов, но скоро кому-то перепродал. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

быстро запутался и был объявлен несостоятельным на несколько миллионов. По словам В. Д. Спасовича, банкротство Задлера объяснялось слишком широким ведением дела, но не носило в себе чего-либо предумышленного. Этот отзыв и дал мне основание возобновить знакомство с Задлером, чему я придавал специальный интерес. Дело в том, что конец 60-х и самое начало 70-х гг. ознаменовались у нас необычайным размахом спекуляции, и на первом плане железнодорожным концессионерством. Но когда я вернулся из Сибири, уже «облетели цветы». Задлер был лишь одним из многих очутившихся после кратковременного блеска в положении банкротов. Задлер, с которым я случайно встретился у А. А. Жука, сейчас же пригласил меня обедать у него.

Когда явился к нему, то нашел компанию человек в пятнадцать; то были разные родственники Задлера и его жены, из которых я несколько знал только его брата, доктора. Тем не менее все отнеслись ко мне не только с полным вниманием, но и с большой сердечностью, особенно жена самого Задлера, которую я ранее лишь мельком видал раз или два у Тибленов. Для беседы о сюжетах, меня интересовавших, я уговорился с Задлером как-нибудь запросто побывать у него.

Он потерпел главным образом на постройке Киево-Брестской дороги. На получение концессии заявилось несколько соискателей; а тогда исход соперничества зависел от того, кто умелее и более раздаст взяток. И вот одному кружку удалось привлечь Рябинина, который рискнул, как говорил Спасович, целым миллионом на предварительные расходы. И этим победил всех конкурентов. В этой стадии дела Задлер еще не участвовал, но знал ее во всех деталях. Рассказ Задлера по своей непосредственной простоте был просто очарователен. Надо было непременно обеспечить содействие гр. А., кн. Д.; узнают, что им уже обещано конкурентом по пятьдесят тысяч рублей, сейчас же от Рябинина является его доверенное лицо и предлагает по семьдесят пять тысяч рублей. Проведала об этом противная сторона и прибавляет по десять тысяч; тогда Р. доводит до ста тысяч рублей и пересиливает. В конце концов он получил концессию. Однако, несмотря на пятипроцентную гарантию, ему не удалось собрать достаточный капитал, к тому же

из того, что было получено, добрая часть опять же разошлась по разным карманам. Стройка дороги остановилась чуть ли не в самом начале. Рейтерн был в отчаянии. Вот в эту минуту и явился Задлер с предложением взять дело. Его встречают в министерстве финансов как спасителя, и Рейтерн, как утверждал Задлер, согласился на все условия, поставленные им. Но и Задлер, не располагавший личным крупным капиталом (он заработал ранее сравнительно недурную сумму на оптовой постройке крошечной Новоторжской ж. д.), к тому же втянувшийся в учредительство других предприятий (например Голубовских каменноугольных копей), при большой бесхозяйственности в ведении постройки, хотя и довел ее до конца, все же кончил банкротством. Он свою неудачу объяснил тем, что министерство финансов не сдержало своих обещаний. Так ли было на самом деле, я не берусь судить. Задлеру по некотором времени удалось высвободиться из-под конкурса; он вошел в дело Гуковской мануфактуры, а потом фабрики толя Наумана и умер в 90-х гг.

Не одни железнодорожные концессии возбуждали аппетиты предприимчивых людей. Вернувшись из Сибири, я уже не застал в живых дяди моей жены, П. Н. Латкина, с которым познакомился еще в начале 1862 г. П. Н. был из среднего круга золотопромышленников, получал от двадцати до сорока тысяч рублей чистого дохода, но жил скромно. Однако после его смерти семья очутилась в самом бедственном положении, так как оказались крупные долги и был назначен конкурс. П. Н., как и многие из золотопромышленников, увлекся мечтой заполучить концессию на некоторые не работавшие прииски, принадлежавшие кабинету в Томском округе. В Сибири я знал немало людей, питавших такие же надежды: «Вот скоро будет объявлен открытым для частной золотопромышленности Томский округ, и тогда я рассчитываю...» Власть имущие усердно поддерживали такие чаяния, принимали должные гонорары в счет будущих благ, но отнюдь не торопились исполнением своих обещаний, вернее сказать — совсем не думали об этом.

Из моих товарищей А. А. Жук[1] благодаря Задлеру

---

[1] Жук был женат на сестре Тиблена Эмилии Львовне, вскоре, однако, умершей. *(Прим. Л. Ф. Пантелеева.)*

стал на дорогу практического дельца, получив место делопроизводителя Новоторжской ж. д. и, кажется, пароходства на Шексне (впоследствии, до самой смерти, был директором Владикавказской ж. д.). Сравнительно скромное положение не давало Жуку возможности войти в непосредственные отношения с крупными финансовыми предпринимателями, но второстепенный круг, вроде Касаткина, И. А. Варгунина, Бритнева и др., ему был хорошо известен. На примере маленькой Новоторжской линии он разъяснил мне всю механику тогдашнего железнодорожного строительства. Даже получение концессии на такую маленькую дорогу не обошлось без смазки где следует. Акции Новоторжской дороги не получили гарантии, притом весь капитал концессионеры должны были собрать путем выпуска акций. Как я уже говорил выше, оптовый подряд на постройку был сдан Задлеру; на расчет с ним денежных средств не хватило; потому акции почти полностью были заложены в С.-Петербургском обществе взаимного кредита, и под них была выдана столь солидная сумма, что они там навсегда и остались.

Из слов Жука выходило, что Общество взаимного кредита во время разгара спекуляции было главным местом, откуда черпались деньги, но для этого надо было обеспечить себя поддержкой Е. И. Ламанского, а для более скромных ссуд — Я. А. Исакова, члена правления Касаткина или по крайней мере кассира Бритнева. Летом 1877 г. и обнаружилось, во что обошлось обществу это участие в спекулятивных предприятиях и кассирство Бритнева, — оно потеряло свыше половины своего капитала [1].

«Если какая-нибудь группа, — говорил Жук, — наметит проведение той или другой дороги, то дело начинается с представления в министерство путей сообщения

[1] В «Русской старине» в ноябрьской книжке за 1915 г. Е. И. Ламанский касается С.-Петербургского общества взаимного кредита, учредителем которого он был, одно время состоял председателем правления в самое спекулятивное время, а потом оставался членом совета, но сохранил при этом доминирующую роль. Е. И. старался выгородить себя и все свалить на Я. Л. Исакова, Касаткина и Бритнева и даже на бухгалтера Н. Ф. Даниельбека. Но самооправдания Е. И. более чем далеки от истины; говорю это потому, что, послужив в 1877 г. (после раскрытия главнейших растрат) секретарем правления, имел возможность близко ознакомиться с прежними делами общества. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

и министерство финансов записки, обставленной всякими экономическими данными. Вот эта книга — настольный справочник, в своем роде священная книга для всех, алчущих концессий. — И с этими словами подал мне издание военно-статистического сборника, выпуск «Россия» (и даже почему-то подарил мне). — Наша дорога, конечно, маленькая, затеяна она была в расчете на продолжение до Ржева, а потом до Вязьмы. И тогда она отлично работала бы, потому что часть грузов, идущих теперь через Москву на Петербург, повернуло бы на нашу дорогу; но оказался тормоз непреодолимый — главное общество железных дорог. Какое время был конец 60-х и начало 70-х гг., как тогда быстро составлялись состояния; жаль, что вас здесь не было», — закончил Жук.

Несмотря на то, что Новоторжская ж. д. была крайне незначительным делом, мне долго потом приходилось слышать такие речи: «N. поправится, обещают продолжение до Вязьмы». И находились люди, которые этому верили и попадались на удочку спекуляции. Продолжение до Вязьмы действительно состоялось, но только тогда, когда дороги Главного общества перешли в казну да по пути и Новоторжская ж. д.

К МАТЕРИАЛАМ ОБ ИЗДАНИИ СОЧИНЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА

В № 1 «Голоса минувшего» за текущий год напечатан любопытный документ из прошлого нашей цензуры — это доклад Смарагда Игнатьевича Коссовича о сочинениях Герцена. Но Б. Федоров, сообщивший редакции этот документ, видимо не знал его закулисной истории, а она тоже не лишена известного интереса; потому и позволяю себе некоторые разъяснения в этом направлении.

Я познакомился с А. А. Герценом в половине 80-х гг. и всегда с ним видался, когда доводилось бывать в Швейцарии, особенно часто в конце 1890 и начале 1891 г., когда я прожил в Лозанне более трех месяцев. В начале 90-х гг. он стал нередко жаловаться на свои материальные затруднения; имея большую семью, ему приходилось, как он говорил, постоянно затрачивать капитал, притом ставший по разным обстоятельствам весьма скромным. Как-то раз он спросил меня: нельзя ли попытаться переиздать те сочинения его отца, которые в свое время были дозволены в России, хотя бы только беллетристические. Я охотно отозвался и сказал, что готов принять на себя хлопоты. «Но я не имею возможности затрачивать на издание свои средства». — «Я и в этом отношении могу посодействовать вам. Отнюдь не желая наживаться на этом деле, предлагаю вам следующее: печатаю и вообще несу все расходы за свой счет; когда издание будет готово, оно останется у меня на комиссии из такого-то процента» (помнится,

не свыше сорока процентов). Александр Александрович не колеблясь пошел на мое предложение и выдал мне доверительное письмо, заменявшее условие.

Вернувшись в Петербург, я первым делом повидался с С. И. Коссовичем; он тогда был еще только цензором, а председателем комитета состоял Кожухов — типичный чиновник, притом совсем необразованный. С Коссовичем были у меня и ранее некоторые отношения. Насчет издания Герцена он сказал, что отчего не попытаться, хотя и потребуется высочайшее разрешение; только нужно дело обставить умело. Встречаясь у Леон. Ник. Майкова с его братом Аполл. Ник., членом Совета главного управления, я и его позондировал. Ап. Ник. отвечал: «По-моему, давно бы следовало разрешить издание Герцена, и особенно «С того берега».

И вот в один прекрасный день я направился к Феоктистову. Дал ему прочитать доверительное письмо Алек. Алек. и при этом сказал: «Вы видите, что тут о какой-нибудь спекуляции с моей стороны и речи быть не может, ведь я сам буду давать книгопродавцам обычные тридцать процентов уступки, а из остальных должен покрывать кладовую, страховку, публикацию и разные непредвиденные расходы. Я просто желаю помочь Александру Александровичу, который при большом семействе и очень скромном профессорском жалованье, да еще на положении экстраординарного профессора, то есть профессора, нисколько не гарантированного, что по окончании года его не заменят другим, испытывает материальные затруднения». Феоктистов полюбопытствовал узнать, как велика семья Алек. Алекс.

«Столько-то сыновей и дочерей, кроме одного сына от первого брака, все на его попечении». — «Да, очень большая семья», — участливо отозвался Феоктистов.

Я начал разговор о разрешении того, что было напечатано в России. К моему большому сюрпризу, Феоктистов сам пошел дальше.

«Можно было бы кое-что прибавить из «Былого и дум», в них есть ценный исторический материал».

Беседа кончилась на том, что Феоктистов предложил мне подать прошение, что я, конечно, и не замедлил сделать. Так как дело пошло об издании и части тех сочинений, которые выходили только за границей, то мне было раз-

решено получить полное заграничное издание для представления в цензуру.

В комитете предварительное цензурование сочинений Герцена было возложено на Коссовича, который пользовался большим авторитетом у Феоктистова. Заранее предуведомленный, захожу к Коссовичу, чтобы узнать, как прошло дело в комитете. Жил Коссович очень скромно, хотя семья была и небольшая; ради экономии даже сам мастерил себе какие-то лекарства, которыми постоянно пользовался. Когда в начале разговоров о Герцене я сделал осторожный намек, что труды его не останутся без вознаграждения, он ответил: «Я вам буду очень благодарен, если вы мне дадите переводную работу, ни о чем другом и речи быть не может». И я дал ему крупную работу — перевод «Истории Ислама» (Мюллера) да потом «Памфлеты» П. Л. Курье и, кажется, еще что-то [1].

«Мой доклад прошел в комитете, и заключение комитета — благоприятное для разрешения издания Герцена — на днях направится к Феоктистову. Хотите выслушать мой доклад?» — «И даже очень». — «Вы только не смущайтесь, — в интересах дела я умышленно не пощадил Герцена, постарался выставить его в самом неказистом виде, ведь от того покойнику хуже не будет».

Вот этот-то доклад от 13 августа 1893 г. и сообщен Б. Федоровым. При чтении его я не раз надрывался от хохота, а когда Коссович кончил, то не утерпел, чтобы не спросить: «Но скажите, пожалуйста, за кого же вы считаете членов комитета, что они могли вам поверить?» — «Вы не знаете нашего комитета, у нас чем глупее и несообразнее доклад, тем легче проходит».

Из цензурного комитета дело вернулось к Феоктистову. Тот внес его на обсуждение Совета главного управления: в заседание был приглашен и Коссович. Вот как он передал мне о самом заседании. Началось оно с того, что Феоктистов рассказал пикантный анекдот (до них он был большой охотник): как-то раз три француза сошлись перед статуей Венеры Ми-

---

[1] Через меня Н. К. Михайловский тоже пробовал дать перевод Коссовичу, но довольно неудачно: книжку Мори, помнится, о происхождении религии, — она оказалась запрещенною к обращению в России. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

лосской. «Да она без рук», — сказал первый. «Значит, не может работать», — отозвался второй. «Скажите лучше, — поправил третий, — она не может сопротивляться».

Раз что Феоктистов высказался за разрешение, в совете никто против этого особенно не возражал. Майков выразил пожелание, чтобы в число дозволенных попали и «С того берега», но его слова прошли совершенно незамеченными. Я. П. Полонский молчал, хотя я и рассчитывал на его активную поддержку.

Когда спустя несколько дней я заявился к Феоктистову, он очень любезно принял меня: «Дело можно считать конченым, в такой-то день я сделаю доклад министру». Последние слова были сказаны таким тоном, как будто речь шла о выполнении лишь простой формальности.

Захожу в Главное управление после того как должен был состояться доклад министру И. Н. Дурново. Феоктистов, увидя меня, объяснил, что доклада не было, так как министр был очень занят; следующий доклад будет в такой-то день.

Еще проходит некоторое время, опять иду к Феоктистову. На этот раз он не принял меня в кабинете (зал заседаний совета), а вышел в приемную и, не подавая руки, не давши мне даже рта открыть, строгим тоном проговорил:

«Вы хлопочете за А. А. Герцена, ссылаясь на его материальное положение. Но какое же он имеет право хоть на малейшее благожелательное отношение со стороны русского правительства, когда открыто принадлежит к социалистической партии и еще недавно выпустил крайне резкую брошюру в этом направлении?»

И с этими словами Феоктистов отошел от меня.

Я сейчас же написал Алекс. Алекс. и от него получил ответ, что он никогда не принадлежал к социалистической партии и никакой политической брошюры в последнее время не выпускал, так как всецело занят своей научной специальностью.

Я считал бесполезным с этим письмом заявляться к Феоктистову, а направился к Леон. Ник. Майкову, который, как я знал, был в хороших отношениях с Феоктистовым. Леон. Ник. взялся повидаться с Феоктистовым, показать ему письмо Алек. Алек. и вообще осведо-

миться о неожиданном повороте дела. И вот что потом мне передал: Феоктистов продолжал стоять на своем, что Герцен выпустил какую-то брошюру, даже обещал послать Майкову подтверждающую справку, чего, впрочем, никогда не сделал. Все же Феоктистов проговорился о главном, что решило судьбу дела. При его докладе министру тот ответил: «Мне будет крайне неприятно утруждать государя таким делом».

После этого Феоктистову ничего не оставалось, как взять свой доклад обратно, а чтобы замаскировать передо мной свою неудачу, сочинил историю о социализме и брошюре Герцена. Так это мое дело и провалилось. Вот тогда-то и выступил Ф. Ф. Павленков. Рассчитывая на свои связи в цензуре, он, помнится, осенью 1894 г. заключил условия с Алекс. Алекс., причем за право издания обязался заплатить двадцать тысяч рублей в точно определенные сроки и даже выдал немедленно крупную сумму. Но Феоктистов не выносил даже имени Павленкова, об его издательстве не иначе выражался, как «павленковская кухня»; а потому при нем Фл. Фед. удалось не более, чем мне. Когда в 1896 г. Феоктистова сменил М. П. Соловьев, ставленник Победоносцева, об издании Герцена и заикаться было нельзя. Давление Победоносцева было так сильно, что временами сам Соловьев тяготился им. Это говорил мне покойный Н. М. Соколов, получивший цензорство при Соловьеве и пользовавшийся его личным расположением. Влияние Победоносцева сказывалось и при Феоктистове. Одно время я задумал издание «Похвалы Глупости» Эразма с рисунками Гольбейна, но при условии неприкосновенности текста от цензурных сокращений. Феоктистов был не против, но потом мне заявил: «Я виделся с Константином Петровичем по поводу «Похвалы Глупости»; он не согласился».

Дело об издании Герцена всплыло при Сипягине, когда место Соловьева занял кн. Шаховской. По его докладу министру состоялось ближайшее разрешение в 1900 г.; Шаховской сам взялся цензуровать Герцена, для чего и просил меня дать ему полное собрание сочинений Герцена. На нем и до сих пор сохраняются карандашные отметки Шаховского.

Приведенные в конце доклада Коссовича некоторые ограничения относительно распоряжения сочинений

Герцена были им заранее сообщены мне. Кроме запрещения иметь их в частных публичных библиотеках, все другие пункты были приняты мною без возражения, так как они не шли вразрез с моими издательскими приемами. А что касается до последнего пункта, то вот что говорил Коссович: «Это будет сделано и помимо моего доклада; между тем упоминание о нем в докладе даст мне потом возможность свободнее пропускать сомнительные места, — ведь цензурование несомненно будет поручено мне».

Когда народился журнал «Начало», Коссович, зная, что я, хотя и не принимаю в нем никакого участия, нахожусь, однако, в хороших личных отношениях с главными руководителями журнала, не раз через меня делал предостережения: в составе редакции или в очень близком отношении к ней есть лица из совершенно противоположного лагеря; цензура заблаговременно получает авторитетные предуведомления не только о том, что предполагается к напечатанию в журнале, но даже о разговорах на редакционных совещаниях.

Не называя источника, я не раз предупреждал П. Б. Струве.

Журнал, помнится, после четвертой книжки был запрещен, и только тогда обнаружилось, из какого своеобразного источника поступали деньги на его издание...

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Ввиду приближения 25-летия со дня смерти В. М. Гаршина несколько лиц обращалось ко мне с просьбою поделиться с ними моими воспоминаниями о Гаршине. Я всем отвечал одно: хотя я знал Гаршина в течение более чем десяти лет, а в последние три года был даже в довольно близких отношениях, но чего-нибудь особенно нового в дополнение к биографическим сведениям, давно уже оглашенным, сообщить не имею. Однако пришлось уступить дружескому настоянию редакции «Современного слова».

Прежде всего я позволю себе указать на одну черту покойного В. М—ча, на которую, кажется, до сих пор не было обращено внимания. Гаршин был прежде всего поразительно изящная личность с головы до ног, во всех ее как внешних, так и внутренних проявлениях. При красивом и выразительном лице, он был пропорционально сложен, а его легкая поступь, естественная грация всех движений придавали ему какой-то аристократический отпечаток человека, скорее родившегося под классическим небом Италии, чем в Бахмутском уезде. Гаршин, разумеется, не заказывал себе костюмов у первых портных и дальше соблюдения опрятности его личные заботы об одежде не шли, а между тем всякий костюм выглядел на нем, как будто был сработан первым портным. Гаршин, сколько мне известно, не особенно обучался танцам; но я, как сейчас, вижу его на детских «балах» под Новый год у А. Я. Герда, где устраивались незатейливые танцы в три-четыре пары. Тут Гаршин положительно приводил всех в восторг, и

больших и малых; он не только с поразительной легкостью проделывал все обязательные па и фигуры, но и постоянно импровизировал свои собственные, точно был прирожденный балетмейстер, но без неприятного отпечатка профессиональной дрессировки. Судя по очень немногим, до известной степени публичным речам Гаршина, можно все-таки сказать, что он вполне свободно владел словом и был остроумный оратор. В обществе в обыкновенной беседе он не поражал шаблонной привычкой говорить обо всем, хотя и обладал самыми разнообразными сведениями, часто весьма специальными; но его разговор, в котором сказывалась тонкая наблюдательность, всегда был очень интересен, а его меткие замечания и характеристики, притом высказываемые без малейшего подчеркивания, привлекали сосредоточенное внимание слушателей; особенно пленяло всех то добродушие, которое оттеняло его отрицательные суждения. Гаршин, например, далеко не разделял всех взглядов В. В. Стасова, но относился к нему с сыновней любовью, что и скрашивало его нередкие указания на забавные промахи В. В.

Известны близкие отношения Гаршина с художественными кругами, особенно с передвижниками; с некоторыми из них, например с Н. А. Ярошенко, он был в самых дружеских отношениях: их сближало не только одинаковое понимание задач искусства, но и сродство душевных настроений. В своих статьях о художественных выставках Гаршин не гремел, как Стасов, одних беспощадно казнивший, других подымавший выше облака ходячего; в них не было и академической отделки присяжного критика «Голоса», покойного Матушинского. И тем не менее к художественным суждениям Гаршина относились с полным вниманием, так как видели в них отражение души, необыкновенно чуткой к восприятию художественной правды. Даже случайно брошенный взгляд открывал Гаршину тайники человеческой души. Припоминаю такой разговор в одну из моих серед. Почему-то зашла речь об А. Толстом и кто-то заметил, что у него было грубое, неприятное лицо. Гаршин на это возразил:

— Да, так могло казаться с первого взгляда; но стоило пристальнее всмотреться, и впечатление получалось совсем другое.

— А вы его знали?

— Нет, но я видел его бюст у Льва Николаевича.

Гаршин был в Ясной Поляне самое короткое время, всего несколько часов, притом в состоянии крайне острого душевного недуга и возбуждения, вызванного им, и тем не менее подметил тонкую разницу между внешней оболочкой человека и его внутренним содержанием. Когда какое-нибудь художественное произведение привлекало на себя внимание Гаршина, от его глаза не ускользали даже совсем третьестепенные детали. Раз на выставке передвижников я сошелся с В. М. у картины Поленова «Грешница». Я высказал несколько замечаний по поводу излишней вырисовки храма. «Да, вы, может быть, и правы; но посмотрите на этого ослика, ведь он совсем живой, так и хочется вскочить на него», — чуть не с детским восторгом проговорил В. М.

Позволяю себе напомнить еще одну черту Гаршина. Будучи несомненно натурой больной, он, однако, не проявлял сколько-нибудь заметных симпатий к тем направлениям в литературе, где сказывалось или затяжное нытье, или не вполне здоровое направление; он считал это явлением скоропреходящим, не верил в его будущность.

Известно, что Гаршин обладал совершенно исключительной памятью. Недавно один критик упрекал его, что совсем с ненужной обстоятельностью он, как бухгалтер, часто приводит цифры (например, № винтовки), часы и т. п. Эти мелочи лучше всего свидетельствуют, что описываемый предмет или явление целиком взяты из действительности; самое мимолетное впечатление прочно закреплялось в его памяти. Не будучи особенным поклонником Фофанова, он, однако, всего его знал наизусть, потому что раз прочел.

Эта память была и большим несчастием для Гаршина, ведь он помнил все до мельчайших подробностей, что с ним происходило в болезненные периоды!

В 1887 г. я задумал издать «Персидские письма» Монтескье и как-то сообщил В. М—чу о своем намерении; тот высказал живейшее сочувствие.

Когда я спросил его: «А вы взялись бы перевести их?» — «С удовольствием» (хотя он тогда совсем не нуждался в переводной работе). Я передал ему оригинал. Вскоре В. М—ч при встрече сказал мне: «Я перечитал Монтескье и даже начал переводить, эта работа очень увлекает меня».

Но прошло очень немного времени, и В. М—ч заболел.

Изредка я видал его, и он всякий раз извинялся, что перевод остановился, даже предлагал передать кому-нибудь другому. Я успокаивал В. М—ча тем, что ведь это дело не спешное. В начале марта 1888 г. он, как известно, вдруг почувствовал себя хорошо и стал спешно собираться на Кавказ; он очень благодарил меня, что я оставил за ним перевод «Персидских писем». «Я только их и беру с собою, ничего другого не думаю делать в Кисловодске». Но болезненное состояние скоро вернулось; уже 19 марта он писал мне: «Я совсем болен», а 24 числа его не стало.

Таким образом, перевод начала «Персидских писем» (11 писем) — он у меня сохранился, — кажется, надо считать последней литературной работой В. М—ча.

Покойная Магд. Мих. Латкина, очень близко знавшая Гаршина, на мой вопрос, занимался ли В. М—ч переводной работой, дала мне такой ответ: «Всеволод Михайлович перевел в сотрудничестве с своей двоюродной сестрой Тат. Ник. Акимовой повесть Мериме «Коломбо»; она была напечатана в 1882 или 1883 г. в журнале Иностранной литературы, который издавал П. И. Вейнберг. И еще: помнится, В. М—ч переводил «L'idéal au village»[1] Андре Лео, но была ли работа окончена и напечатана, не знаю».

В кругу близких друзей В. М. хорошо известно было, что он считал наследницей своих литературных прав свою жену Надежду Михайловну (урожденную Золотилову), но завещания не успел сделать. Потому после его смерти законными наследниками явились: вдова и два брата, Евгений и Георгий Михайловичи. Между наследниками возникли несогласия, которые и

---

[1] «Идеал в деревне» (*франц.*).

закончились следующим образом: Надежда Михайловна и Евгений Михайлович безвозмездно передали принадлежавшие им права в собственность Литературного фонда, а Георгий Михайлович продал свою долю Я. Г. Гуревичу, который и принес ее в дар Литературному фонду.

Вся чистая прибыль от издания сочинений Гаршина записывается в капитал его имени; он на 1 января 1913 г. составил 55 714 рублей.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «НОВОЕ О ГАРШИНЕ»

(Письмо в редакцию)

В майском номере «Голоса минувшего» в статье «Новое о Гаршине» в примечании в числе материалов указывается и моя статья «Памяти Гаршина». Случайно в ней оказался пропуск (он был восстановлен на литературном чтении в память Гаршина 8 мая), который и позволяю себе сообщить редакции «Голоса минувшего». Вот этот пропуск.

«В каком лагере стоял Гаршин? На основании свидетельств самых близких к нему людей я могу с точностью утверждать, что никакого участия в тогдашнем революционном движении он не принимал. Это происходило не от индиферентизма, а коренилось в особенностях его духовной природы. Гаршин глубоко страдал от нестроения нашей жизни, как страдал бы в любой стране с самыми совершенными формами общественности. Но ни приемы борьбы, с одной стороны, ни самозащита, с другой, не казались ему способными решить проблему гармонизации общественных отношений. Тут он сближался с Л. Н. Толстым; только не в проповеди новой морали видел панацею, а в устранении великого всеобъемлющего непонимания людьми своих взаимных отношений. Иногда свою мысль, вернее сказать — чувство, он высказывал с резкой определенностью. «Поймите же, — писал он раз А. Я. Герду, — все болезни существуют от одной причины, которая будет существовать всегда, пока существует невежество».

Тут под словом «невежество» надо понимать не одну противоположность школьному знанию. Припоминая некоторые беседы с Гаршиным, насколько понимаю, его основная мысль была такова: действительное знание, органически связывающееся с таким перевоспитанием душевных инстинктов человека, что в силу этого само собой должно установиться взаимное понимание и признание за каждым права жить по его усмотрению, не препятствуя и другим проявлять свою личность во всей полноте ее содержания.

Как достигнуть такого грандиозного синтеза, Гаршин нигде не указал; да сомнительно, чтоб и мог это сделать, потому что вероятный результат долгих веков общественного развития принимался за средство уврачевания».

P. S. К сведению г. Дурылина: по наведенным справкам у вдовы Н. М. Гаршиной оказывается, что ей решительно неизвестно, чтоб Гаршин в болезненном состоянии уничтожил какие-нибудь свои рукописи.

В ДЕПУТАЦИИ У С. Ю. ВИТТЕ

По инициативе «Союза Союзов» 18 октября 1905 г. вечером было собрание в Вольном экономическом обществе. Благодаря блокаде Технологического института в ночь с 17 по 18 октября, а также уличным столкновениям 18 числа, настроение собравшихся было до крайности приподнятое в резко оппозиционном направлении. Сравнительно небольшой зал общества был переполнен. Председателем собрания был избран В. А. Мякотин; это был выбор исключительно удачный. Никогда, ни ранее, ни после, я не видал председателя, который бы так умело и с таким авторитетом руководил собранием, где температура настроения возрастала с каждой минутой, поддерживаемая речами ораторов, причем каждый последующий из них, быть может бессознательно, все выше и выше подымал ноту.

В эту-то накаленную атмосферу вдруг является представитель полиции и в категорической форме, ссылаясь на распоряжение высшего начальства, требует от собравшихся, чтобы они немедленно разошлись. Для подкрепления этого требования вооруженный отряд расположился вблизи дома Вольного экономического общества. В эту критическую минуту В. А. Мякотин мастерски сумел поставить представителя полицейской власти в надлежащие рамки и в то же время удержать собрание от каких-нибудь эксцессов. После некоторых переговоров кончилось тем, что и полицейский чин благополучно удалился, и собрание не менее благополучно продолжало свое заседание и довело его до конца.

Практической задачей, ради чего собрались, был вопрос о немедленной и полной амнистии. В этих видах было внесено предложение избрать депутацию к председателю совета министров. Но сказывалось и другое, более радикальное течение, которое не находило уместным вступать в какие-нибудь переговоры с представителями власти; однако никакого конкретного предложения с этой стороны не было заявлено. Потому около одиннадцати часов была избрана депутация к Витте; в состав ее вошли: Вик. Ант. Плансон, Ф. Из. Родичев, Г. А. Фальборк, Л. Ю. Явейн и я.

Было уже за половину двенадцатого часа, когда мы добрались до Витте, — он тогда еще жил в своем доме на Каменноостровском проспекте. Несмотря на позднее время, мы были сейчас же приняты. Извинившись, что вышел к нам в халате, Витте затем проговорил:

— Уже отдано распоряжение, чтобы полиция не препятствовала продолжению вашего собрания; но почему вы, господа, предварительно, как того требует закон, не сообщили о нем полиции?

— Даже с точки зрения закона о собраниях, — возразил Ф. Из. Родичев, — не говоря уже о манифесте семнадцатого октября, мы не обязаны были уведомлять полицию, раз собрание состоялось по именным повесткам.

По предварительному между нами соглашению оратором от депутации должен был выступить В. А. Плансон. Но едва он успел проговорить, что цель депутации не вопрос о собрании, а поручение от собрания насчет необходимости немедленного провозглашения полной амнистии, как Витте прервал его и повел длинную речь об общем положении, а больше всего о разнузданности и анархии, которые царят в Петербурге.

— То, что теперь происходит на улицах Петербурга, — сказал Витте, — нигде не мыслимо, даже Рузевельт не дозволил бы ничего подобного в Америке.

Не зная, как долго будет ораторствовать Витте, и вместе с тем соображая то нетерпение, с которым собрание ожидает результата наших переговоров, я наконец решил остановить неудержимый поток Витте.

— Извините, граф, что, будучи у вас в первый раз, беру на себя смелость прервать вас. Позвольте просить вас дать нашему товарищу докончить, что он имеет вам

сказать, а затем мы с полным вниманием готовы вас выслушать.

Витте сейчас же остановился. В. А. Плансон в сжатых, но хорошо выраженных словах изложил существо миссии, которая была на нас возложена собранием. Когда он кончил, я взял слово:

— В городе циркулируют слухи, что якобы правительство предполагает дать амнистию, но хочет приурочить ее к какому-то высокоторжественному дню. Позвольте, граф, обратить ваше внимание, что теперь не такое время, чтобы обнародование государственного акта исключительной важности можно было откладывать до подходящей календарной даты.

— О нет, — возразил Витте, — ничего подобного.

— И еще скажу, — продолжал я, — даже с точки зрения интересов самого правительства в настоящий момент политический преступник несравненно более опасен в тюрьме, чем на свободе.

Кажется, Ф. И. Родичев указал Витте на разительное противоречие: с одной стороны, провозглашаются всякие свободы, а с другой — остаются в тюрьмах и ссылке те люди, вся вина которых только в том и заключалась, что они все свои силы отдали на борьбу за эти свободы.

Витте не дал определенного ответа, не сказал, что вопрос об амнистии уже решен в том или другом направлении, он только, как бы мимоходом, проговорил:

— Сегодня в заседании совета министров обсуждался вопрос об амнистии. Одни находили ее желательной, другие даже необходимой; однако встречаются еще технические затруднения, которые надо вырешить. Завтра вопрос об амнистии будет вновь обсуждаться.

Этот неопределенный ответ вызвал меня на замечание:

— Граф, я старше по летам всех моих товарищей и в то же время менее всех принимаю участие в текущей жизни; простите, но я откровенно скажу, — ваш ответ совсем убил меня.

— Очень жаль, — ответил Витте.

В течение нашей беседы Витте не раз выдвигал, что нужно иметь доверие к правительству и его намерениям. На это было ему замечено Родичевым, что в обществе широко распространено сомнение насчет устойчивости

самого акта 17 октября, все опасаются, что бюрократия при реализации провозглашенных начал постарается свести их к нулю. Тут Витте, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Могу вас уверить, господа, что... государь разрешил вопрос о форме правления для себя и для народа бесповоротно. Отныне самодержавия в России нет и больше быть не может [1].

— Вы говорите, граф, — отозвался на эти слова Ф. Из. Родичев, — имейте доверие. Да как же нам верить, когда, например, полиция отбирала у крестьян речь государя, обращенную к депутации 6 июня, и речь Трубецкого, несмотря на уполномочие государя повторить всем и каждому его слова...

Витте не дал договорить Ф. Из. Родичеву.

— Верю, верю, это так правдоподобно, что нельзя не верить.

Не помню, кем было указано на несовместимость манифеста 17 октября и одновременного существования диктатуры генерала Трепова.

— Общество совершенно несправедливо в отношении генерала Трепова, — с живостью возразил Витте, — генерал Трепов во всех советах всегда поддерживает самые либеральные начала и меры. Впрочем... — И тут Витте взял со стола какое-то письмо и прочел его нам. То было письмо генерала Трепова, в котором он (помнится, ссылаясь на свою «непопулярность») просил об увольнении его от обязанностей генерал-губернатора и заведования полицией.

Отставка Трепова состоялась, однако, не тотчас, и он еще успел издать свой знаменитый приказ с словами «патронов не жалеть». Трепов, как известно, занял пост дворцового коменданта, что сохраняло за ним возможность самого широкого влияния в области внутренней политики.

Перед самым нашим уходом Витте еще раз повторил о необходимости иметь доверие к правительству.

— Граф, — отвечал ему Ф. Из. Родичев, — дайте же нам возможность верить.

---

[1] Эти слова Витте были уже напечатаны за подписью всех пяти лиц, участвовавших в депутации, в «Молве» 7 января 1906 г. (*Прим. Л. Ф. Пантелеева.*)

Несколько недоумевающим тоном Витте отозвался:

— Как же я могу дать вам веру?

Высочайший указ об амнистии состоялся 21 октября. Амнистия явилась с довольно существенными ограничениями.

Спустя некоторое время, должно быть в январе 1906 г., в «Новом времени» появилось интервью с Витте. В нем передавались, между прочим, такие слова Витте: «Государь император и до сих пор остается царем с неограниченной властью», «манифест 17 октября ничего нового в основные законы не внес» и «государь император по-прежнему остается владыкой самодержавным». Витте никакого гласного возражения против неверной, по меньшей мере неточной, передачи его слов в «Новом времени» не заявил. Так за короткое время радикально изменились его взгляды на существо государственного акта, столь тесно связанного с его именем. Вернее сказать, тут проявилась присущая Витте способность быстро приспособляться к изменившимся условиям, — способность, в конце концов доведшая его до ухаживания за Распутиным.

В начале мая 1906 г. я был на заседании Государственного совета. Во время перерыва в кулуарах показалась грузная фигура Витте; он заметил меня, подошел и поздоровался.

— Что это вы с палочкой?

— Да я недавно сломал ногу и пока из предосторожности не оставляю палочку.

— В ваши годы надо быть осторожнее, — заметил Витте.

Я спросил его, будет ли он сегодня говорить, — на очереди стоял вопрос об амнистии.

— Право, не знаю, я еще не решил.

Однако он выступил и произнес крайне двусмысленную речь.

Больше с Витте я не встречался.



С. В. Пантелеева, урожд. Латкина. Фотография 60-х гг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

С. В. ПАНТЕЛЕЕВА

ИЗ ПЕРЕЖИТОГО В ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

С той поры прошло сорок семь лет, но таково свойство старческой памяти, что воспоминания из давно прошедших времен ярче и живее, чем о совершившемся несколько лет тому назад.

Не вступая в оценку фактов и дел, не касавшихся меня лично, я только некоторыми штрихами отмечу пережитое мною с 1864 по 1870 г. Старые друзья не раз говорили мне, чтобы я записала то, что помню об этом времени. Будет ли это «за упокой» давно прошедшему? Современное отличается ли от старого более сгущенною краскою?

В 1864 г. мне едва исполнилось восемнадцать лет; чрезвычайно подвижная, впечатлительная, избалованная, по складу я была почти ребенком, хотя недели через две и ожидала появления на свет своего ребенка. В памятную ночь на 11 декабря я слышала сквозь сон, как горничная разбудила мужа, как он тихо оделся и куда-то ушел, и я подумала: «Верно, что-нибудь в типографии», — но скоро пробудил полушепот мужа:

— Встань, мой друг, сюда придут.

— ?!

— В доме делается обыск.

Я спешно оделась, вышла. Наша квартира была полна жандармами, собиравшимися проникнуть и в спальню, чтобы все перешарить. Уже книги, письма, деловые бумаги, фотографические карточки грудою были свалены в бельевые корзины, жандармы их завязали и

увезли, увезли и мужа, сказавшего мне на прощанье: «Не тревожься, это пустяки; я скоро вернусь». Однако он не вернулся, а под вечер явился из III Отделения жандармский офицер с запискою от мужа, чтобы я вручила подателю: «белье, все папиросы и все сигары».

Наша приятельница, одна из первых пионерок Петербургского университета, М. А. Богданова-Быкова, жившая с нами (мы жили в доме, где помещалось книгоиздательство и типография Тиблена, которою муж управлял), с утра побывала у моего отца, сообщила о погроме, а отец съездил в III Отделение, оттуда ко мне, успокаивая, что все пустяки — формализм каких-то справок. Он скрывал от меня правду, опасаясь, что страшная весть может убить меня и ребенка. Но отцу, конечно, не удалось скрыть того, о чем уже знали все. Через несколько дней на улице я встретила одного товарища мужа по университету, В. И. Модестова, который, услышав от меня, что из III Отделения все еще нет вестей, с удивлением воскликнул:

— Как, разве вы не знаете, что в тот же день его препроводили в Вильно?!

— В Вильно! — и я пошатнулась: ведь в Вильно был тот страшный, беспощадный зверь с физиономией бульдога, Муравьев-вешатель... Мне уже почудился в рядах расстрелянных, повешенных облик моего двадцатичетырехлетнего мужа... Моя молодая голова мутилась, ноги подкашивались, но, собрав всю свою энергию, я бегом бросилась домой, чтобы сейчас же отправиться в Вильно. На лестнице передо мною поднималась высокая фигура моего отца, которому я крикнула:

— Ты скрывал — он в Вильно! — и, догнав отца, пристально посмотрела ему в лицо; он страшно побледнел и бормотал:

— Какой дурак сообщил тебе такую чепуху!

Но я убедилась, что это не чепуха, и, войдя в квартиру, вытащила саквояж, начав торопливо укладывать дорожные вещи.

— Куда ты?!

— В Вильно.

Совсем растерявшийся отец только сказал:

— Безумная, ведь ты погубишь не только себя!

Как раз в это время из прихожей в столовую вошел гость, худой, высокий, сутулый, в вицмундире мини-

стерства народного просвещения, в очках, с портфелем.

— Владислав Юлианович, подумайте, она собралась в Вильно! Какое безумие! — проговорил отец, обращаясь к вошедшему.

Завязав торопливо ленты шляпы у подбородка, схватив сак, я уже направилась к двери, но гость подошел и, спокойно протирая очки, внимательно поглядев прищуренными близорукими глазами, сказал:

— Если бы вы взяли себя хоть немного в руки, вы не решились бы на то, что назовете впоследствии поступком «кисейных».

В 60-х гг. «кисейная барышня или барыня» были терминами презрения для передовой женской молодежи, подразумевая поверхностных, светских и неразвитых женщин. Я невольно приостановилась, пораженная невероятными словами моего величайшего друга В. Ю. <Хорошевского>, а он продолжал, вероятно довольный тем, что смог приостановить меня:

— В вагоне, по дороге в Вильно, с вами может случиться катастрофа, вы можете умереть или превратитесь в калеку. А кто же, позвольте спросить, в нужную минуту будет заботиться, хлопотать о вашем муже? Только жена, мать, сестра могут это делать. У нас, в Польше, только женщины ходатайствуют об облегчении участи приговоренных, вырывают их из...

— Он уже, может быть, повешен скорым судом Муравьева... — едва могла выговорить я: что-то сжимало мне горло.

— Да ведь следствие не закончено! Отец ваш дважды съездил в Вильно. Все, что касалось Вильно, скрывали от вас просто потому, чтобы не волновать в такое время, когда волнения вам вредны. Поездкою в Вильно вы ничего не добьетесь!

— Что же делать, что делать!

— Дайте бумагу большого формата; я напишу прошение о разрешении вам переписки с мужем, а вы перепишите. Обратимся к Потапову, — у него жена полька. Ведь дни Муравьева в Вильне сочтены. Все говорят об его отставке.

Машинально, как во сне, брала я бумагу, переписывала прошение, сочиненное товарищем моего мужа по университету В. Ю. Хорошевским, который в те вре-

мена горячо разделял стремления передовых людей 60-х гг.

Через несколько дней у меня благополучно родилась дочь, а в январе разрешена была переписка из виленской тюрьмы, устроенной в упраздненном монастыре доминиканов. Помню один из курьезов строгостей тогдашней тюремной цензуры писем. Дело вышло из-за беспокойства мужа о моем здоровье: он узнал, что мне прописано железо, но, зная мою беспечность, просил в письме «не забывать железные пилюли». Последняя фраза создала целую историю. В камеру тюрьмы к мужу явился член следственной комиссии, резко заявив: «Если вы будете позволять себе в письмах «двусмысленности», то вам запретят переписку с женою». Понять трудно, что такое померещилось членам виленской военно-судной комиссии в моих безобидных железных пилюлях!

Многое тогда грезилось виленским бюрократам 60-х гг. Их, конечно, увлекало служебное рвение, но настолько свыше разума, что оно превращалось в какой-то фарс. Что касается виленских гражданских чинов, то виленские летописи богаты повествованиями о чрезмерных жертвах Бахусу новых чиновников, привозимых с бору да с сосенки, заново обмундированных и пропивавших все, вплоть до вицмундиров, что приводило к необходимости частых смен не только мундиров, но и носителей оных.

Фарс, однако, примешивался к средневековой инквизиции. Трудно себе представить, что могло твориться в ужасных виленских застенках, если при допросах политических официально допускались розги, палки и опрос превращался в настоящую инквизицию. Исключение делалось для дворян, но поручик Гогель, член военно-судной комиссии, «сожалел, что к дворянам не дозволено применять физическую пытку и приходится ограничиваться лишь нравственными пытками». К числу нравственных воздействий причисляли восемнадцатичасовые собеседования без перерыва, но с последующими перерывами ночного сна для новых собеседований со следователями. Немалую роль играли всякого рода застращивания.

Несколько позже, на свиданиях в Вильно, муж рассказывал мне, что во время следствия ему грозили привлечь меня для допроса в Вильно, хотя бы с постели,

больную, угрожали, что засадят тестя, тещу, хотя последние не ясно понимали, за что это людей тащат в Вильно.

Однажды, когда его привели на очную ставку, он увидел на оконце шиншилловую муфту и синий шелковый капор — точь-в-точь мои. «Неужели они исполнили угрозу?» — думалось ему. Это и другое обстоятельство мучили его, но он всего более боялся, как бы веки глаз не повело у него знакомою ему судорожною дрожью...

По-видимому, он не изменил себе и видом своих душевных страданий не доставил удовольствия застеночным палачам.

В мае, когда разрешили свидания, я уехала с отцом в Вильно, где впервые увидела мужа среди гирлянды фиалковых мундиров. Муж, бледный, исхудалый, наружно казался спокойным. После первых объятий нас охватило ощущение невыносимой неловкости ввиду устремленных на нас испытывающих взглядов господ, рассевшихся между нами, вокруг стола. Такое sans façons[1] компании «читающих в сердцах фиалок» крайне поразило меня по моей неопытности. Мне очень хотелось отвернуться от них к заплесневелой стене доминиканов, и, в полнейшем отчаянии, опустив глаза на кирпичный пол, я думала: «Первое наше свидание, после бесконечных, мучительных шести месяцев разлуки... и так... осквернено!»

Отец, более спокойный, пробовал заговорить о том, о сем, но все не клеилось, и, уж не зная, что сказать, сообщал мужу о своей привычке зимою и летом купаться в холодной воде, но купальни на реке Вилие невероятно грязны. В последней фразе усмотрели какое-то иносказание, и мужу было объявлено, что свидания прекратятся, если тесть позволит себе говорить «двусмысленности».

Этой загадки мой покойный отец так и не смог разгадать, не будучи способен проникнуть в неизмеримую глубину премудрости виленской следственной комиссии.

Возвратясь в Петербург, отец прислал ко мне в Вильно малютку с кормилицей. Муж к осени переведен был в другую тюрьму, в упраздненном монастыре босачек, где свидания происходили за перегородкою

---

[1] Бесцеремонность *(франц.)*.

помещения нижних жандармских чинов, вроде большого чулана с окном. Тут прескверно воняло махоркою и всякою дрянью, причем жандармы бесцеремонно входили, доставая какие-нибудь вещи.

Вдруг свидания оборвались без объяснения причин. Сильно встревоженная, я отправилась к председателю следственной комиссии, полковнику Лосеву, прося его хоть объяснить, почему запрещены свидания, здоров ли муж, что с ним делают... И, совершенно измученная всевозможными сомнениями, опасениями, бессонными ночами, я не могла сдержать слез в присутствии Лосева. Толстый полковник, только пыхтевший, как самовар, когда я вошла, не захотел объясняться.

В Вильно я жила в одноэтажном каменном домике с палисадником, недалеко от берега реки Вилии. Дом принадлежал семье Родзевич. Сам Л. Родзевич был тогда под арестом и некоторое время сидел в одной тюремной камере с моим мужем по окончании допросов и следствия. Я познакомилась с г-жой Родзевич, кажется, благодаря тюремному доктору Фавелину, и наняла у нее комнату с обедом, так как в гостинице было очень неудобно с ребенком и кормилицей. Чрезвычайно тогда шумная виленская гостиница не давала покоя ни днем ни ночью от хлопанья дверьми, от громких разговоров в коридорах. Кормилица страдала от пищи, приносимой ей в комнату. Я обедала за общим столом, и недалеко от меня усаживались всегда многие члены следственной комиссии. Между ними был и франтовый, стройный брюнет, поручик Гогель, вышеупомянутый любитель экспериментов. Признаться сказать, такое украшение обеденного стола не возбуждало у меня особенного аппетита к подаваемым яствам.

У Родзевич было тихо, несмотря на множество детей всех возрастов. Чуткие душою дети как-то притихли во время общего горя. Сама Родзевич, вечно озабоченная, измученная всевозможными хлопотами, жила, как все польки того времени, в бесконечном страхе перед судом Муравьева, всецело поглощенная мыслями о заточенном в каменном ящике. Три раза в неделю давались свидания; когда же они внезапно прерывались без объяснения причин, у нас разыгрывалось воображение в крайне пессимистическом направлении, словно наши мужья были на краю могилы.

В нормальные промежуточные дни я просто не знала, куда деваться. Впервые оторванная от родных, знакомых, от привычных занятий, особенно музыкой, я жила в непривычной обстановке, в одной комнате с кормилицей. Тут трудно было даже читать. Я знала, что бедная женщина начала страдать тоскою по родине, но в те времена я не имела понятия, что это своего рода психическая болезнь. Бывало, слышу — вздыхает, ворчит, стараюсь как могу утешить, иногда посмеюсь над ней. Кроме меня, ей не с кем было слова перемолвить по-русски. И ночью в бессонницу слышала ее всхлипыванье или нетерпеливое бормотанье насчет «нехристей, куда ее судьба горькая закинула». Я ее успокаивала, что скоро мы уедем, покупала ей разные пустячки и лакомство. Дурное настроение кормилицы отражалось и на ребенке. За тонкой деревянной стенкой тоже иногда слышались вздохи, похожие на плач. Повсюду на улицах, в магазинах мы встречали мрачные, озлобленные лица и нередко дерзкий ответ на вопрос по-русски. Среди всего этого и во мне подчас начинало шевелиться бессознательное суеверное чувство: уж не тут ли и наш конец. Муравьева уже не было, но дух его еще витал.

В один из таких промежуточных дней Родзевич забрала старших детей и поехала со мною в окрестности Вильны, в Верки, знаменитое своей живописностью имение Витгенштейна. Ее муж до ареста служил в администрации над имениями князей Витгенштейнов.

Покинув кошмарный город, мы очутились в чудный солнечный день в ароматных литовских лесах, где сквозь листву мелькали пробегающие серны, а с холмов открывались красивые виды с синеющими рощами, серебристыми прудками. Дети развеселились, оживленно бегали, щебетали, вторя птицам, а мы смотрели на эти беспечные раскрасневшиеся лица, сияющие глаза и молча быстро шли за детьми по мягким лесным тропинкам.

Приблизился вечер, пора назад в Вильно, а завтра в грязную, старую, промозглую тюрьму к бледнолицым, измученным мужьям... Мы набрали им полевых цветов...

Так невероятно медленно тянулось время, и вот вторая зима. Наконец в декабре кончился суд и наступил день конфирмации в цитадели. В этот день, рано утром, я должна была выйти на дорогу, которая вела из цитадели в пересыльную тюрьму, чтобы увидать процессию

приговоренных в новом облачении: в кандалах, с желтыми тузами на спинах. Только мне не привелось выйти на дорогу, потому что в эту ночь случилась у меня большая тревога. Заболевшая тифом мамка металась и в бреду собиралась «удушить дитя», а оно тоже неистово кричало и металось.

Ранним утром, совершенно измученная, я попросила квартирную хозяйку повозиться с моим годовым ребенком, а сама объездила все больницы в поисках, где бы приютить тифозную, но куда я ни обращалась, всюду двери закрывались передо мною, как только заслышат мою русскую речь. По-польски я говорить не умела, по-французски не понимали. Свою ненависть ко всему русскому поляки и литвины, конечно, проявляли где могли. Наконец выручил меня военный врач Фавелин, числившийся при штабе и тюрьме. Он развязал мне руки, устроив мамку в тифозной лечебнице.

Уже вечерело, когда я попала в пересыльную тюрьму и тут впервые увидела энергическую фигуру Огрызко, которому выпала на долю (если не ошибаюсь) двадцатилетняя каторга. Они все находились в общем помещении, у всех головы были почти выбритые. Тут я узнала, что их переправляют на следующий день товарным поездом через Петербург, но Огрызко отдельно — на Москву, минуя Петербург. Огрызко просил меня поскорее лично известить его петербургских друзей, чтобы они повлияли на его задержку в Петербурге, надеясь на возможность нового следствия и кассирования ужасающего виленского приговора.

Наскоро уложившись, я тотчас уехала в Петербург и в этом поезде вторую ночь промаялась с девочкой, которая билась и кричала как исступленная, а я никак не умела успокоить ее.

Но вот я у петербургского вокзала; в окно вагона просунулась совершенно поседевшая за этот год львиная голова моего отца.

— Ну, что?

— Шесть лет каторги.

Седая голова молча поникла.

Наш кучер Григорий лихо подкатил к подъезду дома, где окна всей квартиры горели в огнях. То был канун Нового года, рожденный день отца, а в самый Новый год его именины — обычные большие торжества в нашей

семье. Поднесла я бедняге подарки! Сдав ребенка бабушке, я торопилась исполнить поручение Огрызко и немедленно уехала разыскивать его друзей. Но я никого из них не застала дома, и прислуга не знала или не хотела сказать, где их искать. Адресаты были холостяками и где-то в чужих гнездах встречали Новый год.

Утром, в темноте зимнего шестого часа, мы приехали на варшавский вокзал. Мои родители, некоторые из моих родственников и друзья мужа, прибывшие встречать его, упросили стражу привести его на несколько минут в общий зал. Когда он вошел и снял серую шапку каторжника с наушниками, мать невольно ахнула, едва узнав его лицо, до того оно исхудало, словно после тяжкой, долгой болезни.

Совсем рассвело, когда их повели в пересыльную тюрьму, а кареты и сани с друзьями и родными двигались некоторое время шагом, рядом с ними, шедшими под конвоем. В карете моя мать закрылась платком — кажется, плакала, отец отвернулся к противоположному окну, а я высунулась до половины и не могла оторвать глаз от рядов каторжан, и мне казалось, что только отец, мать и эта карета мешают мне идти «с ними» рядом, хотя, вероятно, я походила несколько на вспугнутого птенца. Незнакомый мне тогда М. А. Коссовский, шедший в ряду с краю, стал мне весело улыбаться из-под нелепой шапки с наушниками. Он приплясывал на ходу, словно согревая ноги на ходьбе, и встряхивал за плечами серый холщовый мешок с бельем. Даже желтый туз на его спине не смотрел так трагически-уныло...

В петербургской пересыльной тюрьме М. А. Коссовский своим деланым или настоящим юмором как-то подбадривал сидящих, да и посетителей. В те времена в пересыльную тюрьму допускали решительно всех, желавших навестить ссыльных, и тюремная приемная превращалась в раут. После декабристов и петрашевцев через Петербург пересылались только поляки-повстанцы, и лишь постепенно массовые высылки превратились в обыденное существование граждан.

В ожидании летнего, более легкого пути в Сибирь, под предлогом болезни, муж был устроен в больнице при рабочем доме. В общей палате находились и другие такие же выжидающие, а также и действительно больные поляки. Был тут даже помешанный доктор Горнич,

вечно слонявшийся вдоль стены с жалобным причитанием: «Jesus Maria, Jesus Maria», а заканчивал ругательствами.

4 апреля 1866 г. грянул каракозовский выстрел, а 16 апреля приговоренным по польскому делу сделаны были облегчения, так что и мужу шестилетняя каторга должна была замениться ссылкою на поселение. Только мне в III Отделении отвечали: «Ничего не будет», или: «Там, на месте, может быть, применят». Паника и вместе озлобление чувствовались на каждом шагу.

Итак, вопреки высочайшему указу, мужа отправляли на каторгу!

Отправлялись мы в Восточную Сибирь не этапным порядком, а на свой счет, уплачивая за весь путь жандармов туда и обратно. Чтобы иметь возможность взять с собою няню для ребенка, то есть нуждаясь в третьем свободном месте в тарантасе, я начала хлопоты о назначении лишь одного жандарма вместо двух. Я подала прошение. Вышел ко мне шеф жандармов, граф П. А. Шувалов, представительный мужчина, белый, румяный, упитанный, с черными усиками, глаза как коринка. Высокомерно и злобно, совсем по-фельдфебельски, он отчеканил: «Роты мало для такого нераскаянного преступника!..»

Я с изумлением поглядела на это лицо, похожее на свежевыкрашенную куклу, разыгрывающее почему-то передо мной суд грозного Юпитера. Много пережила я тревог за время заключения мужа в Вильно, при муравьевском режиме, потом во время военного суда, но даже в Вильно никто так не выпаливал.

Пришлось оставить в Петербурге, к удовольствию бабушки, ее внучку. Без няни в дороге я не сумела бы справиться с ребенком. Моя мать, беспокоясь за меня и за мою дочь, пыталась отговорить меня от следования в Сибирь за мужем, но наконец сказала: «По-видимому, у тебя нет другого света, кроме Сибири, но для чего же ребенка невинного терзать!»

В мае 1866 г. нам приходилось отправиться в далекий лошадный тогда путь. Железная дорога существовала только до Нижнего-Новгорода. Мой отец, отсрочивая минуты разлуки со мною, решил проводить меня до Казани на пароходе.

Совсем готовые к отъезду, одетые по-дорожному, мы присели на минутку, как это водилось в нашей пат-

риархальной семье перед разлукой. Посидев, помолчав, разом поднялись, перекрестились и стали прощаться. Мать, плача, крестила меня; поднесли прощаться дочурку, весело рассмеявшуюся, наказывая мне: «Мама, Оле бомбос».

В Нижнем с железной дороги пересели на пароход, а около Казани жандармы внезапно сделали заявление о неразрешении мне дальнейшего следования. Отцу пришлось найти способ, чтобы вразумить жандармского унтера и рядового о правах жен следовать в каторгу за мужьями. Настал и час вечной разлуки с отцом, — он уплывал вверх по Волге, а наш путь лежал по Каме на Пермь. Все дальше и дальше в страшное, в неизвестное...

Я обещала отцу, что поднимусь на пароходный мостик, махну платком в последний раз — на прощанье. Но я не смогла подняться на мостик, а спряталась в каюту, чтобы отец не увидел с своего парохода, как далеко я не на высоте положения, невыносимо страдая, корчась от рыданий. Я чуяла, что не увижу его. Позже он писал мне в Сибирь, спрашивая: «Почему не поднялась на мостик махнуть платком в последний раз?»

Я никогда более не увидела этого талантливого, самобытного человека, моего лучшего друга.

С Перми началось утомительнейшее путешествие с жандармами на переднем сиденье в тарантасе, так что нельзя было протянуть ног для сна ночью. Жандармы ни разу не позволили остановиться для ночлега или передышки, ссылаясь на строгое предписание. И мы скакали, скакали день и ночь, лишь меняя ямщиков и лошадей, едва закусывая во время перемен лошадей.

Я совсем расхворалась в дороге, жар, боли, и на станции городка Кунгур пришлось призвать доктора, прописавшего лекарства, ванну, спокойное лежанье и прочие невозможности. Жандармы не допустили к нам ссыльных поляков, желавших нас повидать, ни за что не хотели останавливаться и, посоветовавшись между собою, объявили, что не препятствуют мне лежать на станции, но мужа повезут дальше — «останавливаться им не приказано». Ну и я, конечно, объявила, что поеду дальше. Ямщик поднял меня, как ребенка, и посадил в тарантас. Только доктор, увидев, что оба жандарма усаживаются на лавочку против меня в тарантасе, не на шутку рассердился, пригрозил жалобою на истязание, если только

один из жандармов не пересядет на козлы к ямщику и не даст больной протянуть ног.

Молодость черпает силы из самой себя, и я поправилась в дороге без всяких лекарств и несмотря на бешеную скачку. Так мы доехали до Тобольска, где мужа водворили в пересыльную тюрьму, а я заняла в гостинице номер, дверь которого выходила в бильярдную, причем в дверном замке не имелось ни ключа, ни задвижки, а других номеров не оказывалось, по уверению грязного полового. С вечера в бильярдной начался шум, гам, пьяные голоса, и я со страха забаррикадировала дверь комодом, нагромоздила на него стулья и придвинула стол.

В Тобольске губернатором тогда был поляк А. И. Деспот-Зенович, знакомый моего отца. Наездом в Петербург он бывал и обедал у него. Конечно, я привезла ему письмо от отца, и Деспот-Зенович сообщил мне, что при жандармах не оказалось обычных бумаг — по какому делу осужден препровождаемый. Он прибавил, что вынужден отправить официальный запрос в Вильно, наместнику Западного края Кауфману, иначе нет возможности применить те облегчения, на которые муж имел право, то есть замену каторги бессрочною ссылкою с лишением прав.

Пришлось дожидаться ответа из Вильно. Положение А. И. Деспота-Зеновича как поляка было далеко не из легких, доносы сыпались на него в Петербург. Он недолго губернаторствовал. Тогда самая обиходная гуманность по отношению к пересылаемым соотечественникам вменялась ему как «попустительство» тобольскими блюстителями. Многие рассказывали, да и сама я видела, как подчас приходилось лавировать этому тобольскому губернатору: грозно возвышался его громкий голос, строго сводились густые, темные брови, но стоило отвернуться испытующим, назойливым тобольским ищейкам, как глаза Александра Ивановича мгновенно уже приветливо смотрели на людей. Вскоре после нашего отъезда из Тобольска его чуть не привлекли к ответственности.

На следующее утро в гостиницу ко мне явилась маленькая добродушная старушка, седая, в чепце, с двумя буклями на висках. Она объяснялась наполовину по-польски, наполовину по-русски, сообщая о получении письма от сыновей из Петербурга, поручавших ей ока-

зать мне всевозможную помощь. То же писала ей дочь — г-жа Родзевич — из Вильно. Я несколько изумлялась, никогда не слыхав в Петербурге фамилии ее сыновей. Старушка упросила меня переехать к ней на житье, потому что такой молоденькой женщине неприлично останавливаться в гостинице, похожей на «кабак». Она не только настояла на моем переселении, но даже устроила меня в своей спальне, заставив своего старика перекочевать в столовую.

Эти сосланные старички Ямонт с двумя дочерьми, печальными, бледными девушками, приняли меня, чужую, словно свою близкую, родную, а незадолго перед тем они совершенно отреклись от одного из своих сыновей (высланного административным порядком без лишения прав), который по легкомыслию был причиною каких-то арестов.

По вечерам у них нередко собиралось тобольское польское общество; молодежь пела. Здесь и в других сибирских городах я впервые услышала чудные польские и литовские народные песни, то грустные, мелодичные, то веселые или боевые, полные огня, жизни. Произведения Шопена и Монюшко, в которых как бы воплотилось народное творчество, сменялись гимнами и песнями времен повстанья.

Недели через две пришел ответ наместника из Вильно, и А. И. Деспот-Зенович мог скинуть с плеч мужа шестилетнюю каторгу.

Далее, в Восточную Сибирь, он отправлялся в качестве поселенца, лишенного прав. Распростясь и на память обменявшись портретами с гостеприимными старичками, мы поплыли по Оби к Томску. Наш пароход тянул баржу с уголовными и теми политическими, для которых не хватало мест на пароходе. Кроме нас, других русских тут не было, — тогда пересылались только поляки, литвины, евреи; некоторые отправлялись в ссылку с женами, дочерьми. Особенно мне памятен славный старый доктор Новицкий, литвин, идеалист и романтик, с громадною седою бородою, то кроткими, то сверкающими синими глазами.

Плавание предстояло продолжительное, вверх по течению реки приходилось тащить баржу нашему слабосильному пароходику. Книг у нас было мало, газет давным-давно не видели. Со скуки муж играл с докто-

ром в шахматы, в пикет. К пароходу подплывали остяцкие лодки с рыбою, дичью, лесной ягодой. Мы сами закупали всю провизию у остяков, а также во время остановок парохода в городках, как Нарым, Сургут, где мы свободно ходили без всякого конвоя. Наше общее хозяйство вела опытная в кулинарном деле пани (теперь забыла, как звали нашу благодетельницу!). Остальные женщины, — мы по очереди помогали ей в качестве кухонных нижних чинов [1].

У нашей импровизированной поварихи был чудесный контральто, и вечером я подсаживалась к ней на палубе, прося спеть. Особенно захватывала меня одна ее простая польская песня: «О родном крае, который хоть бы раз еще увидеть» («Za tém krajem, jak bu za rajem» [2]).

Неслась песня по пустынной, тихой реке, в глухие леса и тундры, а на грудь ложился все более тяжелый камень...

Почти все окружающие нас были людьми, перевалившими средний возраст, и старики, — то были последние могикане, остатки от повстанья. Польская молодежь давно была перестреляна, перевешана, погибла в боях или же изнывала в рудниках Сибири.

Наконец мы причалили к Томску, существовавшему еще в простоте патриархальных нравов. Водворенные в пересыльную тюрьму политические могли иногда свободно выходить, без конвоя, просто на «честное слово», чтобы вернуться из города вечером в тюрьму к перекличке; так и муж, живя у смотрителя, свободно уходил.

Конечно, теперь уже давно насажденная цивилизация в Томске упразднила патриархальные сибирские нравы и введено высшее развитие системы воздействия.

В Томске меня уже поджидали две совершенно мне незнакомые почтенные польские семьи, тотчас же на пароходной пристани принявшие меня под свое покровительство. Они жили в большой общей квартире, где и поселили меня. Сюда ежедневно приглашался и муж к обеду при угощении на славу польских хозяек. Наши томские хлебосолы были бездетными стариками, заброшенными в чужой край, и смотрели очень тоскливо.

---

[1] Только хлеб мы брали на пароходе. (*Прим. С. В. Пантелеевой.*)

[2] «За тем краем, как за раем» *(польск.)*.

Далее, в Енисейскую губернию пришлось отправиться с целою партиею политических в сопровождении казацкого конвоя. Ехали мы на перекладных тележках, пели, перебрасывались замечаниями, а наш эскорт — добродушные сибирские казаки — не только ни в чем нас не стесняли, но послушно исполняли мои поручения искать огурцы и мед. Вооружены они были столь тупыми шашками, что едва ли можно было разрезать ими те огурцы, которые разыскивали для меня эти стражники на станциях по сибирским деревням.

В Красноярске приходилось перезимовать и до весенней бездорожицы уехать в тайгу, на приисковую службу мужа. Мы остановились, по распоряжению моего отца, в большом доме зятя, уехавшего в Петербург. Неожиданно среди зимы доверенный последнего сообщил о распоряжении зятя закрыть ту часть дома, где мы жили. Совершилось это, конечно, в тайне от моего отца и сестры и мотивировалось многочисленными посещениями нас политическими. Это было не совсем верно: кроме политических, меня посещали все дамы красноярского света, начиная с губернаторши Замятиной.

В провинции среди зимы на короткое время очень трудно найти квартиру, но нас выручил из беды красноярский старожил, добрейший старик, еврей Шпейер. Поняв тайные пружины нашего выселения, он тотчас пригласил нас к себе: «Переселяйтесь ко мне, дети мои!» — и отдал две лучшие комнаты своей небольшой квартиры. Перед нашим отъездом он не только отказался от платы, даже рассердился за намек на вознаграждение. Так же относились к нам и другие незнакомые люди, гостеприимно встречавшие нас во время проезда.

Наступила весна, и мы двинулись в тайгу.

Благодаря запоздавшему распоряжению о выезде в тайгу мы ехали в самую бездорожицу. Лесной проселок был страшно выбит приисковыми обозами, наша кошевка часто опрокидывалась на раскатах и ухабах, и мы выпадали в снег. Ночью муж зажигал спички и терпеливо собирал выпавшие вещи. Однажды он что-то долго искал в снегу и с видимым огорчением сказал: «Эх, пропал последний остаток прежнего величия — хорошие золотые часы!»

Мы продолжали мучиться ночью в кошевке, боясь ночевок в избах таежных зимовьев, кишевших разными

насекомыми. Почти шагом двигались мы по весенней бездорожице все дальше в глубь тайги, сжатые диким лесом, где мне виделись то волки, то медведи.

В обширном лесу, покрывавшем сопки севера Енисейской губернии, за триста верст от Енисейска, в так называемой «дальней тайге», поселились мы на одном из приисков золотопромышленника Н. В. Латкина. Маленькое поселение состояло из казармы для рабочих, амбара, кухни, больнички, конторы и небольших домиков для служащих и управляющего.

Назначенный смотрителем работ у золотопромывательной бочки, муж с рассветом уходил вместе с рабочими в разрез, возвращался домой к обеду, в полдень, и опять уходил до заката. Без праздников, целые дни, недели и месяцы, как прикованный, находился он у бочки. В самом разрезе были другие надзиратели за рабочими, снимавшими верхние и золотоносные пласты. Тут нередко приходилось работать в воде, дробить промерзлую землю тяжелой сибирской балдой, кайлой и ломом. Работали бывшие каторжане, ссыльные из уголовных или отбившиеся от земли крестьяне. К закату солнца все были измучены. Среди рабочих больше всего было больных ревматизмом, цингою.

«Ложись в приисковую больницу, когда совсем невмочь!» Но на нашем прииске в больнице не было ни постоянного доктора, ни фельдшера. Доктор наезжал раз в месяц или реже, фельдшер жил на другом прииске. Всего больше болели цингою рабочие, являвшиеся в феврале, а также оставшиеся на зимовку. Весною их лечили, «выгоняя на черемшу» — род чеснока. Когда весеннее солнце обогревало холмы, появлялась на них черемша, туда отправляли цинготных, и они быстро поправлялись.

Встречаясь на пустынной дороге с теми, которых еще недавно звали «клеймеными», мне никогда и в голову не приходило, что от орудий вроде балды в их руках трещали черепа.

Три четверти населения прииска состояло из уголовных, и все обходилось благополучно. Усталые «несчастненькие», как их называли в России (в Сибири не было сентиментальной жалостливости), понуро обгоняли меня, не снимая шапок. Ломанье шапок и не в обычае сибирских крестьян, не знавших крепостного права, не знав-

ших барина с арапником, которому надо отдавать за это честь.

В хмурую погоду в нашей убогой комнате делалось совсем темно, лес словно надвигался, ветер среди гробовой тишины трепал бесшумно сосны и ели. Меня охватывала такая жуткая тоска, что я, торопливо кутаясь в шаль, уходила в разрез к мужу. По дороге, бывало, никого не встретишь, не услышишь ни одной певчей птицы. Тут не было и могучих, больших деревьев, всё какие-то недоросли. За сопками чувствовалась смерть бесконечных болот мертвой тундры, до самого Ледовитого моря.

Раз, направляясь в разрез, я услышала голоса рабочих, шедших в больничку. Один жаловался, что «грыжа донимает... от проклятой работы кишки сорвались... фершал все равно не поправит». Другой оживленно ругал, по заслугам, экономного хозяина за червивое соленое мясо: «Черви во щах так и плавают».

И мы ели то же червивое соленое мясо, но повар, готовивший обед для всех служащих, если только не был пьян, вылавливал червей, а стряпуха для рабочих в такие тонкости не входила.

На весь прииск имелась одна тощая корова, и на нашу долю доставалось всего стакана два. Мне, как любительнице творога, муж как-то ухитрялся приготовлять творог.

Не до песен было на прииске, но как-то плотник запел песню уголовных, — я его попросила зайти, чтобы записать слова песни.

— А водочкой угостите? — пробормотал он.

— Водки нет, а есть пирог.

Он промолчал и не пришел.

Через год, когда мы жили на другом прииске, мне удалось записать эту песню. Я недавно нашла ее в своей ветхой памятной книжке с выцветшими чернилами:

«Песня гражданских ссыльных» со слов приискового рабочего, сосланного за гражданское преступление. Тайга. Петропавловский прииск. 1868 год.

Кто в Сибири не бывал,
Тот и горя не знавал,
А мы были, побывали
И всё горе узнали:
И хóлода и гóлода,
Великие нужды.

Из двора мы выезжали
Полными возами,
Ко Казани подъезжали
С горькими слезами.
Из Казани до Тобола —
Великие версты!
Признобили мы, невольнички,
У рук, у ног персты,
Считаючи те версты.
Как к Тоболу подходили,
На горку нас взводили.
На той крутенькой на горке
Стояли палаты,
А во тех-то во палатах
Удалой сидел молодчик,
Разудаленький молодчик.
Генерал же тут Чечилкин
Вынимает, вор-собака,
Перо и бумагу.
Назначает, вор-собака,
Всем разну работу:
Кому каменну, кирпичну,
Кому земляную.
Получили мы, ребята,
Кайлы и лопаты.
Как кайлами, лопатами
Канаву копали.
Мы канавушку копаем,
Сибирь проклинаем:
Распроклятая такая
Сибирская сторонка...
Ах ты матушка Россия,
Куда от нас скрылась?
За леса, за горы
Зачем удалилась?

В чаянии, что от золотого тельца перепадет и на их долю, приисковые рабочие переносили тяжкие условия трудной, продолжительной работы (весною от четырех часов утра до десяти часов вечера), без праздничных передышек и при плохом питании.

Зато как лихорадочно ожидался день расчета, 11 сентября, на приисках с богатым содержанием золота с самородками [1].

Не многие довозили до дому свой заработок. Выбитые из колеи, неуравновешенные, пройдя школу тюрьмы

---

[1] За золото в самородках платили в конторе один рубль за золотник. За ворованное золото получали они от скупщиков до трех рублей за золотник. (*Прим. С. В. Пантелеевой.*).

и каторги, рабочие обнаруживали совершенное отсутствие воли, попадая к поджидавшим их спиртоносам и шулерам, и на первых же станках спускали все, что было добыто поистине каторжным трудом и лишениями.

Старожилы рассказывали о гомерических кутежах после расчета в годы разработки богатейших приисков: загулявшие рабочие, уезжая, посыпали землю ассигнациями: знай, мол, наших!

Служащие и надзиратели на приисках по своему развитию и образованию были не выше надзираемых, учились грамоте дома, случайно, на медные гроши, редко оканчивали курс даже уездного училища. При отсутствии духовных интересов, и у них, как у рабочих, развлечениями были те же водка, карты, разврат. Первобытная распущенность нравов была до того наивно животна в соседстве с волчьим царством, что граничила с невменяемостью.

На нашем прииске один служащий, по прозванию «тунгузская богородица», а также «ботоло», прозванный так за постоянное вранье, вошедшее у него в привычку, женился только потому, что кто-то просил об этом. Супруга смотрела сквозь пальцы на его амуры со служанкой, пока не заметила подарков сопернице; тогда за дурное поведение она упросила управляющего прогнать служанку с прииска. Но в день ее отъезда они втроем распивали водку, выставленную служанкой, и на прощанье расцеловались, даже присели на минуту, как водилось в старину.

«Ботоло» был становым, то есть наблюдал за порядком на прииске, но в дни расчета был пьянее всякого Ивана Непомнящего. Ему не доверяли хозяйских денег после того, как он прокутил большую сумму и погашал ее вычетами из жалованья. Раз его супруга вздумала явиться ко мне, предварительно побывав у кого-то на именинах; по этому случаю нарядилась пестро и затейливо. С жеманной улыбкой на сером, испитом лице, она уселась, манерно поправляя кринолин. От нее пахло водкой, язык ее невероятно заплетался. Но смущало меня не это, а те неприличия, о каких она наивно повествовала. Однако, несмотря на выпитую водку, она заметила мое смущение и поднялась.

Таежные женщины из гражданских ссыльных и

каторжанок исполняли обязанности прислуг. Бывали, хотя и редко, случаи выхода их замуж за служащих.

У наших ближайших соседей по квартире, отделенных от нас только тонкой перегородкой, царили мир и тишина. Мы делили дом с управляющим прииска и его женой, миролюбивыми, добрейшими сибиряками, которые сжились с тайгою и не предъявляли к жизни непосильных запросов и требований.

В том же году в нашу тайгу приехали Мосоловы и поселились верстах в пятнадцати от нас. Мосолова, осужденного по делу «Земли и воли», сопровождала в ссылку жена.

Ю. М. Мосолов со своей мягкой, тихой, ласковой московской речью, с тяготением к естественно-научным книжкам, к пчеловодству, садоводству, а главное, со своей склонностью к самой мирной, обыденной обывательской жизни не производил на меня впечатления политика и революционера. Голос его, лишенный нервных нот, я прозвала впоследствии «успокоительным средством». Это случилось во время моей болезни и постигшего меня горя, когда я просила иногда Мосолова почитать. Я не могла сосредоточиться, не понимала, что он читает, но меня успокаивал его голос, размеренный и тихий: я засыпала.

Вскоре Мосолов, когда закрылся прииск на Нойбе, поселился в качестве преподавателя на прииске у Онуфрович, обладавших множеством детей. Мы нередко ездили друг к другу.

Ночью около нашего дома бродили медведи; в нескольких шагах от крыльца медведь стащил висевшую у амбара шкуру быка. Как новинку для нас, утром мы осматривали характерные глубокие следы когтей таежного гостя.

При появлении у меня на свет второго ребенка муж находился на работах в разрезе, и на мой крик прибежала только прислуга... Настоящая помощница явилась поздно. Она жила за пятьдесят верст, а конюх долго не мог поймать лошадь, чтоб запрячь и съездить за ней.

Появление крохотного товарища могло бы скрасить мои одинокие дни в тайге, придать им смысл. Но он умер. Умер просто потому, что в холодную ночь открылась наружная дверь, не имевшая ни крючка, ни ключа, ни задвижки, а державшая ее бечевка оборва-

лась. Я проснулась от холода и ужаснулась: ведь мог бы залезть медведь!

Ребенок расхворался. Не было врача; приехавший же фельдшер сознался в неумении определить болезнь. Я беспомощно глядела в течение нескольких суток, как умирал на моих руках ребенок, кричал, кашлял, задыхался, потом вытянулся, его измученная грудь перестала подниматься.

Я не смотрела, как обмывали, одевали его, хоронили. Закутав голову пледом, я просила оставить меня в покое, молчала, не ела, мечтала лишь о том, как бы хорошо незаметно исчезнуть из жизни.

Жизнь казалась лишней; иметь детей казалось преступлением в тех условиях, когда одного приходилось бросить у бабушки, не имевшей понятия о воспитании, а другому дать умереть беспомощно, и ожидать той же участи для остальных в будущем... На второй день меня охватило полузабытье, казалось — скоро удастся тихо уйти от всего противного, ужасного. Все носилось в тумане, уже чудилось, что становится реже дыхание, что сердце едва бьется. Сильные волей люди умели умирать, задерживая дыхание...

Вдруг сквозь дремоту слышу громкий голос М. И. Онуфрович. Я не отзывалась. Она отошла, муж что-то вполголоса говорил ей. Онуфрович опять подошла. Крупная, сильная женщина, она быстро подняла меня за плечи, посадила и стала уговаривать: довольно мне малодушествовать... Богом посланы испытания польским женщинам, однако они — истинная поддержка своих мужей, надо и мне быть на высоте положения. Вероятно, выражение моего лица не соответствовало ее идеалу, она с сожалением погладила меня по голове, уговаривая пожалеть моего мужа, сделать усилие над собой. Не спрашивая моего согласия, она одевала меня, муж помогал ей, и я словно в гипнозе дала себя увезти.

Ласковые дети, добрейшие Мосоловы, Онуфрович всячески отвлекали мои мысли от только что пережитого. Мосолова прекрасно пела и попробовала спеть под аккомпанемент Онуфрович на фортепьяно. Тут я впервые разрыдалась. Мне стало легче; давившее мозг оцепенение исчезло... Чтобы и ночью не оставлять меня одну, Мосолова легла со мною на старинную двухспальную кровать.

День прошел в чтении, прогулке, катании; получены были новости из России, газеты и письма. На следующее утро приехал муж. Он, видимо, подавлял глубокое волнение, был бледен, воспаленные, усталые глаза говорили о бессонной ночи. После настойчивых расспросов он признался в получении телеграммы из Петербурга о болезни моего отца.

Взглянув на мужа, я догадалась: «Умер?!» Муж промолчал.

Мы уехали к себе на прииск. Неожиданная весть о смерти отца, лучшего друга и заступника, совсем сразила нас. Отчего он умер? Ничего не писали об его болезни! Как он умер? Об этом мы могли узнать через месяц, а может быть и больше, благодаря примитивной почте, а особенно цензуре писем к ссыльным: их задерживали сколько заблагорассудится.

Зимой нас перевели на другой прииск. Муж, получивший должность конторщика, работал дома. Контора была смежной с нашим помещением. Другую половину дома занимал управляющий — пьяница, грубый с рабочими, с физиономией сибирского варнака.

Тут впервые увидела я читающих книжки — таежную интеллигенцию. Верстах в двух, на Рязановском прииске, конторщик С. сам выписывал и брал у нас книги. Это был молодой человек, несколько напоминающий франтоватого приказчика, с темными, выпуклыми глазами, смотревшими очень серьезно, недоумевающе. Впоследствии он сошел с ума. Его молодая жена с птичьим личиком была робкая, молчаливая... Я как-то не сумела найти тему, которая заинтересовала бы ее. На нашем прииске оказался юноша Ч., тоже любивший почитать.

Из наших окон, за старым, заброшенным разрезом, виднелся прииск г-жи Доссер, где конторщиком был ссыльный поляк О. П. Гротовский. Муж встречал его в Петербурге на юридическом факультете. Стосковавшись на безлюдье, О. П. довольно часто навещал нас. Возникали интересные беседы, воспоминания, дебаты, выяснявшие вопросы ближайших событий и прошлого.

Среди хозяев-золотопромышленников не много можно насчитать интеллигентов. Помню только двух лиц: В. И. Базилевского и Л. А. Родственную, впоследствии Шанявскую. Память о ней должны свято чтить все жен-

щины. Она внесла громадный вклад на постройку женского Петербургского медицинского института, а также содействовала устройству Высших женских курсов в Петербурге. На имя ее овдовевшей и нуждавшейся матери записан был в северной тайге прииск, где неожиданно открылись громадные золотые сокровища. Таким образом, и сибирской тайге женщины обязаны средствами для разрешения величайшего вопроса — высшего женского образования.

Не очень далеко от нас, на одном богатейшем прииске, управляющий жил что называется открытым домом. И мы были раз приглашены на какое-то семейное торжество. Хозяин, из простых, был незаметен, зато разбитная дама была его жена, уснащавшая речь самыми таежными пикантностями. Одни гости, улыбаясь, опускали очи, другие гоготали. Я облегченно вздохнула, когда вернулась домой в тишину: в то время еще не отзвучали в моей душе похоронные напевы, свежи были могилы.

Я старалась взять себя в руки и, чтобы не уходить в себя, распределяла день. Утром учила грамоте детей стряпухи и караульного. Приходили мальчики, веселые, улыбающиеся, и, принимаясь за дело, не проявляли ни робости, ни дикости, как крестьянские дети в России того времени. После обеда читала, много играла на пианино (муж раздобыл его на каком-то прииске). Перевела даже томик сочинений Вольтера. Но все это прекратилось после одной поездки верхом: моя лошадь споткнулась, я вылетела из седла и стала хворать. Проездом побывал у нас доктор Ружинский, видевший меня во время нашей остановки в Енисейске. Он изумился происшедшей во мне перемене. Исчезла, казалось, моя неисчерпаемая бодрость, веселость. Доктор заявил, что он не специалист, и настойчиво советовал мужу убедить меня обратиться к специалисту, иначе может кончиться плохо. Конечно, муж принялся усердно убеждать меня в необходимости поехать в Петербург. Мне же страшно было уехать: события последних лет угнетали ожиданием чего-то рокового. Уехала из России от отца — он без меня умер. Уеду из Сибири... не грозит ли новый удар? Да и плохо верилось, что в России поправлюсь, но муж так настаивал, что добился моего согласия.

Кто-то указал попутчиков, совсем неизвестных нам, но рекомендованных ссыльных поляков, возвращающихся в Польшу. Чтобы не дать мне упасть духом, заставить верить в выздоровление, все время муж был наружно спокоен, все подбадривал меня, весело шутил, ничем не выдавая, как ему тяжело. И я шутя привела изречение якобы народной мудрости: «Брат любит сестру богатую, муж — жену здоровую». Мораль мещански-крепостническая, по ту сторону сферы человеческой этики и любви, — не может быть психикой народа.

Задыхаясь от сдерживаемых слез, села я в возок... Тут муж не выдержал и с коротким, тяжелым стоном упал на мои колена.

Лошади тронулись...

С. В. ПАНТЕЛЕЕВА

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЦЮРИХ

Уменье легко болтать на трех иностранных языках, кое-какие сведения из плохих учебников, музыка, живопись — вот наш обычный, легкий багаж, которым и меня в 50-х гг. снабжали, выпуская в жизнь в начале 60-х.

С уничтожением крепостничества жизнь поставила другие запросы, другие требования, женщины начали тоже добиваться света и справедливости. Сознавая, что блуждаем в потемках, без элементарнейших научных сведений, мы хватались за бессистемное чтение оригинальных и переводных научных сочинений.

С начала 1868 г. сотни женщин ходатайствовали в Петербурге у профессоров об устройстве научных курсов, в том же году было выработано прошение министру народного просвещения Д. А. Толстому, а для подачи прошения избраны А. П. Философова, г-жа Воронина, Н. В. Стасова. В первых фразах ответа заключался и весь смысл его: «А деньги?! Хотите содержать университет сборами со слушательниц — это немыслимо!» Затем последовал и официальный отказ министра. Он, впрочем, разрешил устроить общие для мужчин и женщин лекции, даже разрешил устроить их в пустой квартире министерства, но скоро понадобилась квартира, и он приказал их выселить. С 1872 г., в течение двух лет, курсы находились в помещении Владимирского училища, прозываясь Владимирскими высшими курсами, где я слушала химию, физику, ботанику. Курсы не представляли правильной, научной организации, и приходилось для всякой лекции доставлять из университета учебные пособия, не имелось библиотеки, ни научного кабинета, ни

лабораторий. Поставив себе целью подготовиться к медицинскому факультету Цюрихского университета, я слушала великолепные лекции по химии Бутлерова, перечитывала руководства, но изучение ее было немыслимо без лабораторных опытов, без химического анализа. Я не знала, как быть, как помочь горю. Но вдруг, как в сказке, создалась для меня лаборатория, с появлением волшебницы в соболях и бархате в моем крохотном помещении, в пятом этаже, где я проживала с дочерью. Лидия Алексеевна Родственная (впоследствии Шанявская), с которою я встречалась в Сибири, явилась ко мне с предложением совместных занятий и устройства химической лаборатории, причем имелось ввиду приглашение преподавателей и по другим предметам естественных наук. Я оглянулась на свою скромную обстановку и, чтоб Л. А. Родственная не заметила моего страдания, сухо и равнодушно ответила, что не имею свободных денег для устройства лаборатории и найма руководителей. Л. А. живо перебила меня и так горячо уверяла, что я окажу ей большую услугу, если присоединюсь к ней для подъема общей энергии, что одна она, пожалуй, не доведет до конца задуманного. Она, конечно, сумела победить мою нерешительность, щепетильность.

В большой квартире на Моховой, где она жила с матерью, отведены были под химическую лабораторию две комнаты за кухней. Тут в течение зимы мы основательно прошли неорганическую химию.

Особенно оценила я свои занятия в лаборатории у Л. А. Родственной по приезде в Цюрих, в том же году, когда пришлось работать в химической лаборатории, куда профессор редко заглядывал, а ассистент, как враг высшего женского образования, стремясь ограничить женскую любознательность пределами кухни, предоставлял производство химического анализа нашим собственным силам. Проходя мимо меня к какому-нибудь студенту, чтоб помочь ему советом, он приостанавливался, заглядывал на мою работу и, вероятно, дивился, что я никогда не задавала вопросов, спокойно и уверенно производила хорошо знакомые манипуляции. Я отбывала лишь повинность ради семестровой отметки. Лаборатория Л. А. Родственной избавила меня от тех мелких неприятностей, которым подвергалась моя

приятельница А. И. Иванова[1], с которою я приехала из Петербурга.

В Цюрихе университетская жизнь начиналась очень рано, некоторые лекции читались в шесть часов утра (например, наши лекции ботаники) и продолжались до двенадцати часов, затем наступал обеденный перерыв, а к двум часам возвращались в университет, иногда в Политехникум, где слушали физику. Лекции продолжались до шести часов (раз в неделю от семи часов до восьми часов вечера). Скоро вошло в привычку вставать в шесть с половиной часов утра, быстро одеваться и спешить, чтоб попасть в аудиторию до прибытия профессора.

В Цюрихском университете до 1864 г. было только две вольнослушательницы на естественном факультете. Затем на медицинском факультете выдержала экзамен Н. П. Суслова в 1867 г., за нею — М. А. Бокова. В 1870 г. было пять слушательниц, в 1871 г. — пятнадцать студенток, из них три на философском факультете, в 1872 г. было сорок три (на философском десять), а в 1873 г. на одном медицинском — семьдесят семь слушательниц, двадцать две на философском и одна на юридическом. Все были имматрикулированные (то есть внесены в студенческие списки), но как иностранки приняты без вступительных экзаменов. Преобладали славянки и еврейки, среди же русских студентов евреев, кажется, было больше. Наши предшественницы предупредили нас, и мы боязливо сторонились буршей-первокурсников. Мы знали, что они пьянствуют в своих корпорациях, горланя глупейшие песни, а их лица с длинными шрамами свидетельствовали и о драках. Они казались нам вульгарными, совершенно неспособными интересоваться научными, этическими и политическими вопросами. Я была уверена, что швейцарские «отцы и дети» составляли гармоническое целое: бурши лишь отражали общие взгляды бюргеров на женщину, совершенно бесправную в Швейцарской республике, даже в имущественном отношении, — приданое и имущество были в полном распоряжении опекуна или мужа. Без попечителя женщина была немыслима, то есть поставлена в положение слабоумной. И характерно, что тотчас после предложения на вступление в брак, хотя

[1] Сестра жены В. И. Базилевского; последняя слушала химию, но скоро заболела. (*Прим. С. В. Пантелеевой.*)

бы на год отложенный, рассылались всем соседям билетики, чтоб никто не усумнился, встретив девушку на улице с мужчиной. Как же было бюргерам не ужасаться, видя русских девушек и женщин без опекунов и надзирателей. Только немногие студенты, и то на старших семестрах, научились относиться с уважением к нашим задачам и работам. Некоторые студентки испытали на себе мальчишеские выходки первокурсников, изощрявшихся наклеивать бумажки на платье студентки, а в Женеве они замазывали чернилами пуговицы светлых жакетов сзади. Давно окончившая женщина-врач, слушавшая лекции в Женеве, рассказывала потом, как студенты Женевского университета пригласили студенток на какой-то общестуденческий праздник и в их присутствии запели скабрезные песни. На замечание одному из соседей, что, вероятно, в присутствии своих сестер они этого не поют, получился ответ не столько нахальный в устах этого юнца, сколько показывающий невероятную тупость: «То сестры, а вы студентки!» Конечно, они ушли с такого гостеприимного празднества.

Закончив обязательные работы в химической лаборатории, нам предстояли занятия анатомией на трупах, и большим облегчением было разрешение работать в каникулярное время, летом. Студенты разъехались, и физиономии буршей не могли нас смущать во время препарирования трупа. Пользуясь каникулами, профессор анатомии, старичок Мейер, и ассистенты редко заглядывали в препаровочную, так что мы были предоставлены собственным силам с девяти часов утра до семи часов вечера (с обеденным перерывом). У нас на некоторое время явилась руководительница, студентка-швейцарка, пожелавшая повторить уже пройденный ею курс анатомирования, которая имела полное основание гордиться своим искусством препарировать. С этою, уже пожилою, фрейлен Ф., мы потом совершили воскресную прогулку за город, только у нас оказалось мало общего, кроме работы над трупом. Новые задачи нашей женской жизни, может быть, и захватывали ее, но, проявляясь довольно карикатурно, давали повод злорадству нашим врагам. Ее лицо с крупными чертами было энергичное и хорошее, только на лекциях она так страшно морщила лоб, брови, нос, что очки сползали, вытягивала губы и глубокомысленно

приставляла палец к носу. Бурши рисовали карикатуры, символизируя трудность понимания лекций и до чего доводят студентку усилия мысли. Как большинство студенток, она коротко стриглась ради удобства и сокращения времени на туалет, но не покидала неудобного, всеми оставленного кринолина с железными обручами, качавшегося колоколом, не давая ни свободно проходить в толпе, ни усаживаться в аудитории. В таком же, но уже трагикомическом конфликте были новые идеи и отношения ее к бюргерам.

Проживала она у своей приятельницы и, несмотря на свою деловитость, завела такую войну с ее мужем и сыновьями, что они ее грубо выселили. Это не помешало ей навещать приятельницу и продолжать битву с ветряными мельницами. Особенно нападала она на одного из сыновей, обрученного со студенткой полькой, обвиняя его в легкомысленном отношении к одной из служанок. Из-за этого главным образом началась вся война. Наконец она явилась с револьвером, неудачно стреляла в него и, сброшенная им с лестницы, переломила ключицу и нос, и по излечении оставшийся искривленным. Конечно, тут уже не было конца злорадству студентов и бюргеров.

Другая швейцарка, медичка, была уже детским врачом. Она только что вышла замуж за талантливого профессора геологии. Но и тут бюргеры, меря все своею меркою, порешили, что за медицину она ухватилась только с великого огорчения (aus gebrochenem Herzen), чтоб только доказать своему первому жениху, женившемуся на русской, окончившей в Цюрихе медичке С., что и она не хуже сможет выдержать экзамены. До Цюриха я никогда не встречала американок, они меня чрезвычайно интересовали, ведь в Америке, уже в 1850 г., собирались громадные женские митинги, с требованием уравнения политических, гражданских и общественных прав женщин. В те времена все это было для нас ново, необычно.

В препаровочной я познакомилась с двумя американками. Одна из них была очень симпатичная молодая девушка, но, прибыв в Европу, не знала ни одного языка, кроме английского. В отеле, где она остановилась, не говорили по-английски, и она затруднялась спросить обед, наконец открыла рот и ткнула в него

пальцем, как делают немые, нуждаясь в пище, показала также на рот любимицы — ангорской кошки, привезенной из Америки. После обеда она выложила на ладонь деньги, чтоб ей указали, сколько надо уплатить. Чрезвычайно способная, она быстро овладела немецким языком. Она вообще была очень талантлива, музыкальна, с художественным вкусом обставила свою обширную комнату с башенкой и балконом. Помню, как-то, выходя из препаровочной, она уговорила нас зайти к ней на минутку, по пути. Мы согласились, хотя были голодны, торопились по домам — ужинать, писать письма, читать газеты. Едва мы переступили порог, как она схватила с туалета большой флакон духов и основательно, с головы до ног, окропила нас и себя, чтоб не пахло трупом; сбросив шляпу, подошла к пианино, улыбнулась нам своими продолговатыми темными глазами и заиграла что-то красивое, мелодичное. После препаровочной она долго томилась, не могла есть и торопилась музыкой создать другое душевное настроение. Я недоумевала, зачем американки переплывают океан, чтоб учиться в Европе, когда им открыты многие собственные университеты, она объясняла это тем, что лучшие университеты в Америке еще не были открыты женщинам, да и наука в Европе стояла выше. «Кроме того, интересно было увидеть что-нибудь новое, не американское», — добавила она. Впоследствии я слышала, что она сделалась хорошим врачом в Америке. Совершенною противоположностью была другая американка, кажется вдова, средних лет, очень прилежная, усидчивая, не особенно даровитая. Типичная сектантка, всегда в черном, прямая, приглаженная, с желтовато-бледным лицом, с несколько великопостным выражением. Это выражение мгновенно исчезало, когда возвращалась из швейцарской школы ее двенадцатилетняя дочка. Красавица девочка садилась, обнимая мать, не отрывавшую с нее глаз, и обе улыбались, наперерыв щебетали. У меня сохранилась их фотографическая карточка с нежно прижатыми друг к другу головами. Если они живы, то живы обе, — пережить друг друга они бы не могли.

Что касается россиян, их набралось столько, что рассказ о них вышел бы из пределов этой статьи. Не хотелось бы набрасывать одни штрихи, да и рассказ о них принадлежит истории и более осведомленным. На близ-

кие знакомства в обширном кругу не хватало времени: я была сильно занята, и надо добавить, что, несмотря на мои двадцать семь лет, мне казалось, что везде повторялись только старые перепевы — как у старожилов заграничных (Бакунин был тогда в Цюрихе), так и среди новоприбывших из России. Все то же, давно слышанное еще от отца, побывавшего у Герцена в Лондоне, в конце 50-х гг., все читанное и слышанное до и после нашей сибирской ссылки. Контрабандною новинкой попадали в Петербург немецкие и английские книжки Маркса, а его «Капитал», изданный в России, в предыдущем году (1872), был новостью для большинства. Занятой днем и довольно утомленной к вечеру, мне удавалось бывать ненадолго, и только вечером, в русской читальне. Там в определенные дни я слушала исторические и математические лекции П. Л. Лаврова.

Жили мы все в предместье Флунтерн; на плоскогорье, среди лугов и обсаженных деревьями дорог стояли клиники и препаровочная, а Университет с Политехнической школой (в одном здании) высился на выступе над Цюрихом. Весною, пленясь дивным видом на озеро и горы, я наняла комнату в самом верхнем этаже, но к зиме, несмотря на печку, тут буквально «пар от дыхания волнами ходил», а над шпалерами я открыла светящиеся отверстия. Пришлось поступиться очаровательным пейзажем и перебраться ступеней на сорок пониже. Теперь, разбираясь в старых цифрах, сравнивая цены, просто поражает цюрихская дешевизна тех времен. За небольшую комнату, но меблированную всем необходимым, платилось, переводя на русские деньги, 5 рублей 50 копеек, а с утренним кофе, обедом, ужином, с вечерним чаем (или кофе), с прислугой и постельным бельем — 24 рубля в месяц. За керосиновую лампу — 1 рубль помесячно. За топку и стирку белья была отдельная плата.

Некоторые студентки мало топили, укрываясь ночью большими швейцарскими одеялами, набитыми перьями, поверх обыкновенных одеял, днем же пребывали на лекциях, в лабораториях, в публичных библиотеках или в русской читальне.

С наплывом студенток и студентов всевозможных национальностей швейцарцы начали роптать, что в университете почти не слышно их немецко-швейцарского

наречия (швицердючь), а среди русского студенчества все настоятельнее ощущалась необходимость устройства русской студенческой читальни и кухмистерской. Для этого арендовали одноэтажный дом. Эта вторая русская читальня в Цюрихе была устроена учащимися, а не эмигрантами, как первая; из-за нее, то есть из-за разделения читален, происходили очень крупные недоразумения. Когда дело было вырешено, отделившиеся вышли из первой читальни, дефилируя процессией по Oberstrasse в свое новое помещение, где, конечно, говорились соответствующие речи.

После безвкусной немецко-швейцарской стряпни того времени мы начали вкушать отечественные яства и кулинарные произведения Польши, Грузии, Москвы, дружественно встречались с сибирскими пельменями и еврейской фаршированной щукой.

На следующий день был праздник, я пришла пораньше в кухмистерскую, но столовая оказалась пустою, и я заглянула в читальню. Тут меня поразила необычная сцена. В. Н. Фигнер, в сильном волнении, говорила, стоя на табурете, темные глаза сверкали на побледневшем лице, обрамленном длинными, толстыми косами. Дело в том, что накануне вечером какой-то россиянин долго засиделся в столовой, угощаясь пивом, а в результате прислуге пришлось помочь ему дойти до дому. Чисто с феминистской точки зрения В. Н. Фигнер защищала русский дом от подобных безобразий, могущих компрометировать студенток в глазах швейцарцев и всего мира. После этой энергической отповеди мужская половина, посещавшая кухмистерскую, совершенно исправилась.

В этом мирном уголке Швейцарии многие из нас нашли временное успокоение после перенесенных страданий, другие — после тяжелой выдержанной борьбы за свое право на высшее образование. Они вынесли столько горьких укоров, унижающих упреков, тяжелых сцен с родителями или родственниками и столько грубого, слепого, порою циничного осуждения со стороны общества. Драгоценное право на высшее образование приходилось добывать даже ценою фиктивных браков, когда какой-нибудь добрый человек соглашался дать свое имя для освобождения девушки, уезжавшей тотчас после венца за границу для поступления в университет.

Одной из первых освободилась таким способом семнадцатилетняя С. Ковалевская, удостоенная потом приглашения на кафедру Стокгольмского университета.

Сохранившееся у меня от тех времен письмо цюрихской студентки к матери в Петербург может быть даст лишь несколько штрихов из жизни того разнообразного, даже пестрого мирка, довольно наивного в своей сорокалетней давности: «Дорогая маменька, не тревожьтесь, пожалуйста, — не порежусь я в препаровочной! Все-то вы на мою суетливость и живость по-прежнему нападаете! Если порежусь, всегда успею выдавить кровь, облить кислотою, обезвредить. В первое время едва-едва превозмогала отвращение, а вчера уж из любви к искусству показывала начинающей барыньке всю процедуру дела; и если б вы видели, как спокойно, методично я тут действую, то если б и не залюбовались, конечно, то во всяком случае у вас пропал бы страх за меня. А бывало, как проработаешь по целому дню всю неделю, трупный запах одурманит, нервы до того напряжены, что во сне и наяву мерещатся разные препараты мускулов, артерии тянутся в воздухе... Однажды, в воскресенье, кошмар особенно одолевал, дождь лил, пропала наша воскресная экскурсия в горы; и, чтоб рассеяться, вздумала послушать популярного швейцарского оратора, но он так злобно грозил всем иначе думающим, что я убежала. Прихожу к милейшей моей Сашеньке, а она сидит себе над руководством по анатомии... Благо меньше моего видела трупов. Ну, за то теперь нервы отдохнули, и все в порядке. Третьего дня, в воскресенье, с Сашей и двумя американками отправились на пароходе по озеру до высокой горы и взбирались на нее не обходом, а по крутику, тропинкой. Взобравшись на верхушку, открылся такой вид, точно с облака смотрели. На обратном пути вздумали бежать по крутику. Так славно, точно мы на крыльях неслись, но раза два чуть не поскользнулась и не полетела вниз головою под гору. Какие-то швейцарцы шли снизу, друг за другом, навстречу нам, и вдруг пошли все в ряд, так что пришлось задержать бег.

С серьезными минами они объяснили нам, что мы подвергаемся опасности упасть в пропасть, прикрытую в этом месте деревьями и кустарником. Мы поблагодарили швейцарцев и пошли шагом, немножко сконфу-

женные, вспомнив, что в Швейцарии пятилетних детей отправляют одних по железным дорогам, но во время пути все их опекают; вот и мы неожиданно оказались чем-то вроде опекаемых младенцев!

Чуть не забыла сообщить новость, я уж знаю, что расскажете всем, кто в нас сомневается. В здешней газете появилась статья одного профессора в ответ на скверную статью в германских ведомостях. Профессор написал очень лестный отзыв о студентках, их прилежании, работоспособности и кончает статью так: «Пора дать покой этим женщинам, борющимся за прогресс и эманципацию человеческой личности». Вот в людях совесть заговорила — и выступают за справедливость!»

Конец письма касается чисто семейных дел.

У старика профессора Фрея в гистологической лаборатории усердно красили микроскопические препараты во всевозможные цвета, золотили и серебрили. Работа нередко сводилась на чисто механическую. Я купила микроскоп, пробовала работать дома, но, видно, переусердствовала, при керосиновой лампе, — разболелся глаз, и врач запретил микроскопирование.

В физиологической лаборатории профессора Германа за 1873, 1874 и 1875 гг. после ученических у меня была самостоятельная работа (часть ее была напечатана позже в медицинском журнале Розенталя «Central Blatt»), о действии на сосудодвигательный аппарат и на сердце различных веществ и механизм остановки сердца в диастоле при сжатии сосудов.

Тогдашняя медицина не увлекала. Случалось, что в медицинской клинике опыты над больными несколько напоминали токсикологические приемы в лаборатории; так, по сообщению самого профессора, в медицинской клинике пробовали лечить тиф дигиталисом, и больные умирали не от тифа, а от сердечного яда, каким был в таких дозах дигиталис, не действовавший на понижение температуры в малых дозах. Это блуждание в темноте с подобными результатами опытов над «больничным матерьялом» действовало на меня удручающе. В хирургической клинике, конечно, неизвестна была современная асептика.

В 1873 г. в июне нов. ст. после лекции профессор Герман сообщил нам о полученном из Петербурга распоряжении или предупреждении, подробности которого я про-

чла в «Правительственном вестнике». Это предупреждение учащимся русским женщинам гласило:

«Те из них, которые после 1 января 1874 г. будут продолжать слушать лекции в Цюрихском университете, по возвращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение или дозволение которых зависит от правительства, а также к каким бы то ни было экзаменам или в какое-либо русское учебное заведение».

Предупреждение было очень многословно, но главные основания заключались в том, что «другие университеты на западе, значительно опередившие нас в образовании, не допускают еще женщин, и что увлечением модными идеями пользуются эмигранты, которые увлекают и губят безвозвратно в вихре политической агитации неопытных молодых девушек, и что два, три докторских диплома не могут искупить зла нравственного растления. Некоторые из этих девушек пали до того, что специально изучают ту отрасль акушерства, которая во всех странах подвергается каре уголовных законов и презрению всех честных людей».

Читая это в библиотеке, я просто остолбенела, глазам не верила... Глубоко возмущенные, расстроенные, мы возвратились с А. И. Ивановой домой и горько расплакались. Мы, конечно, сознавали, что толстовская бессмыслица о судьбе молодых, неопытных девушек не стоила капли наших слез, и все-таки мы бессильно зарыдали от гнева и негодования, — ведь совершенно безнаказанно можно было швырнуть позорнейшею грязью в целые ряды светлых, чистых лиц... В этом случае мы действительно были еще малоопытны.

В прессе и на собраниях профессора горячо выступали на защиту учащихся женщин. Один из них сказал нам, что все это какое-то чудовищное недоразумение.

Профессор Герман советовал мне вычеркнуть мой адрес из списков (ausmatrikuliren), чтоб не повредить Л. Ф., оставаясь после января 1874 г. Профессор Герман советовал закончить работы в Цюрихе, так как в Бернском университете физиологическая лаборатория была плохо обставлена. Экзаменационный остракизм меня не пугал; я и не собиралась держать медицинские экзамены в России, не интересуясь более медициной. В предупреждении упоминалось о недопустимости слушанья лекций

в Цюрихе после 1 января, а я рассчитывала к январю дослушать все нужное мне для чисто научных занятий в лаборатории.

Моя приятельница А. И. И<ванова> выходила замуж за цюрихского доктора и тоже не нуждалась в русских экзаменах.

Следуя за буквой отеческого предупреждения <Д. А.> Толстого, опасения его были такого рода, что могли относиться лишь к молодым, неопытным девушкам, не простираясь на замужних и умудренных опытом, а тем более побывавших, как я, в сибирской ссылке с мужем.

Вышеозначенный градус падения молодых, неопытных девушек от растлевающего влияния эмигрантов, доводившего до специального изучения отдела акушерства, караемого уголовными законами, — все это курьезное обвинение студенток фактически отпадало их совершенным неведением гинекологии, еще не значившейся в числе прослушанных предметов в семестровых отметках. Глазные, ушные, накожные и женские болезни полагались на следующий семестр.

До января началось возвращение в Россию, лишь немногие переселились в маленький тогда Бернский университет. Далеко не у всех имелись гимназические аттестаты, чтоб поступить на Высшие женские курсы, и большинству закрывалась возможность дальнейшего образования, а с нею и приложение сил к культурной работе.

Летом, в 1875 г., я уехала из Цюриха в Ялту, к мужу, прибывшему из Сибири, а зимою мы переехали в Петербург, где я работала в физиологической лаборатории Медицинской академии у профессора Тарханова, затем перебралась в физиологическую лабораторию Академии наук, где находились прекрасные аппараты для измерения давления крови и где до половины следующего года закончила начатую работу.

ПРИМЕЧАНИЯ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Герцен — А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем. Под редакцией М. К. Лемке, тт. I—XXII. Пг. 1915 — Л. 1925.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов, Полное собрание сочинений, тт. I—VI. М. 1934—1941.

Изд. 1934 г. — Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. Вступительная статья В. И. Невского. Редакция и комментарии С. А. Рейсера. М.—Л. «Academia». 1934.

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

ЛН — «Литературное наследство».

Некрасов — Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, тт. 1—12. М. Гослитиздат. 1948—1953.

Никитенко — А. В. Никитенко. Дневник. Подготовка текста, вступительная статья и примечания И. Я. Айзенштока, тт. 1—3. М. Гослитиздат. 1955.

Салтыков-Щедрин — Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, тт. 1—20. М. Гослитиздат. 1934—1941.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.

ЦГИАМ — Центральный государственный исторический архив в Москве.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI. М. Гослитиздат. 1939—1953.

В эту книгу вошли воспоминания Л. Ф. Пантелеева: «Из ранних воспоминаний» (СПб. 1903) и два тома «Из воспоминаний прошлого» (СПб. 1905, 1908); в приложении собраны разбросанные по сборникам и газетам статьи и очерки Пантелеева, носящие характер мемуаров и представляющие интерес и ценность для советского читателя. Кроме того, в издание включены воспоминания жены Пантелеева — две статьи, посвященные эпохе 60—70-х гг.

Сравнительно с изданием мемуаров Пантелеева 1934 г. («Academia») это издание является более полным. В нем впервые перепечатаны книга «Из ранних воспоминаний» и пять статей, содержащих ряд важных данных, не учитывавшихся в нашей литературе: <«Автобиография»>, «К материалам о Н. Г. Чернышевском», «П. П. Маевский», «К биографии П. А. Ровинского» и «К материалам об издании сочинений А. И. Герцена». Из воспоминаний С. В. Пантелеевой впервые перепечатана статья: «Из Петербурга в Цюрих».

Существенные изменения внесены в текст воспоминаний, особенно первой книги «Из воспоминаний прошлого».

Следует напомнить, что большую трудность при подготовке издания 1934 г. представляли многочисленные криптонимы и анонимы; многие тогда удалось, бесспорно или предположительно, раскрыть, но некоторые все же остались нерасшифрованными.

В марте или апреле 1935 г., вскоре после выхода в свет в издательстве «Academia» воспоминаний Пантелеева, бывший домовый работник того дома, в котором жил и 16 декабря 1919 г. скончался Л. Ф. Пантелеев, — А. В. Куликов передал автору этих строк остававшиеся у него три книги: два тома «Из воспоминаний прошлого»

в издании 1905—1908 гг. с надписью: «На добрую память А. В. Куликову от Л. Пантелеева» и рабочий экземпляр первого тома того же издания с надписью на титульном листе: «Экземпляр с поправками Л. П.», в котором были раскрыты зашифрованные имена, а кроме того, сделаны вставки, исправления и пояснения.

После выхода (в 1905 г.) первой книги мемуаров Л. Ф. Пантелеев, учитывая появившиеся рецензии и, очевидно, имея в виду переиздание книги, стал в специально переплетенный рабочий экземпляр вносить поправки и дополнять печатный текст. Бо̀льшая часть их — исправление текста, но некоторые, вероятно, — заметки для памяти. Различить их в ряде случаев почти невозможно.

Поправок в конце концов набралось очень много, и ряд страниц оказался испещренным пометками в тексте, на полях или на подклеенных листах бумаги. Текст дополнялся в течение ряда лет — так, в книгу вклеена газетная вырезка из статьи Пантелеева 1911 г., сделана поправка после смерти П. И. Бокова, то есть после 25 декабря 1914 г., вставка о Стахевиче датирована 1916 г. и т. д.; в книгу вложена открытка Эд. Пекарского от 3 января 1917 г. о дате смерти Е. П. Михаэлиса (см. стр. 289).

Подаренный А. В. Куликову двухтомник представляет меньший интерес. Правка в нем сделана на восьмидесяти четырех страницах первого тома[1] (в рабочем экземпляре — на ста сорока трех) — все они за очень немногими исключениями восходят к маргиналиям рабочего экземпляра и повторяют их, иногда в несколько отличной (по преимуществу сокращенной) редакции. Переносились поправки, как можно судить по почерку и чернилам, одновременно или во всяком случае в течение очень короткого времени, скорее всего в конце 1918 г. или в начале 1919 г. Эта дата устанавливается поправкой на стр. 185 первого тома, на которой отмечена смерть М. А. Антоновича — ноябрь 1918 г.

Остается не вполне ясным, с какой целью Пантелеев переносил часть поправок на подаренный А. В. Куликову экземпляр: владелец книги явно не разбирался в деталях описываемой эпохи и никак не мог содействовать новому изданию книги. Вероятно, поправки делались ранее для какой-то иной цели, а позднее неиспользованный по прямому назначению экземпляр был подарен А. В. Куликову. Из содержания и на основании палеографических данных (чернила, почерк) видно, что перенося на экземпляр А. В. Куликова часть пометок рабочего экземпляра, Пантелеев в очень немногих случаях (на стр. 159, 185, 210, 327 и 330) внес последние по времени поправки и в свой текст.

---

[1] Во втором томе сделаны только две поправки.

Таким образом, экземпляр А. В. Куликова является *по времени изготовления* более поздним, однако он представляет собой полумеханическую копию рабочего экземпляра; он несравненно менее полон и нет никаких оснований считать его текст подготавливавшимся для нового издания. Лишь в нескольких случаях (каждый раз особо оговоренных) в настоящем издании предпочтен более исправный или более полный текст экземпляра А. В. Куликова, как правило же, воспроизведены дополнения и поправки рабочего экземпляра.

В некоторых случаях пометка здесь сделана таким образом, что неясно — намечена она была в качестве сноски или непосредственного пополнения текста. Такого рода случаи разрешались редактором в зависимости от того, в каком виде текст оказывался более законченным и логичным. Иногда место вставки, написанной на полях и не отнесенной к определенному тексту, также определялось редактором (так, например, в главе «Педагогический кружок», стр. 206—208 наст. издания (сноски); то же в главе «Основа», стр. 238).

Тексты настоящего издания проверены по всем прижизненным изданиям, сохранившимся рукописям и корректурам. При работе использован архив Пантелеева, хранящийся в Ленинграде в Институте русской литературы (Пушкинском доме) Академии наук СССР. Таким образом удалось внести в тексты ряд пополнений, не печатавшихся ранее по соображениям личного или цензурного характера.

ИЗ РАННИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Впервые — «Северный край», 1902, 10 января, № 8 («Вместо предисловия»), 15 января, № 13 и 19 января, № 17 («Первая поездка в деревню»), 26 января, № 24 («На летних кондициях»), 1 февраля, № 30 («Сборы и отъезд в университет»); «Русские ведомости», 1902, 9 июня, № 157 («Старый дом», «По вечерам»), 19 июня, № 167 («Енюшка», «Екатерина Степановна»), 23 июня, № 17 («Исполинов», «Чижиков. Юристы», «Иван Николаевич»), 2 июня, № 180 («Вина Ивана Николаевича и Беляев»), 24 августа, № 233 («Большой начетчик»), 5 ноября, № 306 («Ошибочка Саши Котловой»), 8 декабря, № 339 («Обывательская тоска»).

Стр. 26. *...Григорьев... пришлось познакомиться в половине 60-х гг.* — См. стр. 357 и след.

Стр. 27. *Мои воспоминания о гимназии...* — См. стр. 494—514.

Стр. 36. *Кортомить* — брать в аренду.

Стр. 69. *Агаряне* — племя бедуинов в восточной Аравии (*библ.*).

Стр. 70—71. *Война идет с венгерцем... просил у него... по-*

мощи. — Речь идет о подавлении революции 1848 г. в Венгрии при участии войск Николая I.

Стр. 71. *...никого на этот раз живота не лишил, а всех просто по дальним местам разослали.* — Речь идет о разгроме правительством кружка Петрашевского: в 1849 г. большинство петрашевцев, участников тайного кружка петербургской интеллигенции, занимавшихся пропагандой идей утопического социализма, было арестовано; некоторые (в том числе Достоевский) были приговорены к расстрелу, замененному каторжными работами.

Стр. 76. *Удельное село* — то есть село, подведомственное департаменту уделов, ведавшему обеспечением доходами членов царской фамилии.

Стр. 111. *...большой колокол льют...* — Идиоматическое выражение, обозначающее: сплетни, враки. См. «Крылатые слова... по толкованию С. Максимова», М. Гослитиздат, 1955, стр. 38—41.

Стр. 117. *...курс артиллерии капитана Силича.* — М. М. Силич, Руководство к преподаванию артиллерии в военной академии, СПб. 1843.

Стр. 118. *...председатель одной из палат... переведен из Петербурга.*—Речь идет о Ф. С. Политковском—с 1856 г. председателе казенной палаты в Вологде (ранее — в Томске, а не в Петербурге, как пишет Пантелеев; см. «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве». 1856, ч. II, стр. 173, и 1857, ч. II, стр. 21).

...рассказы... вращались около... Пассажа — В петербургском Пассаже в середине прошлого века, кроме магазинов, была зала для публичных лекций и концертов (ныне Ленинградский драматический театр).

Стр. 118. *...тогда... печатались «Губернские очерки».* — «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина были опубликованы в «Русском вестнике» (1856, №№ 8—12, 1857, №№ 1, 4, 6, 8) и «Библиотеке для чтения» (1857, № 5). Два отдельных издания — в 1857 г.

Стр. 119. *Фритредерство* — направление в буржуазной экономической политике, исходящее из требования свободной торговли и невмешательства государства в дела предпринимателей («laissez passer, laissez faire»).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

Книга первая

Впервые — в сборнике «На славном посту (1860—1900)», СПб. 1901 (под названием «Из воспоминаний о 60-х годах» — глава «Петербургские пожары»); «Русские ведомости» 1902 г., 11 января, № 11 и 19 января, № 19 (под названием «Петербургский универси-

тет» — глава «Профессорская корпорация»), 15 января, № 15 и 21 января, № 21 (под названием «Петербургский университет» — глава «Женщины в Петербургском университете»), 1903 г., 15 марта, № 73 (первая часть «Предисловия», «Приезд в Петербург», «Экзамен»), 24 марта, № 82 («Первый семестр», «Уроки»), 30 апреля, № 117 («Сходки», «Студенческая русская корпорация», «Дело кассира Бутчика», «Великие реформы и отношение к ним студентов»), 26 мая, № 143 («Студенческая история», «Студенческая библиотека»), 14 июня, № 162 и 23 июня, № 171 («Польская студенческая корпорация»), 5 июля, № 183 («Педагогический кружок»), 22 июля, № 200 («Диспуты»), 29 июля, № 207 («Основа»), 8 августа, № 217 («Вечера Штакеншнейдера, Тиблена и др.»), 17 августа, № 226 («Литературные чтения, спектакли литераторов и публичные лекции»), 4 сентября, № 244 («Публичные лекции», «Шахматный клуб», «II отделение при Литературном фонде»), 28 сентября, № 266 («Думская история»); глава «Земля и воля» (под названием «Дела давно минувших дней») впервые — «Наша жизнь» 1904 г., 10 ноября, № 5, 13 ноября, № 8, 17 ноября, № 12, 22 ноября, № 17, 30 ноября, № 33, 16 декабря, № 41, и 1905 г., 20 января, № 65.

Стр. 127. *...автобиография Костомарова, статья В. И. Модестова о В. Г. Васильевском да П. И. Вейнберга о литературных спектаклях...* — См. стр. 266, 346 и 229.

...восстановляются те пропуски, которые были неизбежны два года тому назад. — Сличение первопечатных текстов с отдельным изданием показывает, что дополнения касаются рассказа о приезде Каткова в Петербург с целью получения правительственной субсидии (стр. 206), рассказа об «Огаревском деле» (стр. 223—224), о планах Елисеева и Антоновича, касающихся захвата наследника (стр. 246), о Победоносцеве (стр. 260—261), о позиции вел. кн. Ник. Ник. в расследовании петербургских пожаров 1862 г. (стр. 283—284) и некоторых мест в главе о «Земле и воле».

Стр. 128. *...увлекался Белинским, хотя, должно быть, и не знал его по имени...* — В большинстве своем статьи Белинского, как и статьи других критиков, печатались анонимно.

...старые «Отечественные записки»... — Белинский сотрудничал в «Отечественных записках» в 1839—1846 гг.

...цитирует Белинского: «Поэзия есть жизнь... квинтэссенция жизни». — Неточная цитата из статьи В. Г. Белинского 1841 г. «Стихотворения М. Лермонтова» (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IV, Изд-во Академии наук, М. 1954, стр. 493).

Стр. 129. *Как сын небогатого чиновника, он поступил в Педа-*

гогический институт... — Студентам Главного педагогического института предоставлялось общежитие и питание.

...*директором Иван Давыдов, всеми презираемый*... — Ср., например, памфлет Н. А. Добролюбова «Партизан И. И. Давыдов во время Крымской войны», напечатанный в 1858 г. в «Колоколе» (*Добролюбов,* т. III), в котором дана яркая характеристика этого казнокрада и реакционера.

Стр. 135. ...*новое издание цензура не позволяет... поплатился за это высылкой.* — «Записки охотника» первоначально публиковались в «Современнике» 1847—1851 гг.; первое отдельное издание вышло в 1852 г. и по существу именно оно повлекло за собой, вследствие антикрепостнического содержания «Записок охотника», арест и высылку Тургенева «на жительство в деревню». Опубликование в 1852 г. статьи Тургенева о Гоголе было, по признанию самого писателя, лишь поводом для этих репрессий («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 155—156). Второе издание «Записок охотника» цензура разрешила лишь в 1859 г.

...*речи, произнесенные на знаменитом московском обеде*... — то есть на обеде московских литераторов 28 декабря 1857 г. в залах купеческого собрания, по поводу опубликования 20 ноября рескрипта Александра II виленскому, ковенскому и гродненскому генерал-губернатору Назимову. Рескрипт был первым официальным правительственным актом по подготовке крестьянской реформы 1861 г. «Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного обмена России с Европой, не могли удержать старых, рушившихся форм хозяйства, — пишет об этом времени В. И. Ленин. — Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России. Крестьянские «бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобождением, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше освободить *сверху*, чем ждать, пока свергнут *снизу*» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 95). Речи, произнесенные на обеде (М. Н. Каткова, А. В. Станкевича, Н. Ф. Павлова, М. П. Погодина, И. К. Бабста и К. Д. Кавелина) были напечатаны в «Русском вестнике» (1857, декабрь, кн. 2). См. также Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XV, СПб. 1901, стр. 472—491, письмо П. В. Анненкова к Тургеневу от 8 января 1858 г. («Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. 3, 1934, стр. 76) и Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, М. «Academia», 1934, стр. 175.

Стр. 136. *Камеральное отделение* — факультет, назначение которого должно было состоять «в приготовлении людей, способных к службе хозяйственной или административной» (В. В. Григорьев, Императорский С.-Петербургский университет в течение

первых пятидесяти лет его существования, СПб. 1870, стр. 119); отделение существовало при С.-Петербургском университете с 1843 до 1860 г.

Стр. 137. *Первый семестр.* — Ср. эту и следующие главы воспоминаний Л. Ф. Пантелеева о Петербургском университете 50—60-х гг. с воспоминаниями А. М. Скабичевского («Литературные воспоминания», М. 1928), И. Е. Андреевского («Князь А. А. Суворов» — «Русская старина», 1882, № 5), И. А. Свиньина («Воспоминания студента шестидесятых годов», Тамбов, 1890), В. М. Сорокина («Воспоминания старого студента» — «Русская старина», 1888, № 12, и 1906, № 11), А. Ч<умикова> («Петербургский университет полвека назад. Воспоминания бывшего студента» — «Русский архив», 1888, т. III, № 9), Виктора Острогорского («Из истории моего учительства». СПб. 1895), В. Д. Спасовича (см. стр. 707) и др.

Стр. 138. *...с договоров Олега и Игоря...* — Ко времени княжения на Киевской Руси Игоря и затем его жены Ольги (X в.) относятся первые известные нам договоры русских с греками (911, 945, 972 гг.), определявшие политические, военные и торговые отношения Византии и Руси.

...до издания «Свода законов». — Имеется в виду издание 1832 г. «Свода законов», первого систематического собрания действовавших в России законов.

«Русская правда» — первый из дошедших до нас сборников русских законов; разные редакции его являются памятниками XI—XII вв.

Стр. 139. *...Кавелина... «Взгляд на юридический быт древней России»...* — Статья К. Д. Кавелина («Современник», 1847, № 1) была воспринята как новый, более прогрессивный этап русской историографии, так как периоды русской истории устанавливались здесь не по внешним событиям. Вместе с тем К. Д. Кавелин пытался представить историю России как мирную эволюцию родовых и вотчинных отношений, постепенно перерождающихся в отношения государственные.

Стр. 140. *...как он определял слово «полиция»...* — Аристотель в первой книге «Политики» писал о том, что деятельность государства для создания условий безопасности и благосостояния есть деятельность полицейская в обширном смысле этого слова (от *греч.* — politeia).

...известная тогда книга Роберта Моля. — Речь идет, по-видимому, о сочинении Р. Моля «Polizei wissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates», Тюбинген, 1832—1834.

...по хрестоматии Галахова... — Имеется в виду изданная А. Д. Галаховым в 1843 г. и выдержавшая (до 1892 г.) 22 издания

«Полная русская хрестоматия». Популярны в свое время были и другие изданные им пособия по истории русской литературы («Историческая хрестоматия», «Русская хрестоматия для детей», «Историческая хрестоматия нового периода русской словесности»).

Стр. 141. *...за энциклопедию Неволина...* — Речь идет об «Энциклопедии законоведения» К. А. Неволина, Киев, 1839—1840.

Стр. 143. *...следствие по делу киевско-харьковских студентов (Бекман и К°)...* — В начале февраля 1860 г., в связи с материалами, обнаруженными во время обыска у студента Киевского университета Завадского (по доносу помещика Гаршина), были арестованы студенты Киевского университета Бекман, Муравский, Португалов, Тищинский, Россинский, Розен, Кацен, Шмулевич, Стрижевский, Ефименко и Зеленский. Они обвинялись в том, что еще будучи студентами Харьковского университета (в 1858 г. Бекман, Муравский, Тищинский и др. были на год исключены из Харьковского университета за участие в протесте против увольнения двух студентов), они принимали участие в тайном обществе, организованном в 1855 г. в Харькове «с целью произведения переворота в существующем образе правления в России». («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 32). Арестованные были препровождены в Харьков, где следствие велось более месяца, затем дело было передано в Петербург, а Бекман и его товарищи заключены в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Отказавшись от первоначальной попытки отрицать свою революционную деятельность, они утверждали на следствии, что Харьковское тайное общество якобы перестало существовать в 1857 г. Главную вину взяли на себя Бекман, Муравский, Завадский и Ефименко, высланные в апреле-мае 1860 г. в разные города России. Бекман был выслан в Вологду, где состоял членом «Земли и воли». Ср. Б. П. Козьмин, Харьковские заговорщики 1856—1858 годов, Харьков, 1930, и А. З. Барабой, Харьковско-киевское революционное тайное общество («Исторические записки», № 52, 1955).

...был обер-прокурором... — Вставка из экземпляра А. В. Куликова.

Стр. 145. *...в ту пору был большим поклонником «Русского вестника»...* — Издававшийся М. Н. Катковым с 1856 г. «Русский вестник» был вначале органом либерального направления. В начале 60-х гг. журнал становится одним из самых свирепых представителей воинствующей реакции.

Стр. 145—146. *В 1861 г. 14 октября одна рота Преображенского полка была двинута против студентов.* — См. главу «Студенческая история».

Стр. 146. *...катастрофы, постигшей в 1862 г. «Современник» и Чернышевского.* — В июне 1862 г. был приостановлен на восемь месяцев «Современник»; 7 июля того же года Н. Г. Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость.

...надо мной висит туча... — Имеется в виду арест Л. Ф. Пантелеева (см. стр. 353 и след.).

...времен «Очакова и покоренья Крыма» — неточная цитата из «Горя от ума» А. С. Грибоедова (действ. II, явл. 5).

Стр. 147. *Хотя Мартынов и угас...* — Автор этих стихов В. С. Курочкин. Полностью (несколько иной текст) см. в изд.: А. А. Нильский, Закулисная хроника, СПб. 1900, стр. 259.

На эти стихи ходила... — Вставка из экземпляра А. В. Куликова.

Стр. 148. *Kennst du das Land...* — из стихотворения Гёте «Песня Миньоны».

Стр. 152. *...студенты должны просить начальство, чтобы оно вступилось за пострадавших и потребовало наказания виновных.* — Об избиении студентов на пожаре 14 декабря 1858 г. см. в записях Л. Н. Модзалевского («Голос минувшего», 1917, № 1, стр. 135—170), где, между прочим, приведены заявления пострадавших студентов и некоторые материалы официального расследования инцидента. Ср. также *Никитенко,* т. 2, стр. 49—50.

...статья о ...«Гюлистан» Саади (см. сочин. Добролюбова...). — Рецензия Добролюбова на первый выпуск «Сборника, издаваемого студентами императорского С.-Петербургского университета» была напечатана в XI книге «Современника» за 1857 г. (*Добролюбов,* т. III). Отмечая положительную роль сборника, послужившего одной из форм объединения студентов, Добролюбов писал, вместе с тем, об его узкоспециальном характере, далеком от современности.

Стр. 153. *...Я. Утин вместе с студентом Лазаревским издал сборник важнейших юридических памятников древней России...* — Имеется в виду издание: «Собрание важнейших памятников по истории древнего русского права», изд. И. Лазаревский и Я. Утин. СПб. 1859.

Стр. 154. *Студенческая (русская) корпорация.* — Формально студенческая корпорация в Петербургском университете существовала лишь в 30—40-х гг. О двух таких корпорациях — «Рутения» и «Балтика» — есть кое-какие материалы у Э—г — <А. Чумикова> («Студенческие корпорации в Петербургском университете» — «Русская старина», 1881, № 2) и И. Б<елов>а («Университет и корпорация» — «Исторический вестник», 1880, № 4).

Стр. 155. *...в 1858 г. ...пропуск им в «Современнике» проекта Кавелина...* — В № 3 «Современника» за 1858 г. была помещена вторая статья Н. Г. Чернышевского «О новых условиях сельского

быта», представлявшая собой в основном извлечение из «Записки об освобождении крестьян в России» (1855) К. Д. Кавелина (*Чернышевский,* т. V). Опубликование статьи повлекло за собой обвинение «Современника» в «желании возмущать Россию против правительства». В соответствии с правительственными распоряжениями от 15, 19 и 22 апреля «Современнику» запрещено было публиковать статьи о праве собственности крестьян на землю, о выкупе земли и т. д. За пропуск статьи Г. А. Щербатову был объявлен высочайший выговор с внесением в послужной список (*Никитенко,* т. 2, стр. 19). Вскоре после этого он и был уволен «по прошению», то есть вынужден был подать в отставку.

Стр. 156. *...истории с студентом Штакеншнейдером...* — См. стр. 174.

...летом 1861 г. должен был оставить министерство Евграф Петрович Ковалевский; на его место вступил гр. Путятин... — То обстоятельство, что бывший министр Евгр. П. Ковалевский вынужден был в связи со студенческими волнениями весной 1861 г. подать в отставку, рассматривалось современниками как «торжество реакционных партий» (*Никитенко,* т. 2, стр. 187 и др.). Несколько позднее, после событий в Петербургском и Московском университетах, редакция «Колокола» писала о том, что «Путятин был избран по негодности. Он был исполнителем полицейского заговора» (л. 114, от 19 ноября (1 декабря) 1861 г.).

Стр. 157. *...Бутчик не явился на разбор дела.* — Все время до суда (5—6 марта) Бутчик, после произведенного у него обыска, содержался в университетском карцере и не мог уклониться от явки. Одно из предварительных решений судной комиссии было: «арест Бутчика продолжить до субботы», то есть решения суда (*ИРЛИ,* Архив Пантелеева). Уклонялся же Бутчик от участия в разборе дела в предварительной его стадии, в 20-х числах февраля (см. его письмо в воспоминаниях А. С. Френкеля «Кавказ», 1894, № 36, 8 февраля; другие письма находятся в архиве Пантелеева в *ИРЛИ*). Присутствие Бутчика на суде подтверждают и заметка в «Колоколе» (л. 102, от 19 июня (1 июля) 1861 г.) и статья В. Д. Спасовича «Пятидесятилетие Петербургского университета» (Соч., т. IV, СПб. 1891, стр. 25). Черновые материалы по делу Бутчика были в свое время переданы В. Д. Спасовичем Пантелееву; подлинники (вопросы Спасовича судьям, протоколы допроса и самого разбирательства, обвинительное заключение, переписка с университетским начальством и пр.) находятся в деле II отделения Литературного фонда (также в составе архива Пантелеева в *ИРЛИ*).

Стр. 158. *...в 90-х гг. была внесена одним из бывших распорядителей кассы...* — В *ИРЛИ* хранится черновик письма Л. Ф. Панте-

леева к Ю. С. Булаве (от 22 октября 1896 г.) со следующей пометкой: «1051 р. 84 к. были внесены мною в комитет общества вспоможения студентов Петербургского университета, где и числятся особым капиталом».

Стр. 160. *...Тиблен в Петербурге и Глазунов в Москве, кажется, выступили не ранее 1859 г. ...* — Издательство Тиблена начало свою деятельность с 1862 г., Глазуновых — в 1780 г.

Стр. 161. *...для кандидатской диссертации... «О пролетариате в древние, средние и новые времена»...* — Диссертация Е. Утина не была издана.

В 1872 г. имел дуэль с Жоховым... — А. Ф. Жохов вызвал на дуэль Е. И. Утина, оскорбленный намеками, которые Утин будто бы распространял об отношениях Жохова к жене Николая Гончарова, студента-технолога, члена народнического кружка, так называемой «Сморгонской академии». Гончаров был арестован в марте 1871 г. в связи с распространением прокламации «Виселица», в которой писал о том, что «начавшаяся в Париже революция распространится повсюду, проникнет в Россию». Разошедшаяся давно с мужем П. Гончарова, принимая участие в его судьбе, по совету Жохова пригласила в качестве защитника Е. Утина, рассчитывая, что этот адвокат, заявлявший о своем сочувствии революционерам, сумеет облегчить участь Гончарова и вместе с тем поможет ему держать себя достойно на этом процессе. На суде в феврале 1872 г. Утин свел дело к ненормальному душевному состоянию Гончарова, которое он объяснял отчаянием, вызванным увлечением его жены другим. Дуэль А. Ф. Жохова и Е. И. Утина расценивалась современниками как факт общественной жизни. См. В. Д. Спасович, Сочинения, т. I, СПб. 1894, стр. 224—247 (речь на суде в защиту Е. Утина); А. С. Суворин, Дневник, М.—Пг. 1923, стр. 200—203 и В. Ф. Боцяновский, Дуэль («Литературный современник», 1938, № 9).

...в возобновленном «Современнике» были напечатаны его письма с завода... — Что имеет в виду Пантелеев, не установлено.

На каторге ...Яковлев и умер, чуть ли не от тифа. — Эти сведения Пантелеев заимствует из письма к нему П. Д. Баллода. См. публикацию И. М. Троцкого в сборнике «Революционное движение 1860 годов», М. 1932, стр. 128—134 (с сокращениями: П. И. Валескалн, Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Материалы к биографии. Рига, 1957, стр. 127—132).

Стр. 161—162. *...Н. В. Шелгунов принес... прокламации... «К офицерам».* — Вероятно, речь идет о прокламации «Офицеры! Настало время каждому честному офицеру спросить у своей совести...», распространявшейся в начале апреля 1862 г. Прокламация была напе-

чатана в «Колоколе» (л. 133 от 3(15) мая 1862 г.) и позднее перепечатана в подпольной типографии П. Д. Баллода (см. Н. В. Шелгунов, Воспоминания, 1923, стр. 222, и *Никитенко,* т. 2, стр. 269). Текст ее см. в изд.: М. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., изд. 2-е, М.—Пг. 1923, стр. 548—550.

Стр. 162. *Совсем не походил на Яковлева... Лобанов.* — М. К. Лемке (там же, стр. 567), полемизируя с Пантелеевым, характеризует Лобанова как человека серьезного, и истина скорее на его стороне.

Стр. 163—164. *...«Записки Екатерины II»... «Права русского народа»... «Лондонский сход в 1854 г.»... речь Саффи...* — Пантелеев имеет в виду книгу «Записки Екатерины II», изд. Искандера, Лондон, 1859, напечатанную анонимно в третьей книге «Полярной звезды на 1857 г.», статью Н. В. Шелгунова «Права русского народа» и брошюру «27 февраля 1855 г. Народный сход в память переворота 1848 г.», Лондон, 1855. Саффи на митинге не выступал: было только прочтено присланное им письмо (стр. 48—60 назв. издания). О способах распространения третьей из названных брошюр можно судить по тому, что 25 августа 1860 г. товарищ статс-секретаря Рашет «уведомил шефа жандармов о поступлении с почты в пакетах на имя царя с «Народным сходом...» (*Герцен,* т. XXII, стр. 308). О том, каким образом хранились в университетской студенческой библиотеке «Колокол» и другие издания Герцена, см. рассказ И. А. Свиньина, библиотекаря студенческой библиотеки Петербургского университета в 1862 г.: «Колокол» переплетался в обложки от «Университетских известий» и в таком виде обращался, не вызывая подозрений («Воспоминания студента шестидесятых годов», Тамбов, 1890, стр. 8).

Стр. 164. *...бомбой влетела к нам «Сила и материя» Бюхнера в литографированном переводе.* — Литографированные издания «Силы и материи» подпольно выпускались в Москве в 1860 г. революционным кружком П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиропуло.

Стр. 166. *...думали, что сама дальнейшая жизнь сделает... поправки и в конце концов реформа принесет только положительные результаты.* — Вокруг вопросов, связанных с ликвидацией крепостного права, в русском обществе конца 50-х — начала 60-х гг. развернулась ожесточенная идейная борьба. Славословие «великих реформ» было характерно для либерального лагеря. Редакция революционно-демократического «Современника», понимавшая полукрепостнический характер реформы, встретила ее гробовым молчанием. По оценке Ленина, народ остался «и после отмены крепостного права в прежней, безысходной кабале у помещиков» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 65).

Стр. 166—167. *...написал... статью... друзья ему отсоветовали печатать.* — Речь идет о статье Кавелина «Уставная грамота» (впервые напечатана посмертно в т. II его собрания сочинений, СПб. 1898).

Стр. 167. *...коренная реформа судопроизводства и отмена телесного наказания...* — 29 сентября 1862 г. были опубликованы «Основные начала или положения судебного преобразования», легшие в основу судебной реформы 1864 г.: сословные суды были заменены судами для всех сословий; дела слушались при открытых дверях, с участием адвокатов и присяжных; отчеты о судебных заседаниях публиковались в газетах. По указу «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных», который, вероятно, имеет в виду Пантелеев, телесные наказания не отменялись совсем; освобождались от телесных наказаний женщины, представители духовенства, интеллигенция, отменялись палки во флоте, наказания плетьми, шпицрутены в армии.

О проекте земских учреждений... — Подготовка земской реформы, в соответствии с которой создавались земские учреждения как органы местного самоуправления в области хозяйственной деятельности, велась одновременно с подготовкой крестьянской реформы. В 1859 г. правительством была создана комиссия под председательством Н. А. Милютина (затем с 1861 г. — П. А. Валуева), которая должна была подготовить проект преобразования губернского управления. Осенью 1862 г. «главные начала» земской реформы получили «высочайшее одобрение» и были опубликованы («Северная почта», № 212), а с 1 января 1864 г. «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» получило силу закона. Эта реформа, как писал позднее В. И. Ленин, «была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска». Однако проведена она была так, что «земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 32). Интересно, что даже такой весьма либерально настроенный современник, как Пантелеев, пишет о том, что «общественная мысль тогда питалась желаниями и надеждами, шедшими далее, чем то, что могли непосредственно дать земские учреждения».

Стр. 170. *...в границах до «разбора»* — то есть до раздела 1795 г. (после разгрома восстания Т. Костюшко) между Россией, Австрией и Пруссией «Речи Посполитой», в которую помимо собственно польских земель входили Литва, Курляндия и западные районы Белоруссии.

...о... ненормальных условиях, в которых применялась конституция 1815 г. ... — В соответствии с решениями Венского конгресса центральная часть Польши с ее столицей Варшавой составила королевство (Царство) Польское и была присоединена к России. В ноябре 1815 г. в Варшаве Александр I подписал конституцию Царства Польского. Однако назначение великого князя Константина главнокомандующим польской армией, скрытая антипольская деятельность императорского комиссара при Административном совете Н. Н. Новосильцева и другие меры русского правительства свидетельствовали о том, что игра Александра I в «либерала на троне» вскоре будет оставлена. Так, уже в 1819 г. была введена, вопреки конституции, цензура, в ходе сессии второго сейма (1820 г.) поступило 80 петиций «с жалобами на неконституционные действия правительства» и т. д. (см. «История Польши», том I, М. 1954, стр. 409—414).

...«Органический статут» (1832 г.)... — Речь идет о манифесте Николая I от 14 февраля 1832 г. «О новом порядке управления...» в Царстве Польском — вместо ликвидированной после разгрома восстания 1830—1831 гг. конституции (см. «Полное собрание законов Российской империи». Собрание второе, т. VII, СПб. 1833, № 5165).

...Муханов... всем управляет, а не руина Горчаков. — Герцен писал в статье «1860 год»: «...Горчакова совсем нет, а есть его мундир с дырой сзади, в которую фигляр Муханов запустил пальцы и представляет, будто покойник жив — на оскорбление польского народа» («Колокол», л. 60, от 20 декабря 1859 г. (1 января 1860 г.), имея в виду влияние, которым пользовался у Горчакова, польского наместника в 1856—1861 гг., П. А. Муханов — попечитель Варшавского учебного округа и главный директор комиссии внутренних и духовных дел.

...до начала варшавских демонстраций... — Пантелеев имеет в виду демонстрации 13(25) и 15(27) февраля 1861 г., в годовщину так называемого Гроховского сражения 1831 г. между польскими повстанцами и русскими войсками, а также демонстрацию 8 апреля в Варшаве, когда «польский народ... хотел показать свое недоверие, свое неудовольствие» (Герцен) императорским указом о государственном устройстве Польши (март 1861 г.). Расстрел этих мирных демонстраций явился началом массовых волнений в Польше, которые привели впоследствии к восстанию 1863 г.

Стр. 171. *...см. предисловие Ф. Берга к его переводу «Пана Тадеуша».* — В предисловии к изданию: А. Мицкевич, Пан Тадеуш, пер. Ф. Берга, Варшава, 1875, переводчик пишет о том, что М. Н. Катков еще в 1844 г. обратил его внимание на эту поэму (стр. XXI).

...были изображены два студента... — Найти эту каррикатуру не удалось.

Стр. 173. *...панихида... по пяти убитым.* — Панихида состоялась 22 февраля 1861 г. Подробности, подтверждающие рассказ Пантелеева, см. в статье Н. Н. Родзевича «Отставка Е. П. Ковалевского» («Исторический вестник», 1905, № 1). Аналогичное богослужение состоялось в Москве 17 марта. Присутствовало свыше 200 студентов.

...проводила Шевченка... было напечатано в «Основе». — См. «Основа», 1861, № 3, а также заметку Пантелеева «Смерть и похороны Шевченко» в «Речи», 1911 г., 26 февраля, № 55 (вырезка из газеты с соответствующей пометой вклеена в рабочий экземпляр).

Стр. 175. *...мне писал Огрызко...* — Письма Огрызко к Пантелееву (девять писем 1880—1887 гг.) хранятся в архиве *ИРЛИ*.

...его... «Задачи этики»... — Брошюра К. Д. Кавелина «Задачи этики» вышла в 1885 г.

...была запрещена... благородно держал себя... — За то, что И. Огрызко в № 15 газеты «Slovo» за 1859 г. процитировал приветственное письмо к нему одного из руководителей польского восстания 1830 г. Иоахима Лелевеля, газета была запрещена, Огрызко заключен на месяц в Петропавловскую крепость, а председателю С.-Петербургского цензурного комитета И. Д. Делянову было сделано «строгое замечание». Делянов в официальном письме к шефу жандармов Долгорукову действительно писал: «...Если в настоящем случае есть какая-либо вина, то последствия оной должны падать на меня» (*Герцен*, т. IX, стр. 547). В *ЦГИАЛ* хранятся два обширных цензурных дела по истории журнала (ф. 772, № 4189 (151544) и № 4773 (152171). Ср. Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XVI, СПб. 1902, стр. 363—367, и *Никитенко*, т. 2, стр. 66, 67, 69, 73.

Стр. 176. *...для известных целей из имени Огрызко сделали страшилище* — то есть в целях борьбы с революционным движением.

Стр. 177. *Последние слова объясняются...* — Речь идет о словах «вернусь в Сибирь»; дополнение после них — из рабочего экземпляра Пантелеева.

Стр. 179. *...послание к М. И. Михайлову, написанное в крепости.* — Н. Я. Николадзе утверждает, что автором стихотворения «Из стен тюрьмы, из стен неволи...» (впервые напечатано в «Колоколе» — прибавление к лл. 119—120 от 3/15 января 1862 г.), адресованного сидевшему в то время в Петропавловской крепости Михайлову, был не Н. И. Утин, а И. А. Рождественский («Каторга и ссылка», 1927, № 4, стр. 44—45).

Стр. 182. *...на фотографической группе...* — См. воспроизведение этой фотографии в наст. издании.

Дельная кандидатская диссертация Хорошевского... — По-видимому, эта диссертация напечатана не была.

Стр. 184. *О Хорошевском... некролог В. И. Модестова «Несчастный человек»...* — Найти этот некролог не удалось.

Стр. 186. *Вышли публичные лекции Н. М. о Горации... Михайловский в этом духе и написал рецензию.* — Книга Н. М. Благовещенского «Гораций и его время» вышла в свет в 1864 г., когда ни Добролюбова, ни Михайловского не было в живых. Рецензия на это издание в «Современнике» неизвестна. Публичные лекции — брошюра не о Горации, а о Ювенале. У Пантелеева речь идет о «Сатирах Квинта Горация Флакка» в переводе М. Дмитриева (М. 1858), на которые в «Современнике» (1858, № 10) была напечатана рецензия Н. М. Михайловского, разоблачавшая, между прочим, «политическое флюгерство» Горация. Эта рецензия в течение долгого времени приписывалась Добролюбову, в том числе и в последнем его «Полном собрании сочинений», т. 1 (см. поправку в т. 5, стр. 577), ошибочно — даже в самое последнее время, например в статье Ю. Н. Троицкого «Гораций в оценке русских революционеров-демократов» («Ученые записки Тульского педагогического института», вып. 3, 1952), А. А. Тахо-Годи, «Проблемы античной культуры у Добролюбова» («Ученые записки Московского областного педагогического института», т. 55, 1957).

...А. В. в своих воспоминаниях свою оппозицию кандидатуре Введенского объясняет якобы круглым невежеством последнего. — В своем «Дневнике» (изданном в 1893 и 1905 гг.) Никитенко писал о том, что Введенский «выказал достаточно сведений», но «изложил их неосновательно, непоследовательно, с наезднически-семинарским ухарством» (*Никитенко,* т. 1, стр. 342 и 524). Дополнительные материалы см. в статье В. Г. Базанова «И. И. Введенский и Н. Г. Чернышевский. К истории русской фольклористики» (сб. «Русский фольклор. Материалы и исследования, т. I, изд-во Академии наук СССР, М.—Л. 1956, стр. 165—166).

Стр. 187. *...по учебнику Реньо в переделке Егорова.* — Пантелеев имел в виду издание: В. Реньо, Начальные основания химии. Перевод и предисловие П. Егорова, СПб. 1852, переиздания 1854, 1857, 1859 и 1862 гг.

...«О новгородских скрах»... — Такой работы у И. Е. Андреевского нет. Пантелеев имеет в виду его книгу «О правах иностранцев в России до вступления Иоанна III Васильевича на престол Великого княжества Московского», СПб. 1854, в которой, между прочим, автор пишет о скрах-съездах ганзейских купцов и ссылается

на книгу H. Behrmann'a «De skra van Nougarden», Копенгаген, 1828; с этой книгой Пантелеев, вероятно, и спутал книгу самого Андреевского.

Стр. 189. ...*защиту Кимонова мира.* — См. М. М. Стасюлевич, Защита Кимонова мира. Критико-историческое рассуждение. СПб. 1852.

Стр. 189—190. ...*в звании ...то есть с правом голоса.* — Адъюнкты в заседаниях факультета правом голоса не пользовались.

Стр. 190. ...*Касторский (нашел приют в цензурном комитете)...* — Касторский служил в цензурном ведомстве с 1860 г.

Стр. 191. ...*Павлова... первый дал толчок к открытию воскресных школ; движение это охватило тогда всю Россию.* — Первая воскресная школа была организована в Киеве в 1859 г., а в 1861 г. в России их было уже 274, в том числе 28 в Петербурге. Создававшиеся по инициативе кружков прогрессивной интеллигенции, они являлись одним из проявлений нараставшего общественного подъема. «Конечно, дело не в воскресных школах, а в народном движении, которое ими выражается», — писал в своем дневнике Никитенко 23 декабря 1860 г. в связи с намерением шефа жандармов Долгорукова и Александра II «принять репрессивные меры» (*Никитенко,* т. 2, стр. 168, 170). О роли Павлова в создании первых воскресных школ см. «Исторические записки», т. 52, М. 1955, стр. 245 и 259—260.

Невольное пребывание в Ветлуге... — П. В. Павлов был выслан из Петербурга в Ветлугу за речь о тысячелетии России, произнесенную 2 марта 1862 г. на публичном вечере.

Умер в 1895 г. в Киеве.—Вставка из экземпляра А. В. Куликова.

...*в ...оппозицию путятинским мероприятиям...* — См. главу «Студенческая история».

Стр. 192. ...*«Богданом Хмельницким» в последнем издании, появившемся в конце 70-х гг.* — «Богдан Хмельницкий» Н. И. Костомарова вышел исправленным и дополненным (третьим) изданием не в конце 70-х гг., как пишет Пантелеев, а в 1870 г., а потом был переиздан уже в 1884 г.

Н. И. ...в Петропавловской крепости... — Костомаров находился в заключении в Петропавловской крепости в 1847—1848 гг. по обвинению в принадлежности к так называемому Кирилло-Мефодиевскому братству — тайной политической организации, возникшей в декабре 1845 — январе 1846 г. в Киеве и ставившей своей задачей создание славянской демократической федерации под главенством Украины. В марте 1847 г. общество было раскрыто правительством. Т. Г. Шевченко был отдан в солдаты с запрещением писать и рисовать. Костомаров после года заключения в Петропавловской кре-

пости был выслан в Саратов «на службу, но не по ученой части, с учреждением за ним строжайшего надзора» и т. д.

...Касторскому, которого под именем Креозотова так мастерски воспроизвел Писарев в своих университетских воспоминаниях. — Пантелеев имеет в виду статью Писарева «Наша университетская наука («Русское слово», 1863 г., №№ 7 и 8; см. Д. И. Писарев, Соч., т. 2, М. 1955, стр. 138—142).

Стр. 193. *...Бестужев-Рюмин... печатает... пространную статью...* — Пантелеев имеет в виду анонимную статью «Современное состояние русской истории как науки» в «Московском обозрении», 1859, № 1.

...Карамзина... перечитать... — Речь идет о многотомной «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

...Справиться с Соловьевым. — В рабочем экземпляре эта сноска снабжена пометой: «Но М. Арс. Богданова (по мужу Быкова) в те времена однако одолела всего Соловьева».

Прискорбная думская история... ...агитации... против Костомарова, как представителя сепаратизма. — См. стр. 262—268 и 731.

...о Репетиловых, которые завтра превратятся в Расплюевых. — Репетилов — персонаж «Горя от ума» А. С. Грибоедова; Расплюев— «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина.

...на Страстном бульваре — то есть в Москве в редакции «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Каткова.

Стр. 193—194. *...Вот проведут железные дороги... малоруссов от великоруссов.* — Появление этих строк в газете «Русские ведомости» вызвало статью Д. Л. Мордовцева: «Что-то на это скажут щири украинци?» («Новое время», 1902, № 9295). Цитатами и ссылками на статью Н. И. Костомарова «Две русские народности» Мордовцев доказывал неточность изложения Пантелеева. Пантелеев отвечал Мордовцеву в «Русских ведомостях» (1902, 2 февраля, № 33), настаивая на точности своего сообщения.

Стр. 194. *...художественный рассказ «Два маляра».* — Пантелеев имеет в виду «Воспоминание о двух малярах» (Шевченко и Грицке) Костомарова («Основа», 1864, № 4).

...его магистерскую диссертацию об унии. — Эта чрезвычайно редкая (сожженная по требованию цензуры) книга имеется в настоящее время в Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде («О причинах и характере унии в Западной России». Харьков, 1842). «По-видимому она сохранилась...» — приписка в рабочем экземпляре.

Стр. 195. *В 1863 г. ...«Московские ведомости» открыли... решительный поход... назначение было взято обратно.* — 21 августа 1864 г. В. Д. Спасович был избран ординарным профессором Казанского университета по юридическому факультету, 13 октября был

утвержден министерством народного просвещения в этой должности, а 14 декабря был уволен, не приступая к работе. Важную роль сыграла резко отрицательная рецензия С. Баршева на учебник уголовного права Спасовича (приложение к «Московским ведомостям» — «Современная летопись», 1864, №№ 9, 10 и 11, ср. «Русский вестник», 1864, № 4, стр. 769—813). Ответ В. Д. Спасовича на эту рецензию был напечатан в «С.-Петербургских ведомостях», 1864, № 77. Как сообщал П. А. Плетневу М. М. Стасюлевич, правительство приняло во внимание эту носившую доносительский характер рецензию («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. 1, СПб. 1911, стр. 173—174).

Стр. 196. *Что касается до гражданского права... что наш X том... перейдет в двадцатое столетие.* — Судебная реформа начала осуществляться в 1864 г. Десятый том «Свода законов» заключал в себе в числе прочих «Законы гражданские». В действовавший до 1917 г. т. XVI «Свода законов» при переиздании 1885—1897 гг. был целиком включен из т. X издания 1857 г. «Устав гражданского судопроизводства».

Гегелевская троица — то есть учение о диалектике (тезис — антитезис — синтез).

Стр. 197. *...его недавняя отставка от преподавания наследнику...* — Кавелин был отстранен в 1858 г. от преподавания наследнику за напечатанное в «Современнике» извлечение из его «Записки об освобождении крестьян».

...курс... Мейера... — Имеется в виду «Русское гражданское право» Д. И. Мейера, представлявшее собою его лекции, обработанные после его смерти и изданные в 1861 г. А. Вицыным.

...К. Д. в известном письме к Герцену говорит, что он мыслит и чувствует по Герцену. — Пантелеев имеет в виду письмо К. Д. Кавелина А. И. Герцену (август 1857 г.), опубликованное М. П. Драгомановым в изданной в 1892 г. в Женеве книге («Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену»). Однако выводы, которые делает Пантелеев из письма Кавелина, весьма далеки от истины: говоря о том, что «несостоятельность всего существующего выдается все с большею... резкостью», считая, что с Герценом он «расходится» «не в целях и в основаниях... а скорее в средствах, которые ведут к целям», Кавелин, в соответствии со своими умеренно-либеральными в тот период воззрениями, вместе с тем неоднократно подчеркивает, что «заграничный орган» должен «посвятить» «себя исключительно критике нашего законодательства и администрации с самой умеренной точки зрения» (стр. 4—6). Как известно, позиция Кавелина уже начала 60-х гг. вызвала характеристику В. И. Лениным его как одного из «отвратительнейших ти-

пов либерального хамства» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 13).

...в «Переписке Петербурга с Москвой»... — Пантелеев имеет в виду напечатанную в 1860 г. в «Свистке» № 3 сатиру Некрасова и Добролюбова «Дружеская переписка Москвы с Петербургом».

Стр. 199. *...на всех удручающее впечатление произвело назначение Панина.* — Реакционер В. Н. Панин в феврале 1860 г. был назначен председателем «редакционных комиссий» по выработке проекта освобождения крестьян. Об этом назначении Герцен писал в «Колоколе» как об «обдуманном оскорблении общественного мнения» (л. 65 от 18 февраля (1 марта) 1860 г.). Человек весьма умеренных взглядов, А. В. Никитенко писал, что «это назначение поразило как громом всех друзей свободы и улучшений» (*Никитенко*, т. 2, стр. 108).

Стр. 200. *...но очень часто рассказывал...* — Приписка в рабочем экземпляре.

Стр. 201. *...неудержимой реформаторской работы Головнина...* — В самом конце 1861 г. на пост министра народного просвещения был назначен вместо Путятина А. В. Головнин. По воспоминаниям Е. М. Феоктистова, «проекты самые разнообразные сменялись в его голове, как в калейдоскопе, с изумительною быстротой» (Е. М. Феоктистов, Воспоминания, Л. 1929, стр. 130). Однако Пантелеев, говоря о желании Головнина «поднять научный уровень наших университетов» (стр. 205), преувеличивает, разумеется, его «либерализм» (ср. *Никитенко,* т. 2, стр. 254 и др.).

...пересмотр уставов университетов и средних учебных заведений. — Имеется в виду пересмотр университетского устава (1863), устава гимназии (1864), положения о народных школах (1864) и др.

...моя заметка в «Былом», кажется в ответ Лемке. — Письмо в редакцию напечатано Пантелеевым в «Былом» (1907, № 3) в ответ на заметку М. К. Лемке (там же, № 1), в которой он справедливо писал о широком замысле тайного общества харьковских студентов.

Стр. 202. *...закрытии в 1859 г. Педагогического института.* — Н. А. Добролюбов — бывший воспитанник этого института—откликнулся на его закрытие рецензией в Современнике (1859, № 8) на книгу «Краткое историческое обозрение действий Главного педагогического института. 1828—1859» (*Добролюбов,* т. IV).

Стр. 203. *...Тиблен стал выпускать его...* — Речь идет об издании 1863—1864 гг. — двухтомной «Истории цивилизации в Англии» Бокля.

...Фейербах... никогда не появлялся в настоящем русском издании. — В России в начале 60-х гг. были только подпольные литографированные издания московского кружка П. Г. Зайчневского и П. Э. Аргиропуло «Лекций о сущности религии» и «Сущности христианства» (ср. *ЛН,* № 62, стр. 703); заграничные издания этих книг: первая в переводе Федоровского (Гейдельберг, 1862), вторая — в переводе П. Н. Рыбникова (псевдоним — «Филадельф Феомахов», Лондон, 1861).

Тюбингенская школа — школа протестантских теологов-рационалистов (Ф. Бауэр и др.).

Даже «Полемические красоты»... — Статья Чернышевского («Современник», 1861, №№ 6 и 7) была направлена против общественной позиции «Русского вестника» и «Отечественных записок».

Стр. 204. *...слишком умеренными, например прокламации «Великорусс»...* — «Великорусс» — первые политические прокламации, распространявшиеся в России в июле (листок № 1), сентябре (№ 2) и октябре (№ 3) 1861 г. и выпущенные от имени комитета, состав которого до настоящего времени не установлен. За распространение прокламации был приговорен к каторжным работам сотрудник «Современника» В. А. Обручев. Основные требования «Великорусса» — введение конституции, принятой учредительным собранием, освобождение крестьян «по крайней мере» «с землями и угодьями, которыми пользовались они при крепостном праве... на счет всей нации», то есть без выкупа, «безусловное освобождение Польши», право Украины располагать своей судьбой. Комитет заявлял о том, что он «вместе с передовою частью патриотов уверен, что законность и нынешняя династия — вещи, которых нельзя соединить», однако предлагал «на первый раз испытать мирные средства»: обратиться к царю с «адресом» (текст которого был приложен к № 3), написанным «в самом умеренном духе, чтобы все либеральные люди могли принять его». На страницах «Колокола», кроме заметки Герцена «Заводите типографии! Заводите типографии!» (л. 105 от 24 июля (5 августа) 1861 г.), приветствовавшей «Великорусс» как первое нелегальное русское издание, появился и «Ответ «Великоруссу», написанный одним из братьев Серно-Соловьевичей. Здесь указывалось на ошибочность апелляции к «обществу» (которое связывает с правительством «общность интересов, общность преступлений»). «Пришла пора борьбы непрерывной, беспощадной до последнего издыхания враждебной силы» (л. 107, 3/15 сентября 1861 г.).

«Молодая Россия». — См. стр. 745.

«Мало было в России... педагогический институт» — из статьи

В. И. Модестова «В. Гр. Васильевский» в «Журнале министерства народного просвещения», 1902, № 1, стр. 137.

...в «Эпохе» Ф. М. Достоевского... «Сказание о дураковой плеши» в разгаре полемики с возрожденным «Современником». — Статья Игдева (псевдоним И. Г. Долгомостьева) «Сказание о дураковой плеши» напечатана в журнале «Время», 1863, № 3 и посвящена полемике «Современника» с журналом Л. Н. Толстого «Ясная поляна» по педагогическим вопросам (см. рецензию Н. Г. Чернышевского в «Современнике», 1862, № 3; *Чернышевский,* т. X, стр. 503—517). Говоря о «возрожденном «Современнике», Пантелеев имеет в виду выход первого номера «Современника» после восьмимесячного запрещения.

Стр. 205. *Д. Ф. Щеглов... молившийся на Прудона...* — Ср. запись 1855 г. в дневнике Добролюбова о Щеглове: «умный, но смотрящий на все с какой-то странной точки, над всем смеющийся и ничем не возмущающийся, очень молодой и легкомысленный» (*Добролюбов,* т. VI, стр. 397 и др.).

...статья Н. И. о происхождении Руси... — См. стр. 727.

...в 1861—1862 гг. он принимал... деятельное участие в «Библиотеке для чтения»... — В 1861 и 1862 гг. Д. Ф. Щеглов под псевдонимом «К. Охочекомонный» напечатал в «Библиотеке для чтения» ряд статей — большинство их было посвящено вопросу об образовании и отличалось реакционностью.

В половине 80-х гг. ...издать второй том его «Истории социальных учений». — Второй том «Истории социальных систем» Д. Ф. Щеглова был издан в Петербурге в 1889 г. (типография Н. А. Лебедева).

...предстоящее открытие... новых университетов — в Одессе и Вильно... — Новороссийский университет в Одессе был открыт в 1865 г.; Виленский университет, основанный в 1803 г., был закрыт Николаем I после восстания 1830—1831 гг. в Польше и открыт больше не был.

Стр. 206. *Редактором был Рехневский.* — В 1862 г. редактором «Журнала министерства народного просвещения» был К. Д. Ушинский; Ю. С. Рехневский стал им лишь в 1864 г.

...первые отчеты В. И. Модестова и А. Г. Новоселова, в которых они весьма нелестно отзывались о лекциях некоторых немецких светил... — В. Модестов в своем отчете, между прочим, писал: «Гаупт... стоит во главе тех филологов, которые главное внимание при чтении писателя обращают на «varietas lectionis» <разночтения — *лат.*>... По моему мнению, лекции Гаупта не имеют для слушателей другой цены, кроме упражнения в латинском разговоре» («Журнал министерства народного просвещения», 1862, ч. 115,

стр. 148). Магистрант А. Новоселов в своем отчете о профессоре Беке — известном филологе XIX в. — писал: «...этот почтенный профессор до того устарел и одряхлел, что для более живых и умных лекций у него недостает ни физических, ни духовных сил: у кого нет жизни в душе, от того, разумеется, нельзя требовать жизни и в деятельности...» Еще резче отзыв о текстологических упражнениях Гаупта: «...Стоит ли молодому, истинно любознательному человеку 30 часов в неделю убивать на слушание таких комментарий? Неужели здесь есть для него что-нибудь живое, развивающее ум и сердце, внушающее любовь к гражданским доблестям и приготовляющее его к жизни?..» (там же, ч. 116, стр. 57—58).

...будет издавать... «Голос». — Газета, получавшая негласную правительственную субсидию, начала выходить с 1863 г.

Стр. 206—207. *...Пушкин, будучи лицеистом... горничной.* — Этот эпизод из жизни Пушкина, относящийся к 1816 г., рассказан в записках И. И. Пущина («Атеней», 1859, ч. 2, № 8, стр. 520—521) и у Я. К. Грота («Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», СПб. 1887, стр. 309). Последние строки сноски (они взяты из рабочего экземпляра) не вполне ясны. А. П. — может быть, описка вместо следующего тут же А. Н. — под этими инициалами мог подразумеваться брат Л. Н. Майкова — поэт Аполлон Майков, сконч. в 1897 г. Менее вероятно, что речь идет о брате Н. П. Барсукова — историке А. П. Барсукове.

Стр. 207. *Будучи убежденным классиком...* — то есть сторонником «классической» системы образования.

Стр. 209 *...диссертацию... о развитии идеи свободной торговли... точного заглавия не помню.* — «О развитии и распространении идеи свободной торговли», 1859.

...Калиновскому пришлось переселиться в Астрахань... — точнее — в Енотаевск Астраханской губернии; в Астрахань был переведен впоследствии. Увольнение Калиновского из университета мотивировалось его политической неблагонадежностью и сношением с Герценом. В 1863 г. он был арестован в связи с «Казанским заговором» (см. стр. 757) и сослан в Бийск, Томской губернии («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 153—154).

...Чернышевским... в «Прологе пролога»... — Пантелеев имеет в виду пролог романа «Пролог» (*Чернышевский,* т. XIII).

Стр. 212. *...того значения, как это бывало в Москве в 40-х гг.* — Московский университет 40-х гг. был одним из центров прогрессивной общественной мысли своего времени. Большое общественное значение имела полемика Грановского со славянофилами в прочи-

танном в 1843/44 г. курсе публичных лекций по истории средних веков и на защите им 21 февраля 1845 г. магистерской диссертации «Волин, Иомсбург и Винета». Лекции, по определению Герцена, пропагандировали «постоянный глубокий протест против существующего порядка в России» («Былое и думы», гл. XXIX).

Стр. 212—213. *...диспуте Устрялова... в средине 30-х гг. ... провалом патриотически-официальной теории.* — Н. Г. Устрялов 21 ноября 1836 г. защищал в Петербургском университете свою докторскую диссертацию «О системе прагматической русской истории» (СПб. 1836). По словам официального историка Петербургского университета В. В. Григорьева, эта диссертация доставила Устрялову «не только искомую степень, но и открыла двери в императорскую Академию наук» (В. В. Григорьев, Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб. 1870, стр. 222). По свидетельству другого современника, «Устрялов защищался слабо против возражений Плетнева, особенно Германа и Литвинова, бывшего профессора в Виленском университете. Последний вышел на арену, когда Устрялов начал доказывать, что Литва всегда составляла часть России; попечитель испугался, как... сам потом ... говорил, чтобы не вышло соблазнительного спора, а потому он поспешил прекратить диспут» (*Никитенко,* т. 1, стр. 189; ср. также Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. V, СПб. 1892, стр. 42; П. А. Вяземский, Полн. собр. соч., СПб. 1879, т. II, стр. 225—226).

Стр. 213. *Женщины в Петербургском университете.* — Свод сведений по истории борьбы за право женщин слушать лекции см. в статье С. Ашевского «Русское студенчество в эпоху шестидесятых годов» («Современный мир», 1907, № 7—8, стр. 19—25).

...в изданной переписке Я. Грота с Плетневым имя... не раз упоминается. — Многочисленные упоминания о М. А. Корсини (урожд. Быстроглазовой) содержатся в тт. 2 и 3 «Переписки Я. К. Грота с П. А. Плетневым», СПб. 1896 (см. по указателю имен).

Стр. 214. *...М. М. Коркунова, впоследствии г-жа Манассеина, известная своими писаниями по всем отраслям.* — М. М. Манассеина — автор ряда статей и книг по вопросам искусства, педагогики, психологии, физиологии и медицины. Список ее работ к 1901 г. составлял свыше 100 названий (см. «С.-Петербургские ведомости», 1901, 31 января, № 30).

...гр. Ф. П. Толстой... вместе с своим семейством посещал лекции... — Дочь Ф. П. Толстого — Е. Ф. Юнге — в своих воспоминаниях подробно рассказывает историю посещений ею университета: первые два раза на лекции ездила мать, для того чтобы убедиться в добропорядочности студенческих нравов, только на третий раз

дочери было разрешено одной пойти на лекцию (Е. Ф. Юнге, Воспоминания, М. <1914>, стр. 216).

Стр. 215. *...с проектом преобразования наших университетов ... М. М. Стасюлевич ... возражал...* — Костомаров развивал идею о том, что университет должен стать исключительно «воспитательно-ученым» учреждением, как Collège de France, не дающим никаких специальных прав и преимуществ, местом, где студенты будут заниматься «чистой наукой», не «увлекаясь» политикой. См. его статьи в «С.-Петербургских ведомостях» за 1861 г. (№№ 237, 258, 261, 262, 270, 275 и 281), а также возражения ему там же М. М. Стасюлевича (№ 255), Барсова (№ 245), Педагога <Воронова> (№№ 257 и 272), Лебедева (№ 255), Бекетова (№ 256), Никитенко (№ 265) и др.

...высказывает... отсталые идеи, когда касается женского вопроса... — См. стр. 342.

Стр. 220. *...вначале... имели более широкое общественное значение.* — Впоследствии правительство ввело очень стеснительные «Правила о литературных чтениях» («С.-Петербургские ведомости», 1862, 15 марта, № 57).

...в 1858 г. товарищество «Общественная польза»... — Издательство «Общественная польза» начало свою деятельность в 1860 г.

Учредители: Водов, Похитонов... — Сноска из экземпляра Куликова.

Стр. 221. *...как то... свидетельствует Достоевский...* — Сам «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского за январь 1877 г. (раздел III).

Честь открыть первое чтение выпала на И. С. Тургенева... — Программа первого вечера была следующая: Я. П. Полонский («Наяды» и «Иная земля»), И. С. Тургенев («Гамлет и Дон-Кихот»), А. Н. Майков («Приговор»), В. Г. Бенедиктов («Борьба» и «И ныне»), Н. А. Некрасов («Блажен незлобивый поэт...» и «Еду ли ночью по улице темной...»), Б. Маркевич (отрывок из «Ричарда III» Шекспира в переводе Дружинина). Тургенев пользовался особым успехом. Об этом он подробно писал своей дочери 11/23 января 1860 г., то есть на следующий день (E. Séménoff, La vie douloureuse d'Ivan Tourgeuneff (avee des lettres inèdites). «Mercure de Françes», 1932, t. 2, № 807, p. 552, или отд. изд. Paris, 1933, p. 107). Ср. также Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, Academia, 1934, стр. 246, и А. Д. Галахов, Сороковые годы («Исторический вестник», 1892, № 1, стр. 140—141). Речь Тургенева была напечатана в январской книжке «Современника» за 1860 г.

...ошибку М. А. Антоновича (в его воспоминаниях о Добролюбове). — Воспоминания М. А. Антоновича о Добролюбове были опубликованы в «Журнале для всех», 1902, № 1. С дополнениями

перепечатаны в изд. «Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания, Г. З. Елисеев, Воспоминания», М.—Л. 1933 (упоминаемое Пантелеевым место — на стр. 161).

Тургенев в разговоре с Чернышевским выразился... — См. статью Чернышевского «В изъявление признательности» (т. X, стр. 123).

...на вечере в пользу кассы студентов университета. — Речь идет о литературном вечере в актовом зале Петербургского университета, где выступали Тургенев («Хорь и Калиныч»), Островский (отрывки из «Свои люди сочтемся»), Полонский, Некрасов и Майков (см. «С.-Петербургские ведомости», 1860, 16 марта, № 59). По-видимому, Пантелееву осталось неизвестным, что часть сбора, официально предназначавшегося недостаточным студентам, была передана ссылаемым М. И. Михайлову и В. А. Обручеву.

...Писемский... читал... из «Гаванских чиновников»... Генслера... до необычайного совершенства. — Ср. в воспоминаниях Е. А. Штакеншнейдер: «Гаванские чиновники» в своем роде вещь мастерская, но все-таки долго выслушивать ее было скучновато. Читал Писемский с любовью» (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, стр. 281).

Стр. 222—223. *И. А. Гончаров... «Эпизоды из жизни Райского».* — Гончаров читал «эпизоды из жизни Райского» («Софья Николаевна Беловодова») 6 февраля 1860 г. в зале Пассажа на публичном чтении в пользу Литературного фонда (см. «С.-Петербургские ведомости», 1860, 5 февраля, № 28).

Стр. 223. *На первом чтении... Некрасов читал «Филантроп» и «Еду ли ночью...»* — Некрасов предполагал прочесть «Филантропа», в котором современники узнавали Одоевского. Последний обратился к Некрасову с письмом (см. «Архив села Карабихи», 1916, стр. 132—135). Поэт отвечал Одоевскому, опровергая ходивший по Петербургу слух, и указывал, что в «Филантропе» «вывел черту современного общества» (см. *Некрасов,* т. X, стр. 412). Е. А. Штакеншнейдер свидетельствует, что Некрасов прочел на вечере не «Филантропа», а «Блажен незлобивый поэт...» и «Еду ли ночью по улице темной...» «Публика требовала «Филантропа», объявленного на афише. Но Некрасов объяснил, что его ему прочесть будет трудно для груди. Некрасов действительно читает таким гробовым голосом, что можно поверить, что ему трудно читать. И публика поверила, должно быть, потому что прокричала: «Браво» и успокоилась» (цит. изд., стр. 247). С этим согласуется запись в дневнике В. Ф. Одоевского 10 января 1860 г.: «Чтение в Пассаже в пользу литераторов. Некрасов сказал, что слабость груди препятствует ему читать более. Публика вела себя удивительно и восхитительно» (*ЛН,* № 22—24, 1935, стр. 103).

...Некрасов... «Стой, ямщик». — Речь идет о стихотворении Некрасова «Песня Еремушке» (1859).

...широко распространенное предубеждение. — Легенда об отстранении Белинского от участия в редакции «Современника» из корыстных соображений и о растрате Некрасовым следуемых Огареву с А. Я. Панаевой денег, тщательно исследованная советскими литературоведами, опровергается рядом документальных данных. См. книги: Я. З. Черняк, Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве, Academia, М.—Л. 1933, и В. Е. Евгеньев-Максимов, «Современник» в 40—50 гг., Л. <1934>, стр. 79—110.

Стр. 224. *...рассказ А. Я. Панаевой (в ее «Воспоминаниях»)...* — Пантелеев имеет в виду главу пятнадцатую воспоминаний А. Я. Панаевой, печатавшихся в 1889 г. в «Историческом вестнике», а в 1890 г. вышедших отдельным изданием под названием «Русские писатели и артисты» (см. А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания, М. 1956, стр. 282—285 и 429—430).

...о трех тысячах рублей, якобы данных Тургеневым Некрасову для передачи Герцену, как это много позднее рассказывал Н. Успенский. — Пантелеев имеет в виду вышедшие в 1889 г. весьма недостоверные воспоминания Н. Успенского «Из прошлого». По-видимому, Н. Успенский имел в виду ликвидацию старого (1846 г., при организации издания «Современника») долга Некрасова Герцену. Этот долг Герцен перевел еще в 1850 г. на Тургенева, о чем забыл в 1857 г., когда отказался, во время пребывания Некрасова в Лондоне, принять его, передав ему через Тургенева его расписку 1846 г. Недоразумения с уплатой этого долга вызвали переписку Некрасова, Тургенева и Герцена (см. *Некрасов,* т. X, стр. 342—352).

...видел Некрасова... осенью 1862 или 1863 г. ... только что вернулся из-за границы... — В 1862 и 1863 гг. Некрасов за границей не был. Вероятно, Пантелеев имеет в виду конец октября 1864 г.

Стр. 225. *...Шевченко был встречен... задушевно... из «Гайдамаков» и «Думы мои, думы».* — Ср. в записях дневника Е. А. Штакеншнейдер: «Едва успел он войти, как начали хлопать, топать, кричать... Думаю, что неистовый шум этот относился не столько лично к Шевченко, сколько был демонстрацией. Чествовали мученика, пострадавшего за правду... Он нагнул голову и не мог вымолвить слова. Стоял, стоял и вдруг повернулся и вышел, не раскрыв рта... Вдруг из двери, через которую выходили на эстраду чтецы, кто-то выскочил и схватил стоящие на кафедре графин воды и стакан. Оказалось, что Шевченко дурно. Через несколько минут он, однако, вошел снова... Он стал читать, остана-

вливаясь на каждом слове, дотянул, однако, благополучно все три стихотворения» (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, стр. 269—270).

Достоевский читал в первый раз из «Мертвого дома»... в нем чтили недавнего страдальца. — Сосланный по процессу петрашевцев Достоевский возвратился в Петербург в конце 1859 г. Речь идет о его выступлении на вечере 2 марта 1862 г. с чтением отрывка из «Записок из Мертвого дома».

...в числе сотоварищей Достоевского... Аристов... — Об П. Аристове, сосланном «за ложное возведение на невинных лиц государственного преступления» см. в статье К. Николаевского «Товарищи Ф. М. Достоевского на каторге» («Исторический вестник», 1898, № 1, стр. 219—224).

Стр. 226. *...в 1864 г. я печатал (в типографии Н. Тиблена и К°) его «Эпоху».* — Пантелеев в это время арендовал типографию Н. А. Тиблена.

...патриотического возбуждения, вызванного 1863 г. ...—Речь идет о шовинистической пропаганде, связанной с восстанием 1863 г. в Польше.

Стр. 227. *...литературно-музыкальное утро в память Шевченка...* — Большой концерт в зале дворянского собрания (ныне Филармония), состоявшийся 27 апреля 1861 г. с благотворительной целью — выручка должна была пойти на покупку земли родственникам Шевченко — вызвал в печати полемику между его организаторами и националистически настроенными украинофилами. См. статьи П. А. Кулиша в «Северной пчеле» (1861, № 95) и ответ П. Мокрицкого (№ 116); полемику с Кулишем продолжил В. Белозерский (№ 171); ср. также А. В. Побратим, Концерт 27 апреля («Основа», 1861, № 6).

В академическом календаре... на 1862 г. есть... статья на ту же тему. — Умеренно-либеральная статья П. В. Павлова «Тысячелетие России» напечатана в «Месяцеслове на 1862 год», СПб. Издание Академии наук, приложение, стр. 3—70 (были отдельные оттиски).

Стр. 227—228. *Он, по-видимому, заметил... не сдобровать.* — Рассказ Пантелеева о выступлении Павлова совпадает с другими мемуарными свидетельствами: ср., напр., воспоминания Костомарова (см. стр. 738); <В. Сорокина> («Воспоминания старого студента» — «Русская старина», 1906, № 11, стр. 465); П. Боборыкина («За полвека», М.—Л. 1929, стр. 206); Н. Николадзе («Каторга и ссылка», 1927, № 5, стр. 33—34 и след.) и др. Представленный в цензуру текст речи см. в статье М. К. Лемке «Дело профессора П. В. Павлова» в его книге «Очерки освободительного движения

шестидесятых годов» (СПб. 1908, стр. 7—13), ср. также «Исторические записки», т. 52, М. 1955, стр. 258—263.

Стр. 228. ...*В. Курочкин читал «Господин Искариотов...».* — Стихотворение «Господин Искариотов» (переделка В. С. Курочкина из Беранже) было впервые напечатано в «Искре» (1861, № 38) под заглавием «Сплетник» и пользовалось в шестидесятых годах огромной популярностью. В стихотворении, как справедливо отметил И. Ямпольский, «речь идет, конечно, о шпионе, тайном агенте правительства» (Василий Курочкин, Стихотворения, статьи, фельетоны, М. 1957, стр. 662).

Стр. 229. *«Вы, профессора, можете собираться друг у друга... замечен в вольнодумстве».* — Ср. в «Голосе минувшего», 1917, № 5—6, стр. 239, в статье И. Житецкого «Профессорская деятельность Н. И. Костомарова». Еще более точно у А. Романович-Славатинского, «Моя жизнь и академическая деятельность» («Вестник Европы», 1903, № 1).

...*Бакунину, незадолго перед тем бежавшему из Сибири...* — М. А. Бакунин, находившийся в ссылке в Иркутске, в 1861 г. через Японию и Америку бежал в Лондон.

Стр. 229—230. ...*не сходятся с рассказом П. И. ...относительно судьбы студента Ловягина... схватил горячку, и в несколько дней его не стало.* — Пантелеев ошибается: простудившись на спектакле, скончался не Е. П. Ловягин, а А. П. Сниткин (Амос Шишкин). См. некролог в «Иллюстрации», 1860, № 118, стр. 292 и письмо А. В. Дружинина А. Н. Островскому («Неизданные письма... из архива А. Н. Островского», «Academia», М. 1932, стр. 146). В делах Литературного фонда за 1859—1860 гг. (*ИРЛИ*, л. 539) есть просьба о пособии от 2 мая 1860 г. именно матери Сниткина. В статье П. И. Вейнберга «Литературные спектакли» («Ежегодник императорских театров», сезон 1893—1894 г. кн. 3, стр. 98) также речь идет о смерти А. П. Сниткина. Текст сноски от слов «не сходится...» дополнен в наст. изд. по экземпляру А. В. Куликова.

Стр. 231. *Публичные лекции... приняли более общий характер.* — В статье М. К. Лемке «Дело о «публичных лекциях» в 1860-х годах» приведены некоторые материалы по истории публичных лекций: программа неразрешенной лекции П. Л. Лаврова о грамотности, в пользу воскресных школ, программа чтений Н. Г. Чернышевского по политической экономии, систематизированный перечень всех публичных лекций в столицах и провинции с 1859 по 1862 г. включительно. Ср. «Историко-литературный сборник. Посвящается В. И. Срезневскому. 1891—1916», Л. 1924, стр. 35—46, а также Р. А. Таубин, Революционная пропаганда в воскресных шко-

лах России в 1860—1862 годах («Вопросы истории», 1956, № 8, стр. 80—90).

...прочел... ряд... лекций — «Гадячская Рада». — Гадячская Рада — договор гетмана Ивана Выговского с Польшей в 1658 г. под Гадячем. См. статью Костомарова «Гетманство Выговского», напечатанную в «Основе» (1861, №№ 4 и 7) и отдельным изданием в 1862 г.

Стр. 232. *...приключениям в Средней Азии (рассказ о них... в «Русском слове»).* — Воспоминания Н. А. Северцева были напечатаны издателем «Русского слова» гр. Кушелевым-Безбородко не в «Русском слове», а отдельной книгой: «Месяц плена у коканд-цев», СПб. 1860. В «Русском слове» (1860, № 4) напечатаны упоминаемые Пантелеевым четыре публичные лекции Северцева («Зоологическая этнография»).

Стр. 232—233. *...диспут Погодина с Костомаровым... передан в «Свистке» (перепечатывается в сочинениях Добролюбова).* — В «Современнике» (1860, № 1) — статья Костомарова «Начало Руси»; в № 3 — подробный отчет о диспуте 19 марта 1860 г. Там же, в составе № 4 «Свистка» — сатира Добролюбова «Наука и свистопляска...» (*Добролюбов,* т. VI), а в № 5 «Развязка диспута 19 марта» Добролюбова и Некрасова (*Некрасов,* т. IX). Описание диспута см. также в воспоминаниях Костомарова («Автобиография», М. 1922, «Задруга», стр. 265—267), Г. Вашкевича («Из воспоминаний о Н. И. Костомарове». «Киевская старина», 1895, № 4, стр. 38—39), а также Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XVII, СПб. 1903, стр. 272—295 и др. Редакция «Современника» поддерживала Костомарова в его борьбе с редакционной «норманской теорией» происхождения Руси, выводившей русскую государственность из иноземных влияний.

Стр. 233. *В 1859 г. ... Перозио выступил с рядом обвинительных статей... Чернышевский и Н. Серно-Соловьевич...* — В ответ на статью директора Русского общества пароходства и торговли Новосельского («Морской сборник» за 1859 г. № 10), в которой очень высоко оценивалась деятельность этого акционерного общества, экономист Н. Перозио выступил в печати с утверждением, что статья Новосельского основана на произвольных цифрах и не отражает истинного положения дел («С.-Петербургские ведомости», 1859, № 239; «Библиотека для чтения», 1859, № 7 и др.). Характеризуя возражения ему Смирнова, выступившего на защиту Новосельского как «ловкую выдумку», Н. Перозио предложил обратиться к третейскому разбирательству. Диспут Н. А. Перозио — Смирнов происходил в зале Пассажа 13 декабря 1859 г. Н. А. Серно-Соловьевич выступал в качестве одного из посредников со стороны

Смирнова. Позицию Чернышевского, который «одобрял устройство диспута в Пассаже» (*Чернышевский,* т. X, стр. 54), не разделял Добролюбов. Описание диспута см. в статье последнего «Любопытный пассаж в истории русской словесности» («Современник», 1859, № 12), где он утверждал, что «по этому неудачному столкновению личных самолюбий» нельзя «судить о степени подготовленности нашего общества к устному и гласному судопроизводству» (*Добролюбов,* т. IV, стр. 173).

...факультет остановил свой выбор на Буличе... — По рассказу самого Булича он «совершенно не по заслугам, а без сомнения по приязни и по влиянию некоторых знакомых профессоров... выбран в Петербургском университете на кафедру философии», но не был утвержден министерством вследствие разных доносов и «казанских рукоплесканий» (С. А. Венгеров, Критико-биографический словарь... т. VI, СПб. 1897—1904, стр. 129—130). Официально эта нашумевшая в свое время история излагается так: «23 февраля 1860 г. приказом министра народного просвещения Н. Н. вследствие подозрений в вредном направлении его чтений был причислен к министерству с увольнением от должности профессора... Только в начале следующего, 1861 г., 4 января, последовало назначение Н. Н. вновь в Казанский университет ординарным профессором русской словесности» («Биографический словарь профессоров... Казанского университета...» Под ред. Н. П. Загоскина, т. I, Казань, 1904, стр. 45—46).

...Булич... прочел... несколько лекций о Беконе Веруламском... — В зале Пассажа Булич прочел в пользу Литературного фонда несколько лекций на тему «Движение европейской мысли в эпоху Возрождения» (частично были напечатаны в «Московских ведомостях»; подробный отчет об этих лекциях см. в «Северной пчеле», 1861, № 24 от 30 января). В связи с лекциями Булича в Петербурге была издана полемическая брошюра «Крестьянин А. Лаврентьев. Статья по поводу публичных лекций философии проф. Булича». Типография Н. Тиблена, СПб. 1861, 24 стр. Псевдоним (?) автора брошюры остается нераскрытым.

Стр. 234. *...П. Л. Лавров... три лекции о «современном значении философии».* — Ответные (или воспринимавшиеся в качестве таковых) лекции П. Л. Лаврова состоялись 22, 25 и 30 ноября 1860 г.; были вслед за тем напечатаны в «Отечественных записках» (1861, № 1 — «Три беседы о современном значении философии») и изданы отдельно. Впечатления от лекций Лаврова переданы в письме П. В. Анненкова И. С. Тургеневу от 25 ноября 1860 г. («Труды Публичной библиотеки СССР им. Ленина», вып. 3, 1934, стр. 104) и в дневнике Е. А. Штакеншнейдер (цит. изд., стр. 271 и 363—364).

...в «Библиотеке для чтения»... о «гегелизме»... в «Отечественных записках» 1859 г. — Статья Лаврова «Гегелизм» напечатана в «Библиотеке для чтения», 1858, №№ 5, 9 (подпись П. Л. Л.), «Механическая теория мира» — в «Отечественных записках», 1859, № 4.

...несколько натянутые отношения к «Современнику». — См. стр. 792.

...глубочайшее уважение имею к Петру Лавровичу. — Ср. стр. 541 и 793. Лавров, со своей стороны, всегда относился к Чернышевскому с большим уважением. См. письмо Лаврова Плеханову в *ЛН*, 1933, № 7—8, стр. 115 или «Г. В. Плеханов — литературный критик», М. 1933, стр. 38.

Стр. 235. *...Шевченко, Костомаров и ни на шаг от них не отходивший Кулиш.* — О взаимоотношениях Шевченко, Костомарова и Кулиша см. в статье И. Я. Айзенштока «Із «розшуків про Шевченка», в изд. «Збірник праць пятої наукової шевченковскої конференції», Изд-во Академии наук УССР, Киев, 1957, стр. 126 и след.

Стр. 236. *...в 1860 г. в журнальчике «Чтение для народа»... автобиографию... в форме письма редактору...* — Письмо Шевченко напечатано во второй книге журнала «Народное чтение» за 1860 г. В пятой книге напечатано письмо Шевченко помещику В. Э. Флиорковскому, ответ Флиорковского и акт о даровом освобождении родных Шевченко (от 10 июля 1860 г.).

Стр. 236—237. *...осенью 1861 г. мы, студенты, сидим в Петропавловской крепости.* — См. главу «Студенческая история».

Стр. 237. *...нумер «Основы», кажется ноябрьский... сам же он и примечание сочинил.* — См. предисловие Пантелеева ко второй книге воспоминаний (стр. 351—352 и 766).

...из «Вика»... т. I. — См. «Вик», Киев, 1902 г., 2-е издание, т. I, стр. 142.

Стр. 238. *...слов Николая II, вызванных тверским адресом 1894 г.* — Принимая 17 января 1895 г. депутации дворянства и земств, Николай II назвал «бессмысленными мечтаниями» возможность участия представителей земства в делах внутреннего управления.

Стр. 238—239. *...Кулиш... читал... «Тайну»... кажется, потом была напечатана в «Русском вестнике».* — Память, по-видимому, изменила Пантелееву; чтение П. А. Кулиша на вечере в пользу студентов нигде в литературе не отмечено. Рассказа под таким заглавием нет ни в «Русском вестнике», ни в списке произведений Кулиша (см. Є. Кирилюк, Бібліографія праць П. О. Куліша та писань про нього, Київ, 1929).

Стр. 239. *О Ф. И. Дозе есть статейка Н. А. Белозерской в «Русской старине».* — Где напечатана статья Н. А. Белозерской, не установлено; в «Русской старине» ее нет.

Стр. 240. *Кажется, в начале 80-х гг. ...* — Ф. И. Дозе кончил жизнь самоубийством 23 июля 1879 г.

...А. Котляревского... припутав к делу Кельсиева. — В. И. Кельсиев нелегально пробыл в России с марта по конец мая 1862 г. По словам Герцена цель поездки состояла в налаживании путей для пропаганды и для сближения со старообрядцами-раскольниками с целью привлечения их к революционному делу. Впоследствии его приезд стал известен правительству и сыграл определенную роль в «деле о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами» (так называемый процесс «32-х»). А. А. Котляревский находился под арестом со средины июля до 12 октября в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. По-видимому, неосторожными показаниями он дал в руки следствия какие-то нити. См. письмо А. М. Дренякина А. Л. Потапову: М. К. Лемке, Очерки освободительного движения шестидесятых годов, СПб. 1908, стр. 71—72.

...Дренякин... учинил ненужную пальбу. — Генерал-майор А. М. Дренякин при подавлении крестьянских «беспорядков» в селе Кандеевке Пензенской губернии в апреле 1861 г. расстрелял свыше 50 крестьян. Его «деятельность» вызвала, между прочим, заметку Герцена в «Колоколе» — «Храбрый Дренякин» (л. 104 от 20 июля (1 августа) 1861 г.).

Стр. 240—241. *...В. М. Белозерский... в 1849 г. ... выслан в Петрозаводск...* — Высылка В. М. Белозерского относится не к 1849, а к 1847 г. («Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь», т. I, ч. I, М. 1928, стр. 14).

Стр. 241. *...редактировал... сборник документов, относящихся до южнорусской истории...* — Пантелеев ошибается: издание «Летописей южнорусских» (т. I, Киев, 1856) осуществлено не Василием, а его братом Николаем Белозерским.

Стр. 241—242. *...в полемике с Падалицей... Костомаров давал... горячий отпор.* — Краковская газета «Час» и французский журнал «Revue contemporaine» выступали со статьями, пытавшимися доказать неславянское происхождение русского народа. В ответ «Основа» напечатала несколько полемических статей Костомарова и др.

Стр. 242. *...Шевченко в свою последнюю поездку на родину был... арестован...* — Арест Шевченко произошел в июле 1859 г. и был связан с его «вольными» разговорами среди крестьян о царе и воле.

...выступил Соловьев с полемикой против Костомарова... — В ответ на книгу Костомарова о Богдане Хмельницком (см. стр. 714) С. М. Соловьев напечатал статью: «Малороссийское казачество до

Богдана Хмельницкого» («Русский вестник», 1859, сентябрь, кн. 2). Костомаров ответил Соловьеву («Замечание на статью г. Соловьева «Малоросийское казачество до Богдана Хмельницкого») в «Современнике», 1859, № 11.

Н. И. Костомаров напечатал воззвание... жгутся в руках». — Статья Костомарова «О преподавании на народном языке в Южной России» (ее Пантелеев и называет воззванием) была напечатана в «Голосе», 1863, 20 апреля, № 94. Затем в «Основе» (1863, № 10, стр. 6) и в «С.-Петербургских ведомостях» (1863, №№ 47, 77, 81, 99, 120 и 148) от имени Костомарова печатались отчеты о пожертвованиях на издания книг научного содержания на украинском языке и о вышедших и выходящих книгах. Однако в 1863 г. (особенно в связи с восстанием в Польше) в атмосфере травли реакционной печатью любых проявлений «украинского сепаратизма», в первую очередь растущего национального самосознания украинского народа, даже либерально-культурнические начинания Н. И. Костомарова вызвали ожесточенные нападки Каткова. «Горячая статья» Каткова, о которой пишет Пантелеев, была напечатана в виде передовой «Московских ведомостей», 1863, 22 июля, № 136. (В статье Каткова упоминаемый Пантелеевым конец таков: «Лучше бросить эти деньги... Бог с ними! Они жгутся».) Костомаров ответил Каткову рядом статей, в которых, стремясь доказать свою благонамеренность, отстаивал, однако, целесообразность введения в украинских школах преподавания на родном языке. Одна из этих статей, как содержащая скрытые «тенденции настоящего сепаратизма на основании нелепой славянской конфедерации», была запрещена цензурой (*Никитенко,* т. 2, стр. 398—399, 627—628).

Стр. 243. *...сохранивших свою силу и до сего дня.* — Пантелеев имеет в виду жестокие ограничения, установленные царским правительством для печатания книг на языках народов Российской империи.

...туда же направился и Кулиш... оставался не особенно долго... — П. А. Кулиш был в Польше в 1866—1869 гг. и служил там в Варшаве директором «комиссии внутренних и духовных дел», а потом в других учреждениях. См. Омелян Огоновский, Історія литературы руской, ч. 3, отд. I, Львов, 1891, стр. 113—118.

Стр. 244. *В «Полемических красотах» Чернышевского есть шутливый намек...* — Чернышевский в «Полемических красотах» писал: «Начнемте воспоминанием о забавном случае давно прошедших лет, когда вы, прочитав одну мою статейку, сулили в наказание мне подарить вещицы, которые становились тогда не нужны вам» («Современник», 1861, № 7; *Чернышевский,* т. VII, стр. 753; Громека в прошлом служил в корпусе жандармов). В рецензии на отдельное издание «Из воспоминаний прошлого» Д. Силь-

чевский утверждал, что у Чернышевского нет статьи, посвященной какому-либо Поэрио (Александру или Карло — см. «Сын отечества», 1905, 10 мая, № 71). Пантелеев настаивал на своей правоте (12 мая, № 73). Д. Сильчевский снова полемизировал с Пантелеевым (13 мая, № 74. Ответ Пантелеева в № 76 от 15 мая). На самом деле истина на стороне Пантелеева: в обзоре «политики» «Современника» в марте 1859 г. Чернышевский посвятил несколько сочувственных страниц итальянскому политическому деятелю Карло Поэрио и его борьбе с Фердинандом II (*Чернышевский,* т. VI, стр. 148—155).

...в начале 80-х гг.... был введен новый университетский устав. — Университетский устав 1863 г. был заменен еще более реакционным уставом, утвержденным царем 23 августа 1884 г.: был усилен правительственный контроль за преподаванием, уничтожены последние остатки «автономии университетских коллегий», ограничен прием учащихся и т. д.

Тогда... уволен Мищенко... Казань. — Вставка из экземпляра А. В. Куликова. Ф. Г. Мищенко в июле 1884 г. был уволен из Киевского университета и лишь в марте 1889 г. получил назначение в Казань («Биографический словарь профессоров... Казанского университета...», т. I, Казань, 1904, стр. 132).

Студенческая история. — Студенческие волнения были одним из существенных элементов общественного движения в период революционной ситуации 1859—1860 гг. (см. В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27). Драматические события в жизни студенчества 1861 г. получили освещение в многочисленных статьях в «Колоколе»: см. статьи Герцена: «Исполин просыпается!», «Третья кровь!» и др., а также «Материалы для истории гонения студентов при императоре Александре II», «Студентское дело» и т. д. Студенческое движение в Петербургском университете многократно описывалось в мемуарах и исследованиях: свод данных см. С. Я. Гессен, Студенческое движение в начале шестидесятых годов, М. 1932.

Стр. 245. *«Битва под Дрезденом»* (по названию гостиницы напротив дома московского генерал-губернатора на Тверской улице). — Жестокое избиение студентов университета жандармами и полицейскими 12 октября 1861 г. — один из эпизодов студенческих волнений, в которых отражался протест против расправы с петербургскими студентами.

...в Петербурге история... привела к закрытию университета. — Студенческие сходки, протесты против введения реакционных Путятинских новых «временных правил», ограничивавших, между прочим, доступ в университет разночинцам (см. стр. 247), вылились 25 сентября, после объявления о том, что университет закрыт до прекращения «беспорядков», в студенческую демонстрацию. Избран-

ная студентами делегация предъявила начальству ряд требований. В ночь на 26 сентября Михаэлис, Н. Утин, Ген, Стефанович и ряд других студентов были арестованы. 11 октября университет был открыт. Однако в связи с тем, что студенческие волнения не прекращались (ср. главу «Думская история») 20 декабря 1861 г. распоряжением Александра II «пустой университет» (стр. 247) был вновь закрыт «впредь до пересмотра университетского устава» (ср. *Никитенко*, т. 2, стр. 211—250).

...о борьбе, которую вел совет университета с министром. — Возражения профессоров против новых правил не были приняты во внимание; в связи с тем, что проректору присваивались по этим правилам полицейские функции, совет университета единогласно принял решение о том, что «совет не может представить ни одного кандидата для занятия должности проректора» (В. Д. Спасович, Пятидесятилетие С.-Петербургского университета, Соч., т. IV, СПб. 1891, стр. 34).

Стр. 246. *...вернулся к 26 сентября, то есть когда история уже разыгралась.* — Сноска — пометка в рабочем экземпляре Пантелеева о времени возвращения Чернышевского в Петербург — представляется вполне обоснованной поправкой к основному тексту. Она сделана на основании запроса Пантелеева М. Н. Чернышевскому 20 марта 1908 г. и его ответа 21 марта (*ЦГАЛИ,* ф. I, оп. 2, № 411, лист 22; *ИРЛИ,* ф. 224, № 380. Указано В. Э. Боградом. Ср. также в наст. издании статьи: «К материалам о Н. Г. Чернышевском» и «К биографическим материалам о М. А. Антоновиче»). Чернышевский выехал из Саратова тотчас же по получении высланных ему 5 сентября из Петербурга денег (*ИРЛИ,* Конторская книга «Современника» за 1861 г., л. 154—155 об.), то есть не ранее 16—17 сентября. Таким образом, даже учитывая небольшую остановку в Нижнем-Новгороде (см. «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова...», т. I, М. 1890, стр. 633), можно предполагать, что Чернышевский к 23—25 был в Петербурге. (Путь Саратов — Нижний-Новгород 2—3 дня, и 3—4 дня — из Нижнего в Петербург.) По донесению агента III Отделения Чернышевский также 26 был в Петербурге и даже беседовал со студентами («Красный архив», т. I (XIV), 1926, стр. 90). Вместе с тем письма Чернышевского к отцу от 3 и 17 октября 1861 г. (вероятно, не первые после приезда, — цит. изд., т. XIV, стр. 441—442) написаны едва ли не для перлюстрирующих органов и имеют специальную цель уверить власти в своей непричастности к студенческим волнениям. Если бы Чернышевского в эти дни действительно не было в Петербурге, он мог бы после ареста доказывать властям свое алиби ссылкой на свое отсутствие.

Захватить в Царском селе... — Сноска воспроизводится по экземпляру А. В. Куликова.

...намек у Н. Н. Страхова в материалах для биографии Ф. М. Достоевского. — Ср. в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» Н. Н. Страхова: «...нашлись люди, которым очень хотелось обратить эту историю в бунт, что со студентами делались совещания в этом роде, что им предлагалось, например, совершить злодейство, которым правительство было бы поставлено в безвыходное положение, и т. п.» («Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского», СПб. 1883, стр. 231—232).

Стр. 247. *Матрикулы* — вводившиеся по новым правилам билеты для входа в университет.

...то есть ареста... Толстого... — Сноска из экземпляра А. В. Куликова.

Стр. 248. *Известные стихи М. И. Михайлова, адресованные им из крепости к студентам...* — Стихотворение М. Михайлова «Крепко, дружно вас в объятья...» было написано в ответ на стихи «Из стен тюрьмы, из стен неволи...».

...его постройки дворцы великих князей... — Дворцовая набережная № 18 и Невский проспект № 41—43.

Стр. 249. *...обнаружил... педагогический талант...* — Уроки молодого Помяловского были так талантливы, что увлеченная новыми педагогическими идеями молодежь стала систематически их посещать. Об одном из таких посещений рассказала в своих воспоминаниях Е. Н. Водовозова, незадолго до того окончившая Смольный институт (см. Е. Н. Водовозова, На заре жизни..., Academia, т. II, 1934, стр. 107—108).

Стр. 250. *...в издании Мюнстера... почти забытая серия...* — Пантелеев имеет в виду издание: А. Мюнстер, Портретная галерея русских деятелей, тт. 1—2, СПб. 1860—1864; в каждом томе по 100 портретов.

Стр. 251. *...пора бы вам, Яков Петрович, убираться с Кавказа.* — В литературе о Полонском нет подтверждения этого рассказа. На Кавказе Полонский жил в 1846—1851 гг., затем уехал в Рязань к заболевшему отцу и остался в России.

Стр. 252. *...на первом общем собрании Союза писателей.* — Союз взаимопомощи русских писателей при Русском литературном обществе был основан в начале 1897 г. и закрыт властями в марте 1901 г. за протест против расправы полиции на Казанской площади 4 марта.

В «Библиотеке» Писемский обесславился... своими фельетонами... — Фельетоны «Никиты Безрылова» (Писемского) в «Библиотеке для чтения» 1861—1862 гг. были единодушно осуждены в про-

грессивной литературе за сплетни и клевету на писателей демократов, в частности, Некрасова и Чернышевского.

Стр. 253. *Оба тогда жили...* — Вставка из экземпляра А. В. Куликова.

...пожаром Зимнего дворца... — Имеется в виду пожар 1837 г.

...Задлер... был первый приглашен к Пушкину — во время предсмертной болезни Пушкина после дуэли с Дантесом.

Стр. 254. *...Соколова (впоследствии автор «Отщепенцев»)...* — Пантелеев имеет в виду роман Н. В. Соколова «Отщепенцы» (СПб. 1866).

Стр. 255. *...логику Милля... он имел пристрастие всем рекомендовать.* — «Система логики». Дж.-Ст. Милля вышла в русском переводе П. Лаврова и Ф. Резенера в 1865—1867 гг. Н. Н. Соколов имеет в виду английское издание.

...переводил для Тиблена Куно Фишера... — Для издания Тиблена Страхов переводил «Историю новой философии» Куно Фишера (т. 1—4, СПб. 1862—1865) и «Франциск Бэкон Веруламский» (СПб. 1867).

...его диссертация «О костях запястья»... — Н. Н. Страхов в 1857 г. защитил магистерскую диссертацию «О костях запястья млекопитающих» («Журнал министерства народного просвещения», 1857, № 9).

Стр. 256. *Когда вышли «Отцы и дети», Н. Н. посвятил Тургеневу восторженную статью...* — Статья Н. Н. Страхова была напечатана (без подписи) в журнале «Время», 1862, № 4; эта и упоминаемые ниже статьи Страхова перепечатаны в сборнике его статей «Критические статьи, т. I, Об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. (1862—1885)» (5 изданий, 1885—1908 гг.). Рассматривая образ нигилиста Базарова, как образ «одного из представителей молодого поколения» — «титана, восставшего против своей матери земли», Н. Н. Страхов пытается доказать, что в романе, как и в действительности, Базаров «побежден» «вечными началами жизни», то есть является воплощением характерных для эпохи 60-х гг. «заблуждений».

...Тургенев напечатал в «Вестнике Европы» свое знаменитое объяснение по поводу «Отцов и детей»... — Статья Тургенева «По поводу «Отцов и детей» впервые появилась в его «Сочинениях», изд. 1869 г., т. I, в составе «Литературных воспоминаний», часть которых («Воспоминания о Белинском») была впервые опубликована в «Вестнике Европы», 1869, № 4. В статье «По поводу «Отцов и детей» Тургенев писал, что «разделяет» «почти все... убеждения» Базарова (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 10, М. 1956, стр. 349).

Против этого и других подобных признаний Тургенева и ополчился Н. Н. Страхов в своем письме в «Зарю» («Еще за Тургенева»), опубликованном в декабрьском номере этого журнала за 1869 г. за подписью Н. Косица. Однако эта статья — не первый выпад Страхова против Тургенева. Уже в статье о «Дыме» («Отечественные записки», 1867, № 5) Страхов с раздражением пишет о том, что Тургенев «написал повесть *против господствующего ветра*», между тем как после 1862 г., по его мнению, «все более или менее стали славянофилами».

...перевод «Истории материализма» Ланге... с именем Н. Н. Страхова благополучно вышел в свет... — Речь идет об издании: Фридрих Альберт Ланге, История материализма и критика его значения в настоящее время. Пер. с нем. Н. Н. Страхова. Изд. Л. Ф. Пантелеева, т. 1—2, СПб. 1881—1883.

Стр. 257. *Н. Н. ...печатно защищался...* — Пантелеев имеет в виду, вероятно, заметку Н. Н. Страхова — ответ на анонимное письмо, вызванное его статьей «Толки об Л. Н. Толстом» («Вопросы философии и психологии», 1891, кн. 9, и «Ответ на письмо неизвестного», там же, 1892, кн. 11).

Вышнеградский — хищник, стоивший очень дорого казне... — И. А. Вышнеградский действительно принимал близкое участие в железнодорожных делах тех лет, в частности в основанном в 1878 г. Обществе юго-западных железных дорог. Современники единодушно характеризуют его как дельца, не брезговавшего сомнительными способами предпринимательства. См., например, К. Головин. Мои воспоминания, т. 2, СПб. 1910, стр. 125—128.

Стр. 258. *...переписка с ним по поводу одной петиции (в половине 90-х гг.)...* — Петиция об изменении правового положения писателей и об облегчении цензурного гнета была подана в 1895 г., но осталась без последствий. Переписка Н. Н. Страхова и Пантелеева по поводу этой петиции и самый текст ее опубликованы Л. Ф. Пантелеевым в статье «Литературная петиция 1895 г.» («Современник», 1913, № 4).

...до ареста ее весной 1862 г. ... — А. П. Блюммер была арестована в мае 1862 г. за распространение прокламаций и агитацию в воскресных школах; в сентябре была выслана в Воронеж на поруки отца, под строгий надзор полиции («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 42).

Стр. 259. *Деньги в комитет шли со всех сторон...* — В главе III статьи «Из истории первых лет существования Литературного фонда» (см. стр. 788) Пантелеев писал: «С 14 октября по 29 апреля 1862 г. он имел в приходе 15 886 р. (из них около 3 тысяч рублей

с 14 октября до переформирования кружка); в расходе: на единовременные пособия (1842) 12 410 р., на снабжение одеждой 169 лиц 2767 р., итого расход составил 15 177 р.».

...в форме публичных лекций возродить чтение почти всех университетских курсов... — В публичных лекциях, читавшихся в период закрытия университета в залах городской думы и училища св. Петра, принимали участие: Сеченов (физиология животных), Бекетов (морфология растений), Фаминцын (физиология растений), Соколов (органическая химия), Советов (агрономия), Ивановский (международное право), Калиновский (финансовое право), Андреевский (полицейское право и история философии права), Спасович (уголовное право), Кавелин (гражданское право), Лохвицкий (энциклопедия законоведения), Костомаров (русская история), Стасюлевич (средняя история), Б. Утин (английские учреждения), Гадолин (физика), Менделеев (химия), Пузыревский (геогнозия), Штейнман (греческая этимология и Софокловы трагедии), Благовещенский (сатиры Персия), Горлов (политическая экономия) — всего 20 лекторов, наиболее популярных среди молодежи в те годы. (Расписание лекций см. в приложении к т. I воспоминаний Пантелеева, изд. 1905 г.) Немудрено, что такой состав в связи с настроениями студенчества заставил правительство искать ближайшего предлога для закрытия лекций.

Стр. 261. *...Берви был арестован.* — См. стр. 744.

Стр. 265. *Б. Н. Чичерин... ряд статей по университетскому вопросу...* — Статьи Чичерина в связи с подготовкой нового устава и реформой, печатавшиеся в «Московских ведомостях», вместе с другими, печатавшимися в «Нашем времени», вошли в книгу: Б. Н. Чичерин, Несколько современных вопросов, М. 1862. Довольно консервативные, они вызвали в печати полемику, в которой, в частности, участвовал Костомаров (см. стр. 721).

...ранее того его письмо к Герцену... защищал его Кавелин... хотя и не разделял большинства его взглядов. — Пантелеев имеет в виду «Обвинительный акт (Письмо г. Ч.)», опубликованный в л. 29 «Колокола» от 19 ноября (1 декабря) 1858 г. В этом письме, явившемся по сути дела манифестом либерализма, Чичерин обвинял Герцена в поддержке революции, в том, что «первый свободный русский журнал служит самым сильным доказательством в пользу цензуры». Позиция Чичерина, писавшего о том, что в его полемике с Герценом «речь идет о различных направлениях русского общества», — не была поддержана в тот момент Кавелиным, хотя его взгляды и не расходились по существу со взглядами Чичерина (см. стр. 726). Возражения Кавелина в его письме Чичерину, к которому присоединились И. Тургенев, П. Анненков и др. (см. в изд. Н. Бар-

суков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. XV, СПб. 1901, стр. 261—268), означали лишь, что он не утратил надежды убедить Герцена изменить направление его пропаганды, то есть отказаться от революционных убеждений. Между тем предисловие Герцена к публикации в «Колоколе» «Обвинительного акта» так же, как и его статья «Нас упрекают» и др. свидетельствовали о том, что Герцен уже понимал, что Чичерин «не противник, а враг» (А. И. Герцен, Соч., т. 7, М. 1957, стр. 170—174 и 601—604).

Стр. 265—266. *«...Я не понимаю тех гладиаторов...»...(«Русская мысль», №№ 5 и 6, 1885 г.)* — В «Голосе минувшего» за 1917 г. (№ 5—6) опубликована «Неизданная глава из автобиографии» Н. И. Костомарова, посвященная студенческой и «думской» историям и во многом дополняющая напечатанное ранее в «Русской мысли». В обоих текстах слов о гладиаторах нет. Костомаров пишет, что он был недостойно обманут студентами: «Затаивши против меня злобу, студенты-распорядители сказали мне, что они покинули свое намерение прекратить публичные лекции...» и т. д. (стр. 257).

Стр. 266. *...о чем и появилась публикация.* — В «С.-Петербургских ведомостях» (1862, 13 марта, № 55 и 20 марта, № 61) напечатаны извещения Н. И. Костомарова о продолжении лекций, в № 62, 21 марта — правительственное извещение о прекращении лекций. Другие объявления неизвестны.

...немало ошибок... — Неточности и ошибки текста «Русской мысли» объясняются, по-видимому, тем, что этот текст не был Костомаровым авторизован. Он записан с его слов Н. А. Белозерской (см. предисловие В. Котельникова к «Автобиографии» в издании 1922 г., М. «Задруга», стр. VI).

Стр. 267. *В «Автобиографии» Н. Ив. рассказывает...* — Весь этот эпизод более точно рассказан в воспоминаниях Чернышевского — «По поводу «Автобиографии» Н. И. Костомарова», впервые опубликованных в 1930 г. (см. *Чернышевский,* т. I, стр. 759—763).

Это письмо... найдено в деле Чернышевского... Лемке. — Письмо Костомарова к Чернышевскому см. в книге: М. К. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг. М.—Пг., изд. 2, 1923, стр. 194—196. Вторая фраза сноски — из экземпляра А. В. Куликова.

Стр. 268. *...после майских пожаров...* — См. главу «Петербургские пожары».

Под тяжелым впечатлением... написан он был давно... — Историческая драма «Кремуций Корд» написана в 1849 г.; издана в 1862 г. (Н. И. Костомаров, Автобиография, М. «Задруга», 1922, стр. 357). В драме изображена эпоха императора Тиверия: историк Кремуций Корд обвинен в том, что написал похвалу Бруту. Он заранее обречен, находятся наемные обвинители и т. д. Современ-

ники воспринимали ситуации драмы, как намек на участь Чернышевского. Именно так старался интерпретировать ее смысл Салтыков в рецензии, напечатанной в «Современнике», 1863, № 1—2 (*Салтыков-Щедрин*, т. V, стр. 269—271).

...стали затруднять мой возврат в Петербург... — См. стр. 307—309.

...одно личное обстоятельство развело нас навсегда... — Пантелеев имеет в виду слухи о его предательском поведении (см. стр. 401—407 и 769—772).

Стр. 269. *Последняя публицистическая статья Чернышевского... В. Д. Скарятин...* — Статья Чернышевского «Научились ли» («Современник», 1862, № 4) явилась ответом на реакционную статью А. В. Эвальда «Учиться или не учиться» («С.-Петербургские ведомости», 1862, № 92; перепечатана в «Северной пчеле», 1862, № 120), в которой он обвинял петербургских студентов, будто бы они сами виноваты в закрытии университета и прекращении лекций в городской думе. В возникшей полемике участвовал и П. Л. Лавров статьей «Учиться, но как?» («С.-Петербургские ведомости», 1862, № 104). Диспут Чернышевского с А. В. Эвальдом происходил 30 мая 1862 г. в квартире Эвальда (в доме Владимирского городского училища). Со стороны Чернышевского были Г. З. Елисеев и М. А. Антонович; со стороны А. В. Эвальда — В. Д. Скарятин и А. В. Лохвицкий (см. «Шестидесятые годы. М. А. Антонович. Воспоминания, Г. З. Елисеев. Воспоминания», М.—Л. 1933, стр. 101—124; Н. Николадзе, Воспоминания о шестидесятых годах, «Каторга и ссылка», 1927, № 5, стр. 35—36). Чернышевский вышел из диспута победителем. Это признает и Эвальд в своих воспоминаниях («Исторический вестник», 1895, № 12, стр. 723 и след.). Ср. заметку Пантелеева о Скарятине в «Минувших годах», 1908, № 12, стр. 81—83.

Стр. 270. *...Соловьева... история выдержала повторные издания...* — Речь идет о двадцатидевятитомной «Истории России» С. М. Соловьева; первый том вышел в 1851 г., затем ежегодно по тому; последний т. 29 вышел посмертно в 1879 г. Второе издание, в 6 больших томах — СПб. 1893—1895.

...попытка устроить литературный клуб. — Шахматный клуб был, насколько можно судить, организован Чернышевским и его друзьями в качестве замаскированного литературно-политического центра. Об этом свидетельствует составленный, вероятно, еще в сентябре 1861 г. список лиц, приглашенных в число членов. Здесь обсуждались актуальные вопросы политической жизни России в первой половине 1862 г. Пантелеев несомненно преуменьшает общественное значение клуба. Впрочем, и по его словам, это было удобное

место для встреч и бесед с нужными людьми; здесь, в частности, инструктировались члены «Земли и воли», здесь же Пантелеев получил деньги на поездку по делам организации и т. д. Чины III Отделения на агентурном донесении об открытии клуба отметили: «С этим клубом надо познакомиться поближе». С этой целью в число членов клуба были введены агенты Волгин и Волокитин (некоторые донесения см. в статье А. А. Шилова «Н. Г. Чернышевский в донесениях агентов III отделения (1861—1862 гг.)», «Красный архив», кн. I (XIV), 1926 г.). Всего клуб просуществовал менее полугода. Объявление петербургского военного генерал-губернатора о закрытии клуба опубликовано в «Русском инвалиде, 1862 г., № 126 от 8 июня. Ср. Р. А. Таубин, К вопросу о роли Н. Г. Чернышевского в создании «революционной партии» в конце 50-х — начале 60-х годов в XIX в. («Исторические записки», т. 39, М. 1952).

Стр. 271. *II отделение при Литературном фонде.* — Материалом для статей и воспоминаний Пантелеева о Литературном фонде послужил ряд дел, находящихся ныне в его архиве в *ИРЛИ*. Таковы: 1) журналы и бумаги отделения Общества для пособия бедным учащимся; здесь же и материалы, переданные Пантелееву в 1896 г. В. Д. Спасовичем; 2) материалы для летописи Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым, составленные Г. К. Репинским (газетные вырезки и комментарии к ним Г. К. Репинского) и 3) ряд черновиков и копий, объединенных в папку: «К истории Литературного фонда» (ф. 224, № 535, 539, 541). Дополнительные сведения об организации и деятельности II отделения Литературного фонда — в главе III его статьи «Из истории первых лет существования Литературного фонда».

Позондировали почву... Головнин сначала отнесся сочувственно... — См., например, «весьма секретное» отношение А. В. Головнина к шефу жандармов от 5 мая 1862 г., в котором он так объясняет цели организации II отделения и выгоды этого правительству: «1) прежние тайные сборища заменены гласными; 2) постановления комитета и расходы известны. Ведутся протоколы и расходные книги; 3) студентская касса передана казначею общества; 4) известны имена всех принадлежащих к этому разряду лиц; 5) устроен громоотвод от университета, ибо члены отделения уже не будут действовать как студенты и, вероятно, оставят университет в покое, а это и нужно, чтоб не мешать другим учиться; 6) Ковалевский, имея на этих лиц большое влияние, будет удерживать их от крайностей» (*Герцен,* т. XV, стр. 326).

Стр. 272. *...вдруг входит Чернышевский, который никогда не бывал на наших собраниях...* — Ср. в главе III «Из истории ... Литературного фонда»: «Я теперь не припоминаю, откуда впервые

явилась идея такого общества, но судя по тому, с каким живейшим интересом относился к этому делу Чернышевский, очень возможно, что она пошла от него». Переписка Лаврова и Чернышевского в ноябре-декабре 1861 г. показывает, что Чернышевский действительно имел некоторое касательство к организации II отделения Литературного фонда (см. *ЛН*, № 7—8, стр. 104).

Из членов комитета помню... — В главе III статьи «Из истории ... Литературного фонда» Пантелеев называет также среди членов комитета В. Г. Гогоберидзе, А. А. Жука, С. Издебского, П. Ф. Моравского, Мих. Островского.

Е. П. Ковалевский. ...был первым председателем комитета... портрет... — См. стр. 788.

Стр. 273. *Отделение просуществовало очень недолго.* — «Некоторые отдельные случаи из жизни отделения» см. в главе III «Из истории ... Литературного фонда» Пантелеева: «В первом заседании, 2 мая, комитет единогласно постановил: «Обратить особенное старание на доставление нуждающимся молодым людям возможности самим зарабатывать себе средства к существованию и потому публиковать в газетах, что нуждающиеся в учителях и учительницах, гувернерах и гувернантках, в переводчиках, управляющих домов и пр. могут обращаться в комитет, который по возможности добросовестно будет исполнять их требования». В результате публикации получены были заявления от г. Лукина из Мурома и г. Власова из Тверской губернии рекомендовать им учителей на лето. Комитет остановил свой выбор на бывших студентах Валуеве и Кудиновиче, но они, как исключенные из университета состояли под надзором полиции. По просьбе комитета Е. П. отправился к кн. Суворову; тот на словах дал свое согласие, каковое на другой день (3 июня) и подтвердил... письмом.

Однако Валуеву и Кудиновичу не пришлось отправиться на уроки. Тот же Суворов 4 июня писал Е. П., что они уже арестованы по распоряжению комиссии, производившей расследование по делу студента Яковлева, попавшегося с прокламациями в казармах.

Уже во втором заседании комитет, исходя из убеждения, что мелочные пособия, даже при значительной общей сумме, не вполне достигают цели, пришел к заключению, что одним из существеннейших средств к выполнению назначения отделения было бы доставление молодым людям дешевых квартир и стола; потому и поручил одному из членов составление проекта об артельных квартирах со столом. В следующем заседании такой проект (и весьма обстоятельный) и был заслушан. Комитет постановил напечатать в газетах и просить всех интересующихся этим делом присылать свои замечания или печатать в газетах.

Видимо, несмотря на свое короткое существование, отделение успело возбудить разнообразный интерес в обществе. Так, Е. П. получил интересную записку (без подписи) с просьбой передать ее на обсуждение в комитет отделения. В записке указывалось на полное у нас отсутствие каких-нибудь школ для взрослых людей среднего класса, желающих пополнить свое образование. Записка, по-видимому, составлена приказчиком. Он предлагал отделению устроить или ежедневные вечерние классы, или утренние по праздникам. Умеренная плата, не свыше 5 рублей в месяц, поступала бы на усиление средств отделения; в то же время отделение могло бы вместо денежных пособий учащейся молодежи предоставлять ей возможность заработка в качестве лекторов».

...во главе тайного общества. — Ср. в главе III указанной статьи: «Тайное общество «Земля и воля» уже существовало совершенно независимо». Однако в доносе в III Отделение некая В. В. Александровская писала 10 октября 1865 г.: «Мне известно <...> что существовала когорта праздношатающейся молодежи, ходившей по России с целью нарушения существующего порядка в России. Содержалась она на средства, собираемые 2-м отделением Литературного фонда, где люди революционного направления успели себе свить гнездо» («Каторга и ссылка», 1930, № 5, стр. 61).

...комитет... сделал постановление... — Далее в рабочем экземпляре воспоминаний Пантелеева (между стр. 226—227) вклеен текст этого постановления.

Стр. 274. *Имя Гарибальди... движению в Венгрии...* — Д. Гарибальди командовал итальянскими добровольческими войсками в австро-итало-французской войне 1859 г. В борьбе за объединение Италии он призывал к походу на Рим для освобождения его от власти папы; Венеция принадлежала в это время Австрии; революционное движение в Венгрии было вскоре жестоко подавлено.

Начавшаяся парламентская борьба в Пруссии... — Речь идет о борьбе прусского ландтага с регентом, а с 1861 г. прусским королем Вильгельмом I по вопросу о реорганизации армии и других внутренних делах.

...при свидании... в Бадене... — Имеется в виду свидание Александра II с Наполеоном III в Бадене 13—15 сентября 1858 г. Реальных результатов свидание не имело.

Стр. 275. *...увольнение генерал-губернатора Берга... к созванию сейма...* — Ф. Ф. Берг был финляндским генерал-губернатором в 1853—1863 гг. Финляндский сейм не собирался с 1809 г., со времени, когда по Фридрихсгамскому миру к России отошла от Швеции остальная часть Финляндии. О выборной комиссии, которая

должна была подготовить созыв сейма, состоявшийся в сентябре 1863 г., и идет речь.

...промышленность была недовольна новым таможенным тарифом... — Речь идет о тарифе 1857 г., несколько более либеральном, чем предшествовавшие ему 1819, 1824 и 1838 гг.

...очень часто пускалась в дело военная сила... — По данным III Отделения в 1861 г. в 1176 имениях произошли случаи «неповиновения» крестьян; в 337 случаях были для «восстановления порядка введены воинские команды» (см. Е. А. Мороховец «Крестьянское движение 1827—1869», вып. II, М.—Л. 1931, стр. 17). Однако охватившие страну волнения были неорганизованными, были проникнуты царистскими иллюзиями. Так, например, руководитель одного из самых крупных восстаний (в селе Бездна, Спасского уезда, Казанской губернии) Антон Петров выдавал себя за посланника Александра II (был казнен; ср. статьи Герцена в «Колоколе» «Русская кровь льется!», «12 апреля 1861 г.» и др.).

...прокламация... Михайлова «К молодому поколению»... — Арестованный по доносу провокатора В. Костомарова 14 сентября 1861 г., Михайлов был вынужден в конце концов сознаться в составлении прокламации и был присужден к шести годам каторжных работ и пожизненному поселению в Сибири (М. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—Пг. 1923, стр. 55—160). Однако до настоящего времени мнения о степени участия Михайлова в написании прокламации расходятся: некоторые исследователи считают, что автор ее Н. В. Шелгунов, а Михайлов участвовал в издании и распространении; по другой — прокламация написана Михайловым совместно с Шелгуновым. «К молодому поколению» составляла вместе с «Великоруссом» часть общего «прокламационного плана» революционно-демократических групп в период революционной ситуации. Прокламация призывала молодежь вести революционную пропаганду среди народа и солдат: «...мы хотели бы... чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказываемся от него, но мы зовем охотно революцию на помощь к народу». Путь дальнейшего социалистического развития России прокламация видела в земледельческой общине.

...в Петропавловской крепости... тверские мировые посредники. — Губернский съезд тверских мировых посредников в декабре 1861 г., а затем чрезвычайное дворянское собрание в феврале 1862 г. обратились к Александру II с адресом, в котором формулировали принципы уравнения сословий, полной гласности, необходимость немедленного выкупа крестьянских наделов и пр. «путем правительственных мер». Признавая, однако, «несостоятельность

правительства в этом деле», тверское дворянство «ограничивается указанием того пути, на который оно должно вступить для спасения себя и общества». Этот путь есть «собрание выборных от всего народа без различия сословий». Тринадцать мировых посредников Тверской губернии были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. После пятимесячного заключения в крепости они были приговорены к двухгодичному заключению (в среднем) и лишению некоторых прав. От первой части наказания подсудимые были освобождены; предлогом послужил «день торжественного тезоименитства государыни императрицы». Извещение о выступлении тверских деятелей было напечатано в «Северной почте», 1862, 21 февраля, № 39; приговор и амнистия — там же, 19 августа, № 181. Эту расправу правительства с «легально-действовавшими дворянами-помещиками» В. И. Ленин считал характерным примером того, что «самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс — дворянство — обнаружил с полной определенностью стремление ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 25 и 24).

Стр. 276. *В. В. Берви... высылку его в Астрахань.* — В. В. Берви обратился с протестом к царю, предводителю дворянства Тверской губернии и к великобританскому послу в Петербурге. В письме к последнему он писал: «Уведомляя о таковом моем поступке (официальном протесте, как дворянина. — *С. Р.*) посольство Британской империи, я имею честь покорнейше просить его сообщить о вышеизложенном английской нации, ибо не хочу, чтоб народ такой почтенный, как народ английский, полагал, что деспотические и притеснительные действия русского правительства остаются без возражения со стороны притесненных». См. О. В. Аптекман, В. В. Берви-Флеровский, Л. 1925, стр. 35.

...малейшее обстоятельство могло резко толкнуть ход жизни в ту или другую сторону. Эту роль и сыграли майские пожары... — В статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» В. И. Ленин ссылается на «статейку» Л. Ф. Пантелеева о пожарах, где, по его словам, «сгруппированы некоторые очень интересные факты о революционном возбуждении 1861—1862 гг. и полицейской реакции...» Однако, обращая внимание читателей на то, что «суровые временные правила о печати» были утверждены «еще 12 мая, *т. е. до пожаров»*, начавшихся 16 мая, Ленин не соглашается с выводом Пантелеева о той роли, которую сыграли эти пожары в наступлении реакции: «След, *«ход жизни»* резко направлялся в сторону реакции и независимо от пожаров вопреки мнению г. Пантелеева... есть очень веское основание думать, — писал далее В. И. Ленин, —

что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция.* Гнуснейшее эксплуатирование народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов было, значит, в ходу и в самый разгар «эпохи великих реформ» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26—27). Весьма вероятно, что пожары были если не непосредственно организованы, то инспирированы близкими к правительству кругами, и должны были, устрашив различные круги населения, заставить их одобрить последующие реакционные мероприятия. «Зажигателей вне полиции не нашли, — а в полиции *не искали...* Не попробовать ли?» — писал очень осведомленный Герцен в «Колоколе» (л. 149 от 20 октября (1 ноября) 1862 г.).

...пожар... уничтоживший большую часть Измайловского полка. — Пожар 1854 г. Сгорело 83 деревянных и 23 каменных дома. Специальная комиссия исчисляла убытки в сумме 372 249 рублей (см. упом. ниже статью в «Каторге и ссылке», 1932, № 10, стр. 87).

Стр. 277. *...писалось в «Северной пчеле»...* — Автором этой статьи был Н. С. Лесков. Прогрессивные круги долго не могли ему простить этой статьи, а Д. И. Писарев прямо называл его писателем «с полицейско-беллетристической точки зрения».

Стр. 279. *В. А. ...был близок к «Великоруссу»...* — Сноска из экземпляра А. В. Куликова.

...«Молодая Россия»... Герцен... отозвался... — Прокламация «Молодая Россия» была в мае 1862 г. напечатана и распространялась членами революционного кружка, организованного в Москве П. Г. Заичневским и П. Э. Аргиропуло, хотя Аргиропуло, по-видимому, не принимал участия в составлении и распространении прокламации (см. сб. «Политические процессы 1860-х гг.». Подг. В. П. Алексеева под ред. Б. П. Козьмина; Б. П. Козьмин, К истории «Молодой России» — «Каторга и ссылка», 1930, № 5, стр. 52—70, и Б. П. Козьмин, П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», М. 1932, стр. 86—88). В прокламации высказывалось требование полного уничтожения самодержавия и замены его республикой, закрытия монастырей, уничтожения семьи и брака, полного освобождения женщины, организации общественных фабрик и ликвидации права собственности на землю, полной независимости национальных областей. «Молодая Россия» характеризовалась К. Марксом и Ф. Энгельсом как манифест, который «содержал ясное и точное описание внутреннего положения страны, состояния различных партий, положения печати и, провозглашая коммунизм, делал вывод о необходимости социальной революции» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIII, ч. II, 1940, стр. 642; ср. В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 26). В прокламации подверглись также критике программы «Великорусса» и «Коло-

кола», позиция последнего характеризовалась как конституционно-либеральная. Герцен в статьях «Молодая и старая Россия», «Журналисты и террористы», полемизируя с автором «Молодой России», все еще предпочитал мирный путь развития — революционному, справедливо отмечая вместе с тем слабые стороны пропагандируемой «Молодой Россией» революционной тактики: социальный переворот совершит не «меньшинство из образованных», — пишет Герцен. Необходимо создание сильной, связанной с народом организации; призыв же к террору, к перевороту, для которого народ не готов, — он считает преждевременным (см. А. И. Герцен, Соч., т. 7, М. 1958, стр. 536—550 и 690—692).

Стр. 280. *...в одном имении в Рязанской губернии...* — Позднее Пантелеев назвал фамилию владельца имения (см. стр. 300). Разысканиями Б. П. Козьмина установлено, что это был б. студент Московского университета Павел Коробьин; им же восстановлена в деталях хронология всего периода: перевозка печатного станка, распространение прокламации и т. д. (см. «Каторга и ссылка», 1930, № 5, стр. 67 и след.).

...Кавелин... в известном письме к Герцену... — «Что пожары в связи с прокламациями — в этом нет теперь ни малейшего сомнения», — писал Кавелин Герцену 6 августа 1862 г. («Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», Женева, 1892, стр. 82).

Стр. 281. *...писано в самые первые годы...* — Слова в скобках — позднейшая помета в рабочем экземпляре.

Стр. 282 *...многочисленные аресты политического характера...* — Чернышевский и Н. Серно-Соловьевич были арестованы 7 июля 1862 г., С. Рымаренко — 30 марта 1862 г. (указано Р. А. Таубиным), Писарев — 2 июля 1862 г. См. также статью автора этих строк «Петербургские пожары 1862 г.» («Каторга и ссылка», 1932, № 10) и гл. 5 книжки «Артур Бенни», М. 1933.

...Суворов был человек добрый, гуманный... — Ср. с характеристикой князя Суворова в воспоминаниях ярого реакционера и мракобеса В. Н. Мещерского: «...Поставив себе странную задачу быть в одно время другом государя и самым популярным в общественном мнении человеком, называя для смеха своим другом и Чернышевского и Михайлова, князь Суворов очень много наделал вреда своим неукротимым чудачеством. Около него образовалась какая-то атмосфера распущенности в языке сперва, а потом в принципах и действиях... которые многих сбивали с толку и разными окольными путями отражались иногда и в иных сферах общества, и в среде учащейся молодежи. С рекомендациями князя

Суворова толкались по Петербургу, ища занятий, всевозможные косматые нигилисты. Князь Суворов любил с ними заигрывать. Я видел его в приемной более любезничающим с ними, чем с каким-нибудь почтенным генералом» (В. Н. Мещерский, Мои воспоминания, ч. 1, СПб. 1897, стр. 308—309).

Стр. 284. *«Journal de St.-Petersbourg»... поместил статью...* — Пантелеев имеет в виду заметку в неофициальной части № 136, от 18—19 июня (30 июня — 1 июля), 1862 г.

...Викторов... «впрочем, в нетрезвом виде»... — Неточно. Поджоги Викторов совершал в состоянии аффекта. В материалах следственного дела сохранились упоминания о попытках следователя навязать Викторову свою точку зрения: «Квитницкий, стараясь всеми силами привести его к сознанию в умышленном совершении преступления, убеждал, что он сделал поджог из политических видов и по подговору студента Баллода, а когда Викторов от изнурения готов был согласиться на это... то Квитницкий принял на себя труд продиктовать ему преступные мысли, под влиянием которых он будто бы совершил преступление» («Каторга и ссылка», 1932, № 10, стр. 91). После длительных и многократных пересмотров дела Викторов был приговорен к ссылке в Иркутскую или Енисейскую губернию с лишением всех прав и воспрещением отлучаться три года куда бы то ни было и десять лет в другие губернии России.

За точность фамилии... — В рабочем экземпляре (стр. 244) эта запись сделана небрежно и не доведена до конца. После «Козлова» слова «дочь Суворова» зачеркнуты и далее следует: «дочь его, Алек. Алек.».

...Козлова (убитого вместо Трепова). — Речь идет о террористическом акте 1 июля 1906 г. в Петергофе. По ошибке вместо Д. Ф. Трепова был убит генерал-майор С. В. Козлов. Его жена — фрейлина А. А. Суворова — правнучка фельдмаршала.

Стр. 284—285. *...Милицын... готов был отправиться на виселицу.* — Несколько иначе, со слов самого Суворова, передает тот же эпизод И. Е. Андреевский в своих воспоминаниях. Он сам принимал некоторое участие в судьбе обвиняемого, и поэтому его рассказ, по-видимому, более точен, нежели рассказ Пантелеева. Андреевский не упоминает о поездке Суворова к государю. Обвиняемый явился к Суворову не через «год или два», а спустя 13 лет — в 1875 г. и известил его не о своей женитьбе, а о смерти той женщины, имени которой он не хотел назвать на следствии («Русская старина», 1882, № 3, стр. 540—541).

Стр. 285. *...симбирского пожара...* — Речь идет о симбирских пожарах 1864 г. (см. стр. 372 и 767).

Стр. 287. *...заметку, которая тогда обошла все газеты.* — Пантелеев имеет в виду официозную заметку «Русского инвалида», 1862, 29 мая. См., напр., «Русский листок», 1862, 3 июня, № 22.

...известной сцены из «Ревизора» — то есть заключительные сцены «Ревизора» Гоголя, когда стало известно о проделках Хлестакова.

...просуществовала около двух лет... — с конца 1861 до конца 1863 г.

...тайных организаций конца царствования Александра I... — то есть Союза спасения, Союза благоденствия и других тайных обществ, подготовивших декабрьское восстание 1825 г.

Стр. 289. *«Автобиография» И. А. Худякова.* — См. И. А. Худяков, Опыт автобиографии, Женева, 1882, стр. 55—56.

Стр. 290. *...заходит ко мне Николай Утин.* — Н. Утин в это время уже был «афильирован» в общество. Слепцовым вовлечение Пантелеева несправедливо изображается как вынужденное: присоединение Утина «не могло быть долго тайной для следовавшего за ним по пятам Пантелеева», — писал А. А. Слепцов (*Герцен,* т. XVI, стр. 78—79).

Стр. 291. *...до самого бегства Утина.* — См. стр. 324—325, 404 и 757.

Стр. 292. *Что должно стоять на ее знамени?..* — Название «Земля и воля» взято из статьи «Что нужно народу»: «очень просто, народу нужна земля да воля» («Колокол», л. 102, от 19 июня (1 июля) 1862 г.); ср. еще письмо Герцена Н. И. Утину от 13/25 декабря 1864 г. (*ЛН,* № 61, 1953, стр. 275). А. А. Слепцов сообщает, якобы со слов Огарева, что название «Земля и воля» дано Герценом. При этом он будто бы сказал: «Немного претенциозно, но ясно и честно, потому что сейчас это именно и нужно» (*Герцен,* т. XVI, стр. 73). Ср. «Былое и думы»: «Я сказал, что мне не нравится это битое французское название» (*Герцен,* т. XIV, стр. 440). Формы и степень связи Лондона и Петербургского центра «Земли и воли» до сих пор окончательно не определены, но несомненно были очень значительны. В 1857 г. (или 1860 г.?) Н. П. Огарев составил «Записку о тайном обществе» (*ЛН,* № 39—40, 1941, стр. 323—328), хотя вопрос о партии как руководителе народной революции им и Герценом тогда еще не разрабатывался. Планы создания тайного общества с центром в России, но «в постоянной связи с главным органом в Лондоне» разрабатывались Огаревым в 1859—1860 гг. в статье «Идеалы» (Н. П. Огарев, Избранные социально-политические и философские произведения, т. 2, Госполитиздат, М. 1956, стр. 54—59). Тот же тезис и в заметке Огарева 1862 г. «О руководящих органах «Земли

и воли» и программе работ ее окружных комитетов» (т а м ж е, стр. 91—94). Ср. также публикацию М. В. Нечкиной в *ЛН*, № 61, 1953, стр. 459—522; Я. И. Л и н к о в, Роль А. И. Герцена и Н. П. Огарева в создании и деятельности общества «Земля и воля» («Вопросы истории», 1954, № 3) и его же «Проблема революционной партии в России в эпоху падения крепостного права» (т а м ж е, 1957, № 9).

Стр. 293. *...ссылкой... хотел... усугубить эффект...* — Ссылка на Маццини отнюдь не была пропагандистским ходом Слепцова. Связь с ним действительно поддерживалась как непосредственно Слепцовым, так и через Огарева. Маццини же принадлежит идея «пятерок» (*Герцен,* т. XVI, стр. 77; «Звенья», вып. 2, 1933, стр. 454, и *ЛН,* № 62, 1956, стр. 552).

Стр. 294. *...Николай Гаврилович член комитета?* — В настоящее время можно считать установленным, что Чернышевский принимал руководящее, хотя и строго законспирированное, участие в оформлении петербургского подполья в революционной организации. Герцен в письме к Н. И. Утину 13/25 декабря 1864 г., имея в виду «Землю и волю» и Чернышевского, писал: «На одной сильной личности держалось движение, а сослали — где продолжение?» (*ЛН*, № 61, стр. 275 и № 63, стр. 150). Ср. Я. И. Л и н к о в, О политической программе Н. Г. Чернышевского в период революционной ситуации 1859—1861 гг. («Вопросы истории», 1955, № 5).

Стр. 295. *...двое из приобщенных... получили заграничную командировку...* — О ком идет речь, неясно; может быть о В. И. Модестове и А. Г. Новоселове.

Стр. 296. *...покончил самоубийством... Пиотровский...*—В архиве Пушкинского дома хранятся письма А. Ф. Кони к Пантелееву. В одном из писем (22 февраля 1913 г.) он пишет: «Историю Пиотровского я слышал именно в том виде, в каком она изложена Вами». См. также письмо Некрасова к Пиотровскому после 23 января 1862 г. и примечания к нему (*Некрасов,* т. X, стр. 467—468).

В рабочем экземпляре после даты смерти Пиотровского — помета карандашом: «См. Скабичевский».

...воспоминаниям А. Я. Головачевой-Панаевой... — См. главу четырнадцатую в «Воспоминаниях» А. Я. Панаевой (М. 1956, стр. 259—260).

...Гр. Ник. Потанин (сибиряк)... — из экземпляра А. В. Куликова. Пантелеев называет Г. Н. Потанина, как лицо завербованное им в общество и летом 1862 г. организовавшего уральское отделение «Земли и воли», также в статье «Из личных воспоминаний о Г. Н. Потанине» («Биржевые ведомости», 1915, 21 сентября).

...не возьмете ли вы это на себя? — А. А. Слепцов объясняет

это иначе. Решено было отделаться от назойливого юнца и услать его на время подальше: удобнее всего было направить его на родину, в Вологду; Бекман, которого Пантелеев должен был вовлечь в общество, на самом деле вступил в него незадолго до того. Бунаков был присоединен тем же Бекманом в конце апреля 1862 г. По словам Слепцова, инициатором всего этого был Утин (*Герцен,* т. XVI, стр. 80 и след.). Вдова А. А. Слепцова — М. Н. Слепцова в беседе с автором этих строк (в 1932 г.) утверждала, что по возвращении Пантелеева из Вологды А. А. Слепцов якобы специально ездил туда, для того чтобы сгладить впечатление от допущенных Пантелеевым бестактностей.

Стр. 297. *...Петрозаводск... в сношения с Рыбниковым...* — П. Н. Рыбников был выслан в Петрозаводск (где пробыл до 1864 г.) «за подозрительные сношения с старообрядцами и рассуждения о делах политических» («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 356—357).

Стр. 298. *...не дожил до печальной развязки кругобайкальской истории...* — Кругобайкальское восстание 1866 г. было организовано ссыльными поляками, занятыми на постройке тракта вдоль Байкала. Восстанию предшествовала довольно длительная подготовка (оно было задумано, по-видимому, в самом начале 1865 г. в иркутской тюрьме Ляндовским, Шленкером и др. — см. стр. 566—575). Повстанцы предполагали, обезоружив конвой и соединившись, пробиваться через Монголию к морю и дальше в Америку. Начавшись в июне 1866 г., восстание было вскоре же жестоко подавлено. Н. А. Серно-Соловьевич принимал ближайшее участие в подготовке восстания. Об этом свидетельствуют важные материалы, недавно опубликованные в *ЛН*, № 62, стр. 561—570. Приводимые здесь и далее данные Пантелеева этими материалами существенно расширяются.

Стр. 300. *Тот и другой... сидели под арестом... доступ... свободен.* — Заичневский в Орле и Аргиропуло в Москве были арестованы 22 июня 1861 г. в связи с перлюстрацией письма Заичневского из имения отца (Орловской губернии) к Аргиропуло, в котором были открыто выражены его революционные убеждения. Оба были отправлены в Петербург, в III Отделение, затем, когда для окончания следствия в Москву переехала специально созданная по делу Заичневского и Аргиропуло комиссия, оба они также были перевезены в Москву и помещены в Тверскую часть, где, по воспоминаниям современников, доступ к ним и в самом деле был совершенно свободен (см. Б. П. Козьмин, П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», М. 1932, стр. 66—78).

...Зайчневский... за речь... на какой-то панихиде... попытку возмутить крестьян в имении своего отца... — Заичневский обвинялся не только в литографировании и распространении запрещенных сочинений, как его товарищи по следствию (Аргиропуло, Новиков, Понятовский), но и в публичном произнесении речей «возмутительного содержания». Имелись в виду: речь 17 марта 1861 г. на паперти французской католической церкви в Москве после окончания богослужения, устроенного поляками-студентами Московского университета по пяти убитым во время Варшавской демонстрации 15 февраля 1861 г. (см. стр. 711), а также его пропагандистская деятельность по дороге в Орел, около Подольска, и в Орловской губернии, куда он отправился на лето с целью заняться пропагандой среди крестьян. Зайчневский был приговорен к лишению всех прав состояния и каторжным работам на два года и восемь месяцев с последующим поселением в Сибири навсегда; Аргиропуло — к заключению на два с половиной года.

Стр. 301. *...может быть, человек пять-шесть...* — По мнению современного исследователя, кружок Аргиропуло и Заичневского объединял около двадцати или двадцати пяти человек (Б. П. Козьмин, цит. изд., стр. 51).

...посланный кружком Зайчневского... — В рабочем экземпляре (стр. 301) и заметке «К материалам о Чернышевском» Пантелеев называет Якова Сулина в качестве лица, доставившего Чернышевскому «Молодую Россию». Но Я. Сулин был арестован одновременно с Зайчневским в 1861 г. Даже если он и был на время выпущен на поруки, вряд ли мог приезжать в Петербург, да еще имея в руках компрометирующие его документы. Гораздо вероятнее предположение, подсказанное мне Б. П. Козьминым, о том, что у Пантелеева ошибка и что этим лицом был М. А. Саблин (см. воспоминания Н. Николадзе — «Каторга и ссылка», 1927, № 5, стр. 35—38); статью Б. П. Козьмина «К истории «Молодой России» (там же, 1930, № 5, стр. 68) и М. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—Пг. 1923, стр. 333—335).

Чернышевский отказался... для распространения экземпляры... — В литературе есть указания, что после выхода «Молодой России» Слепцов по поручению Чернышевского приезжал в Москву «уговорить издателей ... как-нибудь сгладить крайне неблагоприятное впечатление, произведенное их прокламацией». К каким результатам привела поездка Слепцова — неизвестно. Неизвестно даже, удалось ли ему повидаться с Зайчневским: «в начале июня 1862 г. ввиду тревожного времени доступ посетителей к Зайчневскому был прекращен» (Б. П. Козьмин, П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», М. 1932, стр. 123).

...визит, который ему сделал Ф. М. Достоевский. — Об этом визите, состоявшемся вскоре после пожара 28 мая 1862 г., Чернышевский подробно рассказал в заметке «Мои свидания с Ф. М. Достоевским», написанной 26 мая 1888 г. в Астрахани (*Чернышевский,* т. I, стр. 777—779).

Стр. 302. *...неудачной демонстрации 6 декабря 1876 г. на Казанской площади.* — Революционная демонстрация 6 декабря 1876 г. у Казанского собора в Петербурге, организованная народнической «Землей и волей», вызвала значительные аресты и репрессии. Позднее, в статье «Русский рабочий в революционном движении», Г. В. Плеханов, выступавший на этой демонстрации с горячей речью против самодержавия, писал: «Казанская демонстрация была первой попыткой практического применения наших понятий об *агитации...* демонстрация наглядно показала, что мы будем всегда оставаться одни, если в своей революционной деятельности будем руководствоваться лишь своим отвлеченным пристрастием к «агитации», а не существующим настроением и данными насущными нуждами той среды, в которой собираемся агитировать» (Г. В. Плеханов, Соч., изд. 2, т. III, <1923>, стр. 155).

«Этот день... мог бы стать одним из самых славных...» — Совершенно иначе интерпретирует отношение Зайчневского к этой демонстрации современный исследователь: «Узнав... о готовящейся демонстрации, Заичневский отправился в Петербург, чтобы удержать от участия в ней своих последователей» (Б. П. Козьмин, П. Г. Заичневский и «Молодая Россия», стр. 141).

...П. В. Лебединского... в Кинешме... — вставка (в скобках) из экземпляра А. В. Куликова.

В 1869 г. он вернулся... умер в 1895 г. ... — В начале 1869 г. Зайчневскому было разрешено вернуться в Европейскую Россию. С августа 1877 г. по 1880 г. был в ссылке в г. Повенец Олонецкой губернии (в связи с «чрезвычайно вредным влиянием на учащуюся молодежь»), а затем в г. Шенкурске. В начале 1889 г., в связи с провалом созданной Зайчневским революционной организации, объединившей революционные кружки Орла, Москвы, Курска, Смоленска, он был вновь арестован и после двухгодичного заключения сослан в Восточную Сибирь на пять лет. Подробнее об этих годах жизни Зайчневского, а также о его сотрудничестве в Иркутском «Восточном обозрении» см. Б. П. Козьмин, цит. изд., стр. 130—153.

Стр. 304. *И. Я. Соболев... можно довериться.* — Пантелеев называет И. Я. Соболева в одной из позднейших статей вместе с Бекманом и Н. Ф. Бунаковым в качестве трех афильированных им в «Землю и волю» лиц («Известия Вологодского об-ва изучения Северного края», 1917, вып. IV, стр. 34).

Стр. 309. *...черниговскому делу, кажется Лободы.* — Капитан корпуса инженеров путей сообщения Виктор Лобода арестован в сентябре 1862 г. за участие в Харьковском и Полтавском политических кружках; выслан в Пермскую губернию («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 218).

Стр. 310. *...сформировать свой конспиративный кружок.* — Слепцов объясняет этот эпизод совершенно иначе. Пантелеев входил в утинскую пятерку вместе с неизвестными ему, по условиям конспирации, М. С. Гулевичем, А. А. Жуком и В. В. Лобановым. После ареста последнего 15 июля 1862 г. и в связи с арестом Писарева (2 июля 1862 г.) Слепцов предложил Утину перезнакомить между собою всех членов пятерки. Утин, по рассказу Слепцова, разыграл Пантелеева; пришлось лишь уступить ему в приглашении П. И. Бокова (*Герцен,* т. XVI, стр. 82—83). Отношение Пантелеева к П. И. Бокову и оценка его роли в «Земле и воле» на дальнейших страницах воспоминаний несправедливы и пристрастны: все имеющиеся в литературе материалы свидетельствуют об активном участии Бокова в революционном движении 60-х гг. и о его большом благородстве в личной жизни.

Стр. 311. *Н. Ф. Павлов... высмеял эту прокламацию.* — Неподписанная статья о прокламации «К образованным классам» была напечатана в газете «Наше время», 1862, 22 сентября, № 204 (без заглавия; начиналась словами: «Еще прокламация...»).

Стр. 312. *...большом военном кружке в Петербурге.* — Очевидно, А. А. Слепцов имел в виду кружок А. А. Потебни.

...квитанции в получаемых деньгах... — См. в «Свободе», № 1: «Для... пожертвований наша открытая касса находится в Лондоне при редакции «Колокола». В самой же России денежные взносы доходят до комитета через вышеупомянутых столичных и провинциальных агентов, выдающих нумерованные, с приложением особой печати общества, квитанции. Нумера выданных квитанций печатаются в ближайших нумерах «Свободы» или «Колокола»; ср. также в «Общем вече» (20 мая (1 июня) 1863, № 17) и «Колоколе» (в ряде листов): «Совет общества «Земли и воли» приглашает всех русских на денежное пожертвование в пользу сосланных и ссылаемых и на сопряженные с общим делом расходы... Желающие могут получить квитанцию» и т. д.; аналогичное обращение Герцена и Огарева в редакцию газеты «The Morning Star» см. *ЛН*, № 63, стр. 129—130.

Стр. 313. *Конкурентом у него был Писарев.* — Работу Писарева об Аполлонии Тианском (его кандидатская диссертация) см., напр., в изд.: Д. И. Писарев, Сочинения, т. 2, СПб. 1901.

В своих воспоминаниях... — Пантелеев имеет в виду статью Писарева «Наша университетская наука» (см. Д. И. Писарев, Сочинения, т. 2, М. 1955, стр. 183).

Стр. 314. *Кульчицкий (стр. 339) выражается об Утине...* — Пантелеев имеет в виду издание: Л. Кульчицкий, История русского революционного движения, т. I (1801—1870), СПб. 1908.

Стр. 316. *...знали, что «Земля и воля» находится в самой первичной стадии развития...* — На самом деле к февралю 1862 г. Центральным комитетом были уже организованы филиалы на местах, деятельно шла работа по вовлечению в общество военных кругов, выпускались прокламации и т. д. Можно думать, что вместе с провинцией и военными кружками в общество было вовлечено свыше 1000 человек. (М. Н. Слепцова, едва ли не преувеличивая, сообщает иную цифру — не менее трех тысяч. См. «Звенья», вып. 2, М. 1933, стр. 454.) Особенно интенсивно шла пропаганда в военных кругах. Список членов комитета русских офицеров в Польше, сохранившийся в записной книжке Огарева, опубликован М. В. Нечкиной в *ЛН*, № 61, стр. 515—518. Утверждение Пантелеева ясно показывает, что он отнюдь не был в центре и не знал многого, известного другим, более доверенным членам организации.

Стр. 319. *...выпустили № 2 «Земли и воли»...* — в июле 1863 г.

...из Варшавы приехал Падлевский... — в декабре 1862 г. См. записки О. Авейде о польском восстании («Краткий очерк последних событий в Польше 1861—1864 гг.»), т. III, стр. 192 и след. — в комментариях Лемке; *Герцен*, т. XVI, стр. 86 и след. (ср. «Красный архив», т. 2 (57), 1933, стр. 107—137). Там же о переговорах, предшествовавших свиданию Слепцова и Утина с Падлевским (Пантелеев не указывает, что Падлевский приезжал в Петербург под именем графа Матусевича или Матушевского). В результате переговоров Падлевского с представителями Центрального комитета «Земли и воли» — Комитета свободной России 23 ноября (5 декабря) 1862 г. было заключено особое соглашение: «Земля и воля» обещала усилить пропаганду среди русских войск в Польше и произвести некоторую диверсию (но не восстание) для оттяжки военных сил. В момент восстания в Польше русские и польские солдаты должны были объединиться (Ю. Ковальский, Русская революционная демократия и январское восстание 1863 г. в Польше, М. 1953, стр. 209—210; ср. И. М. Белявская, А. И. Герцен и польское национально-освободительное движение 60-х гг. XIX в. М. 1954, стр. 130, 180—181). Герцен и Огарев считали восстание в это время гибельным для русского революционного движения и для польской национальной независимости и призывали революционный комитет русских офицеров в Польше сделать все возможное, чтобы

задержать восстание и лишь «если... усилия останутся бесплодными, тут больше делать нечего, как покориться судьбе и принять неизбежное мученичество, хотя бы его последствием был застой России на десятки лет». См. «Обращение к революционному комитету русских офицеров в Польше» Огарева и Бакунина (*ЛН*, № 61, стр. 539—540). О переговорах с польским комитетом рассказывает также Н. И. Утин в статье «Пропаганда и организация» («Народное дело», 1868, № 2—3, стр. 36—37). Характеризуя польское восстание 1863 г., В. И. Ленин писал: «*Тогда* революционною была именно Польша в целом, не только крестьянство, но и масса дворянства» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 416).

Стр. 320. *В... «Истории двух лет» Пржиборовского... отчет Падлевского...* — Книга В. Пржиборовского издана в Кракове в 1892—1896 гг. по-польски, без обозначения имени автора, скрывшегося под криптонимами Z. L. S. «Hystoria dwoch lat, 1861—1862», 5 томов. Упоминаемый Пантелеевым отчет см. в т. V, гл. XIX. Приводимый Пржиборовским список членов комитета «Земли и воли» действительно фантастический: Утин, Михайлов, Слепцов, Чернышевский, Серно-Соловьевич, Маевский, Худяков, Пантелеев, Черняк «и много других» («i wielu innych»).

Стр. 321. *...при свидании с князем Трубецким.* — В издании 1905 г. фамилия была обозначена инициалом Т. и раскрыта в рабочем экземпляре и в экземпляре А. В. Куликова. Кто такой князь Т., не знал и А. А. Слепцов. «Полагаю, Вы не откажетесь сообщить мне фамилию князя «Т.», о котором, как Вы пишете, Вам говорил покойный А. Унковский», — писал он Пантелееву (М. Слепцова; Штурманы грядущей бури, «Звенья», вып. 2, М. 1933, стр. 402).

...д-р Ф. М. Рымович. — Имя Ф. М. Рымовича названо в очерке «По возвращении из Сибири» (стр. 631 наст. изд.). Организованная независимо от Падлевского петербургская группа В. Коссовского стремилась сохранить по отношению к петербургскому комитету «Земли и воли» самостоятельность до начала восстания.

...в Люцинский уезд, в имение Мариенгауз... — Мыза Мариенгаузен (помещика Либского) в Люцинском уезде Витебской губернии. В этой типографии работали И. Г. Жуков, Д. Т. Степанов и М. К. Вейде (*ЛН*, № 62, стр. 616). Некоторые подробности о работе на этой мызе, широко использованной также и польскими революционными группами, см. в цит. выше книге Юзефа Ковальского, стр. 234—246.

Стр. 322. *...наметить членов будущего временного правительства...* — Пантелеев шаржирует и превращает в фарс вероятнее всего мельком брошенную кем-либо (может быть и Слепцовым) фразу о временном правительстве в случае удачи будущего вос-

стания. Напомним, что польский Центральный народный комитет тотчас же после начала восстания переименовал себя во Временное народное правительство. Нечто аналогичное мог предложить и Слепцов. Разговоры же о грядущем восстании шли в обществе непрестанно: в близость революции верили и более дальновидные политики, например, Чернышевский. Россия переживала в это время период «революционной ситуации» (Ленин), когда классовые противоречия резко обострились и «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 27). Ср. еще рассказ Н. А. Энгельгардта о том, как Н. Утин и Пантелеев являлись в 1862 г. к его отцу, предлагая портфель военного министра. При этом премьером назывался Чернышевский («Давние эпизоды», «Исторический вестник», 1910, № 2, стр. 550—551).

...указал на А. Д. Путяту... не могли получить. — Слепцов оспаривает эту характеристику Путяты. К сожалению, он не дошел в своих воспоминаниях до его реабилитации, что имел в виду сделать, по свидетельству Лемке. М. Слепцова называет Путяту в числе «основной пятерки», то есть руководства всей организацией («Звенья», вып. 2, М. 1933, стр. 443).

...намек у Герцена... — В феврале 1863 г. в Лондоне происходили переговоры между Герценом и Огаревым с одной стороны и представителем центрального комитета «Земли и воли» — А. А. Слепцовым (см. *ЛН*, № 63, стр. 152). Ср. рассказ Герцена в «Былом и думах» (глава «М. Бакунин и польское дело», была впервые опубликована в 1870 г., в «Сборнике посмертных статей А. И. Герцена», Женева): «уполномоченный от «Земли и воли» был полон важности своей миссии и пригласил нас сделаться агентами общества... Уполномоченный трактовал нас так, «как комиссары конвента 1793 трактовали генералов в дальних армиях» (*Герцен*, т. XI, 1957, стр. 372). Превратить «Колокол» только в орган «Земли и воли» Герцен и Огарев отказались, но при редакции был создан, с их участием, совет общества.

Стр. 323. *...оно застало его в переезде через Польшу.* — Слепцов выехал в Лондон из Петербурга через Варшаву 4 января 1863 г. ст. ст. (*Герцен,* т. XVI, стр. 89), то есть незадолго до восстания, которое действительно могло застать его в пути. Ср. также в упоминавшейся выше главе «Былого и дум»: «Он был первый русский, видевший начало восстания».

...А. Потебня, отдаленно принадлежавший к «Земле и воле»... — Пантелеев допускает существенную неточность: А. А. Потебня не «отдаленно» принадлежал к «Земле и воле», а был одним из активнейших ее членов (руководителем комитета русских офицеров

в Польше, влившегося в «Землю и волю»; *ЛН*, № 41—42, стр. 83). Развитая им деятельность в среде военных иллюстрируется числом вовлеченных им в общество — их было около двухсот (см. главу VII воспоминаний М. Н. Слепцовой «Штурманы грядущей бури», «Звенья», вып. 2, стр. 456 и след.; ср. публикацию Я. З. Черняка «К истории революционного «Комитета русских офицеров» в Польше», *ЛН*, № 61, стр. 534—540).

Стр. 324. *...Ровинский...* — в рабочем экземпляре карандашная помета: «автор большого труда о Черногории».

Поляки ведут войну. — Здесь в рабочем экземпляре вклейка — вырезка из какой-то польской газеты (заметка «Жертвы Муравьева») с пометой: «Это только за время Муравьева; но высылка продолжалась еще при Кауфмане, да <1 нрзб> при Назимове».

...распространить на Волге ложный манифест... в секрете от него. — Предположение Пантелеева о том, что попытка поднять восстание на Волге была организована поляками без участия «Земли и воли», противоречит тому, что нам известно о планах восстания. Подложный манифест был распространен польскими революционными группами вскоре после начала восстания 1863 г. с целью вызвать волнения крестьян в Приволжье, на Дону, на Украине и т. д. и тем помочь Польше оттянуть правительственные войска. Манифест даровал крестьянам полную свободу, освобождение от налогов, повинностей и пр. Автором его был Юрий Бензенгер, отпечатан он был в Норвегии, в Фридрихсгаме, шрифтом, похищенным из типографии сената в Петербурге. Историю манифеста и его текст см. в книге: Б. П. Козьмин, Казанский заговор 1863 года, М. 1929, стр. 23—33. Казанский комитет представлял собой тесно связанную с «Землей и волей» (может быть, с ее московским филиалом) организацию. В «Казанском заговоре» приняли участие казанские студенты и семинаристы, несколько офицеров казанского гарнизона и ссыльных поляков. Заговор был использован польскими революционными группами, которые имели в виду восстанием на Волге вызвать замешательство в правительстве и заставить оттянуть туда часть войск. Предполагалось, что восстание распространится по Волге, перебросится на Урал и Дон, а с Дона направится таким путем, чтобы слиться с польским восстанием. Ср. Б. П. Козьмин, цит. соч. и М. В. Нечкина, Н. П. Огарев в годы революционной ситуации, «Известия Академии наук СССР, серия истории и философии», 1947, т. IV, вып. 2, стр. 113—120.

Стр. 324—325. *...это дело навлекло на Утина... подозрения... письмо от Утина из-за границы...* — В связи с признанием Степанова о том, что деньги на расходы и материал для печатания он

получал от Утина и ему же сдавал продукцию типографии, 18 мая у Н. Утина был произведен обыск (см. *ЛН*, № 62, стр. 617—618). О роли Утина в переговорах с польскими революционерами правительству стало известно из показаний арестованных участников польского восстания И. Огрызко, В. Коссовского и О. Авейде. Однако еще до того, в первые дни мая Н. Утин, предупрежденный о том, что его «намерены арестовать», бежал за границу; был сужден заочно военным судом; приговор гласил: «лишить всех прав состояния и казнить смертью расстрелянием, каковое наказание исполнить над ним по поимке или по явке его в отечество, имущество же его, Утина, как бежавшего за границу и не явившегося по вызову начальства, взять в опекунское управление». В л. 169 «Колокола» от 15 августа 1863 г. было напечатано письмо Утина Центральному комитету «Земли и воли» с уведомлением «об успешном исходе» путешествия и с выражением благодарности «за своевременное предупреждение... за средства... за пути, которые были... указаны».

Стр. 325. *...Глассон... случайно узнавший о польском замысле...*— И. Глассон не случайно узнал о заговоре, а был введен в организацию штабс-капитаном Иваницким в конце марта 1863 г. (Б. П. Козьмин, Цит. соч., стр. 87 и след.).

...Мезенцев... командирован... велось Тимашевым... — Предполагалось действительно поручить следствие Мезенцеву. Однако он заболел и перед самым отъездом был заменен флигель-адъютантом полковником Нарышкиным. Председателем следственной комиссии был назначен С. Р. Жданов; почти одновременно с Нарышкиным в Казань был послан в качестве генерал-губернатора А. Е. Тимашев. Ему, ввиду «серьезности положения», были подчинены Вятская и Пермская губернии.

Стр. 326. *...при случае и расскажу особо.* — Вопреки утверждениям Лемке (*Герцен,* т. XVI, стр. 159), Пантелеев исполнил свое обещание и рассказал некоторые детали позднее — во втором томе своих воспоминаний (стр. 401—407).

...издание «Землеведения» Риттера. — «Землеведение Азии» К. Риттера издано Географическим обществом в 1856—1877 гг.

Стр. 327 *...Мосолов был заарестован...* — Ю. Мосолов был арестован в начале сентября 1863 г. («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 253).

Стр. 328. *...ускорила окончательное исчезновение «Земли и воли»... огромный спрос на молодые силы...* — Ср. стр. 338—339, а также позднейшие высказывания Н. Утина, объяснявшего неудачи «Земли и воли» тем, что тайное общество было создано,

когда волна крестьянского движения начала спадать, а также тем, что следовало «допускать» «в свои смыкающиеся ряды единственно тех людей, которые совершенно согласны в приемах, образе действий, в самом предположенном способе развязки, в постановленной конечной цели революционных стремлений» («Народное дело», 1868, № 2—3, стр. 50), а не считать одной из своих основных задач создание организации многочисленной, в ущерб ее монолитности.

Стр. 329. *...выстрел 4 апреля.* — Речь идет о покушении Д. В. Каракозова на Александра II.

...И. А. Худяков... по леонтьевской истории. — И. А. Худяков был исключен из Московского университета в 1859 г. (через год восстановлен) за участие в протесте против грубого обращения профессора латинского языка П. М. Леонтьева со студентами (см. М. М. Клевенский, И. А. Худяков, революционер и ученый, М. 1929, стр. 21).

...пытался издавать журнал... — О попытке Худякова (еще студентом) издавать журнал «Сказочный мир», программу журнала и прочие материалы см. в цит. книге М. М. Клевенского, стр. 28 и след.

Стр. 330. *...оговорил Г. З. Елисеева... В «Автобиографии» Худякова...* — Огромное следственное дело процесса Каракозова (5700 листов) до сих пор опубликовано лишь частично («Покушение Каракозова. Стенографический отчет...», т. 1—2, М. 1928—1930) и нельзя сказать, насколько справедливы слова Пантелеева. Елисеев был назван Худяковым в показании 26 апреля 1866 г. в числе лиц, знавших о связях Худякова с московскими революционными кружками и участвовавших в разговорах о так называемых «ассоциациях» («Красный архив», 1926, № 4 (17), стр. 111). В «Опыте автобиографии» И. А. Худякова есть слова о том, что он еще раз (после оговора Ишутина) «написал в комиссии подлое показание» (Женева, 1882, стр. 133).

Утин... исключен из Интернационала Бакунин. — Н. И. Утин принимал ближайшее участие в женевском журнале «Народное дело», выходившем в 1868—1870 гг., был членом русской секции Интернационала и поддерживал Карла Маркса в его борьбе с Бакуниным. См. предисловие Б. П. Козьмина к публикации писем Утина к Огареву, *ЛН*, № 62, стр. 607—625.

Стр. 331. *Рымаренко умер... во время его производства.* — Пантелеев ошибается: Рымаренко был приговорен к высылке под надзор полиции в один из отдаленных городов Европейской России (он выбрал Астрахань). В 1868 г. был освобожден от надзора и вскоре (до 1870 г.) умер («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 357—358).

Действительная причина... прежние женевцы. — Когда эта глава воспоминаний впервые появилась в печати, А. А. Слепцов обратился к Пантелееву с письмом (18 декабря 1904 г.), в котором, процитировав из воспоминаний Пантелеева слова: «Действительная причина удаления... бывшие женевцы», писал: «Многие читатели строчки эти поняли в том смысле, будто «г. с пенсне» удален был своим начальником и школьным товарищем по подозрению, что «указания реакционной газеты» написаны им. То ли Вы хотели сказать? Выскажитесь, пожалуйста, определеннее и не стесняйтесь. Перед клеветой Вы, очевидно, не останавливаетесь, а раз дело идет о вымысле — дорисовать фигуру, Вами измышленную, приписав ей еще и донос, очень уместно. *А. Слепцов»* (*ИРЛИ*, Архив Пантелеева, ф. 224, № 316. Впервые: *изд. 1934 г.* стр. 721). Пантелеев ответил Слепцову письмом, копия которого также находится в *ИРЛИ:* «Хотя тон Вашего письма и освобождает меня от обязательства личных объяснений с Вами, все же скажу Вам: смысл моих слов, Вас заинтересовавших, совершенно ясен, и разве только сам господин с пенсне может вычитать в них обвинение в доносах. Но, несмотря на то что я не допускаю и мысли, что кто-нибудь мог бы иначе истолковать мои слова, я все-таки в свое время печатно подчеркну их прямой смысл. *Л. Пантелеев.* 19.XII 1904» (там же). Пантелеев выполнил это обещание и в № 65 «Нашей жизни» от 20 января 1905 г. сделал соответствующую оговорку: «Кажется, ясно, что ведомство желало отделаться от господина с пенсне, как якобы красного женевца. Ничего другого я не хотел сказать». В отдельное издание эти слова не вошли.

...все получил... нельзя сказать... либеральным делом. — Чин действительного статского советника А. А. Слепцов получил в 1881 г. В делах *ЦГИАЛ* (ф. № 733) хранится ряд докладов, заключений и отзывов А. А. Слепцова о различных книгах; они действительно наглядно свидетельствуют о проделанной их автором эволюции вправо.

Стр. 334. *...Чернышевский именно его вывел в Лопухове...* — Гипотеза о П. И. Бокове как прототипе Лопухова действительно не подтверждается фактическими данными. См. мою статью: «Легенда о прототипах «Что делать?» Чернышевского» («Труды Ленинградского государственного библиотечного института имени Н. К. Крупской», т. II, Л. 1957, стр. 115—125).

Стр. 336. *...из «Земли и воли» попалось около десяти — двенадцати человек.* — На самом деле правительством, хотя и разновременно, было обнаружено гораздо больше членов организации, неизвестных Пантелееву. «Откровенен» на допросах был не один

Андрущенко (ср. *Герцен,* т. XVI, стр. 100, а также «История СССР», 1957, № 1, стр. 105—134).

...не высвободился из-под ее власти. — Ср. свидетельство другого современника: вторая жена Бокова, урожд. баронесса д'Адельгейм, жена статс-секретаря Государственного совета П. А. Измайлова «задыхалась в обстановке лицемерного петербургского света и отдала свою настоящую любовь» П. И. Бокову (С. Султанов, Герои «Что делать?», «Утро России», 1914, 8 марта, № 56).

Стр. 337. *...даже занял пост директора департамента.* — По официальным «Адрес-календарям...» А. Н. Столпаков в течение ряда лет числится членом совета министерства путей сообщения; когда он был директором департамента — не установлено.

Вспоминается Моравский. — Некролог Пантелеева о П. Ф. Моравском см. в газете «Наша жизнь», 1905, 26 октября, № 316.

...в студенческой опере. — В «Речи» от 12 марта 1917 г. (№ 61) Пантелеев напечатал заметку «Первый русский революционный гимн». В нем он цитирует отрывок оперы:

Славься же, славься, родимая Русь!
Но пред царем и штыками не трусь!
Нет, ополчися, родная, на брань,
Встань же скорее, родимая, встань! (Bis!).

В архиве Пантелеева сохранилась заметка об истории постановки оперы: «Опера «Из жизни студентов» была сочинена при следующих обстоятельствах. Первые из арестованных петербургских студентов по осенней истории 1861 г., в числе около сорока человек, были помещены, если не ошибаюсь в названии, в так называемой Екатерининской куртине (посредине крепости). Это в большинстве была очень близкая компания. Сначала содержали по одному, потом по нескольку человек в номере, а затем, должно быть во второй половине октября, все казематы были отперты. По некотором времени и уединился небольшой кружок, для остальных было только известно, что кружок готовит какое-то представление.

И вот в один прекрасный день был очищен самый большой номер, а вечером все были позваны на представление. Распорядителям как-то удалось получить из города не только подходящие костюмы, но даже пианино. Опера прошла с необыкновенным успехом и была несколько раз исполнена в Екатерининской куртине, а потом в тех казематах, которые выходят на Неву, куда в ноябре сгрудили всех студентов, около 90 человек, чтоб очистить Екатерининскую куртину для тверских мировых посредников.

В сочинении оперы принимали участие: П. Л. Спасский, П. Ф. Моравский, Залесский (поляк), Шведов (впоследствии про-

фессор Новороссийского университета), К. А. Ген (брат Н. А. Белозерской), Н. Утин, А. А. Мещерский и, может быть, еще кто-то. Мещерскому главным образом принадлежала музыкальная сторона дела, — он был хороший пианист. Гасильникова (Путятин) в морском мундире играл Шведов, ген. Кавказова (Филиппсон) — Спасский, гр. Штанова (П. А. Шувалов, управляющий III Отделением) — Залесский, оба тоже в военных мундирах; проф. Срединова (Изм. Ив. Срезневский) — Моравский, студента, влюбленного в Лелю, — К. А. Ген. Остальных исполнителей не припоминаю.

На представлении оперы раз присутствовал плац-адъютант Руссов; просил позволения посмотреть ее и плац-майор Новоселов, но почему-то не пришел.

По освобождении студентов опера раз была дана в доме Штакеншнейдер; а что касается до провинции, то слышал, что в Ташкенте, в бытность там гр. И. И. Воронцова-Дашкова, она была поставлена, кажется, даже с его участием. В Ташкенте тогда служил Южаков (вольнослушатель Петербургского университета), сидевший в Петропавловской крепости.

Почти все мотивы были взяты из тогдашних ходовых итальянских опер. Видение, распростиравшее руки благословения над Путятиным, изображал И. А. Оханов, в природной костюмировке, только прикрывшись простыней; а был Оханов настоящий орангутанг, с головы до пят обросший черными волосами.

В опере встречается выражение «попасть в Лабет». Лабет это просто кем-то из сидевших выдуманное слово, должно было означать неприятно глупое положение» (*ИРЛИ*. Архив Пантелеева, ф. 224, № 492; впервые — *изд. 1934 г.,* стр. 722—723). Ф. Я. Кон вспоминает, что песню «Славься, свобода, честный наш труд, || Пусть нас за правду в темницу запрут...» пели политические ссыльные в 1886 г. перед отправкой этапом в Сибирь (Ф. Я. Кон, За пятьдесят лет, Собр. соч., т. I, М. 1932, стр. 225).

Стр. 338—339. *...Якоби... картины «Смерть Робеспьера»... «Умеренные и террористы».* — Картина художника В. И. Якоби была закончена в 1864 г.; она вызвала большие споры, в частности позднейшую восторженную оценку В. В. Стасова в статье «Двадцать пять лет русского искусства» («Вестник Европы», 1882, № 11—12; 1883 №№ 2, 6, 10 — В. Стасов, Избранное, т. 1, 1950, стр. 485—486).

Стр. 339. *...товарищем Чернышевского по университету...* — В. М. Михалевский — ученик Чернышевского по Саратовской гимназии («Материалы для биографии Н. А. Добролюбова...», т. I, М. 1890, стр. 536, сноска).

Стр. 340. *...жена его... к В. А. Слепцову, беллетристу...* — См. «Записки» Е. Жуковской изд. в 1930 г. под редакцией и с предисловием К. И. Чуковского (Изд-во писателей, Л., стр. 198—206).

...М. А. Антонович... для нас какую-то прокламацию... — О какой прокламации идет речь, не установлено. В справочнике: «Русская подпольная и зарубежная печать», под ред. С. Н. Валка и Б. П. Козьмина, вып. I, М. 1935, Антонович в указателе авторов листовок не значится.

<А.> Вас. Захарьин... — В рабочем экземпляре (стр. 327) рукой Пантелеева перед фамилией Захарьина вставлено: «Мих. Вас.». Это ошибка памяти (вместо Александр Васильевич) — никакой другой, близкий Чернышевскому Захарьин неизвестен.

Ник. Гавр. ... не совсем чужд делу «Великорусса». — Вопрос об участии Чернышевского в составлении «Великорусса» до сих пор не может считаться окончательно выясненным. Новейший исследователь этого вопроса считает, что в комитет «Великорусса» возможно входили Н. Г. Чернышевский, Н. А. Серно-Соловьевич, М. А. Антонович, П. И. Боков и Н. А. Добролюбов (см. Н. Н. Новикова, «Великорусс» и его место в демократическом движении периода революционной ситуации 1859—1861 гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, М. 1951).

...письме, якобы им адресованном А. Н. Плещееву... — Письмо Чернышевского к Плещееву — фальшивка, изготовленная предателем Всеволодом Костомаровым, — единственная «улика» против Чернышевского в руках III Отделения, послужившая поводом для его ареста.

...под именем Нивельзина. — «Лугинин — несомненный Нивельзин», — писал М. К. Лемке Пантелееву 30 марта 1910 г. (*ИРЛИ*, Архив Пантелеева), подтверждая предположение Пантелеева, теперь общепринятое.

Стр. 341. *...Михайлов публиковал свой горячий протест... против Камня Виногорова...* — П. И. Вейнберг (под псевдонимом «Камень Виногоров») в № 8 журнала «Век» за 1861 г. напечатал статью «Русские диковинки», в которой пересказывал корреспонденцию «С.-Петербургских ведомостей» (1861, № 36) о благотворительном концерте в Перми, на котором статская советница Толмачева читала с эстрады «Египетские ночи» Пушкина. Статья Вейнберга вызвала очень оживленную полемику в журналах и газетах того времени. Статья Михайлова, выступившего в защиту женской эмансипации и горячо протестовавшего против пошлых намеков Вейнберга, была опубликована в «С.-Петербургских ведомостях», 1861, № 51.

...разговоры не переходили известной грани. — В автобиографии Лавров пишет: «...Лавров был приглашен в общество «Земля и воля», но его участие в этом обществе было так ничтожно, что об этом и говорить не стоит» («Вестник Европы», 1910, № 10, стр. 99). То же подтверждает и А. А. Слепцов (*Герцен*, т. XVI, стр. 74—75). Н. С. Русанов (Н. Е. Кудрин) называет А. Н. Энгельгардта в качестве лица, «афильировавшего» Лаврова («Былое», 1907, № 2, стр. 258; ср. воспоминания Н. А. Энгельгардта в «Историческом вестнике», 1910, № 2, стр. 550—551, и заметку Пантелеева «Подозрительная реабилитация» — «Речь», 1910, 7 февраля, № 37).

...М. И. Михайлова... статьи по женскому вопросу... — Речь идет о пользовавшихся огромной популярностью статьях М. Л. Михайлова «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» («Современник», 1860, №№ 4, 5 и 8), «Женщины в университете», «Джон Стюарт Милль — об эмансипации женщин» и др. («Современник», 1860, № 11; 1861, № 4).

Стр. 342. *В 1859 г. Михайлов был в Париже... написать статью о женском вопросе.* — В работе над комментируемым текстом Пантелеев использовал, по-видимому, воспоминания Шелгунова, в том числе отрывок из них, в котором рассказана история создания этих статей (опубликован Л. Ф. Пантелеевым в «Голосе минувшего», 1918, № 4—6). Ср. Н. В. Шелгунов, Воспоминания, 1923, стр. 31, 103 и 104).

...о...Шелгунове... не приходилось слышать... — Шелгунов был арестован 29 сентября 1862 г. в Сибири по подозрению в организации побега Михайлова. В связи с показаниями В. Костомарова об участии его в обсуждении прокламации «К барским крестьянам» и составлении прокламации «К солдатам» Шелгунов в апреле 1863 г. был доставлен в Петербург. После двадцатимесячного заключения в Петропавловской крепости был, по недостатку юридических доказательств виновности, освобожден и сослан под надзор полиции в Вологодскую губернию.

...Виндишгрец расстрелял в Вене Роберта Блюма... — Альфред Виндишгрец, подавляя революцию 1848 г., расстрелял в Вене 9 ноября 1848 г. известного немецкого демократического деятеля, члена франкфуртского парламента Роберта Блюма (о Блюме см. многочисленные отзывы К. Маркса в «Революции и контрреволюции в Германии», Соч., т. VI—VII, 1930, по указ. имен).

...Михайлов за границей... отпечатал... «К молодому поколению»... — Прокламация была напечатана летом 1861 г., во время поездки Михайлова за границу, в Лондоне в Вольной русской типографии Герцена.

Стр. 343. *...заметно распространена... в публике...* — В заметке «Нелишнее разъяснение» («Былое», 1906, № 2) Пантелеев сообщает некоторые детали, касающиеся этой прокламации, в частности распространения ее в августе 1861 г.

Какую роль играл А.Серно-Соловьевич... — А. А. Серно-Соловьевич принимал деятельное участие в «Земле и воле», в частности, в печатании, доставке и распространении нелегальной литературы; избегая ареста, он эмигрировал. Ряд важных материалов о нем печатается в *ЛН,* № 67.

Стр. 344. *...связей с Герценом не было... не выходит из чисто-обличительного направления...* — Некоторые вопросы тактики были согласованы еще в 1861 г. и нашли свое выражение в совместной статье Огарева и Н. Н. Обручева (может быть, еще некоторых лиц) «Что нужно народу». Совместно с Н. Н. Обручевым Огарев написал листовку «Что надо делать войску». Однако петербургский центр, фактически возглавлявшийся Чернышевским по ряду вопросов придерживался иных точек зрения. Поддерживавший самые близкие отношения с Герценом и Огаревым, ставший эмигрантом Н. И. Утин в 1867 г. писал о наличии *«двух революционных* партий» (*ЛН*, № 62, стр. 680; ср. также стр. 637, 676—677). В лагере «Современника» недовольство либеральными сторонами взглядов Герцена и Огарева намечалось еще в 1859 г. Статья Герцена «Very dangerous!!!» и реакция Чернышевского, специально выехавшего в Лондон для объяснения с Герценом, а также статьи «Лишние люди и желчевики», «Repetitia est mater studiorum», «Мясо освобождения» и др. (А. И. Герцен, Соч., т. 7, 1957), записи в дневнике Добролюбова (т. VI, стр. 487—488) — наиболее яркие факты существовавших разногласий. В. И. Ленин в статье «Памяти Герцена» отметил историческую правоту позиции Чернышевского и Добролюбова, которые «были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления от демократизма к либерализму» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 12).

...Герцен приветствовал студенческое движение... «Исполин просыпается»... — статья Герцена напечатана в л. 110 «Колокола» от 20 октября (1 ноября) 1861 г.

В деле Чернышевского есть фраза из чьего-то письма... — Пантелеев, конечно, имеет в виду слова письма Герцена и Огарева к Н. Н. Обручеву от 3/15 августа 1861 г.: «Черн<ышевский> поручил тому господину, который в Лондон не попал <речь идет о М. И. Михайлове>, сказать нам, чтобы мы не завлекали юношество в литературный союз, что из этого ничего не выйдет». Пантелеев знал это письмо по публикации М. К. Лемке в «Былом», 1906, № 3, стр. 105.

Стр. 346. *А. С. ...ее сын* — из экземпляра А. В. Куликова.

...номер «Колокола», где сам Жуковский сообщал о своем побеге... — Жуковский письмом в редакцию «Колокола» известил о благополучной эмиграции (л. 144 от 27 августа (8 сентября) 1862 г.).

Жданов... «Но вы меня не забудьте...»... — Эти строки восходят к письму П. Д. Баллода к Пантелееву от 15 ноября 1903 г. См. П. И. Валескалн, Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Материалы к биографии, Рига, 1957, стр. 130.

Стр. 347. *См. мой некролог о Стахевиче...* — «Сергей Григорьевич Стахевич. 1842—1918»; напечатано в газете «Наш век», 1918, 30 июня № 105(129). Последние слова сноски («См. мой некролог...») — из экземпляра А. В. Куликова. В рабочем экземпляре несколько иначе: после «живет в России» — дописано: «в Ярославле, а ныне (1916 г.) в Петербурге. Стахевич в Сибири женился на Лидии Ник. Фигнер».

И таких людей... я мог бы указать немало... — О последующей жизни и судьбе бывших землевольцев есть некоторый материал в воспоминаниях М. Н. Слепцовой («Звенья», вып. 2, М. 1933, стр. 434—447).

Стр. 348. *...студенческие годы... не совсем благополучно.* — Известный впоследствии врач и общественный деятель В. А. Манассеин был в 1861 г. уволен из Казанского университета, состоял под надзором полиции, неоднократно подвергался обыскам и т. д. («Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. 1, ч. 2, М. 1928, стр. 234—235).

Когда писал эти строки... — Сноска из экземпляра А. В. Куликова. В более ранней редакции рабочего экземпляра есть еще одна фраза: «С Н. И. Корсини (Утиной) хотя изредка и встречался, но отношения как-то не возобновились».

Вследствие показания Владислава Коссовского... — См. *Герцен,* т. XVI, стр. 157—158.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

Книга вторая

Впервые — «Сын отечества», 1899, 27 апреля, № 111 и 28 апреля, № 112 («Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове»); «Речь», 1906, 15 октября, № 191 и 18 октября, № 193 («Из воспоминаний о Н. Г. Чернышевском»); «Былое», 1907, №№ 1, 2 и 3 («Дела давно минувших дней»); глава «Н. Г. Чернышевский в Иркутске на пути в Астрахань» и вступление — впервые в издании «Из воспоминаний прошлого», т. II, СПб. 1908.

Стр. 351. *...Будревича... воспоминания... корреспонденции из «Московских ведомостей»...* — Рассказ С. В. Будревича и выписки из «Московских ведомостей» от 25 июня 1865 г., № 138, составляющие приложения ко второму тому «Из воспоминаний прошлого», в настоящем издании не перепечатываются.

Стр. 351—352. *На стр. 236—237, в главе «Основа»... что-то в этом роде было.* — Эпизод, о котором пишет Пантелеев, остается неразъясненным до настоящего времени; стихи, о которых пишет Пантелеев, не найдены. Быть может, речь идет о напечатанных в № 11—12 «Основы» за 1861 г. стихах «Невідомого», присланных в качестве ранних стихотворений Шевченко. В редакционном примечании Кулиш выражал сомнение в авторстве Шевченко. Пантелеев, конечно, ошибался, считая подпись «Казак Кузьменко» псевдонимом Кулиша. В «Основе» сотрудничал реальный Петр Кузьменко.

Стр. 354. *Вас спрашивает какой-то военный.* — Ср. описание ареста в воспоминаниях С. В. Пантелеевой (стр. 659—660 наст. изд.).

Стр. 356. *...в издании Ф. И. Булгакова...* — См. Ф. И. Булгаков, Павел Андреевич Федотов и его произведения, художественные и литературные. СПб. 1893.

Стр. 361. *...Бакунин... направлялся с польской экспедицией в Балтийское море.* — Описание этой экспедиции см. у Герцена, «Былое и думы», часть 7, гл. V, «Пароход «Ward Jackson»...».

Стр. 364. *...так называемое «петербургское дело»* — то есть дело о причастности Иосафата Огрызко к «мятежу» 1863 г. Официозное изложение этого дела см. в книге члена виленской следственной комиссии Н. В. Гогеля «Иосафат Огрызко и Петербургский революционный ржонд в деле последнего мятежа», изд. 2-е, Вильно, 1867.

...Ничипоренко, так скомпрометировавшие себя...—Арестованный 28 июля 1862 г. по делу о сношениях с «лондонскими пропагандистами», Ничипоренко «откровенными» показаниями выдал ряд лиц.

Стр. 368. *...изрядное количество прокламации «Земли и воли», выпущенной по поводу польского восстания...* — Имеется в виду прокламация «Льется польская кровь, льется русская кровь», январь—февраль, 1863 г.

Стр. 369. *Еще одно последнее сказание...* — Слова Пимена в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина.

Стр. 372. *...в Симбирске (по пожарному делу)...* — В августе—октябре 1864 г. в Симбирске происходили большие пожары: выгорело почти полторы тысячи домов, убытки достигали пяти миллионов рублей. Произведенные расследования ни к чему не привели и виновные установлены не были. Были расстреляны (очевидно,

невиновные) два солдата расквартированного в городе пехотного полка — фамилии их неизвестны. См. Р—н, К истории симбирских пожаров 1864 («Симбирские губернские ведомости», часть неофициальная, 1893, № 55) и П. Мартынов, Город Симбирск за 250 лет его существования. Симбирск, 1898, стр. 343. Ср. «Колокол», л. 196 от 19 марта (1 апреля) 1865 г. и л. 211 от 20 декабря 1865 (1 января 1866) г.

Стр. 375. *...московское дворянство послало адрес с требованием конституции...* — Имеется в виду адрес Александру II от 11 января 1865 г., в котором московское дворянство предлагало созыв «общего собрания выборных людей от земли русской для обсуждения нужд, общих всему государству». Несмотря на аристократический дворянский характер адреса, московское дворянское собрание было закрыто, В. Д. Скарятин, редактор реакционной газеты «Весть», где напечатан был адрес, — был предан суду (ср. *Никитенко,* т. 2, стр. 491, 509—510).

Стр. 377. *...во 2-м приложении к материалам для истории революционного движения 60-х гг.* — Пантелеев имеет в виду книгу В. Богучарского «Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг.», СПб. 1906.

Стр. 379. *...так называемой «застенковой шляхты»...* — то есть шляхты мелкой, хуторской.

Стр. 385—386. *...лицо, специально в его глазах благонадежное.* — Смотритель тюрьмы П. Г. Григорьев (см. стр. 700).

Стр. 387. *...вместо зерцала лежали две скрещенные сабли.* — Зерцало — трехгранная колонка-призма с двуглавым орлом наверху и тремя указами Петра I по сторонам, стоявшая на столе «присутствия», в частности, суда. Скрещенные сабли лежали в военном суде.

Стр. 389. *Кельсиев, года через два вернувшийся в Россию...* — Ренегат В. И. Кельсиев, бывший с 1859 г. в эмиграции и сотрудничавший в изданиях Герцена, в 1867 г. «раскаялся» и возвратился в Россию. О «Тульчинской агенции» В. Кельсиев писал в книге «Пережитое и передуманное. Воспоминания», СПб. 1868, и ряде других статей (см. *ЛН,* № 41—42, 1941, стр. 262—264).

Стр. 391. *С сибирского дела 1864 г. ...* — Речь идет о деле «сибирских сепаратистов» — группе, возглавлявшейся Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым и С. С. Шашковым. Программой сепаратистов было: отделение от России и организация местного самоуправления. Народнические элементы в идеологии «сепаратистов» были тесно переплетены с интересами быстро нарождавшейся сибирской буржуазии.

Стр. 392. *...второго акта «Жизни за царя»...* — Речь идет об опере Ф. Глинки «Иван Сусанин», шедшей в те годы на сцене в верноподданнической переделке барона Розена.

Стр. 393. *Ст. Каз. Янчевский.* — В 1914 г. в «Речи» (№ 49 от 20 февраля) Пантелеев под псевдонимом «Сторонний библиограф» поместил заметку к 50-летнему юбилею С. К. Янчевского с его краткой биографией.

Стр. 399. *...губернатору А. И. Деспоту-Зеновичу...* — Об А. И. Деспоте-Зеновиче см. статью Л. Ф. Пантелеева «Памяти А И. Деспота-Зеновича» в газете «Речь», 1915, 24 апреля, № 111 (в архиве Пантелеева в *ИРЛИ* — вырезка с рядом существенных рукописных дополнений).

Стр. 400. *...явившихся по вызову Муравьева...* — одна из мер обрусительской политики после разгрома восстания 1863 г. правительством Александра II, когда польские чиновники заменялись русскими, на весьма льготных для последних условиях.

Стр. 401—407. *...сделает обо мне доклад государю... у Суворова был Глассон...* — Мы не знаем, при каких обстоятельствах Пантелеев познакомился и в какой-то мере сблизился с петербургским генерал-губернатором кн. А. А. Суворовым, чем объясняется настойчивое желание Суворова облегчить участь Пантелеева: во всяком случае, его дружеская «услуга» дорого обошлась Пантелееву. Вскоре после смерти Пантелеева М. К. Лемке опубликовал в вышедшем в свет в 1920 г. XVI томе Полного собрания сочинений и писем Герцена документы, из которых якобы следовало, что И. Глассон, предавший казанскую организацию «Земли и воли», был представлен правительству именно Пантелеевым: 28 января 1866 г. жена Пантелеева обратилась к Александру II с прошением о помиловании ее мужа; при этом она ссылалась на услуги, оказанные им правительству. 31 января шеф жандармов писал военному министру, что государь просит командующего войсками Виленского военного округа генерал-адъютанта К. П. Кауфмана сообщить свое мнение о возможности смягчения участи Пантелеева. Сходные материалы были обнаружены В. Н. Шульгиным в делах III Отделения; они были им, в свое время, предложены редакции сборников «Звенья», однако там напечатаны не были. М. К. Лемке и некоторые современные советские и зарубежные исследователи склонны считать доказанным соучастие Пантелеева в предательском акте Глассона. Например, М. В. Нечкина в статье «Земля и воля» 1860-х годов», «История СССР», 1957, № 1, стр. 128; Юзеф Ковальский в книге: «Русская революционная демократия и январское восстание 1863 г. в Польше», М. 1953, стр. 273.

В архиве Пантелеева в Пушкинском доме хранится черновик соответствующих страниц воспоминаний. Беседа с Суворовым в пересыльной тюрьме изложена там так:

«— Знаете, можно будет воспользоваться той историей.

— Но ведь, ваша светлость, в той истории я ни при чем.

— Это ничего не значит. — И с этими словами распрощался.

Действительно Суворов сдержал свое слово. (Я между тем был переведен при тюрьме в больницу при доме арестантов <?>, что был у Биржевого моста.)

Через несколько дней после свидания <с государем> у Суворова был мой тесть В. Н. Латкин, и вот что ему рассказал Суворов.

— Я докладывал государю о деле вашего зятя. Государю известно, что я думаю о Муравьеве. Я своих чувств к этому субъекту ни от кого не скрываю. Так я сказал государю — вот как поступает Муравьев — он даже людей, оказавших услугу правительству — и тех ссылает в каторгу. Государь был очень недоволен; дело вашего зятя будет пересмотрено.

В самом деле состоялось выс<очайшее> повеление о пересмотре моего дела, оно было передано в военное министерство. От меня никаких объяснений не требовали; мы частным образом посылали нескольких <?> людей <?>. Я подал записку, минуя <?> жандармов. В записке я указывал на пристрастное производство следствия Виленской комиссией. Из главного аудиториата было сделано сношение с Кауфманом. Тот протянул своим ответом, который был прислан в Петербург уже после 4 апреля <то есть после покушения Каракозова. — *С. Р.*> и заключался в том, что участь моя предоставляется милости государя. Но время уже переменилось. Суворов был в отставке, и мое дело кончилось ничем» (*ИРЛИ*, ф. 224, № 511. Впервые частично — *изд. 1934 г.*, стр. 732).

У нас нет оснований заподозрить правдивость рассказов Пантелеева. Нет ничего невероятного в его утверждении, что у Суворова могли смешаться визит Пантелеева, сообщившего адрес того дома, в котором жил Глассон и лежал больной Княгининский, и визит Глассона, сообщившего о готовящемся в Казани заговоре, и Пантелеев представился ему в роли гида Глассона. Возможно также, что Глассон (самовольно или с разрешения Пантелеева) при посещении Суворова сослался на него. Проникновение к петербургскому генерал-губернатору в праздничный и неприемный день весьма незнатного приезжего из провинции могло быть осуществлено с помощью вхожего к Суворову Пантелеева. Пантелеев в этом случае действительно «помог» Глассону, но мы ведь не знаем, было ли Пантелееву известно, зачем Глассон шел к Суворову и какой предлог он придумал. Конечно, Глассон не был

столь примитивен и легкомыслен, чтобы рассказать человеку, с которым он за *несколько часов до того впервые в жизни встретился,* истинную причину столь поспешного визита. Ведь от Княгининского он мог получить характеристику Пантелеева, как человека революционных настроений. М. В. Нечкина в названной выше статье пишет, что Глассон «предварительно поставил обо всем в известность Л. Пантелеева» (стр. 128). Из известных мне материалов этого не следует. Итак, если даже допустить, что Пантелеев помог Глассону быть принятым Суворовым, то Суворов, в таком случае, не очень грешил против истины уклончивой формулой о том, что Глассона передал в его «руки» Пантелеев. (Утверждение того же Суворова в неопубликованном письме к шефу жандармов Мезенцеву о том, что «Пантелеев отлично сознавал смысл своего поступка» (*ЦГИАМ,* ф. 109, дело III Отделения, № 23, ч. 198, лл. 75—76; перевод с франц.) также не может быть признано в качестве доказательства вины Пантелеева, если учесть, с какой целью писалось это письмо.) Если наши предположения справедливы, то становится понятным, почему Глассон обратился не по адресу: ведь сообщение о готовящемся в Казанской губернии восстании надо было сделать III Отделению, а не петербургскому генерал-губернатору, которому эти дела и эта губерния совсем не были подведомственны. Впрочем, подлинная роль Глассона в Казанском деле до сих пор не до конца ясна.

Когда Пантелеев в начале 900-х годов писал свои воспоминания, он никем и никак не был вынужден на эти объяснения. Он мог об этом эпизоде вообще ничего не писать. Ни в России, ни за границей никто не обвинял его в предательстве (в том числе остававшиеся в живых землевольцы), и у Пантелеева не было оснований ждать опубликования хорошо скрытых в царских архивах якобы компрометирующих его документов. Сказанным выше определяется наше к ним недоверие. Нас не должно удивлять наличие ряда архивных документов, содержащих формулировку об оказанной Пантелеевым услуге. Они представляют собою переходящую из документа в документ канцелярскую модификацию созданной А. А. Суворовым версии. В 60-х гг. нередко распространялись слухи о связях с III Отделением тех или иных деятелей прогрессивного лагеря — иные из них (напр., о В. О. Ковалевском, о А. Бенни) оказывались совершенно вздорными, но стоили обвиненным многих месяцев тяжелых нравственных страданий. О Пантелееве такого рода слухи, после разъяснения Суворова, не распространились, хотя в архивах и возникли якобы компрометирующие документы. Между тем, в курсе дел были Е. П. Ковалевский, Н. И. Костомаров, В. М. Белозерский и вся «утинская» пятерка «Земли и воли» — количество более чем

достаточное, чтобы разговоры о недостойном поведении заметного в петербургской жизни передового деятеля стали бы известны самым широким образом. По-видимому, объяснения, данные Пантелеевым, были признаны настолько и безусловно удовлетворительными, что гипотеза о предательстве (или о чем-то похожем) погибла в самом своем зародыше. Она не зафиксирована ни в письмах, ни в мемуарах современников (даже таких врагов Пантелеева, как А. А. Слепцов) и не проникла за границу к хорошо осведомленному Герцену. Очевидно, что пятерка, бывшая в курсе дел, а может быть и центр организации удовлетворились представленными объяснениями. Нелепо и совершенно невозможно предположение, что в составе подпольной организации и ее петербургского комитета состоит лицо, уличенное или хотя бы подозреваемое в предательстве.

Кроме того, если бы Пантелеев действительно совершил столь недостойный поступок, он мог бы после ареста сообщить о своих «заслугах» и отделаться минимальным или даже номинальным наказанием; ему не было никакого резона выносить год с лишним тяжелого тюремного заключения, в условиях муравьевского террора, и ждать каторжного приговора с лишением прав и последующим поселением в Сибири. Вспомним, насколько была облегчена участь привлеченного по тому же делу Владислава Коссовского в благодарность за «чистосердечное сознание» и за «полное и искреннее раскаяние». Действительному предателю вовсе не обязательно было обращаться именно к Суворову и действовать только через него. Вполне естественно было действовать «по инстанциям», а Суворова назвать в качестве свидетеля. Это не было сделано, ибо Пантелееву не приходило в голову, что после разъяснения происшедшей два года назад ошибки Суворов будет свидетелем в не имевшем места обстоятельстве. Иначе связь с Суворовым (через жену или тестя) была бы налажена гораздо раньше, еще из Виленской тюрьмы, до приговора, когда изменять судьбу обвиняемого очень трудно. Стойкость Пантелеева на допросах и на суде подтверждается документально и не вызывает сомнений. Стоит прочесть хотя бы его заявление, в котором он смело обвиняет комиссию в пристрастном ведении дела, в подлогах и пр. (см. *Герцен,* т. XVI, стр. 159—162). Обратим внимание и на то, что самая встреча в пересыльной тюрьме в начале января 1866 г. («Русская старина», 1883, № 3, стр. 627) по пути в Сибирь, после утверждения во всех инстанциях каторжного приговора, была совершенно случайной — ни предвидеть, ни вызвать ее Пантелеев не мог. Заявление жены Пантелеева, возможно, было подано без

ведома мужа. Ведь и второе прошение, от 18 мая, подавали снова С. В. Пантелеева и ее отец — В. Н. Латкин (*Герцен*, т. XVI, стр. 164).

Мелькнувшие было в Петербурге слухи о неблаговидных поступках Пантелеева не помешали впоследствии и Салтыкову и Чернышевскому поддерживать с Пантелеевым не только деловые, но и дружеские отношения. Таким образом, очевидна непричастность Пантелеева к предательскому акту Глассона.

Стр. 411. *...отрекомендовался д-р Горнич...* — Эта фамилия названа полностью в тексте воспоминаний С. В. Пантелеевой. См. стр. 667 наст. изд.

Стр. 416. *...кто такой стрелял?* — В ближайшие после 4 апреля 1866 г. дни выяснилось, что покушение было совершено Д. В. Каракозовым, членом кружка ишутинцев, революционеров-террористов. О реакции, наступившей после выстрела 4 апреля, см. материалы в статье Б. Я. Бухштаба «После выстрела Каракозова» («Каторга и ссылка», 1931, № 5).

«Крестовая газета» — ультрареакционная газета «Kreuz Zeitung».

Стр. 420. *...«Легенды русского народа»... читать легенду «Солдат и смерть».* — Пантелеев имеет в виду издание: А. Н. Афанасьев, Народные русские легенды, Лондон, 1859 (менее полно: М. 1859); легенда «Солдат и смерть» — в московском издании, стр. 53—71.

Стр. 427. *Бискуп* — епископ (*польск.*).

Стр. 445—446. *...Мерло... объяснял Замятин...* — В специальной «Заметке» («Былое», 1907, № 5, стр. 310) Пантелеев исправил две неточности этого рассказа, касающиеся Мерло. Экспедиция, о которой идет речь, была снаряжена по предписанию иркутского генерал-губернатора М. С. Корсакова Восточно-Сибирским отделом Географического общества. Преднамеренность поступка Замятина (обратный вызов Мерло), видимо, не подтверждается.

Стр. 446. *...напечатаны в «Известиях»...* — Таблица «Ход температуры в селении Толстый-Нос на севере Туруханского края по наблюдениям Ф. П. Мерло, обработанным И. Калиновским» напечатана в «Известиях Сибирского отделения имп. русского Географического общества», 1874, т. V.

Стр. 447. *Вернувшись из Сибири в половине 70-х гг. ...* — Пантелеев возвратился в Петербург в 1874 г.

...первенствующим редактором «Отечественных записок»... — ответственным редактором журнала Салтыков-Щедрин был утвержден (27 марта 1878 г.) после смерти Некрасова.

...в 1879 г. ...в «Отечественных записках» два моих рассказа... — В № 5 — «Макар», в № 7 — «Тунгузская примадонна». В архиве

Пантелеева (*ИРЛИ*, ф. 224, № 514) на выправленном автором оттиске второго рассказа — его рукой надпись: «На самом деле Алексея Васильевича <в повести Федора Васильевича. — *С. Р.*> Федорова звали «Тунгузская богородица», но по цензурным соображениям пришлось богородицу заменить примадонной».

Стр. 448. *...ценные воспоминания... о которых говорит Н. А. Белоголовый...* — Пантелеев имеет в виду издание: Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, М. 1897. О стихах молодого Салтыкова и о повестях «Противоречия» и «Запутанное дело» он говорит на стр. 199—200 назв. изд. Более позднюю и подробную редакцию воспоминаний см. в изд. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина, М. Гослитиздат, 1957.

...рецензии в «Отечественных записках» и «Современнике». — Установленные в настоящее время более или менее бесспорно критические и публицистические строки и рецензии писателя перепечатаны в изд. *Салтыков-Щедрин*, тт. I, V и VIII.

Отзыв Дружинина был самый благоприятный... — Как установил С. А. Макашин, обращение Салтыкова к Дружинину объясняется близостью их личных отношений в это время («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 717). В своей статье о «Губернских очерках» в «Библиотеке для чтения» (1856, № 12) Дружинин, дав высокую оценку напечатанных к тому времени «Введения» и первых семи рассказов, уже здесь констатировал, что в Салтыкове «сказывается умный, но не чуждый дидактики деятель», то есть писатель, который находится «на перекрестке», но способен в своем творчестве примкнуть к столь враждебному Дружинину направлению «обличения и протеста».

Стр. 448—449. *...Тургеневу... мнение прямо противоположное...* — Отрицательный отзыв Тургенева о «Губернских очерках» см. в письмах Тургенева Колбасину 8 марта 1857 г. и Анненкову 9 марта 1857 г. (И. С. Тургенев, Первое собрание писем, СПб. 1884, стр. 50, и «Наша старина», 1914, № 12, стр. 1071). Впоследствии, как известно, Тургенев изменил свое мнение об этом произведении Салтыкова: см., напр., И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XI, М. 1956, стр. 202—203.

Стр. 449. *...корректуры без пропусков должны были сохраниться...* — Местонахождение этих корректур в настоящее время неизвестно (см. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 718).

...первоначальные корректуры «Истории одного города»... — Корректуры «Истории одного города» отчасти хранятся в *ЦГАЛИ* и использованы в изд.: *Салтыков-Щедрин*, т. IX.

...Некрасов... предложил ему сотрудничество. — Некрасов был, по-видимому, у Щедрина, вернувшись из-за границы летом 1857 г. О своем неблагоприятном впечатлении он писал И. С. Тургеневу 27 июля 1857 г.: «Гений эпохи Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин» (*Некрасов,* т. 10, стр. 355). В 1857 г. в «Современнике» был напечатан один рассказ Салтыкова «Жених» (в № 10). Начало постоянного сотрудничества его в «Современнике» относится к 1859—1860 гг.

...написал... «Смерть Пазухина». — В первой половине 60-х гг. Салтыков написал не только «Смерть Пазухина» (1856), но и пьесу «Тени», ряд драматических сцен и отрывков.

Стр. 450. *...«Свои люди — сочтемся»... без приделанного для цензуры конца.* — Написанная в 1849 г. и тогда же представленная в драматическую цензуру пьеса Островского была запрещена «для сценического представления». Напечатанная с цензурными искажениями в 1850 г. в «Москвитянине», она вызвала «недовольство» влиятельных московских купцов, по требованию которых было создано «дело» против автора пьесы. По заключению Николая I и распоряжению «бутурлинского» цензурного комитета пьеса была запрещена, а за Островским началось секретное наблюдение. В 1858 г., при подготовке своего собрания сочинений, А. Н. Островский в заключительной сцене пьесы «Свои люди — сочтемся» должен был ввести сцену прихода квартального к Подхалюзину, чтобы его «представить к следственному приставу по делу о сокрытии имущества» Большова — тем самым порок оказывался наказанным «еще на земле» (см. А. Н. Островский, Полное собр. соч., т. I, М. 1949).

...писал мне 30 марта 1887 г. — Точный текст письма см. *Салтыков-Щедрин,* т. XX, стр. 284—285.

...проекте условия... с фирмой Салаевых. — В бумагах Пантелеева сохранился проект условия с московским издателем И. М. Сибиряковым (*Салтыков-Щедрин,* т. XX, стр. 339—340).

После выхода в отставку... не мог уже вернуться... — Салтыков подал «по болезни» в отставку с поста тверского вице-губернатора 20 января 1862 г., «в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами», как пишет один из исследователей Щедрина. Отставка была утверждена царем. Возможно, одной из причин ее было то, что до властей дошли слухи об участии Салтыкова в выступлениях тверского дворянства (см. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 720).

...не поладил с губернатором Александровым... — Письмо Салтыкова от 2 марта 1865 г. к Анненкову, в котором он описывает «деятельность» Александровского (у Пантелеева — ошибочно: Але-

ксандров), было перлюстрировано и стало, по-видимому, известно последнему (там же, стр. 720). Об отношениях Салтыкова с ним см. в статье Б. Я. Бухштаба «После выстрела Каракозова» («Каторга и ссылка», 1931, № 5, стр. 65 и след.).

Стр. 451. ...*Шидловский... «Отечественным записками».* — Пантелееву осталось неизвестным, что вскоре после своего вступления на пост председателя Главного управления по делам печати Шидловский потребовал объявить «Отечественным записками» предостережение за № 10 журнала за 1870 г. Предостережение не было объявлено, так как было не утверждено «по особым соображениям», министром внутренних дел Тимашевым (см. статью Б. Папковского и С. Макашина «Некрасов и литературная политика самодержавия», *ЛН* № 49—50, стр. 470—471).

...*цензурный комитет задержал «Дневник провинциала в Петербурге»...* — За напечатание в № 6 (1872 г.) статьи Н. А. Деммерта «Наши общественные дела» «Отечественным запискам» было объявлено «первое предостережение». Современники (напр., Н. С. Курочкин) считали, что на самом деле «предостережение» было объявлено вследствие обиды Лонгинова, решившего, что в «Дневнике провинциала в Петербурге» под видом Козьмы Пруткова выведен он. («Архив села Карабихи», М. 1916, стр. 116—117.) О том, что Салтыков вывел в фельетоне вел. кн. Константина, нет никаких указаний. 31 декабря 1872 г. Салтыков преподнес Лонгинову экземпляр отдельного издания «Дневника провинциала...» при весьма официальном сопроводительном письме» (*Салтыков-Щедрин*, т. XVIII, стр. 262).

Лучшим произведением Достоевского М. Е. считал «Идиота». — Отзыв Салтыкова об этом романе — в рецензии на роман Омулевского «Светлов» (см. *Салтыков-Щедрин*, т. VIII, стр. 438).

Стр. 451—452. *На литературном вечере... встретился с Тургеневым...* — По-видимому, речь идет о литературно-музыкальном утре с участием Тургенева, состоявшемся 27 февраля 1871 г. в зале Павловой (ныне ул. Рубинштейна, 13) (см. «С.-Петербургские ведомости», 1871, 27 февраля, № 58 и 1 марта, № 60). В письмах к Виардо Тургенев писал о своем выступлении на утре «в пользу раненых французов, об этом не говорится в афише, но все это знают» (I. Tourgueneff, Lettres à madame Viardot, Paris, 1907, p. 259—260).

Стр. 452. ...*статьи о... «Истории одного города»... «Атенеуме».* — Статья Тургенева напечатана в журнале «The Akademy» (1871, № 13, March I, pp. 151—152). См. И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 11, 1956, стр. 200—203.

...еще более скрепились в 1875 г. ... оживленная переписка. — Отношения Тургенева и Салтыкова были прерваны после выхода в свет «Отцов и детей», в которых Щедрин ошибочно видел памфлет, направленный против демократии. Отношения существенно улучшились в 1870—1871 гг., а затем во время пребывания Салтыкова в Париже в сентябре-октябре 1875 г. См. данные в работе: М. К. Клеман, Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева, 1934, стр. 238—244, а также: С. Ф. Баранов, Великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин (Иркутск, 1950, стр. 44—71). Известно одно письмо Салтыкова Тургеневу от сентября 1875 г. (*Салтыков-Щедрин,* т. XVIII, стр. 304) и 12 писем Тургенева к Салтыкову 1875—1876 гг. (И. С. Тургенев, Первое собрание писем. СПб. 1884, стр. 267—301).

...«Переписка Н<иколая> П<авлови>ча с Поль-де-Коком». — В этом произведении (1875—1876) Салтыков сатирически осмеял политические претензии и моральную распущенность Николая I. Сохранившиеся (далеко не полностью) отрывки см. *Салтыков-Щедрин,* т. XVIII, стр. 326—328, 460 (ср. *ЛН,* № 1, 1931, стр. 191—194).

У Тургенева... с гр. Соллогубом... бросил свою пьесу в камин. — Эту не дошедшую до нас пьесу Соллогуб читал в Буживале в октябре 1875 г. Ср. в письме Салтыкова к П. В. Анненкову: «Действующим лицом является нигилист-вор. Можете себе представить, что сделала из этого кисть Соллогуба. Со мной сделалось что-то вроде истерики. Не знаю, что я говорил Соллогубу, но Тургенев сказывает, что назвал его бесчестным человеком. Меня прежде всего оскорбил этот богомаз, думающий площадными ругательствами объяснить сложное дело» (*Салтыков-Щедрин,* т. XVIII, стр. 313—314). Ср. в воспоминаниях А. М. Унковского отрывок из не дошедшего до нас письма к нему Салтыкова («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 653), а также письмо Тургенева Ю. П. Вревской («Щукинский сборник», вып. V, М. 1906, стр. 475).

Стр. 453. *Закрытие в 1884 г. «Отечественных записок», сопровождавшееся правительственным сообщением...* — «Отечественные записки» были закрыты после выхода апрельской книжки. В специальном «Правительственном сообщении» подчеркивалось, что «в редакции «Отечественных записок» группировались лица, состоявшие в близкой связи с революционною организацией» («Правительственный вестник» 1884, 2 апреля, № 87). Эти строки имели в виду Н. К. Михайловского, С. Н. Кривенко, М. А. Протопопова и др. Сообщение «Правительственного вестника» было перепечатано почти всеми газетами.

...на корреспонденцию в «Daily News... опровержение... — Салтыков написал проект ответа на корреспонденцию в «Daily News» (10/22 октября 1884 г.) и послал его М. М. Стасюлевичу 22 октября (3 ноября) 1884 г. Ответ был напечатан в «Daily News» 12/24 ноября 1884 г. (*Салтыков-Щедрин,* т. XX, стр. 101—102 и 104—105) и в русском переводе в «Новом времени», 1884, № 3134 от 17/29 ноября.

В «Вестнике Европы»... «Пестрые письма»... — «Вестник Европы», 1884, № 11; 1886, № 10 (*Салтыков-Щедрин,* т. XVI).

Стр. 454. *Я возьму назад «Оброшенного».* — «Оброшенный» — первоначальный вариант «элегии в прозе» «Имярек» из «Мелочей жизни» (там же, стр. 709—720); первая публикация с заглавием «Имярек» — в «Вестнике Европы», 1887, № 4.

«Полковницкую дочь» да... «Неумытный Трезор». — Напечатано в «Книжках недели» 1887, № 2 («Полковницкая дочь») и 1885, № 2 («Неумытный трезор», первоначальное заглавие сказки «Верный трезор»). См. *Салтыков-Щедрин,* т. XVI.

В конце октября... с В. И. Лихачевым... — Ряд неэтичных поступков В. И. Лихачева вызвал, по предложению Г. З. Елисеева, разбор их в узком кругу знакомых. Обвинителем выступал А. М. Унковский. Пантелеев, как и Унковский, прекратил с Лихачевым всякие отношения. На одном из писем Салтыкова к Пантелееву последним сделана следующая пометка: «С конца 1885 г. я оборвал отношения с Лихачевым, и мы бывали в разные дни у Салтыкова...» Подробно см. в комментариях С. А. Макашина в изд. «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 723.

Стр. 455. *«Я давно не писал... не можете».* — Точный текст письма см. в изд.: *Салтыков-Щедрин,* т. XX, стр. 316.

Стр. 456. *«Забытые слова»* — последнее неоконченное произведение Салтыкова. Сохранившийся отрывок см. в т. XVI, стр. 740—741.

...я ему покажу настоящих слуг прошлого времени... «Пошехонскую старину». — Очерки Гончарова печатались в «Ниве» в 1888 г. №№ 1—3 и 18; первоначальное заглавие — «Слуги», в Собр. соч., 1889 г. (т. IX) — «Слуги старого века» (И. А. Гончаров, Собр. соч., т. VII, М. 1954, стр. 316—383 и 522—524). Салтыков, воспринимавший, как и Шелгунов, очерки Гончарова, как «сатиру на лакеев», противопоставил им глубоко трагическую «галерею рабов» (главы XVII—XXV «Пошехонской старины» были опубликованы в «Вестнике Европы», 1888, №№ 11 и 12).

Стр. 457. *...в одной сказке... не исправился?* — О замысле Салтыкова создать «изумительный тип глубоковерующего человека», связанный в его сознании с образом Чернышевского, см. в письмах

Салтыкова 1875 г. к П. В. Анненкову и Некрасову (*Салтыков-Щедрин,* т. XVIII, стр. 323 и 360), а также в главе VII цикла «За рубежом» (т. XIV, стр. 268).

Стр. 458. *...мне... оригинал «Христовой ночи».* — «Христова ночь» была напечатана в «Русских ведомостях», 1886, 7 сентября, № 245 (т. XVI, стр. 231—235). Подаренный Пантелееву автограф хранится ныне в *ИРЛИ.* Пантелеев был у Салтыкова в августе («Солнце России», 1914, № 219).

Стр. 458—459. *...в письмах... 29 мая 1887 г. ... 5 июля 1886 г.* — См. *Салтыков-Щедрин,* т. XX, стр. 302 и 235.

Стр. 460. *...пригласить отца Иоанна Кронштадтского.* — Как сообщает С. А. Макашин на основе неопубликованного письма С. П. Боткина к Н. А. Белоголовому, визит этот состоялся по приглашению жены Салтыкова, воспользовавшейся беспомощным состоянием больного и тяжелым упадком его психики («М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 725).

Стр. 461. *...загадочной смерти принца Рудольфа.* — 30 января 1889 г. сын императора Франца-Иосифа I австрийский кронпринц Рудольф в своем охотничьем замке в Мейерлинге убил румынскую баронессу Вечору, а затем покончил с собой в связи с тем, что Франц-Иосиф не разрешил их брака.

...в Москву к Поливанову. — Частная гимназия Л. И. Поливанова в Москве считалась в то время одной из лучших.

Стр. 462. *...мысль, что он может быть изъят из обращения...* — См. в письме Салтыкова к Н. А. Белоголовому (18 декабря 1887 г.): «...а что если этот господин <Сибиряков. — *С. Р.*> совсем меня не будет издавать и, так сказать, исключит на пятьдесят лет из литературы...» и т. д. (*Салтыков-Щедрин,* т. XX, стр. 343).

...в начале марта 1889 г. ... — См. стр. 467.

Стр. 464. *«1881 г. декабря 7 сложил с себя звание члена...»* — В упоминаемом Пантелеевым сборнике «XXV лет» (СПб. 1884) цитируемого Пантелеевым места нет. 2 февраля 1882 г. Салтыков лишь отказался от звания члена комитета.

...фанатически преданному Н. Г.... «Всполохи разума». — Отзыв об А. С. Студенском см. в письме Чернышевского к А. Н. Пыпину от 25 февраля 1878 г. (*Чернышевский,* т. XV, стр. 150). Студенским были изданы: «Всполохи разума. Философичное руководство для типографий, издателей, редакций, корректоров и отчасти писателей», СПб. 1871; «Корректурно-грамматический или корректорский список», СПб. 1870, и несколько совершенно вздорных философских работ: «Философ-кокетка и исключенный третий. Руководящий биологический этюд», СПб. 1872;

«Логико-грамматические и философско-неологические этюды. Сборник отдельных брошюр», т. I, СПб. 1875.

Стр. 465. ...*свидетельствует... В. П. Острогорский.* — Где напечатано это свидетельство В. П. Острогорского, установить не удалось.

...*статейку, вызванную брошюрой Погодина...*— См. стр. 492—493.

Стр. 466. ...*Н. Г. в то время выпускал полное собрание сочинений Добролюбова и собирал материалы для его биографии.* — Н. Г. Чернышевский сразу же после смерти Добролюбова начал готовить издание его сочинений и успел выпустить 4 тома; предположенный пятый (письма, дневники и пр.) из-за его ареста не был подготовлен. По возвращении из ссылки Чернышевский возобновил работу над биографией своего друга. В 1889 г. в №№ 1 и 2 «Русской мысли» были напечатаны (под псевд. «Андреев») «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова». Под тем же названием вышел том, содержавший переписку Добролюбова (был подготовлен Чернышевским, но вышел в 1890 г., посмертно; издание было задумано в двух томах, но вышел лишь один).

...*Добролюбов... влюбился в одну девушку... в чьих-то воспоминаниях...* — Пантелеев имеет в виду увлечение Добролюбова Ильдегондой Фиокки. Источник недостоверного рассказа о врачебном освидетельствовании — заметка Д. П. Сильчевского («К биографии Н. А. Добролюбова» — «Новости и биржевая газета», 1901, 17 ноября № 317).

...*после опубликования г. Лемке материалов по делу Чернышевского...* — Речь идет о работе М. К. Лемке «Дело Н. Г. Чернышевского» («Былое», 1906, №№ 3—5; отд. изд.: «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского», СПб. 1907).

Стр. 466—467. ...*неизданный отрывок из воспоминаний Н. В. Шелгунова... «К барским крестьянам».* — Этот отрывок был напечатан в «Голосе минувшего» (1918, № 4—6, стр. 66) и вошел в изданный А. А. Шиловым текст «Воспоминаний» Н. В. Шелгунова (1923, стр. 33). Там же см. текст упоминаемой ниже прокламации «К солдатам». Текст прокламации «К барским крестьянам от их доброжелателей поклон», послужившей поводом для ареста Чернышевского, см. *Чернышевский,* т. VII.

Стр. 467. ...*на заводе с Чернышевским.* — На Александровском заводе в Сибири Чернышевский отбывал часть срока каторжных работ (с октября 1866 по ноябрь 1871 г.).

...*политика, усвоенная Н. Г. и на каторге...*—Конспиративное поведение Чернышевского на каторге отмечает ряд мемуаристов (см. Ю. Стеклов, Н. Г. Чернышевский, т. II, М. 1928, стр. 249 и след.).

...возвратный путь взял на Астрахань... — Пантелеев был в Астрахани в конце мая 1889 г. (*Чернышевский,* т. XV, стр. 877).

Стр. 470. *Владимир Галактионович* — В. Г. Короленко.

...из современных беллетристов самый крупный Максим Белинский. — Максим Белинский — псевдоним писателя И. И. Ясинского, в 80-х гг. близкого к радикально-народническим кругам; кроме приводимого Пантелеевым отзыва, у нас нет сведений об отношении к нему Чернышевского.

...к Л. Н. Толстому последнего периода... об этом есть рассказ... В. Г. Короленко. — Пантелеев имеет в виду «Воспоминания о Чернышевском» В. Г. Короленко (Собр. соч., т. 8, М. 1955). Воспоминания были написаны в 1890 г., в 1894 г. изданы в Лондоне «Фондом вольной русской прессы» и лишь в 1904 г. опубликованы в России в «Русском богатстве» (кн. II). В отношении Н. Г. Чернышевского к Л. Толстому последнего периода основным был, разумеется, не рационализм Чернышевского, а религиозная проповедь Толстого о непротивлении злу насилием.

...В. И. Модестов... перевел Спинозу... — Чернышевский имеет в виду «Этику» в переводе В. И. Модестова, изд. Пантелеева, 1886 (ряд переизданий).

Стр. 471. *...после Ламарка что для французов Дарвин? ...жизненный строй должен держаться на борьбе?* — Своей «Теорией эволюционного развития природы и философии зоологии» (1809) Ламарк, по словам Ф. Энгельса, пробил в эпоху господства метафизики одну из брешей в консервативном воззрении на природу, хотя «во времена Ламарка науке далеко еще не хватало материала, чтобы высказаться по вопросу о происхождении видов иначе, чем в виде пророческих, так сказать, предвосхищений» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, 1931, стр. 73). В приводимом Пантелеевым сравнении Чернышевского имеются в виду ошибочные теоретические положения в учении основоположника научной эволюционной биологии Дарвина, которые явились следствием некритического усвоения им реакционной теории Мальтуса о народонаселении, оправдывающей эксплуатацию трудящихся капиталистами. Положение Дарвина о том, что в человеческом обществе внутривидовая борьба за существование является одним из основных факторов естественного отбора, подверглось, как серьезный промах, критике К. Маркса и Ф. Энгельса (ср. у Чернышевского: «Гадость мальтузианизма и перешла в учение Дарвина. Когда глупость эта переносится на историю людей, то из глупости она становится зверством, бесчеловечием» (*Чернышевский,* т. XIV, стр. 598).

Стр. 472. *...нового издания его «Эстетических отношений искусства к действительности».* — Об этом несостоявшемся по цензурным причинам издании (проект его относится к 1888 г.) см. «Литературное наследие», т. III, М. 1930, стр. 597 и 607 (письма Л. Ф. Пантелеева и М. Н. Чернышевского) и *Чернышевский,* т. XV, стр. 654, 666—668, *изд. 1934 г.*, стр. 742 (письма Н. Г. Чернышевского).

Стр. 473. *...по своему объему... без предварительной цензуры...* — Без предварительной цензуры могли печататься книги объемом свыше 10 печ. листов.

Стр. 474. *...мой снимок...* — См. воспроизведение этого снимка, хранящегося в *ИРЛИ,* на стр. 465 наст. изд.

...прокламацию... представил... по начальству... — Салтыков, получивший 6 и 9 сентября по почте (по служебному адресу) десять экземпляров прокламации «Великорусс № 2» передал их, как и полученные еще в июле экземпляры «Великорусса № 1», тверскому губернатору Н. Т. Баранову, с которым он был в это время «в большой приязни», с просьбой также их уничтожить. Однако тогда же, 11 сентября, был получен секретный циркуляр министра внутренних дел, предписывающий губернаторам «в случае присылки» «Великорусса» «немедленно представлять в министерство отбираемые экземпляры в тех самых конвертах, в каких они были получены». Переданные Салтыковым прокламации были также отосланы в Петербург (см. разъяснение этого эпизода на основе новонайденных материалов в комментариях С. А. Макашина в издании «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 726—729).

...конверт... послужил первой уликой против В. А. Обручева. — Конверты, адресованные Салтыкову, «представляли, — как убедительно доказал С. А. Макашин, — весьма малый интерес для следствия, так как поступили в III Отделение уже тогда, когда оно располагало целой коллекцией подобных конвертов... оказались двадцать седьмым и двадцать девятым» (т а м ж е, стр. 727).

...нисколько не смягчило Н. Г. — Среди бумаг Пантелеева в архиве *ИРЛИ* сохранился следующий отрывок: «Н. А. <Белоголовый? — *С. Р.*> говорит: в 1861 г. Салтыков вышел в отставку и переселился в Петербург, чтобы посвятить свои силы исключительно литературе и именно «Современнику». В действительности, дело происходило иначе. Вследствие процесса В. А. О<бруче>ва, одного из сотрудников «Современника», притом пользовавшегося особым расположением Н. Г. Чернышевского, М. Е. приехал из Твери в Петербург, чтобы объясниться с Чернышевским, но тот так сурово встретил М. Е., что последний сейчас же подал в отставку. Воспоминание об этом эпизоде навсегда поселило значи-

тельную холодность в отношениях М. Е. и Чернышевского, даже годы не ослабляли ее, в чем я не раз имел случай убедиться. Если М. Е. и принял участие в возобновившемся «Современнике», то этим обязан Некрасову; на приглашение его М. Е. ответил: «Боюсь, что не полажу с вашей духовной консисторией», разумея тех из сотрудников, которые являлись представителями традиций Чернышевского. Этим же эпизодом 61 г. надо в значительной степени объяснить враждебность Писарева в «Рус<ском> слове» в отношении М. Е. Во избежание недоразумений, считаю нужным пояснить, что во всей истории с В. А. О<бручевы>м если в чем и можно упрекнуть М. Е., то разве в ненаходчивости. Сам В. О<бруче>в впоследствии, вернувшись из Сибири, не только не заявил каких-нибудь враждебных чувств по отношению к М. Е., а наоборот, поспешил возобновить свою литературную деятельность именно в «От<ечественных> з<аписках>», под редакцией М. Е., который в свою очередь старался помочь в этом отношении В. О<бручев>у (ф. № 224, № 515; впервые — *изд. 1934 г.,* стр. 742—743). Ср. приведенное в комментариях С. А. Макашина свидетельство Е. П. Елисеевой о том, что «объяснением, данным им <Салтыковым> был удовлетворен Чернышевский» (там же, стр. 729).

...резкий тон... в радикальном «Русском слове» по отношению к М. Е. — Причины разногласий «Современника» и «Русского слова» гораздо глубже. Подробный анализ их см. у Б. П. Козьмина, «Раскол в нигилистах» («Литература и марксизм», 1928, № 2; перепечатано в его книге: «От 19 февраля до 1 марта», М. 1933).

...в журнале, который он предполагал издавать в соредакторстве с Унковским и Головачевым. — Салтыков собирался издавать с Унковским, Головачевым, Европеусом, Б. И. Утиным и другими журнал, рассчитывая соединить в нем «различные оттенки партии прогресса». Программу этого не разрешенного правительством журнала, а также письма Салтыкова к Н. Г. Чернышевскому, Б. И. Утину и др. см. *Салтыков-Щедрин,* т. XVIII и «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», стр. 832—835.

Стр. 475. *...только что появившегося стихотворения Некрасова «Дешевая покупка».* — Стихотворение было напечатано в № 2 «Современника» за 1862 г.

...мог бы еще лучше писать, если бы был умнее. — Все, что мы знаем об отношениях Чернышевского и Некрасова, позволяет оспорить точность передачи Пантелеевым этого высказывания. См. письмо Чернышевского Некрасову от 5 ноября 1856 г. (*Чернышевский,* т. XIV, стр. 325) и «Воспоминания» Чернышевского о Некрасове (т. I, стр. 714—722).

Стр. 476. *В день объявления воли... издевательство над крестья-*

нами. — Буквально тот же рассказ — в «Заметках о Некрасове» (*Чернышевский,* т. I, стр. 747).

...невозможная... была женщина. — Правдоподобность сообщаемого Пантелеевым отзыва Н. Г. об Авдотье Панаевой не бесспорна, настолько резко он расходится со всем, что известно об его отношении к ней и в 60-е годы и позднее. Панаева была одна из тех немногих, кого Чернышевский всю жизнь глубоко уважал. См., напр., письма Чернышевского к Панаевой от 11 ноября 1888 и 12 сентября 1889 г. (*Чернышевский,* т. XV, стр. 747 и 897—898).

Стр. 477—478. *...Карпентера «Энергия в природе»... предисловие переводчика устранялось само собой.* — Рукопись этого предисловия Чернышевского найдена автором этих строк в архиве Пантелеева в *ИРЛИ* и напечатана в т. II «Исторического сборника», 1934 (*Чернышевский,* т. X, стр. 986—991). Книга Карпентера вышла в 1885 г. в издании Пантелеева, без предисловия Чернышевского и без обозначения имени переводчика. Историю этого перевода и связанную с ним переписку см. в т. III «Литературного наследия» (М. 1930, стр. 45—46, 48, 50, 52, 549, 606).

Стр. 478. *...близость окончания перевода истории Вебера...* — Перевод многотомной истории немецкого либерального ученого Г. Вебера был заказан Н. Г. Чернышевскому в 1885 г. издателем К. Т. Солдатенковым, главным образом, в целях материальной поддержки. Чернышевский успел перевести 11 из 15 томов.

...перевод Н. Г.... вышел много позднее... — Речь идет об издании: Г. Спенсер, Основные начала, СПб. 1897. Имя переводчика не обозначено.

Стр. 479. *...в это время появилась публикация о предстоящем выходе «Живой старины»...* — «Живая старина» выходила в 1890 г., в № 1 напечатана записка от 19 декабря 1889 г. о предстоящем издании (составлена В. И. Ламанским, А. Н. Пыпиным, И. П. Минаевым, Л. Н. Майковым, А. Н. Веселовским); была распространена и раньше, до начала издания.

...о ходатайстве губернатора Вяземского... — Астраханский губернатор Л. Д. Вяземский (он занимал этот пост в 1888—1889 гг.) принимал некоторое участие в судьбе Чернышевского в Астрахани. Об этом можно судить по письмам Чернышевского к О. С. Чернышевской (*Чернышевский,* т. XV, стр. 877—879).

Стр. 480. *...Н. К. сообщает о своей прикосновенности к переговорам, которые велись через посредство Н. Я. Николадзе...* — Речь идет о переговорах, которые Н. Я. Николадзе вел от имени «Народной воли» с представителями тайной аристократической реакционной организации «Священная дружина», в частности, с министром двора гр. И. И. Воронцовым-Дашковым и гр.

П. П. Шуваловым: результатом этих переговоров явилось перемещение Чернышевского в 1883 г. в Астрахань.

Стр. 481. *...вот буквально, что мне по этому поводу сообщил Келер.* — Дальнейший текст представляет собою перепечатку хранящихся в архиве Пантелеева в *ИРЛИ* «Воспоминаний В. В. Келера о Н. Г. Чернышевском» (семь страниц, датированных 16 октября 1890 г., ф. 224, № 566). Текст воспоминаний Келера Пантелеев подверг сокращению и некоторой стилистической обработке. Ср. заметку В. С. Е. «Мелочи о Н. Г. Чернышевском» («Сибирские вопросы», 1909, №№ 46—47) о пребывании Чернышевского у Келера.

Летом 1883 г. ... повеление о разрешении Чернышевскому переселиться в Астрахань. — «Высочайшее предварительное соизволение на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань» было дано 27 мая 1883 г., но только 23 августа он был вывезен жандармами из Вилюйска, причем везли его, по воспоминаниям В. Г. Короленко, «не давая отдохнуть, тщательно скрывая имя и не прописывая фамилии на станциях» (В. Г. Короленко, Собр, соч., т. 8, М. 1955, стр. 58).

Стр. 482. *Забереги* — лед, застывающий у берегов в заморозки.

Стр. 484. *...последствия одной из рецензий были фатальные...* — Об этом эпизоде в литературе никаких сведений нет.

...рецензии на известную книгу Кинглека о Крымской кампании. — Чернышевскому принадлежит не рецензия, а обширный «Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку)». Этот перевод с обширными примечаниями и дополнениями книги английского буржуазного историка был начат в Петропавловской крепости и остался незаконченным; он впервые издан отдельной книгой в Москве в 1932 г. (см. *Чернышевский,* т. X).

Стр. 485. *«...Брак, каких мало» (был помещен в «Пантеоне» Кони).* — То есть в «Пантеоне» за 1852 г. (№№ 5 и 6); псевдоним Евгений Лунский (А. И. Бибикова).

...рассказ вызвал у Н. Г. веселый смех. — Далее в тексте воспоминаний В. В. Келера абзац, исключенный Пантелеевым: «Здесь кстати упомянуть, что в то время, когда одни писатели упрекали А. И. Фрейганга в чрезмерной строгости, другие, напротив, относились к нему, как говорится, без малейшей злобы...» и т. д. (*ИРЛИ,* ф. 224, № 566, лл. 5 об. — 6).

Рассказывал Н. Г. прекрасно... — О том, как Чернышевский рассказывал детям сказки из «Тысячи и одной ночи», вспоминают еще А. С. Карамышев (см. В. Е. Чешихин-Ветринский, Н. Г. Чернышевский, Пг. 1923, стр. 193) и О. И. Срезневская (см. В. А. Пыпина, Любовь в жизни Чернышевского, Пг. 1923, стр. 18 и след.).

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Печатается по тексту «Солнца России», 1915, № 297(42), где опубликовано впервые.

Стр. 489. *От родителя, начальника сольвычегодской инвалидной команды...* — Более подробный рассказ Пантелеева о своем детстве см. на стр. 23—26.

Стр. 490. *Осенью 1861 г.... получил на два с половиной месяца казенную квартиру...* — Пантелеев был арестован 28 сентября 1861 г. за участие в студенческих волнениях в Петербургском университете; освобожден 7 декабря.

...неожиданное приглашение меня М. Н. Муравьевым в Вильно... — См. стр. 353 и след.

...Надеждинского прииска... так печально прославился... расстрелом рабочих. — Пантелеев пишет о Ленском расстреле — кровавой расправе царского правительства с рабочими золотых приисков в Бодайбо на Лене 4 апреля 1912 г. Расправой руководил жандармский ротмистр Н. В. Трощенков (или Трещенков).

...если не считать случайного опекунства... — После смерти в 1887 г. свояка Пантелеева — купца-миллионера и исследователя Сибири М. К. Сидорова Пантелеев был назначен опекуном.

Стр. 491. *В 1901 г. бывший тогда министр внутренних дел Сипягин проявил большую заботливость насчет моего здоровья...* — См. стр. 13—14.

...моя первая статейка... — См. стр. 492—493.

<АВТОБИОГРАФИЯ>

Печатается по сборнику: «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей. Собрал Ф. Ф. Фидлер», М. 1911, стр. 146—147, где опубликовано впервые.

Стр. 492. *История Карамзина.* — Имеется в виду многотомная «История государства Российского» Н. М. Карамзина.

Стр. 493. *...вновь появиться в печати, в «Тифлисском вестнике»...* — См. «Тифлисский вестник», 1876, 4 февраля, № 28: «В первый раз на медвежьей охоте. Из воспоминаний о Сибири». Подп. «Актолик».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГИМНАЗИИ 50-х гг.

Печатается по «Русскому богатству», 1901, № 6, где опубликовано впервые; исправления и дополнения — на хранящемся в *ИРЛИ*, в архиве Пантелеева, оттиске, выправленном автором

(ф. 224, № 481). Дополнение на стр. 514 настоящего издания (первый абзац), по-видимому, не увидело света в свое время по соображениям цензурного характера.

В одной из рецензий на отдельное издание воспоминаний Пантелеева, между прочим, отмечалось: «Гимназические воспоминания автора, напечатанные в «Русском богатстве» ... почему-то не воспроизведены в отдельном издании. Об этом можно только пожалеть, потому что таким образом нарушена последовательность рассказа» (статья Вл. Кр<анихфельда>в «Современном мире», 1908, № 5).

Почти одновременно с Пантелеевым, на несколько классов старше его, в вологодской гимназии учился известный впоследствии общественный деятель и землеволец Н. Ф. Бунаков (1836—1904). В своих «Записках» (СПб. 1909) он подробно останавливается на характеристике преподавателей гимназии — его воспоминания в этой части дополняют данные Пантелеева. В частности, он рассказывает о А. Г. Попове — учителе греческого языка, дослуживавшем до пенсии и потому переведенном на преподавание естественной истории по «Ботанике» Декандоля (у Пантелеева — по «Фауне» Ю. Симашко, стр. 498).

Стр. 495. *...через двадцать лет эти же языки... против тех же вредоносных начал!* — Речь идет о проведенном Д. А. Толстым гимназическом уставе 1871 г., одна из основных идей которого — усиленное насаждение «классического образования» взамен реального, когда основное место в обучении занимали математика, физика, химия, естествознание и др.

Стр. 500. *...с товарищем А. С. Норовым* — то есть с товарищем министра народного просвещения А. С. Норовым.

Стр. 503. *...«Путешествие Дюмон-Дюрвиля»...* — Французский путешественник Дюмон-Дюрвиль — автор ряда книг, особенно распространенных в 40-х гг.: «Библиотека путешествий», «Всеобщее путешествие», «Путешествие вокруг света» и т. д.

«Часы благоговения» — «религиозно-нравственная» книга «Часы благоговения для споспешествования истинному христианству и домашнему богопочтению». Перевод с немецкого. Ряд изданий 1834—1909 гг.

Стр. 505. *...незаурядный преподаватель... какие-то учебники по русскому языку...* — Речь идет о К. П. Лебединском.

Стр. 506. *...в хрестоматии Галахова.* — См. стр. 704.

Рогатый силлогизм — один из видов софизма, заключающийся в том, что средний термин силлогизма дается в двусмысленной форме.

Стр. 507. *«Знаете ли вы, что такое украинская ночь?»* — из повести Н. В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница».

...в «Журнале министерства народного просвещения» печатались отрывки из диссертации О. Ф. Миллера... — Статья О. Миллера «Поэзия древней Индии» была напечатана в 1856 г. в № 9 указанного журнала и вошла в книгу «О нравственной стихии и поэзии». В 1857 г. (№№ 2, 9, 10) — другие главы из этой же книги.

«Наль и Дамаянти» — древнеиндийский эпос, переведенный на русский язык В. А. Жуковским.

...по Шевыреву... древнерусскую литературу... — Имеется в виду издание: С. П. Шевырев, История русской словесности, преимущественно древней, М. 1846; изд. 2. М. 1858. Добролюбов в своей рецензии на 2-е издание охарактеризовал эту книгу как одно из «затхлых, гнилых, трупообразных явлений» (*Добролюбов,* т. II, стр. 450).

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА. К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ФОНДА

Печатается по тексту: «Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909». СПб. <1910>. Второй и третий разделы статьи («Первые литературные чтения и спектакли литераторов в пользу Литературного фонда» и «Отделение для пособия бедным учащимся») почти дословно повторяют главы XV и XVII первого тома «Из воспоминаний прошлого» и в настоящем издании не воспроизводятся.

Стр. 516. *...Егор П. Ковалевский, родной брат министра...* — Ср. в речи Пантелеева, прочитанной на торжественном заседании 8 ноября 1909 г. по поводу 50-летия Литературного фонда («Егор Петрович Ковалевский — первый председатель комитета Литературного фонда»): «Пользуясь влиянием на своего брата, Евграфа Петровича, тогдашнего министра народного просвещения, и своими связями в официальных сферах, Е. П. везде являлся настойчивым ходатаем, и несомненно благодаря его энергии утверждение устава Фонда не только прошло беспрепятственно, но и с небывалой быстротой. Ему же Фонд обязан разрешением пользоваться для собраний помещением Географического общества. Но если первое избрание Е. П. председателем Фонда было естественным выражением признательности со стороны учредителей, то два последующие избрания (Е. П. и умер в звании председателя) объясняются тем, что Е. П. внес в новое дело не только присущую всю ему энергию, но и такую сердечность и теплоту, что стал как бы живым вопло-

щением идеи, положенной в основу Фонда, и в этом отношении навсегда остался примером для его преемников. Его отзывчивость на нужды тружеников-писателей была такова, что часто, если только у него были в кармане деньги, он давал нуждающимся в помощи из своих собственных средств, не доводя их просьб до комитета. Все это создало Е. П. до такой степени исключительное положение в Фонде, что в 1862 г., когда он по жребию выходил из комитета, в память его председательства и в знак благодарности за оказанные обществу услуги решено было заказать его портрет и открыть подписку на стипендию его имени, а в 1866 г. состоялось даже постановление общего собрания объявить его почетным и бессменным председателем. Оно не было приведено в исполнение лишь вследствие практических затруднений».

В этой же статье, большая часть которой основана не на материале воспоминаний о личных встречах с Е. П. Ковалевским, Пантелеев пишет: «Я с ним несколько раз встречался в 1862 г. Тогда Егору Петровичу было 51 год, но он выглядел совсем дряхлым стариком, не то апатичным, не то хандрящим [1]. Впрочем, по его собственным словам, он уже в 30 лет скорее походил на «полинялый, изношенный халат», чем на цветущего молодого человека. Однако с первых шагов на житейском поприще и до конца своих дней, стоило Е. П. соприкоснуться с живым делом, и он способен был не только сам проявить редкую энергию, но и сообщить ее другим; вместе с тем он соединял живой и оригинальный ум, самые многосторонние и разнообразные сведения» («Юбилейный сборник Литературного фонда, 1859—1909, СПб. <1910>, стр. 249, 253—254).

ПАМЯТИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Печатается по «Голосу минувшего», 1915, № 1, где опубликовано впервые.

Стр. 520. *...в «Современнике» печатался ряд его статей...* — «Очерки гоголевского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского печатались с конца 1855 и в 1856 г.

---

[1] Да хандра и разбирала его, когда временами был он в стороне от живого дела или ему приходилось выполнять какие-нибудь чисто формальные обязанности. Раз он был назначен председателем на экзаменах в горном корпусе. Один кадетик в ответе употребил слово «хандра».

— А знаете вы, что такое «хандра»? — перебил его Е. П.

— Нет, не знаю, — смущенно ответил кадетик.

— Счастливый вы человек, желаю вам никогда не испытывать ее, — и с этими словами поставил кадетику полный балл. (***Прим.*** *Л. Ф. Пантелеева.*)

«Московский телеграф»... полемика с Надеждиным (Надоумко). — Полемика «экс-студента Никодима Надоумко» (Н. И. Надеждина) с Н. Полевым относится к 30-м годам XIX столетия. Надеждин выступал против господствовавшего тогда романтизма; своими статьями он приобрел репутацию зоила и педанта, сделался предметом едкой критики Полевого и колких эпиграмм Пушкина. Историческая оценка деятельности Надеждина дана в четвертой статье «Очерков гоголевского периода...» Чернышевского.

Стр. 521. *...одно время проживал в Усть-Сысольске...* — В 1836—1838 гг. Надеждин был в ссылке в Усть-Сысольске за напечатание в издававшемся им «Телескопе» «Философического письма» П. Я. Чаадаева.

...основную мысль Чернышевского... — Статья Чернышевского «Русский человек на rendes-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася» (*Чернышевский,* т. V) была направлена против либерализма в целом. Г. В. Плеханов писал, например, о ней позднее как о «злой... меткой характеристике российского либерализма» (Г. В. Плеханов, Соч., т. V, изд. 2, М. <1923>, стр. 85).

Стр. 522. *...полемика «Современника»... развенчивание им... домашних авторитетов...* — См., напр., статьи Чернышевского «Непочтительность к авторитету» и «Полемические красоты» в изд. *Чернышевский,* т. VII.

Стр. 523. *...Громеку... полемизировать с ним...* — В «коллекции второй» «Полемических красот», посвященной враждебным «Современнику» «Отечественным запискам» («Современник», 1861, № 7) Чернышевский пишет о С. С. Громеке, бывшем жандармском офицере, который в то время вел в «Отечественных записках» отдел «Современная хроника в России».

...«Тысяча душ» Писемского в «Отечественных записках»... — Роман Писемского был опубликован в «Отечественных записках», 1858, №№ 1—6.

Стр. 524. *...итальянский вопрос... война франко-итальянская...* — В конце 40-х гг. в разрозненной на ряд отдельных государств Италии началось мощное народное движение за национальное освобождение и объединение: оно приняло особенно большие размеры в конце 50-х гг. Пантелеев неточно называет войну 1859 г. франко-итальянской; речь идет об австро-французской войне на территории Италии и с ее участием. Война закончилась в июле 1859 г. поражением Австрии и Вилла-франкским договором, не обеспечившим подлинную независимость Италии.

...заговорило о Кавуре... — «Сардиния и вульгарный итальянский либерализм опозорены», — писал Энгельс в письме к Марксу 2(14) июля 1859 г., имея в виду деятельность умеренно-либерального

премьер-министра Пьемонта (Сардинского королевства) Кавура, стремившегося к объединению Италии под властью короля Эммануила II (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 422, а также статьи Чернышевского «Граф Кавур» и др. в изд.: *Чернышевский,* т. VII, и Добролюбова «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» — *Добролюбов,* т. V).

Стр. 525. *При своем появлении... далеко не вызвали того повышенного внимания... у последующих поколений...* — К этому месту воспоминаний в журнале было примечание редактора «Голоса минувшего» В. И. Семевского: «По личным воспоминаниям считаю необходимым пояснить, что в начале второй половины 60-х гг. «Примечания к политической экономии» пристально изучались более серьезною молодежью».

«Антропологический принцип в философии»... возбудил разговоров в лагере противников Чернышевского... — Статья Чернышевского («Современник», 1860, №№ 4 и 5) вызвала большую полемику между материалистами и идеалистами (см. *Чернышевский,* т. VII).

Стр. 526. *...о бесплатном наделе крестьян землею.* — К этому месту воспоминаний в «Голосе минувшего» — примечание В. Семевского: «См., например, намеки на это в его статье в «Современнике» 1859 г., № 10. Полнее раскрываются взгляды Чернышевского на крестьянскую реформу в «Письмах без адреса», написанных для февральской книги «Современника» 1862 г., но не пропущенных в свое время цензурою, и в прологе «Пролога» в словах по этому предмету Волгина».

Стр. 527. *...в... Польше... в начале 1861 г...* — См. стр. 711.

Стр. 529. *Из его «Дневника» мы теперь знаем...* — В дневнике Чернышевского, опубликованном в 1906 г. в т. X его первого собр. соч., содержатся неоднократные высказывания о его готовности к революционным подвигам. См., напр., *Чернышевский,* т. I, стр. 418 и др.

...претерпевый до конца, той спасен будет»... — цитата из евангелия от Матфея, глава X, стих 22.

Писарев... разошелся с «Современником» в оценке «Отцов и детей». — Пантелеев имеет в виду появившиеся одновременно статьи М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3) и Д. И. Писарева «Базаров» («Русское слово», 1862, № 3). Подробнее об этом см. в комментариях А. И. Батюто к «Отцам и детям» в изд.: И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 3, М. 1954, стр. 398—401.

Стр. 530. *...помнится, «Философия и религия»...* — Речь идет о книге Б. Н. Чичерина «Наука и религия», М. 1879; изд. 2, М. 1901.

Стр. 531. *...«во главе русской литературы».* — Пантелеев цити-

рует слова Чернышевского в некрологе Н. А. Добролюбова (*Чернышевский,* т. VII).

...нельзя сказать о Чернышевском, не впадая в большое преувеличение... не имеет притягательной силы. — В «Голосе минувшего» здесь примечание В. Семевского: «Следует не забывать, что цензурные причины очень долго препятствовали появлению полного собрания сочинений Чернышевского, но, несмотря на это, нельзя сомневаться в том, что Чернышевский имел гораздо более глубокое влияние на ход общественного движения в России, чем Добролюбов».

К МАТЕРИАЛАМ О Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМ

Печатается по газете «Наш век», 1918, 28 апреля, № 85 (109), поправки — по вырезке в архиве Пантелеева в *ИРЛИ* (они же оговорены в «Письме в редакцию «Нашего века» 3 мая 1918 г., № 88 (112).

Стр. 533. *...другой... совсем молодой, но уже сильно выдвинувшийся.* — Речь идет о М. А. Антоновиче, который во время публикации этой заметки еще был жив. Его имя названо в заметке «К биографическим материалам о М. А. Антоновиче».

Скоро... Покровский был арестован... отправлен... в ссылку... — М. П. Покровский 5 октября 1861 г. был арестован на квартире Н. В. Альбертини. См. «Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь», т. I, вып. 2, М. 1928, стр. 324—325.

Стр. 535. *...есть известные основания полагать, что Чернышевский знал...* — Вывод Пантелеева о том, что Чернышевский сочувствовал проектировавшемуся террористическому плану, не может считаться бесспорным. Он не следует из работ Чернышевского.

К БИОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ О М. А. АНТОНОВИЧЕ

Печатается по автографу *ИРЛИ*, ф. № 224, ед. хранения 4893, впервые — *изд. 1934 г.,* стр. 580—581. Заметка — едва ли не последнее произведение, написанное Пантелеевым незадолго до смерти 16 декабря 1919 г.

Стр. 536. *...Антонович... печатно выдвигаемый Чернышевским на первый план...* — См. «Полемические красоты» (*Чернышевский,* т. VII, стр. 708—716, 760, 761).

Лишь изредка появлялось его имя под отрывочными, случай-

ными воспоминаниями... в «Журнале для всех» о Добролюбове. — См. стр. 723.

...труд о Дарвине... — «Чарльз Дарвин и его теория», СПб. 1896.

Стр. 537. *...коснулся террористического замысла...* — См. стр. 246 и 733 наст. изд. Предложение Елисеева-Антоновича могло иметь место в период 28 сентября — начало октября 1861 г.

...в конце 1862 г. тогдашней «Землей и волей» прокламация, забракованная комитетом... — См. стр. 340 и 762.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО. П. Л. ЛАВРОВ

Печатается по сборнику «П. Л. Лавров. Статьи, воспоминания, материалы», «Колос», Пг. 1922, стр. 420—435, где опубликовано впервые.

Стр. 539. *...начало ей было положено Сопиковым и Плавильщиковым...* — Неточно: В. А. Плавильщиковым (1815 г.), а затем А. Ф. Смирдиным (с 1823 г.).

Стр. 540—541. *Булич... Лекции Лаврова...* — См. стр. 233—234 и 728.

Стр. 541. *...Берви арестован...* — См. стр. 276 и 744.

Стр. 541—542. *...в «Современнике» решительный отпор... ...Антоновича...* — Лавров развивал идеи позитивизма, то есть в конечном счете субъективного идеализма и агностицизма. Против его эклектических взглядов и выступил Антонович («Современник» 1861, № 4), пропагандировавший идеи «Антропологического принципа» Чернышевского («Современник», 1860, № 4—5). Лавров в свою очередь отвечал Антоновичу в «Русском слове», 1861, № 6 («Моим критикам». Ср. статью М. А. Антоновича «По поводу статьи Н. С. Русанова «П. Л. Лавров». Перепеч. в изд. «Шестидесятые годы. М. А. Антонович, Воспоминания. Г. З. Елисеев, Воспоминания». Academia, 1933).

Стр. 542. *...Антонович по изданию «Энциклопедического словаря» стал сотрудником Лаврова...* — Вспоминая о своем сотрудничестве в «Энциклопедическом словаре, составленном русскими учеными и литераторами», Антонович писал: редактор его, Лавров, считал, что «задача словаря сводилась к распространению серьезных положительных знаний и сведений и к борьбе со всякими лженаучными предрассудками и суевериями» («Голос минувшего», 1915, № 9, стр. 134).

Стр. 543. *...далек от точности М. А. Антонович... дорожившие временем.* — К этому месту воспоминаний в тексте сборника — примечание П. Витязева: «Мы склонны думать, что в данном случае более прав М. А. Антонович, чем Л. Пантелеев. Сам Лавров отмечает, что ему удалось сблизиться с Чернышевским именно в последние месяцы перед его арестом. «Мне удалось, — пишет Лавров, — за несколько месяцев до ареста Чернышевского *несколько сблизиться с ним* (см. «Народники-пропагандисты 1873—1878 годов», СПб. 1907, стр. 54). И. С. Книжник-Ветров доказывает, что многочасовая ночная беседа Лаврова с Чернышевским происходила «не позже осени 1861 года» (*ЛН,* 1933, № 7—8, стр. 105—106 и 115).

...летом 1863 г. вынужден был бежать... — См. стр. 757.

Стр. 544. *После ареста... Рымаренко...* — См. стр. 746.

...кажется, в своем собственном доме... — Здесь в тексте сборника — примечание П. Витязева: «Это не верно. Лавров жил на Фурштатской ул. в доме Яковлева, против лютеранской церкви св. Анны. В настоящее время дом № 12».

Стр. 545. *...Лавров... был приобщен к «Земле и воле»... Энгельгардтом...* — См. стр. 763.

Стр. 546. *...но и был его учеником...* — Здесь в тексте сборника — примечание П. Витязева: «Это подтверждает сам Лавров в своих показаниях в следственной комиссии М. Н. Муравьева».

Стр. 547. *...в статье о гегелизме, появившейся в «Библиотеке для чтения»...* — См. стр. 234 и 729.

Стр. 548. *...ссылка... Вологодская губерния...* — Лавров был арестован в апреле 1866 г., а затем уволен со службы и выслан в Вологодскую область в феврале 1867 г. (см. статью В. Н. Нечаева «Процесс П. Л. Лаврова, 1866 г.» в Сборнике материалов и статей редакции журнала «Исторический архив», вып. I, 1921, и И. С. Книжник-Ветров, Введение к I тому — в изд.: П. Л. Лавров. Избр. соч., т. I, М. 1934, стр. 39—49.

...Лавров и в ссылке работал не покладая рук... — За время пребывания в ссылке Лавров написал и напечатал не менее 20 статей, в том числе такие, как «Исторические письма», «Антропологические этюды», «Роль науки в период возрождения и реформации» и др. Полный перечень см. в книге: И. С. Книжник-Ветров, Петр Лаврович Лавров, изд. 2, М. 1930, стр. 108—109.

Стр. 549. *...после первого марта...* — Очевидно, ошибка памяти Пантелеева. Здесь (как и в тексте сноски) Пантелеев имеет в виду, вероятно, 4 апреля 1866 г. (покушение Каракозова на Александра II), а не 1 марта 1881 г. (когда террористами был убит Александр II), или 1887 г. (покушение на Александра III),

...нечаевское дело... убийство Иванова... — С. Г. Нечаев создал в 1869 г. в Москве подпольную группу революционеров «Народная расправа». Авантюристические методы борьбы и беспринципный терроризм анархистского толка (убийство студента Иванова за то, что тот заявил о своем выходе из подпольного общества) вызвали резкое осуждение Нечаева Марксом, Энгельсом и рядом русских революционеров (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XIII, ч. 2, 1940, стр. 537 и след.). «Народная расправа» была в 1869 г. разгромлена в связи со следствием по делу об убийстве Иванова. Нечаев бежал в Швейцарию, но был выдан России. Процесс, так называемое «нечаевское дело», слушался в 1871 г.

Стр. 552. *...меня не было во Франции.* — Ср. примечание П. Витязева в тексте сборника: «По-видимому память здесь изменила Пантелееву, и он неверно передает слова П. Л. Во время коммуны Лавров был в Париже, что видно из его книги «Парижская коммуна» (Петроград, 1919) и «Автобиографии» (см. «Вестн. Евр.», 1910 г., № 10)». О «рационе» Лаврова в эти дни читаем в его письме Е. А. Штакеншнейдер: «Я ел раз в два дня маленький кусочек лошади и разные мучные приготовления. Однажды же собачью котлету: очень вкусно. Крыс есть не случалось, кошек тоже, хотя кошек, вероятно, я ел и прежде под именем кроликов. Всего хуже был хлеб последние дни...» и т. д. (И. С. Книжник-Ветров, П. Л. Лавров, изд. 2, М. 1930, стр. 37).

Стр. 554. *...редактировал... «Вперед»... журнал закрылся.* — Лавров отказался от редактирования «Вперед» вследствие разногласий с сотрудниками по вопросу о революционной тактике. Съезд, о котором упоминает Пантелеев, — съезд лавристов в Париже в ноябре 1876 г.

Стр. 555. *В половине 80-х гг. ...* — В конце 70-х — начале 80-х гг. член исполнительного комитета «Народной воли», участник покушений на Александра II и редактор ряда партийных изданий, Л. А. Тихомиров, позднее — автор ренегатской брошюры «Почему я перестал быть революционером», в 1895 г., возвратившись в Россию, стал реакционным журналистом, сотрудником «Московских ведомостей».

...удалось провести «Историю материализма» А. Ланге... — См. стр. 736.

Стр. 556. *...point de rêveries...* — В мае 1856 г. в Варшаве в своем обращении к депутации от польского населения Александр II, между прочим, сказал: «Point de rêveries, messieurs!» («Никаких мечтаний, господа!»)

К БИОГРАФИИ П. А. РОВИНСКОГО

Печатается по газете «Речь», 1916, 20 января, № 19 (3402).

Стр. 558. *...поездка П. А. в Сибирь... собрать сведения о Чернышевском...* — Некоторый материал см. в книге В. Н. Шульгина «Очерки жизни и деятельности Н. Г. Чернышевского», М. 1956, стр. 172—173.

...диссертации о Столбовском мире... — «Столбовский договор и переговоры ему предшестовавшие», СПб. 1857. В селении Столбово (недалеко от Петербурга) в 1617 г. был заключен русско-шведский мирный договор.

Стр. 559. *Все пока держится международным престижем князя...* — До 1905 г. в Черногории существовала неограниченная монархия; с 1860 г. и до 1910 г. на престоле был князь, а с 1910 г. — король Николай I; в 1905 г. он вынужден был дать стране конституцию, которую стал вскоре нарушать.

ИЗ ПРОШЛОГО ПОЛЬСКОЙ ССЫЛКИ В СИБИРИ

Печатается по журналу «Сибирские вопросы», 1910, № 5, где опубликовано впервые. Сокращенный перевод этой статьи на польский язык был напечатан в газете «Dziennik Petersburgski», 1910, 31 января и 2 февраля, №№ 65 и 66 под заглавием: «Kartka z historii polskiego wygnania na Syberji».

Стр. 560. *Кругобайкальская история.* — См. стр. 750.

...пяти расстрелянных за нее... — Расстреляно было не пять, а четыре человека (Шарамович, Целинский, Котковский и Реймер).

Стр. 561. *Польская ссылка николаевского времени...* — то есть после разгрома восстания 1830 г. в Польше.

Стр. 563. *Отец спасителя* — костромской мещанин, Осип Комиссаров, толкнувший Д. В. Каракозова в момент, когда он стрелял в Александра II в 1866 г., был объявлен «спасителем царя».

Стр. 566. *В течение 1863—1864 гг. в Сибири... скопился не один десяток тысяч ссыльных поляков...* — К 1865 г. в Сибири насчитывалось около 18—20 тысяч ссыльных поляков.

Стр. 567. *Не Николай Иванович ли это — известный писатель. Он тогда, кажется, служил в Западной Сибири.* — Речь идет о каком-то другом Наумове.

Стр. 575. *...Иербоготай* — ныне центр Катангского района Иркутской области село Ербогачен.

...указ 1874 г. ... — Указом от 22 января 1874 г. была объвлена частичная амнистия участникам революционного движения, осужденным до 1 января 1871 г.; в частности, им были возвращены

права и было разрешено возвратиться из Сибири в Европейскую Россию («Собрание узаконений и распоряжений правительства...», 1874, № 9, стр. 136).

П. П. МАЕВСКИЙ

Печатается по газете «Наша жизнь», 1905, 26 октября, № 317; поправки и дополнения — по вырезке в архиве Пантелеева в *ИРЛИ*.

ИЗ СИБИРСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по «Сибирским запискам», 1916, № 2, где опубликовано впервые.

Стр. 583. *...при печальном возвращении одного из амурских батальонов...* — Эпизод, связанный с колонизацией Амура. Возвращавшиеся с устьев Амура русские войска в 1856 г. попали в чрезвычайно неблагоприятные условия: от голода, холода и эпидемий во время трехтысячеверстного перехода погибла значительная часть рядового состава. В частности, в батальоне подполковника Облеухова по официальным, несомненно преуменьшенным, сведениям погибло от тифа 98 человек, то есть не менее 10% всего состава (см. И. Барсуков, Гр. Н. Н. Муравьев-Амурский, кн. 1, М. 1891, стр. 456—464, а также «Колокол», 1860, 3/15 февраля, лист 63).

СТРАНИЧКИ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по газете «Речь», 1913, 5 сентября, № 242, где опубликовано впервые. Поправки — по вырезке, хранящейся в архиве Пантелеева в *ИРЛИ*.

Стр. 600. *...«Европа против нас»... приписывали И. С. Аксакову...* — Автор этого стихотворения П. Л. Лавров.

Стр. 602. *...«В темнице были и посетили»... встретил в печатном виде.* — Текст этого стихотворения не обнаружен.

Стр. 604. *...обвинения... довольно широко распространенного... в процессах... Ландсберга...* — Прапорщик Карл Ландсберг в мае 1879 г. убил надв. сов. Волкова и его кухарку и похитил значительную сумму денег, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить себе брак с дочерью генерала. Он был осужден на 15 лет каторги. Дело Ландсберга (оно слушалось в июле 1879 г.) вызвало многочисленные отклики в печати. См. А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. I, М. 1912, стр. 260—278.

...см., например... К. Случевского — в брошюре: «Достоевский (Очерк жизни и деятельности)», СПб. 1889, стр. 32.

ВОЗВРАТ ИЗ СИБИРИ

Печатается по «Сибирским запискам», 1917, № 1, где опубликовано впервые. Поправки — по оттиску в библиотеке *ИРЛИ* (Бр. 131/39).

Стр. 605. *...о нашумевшей тогда книге Кеннана.* — Книга североамериканского журналиста Джорджа Кеннана, «Siberia and the exile system» («Сибирь и ссылка», 1891, — потом ряд переизданий), написанная по поручению журнала «Century Magazine» вызвала в свое время большой шум. Кеннан отправился в Сибирь для изучения русской пенитенциарной системы в качестве сторонника русского правительства, однако, ознакомившись на месте с условиями быта и жизни преступников, написал нечто столь правдивое, что до 1905 г. его работа была строжайше воспрещена к обращению в России. Когда в 1901 г. Кеннан приехал в Россию, — он был немедленно выслан.

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ СИБИРИ

Впервые (по автографу *ИРЛИ*) напечатано в *изд. 1934 г.*, стр. 493—517. В настоящем издании печатается по более позднему тексту машинописи из архива С. П. Мельгунова — В. И. Семевского (ныне в Архиве Академии наук СССР в Москве, ф. 489, оп. 1, № 253, листы 1—28). Этот текст был предложен Пантелеевым редакции «Голоса минувшего», но напечатан там не был. Название главы написано неизвестной рукой на обложке папки, в которой находится машинопись.

Стр. 621. *...после известного правительственного распоряжения...* — См. стр. 802.

Стр. 625. *Эрисмана... лишь недавно поселившись в Петербурге...* — По происхождению швейцарец, Эрисман жил в Петербурге с 1869 г.

Стр. 628—629. *...бывшим воспитанником верещагинской молочной школы.* — Брат художника, Н. В. Верещагин, в 1871 г. основал в селе Едимонове Корчевского уезда Тверской губернии школу молочного хозяйства; впоследствии был основан еще ряд аналогичных школ.

Стр. 636. *...удалось высвободиться из-под конкурса...* — Конкурс в дореволюционной торговой терминологии — управление делами несостоятельного должника.

...прииски, принадлежавшие кабинету... — Кабинет — управление личным имуществом царя.

Стр. 638. *...конец шестидесятых и начало семидесятых годов...* — Ряд данных о железнодорожных спекуляциях 70-х гг. см.

А. И. Дельвиг, Полвека русской жизни, тт. 1—2, «Academia», 1930; С. Ю. Витте, Воспоминания, т. III, Л. 1924; Е. М. Феоктистов, Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848—1896, «Прибой», Л. 1929.

К МАТЕРИАЛАМ ОБ ИЗДАНИИ СОЧИНЕНИЙ А. И. ГЕРЦЕНА

Печатается по «Голосу минувшего», 1917, № 11—12; поправки Пантелеева — по оттиску в библиотеке *ИРЛИ* (Бр. 201/4).

Стр. 640. *...доверительное письмо Алек. Алек. ...* — Это письмо А. А. Герцена от 28 февраля 1893 г. сохранилось в архиве Пантелеева (ф. 224, № 94).

Стр. 641. *...ни о чем другом и речи быть не может.* — Современники характеризуют Коссовича как неглупого, но крайне циничного чиновника. См. Б. Б. Глинский, Из цензурного прошлого («Исторический вестник», 1906, № 4, стр. 190), И. И. Ясинский, Мои цензора (там же, 1911, № 2, стр. 542—544), Р. О. Сементковский, Встречи и столкновения («Русская старина», 1912, № 2, стр. 310), С. Изгоевич, Из прошлого нашей цензуры («Наша старина», 1915, № 10, стр. 957). Доклад Коссовича, опубликованный Б. Федоровым в «Голосе минувшего», 1917, № 1, стр. 287—292, снова, в качестве «неизданного» был опубликован А. С. Николаевым в «Красном архиве», т. III, 1923, стр. 223—227.

...перевод «Истории Ислама» (Мюллера)... — Перевод книги А. Мюллера «История Ислама с основания до новейших времен». Пер. с нем. под ред. Н. А. Медникова, тт. 1—4, СПб. 1895—1896.

...«Памфлеты» П. Л. Курье... — П. Л. Курье, Сочинения, ч. I. Памфлеты. Пер. с франц. СПб. 1897.

...книжку Мори, помнится, о происхождении религии... — Книга А. Мори на русский язык не переведена: «Essai historique sur la religion des Aryas pour servir à éclairer les origines des religions hellénique, latine, gauloise et slave», Paris, 1853.

Стр. 642. *...от него получил ответ...* — Это письмо А. А. Герцена также хранится в архиве Пантелеева. Кроме этого официального письма, предназначенного для цензурного комитета, А. А. Герцен одновременно написал и аналогичное частное письмо к Пантелееву (там же).

Стр. 644. *...«Начало»... в составе редакции... лица из совершенно противоположного лагеря... из какого своеобразного источника поступали деньги на его издание.* — Журнал «Начало» основан в 1899 г. группой «легальных» марксистов и редактировался П. Струве, М. Туган-Барановским и А. Калмыковой. Редактором-

издателем числилась А. А. Воейкова. Журнал издавался на средства М. И. Гуровича, впоследствии разоблаченного провокатора. Журнал был использован для легальной пропаганды марксизма Лениным, Плехановым и др. Вышло три книги (январь—февраль, март, май), апрельская была уничтожена. См. А. Л. Дымшиц и В. М. Абрамкин, «Начало». Изд-во политкаторжан, М. 1932.

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Печатается по «Современной иллюстрации», 1913, № 3, от 24 марта (выходила в качестве приложения к «Современному слову»).

Стр. 646. *В ... статьях о художественных выставках...* — Статьи В. М. Гаршина о живописи (семь статей) печатались в газете «Новости» (1877, №№ 68, 72, 91 и 332), «Русские ведомости» (1880, №№ 23 и 49) и в журнале «Северный вестник» (1887, № 3).

Стр. 647. *Недавно один критик упрекал его...* — Пантелеев имеет в виду статью К. И. Чуковского «О Всеволоде Гаршине. Введение в характеристику» («Русская мысль», 1909, № 12; см., напр., стр. 119, где есть слова «пунктуален и методичен, как бухгалтер» и др.).

...издать «Персидские письма» Монтескье... — Пантелеев издал перевод «Персидских писем» Монтескье в 1892 г. Имя переводчика не обозначено. Из книги И. П. Безгина («Издания Л. Ф. Пантелеева 1877—1895 гг.», СПб. 1895, стр. 32) видно, что перевод выполнен Е. А. Красновой.

Стр. 648. *...перевел... повесть Мериме «Коломба»...* — Перевод Гаршина повести Мериме «Коломба» был напечатан в журнале «Изящная литература», 1883, № 10. См. В. М. Гаршин, Полн. собр. соч., т. III, Письма. М.—Л. «Academia», 1934, письма №№ 217, 220, 223, 225, 227, 234, 236 и 241.

...была ли работа окончена и напечатана... — Перевод Гаршина неизвестен. «Идеал в деревне» в 1869 и 1873 гг. был издан по-русски.

ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «НОВОЕ О ГАРШИНЕ»

Печатается по «Голосу минувшего», 1913, № 7, стр. 248. Статья вызвана помещенной в № 5 того же журнала статьей Н. Л. Бродского «Новое о Гаршине». Заметка С. Н. Дурылина, с которой полемизирует Пантелеев, была напечатана в «Русских ведомостях», 1913, № 70.

Стр. 651. *Гаршин... уничтожил рукописи.* В письме Гаршина к В. А. Фаусеку от 15 июня 1887 г. рассказан сюжет

почти законченного рассказа, в котором «фигурирует фантастический элемент и, можешь себе представить, наука». «Не знаю порвать его или отложить», — пишет Гаршин в том же письме. Одним из действующих лиц этого рассказа был Д. И. Менделеев. См. В. М. Гаршин, Полное собр. соч., т. III, 1934, стр. 392. Ср. также сборник: «Памяти В. М. Гаршина», СПб. 1889, стр. 117—118 и П. Слетов и В. Слетова. Менделеев, М. 1933, стр. 88—89.

В ДЕПУТАЦИИ У С. Ю. ВИТТЕ

Печатается по «Голосу минувшего», 1915, № 5, стр. 184—188, где опубликовано впервые, с примечанием: «Помещаем эти небольшие воспоминания Л. Ф. Пантелеева в дополнение к ниженапечатанной статье В. В. Водовозова». Статья В. В. Водовозова была посвящена общей характеристике деятельности Витте, в общем в сочувственном тоне.

Стр. 652. *«Союз союзов»* — политическая организация буржуазной интеллигенции. Основание относится к началу мая 1905 г.; в конце 1906 г. союз распался.

...блокада Технологического института. — Блокада продолжалась с 14 по 18 октября 1905 г. В институте собралось около ста студентов и несколько преподавателей для охраны здания и противодействия войскам в случае попыток занять его; жандармы после безуспешной осады здания провоцировали «бросание бомб из здания института» и «в ответ» начали обстрел. Подробное изложение эпизода см. в книге «Технологический институт имени Ленинградского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», т. I, Л. 1928, стр. 285—288.

Стр. 653. *...о манифесте семнадцатого октября...* — манифест Николая II от 17 октября 1905 г., в котором он, под давлением нараставшего революционного подъема и ввиду угрозы свержения самодержавия вынужден был пойти на ряд уступок. Гарантированные им «незыблемые основы гражданской свободы» были вскоре же фактически отменены. В. И. Ленин в ряде статей разоблачил подлинный характер этих лживых уступок.

Стр. 654. *...вопрос об амнистии уже решен...* — Указ об амнистии — от 21 октября. Он касался лишь приговоренных к смертной казни (замена 15-летней каторгой), наказанных по государственным преступлениям 10-летней давности, и лиц, еще не осужденных судом. Две последние категории были амнистированы полностью.

Стр. 655. *Эти слова Витте... в «Молве» 7 января 1906 г.* —

В «Молве» от 7 января 1906 г. такой публикации нет; что имеет в виду Пантелеев, не установлено.

...речь государя... к депутации... — На приеме земских и городских деятелей 6 июня 1905 г. Николай II подтвердил, что воля «созывать выборных от народа непреклонна» («Новое время», 1905, 8 июня, № 10511).

...просил об увольнении его... — Отставка Д. Ф. Трепова состоялась 27 октября. Он был назначен дворцовым комендантом, то есть начальником личной охраны царя. Знаменитый приказ по петербургской полиции «холостых залпов не давать и патронов не жалеть» был издан 14 октября. См. С. Ушерович, Смертные казни в царской России, Харьков, 1933, стр. 49. Ср. также С. Ю. Витте, Воспоминания, изд. 2, т. II, 1924, стр. 45—61 и 77—105.

Стр. 656. *...об амнистии... двусмысленную речь.* — Речь Витте об амнистии в связи с обсуждением в Государственном совете проекта адреса Николаю II была произнесена им 4 мая 1906 г. («Стенографический отчет Государственного совета за 1906 г.», Сессия первая, заседание 3, СПб. 1906, стр. 17—19). Двусмысленность его речи, о которой говорит Пантелеев, заключалась в том, что, признавая полную амнистию стимулом к уменьшению преступности, Витте предлагал тем не менее провести в жизнь лишь амнистию частичную.

ПРИЛОЖЕНИЯ

С. В. ПАНТЕЛЕЕВА. ИЗ ПЕРЕЖИТОГО В ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДАХ

Печатается по тексту отдельного издания, СПб. 1911 (первоначально в «Мире божием», 1905, № 12, стр. 81—90; в «Сибирских вопросах», 1910, № 47).

Стр. 663. *...увидел... муфту и... капот — точь-в-точь мои.* — На самом деле в тюрьму была привезена содержательница пансиона в Вильно — Клечковская. Ср. стр. 363 наст. изд.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЦЮРИХ

Печатается по изданию: «Первый женский календарь на 1912 г.» под ред. П. Н. Ариян, СПб.; дополнения по оттиску в библиотеке *ИРЛИ* (Бр. 132/9). На оттиске — надпись С. В. Пантелеевой, обращенная к Л. Ф. Пантелееву: «Ты, вероятно, догадываешься, чье это письмо. Твою бабушку кто-то напугал, что я непременно порежусь в препаровочной» (см. стр. 691—692).

Стр. 692. *...о полученном из Петербурга распоряжении или предупреждении.* — Текст этого «Правительственного сообщения» был

опубликован в «Правительственном вестнике», 1873, 21 мая, № 120. В Цюрихском университете и Политехникуме в это время обучалось свыше 100 русских студенток. Тургенев предполагал, что автором «Правительственного сообщения» был «первоклассный мерзавец» Михаил Лонгинов, в это время начальник главного управления по делам печати. (Письмо к П. Л. Лаврову от 16/28 июня 1873 г. И. С. Тургенев, Собр. соч., т. XII, М. 1958, стр. 449.) В ответ на правительственный акт Лавров ответил воззванием «Русским цюрихским студенткам», в котором требование правительства было охарактеризовано, как «возмутительно грубое притеснение и низкая клевета». Лавров призывал молодежь к борьбе во имя «нового строя общества» (П. Л. Лавров, Избранные сочинения на социально-политические темы, т. II, М. 1934, стр. 7—20). Ряд материалов о русской колонии в Цюрихе содержится в книге J. M. Mejer, Knowledge and Revolution. The Russian colony in Zuerich (1870—1873). A Contribution to the study of Russian Populism. Assen, 1955.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]

---

[1] Из личных имен, упоминаемых в разделе «Из ранних воспоминаний», в указатель включены только имена, обозначенные полностью, а также повторяющиеся в других частях книги; прозвища, уменьшительные имена, отчества и т. п. в указатель не введены, они, как отмечает сам Пантелеев (см. стр. 27), отчасти вымышлены. Аннотированы те имена, которые недостаточно ясны из текста, не разъяснены в примечаниях или не могут быть найдены в общедоступных справочниках. Оставлены без пояснений имена лиц, о которых не удалось найти каких-либо сведений.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ПРОШЛОГО

Книга 2

СТАТЬИ И ОЧЕРКИ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Пантелеев Лонгин Федорович

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *М. Блинчевская*
Художественный редактор *И. Жихарев*
Технический редактор *З. Евдокимова*
Корректоры *Г. Сурис* и *А. Шлейфер*

Сдано в набор 13/I 1958 г. Подписано в печать 4/IV 1958 г.
Бумага 84×108 1/32—26,5 печ. л.=43,46 усл. печ. л. 47,025 уч.-изд. л.+13 вкл=47,675 уч.-изд. л. Заказ № 2713. Тираж. 75 000. Цена 13 р. 90 к.



Гослитиздат. Москва. Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29.